Журнал русской словесности и мысли

«НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ»

Санкт-Петербург

N13

Июнь 2024

Толстый литературно-философский журнал «Невский проспект»
Учредитель и главный редактор Николаев А.В.
Адрес редакции: Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, корп. А, оф. 138
Электронный адрес: vl_classik@mail.ru
Сайт: https://nevsky-prospekt-journal.ru/
Формат 175х265. Тираж 200 экз. Подписано в печать 11.05.2024. Заказ 1024568
Отпечатано в типографии «www.dariknigi.ru», Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47/710

N13:

Большая проза

Николай Полотнянко
СИМБИРИАДА. Трилогия
Книга III. КЛАД ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЁВА
Историко-приключенческий роман 3 стр.

Виктор Зайков
СТРЕЛЯЙТЕСЬ САМИ, МАЗЕПА
Роман из подполья
Часть III. ЗАСАДА 117 стр.

Александр Горохов
ИНО-агент НКВД
Роман-воспоминание
Часть I 141 стр.

Александр Юдин
ЧУДЬ
Конспирологическая фантасмагория 180 стр.

Сергей Юдин
ПРОКЛЯТИЕ ОКАЯННОЙ МОРРИГАН
Готическая повесть 249 стр.

Малая проза

Наталья Веселова
СОЛОМЕННЫЙ ВДОВЕЦ
Ленинградская повесть 281 стр.

Самид Агаев
ЛЭВЭНГИ + СДЕЛКА ПО СОВЕСТИ
Рассказы 297 стр.

Дмитрий Воронин
«ПРАВДА ЖИЗНИ» + ЭЙНШТЕЙН + НА ПАСХУ
Рассказы 318 стр.

Виктория Беляева
ЗАЩИТА КОНИНА. Рассказ 334 стр.

Александр Ралот
НЕБЕСНЫЙ ДАР. Быль 337 стр.

Алексей Фунт
НИТКИ ПОПЕЛИЦ. Рассказ 343 стр.

Борис Миловзоров
УБИК ДИКА. Рассказ 345 стр.

Диалоги

Владимир Василиненко
САМОРОДОК
Документальная драма 349 стр.

Евгений Прудченко
ЛОВУШКА ЛОБАЧЕВСКОГО
Философская пьеса 370 стр.

Эссеистика

Любовь Сушко
ТОСКА ПО ЖЕНЩИНЕ + ЗЫБКИЙ СТОН ШОПЕНА
Эссеистический диптих из цикла **«Шарм Серебряного века»** 394 стр.

Лариса Есина
ОТКЛИК НА ГЛАВЫ «К ТЕМ ГОСПОДАМ КРИТИКАМ...»
Критика критики 400 стр.

Критика

Иван Образцов
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
Дума 402 стр.

Философия

Юрий Кузин
А-ТИПИЧНАЯ АНГЕЛОЛОГИЯ
tractatus 417 стр.

Алексей Николаев
ДУХ. Философия духа
§4. Теоремы души
Основы психологии в логических теоремах 21-26 449 стр.

Откуда авторы:

Николай Полотнянко — Ульяновск (Симбирск), Виктор Зайков — Ярославль, Александр Горохов — Москва, Александр Юдин — Москва, Сергей Юдин — Москва, Наталья Веселова — Санкт-Петербург, Самид Агаев — Москва, Дмитрий Воронин — Тишино (Калининградская обл.), Виктория Беляева — Темерницкий (Ростовская обл.), Александр Ралот — Краснодар, Алексей Фунт — Шляхово (Белгородская обл.), Борис Миловзоров — Москва, Владимир Василиненко — Хабаровск, Евгений Прудченко — Алматы (Казахстан), Любовь Сушко — Омск, Лариса Есина — Краснодар, Иван Образцов — Барнаул, Юрий Кузин — Санкт-Петербург, Алексей Николаев — Санкт-Петербург

Николай ПОЛОТНЯНКО

СИМБИРИАДА

Трилогия[1]

Книга третья

КЛАД ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЁВА

Историко-приключенческий роман

Напрасный труд о Пушкине читать
Плетенья знатоков гнилое кружево.
Пора бы наконец нам всем узнать,
Что Пушкин приезжал в Симбирск не ужинать
К Языковым, Загряжским иль другим
Симбирским хлебосолам записным.

Иные чувства к нам его влекли.
Здесь зрело в нем пророческое слово.
Здесь, как вулкан, поднялся из земли
Народный бунт.
На царство Пугачева
Венчал народ.
Восстание, как лава,
Катилось на Москву.
Здесь дрогнула держава.

Он вслушивался в строй разбойных песен,
И чувствовал, как зло вскипала в них
Кровь неизбежной, беспощадной мести.
Раскола кровь – на наших и чужих.
Поэт народа есть всегда пророк.
И здесь у нас на полосе тетрадной
Он записал:
«Не дай увидеть, Бог,
Наш русский бунт,
Бессмысленный и беспощадный!»

[1] Под общим названием «Симбириада» «Невский проспект» публикует историческо-эпическую трилогию Николая Полотнянко из трех книг: «Государев наместник» (№11 НП) + «Атаман всея гулевой Руси» (№12 НП) + «Клад Емельяна Пугачева» (№13 НП).

Посвящается верному другу
Петру Ищенко

Глава первая

– 1 –

В солдатских избах Преображенского полка, где жительствовали нижние чины, размещённые по несколько человек в комнате, часто вперемешку холостые с семейными, утреннюю побудку сыграли за час до ротных построений на полковом плацу. Едва смолкла последняя поторапливающая лежебок трель медного рожка, как из душных изб стали выбегать заспанные солдаты, всяк торопился ополоснуть под рукомойником помятое на соломенной подушке лицо и брался за привычное дело, потому что ещё Пётр Великий установил: с утра быть солдату бриту, а нет, так биту. В сем повелении была очевидна мудрость преобразователя, поскольку солдат должен быть чист, а под бородой грязи не видно, бритьё лицо строжит и холит, и любой начальник, от капрала до государя императора, сразу узрит, что у солдата на роже написано — дурь или усердие и рвение к службе, да и ухмылку, оскорбляющую тонкие чувства начальствующих, не спрячешь под волосяным покровом.

У большинства солдат бритвы были плохонькие, свои, русские, из самокального железа, у дворян побогаче имелись бритвы немецкой выделки, но ни у кого в роте не было столь дивного бритвенного прибора, как у Степана Кроткова, что происходил из синбирских дворян и тянул лямку рядового уже четвёртый год. Достойно упоминания происхождение сего предмета, он, по семейному преданию, был боевым трофеем славного предка Степана Кроткова, который в дыму и пламени Полтавской битвы поразил своим молодецким штыком капитана королевских драгун и, не убоявшись града пуль и пушечных ядер, обшарил его походный ранец, где и обнаружил бесценный предмет, которым теперь владел внук полтавского героя.

Взбив мягким помазком мыльную пену, Степан обильно покрыл ею нижнюю часть лица и, взирая в зеркало, побрился, утёрся полотенцем, взглянул на отражение и затосковал от своей непригожести, которой он, по его разумению, обязан неудачами на служебном и житейском поприще. Фортуна была к Кроткову неблагосклонна, ему не везло ни в карточной игре, ни в амурных приключениях, а последнее было, ох, как важно в столице Российской империи, где при дворе царили куртуазность и галантность, и законодательницей гламурных нравов была сама императрица Екатерина Алексеевна.

Кротков с отвращением плюнул на своё отражение в зеркале, сунул его в сундучок с личным имуществом и взял оттуда колоду нераспечатанных игральных карт. Планом на сегодняшний день у него было раздобыть денег и попытать счастье в компании таких же забубенных картёжников, как и он сам, в каком-нибудь припортовом трактире, где уже давно стал своим человеком.

За последним солдатом из его комнаты захлопнулась дверь, и Кротков спохватился, задвинул ногой сундучок под лавку и побежал следом за всеми на полковой плац, где уже нетерпеливо покрикивали на припозднившихся солдат ротные капитаны, взводные поручики и фельдфебели. Кротков едва успел встать на своё место, как его поманил к себе пальчиком капитан Корсаков. Чеканя шаг, солдат подошёл к нему и вытянулся во фрунт. Капитана он не страшился, тот весьма расслабленно командовал подчиненными и был изысканно вежлив.

— Что, братец, опять накуролесил? — вяло спросил Корсаков, укоризненно взглянув на Кроткова. — Ты какой год в строю служишь?

— Скоро будет четыре.

— И всё ещё солдат, — вздохнул Корсаков и сказал подошедшему прапорщику Державину: — Беда нам с Кротковым, Гаврила Романович, в канцелярию его требуют привести, сам полковой секретарь хочет его видеть, да и меня с тобой.

Державин был недавно переведён в роту, и Кроткова знал плохо.

— Что гадать, Василий Васильевич, надо идти. А ты, Кротков, знаешь, зачем нас всех купно зовут?

— Никак нет, господин прапорщик. Не имею ни проблеска догадки.

Изба полковой канцелярии стояла на краю плаца. Они поднялись на крыльцо, вошли в сени, и Корсаков толкнул дощатую дверь. Полковой секретарь Неклюдов сидел за столом и был занят просмотром рапортов ротных командиров. Увидев Кроткова,

он грозно на него воззрился, вскочил со стула и, приблизившись к солдату, возгласил:

— Мундир преображенца, пачкун, изгадил! Да ты и пуговицы на нём не стоишь! Слыханное ли дело, там, — он указал пальцем на потолок, — стало известно о твоих позорных проделках! — Кротков, слыша столь грозные слова, обомлел от страха, а Корсаков и Державин вопросительно уставились на Неклюдова. — Вообразите себе, господа, — продолжил секретарь уже ровным голосом, — сей пачкун набрал у процентщика Зигерса две с половиной тыщи рублей. Каково? Всем преображенцам давно ведомо, что немец вхож к майору Маслову, и у него одалживать опасно. Зачем же ты к нему пошёл, Кротков?

— Деньги стали нужны, а другие не дали.

— Стало быть, ты и у других процентщиков в кабале?

— Есть немного, — тихо ответил Кротков, переминаясь с ноги на ногу и глядя мимо начальника.

— И сколько ты должен? — настаивал Неклюдов. — Не таись, братец, объяви, сколько ещё понабирал?

— С тысячу, может, чуть побольше.

— Всего, значит, три с половиной тысячи, — подытожил Неклюдов. — Разумеется, отдавать тебе нечем. Или ты надеешься на родителя? Кстати, он богат?

— Имеет близко трёхсот душ.

— Да, явно не Демидов, — Неклюдов сел за стол, на мгновение задумался и обратился к офицерам, которые пребывали в великом смущении от случившегося в их роте позорного происшествия. — Что будем решать, господа? Майор Маслов приказал немедленно представить ему наши рассуждения о случившемся.

— Преображенцы в долговой тюрьме не сиживали, — сказал Корсаков. — Полку нужно от Кроткова освободиться и совершить это пристойным образом.

— Но как сделать, чтобы выглядело пристойно? — спросил Неклюдов.

— Дать ему отпуск по болезни на два-три года, — предложил ротный капитан. — У тебя, Кротков, нет какой-нибудь хвори, чтобы её явить полковому лекарю?

— Никак нет, господин капитан, — пробормотал потрясённый близостью неизбежной расправы Кротков. — Здоров.

— Не гнать же нам его из полка за долги? — задумчиво произнёс Неклюдов. — А ты что помалкиваешь, Державин? Ты ведь солдатскую лямку десять лет тянул. Кому как не тебе ведомы все полковые хитрости.

Прапорщик внимательно оглядел солдата:

— Может, сумеем его в армию вытолкнуть. Сейчас война с турками...

— И думать об этом забудь! — перебил Державина секретарь Неклюдов. — Майора Маслова не обойти. Однако и он против суда. Надо найти у него болячку. Ужели полковой лекарь ничего не сыщет?

— Наш немец Христиан Иванович зело осторожен, — усмехнулся Державин, — но мы его обойдём. Объявим такую болезнь, что он сразу с ней согласится.

— Нет, Корсаков, — оживился Неклюдов. — С прапорщиком тебе определённо повезло. Ну-ка, объяви, Державин, свою затейку, против которой и лекарский немец не устоит.

— Дозвольте, господин полковой секретарь, взять солдата и отвести к лекарю, — сказал Державин. — А по пути я ему объясню, что следует говорить Христиану Ивановичу.

— Что ж, — согласился Неклюдов, — ступайте без промедления. Я на тебя, Державин, в этом деле крепко надеюсь.

Дом лекаря находился неподалёку от полка, но Державин после получения долго чаемого им первого офицерского чина из последних денег сразу обзавёлся экипажем, который он называл «каретишкой», и страшно гордился своим приобретением: оно позволило ему отделиться от топающей пешком солдатской черни, поэтому по любому делу, даже на полста саженей, всегда ездил на колёсах, снисходительно поглядывая на прохожих.

— Ты, кажется, Казанской губернии? — сказал Державин, усаживаясь на жёсткое сиденье рядом с опальным солдатом. — Я тоже из тех краев родом. Что же ты, земляк, довёл себя до крайней точки?

— Виноват, господин прапорщик, кругом виноват, — пролепетал Кротков. — Попутал меня бес на картёжной игре, не смог вырваться.

Державин вздохнул. Он отлично знал силу картёжного беса, изведал на себе, испил почти до дна горькую чашу позора и самоунижения, когда несколько лет назад возвращался из отпуска и в Москве вляпался в круг нечистых на руку картёжников, где спустил данные ему матерью на покупку имения деньги. Попав в такую беду, Гаврила Романович стал с отчаянья ездить день и ночь по трактирам, пытаясь отыграться. Спознался с лихими игроками, научился заговорам, как новичков втягивать в игру,

подборам и подделкам карт. Бывало, выигрывал, но, случалось, по несколько дней сидел на хлебе и воде, марал стихи и складывал их в свой сундук, который сжёг вместе с его содержимым на петербургской холерной заставе, когда, опамятовшись, кинулся из Москвы в свой полк.

— Твоя беда, Кротков, не в том, что ты играешь, а в том, что отыгрываешься, — сказал Гаврила Романович. — Мне это, братец, ведомо, но сейчас нужно думать о том, какую болячку тебе прилепить. Может, сам что придумаешь?

Кротков почувствовал в словах прапорщика соболезнование его горю и приободрился.

— Мне бы время выждать, — сказал он. — А там я опростаюсь от долгов.

— Это коим же образом? — резко повернулся к нему Державин.

— Знаю, что придёт мне невиданное богатство, поскольку матушка сказывала, что я в рубашке родился, и вся она сбилась на темячко.

— Как же ты в карты играешь, коли веришь такой брехне! — удивился Гаврила Романович. — Ты лучше ответь: до ветра ночью встаешь?

— Никак нет, господин прапорщик, сплю замертво до побудки.

— Вот и объяви лекарю, что каждое утро просыпаешься в мокре. А я сделаю подтверждение, что это истинно так.

— Может, какую другую хворь на себя взять? — сказал Кротков. — Чтобы поблагороднее было.

— А эта чем плоха? — рассмеялся Державин. — Не токмо солдаты, но и государи от неё страдают. Платон Безобразов не тебе чета барин, а без тряпошных подкладок не живёт.

Кротков смекнул, что прапорщик нуждается в его согласии и, сбиваясь, искательно произнёс:

— Совсем без денег я остался, господин прапорщик... — но закончить фразу он не успел, экипаж остановился, и Державин подтолкнул Кроткова:

— Соберись с духом и ври напропалую, тебе это не впервой!

Полковой лекарь приёмный кабинет имел близ крыльца. Он встретил посетителей сумрачным неприветливым взглядом: служивые люди зачастую пытались его провести своими болячками, а потом, получив желаемое, потешались над немцем, что его крепко обижало.

— Недостойные люди эти русские, — иногда жаловался он своей жене. — В нашем фатерлянде простой сапожник честнее русского графа.

Однако в «свой фатерлянд» почтенный Христиан Иванович отъезжать не спешил: коварные русские дворяне платили за его порошки и клистеры полновесным золотом.

Державин ещё раз слегка подтолкнул Кроткова, и тот запинающимся голосом поведал лекарю о своей беде.

— Любопытно! — оживился Христиан Иванович. — И давно это с тобой началось?

— Поначалу раз в три-четыре дня, а последний месяц каждую ночь.

— Истинно так, Христиан Иванович, — подтвердил Державин. — Кротков моей роты, добрый солдат, капрала вот-вот получить должен, а тут такая беда. Соседи по избе недовольны запахом, и ему нужно выздоравливать вне службы. Полковой секретарь капитан Неклюдов велел освидетельствовать Кроткова на предмет предоставления ему годового отпуска.

— У него энурезис, сиречь недержание мочи, — важно сказал Христиан Иванович. — Извольте, господин Державин, несколько обождать, пока я приготовлю нужную капитану Неклюдову бумагу.

Гаврила Романович был весьма доволен успешным окончанием щекотливого дела. Выйдя на крыльцо, он достал табакерку и заправил большим пальцем в ноздрю добрую щепоть нюхательного табака, отчихался и весело взглянул на Кроткова:

— Я ведь, братец, ведаю, что ты нацелился на мой карман. Сознавайся, так?

— Совсем я без копейки, Гаврила Романович...

— Мне ли не знать твою жизнь, Кротков? Потому и жалею тебя, дурня! Завтра явишься в полковую канцелярию за паспортом. И сегодня же съезжай из солдатской избы на городскую квартиру.

Кротков продолжал смотреть на Державина влажным искательным взглядом. Гаврила Романович покачал головой и полез в карман.

— Вот тебе, Кротков, рубль и совет: проиграешь, сразу беги из игры, а лучше из Петербурга в свою деревеньку, авось, родитель тебя и спасёт.

— Как бежать, Гаврила Романович, когда на всех заставах проклятый немец вот-вот даст весть, чтобы меня не выпускали?

— А ты извернись, — наставительно сказал, садясь в каретишку, Державин. — У немца ты ловко соврал, соври и ещё во своё спасенье.

– 2 –

Кротков проводил взглядом прапорщика, подивившись его щедрости, и пошёл в солдатскую избу. Каптенармус обрадовался, что он съезжает, принял от Кроткова оружие и амуницию и пожелал ему счастливого пути и отпуска. Придерживая под мышкой сундучок, Степан вышел из избы и сразу был ухвачен за рукав чьей-то цепкой рукой. Он повернул голову и обомлел от испуга: его держала старуха, которой он задолжал более ста рублей.

— Куда это ты, соколик, наладился? — спросила процентщица. — Не бежать ли надумал?

— Будет тебе, Саввишна, клепать напраслину, — опамятовался от испуга Кротков. — Я человек подневольный, живу, как велят командиры. Вот взводный велел отнести ему домой сундучок.

— Ты мне зубы не заговаривай, — насела на должника процентщица. — Мотаешься по трактирам, два дни назад двести рублей выиграл, а ко мне носа не кажешь.

— Врут твои доносчики, — Кротков попытался освободиться от старухи, но та вцепилась в него мёртвой хваткой. — Два дня назад я был караульным в Эрмитаже.

— Ты у меня не первый, кто надумал, что сможет меня обнести, да ни у кого это не вышло, — прошипела Саввишна. — Доносчики не врут, да и я сама намедни сон видела, что ты при деньгах. Выворачивай карман!

— Как же я его выверну, когда ты меня держишь?

— А ты поначалу свободной рукой лезь туда, — решила Саввишна.

Кротков нащупал рубль, зажал его между средним и безымянным пальцами и вывернул карман, но старуха углядела его уловку.

— А это что ты зажал в пальцах? — вскинулась Саввишна. — Никак золотой! — в этот миг Степан наступил на ногу процентщицы сапогом, та взвизгнула и ослабила хватку. Дошлый солдат не преминул этим воспользоваться и кинулся бежать за угол солдатской избы, где ему были ведомы все подворотни. — Грабят! — завопила Саввишна. — Грабят!

Из сеней солдатской избы высунулся каптенармус и с довольной ухмылкой захлопнул за собой дверь. Саввишну в полку знали, должникам она не давала спуску, и дружно желали ей худа все, от солдат и до капитанов.

Кротков знал возле полка все ходы и выходы, он быстро перебежал до следующей улицы, выглянув из-за забора, убедился, что ему ничто не угрожает, и быстрым шагом двинулся к дому подпоручиковой вдовы Угловой, где проживал его приятель по бутылке и картёжным баталиям вечный студент и пиит Калистрат Борзов, имевший с хозяйкой уже продолжительную галантную интригу. Дом с виду был невелик, но весьма поместителен. Борзов имел в нём свои покои и комнату для занятия стихотворством, где его и застал запыхавшийся от скорой ходьбы Кротков.

— Ба! — воскликнул Борзов. — А я как раз сегодня надумал к тебе зайти, а ты сам припожаловал. В трактире Сомова объявились новые постояльцы, готовы играть и проигрывать.

— А ты вызнал, кто такие? — заинтересовался Кротков.

— Пензенские дворяне, в Петербурге не бывали, таких гусей не ощипать — грех. Изволь обождать, я должен завершить пиесу на сорокалетие герра Фохта. Он, Степан, великий человек и гражданин, рачитель копчёных колбас, окороков и грудинок, то бишь почтенный колбасник, питатель нашего околотка.

Пиит кинулся марать бумагу стихами, а Кротков обвёл взглядом его творческое обиталище. Комната была обита светлыми обоями, возле стены стояла полка с книгами, над столом между двумя окнами висел портрет самого пиита, на коем Калистрат Борзов был изображён, подобно Данте, с лавровым венком на голове. Всё это Кротков не раз видел, но возле стола на тумбе стояло нечто для него новое — мраморное изваяние прекрасной нагой девы. Он приблизился к скульптуре и услышал, как позади него скрипнул стул и раздался веселый голос пиита:

— Пьеска для колбасного божка готова! А ты, Степан, на Венерку воззрился, что, брат, хороша?

— Где ты её заимел, Калистрат?

— Непросто она мне далась. Но, изволь, поведаю. Владел ею художник академии француз Луи Бюпон, личность тебе неизвестная, но азартная и упрямая до глупости. До меня он в своём кругу почитался лучшим игроком. Я же доказал ему обратное. А Венерка — мой боевой трофей. Ну что, пойдём знакомиться с пензенскими дворянами? Я им обещал привести настоящего гвардейца, они ведь в твой полк явились служить.

— Я вот, кажется, отслужил, — невесело сказал Кротков. — Завтра заберу из полковой канцелярии свой паспорт и волен идти на все четыре стороны.

— Стало быть, проклятый немец допёк тебя долгом. Меня ему так скоро не оси-

лить, моя пассия сторожит меня от всех напастей.

— А меня сейчас возле солдатской избы карга Саввишна ухватила, еле вырвался. Обложили кругом. Бежать мне, Калистрат, надо отсель, но как?

— Положись на меня, брат, я тебе подсоблю, — Борзов взял кафтан и стал напяливать его на плечи. — Однако нам пора, петербургские новосёлы, поди, нас заждались. Колода с тобой?

Кротков достал из кармана карты, запечатанные в бумагу, и протянул их товарищу. Калистрат постучал колодой о край стола, он это всегда делал, выходя на игрецкий промысел.

— Погоди, — спохватился Кротков. — Спроси свою хозяйку, может, она сдаст мне какой-нибудь чулан для жилья, пока я подыщу себе место.

— Не забивай себе голову! — воскликнул Борзов. — Идя на дело, о таком не должно думать. Живи в этой комнате, а здесь я хозяин.

— Как не забить, когда спрятаться надо! — в отчаянии воскликнул Кротков. — Сон намедни мне был: явился ко мне магистрацкий канцелярист с Зигерсом и объявил: «У меня сыскная за вашим благородием, и мне велено по силе вексельного устава взять вас в магистратский суд. Извольте посмотреть, сыскная подлинная, а заручена ратманом и секретарём. Ступайте с нами, ваше благородие, без отговорок!» Вот такой ужас, Калистрат, привиделся, а ты говоришь, что забыть всё напрочь.

К трактиру Сомова они шли, сторонясь людных улиц, где в обеденный час рисковали встретиться со своими недоброжелателями, а таковых у Борзова и Кроткова имелось предостаточно, ибо они вели жизнь шумную и всяких непотребств не чурались. Бывало, их тузили, и они в долгу не оставались, поэтому к трактиру подкрались с оглядкой. Калистрат был предусмотрительным, он встречу с будущими жертвами картёжного азарта назначил на обед, когда в трактире питухов и игроков не было, в этот час в нём заседали купцы и другие торговцы, которые полдничали и гоняли чаи с баранками и комковым сахаром вприкусу.

Трактир помещался в громадной рубленой избе, построенной уже на новый лад: с большими окнами и островерхой, на немецкий манер, кровлей. На первом этаже был собственно сам трактир, где пили и ели, а на втором этаже имелись комнаты для приезжих.

— Давай, Калистрат, сегодня не жадничать, — сказал Кротков, поднимаясь на крыльцо. — Возьмём рублёв по сто с каждого и простимся.

— Игра покажет, — пожал плечами Борзов. — Вдруг они восхотят проиграться дотола.

На входе к гостям метнулся половой с полотенцем через руку и в белом переднике.

— Желаю здравствовать вашим сиятельствам!

— Как жив, Кузька? — Калистрат потрепал полового по щеке. — Заметь, Степан, это первейший пособник нашей греховной страстишки.

— Мы люди тёмные: не знаем, в чём грех, а в чём спасенье, — поклонился Кузька.

— Молодые господа, что вчера прибыли, наверху?

— Только что сюда спускались, вашу милость спрашивали, — лукаво осклабившись, донёс Кузька.

— Мы поднимемся к ним, а ты тотчас подай нам водочки, пива английского, селёдочки, капустки, грибков, впрочем, ты сам знаешь.

По крутой лестнице они поднялись на второй этаж, где Борзов огляделся и решительно постучал в дверь угловой комнаты. Тотчас из неё донёсся приглашающий возглас. Близ порога гостей встретили два молодых человека, чьи щёки едва ли были знакомы с бритвой. С Борзовым они поздоровались радостно, чуть не обнялись, а увидев следовавшего за ним в преображенском мундире Кроткова, кандидаты в гвардейцы заметно смутились, но Калистрат мигом избавил их от неловкости.

— Знакомься, Степан! Это гвардейцы-новики Саврасов и Гордеев, прибыли в полк прямиком из своих пензенских усадеб.

Молодые смотрели на Кроткова, как на давно чаемую невидаль, они впервые вблизи видели преображенский мундир, и он их ослепил, хотя был изрядно помят, а кое-где и заштопан. Неловкость положения спас расторопный Кузька, явившийся в комнату с подносом, на котором стояли штоф очищенной водки, четыре кружки тёмного английского пива и блюда с острыми закусками. Борзов сгрёб со стола валявшиеся на нём вещи приезжих и бросил на лавку.

— Что на обед имеешь подать? — спросил он полового.

— Сегодня день постный, имеем норвежскую селёдку с картофелем, икорку-с...

— Годится, — Борзов взял застолье в свои руки. — Прошу, господа, к столу! — Саврасов и Гордеев дождались, пока сядут за стол гости, а те расчётливо, имея в виду игру, сели промеж них, затем устроились сами. Борзов цепко ухватился за штоф и наполнил чарки. — За здравие новиков-гвардейцев! — важно возгласил он. Все осушили чарки,

при этом было заметно, что питие крепкого хмельного было молодым дворянам не в диковинку. Это открытие порадовало Калистрата, он заново наполнил посудинки водкой и сказал: — Твоя очередь возглашать здравицу, Кротков.

Изобразив на лице торжественную значимость, гвардии солдат воскликнул:

— За лучший из гвардейских полков — Преображенский! Виват!

— Виват! — сначала робко, затем в полный голос вскричали Саврасов и Гордеев, которых поддержал с большим воодушевлением пиит Борзов.

После третьей рюмки все раскраснелись, расстегнули жилеты, ослабили пояса, молодые стали взирать на Кроткова без прежней робости.

— Каково, Степан Егориевич, служить солдату гвардии? — решился спросить Гордеев.

Кротков был готов услышать этот вопрос, сразу напустил на себя важность и, помолчав, значительно вымолвил:

— Службу нести, господа, — не брюхом трясти. Для преображенца отечество — полк, командир — бог, а слава — милость государыни. Но лучше меня пиит скажет. Говори, Калистрат!

Приезжие дворяне живого пиита видели впервые и уставились на него в четыре глаза, как на диковинного зверя. Борзов этим нисколько не смутился, поднялся во весь рост, простёр длань и зарокотал:

— Сия пьеса есть песнь солдата, уходящего на войну с туркой. Внемлите...

Прости, моя любезная, мой свет, прости,
Мне сказано назавтрее в поход идти;
Неведомо мне то, увижусь ли с тобой,
Ин ты хотя в последний раз побудь со мной.

Когда умру, умру я там с ружьём в руках,
Разя и защищаясь, не знав, что страх;
Услышишь ты, что я не робок в поле был,
Дрался с такой горячностью, с какой любил.

А если алебарду заслужу я там,
С какой явлюся радостью к твоим глазам!
В подарок принесу я шиты башмаки,
Манжеты, опахало, щегольски чулки.

— Какая слёзная пьеска! — вздохнул Кротков. — В ней, господа новики, и есть вся планида гвардейского солдата. Он живёт одним днём, сегодня амурится, гуляет, пьёт вино и сыплет горстями золото за игрецким столом, а завтра сложит буйную голову на поле брани.

Пензенские дворяне не ведали, что гвардия дальше Красного Села в поход никогда не хаживала, и пригорюнились над своей участью. В комнате воцарилось молчание, которое прервал своим появлением половой Кузька. Он доставил огромный поднос, на котором стояли блюда и штоф водки.

— Что это? — спросил Саврасов, указывая на блюдо с дымящейся картошкой.

— Извольте отведать, барин, — с лёгкой усмешкой сказал Кузька. — Французские земляные яблоки, картофель по-ихнему.

— Это вам презент, господа, от гвардейского солдата, — пояснил пиит. — Вы ведь в своей Пензе такого не едали. Картофель хорош с селёдкой, но без чарки очищенной ни в коем разе обойтись нельзя. Есть картофель всухомятку будет негалантно.

— А что, — заметил, умяв пару картофелин, Гордеев, — вкусно, не хуже грибов.

Вскоре блюда опустели, и явившийся на зов Борзова половой убрал посуду со стола, оставив в неприкосновенности водку и чарки. Все порядком разомлели от выпитого и съеденного, и Кротков решил, что пора приступить к главному, зачем они сюда и пришли. Он небрежно достал из кармана кафтана карты и бросил их на стол.

— Что, господа, испытаем фортуну? — сказал Борзов вкрадчивым голосом. — Карты — это тот же риск, что и поединок, а гвардеец от него не бежит.

Молодые дворяне начатки образования получили в пансионе, где арифметике, географии и всемирной истории их обучал отставной подпоручик пехоты, который, помимо основных предметов, преподал им негласно азы карточной премудрости, поэтому они решительно выложили на стол кошельки с деньгами. Положил свой кошелёк и Борзов, но в нём едва ли было три рубля, остальное — плоские круглые камушки. Кротков помедлил и достал из кармана кафтана державинский рубль. Ставку учредили в десять копеек, определился банкомёт, игроки пропустили по напутной чарке, и игра началась.

Саврасов и Гордеев были в крепком подпитии, возжечься азартом им было нетрудно, и они сразу явили свой барский норов — разбрасывать, не считая, вокруг себя деньги. Они было восхотели увеличить ставку вдвое, но Борзов их остудил, сказав, что двугривенные ставят только за ломберным столом императрицы и то не всегда. Этими словами он сильно расположил к себе Саврасова и Гордеева, поэтому они окончательно потеряли всякую осторожность.

Беды, свалившиеся на Кроткова сегодня, вселили в него неуверенность в своём игрецком счастье, и в игру он вступил с робостью, что сразу заметил Борзов, который, чтобы взбодрить приятеля, пнул его под столом и подмигнул ему в оба глаза. Кроткова это действие приятеля встряхнуло, и он стал метать банк. Ему понтировал Саврасов, который уже изрядно осовел от очищенной водки и на карты взирал оловянным взором. Не лучше был и Гордеев, на того напала икота, которую он решил запить пивом, но это произвело на него отягчающее действие. Он уронил карты и упал лицом на стол.

«Вот несчастье! — подумал Кротков. — Какая теперь игра, раз они мертвецки пьяны».

Саврасов продержался чуть дольше своего приятеля, сумел дойти до постели и рухнул на неё во весь рост.

— Кажется, мы переусердствовали с тобой, Степан, — сказал Борзов. — И вместо молодецкой игры вышла заурядная пьянка.

— Пора отсюда идти, — Кротков взял со стола державинский рубль. — Жаль, конечно, игры, но что делать!

— Погоди, Степан, — сказал, хитро глянув на приятеля, пиит. — Ребята спят без задних ног, их деньги на столе. Они по всему кон проиграли, если не в карты, то в винопитии. А за проигрыш надо платить. Разве не так?

— Ты с ума сошёл, Калистрат! — возмутился Кротков. — Я думал, что тебя знаю насквозь, но и не предполагал, что ты так нечист на руку. Это же грабёж!

— Значит, я нечист, — обиделся Борзов. — А ты когда успел руки отмыть? Или не ты эти карты метил?

— Я деньги не возьму и тебе не советую. Кузька нас знает. Новики к вечеру проспятся и пойдут в полицию.

Эти слова заставили пиита задуматься, но ненадолго, его осенила столь дерзкая мысль, что он не сдержался и хохотнул.

— А ведь мы можем взять у них в долг, скажем, рублёв по пятьдесят. Они, думаю, будут не против?

— Это как в долг? — удивился Кротков. — Сейчас над ними хоть из пушки пали, не шелохнутся.

— Очень просто: возьмём деньги и напишем долговые расписки. Ребята проснутся и не вспомнят, давали они деньги или нет.

— Что ж, так можно, — помедлив, согласился Кротков. — Только они сразу начнут нас нудить к отдаче.

— Не беда! — Борзов открыл сундучок одного из приезжих и, покопавшись в нём, достал бумагу. — Мы укажем срок отдачи, скажем, тридцать первое сентября будущего года, не раньше, не позже, только в этот день.

Кротков стал строчить свою расписку, а Борзов отсчитал из каждого кошелька по пятьдесят рублей. Заметив, что приятель за ним не присматривает, пиит ловко добавил к своей кучке денег ещё несколько серебряных монет.

Когда долговые расписки были сделаны, Борзов положил их в кошельки, которые затем сунул под изголовья спящих новиков.

— Можно сказать, что свой первый день в гвардии они отслужили доблестно, — вполне серьёзно произнёс Борзов.

— Доброе дело мы им сделали, — согласился Кротков. — Этот день они запомнят на всю жизнь.

Довольные своей выдумкой, они спустились в трактир, где к ним поспешил Кузька.

— Господа отдыхают. Счёт за обед они упросили взять на себя.

— Это как вам будет угодно, ваши благородия, — согнулся в привычном поклоне половой. — Лёгкого вам пути!

В дом весёлой вдовы Угловой возвращались привычными закоулками. На стольный град пали вечерние сумерки. Следовавший за пиитом Кротков споткнулся о камень, и его вдруг осенило:

— Я, Калистрат, понял, почему ты решил поставить в долговой расписке тридцать первое сентября.

Борзов остановился и недоуменно взглянул на приятеля.

— Сказал, что пришло в голову. Что-нибудь не так?

— Всё так, — заулыбался Кротков. — Всё так, окромя того, что такого числа не бывает.

– 3 –

Первым, что увидел, разлепив глаза, Кротков, была облитая лучами восходящего солнца мраморная Венерка. Он сразу понял, где находится, и сел на постели. На пол скатился листок бумаги, Кротков поднял его. Это была записка Борзова: «Здоров ты спать, Степан! Я спешу со своей пьеской к немцу, он поднимается рано, потому он колбасный князь и ваше превосходительство, а ты, соня, до сих пор солдат, хотя и гвардии...»

Кротков смял и швырнул записку в угол, затем поднялся на ноги и, отворив дверь, выглянул в коридор. Забрав приготовленные для него кувшин с водой и лохань, он вернулся в комнату и вылил воду на потрескивающую с похмелья голову. Пора было спешить в полковую канцелярию за паспортом, и Кротков заторопился. Оделся, обулся, расчесал мокрые волосы и выбежал на улицу. Знакомыми закоулками добрался до полка, взял паспорт на отпуск и почувствовал душевное облегчение. Он стал свободен от утренних побудок, построений, караулов, чистки оружия, но самое главное — от страха, что любой капрал может на него рявкнуть и поставить во фрунт. Даже неподъёмный денежный долг не отягчал его душу, в кармане у него были пятьдесят рублей и державинский рубль, который, по мнению Кроткова, споспешествовал его вчерашнему обогащению от пензенских дворян.

С высокоподнятой головой он вышел из полка и огляделся. Улица была пуста, только вдалеке катила коляска, а неподалёку от сторожевой будки стояла телега, на которой сидел мужик и, протирая глаза, смотрел в сторону Кроткова.

— Барин! Милостивец ты наш! — вдруг возвопил мужик и, упав с телеги, побежал к нему. Кротков сразу узнал своего мужика Сысоя. Не добежав шага до господина, тот упал на колени. — Три дни плутаю, как в лесу, в этом Питербурхе! Спасибо, добрые люди подсказали, где твой полк. А у нас беда, барин, беда великая, матушка твоя как есть отдала богу душу. Как раз на Николин день! И барин плох, кондрашка его разбила! Твой дядя Парамон Ильич послал меня за тобой. Велел тебе ехать в деревню проститься с батюшкой. Он плох, как бы не дожил до твоего приезда, милостивец!

Как ни одеревенел на почти четырёхлетней солдатской службе и в картёжных ристалищах Кротков, но горестное известие тронуло его душу. Он заплакал и сквозь слёзы вопросил Сысоя:

— Как же случилось такое великое горе?

— Эх, барин! — сказал Сысой. — Кабы знал, где упасть, так соломки бы постелил! Осерчала барыня на кружевницу, а та от неё пошла убегом, барыня за ней, а тут, будь он неладен, порожек, барыня споткнулась и упала, а головой об угол печи. Вот такая беда случилась. И батюшка твой плох, лежит колодой, еле глазами лупает.

— Стало быть, теперь я сирота, как есть сирота! Как мне жить без отца, без матушки?

— Какой же ты сирота, барин, — удивлённо возрился Сысой. — Мы, твои дети, крестьянишки, слава богу, живы и чаем от тебя милостей, господин. И земля твоя цела, никуда не делась, и живность всякая. А мы, рабы твои, готовы служить тебе по гроб жизни.

«А ведь и правда, — подумал Кротков. — Теперь я владелец трёхсот душ, полновластный хозяин всего движимого и недвижимого имения, ведь батюшка долго не протянет, может, и в живых его не застану».

Но радовался он недолго, карты научили его быстро считать, и Кротков враз прикинул, что наследства, даже если продать имение, вряд ли достанет, чтобы отдать долги немцу Зигерсу и десятку других кредиторов помельче. В синбирском захолустье цены на крестьян и землю были невысоки, дворяне почти не имели наличности и жили тем, что давало хозяйство в натуральном виде.

— У меня ещё письмо имеется от барина Парамона Ильича твоей милости, — сказал Сысой и вынул из-за пазухи пропотевший кислым мужицким духом бумажный конверт.

Кротков живо схватил его и сунул в карман.

— Разворачивай телегу, Сысой, — велел он. — Поедем к моему пристанищу.

Вскоре они были у дома Угловой. Здесь Кротков велел Сысою подъехать поближе к забору и располагаться, а сам прошёл в свою комнату, снял кафтан и сапоги и, присев к столу, распечатал дядино послание. Парамон Ильич был долгое время приказным служителем, в письме знал ещё старинный толк, буквы кроил одну к другой и словеса вил, как его природный норов на душу положил, без сомнений в своей правоте во всём.

«Любезному племяннику моему Степану Егориевичу!

От дяди твоего Парамона Ильича низкий поклон и великое челобитие; и при сем желаю тебе многолетнего здоровия и всякого благополучия на множество лет, от Ада-

ма и до сего дня.

Было бы тебе вестно, Степанушка, что мы все в отпуск сего письма, все, слава богу, живы и здоровы, и отец твой Егор Ильич здравствует, только совсем его кондрашка расшибла по случаю скоротечной кончины твоей матушки Ольги Игнатьевны, она недолго, болезная, маялась, но успела, заочно благословила тебя твоим ангелом да фарсульской Богородицей, а меня Неопалимой. Ну, брат племянник, мать-то у тебя и перед смертью не тароватее стала! Оставила на помин души такой образ, что и на полтора рубля окладу не наберётся. Невидальщина какая! У меня образов-то и своих есть сотня мест, да не эдаких: как жар вызолочены, а эта, брат, Неопалимая вся исчернела, ну, да и пусть, всё память.

А как матушка твоя скончалась, получил я, Степанушка, известие, что отец твой воет, как корова. У нас такое поверье: которая корова умерла, та и к удою добра была. Как Игнатьевна была жива, так отец твой и мой братец бивал её, как свинью, а как умерла, то взвыл по ней, как будто по любимой лошади. В тот же вечер и на него карачун надвинулся, перекосило его, и по всему не жилец он, Степанушка. Приезжай, друг мой, может, и застанешь батюшку в живых, да не на год приезжай, а насовсем. Сам увидишь, что дома житьё веселей петербургского, поди в отставку да приезжай домой: ешь досыта, спи сколько хочешь, не слушай тех, кто, как тетерев, всё талдычит о чести и долге. За честью, свет, не угоняешься: честь! честь! худая честь, коли нечего будет есть. Пусть у тебя не будет Егория, да будешь зато ты здоровее всех егориевских кавалеров. С Егорием-то и молодые люди частенько поохивают, которые постарее, так те еле дышат: у кого руки перестреляны, у кого ноги, у кого голова, за таких невеста ни одна не пойдет.

А я тебе, Степанушка, невесту приискал, девушка неубогая, грамоте и писать горазда, а пуще того бережлива: у неё и синий порох даром не пропадёт, такую я тебе невесту приглядел. Да я и позабыл сказать главное, что наречённая твоя невеста двоюродная племянница нашему воеводе, а это, братец ты мой, не шутка: все наши спорные дела будут решены в нашу пользу, и мы с тобою у иных соседей землю обрежем под самые гумна. То-то любо: и курицы некуда будет выпустить! То-то нам, Степанушка, разлюбезное житьё! Никто не кукарекай! Воеводе кус дадим и концы в воду, не нами грех заведён, не нами и кончится.

Жду, что ты, Степанушка, по своём приезде расскажешь, что в Петербурге деется, а то мы тут в слепоте пребываем и в догадках. Сказывают, что дворянам дана вольность: да чёрт ли слыхал, прости господи, какая вольность? Вот говорят, что всё хорошо делают, а так ли это? Нынче винцо-то в сапогах ходит: экое времечко; вот до чего дожили; и своего винца нельзя привезти в город: пей-де вино с кружала да делай прибыль откупщикам; скоро из своей муки не дадут пирог испечь. Ранее и вера была покрепче; во всём, друг мой, надеялись на Бога, а нынче она пошатнулась, по постам едят мясо да вредные книжки везут из-за моря, и всё это проклятая некресть делает, житья от немцев нет. Нынче езжай за море, а в «Кормчей книге» положено за это проклятье, коляски пошли с дышлами, и за это положено проклятье, а я по сию пору езжу в своей с оглоблями. От ума заемного порча насела на дворян, вот твой соседушка молодой барин Олсуфьев с утра надевает короткие штаны с чулками, кафтан-жюсткаре, такой широкий, что под ним со стола можно телячью ногу спрятать, а на голове кудри из собачьих волос: разве в этом дворянская воля? Приедешь, Степанушка, и просветишь меня, а пока я тебе послал с Сысойкой сто рублёв на твои нужды, возьми у раба и дай ему свою долговую запись; мы ближняя родня, поэтому сверх ста рублёв отдашь мне ещё двадцать или тридцать, это как поволишь.

За сим писавый кланяюсь и в ожидании тебя остаюсь дядя твой родный Парамон Ильич».

«Экий процентщик, а ещё родный дядя! — подивился деловой хватке родственника Степан. — А мы ещё на немцев грешим. Тут свои готовы три шкуры содрать. Ну да чёрт с ним! Шиш ему, а не сто рублёв, да ещё и с процентами».

Кротков изорвал письмо и, держа обрывки в кулаке, вышел на крыльцо и развеял их по ветру.

— Сысой! — крикнул он. — А ну, поди сюда! — мужик просунулся в ворота и встал перед барином, похлопывая глазами. — Ты что, Сысой, думаешь, в Петербурге розги не растут? Почему умолчал о ста рублях?

— Целы деньги, батюшка, целы! — испугался Сысой и, покопавшись за пазухой, достал тряпочный узелок с деньгами. — Только Парамон Ильич велел тебе их отдать в обмен на долговую запись.

— Не твоего рабьего ума дело! — топнул ногой Степан. — Подай деньги.

— Ах ты господи! — перепугался Сысой. — Бери, милостивец, только тряпку верни.

— Ты что, для меня тряпки пожалел?

— Моя Агрофена наказала вернуть, это, стало быть, из дочкиного приданого платок, без него меня со свету сживут.

— Не пропадёт твоя тряпка, — сказал Кротков и вернулся в комнату, где высыпал деньги на стол и стал весьма довольным: этих денег как раз могло хватить на то, чтобы ускользнуть из опасной для него столицы и добраться до своей деревни. А там он разживётся, у отца имелись зажитки, и они станут его по праву наследства. Может быть, и фортуна повернется к нему лицом: богатой невестой. Дядя уже одну присмотрел, да не тот колер: седьмая вода на киселе воеводе, а тому пальца в рот не клади, враз оттяпает по локоть руку, да и недолго спеет крапивное семя на воеводстве, наедет ревизия, и, глядь, бывшего воеводу босым и в железах поведут в тюрьму.

Мечтая о своей будущей жизни, Кротков уснул и проснулся от острого чувства голода и шумства, которые произвёл Борзов, вернувшись от немца с именинного пирования. Он стоял перед Кротковым, покачиваясь из стороны в сторону, на одном плече висело несколько колбас, через руку свешивалась гроздь сосисек, а другой рукой он прижимал к животу копчёную свиную голову.

— Ах, брат Степа, погуляли, так погуляли! — возгласил он, сваливая дары на стол. — Наш немец русее любого русского: и пьёт, и льёт, и пляшет! Моя пьеска повергла именинника в восторг, особливо тем, что я его нарек светлейшим князем всех колбас, бароном окороков и виконтом сосисек. И, знаешь, пожаловал меня по-княжески, окромя всего, что я принёс, велел старшему приказчику отпускать мне ежедневно полтора фунта лучшей колбасы безденежно. Да я на таких харчах русскую «Энеиду» начну складывать, ведь Сумароков передо мной всё равно как конская требуха перед ветчиной...

— Стало быть, у немца, — пробормотал, давясь колбасой, Кротков, — были именины, а у тебя поэтический триумф?

— Выше задирай — фейерверк, особливо когда немцы пошли курить трубки, а я им прочёл свои «Бабьи игрища», ты ведь их знаешь: перец, порох, а не вирши! Помнишь? «Задирай повыше, дева, кринолин свой, не таясь!..» А дальше ... черт, выпало...

— Я прилягу к тебе слева, и у нас начнётся связь! — подсказал знавший наизусть скабрезное творчество приятеля Кротков.

— Вот-вот, это самое! Немцы пришли в неописуемый раж и подарили мне дюжину виноградного вина. Но где оно? — Борзов подошёл к двери, отворил её и завопил: — Федька, чёрт, где вино?

— Здесь Калистрат Мокеевич, не извольте беспокоиться, — из-за пиита вынырнул ловкий малый и поставил на лавку корзину, из которой торчали горлышки бутылок.

— Ну, а ты как, Степан? — спросил Борзов, усаживаясь на лавку рядом с Кротковым. — Паспорт в полку взял, значит, скоро уедешь в свою глухомань?

— Нужда гонит, — сказал Кротков. — Сегодня мужик письмо привёз: мать померла, да и отец вот-вот отойдёт.

— Тогда помянуть матушку сам бог велит, — сказал, берясь за бутылку, Калистрат. — Я вот своей матери не знаю, всю жизнь среди чужих людей живу.

В молчании они собрались выпить, но им помешал громкий стук в окно, вслед за которым раздался визгливый крик:

— Вот ты, кромешник! Я ведь во сне этой ночью видела, где ты прячешься! — Кротков глянул в окно и обомлел: в нём была карга Саввишна. — На тебя, солдат, в магистрате сыскная выписана, на все заставы дадена весть, чтобы тебя из города не выпущали, а волокли к суду. Ужо Зигерс, да и я, жалостница, возьмём тебя на свой кошт в долговую тюрьму. По сухарю в день будешь от нас получать! Или заплатишь, или подохнешь!

Борзов подскочил к окну и задёрнул занавеску.

— Надо тебе, Степан, отсель бежать!

— Куда? У меня места нет, где бы приткнуться.

— Место найдём, доставай свой сундук, — сказал Борзов и, сорвав с лавки покрывало, стал увязывать в него колбасы и бутылки с вином. — Уйдём к Слепцову, он художник, живёт один. И я с тобой пойду, пережду, пока шумства утихнут.

Они выскочили на улицу, запрыгнули в телегу, Кротков вырвал из рук Сысоя вожжи и принялся охаживать ими лошадь. Та, взбрыкивая, понесла телегу прочь от дома вдовы Угловой. На Литейный проспект они влетели вскачь, едва не вперлись в карету какого-то сановника, ехавшего на шестерне вороных, в золоченой сбруе коней, но увернулись, однако кучер с высокого облучка достал их своим длиннющим кнутом, и Кроткова крепко ожгло нестерпимой болью.

— Сворачивай направо! — завопил Борзов, толкнув Сысоя. Мужик перехватил вожжи у барина и, сдержав лошадь, повернул её в переулок, где телегу начало подбрасывать и трясти на деревянных рёбрах мостовой.

Художник Слепцов жил на набережной Невы в бывшем амбаре, перестроенном

в мастерскую живописца путём пробития огромного окна в северной стороне строения. В нём он и стоял, выглядывая, не явятся ли к нему в гости с обильной выпивкой и богатой закуской. В проезжавшей мимо телеге он узрел своё спасение и кинулся на крыльцо встречать желанных гостей.

— Ну, здравствуй, собрат по творчеству и похмелью! — Калистрат крепко облапил худощавого приятеля. — Рекомендую, Яков, это солдат гвардии Кротков, а это его раб и колесничий. Мы сейчас так гнали по Литейному, что чуть какого-то сенатора не замяли вместе с его шестернёй.

— По какому случаю надо было так спешить? — разулыбался художник. — Я хоть и с похмелья, но смог бы ещё подождать.

— Дела, Яша, дела, — вздохнул Борзов. — А ты что, так и думаешь нас на пороге держать?

— Ни в коем разе! — живо воскликнул Слепцов и засеменил поперёд гостей.

В амбаре когда-то хранили царские кареты и конскую упряжь, и он был сделан основательно из соснового бруса с высоко поднятым над землёй полом и дощатым потолком. В одной стороне амбара жил художник: там, рядом с печью, стояла лавка для спанья, в другой стороне — рабочее место; там пол был заляпан красками, на стене висели картины, на полке лежали гипсы, бумага, рамки и рисовальные принадлежности. Неподалёку от окна находился мольберт с начатой картиной.

— Я смотрю, ты без дела не сидишь, — сказал Борзов, подходя к мольберту. — Кто такая?

— Ты что, не видишь, Калистрат? — обиделся художник. — Или тебе неведома эллинская богиня охоты Артемида?

— Я не про греческую ипостась сего изображения вопрошаю, — сказал пиит. — А про ту девку, кою ты срисовал.

— Всё-то тебе знать надо, озорник, — помрачнел Яков и накрыл картину тряпкой.

— Не будь, Слепцов, жадиной, я же твой друг, — сказал Борзов, обращаясь к Кроткову. — У пиитов нет обычая прятать своих пассий, а у солдат?

— Солдат любит налётом, — усмехнулся гвардеец. — Через час уже не помнит, где и с кем побывал.

— Стало быть, по-петушиному: оттоптал, кукарекнул и шмыг в кусты, — хохотнул Борзов. — Вот за это я и хвалю нашу гвардию. Однако не пора ли, други, и нам приобщиться к Бахусу? — и загорланил во всю мощь:

Борода, предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена!

— А ты что, Калистрат, знавал Михайла Васильевича Ломоносова? — спросил Слепцов. — Ведь сейчас ты его вирши прокричал.

— Знавал, Яша, знавал, — сказал Борзов. — Как тебя увидел, когда пришёл к нему со своими пиесками. Перед ним все пииты, какие есть и какие будут, — карлики. Внемли: «Открылась бездна, звёзд полна; звездам числа нет, бездне дна!» Каково? Знал бы это раньше, не взялся за вирши. Но у пиитов одна беда: они друг друга не читают.

Чарки у художника были перемазаны в краске и обкусаны по краям, но вместительны. Кротков, не прислушиваясь к беседе художника и пиита, наполнил их вином, нарезал колбасу и сел на скамью лицом к окну, из которого хорошо была видна Нева с идущими по ней парусниками, баржами и лодками. Этот вид напомнил ему, что его ждут два пути — долговая яма или бегство в синбирскую глухомань, и Кротков понурился и загрустил. Это заметил Борзов.

— Что, Степан, рассупонился, не мякни, я тебя в беде не оставлю. Яков — свой человек, дозволь, я и ему поведаю о твоём горе.

— Какая же это тайна, раз сыскные выданы полиции и на городские заставы, — сказал Кротков и приложился к чарке.

Художник выслушал повествование о злоключениях гвардейца с глубоким вниманием и вдруг неожиданно сказал:

— Тебе нужно умереть.

— Как умереть? — почти разом воспросили Кротков и Борзов.

— Что, не знаете, как умирают? — ухмыльнулся художник. — Очень просто: ты, солдат, ложишься в гроб, Борзов возьмёт в полиции свидетельство, что покойник отправлен для погребения в свою деревню. Вот и всё, господа.

Борзову предложение художника страшно понравилось, он сразу им загорелся, а Кроткову это показалось глупостью, к тому же и опасной.

— Это невозможно, — растерянно пробормотал он.

— Очень даже возможно. Два года назад я отправил мичмана Синичкина в гробу к его матушке, и ничего, жив и не кашляет, поклоны мне шлёт. Но я не настаиваю, хочешь, иди в тюрьму, — и Слепцов, закусив ломтиком колбасы, стал посвистывать.

— Нет, Степан, ты погоди отказываться, — горячо заговорил Борзов. — Затейка Якова не так уж безумна. Мы тебя снарядим покойником, я возьму в полиции подорожную на доставление тела в синбирскую провинцию, вывезем тебя за городскую заставу, выпьем за скорую встречу, и кати себе по мягкому пути. Ну как, согласен?

— У меня, кстати, и гробовщик в соседях живёт, знатные упокоилища делает из дуба, — подхватил Слепцов. — Мне он по-соседски и цену скинет.

— Ну, положим, ему дубовый гроб ни к чему, — рассудительно сказал Борзов. — Из сосны в самый раз, до заставы доедет, а далее он не нужен. Гроб брать надо самый дешёвый, рубля за полтора.

Видя, что собутыльники не в шутку решили уложить его в гроб, Кротков осерчал и, сжав кулаки, вскочил на ноги.

— Не лягу я ни в какой гроб, ни в дубовый, ни в мраморный! — возопил гвардеец. — Лучше в тюрьму пойду! — он неловко переступил с ноги на ногу и чуть не выронил чарку.

— Не лей вина, Степан, попусту, — сказал Борзов. — Говоришь, что в тюрьму пойдёшь? Что ж, иди, но не надейся, что я или Слепцов принесём тебе хоть кусок пирога. Посадят тебя немец и Саввишна, как она грозилась, на один сухарь в день, и запоёшь Лазаря, но ведь милостыню ты просить не умеешь. Тогда и про гроб вспомнишь и будешь локти кусать, что не послушал меня и Якова.

— Оставь его, Калистрат, пусть сам решает, как ему быть, — строго промолвил Слепцов. — Но долговая яма — мещанское место, а природному дворянину побывать там — великий стыд и поношение рода.

Художник уколол Кроткова в самое уязвимое место, и тот, не найдя, чем ему возразить, сел на скамью, обшарил взглядом стол и, схватив полную бутыль вина, начал из неё, не отрываясь, пить, пока не свалился на пол в хмельном беспамятстве.

– 4 –

Наступило нечастое в Петербурге погожее утро. Солнце, выбравшись из сумеречных туч, осветило столицу и бывший амбар конюшенного ведомства, где после усердного возлияния хмельного почивали художник, пиит и гвардеец.

Прозорливые сны приходят к человеку перед самым его пробуждением, и Кроткову привиделось, что на Литейном на него со всех сторон набросились магистратские служители, чтобы отвести его в суд, он стал звать прохожих на помощь, ведь среди них были солдаты, с какими он жил в одной избе, и прапорщик Державин, и капитан Неклюдов, но они его будто не видели и не слышали. Выручка пришла от невесть откуда-то взявшейся карги Саввишны, которая своей клюкой сокрушила магистратских ярыжек и объявила Степану, что в своей синбирской деревне он отыщет великий клад. «Не забудь и меня, старую, — молвила процентщица. — Будет у тебя перстень с яхонтом, так отдай его мне сразу же, а если помедлишь до моей смерти, то богатство не пойдёт впрок ни тебе, ни твоим детям!»

На этом прелюбопытном месте сладкий сон гвардейца прервал своим курецким кашлем Слепцов, который, едва продрав глаза, засмолил трубку, дыхнул табачного дыма и забился в корчах. Это шумство разбудило и Борзова, он поднялся с попоны, раскинутой на полу, и подошёл к Кроткову.

— Как, Степанушка, почивать изволил? — сказал, потягиваясь, Калистрат. — Вечор ты по-молодецки без передыху влил в себя бутыль и успокоился. Но я смотрю, ты весел, неужто царевна приснилась?

— А может, я не спал, а всю ночь думу думал, как дальше жить, — вставая с лавки, загадочно промолвил Кротков. — А сны есть не только про царевну, да такие, что дух захватывает.

— Помнишь наш разговор о том, как можно уйти из города? Другого пути нет.

— Вот и я так понял, — решительно произнёс Кротков. — Без гроба не обойтись.

— Значит, ты так твёрдо решил?

— Да, твёрдо, — сказал гвардеец. — Но тебя, Калистрат, предупреждаю: дело серьёзное, и твоих шуточек я не потерплю. Если хоть раз хохотнёшь, встану из гроба и надаю тумаков.

— Что ты, Степан, я же всё понимаю, — обрадовался Борзов. — Яков, слышишь? Яков, он согласен на гроб!

Радость пиита имела свою причину: он хотел прославиться среди виршеплётов столицы каким-нибудь безумным деянием, кое затмило бы молву о дерзких выходках пиита Баркова, анекдоты о котором были известны всему русскому свету. Борзов уже

представлял себе, как о нём будет говорить весь Петербург, и ясно слышал потешавшее его брюзжание на непутную молодёжь засевшего в Москве дряхлого Сумарокова.

— Идём к гробовщику? — спросил Слепцов.

— Погоди, вот только рожу сполосну, — заторопился Кротков и потянулся к сапогам.

— Только тебя там недоставало, — отмахнулся Калистрат. — Раз мы идём за гробом, значит, тебя уже нет. С сего часа ты для всех покойник.

— Ты возьми, Степан, возле рукомойника мою бритву и выскобли лицо, — сказал Слепцов.

— Зачем мне красоту на себя наводить? — удивился Кротков. — В гробу можно и со щетиной полежать.

— Посмотри на себя: щёки и лоб красные, хоть прикуривай трубку, а как я по щетине буду тебя размалёвывать под покойника?

— Добро, поскоблюсь, раз надо, — согласился Кротков. — А бритва у меня есть своя, и не чета твоей. Но вы не стойте, идите к гробовому мастеру.

Слепцов и Борзов вышли на улицу, повернули к соседнему дому, и вдруг пиит резко остановился.

— Денег мы с тобой, Яков, на покупку не взяли со Степана. Надо вернуться.

— Плохая примета, Калистрат, возвращаться: пути не будет.

— Какой тут путь? Вот он гробовщиков дом, — Борзов указал на ограду, за которой были видны доски и готовые гробы. — Я бы и свои деньги потратил, да ведь Кротков не отдаст.

— Отдаст, — успокоил пиита художник. — Что ему, на свой гроб рубля жалко?

— Плохо ты знаешь, Яков, людей, — ворчал, входя вслед за приятелем в калитку, Калистрат. — Иной за полушку согласен жабу поцеловать.

Гробовщик, как видно, прибираться не любил, двор был замусорен щепками и стружками. По сторонам он не глядел, строгал широкую доску на верстаке и гостей заметил, когда они подошли к нему вплотную.

— Бог в помощь, Фома Петрович, — приподнял шляпу художник. — Как здравствовать изволишь?

— Помалу здоров, — Гробовщик отложил в сторону рубанок и оценивающим взглядом окинул пришельцев. — Грех жаловаться, без дела не сижу.

— Это точно, — встрял в разговор Борзов, — в Петербурге народ долго не живёт...

Замечание пиита пришлось гробовщику не по вкусу, и он недовольно скривился. Слепцов это заметил и, толкнув Калистрата, который собирался произнести монолог о бренности бытия, острым локтем в бок, поспешил обрадовать хозяина:

— Мы к тебе, Фома Петрович, с великой нуждой. Почил в бозе наш друг солдат гвардии Кротков, и ему нужно достойное успокоилище.

— Что ж, чему быть, тому не миновать, и все мы под богом ходим, — перекрестился гробовщик. — Но если к нему далеко идти, то не пойду, ко мне заказчики скоро явятся.

— Разве это далеко... — встрял Борзов, но, получив удар локтем в бок, умолк и недовольно взглянул на приятеля.

— Зачем, Фома Петрович, тебе идти к покойнику? — поинтересовался Слепцов.

— Как зачем? Надо мерку с него снять, чтобы ему было покойно лежать.

— Вот с него и сними, — художник указал на Борзова. — Они ростом одинаковы и статью.

— Одинаковых людей не бывает. Берите по его росту, но, в случае чего, обратно гроб не возьму, что продано, то продано, — уразумев, что к нему пришли настоящие покупатели, Фома Петрович повеселел, в глазах заблестела хитринка, торговаться он любил, это была самая радостная часть его ремесла. — Извольте, господа, глянуть, — он подвёл покупателей к домовине, вырубленной из кедра. — Источает сладчайший аромат, прочность необыкновенная, тыщу лет пролежит в воде и только крепче станет.

— Мрамор прочнее будет, — заметил пиит.

— Мрамор! Мрамор! — всплеснул руками гробовщик. — Положить покойника в мрамор, всё равно что в лёд заморозить. А кедр — самое тёплое дерево из всех. Дуб тоже хорош, но не так, как кедр. А вы купите домовину и положите её в мрамор, тогда сверху будет великолепие, а внутри теплота.

— Зачем солдату кедр да мрамор? — сказал Борзов. — Нам нужен гроб, чтоб отправить его в усадьбу. Пусть там озаботятся, в чём его положить в могилу.

— Тогда вот что вам надо, — гробовщик указал на стопу плохо оструганных гробов под дощатым навесом.

— И какова цена? — поинтересовался Слепцов.

— Цена в Петербурге у всех два с полтиной, но тебе, сосед, отдам за два рубля.

— Беда мне с тобой, Фома Петрович, — укоризненно покачал головой художник. — Разве ты от меня доброты не знал?

— Это дела промеж нас и других не касаются, — резонно заметил гробовщик. — Сейчас ты гроб берёшь не для себя, а для солдата. Но так и быть, берите пару за три рубля.

— На что нам два гроба? — удивился Борзов.

— Это такая вещь, что всегда может каждому пригодиться. А за полтора рубля могу уступить вот этот.

Борзов поднял указанный ему гробовщиком гроб, поставил на попа и воскликнул:

— В нём же дыры!

— Тьфу на твои слова! Это не дыры, а сучки выпали. Они покойнику не помеха, и я с вас беру по низшей цене, по-соседски. Ну, что, по рукам?

— Плати, Калистрат, — сказал художник. — Я Фому знаю, он с этой цены не сойдёт.

Пиит неодобрительно на него посмотрел, вынул из кармана горсть мелочи и стал по копейке кидать в подставленную гробовщиком шапку.

— Каким промыслом изволите заниматься? — лукаво осклабившись, сказал Фома Петрович, намекая на нищенство покупателя.

— Под мостом с кистенём по ночам гуляю! — рыкнул Калистрат. — Таких, как ты, жила, привечаю!

— Окстись, Калистрат! — встрял Слепцов. — Расплатись, и пойдём отсель.

Пиит сыпанул всю мелочь с ладони в шапку, подхватил гроб, за край которого едва успел уцепиться художник, и они пошли к воротам. Гробовщик им вслед не смотрел, он, высыпав мелочь из шапки на верстак, стал её пересчитывать своим счётом.

Увидев в дверях избы Кроткова, Калистрат на него напустился:

— Ты зачем тут стоишь? Тебя уже нет, ты для всех покойник!

— Внушал Сысою, что ему надлежит делать, — сказал Кротков. — Боюсь, не рехнулся ли мужик после моих слов?

Через сени гроб внесли сразу в комнату и поставили на две короткие скамьи.

— Ну, Степан, ложись, — сказал пиит.

— Зачем?

— А ты что, надумал рядом с ним стоять? Ложе надо примерить, потом настелем тебе помягче, и будешь лежать.

Кротков залез в гроб и лёг навзничь, ему стало жёстко, доски были сопревшими и попахивали плесенью.

— Ну как? — спросил Слепцов.

— Просторно, только надо что-нибудь на днище настелить.

— Калистрат, возьми в чулане старую овчину и устрой гвардейцу вольготное лежбище, — сказал художник. — А ты, Степан, вылазь и ступай за мной, — возле мольберта Слепцов усадил Кроткова на скамью и взял в руки кисточку. — Сейчас я тебя, солдат, под покойника зашпаклюю.

— Ну-ка, ну-ка! — к ним подошёл Борзов. — Покажи, Яша, своё искусство, не всё тебе голых девок малевать, а потом тискать их за вымя.

Художник не ответил на подначку пиита, подошёл к Кроткову и вымазал ему одно ухо, затем другое, приговаривая:

— Уши у тебя красные, как петушиные гребни, а их надо сделать пепельными, то есть неживыми, как, впрочем, и нос, он у тебя хоть и пуговкой, но тоже изрядно пунцовый.

— Вот оно, винцо, где наружу выходит, — хохотнул Калистрат. — Но ты, Степан, смышлён. Гроб заимел, а платить за него не спешишь.

— А ты и не спрашивал деньги.

— Знай, что за успокоилище мной уплачено полтора рубля казённой медью.

— Однако же дороги стали гнилые доски, — задумался Кротков. — Может, сложимся все трое по полтине?

— Вот ещё! Надо такое надумать: я тебя перелицовал за так и ещё за гроб должен полтину! — художник бросил кисть. — Ложись в гроб наполовину выкрашенным, а то и за мою работу придётся платить.

— Не кипятись, Яков, — остановил художника Борзов. — Степан тугодум, он забыл, куда деньги вечор забросил.

Кротков начал охлопывать полы кафтана, но в них ничего не побрякивало. Взбешенный солдат свирепо воззрился на пиита.

— Куда, Калистрат, мой кошель подевал?

— На что мне твои деньги, у меня своих куры не клюют.

Кротков подхватился со скамьи и, оттолкнув пиита, побежал к тому месту, где ночевал, там он переворошил всё, что лежало на лавке, залез под неё, выпятился и опять зло посмотрел на Борзова.

— Где мои деньги?

— Что, у тебя глаз нет? Они же у тебя над головой на крюке висят.

Кротков сорвал с крюка кошель, вынул оттуда деньги и молча отдал Слепцову.

— Это за гроб. А за мою шпаклёвку сколько надо?

— Я с покойников деньги не беру, — хладнокровно промолвил художник и продолжил работу. Мало-помалу его стараниями пышущее здоровьем лицо гвардейца приобрело синевато-мертвенный оттенок, его черты заострились, на подглазья легли тени. — Неси, Калистрат, зеркало, — сказал Слепцов, накладывая последние штрихи на лицо Кроткова. — Принимай, Степан, работу.

— Разве он сможет понять, как вышло, — сказал Борзов. — Он себя не узнает. А я скажу, что ты, Степан, смотришься, как настоящий покойник. Но лучше мы сделаем так: ты ложись в гроб, а мы будем перед тобой сверху держать зеркало.

Кротков умял и поправил овчинку, лёг в гроб.

— Так, очень хорошо, — удовлетворённо пробормотал довольный собой художник. — Теперь сложи на груди руки. Очень хорошо!

Кротков взглянул в нависшее над ним зеркало и зажмурился. Художник и пиит заинтересованно ждали, что он вымолвит. Наконец Степан разлепил глаза и дрожащим голосом вымолвил:

— Я смотрюсь, как настоящий мертвец.

— Никакой ты не мертвец, а покойник. Мертвецом ты станешь, когда тебя зароют в могилу, — сказал Борзов. — Ты покойник до той поры, пока тебя не увезут из города. А там хоть пой, хоть пляши!

— Пока мы сделали полдела, — объявил Слепцов. — Главная трудность ещё впереди.

— Какая трудность? — Кротков сел в гробу и стал из него вылезать.

— Лежи там, куда тебя положили! — художник ухватил гвардейца за ворот. — Лежи в гробу и не шевелись, даже если тебе нос начнут отрезать! А мы побежим в полицейскую часть, надо подорожную выхлопотать на доставку покойника к месту погребения в синбирскую провинцию.

— Надо же! — удивился пиит. — И покойнику надо иметь казенные бумаги.

— Я мичману Синичкину по всей форме выправил подорожную, и его никто не остановил. Но для этого нужны деньги.

— И много? — почувствовав опасность своему кошельку, Кротков опять сел в гробу.

— Перестань прыгать туда-сюда, гроб разломаешь! — рассердился Слепцов. — Нужно рублей пять. Если управимся дешевле, остаток я верну.

— Черт с вами, грабители! — Кротков отдал деньги. — Вот вам восемь рублей, на сдачу купите вина. Какие похороны без поминок!

Борзов и Слепцов отошли к мольберту, где художник, гримасничая и размахивая руками, стал втолковывать пииту, что говорить в полиции. Их жаркое собеседование прервал скрип двери. На пороге, сняв шапку, стоял Сысой.

— Барин! Барин! — позвал мужик. — Ты что, уже в гробу лежишь?

— А тебе какое дело, болван, лежу я там или стою? — отозвался Кротков. — Зачем явился без зова?

— Дозволь к обедне сходить, уже благовестят.

— И не вздумай! Сейчас повезёшь господ, куда они повелят.

Сысой ещё недолго постоял на пороге, повздыхал и выпятился за дверь. Художник и пиит тем часом оделись, почистили сапоги и подошли к Кроткову.

— Ну-с, мы готовы идти на приступ полицейской части, — важно сказал Борзов.

— Как бы вас там не повязали, — засомневался Кротков. — Рожи обвислые с перепоя, перегаром смердит. А в полиции служит народ дошлый, враз по вашему виду поймут, что вы ещё те затейники, какие им в тюрьме как раз и нужны.

— Не беда, что с похмелья, беда, что похмелиться нельзя, — сказал Борзов. — Враз поймут, что мы из кабака явились, а свежепьяных полиция не любит, могут и запереть для протрезвления в холодную...

— Хватит, Калистрат, разговоры разговаривать, — перебил пиита Слепцов. — Давай, Степан, свой полковой паспорт, без него подорожную не выпишут.

— Вы с паспортом поосторожнее, — сказал Кротков. — Если потеряете, другого не дадут. В полку меня сейчас магистратские служители подстерегают.

Услышав, как забрякал засов и скрипнул ключ в ржавом замке запора, Степан с облегчением вздохнул. Он пошевелился, поднял одну руку, другую, повернулся на бок, поковырял ногтем сучок в боковой доске. Вставать ему не хотелось, на овчине лежалось и легко, и покойно. «Гроб не такое уж плохое место для спанья, — подумал Кротков. — В нём клопов нет, не то что в солдатской избе, там чуть задуют свечу, так эти твари полчищами идут на тебя со всех сторон и сыпятся с потолка. А тараканы? Говорят, что на Руси их прежде не бывало, лишь после Семилетней войны они на сол-

датах пришли из Пруссии. Мы Берлин взяли, а прусские тараканы — Петербург. Презабавная история, надо будет Борзову о сем поведать. Пусть пиит намарает пьеску о взятии русской столицы тараканами. Они ведь, поди, и на царском дворе бегают, и на государынино ложе запрыгивают, и по самым важным бумагам шныряют... А в гробе чисто, только в нём и есть человеку покой». Кротков подсунул под голову овчинный рукав и, посапывая, погрузился в сонное небытие.

– 5 –

В полицейской части самые нужнейшие дела решались, начиная с восхода солнца. Из подвала выводили захваченных во время облавы мошенников и воришек самых разных мастей и предъявляли грозному начальнику, который определял их судьбу. Нарушителей спокойствия, гусекрадов, любителей пошарить в чужих кладовках, чуланах и погребах, базарных воришек и другую разгульную и воровскую мелочь, разложив на доске между двух козел, нещадно секли розгами и выбрасывали со двора за ворота. Более серьёзных преступников после порки отправляли обратно в подвал на допрос к умельцу следственных дел. К полудню в полицейском участке воцарялась тишина, которую нарушали только зудение зелёных мух и стоны людей из подвала.

Борзов и Слепцов подъехали к полицейской части как раз в то время, когда последний высеченный воришка был вытолкнут на улицу, а мордатый полицейский с лязгом и скрежетом закрывал засовы ворот.

— Тут розгами жалуют и не скупятся, — поёжился Слепцов. — Как бы и нам под них не угодить.

— Положись во всём на меня, — сказал пиит, охлопывая кафтан от дорожной пыли. — Однако наобум мы не пойдём. Надо разведать, как в сем неприступном месте золотят начальству руку. Вот, кстати, и местный ярыжка поспешает, — и Борзов в несколько шагов догнал шедшего мимо них полицейского служителя, пошептался, сунул ему подношение и махнул рукой Слепцову. — Пойдём, Яков, всё оказалось просто.

— Ну, и как здесь взятку берут? — заинтересовался Яков. — Как бы впросак не попасть.

Они поднялись на крыльцо и по коридору зашли в комнату, где стояли посетители, один явно купчик, другой (это Борзов сразу определил по исходившему от него запаху) был колбасник, но явно не немец, а русак. Дверь начальственной комнаты отворилась, из неё, часто кланяясь, выпятился человечек и, перекрестившись, выдохнул:

— Кажись, пронесло!

Купчик с завистью посмотрел на счастливчика и стал открывать дверь комнаты, а навстречу ему раздалось:

— Тебя-то, аршинника, мне и надо!

Поначалу из кабинета еле слышно доносилась частая скороговорка купчика, который умолял полицейского офицера «войти в его положение», «пощадить», «не оставить детей сиротами», но этот поток жалких слов прервал громыхающий рык и такая замысловатая и непотребная ругань, что пиит восхитился и почувствовал гордость за необъятное богатство русского наречия. Затем послышался шлепок, как веслом по воде, и на пороге, прикрывая щёку ладонью, появился купчик.

— Что, Иван Маркелыч, крепко не в духе? — подскочил к нему колбасник.

— Свиреп, как янычар. Но помиловал.

— Нет, я сегодня к рандеву с ним не готов, — скривился колбасник и опрометью кинулся на выход.

Борзов встряхнулся, набрал полную грудь воздуха и потянул на себя дверь. Входить к начальству он наловчился и ступил в комнату твёрдым шагом, щёлкнул каблуками и с нотками подобострастия в голосе чувствительно произнёс:

— Желаю здравия вашему высокоблагородию!

Офицер был знатный человековидец и сразу определил, кто перед ним стоит.

— В чём твоё прошение? — сказал он, обволакивая Борзова туманным взором. Борзов шагнул к столу:

— Извольте ознакомиться, ваше высокоблагородие, вот отпускной паспорт солдата гвардейского Преображенского полка Степана Кроткова.

Полицейский офицер взял паспорт, прочитал его и спросил:

— Что этот солдат набедокурил?

— Хуже, ваше высокоблагородие, сей солдат почил в бозе.

— При чём здесь полиция? — удивился офицер. — Это дело полка — хоронить своего солдата.

— В этом и вся загвоздка. В полку говорят, что Кротков отпущен на год по болезни и в списках его нет, и к смерти они отношения не имеют. На смертном одре Кротков завещал похоронить его в деревне, рядом с могилами предков. Тому есть свидетели:

лекарский помощник Скороходов, он за дверью, и крепостной человек покойного мужик Сысой, тот сидит в телеге на улице.

— Стало быть, надо учинять следствие, — офицер задвигал усами и наморщил лоб. — Мужик мне ненадобен, а лекарского помощника зови.

Борзов открыл дверь и позвал Слепцова. Тот зашел в комнату с душевной дрожью, поскольку был боязлив перед всяким, даже ничтожным, начальством, и полицейский это сразу увидел:

— Говори, помощник смерти, от какой хвори умер солдат?

Слепцов беспомощно взглянул на пиита и пролепетал:

— От заворота кишок.

— Стало быть, обожрался, — задумчиво сказал офицер. — И где он сейчас?

— В покойницкой, — ещё тише пролепетал Слепцов, с ужасом понимая, что он так заврался, что дальше некуда, и, почувствовав прилив сумасбродного отчаянья, добавил: — Ему лекарь из брюха всё, что там было, вырезал и залил спиртом.

— А такие страсти к чему? — поразился полицейский офицер.

— Чтобы не протух. Его же везти надо в синбирскую провинцию, а туда два месяца пути.

— Ступай! Ты мне больше не нужен, — полицейский офицер пристально посмотрел на Борзова. — Что мне с тобой делать? С одной стороны, дело о смерти ясное, а если с другой — мутное, весьма мутное...

Борзов понял, что наступил решающий миг и чувствительно вымолвил:

— Явите, ваше высокоблагородие, человеколюбие и сострадание к ближнему.

Полицейский офицер оценивающе взглянул на просителя и пять раз ударил казанком среднего пальца по столу. Этого и ждал Борзов, он вынул пять рублей и положил их на стол. Офицер неведомо куда смахнул деньги со стола и крепко стукнул кулаком в стену. Через мгновение в комнате возник полицейский служитель.

— Выпиши им подорожную на покойника и не тяни, а то я знаю тебя, шельму!

Весьма довольный исходом дела, Борзов отправился за канцеляристом в его каморку и, пожертвовав полтинником, получил подорожную.

— Клевещут на Россию те, кто говорит, что в ней нет порядка, — заявил он художнику, который нетерпеливо поджидал его возле телеги. — К примеру, в этой полицейской части царит образцовый порядок и такие удобства для просящих: стукнул по столу начальник, и сразу ясно, сколько нужно давать на лапу. Оцени, Яков: не нужно гадать, торговаться, шептаться, опасаясь чужих ушей, считай стуки и вынимай из кармана рубли.

— У тебя сколько денег осталось от кротковских? — спросил художник.

— Два рубля с полтиной, — ответил, влезая в телегу, пиит. — Конечно, для поминок маловато, но я добавлю трешку, а ты?

— Я пуст, Калистрат, да и с чего я должен вкладывать? Ты Кроткову друг, а я в этом деле уже вложился: и гроб помог купить, и раскрасил солдата, и лекарским помощником побывал. Вот и сейчас, пока тебя не было, прочитал свежий нумер «Полицейского листка».

— Трогай! — Борзов толкнул Сысоя в бок. — Ну, и что, Яша, ты в этом листке вычитал?

— А то, Калистрат, что на Кроткова объявлена сыскная. Нам повезло, что полиция нас не взяла, а солдату теперь из Петербурга не выехать.

Пиит огорчился известием, задумался и вдруг радостно воскликнул:

— В этом листке печатают известия не только о сыске, но и об отъезжающих, приезжающих, а также о тех, кто умер: значит, через неделю будет известие, что Степан умер.

— Это его не спасёт, — остудил пиита Слепцов. — В любом случае на заставе его сцапают.

— К несчастью, ты прав, — огорчился Борзов. — Но вот и питейный дом. Кончай дымокурить и ступай за вином!

— Всегда я у тебя, Калистрат, на посылках, — сказал художник, но слез с телеги, выколотил трубку и, взяв у пиита деньги, пошёл в пьяное заведение. Скоро он вернулся с двумя штофами очищенной водки, а пиит тем временем побывал в съестной лавке и вышел оттуда с ковалком ветчины и большим кругом копчёной колбасы, не забыв прихватить для Сысоя солёного сала и полкаравая хлеба. Мужик заметно повеселел, стал покрикивать на лошадь, и скоро они были у места своего ночлега.

— Смотри, Яша, как ему хорошо, — тихо сказал Борзов, указав на Кроткова, который, сладко причмокивая, мирно спал в гробу. — Он, брат, уже того, похмелился.

— Мне тоже надо остаканиться, а то работать не смогу: дрожат руки.

— Какой из тебя сейчас рисовальщик, — хохотнул пиит. — Я вот на пьяную голову вирши не мараю.

— Сейчас моё умение покойнику как раз и будет нужно, — сказал Слепцов. — Надо подорожную исправить так тонко, чтобы к ней ни один приказной крючок не подкопался.

— А я ведь не сплю и всё слышу, — раздался неожиданно голос Кроткова, и он сел в гробу. — Я не похмелялся, но мой штоф, Калистрат, сбереги для служивых на заставе. А тебя, Яков, я не пойму, что ты задумал исправлять в подорожной?

— Беда случилась, Степан, — горестно известил приятеля Калистрат. — Твоя фамилия пропечатана в «Полицейском листке», и об этом сейчас известно на всех заставах. А что Яшка надумал сделать, я не знаю.

— Фамилию тебе надо изменить, солдат, — сказал Слепцов. — Ну-ка, Калистрат, дай подорожную.

Эта весть пришлась Кроткову не по нраву, он часто задышал, выпрыгнул из гроба и навис над художником.

— Моя фамилия идёт от тех дворян, что явились в Москву по выбору царя Иоанна Третьего, и вымарывать её я не дозволяю!

— Охолонь, солдат, — отмахнулся от Кроткова художник и ткнул немытым пальцем в подорожную. — Вот тут между отчеством и фамилией пробел, и сюда можно втиснуть две буквы.

— Какие ещё две буквы? — спросил дрожащим голосом потомственный дворянин.

— А такие, чтобы вместо Кротков читалось Некротков.

— Ну и светлая голова у тебя, Яков! — возбуждённо вскричал Борзов. — Это же твой спаситель, Степан, и перестань на него так жарко дышать!

— Но Некротков это уже не Кротков, — сказал тот, отступая от художника.

— Правильно! — обрадовался Калистрат. — Живой ты Кротков, а раз ты покойник, то Некротков. Уразумел? Ты, Яков, даром времени не трать, подрисовывай буквы, а мы устроим поминальный стол. Надо пройти заставу до темноты, ночью через неё пропускают с неохотой и придирками.

— Я за свой упокой пить не стану, — сказал Кротков. — А вот на прощанье я с тобой, Калистрат, угощусь, когда выйдем из города, и все страхи будут позади.

Художник разложил на стольце перед окном подорожную и склонился над ней с пером в руке, Степан перекладывал в своём сундуке вещи, а Борзов отрезал по несколько кусков ветчины и колбасы и налил в чарку очищенной водки.

— На поминках молчат и не чокаются, — тихо промолвил он и опрокинул в рот чарку.

— А меня, стало быть, ты забыл, — обиделся Слепцов. — Я как раз работу закончил.

Первым на исправленную подорожную поглядел Кротков, кисло поморщился и вернулся к своему раскрытому сундуку. Борзов работу художника одобрил и, свернув два раза, положил бумагу в карман. А художник был уже возле вина, налил чарку и, выдохнув, выпил, но прожевать ветчину ему не дали: сначала кто-то затопал в сенях, затем в дверях появился гробовщик. Он нашарил глазами икону, перекрестился и произнёс довольно наглым тоном:

— Вот, господа, пришёл проститься с усопшим.

Приятели, застигнутые врасплох неожиданным визитом гробовщика, растерянно молчали. Первым опамятовался Слепцов: он заметил, что взгляд гробовщик чаще бросает на штоф, чем на гроб, и налил полную чарку очищенной.

— Помяни, Фома Петрович, усопшего раба божьего Степана.

Гробовщик резво подбежал к чарке, опрокинул её в рот, жуя колбасу, вопросил:

— Где же покойник?

— Разве ты не ведаешь, Фома Петрович, что покойник лежит в покойницкой, а мы как раз собрались ехать за ним.

Гость опять покосился на штоф, но художник не пошевелился.

— Посидел бы с вами, но должен заказчик явиться. Счастливо оставаться, господа похоронщики!

— Заходи, Фома Петрович, мы в шабрах живём, должны друг с другом знаться, — художник проводил гробовщика до крыльца, дождался, пока он зайдёт в свои ворота, и вернулся в дом.

Там уже пиит отдавал приказы:

— Ты, Степан, раз собрал свой сундук, то ложись в гроб. Яшка, брось хвататься за штоф, а то гроб до телеги не донесём. Где крышка?

— Ты что, меня заколачивать собираешься? — запротестовал Кротков. — Я этому не дамся.

— Без крышки нельзя ехать, вдруг дождь, или кто спросит, где гробовое накрытие.

— Крышку после вынесем, — сказал Слепцов. — Ну что, взяли?

— Погодите, — сел в гробе Кротков. — Один штоф, половину ветчины и колбасы кладите со мной. Возле московской заставы питейный дом сгорел, там ничего не ку-

пить.

Гроб нагрузили выпивкой и закуской, пиит и художник попытались его поднять, с большой натугой сняли со скамеек, пронесли несколько шагов и опустили на пол.

— Тяжел ты, Степан, — сказал Калистрат. — Солдат ведь, сказывают, овсом кормят, с него ты и огрузнел, как бревно от воды. Яша, крикни Сысоя, вдвоём нам ношу не осилить.

Изголовье гроба взяли вдвоём на кусок холста Борзов и Слепцов, другой край нёс Сысой. Телега стояла возле крыльца, с кряхтением на неё взвалили гроб, и он встал косо.

— Я же вывалюсь! — испугался Кротков.

Сысой своим мужицким рассудком скорей всех сообразил, что нужно сделать: взял два полена и подсунул под наклоненную сторону гроба. Слепцов принёс крышку, Борзов — сундук, Сысой взял в руки вожжи.

— Яков, ты с нами?

— Не могу, — сказал художник. — Рад бы, но у меня из-за Степановой смерти работа стоит, а завтра её надо отдать заказчику.

— Трогай, Сысой! — велел Борзов. — Да не гони, всё же везёшь покойника, а не свадьбу.

Мужик шевельнул вожжами, и лошадь повлекла телегу на уличную дорогу.

– 6 –

На мостовой, покрытой ещё при основателе столицы булыжниками, имелось много бугорков, выбоин и камней, поэтому Степану в гробу было тряско. Не спасала от толчков даже настеленная под спину овчина, и ему приходилось стискивать зубы, чтобы не вскрикнуть, когда гроб вдруг подпрыгивал на телеге и хряско обрушивался вниз. Сквозь доски Кротков слышал Калистрата, который сидел на задке телеги и насвистывал весёлый мотивчик. Вдруг он перестал свистеть и обернулся.

— Крепись Степан, кажется, к нам спешит Державин! Он мне, конечно, не ровня, но тоже пиит и никогда мимо меня не проходит.

Борзов не врал, Гаврила Романович только начинал свой путь в поэзии, числил себя в учениках и не упускал случая засвидетельствовать свою приязнь к людям, уже известным на поэтическом поприще. Завидев сидящего на телеге Борзова, он скоро его догнал и поехал рядом с ним на своей каретишке.

— Желаю здравствовать, Калистрат Мокеевич! Признаться, не ждал тебя встретить в столь прискорбном обществе. Кого это ты везёшь?

— Вашего полка солдата, своего приятеля Степана Кроткова.

— Как же так! — поразился Державин. — Два дня тому он был здоров, как конь. Что же его убило?

— Опился Степан до смерти. Не вынес ваших полковых неправд, влил в себя два штофа водки и сгорел. Успел только сказать, чтобы похоронили его на родине. Вот и сопровождаю тело до заставы.

— Удивил Кротков, удивил так удивил, — сокрушенно промолвил Державин и окликнул проезжавшего мимо капитана Корсакова. — Василий Васильевич! Степан Кротков, оказывается, скоропостижно помер, а мы и не знали.

— Для меня сие неудивительно, — пренебрежительно произнёс уже вполне заражённый вольтерьянством Корсаков. — Он вёл позорный образ жизни: пьянствовал, играл в карты, наделал долгов. Он уже не нашего полка, и нам здесь делать нечего.

Офицеры, не оглядываясь, поспешили по своим делам, а Кротков злобно процедил сквозь зубы:

— Корсаков ни дня не служил в солдатах, сразу стал командиром роты и капитаном, а я почти четыре года пробыл солдатом. И не из-за того, что играл в карты и пил. Кто в гвардии этого не делает? Не было у меня сильной руки, а к Корсакову сама государыня неровно дышит.

— Никогда не жалей о том, что было, Степан, — сказал Борзов. — К тебе ли не благосклонна планида? Ты родился дворянином, это ли не счастье? Скоро станешь помещиком и живи в своё удовольствие полновластным барином, а про полк, пусть он будет трижды гвардейский, забудь, будто его и не было.

Петербург в те годы был невелик, и скоро они выехали за окраину в поле и увидели заставу — большую каменную будку и шлагбаум.

— Соберись с духом, Степан, — сказал Борзов. — Ещё пять минут страха — и ты будешь на воле.

Заставу сторожили три солдата, унтер-офицер и прапорщик. На проезжавшие мимо них телеги, направлявшиеся в город, они не смотрели, а все выезжавшие из столицы останавливали и досматривали. Телега с гробом стражу заинтересовала, из

будки вышел престарелый армейский прапорщик, которому Борзов, приняв важный вид, подал подорожную. Прапорщик её медленно вычитал и крикнул унтер-офицеру, который стоял на пороге будки.

— Посмотри, есть ли в сыскном списке Некротков!

Несмотря на летнюю жару, Кротков оледенел в своём гробу от страха и мысленно взмолился: «Господи! Пронеси мимо беду, а я, клянусь, отыщу клад и пожертвую на храм стопудовый колокол!»

С бумагой в руках на пороге будки появился унтер-офицер.

— Некроткова, ваше благородие, в сыске нет, но есть Кротков!

— А ну, дай-ка сюда сыскную. А вы откройте гроб.

Взяв бумагу, прапорщик прочитал её, затем подорожную, подошёл к телеге и уставился на Кроткова, который сразу почувствовал этот взгляд и чуть было в самом деле не умер от страха. На какое-то время сердце у него перестало биться, кровь отхлынула от лица, и он сразу стал похож на труп. Прапорщика покойницкий вид Кроткова удовлетворил, к тому же он дослуживал последние дни, и лишние хлопоты ему были не нужны. Но окончательно спасло Кроткова от разоблачения горлышко штофа, которое выглядывало наружу рядом с покойником. Прапорщик поманил к себе Борзова.

— Что это?

— Ваш штоф очищенной водки, господин прапорщик, — не растерялся Борзов и, вынув из гроба бутылку, поставил её на столбик ограждения.

— У меня во взводе были два солдата, один Быков, другой Небыков, оба из одной деревни, — сказал ветеран армейской службы, возвращая потному от страха пииту подорожную. — Проезжайте!

Борзов влез на телегу, Сысой пошевелил вожжами, и телега поехала мимо шлагбаума в поле, на дальнем краю которого темнел вершинами лес.

— Только одна беда минет, как другая тут как тут, — сказал с горестью Борзов, когда отъехали с полста саженей от заставы.

— О чём кручинишься, Калистрат? — повеселевший Кротков уже окончательно уверовал в спасенье и был готов выскочить из гроба.

— Как же мы прощаться будем? Был всего один штоф, теперь и того нет.

— Разве это беда? — спросил Кротков, приподняв голову. — А я было подумал, что за нами гонятся немец Зигерс и карга Саввишна.

— Не зови лихо, а то оно явится, — предостерёг приятеля Борзов. — И питейный дом сгорел.

Сысой с вниманием прислушивался к разговору господ и, обернувшись, сказал:

— Тут по пути недалече ямская слобода, так в ней вина хоть залейся.

— Недалече, говоришь, — оживился Борзов. — А как недалече?

— Вёрст пять али семь, — пожал плечами Сысой. — Но недалече...

— До леса версты три будет, раньше тебе, Степан, из гроба выходить нельзя, — сказал Борзов. — Там и встанем где-нибудь, Сысой, воскресим твоего барина, а ты тем временем сгоняешь в слободу за водкой.

Хотя Кротков лежал ещё в гробу, ощущение свободы уже было при нём и побуждало его к мечтаниям о неслыханном богатстве, которое неизбежно свалится на него в самое ближайшее время. «Добро бы заиметь казну сразу в миллион золотых рублей, то-то была бы потеха! Прикупил бы близ Москвы пяток сёл с крепостными людишками, завёл усадьбу с каменным домом, садом, водомётами, тремя выездами шестёрней с гайдуками. Жил бы не хуже Шереметева, нет, лучше, ярче. В карты бы не играл, зачем мне карты, когда я богат, как Демидов? А театр бы завёл, чтобы живые картины показывали...»

— Поворачивай, Сысой, на просёлок, — раздался над заплутавшим в сладких грёзах Кротковым голос пиита. — Ищи добрую поляну, там и встанем.

— Как, барин? — спросил через некоторое время Сысой. — Это место годится?

— Можно сыскать и получше, но и это ладно, — Калистрат спрыгнул с телеги и подошёл к изголовью гроба.

— Изыдие от места сего, раб божий Степане! — торжественно возгласил Борзов.

Кротков встал в гробу, простёр в стороны руки и сладко потянулся.

— Хорошо как, Калистрат, на воле, а то я несколько часов в гробу пролежал, всю спину избил и столь всего передумал!

— Думаешь, я эти часы провёл в радости? Но ты можешь отряхнуть петербургскую пыль со своих ног, а мне надо возвращаться в сумрачный град Петров.

Кротков окончательно вышел из гроба, слез с телеги и, подойдя к пииту, дружески обнял его за плечи.

— Сухим я тебя, Калистрат, не отпущу, все мои петербургские годы ты был сначала моим наставником, а потом и другом на жизненном поприще. Много чего с нами случалось, но больше приятного, ты не оставлял меня в беде, я, надеюсь, платил тебе

тем же.

От прилива чувств Борзов едва не прослезился и осипшим от волнения голосом произнес:

— Такого приятного друга, как ты, Степан, у меня больше не будет. Однако же пора посылать раба твоего Сысоя в ямскую слободу.

Кротков отстранился от пиита и поманил его за собой к телеге, с которой снял свой сундук, поставил на траву и распахнул крышку. Калистрат разулыбался шире некуда, и было отчего: в сундуке стояли два штофа очищенной водки, а от свёртка исходил дразнящий запах копчёной колбасы.

— Как ты всё это сумел сделать? — подивился Борзов. — Лежал в гробу, а всё имеешь.

— От тебя научился в первую очередь думать о своей выгоде. Пока ты с художником был в полиции, я сходил в питейный дом, а закуску сохранил из твоих запасов.

— Вижу, что моя наука и мне пошла впрок.

Кротков огляделся вокруг. За деревьями солнца уже не было видно, приближалась короткая июньская ночь.

— Сысой! Подай мне топор и распрягай лошадь.

— Зачем тебе топор? — сказал Борзов. — Его, может, у него и нет.

— Мужик без топора — не мужик. Правду я говорю, Сысой?

— Истинную правду, барин. Я без топора не выхожу из дому, без него как без рук.

Кротков сволок с телеги на землю гроб и взял в руки топор.

— Что ты, Степан, задумал?

— Не бросать же гроб целым, кто-нибудь на него набредёт, устроит шум, наедет полиция, а что дальше будет, ты и сам знаешь, — Кротков начал топором разбивать гроб и ломать доски. — А мы из него раздуем кострище, и гори моя солдатская жизнь синим пламенем!

Борзов и Сысой сняли с телеги попону и расстелили ее на поляне. Хмельное и сытное Калистрат вынул из кротковского сундука. Степан тем временем разломал гроб и кучей сложил обломки. Сысой посмотрел на работу барина и сказал:

— А ведь костёр к месту: сегодня Иван Купала.

Это известие Борзов пропустил мимо ушей, а Кроткова оно так поразило, что он выпустил из рук топор. И было отчего ему так взволноваться: последние дни он и думать не мог ни о чём другом, как о захороненном невесть где для него богатстве. Но чтобы найти клад, нужно иметь цветок папоротника, а тот цвёл только на Ивана Купала. Кротков знал, что папоротников цвет даётся в руки далеко не каждому, может, одному из сотен тысяч охотников за ним, но сегодня ему везло как никогда в жизни: он ушёл от долговой тюрьмы. И почему бы этому везению не продлиться до первой утренней звезды?

Борзов тронул приятеля за плечо, но он так задумался, что его пришлось тормошить.

— Скажи, Калистрат, — очнувшись от дум, сказал Кротков, — в какой час расцветает папоротник?

Пиит недоуменно на него взглянул и покачал головой.

— Ты же не малое дитя, Степан, а солдат гвардии, зачем тебе верить в детские сказки? Папоротник не цветёт.

— Как это не цветёт? — подал голос Сысой, который, привязав лошадь на длинный повод к дереву, подошёл к телеге. — Коли бы не цвёл, так народ его и не искал. Лет десять тому в Малой Кротковке молодой мужик Егорка сорвал папортниковый цвет, и все его видели.

— А дальше, дальше что? — нетерпеливо вскричал Кротков. — Дался ему клад?

— Эхма, барин, — вздохнул Сысой. — Цветок у Егорки был, а где клад лежит, он не знал.

— Что с цветком стало?

— Как что? Осыпался прахом, он больше одного дня не живёт. А Егорка после этого зачах и отдал богу душу.

— Вот видишь, Калистрат, — сказал Кротков. — Папоротник цветёт и, может быть, сегодня близ нас свершится это чудо. Папоротника вокруг поляны — заросли.

— Не узнаю тебя, Степан: водка выдыхается, колбаса и хлеб сохнут, а ты всё бредишь о каком-то чуде. Пора бы выпить.

— Сысой, неси свою чарку, — сказал Кротков, и мужик будто ждал этого слова и тотчас вытащил из-за пазухи глиняную посудину. Кротков наполнил её до краёв водкой.

— Ты меня сегодня порадовал, выпей и ступай в сторону, — он сел рядом с Калистратом на попону и взял чарку. — Может, поедешь со мной и поживёшь в моей Кротковке этот год? На усадьбе есть добрая гостевая изба, я к тебе приставлю для вся-

ких надобностей сдобную девку, захочешь — и двух. Будешь вирши марать, захочешь развеяться, так у нас добрая охота, можно всякого зверя брать, зимой по гостям станем ездить или в Синбирск махнём, туда многие дворяне съезжаются на зиму с семьями. Может, присмотришь себе невесту с приданым и заживёшь синбирским помещиком.

— Рад бы в рай, да грехи не пускают. Я родился в петербургском муравейнике и другой жизни не знаю. Здесь я, как мурашек, пошныряю в многолюдстве и само собой свою крошку хлеба заимею, — пиит взялся за штоф и вновь наполнил чарки. — Лучше вспомни, Степан, как мы впервые сошлись, это ты не забыл?

— Вот за это не грех и выпить! — оживился Кротков. — Доброе дело ты мне сделал, Калистрат, когда обнёс меня на пятнадцать рублёв в карты. Но ты меня не кинул, от тебя я научился всем картёжным хитростям, познал приятную жизнь. И не наша вина, что процентщики, немец да карга Саввишна, её порушили. Век буду помнить, Калистрат, твою доброту!

Пиита слова приятеля тронули до глубины души, он опрокинул в рот чарку и упал на попону, скрывая увлажнившие его глаза слёзы. Кротков развалился с ним рядом и тоже затосковал, потому что покидать стольный град ему не хотелось, в нём бы он согласился вести до смерти жизнь картёжного игрока и кутилы, рисковать ежечасно головой. А теперь нужно затвориться в усадьбе и видеть каждый день одни и те же постылые лица и слушать брюзжание Парамона Ильича об упадке веры и порче нравов.

Вечерние сумерки сгущались, вот уже неподалеку ухнул филин, и потревоженная лощадь на всю длину повода приблизилась к людям, затрясла головой и зафыркала. Кротков встал с попоны и подошёл к куче изломанных досок гроба.

— Сысой, ты живой?

— Как же, барин, живой, придремал вот чуток.

— Разожги костёр, уже сумеречно.

Сысой высек кресалом в сухой мох и жухлую листву огонь, лёгкий ветерок быстро раздул пламя, и оно охватило доски, заплясало на них и устремилось ввысь, выстреливая искры. Костёр отогнал от себя потёмки, но там, где кончался свет, темнота становилась гуще и непрогляднее, деревья пошумливали своими верхами тревожнее и загадочней, и Кротков опять вспомнил о своём:

— Сысой, а в какой час расцветает папоротник?

— Бают, что в полночь, а так или нет, не ведаю.

Борзов потряс вниз горлышком штоф, убедился, что он пустой, и взял в руки полный.

— Удивляюсь тебе, Степан, — сказал пиит, наполняя всклень чарки. — Не вздумал ли ты идти за цветком папортника?

В голове у Кроткова крепко пошумливало, но и на ногах он стоял крепко и, казалось ему, мыслил здраво.

— Вот сейчас выпьем и пойду!

— Правильные слова, — в голосе Калистрата слышалась усмешка. — Цветок и надо искать на хмельную голову. Трезвый его никогда не увидит, — они чокнулись и опорожнили чарки. Борзов удержал покачнувшегося приятеля и сказал: — Найдёшь ты цветок, но клада у тебя нет, а он цветёт всего день. Сейчас идти нет никакого толку.

— А я хочу увидеть, какой он, папоротников цвет, — Кротков отодвинул пиита и, пошатываясь, пошёл прочь от костра.

На краю поляны стоял частый молодой осинник. Степан, цепляясь одеждой за ветки, пробрался сквозь него, вышел в мягкое мшистое место, где, освещённые полной луной, росли папоротники. Кротков, перед тем как войти в них, оглянулся, но костра не было видно, и он, жадно приглядываясь ко всему, что ни блеснет, двинулся по заповедному месту. Вдруг что-то перед ним зажглось, Степан, выпучив глаза, поспешил к огоньку, но он сгинул, и тотчас зажглось что-то в другом месте. Кружение по поляне привело к кружению в голове, Кротков почувствовал, что его не держат ноги, и опустился на мшистую землю на листья большого папоротника, уронил голову и сразу уснул.

Борзов в ожидании приятеля пропустил пару чарок очищенной, вошёл в поэтический раж и, разбудив Сысоя, до рассвета кричал ему в уши свои вирши, пока не свалился на попону. Сысой углядел штоф, побултыхал его и, достав из-за пазухи свою глиняную посудину, наполнил до краёв, перекрестился и опорожнил её досуха.

— Сладка господская водка, — под нос себе промолвил мужик. — Что ж, Сысой, пора приволочь барина и погрузить его на телегу. Надо поспешать, а то мы до белых мух не доедем до Кротковки.

Глава вторая

– 1 –

В конце декабря 1772 года, когда Степан Кротков ещё не возмечтал о кладе и в своих самых сумасбродных мыслях не имел намерения гоняться по ночному лесу за цветком папоротника, по дороге из Сызрани на Синбирск ехали трое мужиков в застланных рядном розвальнях. Один мужик лежал в санях ничком, это был Емельян Пугачёв, схваченный неделю назад в Малыковке за крамольные речи в оренбургских станицах; двое других — караульщики, мещане Попов и Шмоткин, наряженные, в свою очередь, сопровождать злоумышленника до Синбирска. В руках они держали комлястые берёзовые дубинки. Наряд на этап отвлёк их от рождественских праздников, и караульщики были злы на арестанта.

— Слышь, купец! — сказал Попов. — Ты убежал бы от нас, что ли.

— Что, ребята, отпускаете? — Пугачёв повернулся на бок и заскрипел зубами — в малыковской канцелярии его нещадно били батогами, добиваясь от него правды: кто он такой, какого звания, откуда явился? Мужики заржали.

— А что, беги! Ужо мы тебя попотчуем дубинками, бегуна!

Емельян, едва сдерживая стон, приподнялся. Второй караульщик, Шмоткин, был сердобольнее:

— Что, крепко досталось от управителя канцелярии?

— Да, щедро пожаловал. Век помнить буду.

Попов, подхватив дубинку, соскочил с розвальней и пошёл рядом.

— Я не глухой, слышу, что у тебя за пазухой побрякивает. Слушай, купец, дай нам по сто рублей, мы тебя отпустим.

Пугачёв подивился, что его считают купцом, но смекнул: караульщики неграмотные, и о том, что прописано о нём в подорожной, не ведают. Купец так купец! Темнота да неведенье всегда на руку ловкому человеку.

— Пожалуйте, отпустите! — жалобно произнёс Емельян. — Я вам готов каждому по сто рублёв дать, да все мои деньги у отца Филарета. Отпустите меня и поезжайте к отцу Филарету, он вам отдаст.

— Ишь, что надумал! — вскричал Попов и ударил дубинкой по краю розвальней. — Так и отдаст. Нашёл дурней!

— Я письмо ему напишу, он мою руку знает. Я у него оставил четыреста рублёв, берите всё.

— Может, правду говорит? — задумчиво произнёс Шмоткин. — Что делать?

— А ничего. Довезём до Синбирска, там ему спину ещё раз прострочат!

— Если отпустите, как сами спасётесь? — спросил Пугачёв.

— Не твоя печаль! Ты деньги давай. А мы привезём тебя в Собакино, не знаешь тамошних? Мужики лихие, недаром говорят промеж собой купцы: «Проедешь Собакино, служи обедню!» Отобьют тебя у нас, об этом в Сызрани и заявим. Так что давай деньги!

В узелке за пазухой у Пугачёва был всего рубль, денежками и полушками. В Сызрани он завернул в бумажный обрывок двадцать копеек и сунул Попову.

— Вот червонные, только отпустите меня.

Попов оказался догадливым, развернул бумажку, швырнул полушки в бороду арестанта и огрел его дубинкой. Пугачёв подобрал деньги и отдал Шмоткину, чтобы тот купил вина.

— Пожалуйте, люди добрые, — гнул своё Емельян. — Отец Филарет отдаст деньги, за ним четыреста рублёв.

Огромная стая ворон с ором сорвалась с заснеженных деревьев и устремилась ввысь. Пугачёв поднял голову и увидел в небе большую сову. За ней и устремились вороны, охваченные злобой к одиноко летящей птице. Некоторые почти долетали до совы, чтобы клюнуть её, но она делала несколько взмахов и поднималась выше. Устав от погони, вороны, как копоть, осыпались на вершины берёз.

До того, как оказаться на Сызранском тракте в розвальнях под охраной, Пугачёв жил нескучно. Побывал в Прутском походе против турок, воевал, ничем не разжился, но был нещадно бит плетьми своими же станичниками по приказу полковника Денисова за потерю лошади. Отпущенный на побывку, в своей станице Зимовейской он не зажился, ушёл на Сунжу и стал подбивать тамошних казаков на уход к турецкому султану, уверяя, что тот осыпет их милостями, не хуже казаков Игнатия Некрасова, переметнувшихся к туркам после булавинского бунта. Оттуда он, не вспоминая о семье и будучи дезертиром (казаки находились на постоянной службе), ушёл к расколь-

никам в Польшу. Через несколько месяцев ему там наскучило, и Пугачёв отправился в Россию. На пограничном посту Емельян выдал себя за раскольника, направляющегося на Иргиз в староверческий монастырь. Его поместили в карантин, и когда через два месяца он предстал перед начальником пограничного поста, тот держал в руке лист орленой, то есть гербовой бумаги.

— Грамоту знаешь? — спросил секунд-майор.

— Не научен сызмала, а сейчас не до неё.

— Тогда слушай: «Оный Пугачёв имеет волосы на голове тёмно-русые, усы и борода чёрные с сединой, от золотухи на левом виску шрам, ниже на правой и левой щеке две ямки от золотухи, рост 2 аршина, 4 вершка, роду 40 лет».

Согласно подорожной, Пугачёв должен был следовать в Синбирск, но не доехал, остановился в старообрядческом монастыре Введения Богородицы на Иргизе, близ Мечетной слободы, где настоятелем был отец Филарет. Оттуда он с неким торговцем Филипповым отправился на Яик, где были сильны бунтарские настроения после недавнего выступления казаков. Хотя Пугачёв был мал ростом, но мысли имел большие — поднять бунт, какого ещё не бывало на Руси.

Прибыв на Яик, он остановился у казака Пьянова и в этом доме сделал решающую пробу будущего предприятия. «Как узнали, что царь? Очень просто: жил он на Яике у простых людей, не в палатах, а в предбаннике. Каждую ночь, бывало, свечку перед образом затеплит и молится. Однажды хозяева и подслушали: читает он канун заздравный своему сыну, царя-наследника Павла Петровича величает своим рождённым чадом. Хозяев как-то колотушкой по лбу огрел, и разнеслась об этом слава по округе».

Идея самозванства тогда витала в воздухе. Внезапная смерть царя Петра III, едва вступившего на престол, породила в народе толки, что он чудесным образом спасся. К этому добавлялся слух, что царь «объявил волю» всем крестьянам, хотя объявленная им в действительности воля касалась только дворян. И Пугачёв был не первым самозванцем, у него оказались неудачливые предшественники.

Объявив себя у казака Пьянова императором Петром III, Емельян Пугачёв, возможно, счёл свой поступок несвоевременным и уехал обратно в Малыковку, где его спутник Филиппов донёс о самозванстве Пугачёва начальству.

Правитель малыковской канцелярии, когда ему предъявили Пугачёва, увидел мужика-маловеска, помятого лапищами караульных, когда они его хватали. Пугачёва крепко били батогами и отправили по этапу как заурядного преступника в Казань, не разглядев в нём злодея, который скоро сядет на белого коня, и вокруг него забурлят разбойные толпы, и народ станет почитать его государем Петром III, дарующим всем крепостным рабам украденную у них дворянами волю.

Емельяна Пугачёва привезли в Синбирск поздним вечером 28 декабря 1772 года. На городской заставе сани остановили, проверили подорожную и записали имена приезжих. Попов был в Синбирске неоднократно, и дорогу среди снежных бугров и домишек знал хорошо. Вечер был морозным. Откликаясь на скрип полозьев по снегу и всхрапывание уставших лошадей, почуявших близкий отдых, заполошно лаяли собаки. Из печных труб вставали ясно видимые на тёмном небе светлые дымы, в окошках домов предместья кое-где пробивались отблески света. Распахнулась дверь кабака, из него вывалился босой, в рубахе до колен пьяный мужик. Засунув пальцы в рот, он засвистел, приплясывая и кривляясь.

— Загулял парень! — завистливо вздохнул Попов. — Слышь, Емельян, я поговорю с подъячим, так он постарается о тебе. Вестимо, ему деньги нужны.

— Отпустите меня и поезжайте к отцу Филарету, он вам деньги отдаст.

— Эк, заладила сорока про Якова! А если денег нет, а тебя Митькой звали? Тут другая беда: поздно приехали, канцелярия закрылась, поедем на постоялый двор.

В большой избе с крохотными оконцами и закопченным потолком по случаю Рождества приезжих было много. Все они, завернувшись в полушубки и тулупы, лежали вповалку на грязном полу. Воздух в избе был спёртым и густым от сырых овчин и грязных мужицких тел. Пугачев, запахнувшись в тулуп, лег на пол, рядом с ним устроились караульные.

«Куда-то теперь кривая выведет, — думал Пугачёв, погружаясь в тяжелый сон. — Было бы лето, ушёл хоть сейчас, а куда зимой денешься? Да и нездоров я, жар во всем теле, спина после батогов как варом облита... На Яике можно было остаться, Пьянов ко мне с полным доверием. Нет, что-то толкнуло: уходи, не время ещё. Вот и попал, как баран...»

Постоялый двор просыпался рано. Да и какой отдых? Клопы одолевали, мужики всю ночь чесались, ворочались с боку на бок, редкий счастливец храпел так, что лампада на божнице того и гляди потухнет. Ещё темь на дворе, а все уже на ногах, кто пошёл к возам проверять, цела ли поклажа, кто примащивался к столу с пирогом. Проснулся

Попов, ткнул Пугачёва в бок: вставай. Тот открыл глаза, закряхтел, поднимаясь с пола.

— Пора тебя, Емельян, в канцелярию сдавать.

— Выгоду свою упускаете. Поезжайте к отцу Филарету...

— Эвон чего захотел! Слово за тебя подъячему замолвлю. Да, ты шубу свою здесь оставь, я после тебе принесу, а то в канцелярии с тебя снимут.

— Как я по морозу голый пойду?

— Не беда, канцелярия рядом.

И правда, синбирское управление судом и расправой было через два дома. В сенях Попов оставил Емельяна с Шмоткиным, а сам, сняв шапку, нырнул в дверь. Пугачёв прислонился к тёплому углу печи и закрыл глаза. Встреча с синбирским правосудием его страшила. Вдруг опять батогами бить начнут?

Попов высунулся из двери.

— Заходи, друг ситцевый!

В комнате за конторкой, на которой лежали бумаги, с гусиным пером за ухом стоял канцелярист Евграф Баженов, худой и костистый, с измождённым питием хмельного лицом. Взор у него был острый и горячий, на Пугачёва он посмотрел так пронзительно, будто ужалил.

— Экий махор! Прочитал про тебя — подумал увидеть льва рыкающего. А тебя соплёй перешибить — плевое дело!

— Я пойду? — искательно спросил Попов.

— Иди! От нас голубь не улетит.

— А моя шуба? — Пугачёв взглянул на канцеляриста. — У меня шуба на постоялом дворе.

— Тотчас принесу! — Попов нахлобучил на голову шапку. — Жди, я сейчас! — и выскочил за дверь.

Баженов сделал несколько шажков по комнате, вернулся к конторке, достал из-за уха перо, почистил о свои волосы.

— Знаешь, что это? — спросил канцелярист и указал на тяжёлую скамью в углу и пук батогов.

— Знаю. Всю спину ободрали.

Баженов сделал задумчивый вид, пошелестел бумагами, затем огненно воззрился на Пугачёва:

— О тебе просят. Так есть ли у тебя деньги?

— Деньги у отца Филарета. Я напишу письмо, он мою руку знает...

— Интересно! Какой затейник! — Баженов вышел из-за конторки и приблизился к арестанту. — Ты грамоту знаешь? Вот тебе бумага, перо — пиши своё имя! — Пугачев опустил голову. — Долгополов! — заорал канцелярист. — Поди сюда! — в комнату вошёл сутулый мужик с длинными руками, одетый в овчинную безрукавку. Встал напротив Пугачёва и посмотрел на него тяжёлым взглядом. — Побудь с ним! Я схожу к правителю канцелярии.

Баженов схватил с конторки бумагу, сопровождающую арестанта, и скорым шагом вышел вон. У Пугачёва отпустило душу, он думал, что его сейчас бросят на скамью, но нет, обошлось.

Канцелярист скоро вернулся, встал за конторку, затем взмахом руки отослал Долгополова.

— Итак, денег у тебя нет, а если бы и были, то отпускать тебя не след! Ты на государя клепаешь! За это тебе базарная казнь кнутом и ноздри вырвут. Твоё дело ушло к воеводе Панову.

— Шубу мне надо, — сказал Пугачёв. — Попов шубу с меня снял, сказал, что здесь в канцелярии отнимут.

— Так и сказал?

— Его слова. Я поверил.

— Вот сволочь! — Баженов закипятился. — Вот говорят, что наш народ — баран. А этот Попов? У тебя шубу увёл, меня твоими деньгами заморочил. Ну, ладно! Армячишко я тебе найду, голым ходить не будешь. А Попову сотню батогов правитель тамошней канцелярии отвесит. Я ему напишу.

Долгополов подвёл Емельяна к каморке, где была навалена куча одежды, взял рваный армяк и бросил арестанту. Затем они вышли на оживлённую улицу, свернули за угол и оказались во дворе синбирской тюрьмы.

— Кто таков? — спросил, смрадно дыхнув на Пугачёва, тюремный смотритель.

— Держи за Баженовым, — велел Долгополов. — Без него никого к нему не допускай.

Пугачёва держали в тюрьме, не выпуская на улицу за подаянием. Но было Рождество, и в тюрьму от горожан поступали щедрые милостыни: рыба в разных видах, яйца, пироги с мясной и рыбной начинкой, с капустой, питьё — квасы ягодные и сбитень.

Тюрьма на святках наедалась впрок, от пуза. У кого были деньги, те через караульных покупали вино. Смотритель на эти проделки не обращал внимания, ему от тюрьмы неплохо перепадало на вкусное житьё.

Бродяг и татей Пугачёв сторонился, выбрал себе место возле степенных мужиков, раскольников. Те, узнав, что Емельян с Иргиза от отца Филарета, расспросив и удостоверившись, что он знает многих из староверческого монастыря, приняли его в свой круг. Вечером, сблизившись головами, тихо разговаривали, а больше слушали бывальщины Антипа, обошедшего все раскольничьи обители в России.

— Зря болтают, что пря у анпиратора с Екатериной Алексеевной пошла из-за заморской прынцессы. Гулял он, но не с прынцессой, а с российской дворянкой, прозваньем, как бы не солгать, Воронцовой. Она была питерская, дочь какого-то енерала ли, графа ли, князя ли, — харошенько не умею сказать, но то верно, что она была наша, а не заморская прынцесса. Как донесли шапионы матушке-царице, что он прохлаждается на корабельной пристани с своей возлюбленной, с Воронцовой, она, царица-то, не стерпела и сама туда побежала. Пришла к нему и говорит: «Не будет ли гулять? Не пора ли домой?» А он ей говорит: «Давно ли яйца стали курицу учить? Пошла домой, покуда цела!» Она было ещё заикнулась что-то сказать, да он не дал: затопал ногами, зацыкал на неё, она и убежала домой. Пришедши домой, созвала к себе Орловых, Чернышёвых и других, кто её руку тянул, подняла из церкви образа, отслужила Господу молебен, присугласила полков пять гвардии, привела их к присяге да и надела на себя царскую корону и сделалась анператрицей, повелительницей всей анперии замест Петра Фёдоровича. А на корабельную пристань послала строжайший именной указ ко всем корабельщикам, чтобы они отнюдь его к себе не принимали. А он, вишь ли, хотел с Воронцовой-то бежать на корабле в иную землю, знамо, к приятелю своему, пруцкому королю, — ведь закадычные друзья были, — да не мог бежать: ни один корабельщик не взял на корабль, все застращены были. Царица-то в указе писала: «Кто-де осмелится это сделать — велю-де того догнать и злой смерти предать!» Так он и остался на нашем берегу, словно сокол с подрезанными крыльями. А около дворца государыня караулы расставила, чтобы и близко не подпускали его, велела стволами бить. На другой день под вечерок он и взаправду пришёл было к ней, да караулы не дремали, не допустили его, едва-едва и сам-то ноги унес. Спервоначала бросился было опять на корабельную пристань, а и там получил то же, что и во дворце: знаешь, именным указом царица застращала корабельщиков. Куда деваться? Никуда больше, как итти переночевать в загородный дворец: там ещё этого дела не знали. И удалился он в загородный дворец. На другой день, помня присяжную должность, к нему приставали полк ли, два ли гвардии. С этими полками он и хотел супротивляться царице, однако сила её силу его преодолела. Она со всей гвардией и со всей антиллерией, а у него ни одной пушчонки не было, выступила супротив него, учинила с ним за городом сражение и победила — ловка была! А самого его в полон взяла, словно турка, и в том же самом загородном дворце под караул посадила. Какова? Нечего сказать, ловка. Посадимши его под караул, велела отпускать ему по царскому окладу жалованье, а воли ни на один пядень не давать, никуда за порог дворца не выпускать его и к нему никого не допускать, кроме троих прислужников да караульного офицера. И тут же, при всех енералах и сенаторах, при всем духовном чине, обязала его подпиской, взяла с него по форме запись в такой силе, чтобы ему в царство не вмешаться, а быть бы век по веки отставным царём, а царствовать ей одной. Волей-неволей он и покорился и дал за своей рукой такую запись... — Антипа умолк и заворочался на полу.

— А далее-то что было? — нетерпеливо спросил Пугачёв.

— Далее? Погоди торопить, — сказал Антипа. — Вот только в шубу завернусь, а то по полу дует. В ту пору, как он содержался в заключении, — продолжал Антипа, — близкие-то к государыне енералы и графы, эти Орловы и Чернышёвы и иные прочие ненавистники Петра Фёдоровича, разными обиняками советовали государыне извести его, чтобы, знаешь, не вышло чего после. Чтобы не было, знаешь, какой придирки от иных царей и королей, его сродников, особенно опасались пруцкого короля Фридрика — ведь приятель был нашему-то, Петру Фёдоровичу-то. Однако государыня, отдать ей справедливость, не поддалась, не согласилась. Да и как, в самом деле, согласиться на такое беззаконие? Ведь какой-никакой, а всё-таки он муж, а всё-таки он царь, помазанник Божий, дело великое! Да и царевич, Павел Петрович, был уже на возрасте... По этому самому она и берегла его, крепко сторожила, чтобы не вышло какой пакости от Орловых. И просидел он в заточении — ни мало ни много — ровно семь годочков. Хоша он содержался и не в настоящей тюрьме, в каких содержатся колодники, а в палатах, и ни в чём не имел недостатку, примерно, ни в питьях, ни в яствах, ни в другом в чём, всего было вдоволь, однако несладко же ему было сидеть. Первое — царства лишился; второе — свободы не имел. Не мимо, видно, говорится: крепка тюрьма, да чёрт ли в ней. На восьмом году уже вырвался из заточения и узрил свет Божий.

— Как же он вырвался? — спросил Пугачёв.

— Добрые люди помогли. Ведь и у него были кой-кто доброжелатели. Вот они-то и выручили его из заточения. Опоили ли чем сторожей или подкупили казной, верного не умею сказать, а только одно знаю: добрые люди выручили его. Выбравшись на волю, он и бежал прямо к пруцкому королю Фридрику, да ничего от него не получил. «Есть когда не дал бы ты запись, я б беспременно за тебя вступился, — говорит Фридрик Петру Фёдоровичу, — ведь всё-таки, — говорит, — ты мне приходишься сродни маленечко. А теперича, — хошь гневайся, хошь нет, твоя воля, — ничего не могу в удовольствие твоё сделать, сам, чай, знаешь. Вот она, бумага-то печатованная, — говорит Фридрик, — ничего супротив неё не поделаешь. Она, батенька, не в пример умнее нас с тобой, даром что женщина: на кривой лошади не объедешь. Взямши от тебя такую запись, чтобы тебе не вступаться в царство, она, — говорит Фридрик, — тот же день велела напечатовать её да и разослала по всем царям и королям, чтобы всяк ведал, а ко мне, — говорит, — прислала две, мало, видно, одной-то. Вот возьми, читай! Пожалуйста, не проси меня: ничего не могу сделать, сам знаешь наши уставы: коль скоро кто из владык земных откажется от царства и даст в том на себя запись, то век по веки должен оставаться без царства, по той самой причине, что царское слово свято, во веки веков нерушимо, не нами узаконено. Есть когда, к примеру, я за тебя вступлюсь, — говорит Фридрик, — то на меня вся Европия запияет, а одному супротив всех итти нельзя. Советую итти к турку, — говорит Фридрик, — он орда, нехристь, для него закон не писан; може, он не посмотрит на твою запись, да едва ли и есть она у него; а я, — говорит, — секретным манером, сколько смогу, буду вспомоществовать тебе и деньгами, и иным чем, в чём нужда будет, а армии, — говорит, — дать не могу». Вот такими-то словами и улещал Фридрик Петра Фёдоровича, — продолжал Антипа. — А на самом-то деле, толковать ли, его не запись страшила, а страшила сама матушка Катерина Алексеевна. Ведь она хоша и женского пола, а всех королей побивала: умна больно.

— А где он сейчас, Петр Фёдорович? — спросил Пугачёв, которого рассказ раскольника заинтересовал до сердечного колотья.

— Бог его ведает, — ответил Антипа, примащиваясь поудобнее. — Можа промежду нас, грешных, ходит.

Тюрьма гомонила: в одном углу ругались, в другом молились, в третьем плакали. Пугачёв всего этого не замечал и был погружён в думу. Он не ведал своего будущего, но чувствовал, что его захватило какое-то ознобное течение и несёт неведомо куда. Мысль объявить себя спасшимся императором Петром Фёдоровичем его уже не пугала, Емельян с ней сжился. Конечно, размышлял он, лучше бы стать мужицким царём Емельяном Первым, но наш народ — баран, ему царя подавай из иноземцев, своего ему на дух не надо.

Утром 31 декабря 1772 года за Пугачёвым пришёл канцелярист Баженов и с ним два солдата из гарнизонного батальона. Емельяна вывели во двор и толкнули в сани. Один солдат сел на передок саней, другой рядом с Пугачёвым.

— Трогайте, с богом! — махнул рукой канцелярист и огненно взглянул на Пугачёва. — А тебя, сирота, Казань с кнутом да щипцами ждёт!

– 2 –

В дороге Кротков оставил свои петербургские шалости: не играл в карты, не куролесил с попутными собутыльниками, но удержал себя только до Валдая. Там он попал в сети известных на всю Россию бесстыжих ямских девок, а те, как проведали, что он при деньгах, так заперли его в свою гулевую избу и в исподних портках держали отпускного гвардейца в плену, пока наскучивший ждать своего барина верный Сысой не выломал дверь и отважно не спас своего господина, истощённого питием хмельного и любовными игрищами, от неминуемой смерти.

Кротков посчитал, во сколько ему обошелся Валдай и ужаснулся — в карманах было пусто. Он долго смотрел на широкую спину Сысоя, который, посвистывая, правил лошадью, и отыскал выход.

— Сысой, а ведь не может быть, чтобы у тебя не было денег?

— Откуда, барин, у мужика деньги? — зябко поёжившись, ответил Сысой. — Что было, давно растряс.

— А ведь ты врёшь, подлец! — вскричал Кротков. — А ну, останови лошадь! — он спрыгнул с телеги и подошёл к её передку. — Как тебе не стыдно, Сысой! Ведь у тебя за пазухой деньги есть, а ты, я знаю, решил меня уморить голодом. В этом селе, что мы проехали, бабы навязывали варёные яйца, можно было и петуха купить, котёл у тебя есть, так ты только на баб кнутиком замахивался, мол, прочь с дороги. Ну, что ты на это скажешь?

Сысой долго молчал, кряхтел и ёжился, наконец, разомкнул ржавый замок бороды:

— Нет у меня денег, барин.

Эти слова ужаснули Кроткова, но ещё крепче обидели, он шмыгнул носом, отступил от телеги на шаг и зачем-то обхлопал штаны.

— Я знаю, что ты от меня хочешь, ты решил надо мной позабавиться, тогда я сейчас перед тобой преклонюсь!

Сысой оказался проворней, он успел так ловко упасть с телеги на землю, что барин встал коленями на мужичью спину.

— Я тебя не зашиб? — участливо спросил Кротков.

— Живой. А денег у меня девяносто копеек, для твоей барской милости это не деньги, но на хлеб до Москвы хватит, а как далее поедем, не знаю.

— Как не знаешь! — радостно вскричал Кротков. — Там живёт моя тётушка, покойной маменьки сестрица, Агафья Игнатьевна.

Москва встретила изрядно отощавших путников хлебосольно: бездетная тётушка от радости встречи с любимым племянником собрала такое богатое угощение, что у Кроткова глаза разбежались от обилия яств. Сысоя усадили на кухне, и он там был удовольствован кухаркой до отвала гречневой кашей с мясом и капустным пирогом. Лошади на конюшне насыпали овса, и она долго принюхивалась к невиданному для неё корму, пока решилась дотронуться до него губами.

Муж тётушки, майор артиллерии, воевал с турками, и Агафье Игнатьевне доставило большое удовольствие заботиться о племяннике. Она своим всеведующим оком сразу разглядела, что полковая служба не доставила ему зажитков и он явился в Москву гол как сокол. И скоро у Кроткова появились свежие рубашки, несколько штанов, сапожнику было велено стачать для гвардейца сапоги, кое-что племянник получил и с майорского плеча, который растолстел, но его домашний халат был тётушкой сохранён и передан любимому родственнику. Кротков пробовал отнекиваться, но против столь настойчивой щедрости устоять было трудно.

Прошли две недели после приезда Кроткова, и как-то за утренним чаем тётушка ему объявила, что сегодня у неё будут в гостях сестра мужа с супругом, почтенным чиновником Сенатского суда.

— Он страх как любопытен, — предупредила Агафья Игнатьевна. — И всю Москву знает насквозь.

— Может быть, я побуду у себя или пойду развеюсь? — попытался уклониться от встречи с гостями Кротков.

— Как можно! — запротестовала тётушка. — Я пообещала, что ты расскажешь о всех петербургских новостях.

— Но я их не знаю, — испугался Кротков. — Я даже в царицыных сенях был всего два раза и то в карауле.

— Вот об этом и поведаешь, — обрадовалась Агафья Игнатьевна. — Нас, убогих, и до сеней не допустят, а ты, поди, и государыню видел?

— Как не видел, когда она мимо меня изволила прохаживать...

— Молчи до гостей! — прервала племянника тетушка. — Хочу услышать вместе со всеми.

«Что же такое ему соврать? — думал Кротков, лёжа в своей комнате. — Я государыню близко не видел, а этому старикашке, верно, хочется услышать про неё такое, отчего бы слюнки потекли... А что с ним станет, если я возьму да и скажу, как бежал из Петербурга в гробу? Усидит ли на стуле?»

К столу тётушка попросила надеть гвардейский мундир, и Кротков занялся его осмотром. Нашёлся распоротый шов, и он его зашил, то же сделал и с разболтавшимися пуговицами. Затем мундир был спрыснут водой, вычищен щёткой и разложен на спинке и сиденье стула. Он мог бы отдать эту работу слуге, но недавно взятый из деревни парень вряд бы с ней совладал. Ему Кротков доверил сапоги, с чисткой которых туповатый малый едва справился, и теперь они стояли рядом со стулом, тускло отсвечивая ухоженной кожей голенищ и головок.

«На тётушкиных харчах я изрядно раздобрел, — отметил Степан, глядя на себя в зеркало. — От них да от дневного спанья рожу разнесло, как от простуды». Он побрился прадедовской бритвой, сполоснулся под рукомойником и ущипнул горничную девку, что проходила мимо. Та тихонько взвизгнула и едва удержала в руках дорогие глиняные блюда, которые несла из чулана в гостевой зал, где тётушка хлопотала вокруг круглого обеденного стола.

— Поторопись, Стёпа, одеться, — сказала, увидев его через открытую дверь, Агафья Игнатьевна, — Викентий Павлович всегда точен и свою Палагею Фёдоровну к этому приучил. А куда это твой Сысой каждое утро со двора выезжает?

— Я ему велел проминать лошадь, на дармовом овсе она раздобрела, а мне ещё ехать в деревню, — сказал Кротков, хотя домой его не тянуло, он от него отвык, а сидеть возле больного отца ему совсем не хотелось.

В своей комнате Кротков оделся, оглядел себя в зеркало и остался вполне доволен. Даже своё лицо показалось ему вполне приемлемым для Москвы, где не было соперничества друг перед другом в снискании внимания от ветреных придворных особ с затейливыми причёсками, обнажёнными спинами и повсюду распространяющимся гальским картавым щебетанием. Москва жила проще, здесь нельзя было спрятать свою худость за вертлявыми манерами, вес человека в обществе определяло число имевшихся у него душ, перед богатством сникали и учёность, и заслуги перед отечеством.

Близко к обеду, стоя возле окна, Кротков с интересом разглядывал, как прачка, подоткнув выше некуда подол платья, моет возле бочки с водой свои долгие и ослепительно белые ноги. К ней подошёл, сияя улыбкой, молодой кучер и что-то ей сказал. Баба рассмеялась и начала плескать в него водой. И вдруг прачка присела за бочку, а кучер спрятался за воротами конюшни. Кротков недоумевал, что нарушило столь приятную глазу сценку, но тут же нашлась причина: в тётушкин двор въехала коляска, запряжённая парой лошадей, что говорило о том, что приехавшие особы занимали в табели о рангах место не выше девятого классного чина или титульного советника.

К коляске поспешил переодетый по случаю приезда гостей в ливрею приказчик и, кланяясь, стал простирать руку в сторону крыльца, где в робе и накинутой на плечи шали стояла Агафья Игнатьевна. Кротков понял, что пора и ему показаться гостям, покинул комнату и сошёлся с ними в гостевом зале.

Викентий Павлович, хотя и имел невысокий чин, наружностью был похож на генерала статской службы, имея вальяжные манеры и те особые тембры в голосе, что заставляют трепетать лиц подчинённых и потому безответных. Его вполне безмятежное существование отравляло лишь одно обстоятельство: судейский чиновник в Петербурге, занимавший равно такую же должность, как он Москве, имел классный чин на ступеньку выше, и жалованье у него было больше. В этом Викентий Павлович усматривал несправедливость, учинённую непосредственно против него, и, найдя слушателя, тиранил его до бесконечности обличением неправд, и в представленном ему гвардейском солдате Викентий Павлович сразу же усмотрел свою жертву.

— Какой статный молодец! — величественно вымолвил титулярный советник, когда Агафья Игнатьевна представила гостям племянника. — Я слышал, что ты в отпуске?

— Так точно, — щёлкнув каблуками, доложил Кротков. — Уволен на год для поправки здоровья.

— Здоровье — вот что вперёд всего нужно беречь человеку, — значительно произнёс гость. — Надеюсь, ты благодарен начальству?

— От всей души! — выдохнул Кротков, с некоторой оторопью глядя на титулярного сановника. — Его высокоблагородие капитан Корсаков при моём отъезде из Петербурга изволил мне дать самую отменную аттестацию.

Агафья Игнатьевна с гордостью посмотрела на племенника и сделала приглашающий жест рукой:

— Прошу к столу!

Пока гости усаживались, Кротков успел рассмотреть Палагею Фёдоровну, которая при величественном супруге смотрелась незаметно, как курочка-несушка возле изукрашенного блистающим многоцветием перьев петуха. Круглое лицо гостьи было добродушно и улыбчиво, говорила она осторожно и с расстановкой, но в глазах иногда вспыхивало смешливое лукавство, которое она тотчас гасила помаргиванием пушистых ресниц. Всё это тотчас увидел и оценил поднаторевший наблюдать за людьми в карточных баталиях гвардеец и напрягся, глядя на гостя, как банкомёт, готовый сунуть понтеру меченую карту.

Но Викентий Павлович, двигая челюстями и ушами, расправлялся со свекольной на холодном квасе ботвиньей и ничего вокруг себя не примечал. Опростав блюдо, он достал большой цветной платок и утёр губы и подбородок.

— Нет, ни у кого не сыскать такой знатной ботвиньи, как у Агафьи Игнатьевны, — произнёс Викентий Павлович. — Разом притушила во мне жар, что вспыхнул от чарки доброй очищенной, — Агафья Игнатьевна зарделась от похвалы, а лакей наполнил чарку гостя одобренной водкой. — Мы здесь, на Москве, живём как в каменном погребе, — произнёс Викентий Павлович, оценивающе приглядываясь к гвардейцу. — Ничего-то мы не видим, ничего-то мы не слышим. Про войну с турками знаем лишь по тем известиям, что раз в полгода доставляет нам Пётр Николаевич. Может, есть от него, Агафья Игнатьевна, свежие новости?

— После тех, что получила на Пасху, не бывало, — сказала, заметно опечалившись, хозяйка.

— Ну-с, так что в Петербурге слышно? — обратился Викентий Павлович к Кроткову. — Скоро ль первопрестольная озарится победными фейерверками? Или победу отпразднуют в Петербурге, а про нас забудут?

«Вот и начал меня допрашивать, — подумал Степан. — Что ж, сдам ему шестёрку».

— Мне известно о турецких баталиях меньше вашего, дядюшка, — почтительно промолвил он. — Солдатская служба не даёт помечтать о чём другом, кроме как о ней самой.

— Уж больно ты застенчив, Степанушка, — не удержалась от похвалы Агафья Игнатьевна. — Он, хоть и солдат, да не каждого солдата ставят сторожить царские сени.

Викентий Павлович был ведомый судейский выжига, и простодушная радость хозяйки его весьма позабавила.

— Вот как получается, — промолвил он с серьёзным видом. — Ты, Степан Егориевич, близ великой государыни бываешь. Случайно не замяли там тебя ночные посетители? Чай, их немало там толпится?

Хладнокровие игрока покинуло Кроткова. Викентий Павлович сдал ему такую карту, которую ему бить было нечем: разговоры про амурные шашни государыни были под великим запретом, виновные в них сразу попадали в Тайную канцелярию, в лапы мрачного кнутобойца Шишковского, а затем их следы обнаруживались в Пелыме или на Камчатке. Выручил своего барина из щекотливого положения верный Сысой: он, оттолкнув слугу, вбежал в гостевой зал и грохнулся на колени.

— Горе, свет ты наш барин, Степан Егориевич! — прорыдал мужик, обливаясь слезами. — Тако горе!..

Гости были ошарашены этим приступом, даже бывалый Викентий Павлович замешкался, и тут явил свой дворянский нрав Кротков. Он схватил Сысоя за грудки и так встряхнул, что поднятый над полом мужик взболтнул лаптями.

— Говори, где стал пьян?

— Трезв я, батюшка, — слезно вымолвил Сысой. — А не в себе я оттого, что старый барин Егор Ильич отдал Богу душу.

Все были известием поражены, хотя оно не было неожиданным: после кондрашки редко кто долго жил.

— Успокой, господи, душу раба твоего Егория Ильича, — оборотясь к образу Спасителя и осенив себя крестным знамением, прошептала Агафья Игнатьевна, а громче добавила: — Прибрал господь изверга! Как он измывался над моей сестрицей, своей супругой, только ему самому было известно.

Степан этим заявлением тётушки не смутился, он сызмала участвовал в семейных баталиях на стороне матери, и ему крепко перепадало от родителя — то пинок, то зуботычина. Он об отце не сожалел и озаботился другим — откуда Сысою стало известно о смерти старого барина.

— Я выехал промять лошадь, — ответил, по-прежнему стоя на коленях, Сысой. — Подъехал к торгу и пошёл присмотреть кожаный ремешок для починки упряжи. В сбруйном ряду встретил Макара Улыбышева, он и поведал мне, что случилось несчастье.

— А кто этот Макар? Откуда он знает, что батюшка скончался?

— Он же твой крестьянин, Степан Егориевич, — удивлённо ответил Сысой. — Разве ты про него не знаешь?

— На что мне знать всякую обмурзанную харю! — вскипел Кротков. — Ты говоришь, что сей Макар у меня в крепости, так что он на Москве поделывает?

— Оброк для тебя, господин, копит, — сказал Сысой. — Макар Сидорович — знаменитый сбруйный умелец, шьёт такую упряжь, что перед ним самые именитые бары в очередь стоят.

— Хватит на коленях по полу елозить! — радостно вскричал Кротков. — Беги за этим Макаром и скажи, что я его требую.

Сысой поднялся с колен и указал на дверь:

— Он на крыльце, ждёт твоего слова, барин.

Кротков, услышав новость, так возрадовался, будто сорвал банк в тысячу рублей. Так оно и было: обретение оброчного мужика сулило скорое наполнение пустого кошелька барина полновесным золотом. Шорник, известный всей Москве, заведомо имел немалые зажитки, и растрясти их Кротков восхотел сейчас же, пока Макар был рядом.

Викентий Павлович прислушивался к разговору между мужиком и барином с сугубым вниманием: он думал, что не ошибся, определив гвардейца шалопаем, но увидев, как тот на его глазах возрос до владельца трёхсот крепостных душ и у него есть раб ценой не меньше, чем в тысячу рублей, стал к нему благосклонен.

— Ежели Степан Егориевич, — значительно откашлявшись, сказал титулярный советник, — до тебя коснутся тяжбы по наследству, то готов услужить родственному человеку, по мере моих возможностей.

Но Кроткову было не до его услужливости, он толкнул двери и через мгновение был на крыльце.

— Ты и есть мужик Макарка Улыбышев? — спросил он склоненную перед ним в

рабьем поклоне спину.

— Так и есть, кормилец, — ответил, вставая на ноги, шорник. — Покойный барин Егорий Ильич был всегда мной доволен.

— Как знаешь, что он умер?

— Мой старший парень Кондратка вечор прибыл из Кротковки и сказал, что старого барина схоронили.

Кротков сошёл с крыльца и, приблизившись к Макару, строго на него взглянул.

— Какой на тебе оброк?

— Триста рублей, барин.

— Вот мне они нужны сейчас же. И будем считать, что за этот год ты расчёлся, — Кротков нетерпеливо топнул ногой.

Улыбышев недовольно крякнул, достал из-под полы кошель, вынул оттуда бумагу и протянул барину.

— Что ты мне суешь?

— Поручная расписка бурмистра Корнея, что триста рублей серебром им получены в счёт оброчного платежа за этот год. Так что долга на мне нет.

Кротков прошёлся возле крыльца, раздумывая, что ему предпринять, а Макар загадочно поглядывал на огорошенного барина. «Молод ещё, чтоб на мои деньги рот разевать, — думал мужик. — Мне они даром, как ему, не даются».

На крыльцо вышел Викентий Павлович и стал по нему неторопливо прохаживаться. Обед не удался, и он был этим недоволен.

— Врёшь, Макар, что у тебя нет денег! — сказал Кротков. — Я вот тебе сейчас продам то, что ты непременно купишь и заплатишь ту цену, что я объявлю.

— Что за товар у тебя, барин? — нехотя спросил шорник.

— Твоя, раб, воля.

Макар опешил, выпучил глаза и глухо вымолвил:

— Какова твоя цена, барин?

— Сейчас тысяча рублей, завтра — две тысячи, — Улыбышев упал на колени и, схватив руку барина, принялся её целовать. — Что ты меня лижешь, — нетерпеливо сказал Кротков. — Беги за деньгами, пока я не передумал.

— У меня и половины таких денег нет! — вскричал Макар. — Но до вечера я найду всю тысячу! Меня добрые люди знают и поверят в долг!

Шорник, не оглядываясь, подбежал к своей телеге, вспрыгнул на неё и, стоя во весь рост, погнал лошадь вскачь по Москве.

— Поторопился ты, Степан Егориевич, — промолвил титулярный советник, подойдя к Кроткову. — С него очень можно было и две тысячи взять.

И тут гвардеец опять удивил многомудрого судейского чиновника: он глянул на него шалыми глазами и расхохотался.

— Одна или две тысячи — разве это деньги? Миллион золотом — вот это уже богатство!..

– 3 –

Разгульная столичная жизнь не насквозь выхолодила чувства Степана Кроткова, и, когда телега въехала на бугор, с которого стала видна деревня и рядом с ней, на берегу небольшого озера, господская усадьба, он почувствовал в душе лёгкий трепет, будто её обдуло тёплым вешним ветерком. Сверху деревня казалась прелестной акварелью, нарисованной кистью талантливого художника, но когда телега спустилась с бугра, это видение исчезло, под колёсами захлюпала вонючая грязь, на приезжих набросились полчища зелёных мух, и все собаки деревни почли за обязанность на них оскалиться и облаять.

— Куда люди подевались? — недоуменно вопросил Кротков своего возничего.

— Где им быть, как не в поле, — ответил Сысой. — Твой хлеб, барин, жнут.

Они проехали мимо старого и ветхого храма и повернули к усадьбе. Здесь дорога была суха, вдоль неё росли берёзы и осины, которые пошумливали, будто привечали качанием веток приезд своего хозяина.

«Не всё так худо, — подумал Степан. — Главное — я доехал, не потерялся в дороге, а то ведь в том же Валдае чуть не запропал навсегда».

— Ты вечером ко мне явись, Сысой, — сказал он. — Пожалую тебя рублём и приданым твоей дочери.

— Благодарствую, господин, — обрадовался мужик. — То-то мои бабы возрадуются твоей щедрости!

Господский дом стоял чуть в стороне от хозяйственных построек, это была длинная хоромина без фундамента, построенная из толстых брёвен, не обшитых досками. Крыша местами была покрыта мшистой зеленью, крыльцо не радовало взгляд своим

старым полинялым деревом, окна дома были малы и многие закрыты ставнями.

Появление нового хозяина усадьбы не прошло незамеченным для её обитателей. Из дверей дома выглянула старуха, затем появился старик в сапогах и круглой шляпе. Это был бурмистр Корней, правая рука покойного барина. Он бодро сбежал по ступеням и, всхлипывая, упал на колени перед Кротковым.

— Слава те, господи, дождались! Беда у нас превеликая — твой батюшка Егорий Ильич скончался!

Кротков не мог переносить вида плачущих, особенно мужиков, и грозным словом осушил слёзы Корнея:

— Будет врать, старик, что ты убиваешься по моему родителю! Ты ревёшь белугой оттого, что страшишься потерять своё место, и в этом ты прав. Я ещё не решил, где тебе быть: подле меня или пасти гусей на задворках.

Обойдя Корнея, Кротков стал подниматься на крыльцо, оно было построено по-старинному: боковые стороны наглухо забраны досками, в правой его части находилось ретирадное место. Кротков зашел туда.

В доме за время его отсутствия ничего не изменилось; через просторные сени он вышел на господскую половину, которая открывалась залом, где принимали гостей по праздникам и устраивали застолья в дни семейных торжеств. Главное место здесь занимал большой стол, обставленный стульями. Всё это было сделано из дуба, хоть и неказисто, но прочно. Потолок зала был выкрашен охрой, стены обиты обоями, панели покрыты мелом на клею. Щеголеватыми иностранцами смотрелись два ломберных столика из красного дерева. В углу находилась изразцовая печь красивой формы с уступами в несколько этажей и колоннами. Напротив неё, в другом углу, стоял шкаф с лучшей посудой, которой редко пользовались, и фарфоровыми китайцами. Степан посмотрел на них с умилением, в детстве его мечтой было поиграть ими, но это случалось редко и то по случаю хорошего настроения родителя. Один из китайцев, самый большой, сидел в бочке, выглядывая оттуда преобширным пупастым брюхом. Степан легонько тронул его пальцем за голову — фигурка, покачиваясь, стала позванивать. Словно откликаясь на этот звон, заиграли куранты стенных часов, впадинка в циферблате ожила, в ней возникли три голых мальчика и стали вокруг себя поворачиваться, отражаясь в большом зеркале на противоположной стене.

За спиной хозяина робко кашлянул, давая знать о себе, Корней.

— Я, барин, готов отчитаться за твоё добро и явить книги.

— Что мне на них глядеть? — недовольно сказал Кротков. — У тебя, знамо дело, там всё сходится, нолик к нолику, палочка к палочке. Ты яви мне наличные деньги. Или их нет?

— Как им не быть? Всё под замком и восковой печатью. Как их Егорий Ильич положил туда, так они там и лежат, тебя дожидаются, а сколько их там, не знаю. Изволь, батюшка, принять ключ от своей казны.

В комнату родителя Степан вошёл один и сразу поперхнулся от застоявшейся вони. Помещение никто не проветривал и не мыл с тех пор, как отсюда вынесли покойника. Сундук стоял рядом с кроватью. На первый взгляд — дубовая колода, часто спеленатая железными полосами. Кротков опустился перед ним на колени, открыл замок, поднял крышку и взял лежавший наверху бумажный свиток.

Это было завещание, несколько листов пронумерованной плотной бумаги, исписанных неуверенной рукой неровными буквами. Верхнюю часть завещания с дотошным перечислением размеров земли, межевых знаков, строений и прочей недвижимости Степан пропустил и обратился к тому, что его больше всего интересовало, к наличности:

«...Оставляю тебе, сын Степан, в золоте и серебре полторы тысячи рублёв, всё, что у меня есть, а также шесть блюд больших, шесть малых, шесть чашек позолоченных по серебру, четыре золотых кольца, голых, и три перстенька золотых с алмазами, а также пять образов святителей в золотых окладах с каменьями, каждый из них потянет рублёв на двести или поболее того, и медный позолоченный крест, которым владел твой пращур, что сел на этой земле во времена недолгого царствования Василия Шуйского.

Сберегай нажитое мной строгим доглядом за подлыми людишками и не слушай, что говорят умники, кои вывезли из чужих краев ересь, дескать, помещики тиранят своих рабов. Какие же дворяне тираны? Это в старину тираны бывали некрещёные и мучали святых: посмотри сам в «Четьи-минеи»; но наши мужики ведь не святые; как же нам быть тиранами? Мужики нищи, голы — экая беда! Надо ли, чтоб мужики богатели, а дворяне скудели? Да это и сам господь не приказал: кому-нибудь одному богатому надо быть, либо помещику, либо крестьянину: не всем же старцам в игумнах быть. А крестьянишкам только дай слабину, они такое затеют, что и Разин покажется святым угодником.

Наши пращуры были богаты, да твой дедушка стал с попами водиться, а тем только

того и надо, запугали его грехами, а дом у него был полная чаша, да попы ее процедили. Ты с попами знайся, да берегись: их молитва до бога доходна, а для тебя убыточна. Больше чарки вина и трех копеек попу за молебен не давай, не потворствуй корыстолюбию.

Остерегись особливо, сын, твоего дяди Парамона Ильича, он слезлив и медоточив, но ухватки у него волчьи, враз оттяпает от твоего добра кус, и поминай как звали. Он мне тут все уши законопатил воеводской племянницей, нашел тоже диво-дивное! Ей под тридцать лет, на что тебе яловица? Ни денег за ней, ни земли, так что остерегайся Парамона Ильича и дольше жить будешь...»

Дальше Кротков читать не стал, пробежал окончание завещания мельком, ничего существенного не увидел, одни покаянные и жалостливые слова, которые молодому и здоровому гвардейцу знать не хотелось. Из сундука он ничего не взял, закрыл крышку, отряхнул от пыли штаны и прошёл в комнату матери через дверь, которая была возле большой печи и грела оба помещения. Здесь в глаза бросались множество образов и древний киот с неугасимой лампадой, занимавший весь передний угол. Сплошные ряды образов прерывались пустым местом.

— Где отсюда икона? — спросил Кротков, зная, что бурмистр его слышит.

— Парамон Ильич собственной рукой снял образ, — тихо доложил Корней.

— Когда это было?

— В тот же день, как госпожа отошла... — Корней помедлил. — Стол накрыт, Степан Егориевич. Не изволишь ли откушать с дороги? Да не обессудь, всё сделано на скорую руку.

— Погоди, старик. А что, дядюшка здесь часто бывает?

— Да каждый день, — вздохнул бурмистр. — Вот завечереет, и, как пить дать, явится.

— Что же ему тут делать? — удивился Кротков.

— Меня учит.

— Ну, и чему тебя вчера учил Парамон Ильич? — усмехнулся барин.

— Всю эту неделю наставлял, как рожь жать да обмолачивать. Нешто я, батюшка, не ведаю, как это делается без его науки?

На столе была деревенская снедь: варёные яйца, сметана, молоко и хлеб. Корней подождал, пока барин усядется, и подал серебряное блюдо, на котором стояли графинчик с водкой и малая чарка. Кротков покосился на хмельное и отодвинул его в сторону: в дороге он дал себе клятву не пить вино, пока не обретёт настоящее богатство, чтобы во хмелю мимо него не пройти. Если верить проклятой карге Саввишне, то он уже сидит близ него. Эта мысль заставила его посмотреть на бурмистра со всей серьёзностью.

— А что, Корней, — сказал он, запив яичную и ржаную сухомятку холодным молоком, — не слышал ли ты от людей о каком-нибудь кладе, зарытом в здешних местах?

— Не слышал, батюшка, — почтительно ответил старик, недоумевая, с чего это барину вздумалось расспрашивать о кладе. — У меня нет времени для досужей болтовни, с каждого утра столько забот наваливается, что иной день и лоб перекрестить забываю.

— Тогда сыщи мне знающего человека, — сказал, вставая от стола, Кротков. — И представь мне его да не забудь про это.

— Не изволишь ли отдохнуть, батюшка? Твоя комната прибрана и проветрена.

Кротков зашёл в свою спальню, сел на кровать, и Корней ловко снял с него сапоги, кинулся расстёгивать кафтан, но Степан отстранил его рукой.

— Будет, старый! Не по годам ты взялся за это дело. Объяви Сысою, что я жалую его своим гайдуком, выдай ему одежду по чину, сапоги, и пусть он явится на господскую половину.

Оставшись один, Степан лег на кровать, обвёл взглядом комнату, и ни одно воспоминание о днях юности не всколыхнулось в его заскорузшей от солдатской службы душе. Да и что было вспоминать? Трепетание перед грозным родителем, который каждую субботу жаловал его несколькими ударами плетки, иногда за дело, а чаще на всякий случай, чтобы не забывал родительскую власть?

В комнате ничего за годы его отсутствия не изменилось: те же обои, столик, за которым он, бывало, с красными от отцовской руки ушами, глотая слёзы, переписывал на сотый раз прописи, те же пепельно-серые панели, на которых сохранились следы его грязных пальцев, даже паутина в верхнем углу осталась та же. Он с любопытством к ней пригляделся. Может, вынырнет из своей захоронки паучок-долгожитель, за чьей работой в былые дни барчук от безделья наблюдал по утрам, когда солнце освещало этот угол комнаты. Паук, видимо, подрёмывал в своей нитяной качалке, а из щели вылез таракан и, шевеля усиками, побежал по потолку. Степан присмотрелся: надо же, в солдатской избе бытовали жёлтые поджарые пруссаки-рысаки, и здесь, в двух тыся-

чах вёрст от столицы. «Скоренько же они добежали сюда из своей Пруссии, — усмехнулся Степан. — Теперь от них нигде спасу не будет».

Зачастую мысли Кроткова приобретали прихотливые зигзаги. И сейчас ему, невесть отчего, подумалось, что в деревне он долго не заживётся, а подастся куда глаза глядят. Может быть, продаст имение, вдруг за него тысяч десять дадут, с этими деньгами можно в Париж нагрянуть, там, сказывают, всегда большая игра, почему бы и не сорвать банк в миллион золотом, половину прогулять, а на пятьсот тысяч накупить себе деревень с пятью тысячами мужиков. Убаюканный этими сладкими мечтами, Степан задремал.

Проснулся он от громкого шума в гостевом зале. Дядюшка Парамон Ильич наставлял Корнея на путь, который он почитал истинным. Бурмистр даже не пытался вякнуть в ответ, чтобы ещё крепче не распалить гостя. Кротков проморгался, протёр ладонями щеки, ощутив их небритость, и вышел из комнаты.

— Степанушка, разлюбезный ты мой племянничек! — воскликнул Парамон Ильич. — Утешил ты, братец, старика, приехал, а мы братца Егория Ильича схоронили, вот такие у нас слёзные новости. Что же ты не успел? Или прохвост Сысойка где-нибудь загулял? Тогда пошли его на конюшню, и пусть его выдерут, как сидорову козу!

Корней, воспользовавшись тем, что его оставили в покое, улизнул из зала, но скоро явился с серебряным блюдом, на котором стояли графин с вином и две чарки. Дядюшка это сразу узрел и оживился, поскольку страх как любил угоститься чужим.

— Что ж, со встречей, Степанушка! — и он цепко ухватил графин за горлышко. — А мы, горемычные, это лето только тем и занимались, что упокоивали своих кровных родственников.

— Я благодарен, дядюшка, благодарен тебе самым сердечным манером за твою помощь, — сказал Кротков, поднимая чарку с некоторым на себя неудовольствием: дал зарок и собрался выпить. Но что делать, утешил он себя, на Руси все зароки невыполнимы, потому что всегда найдётся причина окунуть губы в чарку.

— Если ты, племянник, имеешь на уме те сто рублёв, что я тебе послал с Сысойкой, — сказал, опрокинув в рот содержимое чарки, Парамон Ильич, — то сто тридцать рублёв я с тебя возьму, и не обессудь, таковы мои правила.

Простодушие деревенского процентщика позабавило Кроткова, он долги не отдавал и считал расчёт по займу дурной привычкой простофиль и растяп, но притворно опечалился:

— Стало быть, сто тридцать рублёв? Я-то было решил, что получил с мужиком от тебя, дядюшка, подарок.

— Ты что, Степан, в своем полку читать разучился? — встревожился Парамон Ильич. — В письме я прописал все условия возврата денег.

Бурмистр с интересом прислушивался к барской беседе и, поймав брошенный на него хозяином лукавый взгляд, одобрительно крякнул.

— Нечего уши растопыривать, старый сыч! — замахнулся на него Парамон Ильич. — Ступай отсель!

— Иди, Корней, но будь за дверью! — велел хозяин и, дождавшись, когда бурмистр выйдет, с любопытством взглянул на родственника. — Я за собой долга не признаю.

— Это ж почему так? — даже привстал от неожиданности Парамон Ильич. — Сысойка — свидетель этого дела.

— Ты, дядюшка, возмечтал, что раб покажет на своего хозяина? — удивился Кротков. — Но кончим это дело полюбовно: ты, как это помягче молвить, взял из матушкиной комнаты образ Николы Угодника в золочёном окладе с каменьями, а он рублёв триста стоит.

— Не брал! — вскинулся Парамон Ильич. — Меня им твоя матушка благословила.

— Может, позвать Корнея? — спросил Кротков.

— Зачем мешать в это дело мужика! — запротестовал Парамон Ильич. — Я не вспомню толком, как всё было. А сейчас некогда, ко мне должен товарищ воеводы заехать, — дядюшка, не прощаясь, устремился к крыльцу. Кротков вышел за ним следом.

— Сдается мне, что я навсегда утратил дорогого гостя, — сказал он. — Дядюшка не на шутку осерчал.

— Как бы не так! — с горечью произнёс Корней. — Подуется, посопит, а через неделю явится как ни в чём не бывало.

— И вновь тебя начнет учить, как хозяйствовать? А ты, Корней, от него прячься и не попадайся ему на глаза.

— Легко сказать — прячься, — проворчал бурмистр. — А ты, батюшка, поостерегись Парамона Ильича, он не мытьём, так катаньем всегда своего добьётся.

Вечером, когда Степан уже примеривался к своей кровати, чтобы завалиться на неё почивать, к барину явился Сысой. Бурмистр не пожалел хозяйского добра и одел холопа в чёрный суконный кафтан, жёлтые штаны, в которых барин признал свои,

оставленные им дома перед уходом в полк, и обильно смазанные дёгтем яловые сапоги. На голове у новоявленного гайдука была красная суконная шапка с далеко выступающим заостренным козырьком.

— Что ж, Сысой, — сказал Кротков, — одежда на тебе справная, будешь жить подле меня. Ты доволен?

— Как, барин, велишь, так и будет.

— Молодец! — похвалил Кротков. — В армии не служил, а отвечаешь, как солдат. К утру под меня и себя подготовь добрых коней, поедем прогуляемся по округе. И вот возьми обещанный рубль.

— Благодарствую, барин, — Сысой взял рубль, но продолжал выжидающе глядеть на господина.

— Помню о дочкином приданом и не забуду. Как она заневестится, то всё у нее будет. Сколько ей лет?

— Пятнадцать на Покров день.

— В самый раз замуж идти, — сказал Кротков. — А ты в каких годах?

— Тридцать один стукнуло, — поклонился Сысой.

— Я думал, тебе уже за сорок. Бородищу вон какую носишь, а гайдуку это негоже.

— Что ж, мне теперь голым ходить? — испугался Сысой. — Помилуй, барин, с бритьём я не справлюсь, да и люди засмеют, — Кротков покопался в своём походном сундуке и вынул оттуда ножницы. Увидев их, Сысой в ужасе отпрянул к стене. — Пощади, барин, верой-правдой буду служить, только не режь бороду!

— Я у тебя всю её не возьму, — приступая к гайдуку, сказал Кротков. — А тебе для твоего мужицкого счастья хватит и вершка волосьев.

Он ухватил Сысоя за бороду, вывел его на свет от свечи и обкорнал столько волос, сколько попало под ножницы.

– 4 –

Кротков ещё не утратил солдатской привычки просыпаться до света, и, хотя вместо побудки полкового трубача раздалось хриплое и протяжное мычание коровы, к которой тотчас пристали и другие бурёнки, он поднялся с кровати, посмотрел в запотевшее окно и, обув на босу ногу сапоги, отправился в ретирадное место.

Бурмистр Корней был уже на ногах. В круглой шляпе и кафтане он стоял возле крыльца и покрикивал на баб, которые опаздывали на дойку:

— Пора коров на пастьбу выгонять, а вы от мужиков отлипнуть не можете!

— А когда нам время подышать с мужиком вровень, как не на коровьем реву! — раздался молодой и задорный голос. — Ты, Корней Силыч, разве не таким был, пока имел силу на баловство?

Вокруг было туманно, обильная роса вымочила траву, деревья, строения усадьбы, воздух был тоже сырым и скрадывающим голоса и звуки. Мимо крыльца из огороженного загона вершный мужик прогнал господских коней на водопой к озеру. От поварни потянуло горьковатым дымком и душком перекипяченных вчерашних щей.

— Как почивалось, батюшка Степан Егориевич? — почтительно приветствовал Корней появившегося на крыльце господина.

— А ты что, не спал? — сказал, зябко поёживаясь, Кротков.

— Как не спал, батюшка! Да какой сон в мои годы: то там заноет, то там засвербит, а как встану на ноги, так всё пропадаёт.

— Ты не запамятовал, Корней, что я тебе вчера велел узнать? Сыскал ли знающего человека?

Бурмистр с ответом помедлил; его смущала настойчивость, с какой, едва приехав в усадьбу, молодой барин заговорил о кладах, о которых в Кротковке и слыхом не слыхивали. «Все ли с ним ладно? — с тревогой подумал старик. — Петербург не одну дворянскую голову закружил до умопомрачения. Молодой барин Олсуфьев, как побывал там, так стал по-немецки заговариваться. Ужели и с нашим господином такая же беда приключилась?»

— Что ж ты молчишь, как камень? — начал сердиться Кротков. — Если не сведал, так то и скажи!

— Коли уж так неволишь, то скажу: живёт в Чёрном лесу старик по прозванию Савка-бог, если он не укажет заповедные клады, то другому некому.

— Что за чудное у него прозвище? — заинтересовался Кротков. — Разве можно человека называть богом?

— Не ведаю, барин, его и спроси. А Сысой тебя к нему проводит, наши бабы, да и мужики, к этому Савке уже тропу натоптали.

К крыльцу, держа в поводу оседланного коня, подъехал Сысой. Бурмистр, как увидел его подстриженную бороду, так и удивился:

— Да ты теперь наравне с молодым парнем глядишься, Сысойка!

— Он уже не мужик, а мой гайдук, — объявил Кротков. — Вели, Корней, чтобы и кормили его не как всех дворовых людей и во всякий скоромный день давали добрый кусок мяса.

— А что, господин, в постный день велишь подавать Сысойке? — бурмистр, скрывая усмешку, склонил голову в поклоне.

— Не заносись, старик! — нахмурился Кротков. — И с этого часа без моего ведома Сысоя не касайся. А теперь ступай по своим делам.

Он вернулся в дом, оделся, съел приготовленные на столе варёные яйца, выпил большую кружку молока со свежевыпеченным хлебом и вышел из дому. Конь от него чуть шарахнулся в сторону, но Кротков не позволил ему забаловать: вскочил в седло, дал почувствовать удила и направил в сторону ворот. Сысой двинулся следом, он был весьма горд своим возвышением до гайдука и снисходительно поглядывал на дворовых мужиков, которые поснимали шапки с голов и согнулись в рабьем поклоне перед хозяином, а значит, и перед ним, Сысойкой, поскольку он ехал, отставая от барина всего на половину своего коня.

Туман над озером ещё не развеялся, но в нём уже имелись большие прогалины, и было видно, как там ныряют и помахивают крыльями, готовясь встать на крыло, почувствовавшие силу для осеннего перелёта утки. Кротков не был охотником, вся его страстная натура была отдана картёжным баталиям, но и у него зазудило на душе взять в руки ружьё и проверить дробью пернатую броню уже готовой для промысла дичи.

— Ты знаешь, где живёт Савка-бог? — спросил он своего спутника.

— Это здесь каждому ведомо, — ответил Сысой. — За той горой начинается Чёрный лес, там его изба.

— Веди меня к нему, — велел Кротков. — А ты сам к нему ходил?

— Не доводилось, а мой брат хаживал. Однова у него кобыла запропала, искали, да не нашли. Грешить начали на татар, что они свели кобылу на махан. А Савка-бог глянул в ковш с ключевой водой и сразу её увидел.

— И нашлась лошадёнка? — заинтересовался Кротков.

— Забрела в овраг и не смогла выйти. Там и отыскалась, — на горе Сысой остановил своего коня и указал на необъятно простирающийся внизу лес: — Видишь, барин, справа дымок вьётся? Это и есть жилище Савки-бога.

Они спустились вниз, перешли вброд через широкий ручей и сразу попали на тропу, бежавшую между высоченных и прямых, как золочёные струны, сосен.

— Что за дивный лес! — не сдержал своего восхищения Кротков. — Я столько лет жил с ним рядом и ни разу здесь не бывал.

— Это, барин, корабельная роща, за ней государевы лошманы день и ночь присматривают, — сказал Сысой. — Тут сосны на выбор рубят, какая на что годится в корабельном деле.

Кротков попристальнее огляделся вокруг и заметил, что в роще было чисто, как в убранной горнице: ни разбросанных веток и сучьев, ни поваленных ветром или старостью деревьев. Все сосны были помечены цифровым счётом, сделанным на затесях дёгтем, через определённое число саженей рощу делили сквозные просеки.

Миновав ухоженный лес, тропинка углубилась в чернолесье, где берёзы, осины, кустарники стояли тесно друг к другу, и всадникам приходилось порой пригибаться, чтобы проехать под нависшей над тропой веткой. Сысой ехал впереди, и затронутые им ветки обильно осыпали холодной росой следовавшего за ним господина. Тому это не понравилось, и он хотел окликнуть своего проводника и поменяться с ним местами, но вдруг Сысой сам остановил коня, Кротков привстал на стременах и увидел, что путь им преградила молодая баба, которая вела за собой на верёвке пёструю корову.

— Ты где это, Фроська, бродила? — спросил Сысой. — Часом не у Савки-бога побывала?

— Молоко у коровы пропало, — ответила баба, отводя свою бурёнку в сторону от тропы.

— Ну и как, помогло? — заинтересовался Кротков и, не убоявшись мокрого куста, подъехал поближе. — И как он это делает?

— Набрал в липовый ковш ключевой воды, пошептал и сполоснул корове вымя. Я не первая сюда пошла, другие по несколько раз у Савки-бога бывали, и всегда помогало, — когда они объехали бабу с коровой и углубились саженей на десять в чащу, она им вслед крикнула: — Эй, барин! А ведь он знает, что ты к нему едешь!

— Не может того быть! — воскликнул, осаживая коня, Кротков. — Я утром и сам не знал, что к нему поеду.

— Он начал меня выпроваживать, а сам бормотал: «Иди, баба, ко мне кротковский барин едет».

Это известие смутило Кроткова. Отправляясь к кудеснику, он мало верил в его силу, а тот выкинул такое, чего сама баба придумать никак не могла. Он задумался, но вдруг его конь встал.

— Я дальше, барин, не поеду, — сказал Сысой. — До его избы недалеко, ты сам на неё наткнешься.

— Какой же ты гайдук, Сысой, раз боишься! — осерчал Кротков. — Чем тебя смутил лесной дедко?

— За коней боюсь, — сказал Сысой, слезая с седла. — Изурочит ненароком, а кони добрые, особенно твой, на него Парамон Ильич глаз положил. Хорош, говорит, конь, я бы за него своего племенного быка не пожалел.

— К чёрту дядюшку! — воскликнул Кротков. — Отведи коня и уступи мне тропу, я пойду передом.

Скоро тропа выбежала из лесной чащи и упёрлась в высокий забор, за которым стояла крытая дранью приземистая изба. Впритык к ней был сделан навес, под которым дымился очаг, а рядом с ним на осиновом пне сидел розовощекий и седой дедок, одетый в овчинную безрукавку и длинную, пониже колен, рубаху, и в насунутых на босу ногу лыковых опорках.

Завидев Кроткова, когда тот, оставив Сысоя с конями, через дыру в заборе проник в его обиталище, дедок поднялся с пня и сделал шаг навстречу гостю.

— Будь здрав, бог Савка! — сказал Степан, смущаясь тем, что он вымолвил.

— И тебе здравия полную чашу! — ответил дедок. — Только я не бог, а Савка.

— Почему же тебя богом вся округа величает?

— Это от некрещёной морды ко мне прилипло. У здешней мокши богов много: одним больше или меньше, для них нет разницы.

— Но ты, я гляжу, совсем не против такого прозвища? — спросил Кротков и острым взглядом бывалого картёжника окинул дедка.

— Они же как малые дети, пусть тешатся. Но в их глупости есть весомая правда: человек волен поступать, как он похочет, даже крепостной раб, и сие означает, что каждый из нас для себя бог.

— Для меня, Савка, это потёмки, — сказал Кротков, смутившись от зауми лесного кудесника. — Встречная баба только что мне сказала, что ты меня ждёшь. Как ты проведал?

— Об этом мне сорока донесла, — простодушно улыбнулся Савка, указывая на свою вестницу, которая, покачиваясь, сидела на заборе.

— Стало быть, ты знаешь и то, зачем я к тебе явился? — спросил Кротков, поглядывая на котёл, в котором забурлила вскипевшая на очаге вода.

— И это невеликая хитрость, — произнес Савка, отодвигая котёл от пылавших под ним углей. — Ты молод и здоров, стало быть, этого ты у меня не ищешь.

— Ты прав, — сказал Кротков. — За этим я явлюсь в другой раз.

— Вот ты сам, барин, и ответил, что тебе от меня надо, — усмехнулся Савка.

— Я не открывал, что у тебя ищу, — возразил Кротков. — А ты, дедко, не тяни с ответом, ведь я не мужик, которому легко задурить голову.

— Изволь, барин, — Савка пристально взглянул на гостя, и тому под пронзительным взором кудесника стало неуютно и зябко. — Счастье всякого человека в здоровье и богатстве. Ты пока здоров, значит, ищешь богатство.

— Ты угадал! — горячо воскликнул Кротков. — Открой мне, Савка, какой-нибудь клад, ты ведь знаешь, где они спрятаны и как их отчитывать!

Степан так рьяно приступил к Савке, что тот от него попятился и чуть не опрокинул котёл с кипятком, а сорока взлетела с кола и, заполошно хлопая крыльями, улетела за избу.

— Экий ты, барин, огонёк! — недовольно сказал Савка. — Вспыхнул, как порох, да зазря: не знаю я ни кладов, ни заговоров. Иди к попам, они кладами ведают, но будь готов к тому, что более половины клада они заберут под себя.

— Ну уж нет! — заявил Степан. — Мне мой отец завещал с попами не якшаться. А ты, Савка, ведь врёшь, что не можешь мне подсобить! Хоть ты и не поп, но могу тебя за верное слово золотым пожаловать.

Он достал из кармана новехонький золотой пятирублёвик и подкинул его на ладони. Золотой блеск пал на очи кудесника, и они зажглись искрами.

— Добро, барин, — сказал Савка. — Золотой у тебя как раз тот, по которому можно узнать, дастся тебе клад или нет. Но хватит ли у тебя силы духа совершить то, что я велю?

— Хватит! — обрадовался Степан. — Делай своё ведововo по всей своей силе.

Савка поставил котёл с ещё горячей водой над углями, раздул их и начал в каменной ступе растирать сухие листья и корешки. Вода в котле скоро забила ключом. Тогда кудесник, бормоча что-то себе под нос, опростал в неё из ступы порох из листьев и

кореньев.

— Давай золотой! — сказал кудесник и, взяв, бросил пятирублёвик в кипяток. Затем сдвинул котёл от огня в сторону, а угли залил из туеса чем-то похожим на жидкий дёготь. На Кроткова от очага плеснуло дымом, от которого он закашлялся и прослезился, но разума не утратил.

«Эге, знаю я эти хитрости, — подумал он, чувствуя, что у него начало двоиться в глазах. — Окатил меня вонью, чтобы я про золотой не вспомнил». Он потряс, как конь, головой и увидел перед собой котёл, который держал в голых руках кудесник. Вода в нём взбулькивала, и от неё несло жаром, а на дне котла шевелился и подпрыгивал золотой.

— Испей, барин, — откуда-то издалека донёсся до Кроткова глухой Савкин голос. — Испей, и тогда будешь знать, примешь ты заповедное золото или им подавишься.

Степан взял котёл в руки и не обжёгся, припал к кипятку губами и не обварился и стал жадно пить, то одним, то другим глазом поглядывая: цел ли пятирублёвик.

— Пей до дна! — велел кудесник. — Пей до дна!

Кротков выпил ведёрный котёл колдовского варева, пошарил в нём глазами: золотой исчез. Он нехорошо посмотрел на кудесника и отбросил котёл в сторону.

— Где пятирублёвик?

— Эх, барин, — усмехнулся Савка. — О том ли ты подумал? Стоит ли жалеть полено, если хочешь согреться? Ты ведь явился за богатством, а думаешь о другом.

— Тогда говори, что видел! — потребовал Кротков.

— Станешь ты, барин, в скором времени неслыханно богат, но не от клада, а от великого человека, который побывает в твоей усадьбе и оставит тебе сундук с золотом и серебром.

Кротков недоверчиво взглянул на Савку, но тот был молитвенно серьёзен.

— И что это за великий человек? — дрогнувшим голосом произнес он.

— Сам государь-анпиратор! — торжественно провозгласил Савка.

— Какой ещё государь-император! — воскликнул Кротков. — Я знаю одну государыню Екатерину Алексеевну и никого другого!

Савка приблизился к нему, обхватил за плечи и жарко выдохнул в ухо:

— Твой клад в царе Петре Фёдоровиче!

— Так он же мёртв! — вымолвил Кротков. — Как же он ко мне явится?

— А вот явится, и спроси его, жив он или мёртв, — Савка махнул рукой. — А теперь ступай, да не потеряй свой золотой: он у тебя в правом сапоге.

Опомнился Кротков за плетнём. Он стоял, обхватив руками осину, а вокруг него суетился Сысой:

— Этот Савка-бог — чистый изверг! Что он над тобой сотворил, барин, на тебе лица нет?

Кротков отлепился от осины, шагнул к своему коню и почувствовал, как что-то мешает ему ровно ступать на ногу.

— А ну, сними с меня сапог, — сказал барин. Сысой помог ему разуть ногу, и Кротков, запустив руку в голенище, вынул пятирублёвик. Он сиял, будто в бане вымылся. Степан поднёс его к лицу, от золотого явно повanивало запахом ретирадного места. — Не диво, что Савку прозвали богом, — сказал он и, завернув золотой в травяной лист, положил в карман кафтана. — Такое совершить обычному человеку не под силу.

– 5 –

Хотя Савка-бог и закружил голову Кроткова предсказанием ему неслыханного обогащения, его смущало то, что богатство к нему прибудет от государя-императора. А такого и близко не предвиделось: на российском престоле державно восседала императрица Екатерина Алексеевна, её сердечный друг Григорий Орлов, хотя и возносился в мечтах воздеть на свою голову шапку Мономаха, но имел столько врагов, что ему вполне могла грозить судьба императора Петра Фёдоровича, скоропостижно скончавшегося от геморроидальных колик на Ропшинской мызе, где он коротал за картами дни в весёлой компании офицеров гвардии. Откуда мог взяться император в Кротковке, когда его и в Петербурге не было? Этот вопрос долго смущал Кроткова, и, не найдя ответа, он заподозрил, что Савка-бог над ним подшутил, и крепко осерчал на кудесника. Кротков решил, выждав время, тоже над ним подшутить, но не кудесами, а отцовским арапником, с которым покойный Егорий Ильич езживал загонять волков по молодому снегу.

Парамон Ильич, видимо, крепко обиделся на племянника и к нему не ехал. Кротков был этим весьма доволен и, предоставленный самому себе, в сопровождении Сысоя вдоль и поперёк изъездил свои невеликие владения. Близился праздник Покрова, и полевые работы были завершены, на господском гумне к хлебу прежних годов при-

бавился новый, его начали молотить, и по утрам Кроткова будили удары цепов и голоса работающих крестьян. Бурмистр Корней опасался, что молодой барин начнёт хозяйствовать сам, но тот был занят своими думами и ни во что не вмешивался, предоставив всему идти своим чередом.

Прогуливаясь по своим землям, Кротков примечал, что день ото дня поля и рощи становятся всё пустынней и безвидней, а солнце подолгу, иногда на целую неделю, было закрыто низкими серыми тучами, из них моросил дождь, но уже чаще начинала сыпать снежная крупа. Близилась зима, и Кротков с растущей тревогой подумывал, что завалит снегом округу, скует намертво землю морозом, и тогда ни о каком кладе невозможно будет и помечтать, останется только схорониться в усадьбе и ждать весны, но принесёт ли она ему счастье, было неведомо.

После обеда Кротков заимел любезную своей лени барскую привычку поваляться на кровати, но в этот день ему этого не позволили сделать незваные гости: явился Парамон Ильич, да не один, а с земским исправником Лысковым, главной полицейской властью уезда. Дядюшка сделал вид, что у него со Степаном не было никакой размолвки, нежно обнял племянника, прижался к его щеке холодным носом и отступил в сторону.

— Это наша дворянская защита, — сказал он, представляя исправника, — Платон Фомич. Наша власть и сила, за ним мы, помещики, как за каменной стеной.

Кротков остро взглянул на Лыскова и ничего в нём выдающегося не заметил, кроме большого носа, на котором присутствовали все цвета радуги: от светло-красного близ переносицы до сизого на крыльях и кончике этого усеянного точками и дырками сооружения. «Нелегок исправничий хлеб, — с сочувствием подумал Кротков. — Сколько ему приходится по делам службы каждый день опрастывать чарок и не очищенной, а всяких настоек и наливок, на кои здешние помещики большие придумщики». Он пригласил гостей в зал к столу, где сметливый Корней распорядился уже выстроить ряд графинов с хмельным домашней выделки и блюда с холодной курятиной, солёными грибами, капустой и хлебом.

— Прошу закусить, — сказал хозяин. — На меня не глядите, я только что отобедал.

— Не беспокойся, Степан, — ответил Парамон Ильич. — Мы только что из-за стола. Платон Фомич имеет к тебе дело, но мы знаем друг друга, и он изволил поначалу заехать ко мне.

Кротков обеспокоился, ему вдруг ударила в голову догадка, что исправник явился взять его под арест за петербургские долги, и он подрагивающей рукой взял графин, а сам стал примеряться, в какую сторону бежать. «Какой я дурень! — укорил себя Степан. — У меня в кармане пусто, все деньги в железном сундуке, а куда я без них денусь?»

— Извините, господа! — стараясь себя не выдать волнением, произнес он. — По такому случаю, я вспомнил, из родительских запасов остался штоф очищенной. Не угодно ли чуть обождать, я сейчас.

В комнате отца Кротков бросился к сундуку, с трудом открыл замок, распахнул крышку и стал набивать карманы своего кафтана золотыми монетами. Серебро некуда было складывать, и его пришлось оставить. Взяв штоф очищенной водки, он вышел к гостям.

— Видать, мой покойный братец далеко запрятал штоф, — шутливо произнёс Парамон Ильич. — Узнаю его натуру. А ты что, Степан, бледен?

Кротков промолчал и, встав поближе к двери, открыл штоф и наполнил чарки. Исправник и дядюшка дружно за них взялись и, не дожидаясь хозяина, опустошили.

— Да этой водке лет десять и никак не меньше! — с восхищением произнёс Платон Фомич. — Сейчас такой не сыщешь, она своего завода, для себя сделана, а не с кружала, где её с водой мешают почём зря.

У Кроткова отлегло от сердца, исправник сразу взялся не за него, а за водку, значит, дело, с которым он явился сюда, было другого толка, чем сыск беглого должника. Золото в карманах тянуло Степану плечи книзу, и он сел на стул, опасливо поглядывая то на исправника, то на дядюшку. Радоваться было рано. Гости не торопились объявлять хозяину причину своего приезда, и это его беспокоило: «А что если этот уездный злодей, похохатывая, сначала выжрет очищенную, а потом объявит о моём аресте? — встревожился Кротков. — Очень может статься, что дядюшка подговорил его так и сделать. А потом кинется к сундуку и начнёт сдирать оклады с икон». Гости, однако, казалось, не таили злых умыслов. Платон Фомич после второй чарки вспотел, вынул из кармана огромный жёлтый платок и принялся осушать им свою преобширную лысину. А на Парамона Ильича накатил приступ похвальбы, но похвалялся он не собой, а своей дружбой с исправником.

— Наш Платон Фомич, окромя воеводы, первейший человек в уезде. Ему здесь ведомо все. Ты с ним, Степанушка, завяжи дружбу таким узлом, чтобы вовек не расце-

пился. Скажу по совести, если бы не Платон Фомич, многие бы наши помещики по миру пошли, вот он каков, наш Платон Фомич! И ничего ему не надо от просителей, кроме уважения. Ты уважишь Платона Фомича, и он тебя уважит вдвое. А если нос кто начнет задирать, бахвалиться петербургскими покровителями, то ему будет сделан такой укорот, как Олсуфьеву. Не уважил он Платона Фомича, возомнил о себе невесть что, а сняли с него собачьи кудри, что он на голове таскает, и нет его, и спесь куда подевалась, когда к нему разбойники пожаловали, казну вынули, дом подожгли, а тот самый парик в огонь бросили. Прибежал он к Платону Фомичу с босой головой, стал кланяться, чтобы тот изловил злодея, а кроме него с ними никто не совладает, разве не так?..

Лысков слушал Парамона Ильича с простодушной улыбкой и был премного доволен, что его хвалят.

— Молодой Олсуфьев сам виноват, — сказал он, промокнув лысину платком. — Я его предупреждал не играться с крестьянишками своим вольнодумством. Он поставил себя с ними на одну ногу, а наш холоп — самая наглая тварь из всех живых! Так и вышло: дворовые заперли барина в доме и высвистали из леса разбойников. Те явились и позабавились над вольнодумцем, добро хоть не до смерти.

— Вот и рассуди, Степанушка, — сказал Парамон Ильич. — Разве Платон Фомич не самый нужный для всех человек?

«Так вот они зачем явились, — с облегчением понял Кротков. — Дядюшка в своей манере решил поучить меня уму-разуму».

— Я со всей душой почитаю старших, — сказал он, привстав со стула. — Особливо начальство, как был выучен батюшкой и в гвардии.

— Тогда внемли тому, что скажет Платон Фомич, — понизив голос, произнес дядя. — А пока отшугни от двери слуг и плотно её прикрой.

Кротков вышел из зала и велел Корнею собрать всех слуг в сенях и быть там, пока он их не отпустит. Затем зашел в зал, закрыл дверь на крюк и сдвинул над ней портьеры. Посмотрев на гостей, он подивился произошедшим в них переменам: дядюшка сидел, уставившись глазами в стол, а исправник успел застегнуть все пуговицы кафтана и стоял, вытянувшись в струнку. Сердце Степана похолодело от недоброго предчувствия.

— Я обязан, по велению воеводы, донести до каждого помещика в уезде строго секретное известие, полученное из синбирской канцелярии, — внушительно произнёс Платон Фомич. — Наша Казанская и Оренбургская губернии объявлены на особом положении. Причиной тому стал бунт, учинённый яицкими казаками, во главе которых встал беглый донской казак Емелька Пугачёв, объявивший себя императором Петром Фёдоровичем...

Последние слова ошарашили Кроткова покрепче дубины.

— Как! — воскликнул он. — Казак объявил себя императором? И ему поверили?

— Эка невидаль, — пренебрежительно сказал Парамон Ильич. — В здешнем лесу обитает Савка-бог, и крестьянишки в это верят.

— Мужики верят, что император Пётр Фёдорович чудесным образом спасся, — подтвердил исправник. — В последние два года уже несколько лжецарей были пойманы, биты кнутом и отправлены в ссылку. Но этот, сдаётся мне, взбаламутит крестьян покруче Стеньки Разина. Он ещё близ Оренбурга, а народишка уже ждёт от него знака, чтобы кинуться на своих господ.

— Мы к тебе, племянник, не с пустыми руками явились, — сказал Парамон Ильич. — Во дворе под доглядом двух сторожей ждёт твоего барского суда беглый раб Фирска Тюгаев. Прикажи его привести, пусть он поведает, куда бежал и зачем.

Сметливость картёжного умельца сразу подсказала Кроткову, что с беглым мужиком торопиться не стоит, чтобы не спугнуть удачу на скорое богатство, которое, как оказалось, совсем не зря насулил ему Савка-бог. Сам Фирска стал интересен барину не тем, что его нужно немедленно забить батогами до полусмерти, чтобы другим было неповадно заглядываться на волю, а вестями о «мужицком анператоре», который оказался не сказкой кудесника, а замутившей уже две громадные губернии грозной явью.

— В армейском артикуле, господа, — строго сказал Кротков, — записано, что командир не должен наказывать подчинённого в день совершения им проступка, а назначить кару, когда охолонет и по здравому размышлению. Посему с Фирской я не потороплюсь и разберусь с ним попозже.

Лысков и Парамон Ильич обменялись недоуменными взглядами, а Кротков вышел в сени, разослал слуг по их местам, Корнею велел взять беглого мужика у сторожей и запереть его в самый крепкий амбар, к которому приставить надёжных караульщиков. Он вернулся к гостям и застал их собирающимися в дорогу. Кротков бросился к штофу, потряс его и обнаружил, что тот не пуст.

— Платон Фомич! Дядюшка! — радостно воскликнул Кротков. — Без доброго по-

сошка на дорогу я вас не отпущу!

Уговаривать ему не пришлось, гости знали и чтили русский обычай и, опорожнив чарки досуха, взяли свои шапки в руки и стали прощаться.

— Ты, Степан Егориевич, поглядывай по сторонам, — сказал исправник. — Живи с великим бережением, мужики лютеют на глазах, а лучше поезжай на зиму в Синбирск. Тебе надо жениться, а здесь даже с самой высокой сосны в корабельной роще невесту не высмотреть.

Дядюшке слова Лыскова пришлись не по вкусу, он ещё не оставил своей затеи — женить племянника на родственнице уездного воеводы, но после стычки со Степаном из-за иконы он решил повременить и радушно предложил:

— Поезжай, Степан, в Синбирск, остановишься у моей дочери, она сейчас Головина, живёт на Панской улице, в своём доме.

Проводив гостей до крыльца, Кротков не стал глядеть им вслед, а сразу же поспешил в отцовскую комнату, где выгрузил золото из карманов кафтана и наконец-то перевёл дух. Сначала его напугал своим приездом исправник, затем голову Степана затмило известие о мужицком царе, что напялил на себя личину покойного императора Петра Фёдоровича, тут было над чем поразмыслить, но сначала он решил допросить беглого мужика Фирску Тюгаева.

— Корней! Сысой! — вскричал Кротков, выйдя на крыльцо. — Ведите меня к Фирске, надо глянуть, что за такой страшный злодей выгулялся на моих землях.

Бурмистр обогнал барина и к его приходу успел разомкнуть на двери амбара тяжёлый замок.

— Там темно, — сказал он. — Может, его на свет выволочь?

— Ты с ним осторожней, Корней, как бы он тебя, старого, не зашиб. Возьми с собой Сысоя.

— Экий-то махор? — удивился Корней. — Да я его щелчком перешибу! — бурмистр нырнул в темноту амбара и вскоре вытолкал на порог тщедушного мужичонку в драном армяке и лыковых отопках на кривых и тонких ногах. — Это и есть злодей Фирска, — объявил Корней и обхлопал ладони.

— Кто тебя поманил убежать и какой сластью? — строго спросил Кротков. — Куда ты бежал? — Фирска зыркнул на барина воспалёнными глазами, уставился в землю и засопел. — Встряхни его, Сысой! — велел Кротков. — Только гляди, чтобы у него головёнка не слетела с шеи.

Гайдук ухватил Фирску за ворот армяка и, приподняв над землёй, легонько потряс его, как мешок. Мужик икнул и замахал, ища опору, руками и ногами.

— И куда ты побежал от семьи, от детей, от своего барина? — спросил Кротков. — Я ведь тебя вправе забить батогами до смерти.

— Все бегут, и я побежал, — пробормотал Фирска. — Куда народ, туда и я.

— Все побегут топиться или вешаться, так и ты с ними?.. Полно врать, говори, куда имел мысль уйти? Скажешь правду — помилую.

— Сейчас все бегут в одно место, — после некоторого молчания сказал Фирска.

— Что ты замолчал, как пень! — начал сердиться Кротков. — Не то сейчас ляжешь под палки.

— Сейчас все бегут к царю, и я вместе со всеми...

— Какому ещё царю? — заволновался Кротков. — У нас государыня императрица Екатерина Алексеевна!

— Как какому? — вдруг осмелел Фирска. — К царю Петру Фёдоровичу, который объявил всему крестьянству волю на вечные времена. За это его бары решили извести, но он божьей помощью спасся и теперь с большим войском идёт на Москву.

— Всё доложил, тетеря? — Кротков с недоумением оглядел Фирску, затем Сысоя и Корнея. — Запомните, если хотите и дальше жевать хлеб, что император Пётр Фёдорович почил в бозе, и я своими глазами видел его гроб. А люди врут, и больше всех Емелька Пугачёв, который выдает себя за царя, а сам он битый плетьми донской казачишка.

— Но люди говорят, — пробормотал Фирска. — А народ зря не скажет.

— Заладила сорока про Якова! — осерчал Кротков. — А ты, Сысой, что скажешь?

— Слишком много людей толкуют о царе, а это, барин, не шутка. Все соврать не могут, я ещё на Москве слышал толки, что государь жив, и во Владимире, когда мы с тобой его проезжали.

— Почему о сем не донёс?

— А ты, барин, не спрашивал, да и не для твоих ушей эти толки, — сказал Сысой. — Я к ним и не тянулся, что попадало в уши, то и слышал.

Кротков вплотную приблизился к Фирске, замахнулся на него, мужик попятился, запнулся пятками о порог и, упав навзничь, тонкоголосо завыл. Степан не мог терпеть плача и, пнув беглого раба, грозно вскрикнул:

— Молчи, не то запорю! — Фирска перестал поскуливать и затих, а Степан пово-

ротился к бурмистру: — Гони его на все четыре стороны! Мне такого мужика и даром не надо, от него порча и между добрых мужиков пойдёт, сам убежит и других за собой сманит. Бросьте его на телегу и вместе с Сысоем отвезите отсель вёрст за десять и там вытолкните. А ты, Фирска, забудь сюда дорогу. Если явишься, то вздерну на воротах!

– 6 –

Допрос Фирски Тюгаева открыл для Кроткова, почти не знавшего помещичьей жизни, что мужик подобен волку: сколько его ни корми, ни ублажай, он всё равно норовит сделать своему благодетелю дурно, а то и взбесится бунтом против дворянского рода, к которому мужик во все времена пылал незатухающей ненавистью.

Открытие сей горькой истины, однако, не озлило Кроткова, а крепко разобидело: «Не знает наш мужик своего счастья жить за барином. Разве помещик за ним не приглядывает, как за малым дитем, не ограждает от голода и кабацкой напасти? У меня хлеба стоят на гумне улицами, разве я его весь съем? Неделю тому сгорела изба у Спирьки Хомутова — на, Спирька, брёвна из моего леса, на — корову из моего стада, на — три рубля как погорельцу. Хвалят Европу, а в той же Франции редкий мужик свою корову имеет, а если она у него есть, то он считается за богатея. Наш мужик утро начинает с кружки молока и краюхи хлеба, разве ему от этого худо? Наш мужик каждую неделю моется в бане, а француз лишь иногда поплещется в лохани своей грязью, а его почему-то считают чище нашего. Да и сам мужик всегда готов окрыситься на барина за его попечение над ним. Все проклинают рекрутчину, но и дворянин с рождения на государевой службе. Правда, его сейчас не бьют палками, как мужика, но совсем недавно и это было. Я уже четыре года тяну солдатскую лямку, живу с мужиками в одной избе, хожу в караулы, забиваю сваи под невскую набережную, а ведь я дворянин доброго рода, мой пращур с Иваном Грозным на Казань хаживал... У меня триста мужицких душ, но какая от этого радость? Счастье было бы, если батюшка оставил мне вместо трёх сотен посконных рыл триста золотых кирпичей, они есть-пить не просят, а мне на крыльцо нельзя выйти, кто-нибудь да ткнётся лбом в ноги: дай, барин, то, пожалуй, кормилец, это...»

Чуть не до слёз разворошил свою душу Кротков, горюя над помещичьей долей, но в зал вошла комнатная девка с огнём и запалила в шандалах оплывшие свечи. За окном было почти темно, ветрено, узкая розовая полоска на закатной стороне неба засветилась прощальным светом угасающего дня и скрылась в хмарных и тяжёлых тучах. Кротков коснулся горячим лбом холодного оконного стекла и с унынием посмотрел в опустошённый осенним листопадом сад, где все говорило о том, что осень миновала и грядёт уже близкая пора, когда усадьбу возьмут в осаду снега и морозы.

Комнатная девка опять зашла в зал, помялась и пропищала:

— Велишь, барин, на стол подавать?

Кротков не ответил, он думал о своём: надо было решать — ехать в Синбирск или остаться на зиму здесь. Ему это было сделать легко. Степан взял с полки замусоленные карты, перетасовал их, и выпала загаданная масть, король-пик. Он тупо на него уставился и поразился: король явно смахивал на Фирску Тюгаева, как будто был с него срисован. «У нас в России пруд пруди таких королей, — усмехнулся Кротков. — Но ведь кто-то из них сейчас стал мужицким царём. Надо ехать в Синбирск. Раз мне нагадано от него счастье, то не следует упускать его из виду. Что-то же и я должен делать, чтобы мужицкий царь мимо меня не прошёл».

— Фроська! — велел Степан. — Собери мне в дорогу лучшее, что у меня есть из одежды, и повесь в сенях проветриваться батюшкину енотовую шубу.

— Велишь, барин, на стол подавать? — опять пропищала девка.

— Ты что, не слышала, что я тебе сказал?

— Как не слышала? Да повар торопит, говорит, что курица готова.

— Подавай, но про шубу не забудь, — в зал вошёл истопник, молодой парень с охапкой берёзовых поленьев в руках и вопрошающе взглянул на барина. — Топи, да не шибко, — сказал Кротков. — Мне жара непривычна.

С неохотой поедая курицу с гречневой кашей, он поглядывал, как в печи плещется пламя, пошумливая и подвывая в остывших дымоходах и трубе. Отблески огня, просачиваясь через щель неплотно запертой дверцы, метались по потолку и стенам зала, и от этого он перестал выглядеть, как казённая камора, а стал по-домашнему обжитым, располагающим к покойному раздумью.

От горячей курятины и выпитых с гостями нескольких чарок очищенной Степан разомлел и начал поклёвывать носом, но понежиться ему не дал Корней. Он просунулся в дверь и хрипло кашлянул. За ним выглядывал Сысой.

— Что, отвезли Фирску, куда я велел? — стряхнув с себя сон, спросил Кротков.

— Всё исполнили, барин. Довезли до Волчьего лога и выкинули из телеги. И крепко

наказали обходить Кротковку стороной.

— Как там, на дворе, не разведрилось? — Кротков поднялся со стула и подошёл к бурмистру.

— Дождя нет, но холодает, снегом попахивает.

— Объявляю тебе, Корней, что завтра я уезжаю в Синбирск, Сысой поедет со мной. Готовьте самых добрых лошадей и коляску.

— Не худо бы подождать, пока снег ляжет, — сказал Корней. — Тогда бы по санному пути в тёплой кибитке и отправился.

— В городе мне кибитка не нужна. А там недолго поставить коляску на полозья. А ты что нахмурился, Сысой?

— Не привык он ещё к своей гайдуцкой доле, — пояснил Корней. — Теперь ты везде с барином, а о семье забудь.

— Озяб на ветру, — буркнул Сысой, внезапно огорчённый долгой разлукой с родными.

— Налей ему, Корней, большую кружку крепкой наливки, — расщедрился барин. — Но ты, Сысой, не заспи завтрашнее утро, поедем чуть свет.

Озадачив своих «придворных аристократов» завтрашним отъездом, Степан отпустил их, затем подошёл к печи и, открыв дверцу, положил туда несколько берёзовых поленцев. Пламя скоро охватило их, заплясало и зашумело, потрескивая и стреляя искрами. Кротков неплотно прикрыл дверцу и сел на стул, ощущая кожей лица, как выпыхивает из печи жар. «Покойно у огня греться, — думал он. — Но не дай бог оказаться в самом полыме. Фирска Тюгаев — всего лишь первая, но далеко не последняя искра, которая долетела до наших краев из кострища, что возжёг близ Оренбурга мужицкий царь Емелька. Если от таких искр полыхнет все Поволжье, то мне впору будет не о скоропостижном богатстве мечтать, а как остаться живу. В усадьбе оставаться нельзя: пустит тот же Фирска ночью красного петуха, из постели не успею выскочить».

Мимо него, переваливаясь с ноги на ногу, в комнату прошла Фроська, стукнула крышка сундука, послышалось шуршание перекладываемой с места на место одежды. Вдруг девка удивленно вскрикнула.

— Что пищишь? — сказал Степан. — Мышь свалилась за пазуху?

— Я, барин, рубль нашла!

— Держи крепче, я сейчас, — Кротков подхватился со стула и устремился в свою комнату. — Показывай! — Фроська разжала кулак, на ладони лежал державинский рубль. Степан кинулся рукой к потайному карману кафтана, тот был пуст. — Ты где его нашла?

— Чуток сундук подвинула, а он там, — сказала Фроська, отдавая барину рубль. — Я такие деньги только издали видела.

«Как же я его смог выронить? — удивился Степан, обрадовавшись находке. — С него, можно сказать, началась моя новая жизнь». Он подошел к столу, взял кошелек и вынул оттуда гривенник.

— Держи, Фроська! Это тебе за находку, а ты востроглазая, как сова: на полу потёмки, а ты мигом узрела рубль.

Горничная зарделась от барской похвалы и стала стелить ему постель. Кротков искоса поглядывал на неё сзади, подавляя в себе желание, более приличное петуху, чем барину. Девка будто нарочно медлила, не спеша взбивала подушки, и Степан на неё притопнул:

— Торопись, копуша!

Фроська выбежала из комнаты, и Степан, раздевшись до исподнего, встал на молитву. Он, хотя и был в одиннадцатом колене дворянином, веровал в бога по-мужицки: или что-нибудь у него просил, или на что-то жаловался. Преклонив колени, он жарко забормотал: «Господи вседержитель, яви свою божескую милость: дай мне то, что я желаю, и не помешай исполнению моего чаяния, а я, господи, воздвигну тебе на месте ветхого деревянного каменный храм о трёх главах, изукрашу дом твой дивным златописанием и драгоценными дарами. Аминь!»

Повторив моление семь раз, Кротков лёг в постель и закрыл глаза. Бессонницей он не страдал, и чаще всего ему снились сны из прежней петербургской жизни, но не гвардейская солдатчина, а разгульные трактиры, где Степан видел себя за игорным столом неизбежным победителем картёжных баталий на пару с бесшабашным пиитом Калистратом Борзовым.

На сей раз ему приснилась солдатская изба, в которую он, крадучись, вошёл и направился не к своей кровати, а отодвинул занавесь в углу, где жил каптенармус Михеев, хранитель ротной казны. Тот был в карауле, неподалёку возле печи похрапывал молодой солдатик из новоприбывших дворян. Степан склонился к михеевскому сундуку, отомкнул заранее подобранным ключом замок, взял деньги и на цыпочках, стараясь не скрипнуть сапогами, вышел из комнаты. Его грудь распирало от удачи, ноги сами вы-

несли его на крыльцо, и Кротков что есть силы побежал по осиянному белой северной ночью Петербургу к дому, где в этот час самые отпетые игроки столицы пытали своё счастье за картежным столом.

Прибежав к дому, Степан неожиданно легко запрыгнул на подоконник второго этажа и прилип к оконному стеклу. В высоком, освещённом многими свечами зале метали банк, вокруг стола сидели гвардейцы и несколько человек штатских, был среди них и Борзов. Калистрат увидел приятеля и приглашающе махнул ему рукой, и Степан просочился через стекло, сразу оказавшись рядом со столом, на котором стояли водка и закуски. Он налил себе полную чарку очищенной, опрокинул её в рот, враз ощутив, как по всему телу стало разливаться возбуждающее тепло, и с досадой подумал, что опять сорвался, не вынес зарок, сегодня уже пил с исправником и дядюшкой и опять не устоял. Эта мысль вызвала в мозгу Кроткова замешательство, он никак не мог понять, как из своей усадьбы попал в Петербург, но рядом появился Борзов и озабоченно спросил: «Ты при деньгах?» Степан схватился рукой за карман, деньги были на месте. «Не повезло в карты? Стало быть, Амур тебе благоволит». — «К чёрту всех пассий! — мрачно заявил пиит. — Пожалуй нищему поэту червонец на решительную талию». — «Изволь! — весело сказал Степан. — Я тоже возьму карту».

Они двинулись к столу, но вдруг ноги Кроткова приросли к полу: он увидел прапорщика Державина, который в расстёгнутом халате сидел на месте банкомета и с треском разрывал обложку новой колоды. «А, это ты, Кротков? — весело произнёс Державин. — Тогда ставь мой рубль и бери карту». — «Я при деньгах, Гаврила Романович, и твой рубль, что ты мне дал на счастье, ставить не буду. У меня есть и другие деньги». — «На краденые деньги я не играю, — рассердился Державин. — Хочешь играть — ставь мой рубль!» — «Зачем же мне терять своё счастье, — сказал Степан. — Оно с этого рубля пошло, а сейчас уже совсем близко. Я не хочу его лишаться из-за картёжной неудачи». — «Ступай прочь! — грозно вскричал Державин. — А ты, Саввишна, что медлишь? Хватай его и тащи в долговую тюрьму!»

В этот же миг чья-то цепкая рука ухватила Степана за ворот. Он дёрнулся и краем глаза смог заметить, что его держит и шипит змеёй проклятая процентщица. Кротков извернулся и цапнул зубами старуху за руку. Та взвизгнула и ослабила хватку, чем и воспользовался Степан, немедля ударившись в бегство. Он скатился по лестнице, выскочил на улицу и помчался, не выбирая пути, по освещённым призрачным светом переулкам, пока, наконец, не упёрся руками в каменную стену. Степан метнулся в одну сторону, в другую и понял, что забежал в тупик, но назад пути не было: размахивая клюкой, к нему приближалась грозная Саввишна. Тогда он отступил от стены, разбежался и прыгнул, как воспарил, и его понесло над крышами храмовых строений в отверстые двери собора и швырнуло рядом с мраморным гробом, стоявшим на гранитной плите.

При приземлении Степан не разбился, только растряс из карманов ротное золото и кинулся его собирать и вдруг обезножил от ужаса: ему послышались звуки, исходившие из гроба, что-то вроде лёгкого стона и плача. Он забыл про золото и начал осенять себя спасительным крестным знамением, это помогло, звуки смолкли, и тогда Степан стал медленно подниматься, чтобы узреть того, кто обитал в гробу.

Кроткову не приходилось видеть вживую императора Петра Фёдоровича, но несомненно это был он, о чём говорили императорские вензеля и надпись на крышке гроба. Степан начал осторожно приближаться к изголовью и на третьем шаге оледенел: державный мертвец стал подниматься из своего мраморного ложа, а за ним слышались чей-то сап и кряхтение. Ноги Кроткова подкосились, он рухнул на гранитную плиту и взмолился о своём спасении. Вдруг что-то стукнуло возле его головы, он разлепил глаза и увидел ботфорты, украшенные серебром и золотом.

«Он встал из гроба!» — с ужасом подумал Кротков и притиснулся лицом к граниту. Сквозь пелену страха до него доносились неясные звуки, потом он ощутил болезненный тычок под рёбра, и послышался голос: «Слышь, барин! А ну, подсоби умостить его обратно, тяжелёнек оказался покойник, еле из-под него выпростался». В гробу стоял стриженный в скобку мужик в красной рубахе и скалил ослепительно белые зубы. Руками он поддерживал мертвеца, чтобы тот не свалился на пол. «А ну, бери его за ноги! Да не бойся, не пнёт. Ну как, взяли?..» Степан, зажмурившись, схватился за императорские ботфорты, и на него так резко дохнуло редькой и квасом, что он закашлялся...

— Будись, барин! Уже белый день, коляска у крыльца.

Кротков открыл глаза, перед ним стоял уже собранный в дорогу Сысой. «Вот дурак! — подумал Степан. — Не дал спросить у мужика, где и когда мне ждать от него счастья».

— Поди прочь! И захвати мой походный сундук.

Сысой отпрянул от барина, потоптался и, подхватив походный сундук, вышел из комнаты. Кротков встал с кровати, взял штаны и замер, осененный внезапной до-

гадкой: «А ведь недаром мне мерещится и нагадывается, что я своё счастье получу от царя, больше не от кого его заиметь: только государь в силах меня обогатить так, как я желаю. Недаром меня и в Синбирск поманило, ведь недале как шесть лет тому назад государыня Екатерина Алексеевна, будучи там проездом, пожаловала неслыханным по богатству кладом четырёх гвардейцев, которые в одночасье стали богатейшими людьми России».

– 7 –

Укрепившись на шатком троне Российской империи после того, как гвардейцы с него стащили и скорехонько замяли до смерти императора Петра Фёдоровича, государыня Екатерина Алексеевна вздумала обозреть хотя бы малую часть своих необъятных владений, с чем и направилась летом 1767 года в путешествие по Волге на галере «Тверь». Ехала не одна, а со своим сердечным другом графом Григорием Орловым, который и дал знать по всем понизовым городам, чтобы там изготовились к восходу над ними венценосного солнца Российской империи.

В Синбирске, как прослышали о скором приезде императрицы, все переполошились, такая замятня началась, что пыль столбом. И то правда — выгнали из солдатских изб служивых, дали им в руки лопаты и метлы: кочки соскребать, мусор и шевяки навозные сметать. Всю Соборную площадь чисто вылизали, кардегардию и дом провинциальной канцелярии побелили, а наличники на окнах жёлто выкрасили. Чиновников, которые в присутствия кто в чем хаживал, заставили достать мундиры, проветрить от нафталина, крючки да пуговицы попришивать. Безмундирным велели по домам сидеть и носа не высовывать. Купцам тоже заботу сотворили — собрать, какие сыщутся, штуки красного сукна, чтобы в двести саженей ковровую дорожку выложить под ноги государыне от Волги до вершины Синбирской горы. Соборные диаконы глотки прочищали гулким кашлем и кагором смачивали. Дишкантам и тенорам по сотне яиц отпустили безденежно, пусть пьют от пуза для голосистости.

Государыня ведать не ведала об учинённом ею своим приездом переполохе в Синбирске, почивала себе на перине из лебяжьего пуха под шёлковым одеялом. В бока галеры, сделанной из корабельных сосен, плескались волны, розовый парус похлопывал, гребцы, сто саженных солдат-гренадер, вёсла в руках баюкали, да и сами дремали. Тут и солнышко взошло, осветило императорский штандарт на мачте, обласкало тёплыми лучами палубу, вызолотило на носу галеры бородатого и голого мужика с вилами — морского бога Нептуна. Государыня шевельнула ручкой по лебяжьему ложу, место рядом ещё не выстыло, ушёл Гриша, как обычно, до её просыпа. Вздохнула, очи распахнула, в колокольчик брякнула. Появились камеристки-прислужницы, у одной в руках серебряная лохань с тёплой водой для умывания, у другой — гребни из зуба морского зверя для расчёсывания волос, у третьей — шкатулка из чёрного эбенового дерева с притираниями, мазями, помадами, белилами-румянами, всё французской выделки. Граф Григорий Орлов зашёл, ручку чмокнул, справился, как государыня почивала, а о том, где был в ночном, — молчок! «Как погода, ваше сиятельство?» — спросила царица. «Знойно, матушка! Скоро в Синбирске будем». — «Ах, — молвила государыня. — Надеюсь, хозяева приготовленные мне покои охладили да мух повыгоняли. Уж очень они меня в Казани замаяли!»

Галера «Тверь» причалила к пристани под радостные клики горожан. Когда императрица ступила на берег, колокола соборов и церквей заблаговестили, над полуразрушенными стенами старой крепости закурился белый дым — то внятно чихнули четыре единорога времён царя Алексея. По красной дорожке, приветствуемая со всех сторон горожанами и дворянами, государыня поднялась в гору к каменному дому купца-миллионщика Мясникова, в коем были устроены покои. После двух часов отдыха она изволила выйти в залу, где, потея в суконных мундирах, при шпагах и треуголках ожидали аудиенции воевода коллежский советник Панов и военный комендант полковник Чернышёв с главными чиновниками провинции. Комендант в этом году был назначен в Синбирск, в полковники он скакнул, по милости Екатерины, из камер-лакеев, и она с любопытством на него посмотрела: каково ему на комендантском месте, по Сеньке ли шапка оказалась? Ещё не перетёртый в синбирских жерновах Чернышёв выглядел вполне по-петербургски, камер-лакейская выучка позволяла ему держаться с выверенной почтительностью к царствующей особе. А остальные чиновники были крепко ушиблены сиянием, исходившим от российской самодержицы, глаза у них заслезились, руки затряслись, души затрепыхались от прилива крови и административного ликования. Не чаяли они, что будут находиться в двух шагах от порфироносной владычицы всея России. А та милостиво улыбнулась, допустила их к своей августейшей руке и сжалилась над их потной краснотой, отпустила. «Какие медведи!» — промолвила она, адресуясь к Орлову. «Медведи? — задумчиво произнёс граф. —

Это волки, матушка!» — «Но других у меня нет! Душно, однако, и скучно. Что там на завтра?» — «Торжественная служба в соборе, представление народу». — «Ладно, займусь бумагами. Этот Чернышев, камер-полковник, принёс мне экстракт о состоянии крепости, её, кажется, стоит продать обывателям на дрова».

Государыня не гнушалась входить во все административные дела. Поднявшись в свои покои, она поторопила своих дам снять с неё тяжёлую, прошитую золотыми нитями и унизанную алмазами робу, выпила холодной воды с брусникой и села за столик к бумагам. Вечером того дня она записала в своём дневнике: «Здесь такой жар, что не знаешь, куда деваться, город же самый скаредный, и все дома, кроме того, где я стою, в конфискации, и так мой город у меня же. Я не очень знаю, схоже ли это с здравым рассуждением и не полезнее ли повернуть людям их домы, нежели сии лучшие и иметь в странной собственности, из которой ни коронные деньги, ни люди не сохранены в целости? Я теперь здесь упражняюсь сыскать способы, чтобы деньги были возвращены, дома по-пустому не сгнили, люди не переведены были вовсе в истребление, а недоимки по вину, по соли только сто семь тысяч рублей, к чему послужили как кражи, так и разные несчастливые приключения». Присыпала написанное песком, сдула, перечитала и взгрустнула. Государыне представилось, что она сидит сейчас в доме на Синбирской горе, кручинится над тем, как извести воровство и взятки, а в это время на всём протяжении огромной России воруют, тащат, вымогают мзду, и нет сил прекратить это беззаконие. Ей стало вдруг зябко, она глянула в окно, в котором догорал закат, и сладко зевнула.

У графа Орлова тем часом из головы не выходила мысль, как развеселить свою царственную подругу. На такие придумки он был не очень горазд, не шут Балакирев, а гвардейский офицер, вот шпагой бы кого проткнуть или в морду кулачищем заехать, на это граф был способен без раздумий. Нрав он имел пылкий, а ум недалёкий, тем и проиграл в будущем Потёмкину, но пока у него с Екатериной Алексеевной отношения были страстными, умел Григорий её так обнять, таким жаром-пылом обжечь, что отказу ему ни в чём не было. Орлов стоял возле окна в коридоре и поглядывал, как одна за другой покидали покои государыни её камеристки. Когда вышла последняя, он двинулся к заветным дверям, но возле лестницы его остановило какое-то шуршание. Он откинул портьеру и увидел прижавшуюся к стене хорошенькую девицу, которая зарделась, как маков цвет. «Ты кто такая?» — спросил Орлов. «Я хозяйская дочь, ваша милость, Екатерина». Граф улыбнулся. Чудно ему показалось — опять Екатерина. «И сколько ещё таких розанов здесь произрастают?» — «У батюшки моего нас четверо». — «И все так же прекрасны? — по-гвардейски привычно схватил девицу в охапку и поцеловал в губы: — Ах, сладка ягодка!» Девица убежала вниз по лестнице, а граф задумался, почесал затылок и радостно улыбнулся — его осенила догадка, чем занять государыню. Вошёл в покои, увидел свою Катеньку, убранную ко сну, в прозрачной батистовой рубашке, подхватил на руки, закружил. «Нашёл я тебе заботу, матушка! Всю твою грусть, скуку окаянную как рукой снимет! Нужно заковать четырёх девиц в крепкие оковы!» — «Это как же они провинились?» — «Ох, и провинились! Представь: молоды, с лица далеко не дурны, за каждой два завода, двадцать тысяч душ, миллионы рублей серебром да золотом. Немедленно возложи на них узы Гименея!» Государыня рассмеялась: «Ты предлагаешь мне быть свахой?»

Так снизошло на семейство Ивана Семёновича Масленникова царское благоволение. Крепко он маялся, как и жена его, Татьяна Борисовна, одной думой: дочери на выданье, а женихов, соразмерных по своим достоинствам с приданым, не находилось. Дворянство бывшего купца, полученное им за классный чин, выглядело в глазах родовитого барства скороспелым и даже плюгавым. Конечно, были женихи из дворян, но по большей части с червоточиной: беднота, из имения только ботфорты на ногах да шпажонка на боку да аттестат на чин поручика за пазухой. Такие бы тысячами со всей России набежали, только свистни! Но не о таком счастье мечталось дочерям и самому Масленникову. И он, и Татьяна Борисовна были склонны выдать дочерей за своего брата купца, за ним надёжнее, и капиталы будут целы, и от балов-машкерадов головы не закружатся, веру отцов крепко блюсти будут. Тревожные думы одолевали Масленниковых, тревожные.

«Завтра ведь у нас куртаг, — сказала государыня. — Озаботься, Гришенька, чтобы наши хозяева были». — «Непременно!» — обрадовался Орлов. Ему намеченное на завтра мероприятие было любо по одной весьма важной причине: государыня, несмотря на его недовольство, постоянно держала вокруг себя свиту молодых блестящих офицеров гвардии, жадно взирающих на неё и готовых при малейшем знаке прыгнуть в царскую постель. Граф прекрасно понимал, что его могущество держится на приязни к нему государыни, и не хотел этого лишаться. Завтрашний куртаг его радовал тем, что он может одним махом избавиться сразу от четырёх вполне возможных соперников.

Дом Масленикова строил московский архитектор, он был в два очень высоких этажа, имел, кроме жилых комнат и спален, просторный зал на втором этаже с наборным из дуба полом, лепным потолком и роскошной люстрой. Окна выходили на берег реки, из них открывался приятственный вид на Заволжье, речные острова и растекшуюся между ними Волгу. К приезду государыни весь дом чистили, мыли и скребли, и зал, ярко освещённый множеством свечей люстры и светильников на стенах, сиял, как сказочный дворец. В дом Масленникова съехались самые родовитые синбирские дворяне, и государыня, встречая гостей, милостливо улыбалась. Ни обеда, ни возлияний на куртаге не предполагалось, это было время общения избранной знати со своей повелительницей, и приглашение на него означало причастность к самому высшему кругу лиц и крайнюю близость к трону. Но сегодня был вечер, где главное внимание уделялось не потомкам Рюрика и Гедимина, а Масленниковым. В карты ни Иван Семёнович, ни Татьяна Борисовна не играли, и на сегодня ломбер был оставлен. Музыканты играли длинный польский или полонез, кавалеры и дамы дефилировали с ритмическими приседаниями по залу, а всё общество, глядя на танцующих, приосанивалось, видя себя таким прекрасным, таким знатным, таким пышным, таким учтивым.

Екатерина была великая мастерица вести всякого рода переговоры. «Я слышала, — сказала она Масленникову, которого не опускала от себя ни на шаг, — у тебя много красного товара имеется, а у меня — добрые молодцы?» Ивана Семёновича окатило жаром, он сразу понял, о чём идёт речь, и не стушевался. «Товар имеется красный, да только по плечу ли он молодцам будет? Мы люди простые, наукам не обученные». — «Полно тебе, Иван Семёнович, — улыбнулась государыня. — Не след тебе прибедняться. Всё от твоего слова зависит». — «С превеликой благодарностью вручаю судьбу дочерей вам, ваше величество», — сказал Мясников и прижался губами к милостливо протянутой руке императрицы.

И начались свадьбы: и в Синбирске, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ирина вышла замуж за Павла Бекетова, родовитого дворянина и капитана гвардии, Дарья — за Александра Пашкова (в его память россиянам остался знаменитый «Пашков дом» в Москве), Аграфена — за Алексея Дурасова, построившего на деньги жены великолепную усадьбу, завзятого театрала, Екатерина — за Григория Козицкого, чей дворец в Москве был впоследствии перестроен в Елисеевский магазин. Мужья получили жён, каждую с таким сказочным приданым, которое иначе как кладом, зарытым на Синбирской горе, не назвать.

Глава третья

– 1 –

В столицу провинции, град Синбирск, Кротков въехал через два дня, как покинул свою усадьбу. По грязному свияжскому взвозу коляска поднялась на Синбирскую гору, где находилась полуразвалившаяся крепость, к которой с разных концов сходились улицы, застроенные деревянными домами и глухими заборами. Кротков с любопытством поглядывал на необычное для небольшого города многолюдство, причина которому была ему известна: в Синбирск от разбойничьих ватаг, спасая свои жизни, сбежались из усадеб дворяне с жёнами и домочадцами. И самому Кроткову пришлось не далее как утром пережить потрясение, когда из Тагайского леса выскочили с десяток вооружённых вилами и дубьём мужиков и кинулись на перехват коляски, но верный Сысой не сплоховал и сумел пустить коней во всю прыть, а Кротков, на своё счастье, не выпал из коляски, когда она начала прыгать на ухабах. Потерей во время этой сумасшедшей скачки стала шапка, которая слетела с головы Кроткова. Он видел, как она, упав с его головы, покатилась под ноги здоровенному верзиле, который подхватил её и напялил на свою кудлатую и рыжую башку, а после с поносной руганью потряс над собой тяжёлой дубиной. Этот свирепый мужик так напугал Кроткова, что он не переставал вздрагивать и оглядываться, пока не въехал в Синбирск.

Здешнее многолюдство его успокаивало и развлекало, вокруг было немало прохожих и колясок, на которых отцы семейств, пользуясь хорошей погодой, вывезли прогуляться своих незамужних дочерей. То и дело мимо Кроткова проходили нижние чины гарнизонного батальона, и мужики здесь не поглядывали на бар исподлобья, а с готовностью скидывали с головы шапку и, прижав её к груди, склонялись перед господами в поклоне. И ещё одно диво-дивное узрел Кротков, когда выехал на главную улицу города: по тротуару шёл точно такой полицейский, каких он видел только в Петербурге и в Москве. Он велел Сысою его догнать и окликнул полицейского чина:

— Скажи, братец, где мне повернуть на Панскую улицу?

— За тем красным домом, — сказал полицейский. — Направо, и будет Панская.

— Ты здешний будешь? — спросил Кротков. — Или проездом в городе? Ужели и в Синбирске заведена полиция?

— Как есть заведена, ваше благородие, — ответил полицейский. — Стоим на часах круглые сутки подле дверей правителя провинциальной канцелярии.

Варвара Парамоновна была тремя годами моложе своего двоюродного брата, но уже смотрелась настоящей дамой из высокого круга. Её муж Фёдор Иванович Головин имел полторы тысячи душ крестьян, и это позволяло ему жить по-барски широко и хлебосольно. Дом на Панской улице стоял на каменной подклети и имел два высоких этажа, рядом с ним находились — флигель для гостей, каретный сарай, конюшня и людская изба. В Синбирск Головины приезжали жить на всю зиму и привозили с собой многочисленную дворню: слуг, горничных, поваров, хлебопека, кондитера, кучеров и сторожа, который и распахнул ворота перед коляской нежданного гостя.

Хозяева были дома, приезд Кроткова их заметно обрадовал и слегка удивил своей неожиданностью, они полагали, что родственник пребывает в столице или отважно сражается с турками. Фёдор Иванович любезно осведомился о дороге и, услышав, что Кротков чуть не стал добычей разбойников, ничуть этому не удивился:

— Тебе ещё повезло, братец! Дня не проходит, чтобы где-нибудь не убили помещика — такая вот жизнь настала! Но хватит о грустном, слава богу, ты в Синбирске, а здесь мы в безопасности.

— Как там мой папенька? — спросила Варвара Парамоновна. — Я крепко за него боюсь, как бы мужики не отплатили за его доброту ужасным злодейством.

— Не далее как три дня назад был у меня с исправником. Он и насоветовал мне ехать в Синбирск.

Зная увертливость тестя, Фёдор Иванович был за него спокоен:

— Парамон Ильич знает, что ему делать: он держится близ воеводы, а у того под рукой всегда воинская сила.

Заметив, что гость утомлён дорогой и сейчас не расположен к разговорам, Головин проводил Кроткова во флигель, указал ему комнату и сказал, что к ужину у него будут гости, его бывшие сослуживцы по гвардейскому полку Иван Дмитриев и Михаил Карамзин.

— Мы вечера проводим по-старинному, без петербургских новшеств, — сообщил Фёдор Иванович. — За чаем и в дружеской беседе.

Оставшись один, Кротков, сняв сапоги, опробовал кровать и убедился, что постель на ней в меру мягка и удобна. Недолгого сна ему хватило на то, чтобы освежить голову, затем он поднялся, сполоснул под рукомойником лицо и стал готовиться к ужину. На исподнее он надел короткие штаны-кюлоты с чулками, затем рубашку, а поверх неё жилет, затем широкий кафтан. Башмаки слегка жали в пальцах, Степан положил под пятки войлочные подкладки, и ногам стало покойно.

Он глянул на себя в зеркало и остался доволен своим видом, что с ним стало случаться всё чаще, поскольку постылая солдатчина была позади, и в последнее время он забыл ругань сержантов, которые, распалившись, не знали словам удержу. Кротков за время жизни в своём родовом гнезде почувствовал себя барином. Пусть у Головина, Дмитриева, Карамзина в пять раз больше крепостных душ, чем у него, но ему судьба почти каждый день предоставляла знаки, что скоро он будет так неимоверно богат, как никто из этих спесивцев.

По настеленным доскам Кротков перешёл от флигеля к дому, поднялся на крыльцо и через прихожую вступил в большой и светлый зал, где застал всех в сборе: и гостей, и хозяев. Головин представил своего родственника Карамзину и Дмитриеву, а также человеку, в котором нельзя было не признать приказного выжигу по его вкрадчивым ухваткам и переменчивому взгляду: от искательного до надменного и пронзительно-огненного.

— Евграф Спиридонович Баженов, канцелярист синбирской канцелярии, племянник моего троюродного брата, — сказал Фёдор Иванович. — Мой поводырь в дебрях российского кривосудия.

— Изволишь шутить, дядюшка, — улыбчиво возразил Евграф. — У тебя тяжб нет.

— Ни у кого из нас нет тяжб, — проговорил Карамзин, — но скоро тут дворянство увязнет в межевых раздорах: есть задумка произвести генеральное межевание всех земель, и сие коснется каждого помещика, нужно будет доказывать законность своего владения землей.

— То-то пожива будет приказным, — ворчливо промолвил Дмитриев. — У меня, к примеру, есть ставленые грамоты от государей моим предкам, но как они писаны? Те знаки, которые в них указаны, давно без следа сгинули. Как ведь писали: «От Голого бугра до Горелого дуба...» Поди теперь отыщи этот горелый дуб! А бугры в сызранской степи сплошь голые. Добро, если сосед не с придурью, а то попадётся, как мой Бесту-

жев, затаскает по судам, а спор-то о восьми десятинах!

Слуга подал Кроткову чашку чаю, весьма редкого и дорогого в те времена напитка, который только начинал входить в употребление у богатых людей. Редким и дорогим был и сахар, возлежавший горкой кусков желтоватого цвета в большой вазе. В Петербурге Степан успел распробовать не только очищенную водку, но и чай, и он ему пришёлся по вкусу.

— А что слышно, Евграф, о межевании в твоей канцелярии? — спросил Федор Иванович. — Или до вас вести доходят в последнюю очередь?

— Указов на этот счет к нам не поступало, — почтительно сказал Баженов. — Но буде что явится, то мимо меня не пройдет.

Дмитриев поглядывал на канцеляриста с явной усмешкой, он презирал крапивное семя, которое норовило стать выше родовитых дворян, получая классные чины и богатея от взяток.

— Наших приказных, начиная с шестьдесят осьмого года, беспокоит другое — как брать взятки ассигнациями? — проворчал он, откусывая кусочек сахара. — Учредили ассигнационный банк, а не подумали, что теперь себе же сделали неудобства.

— Это какие же неудобства? — удивился Карамзин. — Не все ли едино, как брать?

— Хитрость в том, Михаил Егориевич, — сказал Дмитриев, — что на монетах нумеров нет, а на ассигнациях они прописаны, стало быть, можно установить, от кого получена и кем дадена взятка. И ведь ты, Евграф, посулы ассигнациями не берёшь, предпочитаешь золото, так ведь?

Кротков с любопытством смотрел на канцеляриста, как он ответит на острые слова, но тот оглядывался вокруг так бесхитростно и невинно, что его впору было пожалеть.

— Какие посулы в нашей синбирской глухомани, Иван Гаврилович? — удивлённо промолвил Баженов. — А что до ассигнаций, то они близ нас и не ходят, их ещё мало в обращении.

— Не всё ли едино, какие деньги — бумажные или золото? — запив чаем першинку в горле, сказал Кротков. — Я в Петербурге расплачивался ассигнациями, как серебром, рубль за рубль.

— Так недолго будет, вот увидите, — веско произнёс Дмитриев. — Ассигнации скоро похудеют, и причины известны: велик соблазн наделать бумажек больше, чем их золотое обеспечение. Война с турками обесценит ассигнации, и те, кто их имеет, обнищают. Наши отцы, слава богу, обходились без них. Раньше ещё проще было: земский собор решал брать с каждого пятую деньгу, а сейчас возьмут через бумажные деньги много больше, но утайкой.

— Это, господа, у нас от французов завелось, — заметил Карамзин. — Они выдумали бумажные деньги и нас ими заразили.

— А я слышал, что от немцев, — удивился Головин. — От французов у нас помады да парики завелись, ужели они и на другие хитрости горазды?

— Немцы много честнее, они служат, — сказал Дмитриев. — А француз норовит уловить нашего брата какой-нибудь безделкой и подмять под себя. Что русским проку в их птичьем наречии, так нет, в Петербурге всё больше берут моду говорить по-французски, без этого дворянину скоро и шагу ступить будет нельзя. А чему учат французы в своих пансионах дворянских недорослей? Разврату! Синбирские дурни нахвалиться не могли здешним учителем Кибритом, как же — француз! А он взял да и обрюхатил свою кухарку, вот вам и француз!

— Вот это новость! — удивился Головин. — Что же теперь будет с пансионом?

Дмитриев насупился и замолчал, его любвеобильный Кибрит обидел лично: в пансионе обучался Ваня, двенадцатилетний недоросль, сын Ивана Гавриловича. Он изъял своего отпрыска из пансиона, который теперь стал называться не иначе как вертепом и гнездилищем разврата. Дмитриев был богат, но из гвардии вышел рано и чин имел незначительный, не позволявший ему разъезжать на карете, запряжённой четвёркой лошадей. Это было для него огорчительным и пробуждало в Иване Гавриловиче недовольство всем, что он видел вокруг.

— Пансион, разумеется, закрылся, — сказал Карамзин. — Кибрит спешно выехал из города, кажется, в Казань.

— Сдаётся мне, что французы с умыслом насылают на нас своих учителей, — глубокомысленно произнёс Дмитриев. — Вы скажете, с каким умыслом? А с таким, чтобы совращать на свой манер наших недорослей, дабы они, заразившись от них, покупали у французов всякие помады, платья, танцевали под их музыку, транжирили имения и нищали.

После этих пророчески прозвучавших слов за столом воцарилось молчание, которое нарушил тихий голос Баженова:

— А правда ли, господа, что французы делают свои помады на лягушачьем сале?

— Какую мерзость ты сказал, Евграф! — вздрогнул Головин. — Теперь поздно об

этом говорить, когда все уже намазались французскими помадами и будут мазаться дальше. Хотя они и сделаны из лягушек, никого от них не стошнит.

Кротков внимательно прислушивался к разговору за столом и помалкивал, поскольку о французах имел весьма смутное представление. Но после слов Головина он оживился и решился сказать свое слово:

— Вот заговорили о помаде, а у нас в полку, господа, все знают о прискорбном случае с Никитой Бекетовым, который был весьма близок к императрице Елизавете. Он был очень хорош собой, и Шуваловы подсунули ему обманом помаду, после которой у Бекетова всё лицо покрылось язвами. Шуваловы стали уверять государыню, что эти язвы у него от дурной болезни...

В этот миг Кротков почувствовал, как Головин его больно ударил локтем в бок. Он сконфуженно умолк и потянулся к чайной чашке.

— Добро бы только это шло от них, — недобро поглядывая на Кроткова, сказал Иван Гаврилович. — Сдаётся мне, что они и за Пугачёвым стоят. Не может быть, чтобы мужику самому пришло в голову объявить себя императором.

Это мнение, явленное столь откровенно и прямодушно, произвело большое впечатление на всех присутствующих. Никому из сидящих за столом не могло до сей поры и пригрезиться, что Пугачёв является ставленником французов.

— Стало быть, тебя, Иван Гаврилович, надо понимать так, что из-за Пугачёва выглядывает французский король? — потрясённо промолвил Головин. — Но какая ему в этом нужда?

— Самая что ни на есть прямая! — заявил Дмитриев. — Всему миру ведомо, что французы подначили султана начать против нас войну по ничтожному поводу: подумаешь, пошалили запорожцы, разве этого раньше не бывало? Сейчас русский положил турка на обе лопатки, а французам, известно, неймётся: стали уповать на смуту в России, подкинули нам лжецаря, чтобы возмутить крестьян против господ.

В зале воцарилось молчание, впервые здесь открыто было сказано о пугачёвщине без утайки как о смертельной угрозе для каждого из сидящих за столом. Раньше, хотя бунт уже начал растекаться по всем уездам синбирской провинции, дворяне о нём предпочитали не говорить открыто, суеверно надеясь, что не стоит звать лихо, и тогда оно может и обойти Синбирск стороной.

— Я ведь говорил как-то тебе, Фёдор Иванович, — тихо промолвил Баженов, — что Пугачёв был у меня в руках не далее как на минувшее Рождество.

Это признание канцеляриста повергло всех в изумление, они представить себе не могли, что Пугачёв, чьё имя сейчас повергло дворян в ужас, мог побывать во власти ничтожного чиновника провинциальной канцелярии.

— Как же, как же! — оживился Головин. — Что-то такое припоминаю... Но почему ты его упустил?

— Ты что, Фёдор Иванович, не знаешь повадки приказных? — съязвил Дмитриев. — Известно, сунул Пугачёв барашка в бумажке!

— Зря изволите так говорить, Иван Гаврилович, — тихо сказал Баженов. — У Пугачёва денег не было, он был отправлен в Казань, это тамошние сторожа его упустили. Но дело не в этом. Пугачёв вышел из Польши, а что он там поделывал — неведомо, вполне мог и с французами завести шашни.

— Может, он, когда был в Синбирске, и с нашими французами успел поякшаться? — предположил Карамзин. — И те дали знать в Казань тамошним французам, чтобы они устроили Пугачёву побег.

— Вот и добаловались с этими французами, — многозначительно произнёс Дмитриев, весьма довольный тем, что подозрение на французов, мелькнувшее у него в голове без всякой на то причины, получило подтверждение от Баженова и сочувствие от Карамзина. — Надо Пугачёва изловить живым и крепко расспросить, кто его подвинул на мысль объявить себя императором. Если французы, то всех до единого их выслать и никогда в Россию впредь не впускать.

— Пугачёва ещё долго будут ловить, а нам, господа, не худо бы озаботиться о своих семействах, — сказал Головин. — С Оренбургской линии доходят ужасные вести. Злодей свирепствует над дворянами, не щадя даже малых детей. Я, вот только станет санный путь, мыслю отъехать в Москву.

— Нет, господа, я больше не желаю говорить о самозванце, — произнёс Карамзин. — От этих разговоров только голова кругом идёт и бессонница одолевает. Недурно бы перейти к ломберному столу и успокоить себя неспешной беседой за картами.

Три игрока определились сразу — хозяин и почтенные гости. Баженов в душе рвался сесть с ними рядом, но великодушно уступил Кроткову, который вдруг удивил всех, заявив, что не знает ни одной игры, на что Дмитриев добродушно заметил:

— Это, братец, с твоей стороны великое упущение: что ты будешь в своей деревне делать, когда выйдешь из полка?

Картами забавлялись до тех пор, пока оплывшие в шандалах свечи не стали помигивать. Расставались довольные проведённым вечером, особенно Головин, который выиграл девяносто копеек. Прощаясь с ним, Кротков спросил:

— Почему ты не дал мне договорить о Никите Бекетове?

— Иван Гаврилович женат на его родной сестре. Вот я и остановил тебя, чтобы не огорчить гостя. Синбирское дворянство в родстве с лучшими фамилиями империи, и здесь нужно себя вести сдержанно, чтобы ненароком кого-нибудь не задеть.

– 2 –

Утром, глядя в окно на обильно заиндевевшие дворовые постройки, Кротков вспомнил, что у него нет шапки, и велел Сысою закладывать коляску, чтобы ехать в торговые ряды. Пока кучер запрягал коней, он успел позавтракать, переодеться и в енотовой нараспашку шубе вышел из флигеля во двор. Было холодновато, но день обещал быть тёплым и солнечным. В городе люди жили тесно, впритык друг к другу дворами, и от многих топящихся печей пахло горьковатым дымом, который в безветрие не разлетался по сторонам, а оседал на землю, едва только выйдя из печных труб.

— Ты хоть расспросил, куда нам ехать? — спросил Кротков, усаживаясь в коляску.

— Тут недалече, — ответил Сысой. — Поедем туда, куда и все люди.

Торговые ряды находились на площади, окружённой избами и амбарами. Торговля велась в основном с возов и прилавков, а также в разнос, всякой галантерейной мелочью. Торговый день только начался, покупателей было немного, и, сойдя с коляски, Кротков, не торопясь, пошёл мимо возов с мукой, овсом, сеном, дровами, щепным товаром в меховой ряд, где торговали овчинами и мужицкими шубами, шкурами промыслового зверя, от заячьих до медвежьих. Здесь же находилось несколько лавок, куда заходили по-господски одетые люди.

— Чего, барин, изволите? — повернулся к Степану юркий приказчик.

— Есть у тебя, малый, шапка из недорогих, но такая, чтобы прилична была моему дворянскому званию?

— А как же-с! — воскликнул приказчик и подал Кроткову бобра, в котором он тотчас провалился головой.

— Ты что, подлец, не видишь, что она мне велика! — рассердился Кротков и, сняв шапку, заглянул в неё и понюхал. — Она же ношеная, а ты решил мне подсунуть её за новую!

— Этого не может-с быть, ваша милость! — невозмутимо сказал приказчик и тоже понюхал шапку. — Пахнет мускатом, как и должна: шкурка обработана мускатным снадобьем, чтобы отбить звериный дух.

— А нет ли у тебя енотовой, чтоб под шубу? — потребовал Кротков. — И на мою голову.

— Должен-с вас огорчить, енота нет, они нынче стали редки. Но есть выход: снимем мерку и сошьём, а бобра на шапку положим, сколько пожелаете.

— А что, в соседних лавках нет шапок?

— Мы-с туда не заглядываем, — враз поскучнел приказчик и поспешил навстречу приезжему помещику, который ввалился в лавку со всем своим многочисленным семейством.

В двух соседних лавках подходящей для Кроткова шапки не нашлось, он уже намеревался зайти в третью, как его окликнул Сысой.

— Барин! Глянь-ка вон на того мужика, что стоит за возом с капустой! — воскликнул он. — Сдаётся мне, что у него на башке твоя шапка!

Кротков пригляделся. На мужике, которого указал его гайдук, была енотовая шапка, сам он стоял к нему спиной, а вокруг него толпились крестьяне и о чём-то горячо калякали.

— Ступай за мной! — велел Кротков и, обойдя возы, выглянул и обомлел. Это был вчерашний разбойник, что гнался за кротковской коляской возле Тагайского леса, рыжий верзила в енотовой шапке, в которой Кротков без сомнения опознал свою собственность.

— Барин! — жарко зашептал ему в ухо Сысой. — Не думай на него кидаться, мужики нас замнут и затопчут. Надо искать подмогу.

Здравая речь Сысоя заставила Кроткова оглядеться по сторонам, и он узрел помощь в нескольких солдатах и унтер-офицере, которые закусывали пирогами и пили сбитень. Рядовые были без оружия, а на поясе унтер-офицера висел палаш.

— Господин сержант, — обратился к нему Кротков, — надо немедленно схватить разбойника, который на меня вчера напал, когда я ехал в Синбирск.

Бывалый унтер-офицер цепко взглянул на Кроткова и, смахнув с усов пирожные крошки, выдохнул:

— Никак не можем, ваше благородие, самовольствовать без приказу своего начальства!

Кротков беспомощно оглянулся. Рыжий мужик, унося на своей голове его шапку, залез на воз, явно намереваясь покинуть торговые ряды.

— Всем дам по гривеннику на водку! Берите вон того рыжего мужика и свяжите его по рукам и ногам.

— Ребята, за мной! — радостно воскликнул сержант, и солдаты, отшвыривая встречных, кинулись к рыжему верзиле. Тот, поняв, что бегут за ним, схватил вожжи и стал нахлёстывать ими своего коня, который прямиком попёр на соседний воз, опрокинул его и, запутавшись в чужой упряжи, упал на бок. Разбойник кинулся бежать, перепрыгивая с телеги на телегу, но оступился, повредил ногу, и тут же на него навалилась погоня.

— Крепче вяжите его, ребята! — велел Кротков. — Кладите его в коляску!

Он сорвал с головы разбойника шапку и что есть силы пнул его сапогом под душу. Солдаты подняли мужика и кинули ничком к ногам воссевшего на сиденье Кроткова. Он протянул сержанту деньги.

— Благодарю за службу!

— Рад стараться, ваше благородие!

— Поезжай, Сысой, на главную улицу, надо сдать злодея властям, — сказал Кротков и победно оглядел толпу мужиков и баб, которые сбежались смотреть на его подвиг. Люди проводили коляску молчанием, но во многих взглядах светилась готовая выплеснуться наружу ярость. Сысой это углядел раньше своего барина и поторопил коней ударом бича. Толпа раздалась в стороны, и коляска помчалась к дому синбирской канцелярии.

Евграф Баженов с утра был занят допросом горничной девки, которую барыня заподозрила в краже серебряного кольца, но ничего от неё, кроме вытья и слёз, не добился. Отправив девку в холодную, чтоб она там одумалась, он стал вычитывать сообщения, которые шли в Синбирск со всех сторон, о бесчисленных нападениях разбойничьих ватаг на помещичьи усадьбы и убийства их владельцев. Солдатские команды были не в силах их защитить и часто прибывали уже на пепелища, где на воротах висел труп дворянина, а его семью нередко отыскивали под головёшками сожжённого дома.

«Вот, говорят, что наш народ добр и жалостлив, — ужаснувшись, подумал Баженов, прочитав о набеге разбойников на Белый Яр. — Дворовые мужики повесили на воротах барина, и при этом его жалели, даже плакали, когда набрасывали ему на шею петлю: «Не обессудь, Василий Прокофьевич, так мир приговорил, а мы ему не перечим».

В комнату вошёл Долгополов и кашлянул, привлекая внимание своего начальника.

— Что там у тебя? — спросил Баженов, оторвав взгляд от секретных бумаг.

— Какой-то барин вора на торге изловил и привёз сюда.

— Давай обоих сюда и сам будь рядом! — велел канцелярист и, выйдя из-за стола, подошёл к зеркалу и поправил парик. Долгополов втолкнул в комнату разбойника и уронил его на колени. За ними вошёл Кротков. — Вот так новость! — воскликнул Баженов. — Ты, Степан Егориевич, я погляжу, даром времени не теряешь: поехал на торг и схватил разбойника. Ну, и кто это такой?

— Не ведаю, Евграф Спиридонович. Вчера он выбежал из Тагайского леса и так на меня налетел, что я насилу от него ушёл, даже свою шапку у него в руках оставил. По ней и узнал вора, он среди мужиков шатался на торге, совсем страх потерял!

— Ну, это не беда, — проговорил Баженов. — Страх от него недалеко убежал, мы его сейчас ему вернём. Долгополов! А ну, вытряси всё, что у него за пазухой и в других местах спрятано, — палач наклонился над разбойником, взял его за связанные за спиной кисти рук и резко рванул их вверх. Раздался короткий и резкий вопль. — Это чтобы ты крыльями не размахивал, — довольно произнёс Баженов. — Неровен час, чер-нильницу со стола смахнешь. Ну, что там, Долгополов? — палач протянул канцеляристу свёрнутый в трубку лист толстой бумаги. Баженов его развернул и велел: — Возьми его, Долгополов, к себе и всыпь ему сотню палок, чтобы он был готов для допроса. И не спускай с него глаз, это пугачёвский лазутчик!

Палач подхватил разбойника и уволок его за двойные двери к себе. Скоро оттуда стали доноситься крики и стоны, на которые канцелярист не обращал внимания, весь углубившись в чтение подметного письма. Прочитав, он подал его Кроткову.

— До меня доходили вести, что злодей мечет подметные письма, но видеть их не приходилось. Я доведу до сведения воеводы твой поступок, Степан Егориевич. Вот так бы все дворяне поступали, а то сбежались в Синбирск и ждут, когда их вернут на свои усадьбы. Нельзя, а надобно бы довести до каждого дворянина, чем их возмечтал пожаловать Пугачёв.

Кротков взял подметное письмо и повернул его к свету:

«Божию милостию мы, Пётр Третий, император и самодержец всероссийский, и протчая, и протчая, и протчая.

Объевляется во всенародное известие.

Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короне и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностию и свободою и вечно козаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями и соляными озерами без покупки и без аброку и свобождаем от всех прежде чинимых от злодеев дворян и градцких мздоимцов-судей крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощениев. И желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни, для которой мы вкусили и претерпели от прописанных злодеев-дворян странствие и немалые бедствии. А как ныне имя наше властию всевышней десницы в России прозцветает, того ради повелеваем сим нашим имянным указом: кои прежде были дворяне в своих поместиях и водчинах, оных противников нашей власти и возмутителей империи и раззорителей крестьян ловить, казнить и вешать и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами. По истреблении которых противников и злодеев-дворян всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжатца будет».

— Каков златоуст! — сказал Баженов. — Не слова рассыпает по нашим уездам, а горящие угли. А мы ещё удивляемся, отчего это крестьяне взбесились. Для них сия грамотка злодея важнее, чем отпускная на волю. С ней всякий мужик чувствует себя вправе вершить суд над своими господами, — он зорко взглянул на Кроткова. — Я должен доставить сие подметное письмо воеводе. Не изволишь ли пойти со мной?

— Вряд ли я там буду нужен, — смутился Кротков. — Уволь, Евграф Спиридонович, разбойник опять так перетряс мою душу, что хочу о нём поскорее забыть.

— Зря чураешься славы, Степан Егориевич, — сказал Баженов. — Любой дворянин был бы рад сейчас быть на твоём месте. Не исключено, что воевода известит о поимке разбойника губернатора, твоё имя вполне может стать известно государыне.

— Не надо мне славы, ни доброй, ни худой, — Кротков встал со стула и вздрогнул: в пыточной камере завопил избиваемый Долгополовым разбойник.

— Добрый мастер мой Викентий, — довольно вымолвил Баженов. — Вколотил-таки в разбойника страх. Как видишь, Степан Егориевич, страх от человека далеко не уходит, он всегда с ним, как его тень...

«Так мне и нужна слава, — подумал Кротков, выходя из канцелярии. — Покойнику она ни к чему, мне лучше держаться в затишье, пока не обрету богатство. А там расплачусь с долгами и воскресну. Но и тогда мне слава не нужна, золото тишину любит».

Свидетелями подвига Кроткова были многие синбирцы, и весть о геройском дворянине распространилась по городу с необыкновенной скоростью. Не успел Кротков выехать на Большую Саратовскую, как его стали первыми и самым почтительнейшим образом приветствовать особы, которые в другое время не протянули бы ему для рукопожатия и двух пальцев, а тут начали кланяться, даже сидя в колясках, а их жёны и дочери бросали на Степана столь заинтересованные взгляды, что он стал догадываться, что слава не пустяк и в ней есть наисладчайший и тешащий душу хмель, коего не найти даже в штофе очищенной. А когда, завидев Кроткова, перед ним, щёлкнув каблуками, стал во фрунт армейский капитан, то он уже всерьёз пожалел, что оставил воинскую службу, встав на стезю ловца кладоискательского счастья.

Собрав дань почтительного восхищения с прогуливающихся дворян, Кротков въехал во двор головинской усадьбы, где его с распростёртыми объятиями встретил Фёдор Иванович.

— Удивил! Удивил ты меня, брат, своим геройством! — воскликнул он, заключая Степана в объятия. — И не только меня удивил, а даже Дмитриева. Вот записочка с приглашением посетить его сегодня вечером. А это, брат, дорогого стоит! Иван Гаврилович строг в выборе гостей, и перед его мнением трепещет даже воевода. Пойдём к жене, она прямо-таки пылает от нетерпения тебя видеть и слышать.

Варвара Парамоновна встретила Кроткова в зале восклицанием:

— Ах, братец! Как же ты не побоялся кинуться на разбойника? Ведь он мог тебя зарезать!

— Я и сам не знаю, Варенька, как это случилось, — простодушно развёл руками Кротков. — У меня голова мёрзла, а он в моей шапке разгуливал. Я кинулся отнять у него шапку, а поймал самого вора и отвёз его к Баженову.

— Стало быть, ты не уступил ему своё добро? — спросил Головин.

— Выходит, так, — сказал Кротков. — Я обошёл все лавки, и не нашёл енотовой шапки, а другой мне к моей шубе не надо.

— Об этом Дмитриеву не говори, — посоветовал Головин. — Ему не надо знать, по какой причине ты стал героем. Тем более что ты, Степан, сделал то, на что не всякий дворянин решится. Так запугали нашего брата злодеи.

– 3 –

— Ну-с, что вы на это скажете, господа? — произнёс воевода, откинувшись на точёную спинку дубового кресла. — Каков наглец! Присваивает себе имя в бозе почившего императора и призывает крестьян к избиению помещиков!

Набожный надворный советник Кудрин несколько раз перекрестился, жалобно вздохнул и вопросительно уставился на полковника Чернышева, дескать, в столь щекотливых обстоятельствах самое важное слово должны произнести военные.

— Вы что-нибудь имеете нам сказать, Пётр Матвеевич? — присоединился к молчаливому вопросу своего заместителя воевода Панов.

Полковник Чернышев за шесть лет пребывания в синбирской глуши порастратил придворный лоск камер-лакея, но военных амбиций не лишился. На крестьянский бунт он смотрел как на лёгкую возможность обратить на себя внимание государыни, стать генералом, спасителем дворянства от беспощадного злодея. Свой гарнизонный батальон он нещадно мучил муштрой, а из методов воспитания предпочтение отдавал палкам.

— У меня на руках приказ генерала Кара, — важно приосанившись, сказал Чернышев. — Мне надлежит немедленно выступить против злодея и поразить его, пока он не распростал крылья.

— Как! — ужаснулся надворный советник Кудрин. — Неужто вы оставляете Синбирск беззащитным?

— Это недопустимо! — поддержал своего заместителя Панов. — Мы же здесь, в Синбирске, сидим на тлеющих углях. Ещё несколько дуновений бунтарского ветерка, вроде этого подметного письма, и бунт может вспыхнуть здесь! У нас опасность двойная: крестьянишки ещё помнят Стеньку Разина под стенами града. Прошу вас, Пётр Матвеевич, сообщите генералу Кару, что оставлять провинцию без войск нельзя!

— Приказ подлежит немедленному исполнению! — отрезал полковник Чернышев. — Я человек военный. Вам, гражданским лицам, вольно обсуждать его, а моё дело воевать! Касаемо провинции, то сюда направлены из других губерний войска. За сим разрешите откланяться!

Полковник Чернышев подхватил со стола кожаные с раструбами перчатки и, щёлкнув каблуками, вышел. Панов и Кудрин проводили его взглядами и, не сговариваясь, достали из карманов табакерки, заправили по доброй понюшке в обе ноздри и дружно чихнули.

— Как ты думаешь, Фёдор Григорьевич, — спросил Панов, — наш синбирский Румянцев свернёт себе голову на Пугачёве?

— Свернёт, всенепременно свернёт, — ответил Кудрин. — А нам нужно немедленно бить челом губернатору Бранту, чтобы тот высылал в Синбирск воинскую команду. Наш Аника-воин уйдёт, мы голы останемся.

Известие, что гарнизонный батальон вот-вот выступит в поход против Пугачёва, поразило синбирцев как громом. Наиболее смышлёные сразу догадались, что город оставят без защиты, и не прошло и нескольких часов, как эта догадка стала достоянием всех обывателей, заслонив собой подвиг Кроткова, о котором они ещё не успели наговориться. Скоро стали поступать и верные свидетельства, что уход воинской силы — не вздорный слух: полковник Чернышев стал обнаруживать явные признаки подготовки к походу, и возле провиантских амбаров стало тесно от телег, на которые солдаты погрузили кули с сухарями, толокном, сушёной рыбой, вяленым мясом и несколько бочек водки. Обоз проследовал в крепость, туда же со всех концов города направились и чины батальона, которые жили в своих домах уже по многу лет, сопровождаемые плачущими домочадцами.

Предстоящим походом в Синбирске были недовольны все. Дворяне считали себя обиженными и брошенными на произвол бродячих разбойничьих шаек, которые в большом числе кружили возле Синбирска и только ждали случая захватить город и ограбить его жителей. Того же опасались купцы и мещане. Им уход полутысячи людей сулил немалые убытки в торговле. Но больше всего печалились гарнизонные солдаты. Многие из них обзавелись в Синбирске семьями, и теперь им грозила опасность сгинуть в оренбургской степи от сабли яицкого казака или стрелы, пущенной из лука башкиром. И, пожалуй, единственным человеком, который радовался походу, был полковник Чернышев. Он разъезжал по городу и крепости на раскормленном рыжем мерине, молодецки поглядывая на обывателей, и щедро жаловал своих подчинённых крепкими словами, а порой и затрещинами, поторапливая их к скорому выходу на

злодея, чьи шайки близ Оренбурга Чернышев надеялся рассеять одним своим появлением.

К несчастью, в Синбирске не нашлось ни одного человека, который бы мог охладить воинский пыл бывшего камер-лакея. Те, кто его окружал, перед ним раболепствовали, а родовитые дворяне сторонились военного коменданта и лишь брюзжали на выскочку, возомнившего себя полководцем. Чернышев о бродившем среди дворян недовольстве своей особой знал и торопился поскорее покинуть город, но на сборы, как полковник ни спешил, ушло два дня.

На третий день утром батальон был построен в крепости, явились воевода, его товарищи и другие важные чины провинциальной канцелярии. Соборный протопоп отслужил молебен, и под частую барабанную дробь роты стали выходить на Большую Саратовскую, где на Чернышева с громким лаем накинулась шелудивая дворняга, которую полковник когда-то стеганул бичом. Конь под полководцем шарахнулся в сторону, поскользнулся на замерзшей луже и осел на круп так круто, что всадник едва удержался в седле. В толпах обывателей, сгрудившихся на обочине улицы, это происшествие не осталось незамеченным и произвело на провожающих гнетущее впечатление.

Полковник Чернышев торопился, им, задолго до настоящего сражения, овладело нетерпение и воинственный пыл, которые опытный воин бережёт до часа решительной схватки с неприятелем и не тратит попусту. Он, не зная покоя, скакал на коне то в голову, то в хвост колонны, кричал на отстающих солдат, не давал им положенного отдыха, и, делая по тридцать вёрст в сутки, измотанный маршем батальон через неделю прибыл в Ставрополь.

Дыхание гражданской войны в Заволжье стало более ощутимым. Это чувствовалось по злым взглядам местных крестьян, ругательствам из толпы, которая неизбежно собиралась вокруг солдат при их вступлении в каждое селение. Поразило полковника то, что, проходя мимо него, крестьяне перестали снимать с голов шапки. По его мнению, это уже был бунт, но он опасался возбудить стихийное возмущение и потому только скрипел зубами и торопил солдат.

В Ставрополе находилась воинская команда и было поспокойнее. Чернышев поспешил к военному коменданту и получил от него приказ генерала Кара усилить батальон сотней волжских казаков и полутысячею калмыков, которые находились здесь. Расположив свою команду на отдых, полковник отправился принимать пополнение. Оно ему сразу не понравилось: казаки — вольным с ним обращением, а калмыки поразили Чернышева первобытно-диким видом, это было какое-то воинство времен Чингисхана, одинаково смертельно опасное для своих начальников и противника. Среди калмыков говорил по-русски только их командир, племённой князь, имя которого Чернышев не понял и не запомнил. Это был молодой поджарый калмык, от которого несло таким ароматом, что полковник чуть не задохнулся.

— Твои люди верны присяге? — спросил он, пристально вглядываясь в расплюснутое лицо князя.

— Так, бачка, так! Государыня Катерин добрая наша матушка!

Известия из-под Оренбурга приходили тревожные: пугачёвцы плотным кольцом окружили крепость, каждый день устраивали на неё наскоки, их численность доходила до двадцати тысяч человек. Чернышева это не испугало, он почему-то был уверен, что при его появлении толпы немедленно рассеются, самозванец после недолгой погони будет им лично схвачен и доставлен к самой царице. Ум его занимали больше приятные для него последствия, чем предстоящее сражение. Чернышев не видел, что его солдаты вовсе не горят желанием броситься в бой, а на казаков и калмыков надежды питать не стоит.

Переход от Ставрополя к Оренбургу оказался труден. Наступил ноябрь, даже днём было студено, из степи дул пронизывающий ветер, по ночам крепко подмораживало. Ночёвки стали мучением. Бывало, что проводили ночь под открытым небом возле костров. Если попадались деревеньки или уметы, то места под крышей всем не хватало, казаки и калмыки спали, согреваясь теплом лошадей, солдатам же почти не было возможности заснуть из-за холода. Не всегда случалось поесть горячей каши с солониной, по утрам грызли сухари и шли дальше в степь, которой, казалось, нет конца и края.

Бердская слобода была надёжно укреплена: на въездах в неё стояли пушки, горели костры, вокруг которых находились караульные. На эти огни и направлял бег своего коня всадник. Конский топот по мёрзлой земле был далеко слышен. Сначала залаяли псы, затем вокруг огней зашатались тени и раздались хриплые голоса:

— Стой, куда несёт? — коня подхватили под уздцы, верхового стащили с седла и подволокли к костру. — Кто таков будешь?

— Из Чернореченской. Надо известить анпиратора: полковник Чернышев вошёл в

станицу с воинской силой!

Казака обыскали и повели к большой избе, освещённой пламенем костра. К Пугачёву вестник был допущен сразу. Мужицкий царь был не один, а со своим фельдмаршалом Белобородовым. Он выслушал казака и отпустил с пожалованием ему большой чарки водки.

— Как думаешь, Наумыч, — обратился Пугачёв к своему соратнику, — осилим Чернышева?

— И думать не моги, что не осилим, — ответил Белобородов, сверкнув хитрыми глазками. — Завтра к вечеру полковник будет болтаться на рели.

Ночь прошла в приготовлениях к сражению. Пугачёв готовился к нему с полной надеждой на победу, на его стороне была сила и небрежность государственной власти. Генерал Кар считал происходящее в Оренбургском крае заурядным мятежом, который можно подавить несколькими сотнями солдат, и поэтому, отдав распоряжения воинским командам двинуться к Оренбургу, спокойно ожидал победных реляций.

Полковник Чернышев в успехе завтрашнего боя тоже не сомневался. Выставил вокруг Черноречeнской караулы, рано лёг спать, проснулся ни свет ни заря и вызвал к себе офицеров батальона, командира сотни и калмыцкого князька.

Рекогносцировку будущего сражения проводили на местности, когда батальон, казаки и калмыки вышли из Черноречeнской по направлению к Маячной горе. Чернышев долго не мудрствовал, приказал калмыкам быть слева, казакам — справа, впереди батальона поставил пушки. На них он сильно надеялся, артподготовка должна была посеять панику в толпе мятежников. Под равниной и вокруг горы стоял туман. Когда он рассеялся, Чернышев обнаружил, что пугачёвцы находятся совсем близко и приближаются к нему огромной ватагой без всякого строя. Полковник двинулся им навстречу, и оба войска сошлись у Маячной горы. Пушкари выкатили вперед орудия и приготовились стрелять. Чернышев был готов сделать отмашку на залп, но его внимание привлекло движение в передовых рядах противника. Они разомкнулись, и вперёд вышли с десяток солдат в форме русской армии.

— Не стреляйте, старинушки! — закричали они, размахивая руками. — Анпиратор всех вас прощает! Бросайте ружья! Встречайте анпиратора!

Движение батальона прекратилось, офицеры бросились по рядам, раздавая зуботычины, но это не помогло сохранить дисциплину. Солдаты в смятенном состоянии чувств смотрели на всадника в красном кафтане, который с обнажённой саблей в руке галопом мчался вдоль строя своих войск на ослепительно белом коне. В этот момент с Маячной горы, захваченной пугачёвцами, выстрелила пушка, и ядро попало в батальонный снарядный ящик. Раздался оглушительный взрыв. Солдаты стали бросать ружья и брататься с мятежниками. Их примеру последовала сотня волжских казаков. Пронзительно крикнул что-то командир калмыков, и его отряд, выпустив град стрел в сторону приближавшихся к нему мятежных казаков, стал уходить в сторону Черноречeнской. Это был разгром. Офицеры батальона отчаянно отбивались штыками и саблями, но их скоро обезоружили и повязали. Схватили и полковника Чернышева, который в полусознательном состоянии, обхватив голову руками, сидел на большом батальонном барабане. Его потащили к Пугачёву, но тот от пленника отмахнулся.

— Всех офицеров ведите в Бердскую! — закричал он, приподнявшись на стременах. — Жалую победителей двойной чаркой вина!

До Бердской слободы было четыре версты, и ликующие толпы вооружённых людей устремились к ней. Там их ждало царское угощение. Следом тащили захваченные пушки и волокли нанизанных на верёвку, как бусы, пленных офицеров. Последним в связке, мотаясь из стороны в сторону, брёл полковник Чернышев.

Пугачёв успел переодеться, собрать своих приближённых и встречал их на крыльце «царской избы», застланном красным сукном, сидя в кресле с высокой спинкой и резными подлокотниками. Одеяние на нём было нарядное и пышное: парчовый кафтан, кармазинный зипун, полосатые с голубым кантом шаровары, козловые сапоги с жёлтой оторочкой, шапка кунья с бархатным малиновым верхом и золотой кистью. Рядом с ним опоясанные дорогими саблями, в бархатных зипунах и халатах бухарской выделки стояли соратники. Офицеров выволокли под крыльцо и поставили на колени.

— Для чего осмелились вооружиться против меня? — важно вопросил Пугачёв. — Ведь вы знаете, што я ваш государь. Ин на солдат нельзя пенять, они простые люди, а вы офицеры, артикул знаете. Впрочем, кто желает мне служить, я прощаю, — Пугачёв выжидательно воззрился на офицеров. Те, опустив головы, обречённо молчали. Молчала толпа, ожидая решения их участи. — Что ж, — сказал посуровевший Пугачёв, — Овчинников, начинай!

Четырёх офицеров схватили и потащили к виселицам-релям. Остальные перед своей казнью обречены были видеть смерть товарищей. Полковника Чернышева, по знаку Пугачёва, подвели к крыльцу вплотную.

— Чернышев! — язвительно сказал самозванец. — Какой ты воин? Ты камер-лакей, тебе шандалы зажигать, тарелки подносить надо, а ты махать сабелькой вздумал!

Полковник молчал. Пугачёв махнул рукой, и Чернышева потащили к виселице.

— Твоё императорское величество! — сказал фельдмаршал Белобородов. — Таво казака, что о Чернышеве донёс, наградить надо. Верный казак!

Из толпы, окружавшей крыльцо, вышел парень, который сообщил о прибытии солдат в Черноречeнскую. К Пугачёву поднесли серебряное блюдо. Он взял с него голубую ленту, к которой был прикреплён рубль с изображением Петра Великого.

— Получи, казак, награду за верность!

Толпа вокруг радостно зашумела. Пугачёв возложил на шею казака орденскую ленту и затем протянул чарку вина.

— Благодарствуем! — вымолвил потрясённый свалившимся на него счастьем парень. Его подхватили товарищи, и они отправились к столам с вином и закуской.

Бердская слобода гуляла, крестьянская вольница праздновала победу.

– 4 –

В Синбирске конец осени 1773 года выдался сухим и морозным, и суеверные люди стали поговаривать, что если снега не будет ещё неделю, то будущим летом случится неурожай, и к одной беде, бунту, добавится другая — голод. Но как будто эти толки подслушал кто-то наверху: в конце ноября на город наползла тяжёлая, битком набитая блеклой синевой туча и стал валить снег, за несколько часов накрывший собою все ухабы и бугры синбирских улиц. Снег продолжал идти, стало ветрено, и к полуночи разразился буран. Дежурный канцелярист Баженов подошёл к окну своей комнаты, вгляделся в беснующуюся белую тьму, зевнул и решил, что ему пора продолжить своё дежурство на лавке, покрытой овчиной, но к крыльцу на свет горевшего под железным навесом костра высунулся человек, сидевший на еле бредущем коне. «Курьер!» — понял Баженов и, подойдя к печи, поставил на огонь горшок с борщом и сковородку с жареными грибами.

Курьер в сенях сбросил шубу и шапку, обстучал сапоги, и о том, что на дворе буран, можно было судить по снегу в его усах и бороде и морковно-красным щекам. Он уже не раз привозил из Казани губернаторскую почту, и Баженов был с ним порядочно знаком.

— Тебе раньше бы надо было приехать, — сказал Евграф, — глядишь, и снег раньше пошёл бы.

— На моей собачей службе я того и гляди сгину, — курьер полез в кожаную сумку и вынул оттуда несколько запечатанных и облитых сургучом пакетов. — Спасибо ямскому старосте, надоумил меня бросить возок и добираться последние пятнадцать вёрст верхом. У тебя в комнате сквозняки гуляют, а в поле так метёт, что рукавицу на вытянутой руке не видать.

Баженов расписался в курьерской книжке и мельком оглядел пакеты: целы ли печати?

— Бери борщ, грибы, грейся.

— Что-то я тебя, Евграф, не признаю. А где чарка?

— Так у тебя же новостей, поди, нет, а что буран, так про то я ведаю.

— За эту новость ты одной чаркой не обойдёшься, — сказал курьер, принюхиваясь к запаху закипевшего борща. — У меня есть новость, от которой весь Синбирск покачнётся.

— Врёшь, поди, — недоверчиво произнёс Баженов, но под стол нагнулся и достал оттуда штоф. — Говори, пока борщ не остыл.

— Пугачёв захватил команду полковника Чернышева в плен и всех офицеров повесил.

— Не может того быть! — воскликнул Баженов.

— Раскрой пакет да прочти, — сказал курьер и, завладев штофом, налил себе чарку водки, затем достал свою ложку, вытащил из горшка кусок мяса. — Налей и себе чарку, Евграф, такую новость без водки не осилить.

— Выпей за меня, я на службе. А весть действительно важная, завтра здесь такая суматоха начнётся...

Опрокинув вторую чарку водки, курьер отправился отдыхать. Баженов, походив по комнате, запер почту в железный сундук и возлёг на лавку, где долго, прислушиваясь к вою ветра в печной трубе, ворочался с боку на бок, пока смог забыться тревожным и чутким сном.

Когда в солдатских избах крепости сыграли побудку, Баженов оделся и вышел на крыльцо. Буран угомонился, было тепло, снег осел, набух влагой, и с крыш сильно капало. Мимо крыльца проехал новый военный комендант полковник Рычков и в ответ

на поклон приказного чина приложил ладонь к шапке. Евграф мог довести до него новость, но не стал: за худые новости не хвалят и не жалуют. Воевода Панов с утра в канцелярию никогда не спешил, и Баженов по нетронутому снегу пошёл в сторону Панской улицы.

Ему долго пришлось брякать воротной колотушкой и кричать, пока собаки своим хриплым лаем не подняли сторожа, спавшего на печи в людской поварне. Он явился, недовольный ранним гостем, и начал было ворчать, на что Евграф крепко осерчал и так ловко треснул воротника в ухо, что тот плюхнулся в снег, а устрашенные этим собаки попрятались по своим конурам.

Шумное вторжение Баженова не осталось незамеченным хозяином. Фёдор Иванович, позёвывая, вышел в зал и недовольно взглянул на гостя.

— Ты что, Евграф, всех нас встормошил с ранья?

— Прошло время синбирским дворянам разлёживаться. Чернышевская команда разбита и пленена, сам полковник и офицеры повешены!

У Головина враз ослабели колени, и он опустился на стул.

— Известие верное? — спросил он, всё ещё надеясь, что приход канцеляриста ему приснился.

— Прибежал курьер из Казани, от него и весть. Я, Фёдор Иванович, сразу поспешил к тебе. О гибели команды губернатор ещё не знает.

— Что же мне делать, Евграф? — Головин заходил по комнате, не находя себе места. — В Синбирске сейчас полсотни инвалидов да полковник Рычков. — Достаточно разбойникам об этом проведать — и они набегут на город со всех сторон.

— Это вы решайте между собой, — сказал Баженов. — От губернатора ждать помощи нечего, он, поди, запёрся в крепости и сам ждёт подмогу от государыни.

После ухода канцеляриста Головин долго ходил по комнате, иногда остужая разгорячённую самыми противоречивыми мыслями голову прикосновениями лба к холодному оконному стеклу, наконец крикнул слугу и велел принести ему бумагу, перо и чернильницу. Написав две коротенькие записки, он послал их с расторопным малым к своим приятелям, Карамзину и Дмитриеву.

Варвару Парамоновну разбирало любопытство, вполне извинительное для молодой женщины: зачем это Евграф припёрся в их дом ни свет ни заря и встормошил Фёдора Ивановича, который не является к ней с новостями. Она встала с кровати, подошла к двери зала и слегка её приоткрыла. Муж стоял возле окна, упёршись лбом в стекло.

— Не случилась ли, Фёдор Иванович, какая беда?

Головин резко обернулся, быстро подошёл к жене и крепко её обнял.

— Пока беда случилась не с нами. Полковник Чернышев и офицеры злодеем повешены, солдаты взяты в плен.

— Ахти! — выдохнула Варвара Парамоновна и заплакала. — Это ж сколько детей остались сиротами. Живёшь и не ведаешь, когда до тебя дойдёт черед. Кто же нас теперь защитит?

— Успокойся, Варенька! Ступай к детям. Я позвал Дмитриева и Карамзина, будем думать, что предпринять, — говорил Фёдор Иванович, потихоньку выпроваживая жену из зала. — Негоже, чтобы твои слёзы видели слуги, сейчас даже на самых верных из них нет никакой надежи.

Оставшись один, Головин спохватился: скоро должны явиться его приятели, а он был не одет. В своей комнате он освободился от спальной рубахи, надел штаны, рубашку, лёгкий кафтан и сунул ноги в башмаки. Тронул себя ладонью за подбородок, и в ум занозой впилась догадка, а не легкомысленно ли он поступает, позволяя слуге Матвейке каждое утро себя брить? Он вроде добрый малый, но раб, что ему стоит полоснуть хозяина бритвой по намыленной шее? Представив себе такое, Фёдор Иванович от макушки до пят покрылся ознобными пупырышками. «Надо бриться самому, чтобы не вводить холопа в соблазн», — решил он.

— Матвейка! — крикнул Фёдор Иванович и пристально вгляделся в слугу, тотчас явившегося на его зов. Матвейка стоял, не шелохнувшись, и лупал глазищами, недоумевая, почему барин так на него воззрился. — Сбегай во флигель и скажи Степану Егориевичу, что я его жду.

— Вы же ещё, господин, не бриты, — напомнил Матвейка.

— Не твоего ума дело! — вскликнул Головин. — Делай, что тебе велено!

Дмитриев и Карамзин жили на соседней улице, не далее как в ста саженях от дома Головина, но ходить пешими считали зазорным для своего родовитого барства, даже через дорогу в гости друг к другу они ездили на коляске. Получив приглашение, они велели закладывать лошадей и стали одеваться со всем тщанием, что обличало в них особ, знающих толк в правилах общения между людьми порядочными и знатными.

Кротков уже успел приглядеться к здешним порядкам и тоже оделся в полном со-

ответствии с правилами приличия. Это потребовало времени, и к крыльцу дома он подошёл вместе с гостями, которые выбрались из колясок и чинно здравствовали друг друга. Кротков не стал мешать их дружеским излияниям и первым вошёл в сени. За ним, тяжело топая, двинулись Карамзин и Дмитриев.

Весть, доложенная Головиным о гибели Чернышева и офицеров его команды, была встречена ими по-разному: Карамзин удрученно поник, а Дмитриев тяжело задышал и раскраснелся:

— А что другое можно было ждать от войска, которое повёл камер-лакей, выскочивший в одночасье в полковники? Он знал, как тарелки да ложки разложить на столе, а война — не парадный обед на тысячу с лишком персон, которых он имел в своей команде. Вот и свернул себе шею на виселице и других офицеров за собой утянул. А что до солдат, то они, как и мужики, в рот злодею заглядывают. Сейчас ни одному мужику веры нет, все они разом возмечтали о дворянской смерти.

— А ведь в городе солдат нет! — поборов оцепенение, воскликнул Карамзин. — Нас же разбойники могут взять всех разом, вместе с женами и детьми. Надо из Синбирска бежать!

Дмитриев удивленно взглянул на него и покачал головой:

— Не о бегстве нам надо думать, а как составить из дворян ополчение, дабы отразить злодеев, буде они сунутся в Синбирск. Я в своём Богородицком имении привык обращаться с ними каждое лето. Чуть деревья залиственют, и разбойники являются, а у меня всегда им готова встреча: дворовые люди с ружьями и саблями, крестьяне с дротиками и пиками. Как-то наехали, но дале околицы не пошли, знали, чем я их привечу. Послали моего же мужика с такими словами: «Скажи Ивану Гавриловичу, что мы не испугались его набату, да лошади у нас приустали». После поехали на виду всей деревни, но задами, а на сызранской степи пограбили и сожгли мельницу.

— Такое и со мной бывало, — сказал Головин. — Однако сейчас на нас ополчились не лесные разбойники, коим достаточно грабежа, а пугачёвские злодеи войдут в город по наши жизни.

Кроткова разгром команды Чернышева крепко взволновал, но по-своему. Он почувствовал, что в случившемся кроется какой-то смысл лично для него, но что именно, было ему еще не совсем понятно.

— А сколько, если прикинуть, можно дворян поставить под ружьё? — спросил Степан.

— Больше сотни вряд ли наберётся, — знающе доложил Головин. — Да и те в годах, как мы, или недоросли. Такое войско не устоит против мужицких дубин.

— Тогда надо вам, господа, из Синбирска уходить, — вдруг решительно заявил Кротков. — Пугачёв непременно пойдёт на Синбирск.

Причина его убеждённости была неведома другим, но сам Степан уже твёрдо верил, что судьба должна свести его с «мужицким анпиратором», ибо много было подано ему знаков, что их пути пересекутся, и на этом распутье он обретёт неслыханное богатство.

— Откуда тебе ведомо, что самозванец явится к нам? — удивился Карамзин.

— Оттуда, — промолвил Кротков и, привстав со стула, указал пальцем в потолок.

Дмитриев, глядя на него, покачал головой и вздохнул. Ему показалось, что Кротков блажит, и он подумал, что надо спросить Фёдора Ивановича, из-за какой хвори его шурина отпустили из полка: может, временами на него накатывает?

— Нам не надо дожидаться, пока явятся Пугачёв или окрестные мужики, — сказал Головин. — Пусть каждый решает за себя, а я уже решил: завтра меня в Синбирске не будет.

— Я так скоро не смогу, — покачал головой Дмитриев. — Надо дождаться своих ближних из Богородицкого, коляски на полозья поставить, а это одним днём не делается.

— А я как в воду глядел, — заявил Фёдор Иванович. — Ещё неделю назад велел переделать коляски на сани. Так что это меня не держит. А ты как, Михаил Егориевич?

— Завтра отъехать я не смогу, — ответил Карамзин. — Мои так скоро не соберутся. Пока все свои одежки не перешурудят, не перемеряют, не тронутся с места, и тут хоть на них кричи, хоть ногами топай, им — что об стенку горохом. Намучаюсь я с ними, пока до Москвы доберусь.

Тем временем поспел небольшой самовар, хозяин и ранние гости выпили по чашке чаю, посетовали на бессилие властей, повздыхали о том, что Рождество им придётся встречать не дома в привычном кругу родных и друзей. Головину, который будет в Москве первым, Карамзин и Дмитриев поручили известить их родственников, что они скоро приедут. Проводив приятелей, Фёдор Иванович спросил:

— А ты как решил, Степан?

— Меня Москва не прельщает, — ответил Кротков, опасавшийся ехать в Москву

из-за того, что это отдалит его от самозванца. — Если ты не против, то я зазимую у тебя.

— Какие могут быть сомнения! — обрадовался Головин. — Живи, сколь похочешь. Я велю приказчику быть под твоим началом и во всём тебя слушаться.

Фёдор Иванович тут же призвал домоправителя и внушил ему, кто отныне Кротков для него, и пригрозил своей немилостью, если он проявит непокорство.

— Что с колясками?

— Скоро будут готовы, — доложил приказчик, сгибаясь в поклоне. — А трое саней для поклажи готовы, кони кованы, кучера здоровы.

Все стали готовиться в дорогу в столь великой спешке, что в этот день был отменён обязательный, как утренняя молитва, послеобеденный сон, которому предавались все без исключения в головинском доме, вдруг ставшем похожим на растревоженный улей. Варвара Парамоновна стала заниматься разборкой одежды и обнаружила, что многое из того, что нужно было взять с собой, нуждается в мелкой починке: то там, то сям выявились распоротые швы, оторванные пуговицы, но самое большое огорчение ей доставил почти новый лисий салоп, который был съеден молью и осыпался трухой, когда она взяла его в руки. Горничная получила звонкую пощёчину, а все другие девки были усажены за штопку, шитьё и укладку белья, платьев, рубах, халатов, поясов, платков, шалей и кафтанов в три больших сплетённых из ивовых прутьев и подбитых изнутри холстом дорожных сундука.

Приглядывая одним глазом за всем, что делается в комнатах, Варвара Парамоновна другим держала под неусыпным вниманием кухню, на которой поваром и поварятами заготавливалась путевая провизия: в одном котле варились куры, в другом — большие куски говядины и коровьи бабки для студня; хлебопек вымесил хлебы и булочки, и они выстаивались, дожидаясь своей очереди рассесться на раскалённом поду печи, который был чисто выметен от золы гусиным крылышком. Ключник вынес из погреба два ведёрных бочонка, один — с солёными огурцами, другой — с груздями, и поставил их рядом со столом, на котором старший из поварят нарезал балык и буженину на порционные куски и заворачивал их в чисто вымытые капустные листья.

Головин закрылся в своей комнате, снял со стены два пистолета немецкой работы, продул дула от пыли и паутины, достал пули и порох, снарядил оружие и отложил в сторону. Дорога, по нынешним временам, предстояла опасная, и велик был риск встречи с разбойниками, от которых Фёдор Иванович решил обороняться пистолетным боем. Задвинув на окне занавеску, он отомкнул окованный железом сундук и выложил на стол свою казну: пятьсот рублей ассигнациями и тысячу двести рублей золотом. Всё это надлежало разместить на себе, и для этого у него имелся прадедовский кожаный пояс с потайными карманами, в которые Фёдор Иванович бережно уложил золотые монеты и бумажные деньги. Примерил пояс на себя и остался доволен, своё золото никогда тяжёлым не кажется.

Спрятав пояс и пистолеты в железный сундук, Фёдор Иванович покинул свою комнату, дабы озаботиться снаряжением походного погребца, который он завёл по примеру старшего брата, московского барина, заразившего его чаепитием. Погребец был сделан на заказ и подбит жестью и тюленьей кожей; в нём размещались чайник, молочник, жестяная коробка для комкового сахара, такая же коробка для чаю, стаканы в серебряных подстаканниках и позолоченные ложечки. Он находился на сохранении у буфетчика и был в полном порядке. Фёдор Иванович велел снарядить погребец чаем, сахаром и пошёл осматривать хозяйским глазом, как приказчик справляется с погрузкой поклажи.

В этот день во многих домах синбирских дворян шли сборы в дорогу. За гибелью полковника Чернышева и его воинской команды многим синбирцам стало мерещиться, что над городом занёс дубину сам Пугачёв, и они всполошились и кинулись бежать по московской и казанской дорогам прочь от проклятого места, где век назад лютовал Стенька Разин и куда вот-вот должен был нагрянуть злодей и самозванец.

Отъезжающие чаяли одного: чтобы не растаял нанесённый бураном снег. Этого не случилось, к утру крепко подморозило, и начала завивать лёгкая позёмка. Головин встал ото сна задолго до света, спохватились со своих лежанок кучера и слуги, и скоро двор наполнился ржанием коней, скрипом полозьев и мельтешением спешащих людей. Кротков вышел из флигеля, когда санный поезд был готов тронуться в путь. Он подошёл к хозяевам, обнял Фёдора Ивановича, поцеловал в щеку Варвару Парамоновну и отошёл в сторону крыльца, на котором в глиняных плошках горели большие светильники. Головин крепко ткнул кучера кулаком в спину, и барский поезд тронулся к воротам. За ним побежали мальчишки и собаки, а слуги, проводив взглядами хозяев, стали озираться на Кроткова. Они теперь были в его власти и гадали, что это им сулит.

— Затушите огни, — сказал Степан. — Никому без моего разрешения со двора не сходить!

– 5 –

Двух недель хватило на то, чтобы помещики, думавшие скоротать лихолетье в Синбирске, из него разбежались в разные стороны: кто в Москву, кто в Казань, кто от готового вспыхнуть бунтом Среднего Поволжья в далёкие западные губернии. Оставшиеся в городе обыватели и те дворяне, коих удерживала от бегства служба, с душевным трепетанием ждали, что вот-вот к ним явится сам Пугачёв в окружении несметных мужицких толп. Это не было пустым страхом: из ближнего Заволжья пришли верные вести, что там, разгромив помещичьи усадьбы, к Мелекессу подступил посланный самозванцем атаман Илья Арапов, вокруг которого тотчас сгрудилась громадная мужицкая вольница, готовая обрушиться на Синбирск.

Но не всё для синбирцев было так уж и худо. Взамен загубленной Чернышевым воинской команды под начало нового военного коменданта полковника Рычкова прибыли четыре сотни солдат из Московской губернии, и это немного ободрило обывателей. Они успокоились и даже благожелательно стали поглядывать в сторону трактира, где шумели и куражились приезжие офицеры.

Все эти дни Кротков со двора не сходил, а за новостями посылал Сысоя, который, пошатавшись между людей по улицам и на торге, извещал своего господина обо всём, что творится вокруг. Когда Сысой доложил ему о появлении Арапова, это Степана встревожило. От разбойничьего атамана он не мог ждать для себя добра, ему нужен был «мужицкий анпиратор», но по известиям, полученным от Сысоя, выходило, что Пугачёв всё ещё не смог взять Оренбург и топчется вокруг него уже два месяца. «Что он там застрял? — недоумевал Степан. — Шёл бы на Казань, там есть что пограбить, а потом на Нижний, там-то можно и разжиться казной, и клад устроить, как это делал Разин, на волжском утёсе или в каком другом месте. Тут бы я не стал зевать и взял всё, что мне нагадано».

Сысой тупо взирал на задумавшегося барина, ожидая, когда придёт пора и ему завалиться на лавку в людской избе.

— А что, правда в трактире шумно? — спросил Степан. — Может, там и играют?

— Сказывают, офицеры сыплют несчётно золотом, краем глаза усмотрел, как по столу шарики палкой катают, а на деньги или так, не ведаю.

— И много сейчас в городе офицеров? — поинтересовался Кротков, подумывая, а не сделать ли ему вылазку в трактир, глядишь, подвернётся кто-нибудь, кого можно будет растрясти за фараоном.

— Полный трактир, а сколько, не ведаю, — ответил Сысой и поглядел в окно, за которым уже начали клубиться морозные сумерки. — Не худо бы, Степан Егориевич, на Рождество побывать дома.

— Про это забудь, — строго сказал Кротков. — Ступай и с дворовыми людьми помалкивай.

Он сел на кровать и ощутил, как его душу обуяло предчувствие игрового азарта, которое он, отказавшись от карт, не испытывал уже около полугода. В голове хмельно и весело стало пошумливать, кончики пальцев рук покалывало, и Кротков потянулся к сундуку, взял оттуда колоду, привычным движением стал её тасовать, затем вынул карту: это был король пик. Степан вгляделся в него и усмехнулся: «А ведь это явный самозванец, какой он король? Рожа красная, как у мужика с мороза. Но хоть он и не король, может неслыханно обогатить, если выпадет в игре как надо». Он опять перетасовал колоду, взял карту: это опять был король пик. «А ведь то, чем я живу последние месяцы, тоже игра, — возбуждаясь, подумал он. — Я поставил на Пугачёва, и эта игра будет поазартней всякой другой». Степан в третий раз перетасовал карты, и опять ему выпал король пик. Он уверовал, что это не было случайностью, так может везти только тому, у кого на роду написано быть счастливее всех других людей.

Случайное гадание взбодрило Кроткова, он вышел из своей комнаты, кликнул слугу, велел подавать ужин и позвать ключника. Хранитель чуланов и подвалов головинского дома предстал перед ним и, покряхтывая, поклонился.

— Доложи, старый, чем ты владеешь? — спросил Кротков. — Какие водки истомились ждать в твоих захоронках, чтобы их испробовали?

— Барин Фёдор Иванович велел не держать ничего другого, как только очищенную от своего завода.

В коридоре послышался чей-то повелительный голос, затем в комнату просунулся слуга и донёс:

— Господин канцелярист Баженов к вашей милости!

— Проси! — распорядился Кротков и, повернувшись к буфетчику, велел принести штоф очищенной.

«Зачем это явился ко мне приказной выжига? — озабоченно подумал он. — Такие прохиндеи просто так не разгуливают».

— Я тебе, Степан Егориевич, не помешал? — сказал, резво войдя в комнату, Баженов. — А я, признаться, обеспокоился. Думаю, куда подевался гость Фёдора Ивановича, не заболел ли? Морозы-то стали заворачивать, не приведи господи!

— Ты явился как раз к ужину, Евграф Спиридонович, — Кротков едва смог выдержать устремлённый на него огненный взгляд канцеляриста. — Я велю подать прибор и для тебя.

— Не откажусь, сегодня был так занят, что не удосужился пообедать. А я ведь к тебе с новостью.

— Это потерпит. Для начала прикоснёмся к очищенной.

— Прекрасные слова! — воскликнул Баженов, опускаясь на стул. — Прогони раба своего, Степан Егориевич, моя новость не для его ушей, — Кротков отослал слугу, наполнил чарки и выжидательно посмотрел на Баженова. — За эту новость, Степан Егориевич, здравствоваться не будем: злодеи захватили Самару, и что там сейчас делается, в здравом уме вообразить нельзя.

Кротков оторопел от неожиданности, будто на него выплеснули ушат ледяной воды, и растерянно пробормотал:

— Ведь от Самары до нас всего полтораста вёрст. Значит, через два дня они будут здесь?

— Вполне возможно, — Баженов зябко пожал плечами. — Вот разграбят Самару, натешатся убийствами и пойдут на нас или на Пензу, — Кротков взял со стола чарку, его примеру последовал Баженов. Они переглянулись и выпили. Евграф закусил солёным рыжиком, наполнил чарки. — А за эту новость, Степан Егориевич, можно почокаться. Имеем право: только что в Синбирск прибыла воинская команда подполковника Гринёва.

— Стало быть, мы спасены! — с готовностью поднял чарку Кротков. — Или не так?

Баженов сдвинул свою чарку с чаркой Степана, с причмоком её опорожнил и както странно и весело взглянул:

— Знать бы, где счастье, так не сходил с того места. Иной ведь полагает, что над ним дубовая крыша, а не ведает, что столбы гнилые, в любой миг могут рухнуть, и этой крышей его до смерти придавит. Завтра утром Гринёв идёт на Самару, будем ждать, что ему повезёт.

— Что ж ты закуски стороной обходишь, Евграф Спиридонович! — вдруг спохватился Кротков, весьма озадаченный замысловатой речью незваного гостя, который был далеко не так прост, каким хотел выглядеть. «Что-то он против меня припас!» — тревожно звякнуло в его голове, хотя после второй чарки очищенной Баженов, казалось, размяк и вовсе не походил на того кнутобойца, каким его Степан увидел, когда доставил в канцелярию рыжего разбойника.

— Мы ведь с тобой в свойстве, Степан Егориевич, — расслабленно стал говорить Баженов. — Головины и мне, и тебе родственники, и мы должны друг друга держаться. Не солгу, что ты мне сразу пришёлся по нраву достойным молчанием, с каким слушал болтовню Дмитриева о французах. Это же смеху подобно, что Пугачёва нам подкинул французский король! Но этим бредит не один Иван Гаврилович, — он почти зашептал, — в Петербурге тоже витают такие догадки, но им виднее, а мы, Степан, должны думать о себе, не так ли? — Баженов пренебрёг назвать его по отчеству, это Кроткова удивило, но не смутило, он вдруг понял, что канцелярист точно против него что-то имеет, и насторожился. — Хватит тебе жить затворником, Степан! Мой дом для тебя открыт, правда, у меня не такие хоромы, как у Головина, но и мы живём достойно, а хлеб-соль оцени сам.

— Почту за честь воспользоваться твоим приглашением, — сказал Кротков, гадая, с чего это Баженов так к нему прицепился. — Но я, как ты, верно, заметил, не умею складно говорить, да и по гостям ещё не живал. В гвардии у меня не было времени, солдатская служба не дозволяла этого делать.

— Ну, что ты скромничаешь! — Баженов игриво толкнул Степана в бок. — Гвардейцы — известные кутилы, здесь про ваши подвиги мы наслышаны: кабацкие попойки, пассии, в конце концов, картёжная игра ночами напролёт. Разве ты этого не изведал, хотя бы отчасти?

Кротков обомлел от догадки: канцеляристу стало известно о причинах его выхода из полка в отпуск. И узнал он об этом от какого-нибудь проезжего офицера, а может, магистратский суд Петербурга учинил над ним розыск и во все провинциальные канцелярии разослал приказ схватить беглого должника и в оковах переправить в столицу империи.

— Что помалкиваешь, Степан? — пытался расшевелить впавшего в страх Кроткова разгулявшийся гость. — Как там пассии из француженок, говорят, они горазды на любовные хитрости? Признавайся, сладки заморские приманки? — Кротков промычал нечто невнятное, метнулся рукой к штофу и, проливая водку, наполнил чарки.

Баженов с пьяной улыбкой на него поглядывал и вдруг протрезвел. — Я к тому тебе это говорю, что хочу по-родственному остеречь: слушки стали погуливать в Синбирске насчёт твоей особы.

— Какие слушки? — испуганно встрепенулся Кротков.

Баженов откинулся на спинку стула и с удовольствием оглядывал Степана: «Жидковат оказался на проверку, вон ведь как напугался, стало быть, что-то за ним есть. Будет время, займусь им поплотнее: он дурак, а деньги у него есть, чем не добыча?»

— Все дворяне серчают на тебя за твоё затворничество. Старики — что нет слушателя их мудрых речей, отцы семейств — что ты завидный жених и обходишь их стороной, молодые — что не имеют ещё одного партнера для картёжных баталий. И понемногу все начинают поговаривать, что ты не их поля ягода.

— Как так? — подавленно произнёс Кротков. — Я дворянин во многих поколениях, а в отпуске из полка по болезни, что же мне всем свой отпускной паспорт предъявлять?

Чутьём опытного сыскного умельца Баженов угадал, что Кротков многое скрывает и за ним водятся не только грешки, но и, возможно, преступления. Он опрокинул чарку, облизал губы и намеривался запустить поглубже в Кроткова свои когти, но в зал просунулся приказчик:

— Господин канцелярист, за тобой явился солдат.

— Вот беда, надо идти на службу, воеводе что-то от меня понадобилось. Так я жду тебя, Степан Егориевич, в гости, хоть завтра.

После ухода Баженова Степан опорожнил стоявшую перед ним полную чарку очищенной и выругался крепким солдатским словом. Мысль, что делать дальше, была у него одна: немедленно бежать из Синбирска этой же ночью. Если его схватят, то клада ему не видать. В Москву уходить было нельзя, там Степана могли случайно опознать — оставалась Казань, где его не знают, да и Пугачёв будет у него на виду и не пройдёт мимо.

— Запрягай лошадей! — велел он явившемуся на его зов заспанному Сысою. — Мы уезжаем.

— Это ты правильно решил, барин! — обрадовался гайдук и побежал в конюшню.

«Пусть думает, что мы едем в деревню, оповестит дворню, а та собьёт погоню со следа», — подумал Кротков и стал собираться в дорогу.

Была поздняя ночь, когда сани выехали из ворот головинского дома. Сысой хотел свернуть к Свияге, откуда они приехали из деревни, но Кротков указал другой путь — на казанскую дорогу. Сысой этому крепко огорчился и стал немилосердно настёгивать коней, которые вскачь миновали окраину города и вынесли сани на разъезженную ухабистую дорогу.

В поле Сысой сжалился над конями и пустил их мелкой рысью. Барин опять потащил его за собой неведомо куда, но он на него не сердился, ибо сызмала был приучен не прекословить господской воле и никогда не помышлять о протесте. «Не нами это заведено, — размышлял Сысой, тупо поглядывая на мелькавшие перед его глазами конские хвосты. — Так было, так есть и так пребудет во веки веков».

Кротков, укутанный в енотовую шубу и овчинный тулуп, покоился в санях, поглядывая сквозь обметанные инеем веки на ярко сияющие звёзды. Страх, охвативший его от острых намёков канцеляриста, мало-помалу выветрился, к нему на ум пришла мысль, что с лета он начал жить не как все люди: «Погнавшись за счастьем, я отдал себя на волю судьбы, и всё, что со мной происходит, далеко не случайности, а указующий перст провидения, будь то державинский рубль, карга Саввишна, которая гонялась за мной в моих снах, Савка-бог, объявивший, что меня обогатит государь, теперь вот канцелярист, спугнувший меня из Синбирска в Казань. Но, может, там я и обрету своё счастье?»

К вечеру барин и его гайдук прибыли в большое чувашское село и остановились в ямской избе. Там было сумеречно и тесно. Кротков было потребовал себе ужин, но его не услышали, какой-то служитель указал ему на лавку, с которой согнал мужика:

— Почивай, барин, пока кто-нибудь не наехал и не захватил это место.

Измученный дорогой, Кротков послушно лёг на лавку и, не раздеваясь, уснул. Сысой, управившись с конями, нашёл его и примостился на пол рядом со своим господином. Скоро все угомонились, послышались похрапывания, стоны, почти все чесались, изба была изобильно населена клопами, и они пировали всю ночь, не брезгуя ни мужиком, ни барином.

Первым, кого увидел Кротков, опамятовшись от беспокойного спанья, оказался стоявший к нему боком гвардейский офицер. Он надевал на свой мундир овчинный тулуп. Степан проморгался и обомлел — это был Державин...

— Кротков? Вот так встреча! А ты здесь какими судьбами?

— В Казань направляюсь, господин прапорщик, — вставая с лавки, пробормотал

Степан.

— Я с недавних пор подпоручик гвардии! — самодовольно сказал Державин. — Состою для особых поручений при генерал-аншефе Бибикове.

— Я всегда вас почитал за лучшего полкового офицера, — бестрепетно соврал Кротков.

Так Державину ещё никто не льстил, и от этих слов он слегка раскраснелся и протянул руку, чтобы дружески потрепать однополчанина за плечо, но вдруг замер:

— Постой! Так ты жив? А я ведь тебя в гробу видел. Ты что, ожил?

— Такой загадочный случай, — промямлил Кротков. — Помню, шёл по улице, а потом затмение, очнулся в гробу, уже за петербургской заставой.

Державин столь оглушительно захохотал, что чуть было не задул хлипкий фитилёк лампады перед засиженным мухами образом Николы Угодника.

— Не заливай, брат. У меня давно темечко окрепло! Ты ведь в гробу от долговой тюрьмы бежал?

— А что, Гаврила Романович, — искательно промолвил Кротков, — немец Зигерс и карга Саввишна меня по сию пору в полку ищут?

— Да нет, не слыхать, чтоб искали, — хохотнул Державин. — Да и как тебя сыскать, когда ты на том свете в карты с чертями режешься.

— А ведь я, Гаврила Романович, рубль, что вы мне пожаловали, до сей поры храню и в карты не играю. Я так думаю, что от этого рубля мне богатство стало прибывать.

— Ужели так? — удивился Державин. — И много ли казны прибыло?

— Наследство от батюшки получил, триста душ и сколько-то деньгами.

— Да, триста душ, это тебе не баран чихнул, — сказал с завистью Державин, которого болезненно угнетала его бедность. — Но тебе, Кротков, сейчас надо не наследство считать, а послужить своей дворянской службой матушке-государыне. В Казани явись к генерал-аншефу Бибикову и проси определить тебя в воинскую команду. Просись к подполковнику Михельсону, сей русский немец — славный командир!

— Какая мне служба! — жалко воскликнул Кротков. — Я отпущен из полка по болезни, и о том вам ведомо. Кто меня с такой нескромной болезнью к себе возьмёт?

Державин на него с изумлением взглянул, и было видно, что он готов разразиться смехом, но вдруг лицо подпоручика стало серьёзным.

— Экий ты, Кротков, прохвост! — прорычал сквозь зубы Державин. — Тебе полк помог выпутаться из долговой тюрьмы, а ты службой манкируешь! Прочь с дороги! — возмущённый наглостью Кроткова, Державин оттолкнул его в сторону и вышел из ямской избы.

Степан сел на лавку, нервно зевнул и перекрестил рот. «Вот и ещё одна нечаянная встреча, — подумал он. — А к чему она? К удаче или к несчастью — ума не приложу».

Глава четвертая

– 1 –

В губернском городе Кротков не имел ни родни, ни знакомых и, подъезжая к Казани, не мог даже предположить, где будет жить, но уверенно надеялся, что удача как не оставляла его до сей поры, так не оставит и впредь, и всегда явится случай, чтобы прийти ему на выручку.

На городской заставе на пути саней встал солдат, а к Кроткову подошёл прапорщик и протянул руку за паспортом.

— Откуда изволили прибыть? — осведомился он, оценивающе оглядывая Степана. — Где намерены остановиться?

— Из Синбирска. А остановиться не имею где, наверно, в гостинице.

Прапорщик с паспортом ушёл в будку, записал приезжего и, подойдя к саням, сказал:

— Ежели, господин Кротков, вы желаете жить весело и шумно, то поезжайте в гостиницу.

— Разве есть другое место, где можно остановиться? — заинтересовался Кротков.

— Как не быть? От моей сестры, вдовы подпоручика Мидонова, на днях съехал постоялец. У нее свой дом близ крепости, она может предоставить вашему благородию две комнаты. Сейчас всё в Казани стало дорого: и продукты, и квартиры из-за пугачёвского безурядья возросли в цене, но она держит прежнюю цену, лишь бы жилец был нешумный и не водил к себе пассий.

— Я как раз такой и есть жилец! — ухватился за предложение Кротков. — Говори, как туда ехать?

Дом подпоручицы Мидоновой и впрямь находился подле крепостной стены. Это была одноэтажная изба на подклети, с тесовой крышей и обшитыми дранью стенами,

окружённая дощатым забором, в коих выделялись выкрашенные свежей охрой ворота. Кротков вылез из саней, скинул с плеч тулуп и заглянул в прорезь воротной створы. Толстая баба, стоя на крыльце, вытрясала лисий салоп, рядом с ней тщедушный мужик держал на руках раздетого ребёнка, который верещал изо всех сил и сучил ножонками. Баба швырнула салоп на перила крыльца и заорала:

— Я тебя отучу уросить! Взял себе норов чуть что орать благим матом! Сунь его, Прошка, в снег, он живо умолкнет!

Кротков подивился тому, как родители воспитывают своё чадо, и застучал кулаками по воротам.

— Кого надо? — крикнула баба, а мужик с ребёнком забежал в сени.

— Я к подпоручице Мидоновой! — громко произнёс Кротков. — Послан к ней её братом, что на городской заставе прапорщик.

— Дерни за верёвочку и заходи, — сказала баба и, прихватив салоп, ушла в дом.

Хозяйка дома встретила Кроткова благосклонно. Это была дама в предосеннем возрасте, весьма округлых форм, очень живая и неугомонная. Она осыпала Степана градом вопросов и осталась довольна его ответами. Без долгих слов сошлись на том, что жилец будет иметь полный пансион с оплатой пяти рублей в месяц. Мидонова показала комнаты: одна являлась спальней, в другой можно было проводить часы досуга, сидя в кресле и взирая на обветшавший угол крепостной стены. Сысоя поместили в людской, с семьёй крепостных, единственным говорящим имуществом бойкой подпоручицы.

Скоро Кроткову в его гостиную комнату был подан обед из трёх блюд: наваристые щи с большим куском мяса на мозговой косточке, каша (опять же с мясом) и яблочный компот. Степан не торопясь отобедал, затем решил испытать мягкость постели, лёг на кровать и, утомлённый дорогой, крепко уснул.

Вечером госпожа Мидонова пригласила Кроткова к себе на чашку чая.

«Эге! — смекнул Степан. — Знать, она не так уж и бедна, раз завела у себя обычай баловаться редким и дорогим питьём». Его догадка была верной: бойкая подпоручица среди немалой части казанцев, состоявшей из мелких чиновников и дворян, выслужившихся из солдат, пользовалась большим успехом как прозорливая ворожея и удачливая сваха, а её дом был столицей мирка служивых людей, с которого Мидонова собирала необременительную дань, как пчела с медоносного поля.

В гостиной, изобильно украшенной занавесочками и вышивками, кроме хозяйки, за столом сидел капитан Порфирий Игнатьевич Лаптев в пехотном мундире, явный вздыхатель госпожи Мидоновой, ветеран Семилетней войны, ещё не оставивший надежд обрести своё семейное счастье в объятиях весёлой вдовы. Кротков и Лаптев были представлены друг другу, хозяйка разлила по чашкам чай. Некоторое время в комнате слышались только лёгкие постукивания чашек о блюдца, вкусное прихлебывание и довольные вздохи, затем Порфирий Игнатьевич осведомился у Кроткова, где тот изволит служить.

— В гвардии Преображенского полку, — ответил Степан, сразу угадав в капитане свирепого и беспощадного служаку. — Сейчас в отпуску по болезни.

— Так, понятно, — промолвил Порфирий Игнатьевич. — А в Казань, стало быть, прибыли схорониться от злодейского самозванца?

— Сейчас всем помещикам неуютно стало жить в своих усадьбах, — сказал Степан.

— Зря вы сюда приехали, — покачал головой Лаптев. — Ехали бы лучше в Москву. У нас из Казани не только помещики разбежались. Сам губернатор невесть куда сгинул, говорят, он в Кокшайск убежал. Вот сколько страху нагнал на генерала Бранта казак Пугачёв!

— В Синбирске то же самое было, — ответствовал Кротков, весьма удручённый известием, что попал из огня да в полымя. — Дворяне почти поголовно бежали в Москву, а я — сюда, посчитав, что раз здесь губернатор, то и власть крепка и надёжна.

— Губернатор, к несчастью, болен, — вздохнула Мидонова. — Очень милый старичок, я была ему представлена, так он, неловко сказать, столь прекрепко чмокнул мне ручку, что синяк проявился...

— Что же теперь делать? — заволновался Кротков. — Раз нет губернатора, значит, город некому защитить?

— Господа, не изволите выкушать ещё по чашке чаю? — предложила Мидонова, слегка раздосадованная тем, что Степан её перебил.

— Выкушаю, со сладчайшим удовольствием! — провозгласил Лаптев и оборотился к Кроткову: — Забудьте, Степан Егориевич, о губернаторе, забудьте и не вспоминайте! В Казань, слава богу, явился её спаситель, генерал-аншеф Бибиков, назначенный главнокомандующим войск, действующих против бунтовщиков.

— Я в Казани большой воинской силы не увидел, — сказал Кротков.

— А её и нет. Бибиков приехал с несколькими офицерами, но слышно, за ним идёт несметная сила: гренадёры и гусары. Эти солдаты войну знают, против них и пруссаки не устояли, а мужицкие толпы они разгонят одним криком.

— Порфирий Игнатьевич командовал гренадёрской ротой, — нежно проворковала Мидонова, пододвигая к Лаптеву вазочку с ежевичным вареньем.

— Мне за службу приходилось побывать во всяких переделках, — приосанившись, доложил капитан. — Если те, что придут за Бибиковым, такие же молодцы, какие у меня были, то никому мало не покажется: ни мужикам, ни помещикам.

— Что это ты такое говоришь, Порфирий Игнатьевич? — удивилась подпоручица. — Они что, на дворян кинутся?

— Солдат на уме всегда имеет три задумки: выжить в бою, убить врага и разжиться: вестимо, золотом. В чистом поле солдат воюет с прохладцей, а если за врагом виднеется городок, где можно будет пустить на ветер пух-перо из перин и подушек, то у солдата сразу прибавляется и удали, и силы.

— Ужели гренадёры такие озорники? — спросила Мидонова. — Зачем им пух-перо?

Глаза старого пехотинца сверкнули молодым задором, он мигнул усом и усмехнулся:

— Немцы надеялись сберечь свои талеры в подушках да перинах, но наш солдат догадлив, мигом раскусил, где надо искать золото.

— Вот, значит, как! — оживился Кротков. — Не думал, что немцы такие дурни! Но от гренадёров и нашим помещикам не поздоровится, солдаты мимо денег не пройдут. Да и злодеи за тем же громят усадьбы.

— В бунте пойдут прахом многие имения, — задумчиво произнёс Лаптев. — Кто-то потеряет всё, а кто-то обогатится. Только одна есть этому помеха.

— Какая же помеха? — встрепенулся Кротков.

— В Пруссии у каждого мужика в избе можно найти серебро и даже золото, а у нас в большом ходу лишь медные деньги. Сколько может солдат носить на себе меди? Не больше десяти фунтов — а это всего четыре рубля.

— Наш солдат и пуд легко будет носить, — сказал Кротков, понемногу начиная догадываться, что Лаптев случайно открыл ему опасность, которая может угрожать его намерению завладеть богатством.

— С пудом меди он долго не проживёт, — резонно заметил капитан. — Любой мужик его так дубинкой зашибёт, что он не успеет увернуться. И цена медному пуду — всего шестнадцать рублей.

— Да, это не клад, — согласился Кротков. — Даже если этой меди рогожный куль.

— Медные деньги, Степан Егориевич, наша казна хранит в бочках, по шесть пудов в каждом бочонке.

— А я такого и не ведала! — простодушно удивилась подпоручица.

— И бочки те дубовые, — продолжил капитан. — Каждый солдат для того и воюет, что у него перед глазами всегда бочонок, но не с медью, а с золотом.

— Зачем солдату столько богатства? — возразил Степан. — Сегодня он жив, а завтра его нет. Ему и рубля хватит, чтобы обожраться в кружале винищем.

— Солдат, как и всякий человек, живёт надеждой на счастье, — сказал капитан. — А бедняк счастлив не бывает. Картёжник ищет своё счастье в игре, а солдат — в бою. Это может понять только тот, кто побывал в штыковой атаке.

Он снисходительно посмотрел на Кроткова, и в этом взгляде прочитывалось: не знаешь ты, гвардейский выкормыш, войны, потёрся близ царских хором в караулах, а я четверть века тянул лямку армейской службы, от солдата до капитана. Презрение бывалого воина царапнуло Степана за душу, он смутился и насупился.

Перемену в настроении гостей заметила хозяйка, и у неё сразу же нашлось то, чем можно было их развеселить. На столе появилась колода карт, и Мидонова обратилась к капитану:

— На что погадать, Порфирий Игнатьевич?

— Поздно мне искать своё счастье, а вот молодому человеку узнать про это как раз. Я, если позволите, выкурю свою трубочку.

— Будьте любезны, Порфирий Игнатьевич, курите... Ну-с, Степан Егориевич, вы, конечно, желаете узнать, верна ли вам ваша пассия?

— Пока я не мечтаю найти своё счастье в женщинах, — ответил Кротков. — Они ветрены, ненадежны и не могут представлять собой опору в жизни.

— Вот как! — слегка обиделась Мидонова. — И в чем вы видите себе опору?

— Известно в чём. В богатстве, — снисходительно промолвил Кротков. — Разве не так?

— А вы, Степан Егориевич, умны не по летам, — хозяйка перетасовала карты. — Что ж, поглядим, какое счастье присуседится к трефовому королю.

Кротков с волнением глядел, как она разложила карты на три столбца и, мучаясь нетерпением, сказал:

— Прошлого и настоящего мне не надо, давайте раскроем, что будет.

— Это против правил! — удивилась Мидонова. — Но будь по-вашему, — она открыла карту, и Степан вздрогнул: это был король пик. — Судьба приготовила вам встречу с властным человеком, — произнесла подпоручица. — И сия встреча круто изменит вашу жизнь...

— И это всё? — поторопил Степан гадалку.

— Бубновый туз уверяет, что на вас свалятся большие деньги. Но ими нужно распорядиться с умом, поскольку сразу объявятся охотники завладеть богатством.

— А что ещё за карта рядом? — разгорячённо спросил Степан. — Я хочу знать всё.

— Это дама треф. К вам, Степан Егориевич, она определённо теснится, — жеманно вымолвила подпоручица, указывая мизинцем на трефовую красотку, которая пухленькими губами и сдвинутыми к переносице бровями весьма смахивала на хозяйку дома.

— Пущай теснится, моего богатства ей не видать, — неосторожно буркнул Кротков, на что Мидонова опять слегка обиделась и, смешивая карты, сказала:

— Разве, Степан Егориевич, вы не пожалуете того, кто нагадал вам богатство, хотя бы какой-то его малостью?

— Долго ждать придётся. Ужели я начну трясти своим кладом по сторонам, как только его обрету?

Мидонова удивлённо на него взглянула и заливисто расхохоталась.

— Экий вы, однако, забавник, Степан Егориевич! Карты много чего обещают, да мало что делают. И всему виной сами люди: они начинают торопить своё счастье, а оно, как перепелка, из-под ног — фр-р! И нет его!

— Я своё счастье торопить не буду, но и мимо не пропущу! — проговорил Кротков с такой мрачной серьёзностью, что подпоручица поторопилась собрать карты со стола и спрятала их в шкафчик.

Лаптев покуривал свою трубочку, прислушивался к разговору и усмехался. Мидонова тем временем обнаружила, что чайник остыл, и кликнула горничную девку, чтобы та подала свежего кипятку.

— Куда это вы, Степан Егориевич? — забеспокоилась она, когда Кротков поднялся со стула. — Испейте чашечку на сон грядущий.

— Извините покорно, — пробормотал он и вышел из зала в коридор, где, притулившись к стенке, его поджидал Сысой. — У тебя всё ладно? — спросил Кротков.

— Когда, барин, домой явимся? — хрипло проговорил гайдук. — Все добрые люди живут по своим домам, а мы блукаем то здесь, то там и не найдём себе места.

— Ты что, дурак, смерти моей ищешь? — вскинулся Кротков. — Захотел увидеть своего господина повешенным на воротах? Не думал я, Сысой, что ты мой ненавистник!

Из глаз Сысоя брызнули слёзы, он бухнулся на колени и, обхватив господина за ноги, заскулил:

— Как я могу желать тебе, господин, худа? У меня и в мыслях такого не было, а в усадьбу мне надо на свадьбу дочери!

Кротков схватил Сысоя за воротник и приподнял с пола.

— Утри рожу и не хнычь! Добро, поезжай и скажи Корнею, что я жалую молодых коровой, двумя ярками, вином и закусками на свадебный пир. Здесь, в Казани, ты мне не нужен. А теперь ступай за мной, — В комнате Кротков открыл сундук и вынул кошель с медными деньгами. Взвесил его на руке. «А ведь капитан прав: медные деньги тяжелы, как камни, с ними только топиться». Он сложил в две стопки двенадцать пятаков. — Это подаришь от меня молодым. Приглядывай, чтобы они тебе карман не прорвали.

— Я найду им место! — обрадовался Сысой и живо сгрёб пятаки в полу армяка. — Я их так увяжу, что не звякнут!

Заперев за Сысоем дверь, Кротков подошёл к столу и высыпал на него из кошеля оставшиеся пятаки. Сел на стул и уставился немигающим взглядом на красноватые кругляши меди. «Каждым из них человека убить можно, — подумал Степан. — Вот будет беда, если мне достанется медный клад! На рубль идёт два с половиной фунта меди, а сколько её пойдет на тысячу рублей? А на сто тысяч? А на миллион? Это невозможно даже себе представить! Пугачёв не дурак: если он побежит, то вперёд всего бросит медные деньги, а золото, бриллианты прихватит с собой. Мне надо от анпиратора не меньше ста тысяч рублей, а это тысяча бочек медных денег! Найду я их, а где спрятать такую прорву бочек? Не успею звякнуть у себя в усадьбе пятаком о пятак, как Парамон Ильич услышит и набежит на меня, прихватив своего приятеля исправника Платона Фомича, а за ними следом и воевода примчится и свою племянницу в тороках привезёт мне в жёны».

Кротков мысленно представил, как на него со всех сторон навалятся охотники до его клада, и ему стало трудно дышать. Наконец-то до него стало доходить, что истинная погоня за кладом гораздо более опасное занятие, чем прогулка по летнему лесу за цветком папортника. Чего только стоят возы медных денег, которые Пугачёв притащит за собой к месту, где задумает устроить захоронку! Их надо будет взять, а одна бочка пятаков потянет не меньше, чем на шесть пудов!

Обессиленный тревожными думами, Степан снял сапоги, задул свечу и лёг на кровать. Последнее, что ему привиделось перед тем, как погрузиться в сон, был король пик, красномордый мужик, хитро поблескивающий из-под короны блестящими чёрными глазами.

– 2 –

Капитан Лаптев бывал в доме подпоручицы не менее двух раз в неделю, и от него Кротков узнавал обо всём, что происходит в городе. С приездом Бибикова Казань ожила, в неё стали возвращаться дворяне, явился и губернатор Брант, отсиживавшийся, вопреки слухам, не в Кокшайске, а в Козьмодемьянске. Казань стала оживленным местом, дворяне разъезжали и расхаживали по главной улице и много шумели, призывая друг друга ополчиться против самозванца. Отчасти эти шумства возникали не по благородному порыву, а по наущению Бибикова, который устраивал молебны, звонил в колокола и произносил зажигательные речи против Пугачёва, чьи разъезды уже стали появляться в нескольких десятках вёрст от Казани. Довольно скоро воодушевление дворян вскипело до того, что они решили составить ополчение, выставив одного ратника на каждые двести ревизских душ. Бибикову эта затейка показалась соблазнительной, он за неё ухватился и, с помощью Державина составив помпезное обращение к государыне, отправил его в столицу. Казань зашумела с новой силой, все ждали, каков будет ответ, и очень гордились своим великодушием и самоотверженностью.

Кротков от этих безумств держался в стороне, но ко всему присматривался и прислушивался, когда выходил из дома в церковь или на прогулку. На улицах стало много людей с оружием. Кроме солдат и гусар, по городу браво расхаживали дворяне, многие уже в почтенном возрасте, в мундирах времён Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, опоясанные саблями и палашами. Кротков опасался их воинственного вида и обходил стороной места, где они собирались и устраивали шумства с великой похвальбой истребить злодея самозванца не позже начала весны.

Однажды Кротков зазевался посредине улицы, и на него чуть не наехали сани, в которых сидел генерал-аншеф Бибиков, сопровождаемый несколькими гвардейскими офицерами на конях. Среди них был вернувшийся из поездки Державин. Кучер, привстав с козел, попридержал коней и так страшно гаркнул на Кроткова, что тот, обретя вдруг резвость, скакнул в сугроб и в нём спрятался от Гаврилы Романовича, которого стал с последней встречи сильно опасаться. Уж очень был прям Державин и мог Кроткова перед Бибиковым, который был крут на расправу, выдать одним словом.

С этого случая он засел в своей комнате, но после Крещения к нему явился Лаптев. Капитан был облачен в армейский мундир, поскрипывал ботфортами, и на его лице была написана важная строгость.

— Вы ещё не собрались? — удивлённо вопросил Лаптев.

— Куда же мне торопиться?

— Как куда? Все дворяне сегодня должны быть в благородном собрании, — сказал Лаптев. — Слышно, пришёл рескрипт императрицы, и его нам огласят.

— Я же не казанский дворянин, а синбирский, и мне в вашем собрании делать нечего.

— Будет вилять, Степан Егориевич, — надвинулся на Степана капитан. — Вы российский дворянин, а где усадьба — значения не имеет.

Лаптев ушёл на половину Мидоновой, и Кротков, почесав затылок, стал одеваться. «Надо мне спрятаться за спинами, — думал он. — Державин будет впереди, возле начальства, и меня не увидит».

На улице сгущались вечерние сумерки, сырыми хлопьями шёл снег, возле большого каменного дома благородного собрания было светло: горели костры, а крыльцо освещали немалой величины сальные плошки. Улица была заставлена санями собравшихся со всего города дворян, которые толпились возле крыльца, ожидая своей очереди войти в дом.

Кротков и Лаптев выбрались из саней и, отрясая с шуб снег, пошли к крыльцу, к которому подъехали сани, запряжённые шестернёй. Из них появился встреченный громкими криками радости генерал-аншеф Бибиков. Кротков схоронился за широкоплечего и громоздкого в своей шубе капитана и высмотрел, что Державина среди офицеров свиты командующего не было. «У Гаврилы Романовича вечно ноги зудятся, — с

облегчением подумал Кротков. — Умчался, поди, в какую-нибудь провинцию учить мужиков уму-разуму».

Толпа с улицы мало-помалу стала втягиваться в дом, вошли в него и Лаптев с Кротковым, а затем через обширные сени попали в просторный зал, где в шубах, выдыхая клубы пара, перетаптывались и пошумливали более двух сотен дворян, а перед ними на возвышении стоял их предводитель, баснословно богатый помещик Макаров. Вдруг по собранию прошелестело: «Идёт!» Дворяне, раздвинувшись в сторону, образовали неширокий промежуток, и по нему бойко прокатился Бибиков, следом широко шагал генерал, которого, судя по вопрошающим шепоткам, в Казани не знали. Поднявшись на возвышение, они встали рядом с предводителем, и Бибиков громогласно произнёс:

— Представляю казанскому дворянству назначенного повелением государыни Екатерины Алексеевны начальником Казанской и Оренбургской следственных комиссий генерал-майора Павла Сергеевича Потёмкина.

В зале заперегляды вались и заперешёптывались: всех заинтересовало, из тех ли он Потёмкиных, что и согреватель государыниной постели одноглазый Григорий. Вскоре до Кроткова донеслось, что из тех, троюродный брат фаворита.

Затем Бибиков взял поданный ему офицером свиты большой лист бумаги и потряс им перед собравшимися в зале:

— Се рескрипт всемилостивейшей нашей государыни императрицы Екатерины Алексеевны казанскому дворянству!

Собрание благоговейно затихло, готовясь с трепетом вслушиваться в каждое слово, истекшее из уст богопоподобной Фелицы, но впереди Кроткова вдруг кто-то явственно произнёс:

— Сейчас достанется на орехи нашему немцу...

Губернатора Бранта в Казани не любили, посему нарушителя тишины не одёрнули и зашептались:

— Наш губернатор не генерал, а баба, Пугачёв был у него в руках, а он его упустил...

— Бросил город и шмыгнул в Козьмодемьянск, там запил горькую...

В зале зашикали, и Бибиков приступил к оглашению рескрипта. Его содержательная часть оказалась невелика, но была опутана такими непроходимыми зарослями цветистого пустословия, сопряжёнными с архаичной сложностью грамматических конструкций, что читать послание явилось делом трудным. Понять же его было вообще невозможно, за исключением той фразы, которую Бибиков выделил криком, затем сделал паузу, достал платок, отёр мокрое от слёз лицо и прокричал вновь:

— Государыня объявляет, что считает себя казанской помещицей и просит причислить к благородному собранию!

Когда до казанских помещиков наконец-то дошло, что государыня возжелала стать им ровней, ликованию не было пределов. Дворяне, казалось, от радости потеряли рассудок: стали обниматься, слюнявить друг друга поцелуями, источать слёзы восторга. Стоявшие близ возвышения приступили к Бибикову и вздумали его качать, но офицеры свиты отстояли генерала. Бранта при этом весьма крепко толкнули, и его увели, поддерживая под руки, губернаторские адъютанты.

Кротков с недоумением оглядывался вокруг, не понимая причины столь бурного веселья, когда его облапил грузный помещик и прижался к его лицу жёсткой бородой:

— Воссияло над Казанью державное солнце!

— Какое ещё, чёрт побери, солнце? — вскричал Кротков, пытаясь освободиться от крепких объятий.

— Государыня восхотела стать казанской помещицей!

— А мне какое до этого дела! — взмолился Кротков. — Отпусти меня, я синбирский помещик.

Лаптев с усмешкой наблюдал за Кротковым, но на выручку ему не спешил. Наконец помещик освободил Степана из своих объятий, напоследок расцеловав его в обе щеки.

— Это была дурная с вашей стороны выдумка, Порфирий Игнатьевич, позвать меня в этот сумасшедший дом, — сказал он, стирая поцелуйную мокроту с лица енотовой шапкой.

— Вы пережили только начало события, — хладнокровно ответил капитан. — За сим последует продолжение.

Бибиков снисходительно поглядывал на расходившихся от радости дворян, он был доволен, что его затея возбудить в них рвение к защите от шаек самозванца увенчалась успехом. Со всех сторон до него доносились выкрики наиболее ретивых в усердии помещиков:

— Даю двадцать рекрутов!

— Я жертвую деньгами, тысячу рублей!

— Отдаю тридцать коней!

— Даю пятнадцать рекрутов!

Однако мало-помалу все выкричались, переобнимались и перецеловались, и предводитель Макаров смог объявить:

— Составлено верноподданейшее письмо казанских дворян к нашей всемилостливейшей государыне! — он потряс над головой листом бумаги. Это утихомирило помещиков, и они обратились в слух:

— «Всеавгустейшая государыня, премудрая и непобедимая императрица! Дрожайшее нам и потомкам нашим драгоценное слово, сей приятный и для позднейшего рода казанского дворянства фимиам, сей глас радости, вечной славы нашей и вечного нашего веселия, в высочайшем вашего императорского величества к нам благоволении слыша, кто бы не получил из нас восторга в душу свою? А потому, если бы теперь кто из нас не радовался, тот бы поистине худо изъявил усердие своё отечеству и вашему императорскому величеству, даянием некоторой части имения своего на составление корпуса нашего...»

После столь возвышенного вступления, произнесённого Макаровым прерывающимся от волнения голосом, в зале воцарилось гробовое молчание. Дворяне были ошарашены велеречивым красноречием своего предводителя, который до сего случая ни разу не блистал перед ними в роли Цицерона и всегда бывал немногословен и сдержан. И только Кротков, живший среди петербургских пиитов, сразу увидел в речи Макарова руку уже начавшего погромыхивать грозовыми ямбами Державина.

— «...Кроме неописанные вашего императорского величества к нам милости, достойны ли и дворяне похвалы особливой, что они хотят защищать своё отечество? Они суть его, они подпора престола царского. Пепел предков наших вопиет к нам и зовёт на поражение самозванца. Глас потомства уже укоряет нас, что в век преславной и великой Екатерины могло возникнуть зло сие; кровь братьев наших, ещё дымящаяся, устремляет нас на истребление злодея. Что же мы медлили? Чего давно недоставало нам, дабы совокупно поставить грудь свою противу хищника? Ежели душа у дворянина есть, то всё у него есть к ополчению. Чего же недоставало? Не усердия ли нашего? Нет! Мы давно горели им, мы давно собиралися и хотели пренебречь жизнь свою; а теперь по милости вашего императорского величества есть у нас согласитель мыслей наших. Руководством его составился у нас корпус... Ведь сколь ни жарко рвение сердец наших, однако слабы бы были силы наши на истребление гнусного врага нашего, если б ваше императорское величество не ускорили войсками своими в защищение наше, а паче всего присылкою к нам его высокопревосходительства Александра Ильича Бибикова...»

Услышав своё имя, Бибиков развернул плечи, как крылья для полёта, встопорщился, а казанское дворянство уставилось на генерала, прозревая в нём своего героя. В какой-то миг показалось, что все кинутся к нему и примутся его качать и славословить, но предводитель Макаров не дал этому совершиться. Его голос, до этого подрагивавший от волнения, окреп и приобрёл звонкую силу.

— «...Что ты с нами делаешь? В трёх частях света владычества имеющая, славимая в концах земных, честь царей, украшение корон, из благолепия величества своего, из сияния славы своея снисходишь и именуешься казанскою помещицей!.. Признаем тебя своею помещицей, принимаем тебя в своё сотоварищество! Когда угодно тебе, равняем тебя с собою. Но за сие ходатайствуй и ты у престола твоего. Мы более на тебя, нежели на себя, надеемся!»

После оглашения письма государыне желающими принять участие в ополчении стали все. Единодушие в ненависти к взбунтовавшимся рабам сплотило дворянство, и в России, пожалуй, не нашлось ни одного дворянина, кто бы не возмутился тем, что крепостные, то есть его говорящее имущество, восхотели воли и равных прав с хозяином. Помещикам было невдомёк, что народное правосознание считало их захватчиками, а крепостное право — игом и никогда не признавало справедливым крепостное рабство, особенно после того, как дворяне получили освобождение от обязательной службы. Вот и явился Пугачёв и взял под себя мужицкую силу, и разгулялась крестьянская вольница, и дрогнула мать сыра земля и застонала вся Россия!

– 3 –

Весной в Казань пришло известие, что Пугачёв разгромлен под Татищевой слободой, Оренбург освобождён от осады, и самозванец с кучкой своих самых отпетых приверженцев пустился в бегство, и по пятам за ним следует подполковник Михельсон. В городе начались торжества и ликования, звонили колокола, служили молебны, дворяне уже считали себя победителями, но огонь пугачёвщины не был потушен. Стоило только «мужицкому анпиратору» где-нибудь появиться, как пламя бунта вспыхивало до небес и бушевало с невиданной мощью. Довольно скоро Пугачёв набрал ещё

большую, чем прежде, силу, и 10 июля 1774 года, окружённый толпами крестьян, горно-заводских рабочих, казаков и башкир, подошёл к Казани. У дурной новости быстрые ноги, и на следующее утро всем казанцам стало известно, что ополченцы полковника Толстого разгромлены, сам он убит, а Пугачёв встал со своим войском за Сибирской заставой на Арском поле.

Кротков вполне мог бы и продремать это событие, но уже на рассвете в доме Мидоновой началась суматоха. Услышав доносившийся в его комнату шум, Степан вышел в коридор и едва не столкнулся с хозяйкой, которая несла, прижимая к груди, стопу посеребренных медных тарелок.

— Беда, Степан Егориевич! Посмеивались над Пугачёвым, а он со своими разбойниками явился в Казань. А мы, после смерти Бибикова, остались без защиты. Губернатор на ладан дышит, и войск в городе нет.

— А как же ополчение? — воскликнул Кротков. — В него же подписались все дворяне, мещане Суконной слободы, что они?

— Об этом ли мне сейчас надо думать? — хозяйка всхлипнула. — Ведь разбойники сожгут город, надо хоть что-нибудь попрятать в землю. Помогите мне, Степан Егориевич!

— Как не помочь! — Кротков взял у хозяйки тарелки. — Куда идти?

Захоронку подпоручица решила сделать в дощатом сарае, где хранились телега, сани, хомуты, пустые бочки и лубяные короба. Кротков поставил тарелки рядом с кучей другого добра, которое хозяйка успела сюда натаскать, и смахнул прилепившуюся к щеке паутину. Хозяйка указала ему на лопату.

— Копайте, Степан Егориевич, яму, а я погляжу, не забыла ли чего в доме.

Земля в сарае была сухой и мягкой, и скоро он углубился в неё по колено. Бездельная жизнь разнежила Кроткова, он вспотел и остановился передохнуть. «А ведь сейчас, — осенило его, — вся Казань роет в своих домах захоронки, здесь живёт много людей достаточных, им есть что прятать. А если Пугачёв разорит город и тем паче его спалит, то сколько кладов останется без хозяев? Десятки, а может, сотни. Будет чем разжиться удачливым людям, и Пугачёв всему причина: от него клады плодятся везде, где он только ни побывает».

Когда в сарай вернулась хозяйка, он уже углубился в землю по пояс. Кротков заглянул в принесённый ею короб, там были два чугунных шандала, ножи, ложки, большая бронзовая солонка и другая посудная мелочь.

— Что-то Порфирий Игнатьевич куда-то запропал, — сказала Мидонова. — Он горяч, как бы не увязался за полковником Толстым. На улице только и говорят о его смерти. За графом пошли самые горячие дворяне и попусту погибли.

Кротков, не отвечая, продолжал копать. Яма углублялась и ширилась, он ушёл в нее почти по плечи и навалил вокруг большую кучу земли.

— Подавайте своё добро, — произнёс он, положив лопату на край ямы.

«Какая незадача, — подумал Степан, принимая из рук хозяйки медный чайник. — Хороню клад, вместо того чтобы его обрести. Но это, может быть, тоже знак: прежде чем найти клад, надо его закопать».

Поверх добра, сложенного в яму, Кротков постелил рогожу и засыпал её землей.

— Надо бы прикрыть чем-то свежую землю, — сказала Мидонова. — Сразу видно, что здесь только что копали.

Кротков взял в углу сарая охапку старой соломы и растряс её над захоронкой. Этого ему показалось мало, он подволок сани и поставил их над кладом хозяйки. Степан оглядел свою работу и насторожился: где-то вдалеке послышался глухой удар, потом другой, третий...

— Что это? — забеспокоилась Мидонова. — Гремит, как Волга в ледоход.

— Это не Волга, — ответил Кротков, догадавшись, что происходит. — Это бьют пушки. Стало быть, Пугачёв пошёл на приступ Казани.

— Ахти! — вскричала Мидонова и стала метаться по сараю. — Что теперь будет!

Кротков, забыв о хозяйке, выскочил на улицу. Мимо него с ружьями наперевес бежали солдаты, из соседнего двора выехала коляска, за ней две телеги, на которых горой были увязаны пожитки. Кучера стоя погоняли коней, и обоз, набирая скорость, помчался в сторону Волги. Пушечные выстрелы слышались всё чаще, и сильнее и, перекрывая их, раздался тысячеголосый вопль людей, кинувшихся истреблять друг друга. Это Пугачёв, пославший утром три именных указа: губернатору Бранту с требованием сдаться, русскому населению и татарам Новой и Старой слобод с отеческим увещанием не чинить ему сопротивления, не дождался ответов и двинул свои толпы на приступ.

Грохот пушек и приближающийся шум сражения заставили Кроткова поторопиться. Он забежал в свою комнату, открыл походный сундук и, вынув оттуда кошелёк с золотом, привязал его к поясу. «Вот и пришёл мой час, — возбуждённо подумал он.

— Мужицкий анпиратор рядом, теперь мне надо его не упустить!» Внезапно сквозь окно до него просочились дикие вопли и бешеный топот конницы. «Башкирцы! — догадался Степан. — Как бы мне не попасть под их пики и сабли». Он выбежал из дома, высунулся в ворота и едва успел уклониться от дротика, брошенного промчавшимся мимо всадником. Кротков, петляя, как заяц, пробежал по двору, примерился к забору, одним махом взлетел на него и оказался в узком проулке. Поднявшись с земли, он без оглядки помчался в сторону крепости.

Проулок упирался в стену амбара, цепляясь за выступы венцов, Степан забрался на крышу, дополз до конька, выглянул и тотчас отпрянул, потому что рядом с его головой ударила в доску пуля. Немного выждав, он высунулся снова и увидел, что перед въездом в крепость гарцует, размахивая пиками и саблями, небольшая толпа башкир, ворота распахнуты настежь, и в них, возле пушки, суетятся солдаты. Ударил выстрел, несколько башкир упали с коней, остальные, завизжав, ускакали прочь. Путь к спасению был открыт, и Кротков, скатившись с амбара, побежал к крепости, перепрыгивая через убитых на дороге людей.

Солдаты, откатив назад пушку, облепили створы ворот и пытались их закрыть, но они никак не поддавались их усилиям, потому что уже много лет всегда стояли нараспашку, осели и заржавели в петлях.

— Навались, ребята, навались! — кричал красным от натуги солдатам их прапорщик.

Из крепости на коне на них наехал генерал Потёмкин. Он был бледен и устрашающе сердит.

— Если в сей момент ворота не будут закрыты, — заорал он на прапорщика, — ты поплатишься головой!

Худой и жилистый прапорщик, подстёгнутый генеральским криком, прыгнул к воротам, упёрся, и они, будто ждали этого, подались. Раздались скрежет, скрип, и ворота, сначала одна створа, затем другая, были закрыты.

В крепость сбежались все, кто должен был в это время биться с пугачёвцами: четыре батальона солдат, дворяне-ополченцы и все офицеры, а их было в Казани немало. Успели прибежать сюда и самые резвые обыватели. Губернатора Бранта, который лежал уже при смерти, принесли в крепость на руках. По состоянию своего здоровья он был уже не командир, оставался Потёмкин, но и тот не спешил объявить себя комендантом. Сами собой командиры батальонов взяли каждый по одной стороне крепости и расставили своих солдат по стенам, нашли канониров, приставили их к пушкам, возле которых сложили порох и ядра для отражения приступа.

Ворвавшиеся в город башкиры были передовой разведкой, и они донесли Пугачёву, что в городе царит безначалие, и ободрённый этой вестью самозванец принялся спешно готовиться войти в Казань.

Вбежав в крепость, Кротков остановился, чтобы перевести дух, и огляделся. Вокруг было сутолочно и шумно, люди искали своих знакомых и родных, чтобы с ними соединиться и затем обрести какой-нибудь кров. Требуя лекаря, вопили несколько раненых, которых принесли с улиц и бросили прямо на землю. Крепостные коровы, которых не выгнали сегодня в поле на пастьбу, бродили между людей и возмущённо мычали.

Мимо Кроткова прошли несколько солдат с ружьями, и он поспешил за ними следом к крепостной башне, поднялся по лестнице с яруса на ярус на самый верх. Степан знал, зачем он это делает: ему нужно было видеть Пугачёва и его войско. На стене тесно стояли солдаты и обеспокоенно глядели в сторону Арского поля, где загрохотали, плескаясь чёрным дымом, пушки, и пугачёвцы, двигая перед собою возы с сеном и орудия, тремя громадными оравами пошли на штурм города.

Кротков пристально, до рези в глазах, вглядывался, чтобы увидеть «мужицкого анпиратора», но в клубах порохового дыма, застлавших окраину города, разглядеть его было невозможно. «Наверное, он держится позади своих толп, — подумал Кротков. — И правильно делает. Для меня будет беда, если он раньше времени сгинет».

— Беда, братцы! — раздался чей-то крик. — Гляньте, кажись, ополченцов погнали дубинами!

— А вот и губернаторский загородный дом зажгли!

Кротков посмотрел в сторону пожара и увидел, что защитники предместья, недоросли-дворяне, бегут, прячась по кустам и заборам, а за ними гонятся мужики и гвоздят их дубинами.

Сопротивление суконщиков, которые обороняли свою слободу, тоже было недолгим. Башкиры с горы осыпали их стрелами и, убедившись, что пушку ремесленников разорвало выстрелом, с дикими воплями ринулись в улицы, убивая всех встречных, не щадя ни стариков, ни детей. В дома полетели горящие головни, и скоро вся Суконная слобода была объята пламенем.

Сам Пугачёв с Шарной горы начал обстреливать город из десятка пушек ядрами и картечью. Толпы мятежников заполонили город, начался грабеж домов и купеческих лавок, сразу загорелось несколько зданий, пугачёвцы без пощады резали до смерти всех, кто им попадался одетым в немецкое платье.

— А вот и сам Пугач! — вскрикнул самый востроглазый из солдат, указывая рукой на всадника в малиновом кафтане и жёлтых штанах, который сидел на белом коне в окружении своих приспешников.

Кротков поглядел в сторону «анпиратора» и ничего толком не узрел: перед Пугачёвым выкатили пушку, она выстрелила, и всё вокруг заволокло чёрным дымом. Степан увидел офицера, который приблизил к глазам зрительную трубку, и кинулся к нему:

— Господин поручик, дозвольте глянуть на злодея.

— Хочешь на анпиратора Петра Фёдоровича посмотреть? — усмехнувшись, сказал офицер, протягивая ему зрительную трубку. — Вполне каторжная морда!

Дым от пушки рассеялся, и Кротков ухватил усиленным трубкой взглядом сначала пугачевские сапоги, потом жёлтые штаны и малиновое сукно кафтана, затем лицо и вздрогнул от изумления: как одна копейка на другую, Пугачёв был похож на приснившегося Степану мужика, который вытолкнул из гроба покойного государя Петра Фёдоровича. Пугачёв смотрел мимо Кроткова, но вот он отёр пятернёй бороду и, взглянув Степану в глаза, подмигнул, как приятелю, по-свойски и с каким-то понятным только им, двоим, тайным значением.

«Он знает, что я здесь! — вздрогнул Кротков. — Но мне-то нужен совсем не он, а его золото!»

Степан опять навёл на Пугачёва зрительную трубку, но тот про него забыл. Размахивая руками, стал указывать своим приспешникам, куда стрелять из пушек и катить возы с навитой на них соломой, чтобы поджечь стены крепости. Отдав трубку, Кротков подошёл к башне и встал возле неё, отрешённо наблюдая за всем, что происходит вокруг.

Солдаты на стенах заряжали ружья, канониры в башнях забивали заряды в пушки, офицеры требовательно оглядывали солдат и ободряли их словами. Все ждали штурма, но случилось неожиданное: Пугачёв внезапно передумал идти на крепость, его канониры подцепили пушки к упряжи и, настёгивая коней, бросились следом за своим «анпиратором», за ними толпой повалила мужицкая пехота, по пути поджигая дома.

Солдаты на стенах не знали, радоваться такому повороту событий или огорчаться, однако Пугачёв ушёл, а служивые люди всегда довольны передышкой. Они отложили в сторону ружья и стали шарить в своих карманах, ища в них, кто сухарные крошки, кто табак, чтобы набить трубку и побаловаться колючим и духмяным дымком.

Кротков вспомнил, что сегодня не ел, и у него засосало под ложечкой. Он поторопился сойти со стены и поискать, где бы ему покормиться, но попал не на раздачу хлебов, а на крестный ход, который после молебна о спасении христиан от богомерзкого злодея проводил архиепископ Вениамин. В шедшей за священнослужителем толпе Кротков увидел Мидонову и поспешил к ней. Понемногу он вывел её в сторону и сказал:

— Я так поспешно убежал, что не взял с собой даже корки хлеба.

Мидонова заслонила от посторонних глаз корзину, которую держала в руке, и достала из неё кусок рыбного пирога.

— Не покидайте меня, Степан Егориевич, — жалко пролепетала подпоручица. — У многих здесь такие разбойничьи лица, что я боюсь.

Они отошли в угол крепости к Спасскому монастырю и сели на бревно. Кротков дожевал пирог, потянул воздух ноздрями и насторожился. В дыру, пробитую пушечным ядром в стене, из города несло дымной гарью. Казань горела, и Степану впервые, с того часа как он кинулся в погоню за кладом, стало по-настоящему страшно. «Может, анпиратор и подмигнул мне, чтобы надсмехнуться, — с ужасом подумал Кротков. — Он уже знал, что спалит Казань и я сгорю заживо!»

О пожаре, который забушевал в Казани, скоро узнали все, кто находился в крепости. Она стала наполняться едким сизым дымом, из-за стен в крепость пчелиными роями полетели искры, которые осыпались на крыши домов и церковных зданий, люди стали вопить и метаться по крепости, ища спасения, но его не было. Уже казалось, что всем им уготована погибель, поэтому командиры батальонов, сами по себе, велели своим солдатам образумливать толпу и поливать крыши водой. Некоторых отъявленных смутьянов солдаты успокоили кулаками, а остальной народ попритих от бессилия и согласия с тем, что смерти не избежать, и стал слёзно молиться и ждать чуда.

Глядя на хныкающую Мидонову, Кротков ощутил гнетущее душу беспокойство и понял, что если останется сидеть рядом с ней, то расплачется и затоскует. Усилием воли он поднялся на ноги и побежал к башне. В крепости было смрадно и душно, и, взобравшись на стену, он сразу почувствовал, что его обдуло горячим ветром. Уже на-

ступил поздний вечер, но в Казани было светло как днем — горели не десятки, а многие сотни домов. Со стены город казался огненным морем, где крепость оставалась единственным, ещё не сметённым волнами пламени островом, над которым вздрагивало, готовое пролиться кипятком, красное небо.

Жителей Казани терзало лихо, а Пугачёв пировал. К нему башкиры, подкалывая пиками, согнали обывателей и поставили их перед «анпиратором» на карачки.

— Что, детушки, признаете меня своим государем? — сказал Пугачёв, красуясь перед людьми на приплясывающем белом коне, одетый в красный, цвета свежей крови, кафтан. — Я-ить ваш анпиратор Пётр Фёдорович!

— Признаем! Признаем, батюшка! — вскричали, обливаясь слезами, казанцы. — Царствуй над нами, как похочешь своей милостью!

Пугачёв объявил всем прощение и велел выкатить пятнадцать громадных бочек вина. Вокруг каждой из них тотчас же образовались многолюдные шайки из победителей и побеждённых. Пили все: кто с радости, кто с горя; Пугачёв разъезжал от одной бочки к другой и тешился любованием и обожанием своей персоны пьяным народом.

Шум гульбы едва достигал крепости. Там близко к утру стало легче дышать. Буря затихла, люди почувствовали, что беда их миновала, и смогли предаться беспамятным, с тревожными видениями снам. Кротков всю ночь провёл в полудрёме, перед рассветом заснул, но скоро пробудился от солдатских криков. Он протёр глаза и увидел, что к крепости спешат всадники. В них он сразу узнал гусар, которых подполковник Михельсон, опрокинув в жаркой схватке пугачёвские толпы, послал с вестью о победе к губернатору Бранту.

Солдаты навалились на ворота изнутри и распахнули их настежь. Люди кинулись к гусарам, сняли своих избавителей с коней и начали с радостными криками их качать. Кротков тоже стал возбуждённо вопить вместе со всеми, но скоро опамятовался и задумался: «А ведь анпиратор неслыханно обогатился в Казани и сейчас с золотой казной бежит к Волге. Как бы мне от него не отстать».

Кто-то потянул его за рукав. Кротков оглянулся — это была Мидонова.

— Степан Егориевич, надо спешить!

— Спешить и мне надо, — сказал он. — Но мне с вами не по пути.

— Сейчас всем по пути! — жарко задышала Кроткову в ухо подпоручица. — Михельсон отобрал у злодея всё, что тот награбил в Казани, владельцев зовут узнавать свои вещи.

От огорчения Кроткова чуть не перекосило: пошла прахом его мечта завладеть кладом, ведь Пугачёв потерял всё, что имел. Оглушённый упавшим на него несчастьем, он двинулся за Мидоновой, которая его подталкивала и поторапливала.

— Берите, Степан Егориевич, всё, что попадёт в руки.

— Там моего ничего нет.

— Вы что, угорели на пожаре? А где ваши енотовая шуба и шапка? Где мой дом и всё, что в нём было? У меня даже карт не осталось, чтобы наворожить вам удачу!

— Была у меня удача, — мрачно сказал Кротков. — Да вся вышла.

Они заторопились и первыми вбежали на площадь, где под охраной солдат стояли три десятка телег с наваленным на них имуществом ограбленных пугачёвцами казанских жителей. Востроглазая Мидонова сразу углядела, к чему нужно кинуться в первую очередь, и устремилась к жарко вспыхивающей золотыми бликами посуде, где выхватила из кучи большой кувшин.

— Хватайте, Степан Егориевич, в обе руки, что подороже!

Кротков знал в золоте толк и, приглядываясь к блюдам, чашам, братинам, кувшинам, тазам, определил, что все они, хоть и недешёвы, но отнюдь не золотые, а медные, в лучшем случае, позолоченные и посеребренные. Владеть грудой меди не входило в его намерения, и он спросил:

— Укажите на то, что вам по нраву?

Мидонова, которую уже теснили от воза набежавшие отовсюду погорельцы, указала на лохань и братину. Степан их быстро схватил и, держа над головой, вынес сквозь насевшую на пугачёвскую добычу толпу.

С других возов люди растаскивали одежду, и порой за одну шубу хватались двое или трое и тянули её всяк на себя. Кротков оставил Мидонову сторожить добычу, а сам обошёл вокруг всех возов и убедился: золотыми деньгами здесь и не попахивало. «Или анпиратор успел унести свою золотую казну, — подумал он, — или её присвоили Михельсон и его солдаты».

Пока он бродил, Мидонова исхитрилась обменять кувшин на куний мех и теперь им любовалась, разложив на своих плечах.

— Что же вы пришли пустым? — сказала она. — Быть возле беспризорного богатства и не попользоваться им — это, я вам скажу, грешно.

— Меня затолкали праведники, — усмехнулся Кротков. — Вон их сколько сюда

набежало! Идёмте на погорелище, пока и там то, что может быть, сохранилось ещё, не растащили казанские бессребреники.

Улица, где находился дом подпоручицы, выгорела подчистую. На ней остались стоять лишь кирпичные печи и масляно поблескивающие сажей остатки срубов. На дороге лежал толстый слой золы и пепла, а по сторонам торчали обгорелые колья заборов. Мидонова заплакала, ещё издали увидев, что её дом сгорел, но слёзы не помешали ей усмотреть на родном пепелище мужика, который расшвыривал головёшки как раз на том месте, где стоял сарай над зарытым день назад кладом.

— Грабят! — завопила подпоручица и кинулась изо всех сил спасать своё имущество. Мужик, застигнутый врасплох бабьим криком, обернулся, и Кротков узнал в нём Сысоя.

— Ты где, стервец, потерялся? — грозно вопросил он. — Я тебя возвысил подле себя из кучеров в гайдуки, а ты меня бросил и прокачался на печи возле своей бабы всю зиму и весну!

Беглый раб упал перед своим господином в золу на колени.

— Не по своей охоте я тебя, барин, оставил! — запричитал Сысой. — В твоей усадьбе с осени господином злодей Фирска Тюгаев, он всех мужиков под себя подмял, живёт себе барином в твоих хоромах.

— А что бурмистр Корней? Куда он глядит?

— Дядька Корней на ночь с Фирски сапоги разувает, а твоя горничная девка ему пятки почёсывает, чтобы он слаще заснул. Меня, как я приехал, злодей велел своим товарищам по разбоям посадить на цепь, как пса, в холодный амбар, где я просидел всю зиму, пока моя женка не выплакала меня у Фирски, но я всю весну провалялся в горячке и только что ожил.

— Ты что, в Казань пешим явился? — удивился Кротков. — Где кони? Где коляска? Мне что, в деревню на своих ногах идти?

— Неделю тому ушёл я от Фирски убегом, — сказал Сысой. — Выпросил у Парамона Ильича лошадь и телегу, чтобы за тобой ехать.

— И где же ты их потерял? — рассердился Кротков.

— Прослышал, что Пугачёв в Казани бушует, испугался, что отберут его ребята лошадь, — преданно глядя на барина, ответил Сысой, — и оставил её и телегу на той стороне Волги, а сам пришёл к тебе пешим.

— Стало быть, ты решил меня на мужицкой телеге везти? — помрачнел Кротков.

— А на чём же ещё? — простодушно развел руками Сысой. — Не пожаловал меня Парамон Ильич своей каретой.

Появление Сысоя было весьма кстати, и в Кроткове недолго вызревала решимость пуститься следом за «мужицким анпиратором», чтобы не проворонить своё счастье. Он посмотрел на Мидонову, которая бродила вокруг сгоревшего сарая и выглядывала, цел ли клад.

— Сколько я задолжал, сударыня, за этот месяц?

— Вы что, от меня съезжаете, Степан Егориевич? — прослезилась погорелица. — С кем же я останусь? Сначала Порфирий Игнатьевич куда-то запропал, а теперь вот и вы меня покидаете.

Чтобы не отягчать себя долгим прощанием, Кротков, вопреки своему обыкновению во всём искать выгоду, торопливо сунул в руку хозяйки плату за целый месяц и, не оглядываясь, поспешил прочь.

— 4 —

Волга была пуста: Пугачёв навел на жителей прибрежных селений своими бесчинствами в Казани такую жуть, что они сидели по домам и не помышляли пускаться в путь даже по самой крайней нужде. Завозни и лодки стояли причаленными к берегу, перевозчики сидели в кабаках или харчевнях. Возле воды под дощатым навесом, где были свалены вёсла, на охапке соломы дремал старик, сторож переправы. Услышав шаги, он поднял голову, протёр глаза и выжидающе уставился на Кроткова. Поняв, что перед ним барин, старик поднялся на ноги и поклонился.

— Как, дед, нам на ту сторону перейти? — спросил Степан, щурясь от сияющей солнечными пятнами речной воды. — Или переправщики разбежались?

— Куда им бежать? Они живут с перевоза. Подожди, барин, чуток, я своих молодцов турну, они тебя живо на тот берег доставят. Но платить будет надо не за двоих, а за всю лодку.

— И сколько? — Кротков поморщился от непредвиденного расхода.

— Мы берём по гривеннику с души, стало быть, за лодку рубль.

— Ступай, тормоши перевозчиков, — сказал Кротков и подошёл к кромке воды, где сел на выкинутую волной корягу, вдыхая запах свежей сырости от большой воды,

который, казалось, насквозь пропитал пологий берег со следами волн, оставившими на песке следы и узоры из сора и грязной пены во время недавней бури. С другого берега в глаза Степана светило клонившееся к краю земли ослепительно блиставшее солнце, которое понудило его зажмуриться и опустить голову. «Вон как ярится, — лениво подумал он. — Может, и правду говорят, что оно всё насквозь из расплавленного золота».

За его спиной кашлянул Сысой.

— Как там? — спросил Кротков.

— Машут руками, нас кличут.

В лодке за вёслами сидели четверо гребцов и кормщик. Сысой поддержал барина, затем сам влез в лодку.

— Что, Пугачёва вчера перевезли на ту сторону? — спросил Кротков, усаживаясь на скамью.

— Чёрт бы его перевозил! — сердито сказал кормщик. — Он в другом месте Волгу перелез с большой пакостью: село Сундырь сжёг.

— Чем же его мужики там озлили?

— Им велели из свияжской канцелярии свои лодки порубить, они так и сделали. За это своими избами поплатились.

Гребцы ударили в весла, и лодка резво пошла поперёк стремительно несущейся воды. Кротков пересекал Волгу впервые и возле берега был спокоен, но когда лодка удалилась саженей на двести, у него под ложечкой начало ощутимо посасывать от беспокойства, и он заозирался по сторонам. Степан вдруг вспомнил, что не умеет плавать, и побледнел, увидев, как Волга, спокойная у берега, на стрежне стала раскачивать и вскидывать лодку на размашистых волнах, и в ней неведомо откуда вдруг прибыло вершка на два воды. Кротков, сглотнув першивший в горле комок, только хотел сказать кормщику про воду, как сидевший впереди него парень закричал:

— Дядька Иван, оборотись! Мы, кажись, вовремя унесли со своего берега ноги! Не Пугачёёв ли там объявился?

Кротков посмотрел за корму и увидел на берегу больше сотни всадников.

— На мужиков вроде не похожи, — сказал кормщик. — Наверное, казаки.

— Нет, это гусары! — радостно выкрикнул Кротков. — Они идут вдогон за Пугачёвым.

«Надо будет к ним пристать, — подумал он. — И вместе идти за анпиратором. Гусары знают, где он есть, и от него не отстанут».

Скоро лодка достигла правого берега. Кротков отдал кормщику деньги за перевоз и взглянул на Сысоя.

— Ну, и где лошадь с телегой?

— Недалеко. Вон в тех избах.

Это был большой рыбацкий стан с множеством развешанных на кольях сетей и лодками возле воды. Сысой зашел в избу и скоро вернулся с мужиком. Они скрылись в большом сарае, немного там пробыли, и Сысой вывел за уздцы лошадь, запряжённую в телегу. Кротков посмотрел на неё и поморщился.

— Как же я на берёзовых ребрах поеду! — сказал он. — Ты бы хоть соломы наложил.

— Вот въедем, барин, на берег, и будет тебе соломенная перина! Здесь только одна рыбья чешуя да тина. А солому на первом же поле возьмём.

Кротков устроился на телеге, и они по долгому взвозу поднялись на береговую гору, где находилась большая деревня, на краю которой стоял господский дом. Степан велел повернуть к нему, и они въехали на большой двор, где их встретил старик, сказавший, что он здешний бурмистр, а барин уехал от пугачёвщины жить в Москву.

— Нет ли у тебя места, где бы заночевать? — спросил Кротков.

— Как нет, — ответил бурмистр. — Хоромы пустуют, ночуйте, только для тебя, барин, разносолов у меня нет.

Кротков проголодался, кроме того, он не забыл про гусар, которые, переправившись через Волгу, скоро будут здесь, а их командир был нужен Степану для его задумки.

— Вели кому-нибудь, старый, изловить парочку молодых хохлаток и попотчуй меня курятиной.

Просьба гостя обещала бурмистру не меньше двугривенного, и он оживился, подозвал проходившего мимо парня и пустил его в шумную погоню за курами. Скоро в углу двора полетели пух и перо, задымила летняя, сложенная из кирпичей под открытым небом печка, и повар водрузил на неё котёл с водой. К Степану подошла девка и поставила на скамейку большую чашку с малиной.

— Угощайтесь, барин, — сказала она, краснея от своей смелости. — Не подать ли чего ещё?

Кротков с ней ласково заговорил, но когда он взял её за руку, Сысой так и замер с большой охапкой соломы в руках, которую принёс, чтобы положить в телегу. Ему были памятны валдайские шалости своего господина, когда того обобрали бесстыжие ямские девки, и он встревожился, как бы с барином не случилось такой же беды, но Кроткова, который и впрямь почувствовал, как у него начались головокружение и сердцебиение, спасли гусары. Их конная толпа с топотом ворвалась во двор, а к Кроткову подъехал офицер.

— Секунд-майор граф Меллин, — отрекомендовался он.

— Синбирский дворянин Кротков. Если вам, граф, нужен здешний хозяин, то он в бегах, как, впрочем, и ваш покорный слуга. Я только что выбрался из Казани и следую в свою деревню.

Запах варившейся курятины привлёк внимание проголодавшегося майора, и Кротков не замедлил пригласить его разделить с ним ужин.

— Не откажусь, — сказал Меллин. — Отдам распоряжения и буду к вашим услугам, — он повернул коня к бурмистру, который стоял на коленях под присмотром двух гусар: — Распорядись, старик, забить для моих удальцов бычка или нетель. Да вели истопить баню, а то я в Казани продымился насквозь.

— Нет у меня власти тратить барское добро, — ответил бурмистр. — Господин с меня спросит, а чем я отвечу?

— Ответишь моей распиской, — важно заявил граф. — Она потянет наравне с золотом. Обменяешь её в казначействе на деньги. Или ты не веришь моему слову?

— Верь или не верь, да твоя власть теперь, — сказал бурмистр. — Скажи, барин, своим ребятам, чтобы огня не жгли, а то, неровен час, спалят двор.

— Хватит болтать, старик! — рассердился Меллин. — Казань сгорела, а ты об этих гнилушках печёшься. Ступай и делай, что тебе велено.

Граф сошёл с коня, кинул поводья денщику и сел на скамейку рядом с Кротковым, который искоса на него взглянул:

— О Пугачёве что слышно?

— Бежит сломя голову и всё вокруг крушит. Вон что с Казанью сотворил! Скоро вернутся мои гусары, коих я послал в разведку, и донесут, куда он направился. Мне велено идти за ним следом, а будет удача, то и схватить злодея, — к ним подошёл повар и доложил, что ужин готов. — Что у тебя ещё, окромя кур? — спросил Меллин.

— Есть ветчина с хреном, копчёный сом.

— Подавай! — велел граф. — И водку неси, самую очищенную!

Посовещавшись, они решили в дом не идти и ужинать во дворе. Сысой и денщик графа принесли стол, два стула и скатерть. Скоро поспела водка и закуска. Граф ел по-солдатски: много и жадно. После третьей чарки он расслабил пояс, достал трубку, раскурил её и сказал:

— Признаться, я удивлён, что вы так спешите в свою усадьбу. Это опасно: разбойники здесь встречаются на каждом шагу.

Ответ у Кроткова был уже готов, и он поведал майору о злодее Фирске, который воцарился в его доме и тиранствует по всей округе.

— Уходя из Казани, — пояснил Степан, — я крепко надеялся пристать к воинской команде, которая пойдёт за Пугачёвым. И мне повезло: я встретил вас.

— Я не против, если вы пойдёте со мной, — согласился Меллин. — Только будет ли вам со мной по пути? Пугачёв идёт куда ему вздумается, и в Казани его никто не ждал, а он взял и нагрянул, как снег на голову.

— Казань разорена, но и многие помещики потеряли свои имения, — сказал Кротков. — Пугачёв неслыханно обогатился грабежами, и, отягощённый добычей, он, наверное, не так уж скор на ногу, как прежде.

— Мне уже доводилось видеть обозы, брошенные злодеем во время бегства. Никаких сокровищ в них не было, двадцать-тридцать телег с тряпьём и мехами да бочки с медной казной, а на неё мои гусары не падки.

— Но того не может быть, граф, чтобы у Пугачёва не было золота, — дрогнувшим голосом произнёс Кротков. — Он его, верно, держит при себе.

— На это и надеются мои гусары, — кивнул Меллин. — Поэтому мне не приходится их подгонять. Каждому обещана награда за поимку злодея.

Ночь была тёплой, и Кротков её провел в телеге на соломе. В утренних сумерках к нему подошёл Меллин и потряс за плечо:

— Мы выступаем, Пугачёв бежит к Цивильску, если вам с нами по пути, то поторопитесь.

Цивильск был далеко в стороне от его усадьбы, но Пугачёв никогда не ходил прямо. «Кружит, перед тем как сделать захоронку клада!» — догадался Кротков, спохватился и стал поторапливать Сысоя, чтобы тот поскорее запряг лошадь. Вокруг них царила суматоха воинского сбора, гусары седлали коней, наиболее бойкие обшарили кухню,

погреба и чулан и тащили из них всё, что можно было съесть. Бурмистр, глядя на такой разор, сначала хотел встать на пути расхитителей, но гусары его оттолкнули, и он от них отступился. Однако граф Меллин не забыл своего обещания, подъехал к бурмистру и бросил к его ногам бумажный лист.

— Не хнычь, старик! Вот тебе расписка на пять рублей, отдашь её своему барину. А гусарам кланяйся, что они у тебя ничего не сожгли и не перепортили девок.

По знаку майора унтер-офицеры начали строить гусар в ряды, горнист вынул заблестевшую на солнце сигнальную трубу и протрубил поход. Когда команда тронулась в путь, Сысой завязывал на упряжи последний ремешок, и Кротков успел пристроиться к гусарскому обозу.

Пугачёв из Цивильска, где он разграбил провинциальную казну и обогатился на пятьдесят бочек медных денег, половину которых раздал народу, направился к Курмышу, где совершил то же самое: грабёж казны, убийства офицеров и раздачу части казны людям.

Появление Пугачёва в чувашских и мордовских землях было подобно свежему ветру, мгновенно раздувшему подземный огонь всегда тлевшей ненависти рабов к своим господам до истребляющего пожара крестьянской войны. Где бы ни ступал Пугачёв, он мгновенно обрастал мужицкими толпами, которые после его ухода разбивались на многочисленные ватаги, продолжавшие вершить суд и расправу над всем дворянским родом. Поэтому команде майора Меллина то и дело приходилось вступать в схватки с мужицкими шайками, а затем ловить разбойников и на месте их вешать и расстреливать. Эти стычки и казни задерживали гусар от сближения с самозванцем, и к Курмышу они подошли через день после его ухода из города.

От Курмыша до усадьбы Кроткова было всего вёрст двадцать, и он напомнил графу об его обещании погостить в его имении. У них на пути была деревня Парамона Ильича, и версты за две до неё разведчики донесли Меллину, что она захвачена большой шайкой злодеев. Майор разделил свою команду на два отряда, и гусары, незаметно подобравшись к деревне по оврагу, атаковали её с околиц, так что разбойникам пришлось худо: многие из них насмерть были порубаны и растоптаны конями, а уцелевшие огородами бежали в лес.

Кротков знал, что в усадьбе Парамона Ильича для него Пугачев ничего не оставил, и въехал в неё вместе с гусарским обозом. Возле дома стоял Меллин и, задрав голову, смотрел на громадный осокорь, что рос возле крыльца. Стоявшие рядом с графом унтер-офицеры, сняв, как и он, шапки, глядели туда же. Заметив Кроткова, майор жестом руки велел ему поторопиться.

— Это не твой дядюшка? — спросил Меллин, указывая на дерево.

Кротков обомлел. На толстой ветке, раздетый до исподнего белья, в петле висел Парамон Ильич. Он, видимо, не давался в руки злодеям, и его лицо было сильно разбито.

— Это он, — слабым голосом произнёс Кротков и бессильно опустился на ступеньку крыльца. Он никак не мог поверить, что такая беда могла случиться с осторожным Парамоном Ильичем, всегда знавшим, как избежать опасности.

— Снимите его, — распорядился граф.

Унтер-офицеры на конях подъехали к ветке, обрезали верёвку и опустили тело на землю.

— Ещё не остыл, — сказал унтер-офицер. — Едва успели повесить до нашего прихода.

— Где же дворовые люди? — спросил Кротков. — Надо бы его отсюда унести.

Майор велел унтер-офицерам взять гусар и обшарить усадьбу. Нашли только ветхую старуху, которая была от старости слепа, глуха и едва взмыкивала, но Кротков не убоялся приступить к ней с допросом.

— Отвечай, старая, где дворовые люди?

Старуха пошамкала беззубым ртом и взвизгнула:

— Нюрка!

Под крыльцом зашуршало, и скоро оттуда выползла рябая и худенькая девчонка, которую Кротков тут же схватил за руку.

— Где люди? Кто моего дядюшку казнил?

— Мы здесь остались одни, — пропищала девчонка.

— Его дворовые люди убили? — поразился Кротков.

— Ну да! — подтвердила Нюрка. — Мы жалели барина и ревмя ревели, но Федотка, кучер, схватил его и повесил. А потом все закричали, что царь мимо деревни идёт, и кинулись бежать. А меня бабка за подол удержала, ей страшно оставаться одной.

— Как! Здесь только что побывал Пугачёв? — воскликнул Меллин. — Вот так удача! Где разведчики?.. Гусары, на конь!

— Он, граф, наверняка ушёл в моё поместье, — торопливо сказал Кротков. — Я

покажу дорогу.

— Сверчков! — велел Меллин унтеру. — Дай ему коня!

На выезде из деревни они встретили трёх гусар, ходивших в разведку, и те подтвердили, что злодей не далее как час назад ушёл по дороге на Кротковку.

— Недавно здесь был: конские шевяки на дороге не успели остыть, ваше высокоблагородие!

До Кротковки было всего несколько вёрст, и когда стала видна колокольня, майор Меллин велел команде остановиться и спешиться.

— Следуйте за мной, — сказал он Кроткову и, достав из сумы зрительную трубку, полез в гору. Обычно хладнокровный немец явно взволновался, и Степана обожгло подозрением: граф потому так рьяно гонится за Пугачёвым, что тоже мечтает покуситься на его клад. И он взглянул в спину соперника с такой яростью, будто хотел прожечь его взглядом насквозь.

Долгоногий граф опередил Степана, и когда тот, запыхавшись, встал с ним рядом, майор, приставив трубку к глазу, оглядывал окрестности. Кроткову стеклянное око было не нужно, он и своими глазами отчётливо видел деревню и всё, что в ней происходит. Обычно пустая, она была заполнена вооружёнными людьми. У ворот усадьбы стояли телеги и пушка, возле которой пылал костёр.

— Он явно решил встать здесь на ночлег, — пробормотал Меллин и затем воскликнул: — А вот и он сам!

К дому окружённый толпой приспешников подъехал Пугачёв, ловко сошёл с коня, поднялся на крыльцо, поозирался и завернул в ретирадное место. Подтягивая на ходу штаны, появился оттуда и, повелительно взмахнув рукой, что-то приказал своему окружению. Казаки охраны сняли с телеги чёрный сундук, несколько больших кулей и занесли в дом. «Вот он, мой клад! — едва сдерживая крик, подумал Кротков. — Анпиратор решил зарыть его у меня в погребе!» Он покосился на майора, но того уже рядом с ним не было. Размахивая руками, граф торопился по склону горы к своей команде, отдавая на бегу приказы: гусарам садиться на коней, обозу стоять на месте.

Гусары, сдерживая коней, стали спускаться с горы, на ходу перестраиваясь для лихой кавалерийской атаки, а в это время из усадьбы донёсся пронзительный визг: разбойники выволокли из хлева громадную свинью и повалили её на спину, чтобы зарезать. Кротков не возмутился утратой хавроньи, которая была гордостью его покойного батюшки Егория Ильича, потому что всегда приносила по пятнадцать поросят приплода, он во все глаза глядел на свой дом, чтобы не пропустить бегства «анпиратора». «Только бы он успел запрятать клад, — с тревогой думал Степан. — А то налетят гусары и мигом растребушат и сундук, и кули».

На этот раз граф Меллин не отсиживался за спинами, а впереди своих гусар влетел на околицу деревни и стал махать саблей, беспощадно рубя не успевших взять в руки свои дубины мужиков. Навстречу большой толпе, что вывалилась из проулка, гусары ударили из пистолетов, и эти выстрелы докатились до усадьбы, оповестив Пугачёва о беде. На ходу засовывая руки в рукава красного кафтана, он прыгнул на коня и устремился к воротам. За ним стали убегать его приспешники, а по двору с леденящим душу визгом бегала недорезанная свинья, волоча торчащий в её боку огромный нож.

– 5 –

Кротков, сбежав с горы, прыгнул в телегу и толкнул Сысоя кулаком в бок.

— Трогай! — вскричал он. — Да шибко не гони, не хватало ещё перед домом свернуть себе шею.

— Не первый раз здесь еду, — сказал Сысой. — Уж и не надеялся, что вернусь, да ты, барин, везучий.

Деревня встретила их мёртвой тишиной. На улице и вдоль заборов лежали убитые люди, ни одного гусара среди них не было, только мужики, в большинстве своём молодые парни, ещё недавно свято верившие в обещанную им мужицким царём волю и погибшие, не успев даже к ней прикоснуться.

Одна створа была сорвана с ворот усадьбы и валялась на земле, перегораживая дорогу. Кротков слез с телеги и торопливо пошёл к крыльцу, обойдя стороной лужу крови, в которой лежала свинья. С крыльца он оглядел двор и не увидел никого живого. Гусары, не заглянув в дом, устремились в погоню за Пугачёвым. Это было ему на руку, его ждал клад, и увидеться с ним Кротков надеялся без свидетелей.

Пройдя через сени к залу, он остановился, опасаясь, что за дверью кто-нибудь затаился и ожидает его с ножом в руке, прислушался, но ничего, кроме своего горячего и прерывистого дыхания, не услышал. Тогда Степан осторожно шагнул в зал и увидел, что всё в нём осталось по-прежнему, только возле окна лежали друг на друга сваленные кули. Он на цыпочках прошёл к своей комнате и толкнул дверь, которая резко скрип-

нула, и это заставило его шарахнуться в сторону и прижаться к простенку. Вокруг стояла тишина, и было слышно лишь позуживание большой мухи, которая закружилась вокруг его головы. Степан заглянул в комнату и зажмурился от ослепляющего блеска, который ударил ему в глаза. На стуле лежал тяжёлый перстень с алмазом величиной с небольшой боб. Он примерил его на средний палец, и перстень оказался впору.

Пугачёв успел наследить в комнате: на кровати лежали грязные исподние штаны и рубаха, с подушки свесились шерстяные носки, от которых разило пёсьей вонью, на сундуке лежала соболья шапка. Но Степана привлекла не она, а замок, на который был заперт заветный чёрный сундук. Он торопливо вышел из комнаты, и в дверях зала его встретил Сысой.

— Что за напасть такая, — сказал гайдук. — Где Пугачёв ни пройдёт, все люди куда-то деваются. Остался один Корней.

— Быстро найди мне топор! — крикнул Кротков. — А людишки мне не нужны, разбежались — значит, туда им и дорога!

— На что тебе, барин, топор?

— Неси, болван, скорее! — взвизгнул и затопал ногами Кротков. Сысой своего господина в таком гневе ещё не видел и кинулся на кухню за топором. — Стой на крыльце и никого в дом не пускай! — приказал Кротков и, войдя в зал, запер дверь на крюк.

Несколькими ударами он сшиб с сундука замок, распахнул крышку и, не в силах устоять на враз ослабевших ногах, опустился на пол. Сундук был битком набит золотыми монетами, полуимпериалами, империалами, пятирублёвками и десятирублёвками, золотыми цепями, пряжками, чарками, блюдами и чашами. От золотого блеска у Степана закружилась голова и пересохло в горле. Он достал початый штоф очищенной, промочил себе глотку и освежил память. Его взгляд упал на стоявший в углу сундука берестяной туес. Степан открыл его и прослезился от радости: он был до краев наполнен драгоценными каменьями, алмазами, рубинами и яхонтами.

— Если это не счастье, то его нет и вовсе! — прошептал, задыхаясь от нахлынувших на него чувств, Степан. — Анпиратор дурак, с таким сундуком можно иметь всё, чего только не возжелаешь, даже в Турции. Далась ему мужицкая воля, жил бы в своё удовольствие и горя не ведал.

Вспомнив о кулях, валявшихся в зале, Кротков кинулся к ним. Во всех были соболя, и только один оказался твёрдым на ощупь. Он торопливо его развязал и вынул туго увязанный верёвкой бумажный свёрток, в котором оказались ассигнации. Степан ещё не привык доверять бумажным деньгам, эта находка его не так обрадовала, как золото, но и не огорчила. «Пуд ассигнаций тоже для меня не помеха», — решил он, возвращаясь к сундуку.

От жадного созерцания золота у него опять закружилась голова, но громкий стук в дверь отрезвил. Он вскочил на ноги и, мягко ступая, вышел в зал. Стук повторился с новой силой. «Беда! — мелькнуло в голове Степана. — А если это Пугачёв вернулся за своим сундуком?..» Он подкрался к двери и прислушался. Кто-то за ней часто посапывал. Дверь снова затряслась от ударов, уже, кажется, ногами. Кротков онемел от страха и стал беспомощно оглядываться, ища себе путь к спасению.

— Барин! — раздался голос Сысоя. — Ты живой?

— Чего тебе надо? — обрел силу говорить Кротков. — Что ломишься?

— Тут такое диво, барин, что ума не приложу, как сказать.

— Говори просто, как своей бабе! — озлился Кротков. — Говори и проваливай!

— Барин! Корней на гумне нашёл в хлебе больше десятка возов...

— Эка невидаль! — возмутился Кротков. — А ты меня с постели, болван, поднял ради такой глупой вести?

— Возы-то не пустые! — радостно завопил Сысой. — На них дубовые бочки, и Корней говорит, что те бочки полны денег!

Кротков похолодел. «Чёртов анпиратор! — ругнулся он. — Так-таки пожаловал меня медью. Что мне теперь с ней делать?»

— Беги к Корнею, укройте возы снопами и никому ни слова, даже своей бабе, если не хочешь потерять башку!

Сысой затопал сапогами, убегая из дома, а Кротков ладонью вытер со лба холодный пот и побрёл в свою комнату. На золото он взглянул без первоначального восторга, известие Сысоя подтолкнуло его к мысли, что обрести клад — не только великая радость, но и большая обуза: золото надо пересчитать, во что-то сложить, куда-то спрятать и сторожить его день и ночь, подвергая жизнь ежеминутной опасности. На клад всегда найдётся тьма-тьмущая охотников им завладеть. Внезапно ему в голову пришла страшная мысль, что «анпиратор» может вернуться за своим золотом. И что он со Степаном сотворит, если найдёт его возле своего сундука? Не легче ему будет, если за тем же явятся граф Меллин со своими гусарами.

Кротков заметался по дому, но не нашёл ни одной щели, куда можно было спря-

тать золото. В комнате отца ему на глаза попались кожаные, с пряжками на каблуках, огромные ботфорты, в которых Егорий Ильич ходил под водительством фельдмаршала Миниха в поход на турок. Степану они приглянулись своей вместительностью. Он их подхватил и, прибежав в свою комнату, стал сыпать в них пригоршнями золотые монеты. Когда ботфорты были наполнены, Степан их подтащил к стене за дверью, поставил стоймя и накрыл исподними штанами Пугачёва.

Часть золота была устроена, но из сундука его убыло всего на треть, и Кротков стал нагружать монетами медную посуду: кувшины, братину, чаши, однако скоро спохватился, и его взгляд упал на померанцевое дерево, которое росло в широкой кадке. Мелькнула мысль спрятать в неё остатки золота, но сразу же и погасла: не было времени убирать с пола землю, а она его выдаст. И тут же Степан нашёл место для захоронки — печь. Он подошёл к ней, открыл дверцу и заглянул в зев — там было пусто. В печь ушли и бумажные деньги, и золотые, и туес с дорогими каменьями. Меха он рассовал под кровати в своей и отцовской комнатах.

Весьма довольный содеянным, Кротков сел на свою кровать, намереваясь на ней раскинуться, и тут его взгляд наткнулся на чёрный сундук, стоявший посреди комнаты неопровержимой уликой. «Куда его девать!» — всполошился он и взялся за топор, однако сразу понял, что железный сундук этим оружием не сокрушить, и, схватившись за ручку, через зал выволок его в коридор, дотащил до кухни и через заднюю дверь вытолкал наружу в лопухи и конопляные заросли, где закидал наломанными с клёна ветками. Свидетелем его суеты была только сорока, которая поглядывала на Степана с крыши дровяного сарая и вскоре, помахивая тряпичными крыльями, полетела докладывать обо всём, что увидела, своим болтливым подружкам.

Теперь клад был, как ему казалось, надёжно устроен, но оставались навязанные Кроткову «анпиратором» медные деньги и, вытерев запыленные ладони листом лопуха, он направился на гумно, где стояли возы с казёнными бочками. Корней и Сысой закладывали снопами последнюю телегу и, как Кротков ни приглядывался, остальные возы не увидел. Всё было надежно укрыто от чужих и завистливых глаз.

— Раскрытых бочек не было? — спросил он, подойдя к возу.

— Все нераспечатанные, — сказал Сысой. — Но тяжёлые и для одного неподъемны.

— Ну-ка, колотни одну чем-нибудь по днищу, — велел Кротков. — Может, там не деньги, а песок.

Сысой, поднатужась, вынул из передка телеги шкворень и несколькими размашистыми ударами железного стержня разломал верх бочки.

— Что нашли? — спросил Кротков.

— Вестимо, пятаки, — ответил Сысой и подал барину красноватый кругляш, блеснувший подобно золотому.

— Вот что, мужики, — сказал Кротков, нянча на ладони пятак. — Отсыпьте себе по сотне штук, подальше спрячьте и помалкивайте.

Корней и Сысой, поглядывая друг на друга, задумались. «Ужели я мало им даю? — обеспокоился Кротков. — Или они от счастья языка лишились?»

— Мне, господин, денег не надо, — заявил Корней. — Неровен час, проведает о них моя старуха, замучает расспросами, а о них надо помалкивать.

— А ты, Сысой, как? Берёшь?

— Я бы взял, да боюсь, вдруг они мне впрок не пойдут. Неведомо мне, как люди живут с деньгами. Ты, барин, бери их себе, у тебя они надёжнее сберегутся. А я за твоей спиной, как жил, так и стану жить, и не к чему мне искать от добра лиха.

Кротков с удивлением воззрился на своих крепостных. Не ожидал он от них бессребреничества, но они, не моргнув, отказались от дармового богатства.

— Может, я мало даю? — спросил он, решив, что перед большими деньгами они уступят. — Берите себе каждый по бочке или по две.

— Не неволь, господин, — отказался Корней. — Мне и денег-то всего надо две копейки, чтобы глаза закрыть.

А Сысой, молча, взял два снопа и положил их на вскрытую бочку.

— Надо спешить, скоро стемнеет, да гляжу, мои идут из деревни, видно, отсиживались от пугачёвских ребят у родни.

— Тогда поторапливайтесь, — сказал Кротков. — И до конца своих дней забудьте, что видели эти деньги.

Он отошёл в сторону, и с бугорка ему стала видна вся деревня. Кое-где уже были видны люди, нашлись и попрятавшиеся на время воинского набега собаки, и временами слышался пёсий брех.

— Корней! — подозвал он бурмистра. — Возьми мужиков и подберите мёртвых с улицы.

— Куда их девать? Ведь там десятка два.

— Дровяной сарай пуст? Сложите их там, друг подле друга, чтобы можно было опознать, когда явятся их родичи. Сысоя с собой не бери, пусть он у меня под рукой будет.

Кротков дошёл вместе с бурмистром до крыльца дома и там остался, а Корней начал скликать дворовых мужиков, и скоро от усадьбы к деревне направились три телеги, чтобы подобрать погибших. Степан смотрел им вслед с понятной всякому человеку жалостью к себе, которая возникает при виде чужой смерти, но скоро спохватился. Клад, рассованный им кое-как в доме, властно позвал его к себе, и он кинулся в сени, ругая себя, что оставил золото без надзора в комнатах, которые нельзя было запереть снаружи, а только изнутри.

В печи всё было цело, а в комнате он замер и схватился за сердце: один ботфорт лежал на боку и рядом с ним — рассыпанные монеты. «Он сам не мог свалиться, — лихорадочно сообразил Степан, подбирая с пола золото. — Но кто же здесь побывал? Или всё же сам? Сколько, однако, мороки с золотом! Год я за ним бегал, теперь всю жизнь буду его стеречь».

Кроткову было кого опасаться: к нему мог заявиться Пугачёв, Меллин, разбойник Фирска, какая-нибудь воинская команда или другие неведомые злодеи, коих во время бунта шаталось по Поволжью несчётное множество с целью поживиться тем, что попадёт им под руки. Они-то как раз и могли лишить Степана его богатства, сами того не ожидая, по воле случая.

Он понял, что ему нужно предпринять, и, выбежав в коридор, громко кликнул ключника, который ещё не показывался ему на глаза. Тот был цел, но прихрамывал и одну руку держал на перевязи.

— Где это, Митька, тебя так угораздило разбиться? — спросил Степан седобородого слугу.

— Эх, барин! Разбойники сразу кинулись на водку и наливки, я их к ним не пускал, вот и помяли меня кулачищами.

— Покажи мне чулан, где держишь оружие! — велел Кротков.

За кухней располагалось несколько комнат, возле одной из них ключник остановился, открыл дверь и подал барину горящий свечной огарок. Кротков осветил им помещение и огляделся, удивляясь тому, что здесь имелось. На крючьях вдоль стены висели два ружья, сработанные почти век назад, сумки для пулевых зарядов, пороховницы и даже колчан с десятком стрел. В одном углу находились пики и копья, в другом — боевые топоры разных размеров, изрядно порченные ржавчиной.

— Твой батюшка редко сюда захаживал, — сказал ключник.

Этим оружием можно было снарядить всю деревню, но Степан не имел на людей никакой надежды и взял, даже не для обороны, а чтобы чувствовать себя уверенным, саблю, которая привлекла его дорогими ножнами и золочёной рукоятью клинка. Кротков велел ключнику отнести её в его покои, а сам через чёрный выход направился в сторону огорода.

В дощатой будке он выбрал самую крепкую лопату и припрятал её в приметном месте, чтобы без хлопот найти в темноте. По натоптанной тропе Кротков сбежал с невысокого берега к озеру и, осмотрев лодки, выбрал ту, в которой было меньше воды, влез в нее и оттолкнулся веслом от берега. Островок, к которому он направился, Степан знал как свою ладонь, и ему пришла в голову спасительная мысль перепрятать на нём клад, потому что в доме оставлять его было опасно.

Хватаясь руками за ветки нависших над водой деревьев, он добрался до берега и стал оглядываться, высматривая, где ему будет удобнее вырыть яму, как вдруг послышались голоса и плач. Прячась за кустами, Степан пошёл на шум и скоро увидел детей, которые стояли вокруг дерева, к которому был привязан мальчик лет семи. Рядом с ним был его сверстник с плёткой в руке.

— Чем это вы тут занялись! — грозно вскричал Кротков и кинулся на ребятню, но успел ухватить за рубаху одного. Остальные попрыгали в воду и, плескаясь, поплыли к недалёкому берегу. Кротков освободил мальчика от пут и спросил у того, которого держал за рубаху: — За что вы ему порку устроили?

— Он разбойник, а мы гусары, а гусары разбойников казнят.

Степан растерялся: оказывается, пугачёвщина своей бесчеловечной жестокостью, которую выказывали друг к другу дворяне и мужики, отравила души не только взрослых, но и детей. Они, видя творимые взрослыми бесчинства, заразились ими и пытались повторить в своих играх.

— Ты чей? — спросил он.

— Сысоев, — «гусар» заревел в два ручья. — Не выдавай меня, барин, тятьке, а то он меня пороть станет!

«Разбойника» Кротков взял за руку и повёл к своей лодке, где, сев на корму, сказал:

— Гребите к берегу!

Ребята взялись за вёсла, а Степан, глядя на остров, подумал, что ему повезло встре-

тить мальчишек, для которых это место было своим, и они могли очень скоро наткнуться на его захоронку, если бы он там её устроил, но, на его счастье, удача его не покинула. Теперь ему требовалось снова решать, куда устроить сокровища.

Над этим, запёршись в своей комнате, он думал целый вечер, но всё, что приходило ему на ум, Степан после недолгих размышлений отвергал. Опасность его кладу была всюду: и в доме, и во дворе, и на острове, и в лесу — везде, когда он будет копаться в земле, за ним кто-нибудь мог подглядеть, дождаться, пока он уйдёт, затем взять сокровище и жить в своё удовольствие всю жизнь, похохатывая над растяпой.

Гоняясь за кладом, Кротков никогда не сомневался, что его обретёт. Но сейчас, достигнув желанной цели, он стал подумывать, что судьба, наградив счастливца, может от него отвернуться и без промедления обрушить на его голову внезапную беду. Кроткову стали приходить на ум страшные рассказы о тех, кто, найдя клад, вдруг обезноживал или лишался глаз, речи, а то и сходил с ума. Не случится ли такое и с ним? Может, к нему беда нагрянет с другой стороны, и покинувшая его удача кружит над головой лютого злодея, и тот сейчас спешит к кротковскому дому с кистенем в руке?

«До сей поры моей удачей был Пугачёв, — думал Кротков. — Ужели он навсегда оставил меня под своим присмотром, ведь он ещё жив?» В этот же миг его осенила догадка: на крыльце, перед тем как зайти в дом, Пугачёв побывал в ретирадном месте. Это и есть знак, где надо спрятать клад!

Кротков подхватился с кровати и, убедившись, что дворня спит, взял пустые кули и вернулся в свою комнату. Пересчитывать все деньги не было времени, и он решил оставить себе на первое время половину ботфорта с золотыми, а остальные монеты стал ссыпать в куль. Нагрузил в него деньги из другого ботфорта, из чаш, братины, другой посуды, попробовал куль на вес и с трудом оторвал его от пола. Пришлось треть денег отсыпать во второй куль, туда же он опустил и туес с драгоценными каменьями. В третий куль поместилось золото из печи. Над ассигнациями Кротков задумался — они могли промокнуть. Он сбегал на кухню, взял там жбан с крышкой и сложил в него бумажные деньги.

В ретирадном месте было темно, но Кротков, не гнушаясь вонью и скользкой мокротой, нащупал дыру и столкнул в неё куль, который, чавкнув, исчез в темноте. За ним Кротков отправил остальные кули, взял в зале с божницы лампаду и, просунув её в дыру, убедился, что его клад, наконец, обрёл надёжное место.

«А ведь не только мужицкий анпиратор, но и Савка-бог указал мне сие место, — засыпая, подумал Кротков. — Кудесник заморочил мне голову. Я выпил золотой, а после нашёл его в сапоге, и он припахивал ретирадным местом».

— 6 —

Едва забрезжила ранняя заря, как Степан проснулся и кинулся считать деньги. Это занятие отняло у него много времени, два раза он сбивался со счёта, пока не сообразил на каждую сотню посчитанных империалов один откладывать, для памяти, в сторону. Дело пошло быстрее, и настроение у него стало, почти как у жениха на свадьбе: сравнительно небольшая кучка золотых монет содержала в себе более тридцати тысяч рублей.

Сняв со стола полотняную скатёрку, он порвал её на несколько платков, в которые завязал деньги и рассовал их по разным местам. Про большую часть клада, спрятанного в нескромном месте, Кротков старался не думать, но его всё же тянуло выйти и хотя бы постоять рядом с захоронкой. Вскоре к опасливым соображениям рассудка присоединились позывы тела, и он вышел на крыльцо, где его ждал старый Корней, попытавшийся согнуть спину в поклоне.

— Погоди! — бросил ему Степан и закрылся в ретирадном месте, где зорко высмотрел, что кули с богатством утонули полностью в жиже, и остался доволен.

— Что, Корней, захворал? — спросил он. — Говори, как ты тут без меня хозяйничал?

— Износился я, барин. Вечор покидал снопы, а с утра прострел в поясницу ударил. А хозяйствовал на твоём имении не я, а злодей Фирска Тюгаев, с него и спрос учиняй. А меня, господин, отпусти на покой, исхворался я, износился, и то сказать, служил твоему деду Илье Алферычу приказчиком десять годков, твоему батюшке Егорию Ильичу четверть века служил бурмистром, тебе вот хотел послужить, да не смогу, прости, барин, раба своего.

— Отпустил бы я тебя, Корней, да на твоё место поставить некого, — сказал Кротков. — Насоветуй, кому быть моим бурмистром, и отойдёшь на покой.

— Есть дельный мужик, да ты и сам его знаешь, — промолвил Корней, отвечая на поклон приблизившегося к крыльцу Сысоя.

— Не моего ли гайдука ты мне сватаешь? — усмехнулся Кротков.

— А чем он плох, чтобы не стать бурмистром? Крестьянскую работу знает и в сметливости ему господь не отказал: один в Петербург за твоей милостью ездил, да и сам ты его к себе приблизил, нарёк своим гайдуком.

— А ты что скажешь, Сысой? — спросил Кротков.

— Если нет для меня другой кары, то снесу и эту, — сказал Сысой, мрачно поглядывая на Корнея. — Но не совладать мне с нашими мужиками, они кого хошь заездят своим воровством, ленью и жалобами. Их в страхе и покорности удержать можно только битьём, но у меня к нему душа не лежит.

— Значит, мало тебя Фирска в холодном амбаре держал, раз ты такой жалостливый! — осерчал Кротков. — Но и я сплоховал, отпустил Фирску, а его надо было забить до смерти, и другим бы наука была. Не хочешь бурмистром стать — не неволю, но тогда и гайдуком тебе не быть. Ступай снаряжай коляску, поеду гляну на покойного Парамона Ильича.

— Фирска на твоей, барин, коляске за Пугачёвым убежал, — доложил Корней. — Бери, Сысой, мою телегу, она на ход легка и нетряска, — Сысой, разжалованный из гайдуков в кучера, ушёл запрягать лошадь, а Корней, помявшись, тихо промолвил: — Надо бы те деньги, что в бочках, этой ночью упрятать понадёжнее. Не место им в скирдах.

Напоминание бурмистра было дельным, медная казна, навязанная Кроткову «мужицким анпиратором», не давала ему покоя, но что с ней делать, он так и не придумал. На казённые бочки мог накинуться любой, кто полез бы за снопами, и эта весть мигом облетела бы всю округу.

— Надо вернуть деньги казне, — сказал Кротков.

— Не делай этого, барин! — вскричал старый бурмистр. — И себя погубишь, и нас!

— Это почему же погублю? — растерялся Кротков.

— На эти деньги, как на голого комары, накинутся приказные крючки, начнут розыск, а главное, не поверят, что ты, барин, не утаил большей части казны. Следователи из мужиков выбьют на тебя улики, и век тебе быть в подозрении у властей.

— Что ты за страсти такие говоришь, Корней! — испугался Степан. — Тогда что с этой медью делать?

— Я сейчас пойду к знахарке Ефросинье, пусть она мне спину скалкой намнёт и прокатает, глядишь, к вечеру и оздоровею. Возьму лопату и выкопаю яму, в неё скачу с телег бочки, зарою, а сверху поставим скирду снопов.

Прятать все бочки не входило в расчёты Кроткова, он имел себе на уме, что если кто будет наседать на него с возвратом клада, то отдать ему часть меди.

— Делай как знаешь, — сказал он. — Но два воза с бочками не тронь.

Бурмистрова телега точно оказалась лёгкой на ходу, и, миновав увал и лес, скоро Кротков был в дядюшкиной деревне. Следов вчерашнего боя в ней заметно не было: убитых и тяжелораненых подобрали и увезли, мужики отлёживались от побоев по своим избам, в громадной прокисшей луже у ворот усадьбы плескались утки и гуси, а возле крыльца помещичьего дома стояла коляска, и неподалёку от неё сидели на неошкуренных брёвнах солдаты.

На приехавшего Кроткова никто не посмотрел, и он поднялся на крыльцо, невольно покосился на точно такое же, как у него в доме, ретирадное место и прошёл в зал, где в струганом гробу, освещённый несколькими свечами и смиренно скрестив руки на груди, возлежал Парамон Ильич. Дьячок скороговоркой читал над ним заупокойную молитву, рядом стоял господин, в котором Степан опознал земского исправника Лыскова, близкого приятеля покойного Парамона Ильича, с коим он совершал много лет опустошительные набеги на застолья здешних помещиков. Исправник был трезв, молитвенно серьёзен и вслед дьячку осенял себя размашистым крестным знамением. Заметив Кроткова, он к нему бочком подвинулся и тронул за рукав, приглашая за собой выйти из зала. На крыльце Лысков промокнул большим платком влажные глаза и скорбно промолвил:

— Вот и потеряли мы Парамона Ильича...

Кротков дядюшкиной смертью совсем не огорчился, она ему была даже на руку, потому что въедливый и подозрительный Парамон Ильич мог скорее всех проведать о кладе и призвать на голову племянника страшную беду, но Степан скорбно потупился и тяжко, со слезой произнёс:

— Для меня смерть дядюшки — невосполнимая утрата, я почитал его наравне со своим родителем.

— Парамона Ильича не вернуть, — жёстко сказал исправник. — Но казнившего своего барина кучера Федьку солдаты изловили, и сейчас его вздёрнут на той же ветке, где обрёл свою смерть твой дядюшка. Флегонт Максимович! — к крыльцу подошёл пожилой прапорщик, чьё обветренное и грубое лицо уличало его в том, что он повидал на своем веку немало сражений и застолий. — У тебя всё готово?

— Дело нехитрое: верёвка намылена, вор причащён.

— Тогда начинай! — велел исправник. — Но сначала сгони сюда всех дворовых людишек.

Прапорщик рыкнул на своих солдат, и те, подхватив ружья, кинулись сгонять дворню к месту казни. Лысков, прохаживаясь по крыльцу, усмотрел телегу и возлежавшего на ней Сысоя.

— Где же твоя коляска, Степан Егориевич?

— На ней сейчас раскатывает Фирска Тюгаев, тот самый беглый мужик, которого ты мне вернул прошлой осенью. Я, признаться, с ним сплоховал, надо было забить его палками до смерти, а я его пожалел.

— От нашей жалости и проистекают многие печали, — сурово вымолвил Лысков. — Стоило дворянству, обрадованному полученной им от государыни воле, ослабить на рабах своих крепостное ярмо, как они заимели лжецаря и кинулись на господ, чтобы извести всех под корень. О твоём Фирске дано знать всем воинским командам, и долго он не пробегает. Много развелось сейчас таких Фирсок! На днях один такой Фирска Иванов близ Уренского городка сманил на свою сторону солдат, а синбирского коменданта Рычкова повесил.

— Так что, Синбирск остался без защиты опять? — взволновался Кротков. — Не везёт его военным комендантам! Прошлой осенью погиб на виселице Чернышев, сейчас вот Рычков.

— Синбирск без присмотра не остался, — сказал исправник. — Его избрал своей столицей новый главнокомандующий генерал-аншеф Панин. А ты собираешься в Синбирск?

— Сейчас не знаю, да и на чём ехать? Не на мужицкой же телеге? Фирска, поди, мою коляску вдребезги истаскал.

— Как твоего кучера кличут? — спросил исправник, с хитрецой взглянув на Кроткова.

— Сысой!

— Сысойка! — крикнул Лысков. — А ну, бегом сюда! — мужик, поднятый барским окриком, будто пинком, соскочил с воза и кинулся со всех ног к крыльцу: — Возьми в сарае коляску, а телегу оставь там, — велел исправник и оборотился к Кроткову: — А ты, Степан Егориевич, напиши расписку, что вернёшь коляску или саму, или деньгами, на что будет желание наследников.

Пока Степан искал в доме письменные приборы и долго царапал, от непривычки к писанию, долговую роспись, солдаты согнали к крыльцу барского дома дворню и крестьян.

— Ведите злодея! — велел исправник. Прапорщик отпер тяжёлый замок с двери амбара, двое солдат вошли внутрь и выволокли на свет молодого мужика, который щурился и скалил белые, как сахар, зубы. — Отвечай, злодей! — громко вопросил исправник. — Не ты ли казнил своего кормильца-барина лютой смертью?

Толпа зашевелилась, послышались всхлипы, кто-то явственно произнёс:

— Повинись, Федотка, может, и простят!

Эти слова будто разбудили задремавшего на полпути к своей смерти Федота. Он тряхнул кудрявой головой:

— Как же, простят! Счастлив твой бог, исправник! Был бы ты вчера здесь, то повис бы рядом с нашим мирским кровососом!

Этот всплеск отчаянья, кажется, обессилил смертника, и когда солдаты потащили его к дереву, он не сопротивлялся, безропотно дал накинуть на себя петлю и умертвить. Крестьяне встретили его смерть плачем, в котором не было ропота, они не одобряли убийство и считали, что за чужую смерть человек обязан заплатить своей смертью.

Сысой казни не видел, он снарядил коляску, подъехал к крыльцу и, сняв шапку, встал перед Кротковым.

— Благодарствую за коляску, Платон Фомич, — сказал Кротков. — Но, кажется, мне пора, у меня в деревне гусары Меллина тоже поучили мужиков. Надо бы сегодня их схоронить.

— Я тоже долго здесь не задержусь. Флегонт Максимыч покормит солдат, и я поведу команду брать здешнего кудесника Савку, который и есть корень смуты во всей округе.

— Не Савка ли это, коего прозывают богом?

— Тот самый, — усмехнулся исправник. — Погляжу, как этот мужицкий бог станет увёртываться от солдатской пули!

Кротков уже знал, что поедет к кудеснику, и, пообещав Платону Фомичу, что завтра обязательно будет на похоронах дядюшки, покинул усадьбу. Спешил он по одной причине: забота о кладе заставляла Степана думать о тех людях, которые знали о постигшем его богатстве. Пугачёв был далеко, а Савка-бог обитал рядом, и ему ничего не

стоило самому покуситься на клад или наслать за ним какого-нибудь злодея.

На краю корабельной рощи, возле тропы, ведущей через Чёрный лес к жилищу кудесника, Кротков оставил коляску и велел Сысою схорониться вместе с ней и лошадью в кустах, чтобы на него не набрели лихие люди. Тропа уверенно вывела его к избе кудесника, Степан постоял возле забора, определил, что Савка-бог шебуршится во дворе один, и пролез в дыру.

— С какой доброй вестью явился? — сказал, не глядя на гостя, кудесник.

— Почему ты решил, что я принёс добрую весть? — удивился Степан. — Разве тебе их часто приносят?

— Ты прав! — улыбнулся кудесник. — Обычно ко мне приходят всяк со своей бедой. Но ты ведь обрёл клад или не так? — признаваться в своём счастье Кроткову не хотелось, и он промолчал. — Хвалю, — сказал кудесник. — Клад не любит болтунов. Но ты, барин, сегодня явился ко мне не таким, как в первый раз. Тогда ты был весел, а сейчас какой-то смурной, будто только что побывал рядом со смертью.

«А ведь ему все ведомо обо мне»! — похолодел Кротков, но решился спросить про главное, зачем к нему приехал:

— Скажи, Савка, удержу я свой клад или потеряю?

— Он будет твоим навсегда, если ты, охраняя его, не прольёшь людской крови, — сказал, зорко вглядываясь в Кроткова, кудесник.

— А если тот, кто занесёт руку над моим кладом, погибнет сам по себе?

— Все мы смертны, — произнёс Савка. — Если кто-нибудь, спеша к твоему кладу, по дороге свернёт себе шею, то твоей вины в этом нет.

Крепко задумался Кротков, донести ли кудеснику о том, что исправник уже на пути к его избе, и решил смолчать, убедив себя, что Савке-богу и без его слов ведома своя судьба. Он потянулся к поясу, отвязал кошель с золотом и подал его кудеснику.

— Бери, Савка! Ты верно указал, что мне счастье прибудет от анпиратора.

— На что мне золото? От медных денег я бы не отказался.

— К чему тебе медь? — удивился Кротков.

— Эх, барин! — усмехнулся Савка. — Это у тебя золотое счастье, а у мужика оно медное. Вот и я иной раз подам пятачок голодному, он и возрадуется. А дай я ему золотой, так он и с ума сойдёт.

— У меня с собой меди нет, — сказал Кротков. — Завтра я тебе привезу бочку пятаков или две.

— Жаль, — пробормотал Савка, — а то я поиздержался, нет и двух копеек, чтобы мёртвому очи прикрыть.

— Страшные слова ты говоришь, — помрачнел Кротков. — Будто последний день живёшь.

— Ступай, барин, — сказал Савка-бог, пристально взглянув на Кроткова. — Ко мне скоро гости наедут, и тебе быть с ними не с руки.

Кротков, не оглядываясь, шёл по тропе и тревожился, всё ли он ладно сделал, не упредив кудесника об опасности, но возвращаться и даже оглядываться он страшился: а что если кудесник, оборотившись в филина, вцепится и оторвёт ему голову? Завидев высокие сосны корабельной рощи, Степан побежал изо всех сил и переполошил шумом трещавших под его ногами сучьев Сысоя.

— Гони! — заорал Кротков, заваливаясь в коляску.

Утром следующего дня он послал Сысоя и Корнея проведать кудесника и услышал от них, что изба Савки-бога сожжена, а сам он убит.

— Вы его похоронили?

— Всё сделали, как ты, барин, велел. И копейки на глаза положили, и крест над могилой поставили.

Кротков облегчённо вздохнул: исчез тот, кто знал о его кладе.

Глава пятая

– 1 –

Новый главнокомандующий карательными войсками граф Панин, назначенный взамен скоропостижно скончавшегося генерала Бибикова, избрал своей столицей Синбирск и явился туда в сопровождении пышной свиты, в которой, кроме офицеров штаба, были и не менее значимые для графа особы. Панин и на войне не изменял образу жизни и своенравным привычкам сиятельного русского вельможи: по утрам его поднимал, умывал и одевал вышколенный камердинер; брил, напомаживал и полировал ногти графа личный парикмахер; за обедом, который для Панина готовили два французских и один русский повара, слух графа и его гостей услаждала музыка в исполнении оркестра крепостных музыкантов; развлекался и тешил свою натуру Пётр

Иванович псовой охотой, которую привёз за собой на четырёх громадных телегах в передвижных собачьих избушках.

Граф приступил к исполнению должности усмирителя пугачёвского бунта в благоприятной для своей властолюбивой натуры обстановке: победным миром была завершена война с турками, и Панину были переданы в распоряжение общим счётом двадцать восемь конных и пехотных полков и пятнадцать гарнизонных батальонов. Все они были выдвинуты и развёрнуты на огромной территории Нижегородской, Казанской и Оренбургской губерний, где занимались искоренением бесчисленных очагов пугачёвщины, имевшихся почти в каждом селении. Непосредственно за Пугачёвым, который захватил Саратов и после устремился к Царицыну, были направлены особые команды во главе с офицерами, что уже имели не по одному жаркому делу с самозванцем и знали его повадки и уловки. За Пугачёвым гнались и Михельсон, и Голицын, и Муффель, и Меллин, и Мансуров, и Дундуков, и Суворов — кто только не мечтал изловить «мужицкого анпиратора»? Однако ни одному из них не удалось пленить Пугачёва, его предало, как это часто бывает на Руси, ближнее окружение. Резвее всех оказался Суворов. Ему и досталась сомнительная, в глазах потомков, честь конвоировать Пугачёва из Яицкого городка в Синбирск.

Весть о поимке именитого злодея была встречена синбирскими дворянами с безмерным ликованием. Скорее всего об этом узнал Головин от канцеляриста Баженова, который был, по роду своей сыскной службы, посвящён в самые строгие провинциальные тайны. Получив сведения о поимке самозванца, Головин пожалел, что с ним рядом не было его приятелей Дмитриева и Карамзина, которые как убежали от бунта в Москву, так там и оставались до сих пор. Фёдор Иванович ради такого великого события нарушил зарок не пить очищенную раньше шести вечера и приказал подать к водке холодную телятину и солёные грузди. Поздравив Головина с долгожданными событиями, Баженов заторопился: кроме своих провинциальных начальников, над ним простёр свою власть и начальник следственной части походной канцелярии главнокомандующего майор Гаранин и постоянно требовал его к себе, чтобы быть в курсе всех местных дел. Баженов бесплатной работой не тяготился, она приближала его к исполнению дерзкой задумки, которая им овладела, как только побывавший в его руках Пугачёв вдруг стал известен всей России осадой Оренбурга.

Главный сыщик синбирской провинции имел немалую власть, но был беден и непременно жаждал разбогатеть, и не крохоборным мздоимством с обывателей: Евграф Спиридонович уже не один год ждал случая, чтобы одним махом сорвать большой куш, купить имение и зажить господином. Посему его взор немедленно устремился в сторону Пугачёва, и он стал за ним скрупулёзно следить; доступная канцеляристу секретная переписка позволяла ему знать размеры ущерба, наносимого самозванцем казне и частным лицам; Баженов вёл подсчёт стремительно возраставшему богатству самозванца и лелеял надежду найти случай, чтобы на него покуситься.

— Где ты запропал, Евграф? — сердито сказал Гаранин. — Завтра здесь будет Пугачёв, и граф хочет знать, какое узилище уготовано злодею. Что скажешь?

Баженов не стал спешить с ответом, в его интересах было поместить Пугачёва в такое место, куда бы он был вхож, чтобы иметь возможность исполнить свою задумку, поэтому ляпнул на пробу первое, что пришло на ум:

— Бросить злодея в яму да крыс ему туда, чтобы не скучал, насажать!

— Не дури, Евграф! — отмахнулся от предложения майор. — Пугачёв, конечно, изверг, но для графа он долгожданный и ценный трофей, посему его сиятельство желает поместить самозванца в пристойном месте, дабы туда не зазорно было войти благородным людям, которым граф соизволит показать свою добычу. Думай, Баженов, и укажи такое место сейчас же, не сходя со стула!

Энергичная речь начальника следственной части убедила Баженова, что он может, не опасаясь подвоха, сделать первый шаг к исполнению своей задумки. Он предполагал, что Гаранин обратится к нему с чем-нибудь подобным, и, узнав, что Пугачёв схвачен, обежал всю крепость и высмотрел подходящее место для узилища.

— Есть такое место, что граф сможет видеть трофей хоть круглые сутки из окон своей резиденции, — задумчиво произнёс канцелярист и примолк.

— Горазд ты, Евграф, из любого вытянуть душу! — осерчал Гаранин. — Говори дело!

— В двадцати саженях от мясниковского дома стоит каменная палатка. Как раз подходящие хоромы для Пугачёва.

— В них пусто? — привстал со стула Гаранин.

— А разве у тебя, майор, нет мочи повыбрасывать оттуда всё, что там есть? — ответил Баженов. — Но не забудь, что я хочу потолковать с Пугачёвым один на один.

— Это ещё зачем? — вскинулся Гаранин. — Какое у тебя до него дело?

— Пугачёв был у меня год назад в руках, вот и хочу покалякать со старым прия-

телем. Должок за ним есть: я его, отправляя в Казань, одел, а он так и не рассчитался.

— Выдумщик ты, Баженов, — хохотнул майор. — В первый день за этим ко мне не подходи. Вот уляжется вокруг злодея суматоха, так и быть, дам тебе полчаса на свидание с приятелем. Но и меня изволь не забыть посулом.

— Я, господин майор, порядку сызмала нау-ен, — обрадовался Баженов. — Самая ценная рыба с первого яицкого обоза будет не на воеводском, а на твоём столе.

— Ты и этим владеешь, Евграф? — удивился Гаранин.

— И мы что-то да можем, — огненно взглянул на майора канцелярист. — Пойдём смотреть палат-у?

Конвойный поезд с Пугачёвым был ещё в десяти верстах от Синбирска, а на Большой Саратовской улице уже давно толпились обыватели, ожидая, когда мимо них провезут донского казака, возмутившего мужиков на погибель дворянского рода. Людям благородного сословия самозванец был заведомо отвратителен, однако они, невзирая на ветреную погоду и осеннюю морось, мучаясь нетерпением, ждали увидеть его, как некоего диковинного зверя, обожравшегося человечиной и наконец-то запертого в клетку, но всё ещё свирепого и смертельно опасного.

Люди протомились в ожидании несколько часов, когда мимо них на косматых конях проехали трое казаков, которые покрикивали, чтобы все подались от дороги в сторону, а следом за ними показались гусары графа Меллина. Сам премьер-майор, пучась от гордости, восседал на огромном рыжем жеребце и поглядывал на благородных обывателей с таким неуёмным бахвальством, будто ему одному удалось загнать и схватить самозванца и сейчас он предъявляет публике свой драгоценный трофей.

За гусарами шла пехота, а далее двое коней везли одноосную телегу, на которой стояла деревянная клетка с заключённым в неё Пугачёвым. Самозванец, вопреки ходячим представлениям о нём как о человеке богатырской наружности и силы, оказался заурядным мужиком, никак не страшным на вид, искательно отвечавшим на вопросы шагавшего рядом с телегой генерал-поручика Суворова, которого весьма занимало устройство пугачёвского войска. Александр Васильевич торопился поскорее сдать узника, чтобы совершить без разведки и обдумывания стратегических последствий атаку на княжну Вареньку Прозоровскую и, победив, отконвоировать её к аналою — поступок, в котором он позже горько раскается.

За телегой с Пугачёвым шла сотня гренадёров поручика Москотиньева, и замыкали конвойный поезд две сотни донских и сотня яицких казаков, возглавляемые казачьими старшинами и полковниками. После прохода конвоя обыватели будто проснулись, все разом заговорили, заразмахивали руками, ведь синбиряне такой народ, который на мякине не проведёшь, и в толпе прошелестел слух, что самозванец ненастоящий: не может такой плюгавец, которого им предъявили, возмутить треть России и потрясти бунтом устои державы. И многие обыватели поспешили следом за конвоем, но тот уже свернул на Московскую улицу, которую от любопытных перегородили штыками солдаты гарнизонного батальона.

Евграф Баженов успел примелькаться офицерским чинам военной канцелярии главнокомандующего, и место для встречи Пугачёва выбрал возле ворот мясниковского дома, неподалёку от своего покровителя майора Гаранина, который был главным распорядителем представления самозванца графу Панину. По его команде гусары, солдаты, гренадёры и казаки, сопровождавшие узника, оцепили мясниковский дом, телега с Пугачёвым въехала во двор, где, стоя на крыльце, самозванца ожидали генералы Пётр Панин и Павел Потёмкин. Майор Гаранин с двумя солдатами подошел к клетке, её отворили, и, сняв Пугачёва с телеги, подвели к крыльцу.

Баженов заволновался, офицеры канцелярии оттеснили его в свой последний ряд, впереди Евграфа стояли два громадного роста гвардейца, заслоняя ему обзор, но он сумел извернуться, подкатил нерасколотое полено, встал на него и сразу оказался выше всех.

— Кто ты таков? — спросил граф Панин, окидывая Пугачёва презрительным взглядом.

— Я, батюшка, Емельян Иванов Пугачёв, — глухо промолвил пленник.

— Как же ты смел, вор, называться государем? — закипая злобой, сказал граф.

— Знаю, что богу было угодно наказать Россию через моё окаянство.

Дерзость самозванца всех потрясла, и граф, спрыгнув с крыльца, коршуном накинулся на него и отвесил ему пощёчину.

— Будет драться, — произнёс, отступив на шаг от Панина, Пугачёв. — Забивайте в колодки и бросайте в яму. Я спать хочу.

Эти слова отрезвили графа. Он покраснел и, не проронив ни слова, удалился в свои покои. Следом за ним двор стали покидать зрители, а Пугачёва повели к кузнице. Там его заковали в ручные и ножные кандалы и унесли в каменную палатку, где обвязали вокруг туловища цепью и концы её закрепили железным клином в кирпичной кладке.

Баженов уходил с мясниковского двора в некотором смятении: всегда уверенный в себе, он начал сомневаться, что совладает с Пугачёвым, тот перед Паниным выказал себя совсем другим человеком, чем тот, что стоял перед ним почти год назад. Возле каменной палатки он подождал Гаранина. Когда майор из неё вышел, Баженов на него вопросительно взглянул.

— Не знаю, как тебе подсобить, Евграф, — сказал Гаранин. — Завтра Пугачёва явят дворянству и простому люду. Но уже на следующий день им вплотную займётся Потёмкин. Палачу уже велено быть готовым.

— Битый плетью Пугачёв мне не нужен, — заволновался Баженов.

— Думаешь, что после битья он не поверит твоему вранью? — усмехнулся Гаранин. — Зря ты вокруг него хлопочешь. Всё, что он имел, у него взяли в Яицком городке. Но приходи завтра ближе к ночи. Так и быть, дам вам пошептаться, но и ты не забудь, что посулил мне вчера.

Шагая к воеводской канцелярии, Баженов продолжал думать, что ему непросто будет совладать с Пугачёвым. Но войдя в свою комнату, окреп духом: «Быть того не может, чтобы мужик против меня устоял! Я таких ещё не видел, хотя бывали и покрепче Емельки, а его уже и без меня сломали».

На следующий день желающих посмотреть на самозванца дворян было мало. Многие отказались его видеть из-за омерзения и ужаса, которое вызывал злодей в их благородных душах, те же, кто приходил в каменную палатку, видели совсем не то, что представлялось им в воспалённом ужасом воображении. Дворяне быстро прошли, и стали пускать простонародье. Шуму возле Пугачёва прибавилось, но опять же никто к узнику не обратился. И только забежавший впопыхах синбирский исправник, человек весьма объёмистый в брюхе и короткошеий, не видя в Пугачёве ничего страшного, изумился.

— Так это Пугачёв! — сказал он громко. — Ах, ты дрянь какая! А я-то думал, он бог весть как страшен!

Зверь зверем стал Пугачёв, кинулся на исправника, едва его не ухватил за горло, да цепь не дала, и как взревел:

— Ну счастлив твой бог! Попадись ты мне раньше, я бы у тебя шею-то из-за плеч повытянул!

Обыватели отшатнулись от Пугачёва, а исправнику сделалось дурно, и он осел без памяти на руки подбежавших караульных солдат.

Всех посетителей выпроводили, Пугачёв, оставшись один, примостился на овчиной подстилке и задремал. Но отдохнуть ему не пришлось: не прошло и часа, как дверь лязгнула и отворилась; в камеру, держа в руке горящую свечу, вошёл Баженов.

— Сумрачно живешь, Емельян! — ворчливо произнёс он, устанавливая свечу в шандал, и огненно воззрился на узника. — Вот беда, да ты меня не помнишь?

— Много передо мной всякого народа перебывало, — загремев железом, Пугачёв привалился к стене. — Нет, не ведаю, что ты за человек.

— А я мечтал, что ты меня сразу узнаешь, — сказал Баженов и, взяв стул, сел, а на другой стул выставил из узелка, что принёс с собой, полуштоф очищенной, солёные огурцы и ветчину. — Ты ведь бывал у меня в гостях, когда тебя привезли из Малыковки. Винюсь, я тогда тебя не попотчевал, но откуда мне было знать, что ты анпиратор Пётр Фёдорович?

— Теперь узнаю, — Пугачёв бросил алчный взгляд на вино и сглотнул слюну. — Ты тот канцелярист, что меня переправлял в Казань.

— Ну, наконец-то признал! — шумно обрадовался Баженов. — Долгонько же ты бегал! Я как услышал про тебя, что ты царь, не мог надивиться! Обвёл, всех обвёл!

— Ты ведь не просто так явился, — обиделся Пугачёв. — Говори дело или проваливай!

— Дело, говоришь... — Баженов чуть усмехнулся. — Должок за тобой имеется, ваше анпираторское величество.

— Какой ещё такой долг? — удивился Пугачёв. — Я, слава богу, никому не обязан.

— Конечно, такую малость ты мог и запамятовать, — сказал Баженов. — Но тогда я тебя крепко выручил.

— Это ж как выручил?

— У тебя малыковский сторож шубу увёл, а я тебя одел, а то бы ты до Казани не доехал, от холода точно бы околел.

— Как же, помню, дал рваный армячишко, я в нём, чтобы согреться, вприпрыжку за санями бежал.

— Вон как ты заговорил, — напустил на себя обиду Баженов. — Я тебе дал бы и заячий тулупчик, но неоткуда было взять. Но тогда ты и армяку был рад, а теперь, после царских соболей и бобров, и помнить о нём забыл, — канцелярист распечатал полуштоф, налил половину кружки очищенной и протянул Пугачёву. — Изволь

угоститься, ваше величество! А за армячишку я на тебя обиды не держу. Хотя сейчас вижу, что не угодил тебе в тот раз.

Пугачёв взял кружку, опорожнил её и захрустел огурцом.

— Хватит сети плести вокруг да около. Вино-то недаром выставил, стало быть, я тебе нужен.

Баженов взял свечу и, подняв её на вытянутой руке, осветил крюк в потолке.

— Готовься, Емельян, свет Иванович! Завтра тебя Потёмкин на него вздёрнет и зачнёт плетьми потчевать. А я тебе могу помочь, ясное дело, не даром. Палач Прошка, хоть и лют к ворам, да и он человек, и его ублажить можно.

— Нечем мне его ублажать, — сказал Пугачёв. — Да и зачем?

— Экий ты строптивец, — поморщился Баженов. — Прошка может одним ударом мясо до костей вырвать, а может и видимость изобразить, только громче кричи. Если согласен, я ему заплачу, но ты, чай, многие клады имеешь? Пожертвуй одним во своё спасение.

Пугачёв, зазвенев цепью, тяжело вздохнул.

— Нет у меня кладов. Всё, что попадало в руки, отдавал людям.

Баженов удивился и не поверил. Самозванец ещё не взял Казань, но слухи о его захоронках уже гуляли по всему Поволжью.

— И ты с такими повадками кабацкого гуляки хотел стать царём?

Пугачёв нахмурился и окинул канцеляриста высокомерным взором.

— А может, тот, кто выше любого царя, дал мне такую судьбу?

— На бога киваешь? — поморщился Баженов. — Да если бы он тебя восхотел на царствие возвести, ты бы родился царём, а не висельником!

Загремев цепями, Пугачёв поднялся на ноги.

— Народ выше царя, и его глас — божий!

— Да ты и вправду дурак, — презрительно сказал Баженов. — Ты бы не о царстве думал, а о себе. Открой клад, а я с Прошкой перетолкую.

— У тебя одно на уме — золото! — вскипел Пугачёв. — Тьфу на него! Сыпал я его по сторонам, когда находил — не радовался, а терял — так не горевал.

— Вот и поведай, где терял? — насторожился Баженов. — Может, я найду, а тебе от меня помощь будет.

— Что ты заладил, как сорока про Якова! Клад, клад! Я такой клад по всей русской земле развеял, что ему нет цены!

— Опять темнишь, твоё величество! Какой клад?

— А такой, — глядя мимо Баженова, медленно произнёс Пугачёв. — Я в каждом мужике посеял догадку, что и он может стать царём.

Баженов от столь святотатственной дерзости на миг онемел, но всё-таки сумел совладать с собой. «Он вознёсся в своей гордыне до бога, а я, дурак, за ним тороплюсь, — подумал он. — Емелька хоть и побывал анпиратором, но нутро у него как было мужицким, так и осталось».

И бывалый канцелярист решился на крайнее средство: взял полуштоф, заткнул его пробкой и равнодушно вымолвил:

— Засиделся я у тебя, пора и честь знать.

— Погоди торопиться, — дрогнул Пугачёв. — Да и вино на место поставь, а то выронишь от того, что я скажу. Правду говорю: нет у меня ни одной захоронки, разве что этот случай тебе поможет...

— Говори! — почти вскричал Баженов и, торопясь, щедро наполнил кружку очищенной. — Испей, голубчик, вино прояснит память.

— Теперь слушай, — похрустев огурчиком, сказал Пугачёв. — Однова, уже за Курмышем, так крепко насели на меня гусары Меллина, что пришлось мне от них уходить, бросив обоз и всё, что у меня было.

— И где это случилось? — Баженов потряс Пугачёва за плечи. — Где?

— Сейчас, дай бог памяти, вспомню. Деревня с таким дурацким прозвищем... Да, точно, Кротковка!

— И много ты казны потерял? — упавшим голосом спросил Баженов.

— Всё, что имел, — сказал Пугачёв. — Было у меня и золото, и дорогие каменья, одних медных денег возов пятнадцать было.

— И кто это всё взял? Меллин!

— Кто его знает, — Пугачёв взглянул на полуштоф. — Но вряд ли Меллин. Он на мне, как собака, висел до Чёрного Яра... А ты это, того, выплесни в кружку всё, что осталось. Ведь я, наверное, последний раз в жизни вином балуюсь.

Баженов вышел из каменной палатки с ощущением человека, которого нагло обокрали. Он крепко надеялся, что Пугачёв откроет ему хоть одну свою захоронку, но тот, как оказалось, о счастье других людей и не помышлял, сыпал золото себе под ноги, а в конце отдал неведомо кому. От того богатства, которым владел Пугачёв, остался лишь

зыбкий и неверный след, как за кормой лодки, но Баженов был опытным сыщиком и не дал ему потеряться. От Пугачёва он поспешил в воеводскую канцелярию и, зайдя в свою комнату, кликнул помощника:

— Викентий! Ступай ко мне! — Долгополов высунулся из своей пыточной подсобки, где жительствовал, и вопрошающе уставился на канцеляриста. — Возьми по казённой надобности с воеводского двора двух лошадей и коляску. Я буду ждать здесь.

— Куда едем? — надевая на овчинную безрукавку просторный армяк, спросил Долгополов.

— На кудыкину гору! — озлился Баженов. — И поторапливайся!

– 2 –

Если бы разгульный пиит Калистрат Борзов вдруг заявился в усадьбу своего соратника по картёжным баталиям, то сразу бы его не признал: так изменился своим обличием и повадками Степан Кротков со времени их расставания. В его походке, после того как он обрёл клад, исчезла размашистость и появилось осторожная неуверенность в каждом шаге. Казалось, он не шагает, а крадётся и опускает ногу на половицу или на землю лишь после того, как будет уверен, что не провалится. Степан заимел привычку часто озираться по сторонам и при малейшем шуме втягивал голову в плечи и настороженно глядел в ту сторону, где забрякало или зашуршало. В доме отродясь не было запоров, но Кротков вдруг этим озаботился, за немалые деньги вызвал из Курмыша плотника, и тот поставил прочные запоры и замки на ставни и двери.

Былая радость от обретения клада в нём притушилась. Кроткова стали обуревать страхи, что кто-нибудь наедет тёмной воровскою ночью и его от богатства опростает, а самого пристукнет дубовой колотушкой. Страх делает человека придумчивым, и как-то Степан велел Сысою срубить возле крыльца избушку, куда посадил на цепь самого злобного во всей округе пса. Теперь к крыльцу опасался приблизиться бурмистр Корней, кобель был так лют, что поначалу и на Кроткова бросался, когда тот выходил проведать ретирадное место.

И раньше к Кроткову не заглядывали соседи, а по худому разбойничьему времени совсем стали объезжать его стороной. Бывал, и то не часто, исправник Лысков. Его Степан привечал, поскольку имел к нему интерес, чтобы выведать, где обретается Пугачёв и долго ли ещё ему осталось бегать по Поволжью от воинских команд. Платон Фомич заглядывал в Кротковку со своим умыслом: воевода не оставил затеи всучить Степану в качестве супруги «залежалую» двоюродную племянницу и после смерти Парамона Ильича передоверил это дело Лыскову.

На этот раз исправник приехал к Кроткову почти вечером и, обойдя стороной крыльцо, возле которого захлёбывался лаем громадный кобель, с заднего входа проник на господскую половину, где застал хозяина на мятой постели.

— Раненько ты собрался почивать, Степан Егориевич, — сказал Лысков, тяжело опускаясь на скрипучий стул.

— А я, Платон Фомич, ещё не вставал, — признался Кротков, накидывая на плечи халат. — Что-то меня познабливает. А что, уже поздно?

— У тебя, братец, окна ставнями заставлены, ты и времени не знаешь. Смеркается на дворе, вот!

— Стало быть, я весь день продремал, — равнодушно произнёс Кротков, позванивая в посудной горке штофным стеклом. — Отобедать не соизволишь?

— Сыт по горло, сегодня и на поминках побывал, и на свадьбе, но от чарки очищенной не откажусь.

— Ты ведь не просто так, Платон Фомич, поздно явился, а с новостью? — сказал Кротков, подавая исправнику чарку. — Изволь выкушать.

— Держись крепче, Степан Егориевич. Злодей схвачен и посажен на цепь в Синбирске.

Кротков в глубине души лелеял надежду, что Пугачёв не попадёт в плен живым, и новость его не обрадовала, даже огорчила. Лысков это заметил и удивился.

— Я гляжу, ты не рад.

— Как же не рад! — спохватился Кротков — Голова у меня пошумливает, как бы не захворать.

— Ты так не шути, Степан Егориевич, береги себя, о тебе ведь большие люди справляются.

— Кто это справляется? — насторожился Кротков.

— Будто тебе неведомо — воевода. Он, братец, надежды не потерял видеть тебя среди своей родни.

— Мне ещё и двадцати пяти лет нет, — сказал Степан, укладываясь на кровать. — Я ведь не мужик, чтобы жениться так рано.

— Рано — поздно, не всё ли равно когда? — Лысков взялся за шапку. — Что воеводе сказать?

— Ничего не говори, Платон Фомич! Я в скором времени совсем отсюда уеду в Москву.

— Это что же ты позабыл в Москве? — удивился Лысков.

— Я же насквозь хворый, — прикинулся сиротой Кротков. — У меня и в отпускном паспорте это прописано.

— И в чём твоя болячка?

— Так и быть, скажу, — Кротков взял со стольца паспорт и подал исправнику, который, нацепив на нос круглые очки, подошёл к свече и, шевеля губами, стал вычитывать казённую бумагу.

— Что это за хворь такая, «анурезис»? Не французская ли болячка? — невольно отстранился от Степана исправник.

— Что-то вроде этого, — не стал говорить правду Кротков. — Но я не заразный. Так и скажи воеводе, что Степан Егориевич Кротков ему за честь кланяется, но исполнить его волю не в силах.

Платон Фомич так заспешил, что отказался от предложенной ему чарки очищенной. Проводив его до коридора, Кротков облегчённо вздохнул. У него появилась надежда, что воевода от него отвяжется навсегда вместе со своей задержавшейся в девках двоюродной племянницей.

Мимо Кроткова прошёл молодой мужик с охапкой дров в руках, свалил их возле печки и полез кочергой в поддувало. Степан двинулся в зал, где на столе его ждал ужин. Он сел на стул, оторвал от куриной тушки крылышко и потянулся к вину. «Не грех выпить за Пугачёва, — подумал Степан. — Его сейчас, наверно, на дыбе горячим железом потчуют. Стало быть, и моё счастье сейчас на кону: спросит его следователь, куда он подевал золото, он тотчас на меня укажет, и быть мне в розыске».

Кротков выпил налитую чарку очищенной, закусил всей курицей, и настроение у него улучшилось. «Только бы анпиратор сам не начал болтать о своём кладе, — стал питать надежду Степан. — Сейчас следователям не до золота и медных пятаков. Они ищут, кто подучил его напялить на себя личину покойного Петра Фёдоровича, а если Пугачёв укажет на французов, то такая сумятица начнётся! Государыня выкажет афронт французскому королю и начнёт уличать его перед всеми европейскими самодержавцами в союзе с заведомым вором. Людовик, конечно, станет отбрехиваться, за этим шумством о золоте если и вспомнят, то не о моём, а о том, что французы сыпали Пугачеву на раздутие бунта. А там, глядишь, и войнишка с французами случится, анпиратора, чтобы не сбежал, жизни лишат, а про меня так и не проведают».

В последние дни, мучимый недобрыми предчувствиями, Кротков опять приблизил к себе Сысоя и велел ему по ночам спать не подле своей бабы, а в зале, чтобы барину было спокойней от его посапывания и похрапывания за дверями комнаты. Мужик являлся, когда совсем стемнеет, раскидывал овчину возле печи и заваливался на боковую, но сегодня он пришёл раньше обычного и сказал, что бурмистр Корней впал в беспамятство, а когда приходит в себя, зовёт барина.

— Что, совсем плох старик? — спросил Кротков.

— Меня, господин, за тебя принял, стал говорить о деньгах, что в скирдах попрятаны.

Кротков крепко обеспокоился этим известием: из-за болезненной болтливости Корнея слухи о кладе могли, как клопы, расползтись по усадьбе и деревне, а там выйти на проезжую дорогу и попасть в уши разбойникам, число которых, хотя Пугачёв уже сидел на цепи, нисколько не уменьшалось, и они спокойно разгуливали по всей округе.

Корней на усадьбе имел свою избу, и Кротков в сопровождении Сысоя скоро был в ней. Старая баба, жена бурмистра, метнулась барину в ноги, но он её живо выпроводил за дверь и подошёл к Корнею, который головой к образам лежал на лавке с закрытыми глазами. Лишь прерывистое дыхание говорило о том, что старик жив. Кротков коснулся ладонью его лба и тотчас её отдернул: его руку опалило почти ледяным холодом — стало быть, смерть уже почти убаюкала жизнь Корнея в своих объятиях, и скоро ещё один свидетель кротковского обогащения унесёт эту тайну в могилу.

Не тревожа старика, Степан неловко сел на скамью, она задралась одним боком, потом бухнула по полу.

— Барин, Степан Егориевич, — послышался слабый голос больного. — Христом богом прошу, те деньги, что в скирдах попрятаны, отдай на построение храма. Мужикам раздавать — им же во вред, тебе они без надобности, казне отдать, так пока они до неё дойдут, их разворуют. А будешь храм строить, так строй сам или доверь Сысою, а попам и пятака не давай в руки, поповского брюха не набьёшь, оно из семи овчин сшито, так твой покойный тятенька говаривал, он в бога веровал, а попов звал только по нужде.

— Для себя что просишь? — спросил Кротков.

— Всё, что хотел, я у тебя попросил, — прошептал Корней. — А ты, Сысой, как станешь бурмистром, приглядывай за моей старухой, чтобы у неё на всяк день была чашка щей да кусок хлеба.

— Не позднее утра отойдёт старый, — сказал Сысой, когда они вышли из избы.

Но Кроткова Корней уже не занимал. Он сызмала привык смотреть на своих рабов без всякого сочувствия, полагая по барскому рассуждению, что мужицкому роду нет переводу, он — как трава: чем её сильнее топчешь, тем она гуще растёт.

В коридоре Сысой покинул барина и побежал за своей овчинной подстилкой. Оставшись один, Кротков почувствовал себя брошенным сиротой и не решился сразу войти в зал. Он приоткрыл дверь и присмотрелся к теням, которые от огня из печи метались по стенам и потолку. Всяк видит то, что у него всегда на уме, и, протиснувшись в зал, Степан сразу узрел в тени, что металась по потолку, огромную мужицкую руку с зажатым в кулаке кривым ножом. Некоторое время Кротков, как зачарованный, глядел на занесенный над ним нож, затем шагнул к печи и открыл настежь дверцу.

— Место тебе нагреваю, — сказал он, когда в зал со смятой овчиной в руке вошёл Сысой.

За день Степан и выспался, и вылежался, сна у него не было ни в одном глазу, но он не скучал и, чтобы прогнать бессонницу, предавался тешащим его душу раздумьям, которые, с тех пор как он заимел сокровище, стали для него снами наяву, поскольку в них не было лживой выдумки, и всё то, о чём бы Степан ни мечтал, имело под собой настоящее золотое обеспечение. На какое-то время он прогонял от себя страх потерять богатство и уносился мечтой в будущую жизнь, но, странное дело, став богачом, Кротков уже не хотел мечтать о мотовстве, карточных баталиях и диких попоищах в окружении пассий. Не потратив ни одного полуимпериала из своего золотого запаса, он с явной неохотой расходовал его даже в своих мечтах, и нет-нет в памяти всплывала похотливая думка заиметь ещё один клад, не менее значительный, чем тот, что покоился в ретирадном месте.

Но сегодня Степану думалось не об этом. Его нечаянно осенило, что в России быть богатым опасно, здесь можно в любой миг лишиться состояния по воле государя или утратить его в пучине мужицкого бунта, как это случилось со многими помещиками совсем недавно. «А что если уехать с моим богатством в Европу? — возмечтал Кротков. — Там понадёжнее, чем здесь, жить можно. Прикупить французских или немецких крестьянишек, разумеется, с землёй, и зажить в своё удовольствие в рыцарском замке с видом на виноградные поля и померанцевые рощи. Одна беда — говорить по-ихнему не умею, в усадьбе у батюшки не до французского было, пьяный дьякон всё темечко исклевал, пока я с грехом пополам осилил русскую азбуку, а неучу в Европе делать нечего, мигом разденут и пустят по миру голым. Что француз, что немец — каждый норовит обнести нашего русского дворянина какой-нибудь замысловатой хитростью и прогрызть дыру в его кошеле; нет, я уж лучше в России со своим золотом буду маяться...»

Эти, уже привычные ему, мечтания мало-помалу расслабили и усыпили Кроткова. В зале на овчинной подстилке посапывал и похрапывал Сысой, усадьба безмятежно предавалась сну, только сторожевой пёс в своей рубленой избушке временами стряхивал с себя дрёму и вслушивался в звуки ночи, но и он не учуял, как со стороны огорода к заднему крыльцу неслышно подкрались трое разбойников, проволочным крючком отодвинули на двери засов и проникли на барскую половину дома. Двое налётчиков навалились на Сысоя и, забив рот соломенным жгутом, стали его вязать, а их предводитель Фирска Тюгаев возжёг свечу и вошёл в комнату хозяина, который, ужавшись спиной в стену, растерянно хлопал глазами.

— Ты с какого такого рожна возлёг на мою постель? — мрачно сказал Фирска. — А ну, брысь с моего места!

Степан бочком-бочком дополз до края кровати, нащупал босыми ногами холодный пол и рванулся к двери, но, влетев лбом в широкую грудь мужика, который стоял на пороге, был отброшён к стене и едва устоял на ногах.

— Мокей! — позвал Фирска. — Пошарь в сундуке, бары золото близ себя держат.

Мужик подвинул сундук ближе к свету, нашарил запор, рванул его, но не осилил железа. Тогда он сунул руку за полу армяка и вынул топор, который, сверкнув наострённым лезвием, поверг Кроткова в ужас. Сорвав запор, мужик открыл крышку и сразу ухватил кошелёк с деньгами. Фирска вырвал у него добычу и потряс возле уха.

— Не пустой! — радостно возвестил он и, повернувшись к Степану, ощерился. — Только мы, барин, не за твоей казной явились!

— У меня других денег нет, — дрожа, сообщил Кротков.

— Полно врать! Мокей! Кирша! Перетрясите здесь всё, пока я со своим барином перетолкую, — он подошёл к Кроткову, взял его за руку и вывел в зал, где, пытаясь

освободиться от пут, перекатывался с боку на бок Сысой. — Не путайся под ногами! — злобно крикнул Фирска и пнул мужика в бок.

— А ты не боишься, что я сейчас кликну людей? — пробормотал Кротков.

Захохотав, Фирска внезапно осёкся и впился в барина узкими глазками.

— Я единожды боялся, когда первый раз человека жизни лишил. Ждал, что вот-вот бог меня покарает за душегубство. Но ему не до меня было: государь в тот день сразу тридцать дворян повесил. А ты громче кричи свою дворню. Я им велю скалками, поварёшками и пестиками забить тебя до смерти. Вот и узнаем, чьё слово сильнее — твоё или моё. Зови!

— А ведь ты, Фирска, добра не помнишь, — пролепетал Кротков. — Я тебя мог забить плетьми до смерти, но отпустил на четыре стороны.

— Если бы я это забыл, то тебе давно бы не жить, — сказал Фирска. — Я пока обходил стороной твою усадьбу, но ты, лиходей, покусился на государеву казну.

— Нет у меня ничьей казны! — взвизгнул Кротков.

— Не визжи, как свинья, тебя ещё не режут, — Фирска схватил Степана за горло. — Говори, где укрыл государеву казну?

В зал вошёл Мокей, с головы до ног осыпанный перьями из разорванных им подушки и перины.

— Всё растребушил, но пусто.

— Гляньте, ребята, ведь это, кажись, золото! — послышался весёлый голос Кирши, который обшаривал посудный шкаф. В руке он держал медную братину и постукивал серебряной чаркой по её золотистому боку. — Тут ещё такие имеются. У кого мешки?

Мокей распахнул армяк и вытащил из-за пояса мешок. Кротков молча поглядывал, как в него нагрузили всю, что нашлась, посуду, и надеялся, что разбойники удовлетворятся этой добычей. Но Фирска не забывал, зачем он сюда явился. Он неожиданно подскочил к Кроткову, ударом кулака сшиб его на пол и стал пинать сапогами. Извергая пузыри кровавой пены, Степан завопил. Сысой, видя мучения своего господина, обозлился, выплюнул изо рта соломенную затычку и крикнул:

— Оставь, изверг, барина! Так и быть, отдам тебе клад!

Разбойники сначала опешили от упавшего на них счастья, потом бросились к Сысою, разрезали на нём путы и поставили на ноги.

— Веди к захоронке! — потребовал Фирска.

— Её недолго искать, — ответил Сысой. — Как раз посередке правого ряда скирд.

— Так что, клад в снопах укрыт? — удивился Фирска. — Кирша, сторожи барина, мы мигом вернёмся.

— Как бы вы того, не ушли без меня, — засомневался разбойник.

— У тебя же в ногах мешок с золотой посудой, — сказал Мокей. — Если мы сгинем, она твоя.

Мокей и Фирска подхватили Сысоя под руки и поволокли на выход. Кротков лежал на полу с закрытыми глазами, не уразумев ещё толком, что с ним случилось и где он находится, но скрип сапогов оставшегося его сторожить разбойника скоро поведал ему, в чьёй власти он находится. Киршу занимала богатая добыча, он вынул из мешка медный кувшин и стал постукивать по нему серебряной ложкой, стараясь извлечь из посуды плясовой мотив. Кротков привстал с пола и на карачках пополз к окну, сорвал с него занавеску и начал утирать с разбитого лица кровь.

— Что, барин, полегчало? — продолжая постукивать, крикнул Кирша.

Кроткову действительно полегчало, он понял, что Пугачёв совсем недаром навязал ему возы с медными деньгами, и это он сделал для того, чтобы Кротков заслонил ими ворам дорогу к настоящему золотому кладу. «А я ещё клял анпиратора за бочки с медью, — подумал Степан. — Фирска забил бы меня до смерти, но услышал о кладе и кинулся к нему сломя голову».

– 3 –

Долгополов поспешил на воеводский двор снаряжать коляску, а Баженов сел за свой стол, обхватил ладонями голову и задумался. По своей службе Евграф хорошо знал уезды, которые входили в провинцию, он часто выезжал в них на розыск преступлений и скоро вспомнил, что бывал в Кротковке один раз, правда, проездом.

— Кротковка, — произнёс он вслух. — Стало быть, ею владеет головинский родственник, мой знакомец. Ужели этому хворому гвардии солдату и досталось пугачёвское золото?

Баженов был памятлив, и он живо представил свою последнюю встречу с Кротковым в начале зимы, когда ему удалось почти притиснуть гвардейца к стенке и запустить следовательские когти в его подозрительное нутро. Заметно тогда дрогнул Кротков, потому и бежал из Синбирска. Видимо, тянутся за ним петербургские грешки,

которые он старательно прячет от чужих глаз. Явно чем-то замаран, и такому хлюсту свалилось на голову неслыханное богатство! Баженов злобно ударил кулаком по столу и поклялся себе, что выжмет из Кроткова до последнего пятака всё, что у него припрятано.

Надо было озаботиться сборами в дорогу, и он достал из ящика два пистолета, снарядил их порохом и пулями, наполнил зельем пороховницу из бычьего рога, уложил в замшелый мешочек с два десятка пуль, осмотрел саблю и прикрепил её на пояс. Из верней одежды он выбрал короткую шубу и овчинную шапку, снял сапоги и сменил пропотевшие носки на сухие, затем сел к столу и, положив перед собой лист бумаги, выписал на себя и Долгополова служебное предписание для проведения розыскных действий по заданию воеводы, подпись которого Баженов наловчился исполнять лучше коллежского секретаря Панова.

В своих делах Баженов имел большую свободу и при особых обстоятельствах мог начинать розыск самостоятельно, по своему почину, но никогда этим во вред службе не пользовался, однако сегодня был как раз такой случай, когда о делах нужно было забыть, ведь другой такой явной возможности одним махом разбогатеть, и Евграф это знал точно, у него не будет. Он написал воеводе Панову небольшую записку, в которой уведомил своего начальника, что срочно отбыл по неотложному делу, о коем известит его тотчас по своем возвращении, и оставил её у дежурного канцеляриста.

Долгополов задерживался, но Баженов знал, что он его не подведёт, поскольку был неоднократно испытан им в опасных и щекотливых обстоятельствах, где неизменно проявлял твёрдость и выдержку. Канцелярист считал Долгополова своей собственностью, потому что в молодом бродяге, уже назвавшем себя Иваном, не помнящим родства, который попал ему в руки во время облавы на воров в синбирском предместье Тути, Баженов разглядел себе помощника в палаческих и сыскных делах, взял его в подручные и не ошибся. На других канцеляристов, даже на начальников отделений канцелярии, Долгополов поглядывал волком, а перед Евграфом, особенно когда тот устремлял на него свой огненный взор, он сникал и был совсем ручным, всегда смотрел начальнику в рот, готовый выполнить любое приказание.

Запрягать лошадей Долгополову приходилось нечасто, и, взявшись за дело, он в темноте перепутал упряжные ремни, так что пришлось звать на подмогу конюха, который был недоволен, что его потревожили и извлекли из тёплой конюховки. Он взялся Викентия учить и, будто нарочно, тянул время, пока не получил крепкий тычок под рёбра, после чего сразу быстрее зашевелил руками и ногами.

— Ты где так надолго увяз? — сказал Баженов, усаживаясь в коляску.

— Как поедем? — равнодушно спросил Долгополов, не заметив недовольства начальника.

— Пока на Курмыш, а там видно будет.

В коляске лежала попона и, укутав ею ноги, Баженов предался поначалу лёгкой дрёме, а потом уснул и открыл глаза, когда рассвело, на постоялом дворе заштатного городка Тагай. Долгополов был занят кормёжкой лошадей. Кроме них, проезжающих не было, ещё не многие, опасаясь пугачёвских ватаг, отваживались пускаться в дорогу.

До Кротковки было ещё не менее пятидесяти верст пути, и как Баженов ни торопил своего возницу, а тот как ни понукал лошадей, ночь они встретили в глухом лесу и смогли только добраться до небольшой деревушки. Там же едва достучались, пока их впустил в своё прокопчённое дымом курное жилище хозяин, хмурый мордвин, знавший по-русски всего несколько слов. Баженов с трудом смог от него добиться ответа, что Кротковка совсем рядом, и, утомлённый тряской дорогой, не раздеваясь, уснул на лавке.

Долгополов, казалось, не ведал усталости. Ещё в потёмках он запряг лошадей и поджидал Баженова во дворе. Лёгкий утренний морозец взбодрил Евграфа, а скорая встреча с Кротковым возбудила в нём охотничий азарт бывалого сыщика. «Неплохо будет его взять тёпленьким в постели, со сна он сразу не сообразит, как ему отпираться и врать, и без битья укажет на захоронку, — размышлял Евграф. — А будет запираться, так Викентий его живо образумит».

Когда коляска въехала на бугор, предутренний сумрак стал понемногу рассеиваться и, встав на коляске во весь рост, Баженов смог рассмотреть выглядывающие между полос тумана и печного дыма крыши изб, а на краю небольшого озера — помещичью усадьбу, заставленную с одной стороны скирдами, а с другой — амбарами, к которым примыкал большой огород.

— Вот мы, Викентий, и приехали, — довольно промолвил Баженов. — Придерживай лошадей, а то спуск-то крутоват.

Он хорошо знал, как живут помещики: парадный вход закрывают и крепко сторожат, а с заднего крыльца заезжай к ним хоть на телеге, двери открыты настежь, дворня туда-сюда бегает, чужого человека увидят и не удивятся, потому что привыкли жить в

проходном дворе. Долгополов давно усвоил охотничьи повадки своего начальника и, не доехав до амбаров, погнал лошадей вскачь, осадил коляску возле заднего крыльца и устремился вслед за Баженовым в дым и пар кухни, на бегу сшиб, без всякого на то умысла, кухонного мужика, который стоял на его пути с чугунным котлом в руках, и выбежал в коридор, где увидел канцеляриста, приникшего ухом к дубовой двери. Баженов, не оборачиваясь, поманил его рукой к себе.

— Там кто-то похрюкивает, — прошептал он. — Гляди, Викентий, в оба.

Евграф отступил в сторону, и Долгополов ударил в дверь плечом, чего не следовало делать: незапертая дверь слишком легко распахнулась, и помощник канцеляриста чуть ли не кувырком влетел в зал под ноги Кирше. Разбойник не растерялся и схватился за нож, но Долгополов был скорее и хватче, он так шибанул его головой в грудь, что Кирша, ударившись о стену, сполз на пол, посучил ногами и затих.

— Весело живёшь, Степан Егориевич! — сказал, переступив порог, Баженов. — Знаю, что меня ты в гости не звал, а этот что, тоже такой же? — Степан хлюпнул кровавой юшкой во рту и попытался подняться на ноги, но они его не держали. — Ба! Да ты совсем плох! — жалостливо воскликнул Баженов. — Викентий, усади барина на стул, — Евграф подошёл к Кирше, легонько попинал его и вернулся к столу. — Твой гость крепко уснул, а мы тем временем с тобой, Степан Егориевич, потолкуем.

— Какой сейчас толк, — воскликнул Кротков. — Я свет едва вижу.

— А тебе и не надо его видеть, — ухмыльнулся Баженов. — Мы с тобой заглянем в потёмки, туда, где ни зги не видать, и всё там увидим, а коли не увидим, то уж точно нащупаем.

— О каких потёмках ты говоришь, Евграф? — насторожился Кротков.

— Как о каких! — хохотнул Баженов. — Ты что, анпираторское золото не зарыл в землю, а на свету держишь? Да, чуть не запамятовал, Емельян Иванович велел тебе кланяться.

— Какой ещё такой Емельян Иванович? У меня таких знакомцев не бывало.

— Как не бывало, а Пугачёв? — огненно воззрился на поникшего хозяина Баженов. — Когда милости у его анпираторского величества искал, так, поди, спины перед ним не разгибал, теперь же заимел от него богатство и нос в сторону воротишь. А он мне намедни говорил, что хотел тебя в свои графы и канцлеры пожаловать, да не успел.

— В какие ещё канцлеры! — попытался встряхнуться Кротков. — Ты заговариваешься, Баженов! И не мог ты видеть Пугачёва.

— Откуда бы я тогда о твоём счастье проведал? Вчера мы с анпиратором распили полуштоф очищенной в его новых апартаментах, под присмотром майора Гаранина и взвода караульных солдат. Должен тебя утешить, Пугачёв пожалован железными регалиями: кандалами и цепью. Ты доволен?

— Мне-то какое до всего этого дело! — крикнул, вскочив со стула, Кротков. От натуги у него опять пошла носом кровь, вид которой всегда был Баженову неприятен, и он повернулся к Долгополову:

— Сделай что-нибудь, Викентий, дай ему мокрую тряпку, что ли! — подручный сыщика поспешил исполнить приказ начальника, а Евграф сел рядом с Кротко-ым. — Мы ведь с тобой свойственники, Степан. Я это помню и не хочу брать тебя в казённый розыск. Что нам помешает сговориться между собой, полюбовно разделить золото и, если хочешь, забудем друг друга навсегда.

— Нет, ты не человек, Баженов, — прошептал Кротков. — Ты — пиявка! Нет, ты — клещ! Впился и сосёшь мою душу. Но нет у меня золота, и Пугачёва я не знаю. Он, поди, на дыбе был, когда ты с ним вино пил, но я ведь не самозванец. Так зачем ты ко мне лезешь?

— Как зачем? — холодно произнёс Баженов. — Я возьму золото, а ты ляжешь на то место, где оно было...

Резкий скрип двери заставил Баженова обернуться и вскочить на ноги: разбойник, которого он счёл неживым, опамятовался и кинулся бежать. Евграф рванул за ним следом, в сенях столкнулся с Долгополовым. Они выскочили на крыльцо и в ужасе отступили: сторожевой пёс взял Киршу в клыки и, сорвав с него армяк, рвал разбойника на клочки, не оставив ему никакой надежды на спасение.

— Фирска! Мокей! — вопил Кирша, и друзья его услышали. Они были вне себя от счастья, когда Сысой разметал перед ними снопы и явил две телеги с бочками медных денег. Мокей быстро привёл лошадей, их запрягли и собирались ехать к помещичьему дому, как раздались дикие вопли Кирши, и Фирска по гнёту ловко влез на стог, откуда увидел крыльцо и на нём явно чужих людей.

— Гони! — заорал он, упав на свою телегу. Мокей, схватив вожжи, дико вскрикнул, и лошади помчали медную казну прочь от кротковской усадьбы.

Кирша уже перестал вопить, когда Баженов над ним сжалился: сбежал с крыльца, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил жадно терзающему свою добычу псу в ухо.

— Это его ватажные друзяки были возле скирд? — спросил Баженов. — Что они там поделывали?

— А мы сейчас у мужика узнаем про это, — сказал Долгополов, указывая на Сысоя, который спешил на выручку своему господину.

Викентий хотел задержать мужика на крыльце, но тот прорвался в сени и в зал втащил Долгополова на себе.

— Слава тебе, господи! — вскричал Сысой. — Какое счастье, что ты, барин, живой!

— Жив, да не совсем, — угрюмо сказал Кротков, уже догадавшись, что случилось с медными пятаками. — Напали на меня одни разбойники, затем нагрянули другие. Что же, теперь ждать третьих?

— Да ты и взаправду ожил, — сверкнул на Степана огнистым оком Баженов. — Шутить изволишь? Тогда, Долгополов, неси кандалы! Твой анпиратор скучает в каменной палатке, вот ты его и развеселишь. Что стоишь, Викентий, столбом, поторапливайся!

— Какие ещё кандалы! — уже по-настоящему ужаснулся Кротков. — Да подавись ты, Евграф, пугачёвским кладом! Да, был он у меня, а теперь нет! Скажи, Сысой, что Фирска уволок клад; может, мужику поверят, раз дворянское слово не имеет уже цены.

Баженов метнулся к Сысою и схватил его за грудки.

— Говори, навозный опарыш, куда подевалось сокровище?

— Так это... Фирска с друзяком на двух возах только что его увезли. Ты, барин, и сам, чай, это с крыльца видел, как было...

Баженов яростно скрипнул зубами и, оттолкнув Сысоя, устремился к двери, Долгополов от него не отстал, они выбежали на крыльцо и спохватились: их коляска стояла с другой стороны дома. Пришлось им через высохшие лопухи и крапиву обегать его кругом. Долгополов схватил лошадей под уздцы и, вздыбливая, повернул их к дороге, Евграф с разбегу завалился в коляску, и погоня помчалась по горячему следу похитителей пугачёвского клада.

Крестьянские лошадёнки, на которых Фирска и Мокей уходили от погони, поначалу бежали резво, но скоро стали задышливо прихрапывать, взмокли и, как их ни настёгивали, пошли шагом, роняя на мёрзлую землю мыльную пену.

— Погоди, Фирска! — крикнул со своего воза Мокей. — Так мы никуда не убежим. Золото надо прятать, пока его у нас не отняли.

— И куда же мы его зароем? — спросил, оглядываясь, Фирска. — Надо найти такое место, чтобы люди туда не хаживали.

— Ты у нас всему голова и заводчик, вот и думай. Да торопись! Те господа, что стояли на крыльце кротковского дома, уже за нами бегут.

— Тогда езжай за мной, — сказал Фирска и направил свою лошадь в сторону Чёрного леса.

Вначале им ехалось без помех, тропа была достаточно широкой, чтобы по ней проходил воз, но скоро лес загустел, телеги то одной оглоблей, то другой стали цепляться за ветки, пеньки и толстые корни накренивали их то на один бок, то на другой, тяжёлые бочки елозили по телеге и шатались, подталкивая друг дружку к самому краю.

— Фирска! — не выдержал Мокей. — Куда ты меня ведёшь?

— А ты здесь ни разу не бывал?

— Нет, а что тут?

— Сейчас узнаешь, — сказал Фирска и, взяв лошадь под уздцы, вывел её на поляну, где стоял обгорелый сруб, и неподалёку от него шелестел берестой берёзовый крест над свежей могилой. — Это то место, где жил кудесник Савка-бог, пока исправник Лысков на него с солдатами не наехал. Избу сжёг, а самого убил. А разве в твоих краях таких знахарей нет?

— Как нет, но всё больше не мужики, а старухи.

— Сюда сейчас люди не ходят, — пояснил Фирска. — Здесь и укроем клад, а после возьмём. Торопись, Мокей, если хочешь богатства!

Не меньше злодеев жаждал обрести сокровища и канцелярист Баженов. Он покрикивал на Долгополова, чтобы тот поторапливался, но возы разбойников как в воду канули. На дороге они встретили мужика, который шагал рядом с телегой, нагруженной сухими сучьями. Завидев господскую коляску, он остановил воз и, сняв шапку, низко поклонился.

— Не видел ли сейчас два воза с бочками? — грозно спросил Баженов.

— Не встречал, — промямлил мужик. — Не было никого.

— Разворачивай коляску, Викентий! — велел Баженов. — Поезжай не быстро и поглядывай на обочины, где-то они повернули в лес.

Страх потерять добычу обострил чувства преследователей. Первым следы от колёс увидел Долгополов. Канцелярист выскочил из коляски и склонился над ними, как гончий пёс, только что не обнюхивал.

— Это они, — поднял голову Баженов. — Здесь прошли два тяжёлых воза.

Скоро следы злодеев обнаружились и на сломанных ветках, ссадинами от телег на деревьях и ещё тёплым конским шевяком посреди колеи.

— Боюсь, мы их распугаем, — остановив коляску, сказал Долгополов. — Надо оставить коней здесь и догонять пешими. Так будет и скорее, и тише.

Стараясь не шуметь, они достигли поляны, на которой находился сгоревший сруб Савки-бога. Рядом с горелой избой стояли две телеги. Одна уже была порожняя, а с другой разбойники, натужась, снимали бочку с деньгами. Они были так заняты делом, что свою смерть увидели, когда она была уже рядом с ними. Баженов выхватил пистолет и нацелил его на Мокея. Фирска успел нырнуть за телегу и кинулся бежать, но Долгополов в несколько огромных прыжков его настиг и сгреб за шиворот. Разбойник схватился за нож, однако Викентий другой рукой уже взял его за штаны, поднял над собой и со всего размаха ударил головой о корявую и толстую осину.

— От кого узнал про сокровище? — грозно спросил Баженов.

— От Фирски, — вякнул Мокей.

Однако того расспрашивать было поздно, и Баженов убил разбойника точно так же, как пса возле крыльца кротковского дома — выстрелом в ухо.

Долгополов подошёл к нему весёлый: он взял у Фирски за пазухой кошелёк с деньгами, заглянул в него — золотые.

— Ловко ты его свалил, — сказал он, пнув мёртвого Мокея. — А я привык голыми руками обходиться.

Баженов смотрел на него безумным взглядом. Он только что заглянул в бочку и понял, что они убили людей не за золото, а за медные пятаки. Долгополов от этой новости не сник, а даже развеселился.

— Стало быть, тебе эти деньги не нужны?

— Велика ли в них корысть! Тут всего чуть больше тысячи рублей! — вскипел канцелярист. — Разве это богатство?

— И этого хватит, чтобы умному человеку разжиться, — сказал, посмеиваясь, Долгополов.

— Хватит врать! — рассердился Баженов. — Забросай бочки хворостом и поторопимся к Кроткову.

— Мне этого хватит. А Кротков, верно, уже убежал из усадьбы. Он мне не показался дурнем.

— Ты что, Викентий, ополоумел? — затопал ногами Евграф. — Или ты супротив меня вздумал пойти?

— Утомил ты меня, Баженов, — процедил сквозь зубы Долгополов. — Уже два года, как моя жизнь стала смеху подобна. Я, природный вор, у сыщика на посылках.

— Не будь моей к тебе милости, ты бы под кнут пошёл и с рваными ноздрями гнил в демидовском руднике.

— А ты, канцелярист, здесь сгниёшь, — усмехнулся Долгополов. Баженов дёрнулся, чтобы выхватить из-за пояса пистолет, но не успел: Долгополов уже крепко ухватился костлявыми пальцами за его горло и сломал хрящи. — Теперь мы квиты!

Он пробыл на пожарище почти до сумерек, зарывал трупы, прятал бочки в ямах, заваливал их землёй, травой, сучьями. Трудился он не спеша и, закончив работу, выпряг лошадей и повёл их к коляске, которая была спрятана на полпути до проезжей дороги.

– 4 –

Ужас, изведанный Кротковым от нашествия на его дом разбойника Фирски и канцеляриста Баженова, не обезножил обладателя пугачёвского золота, а побудил его к поспешному бегству.

— Сысой! — вскричал он, едва только за Долгополовым захлопнулись двери. — Закладывай коляску! Не дай бог, если ещё кто-нибудь явится за кладом, я этого не переживу.

— Сколько же ещё нам бегать? — недовольно пробурчал Сысой. — Год уже пробегали, когда же всё это кончится?

— Не ворчи. Пока Пугачёва не казнят, нам отдыху не будет. Ты лучше глянь, не очень мне лицо разнесло? А то я носа не чувствую.

— Бывает и хуже, — сказал Сысой, оглядев барина. — Губы раздуло да синь под глазами. Заживёт, как на собаке. А что, ты, барин, меня опять за собой потащишь?

— Только до Курмыша, а там я на ямских поеду. А ты не стой. Не слышал, что я сказал?

Когда за мужиком затворилась дверь, Кротков повернулся к зеркалу, поразглядывал себя, надел кафтан и вышел в коридор. Возле кухни он нашёл старый черенок от лопаты и поспешил на крыльцо. Кротков не мог себе позволить покинуть усадьбу, не

удостоверившись, что на его захоронку никто не покушался и клад цел. Оглядевшись и убедившись, что за ним никто не подглядывает, он юркнул в ретирадное место и стал нащупывать через дыру захороненные в потайной яме кули с богатством. Всё было цело, и Степан подивился сметливости Пугачёва, указавшего ему такое удобное место для клада.

«Я не могу ему желать худа, — подумал Кротков. — Но пока он жив, клада вынимать нельзя. Надо ждать его смерти, а казнят его только в Москве, чтобы вернее убедить народ в гибели самозванца».

Отправляться в дорогу без съестных припасов было бы безрассудством, и Кротков велел снарядить ему погребец, не забыв положить туда ветчину, варёную баранину, солёное сало и прочие питательные разности и, конечно, штоф очищенной, чтобы было чем делать примочки к синякам и ссадинам, от которых Степан надеялся освободиться ещё до приезда в Москву. Имевшуюся у него казну он решил не оставлять на произвол случая, и хотя она была немаленькая — более тридцати тысяч, Кротков её всю разместил: и на себе, и в походном сундуке. Он ещё не знал, на что ему могут понадобиться эти деньги, но, имея их, Степан чувствовал себя увереннее. Встреться ему на пути его петербургские гонители — немец Зигерс и карга Саввишна, он бы перед ними не дрогнул, а рассчитался лёгким движением руки, сыпанув им весь долг, да ещё и с процентами, ничуть не мелочась. Пусть знают кротковскую породу! А капитану Корсакову, который его больно обидел на выезде из Петербурга, Степан непременно бы сделал кукиш, пусть и в своём кармане. Он уже не нуждался в службе. Золото сделало его и на самом деле вольным русским дворянином. Он мог жить себе в усадьбе, а мог и поехать, куда заблагорассудится.

Но разнеживать себя сладкими мечтами времени не было, Сысой не поторапливался, и Степана вдруг обожгла догадка, что Баженов, найдя в бочках медные пятаки, уже мчится назад в усадьбу, обдумывая, как отомстить за обман хозяину. Он скоро облачился в шубу, взял шапку и, встретив на пути Сысоя, поспешил к коляске. Узнав об отъезде барина, отовсюду выбрались дворовые люди. Они были рады остаться одни и жить вольготной жизнью без хозяйского глаза.

В Курмыше избу почтовой станции срубили недавно и не успели её загадить. Бывалый ямской староста сразу, по вытертой шубе, определил, какого полёта дворянин к нему явился, и повёл себя важно, снисходительно объявив сразу впавшему в смущение приезжему, что сегодня лошадей не будет, но есть комната для господ, и он может в ней получить за полтинник лавку для ночлега. Кротков подивился дороговизне, но возмущаться не стал, простился с Сысоем, походил вокруг да около ямской избы, поглядывая с бугорка на заштатный городок, над которым уже крупно вызвездило небо, справился у проходившего мимо мужика, когда будет готов кипяток и, узнав, что вода кипит ключом, отправился вечерять.

Кротков недавно у проезжего купца разжился чаем и, вызывая зависть у жевавшего чёрствую булку канцелярского чина, соседа по лавке, заварил чай и после ветчины, отдуваясь и причмокивая, выпил три чашки, убрал посуду в погребец и завалился спать, в надежде, что завтра с ветерком покатит в сторону Владимира на ямских, но этого не случилось. Ямской староста огорошил его известием, что ни сегодня, ни завтра, ни через неделю свободные лошади вряд ли будут, почти все они загодя определены под казённые надобности: из Москвы во все поволжские города, которые были охвачены пугачёвским бунтом, поспешали курьеры с важными вестями и документами. Это были лихие офицеры небольших чинов, отличавшиеся крепкими седалищами, способные без отдыха выдержать тысячевёрстную скачку, отъявленные сквернословы и драчуны, от коих пострадал не один ямщицкий затылок и не одна смотрительская борода. Кротков путешествовал по своей воле и тягаться с казёнными людьми не мог. Проходил один день за другим, а он всё сидел на одном месте, безнадёжно выглядывая в окно, за которым уже запуржила ранняя в этом году зима. Убывало светлое время дня, убывали и съестные припасы, а за деньги, кроме пустых щей, ничего добыть было невозможно.

Кротков стал уже подумывать, что удача, сопутствовавшая ему без устали на протяжении года, бесповоротно его покинула, уже намеревался купить какую-нибудь лошадь с санями и взять самому вожжи в руки, как в гостевую комнату вошёл запорошенный снегом офицер, обстучал у порога сапоги, развязал башлык и, мигнув подмороженными ресницами, возгласил:

— Это опять ты, Кротков?

— А кому же ещё быть? — сконфуженно пробормотал Степан, узнав в приезжем Державина, перед которым он всегда робел из-за его прямого и жёсткого нрава. Чтобы скрыть охватившую его неловкость, он сделался ужасно суетлив: помог Державину снять шубу, выложил на стол оставшиеся у него ветчину и сало, едва початый штоф очищенной, чайные чашки и последние куски сахара.

— Да ты, я погляжу, богато живёшь, — сказал Гаврила Романович, потирая красные от холода руки.

— Прошу угоститься, господин подпоручик!

— Брось чиниться, Кротков, — скривился Державин. — Мы ведь не в полку, а посреди проезжей дороги. Тем более, как я понял по нашей последней встрече, служить отечеству ты не желаешь. Хотя ты солдат, а я, заметь, поручик, нас друг с другом равняет дворянство.

— Всё так, — угодливо молвил Кротков. — Но вы, господин поручик, в чинах возвысились, не в пример мне.

Державин остро на него взглянул, отыскивая скрытую насмешку: как раз в службе ему не везло, хотя служил он рьяно, не имея в рвении удержу, что почти всегда выходило ему боком, поскольку обладал неистощимой способностью наживать себе врагов, и совсем недавно гонителем Державина стал всемогущий генерал-аншеф граф Панин, который простёр свою неприязнь к поручику до того, что довёл своё мнение о нём самой государыне как о человеке весьма недостойном, а во всеуслышанье неоднократно грозил поручика повесить. Державин отчасти был сам в этом виноват. Он не угадал, кому нужно донести первому о поимке Пугачёва и пренебрёг Паниным, вскоре понял свою ошибку и, не далее как три дня назад в Синбирске, постарался понравиться главнокомандующему. Это ему уже почти удалось, но нечаянным словом он опять восстановил против себя всемогущего графа. Теперь Державин ехал в Казань и был почти в отчаянии от того, что его служба не задалась и не сулит обеспеченного будущего. Все эти чувства отразились на лице Державина горькой гримасой. Кротков понял сие по своему разумению — он сделал приглашающий жест рукой и радушно промолвил:

— Не желаете ли, Гаврила Романович, причаститься очищенной!

— Не откажусь, — сказал Державин и присоединил свои припасы к кротковским. Поручик выпил чарку, плотно закусил и откинулся на спинку стула. — Ты ведь, кажется, в Казань бежал от Пугачёва, — произнёс он. — А там его видел?

— Только с крепостной стены, Гаврила Романович, когда он по нас стал палить из пушек.

— А я три дня назад видел злодея так близко, как тебя, — усмехнулся поручик. — Мой доброжелатель, пусть ему пусто будет, граф Панин, похвалился мне своим трофеем.

— Ну, и как он вам показался? — заволновался Кротков.

— Да никак, — пренебрежительно махнул рукой поручик. — Посконный мужик в замасленном тулупе. Упал на колени и заныл: «Ночей не сплю, всё плачу, ваше графское сиятельство!» Как поверить после такого, что сей смерд возомнил себя царём и потряс основания державы?

— И что с ним теперь будет? — спросил Кротков.

— Отвезут в Москву и четвертуют... Но будет об этом. Ты о себе скажи, Кротков. Помнится мне, что ты бредил о скором богатстве. Ну и как, разбогател? Я не удивлюсь, что это так. К таким, как ты, счастье если придёт, то и на печи найдёт.

— Боюсь сказать, Гаврила Романович, — робко произнёс Кротков. — Но я почти обрел клад.

— Как «почти»? — удивился Державин. — Ловкое это словцо — «почти». Почти жена — это пассия, почти золото — это, братец, дерьмо, оно тоже жёлтого цвета. Или ты соврал?

— Мне вас, Гаврила Романович, обманывать не пристало, ведь с вашего рубля началось моё счастье. Деньги у меня и сейчас есть, мне для вас и тысячи рублей не жалко, если пожелаете принять как подарок.

— Вижу, ты точно стал Демидовым, — расхохотался Державин. — Но я, брат, подарков не беру. А ты не продуешь своё богатство в карты? Помнится, ты был охоч до картёжных баталий.

— Забыл о них и думать, но иногда снится, что играю, а проснусь и радуюсь, что видел всего лишь сон.

— Не знаю, завидовать ли тебе, — после некоторого раздумья сказал Державин. — Твоё богатство случайно, значит, некрепко. Теперь тебе должно страшиться день или ночь, что кто-то за ним явится и тогда тебе несдобровать. К примеру, тот же ямщик встряхнёт возок на ухабе, у тебя деньги за пазухой забрякают ему в соблазн протянуть к ним руку.

— Не зови, Гаврила Романович, лихо, оно, может, уже к дверям притулилось! — испугался Кротков. — Потому и сижу на яме почти неделю, что боюсь явить старосте своё золото. Он таким разбойником смотрится, что и подойти к нему страшно.

— Экая невидаль — разбойник! — засмеялся Державин. — В здешних местах от пугачёвщины все мужики теперь разбойники. Многие помещики и рады бы от них

избавиться, да их не берут, даже по бросовой цене. А ты, выходит, сидишь и уехать не можешь?

— А что поделаешь, коли нет у меня подорожной? — вздохнул Кротков. — Вот подумываю дождаться настоящего снега, купить лошадь, сани и поехать своим ходом.

— Ты ведь, Кротков, солдат, возьми ямского старосту за бороду и потряси его так, чтобы он уразумел твою силу.

— Такое не по мне, Гаврила Романович, — отказался Кротков. — Как-нибудь я и сам уеду.

Однополчане повспоминали за чаем общих знакомых. Державин начал было говорить о неправдах, которые он разведал в саратовском гарнизоне, но скоро опамятовался. Кротков не являлся тем человеком, которому следовало об этом знать, и поручик завалился на боковую. Скоро в комнате от его молодецкого храпа стал вздрагивать огонёк лампады перед ликом Николая Угодника, небесного покровителя всех путешествующих по суше и по морю.

Кротков ворочался на лавке, завидуя Державину, и уснул поздно, но только вгляделся в свой сон, как его за плечо кто-то сильно начал трясти.

— Будись, Кротков! Бери свои вещи и следуй за мной!

— Куда, Гаврила Романович?

— Уехать желаешь? Тогда поспеши!

На дворе была совсем другая, чем вчера, погода. Снег растаял, сияло тёплое солнышко. Возле избы стояла запряжённая двуконь коляска. Рядом с ней ямской староста наставлял ямщика и опасливо поглядывал на Державина, он уже имел с ним дело и знал, что офицер скор на расправу.

— Что ж, прощай, Кротков! — сказал Державин. — Вот тебе коляска, и скатертью дорога!

— А как же, Гаврила Романович, вы?

— Поторапливайся!

Кротков подхватил свои вещи и сел в коляску.

— Куда залез! — всполошился ямской старос-та. — Это для господина офицера, по казённой надобности.

— Я своей властью офицера Казанской следственной комиссии выписал ему подорожную! — заявил Державин.

— Я её не видел, — возразил ямской староста.

Державин крупно к нему шагнул и сунул к носу кулак.

— Вот, читай!

Кулачная подорожная убедила ямского старосту, что поручику перечить опасно, а ямщик счастливо разулыбался: с частного седока он имел выгоду.

Многие отзывались о Кроткове как о плохом дворянине, забулдыге и картёжнике, но честно будет сказать, что он не имел негожей привычки дурно вспоминать о человеке, с кем только что расстался. Державину он желал добра и, оглянувшись на ямскую избу, подумал, что зря Гаврила Романович так старается обрести своё счастье на службе. Марал бы вирши для государыни, за них он скорее получит табакерку в алмазах, наполненную золотыми империалами. Такого от графа Панина и генерала Потёмкина ему вовек не дождаться, даже приведи он им на цепи самого Пугачёва.

С лёгкой руки Державина к Кроткову вернулась удача, и ни на одном стане ямские старосты его подолгу не задерживали, да и сам он стал постигать науку обращения с этими людьми: на одного топал ногами, другому совал в руку мзду, и хотя много претерпел в дороге неудобств, но к началу ноября добрался до первопрестольной жив и здоров, если не считать лёгкого насморка.

Москва сразу поразила Кроткова обилием съехавшегося сюда дворянства. Можно было подумать, что скоро здесь ожидается венчание на царство нового государя всея Руси, но большого веселия заметно не было. Дворяне сбежались в Москву от пугачёвщины, и до сих пор немногие верили известию, что злодей схвачен, закован в кандалы и его везут в Москву в клетке на справедливый суд и скорую казнь. Среди дворян слава Пугачёва была столь ужасна, что они страшились возвращаться в родовые усадьбы, многие из которых были обращены в пепелища.

За минувший год домовладение кротковской тётушки Агафьи Игнатьевны ни в чём не изменилось. Какое-то время Степан сиротливо оглядывался на окна, за которыми томились взаперти домашние цветы, конюшню, колодец, амбар и дровяной сарай, откуда вышел, пятясь, молодой парень, держа в руках охапку берёзовых поленьев.

— Сёмка! — обрадовался Кротков. — Что, господа дома?

— Как есть дома и барин, и барыня, только отобедали и кушают в зале чай.

— Давно ли господин вернулся? Как он, жив-здоров? — спросил Кротков.

— Жив помалу, — сказал Сёмка, — а здоров вряд ли: турки ему ядром ногу до колена отшибли. Он теперь на палке ходит.

— Ах, беда какая! — воскликнул Кротков.

— Наш барин — герой! — похвалился парень. — Ему царица Егория пожаловала за храбрость.

«Не сиделось старому, погеройствовать возжелал, — отчуждённо подумал Кротков. — До тех пор, пока дураки не переведутся, воевать будет кому».

О прибытии племянника уже донесли Агафье Игнатьевне, и она турнула своего лакея взять у Степана вещи. Кротков следом за ним поднялся на крыльцо, бросил на лавку в сенях шубу и вступил с лёгкой и непритворной улыбкой в зал, где попал сразу в объятия Петра Николаевича, почти саженного роста майора, который так крепко прижал его к тому месту на груди, где покоилась награда, что георгиевский крест отпечатался на щеке Степана всей своей отчеканенной фактурой. От боли Кротков скрипнул зубами, но дядя продолжал его мять и тискать, постукивая деревяшкой протеза, пока тётушка не вырвала своего любимого племянника из медвежьих объятий мужа.

— Вся-то моя душенька изболелась, Степанушка, — пролила слезу радости Агафья Игнатьевна. — Больше года не было от тебя ни одной весточки. Я уж подумывать стала, а не случилось ли с тобой худа...

Промокнув платочком влажные глаза, тетушка засуетилась, не зная, где Степана усадить и чем попотчевать. Пётр Николаевич тоже был доволен приездом племянника не менее жены — в нём заскучавший в почётной отставке майор надеялся найти собеседника и слушателя своих воспоминаний. Родственники ждали изъявлений радости от встречи с ними, но Кротков их удивил:

— Что слышно о Пугачёве? Он ещё не в здешней тюрьме?

Пётр Николаевич и Агафья Игнатьевна недоумевающе посмотрели друг на друга, затем одновременно пожали плечами.

— Завтра обещал быть Викентий Павлович, — сказал дядюшка. — Вот его и расспросишь о разбойнике, он судейский, и ему в Москве ведомо все.

– 5 –

Не чуждый и раньше самохвальству, граф Панин, заимев Пугачёва в свои руки, так возгордился, что стал почитать себя за спасителя российского дворянства и праздновал победу. Безмерно возрадовалось укрощению злодея и благородное сословие. Слепок с их чувств дожил до наших дней в «Стансе граду Синбирску на Пугачёва», изготовленном с большой горячностью и превеликой мстительностью первым на то время пиитом империи Сумароковым, где, среди прочих, были строчки о победителе:

Граф Панин никогда пред войском не воздремлет,
И бросил он тебя, взлетевша с высоты.
И силой и умом мучителя он емлет.
Страдай теперь и ты!
Уже геена вся на варвара зияет,
И Тартар на тебя разверз уста.
И Панин на горах вод волгиных сияет,
Очистив те места...

Вирши были доставлены в Синбирск курьером, прочитаны главнокомандующему, который расчувствовался до пролития радостных слёз и велел послать престарелому Сумарокову несколько полных горстей золотых империалов, а генералу Потёмкину отдал распоряжение приступить к допросу Пугачёва, сделав ему предостережение, что если он станет врать, то будет бит тяжёлой плетью. Генерал вскоре привёл угрозу в исполнение, и Пугачёв подвергся пытке, на которой оговорил до двух десятков знакомых раскольников. Их кинулись разыскивать, а из Петербурга пришёл приказ срочно отправить Пугачёва в Москву в распоряжение Особой следственной комиссии московского отделения Тайной экспедиции Сената.

Граф Панин с неохотой расстался со своим трофеем, он мечтал умножить славу казнью Пугачёва в Синбирске, но самозванец должен быть предан смерти в Москве и публично, чтобы пресечь вполне возможные попытки появления нового лжецаря.

Кротков бежал из своей деревни на две недели раньше, чем Пугачёва, под конвоем роты солдат и нескольких пушек, отправили из Синбирска, но у того ямские старосты не спрашивали подорожную и не чинили каверзных препятствий, и в Москву они прибыли почти одновременно, а вот разместились в разных местах: Кротков у своей тётушки, а Пугачёв в тюремной камере Монетного двора у Воскресенских ворот Китай-города.

Весть о том, что злодей водворён в московское узилище, доставил Кроткову судейский родственник тетушки Викентий Павлович, и она привела новоявленного богача

в сумятицу: Степан сначала возрадовался, что Пугачёву скоро отрубят голову, и тайна клада сгинет в аду, затем он начал подумывать, что эта смерть лишит его покровителя, который больше года его опекал и защищал от всех напастей и помог удержать богатство. «Сейчас у Пугачёва нет ни одного доброжелателя, все желают ему ужасной смерти, — думал Кротков. — Но что будет со мной после его гибели?»

С этой тревожной мыслью он вернулся в свою комнату и стал переодеваться, чтобы выйти в город. Взяв в руки кафтан, Кротков обнаружил, что он изрядно замаслен на рукавах, не лучше выглядел и жилет, а что до штанов, то в той части, коей они облегали ягодицы, сквозь вытертую ткань было видно небо. Степан снял с вешалки шубу, убедился, что воротник облысел, а сукно во многих местах побито молью. «Этак меня здесь бог знает за кого примут», — подумал он и достал из-за подушки кошель с золотом. Степан ещё не обрёл навыки обращаться с большими деньгами и, захотев отсыпать сотни две империалов, неловко вывалил их все, частью на постель, а частью на пол. Золотые монеты разбежались по всей комнате. Степан кинулся за ними вдогонку на четвереньках и больно ударился головой в палку, на которой одной ногой стоял Пётр Николаевич.

— Вот это казна! — хрипло вымолвил потрясённый майор. — Я столько золота отродясь не видел!

Кротков помалкивал и, потирая ушибленный лоб одной рукой, другой подбирал с пола империалы. Пётр Николаевич стал ему помогать, подвигая ему своей тростью закатившиеся под стол и стулья золотые монеты, но скоро запыхался и сел на кровать.

— Это сколько же ты здесь золота рассыпал? — сказал он.

— Не знаю, — простодушно признался Кротков.

— Как так? — удивился майор. — Ужели ты счёта своему богатству не знаешь? Я, племянник, могу сразу сказать, что на те золотые, что ты разбросал на полу, можно купить деревеньку с сотней-другой мужиков. Или ты что другое думаешь заиметь?

— Думал, дядюшка, штаны себе новые справить, кафтан да шубу присмотреть, — сказал Кротков. — Только сейчас увидел, как я обносился. В порядочный дом дальше ворот не пустят.

— А ты как думаешь обрядиться? — насторожился Пётр Николаевич. — Если у французов, то обдерут, как липку, своими хитростями: приди, к примеру, к ним за перчатками, так сразу не отпустят, что-нибудь да навяжут, они горазды нашего русского брата за нос водить.

Кротков наконец справился с рассыпанными монетами, собрал их в кошель, завязал и положил на стол. Майор покосился на него и крякнул, но не от зависти, а от почтения, которое всегда испытывал к золоту, как к генерал-аншефу всех денег: и медных, и серебряных, тем паче бумажных.

— У вас есть на примете добрый портной? — спросил Кротков. — Я не собираюсь выряживаться, но желаю заиметь самое лучшее и прочное.

— С этим ты к своей тётушке обращайся, — посоветовал Петр Николаевич. — Но что ты разумеешь под самым лучшим и прочным?

— Хочу себе шубу на бобрах, — сказал Кротков.

— На бобрах! — ахнул майор. — Высоко же ты, брат, взлетел! Но в бобрах пешком не ходят, к ним нужны щегольские рысаки, карета, лакей на запятках, дом с колоннами на Тверском бульваре, много ещё чего нужно к бобрам. Тут твоим кошелем не обойтись, нужна бочка золота.

— Но вы же, дядюшка, не откажете мне проехать в новых бобрах в вашей карете?

— Как можно, Степанушка! — воскликнул Пётр Николаевич. — Катайся по Москве, сколь захочешь, но не заглядывай в те места, где пьют и картёжничают. Беги от всякого, кто захочет тебе на шею броситься. Тут сегодня забегал один к нам пролазщик, тебя спрашивал и письмо оставил.

— Он представился?

— Как же! Заговорил меня до головокружения, что я тотчас его имя позабыл. Я людей знаю и скажу сразу: сей господин нечист на руку. Сейчас я велю принести письмо, но ты этого пройдоху остерегайся.

Дядюшка удалился в свою комнату, и вскоре слуга на медном блюде подал Кроткову конверт из грязно-серой бумаги, исписанный крупным почерком. «Не покушается ли кто на мой клад?» — беря с опаской письмо, подумал Кротков, но, взглянув на подпись, удивился. Послание было от Калистрата Борзова, о котором Степан вспоминал всё реже и реже, занятый своим неугомонным бытием. Он надорвал конверт и вынул листок бумаги:

«Его гвардии благородию Степану Егориевичу, моему соратнику по молодецкому истреблению очищенной поклон и всеподданнейшее почтение! — шутийствовал Борзов. — Москва — большая деревня, и вчера я по делам забрёл в сенатское судилище, где в привычной болтовне упомянул твоё имя, на что получил известие о твоём пре-

бывании в городе. Нехорошо, брат, скрываться от товарища, который тебе помог выжить. Ведь мне ведомо, что ты обрёл клад, так почему не спешишь поделиться со мною своей радостью? Я стою в номерах на Тверской, дом поручика Гвоздева».

«Калистрат верен своей привычке огорошить кого-нибудь опасной новостью, — подумал Кротков. — Ни о каком кладе он не знает, просто поторапливает меня к себе».

Он стал собираться на выход в город, но зародившаяся в нём мысль, что пииту, возможно, что-то стало известно, изрядно попортила ему настроение, пока он не поднялся по лестнице на второй этаж дома, где снимал комнату Борзов, который встретил его с такой бурной радостью, что у Кроткова полегчало на сердце.

— Стало быть, ты не разбогател! — воскликнул пиит, оглядывая потёртый воротник на плечах приятеля. — И, конечно, не женился на дочери откупщика? Хотя о чём я спрашиваю! Ты жив остался, значит, до тебя не добрался Пугачёв?

— Ещё как добрался! — ответил Кротков. — Моего дядюшку Парамона Ильича на дереве вздёрнули его ребята, и я от него набегался то в Синбирск, то в Казань. А тебе что надо в Москве?

— Тут, брат, со мной такая конфузия стряслась, что не знаю, как сказать, — развёл руками Борзов. — А если коротко, то я обрёл клад, и не где-то в лесу, а возле госпожи Угловой. И клад сей и кричит, и пищит, и на дню по нескольку раз пелёнки золотит.

— Ты женился?

— Пока бог миловал, Углова меня к алтарю не тащит, но я её не покинул до сей поры и сюда приехал по делу о причитающейся ей доле в наследстве. Хлопотное, скажу тебе, занятие.

— Я постараюсь тебе подсобить, — сказал Кротков, обводя взглядом грязные обои комнаты, где из мебели были лишь кровать, стол и стул. — У меня в суде служит родственник Викентий Павлович.

— Так я на него уже наткнулся, — усмехнулся Борзов. — Он мне и донёс, что ты здесь. За дело он берётся, но заломил много, не знаю, как и быть.

— Я с ним столкуюсь, — уверенно заявил Кротков. — Денег ему не давай, он сделает всё как надо.

Кротков решил заплатить титулярному советнику из своих денег и тем сделать Калистрату подарок. У него даже на мгновенье мелькнула мысль дать новорожденной на зубок десятка два империалов, но он от неё отказался, ибо знал, что любое доброе дело следует совершать с тщательной оглядкой, дабы потом не раскаиваться в содеянном.

— А я, Степан, как стал отцом, так переменился, — сказал Борзов, по-своему истолковав задумчивость приятеля. — Уж третий месяц воздерживаюсь от хмельного. Но внизу есть трактир, и я готов тебя угостить.

— Мне с тобой и без очищенной весело, — улыбнулся Кротков. — Я на коляске и приглашаю проехаться по бульварам.

Осенняя Москва, осиянная багрянцем садовой листвы роскошных барских усадеб и золотым сиянием бесчисленных храмов, смотрелась печатным пряником, но этому торжественному благолепию, пронизанному нежарким солнечным светом, мешала суета людей, по обличию благородных, которые, как воробьи на корку хлеба, слетались друг к другу и о чём-то возбуждённо спорили. Кротков вопрошающе взглянул на Борзова, на что тот недоуменно пожал плечами, но это затруднение разрешил голос господина, обращённый к седоку, который рысил на тонконогой кобыле.

— Как мыслишь, Пётр Дмитриевич, государыня помилует злодея?

— Что у нас только ни делалось, чтобы понравиться Европе... — сквозь зубы процедил всадник и пришпорил кобылу.

— Оказывается, вот в чём причина столь озабоченного шевеления дворян, — хмыкнул Борзов. — По всем законам, Пугачёв достоин четвертования, но это не нравится Вольтеру, а государыня перед ним заискивает.

— А что, этот Вольтер чей-то король? — спросил Кротков.

— Бери выше! — хохотнул пиит. — Он правит людским мнением и определяет, что должно считать добрым, а что злым.

— Скажешь тоже, Калистрат, — не поверил Кротков. — Он ведь не бог, чтобы судить об этом.

— Я удивляюсь не Вольтеру, а тому, что главный следователь Пугачёва Павлуша Потёмкин перекладывал Вольтера на русский и преподносил государыне, а теперь они ломают головы, как острее наточить на Пугачёва палаческую секиру и не обидеть своего наставника.

— Что, Пугачёва казнят?

— Другого не будет, — сказал Борзов. — Но наши дворяне сомневаются и желают знать твёрдое слово государыни, да это не нашего ума дело. Однако меня забавляют наши дворяне: сбившись в кучки, они ругают Пугачёва, а нет пойти к нему и сказать, как они его ненавидят.

— Разве такое возможно? — удивился Кротков. — Его же держат под караулом.

— Власти заинтересованы, чтобы как можно больше людей убедились в самозванстве злодея, и публику из благородных к нему беспрепятственно допускают.

«А он ведь меня ждёт!» — мелькнуло в голове Кроткова, и он кулаком ткнул возницу в спину:

— Поворачивай в Китай-город!

— Ты что, решил идти к Пугачёву в гости?! — воскликнул Борзов.

Кротков окинул его невидящим взглядом и отвернулся. Решение ехать к Пугачёву он принял по какому-то внезапному и неожиданному для него самого порыву и не успел даже предположить, к чему это приведёт, как коляска въехала под арку Монетного двора.

— Послушай, служивый! — обратился Борзов к унтер-офицеру, который прохаживался между двух караульных, стоявших с ружьями у входа в мрачное здание. — Емельку видеть дозволено?

— Пожалуйте, ваши благородия! — важно произнёс унтер и позвал солдата: — Проводи господ в камеру злодея!

Через сени они прошли в коридор, освещённый прикреплёнными к кирпичным стенам сальными плошками.

— Пожалуйте сюда, — сказал солдат, открывая толстую деревянную дверь, обитую железными полосами, и перед посетителями сразу предстал Пугачёв, закованный в кандалы и обёрнутый цепью, которая крепилась в каменной стене. Камера была высокой и просторной, узник находился в ней не один — возле печи на корточках сидел солдат и выгребал из поддувала золу. Другой солдат, держа в руке ружьё, находился возле стены и неотрывно глядел на Пугачёва, стоявшего на коленях перед скамейкой. Самозванец хлебал ложкой из деревянного блюда уху.

— Как жив-здоров, Емельян? — спросил Борзов и смутился от горячего и пронзительного взгляда, которым его смерил Пугачёв.

— Жить тошно, но и умирать не счастье. Жаль, я уху всю дохлебал, угостить тебя нечем. Хотя какой ты мне гость? Я тебя не знаю, а вот твой попутчик мне, кажись, знаком, где-то мы с ним виделись, а вот где, не возьму в память.

— Я и не догадывался, Степан, что на цепи сидит твой знакомец, — весело сказал Борзов.

— Мы с ним не встречались, но два раза друг на друга глядели: один раз в Казани, когда он из пушки стрелял по крепости, другой раз я видел его издали на крыльце своего дома в Кротковке.

— Стало быть, ты вон кто! — жарко выдохнул Пугачёв и шагнул, зазвенев цепью, к Кроткову. — Ну и как, обрёл то, что искал? Доволен своим счастьем?

— Хлопот с ним много. Иной раз оно мне кажется обузой, боюсь, не удержу его в руках.

— Врёшь, барин! — воскликнул Пугачёв. — Ты меня боишься, тебе моя смерть нужна, и ты хочешь её увидеть своими глазами.

Позванивая железом, он отступил к стене и опустился на низкую лавку, застланную овчиной. Кротков испытывал жгучее желание убежать из камеры, однако ноги его не слушались, и он жалобно поглядел на Пугачёва.

— Ладно уж, ступай подобру-поздорову, — сказал Емельян Иванович. — Жизни я людей лишал, грешен. Однако ни на чьё счастье даже не покушался, будь счастлив и ты, если сможешь. Истопнику, что не даёт мне замёрзнуть, дай денег, чтобы весь караул хватило угостить. А теперь ступай, после ухи меня всегда в сон клонит.

— 6 —

По высокому и светлому коридору Екатерининского дворца, отражаясь в многочисленных зеркалах и постукивая по навощённому дубовому паркету каблуками французских башмаков, мимо караульных офицеров гвардии и скользящих неслышно камер-лакеев, бледный от волнения и пудры шёл генерал-майор Павел Сергеевич Потёмкин, которому императрица Екатерина Алексеевна назначила быть в её рабочем кабинете с докладом об итогах следствия по делу злодейского бунтовщика и самозванца Емельки Пугачёва.

Государыня была полностью осведомлена о ходе расследования, ей немедленно доставляли протоколы допросов Пугачёва, коих сделали три: в Оренбурге, в Синбирске и в Москве, но Потёмкин был достаточно опытен, чтобы не забыть взять на аудиенцию копии этих документов, а также экстракт по всему следствию, составленный им самим и подписанный первоприсутствующим Особой следственной комиссии московского отделения Тайной экспедиции Сената московским губернатором и главнокомандующим князем Волконским.

Екатерина Алексеевна находилась в своём кабинете одна. Она сидела в кресле за большим столом и, отложив в сторону книгу, милостливо протянула Потёмкину руку для поцелуя. Павел Сергеевич безукоризненно прикоснулся нафабренными усами к благоухающему атласу запястья и, отступив на шаг, нежно и почтительно взглянул на государыню.

— Господин Вольтер нас не забывает своим вниманием, — сказала Екатерина Алексеевна. — Вот новое переиздание своего «Кандида» изволил преподнести, а с ним и письмецо: фернейского философа интересует маркиз Пугачёв, сие для него главное. А книжку он прислал с целью намекнуть, чтобы я последовала философии Панглоса: «Всё, что ни случается, то к лучшему». К какому лучшему явился Пугачёв? Может, тебе, Павел Сергеевич, это известно из твоих задушевных бесед с разбойником?

— Из допросов Емельки, ваше величество, я познал только одно — его подлый дух. Он есть наихудшее для дворянства зло, которое можно только выдумать. И не дай бог, чтобы в России когда-нибудь повторилось подобное.

— Степан Иванович имеет особливый дар обращаться с простонародьем, — задумчиво промолвила государыня. — Он доносит, что маркиз Пугачёв воображает, будто я ради его храбрости могу его помиловать и что будущие его заслуги заставят нас забыть его преступления.

— Обер-секретарь Тайной канцелярии его высокопревосходительство господин Шишковский донёс вам, ваше величество, совершенную правду: злодей вздумал надеяться на помилование. Сообща члены следственной комиссии решили не разуверять Емельку в его пустых надеждах, дабы он не подох от страха до казни.

— Однако среди дворян разгулялись слухи о моей мнимой милости, которую ты и Шишковский учредили выдумать якобы для пользы дела, — печально сказала Екатерина Алексеевна. — Дворяне мной недовольны, а некоторые и поругивают за слабодушие. Это не есть хорошо.

— Тем более будут велики их ликование и благодарность вашему величеству, когда разбойника четвертуют.

Государыня окинула грубоватую фигуру генерала испытывающим взором, усмехнулась и молвила:

— Хотя и далеко тебе по всем статьям до твоего дядюшки Григория Александровича, но и ты не глуп, как и все Потёмкины. Изволь присесть, где пожелаешь.

Откинув фалды парадного генеральского кафтана, Потёмкин осторожно опустился на край кресла и перевёл дух, догадываясь, что аудиенция стала складываться для него удачно и императрица к нему по-прежнему благосклонна, несмотря на козни, которыми потчевали её враги генерала, и первый среди них граф Панин, возомнивший себя единственным усмирителем пугачёвщины.

— Стало быть, Павел Сергеевич, ты считаешь, что его нужно четвертовать, без всякой оглядки на Вольтера? Скоро же из тебя выветрилось восхищение лучшим писателем Европы, перед которым ты преклонялся и весьма недурно переводил.

— Я до сих пор, ваше величество, пребываю в восторге от его книг, — почтительно произнёс генерал. — Однако любопытно было бы знать мнение философа после того, как Пугачёв побывал бы в его замке, растопил камин его бессмертными рукописями, сжёг бы в нём стол, за которым Вольтер трудился, а уходя, спалил до основания, как Казань, замок и его окрестности.

— Будем надеяться, что с ним такая беда не случится, — улыбнулась Екатерина Алексеевна и погрозила пальчиком. — Остерегись, Павел Сер-геевич, повторять эти слова перед кем бы то ни было, если не хочешь прослыть врагом просвещения, тем более, что ты уже провинился перед Европой, когда подверг Пугачёва кнутобойной пытке.

— Это было совершено по приказу главнокомандующего графа Панина, — слукавил Потёмкин.

— Ладно, оба хороши, — в голосе государыни послышалась озабоченность. — Я читала твой допрос и ясно увидела, что под плетью Пугачёв наврал с три короба: не может у него быть двух десятков подстрекателей к самозванству и бунту. Добро бы их двое оказалось. Но почему они только раскольники? Меня вот никак не покидает подозрение, что в подстрекателях есть иностранцы.

— Ваше величество! — сказал, встав с кресла, Потёмкин. — Будучи неоднократно допрошен, Пугачёв твёрдо показал, что никакие иностранцы не смущали его на принятие имени покойного государя. Особая следственная комиссия, заседая, определилась по столь важному вопросу: Пугачёв говорит правду.

Государыня задумалась, и Потёмкин, стараясь не скрипнуть, сел в кресло. В кабинете было душно, по генеральскому носу скатилась вниз капля пота, он подхватил её языком и почувствовал, как у него во рту стало слегка солоно.

— Как себя маркиз Пугачёв чувствует? А то меня известили, что на него накаты-

вает нечто вроде меланхолии. Он должен дожить до эшафота. Озаботься, Павел Сергеевич.

— Конечно, Емельке не над чем веселиться, — почтительно произнёс Потёмкин. — Он свою судьбу и без судебного приговора знает, потому и хнычет, и слёзы льёт, но умирать не собирается. В том видна его подлая мужицкая натура, безжалостная к другим и чувствительная лишь к себе.

— Всё должно кончиться казнью, — горько промолвила Екатерина Алексеевна и промокнула платочком уголки глаз с таким жалобным вздохом, что Потёмкин уверовал в её искренность. — Но каково моё положение! Я так не люблю этого. Европа подумает, что мы живём во времена Ивана Васильевича; такова честь, которой мы удостоимся впоследствии.

— Надо Европе показать сожжённую злодеем Казань. Может, она тогда соизволит проникнуться к нам сочувствием, — сказал Потёмкин. — Я защищал крепость, когда разбойники жгли храмы, монастыри, дома обывателей. Речка Казанка была запружена убитыми разбойниками людьми.

— Ты мне напомнил о разорении, коему подверглись дворяне Казанской и Оренбургской губерний, хотя как казанская помещица я об этом не забывала. Казань надо будет отстраивать заново, а пострадавшим от пугачёвского разорения помещикам, поелику это возможно, надо оказать вспомоществование, разумеется, в разумных пределах. Не учредить ли для этого дела особую комиссию, я ещё решу, но хотелось бы знать, нужна ли она.

Государыня затронула болезненную тему, которую сейчас взахлеб обсуждали пострадавшие дворяне, кои полагали, что правительство должно возместить все нанесённые им пугачёвщиной убытки. У Потёмкина было на этот счёт свое мнение, и он посчитал своевременным донести его до государыни.

— Убитых злодеями дворян возвернуть сможет только Бог, — вкрадчиво промолвил генерал. — В остальном же дворянство пострадало не так уж и значительно. Как это ни кощунственно звучит, многим дворянам разорение должно пойти на их же пользу.

— Что ты такое, Павел Сергеевич, говоришь? — забеспокоилась Екатерина Алексеевна. — Разве может быть от разорения какая-нибудь польза?

— Рассудите сами, ваше величество, — стараясь быть убедительным, продолжил Потёмкин. — Земли дворян остались у них в сохранности, крестьяне никуда не подевались, а тех, кто пристал к бунту, карательные команды высекут и вернут владельцам, стало быть, имущество помещиков каким было, таким и осталось.

— Но ты же сам сказал, что Казань сожжена, а также многие усадьбы, — напомнила государыня.

— В Казани что и было порядочного, так крепость, но она цела. Сгорели обывательские избы, так на их месте уже стоят новые. Что касаемо усадеб, то смею вас уверить, ваше величество, большинство из них представляли собой ветхие дедовские хоромы, возведённые ещё при Алексее Михайловиче, а то и ранее, когда казанская и синбирская окраины начали заселяться дворянами на пожалованные им земли. Они так и жили бы в своих хижинах, не мечтая о лучшем, теперь же у них есть возможность построить новые просторные и светлые дома, обставить их на современный лад и зажить, если не вполне по-европейски, но близко к этому.

— Стало быть, не всё так худо! — повеселела Екатерина Алексеевна. — А ведь ты, Павел Сергеевич, угадал мои шестилетней давности мысли. Когда я была в Синбирске, то как-то поглядела из окна единственного в сем граде каменного дома Твердышева на полуразрушенную крепость, обывательские домишки и подумала, что недурно бы все это развалить и построить, если уж не из камня, хоть из хорошего дерева, приличные дома. Но откуда дворяне возьмут на это деньги? Пугачёв их дома не только жёг, но и грабил. Да, кстати, много ли у него взято награбленных им денег?

— Наше дворянство прятать свои деньги умеет, — сказал Потемкин. — Из помещичьих усадеб Пугачёв поживился немногим, в основном се-ребряной и позолоченной посудой. Но им разграблены казначейства во всех городах, где он побывал, и там ему досталась только медь, которую он разбрасывал народу возами.

— А мне доносят о его несметной золотой казне, — удивилась государыня. — Или это не так?

— Золото Пугачёв брал на уральских заводах и в Казани. Часть его удалось отбить у него генералу Михельсону, но под Чёрным Яром золотой казны у Емельки уже не нашли.

— Любопытно! — оживилась Екатерина Алексеевна. — Это сюжет для Вольтера. Извещу его, что маркиз Пугачёв, по примеру Стеньки Разина, спрятал свои сокровища в громадном кургане на берегу Волги. Надеюсь, это отвлечёт философа от его несносных брюзжаний в адрес России. И он напишет философскую притчу о бренности

человеческого бытия.

— Пугачёв золото не спрятал, а потерял, — значительно вымолвил Потёмкин.

— Никогда бы не подумала, что он такой растяпа. Я вот, когда что-нибудь потеряю, начинаю испытывать такое чувство, какое испытывает обкраденный человек. Как же нашему маркизу не повезло?

— За Казанью на Пугачёва насел со своей гусарской командой граф Меллин и гнал его, не давая разбойнику продыху. В одной деревне он так на него насел, что Емелька бежал в одном исподнем, оставив всё, что у него было.

— И граф стал обладателем пугачёвского золота? — спросила Екатерина Алексеевна с ощутимой ноткой неподдельного интереса к почти рыцарскому приключению гусарского майора.

— Меллин, захватив усадьбу, не стал в ней шариться и поспешил за Пугачёвым.

Государыня с улыбкой посмотрела на выжидательно примолкшего Потемкина и сказала:

— Полно, Павел Сергеевич, мучить меня любопытством. Кто же нашёл клад Пугачёва? Объяви, кто сей счастливец.

— Должен огорчить ваше величество, золото досталось негодному дворянину Кроткову.

— В чем же его негодность? Он что, прилеплялся к Пугачёву?

— Степан Кротков настолько негоден, что вряд ли даже Емелька взял его в свою шайку. Он числится в отпуске по Преображенскому полку. Там его аттестуют как плохого солдата, враля, нечистого на руку картёжника и забулдыгу. Год назад от долгов он бежал из Петербурга в гробу...

— Как в гробу! — всплеснула руками донельзя заинтригованная Екатерина Алексеевна. — Он что, стал покойником?

— Прикинулся неживым, ваше величество. И вот такому прохвосту достался клад.

— И как он велик? — спросила государыня. — Любопытно, как разжился маркиз Пугачёв.

— Думаю, тысяч двести в золотых монетах и полстолька в драгоценных вещах, — сказал Потемкин.

— Этот Кротков, наверное, поспешил разгуляться?

— Ведёт себя тихо. Сыщик донёс, что он заказал себе шубу на бобрах, — многозначительно доложил Потёмкин.

— На бобрах? — звонко рассмеялась государыня. — Ну, ты меня, Павел Сергеевич, развеселил, а то я совсем захандрила.

— Прикажите изъять казну у оного Кроткова? — деловито поинтересовался Потёмкин. — И куда его самого укажете определить?

— У Кроткова, конечно, изъять казну в наших силах, — задумавшись на мгновение, сказала Екатерина Алексеевна. — Только кому будет от этого прок? Мне ворованных денег на дух не надо. Отдать их дворянам, которые потерпели убыток от пугачёвщины, но как? Добрые люди давно уже смирились с тем, что с возу упало, то пропало. На делёжку набегут худые, ища возможности поживиться. В Казани ты, Павел Сергеевич, устроил раздачу имущества, взятого у Пугачёва, так до драки дело дошло. А мне надо думать, как умиротворить царство, утешить обездоленных. Разве не об этом мне надо заботиться?

— Воистину так, ваше величество! — поспешил согласиться Потемкин.

— Всех разом сделать счастливыми даже я не могу, — кротко промолвила государыня. — Но одного на каждый день осчастливить мне вполне по силам. Пусть сегодня им будет Кротков. Вели ему моим именем, генерал, не болтать и пять лет сидеть на золоте в своей деревне, не показываясь из неё даже к соседям. После этого он волен жить, как захочет.

– 7 –

Викентий Павлович был весьма удивлён, когда Кротков обратился к нему с просьбой о скорейшем и благоприятном разрешении дела для госпожи Угловой, но десять империалов убедили его, что Степан имеет вполне серьёзное намерение, и проникся к нему самым искренним уважением. Титулярный советник видывал виды, и его ничуть не смутило, что золото Кротков вынул из засаленного кошелька, а сам щеголяет в штопаном кафтане.

— Дело о наследстве госпожи Угловой будет решено в ближайшие три дня, — важно произнёс Викентий Павлович. — Но мне сдаётся, Степан Егориевич, что у тебя есть и другие заботы.

Судейский угадал: на Кроткове висели петербургские долги, без их погашения он не чувствовал себя свободным человеком и в любой час мог оказаться под арестом по

иску своих кредиторов. Пока властям было не до его розыска, всех занимала смута, учинённая самозванцем, но розыскные бумаги на солдата гвардии никуда не запропастились и покоились, поджидая ответчика, в петербургском магистратском суде.

— Есть одно дельце, только оно, Викентий Павлович, вряд ли тебе по зубам, — сказал Кротков.

— Это почему ты меня так обижаешь? — воскликнул титулярный советник. — Я таких дел, что не по мне, не знаю.

— Оно в Петербурге, — вздохнул, намереваясь убрать со стола кошелёк, Степан. — Тебе туда не дотянуться.

— Очень даже просто! — заявил судейский. — И москвичи, и петербуржцы говорят на одном языке.

— Это на каком? — заинтересовался Кротков.

— На золотом, вестимо, — осклабился Викентий Павлович. — Звон империалов услышит даже глухой, только встряхни кошельком.

Поначалу Кротков хотел рассчитаться с процентщиками через Борзова, но, поразмыслив, вполне резонно решил, что доверять столь щекотливое дело пииту нельзя, тот вполне мог сорваться и прогулять доверенные ему деньги в трактире или спустить в карты. Титулярный советник хотя и заломит за посредничество, но дело сделает.

— Добро, Викентий Павлович! — решился Кротков. — Называй свою цену.

— Как же я её назову, когда дела не знаю? — развёл руками титулярный советник. Выслушав Кроткова, он закусил нижнюю губу и, поразмыслив, вымолвил: — Ох уж эти грешки молодости! Дорого они обходятся человеку, когда он повзрослеет. Посему меньше чем за пятьсот рублей я за это дело не возьмусь.

Если судейский, заломив такую несуразную цену, думал, что Кротков будет торговаться, то ошибся.

— Согласен, — весело сказал Степан. — Но у меня к этому делу будет одно крохотное порученье.

— Что такое? — напрягся Викентий Павлович, который уже успел раскаяться, что запросил слишком мало.

— Вместе с долгом нужно передать Саввишне перстень с яхонтом. Пусть старуха потешится.

— Странные, однако, у тебя пожелания, Степан Егориевич, — удивился титулярный советник. — Где это видано, чтобы процентщицу ещё и одаривать? Так тебе никакого богатства не хватит.

— На мой век хватит, — веско сказал Кротков. — А эта старуха мне крепко помогла.

Развязавшись с долгами, Степан сразу почувствовал, что ему стало легче ходить и дышать, и он занялся своим гардеробом. Но это оказалось не таким уж и простым делом. Наехавшие со всех сторон полюбоваться казнью Пугачёва дворяне завалили портных заказами. Степан ткнулся в несколько мест, но везде ему говорили столь дальние сроки исполнения, что он отступал, пока не догадался, что его встречают по одежке, которой впору было висеть в лавке какого-нибудь старьёвщика на вшивом рынке, и не ведают, что перед ними первостатейный богач. Неудача Степана раззадорила, в нём проснулся азартный игрок, и он, узнав адрес самого дорогого портного Москвы, явился к нему и, оттолкнув портняжку, который хотел заслонить дорогу, бросил на стол тугой кошелёк с золотом. Мастер Жюль сначала хотел возмутиться, но, услышав звон, присущий только империалам, широко разбросал в стороны руки, будто решил обняться с Кротковым.

— О!.. — воскликнул великий портной. — Наконец-то я вижу настоящего заказчика! Я уже три года в Москве, имею славу лучшего портного в России, но вы, мсье, первый русский боярин, который так решительно продемонстрировал солидность своих намерений.

— Разве вы не шьёте на первых богачей? — удивился Кротков.

— Ах, мсье, — вздохнул мастер. — Они мои клиенты, но слухи об их широкой щедрости явно преувеличены. Это в Париже русские бояре не считают золота, а в Москве они прижимисты и даже скупы. Делают заказы с оглядкой на свой карман, а уж как привередливы! Но вы, я вижу, не такой и желаете, чтобы я вас одел с головы до ног.

— Хочу иметь самое лучшее платье, шубу на бобрах и такую же шапку! — заявил Кротков.

— Великолепно! — восхитился мастер Жюль. — Извольте пройти со мной, ваше сиятельство!

Соседняя комната была складом самых различных тканей и мехов. Одну за другой портной разворачивал перед Кротковым штуки батиста, атласа, голландского полотна и английского сукна и тут же прикидывал их на Степана, повернув его лицом к обширному, в треть стены, зеркалу. На заношенном кафтане эти ткани смотрелись в

большом выигрыше, и Кротков соглашался со всем, что ему предлагал француз, чувствуя, как от обилия ярких красок и болтовни хозяина у него начинает пошумливать в голове.

— А где бобры? — встряхнулся Степан.

— Мои бобры для вашей милости не подойдут. Для вас я найду лучших в Москве бобров. А теперь позвольте снять с вас мерку.

Они вернулись в примерочную комнату, мастер Жюль помог Степану освободиться от кафтана, схватил со стола метр и стал им действовать, как фокусник магическим жезлом, то бегая вокруг Кроткова, то приседая, то кланяясь и выкрикивая по-французски размеры, которые его помощник записывал в объёмистую тетрадь.

Своей тётушке Степан решил не говорить, что побывал у самого дорогого в Москве портного, к тому же француза. Но шила в мешке не утаишь, Агафья Игнатьевна всё узнала от кучера, который возил Кроткова на примерку. От неё затейка племянника стала известна Петру Николаевичу, геройский майор обиделся, что Степан не внял предостережениям, и наказал его тем, что перестал надоедать своими рассказами о турецкой войне, чему тот был весьма рад.

Житейские хлопоты отвлекали Кроткова от дум о ненадёжности своего богатства, ведь, несмотря на полученное от Пугачёва благословение на владение кладом, он ещё не до конца был уверен, что счастье его нерушимо. Полностью надеяться на слово мужика, хоть и «анпиратора», дворянину было бы неблагоразумно. И, сам себе в этом не признаваясь, Кротков ждал казни самозванца как дня, в который окончательно решится его участь. Чтобы отвлечь себя от дурных мыслей, он горячо занимался своим переодеванием.

Мастер Жюль, воодушевлённый щедрым заказчиком, работал не покладая рук и пошил верхнее платье к Васильеву дню, на новый, 1775 год, поклявшись снарядить Кроткова в бобров на Рождество. Получив обновки, Степан без промедления в них облачился и вышел к праздничному обеду, сияя узорчатым атласом жилета, золотыми пуговицами и серебряными, обдутыми алмазной пылью пряжками башмаков, которые под ним победно поскрипывали, отсвечивая накрахмаленными кружевами на отворотах рукавов кафтана и пышной гривой завитого в крупные кольца сивого парика.

Узрев преображение племянника, Агафья Игнатьевна всплеснула руками и ахнула.

— Вылитый кавалер из календаря! — только и смогла вымолвить тётушка. Егориевский кавалер недовольно засопел и, постукивая деревяшкой протеза, покинул гостиную. — Пётр Николаевич серчает, — вздохнула Агафья Игнатьевна. — Ты, Степанушка, одевался бы в доме попроще.

— Каждый живёт по своему достатку, — нравоучительно заметил Кротков и потянулся к графинчику с очищенной водкой.

Утро 10 января 1775 года было в Москве сухим и морозным. Окно в комнате, где жил Кротков, за ночь насквозь промёрзло, заледенело и от медленно восходившего над древней столицей солнца окрасилось в сукровичный цвет. Поёживаясь от холода, Степан выпростался из-под тёплого одеяла, облачился в подбитый заячьим мехом атласный халат и, выглянув в коридор, крикнул слугу. Малый скоро принёс лохань с холодной водой и кувшин с горячей, чтобы барину было чем умыться и побриться. Закончив приборку лица и головы, Кротков неторопливо стал одеваться к выходу в город.

Мастер Жюль сдержал своё честное портняжное слово — бобровая шуба была пошита, и одетый во всё новое, благоухающий мускусом и другими парфюмерными сладостями Кротков возложил её на свои плечи, покрылся бобровой шапкой и вышел из комнаты в коридор, где столкнулся с егориевским кавалером. Пётр Николаевич, до немоты поражённый вельможным видом племянника, отпрянул от него к стене, и Степан величественно прошествовал мимо хозяина, уязвив поборника дедовских нравов развратным запахом французских пряностей.

Открытый санный возок мало соответствовал бобрам, но Кротков в этот день был выше того, чтобы придавать значение таким суетным мелочам. Он взгромоздился на сиденье, запахнул шубу и ткнул Сёмку в бок, побуждая его встряхнуть вожжами. Зашуршали по жёсткому снегу полозья, сторож распахнул ворота, и сани выехали на улицу, где нашли себе место в людском потоке, который был устремлён к Каменному мосту. Невзирая на стужу, дворяне и простонародье спешили на Болотную площадь, где всё уже было готово для свершения казни над Емельяном Пугачёвым и его ближайшими приспешниками.

Экипажи через мост не пропускали, и Кроткову пришлось выбраться из саней и присоединиться к толпе, где благодаря вельможным бобрам он нашёл для себя просторное место: люди почтительно сторонились Степана, подозревая в нём значитель-

ную особу, никак не ниже четвёртого класса, возможно, даже сенатора. Однако Кроткову было не до почтительности, проявленной к его шубе. Он чувствовал, как в нём, опаляя душу, нарастает нетерпеливое возбуждение перед самым решающим мигом той жизни, которую он вёл с часа, когда кинулся в погоню за кладом, не ведая, что конец этого пути найдёт возле эшафота, приготовленного для его благодетеля Емельяна Пугачёва.

За мостом взору Кроткова открылась Болотная площадь, уже почти целиком заполненная народом. Все кровли домов и лавок вокруг неё были усеяны людьми, которые нашли там места для самого выгодного обозрения предстоящих казней. Эшафот был ограждён каре из пехоты с ружьями, но от него до эшафота оставалось значительное пространство, куда пропускали только дворян. Кротков поспешил туда, не оглядываясь по сторонам, и опять шуба стала для него магическим пропуском, позволившим Степану подойти к эшафоту на расстояние трёх саженей и пристально рассмотреть это ужасное сооружение.

Эшафот, по бокам обшитый досками, приподнимался над землёй на высоту полутора саженей. Помост был огорожен со всех сторон невысокой балюстрадой-заборчиком, посредине его высился столб с воздетым на нём колесом, который увенчивала железная спица. Вокруг эшафота стояло несколько виселиц с приставленными к ним лесенками и висящими петлями, а возле столбов находились предназначенные для повешенья узники. До Кроткова порывом лёгкого ветерка донесло сивушный запах: сгрудившись на помосте, палачи пили отпущенную им из казны водку.

— Везут! Везут! — зашумела и заколебалась вся площадь.

Издав невнятный гул, толпа раздалась на две стороны, освободив дорогу для высоких огромных саней, на которых приехали Пугачёв, священник и чиновник Тайной канцелярии. Одетый в белую баранью шубу и с непокрытой головой, Пугачёв кланялся по обе стороны народу, но слов, которые он при этом произносил, не было слышно. Кротков замешкался вместе с другими людьми отойти в сторону, и когда сани подъехали к нему, он, собравшись с духом, поднял глаза на узника, но Пугачёв его не увидел. Взгляд смертника был устремлён в бездну, куда ему уже неизбежно предстояло погрузиться навсегда.

Многочисленная толпа окружавших место казни дворян при виде своего кровного врага возликовала, что злодею не удастся избежать возмездия, но свою радость люди благородного сословия в открытую не высказывали. Послышался всего лишь один, не поддержанный другими, удивлённо-негодующий возглас:

— Боже мой! До какого ослепления могла дойти наша чернь, чтобы почесть такого сквернавца за государя императора!

Но мужицкий царь этого барского упрёка народу не слушал, с саней его свели к крыльцу эшафота. Медленно ступая, он поднялся на помост и предстал перед толпой в сиротском и затрапезном виде, ничуть не напоминающем того грозного Пугачёва, который вздыбил на дворян подневольную Русь. В его чертах не было ничего свирепого, он даже казался растерянным и бормотал молитвы, кланяясь по сторонам и временами вскрикивая: «Прости, народ православный!..»

Распорядитель казни обер-полицмейстер Архаров дал знак чиновнику огласить решение и сентенцию Сената. Наконец прозвучал приговор: казнь четвертованием. Палач сорвал с Пугачёва баранью шубу, разорвал на нём малиновое полукафтанье и опрокинул его на плаху. Сверкнуло лезвие топора, и в этот миг многие свидетели казни отвернулись или потупились, но только не Кротков. Он широко раскрытыми глазами глядел на летящий к плахе топор и вдруг ощутил вокруг своей шеи нестерпимое жжение.

— Ах, сукин сын! Что ты сделал! — закричал на палача чиновник. — Ну, скорее — руки, ноги!

Теперь уже на всех смертников набросились их палачи. Над толпой явственно разнёсся стук топоров — это отрубали руки и ноги у Пугачёва и Перфильева, из-под приговорённых к повешенью были выбиты лесенки, и в петлях, корчась, забились Торнов, Падуров и Шигаев. Рукой палача на железную спицу была воздета отрубленная голова Пугачёва, на колесо возложены части тела, над которыми заклубился кровавый пар.

Не все дворяне смогли вынести столь убийственное зрелище, нескольких стошнило, но большинство стали веселы и довольны. Важный старик, стоявший рядом с Кротковым, промолвил:

— Умна матушка-государыня! Как ловко всем угодила: и дворянству, что требовало смерти злодея, и вольтеровской Европе, коя гуманно рубит своим преступникам головы, но протестует против четвертования в России. Нечего сказать, умна!

Ощущая в душе ледяную пустоту, Кротков добрел до своих саней, взгромоздился на сидение и с недоумением взглянул на полицейского офицера, который, больно придавив ему ножнами сабли ногу, примостился рядом.

— Господин Кротков? — шевеля заиндевелыми усами, строго осведомился офицер.

— Так точно, — пролепетал Степан, чувствуя, как под ним разверзлась пучина страха. Сёмка обернулся и удивлённо смотрел на непрошеного седока.

— Что зенки лупишь! — ощерился офицер. — Гони на Монетный двор!

Не успел Кротков опомниться, как оказался в знакомом ему коридоре возле открытой настежь двери камеры Пугачёва.

— Вот и бывшие покои злодея, — промолвил офицер. И Степана вдруг обожгла ужасная догадка, что валявшиеся на полу возле лавки, покрытой овчиной, кандалы и цепь, все эти каторжные снасти, предназначены для него, и сейчас его снарядят в них и прикуют к стене, как Пугачёва. Офицер подтолкнул Кроткова в спину и понудил идти в дальний конец коридора, где размещались кабинеты следственной комиссии.

— Что, проводил в последний путь своего благодетеля? — язвительно сказал генерал Потёмкин. — Возрадовался, что больше никто не знает о воровском золоте, которое ты хранишь в ретирадном месте? В бобров вырядился, мерзавец! Вон из Москвы! Повелением государыни тебе на пять лет воспрещён въезд в столицы! Сиди в деревне на своём поганом золоте и не высовывайся! — и сунул под нос Кроткова костистый кулак.

И тут потрясённый до глубины своей души Степан совершил невообразимое: он припал подрагивающими губами к генеральской руке и всю её обслюнявил благодарными поцелуями. Пока Потёмкин, онемев от изумления, судорожными движениями обтирал о кафтан испачканную слюнями руку, Кротков нашарил спиной дверь, вывалился в коридор и помчался, размахивая полами бобровой шубы, на выход. Вскочив в сани, он ударил Сёмку по спине и крикнул:

— Лошадь не распрягай! Сегодня же повезёшь меня в Кротковку!

Послесловие

Погоня за пугачёвским кладом, завершившаяся, по воле государыни Екатерины Алексеевны, надёжным обретением сокровищ, подкосила Кроткова, и в свою деревню он приехал совсем хворым, едва узнал бурмистра Сысоя и на долгое время слёг в постель. Внешне Степан выглядел вполне здоровым, его хворь проявлялась в равнодушии к жизни, углублявшемся приступами жутких кошмаров: ему по ночам мерещились то голова Пугачёва на эшафотной спице, то громадной величины кулак генерала Потёмкина, то дергающийся в петле на ветке дерева несчастный Парамон Ильич.

Кротковым овладел страх быть отравленным, и к себе он допускал лишь Сысоя, доверяя только ему себя кормить, поить и обихаживать. Верный холоп сокрушался, глядя, как барин мается неведомой его мужицкому уму хворью, и считал, что господина сглазили в Москве. Убрать такой силы порчу было бы под силу одному лишь Савке-богу, но другой кудесник в округе ещё не объявился. Пришлось Сысою идти к попу, чтобы тот отслужил во здравие господина молебен и окропил его святой водой. «Как бы он, Сысой, не огрел меня поленом, — поёжился отец Никодим. — Тятенька барина, Егорий Ильич, меня им, бывало, жаловал...»

Сысой был настойчив и привёл попа в господский дом, где он освятил все углы, на что Кротков равнодушно поглядывал со своей кровати, но эту ночь он первый раз провёл без обычных кошмаров. Когда отец Никодим явился на следующий день, Степан встретил его благожелательно, угостил чаркой очищенной и велел приходить к нему без зова. У попа хватило ума не надоедать жалобами на церковную бедность, а ежедневно орошать душу барина рассуждениями о бренности человеческого бытия и терпеливо ждать плодов от своего духовного саженца. К весне Кротков вполне созрел для принятия нужного решения: он велел Сысою выкопать тридцать одну бочку медных пятаков, тридцать из них пожертвовал на строительство храма, а одну бочку подарил отцу Никодиму, чтобы он её потратил на священные одежды для себя и диакона.

Судьба вскоре отблагодарила Кроткова за богоугодный дар женитьбой на хорошенькой дворяночке старинного рода и значительного состояния, которая принесла ему одного за другим двух сыновей.

После пяти лет затворничества в деревне он рискнул поехать в Синбирск, где осмотрелся и купил две деревни с семьюстами крепостных душ. Этим его приобретения не ограничились. Всего Кротков приобрёл на золото пугачёвского клада 6000 крепостных в Синбирской и Московской губерниях, усердно занимался хозяйством и богател, однако одно обстоятельство лишало его ощущения полноты своего счастья.

Скоро богатство Кроткова вызывало подозрение у всех, кто его знал. Пошли толки, что Кротков заимел его нечестным путём, якобы подкараулил и убил демидовского приказчика, который с золотой казной проезжал мимо его деревни. Но в основном судачили о том, что находилось поближе к правде: будто Кротков служил у Пугачёва казначеем, оттого и неслыханного обогатился. Этот слух был запечатлен известными мемуаристами и повторён Е.Карновичем в книге «Замечательные богатства частных лиц в России», изданной в 1874 году.

Это, конечно, выдумка. Пугачёв вешал всех встреченных им дворян и доверить добычу Кроткову не мог, а если доверил, то казначей недолго бы прожил, потому что слишком много охотников на его голову имелось в окружении «мужицкого анпиратора». Кротков обрёл сокровища волей случая, не совершив ни одного явного преступления, но в его обогащении для окружающих всегда была неясность, и дворяне его сторонились.

Не обрёл покоя и счастья Кротков и в зрелые годы. И причиной этому стали его сыновья, большие моты, отличавшиеся распутством и буйством. Один из них подделал доверенность на продажу деревни и купчую крепость, где среди других крестьян записал родного отца «бурмистра Степана Кроткова». Дело получило скандальную огласку, и Степану Егориевичу пришлось изрядно потратиться на взятки и дачу отступного, чтобы ликвидировать сделку.

К тому времени он уже был вдовцом и в пику своим недостойным отпрыскам разделил имения. Оставив сыновьям синбирские деревни, Кротков уехал в подмосковную усадьбу и женился на молодой и смышлёной особе, которую объявил своей единственной наследницей.

О его потомках известно, что они отличались грубостью и жестокостью, торговали людьми, как скотом, кнутобойствовали и насильничали, удивляя своими повадками даже привычные ко всему губернские власти. Наконец возмущение крестьян достигло предела, и в мае 1839 года в селе Шигоны Сенгилеевского уезда Синбирской губернии толпой был растерзан помещик Павел Кротков, обвинённый крестьянами в поджигательстве.

Это нелепое на первый взгляд обвинение отражает суть взаимоотношений между народом и благородным сословием. Своими неправдами и насилиями правящий класс даже после пугачёвского бунта продолжал усердно «поджигать» Россию, и стоило появиться новому Пугачёву, вооружённому теорией классовой борьбы, как грянула революция. Именно Ленин *(который, напомним, родом из Симбирска — прим. ред.)* и стал тем кладом Пугачёва, о котором бредил народ до 1917 года. К чему это привело, известно всем, но осознано далеко не многими.

Виктор ЗАЙКОВ

СТРЕЛЯЙТЕСЬ САМИ, МАЗЕПА

Роман из подполья

Часть III. ЗАСАДА[1]

Глава 1. ИСТРЕБЛЕНЦЫ

Изводчик тараканов с книжным именем Истома и обидной фамилией Слюняев ютился со своим беспортошным семейством в обтёрханном домишке на Солдатской улице Тобольска: кривенькой, полусонной, малолюдной днём, а вечерами и совсем пустеющей из-за нередких гульбищ с мордобоем и поножовщиной. Ничего, кроме уныния, виды этой околицы не вызывали. А чего на неё смотреть? Не господа, чай, живут — проезжай мимо, коли не нравится, нос зажми и головой по сторонам не крути. Ужели жалкие крестьянские огороды за мосластыми жердинами зреть никогда не доводилось? Или обляпанный грязью куреслеп вперемежку с татарником и крапивой под заборами не видывал? Здесь услада для глаз и ушей только хозяйственному селянину можется: ишь, как на самом просторе проезжей полосы — в колеях её и колдобинах — с утра самого жизнерадостно плещутся гусиные да утиные выводки, и по-барски возлежат (попробуй сгони их) многого веса свиньи. И петухи ещё орут — соловьи простуженные. Да иволга — слышите? — в недалёком березняке влюблённым чего-то выплакивает...

В народе исстари говорили знающе: «Была бы изба, будут и тараканы». Поэтому Истома без работы не сидел. Только платил ему обыватель за избавленье от «пруссаков» и прочей запечной нечисти безрадостно мало. А ещё за эти годы Слюняев пропах дустом и скипидарно-керосиновым настоем настолько, что супружница его, когда он лез к ней с ночными претензиями, чихала слёзно и желала ему окочуриться вместе со своими «хрущатыми кровососами». Обидно, конечно. Но где одеколонов этих дорогущих наберёшься, чтобы эфир избяной довести до приятствия? Детям на прокорм не всегда хватает, а тут... Вот завтра идти ему надо к очередному заказчику, а сотоварищ его по артели пропил общую деньгу, что нужна была для выкупа из аптеки «персидского порошка»[2] и ещё «парижской» смеси мышьяка белого. Чтобы клиента не лишиться, придётся теперь самому садиться отраву готовить — дурман окаянный с цветами бузины тереть или терпентинное масло[3] мешать да толочь с конопляным семенем. А хотелось бы баньку истопить и после неё, духмяной, оздоровиться припрятанным «мерзавчиком». Тишком, конечно. А как же и́наче. «Эх, да, сволочь он, энтот Савватей, — думает Истома о помощнике. — Мозгу́[4] из носу его пущать уже надоело, надоть из-

[1] Часть I «Казнь» и часть II «Провал» романа Виктора Зайкова «Стреляйтесь сами, Мазепа» опубликованы в №1 и №2 «Невского проспекта», соответственно

[2] Персидский порошок» («слюногон») – смесь из высушенных цветов и листьев далматской или кавказской ромашки

[3] Терпентинное масло – очищенный скипидар

[4] Мозга́ – кровь

гонять баклушника в шею». Но тут из-за сарайчика испуганный голос жены донёсся:

— Эй, истоми́тель тараканий, бросай своё безделье, давай сюдыть по-скорому. Кто-то из городских приехал, тебя требуют!

Слюняев оправил рубаху из мухояра, увалистым шагом обошёл избу. И сразу увидел стоящий за хлипеньким палисадом, аккурат против калитки, на расстоянии, едва достаточном, чтоб только открыть её, не шарабан какой-нибудь издрызганный, а празднично сверкающий кабриолет. Истома обмер в недоумении: это кто же им с бабой такую честь оказал?! Вроде не заслужили они. А у колясочки, поочерёдно ставя ноги на подножку, смахивал пыль с модных замшевых штиблет хорошо знакомый нам калетинский клеврет — Михаил. Закончив, он удовлетворённо крякнул и небрежно — через плечо — бросил тряпицу под забор. После чего неспешно повернулся, нашёл глазами того, кто был ему нужен, и начальственно велел:

— Выходи из крепости своей, трудящий человек, потолкуем.

Истома несмело выступил на улицу, на всякий случай поклонился. Приезжий недовольно скривил губы — фи, какие учтивости. Но всё же приподнял свою шляпу и... вдруг расплылся в улыбке: заметил за изгородью Слюняиху — мучительных форм сибирячку.

— Это что, твоя тестатуа́ри? — спросил удивлённо.

— Кака ещё така прости, господи, татуари? — не понял, оглянувшись, мужик. — Это баба моя Аграфена, исконь русачка, в церкви крещённая по обряду нашему.

— Не серчай, мил человек. Тёщу свою бывшую я так для форсу величал. На манер а́нглицкий, — успокоил Истому «Рыжий». — А коли баба твоя, чего же она при молодости своей такой необиходной стала?

— Это как это? — обиделся хозяин. — Пошто необиходной?

Гость снова игриво оглядел Аграфену:

— А так. Пока её всю вокруг обойдёшь, от счастья забудешь, куда и путь держал. Но это я шутейно, конечно. Ничего плохого не подумай. Наше дело в добре людям содействовать, а не то чтобы жён чужих посрамлять. Ты кадык свой зажмурь, муженёк, и слушай сюда. Узнали мы, мил человек, что мастер ты золотой по части изгоненья насекомых из «фатер», — и, заметив, что последнее слово собрало на лбу крестьянина морщины, с ухмылкой пояснил: — Модно сейчас дома́ господские так называть. Для важности. Так вот, родимый, у нас к тебе предложенье имеется. Тут барина одного очень важного клопы одолевают — мочь его на исходе. Чего он только не испробовал, а оно всё едино кровососы не унимаются. Сыплются на него ночами с потолка и сыплются, поганые. Может, возьмёшься друга нашего из беды вызволить?

Истома облизал пересохшие губы, потеребил подол рубахи и стал с каким-то надрывом отнекиваться:

— Так ить это, таперь не имею возможностев. Опростался. Деньги-то артельщик мой спустил без моего изволенья, а где сегодня хорошей потравы взять без грошей, я не горазд сказать. Пущай под кровать полынь суёт господин ваш знакомый, от неё клопу смерть. Но ишо вернее: надоть зимы дождаться, тараканов-то для истребленья сподручнее всего морозить. Да. По деревням испокон так робили.

Михаил округлил глаза:

— Ты чего мелешь, голубь облезлый? К зиме из бедного человека всю кровушку высосут.

— Так сказал же я, германску «парижску» смесь токмо в аптеках отпущают. Яд ведь чистый она. Недели три силу имеет, до того пробориста. Потом, правдыть, снова надо мазать ею щели и углы. Однако облегченье какое-никакое скоро образуется. Но опять же, денежков-то на неё кто мне наперёд одолжит? И вот нету у меня ишо сподручников знаюшшых, с кем бы я согласье имел. Был один — соседко вон через дорогу — дак с круга спился. Другого взял, так и он в стакане тонет. Инда извиняй, барин, помощи тебе не окажу.

— Слыхала, — обратился «Рыжий» к Аграфене, — как пентюх твой от верной деньги отказывается? А скажи, — посмотрел уже на Истому, — когда в последний раз ты семейство своё мясцом потчевал или пельмешками с солёным маслицем, к примеру?

— Не слушайте вы его, ирода, — ринулась к ним от калитки баба. — Ён порченый на язык сызмальства. И как та стрекоза — коромыслом всё лежал бы себе да мечтал досыта. Сама пойду, коли нужно. Мне хитрости евойного промысла знакомы. Управлюсь. У-у! — замахнулась на мужа.

Миша потянул за гопу[1] брегет из кармашка жилетки, щёлкнул крышкой — зазвучала мелодия. Подкатив глаза, послушал, сунул часы обратно.

— Эх, мил человек, — укорил Слюняева, — мало тебя жизнь трепала. Ну да ладно. Возьми, да не ты, — отведя руку мужика, протянул десятирублёвый билет Аграфене.

[1] Гопа — цепочка для карманных часов

— Проследи, чтобы купил твой лапоть в аптеке всё нужное и ждал меня. Два рубля сверх того, так и быть, разрешаю на гостинцы детишкам использовать. Что же останется, попрошу вернуть, будто маме родной, без обыска. Ну а когда с работой управитесь, гонорарий тройной поднесём. Мы не фармазонщики, не обидим. И помощников я тебе найду смышлёных, — «городской» сунул мужику ладонь лодочкой, прощаясь. — В любую щель залезут не хуже твоих тараканов.

Аграфена, пустив слезу по щеке, попыталась поймать Мишину руку. Для лобзанья, наверное.

— Храни вас господь, ваше сиятельство, — бормотала заискивающе.

Но гость, отклячив зад, попятился. Усмехнулся при этом в душе: «Ну, если Северьян у нас «боярин», то почему бы и мне «сиятельством» не быть». Забрался в коляску и укатил. Вечером следующего дня снова приехал. Проверил, все ли пожелания его исполнены, пересчитал деньги, что передала ему с поклоном баба, ласково глянул на неё и отвёл в сторону Истому.

— Не передумал, мил человек? Тогда в четверг надень с утра рубаху повеселее, — приказал негромко. — Отраву в этот саквояж уложи. И пусть жёнушка бородищу твою от колтунов освободит. Не то рожа у тебя — ребёнок господский увидит часом, под себя наделает. Мы за тобой заедем. Жди.

Пошёл к коляске, но неожиданно вернулся. Брезгливо принюхавшись, спросил:

— А чего это от тебя разит таким едким? Махорку, поди, садишь прелую да прошлогоднюю? — клопомор виновато развёл руки. — Ты тошнотину эту не вздумай с собою брать, — указал «ваше сиятельство». — Никаких кисетов и «козьих ножек» со слюнями чтоб я не видел. Тот, к кому поедем, запаху табака низкого боится вровень с тараканами. Я тебе папиросок «Тары-бары» на время работы презентую, чтоб видел клиент всю нашу серьёзность. На, — вытащил из кармана пачку, — смоли и не кашляй.

Четверговым утром, когда город ещё только просыпался, артель «истребленцев» в составе Истомы, Михаила и Кукиша (Зейдулла был за кучера) направилась к особняку в нагорной части города, в котором проживал Иринарх Гаврилович Мазепа — человек основательный и семейный, кавалер орденов российских и ротмистр Отдельного корпуса жандармов. И ехала компания его... убивать.

...После похорон Алымова прошло уже несколько месяцев, а Калетин всё никак не мог дознаться: кто же всё-таки тогда стрелял в однокашника? Северьян, Зейдулла и другие «помощники» Григория Платоновича, верно зная, что обнаружен был Цезарь мёртвым сразу после визита к нему неких полицейских чинов, всё это время осторожно расспрашивали соседей и знакомцев покойного: не признали ли они часом кого-нибудь, кто заходил в тот день к Алымову? А ещё искали его пропавшую гувернантку. Увы. Соседи лишь пугливо озирались и пожимали плечами, бывшие же сослуживцы только плакали.

Выяснилось, как об этом часто — не без интриги — пишут в романах, всё совершенно случайно, но необходимо к месту. Зашли как-то Миша с «Боярином» погреться в одно заведение «законченных страстей», спрятанное у подошвы Троицкого мыса средь неприглядно серых соляных амбаров, где половой не успевал разносить за столики полуштофы с «беленькой», где девиантные дамочки[1] с фиолетовыми букетами рож качались, будто дети малые, на коленях местных громил, а за прилавком бритый наголо — мясник мясником — орудовал в грязно-красных налокотниках бывший конокрад «Румын», в миру Пе́тру Демитрэску, попавший в Тобольск путём только полиции известным. И сразу у входа кабацкий вышибала по прозвищу «Карамелька» шепнул Северьяну неожиданно, что всего-то за пару шкаликов «анисовой» будет рад сообщить друзьям ба-альшого человека Григория Платоновича очень чувствительную новость. Ну, уважили бандита. Выпил тот поднесённую ему чарку, покряхтел, выпрашивая, видимо, ещё, но, споткнувшись о взгляд «Боярина», всё так же шепотом произнёс:

— Гляньте-ко на дядю вон того, што за столом у окна морду поклал в рассольник. «Фараон» то переодетый. Мамой покойной клянусь. Видел я его не раз у «Ямской» с рево́львером на казённой шкуре. Сюда уже с неделю как ходит. Может, это, выташшыть да свалить его в Курдюмку[2], пока он тут нам бед не понаделал?

— Погоди, не суетись, — Михаил жестом показал дверному сторожу, чтобы он налил себе ещё. Подождал, пока тот выпьет. — А теперь, приятель, давай выкладывай, чем таким весёлым хотел нас порадовать.

«Цербер» удивился:

— Рази ж это не новость, что я вас о паскуде предупредил?

— Он здесь уже несколько дней морды ваши и разговоры списывает, а ты нам толь-

[1] Девиантные дамы – проститутки

[2] Курдюмка – небольшая речка, впадающая в Иртыш

ко сегодня о том выкатываешь, — усмехнулся и поиграл ножом в руке Северьян. — Зови сюда дружка своего плешивого.

«Карамелька» послушно протолкался меж пьяного люда, отшвырнул от прилавка изнурённых в пагубе питух, перегнулся через стойку. Его чёрные космы коснулись жёлтого черепа приказчика. Слушая своего халдея, Демитрэску как-то зло оглядывал зал, кивал согласно, потом крикнул мальчишке половому, чтобы приглядел за кассой, и, чертыхаясь, протиснулся к нужному столику. Играя желваками, услужливо склонился перед опасными — принесла же их нелёгкая! — посетителями. И тут же, не дожидаясь вопросов к нему, с ловкостью циркового фокусника вытянул откуда-то из-за уха «красненькую»[1]:

— Вот, это вам, осудари, за то, что не забываете нашу корчму. Да-с. Прошу принять от самого сердца. А этот валух[2], — чуть заметно кивнул в сторону спящего посетителя, — рогов своих бодливых уже лишился. Из полиции, верно знаю, его, дурака, изгнали. Да-с. Кажется, после того шухера, помните, когда циркача пристрелили.

«Рыжий» насторожился, бросил быстрый взгляд на Северьяна. Привстав, с показной брезгливостью — двумя пальцами за фартук — притянул к себе «мясника» и с угрозой процедил:

— Запахни рот и слушай сюда, любитель лошадок. Взнуздай-ка нам нашего спящего жеребчика по-тихому. Пора его на свет божий вывести да поглядеть, какой он масти в натуре. И лохмóту из-за соседних столов на улицу выброс, нечего ей на чужие разговоры уши топырить.

Но Северьян остановил заединщика:

— Ша! Ты, Михайло Ксенофонтович, разве не помнишь нашу правду, что убирать после себя должен тот, кто нагадил? Вот пусть Пéтру со своим швейцаром и выметут отсюда легавого. Но прежде вытрясут его, как грушу. Чего ему на харчах городового не сиделось? За какие такие делишки попёрли его из полиции? Очень мы интересуемся про это знать. Усекаешь?

Миша сказал, что не возражает, но хочет добавить слово.

— Говори, — сунул нож за голенище «Боярин».

— Червонец предлагаю гололобому вернуть, — «Рыжий» поднял глаза на приказчика. — Ежели выяснится, что мент в мокрухе[3] замешан был, ты денежки тогда вдове его переправь — на похороны, понял? Ну, а коли чистый он, тогда «красненькой» нас в другом разе обогреешь. Утром Зейдулла к тебе чайку зайдёт попить. Норов у него — слыхал, поди? — не по-нашенски горячий. Ты уж не строжи дружка нашего без надобности. А мы пошли пока. Оставайся во здравии.

На следующий день горец доложил Калетину:

— Весть добрую ветром принесло, Григорья Плаытоныч. Румын бессарабский, который питейную у Прошки Додонышка недавно как три месяца тому в карты выиграл, узнал об убивцах Цезарь Юлича. Урядник Громыхайло стрелял по нём, а команду подавал Мазепа из охранки.

Сидящий в кресле у камина Григорий Платонович обхватил голову. Замер надолго. Потом поднялся, провёл ладонями по тёплым изразцам, сунул в открытое устье огнища полено и раздумчиво произнёс:

— Всё-таки он, стервец. Так мне почему-то и думалось. Ну что ж, «будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней». Ступай, Зейдулла, спасибо, — тот, нахлобучив папаху, направился к выходу, но хозяин остановил его: — Погоди. Забыл спросить тебя, а где сейчас урядник? Я надеюсь, с ним ничего плохого не случилось?

— Утоп ночью, — повернулся Зейдулла и вздохнул, — Вино шибко пил, кушал мало-мало. И ноги плохо стоял. Гаварили ему: ночь за дверью, дорогой, не ходи, а! Не слушал. Ходил. А утром без сапог нашли у Курдюмки. Савсем холодный лежал.

— А не вы ли его ошеломили до смерти, колодники?! — закричал вдруг Калетин. — Кто вам поручал кончать городового? Вы, души воровские, Мазепу мне спугнули. Что, думаете, он не догадается, кого следующего с камнем на шее найдут?!

Зейдулла гордо вскинул голову:

— Зачем несправедливо гаваришь, Григорья Плаытоныч? Мы людей без оружья, даже шакалов, как баран, не режем. Сам подохнул. Суда божьего испугался, э, шайтан грязный.

Калетин — умный человек — счёл нужным разговор не продолжать. Махнул в сердцах: ладно, иди уж, праведник. А сам прошёл в оружейную комнату, где поделился новостью с Иннокентием. Хранитель калетинского «арсенала», холодно выслушав хозяина, сразу предупредил его:

---

[1] «Красненькая» – банкнота в 10 рублей
[2] Валух – баран
[3] Мокруха – убийство

— Намеренья ваши слишком прозрачны. Но о Мазепе могу сказать, что это не шу́швальподзаборная. Много наслышан о его иезуитской изворотливости, и, думаю, хлопот он нам доставит — не обрадуемся.

— Вы не преувеличиваете способности нашего Пинкертона? — усомнился Калетин.

— Может, и преувеличиваю. Но на него, как вы знаете, работают сыскная машина, надзорная и прочие. Перехватить его где-то на улице без пальбы и трупов вряд ли будет возможно. Узнав о смерти урядника, он, конечно же, усилит свою охрану. А слежку за ним, которую мы, допустим, организуем, топтуны из «наружки» через пару дней обязательно обнаружат. Уверен, что вскоре ротмистр будет вытягивать жилы из «пасущих» его лиц в каком-нибудь неуютном подвале. И мы не сможем этому помешать. Думаю, что нужные ему сведения Мазепа, скорее всего, заполучит. Поэтому возможность пожалования сюда господ жандармов исключительно высока.

— У тебя, отставной капитан, сам как-то рассказывал, в послужном списке числятся не только годы учёбы и окончание академии по первому разряду, но и ювелирная работёнка против японских лазутчиков в Маньчжурии. Так? Неужели после того ночного налёта в Харбине́, когда неизвестные проломили твою светлую голову, ты превратился в худую развалину? Я не верю этому, Иннокентий Палыч. Ты же природный охотник и знаешь, что на всякую гадину есть рогатина. К тому же случай какой подходящий мои оболтусы образовали, прикончив урядника. Теперь у Мазепы ганглии[1] в комок должны собраться. Занервничает он. Засуетится. Значит, и ошибки скоро последуют. Вот на одной из них и надо его поймать. Если предстоящее дело тебя не пугает, тогда по рукам?

Седые усы на бледном лице офицера чуть дрогнули. Он с заметным сожалением протянул:

— Но поспешно убрав ротмистра, мы никогда не узнаем о мотивах убийства Цезаря.

— Боже мой! Ваше высокородие! О чём вы думаете?! — простонал Болдырь. — Мы что, жандарма под суд собираемся отдавать, где побудительные причины преступления влияют на окончательный вердикт?! Я знаю, что друг мой убит, и посодействовал тому, как оказалось, Мазепа. Этого достаточно. Разве знание того, ради чего негодяй во власти лишил жизни дорогого мне человека, облегчит душу? — попенял собеседнику.

Тот по-военному вытянулся.

— Я вас понял. В какой мере, если понадобится, я могу рассчитывать на ваших «орлов»? — осведомился почтительно. — И второе. Денежное покрытие предстоящего предприятия... Вы готовы на значительные траты?

— Разумность должна быть во всём, даже если вы совершаете глупость, — устало опустившись в кресло, наставительно изрёк Калетин. — Денег я дам столько, сколько потребуется. А вот «гвардейцев» моих разрешаю... не трогать. Они только в карманах лавочников умеют шарить да платки, краденные у воровок, им же раздаривать. Хотя, советую привлечь Михаила с Северьяном. Этим в полиции как будто ещё не все мозги вышибли.

...«Боярин» над предложением отставного офицера поучаствовать в праведной акции долго не думал. Ответил усмешливо, что сделать кунштюк[2] с отправкой на тот свет начальника охранки — это именно то, о чём он мечтал всю жизнь.

— Но осмелюсь поинтересоваться, — спросил уже серьёзно, — что вы будете иметь против, если мы дельце обстряпаем чужими руками?

Иннокентий откинул со лба прядь волос.

— Возражать не стану, когда буду знать, чьими именно и как, — колючим взглядом смерил ладную фигуру Северьяна. — А ты, я вижу, увёртлив, аки гад болотный. Согласен вроде рубаху снять, да боишься, что потом и штаны попросят.

«Боярина» колкость офицера развеселила:

— Вам бы, господин профессор, по этапу до Туруханска прогуляться. Быть мне кляту, вернулись бы богатым человеком. Уж больно ловко словеса заплетаете. Колодники за денежку в тухлых бараках слушали бы вас не переслушали, а ещё письма домой писать просили. Майданщик бы подле себя держал для ночных разговоров, вином задарма опаивал, а то и в пайщики к себе сосватал. Эх, малина ягода! — потом самонадеянно объявил: — А Мазепа ваш хоть и с погонами дядька, но мозгляк кромешный. Он уголовных за макуху[3] держит или за боsóту какую. На него, слух имею, чахоточные социалисты больше страху нагоняют, потому не тряситесь. Пока он за ними по улицам

[1] Ганглии – нервы
[2] Куншmюк – фокус, mрюк
[3] Макуха – выжимки семян после выгонки масла

бегает, мы его дом окружим вниманием. Аккуратно, без дырочек. И когда десяточка ляжет к тузу, там и пришьём, голубу.

И обложили. Как берлогу бирючью. Забористо, с выдумкой. Каждый день теперь у особняка мазепинского замухряй калеченный стал останавливаться и милостыню канючить — заунывно, слезу вышибающе, пока стражник у входа не погонит его, надоедного. Или колясочку лёгкую кучер вдруг, чертыхаясь, у подъезда попридержит, потому как с плеч прелестницы, восседающей в ней, аккурат под крыльцо господское шарфик газовый сдунуло, и надо бы поднять дорогую материю. Или очкарику (вточь гимназисту) очень уж приспичило именно здесь искушать приготовленный любящей маменькой обед — бутерброд с севрюжьей спинкой на грибной прокладке. И стоит тот школяр, жуя, скользит рассеянным взглядом по окнам. Долго стоит. И ничего ты ему не сделаешь. Ну, проголодался бедняга, с кем не бывает. А потом тот калека и мамзель прибагряненная, следом и прогульщик с пустым ранцем собираются в снятой Иннокентием комнате на Андреевской. Балагуря, пьют чай с мармеладками, выбирают из кучи тряпья одежду, переодеваются. Примеряют со смехом парики, клеят бороды и усы. И скоро тот же служивый у подъезда снова провожает взглядом спешащую куда-то курсистку и пристающего к ней оборванца, который тянет её за шляпный бант и нахально требует купить у него — за рубль-то всего — пару красавцев ту́рманов[1]. «А это что ещё за страхолюдина появилась?» — удивляется постовой, когда какой-то мужик-приземок в латанной-перелатанной сермяге толкает перед собой подобие тачки, на которой шевелится и повизгивает заляпанный грязью мешок. «Свинью, видать, прёт куда-то лапотник. И кто таких сюды пущает? Подвесить бы ему зуботычину, чтоб не шатался, где господа променаду себе устрояють, да строго велено пост не оставлять». А крестьянин зорко оглядывается, лупит мешок сапожным шпандырем, чтоб животное, значит, успокоить. И акации вокруг желтеют. А вон и хорошенькая горничная в окне второго этажа улыбается. Кому? Да бандиту нашему из слободки «Боярину свет Северьянушке». Его в чиновничьем мундире, ох, не узнать — высок, чернобров, усы нафабрены. Он уже третьего дня как высмотрел в доме Мазепы эту девицу. И сразу смекнул, что именно она поможет ему приблизиться к жертве. Последив пару вечеров, на третий возник перед ней в одном из тихих переулков и, напросившись в провожатые, смутил её кисейное сердце словами, которых та доселе никогда не слыхивала. Осведомившись любезно, как звать-величать красавицу, представился Зиновием Ивановичем, чиновником Земельного комитета, но притязающим на место куда более высокое:

— Ибо я, Мария Елисеевна, принадлежу к слоям энергических людей, для которых уютное семейное счастье есть самая ступень к деланью карьеры.

Запылали девичьи щёки. Согласилась простушка с предложением интересного господина о продолжении, так сказать, знакомства к взаимному удовольствию. И вот ждёт теперь «друга милого» каждый день, занавесочки поминутно на окнах отдёргивает, и глаза её затягиваются поволокой, когда видит подбористую фигуру Зиновия Ивановича, появляющуюся иногда на дорожке перед особняком. Сегодня, например, они уговорились ввечеру сходить в кофейню при магазине Голева откушать сладостей, после чего Зиновий Иванович обещали покатать в экипаже по городу. Но Иннокентий Павлович пришедшему утром за деньгами ловеласу вдруг отказал, потому что:

— Негодными способами действуешь, босомыжник. Зачем девку охмуряешь? О будущем её подумал? Ну, покончим мы с Мазепой, а дальше что? Ведь она скоро под венец с тобой засобирается. Ты же, подлец, исчезнешь. Ей, обманутой, что делать тогда прикажешь, в петлю полезать?

Не ожидавший такой выволочки Северьян сначала обомлел: ничего себе поворотец с опрокидыванием! Закадрить «деревню» сам Калетин вроде согласился, так какого беса этот «ушибленный» церемонии разводит? Ну до чего же они, столбовые да потомственные, любят сопли чужие подтирать. «А может, я чего-то не так делаю»? — испугался потом и стал неуклюже оправдываться, что его ухаживания за домработницей имеют только один расчёт — выудить из неё полезные для дела сведения. Других планов в голове он не держит. А если фифочка из знакомства с ним собирается построить какие-то удобства для себя, то оставаться ей дурой до конца жизни.

— Пару дней всего и надо ещё полюбезничать с «маковкой», Иннокентий Палыч, — стал убеждать офицера, — а потом я сделаю уплывание, как стерлядь в Иртыше. Даже круги не образую. Мамзель-то наша особа, ей-богу, податливая и на язычок звонкая. Мы же с ней не о каких-то счастьях под луной про меж себя беседуем. Я её всё больше о жизни в господском доме выспрашиваю. Не тяжело ли ей, экой молоденькой, такому серьёзному человеку услужать? Как сам ротмистр с ней обращается, не пристаёт ли в тёмных углах? Она конфузится от моих вниманий, но кой-чего рас-

[1] Турман — порода голубей

сказывает. К примеру, вчера пожаловалась, что детки господские ночами ревмя ревут от укусов клоповьих, а несчастный родитель никак не может найти проверенных людей для деланья этой, как её там, амбула́ции госпита́льной. Вот я и сообразил: а может, воспользоваться нам семейным горем для того, чтоб в дом пролезть? Изобразим из себя инфекцион-экспедицию, разбредёмся по комнатам якобы для раскладки отравы, высмотрим, где опочивальня господская, и сунем под кровать «адскую механизму». Ну, а случаем если на самого ротмистра попадём, то ножичком его к стеночке приколем или ба-бах из пистолетика! Пальбу на улице не слыхать будет. Дом, я разглядывал, из кирпича монастырского сложен, и кладка та ещё — метровая. Как вам такое?

Иннокентий хмыкнул:

— Подумаем. Иди.

— А как же пирожное «а ля рошель» с мороженым и медовые ламаньцы, ваше высокородие? Марья Елисеевна ждать будут и беспокоиться.

— Ты, ухват бабий, слежку за собой не проморгай, — отсчитав деньги, раздражённо выдавил капитан. — Провалишь задуманное, пеняй на себя.

И уже Калетину, отыскав того за чтением бумаг почему-то на кухне, высказал недовольно:

— Простите, Григорий Платонович, но мне кажется, что шуры-муры нашего греховодника со служанкой вы зря одобрили. Сдаётся мне, Мазепа нам эту девицу умышленно подсунул.

Калетин, не отрываясь от чтения, поинтересовался:

— Чем вы подопрёте свои подозрения?

— Личным опытом. Я ведь во время ляоянского и мукденского позора под командой полковника Ухач-Огоровича состоял, будущего генерала и недавнего фигуранта по делу о миллионных хищениях в армии.

— Да-да. Я, кажется, читал в газетах про эти шумные разбирательства, — рассеянно отозвался Григорий Платонович. — И что же?

— А то, что сей делец в штабе Куропаткина сидел сразу на двух стульях — был начальником управления транспорта, которое доставляло в армию всё необходимое, начиная с продовольствия и кончая ослами, плюс ведало ремонтёрской и ветеринарной службами. Но вскоре в дополнение к этому Ухача назначили руководить ещё и спешно созданным разведуправлением, приказав безотлагательно упорядочить сбор данных о дислокации и намерениях противника, а также заняться созданием агентурной сети, которая поспособствовала бы выявлению вражеских лазутчиков не только в расположении наших войск, но и зафронтовой зоне. Вам это, может быть, неинтересно, но я скажу, что на места главных добытчиков вражеских тайн Огорович пригласил, за некоторым исключением, сплошь жандармских офицеров. На мой взгляд — откровенных проходимцев. Какие это были личности, Григорий Платонович! Учили меня во время карточных баталий делать карьеру, не делая при этом ничего. Но главное моё удивление состояло в том, как эти Пинкертоны в условиях нехватки буквально всего и тяжёлой обстановке на военном театре исхитрялись устроить для себя безопасный быт и некоторый даже комфорт. В Харбине, где я иногда бывал, мой знакомый поручик Хомятинский рассказывал, что русские агенты здесь представляют из себя некое подобие худородных остзейских рыцарей с гонором польских шляхтичей — каждый обзавёлся не только денщиком-оруженосцем, но и обязательно девкой прислужницей, а то и двумя. Причём для замещения вакансии личной кухарки или кого другого из челяди одной протекции оказывалось недостаточно. Допускались особы только проверенные, с задатками воинственных амазонок, если так можно выразиться. Что для города, напичканного шпионскими гнёздами, в общем-то, было обоснованно. Но господа жандармы, кроме требований к домашнему хозяйствованию, научали своих «гейш» отличать китайца от японца, давали им уроки по обращению с оружием и ведению тайнописи, принуждали подслушивать и подвергать анализу разговоры гостей и соседей. То есть оберегали себя от любых возможных случайностей. Поголовная подозрительность и желание видеть в любом встречном врага — есть общая черта наших охранителей. Так почему вы думаете, что Мазепа чем-то лучше их?

— Интересно-интересно. И как же барышни распознавали, кто перед ними — япошка или маньчжур? — спросил Калетин.

— Мне не хотелось бы говорить сейчас об этом, — ответил капитан. — Поймите, это скучная физиогномика и только.

— И всё же.

Иннокентий молчал. Растирал побагровевший рубец на щеке. Болдырь, заметив недовольство визави, примирительно сказал:

— Ладно, в другой раз расскажешь. А сейчас меня послушай. И поправь, если чего не так скажу. Заметил я, любезнейший, что дворянская гордыня возносит тебя куда-то за облаци. Никак не хочешь признать «птенцов гнезда моего». Нос воротишь от них,

как от прокажённых. Не нравится мне это, очень не нравится. Спустись на землю. Не время сейчас происхожденьем кичиться, когда топор по нашим шеям одинаково скучает. Пора бы тебе заметить и согласиться, что у этих босяков поучиться тоже есть чему. Вот ты думаешь, что Северьян «румяный сарафан» потащил в кофейню единственно ради куража, — смотрите, мол, каков гусь заявился: и дамочка вся из себя при нём, и денег у него — захочет, лавчонку купленным шоколадом по самую крышу измажет. Ошибаешься! «Боярин» кралю в незнакомой для неё обстановке проверить захотел. Руки её «намозоленные» поближе рассмотреть пожелал. Как она ими с мороженым управляться будет, кофию откушивать. Потому что не хуже тебя полицейские каверзы знает и вполне допускает игру девки на две стороны. Он же эту твою физиогномию в каторгах постигал и распознавать стукачков среди сидельцев на этапах учился. Подождём результата его проверки до завтра. Чаю, кстати, хочешь? Ну, как знаешь. А я, пожалуй, согреюсь. Ты располагайся пока вон в том креслице и не спеша, подробно изложи, что вы там с Северьяном надумали.

Тикали настенные часы. Потрескивали дрова в камине. Григорий Платонович присел к стоящему у окна столику и, поддёрнув рукава халата, сосредоточенно занялся чаепитием: наклоняя голову и прикрывая глаз, будто прицеливаясь, наливал нужную порцию заварки в расписанную розами чашку, придвигал её под носик самовара, средним пальцем толкал узкую ручку краника, ждал, когда посудина наполнится кипятком. Потом доставал из вазочки кусок сахара, щипцами раскалывал его и, обмакнув в горячий напиток, откусывал. Затем аккуратно переливал чай в блюдечко, бережно — двумя руками — брал его и, дуя, шумно пил глотками. Заметив удивлённый взгляд Иннокентия, пояснил, что так любила чаёвничать его покойная матушка из мелкопоместных дворян. Исключительно, конечно, только дома, в кругу семьи. И чтоб обязательно были шанежки с вишнёвым вареньем. Именно. Закончив согреваться, Григорий Платонович закурил. Поигрывая спичечным коробком, задумался. После нескольких минут молчания посмотрел на собеседника. Плохо скрывая досаду, заговорил:

— А что. Вроде дельную мысль подал «Боярин» — организовать Мазепе мертвецкий сон на потолке собственной спальни. Лазейка в дом как будто найдена. Только вот динамит... где его взять? А ещё изловчиться под кроватью да именно ночью подорвать. Есть какие-нибудь соображения?

— Не советовал бы связываться с такими игрушками, — подал голос офицер. — Я не очень сведущ по части сапёрных материй, но попробую просветить вас. Для изготовления той же ударно-взрывной бомбы понадобится много всякой бяки. Но в первую голову нужно разыскать опытного «химика», наученного работать с кислотами и нитратами. Этот же умелец должен начинить снаряд и разместить в его оболочке им же сработанный пироксилиновый запал. Не взлетев при этом, заметьте, на воздух. Вы ведь наверняка слышали или знаете из газет про нередкие случаи гибели боевиков в своих подпольных лабораториях. Помните, какого шума наделали одни только киевские взрывы? — офицер придвинул к себе стоящую на столе бонбоньерку, покрутил её, откинул крышку, скользнул взглядом по россыпи разноцветных монпансье и неуверенно предложил: — Можно, конечно, заказать мины за границей. Там их научились делать прилично. Но тащить такой груз через всю страну?! Я бы не рискнул — опасно и долго. И дорого, наконец.

Калетину возразить было нечем:

— Пожалуй, ты прав, Иннокентий Палыч. Заграницу отметаем сразу. Со здешним «химиком» из ссыльных, чую, тоже может закавыка выйти. Положим, достанем мы снаряжение к бомбе и самого «динамитчика» сыщем. Но гарантий опять же никаких, что снаряд он благополучно смастерит. Где выход? Стрелять?

— Стрелять, — утвердительно кивнул Иннокентий Павлович. — Кто за сие возьмётся?

Когда этот же вопрос был задан собравшимся вскоре заговорщикам, три шага вперёд никто из них не сделал. Молчали. Северьян опустил голову. Миша закашлялся как-то болезненно. На побледневшее лицо Палестина Калетин даже не посмотрел. Но именно юноша, помедлив, поднялся и срывающимся голосом стал убеждать всё понимающих господ ликвидаторов, что лучше его эту акцию никто не проведёт. Во-первых, за ним числится удачный опыт — покушение на Богоявленского, во-вторых, идейная злость не позволит его руке дрогнуть. Никто ему — каждый по своей причине — не возразил. Наоборот, согласно и радостно загомонили. Затем послушали успокоительно ироничный отчёт «Боярина» о посещении им сластно́й «обжираловки», где он, понаблюдав за мазепинской горничной, убедился в совершенно безобидной природе опекаемого им «существа». После чего Болдырь (посовещавшись с Иннокентием), дал указание готовиться к самой ликвидации. «Рыжему» поручили отыскать людей, промышляющих изводом насекомых. Северьяну вменялось, не откладывая, — ненавязчиво только и деликатно, чёрт побери, — предложить Мазепе через домработницу свои

услуги: дескать, и лучших специалистов в городе он подберёт, и успех дела гарантирует. Ну и денег за работу, конечно, совершенно не потребует — лишь бы Марии Елисеевне, голубушке, при господах легко здравствовалось и детки чтоб ночами не плакали.

...Мише найти специалиста по образованию чёрной немочи у клопов не составило большого труда. В том же кабаке за рыбными складами ему сразу указали на Солдатскую улицу, где этих самых морителей в избытке проживало. Но по-дружески посоветовали обговорить дело с почти непьющим Истомкой Слюняевым, потому как соузники его по ремеслу очень уж знатно водочку приемлют и обжуливают нетвёрдых клиентов в десяти случаях из восьми. «Рыжий», как нам уже известно, к слову знающих людей прислушался, съездил на окраину. Истомой остался доволен и Аграфеной... особенно. Хотя, что Аграфена! Есть желание помять её прелести где-нибудь на сеновале, да опасливо как-то — прибьёт ведь мужлан ейный обоих, случись чего. Ну их всех, к лихоманке. Не до того.

А Северьян — благоухающий «кёльнской водой» писаный проходимец — на следующий день при свидании взял под локоток свою пассию и между прочих любезностей попросил её обрадовать господина Мазепу о возможно скором разрешении мучительного для него вопроса. Заминка осталась за малым — надо всего лишь назначить день, когда сбитая уже артель сможет приступить к работе.

Горничная слова «милого» передала адресату в точности. Но добавила от себя, приняв из рук ротмистра чашечку «мокко»:

— Кажется, они пока ни о чём не догадываются.

Иринарх Гаврилович, усмехнувшись, заметил, что по-другому и быть не могло, потому как увлеклись ребята, заиграли. А самонадеянность — она что игрушка в руках дурака: тешит только да пузыри на губах образует.

— Пора заканчивать с этим цирком, — сказал сам себе, а служанке приказал: — Передайте своему ухажеру, если работнички его готовы, то пусть в субботу прямо с утра и приезжают, — и зловеще добавил: — Встречу им мы организуем по чину их.

— А что с ними, ну, этими людьми, потом сделают? — опустив глаза, осмелилась спросить Мария Елисеевна. И тревога в её голосе не укрылась от хозяина. Он, приподняв пальцем подбородок осведомительницы, с интересом посмотрел ей в глаза:

— Да вы никак серьёзно увлеклись нашим франтом, ma petite chevre[1]? Переживаете за него? Не ожидал, никак не ожидал, — налив ещё кофе, передал чашку барышне. — Повесят их, — сказал буднично. — Если, конечно, мои опасения подтвердятся и наши скорые гости окажутся именно теми, кто недавно отправил на тот свет одного несчастного урядника, а теперь попытается расправиться со мной.

Вечером, придя в свой флигелёк, снимаемый у купца Хворова на Предтеченской улице, девушка расплакалась: «Что будет? Что будет? Какая же я дура, дура, дура. Позволила втянуть себя в эту гадкую и страшную, как теперь выясняется, историю. Сопротивлялась ведь поначалу, отказывалась. Но разве он — с ненавистью подумала о Мазепе — оставил мне выбор? Так и сказал, будто плёткой хлестанул: «Или будете исполнять то, что я прикажу, или мне придётся самым серьёзным образом взяться за вашего родителя. Он, оказывается, во времена недавней смуты подозревался в крамольных разговорах и посягательстве на чужую собственность. Сколько он тогда десятин господских пожелал себе прирезать, не помните? Можете не отвечать. В допросных листах сообщников аппетиты вашего папа́ сохранились. Мы пока дело производством прекратили. Пока. Но ваши, э-э, неумные взбрыки могут подвигнуть нас ходатайствовать о его пересмотре. И тогда, как говорят господа бандиты, танцовать вашему папаше в обнимку с тачкой придётся всю оставшуюся жизнь». Эх, папенька, папенька, — представила больного отца, — не выбраться нам из нужды, родненький. Не выбраться никогда. Что же делать?»

Она вспомнила, как уже после знакомства с Зиновием Ивановичем, оправдывая свои потаённые чувства исключительно служебным рвением, стала чаще и дольше оставаться в комнате над парадным подъездом, откуда так удобно было наблюдать за улицей и обмениваться тайными знаками со своим обожателем. Она совершенно забыла, в чьём доме вытирает пыль с этажерок и из рук кого получает жалованье. И когда в один из дней за её спиной раздался тихий голос барина, от неожиданности присела. Обернулась: на бледном лице — испуганные глаза.

— Простите, — извинился тогда ротмистр, — право, не хотел вас конфузить. Но в последнее время вы подолгу простаиваете у этого окна, и мне сделалось интересным — отчего? Пойдёмте-ка в мой кабинет, там нам будет удобнее обсудить кое-какие обстоятельства, — спустились в нижний этаж, где за столовой залой находилась комната, заходить в которую прислуге категорически запрещалось. Мазепа, звякнув ключами, открыл дверь, пригласил девушку пройти. Жестом показал, чтоб она остановилась. И

[1] Ma petite chevre *(франц.)* – моя маленькая козочка

тут же вежливо вопросил: — Нуте-с, уважаемая, как давно наблюдаемый вами субъект стал появляться у моего дома? Кто таков? Где вы с ним познакомились?

Мария Елисеевна растерялась. Стала сбивчиво объяснять, что Зиновий Иванович порядочный человек, и если господин офицер имеет желание что-то узнать о нём, то пусть пригласит его к себе в полицию и там допрашивает. Она же явно может указать лишь место, где служит её знакомец.

— Сударыня, я не нуждаюсь в ваших советах, кого и куда мне приглашать. Имя этого хлыща и род его занятий. Быстро!

Девушка заплакала, но сказала то, что от неё требовали. После ужина Мазепа снова пригласил её в кабинет. Улыбаясь, курил тонкую сигару, что-то довольно мурлыкал и с прищуром поглядывал на домработницу. Наконец, то ли с издёвкой, то ли злорадством, но, скорее, с раздавливающей беззащитного человека прямотой объявил:

— А вы знаете, я перед вами в неоплатном долгу. И как только вся эта история разрешится, непременно отблагодарю вас. У меня сейчас хорошее философическое настроение. И думаю, что вызвано оно трещиной в фундаменте моих логических построений, приведшей, однако, к результату, скорее, положительному, чем наоборот. Ну не вписывались никак в цепочку моих рассуждений ваши молодость и красота. И надо же! Именно на них — вопреки и ах — клюнула нужная нам рыбина. Вам, наверное, будет интересно узнать, что установили мои люди, пока вы тут пили кофий? Извольте. В Земельном комитете означенный вами чиновник никогда не служил. Да и в других губернских учреждениях человека, именуемого себя Зиновием Ивановичем, отыскать не удалось. Как вы думаете, почему?

Ротмистр прошёл к стоящему в углу кабинета бюро. Выдвинул из него ящик с письменными принадлежностями, разложил их на столешнице. Попросил служанку подойти. Молча придвинул к ней чистый лист бумаги, откинул крышку на бронзовой чернильнице. С нарочитой сосредоточенностью — то приближая к глазам, то отдаляя — рассмотрел на свет перо и только тогда объяснил свои приготовления:

— Вы, дорогая, сами того не желая, напугали меня своим интересом к дальнейшей участи готовых преступить закон мерзавцев. И одновременно выдали себя. Да-да. Поэтому я, пожалуй, не разрешу вам больше встречаться с этим мнимым землемером. Боюсь, что ваши чувства могут взять верх над долгом и вы из женской жалости попробуете предупредить разбойника, — Мария Елисеевна отступила от бюро и попробовала что-то возразить. Но Мазепа, обернувшись на дверь, зло прикрикнул: — Берите перо! Пишите! — продиктовав нужный текст, сам промокнул чернила пресс-папье и довольно осклабился: — Так будет лучше для нас обоих. Уверяю вас. И ещё. В дни, предшествующие будущей субботе, прошу вас дом мой не покидать. Вам отведут комнату, где вы посидите за рукоделием или почитаете Аверченко. Очень занятно пишет, шельмец. Дамы, говорят, от него в восторге. Я вам пришлю его сочинения.

...Вытряхнув из гувернантки, где и когда должно состояться очередное свидание «влюблённых», Иринарх Гаврилович решил не хватать до времени лжечиновника, а послать на встречу с ним сторожа Силантия (под присмотром, конечно же, одного из «наружников»). Старику было велено передать ожидающему барышню молодому человеку её извинения за внезапную хворь, а ещё записку, в которой значилось, что ротмистр заранее согласен со всеми условиями господ «потравщиков» и просит их приступить к работе непременно в ближайшую субботу.

Всё как будто правильно просчитал жандарм. Верно уловил ситуацию. Только не разглядел спрятанного в глазах Силантия душевного движения, затаённого отеческого состраданья к молоденькой работнице, так похожей на его рано умершую дочь. Вечером, идя полутёмным уже коридором к себе в каморку, старик столкнулся с Марией, выносящей мусор на задворки. По лицу девицы догадался, что пребывает та в расстроенных чувствах: слёзы вон на щеках поблескивают, губы от сдерживаемых рыданий подрагивают. Пошёл проводить её до отхожего места и расспросил со вниманием. О поручении, данном ему Мазепой (хотя и сильно его подмывало), признаться побоялся, но решил помочь «касаточке» из всех своих возможностей. И помог. Шепнул при встрече Северьяну, передавая записку, чтобы поостерёгся тот соваться с дружками в мазепинские хоромы, або сегодня Митькой конюхом получено указание от хозяина: пятничной ночью секретно открыть ворота за каретным сараем и впустить на подворье стражников числом с дюжину, а то и поболее.

— Как думашь, милок, для какого резона тако войско в доме собирают? — спросил озабоченно у стоящего напротив щеголя.

«Боярин» сделал вид, что не идут ему в толк речения словоохотливого караульщика, и несколько раз — на публику? — похлопал его по плечу. Потом невозмутимо прочитал цидулку, покивал одобрительно и сунул смущённому Силантию гривенник:

— Не побрезгуй, папаша. Это за тщанья твои. Поклонись за меня Марии Елисеевне и пожелай ей скорого выздоровления. Ступай с Богом, может, и свидимся ещё.

«Жених» снял свой котелок с подхватом, да как-то неловко вдруг выронил его. Оба собеседника — разом, не сговариваясь, — нагнулись за ним, а разгибаясь, встретились глазами. И увидел старик, что понял его «франт» как надо, хотя и ломает из себя простачка. И можно с облегчением шепнуть о том Марье Елисеевне.

Лже-Зиновий Иванович отряхнул шляпу, ещё раз поблагодарил сторожа и невесело как-то пошагал к сереющему невдалеке деревянному настилу шумной улицы. Прямо держа спину, не оглядываясь, медленно шёл, старательно обходил подгнившие участки на дощатом помосте и тревожно гадал: случайно или нет потащился за ним от места встречи неказистый с виду субчик в засаленной плисовой поддёвке и кучерской покрышке на голове, что вроде как непреднамеренно скользяще взглядывал на них со стариком во время их короткой беседы? Гадай не гадай, а приволочь «хвост» к Калетину — хуже беды. Придётся провериться. Дойдя до очередного переулка, Северьян неожиданно резко свернул в него и метнулся к калитке ближнего дома. Не очень чтоб очень торкнулся в неё и радостно закричал в тенистую прохладу пустого дворика:

— Здрасьте, Дарья Лукинишна, Назар Семёныч дома ли нынче? Мы с ним давеча уговаривались о встрече. Ах, какая досада. Прощевайте тогда до скорого.

Поддёрнул калитку на место, снова вывернул на улицу. И тут же заметил «плисового» мужчинку, побитым кочетом стоящего неподалеку у самой дороги, и отъезжающую в этот момент от него «эгоистку» — одноконную колясочку, которой правил явно гильдийный купец. «Тьфу, как до́хает от вас го́вной, господа легавые, — мгновенно отметил неправдоподобность ситуации «Боярин». — Это где ж такое видано, чтоб человек при фасоне да с личным выездом и вдруг запросто с ямским ошмётком любезничал?»

Немного выждав, решительно подошёл к «топтуну».

— Ты чего это, рожа гнявая, перед секретарём табельным лоб не оголяешь? — спросил сурово и, заметив нагловатую ухмылку на лице невежи, сбил с него шапчонку, а через мгновение ловким ударом в подбородок повалил на землю. Однако кучерок, или кто он там на самом деле, видать, не из робких попался — сперва окарач встал, а затем и совсем поднялся и потянул к окровавленным губам... свисток.

— Не замай, фуфлыга! — разозлился Северьян. И ударил упрямца ещё раз. Тот, охнув, переломился в пояснице. «Боярин» вырвал из его руки пищик и с размаху впечатал ребро своей ладони в оголившуюся — теперь уже точнее точного — шею шпика. Потом криками и жестами остановил вывернувший из-за поворота экипаж. И явно обрадовался знакомому «живейному»[1] извозчику: — А-а, это ты, Подошва, вожжа тебе в руку! Слезай, образина, поможешь пьяного дворового загрузить. Тяжёл больно сволочь. Послали его с утра в верхний город по серьёзной надобности, а он плевать хотел на господские заботы. В кабаке-то, тебе ли рассказывать, жизнь по бороде слаще течёт. Али не так? — Северьян нагнулся, вывернул карманы в штанах и жилете лежащего. Затем обошёл лошадь и заглянул в темнеющие под волосами очеса возницы. — У соляных амбаров на Курдюмке доводилось бывать? — осведомился хамовато, — Как так не помнишь, мы же с тобой на прошлой неделе около мучных лабазов встречались. Если забыл, пьянчуга, тогда радуйся, к тому околотку сейчас и двинем. Я там гуляке своему головёнку быстро к пяткам прикручу. Смотрю, окаменел ты, братец, испугался чего? Нет? Ну, тогда шевелись, пока морда цела. Я другой шарабан дождусь и за тобой нацелюсь, чтоб не заплутал где-нибудь. А ещё вот что. Ты отсюда, хоть и крюк лишний намотаешь, не к Прямскому, а Казачьему взвозу правь. А с него, когда съедешь, сразу на Болотную сворачивай, где народу поменьше. Да не торопясь гони, без гонору деревенского, и за седоком приглядывай. Он во хмелю — дурак с замо́чкой. Может из колясочки и вышагнуть на ходу. Всё дошло до тебя, образина? Тогда объявляй таксу, расплачусь, как приедем, по полной.

— Не впервой с тобой знаюсь, слобо́дский, зажмёшь денежку-то, — хмуро глянул мужик. — Оплачивай наперёд, тогда повезу.

— Ишь ты, сволочь памятливая, — протягивая деньги, матюгнулся «Боярин», — Планида твоя, что некогда мне сейчас с тобой царапаться.

Вдвоём они быстро затолкали обмякшее тело в двуколку, примостили на лавке. И возница сразу огрел лошадь плёткой. Перехватив другую пролётку, которой правил тоже известный ему извозчик Данила, Северьян отправился следом. По дороге поминутно нервно оглядывался, но скоро успокоился — никто их как будто не преследовал.

...Уже нависали над колясками тени соляных хранилищ, в тёмную воровскую нору самого дальнего из которых «Боярин» решил сунуть до времени шпика, когда из-за угла одного из амбаров навстречу вылетела на телеге хмельная компания: хохот, свист, гармошка взвизгивает. А дорожка меж лабазами здесь узкая, вдвоём не разъехаться. Рванули кучера вожжи на себя, заорав истошно, да поздно. Наскочили повозки одна

[1] «Живейный» – извозчик из крестьян, сумевший накопить на приличную лошадь и неплохой экипаж

на другую. Ржанье лошадей, хряск ломаемых оглобель. Северьян прикрыл глаза рукой, увидев, как из коляски, управляемой Подошвой, выбросило филёра и вмяло в землю дугой опрокинувшегося кузова. Ноги несчастного заелозили по пыльной траве, задёргались.

— Чё деется, чё деется, господи, — заскулил от ужаса Данила. — Глянь-ко, ёж ити, пришибло человека, как есть пришибло, а эти дьяволы, вона, впрыск ударились, — показал на уползающих за склады парней и девок.

— Охолонь, тарантило, — перекрестился Северьян. — Сбегай к дружкам своим, узнай, чего там с бедолагой.

— Да конченый он, не видно рази, как заломило его, — заупрямился возница. — Не помочь ему ужо, только в кровище измажемся.

Тут к ним, успокоив напуганных лошадей и поставив на колёса придавившую «топтуна» двуколку, подскочили кучера разбитых повозок. Подошва — бледный от волнения — подступил к Северьяну, зашипел ненавидяще:

— Ишь, сколь горшков намолотили, слобóдский. Ты у нас тут самый ушлой, говори, как собирать их станем? Мы на пролётке моей и телеге Ермилкиной побитые дроги и порчу в упряжи выправим. Ладно. А вот с шаныгой твоим чего делать? А ну как помрёт людишко. Пусть Ермолашка его к фершалскому заведенью везёт, небось, не я же таку беду учинил. Свадьбой он управлял, ему и ответ держать.

— Ты чего тут рассупонился, — пьяно задёргался Ермил. — Мы регламенту ездовому, хучь и выпимши, строго следуваем. Понял? Это тебя в задницу петух вечной клюёт — летаешь, будты на поминки свои опоздать боишься. Твоя кобыла на мою налетела! Накось, — показал неприличный жест, — не поеду!

Северьян встал между спорящими. Тихо, но с угрозой в голосе попросил их поберечь глотки. И ещё сказал:

— Не тряситесь, постоялые, легавые сами сюда не заявятся, пока их гнида какая не призовёт. Стало быть, время убраться отсюда поздорову у нас имеется. Клепайте свои «шарабаны» на ход и уматывайте кто куда подальше. Я вас не видел, и вы друг дружку тоже. Но Подошва верно бакланит: прежде разбегу условиться надо, как с пострадальцем поступить. Или в больницу его доставлять, или скоренько, как я предлагаю, к кабаку снести вон за тем амбаром. Там никто над его разбитой рожей не заплачет. Не помрёт если, сам домой приползёт.

Извозчики, понимая, что за смерть или искалеченье седока, случившиеся по их вине, придётся отвечать (и серьёзно), переглянулись.

— Неча тут думать, дело говорит слобóдский, — ответил за всех Подошва, — у трактира коли найдут беднягу, виноватых потом ищи не сыскать. А мы молчать приучены, так, робяты? Ну, тогда чего раззявились, айда, что ли?

Двинулись к повозкам. А когда подошли, замерли в испуге — филёра на месте, где его оставили лежать, не оказалось! Северьян первым пришёл в себя:

— Сбёг, падла!

— А ведь, кажись, и не шевелился уже, — подавленно протянул Ермошка.

— Ай, в участке сгноят, ай, замордуют! — сокрушился Подошва и засуетился: — А ну каждый разом по своим сторонам нацелься. След кровяной высматривай. Кто настигнет паршивца, ломай его без жалости и кричать не давай.

— Чего загоношились, лошадные? А ну, тихо! — вдруг подал голос Данила и показал на заросли заматерелой крапивы, сквозь которые еле просматривалось черноватое серебро сбитой внакладку стены склада. — Слышите, тесина на гвоздях стонет? Надо пойти глянуть, чего там. Можа, пропажа наша лаз себе в амбар мастерит? Вона-вона, опять доска взвизгнула. Давай за мной, не то заползёт глуздырь в щель и схоронится промеж мешков, а ночью сторожам в ноги кинется.

Подошва присмотрелся:

— А ить точно. Семенью-то жгучка[1] аккурат к лабазам напластана. Стало мне, братцы, отсюда её заминали, от дороги. Прикрывай рожи картузами, родимыя, и пошли весело!

Высекая крапиву плётками, подобрались к хранилищу. И решительно увидели «топтунка». Он, кривясь от боли, не обращая внимания на возникших рядом преследователей, продолжал раскачивать никак не отстающую от стены доску. И в углах его губ от тяжёлого и частого дыхания набухали и лопались кровавые пузыри.

...Уже ночью в пустом и затихшем трактире у «Румына» сидели за поздним ужином трое: сам Демитрэску и гости его, что хуже татарина, — Михаил с Северьяном. Пили «казёнку», закусывали вяленой строганиной из стерляди. Конокрад лично прислуживал калетинским опричникам и настороженно помалкивал, понимая, что появились они здесь не случайно и уж совершенно не затем, чтобы задарма отведать подаваемый

[1] Жгучка — крапива

во всём городе только у него обжаренный фарш из ягнячьей требухи, именуемый в Закарпатье «Дробом». Семилинейная керосиновая лампа с подкрученным для экономии фитилём скудно освещала лишь островок стола да лица собутыльников. Но когда сидящий спиной к выходу «Румын» наклонялся за чем-нибудь или отходил к прилавку, полоска света падала на припольное чернотемье, и тогда становились видны пугающего размера избура-жёлтые сапоги — то возле дверей полулёжа, надвинув на глаза картуз, посапывал дитятко сладкое — «Карамелька». Утомился за день бедняга, вытянул натруженные ноженьки. Не приведи, господь, иметь такую работёнку, как у него!

А за столом дзенькала посуда и завязывалась вполне светская беседа.

— Здравствуй, стаканчик, прощай, винцо! — скалился «Рыжий» и косо поглядывал на «Боярина». — Однако никак не думал я, Северьян Мокеич, что окажется ваша милость деревянным до пояса. Расскажи-ка нам по секрету, чего это ты такого сегодня с одним шпиёном накопырзил? Раз уж он так изнемог тебя, нешто нельзя было со спины к нему зайти где-нибудь в междомовье и кистеньком успокоить? Или замотать в Алафеевские закоулки. Там Клязьма со братвой в квашню бы его изладили, чтоб зарёкся по чужим местам шастать. А ты в открытую на него попёр да ещё лишние глаза «ванек» к делу привесил. И вообще, где ты этот репей себе на огузок подцепил?

— Худо, ай-я-яй, много худо делал, — начиная понимать, о чём идёт речь, гладил голый череп «Румын». — Теперь тебе, червень, в тайгу бежать надо и от полиции, и Григория Платоныча.

— А вы на моём месте чего делать стали? — спасал себя «Боярин». — Ну не выдержал я, стреножил «подмётку», каюсь. Но касательно до «ванек», точно приплёл я их, чтоб дело расстроить, ты, Михайло Ксенофонтович, слова свои назад забери. Как думаешь, насмелились бы эти хомуты — Подошва с Данилкой — за ноги да мордой по грязи тащить к кабаку человека, если б знали, что он из охранки? Вот и оно! Мной им в дурьи их бóшки наперёд было втёсано, мол, наёмника после загула домой повезут. На том они и в участке стоять будут. Если, конечно, дознается кто.

Михаил уже мягче, но язвительно утвердил:

— Смотрю я на тебя, гусар в помочах, а ведь на лице твоём шухер нарисован: чего-то ты испугался. Что ж, не хочешь нам говорить, придётся перед Калетиным распоясываться. Думай, как после того, что наворотил, ловчее и быстрее, — покосился на «Румына», — с известным нам господином покончить, тогда, может, и простится тебе.

— А со мною, осудáри, в молодости конфузии хужее ваших случались, — явно сочувствуя Северьяну, придвинул к нему стопочку Демитрэску. — Слушайте, что я вам расскажу. Вот сговорились мы однажды с кровником моим у одного ясновельможного пана под Яссами без спросу его кобылу царскую за Прут увести и там продать цыганам. А он...

— Да погоди ты, Пéтру, потом о своих саврасках расскажешь, — перебил его «Рыжий». — По теплу мимо нас тоже таборы таскаются, но шалить им здесь, как у вас, шибко не дозволяют. Скажи лучше, чтоб ты делал, узнав, что завтра придут сажать тебя на пики?

— На какие пики? За что?! — удивился бывший конокрад. — А-а! Эх, гоп-гоп, дразнит смерть холоп. Ну, это смотря кто приходить собирается. Если как в молодости моей, стражники из королевского регименту, тогда без долгого прощанья сразу на кóня и к гуцулам в Карпаты подался бы. Там в пещерах много всякого люда от власти всегда спасалось. Озираючи жили, но иногда даже свадьбы гуляли. Приняли бы меня, чего ж не принять. А вот если один какой злодень против меня бы насмелился, я ему ни за что жизни не оставил. Лучше уж грехом свою шею обмотать, чем верёвкой. Так говорю, осудари?

— Так, Петруша, так. Ты бы прислушался, Северьян Мокеич, к тому, что бывалый варнак итожит, — поддакнул Михаил. — А то у тебя одни забавы на уме. Любишь только себя по головке гладить, а опасность на других примеряешь...

В спорах просидели до утра. Не один раз будили и посылали «Карамельку» в погреб то за огурцами, то за солёными опятами. Пили в меру, знали, что во хмелю да при таких нервных напряженьях случиться может всякое. В предрассветных сумерках втроём сходили к дальнему складу проведать филёра. В яму к нему, откидав ящики от проныры[1], спустился только Северьян. Убедившись, что пленник жив, и вода у него есть, и кусок хлеба — ещё вчерашний — не съеден, пообещал:

— Сиди мышью, коли жить охота. Скоро выпущу тебя и к доктору свезу.

Выбрался из узилища наверх и вытянул за собой лестницу.

Вернулись в шинок и отпустив «Румына» готовить заведение к приёму уже томящихся у дверей охотников поправить здоровье, продолжили разговор — один нападал, другой защищался. Но тут в кабак — словно какое облегчение после болезни — вло-

[1] Проныра — вход в подземелье

мился Кукиш. Огляделся и радостно забасил:

— Вона вы где схоронились, чертяки, а я Толстомясиху чуть не прибил. Думал, вы у ней бражничаете, а она вас выдавать не хочет. Пошли, Григорий Платонович велел пожаловать к нему. Зачем — не знаю.

Северьян побледнел. Но Миша ободряюще кивнул ему и шепнул что-то громиле. Тот согласно приложил руку к груди — замётано! Пошарил взглядом по столу, выплеснул в стакан остатки водки. Выпив, утёрся рукавом, пошагал к выходу.

...Калетину нездоровилось. Сидел у камина в стёганом шлафроке, курил. На приветствие вошедших не ответил. Лишь повернул голову и жестом показал Кукишу, чтобы тот удалился. Затем приказал «Рыжему» разыскать Иннокентия Павловича — и «если он спит ещё, значит, разбудить немедля».

— Да я уже здесь, Григорий Платонович, — раздался бодрый голос от двери. — Людмила мне сообщила, что наши конспираторы уже прибыли.

Офицер прошёл через комнату, поздоровался за руку с хозяином, что-то негромко сказал ему и пальцем поманил к себе Северьяна. Как-то недобро посмотрев на него, неожиданно потребовал предъявить ему записку, которую тот накануне получил от старика, а ещё чтоб указал место, где заточил побитого филёра. После некоторого замешательства, напоминающего знаменитую сцену из последнего акта «Ревизора», «Боярин» спокойно, как будто речь шла о каком-то незначительном пустяке и ничего такого всякого не случилось, молча достал из кармана скомканную бумажку. Но выдавать схрон отказался, отрезав, что поперёк воровского закона ему в жизнь не стоять: секрет, мол, он и есть секрет, чтоб знали о нём только те, кому положено. И вообще, его сейчас на «раскоряку» поставили. Удивительно ему, каким таким вывертом господин профессор разнюхал о «прилипале», вроде все следы они подмели за собой. Капитан ничего не ответил. Мельком глянув в цидулку, передал её Калетину. И пока тот читал, достал и тщательно разгладил на столе принесённую с собой карту города. Оглядел её, что-то обвёл на ней пальцем и, не скрывая раздражения, громко — чтобы слышали все — процедил:

— На раскоряку его поставили... А надо бы в курятник да на нижний шесток загнать и баланду тюремную под нос сунуть. Говорят, верное лекарство от пустоты в голове...

Но Григорий Платонович, видимо угадывая, что творится в душах любимцев, недовольно произнёс:

— Иннокентий, не ломай карандаши, на наших бравых помощников и так смотреть жалко. Я думаю, что ночью они уже высекли себя, а теперь другим интересом мучаются — знать хотят, кто насексотил на них. Расскажи им про этих злодеев, я разрешаю. Но позже. Мне же прямо сейчас растолкуй, будь вежлив, что означает сия бумажка? — он, как веером, обмахнулся помятым листком. — Или она — обычная в подобных случаях учтивость господ нанимателей, или всё же приглашение в мышеловку?

Капитан попросил прощения за резкость, подошёл к Калетину, протянул руку:

— Позвольте-ка эпистолу, экселенц. Я попробую сделать её краткий анализ, а результаты наложу на донесения людей из второго кольца наблюдения, которое третьего дня я с вашего разрешения установил не только за ротмистром, но и за нашими друзьями. Последнее уточнение, кстати, будет частичным ответом на вашу просьбу открыть моих информаторов.

Михаил с Северьяном переглянулись: у обоих в глазах читалось оскорбление — «видал, брат, чего офицерик выделывает? Он, оказывается, и нас уже несколько дней пасёт! Ну-ну». А отставной генштабист невозмутимо уселся в кресло и, уже внимательнее перечитав, повертев так и эдак, понюхав брезгливо, принялся вслух препарировать документ. Сразу объявил, что все основные атрибуты, а именно — чем написано послание, на чём и как, не просто настораживают, но прямо указывают на фабрикацию оного господином жандармом.

— Взгляните для начала на бумагу и чернила, — пригласил следовать за своей мыслью офицер. — Небрежение к их выбору явно свидетельствует о ложном предикативе Мазепы, что на такую мелочь «сиволапые» не обратят внимания. Каково самомнение, а! А я вот спрашиваю вас и себя тоже: ну откуда у нашей тихони в белом фартучке, по моим сведениям, уже два дня не покидавшей господский дом, вдруг оказались под рукой не какая-нибудь дешёвая «соломенная» обёртка, а машинного производства писчая бумага и железо-галловые чернила, коими обыкновенно пользуются господа канцелярские черви, да и то не все? Далее. Ещё больше удивляет высокая степень грамотности писавшего. Ни одной грубой ошибки ни в орфографии, ни в выборе слов или построении предложений я не обнаружил! Разве может низкого происхожденья малообразованная девка превзойти учёностью пусть даже не самого прилежного гимназиста? Ответ очевиден. Я думаю: сия высокопись была достигнута нашей боярышней посредством чужой помощи, скорее всего, под диктовку и с последующими правками.

— То, что записка составлялась при прямом участии Мазепы, нам и без твоих учё-

ных завитушек понятно, — остановил оратора Калетин. — Галловые чернила, ализариновые — да пусть хоть золотыми будут, бес их побрал! Я так и не получил ответ на свой вопрос: представляет ли содержание «малявы» какую-нибудь угрозу для нас?

— Так в ней одна подлянка и содержится, — решительно вклинился в разговор «Боярин». — Старик вчера мне сразу шепнул, чтоб плюнул я на царапалки Марьи Елисеевны, а доверился ему. По его словам, эфта тля в мундире только для виду домовых людишек к изгоненью клопов приготовляет, а сам тайно приказал конюху стражников по комнатам рассадить. Утречком чтоб субботним все уже по местам сидели и ждали команды. Какой команды, папа двоюродный? Нас в тигулёвку тащить? Свадьба там козла с петухом намечается, чтоб мне зажмуриться!

— Что думаешь об этом? — обратился к капитану Калетин.

Иннокентий Павлович, недовольный тем, что его перебили, нервно передёрнул плечами и не удержался, сдерзил:

— О происходящем в его доме господин Мазепа мне лично не докладывал. Но, кажется, как вы и предполагали, он занервничал. Почуял или узнал что-то. Если наш герой-любовник не врёт, значит, девку ротмистр на свидание умышленно не отпустил. Я думаю, из опаски, чтоб не сболтнула лишнего. Прошу обратить внимание и на ещё одну жирную деталь: вчера поздним вечером двумя телегами его высокоблагородие отправил своё семейство со скарбом на Преображенскую к соратничку Щекутьеву. Но, помилуйте, до субботы ещё четыре дня впереди! К чему такая спешка? И самое занятное — охранник у его подъезда пропал. Стоял себе бедняга, стоял месяцами, и вдруг... пост сняли. А с какой целью? Денежки охранного отделения сэкономить? Сомнительно. На самом деле, фóртель этот не нов — обычный усыпляющий ход, долженствующий показать обывателю, что спокойствие в городе утвердилось, тучи грозные рассеялись и бед ни с какой стороны не ожидается. Поэтому, Григорий Платонович, план наш пока срабатывает. Созданная нами хоть и корявая, но недвусмысленная суета вокруг особняка убеждает или уже убедила Мазепу, что нападенье на него мы готовим именно в доме, ну, или где-то рядом с ним, Палестин же займёт позицию в месте, где его меньше всего ожидают. Вот только филёр...

Калетин неожиданно закашлялся, подошёл к столу, на котором лежала карта, смахнул с неё невидимые соринки и попросил Иннокентия ещё раз показать место будущей акции. Искоса проследив за карандашом капитана, спросил:

— Ребятушки твои вчера во время стычки с «топтуном» и после того ничего подозрительного не заметили? Мазепа ведь тоже тот ещё мудрован — мог кого-то и для подстраховки нарядить. Опасенье, как говорится, половина спасенья.

— Заметили. Был купец ряженый, но появился он до эксцесса, шепнул что-то «подошве» и отъехал. Его сопроводили до дома галантерейщика Мехоношина, где он колясочку оставил, а сам в кабаке за углом до ночи просидел. Затемно уже снова на той же колясочке к Щекутьеву съездил. Ну, а чего они там решали? — капитан развёл руками.

— Вот что, дорогие мои, — Калетин обвёл взглядом присутствующих. — Послушал я вас и, честно говоря, огорчился, если не сказать обиднее. Общими стараньями дело мы подвели к опасному повороту, ещё один неверный шаг, и... поэтому мешкать не станем, ликвидацию проведём в четверг. Ни днём позже. Ты, Северьян, как только выйдешь отсюда, сразу испарись для всех, но сначала найди возможность сегодня же заверить ротмистра — через девицу, конечно, что артельщики твои не подведут: раз надо в субботу, значит, в субботу и будут. Только предупреди знакомицу строго, припугни даже: работу без хозяина они не начнут, по причине нежелания вешать на себя ответственность за возможные последствия от применения химикалиев, из каких часто происходят вредные выделенья. В доме-то, кроме взрослых, ещё и барчуки обитают. Так? Организмы у них, известно, нежные. Поэтому папаша самолично должен распорядиться, куда, чего и сколько раскладывать. Отвечать потом за чьи-то воспалённые горла и образование кожных гноищ никому не желается. Понял? А ты, Михаил сын Ксенофонтов, с клопоморами условия утряси. Кого-то из них для пущей правдивости на дело прихватить всё же придётся. Кто знает, может, мазепинские легавые и Солдатскую улицу негласно обнюхали. Ну, а сам якобы налёт обставим так, как договорились ранее. И прости, Иннокентий Палыч, но филёра, раз уж так вышло, несколько дней опекать придётся тебе. В сложившейся обстановке подержать его пару дней во временной могиле, считаю, к нашей же выгоде. Дедюхин наверняка отвлечёт на поиск своего «человечка» какие-то силы, которых, думаю, у него и так не хватает, тем самым образует дыры в охранении начальника. А это увеличит шансы Палестина остаться живым и скрыться после акта.

На этом совещание закончилось.

...Но! «Оскудели в у́мех» господа ликвидаторы, отмахнулись от Мазепы, как от докучливой осенней мухи, или, если быть ближе к правде — непростительно недооце-

нили врага. А ведь ещё до принятия рокового решения предупреждал их — да и себя тоже — Генерального штаба капитан о чудище, которое «обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» — то есть тяжёлой государственной машине, ворочающейся за спиной жандарма и способной размолоть своими жерновами любого, кто мешает её ходу. Да и к самой намеченной жертве офицер призывал отнестись более чем серьёзно. Опыт и чутьё подвигали к тому. И действительно, Иринарха Гавриловича воспитание и обстоятельства слепили человеком многослойным — и пороки, и достоинства управляли им на равных. Многим он казался скучным карьеристом и не умеющим дружить снобом. Кто-то считал его картонным Жиголо в мундире, занимающимся исключительно поиском успеха у состоятельных женщин. Но вот хватку ротмистра, его рассудочность и цепкость ума, небрежение к любым опасностям видели и отмечали тоже многие. Так во времена безжалостного эсеровского террора, когда разного толка российские газеты, начиная с многотиражных варшавских проправительственных и кончая каким-нибудь задрипанным анархистским «листком свободы» где-то в Чите, с пугающей частотой смаковали подробности убийств и покушений на высокородных и не очень царёвых слуг, он продолжал ездить по улицам в открытом экипаже, манкировал предупреждениями коллег, а на умоляющие просьбы жены подумать о детях, неизменно отвечал ей, что происходят безобразия где-то далеко, а в Тобольске это не пройдёт, потому как город у него вот где — показывал затянутый в перчатку кулак. Однако после неожиданно дерзкого — средь бела дня, да ещё в двух шагах от губернаторских покоев — нападения на полковника Богоявленского и особенно скандальной реакции общества на последовавшую вскоре гибель Алымова у нашего героя появилось неведомое ранее чувство если не страха, то какого-то непроходящего беспокойства. Он серьёзно задумался о собственной безопасности. Стал практиковать при поездках куда бы то ни было обязательную смену колясок, чаще переодевался в партикулярное платье, испросил у начальника губернского управления разрешения выставить караул к подъезду своего дома, нередко заночёвывал на конспиративных квартирах и окружил себя колоритными проходимцами доносчиками вроде Моти Куржавинского. И как, жеманно поджав губы, недовольно заметила супруга, потерял аппетит, а следом и интерес к участию во всевозможных светских устроениях. Права оказалась жёнушка, не до них ему стало. Ротмистр просыпался теперь и засыпал с неотвязной мыслью о том, что на плечи его вряд ли лягут столь желанные полковничьи погоны, покуда по улицам города расхаживают или прячутся где-то (господи, пусть это будет не так!) лица, желающие его смерти. Сортировал он их — потенциальных покусителей — по собственноручно вычерченной шкале опасности. Так, до сих пор не схваченных боевиков-эсеров, что отправили на тот свет сибарита Богоявленского, он почему-то в расчёт не брал. Эти душегубы из идейных, не заматерелые ещё в жизни, но тяжело поражённые вирусом крамолы, по многолетним наблюдениям ротмистра, были в основе своей всё же людьми порядочными, и если казнили кого, то за дело. Он даже внутренне иногда соглашался со своими contra, имея в виду показательную казнь самодура тюремщика: только не просчитывающему вероятия идиоту могла тогда прийти в голову дичайшая мысль устроить кровавую расправу над бунтующими арестантами. В практике исполнения судебных наказаний есть достаточно других способов заставить недовольных соблюдать законы. Так что поделом дураку. «А вот его — начальника охранного отделения, — не без подступающего к сердцу холодка, спрашивал себя Мазепа, — за какие деяния господа карбонарии могут приговорить к смерти? Неужели за злостное нарушение инструкций по применению табельного оружия недоумком Громыхайло, который, кстати, никогда не являлся его прямым подчинённым? Но тогда проповедуемые ими высокие принципы справедливости вершители нового миропорядка должны выбросить в выгребную яму и туда же поместить не менее страстные призывы к ваянию революции только чистыми руками! Ведь служебное расследование инцидента в доме антрепренёра без двоякого толкования установило, что произошла роковая ошибка. О чём товарищам бомбистам должно быть известно. Никто от подобных вывертов фортуны не застрахован. Никто! При этом виновника произошедшего всё же сочли нужным показательно наказать, отрешив от службы. А чтобы не возбуждать в публике лишней ажитации, специальным вердиктом Судебной палаты дело Алымова оставили условно открытым. Сию сотрясательную либеральную «милость» властей, нарушив устоявшийся порядок публикаций, жирным шрифтом на первых полосах сообщили читателям все губернские газеты! Словом... применить в отношении его — Мазепы — «последнее известное средство» у социалистов нет ни формальных, ни, тем более, моральных оснований. Не каратель же он, в конце концов, с руками по локоть в крови. Разве что сыщется в потрёпанных рядах нелегалов какой-нибудь отчаянный максималист-одиночка, продолжающий следовать тактике острых углов. Бывали такие случаи, чего уж там. Но очень сомнительно, что, обладая ничтожеством средств, он отважится на какую-то шумную вылазку».

...Куда более серьёзней занимала ротмистра другая категория людей. Военная косточка, побратимы Алымова — покойного местечкового кумира и любимца женщин — вот кто, действительно, сможет отомстить за своего друга и боевого товарища. Жандарм не только прекрасно знал, но и чувствовал на собственной шкуре стойкую корпоративную неприязнь армейского сообщества к «голубым фазанам». А уж, случайно — не случайно, получив информацию о том, что именно Мазепа приложил руку к подлому убийству члена их ордена, господа офицеры непременно изыщут способ наказать мерзавца. Уподобляться уголовникам и стрелять из-за угла они, согласно дворянскому воспитанию и никем не отменённым прописям кодекса чести, конечно, не будут. Но могут разрешить вопрос более приемлемым для них способом, например, вот так: найдут в своей среде записного бретёра, попадающего с завязанными глазами за пятьдесят шагов «в яблочко», который и вызовет ротмистра на дуэль. Все знают: поединки нынче запрещены. Все знают: наказываются подобные шалости в лучшем случае заключением в крепость. Ну и что? Тех, кто потребует сатисфакции, строгости сии не остановят. И отмахнуться от «брошенной перчатки» — не удастся! А уж предугадать исход схождения к барьеру... проще застрелиться самому... Как минимизировать, а ещё лучше совсем свести на «нет» исходящую с этой стороны угрозу? Есть единственный способ — прекратить всяческие сношения, даже случайные, даже касаемые службы, со всей, абсолютно всей гарнизонной сволочью. Пусть чиновники, облечённые властью в городе — градоначальник, полицмейстер, губернатор, гласные думы, наконец, принимают у себя в салонах «овеянных славой героев Мукдена и Порт-Артура». И позволяют им фразёрствовать, бренчать медальками, бить посуду и волочиться за чужими дамами. А его — начальника губернского политического сыска — увольте. Он занят делами более неотложными.

В такой же мере тревожила Мазепу и ещё одна прослойка городских обитателей. Не пришепётывающие по всякому поводу и без «charmant — mercі» разнообразные ничтожества — Чичиковы да господа Головлёвы, а ревнители и почитатели Алымова из слоёв неимущих, откуда, собственно, время от времени и выползает, на радость полиции, гидра непослушания о семи головах. Кто скажет, например, чьими стараниями недавно в зловонной луже у Курдюмки очутилось бездыханное тело несчастного служаки Громыхайло, именно его, а не кого-то другого? А следом за как будто обыденной в том бандитском углу смертью, уже вокруг самого ротмистра (или показалось ему), стали кружить какие-то сомнительные личности? Случайность? Хм... То, что бывшего урядника наказали утоплением за его бывшую «сучью» должность или просто пришибли в пьяной ссоре, Мазепе представлялось малоубедительным. Вон их сколько — не просто городовых, но отставных квартальных надзирателей да околоточных, за коими тянутся следы куда кровавее — до сих пор продолжает жить в городе, и ничего, никто их не трогает. Хотя...

Пригласив к себе на товарищеский ужин Дедюхина и Щекутьева, поделился с ними своими сомнениями. Долго судили и рядили, чего да как. Но решили пока экстренных мер не принимать, а тихо и без суеты, силами единственно «наружки» прощупать обстановку. Может, Иринарху Гавриловичу — по причине многолетнего хронического переутомления — почудились какие-то излишние страхи.

— Я бы на вашем месте испросил себе вполне заслуженные вакации, — попытался подбодрить начальника секретарь охранного отделения. — Поезжайте на кавказские Минеральные воды и непременно в сентябре, без семейной обузы и портфеля с деловыми бумагами. Горные виды, утончённое вино! И при этом, как поговаривают, очень приманчивая дешевизна южных базаров.

Дедюхин же, наполнив бокалы золотистым «Мадам Клико», грубовато доверительно посоветовал коллеге переключиться с роковых женщин на парфорсную охоту, ибо страсть страсти рознь:

— Главное, что новая — истинно мужская забава — позволит вам послать к чёрту некоторых известных кокоток, которые издеваются над вашими чувствами и, извиняйте, совершенно вас недостойны...

Ротмистр стушевался, поблагодарил и обещал подумать. Но к оговорённым мероприятиям приказал приступить немедленно.

...Опытным ищейкам, специально отобранным для ответственного дела, понадобилось, как в своё время и предвидел Иннокентий Павлович, всего два дня, чтобы установить факт непрерывной слежки за Мазепой. Однако как они ни старались, выяснить, кто же «висит на хвосте» у Иринарха Гавриловича и наблюдает за его домом, им не удалось. Фискалы потерянно докладывали о прямо-таки мистической способности их подопечных появляться из ниоткуда и исчезать в никуда. Стало ясно, что за ротмистра взялись серьёзно. Но кто? Заведующий отделом наружного наблюдения, оправдывая беспомощность своих «штатников», пытался убедить начальника, что все сколько-нибудь видные тобольские подпольщики давно увязаны, аки снопы в поле, а в город, ско-

рее всего, прибыли опытные боевики из уральского эсеровского центра, что косвенно подтверждают донесения о недавнем негласном посещении их краёв сестры самого Бориса Савинкова.

— А чего бы ей тогда из-за кордонов в нашу глухомань тащиться? Ясно же, что приезжала какую-то пакость готовить! — уверял Дедюхин.

— Полноте, голубчик, — раздражённо одёрнул его ротмистр, — являлась она не по мою душу.

И пояснил, что сегодня получил сообщение о побеге из тюменской пересылки известного эсера Дробышевского. Благодаря ротозейству надзирателей или посредством их прямого подкупа эта дамочка (или её сообщники) сумела передать преступнику дорожные документы, с которыми он благополучно и скрылся. Подпоручику Жгутову телеграфированы розыскные указания, и есть уверенность, что беглеца сумеют перехватить по пути в Екатеринбург либо Омск.

— Что же касается ваших предположений о гостях с Урала, уважаемый коллега, — продолжил Мазепа, — то притягивать осла за уши к морковке не стоит. Скажите лучше честно: не справляются мои охломоны, потеряли нюх, в связи с чем необходимо изыскать дополнительные силы. Какие и сколько? Давайте думать.

Дедюхин разгладил на коленях полы сюртука, вкрадчиво предложил:

— Может, пришла надобность вытащить из своих курятников и сеновалов нашу старую гвардию? На время, конечно. А чего, — ища поддержки, посмотрел на секретаря, — пусть пособят ребятки, проветрятся. Навозный да козлиный дух, поди, совсем изъел им мозги. Ну и от свар семейных отдохнут, сердешные. А где ещё брать людей? У меня брови нависли — дума на мысли.

— А мне, — закурив, поморщился Щекутьев, — воленс-ноленс представляется сейчас разумным и возможным, хоть это, простите, ваше высокоблагородие, и вызывает некоторую брезгливость, снова прибегнуть к талантам проверенного нами «Валета». Разумеется, сохраняя полную секретность контактов с ним.

— Так этот потаскун ещё жив? — воззрился на помощника ротмистр и сделал пометку в отрывном календаре. — А я думал, что безбилетные шлюхи своей неуёмной страстью уже извели его со свету. Ай да Мотя! Ай да сукин сын! — и после паузы объявил: — Касательно старой гвардии, Тихон Макарыч, я, пожалуй, соглашусь с вами. Отставников надо привлечь. И Куржавинский в этой комбинации, вы правы, Николай Васильевич, тоже не будет лишним. Есть смысл попросить его кое о чём. Что я лично и сделаю. Только не догадался бы кобель облезлый, что на сей раз дело для него может оказаться фатальным. Ну да не нам его жалеть...

Дедюхин, не отлагая, истребовал в ведомственном архиве адреса тех агентов, которые, по его мнению, смогут ещё поработать. И самолично на пролётке поехал беседовать с ними. Однако попытка уговорить «акул» тобольского сыска преподать урок настоящей охоты нынешним «карасям», обернулась конфузом. После почти дружеских встреч с выпивкой и воспоминаниями, сладких посулов, уговоров и увещеваний, а в некоторых случаях даже угроз, охотников пособить властям набралось, увы, общим количеством всего... три. Многие из «бывших» сослались на нездоровье, кого-то не устроила обещанная сумма вознаграждения, а кому-то — пропади она пропадом — даже вспоминать о былой службе не захотелось. Мазепа, узнав о результате вербовки, обругал отказавшихся мшелоимцами, а приглашённой к нему бравой троице ветеранов поставил задачу вцепиться, пока не поступит сигнал отбоя, в господина, фотографические фабрикации которого им будут сейчас показаны...

— Представляется он публике обычно Куржавинским Дмитрием Сергеевичем, дворянином Курской губернии, — ротмистр убрал после просмотра карточки в стол, — но кем на самом деле является этот почтенный жулик, установить не удалось, поскольку церквушка в селе, где он якобы родился, сгорела при обстоятельствах весьма загадочных вместе со всеми приходскими списками. В нашем же городе сей деятель больше известен своими «погремушками, которые навесили на него дружки-приятели. Самые звонкие из них — Мотя, «Валет», «Красно солнышко». Ещё мы знаем, что Куржавинский записной холостяк, коллекционер женских слабостей, хитёр, осторожен и, как все подлецы, продажен и трусоват. В молодости за карточное шулерство был лишён прав состояния и отбыл три года на каторге. Потому, братцы, прошу ухо держать востро и помнить, в каких клоаках и с кем этот склизень жизнь проматывал и на что способен, почуяв опасность, — ротмистр подошёл к одному из вытянувшихся перед ним филёров, оглядел его сухонькую фигуру, одобрительно кивнул: — Хвалю, Петров, блюдёшь себя. А правду говорят, что, состоя ещё штатно в полиции, ты не раз услужал Куржавинскому, когда тот, пользуя проверенные карты «Императорского воспитательного дома» в азартных играх, — Иринарх Гаврилович поднял палец вверх, — поощряемых самим правительством, то есть вполне законно, лишал достояний многие семейства и при этом ни разу не попался на плутовстве?

— Не припоминаю такого, ваше высокоблагородие! Злобы всё и наветы!

— Врёшь, поди, каналья? Так уж никогда и не садился «винтить» с ним? А на какие деньги лошадёнку себе в хозяйство прикупил? Ладно, — сжалился над побледневшим «гвардейцем», — не затем зван был. Тебе, Петров, как самому опытному поручается прямо сегодня принять для сопровождения нашего общего знакомца. Поведёшь его от дома Ланщикова, что на Спасской улице. Прибудет Мотя туда по моей просьбе к десяти вечера. Ты уж расстарайся, любезнейший, узнай, с кем после беседы со мной пожелает повидаться клиент. Ну, а не пожелает, тогда действуй, как принято у этой публики, их же подлой манерой. Очень на тебя рассчитываю, — ротмистр отошёл к двум другим сыщикам и, к их удивлению, пожал каждому руку. — Особое усердие, братцы, попрошу проявить ночью. Не спать, кабаки без надобности обходить стороной, смотреть в оба. И ещё. Нам доподлинно известно, что «Валет» безотлучно держит возле себя дрессированных девиц, коих при нужде употребляет для тайных сношений со своими подельщиками. Так вот, пригляд за «бабочками в боа и шиншилях» тоже ложится на вас, за что плюсом получите ещё по рублю. Круглосуточное наблюдение, знаю, втроём вам не осилить, поэтому помощь двумя агентами окажу. Договаривайтесь, где и как будете менять друг друга, и за дело.

Отдав ещё несколько распоряжений, Мазепа отправился на конспиративную квартиру охранного отделения, где убрал со стола в общей зале и отнёс на кухню приготовленные прислугой фрукты и коньяк, оставив лишь папиросы и пепельницу. Потом бродил по комнатам и внимательно, как будто видел их впервые, долго разглядывал картины на стенах, зло думал, что жизнь проходит, а ему, вместо того чтобы почаще радоваться этой красоте, приходится заниматься человеческими отбросами.

В точно назначенный час звякнул колокольчик у входной двери. Явился «Валет» — впалые щёки, синюшные круги под глазами, но на голове безупречный, лоснящийся от бриллиантина пробор. Видно было, подъём на второй этаж дался шулеру тяжело: его извинительное приветствие, — «простите, ваше высокородие, старость не радость, а горб не корысть», — утонувшее в болезненных присвистах и выхрипах, ротмистр еле разобрал. Дав гостю отдышаться, рассказал ему о цели вызова. Куржавинский, внимательно изучая свои штиблеты, выслушал и попросил воды. Достав из кармашка жилетки облатку, морщась, выпил лекарство. А потом заявил, что при всём, так сказать, уважении и расположении, никак не сможет исполнить просьбу Иринарха Гавриловича. По причинам основательным. Немощен он уже — это раз. Во-вторых, Борю — дружка его Шпигеля — зарезали недавно, как подозревает Мотя, урки из Затона, чтоб не отдавать проигранные деньги. «А ведь только Боренька (пусть ему видится оттуда, с небес, как Мотя до сих пор его любит) знал всю босóту в округе и помог бы сейчас господину ротмистру. А что сегодня Мотя без Бори? Так, раздёрганная ватная кукла без глаз и ушей»...

Мазепа, предполагая такой исход разговора, упорствовать не стал и отпустил старика. Спросил только едко, почему Дмитрий Сергеевич сегодня один пожаловал, без обычной «охраны»? На что «Красно солнышко» с обидой ответил, что жриц любви он отослал за ненадобностью, когда под окнами своего убежища приметил серую тень:

— Богиням-то моим неуёмным, ваше высокоблагородие, за каждый вызов платить надобно, а вы подле меня, аки будочного пса, дармового караульщика привязали. Я к вечеру даже кашлять реже стал от такой заботы.

Выйдя из подъезда дома Ланщикова, «Валет» отдышался, дерзко, будто близкому другу, помахал торчащему недалеко «топтуну» и отправился к себе — думать. В квартире выпил несколько порошков какой-то дряни и прилёг на софу. Но тут раздался стук в двери. Пошёл открывать.

— А-а... мёрзнешь, волчий хвост? — не удивился стоящему на площадке в лёгком сером пальто с поднятым воротником Петрову. — Заходи, мадеры налью.

— Я из любопытства, Димитрий Сергеич. Ненадолго я. Захотелось вашего мненья услышать. По давнему знакомству, если позволите.

— А на кой тебе моё мненье? Садись вон туда, инфузорий жандармский, и выкладывай всё как на исповеди.

Филёр опрокинул поднесённую чарку, утёр усы:

— Ты уж прости, Димитрий Сергеич, посулили нам аж по десяти целковых серебром, если установим, кто на их благородие Мазепу охоту повёл. Сомлел я от такого предложенья, не смог отказаться. У меня же хозяйство экое и внуков чертова прорва. Дай совет, где этих загонщиков искать? Ты ведь первый человек в городе после губернатора.

«Валет» от такой бесстыдной лести поперхнулся. Трясущейся рукой накапал несколько капель вина в рюмку, взболтнул её, но отодвинул недовольно, сказал, впрочем, без злобы:

— Словами, будто флагом каким, размахиваешь, — и глянул исподлобья. — Скажи

лучше, голова осиновая, к моей-то особе зачем тебя приставили?

— А кто его знает? Люди мы казённые, Дмитрий Сергеич, чего скажут, то и работаем. А не станешь исполнять, так сразу в морду.

«Красно солнышко», помолчав, вздохнул огорчительно:

— Это мне известно. Но всё равно дурак ты, Петров. Не зная прикупа, в карты играть садишься. Слыхал, поди, про Громыхайлу урядника? Неизлечимый тупица был вроде тебя. Он, люди шепчут, тоже когда-то деньгами соблазнился. И вот наступила для него ночка тёмная — волчье солнце на небе, а на шее удавка. Тебя, думаю, та же участь поджидает. А я после смерти Бори в политику лезть себе заказал, азарт пропал, знаешь ли. Ты шепни там кому надо, чтобы сжалились над стариком, отстали от меня. Сухотка, мол, съедает доброго к людям Мотю, умирать он готовится. Да и тебе, размяк, гляжу, нечего тут засиживаться, забирай бутылку, и прощай, любезный.

— Но, Дмитрий Сергеич...

— Иди-иди. А завтра, когда сюда дежурить отправишься, на Спасскую как бы ненароком заверни и погляди: не топчется ли там божий человек в рубище с жёлтой опояской. Костылём себя подпирает и волосом седым оброс, но глаза у него... Не надо бы их ему на людей подымать, ан бесовские они...

Забив пробку в горлышко бутылки, Куржавинский сунул её филёру и вытолкал его за дверь.

Утром, никому ничего не докладывая, Петров решил проверить скинутую ему «Валетом» краплёную карту и в коляске с крытым верхом отправился на указанную улицу. Начинался обычный день. Открывались лавки, появлялись разносчики газет, слышались протяжные «завлекалки» продавцов сбитня и пирогов. Угрюмо спешили на службу чиновники. Вглядываясь в прохожих, Петров, действительно, вскоре увидел бредущего прямо по мостовой косматого богомольца. Отличительным был субъект, такого ни с кем не спутаешь. Только кушак, стягивающий на нём лохмотья, был не жёлтого, как обрисовал Мотя, а грязно-зелёного цвета. И вместо костыля подпирала сегодня «богатыря во смирении» нищенка в неопрятном платке и спадающем до пят чёрном балахоне. И — верить ли глазам своим?! — Петров поспешно откинулся на сиденье коляски и перекрестился: баба та явно прихрамывала. «Неужели она, которую назад три года, вывалив языки, разыскивали по всему городу?» — вытер он выступивший на лбу пот и велел вознице остановить экипаж у новомодной кофейни сразу за домом Ланщикова. Там, мучимый ароматами недоступных ему заморских «апробаций», постоянно дежурил осведомитель. Петров велел ему немедленно бежать к Дедюхину, чтобы тот, в свою очередь, не отлагая, прибыл сюда с командой.

— Так и скажешь Тихон Макарычу: для задержания как есть выявленных Петровым преступников, проходящих по особому розыскному циркуляру.

Филёр послушно выскользнул за дверь, а Петров через кухню прошёл на соседнюю улицу, чёрным ходом поднялся на второй этаж дома Ланщикова и в окно лестничного пролёта, не подставляя лицо близко к стеклу, стал разглядывать, что происходит внизу на Спасской. «Ага, вот они где христарадничать устроились, — удовлетворённо отметил искомую парочку. — Удобный пост заняли, голуби, ничего не скажешь: и подъезд оттуда им хорошо виден, и за спиной проход меж домами имеется, а в двух шагах питейная лавка, в которой наверняка потайный выход оборудован. Щас мы вам милостыньку подадим, православные!»

— Что тут у тебя случилось, Павлуша? — раздался вскоре у него за спиной голос Дедюхина.

— Гляньте, ваше благородие, кажется, попалась нам та калека, что в начальника тюрьмы стреляла, только в годе каком, запамятовал.

Дедюхин недоверчиво всмотрелся:

— Которая калека? Откуда ей быть здесь? Кто это рядом с ней?

— Подручник её, вестимо. Схватим, так не отвертится. И вон ещё правее такой же псалмопевец устраивается. Не иначе как одна шайка они, Тихон Макарыч! Мне бы это... знак на грудь за беспорочную службу...

— Отлыгни! — дико зыркнул Дедюхин и сплюнул. — Эк, куда дело повёл, козявец. А ну спускайся живо на улицу и в проходе за спиной у попрошаек встань, мы тут без тебя призы поделим.

Дедюхин, зло засопев, достал папиросу, чиркнул спичкой. Потом, кряхтя, поднялся на следующий этаж, открыл ключом конспиративную квартиру, в которой имелся телефон, и позвонил Мазепе. Выйдя на лестницу, приказал полицейскому уряднику:

— Ошибиться в этот раз никак не велено, братец, поэтому будем ждать. Сейчас ротмистр самолично прибудет. Если признает преступницу, подаст знак. Кто к тебе из «штучников» наряжен? Сметанин? Накажи ему потолкаться возле убогих, отвлечь их. На, — сунул служивому несколько медяков, — пусть он кинет их в шапчонку болезным для пущего отводу глаз. А пока Сметанин высматривает, что за личности такие

из народу слезу да копейку вышибают или следят за кем, улицу запечатать. Наглухо! Исполнять и живо!

В это же самое время негласно понаблюдать за действиями «калетинских орлов» приехал на Спасскую Иннокентий Павлович. Чуть не столкнувшись на входе в кофейню с выскочившим оттуда филёром, прошёл к столику у окна, огляделся и попросил полового, чтобы ему приготовили чёрный «arabica» с флердоранжем. Пока на кухне варили напиток, капитан просмотрел свежую газету и нарочито громко посмеялся над изрядно глупым фельетоном известного острослова господина N, успев при этом отметить, что в улице нужные люди находятся на означенных диспозицией местах, а условный, зелёного окраса «перехват» лохмотьев Палестина и того же цвета подвесной карман на балахоне «Трапеции» сигнализируют о полной готовности группы к акции.

...Процедура приготовления «восточной амброзии[1]» затянулась. Наконец, «эй, человек» принёс заказ, поставил прибор на ловко расстеленную салфетку и протянул капитану розовый с серебряным тиснением листок.

— Это ваш счёт, сударь, — пояснил учтиво и с поклоном удалился.

Иннокентий Павлович с интересом рассмотрел красивую атрибуцию, хмыкнул, не спеша свернул газету. Сделал несколько глотков и... отставил чашку — тёмно-бурая жидкость с непривычным амбрэ ему не понравилась. «Дурят народ заграничной пакостью!» — обругал про себя держателей кафетерия, встал и направился к выходу. Но снаружи у дверей неожиданно появился дюжий полицейский. Он бесцеремонно заступил дорогу офицеру:

— Приказано никого не выпускать, ваше-ство. До поры обождите в заведении, испейте ещё кофею.

Капитан, побледнев от догадки, резко распахнул шинель (блеснули ордена), показывая городовому, кто перед ним стоит, но тот угрожающе выдернул шашку из ножен. И тут улица вдруг огласилась криками и обвальным грохотом колёс — по мостовой забегали городовые, подкатывали и отъезжали экипажи. Прозвучало несколько выстрелов. Через несколько минут всё так же неожиданно смолкло. Улица опустела. На месте, где ещё недавно стояли Палестин с Татьяной Андреевной, привычно ругались номерные дворники в жилетах и холщовых фартуках. Они брезгливо подбирали с мостовой и распихивали по мешкам разбросанные пожитки пропавших калик перехожих. Над крышей дома Ланщикова появилось солнце.

Случилось это в среду...

* * *

Минуло два месяца. Проявляя личный интерес к следствию и пользуясь служебным положением, Иринарх Гаврилович иногда наведывался в городскую тюрьму, где шло дознание по делу подготовки покушения на сей раз лично на него — Мазепу. Во время одного из допросов попросил знакомого следователя ненадолго прерваться. Подошёл к арестанту:

— Всё хочу спросить вас, наше молодое революционное дарование, вот о чём. Что думали ваши родители, нарекая сына режущим русский слух именем Палестин? Такового в наших святцах мне встречать не доводилось. Ваши отчичи что — были нигилистами, плюющими на исконные традиции, или большими оригиналами?

Юноша удивился:

— А разве в вашей почтенной конторе не завели досье на мою семью? Странно. Позвольте тогда огорчить вас. Мой батюшка, одесский грек, когда-то участвовал в экспедиции казачьего атамана Ашинова в район Африканского рога. Красное море, пески Аравии, Абиссиния, раскрашенные туземцы с копьями. А ещё воды Иордана и оазисы Палестины. Имя оттуда. И ничего оскорбительного для себя, да и других тоже, я в нём не нахожу.

— Ну, теперь мне понятна ваша тяга к авантюрам. Отец в «казаков-разбойников» играл, отпрыск — на «финки-ножички» перешёл. Но должен сказать вам, что папаша всё же был умнее вас. Он хотя бы в тёплые страны стремился, где благодатное солнце и... авантажные женщины. А вы? За проданную дьяволу молодость купили себе путешествие «во глубину сибирских руд»? Однако-однако. Впрочем, пожелаю вам скорой и приятной прогулки туда... потомок эллинов.

[1] Амброзия – пища богов

Глава 2. ЗЛОПОЛУЧИЕ

Миссию в Сибирь с целью вызволения Палестина из кандалов пришлось отложить из-за внезапной болезни Калетина. Скорбь телесная оказалась тяжёлой и затяжной. Приезжали эскулапы, шептались, меняли диагнозы, назначали лекарства, мало облегчающие состояние пациента. Людмила извелась от отчаяния. Только к концу лета 1914 года, по совету знающих людей, сумела отыскать у подошвы Троицкого мыса на берегу речки Курдюмки жалкую хатёнку столетней травницы. Слепая ведьма из-за общей дряхлости пользовать хворого отказалась. Но дала совет: не пойдёт болезный на поправку, пока не полежит два часа у восточной стены Знаменского монастыря. «Рыжий» с «Боярином» отвезли Калетина в означенное место. Полежал он. И что бы вы думали? Действительно стал выздоравливать. Но тут подкралась новая напасть. Августейший монарх неожиданно для большинства своих подданных ударил в колокола — объявлялась всеобщая мобилизация. В городе запели:

...Началась война буржуазная.
Раза-ашёлся рабочий народ.
И па камушку, па кирпичику
Расташ-шыли кирпична-ай завод...

Призыву подлежали представители всех сословий возрастом с 21 до 43 лет, кроме казачества и духовенства. Стало быть, Калетин и его клевреты совсем уже скоро могли оказаться в списках уездного Присутствия по воинской повинности, наблюдающего за ходом рекрутирования. Зарёванная племянница тоскливо вопрошала дядю:

— Миленький, но ведь ты же властями каторгой был награждён, неужели и таких воевать собирают?

Григорий Платонович успокаивал её с усмешкой:

— По закону российскому, душа моя, в приёмный формуляр новобранца заносится много чего — и рост его, и вероисповедание, и телесные изъяны, объём груди и прочие обмеры. Даже пометка о политической благонадёжности должна иметься. А вот графу о бывших преступных деяниях будущего защитника престола не предусмотрели. Варнак ты каторжный или ворюга без совести — извольте молчать и вставать под знамёна. Так что, придётся нам, Людочка, пока лихо вокруг, тихо «залечь на дно».

К концу года на церковных папертях появились первые «самовары»[1], а в далёкой столице, именуемой нынче Петроградом, мало тогда кому известный поэт дерзил:

Как вам не стыдно о представленных к «Георгию»
Вычитывать из столбцов газет?

Но одним — уже декабрьским и тоскливым — вечером Григорий Платонович объявил Михаилу:

— Собирайся. Надоела мне эта полуподвальная, полупаскудная жизнь. В Нерчинск поедем. Я письма получил от нужных людей. В Чите нас будут ждать и проводят до каторжных заводов. Назад мы должны вернуться с мальчиком.

Поехали. Калетин — под видом держателя крупного пакета акций Нижегородского коммерческого банка коллежского советника Демонтовича, следующего в Забайкалье для составления подрядов с тамошними поставщиками продовольствия для нужд армии, а Михаил (по старой памяти) натянул личину ветеринара Швальца, уполномоченного волжскими же деловыми кругами произвести оценку сибирских территорий на предмет потенциального закупа у населения конского строевого и тяглового состава. В дороге Калетин тяжело пил, но не мешал соседу по купе «конскому лекарю» Швальцу изучать предусмотрительно прихваченные с собой «Лечебник» магистра ветеринарных наук Алтухова и брошюру «Практическое определение возраста лошади по зубам» господина Березовского.

— Молодец! Не спускай с себя, Михайло Ксенофонтыч, — одобрительно посмеивался «акционер», — постигай доходное ремесло. Времена, они, пишут, подвигаются спиралью, может, и вывезет тебя кривая к какому хлебному корыту.

Через две недели в отдельном кабинете читинского вокзального ресторана благополучно прибывшим гостям было вежливо сказано, что им здесь рады и готовы всемерно помочь.

— Но хочу предупредить вас, Григорий Платонович, — испытующе посмотрел на Калетина господин, разительно похожий на императора Александра Второго, — тот путь, который вы проделали, был, хотя и утомительным, однако безоблачным, а вот от

[1] «Самовар» (жарг.) — калека без обеих рук и ног

нас до места полагания начальства Нерчинской каторги почти пятьсот вёрст по глухим и, прямо скажем, опасным пространствам — бедствие, которое способен выдержать не всякий.

— Да не стращайте вы раньше времени нашего друга, Зот Фадеич, — не согласился сидящий напротив «Рыжего» чиновник в мундире инженера путей сообщения с погонами коллежского асессора, — тащиться по такому страху в каторжные пределы, похоже, уже нет надобности.

Калетин-Демонтович удивлённо отложил вилку и попросил разъяснений.

— Пока вы к нам добирались, господа хорошие, случилось нечто, чего мы не могли предвидеть, — инженер достал из внутреннего кармана кителя конверт и протянул его Калетину. — Вот письмо от известного вам бывшего адвоката Гравиатова из Кутомары. Я получил его буквально за час до отъезда на вокзал и даже не успел показать Зоту Фадеичу, да простит он меня. Наш общий знакомый с прискорбием сообщает, что в интересующей нас тюрьме сменилась власть. А это означает, что всё нами задуманное осуществить теперь будет крайне затруднительно. Если вообще возможно.

— «Мне неизвестны причины, подвигшие Ковалёва сделать такой шаг, как не поддаются определению мотивы решения горнозаводского правления, давшего ход прошению мздоимца и казнокрада об отставке. Ковалёв выказал себя в о круге записным патриотом, сдал дела и отправился в действующую армию», — вслух прочёл Григорий Платонович и растерянно обвёл взглядом собеседников. — Вот подлец! Что же нам теперь делать?

Продолжили обсуждать неприятную новость уже перед камином в доме Зота Фадеевича. Хозяин предложил раньше времени не отчаиваться. Завтра его знакомые из Читинской казённой палаты обскажут подробный «портрет» присланного в Кутомару чиновника:

— Человек же, он, господа, не орясина болотная. Значит, и слабостей не лишен. Будем давить на них.

Вечером следующего дня Зот Фадеич мрачно доложил:

— Похоже, не имеет слабостей новый воевода. Чином он титулярный. Сам старик, но заточен на службу, как штык. Педант лютый. «Анну четвёртой степени», говорят, не снимает, даже идучи в баню. Прислан из Ковно, где был помощником смотрителя тамошней тюрьмы. Сюда напросился для выслуги повышенного пенсиона. Но, подозревают, просто сбежал от ползущей в те края войны. С таким держимордой не сговориться.

— Однако попробовать надо, — зло отрезал Демонтович и посмотрел на путейца. — Как вы собирались вытащить мальчика?

— Да схема старая. По ней и вас, Григорий Платонович, в своё время из Туруханска вызволяли. Мы подразумевали улещить Ковалёва внушительной акциденцией[1], чтобы он в обход Свода законов сменил фамилию нужного нам бессрочного арестанта и переместил его в разряд исправляющихся, тем самым позволив ему проживать вне тюрьмы. А с вольных хлебов уйти при хороших документах в Читу и далее — было бы только желание...

— Ну так пошлите к этому ковенскому «кавалеру» человека с нашими предложениями. Сколько на это потребуется времени?

Инженер, пожав плечами, предположил, что если почта в те места летом раньше четырёх суток редко когда поспевает, то зимой, разумеется, добираться придётся и того дольше.

— Однако есть опаска общей бесполезности такой поездки. Новый начальник вряд ли примет незнакомых ему лично людей, да ещё с такою противоправной просьбой. Он просто испугается, заподозрив, что таким образом на новом месте ему устраивают проверку. Более того, после разговора с нами, прикрывая свой зад, служака может связаться со штабом атамана аргунских казаков, и нас наверняка перехватят где-то в дороге, после чего последует серьёзная полицейская проверка.

— Простите, я незнаком со здешней спецификой, но ваши доводы убеждают. Да, с вором Ковалёвым взятка бы сработала. А вот полицейский розыск нам, конечно, не нужен. В переписке мы из осторожности не обсуждали то, о чём сейчас спрошу: а из самой тюрьмы побег возможен? Вы такой вариант рассматривали?

Зот Фадеевич сокрушённо покачал головой:

— А как же. И не только обсуждали. Минувшим летом я почти два месяца жил в посёлке близ острога. Выспрашивал и солдатиков из стражи, и девок-поселянок, что в тюремной прачечной спину гнут. Двух надзирателей у себя в домишке принимал и поил меж разговорами. Со старожилами беседовал. Сам наблюдал. Да и много из кого ещё секреты устройства жизни кандальников вытягивал. Все в один голос твердили:

[1] Акциденция — взятка

ход за стену крепости особо опасным преступникам замурован так, что кайлом не вышибешь. Ковалёв постарался. Только в седьмом году, кажется, какому-то матросику с «Потёмкина» удалось сделать подкоп в тюремной церкви и уйти от погони. Более удачных случаев не было. Побеги, конечно готовились, но их — где случайно, где благодаря стукачам упреждали.

— Скверно. Выходит, господа любезные, прикатили мы сюда с Михайло Ксенофонтычем пустые щи похлебать. Прошу не принимать сие как упрёк. Кто, действительно, мог предполагать, что пружина судьбы вдруг разожмётся и больно ударит? Мы со Швальцем пойдём поплачем.

Плакали они неделю... вчетвером. «Александр Второй» с инженером путейцем, наливая мадеру себе и гостям, убеждали их, что сегодня сделать ничего нельзя. Система государственная непрошибаема. А лезть напролом неразумно и опасно. Скорее всего, к вопросу побега придётся возвратиться, увы, только тогда, когда по Уставу о ссыльных сидельцам разрешат жить на вольных квартирах вне крепости. Правда, случится это нескоро. При условии, что узники будут подавать надежду на исправление, Гравиатов может выйти за «стену» только через два года, а Палестин — через три-пять лет, в зависимости от решения начальства, потому как бессрочник он и к тому же политический.

В конце января после скупых, по-мужски, прощаний визитёры безрадостно покинули Читу. Калетин в дороге пил, тоскливо представляя встречу с Людмилой. А Михаил, забросив «господ Алтухова и Березовского» с их бруцеллёзом и ложным бешенством в саквояж, молчал и часами смотрел в окно.

* * *

Третьего марта 1917 года вышел Указ Временного правительства об амнистии политическим заключённым. Партийные скороходы довольно быстро донесли эту ошеломляющую весть до Акатуя и Кутомары, Смирновской, Зерентуевской и других каторжных тюрем. Заработали кузнецы, сбивая с сидельцев кандалы. Палестин с Гравиатовым стали собираться в дорогу...

Продолжение следует

Александр ГОРОХОВ

ИНО-агент НКВД

Роман-воспоминание

(Журнальный вариант)

Часть I

1.

Сослепу она путала на отрывном календаре надпись «четверг». Через тяжелые жирные стекла очков прочитывала: «демиург». Поднимала глаза с отвислыми, как уши спаниеля, веками, пожимала плечами, говорила:

— При чем здесь демиург? Идиоты. Тоже мне — творцы хреновы.

Отрывала прямоугольный листок с большими цифрами и мелкими буквами, швыряла в мусорное ведро.

Смотрела в окно, соображая, вечер или утро. Вспоминала, что только проснулась. Вздыхала. Шла, шаркая дырявыми тапками, в ванную. Долго выдавливала из тюбика пасту, вонявшую фальшивой химической мятой. Первая порция обычно сваливалась со щетки на пол. Она топталась на ней, делала вид, что ничего никуда не падало, мазала порыжевшую за годы щетку, снова промахивалась. Шурудила щеткой во рту. Полоскала. Плескала на лицо теплой водой. Попадала на очки. Снимала их. Клала на стеклянную полку. Долго вытиралась. Шла опять на кухню. Вспоминала про очки. Возвращалась. Потом опять на кухню. Наливала в чайник воду и уходила в комнату. Долго искала пульт от телевизора. Включала. Ложилась на диван. Орущий телик был лучшим снотворным. Просыпалась от мысли, что чайник выкипел и на кухне пожар!

Бежала, с трудом передвигая ноги. Слава богу, оказывалось, что забыла включить. Включала. Ждала, пока засвистит. Наливала в чашку. Долго перемешивала. Потом вспоминала. Насыпала три ложки сахара. Вздыхала. Докладывала ложку растворимого кофе и снова перемешивала. Мазала ломтик хлеба маслом. Думала про холестерин, затыкавший, как говорили в программе про здоровье, все кровеносные сосуды. Вздыхала. Хмыкала, что врачиха говорила, будто бывает и полезный. Ворчала, что медики только треплются, а сами ничего не знают. И вылечить ни от чего не могут.

После завтрака выполаскивала чашку, ставила её кверху попкой в сушилку. Плелась в комнату. Искала пульт. Включала. Ложилась на диван. Долго глядела в экран. Выключала. Смотрела на серое небо в окне. В этот день начался дождь. Грязные капли криво потекли по стеклу. Захлопали по карнизу. Забылась.

Ей снилось, будто она молоденькая шотландская овчарка. Бежит по зеленому полю. Длинная шелковая рыжая шерсть колышется, её догоняет молодой, сильный самец. Не больно кусает за холку, они падают, переворачиваются на спину, хохочут, крутятся. Потом снилось, как она лежит на руке Лёни. Оба молодые, красивые. Улыбаются. Ни о чем не надо говорить. Давно без слов понимают друг друга. Он курит. Дым щекочет её ноздри. Она просыпается и чхает. Потом ещё. Ещё. От этого сотрясается и болит тело.

Вспоминает, что надо искупаться. Идет в ванну. Теплая вода расслабляет. Приводит к теплым мыслям. Она закрывает глаза. Мечтает: «Вот бы сейчас умереть. В тепле. Не больно». Размышляет, как мудро было в Риме: «Ложились в горячую воду. Перерезали вены на руке. Чирк, и все! Кровь постепенно, совсем не больно вытекала. И она бы так хотела. Заснуть и не проснуться».

Мечтательно заулыбалась. Поднялась, держась за борт ванны, боясь споткнуться, свалиться, сломать тазобедренную кость, как соседка Раиса. Или сломать ногу, как... Кто — не вспомнила. Прошлепала мокрыми ногами к обшарпанному шкафу, тоскливо, будто Пьеро, скорчившему мордочку фанеровкой со стеклом. Открыла кривую залапанную дверку со стертым прозрачно-желтеющим лаком. Достала с полки полотенце. Вытерлась. Досуха не получилось. Надела чистый халат. Снова прошла в ванную. Вытерла тряпкой пролитую воду. Повесила на трубу сушить. Жутко устала. Вернулась на диван. Села. Заплакала... Сидя заснула.

Когда проснулась, было темно. Есть не хотелось. Долго соображала, какой сегодня день? Вспомнила — демиург. Пробормотала: «Когда уж ты меня заберешь. Поскорее бы». Посмотрела на пустой кувшин с фильтром для воды. Сказала: «На фиг ты мне нужен». Наполнила из крана чайник. Вскипятила. Насыпала в старую высокую кружку три ложки сахара. Вздохнула. Положила ложку растворимого кофе, перемешала. Намазала ломтик хлеба маслом. Сверху положила ломтик сыра. Вспомнила про холестерин. Вздохнула: молодая врачиха говорила, что бывает и полезный. Проворчала, что ничего эти врачи не понимают. Только голову морочат. С трудом дожевала хлеб. Кофе недопила. Вылила в раковину. Чашку долго мыла. Поставила в сушилку. Капли потекли, захлопали по поддону. Вспомнила — днем был дождь. Поплелась в комнату. Нашла пульт. Включила. Долго смотрела в экран. Выключила. Легла на диван. Спать не хотелось.

Жить — тоже...

Крутнулся ключ в замке. Дверь открылась:

— Баб? Ты еще жива, моя старушка! Я тебе продукты принес.

В прихожей на пол шлепнулись башмаки. На вешалке зашуршала куртка.

Она быстро села на диван. Голова закружилась, но глубоко вздохнула, и вроде бы круженье ушло. Глядя в стекло серванта, поправила прическу. Встала, заспешила навстречу. Для всех она притворялась глуховатой, но не для внука.

— Старушка жива! Привет тебе, привет! Ты-то как, Сережа?

— А чего мне сделается. Все хоккей.

Внук протопал на кухню. Поставил на стол тяжелые пластиковые сумки-пакеты. Открыл холодильник. Начал заполнять полки пакетами, бутылками, коробками.

— Ну, куда столько? Я же это за месяц не съем. Притащил, как на Маланьину свадьбу.

Внук обнял старушку, чмокнул в щеку:

— Не боись, съедим. Чего не съедим — понадкусываем.

— Я сейчас чайник поставлю, — засуетилась она.

— Спокойно. Уже поставил.

Она искренне удивилась:

— Когда успел-то. Я же тут была и не увидела? Шустёр, бродяга!

— А то! — внук снова обнял её. — Ты, небось, голодная сидишь. Только таблетками питаешься. Сейчас бутербродов налеплю.

Внук вытащил из пакета кучу ломтиков батона, начал намазывать одни легким сыром из коробочки, другие щучьей икрой, третьи нарезкой буженины. Она усмехнулась, показала на все это пальцем:

— Правильно, что именно это принес. Врачиха на неделе приходила, умная такая, молодая. Должно быть, на прошлой неделе мединститутский диплом получила. Учила, что это все мне строжайше запрещено. Холестерин, инфаркт-инсульт и прочая, и прочая. А я ей говорю: «Деточка, в моем возрасте можно все! Ибо из всех удовольствий осталось одно — иногда вкусно поесть. И это, именно это и продляет жизнь. А умереть не вопрос. Хоть с холестерином, хоть без».

— А она?

— А что она. Она говорит, что надо без холестерина корячиться в муках на капусте и морковке.

— Баб, можно подумать, что ты каждый день так ешь. Небось, на завтрак — каша, на обед — суп вегетарианский, а в ужин — чай пустой.

— Да нет, Сережа, я хорошо питаюсь. У меня пенсии, слава Богу, хватает на все.

— Я тебе, баб, денежки оставляю, трать. Не сачкуй, — внук вытащил из бумажника немаленькую сумму, положил на стол. Придавил сахарницей. — Ходить-то на улицу не очень тяжко? Ты сегодня выходила?

— Сегодня нет, — вздохнула она, — нужды не было, да и погода не очень, а вообще каждый день.

— Тогда молодец.

Чайник закипел. Внук налил в большие чашки. Бутерброды сложил на здоровенное блюдо, передвинул поближе к бабушке. Сели чаёвничать. Она улыбалась, смотрела на внука, неспешно отпивала чай, откусывала маленькие кусочки от бутерброда.

— А мне сегодня дурацкий сон приснился, — она поставила чашку, засмеялась, прикрыла ладонью рот. — Будто я — это не я, а собака. Колли. Красивая, молодая, ловкая. Бегу по зеленой лужайке. Даже не лужайке, по полю, а за мной красавец пес. Догнал, кобелина, охальник.

— Ну, ты, бабуля, даешь! — внук заулыбался, погрозил ей пальцем, обнял. — Ты, пока меня не было, случаем мужиков не водила?

— А то! Почти каждый день.

— Смотри, а то холестерин повысится.

Они снова засмеялись.

— А ты-то как, когда на свадьбу пригласишь? А то и не доживу. Я в этом году помирать собралась.

— Жениться, баб, не напасть, да как бы с женой не пропасть. Совсем ты меня засмущала, — внук жеманно прикрыл лицо.

— Ой-ой, видала я твоих красавиц. Очень даже симпатичные девицы.

— Да к чему они мне, когда ты есть. Вот на тебе хоть завтра бы женился.

— Я уж, Серёженька, давно отженихалась. Слава Богу, с твоим дедом хорошую долгую жизнь прожили. Господь его берег. С войны вернулся. Институт окончил. Умный он был. И выдержанный. Не суетливый.

— Бабушка, — внук вдруг посерьезнел, — а ведь ты мне ни разу про свою жизнь не рассказывала. Так, какие-то отрывки слышал, а ведь толком ничего не знаю. Расскажи.

— Серёженька, да в другой раз.

— Ты, дорогая моя, не отнекивайся, а то ведь, и вправду, другого раза может и не случиться. Вот выйду от тебя, кирпич по башке с крыши бабахнет — и нету. Тю-тю. Кому тогда рассказывать будешь? Так что не отнекивайся. Начинай по порядку.

Старушка взглянула на внука, улыбка сошла с лица. Она вдруг, будто впервые, увидела, насколько он похож на деда, её мужа. Слеза блеснула, Зинаида Филипповна смахнула её:

— Совсем сентиментальная стала. Чуть что — слезы, — она, не стесняясь, вытерла возле глаз платочком. — А я тебе, внук, говорила, что ты на деда похож? Одно лицо.

— Нет, баб. Но я на фотке видел. Сам догадался.

— И походка, и жесты, — старушка оживилась. — Этого на фото нет. Удивительно, ты же его не застал. Он умер до твоего рождения, а все тебе передалось.

— Генетика.

— Да, генетика. Теперь этим такое объясняют. А объясняется-то не все. Характер — объясняют химическими реакциями в головном мозге, походку и жесты — идентичным устройством суставов и связок, длиной мышц. Так-то оно так, но неубедительно. Хотя я не против и такого объяснения, все лучше, чем никакого.

— Бабушка, чаю подлить?

— Пожалуй, подлей, родной ты мой.

Внук налил в чашку чай, обнял, поцеловал в щеку, сказал, чтобы не грустила, что придет в конце недели. Оглядел комнату, добавил, что в выходные сделает генеральную уборку. Потом зашел в ванную, вымыл руки, увидел старую зубную щетку:

— Баб, я же тебе три щетки зубные приносил. Специально мягкие выбрал, почему эту не выкинула? Давай я выброшу. А куда новые-то положила?

Зинаиде Филипповне не хотелось огорчать внука, хотя к старой она привыкла:

— Ну, выбрасывай. Новые в шкафу, где банные полотенца.

Сергей открыл шкаф, выбрал самую красивую, вытащил из пластиковой обертки, на кухне обдал кипятком, заодно отмыл стакан. Старую щетку выбросил в ведро, а новую, в сверкающем чистотой стакане, поставил на место.

Ушел. Она еще долго сидела за столом с остывшей чашкой. Улыбалась. Вспоминала, о чем говорили. Подумала, что, и вправду, надо бы записать все, что помнит о своих предках, о муже, Сережином прадеде. Потом перебралась в комнату, в кресло. Начала размышлять, с чего начать записи. Снова подумала, какой у неё хороший внук. Улыбнулась, поправила себя — «вообще-то правнук». Но всегда называла Сережу внуком. Задремала.

2.

Ей снилось, как она, маленькая девочка в летнем платьице, плывет на колесном пароходе. На палубе. Отец, большой, красивый, держит её на руках и объясняет:

— Зину́шка, — говорит он, — сейчас мы идем по Оке, а скоро, в Нижнем Новгороде, пароход повернет вправо, и пойдем по Волге.

— А как я узнаю, что повернули вправо?

— А как увидишь кремль, так и повернем. Так и перейдем из Оки в Волгу.

— Э, папаня, — смеется Зинушка, — не обманешь! Кремль я видела, он в Москве!

Отец тоже смеется, смеется и мать, которая стоит рядом, в таком же ситцевом, как у Зинушки, платье. Зинушка видела — матушка выкраивала и для себя, и для нее из одного большого рулона ткани, потом шила сначала ей маленькое платьице, потом себе, такое же по фасону, но большое.

— Умненькая ты у нас, все знаешь. И Кремль московский видела. А вот теперь увидишь кремль нижегородский. Он поменьше размером будет, но тоже красивый и стоит на холме. Как будем подплывать, сама поймешь, что кремль, — объясняет отец.

Зинушка — егоза. Ей надоедает сидеть у отца на руках, она спускается на палубу, отбегает от родителей, смотрит на берег, чтобы первой увидеть кремль. Мать и отец

стоят рядом. Матушка, обхватив крепкую руку отца, задумчиво смотрит на берега и улыбается. Вздыхает, качает головой, говорит:

— Ох, Филипп Мефодьевич, что-то тревожно мне. Едем к басурманам. Как жить там будем? Ладно бы сами, а то и детишек с собой везем. Но младшие-то хоть с нами, а вот Машеньку в Москве оставили. Как ей будет в пансионате? Душа у меня за неё болит. Не очень-то я надеюсь на Шуру. Не очень-то она за Машенькой следить будет. Сама только замуж вышла, а по мне, ещё дитя дитем.

— Не переживай, Анисья Дмитриевна, все мы правильно сделали. К чему Машеньке, нашей средненькой доченьке, терять эти несколько лет. Они быстро пробегут. Приедем, а она уже три класса гимназии закончит! Присмотр и уход в пансионате хороший. Я сам все проверял и с людьми советовался, узнавал. Учителя и воспитатели люди добрые, порядочные. Будет Машеньке хорошо. Да и Шура, как бы то ни было, приглядит. Они же с Машенькой подружки, хотя Шурочка наша на восемь лет старше. А мы, Анисья Дмитриева, не печалься, ненадолго едем, — отвечает отец. — Всего на три года. Для нас там уже дом приготовлен. Огромный сад. Склады. Человек двадцать работников наняты. Только работай! Дело мне знакомое. Видишь, надумали Морозовы расширить производство, пригласили для этого на фабрику Григория Ивановича, а он про меня вспомнил. Мысль у него не только ситцами заняться, а и шерстяными тканями. Говорил мне, что скоро много солдатского сукна понадобится. А где шерсть брать? Вот и попросил организовать закупку в Персии.

— А на какие же ты деньги закупать-то будешь? Бесплатно никто не отдаст.

Отец перешел на шепот:

— У нас в трюме много товара ходового в тамошних местах. Во-первых, ситец наш набивной, морозовский, там большим спросом пользуется. Во-вторых, сахар головками в непромокаемых бочках. Поди, видела, как его грузили в Коломне.

Анисья Дмитриевна кивнула, тоже шепотом ответила:

— Видела. Возле мужского монастыря Богоявленского. Долго грузили. Много, — снова вздохнула. — Для всего этого, батюшка ты мой, охрана большая нужна. А тут только ты да я да мы с тобой.

— Пока только команда, — кивнул отец, — а в Нижнем на борт примем пятьдесят солдат. А в Астрахани еще казаков. Все вооруженные, да еще с пушками. И все это по приказу государя-императора. По его особому указанию.

— Это с чего же такое? Это сколько еды им надо будет. А где брать? Да и на какие средства?

— А это не наша с тобой, Анисьюшка, печаль. Это дело государственной важности. К этому большому делу мы только с краешку прислонены будем, — отец перекрестился, увидав на берегу собор.

— Кремль, кремль! — Зинушка, конечно, первая его увидела и закричала. Родители засмеялись. — А почему пароход не поворачивает? — не унималась Зинушка. — Пора в Волгу поворачивать!

— Повернет, повернет, дай срок, — говорит отец.

Раздается гудок. Капитан улыбается с капитанского мостика. Отдает Зинушке честь. В рупор громко объявляет:

— Зину́шка, внимание, начинаем поворачивать и выруливать в великую русскую реку Волгу! Подойдем к пристани. Стоянка шесть часов для приема провианта, военной команды, снаряжения и оружия.

Родители, молодые матросы, все, кто на палубе, смеются.

Зинаида Филипповна просыпается. Она любит такие сны. Даже нет, это не сны. Сны — это то, что привиделось, но чего не было. А это было! Давным-давно, в детстве. Она любит вспоминать о детстве. На сердце от воспоминаний тепло, радостно. Будто и не случилось потом большой, тяжелой жизни.

Старушка улыбается, еще не окончательно отойдя от воспоминаний, смотрит в окно, продолжает видеть тот далекий солнечный день, пароход, себя, маленькую Зинушку, нижегородский кремль, пристань...

3.

Есть неохота. Спать тоже. Стало неохота и умирать. Хочется снова уйти в те далекие и такие близкие воспоминания, уйти навсегда и не возвращаться. «А что же было на этой самой нижегородской пристани?» — спросила она и начала припоминать.

Зацепили пароход толстыми канатами. Подтянули к пристани. Офицер в белом мундире с саблей прошел к капитану. Отдал честь. Протянул большой пакет. Капитан прочитал. Они пожали друг другу руки. Офицер махнул другому, видать помладше чи-

ном, который был на берегу. Тот скомандовал, и солдаты стали подниматься на пароход. Потом закатили несколько пушек. Потом была большая суета. Солдаты размещались в трюме, в каютах нижней палубы. Офицеры на верхней палубе. Заносили мешки, ящики. Было это так долго, что Зинушке захотелось спать. Она уснула и проснулась в каюте. Пароход плыл по Волге. Рядом посапывал братишка — Герман. Был он на два года моложе Зинушки, а рядом с ним не спала, хлопала глазками и помалкивала Любашка. Совсем маленькая их сестричка. Ей не было еще и двух лет.

Родители не стали раздевать Зинушку. Должно быть, опасались, что проснется. Потому лежала она в своем платьице. Тихонько поднялась с кровати, чтобы не разбудить младшеньких, так же тихо отворила дверь, вышла в коридор, а уже оттуда побежала на палубу. Багровое солнце садилось далеко за рекой в неведомом лесу. Значит, скоро будет ужин. Все рассядутся в кают-компании. Прочитают молитву. Батюшка перекрестит трапезу, потом станут есть, а уже потом принесут вкусный компот и каждому на маленькой тарелочке сдобную булочку. А пока отец и матушка разговаривали и смотрели на берег, на маленькие деревянные домишки, на костры, в которых рыбаки, должно быть, варили уху или что-то еще.

Зинушка подкралась к родителям, хотела их напугать, но матушка оглянулась, и не получилось. Тогда она засмеялась и пустилась наутек. С берега донеслась песня. Была она протяжной, тоскливой, совсем не похожей на песни, которые пели в деревне, у дедушки и бабушки, когда водили хороводы. Ей стало страшно. Зинушка подбежала к родителям. Обняла матушку за подол, заплакала. Отец поднял. Посадил на руку. Поцеловал в лоб. Спросил:

— Что, маленькая, печальная песня? — Зинушка только теперь сообразила, что заплакала от песни. — Вишь, маленькая, рыбаки ужин готовят на кострах, а бурлаки еще тянут баржу на лямках. А как совсем темнеть станет, только тогда на барже бросят якорь, и они остановятся на ночлег. Тяжелая у них работа. Не дай-то Бог такую.

Отец покачал головой, перекрестился и тихо, только для жены и дочурки начал читать стихотворение:

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой!..
Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля...

Зинаида Филипповна с детства помнила это стихотворение с названием «Размышления у парадного подъезда». Помнила, как его тогда на пароходе читал отец. Читал тихо, чтобы не услышали посторонние, почти без выражения, а ей казалось, что громко, так громко, что проникает в самое сердце.

Теперь Зинаида Филипповна совсем по-другому воспринимала этот стих. Теперь он не казался таким уж правильным и обличающим, как потом, в юности. Она проворчала:

— Не такой уж и хороший поэт этот ваш Некрасов. Ударение не удосужился правильно поставить — «бурла́ки». Это называется поэтическая глухота. А ведь легко было сделать правильно, написав: «Бурлаки́ то идут бечевой». И ритм сохранил бы, и ударение правильно стояло бы. Да вот, не услышал, не сообразил. Ну да бог с ним, с этим Некрасовым.

Она включила телевизор. Телевизор был новый, современный. Внучок купил. Не какую-то старую рухлядь из дома притащил, вместо нового, который купил себе, а специально для неё купил новый, такой, чтобы ей было удобно пользоваться. Пульт большой, с крупными цифрами на кнопках. И кнопки большие, чтобы удобно переключать каналы. Чтобы не промахивалась. Толковый внук, вообще-то не внук, а правнук, но ей проще было говорить внук. Короче, а суть та же.

«Толковый внук, — еще раз подумала она, — все предусмотрел. Только одно не учел, что чепуха и глупость на всех каналах. И смотреть и слушать эту чепуху неинтересно. Токуют, будто глухари, на всяких ток-шоу. И название-то соответствующее для них. Разве что по «Культуре» иногда интересные передачи да про животных. Да еще про жизнь в разных странах».

Она выключила телевизор. Подошла к окну. Посмотрела вдаль. Мимо высоких недавно построенных домов, которые прозвали человейниками. Смотрела туда, где заходило багровое, как в тот вечер, давным-давно на пароходе, солнце. Наступила тишина, такая, что стало слышно тиканье часов. Защемило сердце. Зинаида Филипповна мелкими шажками добралась до кресла. Отхлебнула воды из стоящей на широком де-

ревянном подлокотнике чашки. Отдышалась. Сердце успокоилось. Она вспомнила услышанную давно фразу про то, что жизнь — как бульдог: ухватилась зубами, треплет, швыряет в разные стороны, но не отпускает. Подумала: «Это вообще-то хорошо, что пока не отпускает. Значит, еще поживу». Ухмыльнулась пришедшему в голову старому анекдоту: «Доктор, я жить буду?» — «А смысл?» Когда-то над этим анекдотом смеялась.

Кроме военных, в Нижнем Новгороде на пароход пришла пара. Женщина со строгим взглядом в платье с кружевным воротничком и солнечным зонтиком и её муж в клетчатом костюмчике и котелке.

За обедом в кают-компании они оказались невдалеке. Женщина сидела, прямо держа спину. Именно так, как родители учили сидеть Зинушку. Она осторожно зачерпывала ложкой суп, аккуратно, не пролив ни капельки, подносила ко рту и ела. Зинушка незаметно подсматривала. Ей нравилось, как эта красивая женщина ест. Хотела научиться так же. На мужа ей смотреть было неприятно. Он ел, как зверек. Когда официант наполнил его тарелку и отошел, пожелав приятного аппетита, вместо того чтобы поблагодарить, буркнул невнятно, нагнулся к тарелке, понюхал, быстро посмотрел по сторонам и начал хлебать не отрываясь. Жадно, будто того гляди отнимут. Короткие усики вымазались в еде, топорщились. Зинушка подумала: «Жрёт, как крыса». Не удержалась, шепнула про это матушке на ушко.

— Не смей такого говорить, — прошептала мать, — это твои будущие учителя. Едут, куда и мы, в Мешхед, в школу при посольстве. Они наверняка хорошие люди. А что так ест, видать, в детстве не научили, но ничего, видишь, какая у него жена, со временем подскажет, как надобно кушать красиво, глядишь, и научится.

4.

После Нижнего была череда городов, которые Зинушка не запомнила. Запомнила Астрахань. С большими базарами, несметным количеством лавок, в которых продавали рыбу, свежую, только выловленную, и вяленую, нанизанную, будто огромные бусины, на бечевки. Рыбины лоснились и казались почти прозрачными от жира. Вспоминала, как прямо возле них вспороли брюхо огромному осетру и вытащили и вывалили целое ведро икры. Черные до синевы, блестящие и переливающиеся на солнце огромные икринки походили на жемчужины. Икру круто посолили и взбили, отделяя от пленки, и предложили им отведать. Такая икра показалась невкусной, воняла рыбой, а вот высушенная и прессованная паюсная — понравилась.

В Астрахани тоже стоял кремль. Он показался Зинушке поменьше, чем в Нижнем, да и башни были пониже и меньше числом. Башни у него были не красные кирпичные, как у нижегородского, а белые.

Здесь же она впервые увидела верблюдов. Очень удивилась таким странным животным, поначалу пугалась, но быстро привыкла. Одни стояли запряженные в двухколесные телеги с большими колесами, у других по бокам свисали тюки, набитые каким-то товаром. Возле верблюдов сновали одетые в халаты погонщики или хозяева. Люди эти не были похожи на тех, которых она знала или видела дома. Темные желтоватые лица с прищуренными узкими глазами казались хитрыми и злыми, даже когда улыбались. Говорили они на своем языке. Зинушка начинала понимать, что они едут в другую страну, к другим, неизвестным людям. От этого становилось страшно. Она прижималась к матери, отцу. Все время держала их за руку и, обычно разговорчивая, помалкивала.

Чтобы отвлечь её, отец рассказывал, что в древности у Волги были другие названия — Ра, Итем, Идиль, Итиль.

— А Каспийское море, по которому мы скоро поплывем, на Руси называлось Хвалынским, а у персов и арабов Хазарским, — продолжал отец.

Слушая, Зинушка успокоилась, стала задавать вопросы:

— Папочка, а оно большое, это Каспийское море?

— Большое, доченька, большое. Царь Петр Великий, почти двести лет назад, повелел его измерить. Морские офицеры установили, что ширина почти четыреста верст, а длина больше тысячи.

— А тысяча верст — это много?

— Много. Это половина от того, сколько мы на пароходе плыли.

— Ого, сколько!

За разговорами они подошли к пристани. К их пароходу прицепили баржу, и на неё казаки по мосткам заводили коней, грузили мешки, бочки, ящики.

Было видно, что казаки любят коней, успокаивают их, относятся, почти как к детям. Двух, должно быть самых красивых, привели на пароход, разместили на корме.

Зинушка хотела подойти, потрогать лошадей, родители долго не разрешали, она упросила. Казаки, наверное, соскучившись по своим семьям, приняли её, как дочку. Разрешали угощать коней морковкой, ещё чем-то, вспомнить она потом не могла. А ещё сажали верхом без седла и, поддерживая, совершали маленькие прогулки по палубе. Зинаида Филипповна всю жизнь помнила тепло и доброту, которую излучали и эти люди, и кони. Потом в самые тяжелые, безысходные дни они приходили ей на память. Становилось спокойнее и легче на душе.

Детская память не могла вместить столько впечатлений, и Зинушка часто плакала и много спала. Она помнила, как плыли в море. Знала, что должны были останавливаться в Дербенте, потом в Баку и каких-то портах в Персии, но вспомнить не могла. Помнила только про казаков, как они катали её на своих конях. Да ещё как на пароход загрузили огромную кучу полосатых арбузов. Все, и пассажиры, и команда, и военные, их ели, и куча постепенно уменьшалась, уменьшалась и закончилась. Кто-то из команды тогда сказал:

— Вот так и вся жизнь — полосатая, иногда немного сладкая и быстро заканчивается. Она не поняла, о чем это было сказано, но почему-то запомнила...

Не помнила Зинаида Филипповна, как семья после моря добиралась в Мешхед. Помнила, что когда въехали в город, их повозка долго петляла по кривым узким улочкам, что в стенах домов почти не было окон, а сами дома выбелены или просто обмазаны глиной. Помнила, что возница ругался, когда навстречу выезжала другая повозка. Спорил с тем извозчиком, кому уступать дорогу. Наконец, проехав почти через весь город, добрались. Кто-то открыл ворота, и они въехали во двор. Ворота тут же закрыли. Вышли из повозки и очутились в красивом саду. На деревьях висели мандарины, гранаты, другие плоды, названия которых Зинушка не знала. Поодаль виднелся отгороженный птичник. Кудахтали куры, гоготали гуси, крякали утки. Еще дальше был небольшой, но и немаленький пруд. А совсем вдалеке огромный сарай, амбары, еще какие-то постройки. Все было ухоженным, чистым, аккуратным. За всем следили работники, а их было немало.

Просторный дом с большими окнами и террасой показался ей, маленькой девочке, дворцом из сказки. На пороге встречал высокий стройный перс в чалме и белой одежде.

— Это Махмуд, мой помощник, — представил его отец, — человек образованный, знающий и порядочный. Он единственный, кто говорит по-русски.

Махмуд улыбнулся, слегка поклонился и объяснил:

— Мой отец много лет жил в России. Я был с ним, учился в русской начальной школе, потом в частной школе и университете, но не окончил его, семья вернулась в Персию. Здесь работал переводчиком в вашем генеральном консульстве. Генеральный консул рекомендовал меня вашему батюшке, и я согласился помогать ему в закупке шерсти, да и в остальных делах.

Говорил Махмуд без акцента, и если бы не персидский наряд и чалма, то никто б и не догадался, что перс. Он проводил семью в дом. Сказал что-то на персидском слугам, и те начали заносить в дом чемоданы и сундуки.

Когда осмотрели большую гостиную, детские комнаты, спальни, кабинет, отец сказал:

— Все это куплено Морозовыми, принадлежит им и передано нам для работы и проживания. Здесь мы и будем жить.

Никто из них тогда не догадывался, что скоро начнется Первая мировая война, потом в России произойдет революция, Гражданская война, вернуться домой будет невозможно. Жить в этом доме им предстоит больше пятнадцати лет.

Зинушка навсегда запомнила теперь далекий дом в далекой стране, давно изменившей свое название. Запомнила каждую комнату, каждый коридор, чулан с маленьким окошком, единственным, выходящим на улицу. Свой столик, за которым совсем маленькой играла в самодельные куклы, а потом, когда училась в школе, делала уроки и читала книжки. Запомнила каждый предмет. Все это стало для неё родным. Остальные дома и квартиры, в которых предстояло потом жить, Зинушка — Зинаида — Зинаида Филипповна, помимо своей воли, сравнивала с этим домом и в мыслях называла «наш дом». В этом нашем доме жила дружная большая семья, умные, добрые родители. В нем всегда оставались живы папа и мама, сестренки и братишка. Взрослые работали, дети учились и помогали старшим. В этом доме все уважали и любили друг друга, слушали и слышали друг друга. В нем было счастье.

Но Зинушка тогда ничего такого не знала. Она была непослушной, попадала в разные истории, и было родителям с ней совсем непросто. Многое со временем забылось, но многое осталось в памяти.

5.

Отец был почти все время в разъездах. Он, вместе с Махмудом, договаривался о поставках шерсти и хлопка, о том, в каком виде, какого качества и куда привозить. Он знал, что персы могут наобещать чего угодно, а потом все окажется не то и не так. Потому все организовывал и многократно проверял сам или доверял только Махмуду. Постепенно закупка шерсти, чуть позже хлопка, была приведена в порядок. Заготовку и отгрузку в Россию стали вести хорошо обученные люди, и у отца появилось чуть больше времени для семьи.

В первые месяцы детям не разрешали не то что выходить со двора, но даже выглядывать на улицу. К весне родители освоились на новом месте и стали брать их с собой сначала на базар, который был поблизости от дома, а потом и подальше, в центр города.

Зинушка запомнила, как с отцом первый раз вышла в город. Сначала они шли по безлюдной, грязной улице вдоль длинной глиняной стены соседнего дома. Возле закрытых ворот лохматая собака обгладывала кости то ли кошки, то ли маленькой собачонки, клочки шкурки которой валялись рядом в пыли. Они обошли эту собаку, та порычала, но даже не залаяла. Затем свернули в переулок, потом в другой и по таким же грязным, кривым, как первая, улочкам пошли дальше. Людей не было. Один раз встретился перс в длинном халате, который не спеша вел ишака со здоровенными кувшинами, из которых выплескивалась вода. Пыль, грязь, жаркое солнце и высокие стены, это все, что запомнилось. Но скоро по шуму и гомону Зинушка поняла, что базар уже близко. Чем ближе подходили к нему, тем больше встречалось людей.

Встретился старик, который сидел на земле, а бородатый перс брил ему голову. Но не всю, а только макушку. Он плевал прямо на эту макушку, ножом соскребал волосы и стряхивал их на дорогу. Когда окончил, намочил тряпку водой, обтер старику лысину, в два зеркальца показал результат. Старик кивнул, дал сколько-то монет и ушел. А этот цирюльник стал громко кричать, должно быть, других зазывал бриться.

Этого перса Зинушка потом много раз видела на том же месте возле базара. Однажды к нему подошел не старый мужчина, оголился до пояса, а тот маленьким ножиком быстро сделал ему разрезы на шее и спине между лопатками. Оттуда закапала кровь в маленькие миски. Две миски возле шеи держал сам мужчина, а третью — этот парикмахер. Отец объяснил, что это называется хаджима. Ислам её одобряет. Люди здесь, за отсутствием нормальных врачей, так лечатся от многих болезней.

— И что, вылечиваются? — удивилась Зинушка.

Отец пожал плечами:

— Иногда помогает. Но ты видишь, кто это делает и в какой грязи. Думаю, что по большей части вредит, чем лечит. Но нам, православным, здесь лучше свое мнение держать при себе.

В другой раз недалеко от базара они встретили дервиша. Этот дервиш, казалось, дремавший на обочине, вскочил перед ними, загородил дорогу, взметнул руки к небу и заголосил. Зинушка испугалась. Изо всех слов она разобрала только: «Аллах, Али, акбар». Взгляд дервиша показался страшным, а вид ужасным. Из одежды на нем была потемневшая от грязи овечья шкура с дырками для рук и широченные, такие же грязные шаровары. Должно быть, он недавно ел арбуз, сок стекал, и к засохшим потекам на волосатой груди и животу прилипла пыль. Он размахивал палкой, черная борода, всклокоченные волосы до плеч и шерсть на овечьей шкуре подпрыгивали вместе с движениями. Зинушка схватила за руку отца, прижалась, уткнулась в него, но исподтишка подглядывала, что этот сумасшедший делает. Она боялась, что он набросится на них, начнет колотить палкой, а может, просто вытащит откуда-нибудь нож и зарежет. Но дервиш только тряс палкой над головой и взывал к небу. Отец вытащил из кармана монету и бросил ему. Дервиш поймал свободной от посоха рукой, прекратил стенания, вернулся на свое место, закрыл глаза и задремал, будто и не перегораживал им путь несколько секунд назад.

Когда они отошли на несколько шагов, отец сказал Зинушке:

— Не бойся их. Они по большей части безобидные. Идут на богомолье. Просят милостыню, чтобы прокормиться. Но держаться от них все же стоит подальше. Уж больно грязные. Заразу можно подхватить.

Встречали они и факиров, которые устраивали вокруг себя представления, рассказывали разные небылицы про подвиги героев или сказки. Когда собиралось много народа, они начинали играть на дудочке, и непонятно почему из корзины, стоящей возле факира и накрытой полами широкого халата, начинали выползать змеи. Эти змеи приподнимались над землей, извивались в такт его неторопливым движениям. Зинушке от этого поначалу становилось страшно, но потом привыкла, а через год, когда немно-

го подросла, стала прибегать сюда сама.

Однажды факир, который давно приметил маленькую европейку, подозвал её и спросил, хочет ли она потрогать змею. Зинушка уже прилично говорила по-персидски и ответила, что хочет, но боится. Факир показал, как надо брать змею, чтобы не смогла ужалить, и сказал:

— Попробуй. Не бойся, думай, что берёшь не змею, а веревку, но бери крепко, чтобы та не вывернулась и не ужалила.

Зинушка набралась смелости и взяла. Она почувствовала холодную, сухую, совсем не скользкую, как казалось, чешую, под которой, должно быть, скрывались сильные мышцы. Держала змею Зинушка крепко, но не настолько, чтобы раздавить.

— Молодец, смелая девочка, — похвалил факир. — А теперь отведи руку подальше от себя и спокойно опусти змею на землю, — Зинушка так и сделала. Змея отползла чуть в сторону и приподнялась. — А теперь топай ритмично, но несильно, ногой, — улыбнулся хозяин змеи, — она испугается и не станет нападать на тебя. Но помни, со змеями надо быть всегда настороже, — факир засмеялся и на ухо Зинушке, так чтобы не слышали остальные зрители, прошептал: — Мою пунги змеи не слышат, они её видят, и дудочка эта в моих руках кажется им зверем, который может напасть, потому и поднимаются, чтобы нагнать на меня страх и я побоялся на них накинуться. А люди не знают этого, и так им интереснее смотреть. Змеи пунги видят, когда я её двигаю, и сами эти движения повторяют, чтобы не упустить, когда зверь набросится, но они не слышат. А вот стук ног слышат. А теперь, малышка, беги. Но всегда помни, со змеями надо быть всегда настороже. И с этими, и особенно с двуногими.

Факир засмеялся. Зинушка поклонилась ему, как учил мулла в школе, и убежала.

Что за двуногие змеи, Зинушка поняла много лет спустя. А тогда только запомнила слова, запомнила, как впервые в жизни пересилила страх, взяла змею, почувствовала свою власть над ней, страшной, опасной, беспощадной. Почувствовала, что можно управлять этим, да и, наверное, любым существом, если пересилить страх.

Базары в Мешхеде Зинаида Филипповна запомнила как толпу людей, толкающихся в узких промежутках между стоящими напротив друг друга рядами лавок. Чтобы не погибнуть от палящего солнца и создать хоть какое-то подобие тени, торговцы натягивали между рядами где брезент, где старый холст. Но по большей части делали это из сплетенного камыша или тростника.

В лавках торговали золотыми и серебряными колечками, сережками, цепочками, тканями, коврами, всякой утварью, всем, что можно и нельзя продать. Для каждого вида товаров были свои ряды. Зинушка любила рассматривать сделанные чеканщиками кувшины и вазы с красивыми узорами, перстни с разноцветными камнями, вырезанные из кости фигурки животных, ковры, шелка́ и шерстяные ткани. Да много еще чего интересного было в рядах, особенно тех, в которых варили и торговали горячей, только сделанной едой. Любой мог, заплатив монетку, получить только испеченный лаваш и похлебку, плов, который накладывали прямо на лаваш. В отдельных рядах торговали овощами, фруктами. Множество вкусных, только поспевших или высушенных персиков, абрикосов, груш, инжира, изюма лежали горами на прилавках. Галдеж и шум в рядах не смолкали от восхода до заката солнца.

Бездомные, всегда голодные собаки сновали между ног, хватали и сжирали упавшие куски всего съедобного. Зинушка видела, как собаки почти сразу начали отрывать куски от старого, только что сдохшего осла, брошенного хозяином в проулке возле базара, и через час, когда они с отцом возвращались домой, от этой падали почти ничего не осталось. Слуги говорили, что по ночам собаки сбиваются в стаи, могут напасть на человека, покусать или даже загрызть насмерть.

Всюду на базарах была вонь от гниющих еды и воды, всюду грязь. Даже поблизости от мечетей. С минаретов в положенный час муэдзин призывал к молитве, и все правоверные, в том числе и торговцы, прекращали торговлю в лавках, совершали омовение в ближайших каналах, разворачивали коврики, чтобы не попасть на оскверненную — нечистую землю, размещались на них лицом в сторону Мекки и начинали молиться.

Зинушке нравилось смотреть намазы. Когда стала почти взрослой, упросила родителей купить паранджу и, скрывая себя под ней, стала заходить в мечети и молиться, соблюдая все правила. Зина знала, что если догадаются или узнают, кто она, её могут не просто убить, а гораздо хуже — её могут или разорвать на куски разъяренные фанатики, или посадить в мешок, бросить туда дикую кошку, и та будет царапать и рвать её на кусочки. Но какое-то чувство азарта, желание рискнуть и не попасться, сидело в ней, подталкивало рисковать.

6. ШАХСЕЙ-ВАХСЕЙ

Зинушка тогда училась во втором или третьем классе школы при консульстве. От школы до дома — минут двадцать легким детским шагом. Учиться ей нравилось. Священник, отец Павел, преподавал закон Божий и был самым любимым из учителей. Он дружил с отцом, часто бывал в их доме, рассказывал интересные истории из библии и еще более интересные из жизни. Русский и английский преподавала Татьяна Ивановна, с которой она познакомилась давным-давно, еще до школы, на пароходе. Арифметику и фарси — Иван Григорьевич, её муж. Его Зинушка недолюбливала. Недолюбливала с самого первого раза, как только увидела. Но складывала, вычитала, умножала и делила легко. Таблицу умножения знала и задачки решала быстро. А фарси вообще был любимым предметом. Говорить Зинушка научилась еще до школы. Научилась у детишек на улице возле дома, от служанки, Махмуда — помощника отца, у всех персов, которые приходили в их дом или встречались в лавках и на базаре. Слова, выражения, да и все остальное, связанное с языком, запоминала мгновенно. Иван Григорьевич научил писать, читать и любил на уроках разучивать с детишками стихотворения на фарси. Мулла, который тоже преподавал в школе, был самым строгим и нелюбимым. Но Зинушка легко запоминала то, о чем он рассказывал, любила одеваться в мусульманские одежды, знала мусульманские молитвы, без акцента, правильно говорила, молилась и читала суры из Корана. Для неё это было понарошку, как в самодеятельном театре при консульстве, в котором ставили спектакли и играли почти все взрослые. Даже жена консула.

В самом конце сентября встревоженный Махмуд пришел вечером к отцу. Они долго говорили. Отец кивал, задавал вопросы. Махмуд отвечал. Зинушка видела это через открытую дверь кабинета. В конце разговора поднялись, отец поблагодарил, Махмуд ушел, а отец, охватив голову руками, сидел в кабинете и вышел, только когда матушка позвала на ужин. После ужина он попросил всех остаться и сообщил, что начинается запретный месяц мухаррам.

Мулла рассказывал и Зинушка знала, что пророк Мухаммед говорил, что после рамадана лучшим для поста является месяц мухаррам — один из четырех запретных месяцев. Почему этот месяц запретный, она не знала, а что в этот месяц нельзя поступать несправедливо, надо сражаться с многобожниками и что Аллах помогает богобоязненным и всегда с ними, знала. Правда, она не понимала, кто такие многобожники и кто такие неверные. Мулла рассказывал и Зинушка помнила, что в этом месяце, десятого мухаррама, был убит имам Хусейн, сын четвертого халифа Али ибн Аби Талиба, первого имама шиитов, внук пророка Мухаммеда. Были убиты и его дети, а потому это день большого траура.

Мулла совсем недавно рассказывал, что имама перед смертью долго мучили, и каждый мусульманин в этот день должен хотя бы чуть-чуть почувствовать, что выдержал внук пророка имам Хусейн, и тоже стать хоть ненадолго мучеником, а потому в этот день все правоверные шииты должны бить себя и превозносить скорбными возгласами праведного имама, восклицая: «Шах Хусейн, вах Хусейн», — что означает: владыка Хусейн, о, горе Хусейну! Говорил он, что если кто болеет сам или его близкие, то надо молиться Аллаху, дать обет и в десятый день мухаррама, когда наступит день Ашура и будет Шахсей-вахсей, выполнить полностью этот обет. Что такое обет, Зинушка не знала, а когда спросила муллу, тот посмотрел на неё строго и сказал, что ей об этом знать рано, что когда подрастет, тогда узнает.

Все это она тут же за столом высказала. Отец не ожидал таких познаний, удивлялся, не перебивал.

— А еще первого мухаррама мусульманский Новый год! — гордо закончила Зинушка.

Отец поднялся со своего кресла, подошел к ней и поцеловал в лоб.

— Как быстро ты выросла! Совсем взрослой становишься! — проговорил он, нежно погладил, улыбнулся и добавил: — Еще несколько лет, и станешь невестой. Все ты правильно рассказала.

— Так вот, — продолжил отец, — 10 октября будет большой праздник — день Ашура. И еще будет Шахсей-вахсей. Толпа народа, все, кто давал обеты, будут их выполнять, будут заниматься самобичеванием. Большинство впадет в транс. Махмуд предупредил, что в этом году у местной бедноты очень сильный настрой против неверных. Особенно англичан. Те умудрились осмеять религиозные обычаи мусульман, и муллы в проповедях подогрели народ против них. Махмуд говорит, что если начнутся погромы, то толпа не станет различать, где англичане, где мы, русские православные. А потому, лучше в этот день не выходить на улицу, да и во дворе и в саду не надо появляться. Махмуд советовал укрепить ворота и двери, а единственное маленькое окно кладовой, которое выходило на улицу, закрыть ставнями, и сказал, что принесет в дом

и приготовит заранее еду и воду. А консул еще утром сказал, что наши военные будут наготове и в случае бунта защитят.

— Почему, — спросила Анисья Дмитриевна, — в прошлые годы было спокойно, а в этом такое? Мы же всегда уважительно относились к магометанству.

— Дорогая моя жена, когда начнется бунт, разбирать никто не станет. А потому очень важно не привлечь внимание толпы. Она пройдет по нашей улице, и если мы не привлечем внимание, то уйдет дальше. И всё, дай-то Бог, обойдется. А ежели не обойдется, то будем защищаться. Я на всякий случай заряжу все ружья. Но надеюсь, что, как говаривал у Пушкина капитан Миронов: «Бог не выдаст, свинья не съест». Так что, Зинушка, с завтрашнего дня в школе занятия отменены. Будете все сидеть дома и вести себя тихо-тихо, дабы не привлекать ничьего внимания. Понятно?

Зинушка и остальные сказали: «Понятно», — и встревоженные разошлись по комнатам спать.

Еще за день до Шахсей-вахсея ставни на окнах, даже тех, которые выходили во двор, закрыли, но в щелочку ставни единственного, выходящего на улицу маленького оконца чулана был виден большой кусок улицы. Любопытная Зинушка приметила эту щелку и решила подсмотреть шествие.

Гул многотысячной толпы, вопли, крики, грохот ударов были слышны задолго до появления людей. Гул нарастал постепенно, а потому, когда появились первые люди, она не испугалась.

Впереди неторопливо шел мулла и на фарси, медленно, но громко, почти крича, рассказывал о мучениях Хусейна. Зинушка отчетливо разбирала каждое слово. Чуть после она увидела несколько человек в цветастых одеждах. Они на носилках несли на плечах большой ящик. Потом в один длинный ряд шли еще несколько мулл. Среди них был и тот, который преподавал у неё в школе. Когда первый и, наверное, главный мулла замолк, остальные начали читать молитву. Молитву подхватила толпа. «Ну и что, ничего особенного. Ничего страшного», — подумала Зинушка и в этот момент увидела множество раздетых по пояс окровавленных людей. Одни били себя многохвостыми плетками. Кровь летела в разные стороны при каждом взмахе плетки. По бородам текли струйки крови. А они били себя и били. При каждом ударе эти люди стонали, вскрикивали от боли, поднимали головы к небу и молили Аллаха. У многих плеток в концы веревок были вплетены железные крючки. Эти крючки впивались в кожу и раздирали её. Из ран текла кровь, а они стонали, прославляли имама Хусейна и Аллаха. Кричали, что выполнят до конца данный обет и просили Аллаха исполнить их просьбы.

Толпа проходила мимо дома, и Зинушке, глядя на этих изувеченных людей, от их крови, становилось страшнее и страшнее. Появились такие, у которых вместо веревок на плетках были цепи, на концах которых вделаны ножи или железные шары с шипами. Потом мимо окна стали проходить ряды полуголых, которые били себя по лбу железными палками. Лбы превратились в кровавое месиво, а они колотили и колотили себя. Некоторые вместо палок били себя по голове саблями. Зинушка от ужаса окаменела. Не могла шелохнуться. Страх сковал её тело. Она шептала: «Господи Иисусе, спаси и сохрани меня. Спаси и сохрани». А толпа шла и шла. Проходили страшные люди с продетыми сквозь кожу на груди и боках большими иглами, медными и железными кольцами, гвоздями. По черным от запекшейся крови телам стекала кровь. Пыль на дороге пропитывалась ей. Толпа месила эту кровавую грязь, брызги налипали на штаны, сползали по ним на дорогу, люди шлепали ногами, и брызги снова взлетали вверх. Зинушка в полуобмороке сообразила, что вначале проходили те, которые истязали себя самыми мучительными способами, а теперь уже шли другие, не голые по пояс, а в рубахах. Эти ударяли себя в грудь кулаками, вскидывали руки вверх и кричали, прославляя имама и Аллаха. Толпа была нескончаемой. Прошло неизвестно сколько, но, как ей казалось, бесконечно много времени, и на дороге появились обыкновенные, нарядно одетые люди. Они размахивали руками, кричали молитвы или прославляли имама Хусейна. С такими персами Зинушка встречалась каждый день. Только в глазах у этих было какое-то безумие. Они шли зачарованные, вскидывали руки, кричали, били себя в грудь. Это повторялось и повторялось. У Зинушки закружилась голова, ей стало невыносимо плохо. Она хотела отойти от своей щелки, но не могла. Ноги не двигались. Будто приросли к полу. Вдруг несколько одетых в белые рубахи мужчин подбежали к падавшему от изнеможения бородачу, хлеставшему себя, выхватили у него плеть с цепями, разорвали свои рубахи и начали хлестать себя. Их тела мгновенно покрылись ранами, брызги полетели в стороны. Они как безумные заорали и побежали к началу толпы. Это случилось совсем рядом с её щелкой. Она видела обезумившие их глаза, видела, как крюки на конце цепи раздирают кожу, из неё вылетает кровь и летит ей в лицо. Зинушка оцепенела. Ей показалось, будто она не в доме, а там, на улице, среди обезумившей толпы, что кровь заливает её лицо, течет по телу, а саму её, маленькую,

беззащитную, хлещут плетью страшные бородатые дядьки. От ужаса и боли она упала на пол. Потеряла сознание. Когда очнулась, улица была пуста, шум толпы доносился откуда-то издалека. Потом стих. Она хотела встать, но снова потеряла сознание.

Пришла в себя в постели. На голове было мокрое, холодное полотенце, а рядом сидела матушка и грустными глазами смотрела на дочку. Рядом в тазу с водой лежало другое полотенце, бледно-розовое от крови. Мать увидела, что дочка открыла глаза, позвала доктора. Тот подошел, взял Зинушкину руку, помолчал, поцеловал девочку в лоб. Улыбнулся. Сказал, что, слава Богу, обошлось. Кризис миновал. Потом спросил Зинушку:

— Ну, как ты, дитя, себя чувствуешь?

— Хорошо, — ответила та и удивилась, что говорит тихо-тихо.

— Вот и славно. Напугала ты родителей. Да и меня напугала, — он помолчал, отпил воды из стакана на столике рядом с кроватью и продолжил: — Тебе, малышка, здорово повезло. И должен заметить, теперь будет везти всю жизнь. У тебя оказались слабые сосуды в носу. Лопнул именно этот сосуд, когда давление от возбуждения поднялось до угрожающих размеров. А вот если бы лопнули сосуды кровеносные в головном мозге, то был бы удар и, скорее всего, тебя уже не было бы на этом свете. Так что, красавица, молись господу нашему и родителям за то, что родилась такой. Да постарайся больше не переживать настолько сильно, а то, неровен час, не помогут и сосуды в твоем симпатичном носике.

— А почему я так тихо говорю? — спросила Зинушка.

— А ты, миленькая, ослабела. Не ела-то три дня, пока была без сознания. Теперь матушка тебя покормит куриным бульончиком, а немного позже можешь встать и уже поесть поосновательнее, но не чрезмерно. Да побольше пей соков и ешь фрукты. Благо их тут немало. Ну, кажется, обошлось, слава Богу! — доктор перекрестился и вышел из комнаты.

Еще долгие годы, редко-редко, Зинаиде Филипповне снился сон с этим шествием. Снилось, что толпа наступает на неё, кричит «Шахсей-вахсей», хлещет окровавленной плетью. Она просыпалась в поту. Знала, что сон вещий, не к добру, и после него, через несколько дней, обязательно произойдет что-то нехорошее

7.

Молодой, сильный, здоровый организм быстро поправился. Зинушка выздоровела и через несколько дней стала, как ни в чем не бывало, ходить в школу. Про то, что она подсматривала Шахсей-вахсей, никому не говорила. Знала, что детишки разболтают и ничего хорошего не будет. Особенно если узнает мулла. Она быстро взрослела и уже тогда стала понимать, что не всегда с чужими людьми можно откровенничать, что зачастую лучше помалкивать.

В школе преподавали не только русский, персидский, английский, но и немецкий, французский языки. Это и неудивительно, школа была при дипломатической русской миссии. Большинство из тех, кто в ней работал, знали эти языки и, чтобы попрактиковаться, преподавали детям. Когда Татьяна Ивановна заболела и не смогла преподавать, английским с учениками стала заниматься настоящая англичанка из английского консульства, которое, как и русское, было в Мешхеде. Генеральные консулы, несмотря на политическое соперничество их стран, состояли в приятельских отношениях. Дружили и многие сотрудники посольств.

Постепенно маленькая девочка Зинушка взрослела. К девяти годам она почти в совершенстве знала фарси, отлично говорила и писала по-английски, прилично — по-французски. Хорошо понимала немецкий.

Жизнь в русской колонии в Мешхеде не отличалась особым разнообразием, и сотрудники консульства в свободное время рассказывали ученикам о странах, в которых побывали до работы в Персии, об истории государства Российского. Подробно и доступно описывали политическую ситуацию в мире. О роли России в мировых делах, о её целях и устремлениях, о врагах империи. Объясняли ученикам, какое значение для России имеет Персия. Как сходятся и расходятся здесь отношения России, Великобритании, Турции, Германии.

Все это слушала и запоминала Зинушка. Запоминала навсегда. Помнила даже теперь, когда давным-давно стала Зинаидой Филипповной. Конечно, потом всю жизнь она узнавала больше и больше, постоянно дополняя фактами и новыми сведениями эти рассказы умных и сведущих людей, любивших свою родину и честно служивших ей.

8.

Сердце стучало часто и громко. Зинаида Филипповна проснулась. Нет, оно не болело. Слава Богу, просто громко стучало. Подумала: «Должно быть, приснилось?» На

всякий случай посчитала пульс. Нормальный. Значит, все-таки приснилось. А вот там, на Западной Украине, в маленькой деревушке на выселках, не приснилось.

Здесь было темное осеннее утро. Если, конечно, верить зеленым цифрам на часах. Солнце и не думало всходить. За окном о жестяной отлив постукивали редкие капли. Под одеялом в постели было тепло и спокойно. Вставать не хотелось, она лежала и вспоминала.

Это случилось в сорок четвертом году. Тысяча девятьсот сорок четвертом. Такой же, как сейчас, поздней осенью, почти зимой, но снега еще не было. Она только-только прибыла из Киева на Западную Украину в город Каменец-Подольский. Туда направили для восстановления потребительской кооперации после фашистской оккупации. Это было официальной легендой. На самом деле, основной задачей было выявление фашистских агентов. Тех, которые или не успели сбежать, или были законспирированы.

Город поразил старинным замком на каменистом холме, рекой, окружавшей его, полуразрушенными мостами и старинными домами, наверное, до войны делавшими город неповторимо очаровательным. Но любоваться архитектурными руинами, оставшимися от красавца города после фашистских бомбежек, и красотами окрестностей было некогда. Надо было работать, чтобы прокормить и сына, и себя. Никакого пайка на время конспиративной работы, естественно, не давали. Иначе раскрыли бы мгновенно.

Володе хотя и хорошо было в интернате, сытно под постоянным присмотром воспитателей, но воспитатели воспитателями, а оставаться надолго без сына Зинаида не хотела. Потому и взяла его с собой на Западную Украину. Сын к этому времени окреп и подрос, стал почти взрослым. Понимал, что язык надо держать за зубами.

Свободная квартира подвернулась сразу. Была эта квартира обставлена шикарной мебелью. В шифоньере висела дорогая одежда. В кладовке полно муки, консервов, в погребе масло, копчености. Зинаида испугалась такого изобилия. Попросила переселить ее куда-нибудь попроще, но прихрамывающий милицейский капитан, живший по соседству, сказал:

— Не бойся, Зинаида Филипповна. Сына своего откармливай, пока есть чем. Чего не съешь, вывезет мое начальство на днях, а пока отъедайся. Тут раньше жила любовница фашистского коменданта, да сбежала, когда мы брали город. А потом квартировала вроде как жена нашего коменданта. Того перевели куда-то, и она тоже сгинула вместе с ним. Так что не боись. Пользуйся.

Зина кивнула. Вечером напекла блинов, сделала пирог, и впервые за много месяцев заснули не на голодный желудок. Но дня через два приехала машина, и все, что было, вывезли. А еще через неделю в местное отделение НКВД поступили документы из более строгого ведомства, и с ней встретился сотрудник СМЕРШа, пришедший в квартиру вроде бы для проверки документов.

Она должна от конторы «Заготскот», куда официально была направлена на работу, объехать окрестные районы, чтобы определить, сколько скотины в этих местах могут сдать на мясозаготовки. На самом же деле поставили задачу выяснить, у кого из местных связь с бандеровцами, бывшими полицаями и прочими бандитами. Бандиты озверели. Пытали, а потом убивали только что избранных председателей сельсоветов и колхозов. Убивали направленных в школы учителей, жгли амбары с зерном. Запугали людей. Одного председателя сельсовета заживо сожгли, другого распяли на воротах собственного дома. В председатели никто идти не хотел. Приезжавшие отряды НКВД найти бандитов не могли. Те будто растворялись в лесах и горах.

В СМЕРШе считали, что одним из бендеровских лежбищ были выселки в окрестностях большого села. Туда ей и приказали ехать в первую очередь, чтобы определить на месте что к чему. Сотрудник проинструктировал. Собственно, инструктирование свелось к фразе:

— Ты там, Зинаида, поосторожнее будь.

Зинаида не удержалась, ухмыльнулась и ответила:

— А вы тут поактивнее будьте, чтобы мне там не осторожничать.

Сотрудник с погонами старшего лейтенанта на гимнастерке, прикрытой гражданским пальто, махнул рукой:

— Свободна, — и, когда выходил, добавил: — Не очень-то я доверяю связной. Да только другой там нету. Ты на месте разбирайся. По обстоятельствам действуй.

Зинаида сначала разозлилась: «Сволочь! Трусливая сволочь. Сам струсил туда ехать и посылает бабу!» Постепенно успокоилась. Стала обдумывать. На ходу придумала простенькую легенду. Будто ходит по селам, меняет вещи на еду себе и сынишке. Такое было почти правдой. Так делала её соседка. Меняла вещи на продукты для продажи. К ней Зина и зашла вечером разузнать, что на что меняет.

Утром собрала старый отрез шерстяной ткани, несколько кастрюль, оставшихся

от прежних хозяев, соль, обрядилась в старушечью одежду, стоптанные ботинки, а, собственно, других и не было, забралась в товарняк и добралась до места. Прошла через село, постояла на местном базаре, пытаясь обменять свой товар на еду. Ничего не получилось. Местные подсказали, как идти на выселки, обнадежили, что там, может, и удастся что-то обменять на еду. Пошла.

Укутанная в старое, изношенное пальтишко на вате, платок, в армейских ботинках она шла по дороге, дрожала и от холода, и от страха. Казалось, из-за каждого дерева за ней следят бандиты. Уже стемнело, когда она тихонько постучала в то окошко, в которое было сказано, и так, как было сказано. Её впустила женщина, по виду её ровесница, прошептала: «Заходи скорее».

Хозяйка объяснила, что с минуту на минуту придут бандиты, а потому сейчас спрячет Зинаиду, а поговорят после, когда те уйдут. Отвела в хлев, который был под одной крышей с домом. Сгребла с одной стороны сено и отодвинула несколько старых здоровенных досок. В этот тайник Зинаида и залезла вместе со всем, что принесла вроде как для обмена. Женщина перекрестила её, сказала, чтобы не то чтобы не шевелилась, а даже не дышала. Накрыла досками, засыпала сеном и ушла. Зина улеглась и стала слушать.

В дверь постучали. Не как она, а громко, должно быть, сапогами. Хозяйка шумно прошлепала по полу. Открыла. В дом вошли.

— Ну, где сховала вчительку?

— Яку таку вчительку? Та я никого не бачила. Тильки подоила корову и пишла спати.

В ответ хмыкнули:

— Ну и де молоко?

— Так ось, в бидони.

— Налий в гуртки, попьемо.

Позвякала посуда. Потом тишина. Видать, пили.

— Ну, дивись, вели знайдемо вчительку, обох повисимо, — сказал, видать, старший и приказал: — Микола, перевір на горищі в хліві, а ми подивимося в будинку.

Заскрипела лестница, должно быть, Микола полез на чердак. Остальные протопали в комнаты. Зинаида услышала, как зашуршало сено и раздался легкий стук. Сообразила, что этот Микола тычет вилами в сено, протыкает насквозь и ударяет о доски. Делал не спеша, основательно. Приближался к ней. Громче шагов Миколы и шиканья вил Зинаида услышала стук. Громкий, равномерный, частый. Она затаила дыхание. Выдыхала по чуть-чуть, так же и вдыхала, но звук, будто барабан, оглушал: «Господи, — подумала Зина, — да ведь это мое сердце стучит! Его-то как приглушить? Спаси и сохрани меня, Боже! Помоги! Сейчас услышит стук этот Микола, доберется до досок, сдвинет, увидит меня, вытащит и убьет. И меня, и хозяйку!»

Внизу снова послышались шаги:

— Ну, ти що там, заснув? Або чого вгледив?

— Та немае тут никого. Я все сино перешерудив, — ответил Микола.

— Ну и слазий. Ще пив хутора перевирити треба.

Микола слез. Бандиты хлопнули дверью, ушли. Хозяйка выждала с час. Убедилась, что бандиты убрались из хутора, и только тогда поднялась и вытащила Зинаиду из схрона.

При свете лучины накрыла на стол. Покормила пришелицу варениками с картошкой со сметаной, напоила молоком. Зина ела и не чувствовала давно забытого вкуса сметаны, вареников, молока. Ела по инерции. Хозяйка сидела на лавке рядом. Руки у неё тряслись, щека дергалась. Обе еще не отошли от страха. Молчали. Потом разом заговорили прерывисто, задыхаясь. О чем, Зинаида после не могла вспомнить, а вот как рыдали, обнявшись, рыдали долго о своих несчастных жизнях, помнила. И теперь, через много десятилетий, когда начинало трепетать или сильно биться сердце, а если говорить на языке медиков, начинался приступ аритмии или стенокардии, Зинаида Филипповна прежде всего вспоминала о том, как громко грохотало её сердце в том схроне на чердаке, а она боялась, что этот грохот выдаст и погубит и её, и Наталку — хозяйку.

Она провела у Наталки весь день. Та много чего полезного рассказала. Выдала, кто на хуторе помогает бандитам, кто работал на фашистов в большом селе и даже в городе. Где бандиты скрываются в лесу.

Когда стемнело, Зинаида вышла из дома. Осторожно по заросшей травой тропинке, указанной Наталкой, пошла в сторону большого села. Добралась до него под утро. Пришла в сельсовет. Представилась представителем Каменец-Подольского «Заготскота», объяснила, как организовать приемный пункт для организации «Заготскот». Оставила телефоны, по которым можно связаться с конторой в Каменец-Подольске, отметила свою командировку. Села на поезд и вернулась в город.

В «СМЕРШе» старшего лейтенанта, который её посылал, уже не было. Доложила о том, что узнала, начальнику. Тот возмутился, что на такое задание старлей отправил её без подготовки. А еще через два дня банда была уничтожена. Связанные с ней агенты арестованы, заговорили на допросах, и удалось распутать целую подпольную сеть, созданную при отступлении фашистами.

Зинаиде объявили благодарность и вручили подарок — серебряную пудреницу. Пудреницей она не пользовалась, так и лежит, потемневшая от времени, в шкафу. Рядом с орденом «Красной Звезды» и другими наградами. С Наталкой ей встретиться больше не довелось. Её убили бендеровцы. Зинаиде сказал об этом начальник. Старлей по пьяни проболтался о Наталке своей любовнице, а та передала в банду. Зинаиде повезло. Она ушла с выселок часа за два до прихода убийц. Это всплыло в СМЕРШе, когда раскручивали цепочку связей и допрашивали пособников. Вскоре Зинаиду перевели на легальное положение, и она стала работать в отделении контрразведки «СМЕРШ» по Каменец-Подольской области.

9.

— Ознакомься! — начальник положил на стол большую пачку фотографий в картонной коробке и толстую серую папку. Налил из графина в стакан доверху воды и поставил рядом с Зинаидой. — Сегодня утром получил, — на пакете было написано: «Сов. секретно». Она удивленно посмотрела на подполковника. — Пригодится, — вздохнул он. — Больше ты у меня никуда, ни на какие спецзадания не поедешь! Будешь заниматься только бумагами, — он закашлялся. Отпил из того же стакана воды. Стукнул кулаком по столу. Потом снова наполнил стакан доверху и закончил: — И попрошу, без возражений! Товарищ старший лейтенант.

Давно такого не случалось. Всегда: «Зиночка, Зиночка. Умница, умница».

Начальник пошел к выходу. Открыв дверь, оглянулся, строго посмотрел на Зинаиду, показал пальцем на папку:

— Совершенно секретно! — и вышел.

Зина вытащила из коробки фотографии. Начала рассматривать. Первую, вторую. По инерции перелистнула еще несколько. Голова закружилась. Затошнило. Она выпила до дна стакан воды, оставленный начальником. Отложила пачку на стол подальше от себя. Отдышалась. Открыла папку. Бумаги, было видно, перепечатаны давно. Прочитала:

«Спецсообщение начальнику 2 управления НКГБ СССР тов. Федотову.

Получено 3/VIII-43 г.

Агент, возвратившийся из гор. Владимира-Волынска, сообщил, что 18-го июля с.г. был очевидцем массового истребления украинскими националистами — бандеровцами — польского населения, проживающего в гор. Владимире-Волынске. Во время богослужения в костелах бандеровцами было убито 11 ксендзов и до 2000 поляков на улицах города.

Немецкий гарнизон, полиция и казаки в количестве до 600 человек не приняли никаких мер против расправы над поляками, и лишь после расправы немецкое командование вывесило объявление, призывающее поляков вступать в жандармерию для борьбы с бандеровцами. Многие поляки, боясь репрессий, пошли на службу к немцам».

Таких сообщений и спецсообщений в папке было много. Излагались подробности издевательств, казней, пыток мирных жителей. Прилагались фотографии. К одному из сообщений, кроме фотографий, был приложен список способов, какими украинские националисты пытали и убивали беззащитных женщин, детей, стариков. Зинаида выпила не один стакан воды, пока изучила документы из папки и фотографии.

Теперь, восстанавливая те материалы, Зинаида Филипповна без сложностей нашла, может быть, их, может быть, подобные в интернете. Многие свидетельства касались «Волынской резни», но не меньше сведений было о зверствах украинских националистов из УПО в других районах Западной Украины. Именно «резни», потому что насилие они творили ножами, вилами, серпами, топорами, пилами. Много сведений было и о зверствах так называемых «лесных братьев» в Литве, Латвии, Эстонии. Но особо отличились нелюди из УПО.

Вот список издевательств и пыток:

- *Вбивание гвоздя в череп.*
- *Сдирание с головы волос с кожей.*
- *Выбивание глаз.*
- *Обрезание носа, ушей, губ, языка.*
- *Прокалывание детей и взрослых колами.*
- *Пробивание толстой проволокой насквозь от уха до уха.*
- *Разрезание горла и вытягивание через отверстие языка наружу.*

• *Выбивание зубов и ломание челюсти.*
• *Разрывание рта от уха до уха.*
• *Сворачивание головы назад.*
• *Раздавливание головы в тисках.*
• *Резание и стягивание узких полосок кожи со спины или лица.*
• *Ломание костей (рёбер, рук, ног).*
• *Отрезание женщинам груди и посыпание ран солью.*
• *Отрезание серпом гениталий жертвам мужского пола.*
• *Пробивание живота беременной женщине штыком.*
• *Разрезание живота и вытаскивание наружу кишок у взрослых и детей.*
• *Разрезание живота женщине с беременностью на большом сроке и вкладывание вместо вынутого плода, например, живого кота и зашивание живота.*
• *Разрезание живота и вливание вовнутрь кипятка.*
• *Разрезание живота и вкладывание вовнутрь его камней, а также бросание в реку.*
• *Разрезание беременным живота и высыпание вовнутрь битого стекла.*
• *Вырывание жил от паха до стоп.*
• *Вкладывание в вагину раскалённого железа.*
• *Вставление в вагину сосновых шишек вперёд стороной верхушки.*
• *Вставление в вагину заострённого кола и пропихивание его до горла, навылет.*
• *Разрезание женщинам передней части туловища ножом от вагины до шеи и вытаскивание внутренностей снаружи.*
• *Вешание жертв за внутренности.*
• *Вкладывание в вагину или анальное отверстие бутылки и её разбивание.*
• *Разрезание живота и высыпание вовнутрь кормовой муки для голодных свиней, которые этот корм вырывали вместе с кишками и другими внутренностями.*
• *Отрубание топором, отрезание ножом, отпиливание пилой рук, ног, пальцев на руках и ногах.*
• *Прижигание внутренней стороны ладони на горячей плите угольной кухни.*
• *Перепиливание туловища пилой.*
• *Посыпание связанных ног раскалённым углём.*
• *Прибивание гвоздями рук к столу, а стоп к полу.*
• *Разрубание топором целого туловища на части.*
• *Прибивание ножом к столу языка ребёнка, который позже висел на нём.*
• *Разрезание ребёнка ножом на куски.*
• *Прибивание маленького ребёнка штыком к столу.*
• *Вешание ребёнка мужского пола за гениталии на дверной ручке.*
• *Выбивание суставов ног и рук ребёнка.*
• *Бросание ребёнка в пламя огня горящего здания.*
• *Разбивание головки младенца, взяв его за ножки и ударив о стену или печь.*
• *Посадка ребёнка на кол.*
• *Подвешивание на дереве женщины вверх ногами и издевательство над ней — отрезание груди и языка, рассечение живота, выкалывание глаз, а также отрезание ножами кусков тела.*
• *Прибивание маленького ребёнка гвоздями к двери.*
• *Вешание на дереве ногами вверх и опаливание головы снизу огнём зажжённого под головой костра.*
• *Утапливание детей и взрослых в колодце и забрасывание жертвы камнями.*
• *Вбивание кола в живот.*
• *Привязывание человека к дереву и стрельба в него как по мишени.*
• *Волочение по улице тела при помощи верёвки, затянутой на шее.*
• *Привязывание ног и рук женщины к двум деревьям и разрезание живота от промежности до груди.*
• *Волочение по земле матери с тремя детьми, связанных друг с другом.*
• *Стягивание колючей проволокой одной или нескольких жертв, каждые несколько часов поливание жертвы холодной водой с целью прихода в себя и ощущения боли.*
• *Закапывание в землю живьём по шею и срезание позже головы косой.*
• *Разрывание туловища пополам при помощи лошадей.*
• *Разрывание туловища пополам привязыванием жертвы к двум пригнутым деревьям и в последующем их освобождением.*
• *Поджигание жертвы, облитой керосином.*
• *Обкладывание вокруг жертвы снопами соломы и их поджигание (факел Нерона).*
• *Насаживание младенца на вилы и выбрасывание его в пламя костра.*
• *Вешание на колючей проволоке.*
• *Сдирание с тела кожи и заливание раны чернилами или кипящей водой.*
• *Прибивание рук к порогу жилища.*

Все описанные зверства подтверждались фотографиями или задокументированы описанием фотографий. Подвергались пыткам и украинцы из восточных районов, и русские, и чудом уцелевшие евреи, и чехи. Нормальный человек спокойно не мог читать, а бендеровцы делали, смеясь и веселясь. Когда уставали, ложились спать, а выспавшись, продолжали зверствовать. Нанизывали на проволоку связки из нескольких детей, называли это «венками», развешивали на деревьях и подписывали: «Вот путь к независимой Украине».

А какие же у бендеровцев были жены и матери? Зинаида читала их допросы. Многие говорили примерно так: «Несчастные наши мужчины, нам их было так жалко. Они уставали неимоверно. Мы их кормили, укладывали спать, а потом они снова принимались за свою тяжелую работу».

Зачем бендеровцы это делали? Должно быть, чтобы на Западной Украине никого не осталось кроме западных украинцев. Чтобы остальные в ужасе бежали и чтобы у них даже мысли о возвращении никогда не возникало. Хотели запугать, посеять страх и ужас на века. А потом на чужой крови и пепелище построить свое счастье.

Зина читала оставленные начальником материалы и понимала, почему он заявил, что никогда больше не пустит ее ни на какие задания, а заставит заниматься только бумажками. Вскоре он поручил ей обобщить имеющиеся материалы по деятельности и преступлениям в ближайших районах организации украинских националистов (ОУН) и украинской повстанческой армии (УПА). Она получила доступ к докладным запискам, отчетам, фотографиям, многим другим документам и начиталась до такого состояния, что после первого дня работы у неё появилась седина. Зинаида представляла себя на месте бендеровских жертв. Так могло случиться с ней и в ту первую поездку, и в другие поездки.

«Несчастная, несчастная Наталка!» — Зинаида часто её вспоминала. Не хотела верить, что та мучилась. Надеялась, что умерла быстро. Потом узнала подробности: на допросе один бендеровец признался, что Наталка подорвала себя и двоих бандитов гранатой, остальные зверствовали уже над мертвой. Узнав об этом, Зина подумала: «Слава Богу, не мучилась». Вечером после работы пошла в церковь, долго молилась, а дома почти всю ночь проплакала.

Из истории бандеровского подполья

Эти «избранные свыше сверхчеловеки» появились в конце двадцатых годов. Объединилась маленькая группка из тридцати украинских националистов с якобы благородной целью освобождения Украины от колонизаторов — Польши и советской сталинской России, захвативших их землю. Назвали себя — ОУН: Организация украинских националистов. Написали программу, в которой главной целью было построить сильное государство во главе с вождем, а для этого создать украинскую армию.

В программе развернуто писалось о морали ОУНовца. Главные черты: «догматизм... фанатизм... аморальность... насилие...»

После нападения фашистской Германии на СССР большая часть ОУНовцев добровольно поступили в карательные батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» и дивизию СС «Галичина», отличились зверствами, удивлявшими даже эсэсовцев. Многие прошли специальную подготовку в лагерях Абвера.

Весной 1943 года немцы начали формирование 14-й дивизии СС из украинских добровольцев дистрикта Галиция и «Украинской освободительной армии» — из «восточных украинцев», преимущественно военнопленных. В том же году произошла Волынская резня. По данным польских источников, в 1943-44 годах на Волыни погибло шестьдесят тысяч поляков и двадцать тысяч украинцев от рук украинских националистов под началом Дмитрия Клячкивского.

В конце войны эти части были расформированы. На их базе появилась УПА (Украинская повстанческая армия), которая была разделена на три группы: «Север», «Запад» и «Юг». Каждая группа состояла из 3-4 куреней. В один курень входило три сотни. Сотня состояла из 3-4 чотов (взводов). Составная единица чота — рой из 10-12 человек.

Точной численности УПА в документах не приводилось: от 25 до 100 тысяч хорошо обученных головорезов, вооруженных и немецким, и советским оружием. У них имелись большие запасы боеприпасов, провианта и амуниции. Была в этой армии служба безопасности с разведывательными и устрашающими карательными функциями. Германские нацисты ушли, а эти остались. Первоочередной целью УПА было не пустить советские войска на свою территорию.

На Волыни банды ОУН-УПА, почувствовав ослабление Рейха и свою силу, начали воевать и с красными, и с фашистами, и с поляками. Одно время им удавалось контролировать большие районы в Ровенской и Тернопольской областях. Действовали открыто. Зная местность, занимали выгодные позиции, заманивали подразделения

советской армии в ловушки. Устроив засаду, бандеровцам удалось смертельно ранить командующего 1-м Украинским фронтом Николая Ватутина. После этого борьба с УПА резко усилилась. Разгромленные Красной армией в открытых боях бандеровцы перешли к партизанской и подпольной войне. Постоянно использовали тактику запугивания.

К весне 1945 года войсками НКВД были разгромлены все крупные банды. За 1944 год было уничтожено почти шестьдесят тысяч бендеровцев и более пятидесяти тысяч членов УПА задержано. Но УПА продолжала террор, жестоко расправляясь с советскими гражданскими работниками, учителями, агрономами, инженерами в селах и небольших городках. Сочувствующих советской власти убивали семьями, пытали.

Главнокомандующий УПА Шухевич издал приказ о продолжении борьбы с СССР. Уничтожение ОУН-УПА стало важнейшей задачей органов НКВД на Западной Украине. Руководство УПА, сбежавшее после войны за границу и к тому времени находившееся на службе у западных разведок, дало оставшимся подразделениям указание беречь силы до наступления вооруженного конфликта между странами Запада и СССР. Партизанам и подпольщикам УПА с воздуха в леса Западной Украины забрасывали боеприпасы, деньги, радиостанции и прочее.

Многие селяне Западной Украины поддерживали «лесных братьев». Одни воспринимали их как героев, борцов за независимую Украину, другие из страха или по-родственному давали бандеровцам продовольствие, пускали на ночлег. Чтобы лишить УПА такой поддержки, многие родственники бандеровцев были отправлены на спецпоселение в Сибирь.

В 1950 году был уничтожен генерал-хорунжий, командующий УПА Роман Шухевич. Его заменил такой же опытный и опасный враг — Василий Кук. Его удалось схватить. Органы НКВД вели долгую психологическую обработку Кука и сумели убедить. Он призвал бойцов УПА сложить оружие. Советская власть сохранила Куку жизнь и после шестилетнего заключения освободила.

За 10 лет борьбы с подпольем ОУН после войны до середины пятидесятых годов погибло двадцать пять тысяч солдат и офицеров советской армии, сотрудников органов госбезопасности, милиции, пограничников, около тридцати двух тысяч партийных работников, учителей, агрономов, инженеров, приехавших налаживать мирную жизнь на Западную Украину. Вечная им память!

10. ГОЛУБЫЕ ГОРЫ

Спина у Зинаиды Филипповны болела с детства. Каждый раз, когда просыпалась, первое, что делала, наклонялась вперед, слегка сгибала колени и вытягивала на выдохе мышцы, которые держали позвоночник. Так научили в Голубых горах. В Индии. Когда лечили сломанный позвоночник.

Ездить верхом она научилась на второй год, как приехали в Персию. У отца было несколько коней для верховой езды. Она долго упрашивала, чтобы ей позволили. Упросила. Махмуд легко поднял, усадил в седло и, улыбаясь, держа лошадь под уздцы, катал её по двору. Когда стала уверенно сидеть в седле, привыкла к лошади, начали учить ездить на самой спокойной кобыле. Постепенно стала неплохо скакать.

Однажды, это случилось, когда ей было девять лет, к ним приехал на коне знакомый офицер и привел на поводе почти необъезженного жеребца. Привязал обоих к коновязи и ушел в дом что-то обсудить с отцом. Чувствовалось, что жеребец того гляди вырвется на свободу и улетит в горы. А конь был красив. Крупные черные глаза смотрели на людей зло, широкие ноздри раздувались, при каждом звуке он вздрагивал, ржал и вставал на дыбы. Длинная грива свисала ниже мускулистой шеи. Жеребец был оседлан. Наверное, офицер собирался объезжать его после встречи.

Отчаянная Зинушка решила объездить сама. Она была уверена, что ей удастся сделать то, чего пока не получается у казака-офицера, и тогда все удивятся, похвалят её и будут рассказывать потом, какая она молодец! Сначала подошла и заговорила с молодым конем. Тот удивленно посмотрел на девчонку и успокоился. Тогда она сбегала домой, принесла несколько кусочков сахара, встала перед жеребцом и протянула ему кусочек на ладони. Конь принял подношение. Зинушка спросила:

— Можно, я на тебе прокачусь? Немножко. Посижу в седле и слезу. А за это дам тебе еще сахара.

Конь помотал головой. Зинушка восприняла это как согласие. Дала еще кусочек, и конь снова съел. Она погладила его по шее. Конь стоял. Тогда девчонка спокойно и медленно укоротила стремя с одной стороны. Перешла на другую сторону и сделала то же с другим стременем. Осмотрела седло, оно было хорошо подтянуто. Зинушка перекинула повод через голову на шею жеребца, выровняла, слегка натянула его, а

потом вскочила на жеребца. Конь вздыбился, заржал, стал брыкаться, но Зинушка крепко держалась в седле. Жеребец взбрыкнул и понесся. Он промчался через двор, перескочил через невысокую изгородь на задах сада и поскакал по дороге за город. Зинушка уцепилась одной рукой за гриву коня, второй пыталась натянуть повод, но жеребец обезумел. Он пытался сбросить девчонку, это не получалось, а он все пытался и пытался. Наконец, уже далеко за городом все же сбросил и умчался. Зинушка упала, почувствовала мгновенную страшную боль и потеряла сознание.

Когда её нашли, она лежала, разбитая в кровь о камни, и почти не дышала. Отец попытался взять её на руки. Зинушка вскрикнула от боли и снова потеряла сознание. Махмуд сказал отцу, что у неё, возможно, перелом позвоночника. Просто так нести нельзя. Надо положить на доску и тогда переносить, чтобы позвонки не сдвигались. Иначе могут порваться нервы, и ноги не будут ходить.

Врач после осмотра подтвердил перелом позвоночника. Ноги почти не реагировали на уколы, потеряли чувствительность. Мать не отходила от дочки и плакала, плакала. Отец приглашал разных врачей, те осматривали, качали головой и говорили одно и то же — жить будет, но только в инвалидной коляске. Махмуд разузнал, что в город недавно из Индии приехал знахарь. Он вылечил многих людей, от которых отказались врачи. Уговорил прийти. Знахарь занимался Зинушкой с утра до глубокой ночи. Сказал, что сам вылечить не сможет, но знает тех, у кого это, наверное, получится.

— Если кто и сможет это сделать, то только в Голубых горах. На юге Индии. И то, если возьмутся. Выдержит ли девочка далекий путь или нет, я не знаю. Я скоро уезжаю в Индию. Туда отправляется караван, с которым я пойду. Если решитесь — возьму.

Родители согласились. По приказу знахаря сделали широкую доску с креплениями и крышей из шелка. Получилось что-то похожее на палатку. Зинушку уложили на эту доску так, чтобы она не могла двигаться. За крепления привязали между двумя лошадями, и караван пошел.

Как она ехала, как её снимали с лошадей, кормили, поили, натирали какими-то мазями, Зинушка почти не помнила. Потом, через годы Зинаида Филипповна на карте посчитала. Оказалось, что она с поломанным позвоночником проехала больше двух тысяч километров. Это было мучительным путешествием, но она его выдержала. Однажды после привала знахарь сказал, что завтра путь будет закончен, что он привез её к тодам.

— Кто это? — прошептала Зинушка.

— Это... — знахарь задумался. — Они произошли от богов. Только они могут тебя вылечить. Больше никто в целом свете. Если возьмутся, то обязательно вылечат. Тогда я тебя у них оставлю, а через год, когда караван в очередной раз будет возвращаться в Персию, в Мешхед, хозяин каравана тебя заберёт.

— А если не возьмутся?

— На все воля Аллаха, скоро узнаем.

Доску с Зинушкой положили на землю. К ней подошел высокий, очень высокий красивый человек с длинными седыми волнистыми волосами, бородой и зелеными глазами. Кожа у него была светлой, а лицо не похоже на лица индусов и персов. Он молча слушал тех, кто привез Зинушку, качал головой. Потом что-то сказал на неизвестном ей языке. Те, кто привез, отошли. Другие люди взяли доску и понесли. Поставили в поле, покрытом зеленой травой. Светило солнце. Легкий ветерок окутывал прохладой её измученное, изболевшее тело. Впервые за время мучительного путешествия ей стало спокойно. Боль затихла. Высокий человек подвел огромного буйвола. Буйвол наклонился к её лицу, обнюхал, покачал головой и тихо замычал. На его шее зазвенел серебряный колокольчик. Он снова наклонился к девочке и лизнул её в лоб. Зинушка открыла глаза и улыбнулась. Ей показалось, что и буйвол в ответ улыбнулся. В его ноздре блеснуло золотое кольцо. Зинушка потеряла сознание.

Пришла в себя и увидела, что высокий седой мужчина улыбается ей. Он что-то сказал, и Зинушка поняла: её будет лечить он и вылечит, но надо запастись терпением и во всем слушаться. Она в ответ улыбнулась и заснула. Проснулась, наверное, на следующий день. Почувствовала, что лежит на другой, гораздо более широкой доске. Эта доска приятно пахла и, казалось, излучала тепло. Её снова отнесли в поле. Переложили на живот. Боли она не почувствовала. Такое случилось впервые после того, как конь сбросил и она ударилась о камни. Тот же седой великан намазал её спину каким-то снадобьем и долго, очень долго растирал, произносил заклинания, она засыпала, просыпалась, впадала в беспамятство и снова приходила в сознание, а он занимался с ней и занимался. Как отнесли в хижину без окон, с очень маленькой дверью, она не помнила. Когда в очередной раз очнулась, этот мужчина напоил ее молоком через тростинку из деревянной мисочки. Такого вкусного молока она никогда прежде не пила. Зинушка подумала, что он, должно быть, древний жрец или святой. Он улыбнулся, будто прочитал её мысли, и сказал, что привязывать теперь не станут, но шевелиться нельзя, иначе

никогда не сможет ни ходить, ни вставать. И она лежала. Терпела и лежала. Изредка поворачивала голову влево, это жрец разрешил, и тогда представляла, будто спит на левом боку. Когда поворачивала голову вправо, представляла, будто спит на правом.

День изо дня повторялось и повторялось лечение. Она чувствовала, что силы восстанавливаются, что она крепнет, но не шевелилась. Жрец подолгу был рядом. Большую часть дня она лежала на зеленом поле. Видела, как пасутся огромные буйволы. Такие огромные, каких раньше не видела. На закате их загоняли в загон, на языке племени он назывался тирири. Зинушка обладала прекрасной памятью и способностью к изучению языков, потому быстро освоилась и стала понимать язык людей, у которых лечилась. Её сначала никак не называли, а попозже, когда привыкли, стали называть так же, как остальных женщин — матерью. Только прибавляли слова «маленькая» и «которую лечат». Получалось — «маленькая мать, которую лечат». Здесь всех женщин, от самых маленьких до старушек, уважительно называли «матерями». Как заметила Зинушка, женщин было намного меньше, чем мужчин. Примерно в пять раз меньше. Она спросила у жреца, почему так, тот пожал плечами и ответил:

— Так было всегда. Так богине угодно.

Бросалась в глаза красота и мужчин, и женщин. Их высокий рост — почти два метра. Атлетическое сложение. Длинные волосы, обрезанные спереди чуть выше бровей, сзади лежали на плечах и спине. Зинушка уже читала про древнегреческих и римских богов. Эти люди их напоминали. Даже одеты были, как древнегреческие боги, в светлые тоги, концы которых перебрасывали через плечо за спину. Потому седого жреца, который её лечил, стала про себя называть Алексием, ведь имя Алексий означало целитель и было одним из имен бога Аполлона. Как-то она спросила жреца, не обидится ли, если она будет называть его Алексий. Жрец согласно кивнул. И сказал, что его почти так и зовут.

Позже Зинушка узнала, что племя называется тода. Они никогда не лгут и не крадут. Ложь считается здесь самым мерзким и подлым поступком. Об этом учат маленьких детей с рождения. На высокой горе находится храм. Единственный. Это храм Истине.

Алексий рассказал, что буйвол для тода божественен. Когда тод появляется на свет, то в его теле поселяется душа, а в его буйволе дух. Так они становятся единым. Потому у каждого в племени есть собственный буйвол, которому он поклоняется. В терири имеется загон для личных буйволов и храм, к которому нельзя приближаться женщинам и неженатым мужчинам. Только жрецы могут входить в храм и совершать в нем священные действия. Когда умирает хозяин, голову его быка отрубают, тело закапывают. Над телом разводят костер и сжигают и тело умершего тода, и буйвола. Вместе с дымом из священного буйвола вылетает дух и переправляет душу умершего тода в созвездие быка. А еще в племени тода поклоняются солнцу и верят в реинкарнацию.

Иногда к Зинушке подходил самый большой буйвол. Тот, которого она увидела в первый день, с золотым кольцом в ноздре и серебряными колокольчиками на шее. Тот, который разрешил её лечить. Наклонялся над ней, обнюхивал, фыркал, что-то говорил на своем буйволином языке. Зинушка понимала — говорит доброе, ласковое, чувствует, как ей тяжело, и подбадривает. Так было много месяцев.

Однажды Алексий осторожно поднял и согнул её ногу. Зинушка не почувствовала боли! Нога работала! Он кивнул и сказал, что скоро она будет учиться ходить. Она ответила, что давно уже это умеет. Он покачал головой:

— Умела в другой жизни, а завтра начнешь этому учиться заново, а сегодня не смей вставать. Иначе — беда.

Она — непоседа, неслух, егоза — слушалась его безоговорочно. Ни разу не нарушала запреты. И чудо совершилось. На следующее утро Алексий поднял её с доски и поставил за землю. Она покачнулась, чуть было не упала, он обхватил исхудавшую тоненькую девочку, и Зинушка устояла. Жрец сказал, что теперь спина вылечена. Теперь скоро будет ходить. Зинушка ответила. Ответила на его языке. Как это получилось, она не понимала, но заговорила на неизвестном языке. Седой великан удивленно посмотрел на девочку, сказал, что впервые слышит, как чужестранка говорит на их языке.

Через полгода после того, как её привезли, Зинушка ходила и бегала, как будто никакого перелома позвоночника не было. А еще через несколько месяцев за Зинушкой приехал индийский знахарь. Всего она в Голубых горах была больше года. За это время любопытная девчонка много чего узнала о Голубых горах и людях, которые в них живут.

Вначале Алексий сам водил её в деревни, которые были ниже в горах. Там жили другие люди, говорившие на других языках. Позже, когда она освоилась, стала сама ходить в эти деревни. Научилась говорить на их наречии. В этих деревнях рассказывали, что раньше все Голубые горы были землей тодов. Те, кто приходил сюда, просили

у них разрешения жить на этой земле, пользоваться ей, выращивать растения, пасти скот. Тоды всем разрешали. Потом появились англичане и стали хитростями отнимать у тодов участок за участком. Постепенно вытеснили их на самые верхние пастбища, а себе забрали лучшие. Взорвали горы, построили дороги, и теперь англичанам стало легче сюда добираться, но душный и сырой ветер с моря стал проникать сюда и застаиваться здесь. Оттого жить стало хуже, домашняя птица и скот измельчали, люди стали чаще болеть. Английские солдаты, которые бездельничают в городке, от скуки издеваются над людьми, мучают их.

Ей было интересно посмотреть на этих хитрых и злобных англичан, и однажды она попросила разрешения у Алексия сходить в городок, в котором те жили и который видела у подножья горы, когда смотрела вниз с плато. Озеро возле него. Великан кивнул:

— Найди там ферму Джона Саливана. Сам он умер, а вот внучка его жива. Она про наши горы расскажет. Идти придется долго. Ты еще недостаточно крепка, чтобы осилить и спуск, и подъем за один день. Попросись у неё переночевать. А на следующий день с утра возвращайся.

Утром Зинушка попрощалась с Алексием. Он протянул ей красивую палку длиной немного меньше метра и сказал:

— Если встретишь тигра, или другого зверя, или удава, или змею — не пугайся и не бойся. Остановись. Выстави высоко перед собой посох и тихо, но так, чтобы они услышали, спокойно скажи, чтобы уходили. Скажи, что ты под моей защитой. Тогда не тронут. Уйдут.

Зинушка до селения добралась без происшествий. Нашла каменный дом Саливана. Позвонила в колокольчик, висевший у калитки. Из дома вышла пожилая дама, одетая почти так, как одевалась жена английского консула в Мешхеде. Подошла к калитке, спросила:

— Тебе чего, девочка? Ты чья? Что-то я тебя здесь раньше не видела.

Зинушка инстинктивно сделала книксен и на английском ответила:

— Меня привезли в ваши горы с поломанным позвоночником почти полгода назад. Теперь вылечили. Я все время была там, — она показала вверх на горы, — скоро за мной приедут, и я покину ваши места навсегда. Мне хотелось перед отъездом узнать побольше о Голубых горах. Лучше вас этого никто не сможет рассказать.

Женщина высокомерно посмотрела на неё:

— Тебе нужна моя хозяйка, а не я. Я доложу ей. Как тебя представить?

Зинушка сообразила, что надо сказать что-то посолиднее и ответила:

— Доложите, что я мадмуазель Зинаида из консульства в Мешхеде.

Служанка ухмыльнулась и ушла в дом. Вскоре вернулась и пригласила Зинушку пройти за ней. Её встретила дама, одетая гораздо лучше, чем жена консула. В руке внучка Джона Саливана держала монокль и на протяжении всей долгой беседы время от времени подносила его к переносице и вглядывалась в лицо девочки.

Она предложила Зинушке сесть за небольшой столик, на который служанка поставила поднос с чашками чая, маленьким молочником, наполненным сливками. Зинушка поблагодарила, пригубила чай и поставила чашечку из почти прозрачного фарфора на прежнее место. Сделала все так, как учила их в школе жена русского консула. Хозяйка кивнула, удовлетворившись манерами девочки, и начала рассказывать:

— Мой дед Джон Сэливан основал все это! — она обвела рукой всё вокруг и гордо посмотрела на маленькую девочку. — Я внучка главного управляющего Голубыми горами. Он, по распоряжению Ост-Индской компании, в которой работал коллектором, начал обследовать эту местность и открыл для нас, англичан, Голубые горы, или, как их называют на местном наречии, Нильгири. За это его и назначили главным управляющим. Дед жил на Нильгири и управлял его пятью племенами почти тридцать лет. Он был честным и справедливым. В тысяча восемьсот двадцать седьмом году основал наш маленький городок, который назвали Уттакаманд. По распоряжению деда город засадили садами. Не позволил изгадить озеро. Оно и сейчас украшает наш город. Взорвал каменные горы и построил дороги. Сделал все это достоянием Великобритании. Он описал все племена, которые здесь живут, их быт и нравы. Заступался за них. Его они и сейчас чтят и любят. Фактически он открыл эти места для цивилизации, как Колумб открыл Америку. Индусы боялись ходить в горы Нильгири. Эти места считались местом, где живут боги, и любого, кто посмеет нарушить их покой, боги покарают. Любого ждет смерть. Но появился мой дед с цивилизованными, вооруженными огнестрельным оружием англичанами, которые отправились в это место богов и открыли его для людей. Это произошло в январе 1819 года. Почти сто лет назад. Теперь, меньше чем через сто лет, здесь процветают фермы с цивилизованными плантациями. В нашем Уттакаманде, созданном моим дедом, живет около пятнадцати тысяч человек. Все здесь в идеальном, истинно британском порядке. Многие, кто чуть не умирал от мерзкого климата в Мадрасе или других городах, примчались сюда, как только узнали

про здешний лечебный, райский климат, открытый моим дедом. Здесь они будто бы заново родились. А сделав плантации на прекрасных здешних почвах, еще и обогатились, — остановить даму было невозможно и Зинушка слушала, слушала и слушала: — Джон Сэливан полюбил тодов за то, что они никогда не врут и не берут в руки оружие. Он позаботился о них на все времена, — внучка стала говорить о своем деде в третьем лице, и девочка догадалась, что та много раз уже рассказывала то, о чем только что сообщала ей. Рассказывала, должно быть, школьникам или путешественникам, которые приезжали сюда. — Джон Сэливан составил с племенными вождями договор аренды земли. По этому договору племя оставило за собой пастбища для буйволов в верхней части гор, а все, что ниже, передало в аренду плантаторам. Тоды счастливо живут. Они и сейчас получают эту арендную плату.

Зинушка слышала и понимала, что эта взрослая, чопорная, самоуверенная дама, в отличие от тодов, лжет. Её доброе детское сердечко рвалось из груди от неправды, которую извергала из себя эта женщина. Но Зинушка уже много чего понимала и слушала молча. Ей была неприятна эта взрослая женщина. Оставаться у неё на ночь, как советовал Алексий, она не хотела. Зинушка дождалась, пока та умолкла, встала, поблагодарила даму за интересный рассказ, сделала книксен, сказала, что ей пора, и покинула дом. Она не хотела оставаться в этом городке ни минуты. Быстрым шагом вышла за город и побежала наверх к ставшим родными тодам. Ей было обидно, что с добрыми, открытыми людьми, жившими в этих горах, как говорил Алексий, 199 поколений, а это, как она сразу посчитала, больше семи тысяч лет, так бесстыдно поступают пришельцы, да ещё и лицемерно рассказывают, что облагодетельствовали их.

— Когда я вырасту, выучусь, вернусь сюда и буду бороться за тодов! — говорила сама себе девочка. — Если б не они, я навсегда осталась бы калекой, не способной двигаться, и умерла бы. Они меня спасли, и я буду бороться за их счастье! Правильно говорили в школе мои учителя про англичан.

Вдруг резкая боль в спине пронзила, будто иглой. Зинушка, должно быть, слишком переволновалась и перегрузила спину. Она вспомнила, что Алексий сказал, чтобы переночевала у внучки Саливана. Она не послушалась. Зинушке стало страшно — вдруг позвоночник снова сломается, вдруг в нем ещё не все позвонки срослись. Она отошла на обочину тропы и легла. Заснула. Когда открыла глаза, были сумерки. Луна освещала тропинку. Внизу, далеко за склоном, светились окна городка. Спина не болела. Зинушка осторожно поднялась и пошла вверх в селение тодов. В кустах около тропинки кто-то шуршал листьями. В глубине леса кричали звери. Зинушке не было страшно. Она выставила перед собой посох, который дал Алексий, и повторяла, как заклинание:

— Звери и змеи, уходите, я под защитой Алексия! Уходите и не трогайте меня! Уходите с моей тропы.

Совсем недалеко от селения увидела силуэт тигра. Он стоял на тропе и смотрел в её сторону. Зинушка остановилась. Вытянула вперед руку с посошком и сказала:

— Здравствуйте, тигр. Не трогайте меня. Идите своей дорогой. А я пойду своей.

В темноте блеснули глаза огромного зверя, раздался рык, и тигр ушел.

На поляне перед деревней её ждал Алексий. Зинушка кинулась к нему, обняла и заплакала. Он поднял её высоко-высоко, прижал к себе и погладил по голове.

— Я знал, что ты не останешься в городке у англичанки. Ждал тебя.

— Она же все врет. Обманывает. И про вас. Её послушать, так эти англичане вас всех облагодетельствовали. Буквально осчастливили. А они вас ограбили. Отняли всю землю, — возмущалась Зинушка. — Они изуродовали ваши горы. Взорвали их. Я когда вырасту и выучусь, приеду сюда к вам, буду заступаться. Выгоню отсюда всех этих лживых, жадных англичан! Неужели вы, когда они подсунули договоры аренды, не поняли, что вас обманывают?

— И чувствовали, маленькая мать, которую уже вылечили, и понимали. Но на все воля богини. Всё предопределено, — печально сказал Алексий. — А ты не держи на них зла. Они и так уже наказаны. Задыхаются от своей злобы и жадности. Не уподобляйся им. Живи свободно, спокойно, и счастье тебя найдет.

Когда за Зинушкой приехали, индийский знахарь был восхищен, увидев девочку здоровой. Он встал перед Алексием на колени, поцеловал его руку, долго благодарил, а потом спросил, сколько они должны ему за лечение. Алексий удивленно на него взглянул и сказал:

— А сколько ты должен за то, что живешь? Что можешь дышать, ходить, видеть этот мир, — улыбнулся и сам ответил: — Нисколько. Для меня счастье, что я помог. Счастье, что растет, а не умирает, хорошая маленькая мать.

Перед отъездом Алексий подарил Зинушке четки из слоновых бивней. Одна бусина была срезана на треть. Зинушка помнила, что он сказал: «Жизнь у тебя, девочка, будет долгой, но много испытаний в ней будет, и все должна достойно принять и прео-

долеть». Любопытная Зинушка не удержалась и спросила:

— А почему эта бусина срезана?

Великан поцеловал её в лоб и ответил:

— Когда придет время, сама поймешь. Прощай!

Повернулся и ушел. Зинушка крикнула вслед:

— Спасибо тебе! Я тебя никогда не забуду. Ты подарил мне жизнь.

Поднявшийся вдруг ветер взметнул его волосы вверх, жрец, не поворачиваясь, поднял руку к небу и помахал. Вдруг появившийся туман скрыл его. Алексий будто растворился в нем и исчез...

11.

Путь домой с караваном был извилистым и долгим. Хозяин каравана знал, где и какой товар можно купить дешево, а потом продать дорого. Потому караван, а с ним Зинушка, петлял, заходил в далекие от проторенных путей места, где что-то продавал, что-то покупал. Зинушка оказывалась в таких местах, куда мало кто из европейцев мог проникнуть. Она прошла с запада на восток почти всю Индию. Хозяин каравана загрузил всех верблюдов и собирался перед возвращением в Персию зайти в Афганистан за драгоценными камнями. Было это почти по пути. Заодно хотел продать там небольшую партию оружия. Но в одном из караван-сараев его отговорили знающие купцы. Рассказали, что эмир убит и лучше туда не ходить. Они же продали хозяину изумруды, которые пользовались спросом у высоких сановников в Персии и за которыми караван и должен был зайти в Афганистан.

На пути домой, в Мешхед, Зинушка из разговоров в караване узнала о переменах, которые произошли за это время в мире. Раньше ей эти перемены были неинтересны, но теперь она прислушивалась к разговорам в караване и на остановках в караван-сараях. Погонщиками были персы, и она отлично понимала, о чем они говорят. Они же между собой обсуждали, что в Персии вместо одного шаха стал другой, но ничего для простых людей от этого не изменилось. Говорили, что персидские чиновники раньше помогали немцам, а теперь затаились, притихли до времени. Что немцы говорят, будто только они одни могут защитить мусульман от неверных русских и англичан. Что надо поднимать джихад против неверных русских и англичан. Погонщики рассуждали, зачем им этот джихад. Говорили, что два года назад русские казаки уже захватывали все немецкие караваны с оружием и германскими офицерами, которые шли, чтобы вооружить поднявшиеся племена и обучить их. Что зимой 1915 года казаки вошли в древнюю персидскую столицу Хамадан и не позволили германцам сделать так, чтобы Персия вступила в войну с Россией, что немцы обманывают, будто русские хотят захватить Персию. Потому что потом, когда мятежников разогнали, большая часть русских казаков ушла из Персии воевать с Германией, а не осталась здесь.

Говорили, что малолетний новый шах ничего не может и страной правит премьер-министр. А тот сам и все его правительство на стороне немцев, которые их подкупили, для того чтобы Персия вступила в войну на стороне Германии. Что два года назад в Исфагане убили не то русского консула, не то его помощника и разгромили консульство. После этого многие русские уехали, а они покупали много из того, что привозил караван и другие караваны из Индии. Потому теперь плохо продаются товары. Говорили, что после этих убийств русские казаки заняли Хамадан, Кум, Керманшах, другие города и перекрыли пути между Персией и Месопотамией, которой владели турки, разгромили всех, кто помогал немцам. А если бы казаки этого не сделали, то непонятно, что бы теперь было. Должно быть, гораздо хуже. Чиновники наверняка бы загнали мужчин в армию и отправили воевать.

Путь долгий, и погонщики неторопливо обсуждали, что произошло недавно и что несколько лет назад. Особенно их интересовали события в России. Они много раз повторяли про революцию. Говорили обо всем, что их тревожило, но всегда возвращались к революции в России. Зинушка не очень-то понимала, что такое революция. Все, кто был в караване, с восхищением говорили, что в России теперь нет шаха. Что нового шаха русские вместо прежнего не пустили, и теперь у них всем правит народ через какие-то советы, в которые простые люди выбирают тех, кому доверяют. Говорили, что у тех, кто владел землей, эту землю забрали и раздали тем, кто на ней работал. А фабрики отняли у хозяев и отдали тоже тем, кто на них работал. Простым рабочим.

Зинушка сообразила, что они говорят, будто в России теперь нет царя. А кто есть, было ей непонятно. Она не понимала и тревожилась, как живет её семья. У родителей не было ни земли, ни фабрик, но отцу платил за работу какой-то неизвестный ей Морозов. Платил и за дом в Мешхеде, и за шерсть, которую отец покупал у персов. Она думала, кому теперь принадлежит дом, в котором они живут? Если тем, кто работал на Морозова, то, значит, отцу? Это хорошо, но в это не очень-то верилось. А кто тогда платит отцу деньги за работу, если Морозова выгнали? От всех этих размышле-

ний было тревожно и страшно. Больше всего она боялась, что родителей выгнали из дома, в котором они жили, или убили, как консула в Исфагане, и она их никогда не увидит. Зинушка гнала дурные мысли, а они не уходили, тревожили её маленькую, не окрепшую после болезни душу.

Один грамотный погонщик вечерами, когда останавливались на ночлег, доставал листок газеты и зачитывал остальным какое-то обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», которое напечатало после революции новое правительство России. Он читал, остальные слушали, кивали головами, удивлялись. Говорили, что такого никогда прежде не бывало. Каждый вечер, после ужина, после вечернего намаза, у них, как ритуал, стало чтение того обращения. Это повторялось столько раз, что Зинаида Филипповна помнила его и теперь, много, очень много лет спустя. Помнила, как погонщик доставал лист, разворачивал его и читал:

«Обращение Совета народных комиссаров
ко всем трудящимся мусульманам России и Востока
20 ноября (3 декабря) 1917 г.

Товарищи! Братья! Великие события происходят в России. Близится конец кровавой войне, начатой из-за дележа чужих стран. Падает господство хищников, поработивших народы мира. Под ударами русской революции трещит старое здание кабалы и рабства. Мир произвола и угнетения доживает последние дни. Рождается новый мир, мир трудящихся и освобождающихся. Во главе этой революции стоит рабочее и крестьянское правительство России, Совет народных комиссаров.

Власть в стране в руках народа. Трудовой народ России горит одним желанием добиться честного мира и помочь угнетённым народам мира завоевать себе свободу. В этом святом деле Россия не одинока. Великий клич освобождения, данный русской революцией, подхватывается всеми трудящимися Запада и Востока.

Мы обращаемся к вам, трудящиеся и обездоленные мусульмане России и Востока. Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно.

Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраняются всею мощью революции и её органов, советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Поддерживайте же эту революцию и её полномочное правительство!

Мусульмане Востока, персы и турки, арабы и индусы, все те, головами и имуществом которых, свободой и родиной которых сотни лет торговали алчные хищники Европы, все те, страны которых хотят поделить начавшие войну грабители!

Мы заявляем, что договор о разделе Персии порван и уничтожен. Как только прекратятся военные действия, войска будут выведены из Персии и персам будет обеспечено право свободного определения своей судьбы.

Не от России и её революционного правительства ждёт вас порабощение, а от хищников европейского империализма, от тех, которые ведут нынешнюю войну из-за дележа ваших стран, от тех, которые превратили вашу родину в расхищаемую и обираемую свою «колонию».

Свергайте же этих хищников и поработителей ваших стран. Не теряйте же времени и сбрасывайте с плеч вековых захватчиков ваших земель!

Вы сами должны быть хозяевами вашей страны. Вы сами должны устроить свою жизнь по образу своему и подобию. Вы имеете на это право, ибо ваша судьба в ваших собственных руках.

Товарищи! Братья! Твёрдо и решительно идём мы к честному, демократическому миру. В наших знамёнах несём мы освобождение угнетённым народам мира.

Мусульмане России! Мусульмане Востока! На этом пути обновления мира мы ждём от вас сочувствия и поддержки.

Народный комиссар по национальным делам Джугашвили-Сталин.
Председатель Совета народных комиссаров В. Ульянов (Ленин)».

Погонщики и охранники каравана постоянно обсуждали этот листок. Кто-то сомневался, кто-то не верил. Участвовал в разговорах и хозяин каравана, и его помощник. Их уважали и слушали внимательно. Хозяин каравана говорил, что этот документ правильный, что он недавно читал ещё одну грамоту от Российского министерства иностранных дел, которое теперь называется комиссариат. В этой грамоте русские подтверждают, что англо-русское соглашение от 1907 года о разделе Персии они разорвали и оно недействительно.

— А это значит, — говорил хозяин каравана, — что англичане теперь не имеют никаких прав на нашу Южную Персию и русские им в этом содействовать не станут. Вот только сил и оружия у нас нет, чтобы англичан оттуда выгнать. Надо силы накапливать, доставать оружие, а когда станем готовы, то сможем выгнать этих грабителей

англичан. Думаю, что русские нам в этом помогут.

Все кивали, вздыхали и соглашались.

Зинушка побаивалась ехать на лошади. Слишком сильны были воспоминания о её беде. Потому ехала верхом на спокойном ослике или шла рядом с ним. Она много размышляла о несправедливости в мире. О лживости англичан, их жадности и хитрости. Она уже понимала, что англичане и в Персии ведут себя так же, как в Индии с тодами. Да, должно быть, и везде в мире не лучше. Это говорили и учителя в консульстве, и персы. Да и хозяин каравана постоянно сокрушался о том же. Зинушка за этот год повзрослела. Лежа на доске, не имея возможности встать, ей оставалось только думать, вспоминать, что было, и мечтать, как будет, если Бог даст, и она выздоровеет. Размышляла, чему надо посвятить свою жизнь. Поняла, что слова и родителей, и учителей о том, что надо учиться и много знать, правильные. Тогда и пользы людям можно принести много. А еще она увидела настоящих своих врагов — англичан. Решила, что с ними будет бороться. Но для того, чтобы бороться по-настоящему, надо сначала хорошо выучиться. Этой борьбе, борьбе за освобождение угнетенных людей, под цоканье копыт маленького ослика она и решила посвятить жизнь.

12.

Наконец показался Мешхед. Навьюченные верблюды не спеша вошли в город, прошли по кривым улочкам к караван-сараю, неподалеку от дальнего базара. Она помнила эти улочки, знала, как по ним быстро добраться домой, и попросила хозяина отпустить её. Тот улыбнулся, погладил девочку по головке и сказал:

— Не спеши, маленькая Зина-джан. Я сам тебя отведу к родителям. Время опасное, даже за пять шагов от дома может случиться беда. Подожди еще немного, пока я передам товары, устрою и людей, и животных.

Раньше Зинушка не послушалась бы, убежала домой, но теперь, после того что случилось, стала осмотрительней, выдержанней, да, наверное, просто повзрослела. Она согласно кивнула хозяину и осталась ждать. Наконец, тот закончил дела, и по знакомым улочкам они прошли через город, постучали в знакомые Зинушке ворота.

Калитка, встроенная в них, открылась, и Зинушка увидела мать. Анисья Дмитриевна обомлела, замерла на секунду, растерялась, потом бросилась к ней, обняла и зарыдала. Зинушка почувствовала мамин запах. Запах сдобных булочек, теплого хлебушка, запах родного дома. Мама обняла дочку и не отпускала. Прижимала к себе и целовала, целовала. Чуть сзади матери стояла Шура, старшая сестра Зинушки, и повторяла:

— Ну по́лно, мамочка, не плачь, по лно, вернулась наша Зинушка, слава господу, выздоровела. Не плачь, пожалуйста, не плачь.

А мать не могла остановиться, рыдала и рыдала.

Из дома вышел отец. Увидел Зинушку, вскрикнул от радости, раскинул руки в стороны, подбежал к ней, обнял, расцеловал, поднял и закружил. Потом радостно посмотрел на мать, сказал:

— Анисья Дмитриевна, ты почто плачешь? Смеяться надо, доченька наша, Зиночка, здоровая вернулась! А ты плачешь!

Он, наконец, опустил Зинушку на землю, подошел к хозяину каравана, заговорил с ним на фарси. Спросил, как добрались, как здоровье. Говорил, соблюдая устоявшийся этикет вежливости. Хозяин каравана, в свою очередь, расспросил отца о том же. Потом отец пригласил его в дом. Они расположились в кабинете отца, туда принесли еду, чай, и они долго-долго разговаривали. А Зинушка в это время знакомилась с маленькой племянницей, дочкой Шуры, Ниночкой. Обнималась с сестренкой Любашей, братишкой Германом. Рассказывала им, как добиралась, привязанная к доске, на Голубые горы, как её лечили там тоды. Как вылечили и она снова училась ходить. Сперва медленно, потом, когда окрепла, быстрее. Как научилась языку тодов и близких к ним племен. Как освоила гимнастику йогов и много-много еще о чем рассказывала и понимала, как сильно она любит их, своих родных, мамочку, папочку, сестричек и даже маленькую племянницу Ниночку, которую только что впервые увидела.

Вечером, после того как очередной раз пересказала все, что с ней случилось, как лечил тод Алексий, как училась снова ходить, бегать, как добиралась с караваном обратно домой, семья разошлась после вечернего застолья по комнатам, готовиться ко сну. Зинушка подошла к отцу и тихо, чтобы никто не услышал, спросила:

— Папочка, а что такое революция? В караване говорили, что в России больше нет царя, что землю отобрали у помещиков и отдали крестьянам, а фабрики рабочим. Это правда? И как же теперь мы жить будем? На что? Если Морозовы уже не хозяева, кто у тебя будет покупать шерсть и на какие деньги?

Отец посмотрел на дочку внимательно, взял за руку, провел в кабинет, усадил в кресло, сел напротив:

— Зиночка, милая моя доченька, всегда ты была у нас самой умненькой, самой рассудительной. Даже Шура, которая намного старше тебя, ни о чем таком не спрашивает и не говорит. Только переживает, что её с маленькой дочкой оставил муж, Мишка Бачурин. Ревет, а сама уже поглядывает на здешних офицеров, которые побогаче. А ты вон о чем задумываешься и спрашиваешь. Все расскажу, что сам знаю и как понимаю.

Отец налил в стакан чай, ненадолго замолчал, собираясь с мыслями, и стал рассказывать дочке, что все началось зимой семнадцатого года. Консул попросил собраться всем из нашей русской колонии и сообщил, что ему пришло сообщение, что царь Николай Второй отрекся от престола. После него на престол должен был взойти его брат Михаил Александрович, но он не захотел становиться императором, фактически тоже отрекся, и страной стало управлять Временное правительство до момента, пока пройдут выборы в Учредительное собрание, которое и определит, что будет с Российской империей, какое у неё будет устройство, ну и все остальное. Рассказал, что консулу начали задавать вопросы, но сведений у него не было. Сказал, что будем жить по старым законам, пока ситуация прояснится.

Все лето в Мешхед доходили разные слухи. Будто в Петербурге проходят демонстрации, митинги, что летом начались расстрелы демонстраций, что на Западном фронте солдаты отказывались подчиняться офицерам, выбирали для управления советы из солдат. Осенью, не дожидаясь выборов в это самое Учредительное собрание, временное правительство объявило Российскую империю республикой. По этому поводу снова собрал консул. Вид у него был растерянный. Чувствовалось, что не знает, ни как себя вести, ни что делать. А поздней осенью в ноябре пришли новые вести, о том, что в результате восстания власть захватили большевики, арестовали Временное правительство и создали совет из комиссаров. Так теперь стали называть министров. Кто такие большевики, что теперь будет, никто не знал.

Зинушка чувствовала, что отец, рассказывая ей о тех событиях, волнуется. Отец отпил из стакана чай и продолжил:

— Сергей Арсеньевич Морозов, дай Бог ему здоровья, — отец перекрестился, — в начале восемнадцатого года связался со мной, сказал, что его привлекла новая большевистская власть в качестве консультанта для решения вопросов, связанных с национализацией текстильных фабрик. Сказал, что все фабрики, в том числе и морозовские, национализированы. Спросил, есть ли у нас средства для существования. И сказал, чтобы я всю шерсть и хлопок, которые не отправил в Россию на его фабрики, продал, деньги положил в английский банк на свое имя и на эти деньги и жил, пока ситуация не прояснится окончательно. И действительно, к весне 1918 года на складах скопилось много шерсти. Отправлять её было некуда и не на чем. Бумажные деньги очень быстро обесценивались. Сергей Арсеньевич как будто знал, что так будет. Тогда, как он и посоветовал, я договорился с английскими купцами и продал всю скопившуюся шерсть, а деньги положил в английский Шахиншахский банк. Здесь в Мешхеде было его отделение. Слуг и помощников мне пришлось почти всех уволить. Остался только Махмуд да еще двое, которые теперь поддерживают в порядке птичник, сад и огород. Так что пока не бедствуем. Обеспечиваем себе пропитание своими силами и средствами. Да еще подкармливаем тех, кто сюда прибыл из России, опасаясь преследований от новых властей. Теперь про консульство и остальное... Как мне рассказали, сразу после того, как большевики пришли к власти, посол в Тегеране и консулы в других городах Персии отказались с ними сотрудничать. Тогда большевики их уволили. Но никто из уволенных не покинул ни посольства, ни консульств. Так тут и остались. Почитай с восемнадцатого года из России сюда прибывают и прибывают люди, которые опасаются там оставаться. Бегут из страны, где родились, имели землю или фабрики. Боятся, что их там убьют. Здесь, в нашем консульстве, им, чем могли, помогали. Теперь все меньше помощи и меньше. Должно быть, деньги заканчиваются. Но связи у консула хорошие и с англичанами, и с другими посольствами. Многим помогает уехать отсюда в Америку. Там нет войны. У кого не осталось денег, здесь кормят, подыскивают им работу, и они уезжают. Я тоже, по мере возможности, обеспечиваю едой этих несчастных, а они нам за это помогают в огороде, в саду, птичнике, с коровой. Так и живем. Большевики плохо относятся к имущим. К помещикам, фабрикантам. Но, видать, не ко всем. Вот Сергея Арсеньевича не тронули. Он у них работает, хотя фабрики его отобрали. Нам бояться нечего. Мы из крестьян. Да и нет у нас особо ничего. Но уезжать отсюда пока опасно. В России, как рассказывают беженцы, идет жестокая война. Народ поделился на красных, которые большевики, и белых, которые за старое устройство страны. Так и живем пока тут, — повторил отец. — Пока у нас есть усадьба Морозовых, я время от времени закупаю шерсть и хлопок для англичан. Деньги платят, хотя гораздо меньше, чем Морозов. Пользуются ситуацией. А еще очень переживаю за Машеньку. Как она

там? Связь нарушена. Шура приехала сюда с дочкой Ниночкой. Сначала плакала, что её муж бросил, нашел себе другую. Когда спросил её про Машеньку, понял, что она про неё и не вспоминала. Только когда я спросил, вспомнила, а сказать ничего мне не смогла. Сказала, что у Машеньки все в порядке, что она хорошо устроена и собирается поступать в университет, чтобы выучиться на учительницу. Но что-то мне не верится в то, что говорит Шура. Слишком она собой озабочена. Да Бог с ней. Мы очень виноваты перед Машенькой, что не взяли с собой сюда. Опасались, что прервет учебу, да вот видишь, как обернулось. Каждый день с матерью за неё молимся, чтобы все у неё было хорошо.

13.

Много позже Зинаида Филипповна узнала, как происходила смена царских посольств советскими. Как это было долго и непросто. Узнала, как работали бывшие царские посольства со времени революции до середины двадцатых годов. Как выживали, не имея средств, старались не уронить достоинство своей, уже не существующей, родины — Российской империи. Помогали, по мере возможностей, людям, оказавшимся в эмиграции. Не сбежали, бросив на произвол судьбы здания посольств и консульств, а действовали, как подсказывала их совесть, честь, убеждения.

В сентябре 1917 г. Временное правительство назначило послом во Францию члена партии кадетов известного адвоката Василия Алексеевича Маклакова, в Испанию — бывшего генерал-губернатора Финляндии М.А. Стаховича, в Швейцарию — бывшего министра призрения И.Н. Ефремова. Министр иностранных дел Временного правительства М.И. Терещенко возложил на Маклакова задачу представлять Россию на межсоюзнической конференции в Париже в ноябре 1917 г.

В это время произошла Октябрьская революция. Подавляющее число дипломатов Российской империи отказались сотрудничать с большевиками, посчитав эту власть нелегитимной. Сотрудники Министерства иностранных дел в Петрограде объявили забастовку и бойкот большевикам. Одни покинули работу в министерстве, другие, поняв грозившую опасность, эмигрировали. А вот те, кто был за границей, в посольствах и консульствах в разных странах, свои посольства и работу в них, как правило, не оставили.

Одновременно с междусоюзническим съездом в Париже произошел съезд бывших русских послов, и в конце ноября 1917 г. в Париже был образован совет послов во главе с В.А. Маклаковым. Приезжали Гирс Михаил Николаевич, Набоков Константин Дмитриевич, Стахович Михаил Александрович, Ефремов Иван Николаевич, многие другие послы. Гирс был большим другом министра иностранных дел Франции Пишона и мог повлиять на французскую политику; но в это время он более всего заботился об одном – чтобы большевики не были признаны; в этом добился полного успеха. Инициатором, координировавшим действия посольств, стал В.А. Маклаков. При его активном участии была выработана форма их деятельности, которая в глазах иностранных держав обеспечивала легитимность. Они объявили себя представителями последнего законного российского правительства.

Большевистское правительство назначило народным комиссаром по иностранным делам Л.Д. Троцкого, однако он не спешил заниматься иностранными делами и перебираться из штаба революции — Смольного — в Министерство иностранных дел. Только после того, как из французских газет узнал о конференции союзников в Париже в ноябре 1917 г. и участии Маклакова в междусоюзнической конференции, начал действовать. 17 (30) ноября газета «Правда» напечатала приказ Троцкого по министерству иностранных дел, в соответствии с которым «г. Маклаков, получивший при прежнем правительстве дипломатическое назначение в Париж, лишается каких бы то ни было полномочий».

В тот же день Троцким была направлена всем русским дипломатическим представителям циркулярная телеграмма, в которой говорилось, что «Совет народных комиссаров предлагает всем служащим посольства немедленно ответить, согласны ли они проводить ту международную политику, которая указана съездом советов». Все не желавшие проводить советскую внешнюю политику дипломатические представители должны были немедленно отстраниться от работы, сдав дела низшим служащим, независимо от занимавшегося ими ранее поста, если они были согласны подчиняться новой власти. Попытки чиновников продолжать свою политику в прежнем направлении приравнивались к тягчайшему государственному преступлению.

Маклаков, заручившись согласием министра иностранных дел Франции и руководствуясь решением дипломатических представителей союзных держав на совещании у американского посла Фрэнсиса 9 (22) ноября 1917 г. в контакты с советским правительством не вступать, оставил эту телеграмму без ответа, о чём уведомил российские посольства. Российские дипломатические представители единодушно под-

держали Маклакова.

26 ноября (9 декабря) Троцкий подписал новый приказ, в котором говорилось, что «ввиду неполучения ответа на посланные телеграммы и радиотелеграммы послам, посланникам, членам посольств Российской республики с предложением немедленного ответа о согласии работать под руководством советской власти на основе платформы II Всероссийского съезда, они увольняются со своих постов без права на пенсию и поступления на какие-либо государственные должности». Одновременно они лишались права производить с этого дня какие бы то ни было выдачи из государственных средств. 22 мая 1918 г. декретом Совета народных комиссаров, подписанным Лениным и Чичериным, были упразднены сами звания послов, посланников и других дипломатических представителей и переименованы в полномочных представителей РСФСР.

Для установления полного согласия между дипломатами в вопросе о координации их действий и для укрепления положения Маклакова в конце ноября 1917 г. в Париже был образован коллегиальный орган — совещание послов. 27 октября (9 ноября) 1917 г. стало начальной датой становления русского небольшевистского представительства за границей. В этот день одновременно друг с другом Набоков в Лондоне и Маклаков в Париже направили телеграммы своим коллегам в Риме и Вашингтоне. Первый предложил дипломатам «координировать их дальнейшие действия», второй — «установить единообразное отношение» к событиям в Петрограде.

Уволенные народным комиссаром иностранных дел Л.Д. Троцким русские дипломаты, таким образом, фактически оказались в эмиграции. Во время Гражданской войны они активно сотрудничали с правительствами Колчака, Деникина и Врангеля, оказывая им дипломатическую поддержку, вели подготовку образования и признания небольшевистского Российского правительства, оказывали содействие в снабжении белых армий. После её окончания, в связи с признанием СССР большинством зарубежных стран, продолжили работу под руководством совещания послов в специально созданных структурах, представлявших интересы русских эмигрантов.

14.

Зинаиду Филипповну разбудил солнечный луч. Всю неделю было пасмурно, дождливо, мрачно. С вечера шел дождь, а ночью ветер разогнал тучи и распогодилось. Она захотела погулять. После завтрака оделась потеплее и вышла во двор. Запах осенней листвы, свежести, яркое солнышко подняли настроение, придали сил. Решила пойти в сквер, метрах в трехстах от дома. Там посидеть на скамейке, погреться, быть может, в последних лучах перед зимой, а на обратном пути в гастрономе купить творог и кефир.

До сквера дошла легко. Доски на скамейках успели высохнуть, и она присела. Мимо проходили молоденькие мамочки с колясками, хихикали и тарахтели в свои смартфоны. Пожилые граждане шаркали старомодными башмаками, стучали по асфальту подкованными бадиками. Пролетали на бесшумных электрических самокатах с огромными коробками за спиной доставщики еды. Солнышко грело, теплый ветерок убаюкивал. Она посидела, посидела и задремала.

Застрекотала сорока, увидев белку, Зинаида Филипповна почувствовала запах одеколона, которым после бритья брызгался муж.

— Лёня, милый мой Лёнечка, — Зинаида Филипповна открыла глаза, в надежде увидеть мужа. Запах исчез. Она вытерла слезы, прошептала: — Как жалко, что тебя нет. Сколько же тебе досталось. А ты не обозлился, остался таким же веселым, добрым, слегка ироничным и наивным, как тогда, когда я тебя в первый раз увидела в 1945 году.

Зинаида улыбнулась, стала вспоминать:

Это случилось в такой же теплый осенний денек. Стройный, в гимнастерке с орденом «Красного Знамени» капитан шел по улице. А я только пришла с работы, постирала свое единственное платьице, повесила на веревке возле дома сушиться, караулила, чтобы его не украли, и курила. Тогда многие женщины курили чтобы заглушить голод. Он остановился, посмотрел на меня, поздоровался и спросил:

— А вы не знаете, кто здесь сдает комнату?

— Знаю. В соседнем доме сдает старуха. Её зовут Полина Матвеевна.

— А как вас зовут?

— Зинаида Филипповна.

— А меня Леонид Семёнович. Вот и познакомились. Наш полк к вам в город передислоцировали из Праги. Всю войну, то в танке, то в блиндаже, то на больничной койке в госпитале. Надоело. Хочется в нормальной комнате пожить.

— Я знаю. Когда в город ваш полк вошел, был митинг и вы на нем выступали с трибуны. Хорошо говорили. Мне понравилось.

Он улыбнулся, сказал:

— Спасибо. Значит, мы получаемся старыми знакомыми, а теперь, если сдадут мне

комнату, еще и соседями будем.

Это у него так естественно получилось, что мы одновременно засмеялись. Я бы не смогла жить с человеком, у которого нет чувства юмора. Нет, не так: у которого не на одной волне с моим чувство юмора. А у Лёни было всё очень близко, все его дела, взгляды, мысли были мне близки. И юмор у него был мягким, ненавязчивым, не обидным. Через день, вечером, он шел со службы, мы снова встретились, я спросила:

— Сняли?

Он улыбнулся, кивнул, пригласил на новоселье:

— Приходите в воскресенье к обеду. Мои боевые друзья будут.

— А хозяйка не заругает?

— А мы и её пригласим, — подмигнул он. — Так придете?

Я пожала плечами. Сказала:

— Не знаю.

На том и расстались. А в воскресенье часов в одиннадцать в дверь постучали. Открыла. Он. Стоит, улыбается, говорит:

— Я за вами.

Пришлось идти.

Вспоминая, что было потом, Зинаида видела себя как будто со стороны и думала о себе в третьем лице.

В маленькой уютной комнате, кроме кровати, был большой стол, несколько стульев и тумбочка. За столом два офицера, старших лейтенанта и две женщины. Женщины хлопотали, накрывая стол.

«Давно я не видела такого стола. Горячая вареная картошка с укропом в большой миске, смешанная с тушенкой. Огурцы, помидоры. Селедка, порезанная на кусочки. В графинах не то коньяк, не то что-то подобное. Сразу и не понять. В другой миске жареные караси в сметане».

— Вы что, на продовольственном складе воюете? — не удержалась Зинаида.

Офицеры засмеялись.

— Нет, — сказал Леонид, — мы на танках воюем. А это паек выдали. Карасей мы выменяли у рыболовов на спиртное. А огурцы-помидоры и сметану на базарчике купили. Так что мы не тыловые крысы.

— Леонид у нас командир танковой роты, лучшей в бригаде, — показал на него широкоплечий старший лейтенант, сидевший ближе всех к входу. — Меня зовут Василий, а это Тося, моя подруга.

— Зинаида, моя соседка, — представил её Леонид и налил всем в стаканы коньяк. — Давайте выпьем за нас. За то, что мы остались живы, победили, и за то, чтобы впереди у нас была долгая и счастливая жизнь!

— Ура! — дружно засмеялись офицеры.

Все стукнулись стаканами, выпили.

Леонид ухаживал за Зиной. Подкладывал еду, подливал из графина. Скоро все захмелели. Развеселились. Начали рассказывать забавные истории, которые приключались на фронте. Веселились, танцевали под патефон. К вечеру стали расходиться. Василию надо было заступать на дежурство, вторая пара тоже ушла. Леонид сказал, что проводит Зину. Они вышли из дома. Небо затянули тучи. Луна то появлялась, то снова скрывалась за ними. Мерцали редкие звезды. Они шли по брусчатой дороге. Накрапывал редкий дождь. Но был он такой мелкий и редкий, что и укрываться от него не хотелось.

— А вы живете одна? — спросил осторожно Леонид. — Или у вас кто-то есть?

— Сейчас одна. Муж умер еще перед войной. А сын учится в Суворовском училище. Всю войну были вместе. Вместе мерзли зимами, вместе голодали. В Алма-Ата. Сюда, на Западную Украину, меня направили сразу после освобождения этих мест от фашистов. Директор пожалел, думал, что здесь хорошо с продуктами. Видел, как мы с сыном голодали, и направил, чтобы отъелись, а заодно чтобы наладила тут работу. А оказалось, что и здесь не очень-то хорошо с едой, — Зинаида легко и привычно рассказывала свою легенду. — Сын узнал, что в Станиславе в спортивном техникуме бесплатное питание для студентов, и стал уговаривать его отпустить туда. Он парень крепкий, сильный от природы. Наверняка поступил бы. Я навела справки, узнала, что в этом техникуме полно шпаны учится. Поняла, что если отпущу, то могу потерять сына. Спросила, что делать. Мне сказали: «Поможем». Теперь он учится в Суворовском училище. Учится хорошо. Один минус: далеко отсюда, — она говорила почти правду, и если отбросить некоторые подробности, то, в общем-то, так и было.

— О! — удивился Леонид. — У вас, должно быть, хорошие связи, — Зина пожала плечами и промолчала. — Голодно в войну было? — сменил он тему.

— Голодно, это не то слово.

— Теперь будет легче. Столько рабочих рук с фронта возвращается. Да и на ору-

жие траты в разы уменьшаются. Отстроим всё, что разрушено. Сельское хозяйство поднимем. Страну накормим и заживем счастливо!

— А у вас кто-нибудь есть? — спросила Зина.

— До войны был женат. А в сорок втором жена получила на меня похоронку и через год снова замуж выскочила.

— А дети?

— Детей у нас не было.

— Тогда не страшно. Не переживайте.

Леонид усмехнулся:

— А я и не переживаю. Мы не очень-то ладно жили. Какие-то глупые ссоры, постоянные допросы. Уж очень ревнивая она была.

— Должно быть, повод давали?

— Да нет, поводов не давал. Просто постоянные учения, командировки, ну и тому подобное. Я же, как говорят на гражданке, кадровый военный. Дома бывал редко, а она от этого психовала. Честно сказать, я даже рад, что так получилось. Что она вышла замуж. Пусть будет счастлива. Я не в обиде. Мы тут все еще никак не освоимся, за что нам такое счастье, что мы живые остались. Столько товарищей поубивало. У меня два брата тоже воевали, а я не знаю, где они, что с ними, даже точно не знаю, живы ли.

— А где искать, знаете?

— Примерно. Как отпуск дадут, поеду в Запорожье. Там до войны старший брат с семьей жил. Может, кого и найду.

— Конечно найдете.

— Зина, вы почему-то совсем не пили. Не понравился наш коньяк? Или болеете?

— Нет, не болею. Не люблю пить. А коньяк у вас отменный. Его что, тоже в пайке выдают? Что-то я сомневаюсь. Рассказывайте, откуда такой напиток? — Зинаида засмеялась.

— Военная тайна! — капитан тоже засмеялся.

— А все-таки?

Леонид посерьезнел:

— Вам скажу. Только дайте слово, что никому не расскажите.

— У проклятых немцев есть пословица: «Was Zwei wissen, wei auch ein Schwein», или в переводе: «что знают двое, то знает свинья», — Зинаида с улыбкой посмотрела в глаза Лёне. — А у Шекспира примерно тот же смысл в Ромео и Джульетте: «Тогда лишь двое тайну соблюдают, когда один из них её не знает».

— Ого, вы совсем не простая девушка! — удивился Леонид. — Откуда такие знания? Такое в газетах не пишут и сводках Информбюро не говорят.

— Оттуда. У меня высшее образование и хорошее начальное, — серьезно ответила Зинаида. — Так все же откуда такой хороший коньяк?

— А вы как поняли, что он хороший? Вы же почти не пили.

— Чтобы понять, достаточно пригубить, и все понятно. А если стаканами глушить, то как раз и не поймешь.

— Это точно! — согласился офицер и шепотом рассказал: — После того, как мы взяли Прагу, мою роту поставили на окраине города возле большого старинного дома. Почти замка. В нем никого не было. Видать, хозяева сбежали. Мы в этом доме и расквартировались. А через день прибегает ко мне командир взвода Василий, вы его сегодня видели, и говорит: «Товарищ капитан, пошли со мной в подвал, мы там такое нашли!» Ну, я за ним. Думаю: не дай Бог все заминировано или что-то подобное. Спустились по ступеням, а там огромный подвал. Потолки сводчатые из камня, кругом паутина. И ряды огромных бочек. Воины выбили пробку из одной, набрали в ведро, понюхали — вроде спиртное. А пить побаиваются. У нас очень строгий инструктаж был, что и еда, и напитки могут быть отравлены фашистами. В сорок третьем, может быть, и выпили бы, а теперь не пьют. Опасаются. Много смертельных случаев отравления было. А после капитуляции немцев умирать никому не охота. Не такие у меня алкоголики воины были. Короче, не дураки. Я дал команду из каждой бочки в одно ведро отобрать пробы. Набрали. Вышли во двор. Напоили свиней, которые были на скотном дворе в усадьбе, этой смесью. Те не сдохли. Мы день выдержали. Все нормально. В ближайших домах поспрашивали. Разобрались, что хозяева занимались виноделием. Один старик у них работал. Он четко сказал, что ничего не отравлено. Для убедительности сам выпил. Ну, потом и мы распробовали. Но не усердствовали, понимали, что можно в трибунал загреметь, если кто из посторонних узнает. Простояли мы в том поместье месяц, а потом команда — передислокация. Но мои ребята сообразучие. Очистили бочки из-под солярки, обожгли их слегка изнутри, обмыли спиртом, потом этим коньяком залили. И никому ни слова. Пьем понемногу и помалкиваем. Так мы сюда и доставили четыреста литров отличного коньяка. Кроме моих, а теперь и тебя, никто про это не знает.

— Дружные у вас солдаты. И не болтливые.

— Да, — кивнул Леонид, — по-другому на фронте нельзя. По-другому долго не проживешь. Погибнешь, если не прикрывать друг друга. Много раз проверено.

За таким разговором, вроде бы и ни о чем, они подошли к дому Зины. Попрощались и расстались.

А Зинаиде этот офицер запал в сердце. Она долго не могла уснуть, ворочалась, размышляла о нем, о себе. Ночью снились сны, но утром она их не вспомнила. Пошла на работу. Работала, делала какие-то дела, а мысли возвращались к Леониду. Она гнала их, боялась, что, если всерьез с ним начнет встречаться, ошибется. А все равно думала о нем. Не таком уж статном и красивом, слегка лысеющем, но аккуратном, подтянутом, вежливом. Да не в этом дело! Должно быть, женское чутье подсказало, что это её мужчина.

15.

До него был только один мужчина, в которого влюбилась. Сразу. Безоглядно и безрассудно. Тогда она была молоденькой девчонкой тринадцати лет, а он был отчаянным чекистом, одним из тех, кто руководил переворотом в Реште. Он вошел в дом вместе с отцом. Молодой, красивый, кареглазый, широкоплечий, среднего роста. С небольшой аккуратно подстриженной бородкой. Они долго разговаривали, потом он, уходя, увидел Зинушку, подошел к ней, попрощался и поцеловал руку. Это был первый мужчина, который поцеловал её руку.

— Кто это, папочка? — восторженно спросила Зинушка, когда он покинул их дом.

Отец посмотрел на дочку внимательно, покачал головой и сказал:

— Это Якуб-заде, комиссар штаба персидской Красной армии. Зачем приезжал, я так и не понял. Расспрашивал, есть ли у меня контакты в Афганистане, Индии, Месопотамии. Хвастался, как они лихо выбили из Энзели англичан и отбили весь каспийский флот, угнанный белогвардейцами из России, как теперь направляет действия революционного правительства Кучек-хана. Говорил, что скоро захватят Тегеран и Персия станет советской, а наша российская Красная армия пойдет на освобождение Индии. Мне он показался слишком молодым для серьезных дел, хвастуном и вруном.

Вторую встречу с этим человеком Зинаида Филипповна помнила ещё лучше.

Это произошло через несколько лет. В ворота постучали. Зинушка была рядом, открыла калитку и увидела Якуба-заде. Он сильно изменился. Появились залысины, седые волосы. Может быть, поэтому волосы были коротко подстрижены. Бороды не было. Одетый в тройку темно-коричневого цвета, белую рубашку и в тон костюму галстук, выглядел модным европейским коммерсантом.

— Могу я увидеть Филиппа Мефодиевича? — спросил он.

— Папы нет. Но скоро приедет. Проходите, пожалуйста. Вы можете его подождать, — Зина разволновалась, увидев человека, о котором много думала и вспоминала.

Он поблагодарил. Прошли в дом. Она предложила воду с лимоном. Сказала, что отец называет это лимонным компотом. Гость улыбнулся. Согласился. Зинаида принесла кувшин и два стакана. Налила гостю и себе. Выпили. Наступило неловкое молчание. Зинаида улыбнулась. Оба засмеялись.

— А я вас помню, — заговорила Зинаида. — Вы Якуб-заде. Вы были у нас несколько лет тому.

Гость кивнул:

— Только я теперь не Якуб-заде. Меня теперь зовут Якуб Султанов. Я персидский купец, — он поднес палец к губам: — Только про то, что я был Якубом-заде, никому не говорите, а то мне отрубят голову, — Зинушка изобразила ужас на лице и закрыла руками рот. Оба рассмеялись. — Я тоже вас помню. Вы тогда были маленькой девочкой, а теперь превратились во взрослую красавицу, — он наклонился, взял её руку и поцеловал. Так же как тогда.

Зинушка покраснела, но быстро взяла себя в руки и спросила:

— Аз ашнаи шома хейли хошбахтам! Шамо ба забан фарси? (Рада познакомиться! вы знаете фарси?)

Он ответил, что тоже рад познакомиться, но его персидский желает гораздо лучшего, и перешел на русский:

— А вы прекрасно владеете фарси.

— И не только фарси. Я знаю английский, немецкий, французский и немного хинди. А еще я свободно в паранджe посещаю мечети, молюсь и могу соблюдать все правила, которые соблюдают здесь мусульманские женщины.

Якуб слушал, кивал головой. Зинаиде удалось удивить этого человека.

— Я, чтобы хоть как-то овладеть арабским, турецким, монгольским и китайским, два года учился с утра до ночи, а вы вот сколько знаете! Вы готовый разведчик! Немного специальной подготовки, и можно отправляться на нелегальную работу в половину стран Ближнего Востока.

В это время в комнату вошел отец.

— Но-но, уважаемый Яков. Не вербуйте, пожалуйста, мою дочку. У меня дочерей не так уж много, чтобы отправлять на верную гибель, а если не на гибель, то в тюрьму.

Якуб оглянулся, встал, поклонился:

— И в мыслях не было, Филипп Мефодиевич. Здравствуйте! Прежде всего хочу вас поблагодарить и от себя, и от имени советского правительства за помощь. Те контакты, которые вы мне передали, оказались очень, очень полезными.

— Рад помочь. Чем могу еще быть полезным? Пройдемте в кабинет.

Они уединились. Часа через полтора вышли. Отец сказал, что пора обеденная, и пригласил Якуба отобедать. За обедом Якуб рассказывал интересные случаи из своей жизни. Читал стихи Велемира Хлебникова, говорил, что тот был агитатором в его политотделе персидской Красной армии. Рассказывал о дружбе с поэтами Сергеем Есениным, Вадимом Шершеневичем, Владимиром Маяковским. Стихи этих поэтов Зинаида читала, но про то, какие они в жизни, конечно, не знала и не подозревала, что поэты могут быть такими, как про них рассказывал этот человек. А он рассказывал уже про другое. Про то, как всего год назад воевал с контрабандистами на Кавказе на границе с Турцией. Потом был в Афганистане и в Индии, в Монголии. Был вместе с экспедицией Николая Рериха на Тибете, искали Шамбалу.

— А как же вы её искали, эту страну? Её сотни, а может быть, тысячи лет не могут найти, — спросил отец Зинаиды.

— Хороший вопрос, Филипп Мефодиевич, — ответил Якуб. — Мне повезло. Когда я в Индии налаживал связи с людьми, сочувствующими нашей революции, переодевшись в дервиша, в одном из караван-сараев познакомился со старым монголом. Он шел как раз оттуда. Разговорились. Он сразу раскусил, что я ненастоящий дервиш. Я ему признался. Он оценил мое признание и, так как боялся, что скоро умрет и его знания пути в эту страну счастья и знаний никто не узнает, показал мне карту с проходами через перевалы, которые приведут в Шамбалу. Эту карту он велел мне заучить наизусть. Что я и сделал. Потом приказал нарисовать её по памяти на песке. Я нарисовал. Он убедился, что я запомнил, и сказал самое тайное. Сказал, что в Шамбалу никогда не сможет попасть человек со злым сердцем. Потому, прежде чем туда идти, надо долго отмаливать грехи. Очиститься от скверны и только потом отправляться в путь. Да вдобавок в пути не озлобиться.

— Непросто, непросто туда попасть, — сказал отец.

Обед закончился. Якуб поблагодарил за гостеприимство и попросил отца:

— Уважаемый Филипп Мефодьевич, если Зинаида Филипповна не возражает, могли бы мы с ней погулять по Мешхеду. Очень мне необходимо хоть немного постажироваться в фарси. А она его знает в совершенстве. Гарантирую её безопасность.

Отец согласился, и они отправились бродить по старым улочкам. Зинаида задавала Якобу вопросы на фарси. Тот отвечал. Когда ошибался, она поправляла. Часа через два Зинаида спросила:

— Якуб, вы бывали в Индии?

— Да. Переоделся в дервиша и прошел много верст по дорогам. Объяснялся жестами. Никто меня не разоблачил.

— А вы в Голубых горах бывали?

— Нет, но много слышал про те места. А почему вы спрашиваете?

— Я там больше года жила. В племени тодов. Святые люди. Они как будто из другого мира. Мерзкие англичане обманом отняли у них землю и ведут все к тому, чтобы уничтожить. Ненавижу англичан! Готова с ними бороться!

— Признаться, я тоже, — Якуб посерьезнел и сказал без малейшего налета иронии: — Но я уже борюсь. И не только с англичанами, а вообще с мировым капитализмом. У капиталистов независимо от национальности одна цель — деньги, нажива, а для этого любые средства хороши. И обман, и убийство, и эксплуатация. Английский профсоюзный деятель Томас Даннинг еще в середине прошлого века очень точно сказал про суть капитализма: «Если у капитала имеется достаточная прибыль, он становится смелым. При 10 процентах прибыли капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Контрабанда и торговля рабами убедительно доказывают вышесказанное». Карл Маркс в своем огромном труде «Капитал» именно это определение сущности капитала подчеркивает. Вот именно — нет такого преступления, на которое капитал не пойдет ради трехсот процентов прибыли. И никакая мораль и право не смутят его. А потому этот строй капиталистический должен быть уничтожен! Этим мы и занимаемся.

Зинаида восторженно на него смотрела:

— Якуб, я готова вам помогать!

Он кивнул, взял её руку и крепко пожал.

— Спасибо! Я вам скажу секретные сведения. Их никому нельзя говорить. Мое настоящее имя Яков Блюмкин, а не Якуб-заде или Якуб Султанов. Я резидент иностранного отдела ОГПУ. Совсем недавно в Турции организовал фирму по продаже вывезенных из России древнееврейских рукописей и книг. Но это прикрытие. Чтобы иметь возможность перемещаться по Ближнему Востоку и Европе. В ближайшее время снова туда отправлюсь. Ваш батюшка мне и в прошлый раз помог, и в этот дал имена и адреса людей, к которым можно обратиться за помощью. Я сформирую внутри этих стран ядро будущих борцов за революцию. Так мы уничтожим мир капитала. Принесем свободу всем угнетенным народам.

Зинаида кивнула. Сказала, что его слова никому не передаст, даже отцу.

— Советская власть прорабатывает возможность наступления через Афганистан и Персию в Индию, — продолжал Блюмкин. — Как только нам удастся поднять освободительную борьбу индусов против англичан, мы с севера из Афганистана по проработанным маршрутам придем на помощь. Подготавливаем конный корпус в сорок тысяч штыков и сабель. Поставим оружие для борьбы. Освободим этот народ с тысячелетней историей от рабства и угнетения британскими капиталистами.

Гуляя по узким, кривым улочкам, подошли к Мазару имама Резы.

— Вы, Зинаида там были? — спросил Яков, показав на мавзолей.

— Да, мусульманкам можно приходить. Я одевалась в паранджу и, когда положено, приходила и молилась.

— Вы подвергали себя смертельной опасности. Было страшно?

— Было интересно. Опасность была. Если бы узнали, что я неверная, в лучшем случае сразу убили.

— А в худшем?

— В худшем поступили бы, как с блудницей. Засунули бы в мешок, бросили туда дикую кошку, мешок завязали и стали бить палками. Кошка от страха и ужаса начала бы царапать. Смерть была бы долгой и мучительной.

Яков смотрел на неё онемев. Потом обнял, поцеловал в лоб и сказал:

— Пойдем отсюда.

Яков начал рассказывать, как совсем недавно, в конце лета 1925 года, приехал в горный район Таджикистана под видом сотрудника акционерного общества «Шерсть». Нашел проводника через Памир. Договорился с ним и примкнул к каравану с паломниками. Когда преодолели перевал и вошли в Индию, его арестовали англичане. Несколько дней провел в тюрьме, а потом был отправлен в Читрал. Там его, скорее всего, расстреляли бы. Но он сбежал. Англичане ловили, но удалось скрыться, и в середине сентября он был уже в экспедиции Николая Рериха под видом монгольского ламы. Говорил, что экспедицию Рериха в Тибет не пустили, а ему с маленькой группой чекистов удалось проникнуть. По приказу Дзержинского, он должен был обнаружить город богов, а главное, знания и технологии предыдущих цивилизаций земли. Надо было получить оружие невероятной разрушительной силы, которое необходимо руководству СССР для постройки коммунизма во всем мире.

— И как, удалось? — спросила с иронией Зинаида.

— А как же, конечно удалось! — засмеялся Яков и подмигнул. Они вернулись к родительскому дому. Яков повторил то, что уже сказал: — Отсюда я поеду сначала в Турцию, потом в Месопотамию, Египет, Европу. Если повезет, сумею получить визу и поеду в Палестину. Везде буду связываться с людьми, которые симпатизируют нашей борьбе. Буду организовывать агентурную сеть на Ближнем востоке и в Европе. Когда вернусь, мы подумаем вместе, где бы вы могли применить свои силы и знания с максимальной пользой для нашей борьбы.

Они попрощались, он начал было уходить, внезапно повернулся, обнял Зину, нежно поцеловал в губы. Потом поцеловал её руку и быстрыми шагами ушел. Зинушка долго смотрела вослед, а когда скрылся за поворотом, поняла, что больше его не увидит.

16.

Весной 1920 года в Мешхед хлынул поток беженцев из России. Если раньше в неделю появлялось не больше трех-пяти человек, то теперь это были десятки людей. Они рассказывали про ужасы, которые пришлось пережить, про зверства красных, расстрелы, экспроприации. Про то, что людей выгоняют из своих домов, отнимают эти дома, про голод и разруху в стране, да много еще про что рассказывали. Радовались, что здесь могут спокойно спать, без опасения быть арестованными и расстрелянными. Радовались, что есть еда. Филипп Мефодьевич помогал этим несчастным чем мог. Устраивал бесплатные обеды. Благо птичник и скотный двор сохранились. Давал ноч-

лег в пристройке к дому. Люди приезжали, приходили в себя, находили какую-нибудь работу, благодарили за помощь, уезжали. Многие не хотели оставаться в нехристианской стране. Искали возможность переехать в Европу, Америку, даже в Австралию, находили такую возможность и уезжали. Обычно в неизвестность.

Зинаида давно помогала по дому. Вместе с матерью готовила еду. Убирала во дворе. Работала на огороде и в саду. С ней работали младшие девочки — сестра Люба и племянница Ниночка. Вместе с братом они помогали отцу. Вели бухгалтерские книги, записывали, когда и на что были потрачены деньги. А этих самых денег становилось в семье все меньше и меньше. Со всеми персами, которые помогали по хозяйству в этой усадьбе Морозовых, пришлось расстаться. Даже с Махмудом. Отец ему объяснил, что денег нет. Что закупки и шерсти, и хлопка вести не на что. Да и непонятно, куда и кому их теперь отправлять. Махмуд предложил работать на англичан. Тем более, что несколько раз это получалось удачно. Отец согласился. Они стали работать вдвоем и вырученные деньги делили поровну. Но у англичан тоже не всё ладилось.

В начале лета двадцатого года возле базара отец увидел двух оборванных изможденных казаков. То, что это были казаки, Филипп Мефодьевич понял по остаткам формы. Бедняги просили милостыню. Просили неумело. Время от времени из глаз выкатывались слезы. Подошел. Разговорился. Оказалось, что они уже и не помнили, когда ели. Привел домой. Накормил. Устроил на ночлег. Подобрал одежду. Когда немного оклемались, начали рассказывать. Оказалось, что они казаки из Уральского казачьего войска, разбитого красными. В конце девятнадцатого года атаман Толстов повел остатки своей армии из-под Астрахани по восточному берегу Каспийского моря в форт Александровский. А это было более тысячи километров. Вышло почти 16 тысяч человек. Много беженцев, больных, раненых. В форт, куда они направлялись, заранее завезли провиант, амуницию, одежду, обувь, боеприпасы и оружие, много денег — несколько ящиков серебряных монет. Оттуда должны были переправиться на кавказское побережье в Порт-Петровск и соединиться с белогвардейцами.

Погода способствовала. Стояли сильные морозы, у берега вода замерзла. Образовался толстый лед, по нему и решили двигаться. Но через несколько дней резко потеплело, лёд начал таять и ломаться под обозом. Многие повозки утонули. Многое потеряв, добрались до последних поселений перед пустыней — Жилой Косы и Прорвы. В Жилой Косе и военным, и беженцам выдали продовольствие скудное, но его должно было хватить на 30 дней пути. У кого были кони, здесь их можно было обменять на неприхотливых и приспособленных к пустыне верблюдов. Дальше до Александровска — около 700 вёрст безлюдной пустыни. А идти по пескам надо было в тридцатиградусный мороз при сильном ветре.

Красные напирали, и атаман понадеялся на авось. Дрова быстро закончились, пища тоже. Стали резать и есть лошадей. Ночевали в снегу. Люди жгли всё, что горело. Сначала жгли телеги, сёдла, а потом даже деревянные приклады винтовок ломали и бросали в костры. Ночами ложились вокруг костров, а утром многие уже не просыпались. Каждый привал утром превращался в кладбище из замерзших. Люди в отчаянии убивали свои семьи и себя, чтобы избавиться от мучений. Через ледяную пустыню к марту 1920 года прошло около трех тысяч обмороженных, голодных и больных. Дойти сумели только сильные, молодые и те, кто сумел раздобыть перед переходом теплую одежду и обувь. Местные кочевники, почуяв безнаказанность и добычу, зверствовали. Нападали на небольшие группы отставших или пытавшихся вернуться людей, убивали и грабили их.

Из Александровска переправиться в Петровск было уже невозможно. Он был занят войсками Красной армии. Большинство измученных людей решили остаться и сдаться красным. Атаман генерал Толстов с небольшим отрядом чуть более 200 человек, немного отдохнув, ушёл в новый поход в сторону Красноводска и далее в Персию и через два месяца тяжелейшего похода 2 июня 1920 года дошел до персидского городка Рамиану. В отряде осталось 162 человека.

— Мы не захотели дальше идти с Толстовым и ночью, когда все заснули на привале, отделились и отправились, в надежде на лучшую жизнь, в Мешхед. Остальные с атаманом собирались пойти в Тегеран, на службу к англичанам, — закончили свой трагический рассказ эти двое. — Вышло 16 тысяч, а в Персию, в которую мы вначале и не собирались идти, пришло 160 человек. Возможно, те, кто сдавались, уцелели, но этого мы не знаем. Генерал говорил, что красные в плен не берут. Да и местные бандиты не лучше.

Зинаида запомнила этот рассказ, но не всему поверила. Когда остались одни, спросила отца, верит ли он.

— Видишь ли, Зинушка, — ответил тот, — то, что эти люди пережили, конечно, не дай Бог никому. Про их путь по пустыне верю. В зверства красных не очень. Эти казаки, должно быть, красных не по головке гладили. Должно быть, много крови и на

них. В России идет война. Русские люди воюют с русскими. Я думаю, что нет ничего страшнее этого. Большевики хотят изменить устройство жизни. Хотят сделать его более справедливым. Белые хотят, чтобы все оставалось по-старому, потому что им там, в этом старом, было хорошо. Думаю, что все в этой войне неправы, все виноваты. Не смогли и не хотели договориться.

— А ты думаешь, можно было договориться? — удивилась Зинаида.

— Думаю, если бы собралось Учредительное собрание, то можно. Но этого большевики не захотели. Опасались потерять власть, которую захватили в октябре семнадцатого года. Думаю, что отсюда и пошла эта бойня. Разбудил народ зверя, зверь кровь почуял, почуял власть и теперь нескоро напьется крови. Сама видишь. У нас теперь два пути. Или бежать от него, как многие и делают, или воротиться на родину, приспособиться жить с ним, а там как будет.

Зинаида обняла отца:

— Папочка, я всегда буду с тобой. Буду помогать. Я буду искать решение и найду его.

— Милая, меня печалит, что тебе надо бы учиться в университете, а тут их нет. Да и денег на обучение у нас теперь нет. Скорее бы все определилось. Так я истосковался по России, по Москве. Душа туда рвется. Ведь мы ничего не знаем про нашу Машеньку, — на глазах у отца появились слезы. Он не плакал, а они текли из глаз, текли... Отец отер глаза, улыбнулся: — Видишь, доченька, бегут из России дворяне и люди богатые, а мы-то с тобой из крестьян! — он подмигнул. — А значит, большевики и советы — это наша с тобой власть. Нам-то её незачем бояться. Будем ей помогать.

Зинаида поняла, что отец принял решение. От этого вдруг стало спокойно.

Много лет спустя, когда Зинаида Филипповна читала «Бег» Булгакова, она вспомнила рассказ казаков. Подумала: «Зачем бежали? Куда? Что стало с теми запутавшимися в водовороте революции и гражданской войны казаками? 160 оставшихся с генералом Толстовым дошли до Тегерана. Толстов предложил англичанам включить уральских казаков в экспедиционный корпус в Персии. Британцы не стали этого делать и перевезли их во Владивосток, где еще белогвардейцы воевали с Красной армией. Потом, выбитые с Дальнего Востока, ушли в Китай. Оттуда кто-то уехал в Европу, кто-то вместе с Толстовым в Австралию.

17.

В двадцать третьем году в Мешхедское консульство приехал новый консул Апресов Гарегин Абрамович. Он пригласил в консульство всех оставшихся в Мешхеде русских. Пришли немногие. Среди них была семья Зинушки. Консул рассказал о том, что в стране закончилась полной победой советских войск гражданская война. Что начинается строительство новой мирной жизни, свободной от угнетения. Много что еще говорил неизвестного для живших здесь русских людей. Потом поблагодарил, что не дали разграбить здание консульства, сберегли. Разрешил задавать вопросы.

Отец слушал, что отвечал новый консул, сам вопросов не задавал. После встречи, когда народ разошелся, подошел к консулу, рассказал, кто он, как сюда попал. Рассказал, что уже оказывал содействие советским разведчикам. Сказал, что готов и в дальнейшем помогать. Попросил устроить его на работу. Консул внимательно слушал, кивал. Ответил, что, скорее всего, Филипп Мефодьевич после проверки сможет делать здесь ту же работу — закупать шерсть и хлопок. Только теперь не для капиталиста Морозова, а для советской власти. Так и случилось. Через месяц в Мешхед прибыл человек, который возглавил государственную организацию по закупке шерсти и хлопка в Персии. Прибывшая с ним жена стала главным бухгалтером. Появилось в этой конторе еще человек пять, которые чего-то делали. Приняли в эту контору и отца Зинаиды.

То, чем раньше занимался он один, теперь делала целая контора, которая постоянно согласовывала работу с центральным московским аппаратом. И разрешение на покупку они получали часто уже тогда, когда шерсть была продана другим заказчикам. Начальник беспробудно пил вместе со своей секретаршей, его жена устраивала скандалы, срывала зло на других работниках. Склады были почти пустыми. Во всех провалах, когда выходил из запоя, этот начальник обвинял Зинушкиного отца. Шипел на него, говорил прежде не употребляемые слова: «саботаж», «контрреволюция», «классовый враг». Грозился посадить в тюрьму, а то и расстрелять.

Филипп Мефодьевич долго терпел это безобразие, превратился из веселого, доброго человека в молчаливого, угрюмого. Дома ничего не мог делать, а если и брался за что-нибудь, то ничего у него не получалось, и бросал. Анисья Дмитриевна видела, что с мужем происходит неладное. Спрашивала. Отец отмалчивался, а как-то не выдержал и рассказал:

— Анисьюшка, эти подлецы подведут меня скоро под расстрел. Пьют беспробуд-

но, скандалят. Чувствую, что воруют, а подставят меня. Они же присланы из Москвы, считаются революционерами, а я им чуждый элемент. Меня и слушать не станут. Что тогда с вами будет? Сперва я, а после и вы все пропадете.

Жена обняла своего Филиппа, сама заплакала, а потом говорит:

— Филипп Мефодьевич, а ты расскажи про все про это консулу. Мне представляется, что он ничего про это не знает. Все время в разъездах. А человек мне показался правильный.

— Да что ты. Не могу я доносить. Неприлично это.

— А орать на тебя этим проходимцам — что, прилично? А пропивать казенные деньги — прилично? Сходи, милый, обязательно все ему расскажи.

Послушался. Записался на прием. Пришел. И рассказал обо всем этом консулу. Сказал, что сам он из крестьян и классовым врагом самому себе быть не может, много чего еще рассказал про деятельность этих паразитов. Консул выслушал, долго молчал, потом тихо, вроде бы сам с собой заговорил:

— Беда не в том, что такое здесь, можно сказать, прямо под моим носом случилось. Беда, что такое происходит повсеместно. И здесь, и в России. Во всей нашей советской России. Не о таком мы мечтали, когда делали революцию, не о таком. Но что есть, то есть. Будем искоренять! — ударил ладонью по столу.

Через несколько дней вся эта «шерстезакупочная» команда была отправлена в Россию. А еще через несколько дней консул пригласил отца Зинаиды к себе:

— Филипп Мефодиевич, советской России нужен очень чистый хлопок. Скажу честно, не для ситцев или еще каких тканей. Для них хватает собственного, среднеазиатского, хлопка. Очень чистый хлопок нужен для изготовления взрывчатки и порохов. Причем специального назначения. Этот наш разговор секретный, подпишите, пожалуйста, вот эту бумагу, — Апресов пододвинул к Филиппу Мефодьевичу заполненный лист. Тот прочитал и расписался. — Хорошо, — сказал консул. — Можете вы нам в этом деле помочь?

— Могу. Я знаю, у кого есть такой хлопок. Знаю, как определить его чистоту. Вопрос в том, подойдет ли он для тех целей?

— Давайте сделаем так: вы закупаете образцы хлопка. Килограмм пятьдесят. Я его переправляю к специалистам, те проверяют, и если он подходит — закупаем все, что есть.

— До массового сбора хлопка остается совсем мало времени. Мы не успеем, если будем так действовать. Пусть лучше специалисты с оборудованием и химическими реактивами срочно прибудут сюда. Или напишут список всего необходимого. Я узнаю, возможно ли это купить здесь или в Тегеране, например, для школьного химического кружка. Заодно пусть придумают, что можно купить ненужного, для того чтобы отвести подозрения.

Гарегин Абрамович усмехнулся:

— Умно. Вы, Филипп Мефодьевич, прирожденный конспиратор и разведчик! Я до завтра проработаю и немедленно сообщу вам. Очень рад, что в вас не ошибся.

Уже на следующий день, после обеда, отец Зинаиды отправился искать лабораторную посуду и реактивы для школьного химического кружка. Он показывал продавцам список, ворчал, что его достали эти новые власти своими выдумками. Всеми этими уроками химии. К вечеру привез в школу при посольстве все и даже больше. Зинушка помогала отцу распаковывать, устанавливать на столах стеклопосуду, химические реактивы и прочее. А еще через три дня прибыли «учителя» в новую советскую школу. К этому времени несколько тюков хлопка были доставлены с плантаций. Хлопок оказался отличным, и отец закупил очень большую партию, которую тут же отправили в советскую Россию.

Консул наградил отца грамотой Министерства иностранных дел, а это в те времена для него было очень значимо. Благодарность получила и Зинушка. Получила она и должность лаборанта по определению качества сырья для легкой промышленности с соответствующей зарплатой.

С этого времени отец стал заниматься тем, чем занимался и до революции у Морозова — закупкой сырья. В помощь ему прислали двух человек, для которых, как объяснил консул, эта работа — прикрытие. А на самом деле, их задачей было выявлять среди местных персов и эмигрантов тех, кто сотрудничает с британской разведкой. А таковых было немало. В это время Мешхед, расположенный недалеко от Туркестана, стал удобным местом для различных контрреволюционных организаций. Здесь были отделения и «Российского общевоинского союза», и «Туркестанского повстанческого комитета», и «Узбекского националистического движения». Все они подкармливались резидентами британской разведки и занимались подрывной деятельностью против советской России.

Для Гарегина Абрамовича должность консула тоже была дипломатическим при-

крытием. Он одновременно от ИНО (иностранного отдела) ОГПУ руководил резидентурой в Мешхеде. Его сотрудники выявляли британских агентов на советско-персидской границе и в Туркестане. Ему было необходимо проникнуть в резидентуру британской разведки в Мешхеде, выявить пути заброски агентов на советскую территорию и перекрыть доставку оружия и боеприпасов племенам туркменов, готовым поднять восстание против советской власти.

К этой работе ненавязчиво консул подключил Филиппа Мефодиевича. Тот для закупки хлопка и шерсти бывал на территориях вблизи границ с Туркестаном. Для конспирации отцу Зинаиды разрешили подрабатывать у англичан, закупая, как и раньше, хлопок и шерсть для них. Одному ему было сложно. Требовался помощник, знающий фарси. Потому в поездки он стал брать Зинаиду. Работа на англичан позволяла проникать в такие места, куда путь советским был закрыт или ограничен. Чтобы не привлекать внимания, Зинаида переодевалась в одежду брата. Она коротко постриглась, стала ходить в кепке, куртке и брюках. Старалась говорить поменьше и более низким голосом. А дома тренировалась. Делала специальные упражнения, и вскоре голос стал походить на юношеский. Контролировала и манеру держать себя не по-девичьи. Зинушка все схватывала налету. Реакция — мгновенная. Спросишь, договорить не успеешь, а у неё уже ответ готов. Так они вдвоем с отцом стали работать на НКВД. Хотели не хотели, а стали. Отец — не то чтобы поневоле, а как-то само собой получилось, что завербовал его консул. А Зинаида, догадавшись, сама попросилась.

Однажды консул попросил отправить грузы через другую таможню. А еще попросил не спешить с отправкой, а задержаться там, быть очень внимательными и понаблюдать за персидскими отправителями:

— Пограничники просили помочь. Сами не могут обнаружить контрабанду. Может быть, вам удастся.

Зинушка решила действовать по-своему, и ей удалось. Заметила, что мешки, в которых персы перевозят товары, крепкие, новые, но на некоторых нашиты заплатки. Ей показалось такое странным, и она тайно сказала об этом коменданту погранучастка. Тот провел тщательный досмотр. Оказалось, что под заплатами зашиты бриллианты, изумруды и валюта. За сообразительность и находчивость Зинаиду наградили. Выдали хорошую премию.

Консул, награждая, обнял Зинушку и тихонько, чтобы другие не слышали, сказал:

— Зиночка, вы теперь по-настоящему испытанный в деле наш внештатный сотрудник, должно быть, самый молодой в иностранном отделе НКВД, — подмигнул и добавил: — И уж точно самый красивый ИНО-агент.

18.

Во время поездок вблизи советской границы, разговаривая с персидскими пастухами и крестьянами, они узнавали, приезжал ли кто, кроме них, за хлопком, шерстью и вообще появлялись ли чужие люди, куда направлялись. Постепенно складывалась картина о местах перехода границы, путях перевозки контрабанды и оружия.

Бывая у консула с подробными отчетами и рассказами о жизни персов, Зинаиде приходилось встречаться с различными людьми. Часто консул просил её поговорить с тем или иным его гостем. Ответить на вопросы. Потом оказывалось, что это были не просто праздно любопытствующие люди, а большие дипломаты и разведчики, для которых сведения, полученные от Зинаиды, были чрезвычайно важными. Зачастую, не зная тонкостей здешней жизни, эти люди были обречены на провал.

Познакомилась она и со многими известными людьми. В гости к консулу однажды приехал генеральный консул в Йемене Карим Хакимов. Зинаида оказалась в это время у консула. Гарегин Абрамович представил её. Карим Хакимов заинтересовался девушкой. Много расспрашивал Зинаиду о том, как живут простые люди сейчас, что изменилось за последние пять лет. Говорили они на фарси. Он похвалил её за хороший язык. Пригласил с ними отобедать. Во время обеда поведал, что здесь, в Мешхеде, в самом начале двадцатых годов он начинал простым сотрудником иностранного отдела ОГПУ, а потом его перевели в Хиджаз. Рассказывал, как совершил хадж.

— Это же в Саудовской Аравии, в Мекке? — спросила Зина.

— Э, душа моя, тогда еще не было такого государства. Тогда на Аравийском полуострове шла война. Абдель Азиз ас-Сауд объединял племена. Я на автомобиле сумел проехать через пустыню к нему и вручил от имени советской страны ноту, в которой мы признавали Саудовскую Аравию как независимое государство, — он засмеялся: — Мы первыми это сделали. Британцы чуть не лопнули от злости. А я подружился с ним и стал личным другом основателя и первого короля Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Абдуррахмана Аль Сауда, четырнадцатого главы династии Саудитов.

Настроение у дипломатов было хорошим, они много шутили. Зинаиде было лестно

находиться в такой компании.

— Что-то ты, Красный паша, расхвастался сегодня, — Апресов шутливо погрозил Хакимову пальцем.

— А почему бы и не похвастаться перед красивой умной образованной девушкой, — ответил генеральный консул. — Что бы с нами, — он показал на себя и Гарегина Абрамовича, — в будущем ни случилось, мы свои имена в историю уже вписали.

Оба они вдруг погрустнели. Стали суровыми и надолго замолчали.

— А почему вы Красный паша? — прервала их молчание Зина.

— Это его так в Саудовской Аравии все называют, — объяснил Апресов.

— Ты нас, красавица, не забывай. А главное, поступай в университет и учись. Ты молодая, получай, пока есть возможность, знания, они тебе позволят смотреть на мир широко открытыми глазами. А еще, запомни совет стариков, побольше слушай, поменьше говори. Будь счастлива, дочка, — закончил разговор Хакимов и грустно посмотрел на девушку. — А теперь оставь нас, пожалуйста. И никому не рассказывай, что сейчас слышала.

Зинаида встала из-за стола, пожелала дипломатам здоровья и, поклонившись, ушла.

Зинаида верила в свою счастливую судьбу и с радостью выполняла поручения резидента. Её не заботили, рискованные они или нет. Досадовала она лишь на то, что была девушкой. Что для того, чтобы не бросаться в глаза здесь, в мусульманской стране, должна была либо переодеваться в парня, либо ходить то в чадре, то в платке, а иногда в никабе.

Несколько раз, чтобы могла поближе познакомиться с жизнью в СССР, её командировали в Ташкент и Ашхабад. Там не было необходимости переодеваться и надевать восточные женские одежды. Ташкент и Ашхабад в те времена были не очень большими городами. Многие постоянные жители знали друг друга, а появление новых лиц было сразу заметно. Сотрудники НКВД решили использовать Зинаиду как только что приехавшую в город беженку из центральной России, желавшую перебраться за границу и искавшую, как это сделать. И если на неё кто-то выйдет, то взять этих агентов, раскрутить и выявить сеть. Требовалось попривыкнуть к жизни в советской России, вжиться в образ. Зинаида взялась выполнить задание с двумя условиями. Во-первых, об этом не должны знать в её семье, а во-вторых, потом, когда все удачно завершится, руководители ОГПУ помогут ей поступить учиться в институт.

Апресова в то время уже отозвали из Мешхеда. На его место был назначен другой резидент. Зинаида Филипповна со временем забыла его фамилию, а вот как он работал, вернее, не работал, помнила. Он всю эту схему придумал и очень ей гордился. Зинаиде новый резидент не понравился. Как ей казалось, был лентяем и вообще туповатым, но очень хвастливым, завистливым и амбициозным. Но она не видела для себя другой возможности поступить в университет. Потому и согласилась. Резидент рассмеялся и сказал:

— Это не вопрос. В институт поможем поступить. Ты, главное, Зиночка, не робей, подготовься основательно. А мы тебя подстрахуем. А пока помоги нашим ребятам в одном мелком дельце. Мой помощник тебя введет в курс дела.

Помощник рассказал, что Апресов, когда был резидентом в Мешхеде, сумел завербовать чиновника на персидской почте. Должность этого чиновника была маленькой и незаметной, но это на первый, непрофессиональный взгляд. Он занимался тем, что сортировал приходящую на почту корреспонденцию и ту, которая предназначалась английскому консулу, передавал в британское консульство. Дело в том, что не вся корреспонденция шла тогда у британцев по дипломатическим каналам. Многое отправлялось обычной почтой. Работая на нашу разведку, он всего-то-навсего не спешил отдавать такую корреспонденцию в тот же день, а отдавал на следующее утро. Поздно вечером передавал эту почту нашим агентам. Те доставляли её резиденту. Он вскрывал конверты, делал копии, запечатывал, и агент возвращал чиновнику. Наутро чиновник доставлял запечатанные конверты в английское консульство. Делалось все профессионально и аккуратно. Подозрений у англичан не возникало. Платили чиновнику по одному доллару за пакет, а получали ценную информацию.

— Теперь, когда Апресова отозвали, новый резидент поставил перед сотрудниками другие задачи, а этой заниматься стало некому, — продолжал помощник резидента, — вот он и предложил тебя к этому делу подключить. Согласна? Будешь осуществлять доставку писем?

— А как?

— Да так! Топ-топ ножками. Топ-топ. Пришла. Взяла. Принесла нам. Потом отнесла назад и отдала. Понятно?

— Понятно, — сказала растерянная Зинаида.

Она согласилась, не совсем поняв, что требуется делать. Когда же поняла — испу-

галась. Ей, молоденькой девушке, предстояло одной, ночью идти по городу. Забирать у мужчины почту, потом возвращаться обратно, ждать, пока содержимое скопируют, и относить обратно. В Персии женщины не ходили одни по ночам по городу. Она сказала об этом помощнику резидента. Тот недавно прибыл из России и плохо понимал здешние обычаи и нравы. Подумал и сказал:

— Ты, Зинаида, ходи в парандже. Ты же знаешь персидский. Если остановят, скажешь, что отцу плохо, вот и послал за доктором.

Зинаида спорить не стала. Ведь дала согласие. Продумала, какой дорогой безопаснее идти. Сшила холщевую сумку с длинной лямкой, которую можно вешать на шею. Сумка эта с пакетами и конвертами была незаметна под паранджой. Перед первым заданием предупредила родителей, что остается ночевать в консульстве, у дочки советника посольства, с которой вместе готовятся к экзаменам в университет. И пошла. Идти одной ночью по городу было страшно. Она надела мягкие тапочки, чтобы шаги не были слышны, но казалось, что все равно слышно. Боялась, что на её топот выскочат из всех домов, остановят, сорвут паранджу, увидят, кто она, изобьют, а может быть, и убьют! Но она шла. Быстрым шагом. Оглядывалась. Дошла до почты. Стучать не пришлось. Перс дожидался её. Отдал один большой конверт. Зинаида спрятала этот конверт в сумку. Чиновник сказал, чтобы через два часа и не позже принесла обратно, и закрыл дверь.

Зинушка пошла назад. Она тряслась от страха, плакала и спешила быстрее добраться до специально снятого конспиративного дома. Добралась. Постучала в ворота. Открыли. Впустили. В комнате горела керосиновая лампа. Агент забрал конверт, поводил им над чайником, из носика которого шел пар. Аккуратно длинным ножом вскрыл пакет, не повредив ни печати, ни бумагу конверта. Достал листы, бережно положил на стол, застланный чистой белой скатертью. Прочитал и начал переписывать. Когда окончил, вложил листы, запечатал конверт и отдал Зинаиде. Та снова пошла по пустым улицам и вернула заклеенный пакет чиновнику.

Так она стала ходить один-два раза в неделю. Постепенно привыкла. Но каждый раз перед выходом давала себе команду не расслабляться, быть собранной и повторяла слова, которые станет говорить, если кто остановит.

Письма переписывали от руки. Если их было много, Зинаиде приходилось долго ждать, и она как-то спросила:

— А почему вы их не фотографируете? Это же очень быстро.

Агент удивленно посмотрел на неё и сказал, что ему про это ничего не говорили. Но он доложит про правильную мысль начальству.

Зинаида видела, как фотографируются иностранцы в Мешхеде. Как делают снимки дервишей, персидских солдат, мечетей. Заметила, что недавно появились красивые маленькие немецкие фотоаппараты, которые носили на ремешках на шее и, когда хотели сделать фото очень быстро, это делали, не устанавливая аппарат на штатив, долго приноравливаясь и накрываясь черной накидкой, как было прежде. Она все про эти аппараты узнала и доложила резиденту, но тот отмахнулся:

— Ты, Зина, не лезь не в свои дела. Мы скоро вообще прекратим эту перлюстрацию всякой чепухи, которую придумал Апресов. А тебе дадим более важное задание. Скоро будем засылать тебя в Ташкент.

Так бы и погибла глупенькая девушка, но повезло. Через несколько дней из Тегерана для проверки деятельности резидентуры прибыл большой начальник. Ему новый резидент и похвастался, что задумал умную операцию по ловле агентов на живца. Начальник из Тегерана Агабеков захотел встретиться с Зинаидой. Поговорил с ней, потом попросил выйти из кабинета и начал орать на этого резидента. Да так громко, что Зинаида, стоявшая за дверями, все слышала.

— Да эту девчонку в Мешхеде знает каждая собака! А что если те агенты, которые осуществляют перевод через границу, видели её здесь, в Мешхеде? И девчонку погубишь, и все дело провалишь!

Резидента отозвали. Агабеков, по заданию ИНО ОГПУ, осуществлял ревизию деятельности мешхедской резидентуры и выявил множество нарушений и денежные растраты. Резидент растерял агентурную сеть, созданную Апресовым. Выделяемые средства тратил непонятно куда, а в расходах перед центром не отчитывался. Вместо реальной работы с советскими учреждениями в Персии, выявления врагов и саботажников, отправил в Москву список, в который включил около ста случайных человек...

Окончание следует

Александр ЮДИН

ЧУДЬ

Конспирологическая фантасмагория

(Журнальный вариант)

Как-то в полночь, утомленный, я забылся, полусонный,
Над таинственным значеньем фолианта одного;
Я дремал, и все молчало... Что-то тихо прозвучало —
Что-то тихо застучало у порога моего.
Я подумал: «То стучится гость у входа моего —
Гость, и больше ничего»
Э.А. По, «Ворон» (пер. В. Жаботинского)

Глава 1

— Те-те-те, — озадаченно протянул Николай Сажин, разглядывая конверт, только что вынутый им из почтового ящика.

Ему показалось странным, что отправителем письма значится не налоговая инспекция, не пенсионный фонд и даже не редакция какого-либо журнала, а некий Таганов В.А., проживающий в городе Чухломе Костромской области. Ни родственников, ни знакомых с такой фамилией он не помнил. Тогда кто же адресат? Неужто читатель? Неведомый ценитель его таланта? А что? Почему нет? Из глубинки, из самого, так сказать, расейского средостения. Писательский стаж Сажина в этом году перевалил за второй десяток, однако народным вниманием он, увы, избалован не был. Если не считать редких скупых отзывов на «Озоне» или в «Лабиринте». А потому, игнорируя скулёж и настойчивые рывки Тайсона, требовавшего, чтобы хозяин вывел его наконец из душного подъезда во двор, Николай вскрыл конверт и извлёк одинарный тетрадный листок в клеточку, исписанный примерно до середины убористым почерком. Заинтригованно хмыкнув, он вгляделся в текст:

«Здравствуйте, Николай Николаевич! Мы с вами ранее никогда не встречались, и вы меня не знаете. Зато я про вас знаю много чего. А главное, мне доподлинно известно, что у вас *шесть пальцев*...»

На этой фразе Сажин вздрогнул, настороженно оглядел тёмный пустой подъезд и, нахмурившись, продолжил чтение.

«Не могу утверждать наверное — на руке или на ноге, и на какой (правой или левой), мне тоже неведомо. Но могу предположить, что скорее — на ноге. В противном случае информация о сем анатомическом казусе уж как-нибудь да просочилась бы в прессу или интернет. Вас, понятно, нельзя назвать публичной фигурой, а все ж таки вы столичный писатель, пускай и «детективщик»...

Дойдя до этих слов, Николай скривился, точно разжевав кислое, но чтения не прервал.

«Хочу особо подчеркнуть, что никто из близких вам людей неповинен в разглашении столь интимной подробности (разумею ваш лишний палец). Я пришёл к такому выводу самостоятельно, без чьей-либо сторонней помощи, посредством многолетних архивных изысканий. Да-да, не удивляйтесь, именно архивных! И хотя учёным-историком я именоваться не вправе — образование мною получено техническое — тем не менее, многие считают меня опытным краеведом. Но к делу!

Как вам, без сомнения, ведомо, предки ваши, в частности батюшка, родом из здешних чухломских мест. Так вот, мною достоверно установлено, что шестипалость является фамильной особенностью ваших пращуров по отцовской линии. Предвижу, вы

возразите, что у отца вашего ничего такого не присутствовало. Не спорю, Николай Алексеевич, подобно большинству людей, имел по пяти пальцев и на руках, и на ногах. Но моим выводам это никак не противоречит, поскольку сие генетическое отклонение передаётся в вашем роду строго через поколение. Шестипалым был ваш дед, Алексей Гаврилович, уроженец и житель города Чухломы. И тому у меня есть надёжные доказательства. Как и тому, что его дед, а ваш соответственно прапрадед, также имел лишний мизинец на правой руке. Между прочим, прапрадед этот, именем Богдан, а по прозванию «Сажа», доводился в некоторой степени крестником замечательному русскому писателю Павлу Ивановичу Мельникову-Печерскому. Впрочем, не будем отвлекаться и вернёмся к нашим пальцам.

Вы можете спросить: ну и что с того? Ведь полидактилия, она же шестипалость — аномалия, как правило, наследственная. Уверяю вас, это жизненно важно, причём в буквальном смысле! В письме я не стану раскрывать все детали сделанного мною открытия, скажу лишь, что вам грозит *смертельная* опасность. Это не шутка! Так уж вам меря намеряла да чудь начудила. Коли хотите узнать больше — приезжайте в Чухлому, адрес — на конверте. С уважением и тревогой, Виктор Антонович Таганов».

Сажин вложил письмо обратно в конверт, сунул его в задний карман брюк и вышел из подъезда, даже не ответив на приветствие консьержки. В глубокой задумчивости он пересёк двор, миновал старинную церковь Петра и Павла и очутился на берегу некогда приусадебного, а ныне довольно запущенного пруда; спустил таксу с поводка, сам же присел на скамейку, закурил сигарету и внимательно перечёл послание Таганова. А перечтя, резко поднялся и в раздражении растоптал окурок.

Письмо оставило после себя какое-то неприятное, ознобливое чувство. Словно раскусил румяное яблоко, а внутри — червяк... А стиль каков? «О сем», «доподлинно», «коли», «пращуры». Воображение Николая живо нарисовало паукообразного старикашку в пенсне и с бородкой клинышком, который со змеиной усмешкой чирикает бисерным почерком на пожелтелом тетрадном листе при свете керосиновой лампы. Как там в балладе одного из графов Толстых? «И пишет боярин всю ночь напролёт, перо его местию дышит; прочтёт, улыбнётся, и снова прочтёт, и снова без устали пишет». А эта загадочная фраза в конце: «меря намеряла, чудь начудила». К чему она здесь? Что-то знакомое... Сажин наморщил лоб, силясь припомнить, где раньше слышал или читал эти слова, но, так и не вспомнив, чертыхнулся и пожал плечами.

Нет-нет, решил Николай, прежде всего следует унять раздражение. И поразмыслить. Он подозвал Тайсона и принялся неспешно бродить по заросшему ивняком и черёмухой берегу. Погода в это утро прогулке благоприятствовала. Вот свежий августовский ветерок всколыхнул тяжёлые кроны трёхсотлетних лип, прошёлся гребешком по прибрежным кустам, по замшевым початкам рогоза и истаял, рассеялся без следа над дремотной, затянутой зелёной ряской гладью пруда. В эту пору, в восемь утра, да ещё в среду — день будний, в парке было безлюдно и тихо; лишь лягушачье кваканье да повизгивание Тайсона, обнаружившего утиный выводок, нарушало торжественную безмятежность природы.

Увы, этот буколический пейзаж Сажина сейчас мало занимал. Он испытывал странное, сродни зуду, беспокойство, как бывает в преддверии чего-либо крайне нежелательного, что вот-вот должно случиться... Ну да! Так и есть — у него чесался мизинец на левой ноге. Лишний мизинец, разумеется. А это — многолетний опыт подтверждал — верный признак близкой беды. «Палец у меня зудит, что-то страшное спешит», — пробормотал Николай и несколько раз с силой топнул ногой, чтобы унять неприятное ощущение. А всё дурацкое письмо! Чтоб ему сгореть вместе с Чухломой в придачу.

И не то чтобы он всерьёз воспринял предупреждение Таганова про грозящую смертельную опасность. Бред, конечно, реникса. Но откуда, как этот неведомый краевед пронюхал про его шестой палец?! Кроме родителей (царствие им небесное) да жены, пять лет как свалившей на ПМЖ в Штаты, о том, что на его левой ноге два мизинца, никто не знал. Не должен был знать. Ну, дочка в курсе, понятное дело. Так она у него не из болтливых, из неё лишнего слова не вытянешь. И не стала бы она распространяться про папины недостатки. Так каким же макаром об этом проведал совершенно сторонний человек? Из забытой богом дремучей Чухломы. Непонятно и досадно. И ведь выяснил же, стервец, что предки Сажина уроженцы тех мест. Это подлинно так. А про шестипалость деда соврал, интересно? Или правда? Отец ему никогда ничего... Впрочем, про то, что их фамилия находится якобы в каком-то духовном родстве с писателем Печерским, отец тоже никогда не упоминал. Николай само собой читал эпическую дилогию «В лесах» и «На горах» Павла Ивановича Мельникова, творившего под псевдонимом Андрей Печерский; был он знаком и с некоторыми его историческими исследованиями, работами по расколу и сектантству. С другой стороны... если это не вымысел, не фантазия краеведа-доброхота, родство с этаким литературным зубром

может украсить его, Сажина, писательскую биографию. Как знать, вдруг этот факт подстегнёт интерес издателей? Только вот, насколько Николай помнил, и служба, и творчество Мельникова-Печерского были связаны с Нижегородской губерний, а никак не с Костромской, к которой относится Чухлома. Хотя, они граничат...

Размышления Сажина нарушило мурлыкание айфона. Звонил Матушкин Федор Евгеньевич, главный редактор журнала «Луноход», где Николай регулярно печатал малую прозу — рассказы и повести, а порой тискал статейки научно-популярного содержания. Сажин вновь спустил Тайсона с поводка и присел на ближайшую скамью.

Пока Николай общался с редактором, к нему на лавочку подсел старик лет восьмидесяти, если не более, на вид, но в щегольском твидовом пиджаке с кожаными заплатами на локтях. Сложив костистые ладони на серебряном набалдашнике чёрной трости и жёстко выпрямив спину, он сидел, не шелохнувшись, точно мумия буддийского монаха. Худой, с жёлтой, почти коричневой кожей, туго обтягивающей абсолютно лысую голову с высокими азиатскими скулами, глаза спрятаны за синими стёклами круглых очков. Когда бы не европейский прикид и трость а ля Эркюль Пуаро — ну вылитый Далай-лама или император Хирохито.

В кустах раздался шорох, оттуда с пыхтением выскочил Тайсон и кинулся к хозяину, но, увидав рядом с ним мумию, остановился и тихонько зарычал. Будто в ответ с ближайшей липы раздалось низкое хриплое карканье — там, на толстом суку, сидел крупный иссиня-чёрный ворон.

— Спокойно, Тайсон, фу! — скомандовал Сажин. — Где твоё воспитание?

Пёс с недовольным ворчанием улёгся у ног хозяина. Между тем ворон продолжал каркать, широко разевая клюв и аж приседая на своей ветке от усердия.

— Быть беде, — неожиданно заметил Хирохито голосом, не менее скрипучим, чем у ворона, и указал на того тонкой чёрной тростью. Птица тут же заткнулась, видимо, удовлетворившись, что её, наконец, правильно поняли. «Ещё один вещун на мою голову», — подумал Николай, вслух же парировал:

— А древние германцы считали ворона добрым вестником.

Хирохито вновь по-птичьи дёрнул головой и вперился в Сажина. Пробившийся сквозь густую листву солнечный лучик скользнул по вяленой физиономии старика и отразился от его очков двумя зелёными просверками.

— *Сциэ́нциа эст потэ́нциа*[1], — заявил он.

— Простите, что?

Старик продолжал молча разглядывать Сажина.

— В вас нет арийской крови, — безапелляционно изрёк он после паузы.

Николай даже растерялся поначалу, а потом ответил со всей возможной язвительностью:

— Может быть. Но и вы на Арминия[2] не тянете.

Учуяв настроение хозяина, Тайсон приподнялся и опять зарычал.

— Ну-ну! — добродушно попенял ему Николай, встал, посадил пса на поводок и отправился в сторону дома.

Уже отойдя по аллее шагов сто, Сажин, повинуясь смутному позыву, обернулся. Желтолицый старец по-прежнему недвижимо сидел на скамейке, но — удивительное дело! — давешний ворон теперь угнездился на набалдашнике его трости. Николай зажмурился и потряс головой, а когда открыл глаза, не увидел не только ворона, но и старика.

Глава 2

«А не махнуть ли мне в эту самую Чухлому?» — такая мысль гвоздём засела в голове Сажина.

Будучи убеждённым материалистом, Николай не верил в грозящую ему, по утверждению Таганова, смертельную опасность. Вместе с тем, зная свой мнительный характер и дотошность, ясно осознавал — не видать ему покоя, пока не прояснит всё до точки. Кроме того, любопытство Николая было раздражено: что такого нарыл про его чухломских предков краевед-любитель? И к чему приплёл сюда давно забытые финно-угорские племена чуди и мери? Насколько Сажин знал, помимо топонимических названий от них и следов-то никаких не осталось. Растворились, истаяли они вместе с летописными весью да муромой в нахлынувшем на места их исконного обитания славянском море. Да и упоминание в письме о возможном, пускай и не кровном, родстве с Мельниковым-Печерским интриговало. Какие такие отношения могли связывать его

[1] «Знание – сила» *(лат.)*

[2] Арминий – вождь древнегерманского племени, нанесший римлянам сокрушительное поражение в битве в Тевтобургском лесу в 9 году н.э. Национальный герой Германии.

прапрадеда Богдана с чиновником особых поручений Министерства внутренних дел Павлом Ивановичем Мельниковым, он же — литератор Андрей Печерский? Мельниковы — дворянский род, хотя и захудалый, а его, Сажина, предки, насколько ему известно, принадлежали к чёрному крестьянскому сословию. Загадка!

А сверх того, имелись и иные резоны для поездки. В самом деле, рассуждал Николай, что его держит? Лекции в Литературном институте начнутся не ранее середины сентября, а за Тайсоном Мариша сможет присмотреть. И вообще, отчего бы ей не переселиться на пару недель со съёмной квартиры и не пожить у него, в двухкомнатной? И метро рядом.

Девятнадцатилетняя незамужняя дочь Сажина Марина была современной независимой девицей. Учась в Московской юридической академии, она одновременно работала юрисконсультом в некоем ООО, название которого Николай не помнил, а проживала отдельно, снимая однокомнатную квартиру в Южном Бутово.

Более того, поездку эту допустимо рассматривать как творческую командировку. Засиделся он в Москве, что и говорить. А так, приникнув, можно сказать, к истокам, окунувшись в жизнь российского захолустья... Масса новых лиц, впечатлений, а значит, и новых идей. Глядишь, и на что-нибудь крупное, внежанровое замахнётся. Давно пора. Пятый десяток разменял, а всё в детективщиках ходит!

Ехать пятьсот километров на машине Сажин не рискнул. Неизвестно, какие туда дороги, а его «хонда» давно на ладан дышит. Поэтому решил добираться до Галича на поезде, а там — автобусом до Чухломы. Да и других вариантов не усматривалось: ни прямого железнодорожного, ни, тем паче, воздушного сообщения с Чухломой не имелось. Полная Чухлома!

Дочка с готовностью согласилась переселиться на время в Ясенево и клятвенно обещала дважды в день выгуливать таксу. Правда, попросила дозволения, чтобы вместе с ней пожил некий Виталий, её нынешний бойфренд. «Ты его не знаешь, мы познакомились недавно, — пояснила она. — Менеджер «Роснано», между прочим». — «А он аккуратный?» — строго спросил Николай. «Очень аккуратный, очень аккуратный!» — со смехом заверила Мариша. «Ну, хорошо, живите тогда», — сдался Сажин.

Итак, через два дня на третий после получения загадочного послания Николай с небольшим видавшим виды чемоданом на колёсиках и наплечной сумкой уже шагал по платформе Ярославского вокзала; поезд «Москва — Чита», останавливающийся проездом в Галиче, готовился к отправлению.

Билет он купил в стандартное четырехместное купе, без кондиционера и питания, но смахивающая на каменную половецкую бабу проводница, что проверяла документы перед заходом в вагон, спросила его, понизив голос: «Вы вдвоём?» — «Нет, один». — «Ну, всё равно. Хотите в двухместное?» — «Сколько?» — догадался Николай. «Пятьсот рэ», — тем же конспиративным тоном ответила баба. «Хорошо, — согласился Сажин, протягивая пять сотенных. Но, спохватившись, уточнил: — А поеду-то я в нём один?» Проводница важно кивнула.

Купе — тесное и душное, зато без попутчиков, располагалось в самом начале вагона, первым от тамбура. Как понял Сажин, оно было служебным и предназначалось для проводников. Где теперь станет отдыхать половецкая истуканша, он решил не заморачиваться — не его дело, как люди деньги зарабатывают.

Николай разместил багаж и застелил нижнюю койку. Вообще-то в Галич поезд должен прибыть в десять вечера этого же дня, но вдруг ему захочется вздремнуть? Тем паче, бельё всё одно включено в стоимость билета. Ровно в 13 часов 50 минут состав вздрогнул, протяжно застонал сочленениями и тронулся.

Сажин достал из наплечной сумки два сваренных вкрутую яйца, щепотку соли в бумажке, горбушку «Бородинского», курью ножку, завёрнутую в фольгу и чекушку «беленькой»; распаковал всю эту нехитрую снедь и, плеснув пятьдесят грамм в раскладной походный стаканчик, выпил за удачное путешествие.

Тем временем городскую застройку сменили подмосковные пейзажи.

Утолив голод, Сажин закрыл дверь купе, опустил окно и с удовольствием выкурил сигаретку — ещё одно преимущество поездки в одиночестве. Затем он выложил на стол первый том «Полного собрания русских летописей» тысяча девятьсот двадцать шестого года издания и открыл его на «Повести временных лет». Николай не случайно выбрал для дорожного чтения именно эту книгу. По жизни, да и по роду орошаемой им жанровой нивы, он любил всяческие тайны и ребусы. Письмо Таганова — если не причина, то повод его внезапной поездки — и само по себе носило загадочный характер, но, по крайней мере, оно было логично. Хотя и весьма необычно. Утверждение, что крёстным его прапрадеда являлся писатель позапрошлого века Мельников-Печерский, безусловно, будоражило воображение. Правда, сопутствующее уточнение («в некоторой степени») несколько снижало ожидания. Как это можно приходиться кому-либо крестником или крёстным «в некоторой степени»? Но эту загадку он ре-

шил оставить на потом. А вот фраза про чудь и мерю... ну никак не соотносилась она с остальным содержанием! Он уже выяснил, конечно, что слова эти Таганов заимствовал у Блока: «Знала ли что? Или в бога ты верила? — писал поэт, обращаясь к Руси. — Что там услышишь из песен твоих? Чудь начудила, да меря намерила гатей, дорог да столбов верстовых...» Только это ровным счётом ничего не разъясняло.

Тут-то и вспомнилось Николаю, что в одной из своих институтских лекций он обращался к древнерусской литературе и, в частности, к «Первоначальной летописи», написанной в Киеве на рубеже XI-XII веков и более известной как «Повесть временных лет». Так вот, в ней точно упоминались — и не раз — племена чуди и мери.

Итак, под перестук вагонных колёс Сажин углубился в хитросплетения словес древнерусского литературного памятника.

Из летописи явствовало, что в IX-X веках поселения мери и чуди были широко разбросаны по просторам Северо-Восточной Руси; эти финно-угорские или, как их было принято называть в дореволюционной исторической науке, инородческие племена жили по всему течению Волги и на берегах Оки, и на Клещеином, и на Ростовском озёрах, и в самом Ростове. Впрочем, точные границы их расселения оставались читателю неясными. Особенно это касалось чуди.

Любопытно, однако, что оба этих племени вместе со славянами участвовали во всех знаковых событиях тех веков. По смерти Гостомысла в 860 году «кривичи и словене, и *чудь* и *меря* возсташа на варяги и изгнаша варяги за море и не даша им дани, а почаша сами себе володети». Как известно, такая самобытность продлилась недолго: «И не бе в них правды и вста род на род, и быша в них усобиц и воевати почаша сами на ся».

Чтобы покончить с таким печальным положением, все согласно решили: «поищем себе князя, иже бы володел и судил по праву». И опять же, когда дело дошло до посольства, летописец в его состав, помимо славянских племён, ввёл также чудь и мерю.

Под 882 годом, в походе Олега против киевских соправителей Аскольда и Дира, наряду с варягами, словенами и кривичами, снова участвуют чудь и меря. А потом меря пропадала со страниц летописи. Последний раз она, совокупно с чудью, упоминалась под 907 годом, при описании похода Олега на Царьград. Что ж, возможно, процесс славянизации затронул это племя в первую голову, и говорить о нём на особицу от славян летописец уже не считал нужным?

А вот чудь продолжала изредка мелькать в жизни тогдашней Руси: то она вместе с князем Владимиром идёт на Полоцк в 980 году, то, наоборот, князь Ярослав идёт на неё в 1030-м. Последнее упоминание о чуди Сажин отыскал под 1071 годом, где, после описания проделок волхвов на Белоозере, шла речь о новгородце, обратившемся к некоему кудеснику из чудского племени. Во время волхования тот новгородец между прочим спросил у кудесника: где обитают чудские боги? И кудесник ответил: в безднах; и когда кто из людей чуди умирает, то попадает к чудским богам — в бездну.

За чтением Николай не заметил, как пролетели целых три часа, и кондукторша объявила остановку в некогда мерьском граде Ростове. Поезд здесь стоял лишь две минуты, поэтому Сажин поспешно выскочил на перрон, выкурил в нарушение антитабачного законодательства сигаретку и прыгнул обратно в вагон. А там его уже карaулила первая дорожная неприятность.

Глава 3

Рядом с открытой дверью его купе тяжело ворочалась монументальная фигура проводницы, а в самом купе некий гражданин с кряхтением заталкивал в багажное отделение объёмистый чемодан. «Располагайтесь, — обращаясь к гражданину, заявила проводница. — Бельё вам принести?» — «Не нужно», — отвечал тот. Проводница развернулась и молча протиснулась мимо обескураженного Николая.

— Постойте! — крикнул он ей вслед. Та притормозила, но оборачиваться не стала. Шагнув к ней, он зло прошипел: — Это что за номер? Вы же обещали, что я поеду один. Как же так?!

— А что я могу? — возразила коварная половчанка. — Купе-то двухместное. Ничего не могу.

— Да оно вообще служебное! — возмутился Сажин. — И за что я деньги платил?

— Всё не вчетвером, — парировала баба.

— Но я же... Но вы же, — опешил он от такой простоты.

Проводница повернула к нему корпус и укоризненно произнесла:

— Да он до Данилова только, а там сойдёт. Говорить не об чем!

— Тьфу, чёрт, связался я с вами, — махнул рукой Николай и, не сдержавшись, проворчал: — Чурбан тмутараканский.

— Ишо матерится, — не осталась в долгу тётка, — помогай им после этого.

Обе койки в купе находились по правую сторону от входа, двумя ярусами — одна над другой; по левую же, рядом со столиком, оставалось место только для маленького откидного сиденья, вот на этой откидушке и сидел его попутчик — поджарый мужчина неопределенного возраста.

— Георгий Маркович Реконкистов, — произнёс пассажир глубоким бархатным голосом и, приподнявшись, протянул руку. — Будем знакомы?

— Николай Николаевич, — представился Сажин, пожимая сильную сухую ладонь. — Очень приятно.

— Будет вам, — усмехнулся Реконкистов, — какое тут приятство. Обеспокоил я вас?

— Вы ни при чём. Это всё эта... — Николай раздражённо мотнул головой в сторону двери.

— Се ля ви, — вздохнул сосед и глянул на Сажина с пристальным прищуром. — Николай Николаевич... а фамилия ваша, простите, как?

— Зачем вам? — удивился Николай, в свою очередь присматриваясь к попутчику. Возраст того, действительно, определялся с трудом: фигура худощавая, спортивная, лицо загорелое, с выразительными морщинами и пытливым взглядом серо-стальных глаз; ему могло быть как пятьдесят, так и все шестьдесят. Одет в камуфляжную куртку (вроде бы подобная расцветка называется «Цифра ФСБ»), такие же штаны защитного цвета и высокие берцы армейского образца. Бывший военный? Сажин, вероятно, в силу профессии, любил приклеивать к новым знакомым мысленные клички, вот и Реконкистова он сразу окрестил про себя «Идальго».

— Нет, если не хотите говорить...

Николай, вспомнив, что тот-то свою фамилию назвал, ответил:

— Ну, Сажин.

— А не тот ли вы самый Николай Сажин, который писатель?

После такого вопроса Николай, по общей для большинства писательской братии слабости, окончательно оттаял.

— Тот самый, тот самый, — подтвердил он с лёгкой небрежностью, как если бы к нему то и дело обращались с подобным вопросом.

— Ага! — воскликнул Идальго. — Вот потому я и поинтересовался фамилией. У меня на лица память фотографическая.

— Понятно. Но где вы меня видели?

— А вот где, — сосед достал из нагрудного кармана книжку формата флипбук. Это было переиздание предпоследнего роман Сажина «Мой топор остёр», с крошечной фотографией автора на форзаце. — Не откажитесь поставить автограф?

— Без проблем, — Николай взял из рук Реконкистова книгу и, стараясь скрыть получаемое удовольствие, нахмурил брови. — Как вам подписать?

— А просто поставьте дату и подпись с расшифровкой.

Сажин хмыкнул. Он-то предполагал, что Идальго попросит написать нечто памятное, вроде «дорогому Георгию Марковичу на память о совместной поездке». А этот... Наверняка даже и не читал его романа. Купил в привокзальном киоске первый попавшийся, а после бросит в купе, как пустую упаковку из-под чипсов.

— Под вагонный стук и скрип получите мой инскрипт, — не удержавшись, срифмовал Николай, возвращая книгу.

— Николай Николаевич, — спросил Идальго, сунув флипбук обратно в карман куртки, — можно вопрос по содержанию? — сосед похлопал себя по нагрудному карману.

«Неужто читал? — усомнился Сажин. — Тогда зачем взял с собой?»

— Пожалуйста. Задавайте свой вопрос.

— У вас там главный злодей — серийный маньяк, варит из своих жертв холодец, а после торгует им на рынке. И даже сколачивает на этом капиталец. Вы подобный факт позаимствовали из реальной жизни или это всё вымысел, полет, как говорится, писательской фантазии?

«А ведь и впрямь читал», — приятно удивился Николай.

— Вымысел, чистый вымысел. С каннибалами мне не доводилось сталкиваться, бог миловал. Однако не следует понимать мой сюжет буквально. Это, гхм, отчасти метафорическая модель нашего сегодняшнего общества...

— Я не про то, — перебил попутчик. — То есть про метафорическую модель согласен, хотя, каюсь, сам бы не догадался. Просто мне показалось, что эта тема — тема каннибализма — вас как-то особенно интересует. Что-то личное?

Сажин рассмеялся.

— С чего вы взяли?

— Ну как же, — продолжал настаивать собеседник, — вы обращаетесь к ней довольно часто.

— Разве? Любопытно. И что, вы можете привести тому примеры?

— Да, — кивнул Реконкистов. — К примеру, возьмем ваш рассказ «Сердце красавицы». Если не ошибаюсь, он был опубликован в журнале «Луноход» в прошлом году...

— Не только там, — перебил Сажин. — Ещё в двух или трёх других журналах. Ой, простите! Так что вы хотели сказать?

— Вот я и говорю. Героиня вашего рассказа, патологоанатом в морге захолустного райцентра, узнав об измене мужа, расправляется с соперницей; потом, воспользовавшись служебным положением, извлекает из трупа разлучницы сердце и, потушив его с томатами и морковкой, скармливает неверному супругу под видом свиного.

— Да-да, я помню сюжет. Сам сочинил как-никак.

— Меня, кстати, особенно впечатлил финал. В плане способа сокрытия и ухода от наказания. Ну, когда она на следующий день в красках живописала мужу, *что* он съел вчера на ужин, психика у того не сдюжила, и он загремел в психушку. И вот как только он там — в больнице — более-менее приходил в чувство, то, понятное дело, тут же начинал всем и каждому кричать о съеденном им сердце любовницы. Врачи же, естественно, делали вывод, что у того обострение, и обкалывали беднягу лошадиными дозами психотропов, возвращая его обратно в «овощное» состояние. Ловко!

— Спасибо, — поблагодарил Николай. — Рад, что вам понравилось. И, значит, из этого вы сделали вывод, что...

— Не только. А ваш роман «Тело ангела»? В нём ведь тоже, как говорится, кроваво-красной нитью... Или ещё этот, как же? А! «Фуа-гра из прокурора».

— Сдаюсь! — поднял руки Сажин. — Хотя сам, признаюсь, как-то не задумывался об этом. Но вы правы, не стоит часто эксплуатировать одну и ту же тему. Пускай и выигрышную. Замечу в оправдание, что в полутора десятках других моих романов ни слова про людоедство.

Николаю его сосед определённо начинал нравиться всё больше и больше. Это ж надо! Оказывается, Идальго — его постоянный читатель. Честно говоря, до сего момента Сажин вообще сомневался, что такие существуют в природе. А тут, зрасьте-пожалуйста...

Глава 4

— Знаете что? У меня с собой бутылочка армянского коньяку. Не возражаете?

Сажин не возражал. Помимо коньяка, у соседа нашёлся ещё лимон, который он ловко порубал на тонкие ломтики. Николай вытащил свой набор походных стаканчиков.

После третьего стаканчика разговор принял доверительный, даже задушевный характер.

— Я ведь в прошлом следователь прокуратуры, — смачно пережёвывая лимонную дольку вместе с корочкой, поделился Реконкистов. — Дослужился до старшего следователя по особо важным делам. Работал и при Леониде Ильиче, и при Андропове, и при Черненко, даже при Горби, не к ночи будь помянут... А при Ельцине не смог. Ушёл на пенсию по выслуге лет.

— Чего так? — поинтересовался Сажин. — Зарплата не устроила?

— При чём тут зарплата, — досадливо отмахнулся Реконкистов. — Хотя в девяностые нам, прокурорским, да и большинству бюджетников, платили сами знаете как — слёзы, а не зарплата. А я человек старорежимный, советской закваски, мзду брать не приучен. Но дело не в деньгах. Противно стало, аж до тошноты... Один мой приятель, гособвинитель, так он это называл «когнитивным диссонансом». Поддерживаю, говорит, обвинение, а сам ловлю себя на мысли, что те злодеи, что сидят на скамье подсудимых, никаких особенно негативных чувств не вызывают. Зато о власти, которую он в суде, по идее, представляет, только, говорит, вспомню, прямо желчь разливается. Дескать, дали бы пулемёт, да выстроили бы их всех в ряд, от президента до последнего губернатора, рука бы не дрогнула — я бы их, как Макар Нагульнов: тр-рах-тах-тах-тах-тах!.. Так-то.

— Это, помнится, и баб, и детишек, значит? — поднял брови Николай.

— Эмоции, конечно, — хмыкнул Реконкистов, но тут же хлопнул по столу ладонью, так что подпрыгнули походные стаканчики. — Но посыл верный! Ведь в те годы кто дорвался к власти-то? Торгаши, ворьё, фарца бывшая. Ну и перевертыши из партноменклатуры. А то и прямые изменники, наймиты чужих спецслужб. Думаете, перебарщиваю? Поверьте, Николай, так оно и было, я человек информированный, не приучен языком плести. Так и было. Да и сейчас... — он махнул рукой и, взявши бутылку, наполнил стаканы. — Давайте за... эх! — не договорив, он выпил. Сажин последовал его примеру. — А в прокуратуре что творилось тогда? — с горечью продолжил Реконкистов. — Старые кадры поуходили, а кто им на смену? У нас в генеральной — сплошной

Северный Кавказ с солнечным Азербайджаном вкупе. Я против кавказцев ничего не имею, тем паче, кадровый состав там и всегда был многонациональным. Дело, понятно, не в национальности, а в пропорциях и качестве. Ведь правоохранительные органы — не рынок. И что характерно, в советские времена устроиться в прокуратуру особых проблем не составляло — получил высшее профильное в ВЮЗИ или, как я, в МГУ — и добро пожаловать. Помню, по окончании университета я хотел было в адвокаты податься, а мне: не-ет, раз поступал по распределению от прокуратуры, будь добр к нам. А тут вдруг, в девяностые, — только по большому блату. С чего бы? Платили-то копейки. За бакшишем потянулись — место злачное. М-да... Вот и попёрли к нам хваткие да деловые. Что ж? У правителей одна забота — как страну по карманам раздербанить, а прокуратура останется островком «социалистической законности»? Квак бы не квак! Вот как только это прилагательное от нашей законности отвалилась, так и правоохранительные органы превратились в эдакую «контору решальщиков». Кто свой интерес пролоббирует, тому и «законность» на блюдечке с голубой каёмочкой.

— А при советской власти такого прям вовсе не было? — хмыкнул Сажин.

— Даже близко, — отрезал Реконкистов. — Вы, Николай, человек ещё молодой, со мной в сравнении. В сознательном возрасте что вы застали? Горбачёвский развал, безвременье. По тем годам о советской эпохе судить нельзя. Вот, послушайте, я вам расскажу. В восьмидесятом перевёлся я в генеральную прокуратуру. То бишь тогда она ещё называлась прокуратура Союза ССР. У неё имелся свой ведомственный дом отдыха, на Истре. Места славные: лес, речка. А при доме отдыха — дачный поселок, прокурорский же. И на лето сотрудники прокуратуры имели возможность вывозить своих домашних на лоно природы; аренда, помню, стоила недорого. Но при этом каждый летний домик — три комнаты и одна веранда — был рассчитан на три семьи. Кухня общая, отопление печное, удобства на улице. И ничего, все довольствовались. В том же поселке стояли служебные дачи замов генерального прокурора. У тех фазенды были побогаче — бревенчатые да с мансардой и на одну семью. Но удобства тоже во дворе! А вышел на пенсию — будь любезен съехать, уступить преемнику. Это строго. К слову сказать, территория пансионата и дачного поселка никак и никем не охранялась, даже сплошное ограждение по периметру отсутствовало. В пансионате имелся небольшой кинозал, где вечерами крутили кино. Или танцы устраивали. Так молодежь из окрестных деревень свободно приходила — и в кино, и на танцы. И всюду этак — я сейчас про охрану — ведь не было её ни в прокуратурах, ни в отделениях милиции, ни даже в судах. Суды-то у нас тогда назывались «народными». Так от кого же их охранять? От народа? А теперь?!

— Здесь с вами согласен, — закивал Николай, — нынешние правоохранители крепко огородились от людей, с улицы так просто не зайдёшь. Сам сталкивался.

— Во-во! Ладно, про правоохранителей я даже молчу, — махнул рукой Реконкистов. — Не с бухты-барахты милицию перелицевали в полицию, резоны-то в целом понятны. Но ведь этак повсюду — сверху донизу! Даже местные ДЭЗы и РЭУ держимордами обзавелись при входах, не проскочишь.

— Да-а уж, — вновь согласился Сажин, — власть отдельно, народ отдельно.

— Точно! Теперь оно так. Или вот ещё случай на память пришёл. В начале семидесятых, когда я работал в районной прокуратуре, один наш молодой следак купил себе «Москвич». Зам по следствию узнал, вызвал того к себе и спрашивает: на какие шиши? Тот: родители помогли. Зам ему и говорит, ладно, говорит, пускай... только рядом с прокуратурой его не ставь, паркуй где-нибудь квартала за два. А то, говорит, граждане могут сделать неверные выводы. Представляешь? А сейчас? Что там прокуратура, зайди во двор любого, самого районного ОВД — сплошь иномарки представительского класса. Скажешь, на зарплату?

— Не скажу.

— То-то и оно-то... Рынок! Власть капитала. А в чём её суть? У Максима Горького на этот счёт есть замечательное определение, как же это... запамятовал... что-то про грызню.

— Всех грызи или лежи в грязи, — подсказал Николай.

— Точно! Точнее классика не скажешь, верно ухватил. В этом и есть вся суть капитализма, весь его гнилой ливер. Э-эх, да что говорить, Николай, давай-ка лучше ещё по рюмашке. Ой, а ты не в обиде, что я на ты? Мы пили уже на брудершафт?

— Нет, но я не против. В смысле, на ты. А вот от коньяку воздержусь — мне, пожалуй, довольно. Мы и так полбутылки уговорили, боюсь, завтра голова будет трещать, а она у меня — рабочий инструмент.

— Хозяин — барин, — не стал спорить Реконкистов. — Мне тоже хватит. Только на брудершафт хлопнем, чтобы закрепить. А то неудобно — я тебе тыкаю...

Но после брудершафта собеседники как-то забыли о своем намерении и продолжили фуршет.

По ходу общения Сажин пришёл к выводу, что попутчик его весьма любопытный, даже колоритный типаж, и его вполне можно тиснуть в новый роман. Даже на роль главного героя. Или злодея. А значит, совсем не лишнее его как следует разговорить, чтобы потенциальный персонаж оброс, так сказать, мясцом.

— Георгий, а после прокуратуры ты куда подался?

— Я ушёл после октября девяносто третьего, по выслуге лет. Расстрел парламента стал для меня последней каплей. Помнишь те события? Я ж как-никак юрист и понимал, на чьей стороне правда. Мог по тогдашней конституции Верховный совет объявить президенту импичмент? Мог. А имел ли право, по той же конституции, президент разогнать парламент и Конституционный суд заодно, который встал на защиту основного закона? А потом своим указом и саму конституцию аннулировать к чертям? Нет, не было у него такого права! Про расстрел прямой наводкой из танков я молчу, тут всё понятно. Ну вот, я сотрудник органов, которые должны наблюдать за неукоснительным соблюдением этой самой законности, вынужден защищать интересы этой самой власти, строго говоря, изначально преступной, президента, который взял власть посредством государственной измены, попрания воли народа, проголосовавшего на всесоюзном референдуме за сохранение Союза. А теперь — я про октябрь девяносто третьего — удержал её путём государственного переворота. И ведь как тогда наши журнашлюшки дело повернули: пресёк-де «гарант конституции» попытку государственного переворота! Чего он пресёк? Он его совершил! Верховный-то совет действовал строго в рамках своих полномочий. Строго. Тьфу! Отвлёкся... Ты меня останавливай, эта тема для меня больная, сразу завожусь. О чём я, бишь, говорил?

— Ты хотел рассказать, куда подался после прокуратуры, — напомнил Николай.

— Верно.

Тут состав сбавил ход и заскрипел тормозами. «Остановка «Ярославль-главный», время стоянки 30 минут», — объявили по внутренней связи. Друзья вышли на перрон размять ноги и покурить на свежем воздухе.

— А согласись, — заметил Георгий, указав зажжённой сигаретой на монументальное, с часовой башней, здание вокзала, — есть в сталинском ампире что-то такое... вневременное, хтоническое даже. Смотришь и понимаешь — это на века, это навсегда. Вселяет чувство уверенности. Согласен?

Сажин рассеянно пожал плечами. Его внимание целиком занял чёрный ворон, увенчавший голову Савве Мамонтову, чей бронзовый памятник высился неподалёку; казалось, птица, приоткрыв клюв и сердито встопорщив перья, пристально глазела прямо на него.

— Крупный экземплярище, — хмыкнул Реконкистов, проследив взгляд Николая. — Мне кто-то говорил, что ворон — посредник между живыми и мёртвыми. Оттого-то, дескать, их на кладбищах так много, — и неожиданно спросил: — Ты у нас какого года рождения?

— Семьдесят четвёртого, — удивленно ответил Сажин. — А что?

— Значит, в следующем, восемнадцатом, тебе исполнится сорок четыре, — задумчиво пробормотал Георгий, — а в двадцать четвёртом полтинник стукнет.

— И что с того? — поднял брови Николай. — Ты это сейчас к чему?

Вместо ответа Реконкистов пропел хорошо поставленным грудным тембром:

По военной дороге
Шёл в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год.
Были сборы недолги,
От Кубани и Волги
Мы коней поднимали в поход.

Потом взглянул на наручные часы и присвистнул:

— Пора в вагон. Цигель, цигель, ай-лю-лю!

Глава 5

В купе Георгий зябко передернул плечами:

— Как-то здесь сыро. Не хлопнуть ли нам по рюмашке? — и, не дожидаясь реакции, наполнил походные стаканчики, напевая под нос: — Вспомнят псы-атаманы, вспомнят польские паны конармейские наши клинки... М-да... Вот ты давеча интересовался, куда я из прокуратуры подался. В коммерцию, куда же ещё? В смысле, возглавил юридическую службу в некоей частной компашке. Сначала в одной, потом в другой... Сменил я их порядком. ОООшки всякие росли в ту пору как грибы после дождя. И столь же быстро исчезали. И знаешь что? Знаешь, к какому, в конце концов, я пришёл

выводу? Не моё это. Не могу я работать на хозяина.

— Что, прям одни сволочи попадались? — закусывая лимонной долькой, спросил Николай.

— Разные. Попадались всякие. Иные, как и я, из бывших правоохранителей. М-да, типажи очень разные. Но общий знаменатель у всех у них был.

— Какой же?

— Порядочных, честных людей я среди них не встретил. Ни единого. Впрочем, это естественно. Ну не может торгаш быть честным человеком. По определению не может! Как-то раз один из последних моих работодателей — он в начале девяностых вице-губернаторствовал на Сахалине, ну и, понятное дело, добыв на этой должности первоначальный капиталец, открыл своё дело — так вот, очень он со мною любил поспорить, особенно на отвлечённые темы. Вот только терпеть не мог уступать в споре. А когда такое случалось, использовал, по его убеждению, железный аргумент: если, говорит, ты такой умный, отчего такой бедный? Однажды я не удержался и ответил. В том смысле, что по нынешним временам у владельца пары палаток шаурмы с Москворецкого рынка денег больше, чем у дюжины профессоров МГУ. А шаурмен этот слово «брат» с двумя ошибками пишет. Бывший вице несколько опешил, а потом спрашивает: и как же ты это объясняешь? Так для успеха в бизнесе, объясняю, нужен не интеллект, а совсем иные качества. Хозяйчик мой: какие же? Жадность, хитрость и беспринципность, отвечаю. И чем их более, тем успешнее бизнес.

— И что, долго после этого ты на него работал? — хохотнул Сажин.

— Недолго. Но суть не в этом. Суть в том, что я прав. Нет, конечно, природный ум бизнесмену не помеха, даже напротив. Интеллект тоже не повредит, в принципе. Только он не является обязательным условием. Главным составляющим успеха в любом бизнесе, повторюсь, являются упомянутые три качества. Отсюда вытекает вопрос... — Идальго поднял палец и значительно взглянул на Николая. — На сегодняшний день мы построили, точнее, реставрировали, у себя, в России, капитализм. Согласен?

— Согласен, — развёл руками Сажин, — только, на мой взгляд, мы его ещё строим.

Реконкистов погрозил пальцем:

— Тридцать лет строим? Советская власть за меньший срок в Гражданской победила, провела индустриализацию страны, ликвидировала всеобщую неграмотность и Великую Отечественную выиграла. Ведь после той войны вся промышленность, вся инфраструктура европейской части были уничтожены. Полторы с лишним тысячи городов стёрты в пыль, а сёл и деревень — под сотню тысяч. Цифры эти, как подумаешь... в голове же не умещаются! А через двенадцать лет мы первыми полетели в космос. Нет, на сегодня у нас, Николай, вполне себе сложившийся капитализм, с частной собственностью на средства производства, ярко выраженным имущественным неравенством, безработицей, инфляцией и прочими непременными бонусами. Причем капитализм в высшей его стадии — монополистической, то бишь империализм. Что является основной чертой империализма? — спросил Идальго и сам же ответил: — Борьба империалистических держав за передел мира и делёж сфер влияния. Именно это мы сейчас и наблюдаем, разве нет? — и требовательно повторил: — Разве нет?

— Ну... да, пожалуй, — поразмыслив, ответил Сажин. — А к чему ты ведёшь?

— Общество у нас капиталистическое, это мы прояснили. А чьи интересы обязана представлять и защищать в таком обществе власть? Понятно, капиталистов, то бишь этих самых торгашей, о которых я тебе толковал. Не случайно же, что в Думе, что в Совете Федерации — особенно там — сплошь миллионеры с миллиардерами — их власть, им и править всласть. А в правительстве? Найдёшь ты в нашем правительстве хоть одного члена, который не был бы долларовым миллионером, а то и миллиардером? Может, назовёшь? Нет таких! Власть торгашей. Тебе это нравится? Мне нет, — Сажин открыл было рот, но Идальго поднял руку в останавливающем жесте: — Объясню почему. Какова природа, в чём суть любого торгаша? Прибыль. Она же — нажива. Полагаю, это бесспорно. Вот наш президент делает ставку на национально ориентированный бизнес. Но у бизнеса нет национальности! У барыг вообще нет родины. Точнее, их родина там, где банковские счета и недвижимость, то бишь — а это в основном так — за рубежами, в офшорах. Следовательно, нами управляют люди, которым на Россию, по большому счёту, глубоко наплевать. Пока корова дойная — хорошо, а иссякло молочко — можно и на бойню.

Сажин почесал голову и взялся за бутылку.

— Уж очень ты, Георгий, того... Рассуждения у тебя какие-то кондовые, марксистско-ленинские. Но ведь у капитализма есть и очевидные преимущества.

— Ну-ну, — прищурился Реконкистов, пододвигая свою стопку, — назови. Мне даже интересно.

— Рынок, свободная конкуренция... — начал Николай.

— Пфф! — невежливо оборвал его Реконкистов. — Коля, не будь таким наивным.

Эту твою «свободную конкуренцию» сто с лишним лет назад похоронили сами же буржуазные экономисты. Нет, на заре капитализма так оно и было: множество мелких хозяйчиков свободно конкурировали друг с дружкой. Но в чём суть свободной конкуренции? Суть в том, что выживает сильнейший. Так? А раз так, это неизбежно ведёт к появлению сначала крупных хозяйств, а потом и монополий. А монополии — могильщики конкуренции. Монополисты всегда договорятся друг с дружкой. Картельный сговор называется.

— Допустим, — выдохнул Сажин, проглотив коньяк и потянувшись за лимонной долькой. — Пускай. Но, как ни крути, рыночная экономика эффективнее плановой социалистической.

Идальго, тоже опрокинувший стопку, поперхнулся и закашлялся.

— Здрасте, приехали! — просипел он, уняв кашель. — Ты оглянись вокруг-то. Какая, к лебедям, эффективность? Где отечественные самолёты, пароходы, станки и машины? Куда подевались, угодив в потные частные ручонки, заводы «Москвич», «ЗиЛ», «Динамо», «Рубин» и сотни других предприятий-гигантов? Где, наконец, российские телевизоры, компьютеры, холодильники и стиральные машины? Даже наручных часов не сыщешь днём с огнём! А ведь всё это было.

— Ну, не знаю, не знаю, — хмыкнул Сажин. — Нам это всегда как аксиому: частная инициатива и прочее...

— Сейчас я тебе на пальцах растолкую, — Реконкистов пошарил вокруг взглядом, взял со столика складной нож-«бабочку», которым нарезал лимон, и продемонстрировал его Николаю. — Допустим, некое частное предприятие мастырит ножи. Нож стоит дороже металла, что пошёл на его изготовку, так? Это и есть прибыль, понимаешь?

— Ты уж мне, как ребенку, — возмутился Николай. — Я не отстаю в развитии и про прибыль понимаю.

— Ты дослушай! Прибыль эта образуется за счёт вложенного в изделие труда. Теперь как она распределяется при капитализме? Часть уходит на зарплату работников и другие обязательные платежи: аренда там, то, сё; часть — государству в виде налогов, как правило, по разным схемкам оптимизации, то бишь по минимуму. Всё остальное — предпринимательский доход — в карман собственника и тратится на яхты, виллы, футбольные клубы и прочие утехи.

— Ну, а при социализме этот доход забирает не хозяин, а государство, вот и вся разница.

— Верно, забирает. И тратит на медицину, науку, образование, пенсии и прочую социалку. То бишь возвращает гражданам. Ну и на оборону, понятно. А чтоб ты понимал, какой кусок пирога достаётся буржую, такой тебе наглядный пример: водоизмещение частных яхт наших олигархов превышает совокупное водоизмещение всего Военно-морского флота России. Нормально? Прочувствуй, как говорится, разницу. Так что капитализм, он и впрямь эффективнее, но лишь для одного класса — для самих капиталистов.

— Сдаюсь! — поднял руки Сажин. — Тебя не обспорить. Я-то марксистско-ленинскую мифологию в студенческие годы не изучал...

— Зря ты так, — покачал головой Идальго. — Марксизм-ленинизм не мифология, а наука. Почитал бы — понял, чай, не глупый человек, я же вижу.

— Спасибо, — склонил Николай голову в шутливом поклоне.

Идальго снова погрозил пальцем.

— Я серьёзно. Не веришь теории, взгляни на факты: буржуазная Россия русско-японскую в девятьсот пятом продула? С позором! Ни одного сражения — ни на суше, ни на море — не выиграла. Первую мировую продула? С треском! А почему? На второй год войны капиталистическая промышленность уже не в состоянии была обеспечивать фронт даже самым необходимым. Между прочим, тогда, к четырнадцатому году, все наши банки либо прямо принадлежали, либо контролировались германским капиталом. Чего ж тут было ожидать? Зато уж частные поставщики — торгаши — на армейских закупках нажились всласть. В шампанском купались, когда простой народ хлеб получал по карточкам. А теперь возьмём Россию социалистическую. В сорок первом единственным нашим союзником против объединённой четырёхсотмиллионной Европы, со всей её экономикой, кто был? Монголия! И ничего — сдюжили. Штаты с Британией когда открыли второй фронт? В июле сорок четвертого. Когда свою страну мы от нацистов уже очистили и вышли к западным границам. А почему? Испугались, что рабоче-крестьянская Красная армия закончит войну не в Берлине, а в Париже! Англосаксы до последнего рассчитывали разверстать послевоенный мир с Гитлером, пускай только тот сломает хребет большевистской России. Ан, не вышло — пришлось, хошь не хошь — со Сталиным. И ведь мы потом ещё Японию разгромили — полутора-миллионную квантунскую армию — отвоевав потерянные царской Россией, по итогам провальной русско-японской, пол-Сахалина. И Курилы присовокупив заодно... А

уже в сорок седьмом в СССР отменили продуктовые карточки. Та же Англия, между прочим, лишь в пятьдесят четвёртом. Вот назови мне хоть одну войну, которую СССР проиграл?

— Ну, холодную-то войну проиграл.

— Враки! — отрезал Реконкистов, резанув воздух ребром ладони.

— А что, выиграл, что ли?

— Советский Союз не проигрывал Западу в холодной войне, повторяю. В восемьдесят седьмом страна свернула с пути социалистического развития, а в девяносто первом случилась буржуазная контрреволюция. Под эгидой перерожденцев из высшей партноменклатуры. Их, видишь ли, уже не удовлетворяли обычные должностные привилегии, им захотелось дворцов, зарубежных счетов и океанских яхт. Вот по причине прямого предательства с их стороны да ещё сговора этих ренегатов с национальными элитами союзных республик — а те жаждали самовластья — Союз и прекратил своё существование. А так называемая «новая Россия» окончательно отказалась от всех завоеваний социализма и от советской власти заодно. Всё! Социализм тогда кончился. Произошёл возврат в прошлое, в дореволюционное прошлое. Так вот, эта самая «новая» капиталистическая Россия холодную войну, да, проиграла. Что закономерно. И является лишним доказательством моей правоты. Усёк? Давай-ка закурим.

Спорщики одновременно закурили и минут пять, под гипнотический перестук вагонных колёс, созерцали пробегающие за окном пейзажи. От выпитого коньку Сажин порядком размяк и пребывал в благодушном настроении. «Всё-таки симпатичный тип, этот Идальго, — искоса поглядывая на соседа, думал он, — даже замечательный, по-своему. И зачем я с ним спорю? Ведь знаю же, что он прав, а всё равно спорю».

— Беда ещё вот в чём, — глубоко затянувшись, заметил Реконкистов. — В самое ближайшее время нам предстоит решающая битва с коллективным Западом... Чего ты кривишься-то? Попомни мои слова, Коля: это случится совсем скоро, ещё при нашей с тобой жизни. Нас ждёт не просто война. Это будет Рагнарёк. Армагеддон! В общем, как в песне: последний и решительный бой. И при всём при том положеньице-то у нас сегодня — у России — аховое. Похуже, чем тогда, в сорок первом. Мы ж — чего уж тут! — сами допустили расчленение страны, то бишь своими руками воплотили голубую мечту Гитлера. Даже единый славянский народ умудрились распихать по национальным квартирам. Плюс уничтожили собственную промышленность. А Центробанк превратили в филиал Федеральной резервной системы США. Встроились, едрёнать, в глобальный рынок по самое не хочу! Спасибо Горбачёву с Ельциным. Да и теперешняя власть следует тем же фарватером. Запад же, напротив, един как никогда. Англосаксы под себя всех подмяли, всю Европу. От так от, Николай...

— Страшно, аж жуть, — Николай усмехнулся, раздавил окурок и щелчком отправил его в окно. — А что случилось с нашей «ядерной триадой»?

— С триадой всё в порядке. Только это крайний аргумент, типа «так не доставайся же ты никому». Ядерное возмездие — аргумент проигравшего. На ближнем горизонте у нас — экономическая блокада, информационная война и череда прокси-войн на сопредельных территориях. Вот если не сдюжим на тех фронтах, тогда — куда деваться? — тогда бахнем. Как говорится, весь мир — в труху.

— И как полагаешь? Не сдюжим?

— Сам, Коль, прикинь: Россия сегодня — часть мировой капиталистической системы. С этим мы с тобой определились. А кто в той системе единовластный пахан?

— Штаты. И что?

— И то! Нельзя выиграть у хозяина казино. Потому и говорю: надо срочно менять вектор развития страны. На социалистический. Иначе беда. Катастрофа!

— По сути-то я с тобой согласен, вот только... что ты предлагаешь? Опять революция? Я лично стою за эволюционный путь развития.

Реконкистов поцокал языком:

— Многие думают, что эволюция — синоним прогресса. Дескать, это путь от низших, примитивных форм к высшим, более совершенным. Но ведь это не так. Тебе любой ученый-эволюционист подтвердит. Беда в том, что эволюция — приспособление живых организмов, путём естественного отбора, к окружающей среде. А это предполагает, что развитие жизни не всегда и не обязательно идёт от низших форм к высшим. Возможен и регресс. Если того требует среда. Ты ж, Николай, образованный человек и знаешь не хуже моего, что некоторые организмы в процессе этой самой эволюции утратили за ненадобностью, кто зрение, как землеройки или разные там паразиты навроде клещей, кто конечности, как киты и дельфины, а кто и мозг. То бишь эволюция может вести к упрощению, даже к дегенерации. Вот и в нашем случае наблюдается явный регресс, когда паразиты-торгаши взяли реванш. И здесь мы как раз видим работу законов эволюции в действии. Но, Николай, развитие человеческого общества тем и отличается от общей эволюции природы, что во внимание и в расчёт принимаются не

только выгода и выживание, но и такие отвлечённые понятия, как свобода, равенство, братство... справедливость, наконец.

— Либерте, эгалите, фратерите, — вставил Николай.

— Вот-вот. Подлинный прогресс общества возможен только в результате — и как итог — революционных преобразований. То бишь осмысленных и организованных. В рамках природы это невыполнимо, революция возможна только как продукт осмысленного движения человеческих масс. Я хочу сказать, что революция — это привилегия разумных существ, восставших против извечных законов эволюции.

— Революция — привилегия разумных существ, восставших против законов эволюции, — повторил Николай. — Звучит убедительно, однако... Выходит, всё-таки революция?

Реконкистов глубоко вздохнул и наполнил рюмки.

— Беда в том, Николай, что социальная революция сейчас по факту невозможна. Народ отравлен, зомбирован перманентной пропагандой, теле- и интернет-лапшой, регулярным охаиванием всего, мало-мальски относящегося к социалистическим ценностям. Ты-то, Коля, считай, не застал той эпохи, поэтому не замечаешь...

— Здесь соглашусь, — прервал его Сажин. — Вранья много. Брешут даже и по мелочам. Вот только вчера услышал по ТВЦ, дескать, в советские годы покупка трески была большой удачей, а про креветки народ вообще слыхом не слыхивал. А ведь брехня! У меня в детстве жил ангорский кот, Тихоном звали, он в нашей семье появился ещё до моего рождения, но и при мне прожил ещё лет десять. Так вот, жрал, гад, одну эту самую треску, каждый день. Больше ничего не признавал. Как сейчас помню, пятьдесят шесть копеек за кило. Дашь ему хек, так он нос воротит. Если и пожуёт, то без всякого удовольствия. Я к тому, что ни разу за все эти годы не было проблем с его кормёжкой. Это я хорошо помню. А сам я треской и хеком тогда брезговал — кошачий же корм.

— Вот-вот! — закивал Реконкистов. — А про креветки разве не та же брехня? Что ж я тогда в студенческие годы потреблял под пивко? Зайдёшь, бывало, к друзьям-приятелям в семейное общежитие на проспекте Вернадского, купишь в ближайшем рыбном креветок, или там ещё продавались такие огромные крабьи ноги, и на общей кухне сваришь по-быстрому. Красота! И ведь креветки-то были хотя и не королевские, зато настоящие, природные, а не нынешние мутанты, выращенные в грязных сточных прудах на кормах с пестицидами да антибиотиками... Это, понятно, мелочи. Но ведь во всём так! Я тебе вот что скажу, — он подался вперёд и понизил голос. — Это целенаправленная информационная политика, дабы оболванить новые поколения. Слушаешь, слушаешь и даже сам начинаешь верить про «империю зла». Втюхивают ведь круглосуточно, как мы плохо жили. А детям, тем и вовсе со школы выедают мозги. Потому я и говорю — социалистическая революция сейчас абсолютно невозможна. Ну, к примеру, сковырнут некие барбудос нынешнюю власть, а кто придёт ей на смену? Новая семибанкирщина? Кто воспользуется плодами победы? Уж никак не левые силы. Социалистическая идея сегодня дискредитирована донельзя. И это, Коля, сделано намеренно, чтобы подстраховаться. Случись даже социальный взрыв, он приведёт лишь к перераспределению собственности между своими. Ну, вон как на Украине. Так что, прежде социальной нужна информационная революция.

— Шабаш, хватит политики, — сказал Николай, испугавшись, что разговор сползёт на бесконечную и болезненную украинскую тему, — вернёмся к личностям. Как я понял, частный сектор тебе тоже пришёлся не по нутру. И что ты теперь? Пенсионер?

— Не совсем. Сотрудничаю с одной общественной организацией, — уклончиво ответил Георгий. И вдруг кардинально сменил тему: — Давно мозолями маешься?

— Что? Какими мозолями? Ты о чём?

— Да вот, гляжу, у тебя один ботинок на размер больше другого, — Реконкистов кивнул на левую кроссовку Николая.

— А-а... Ты вот про что. Нет, это из-за артрита. Ревматоидный артрит у меня, — Сажин никому и никогда не говорил про свой лишний мизинец. Он и сам толком не знал почему, но тема эта его изрядно напрягала. Если, как сейчас, кто-нибудь обращал внимание на разномерную обувь, Николай отговаривался артритом или бурситом стопы. — А к чему ты вдруг?

— Не бери в голову, — махнул рукой Георгий, — это профессиональное. Профессиональная деформация личности. Привык, понимаешь, вычленять в каждом человеке особые приметы.

— Слушай! А как ты узнал, что я направляюсь в Чухлому?

— Ты мне сам сказал.

— Нет, — медленно произнес Сажин, — не говорил.

— Разве? — поднял бровь Реконкистов и пожал плечами: — Значит, от проводницы.

— Ей-то откуда знать? У меня билет до Галича, в Чухлому поезда не ходят.

— Вот! — поднял палец Георгий. — Выходит, ты сам давеча упомянул в разговоре про Чухлому. Иначе, сам посуди, откуда бы я это взял?

— Действительно... — засомневался Сажин.

— Ты лучше ответь, как ты намерен добираться из Галича до своей Чухломы? Пешедралом или на попутке?

— Очень просто, — самодовольно усмехнулся Николай. — Я всё разузнал заблаговременно. От Галича до Чухломы ходит автобус, а автовокзал — прямо в здании железнодорожного вокзала.

— Верно, — кивнул Георгий. — Только поимей ввиду, последний автобус отходит в 22.10, а в Галич ты прибудешь в десять вечера. Так что на всё про всё у тебя от силы десять минут, иначе придётся ночевать на лавочке.

— А вот за это спасибо! — порадовался Сажин. — Очень ценная информация, тебя мне прямо само провидение послало. И вообще... ты будто наперёд всё знаешь. Ты прямо-таки этот... как его? Вольф Мессинг!

— Мессинг был шарлатан, фокусник и враль. Сам про себя легенды сочинял и потом распускал для самопиара. Когда бы он и впрямь обладал такими сверхспособностями, что ему приписывают, зачем бы ему в цирке-то выступать?.. К слову сказать, я тут недавно прочёл любопытную статейку. В журнале «Наука и жизнь», про неандертальцев. Так вот, как известно, неандертальцы — не наши предки, они независимо произошли от питекантропов, то бишь приходятся нам родственниками, так сказать, по «прадедушке». Когда наши предки кроманьонцы пришли в Европу из Африки, там уже более сотни тысяч лет проживали эти самые неандертальцы. Порядка двадцати тысяч лет мы с ними сосуществовали, а потом не то их истребили, не то ассимилировали, а может, и то и другое. Короче, наш вид оказался жизнеспособнее. Ко всему у неандертальцев был популярен каннибализм, в том числе ритуальное пожирание собственных предков. Чтоб добро, хе-хе, не пропадало. Некоторые дикие племена Новой Гвинеи и сегодня практикуют подобное. Беда в том, что такие пищевые традиции способствуют распространению наследственных заболеваний. Вот так вот, Николай... Но не думай, что неандертальцы в умственном отношении стояли ниже нас. Совсем нет! Мозг типичного неандертальца по объёму даже превосходил мозг современного человека. Однако в отличие от нас, сапиенсов, у них были сильнее развиты затылочные доли и слабее — лобные. А лобные доли, если знаешь, отвечают, прежде всего, за логико-аналитическое мышление, затылочные же — за символическое. Следовательно, человек разумный, можно сказать, социальнее неандертальца. Ну, то бишь эффективнее обуздывает тёмные, животные инстинкты. Зато, если и есть какая-то реальная основа под всякими там телепатиями и магиями, то у неандертальцев это должно было присутствовать максимально...

— Да, я читал что-то такое, — покивал Сажин. — Так, может, у тебя, того... избыток неандертальских генов?

— Если бы, — вздохнул Георгий и посмотрел на наручные часы: — Ого! Десять минут девятого. Ну что ж, Коля, пора прощаться. Скоро моя станция... Знаешь, я очень рад нашему знакомству. Заявляю без всякой задней мысли. Приятно провести время с умным человеком.

— Взаимно, — заверил Николай.

— Спасибо. Но вот о чём я подумал. Нашей общественной организации нужен такой человек, как ты. Пишущий. Скажем, что-то вроде пиар-менеджера или пресс-секретаря. Не хотел бы посотрудничать? Оклад положим достойный.

— Спасибо, Георгий, — искренне поблагодарил Сажин, — только я дорожу своей независимостью. Сам же мне расписал «прелести» работы на хозяина. Нет, я — свободный художник. Почти.

— У нас хозяина нет! В том и фишка. Мы организация общественная, целей извлечения прибыли не преследуем. А управляет всем совет из числа членов самой организации. И свободы твоей никто не ущемит. Ходить на службу не надо, будешь работать на основе фриланса, дистанционно то бишь. Ну, знаешь, сейчас это модно. И загружать тебя шибко не будем, обещаю.

— Да ты толком и не рассказал, что у вас за общественная организация?

— Как тебе объяснить, — задумался Георгий. — Вот ты давеча согласился со мной, что в стране идёт массовая промывка мозгов, очернение как всех достижений советской эпохи, так и преимуществ социализма в целом?

— Факт очевидный.

— Во-от, — поднял палец Реконкистов. — А наша общественная организация имеет своей целью противостоять этому навалу клеветы и очернительства.

— Каким же макаром? — хмыкнул Сажин. — Прокламации, что ль, лепите на фонарные столбы?

— Скажешь тоже. Путем публикации разоблачительных статей в тех же СМИ, ну

и... есть у нас и ещё кое-какие возможности, рычаги, так сказать, влияния.

— А! Готовите ту самую информационную революцию, про которую ты говорил?

— Скорее, пытаемся, по мере сил, сгладить последствия информационной контрреволюции. На большее не посягаем. Пока.

— Любопытно. Нет, правда-правда. А... за чей счёт этот банкет? Финансирует-то вас кто?

— Иностранным агентом мы не являемся, если ты про это. Ни юридически, ни по факту. Чисто отечественная разработка. И, прошу заметить, всё в рамках закона, на легальных основаниях, как говорится.

— Всё равно туманно как-то и загадочно. Хотелось бы прояснить детали.

— Вступишь в наши ряды — будут тебе детали. Могу лишь сказать, идти против совести и убеждений никто тебя понуждать не станет. И вообще, обещаю не грузить чаще одного-двух раз в месяц.

— Ёлки-моталки! Чем не грузить? Ты всё вокруг да около.

— По профилю будем грузить, по профилю. Ну, напишешь пару статеек в месяц для печатных или сетевых СМИ, не более того. Может, и менее. А оклад, заметь, положим твёрдый, независимо от объема работы. Скажем, тысяч восемьдесят. Для начала.

— Ого! — округлил глаза Николай. Перед его мысленным взором сами собой нарисовались радужные перспективы и приятные возможности. — Богато живёте, товарищи.

— Значит, по рукам? — прищурился Георгий.

— Ох... — заколебался Николай. — Заманчиво, что и говорить. Но всё ж таки дай мне время поразмыслить. Очень уж всё неожиданно.

Состав начал торможение. Реконкистов снял с багажной полки свой чемодан и протянул Николаю ладонь. Тот крепко её пожал.

— Подумай, Коля, подумай, — он сунул Сажину прямоугольный кусочек картона. — Моя визитка. Там и мобильный, и е-мейл. Надумаешь — звони или пиши.

Глава 6

Маленькая автостанция, где завершился маршрут Сажина, находилась, по всей видимости, на самой окраине города; невдалеке чернела стена леса. Прежде чем выйти из салона автобуса, Сажин поинтересовался у водителя, как ему найти в Чухломе гостиницу, чтоб прилично и недорого.

— А здесь одна, — пояснил шофёр. — Идите сейчас по улице Свободы к центру, до пересечения с Советской; как увидите церковь, сверните налево, и напротив памятника Ленину она и будет. Да на ней написано, не спутаете.

Улица, по которой отправился Сажин, была безлюдна и слабо освещена — лишь кое-где на деревянных телеграфных столбах висели фонари; впрочем, почти полная, лишь слегка на ущербе луна позволяла рассмотреть городскую застройку — в основном деревянные дома. Изредка попадались и каменные или со сложенным из кирпичей первым этажом. Заметив красивую бело-голубую церковь с шатровой колокольней, Николай повернул налево. В центре каменные здания встречались чаще — в большинстве своем постройки начала прошлого, конца позапрошлого веков. И освещение здесь было получше.

На одном из домов он разглядел тускло мерцающую вывеску: «ГОСТИНИЦА». Здание было кирпичным, двух-, точнее, полутораэтажным, так как первый этаж глубоко — до середины окон — врос в землю, превратившись в полуподвал. Над средней частью гостиницы возвышался деревянный мезонин с ажурным железным балконом.

— Можно мне одноместный номер? — спросил Сажин у дежурной администраторши, сидящей в деревянной конторке с маленьким окошечком.

— Четырёхкоечный есть, устроит?

— А цена какая?

— Пять сто сутки.

Николай присвистнул.

— Ладно.

— Давайте паспорт.

Взяв документ, дежурная предупредила: «Душ, туалет — в коридоре». Сажин только матюгнулся про себя.

— Николай Николаевич Сажин? — уточнила администраторша, поднимая голову и с подозрением рассматривая гостя.

— Как видите.

— У меня для вас тут оставили. Вот, — она протянула в окошечко заклеенный конверт, на котором крупными печатными буквами значилось: «Николаю Николаевичу Сажину лично в руки».

Николай распечатал конверт и достал сложенный вдвое тетрадный листок в клеточку. Там знакомым бисерным почерком было написано:

«Николай Николаевич, здравствуйте!

Я не знаю, воспользуетесь ли Вы моим приглашением, но коли читаете эту записку, значит, решились-таки приехать в наши пенаты. Ни в коем случае не останавливайтесь в гостинице. Во-первых, она Вам, столичному жителю, покажется весьма затрапезной, когда не хуже, а во-вторых, я Вам лично позже объясню, отчего этого не стоит делать. Да и к чему Вам тратиться, когда у меня к Вашим услугам уютная свободная комната и даже с балконом? Стеснить Вы меня не стесните — я живу один, кроме того, именно мое письмо явилось причиной Вашего приезда сюда, и нам многое с Вами потребно обсудить, а потому никаких отговорок я не приму. Сейчас, как выйдете из гостиницы, поверните налево до первого перекрестка и спускайтесь вниз по Травяной улице. У самого Озера улица поворачивает направо и Вы — вместе с ней. Третий дом после поворота — с красными наличниками — мой. Жду Вас с нетерпением, Ваш В.А. Таганов».

Травяная улица, пролегающая между двумя рядами бревенчатых изб, на которую, следуя указаниям Таганова, свернул Николай, в этот поздний час оказалась абсолютно пустынной. Пешеходная дорожка отделялась от проезжей части канавой, густо заросшей травой, но была столь узка и ухабиста, что чемодан то и дело заваливался набок, поэтому Сажин, подняв его за ручку, перешёл на середину дороги, благо, никакого транспорта в пределах видимости не наблюдалось.

Впереди засеребрилась широкая лунная дорожка на чёрной глади Чухломского озера. Значит, он почти у цели. Когда улица поворотила направо и пошла вдоль пологого озёрного берега, Сажин принялся считать дома: первый, второй... а это что, дом или сарай? Он прошёл дальше и увидел бревенчатую избу с мансардой и кованым железным балконом, как он успел заметить, являющимся характерной особенностью здешней архитектуры. Все два окошка в доме теплились желтоватым светом; их обрамляли резные ярко-красные наличники. По узенькой утоптанной тропинке, проложенной во флоксовых зарослях, источавших в ночи густой пряный аромат, он обошёл дом со двора, поднялся на скрипучее крыльцо и трижды постучал.

Дверь отворилась сразу, будто хозяин караулил в сенях.

— Здравствуйте, — неуверенно поздоровался Сажин с вышедшим на порог мужчиной с керосиновой лампой в руке. — Вы Таганов Виктор Антонович? Я не ошибся домом?

— Он самый, — пробасил хозяин. — А вы, надо полагать, Николай Николаевич будете?

— Да, я Сажин, — подтвердил Николай, разглядывая Таганова.

Автор загадочного письма оказался совсем иным, нежели представлял Сажин. Коренастый крепыш лет пятидесяти пяти, широкое загорелое лицо, обрамлённое русой бородкой, в уголках бледно-голубых, будто выцветших глаз залегли смешливые морщинки. Он порядком смахивал на Хемингуэя, недоставало только трубки. Сажин тут же, по всегдашней своей привычке, окрестил его про себя «Папа Хэм».

— Как славно, как замечательно, что вы решились приехать! — воскликнул Таганов, вынул из кармана широких штанов короткую вишнёвую трубку и воткнул её в рот. — Что ж мы стоим? Проходите в горницу. Добрый гость всегда в пору. Давайте, я с вещами помогу.

Несмотря на протесты, он отобрал у Сажина чемодан. Пройдя через тёмные, заставленные хозяйственным инвентарём сени, они попали в освещённую комнату, которую Таганов назвал горницей. Николай осмотрелся. Горница имела вид патриархальный, даже музейный: русская печь едва не в полпомещения, тяжёлый потолок из сплошного круглого накатника, стены, сложенные из гладко отёсанных брёвен, по стенам — широкие лавки. На специальных полках над ними расставлены всевозможные предметы старинного домашнего обихода: горшки, угольные утюги, медные ковши и кувшины; по стенам развешаны коромысло, ухват, широкая деревянная лопата для отправки хлеба в печь (Николай позабыл её название); в одном углу стояла ступа, в другом — прялка с веретеном и окованный почернелым железом вещевой сундук. Снижал впечатление старенький пузатый телевизор «Sony» с электронно-лучевой трубкой в красном углу. Там же стоял покрытый кружевной скатеркой стол с латунным самоваром и три массивных стула с высокими прямыми спинками.

— Пойдёмте, я вам сразу покажу вашу комнату. Освежитесь с дороги — умывальник там есть. Остальные удобства, увы, во дворе. А после мы с вами отужинаем.

Таганов снова подхватил чемодан и по узкой лестнице поднялся вместе с Николаем на мансардный этаж. Предназначенная Сажину комната с низким, скошенным по бокам потолком несколько напоминала гроб, но в целом выглядела уютно. По левой стене размещалась железная пружинная кровать с шишечками, над ней висел коврик с лебедями и удящим рыбу котом, у окна — массивный письменный стол, а по правой

стене — книжный стеллаж от пола до потолка. В пристенке рядом с дверью крепился навесной рукомойник с подставленным под него эмалированным ведром; рядом с гвоздя свисало чистое вафельное полотенце.

— Вообще-то это мой, так сказать, кабинет, — пояснил Виктор Антонович. — Тесновато, согласен, но жить ведь можно?

— Вполне, — согласился Сажин.

— Вот и хорошо. Тогда располагайтесь, а я пока разогрею ужин.

Где-то через полчаса Николай сидел вместе с хозяином за столом в горнице. Нехитрый ужин — макароны «по-флотски» — был съеден, и теперь Сажин с Таганoвым чаёвничали. Чай был крепким и ароматным, явно с добавлением каких-то душистых трав.

— Понимаю, — начал Таганов, до того попросивший гостя оставить все вопросы на после трапезы, — вам не терпится узнать о результатах моих изысканий, про которые я вам писал, так?

— Конечно. А ещё вы намекнули в письме о некой грозящей мне опасности.

— Это всё взаимосвязано. Но прежде я дам вам прочесть один документ исторического, не побоюсь этого слова, значения. Да-да, не улыбайтесь, Николай Николаевич. Впрочем, нет. Сначала я расскажу, каким образом этот документ попал мне в руки. Дело было так... Некогда у нас в Чухломе имелась своя городская библиотека. Весьма неплохая, замечу. Ваш покорный слуга являлся её завсегдатаем. Особенно мне нравилось копаться в библиотечном архиве, запаснике, так сказать, где хранились совсем ветхие издания и всякие старые документы. Я, знаете ли, всерьёз увлечён историей нашего города и даже, между прочим, написал книжку. «Чудный город Чухлома» называется. Но об этом после... И вот однажды мне на глаза попалась папка, зелёная такая с тесёмочками, а в ней — кипа исписанных листов. Листочки все жёлтые, в «лисьих» пятнах, а рукописный текст — с ятями, ерами, фитами да ижицами, то бишь писан, очевидно, до орфографической реформы восемнадцатого года. Я, понятно, заинтересовался, стал читать. И что же? Хотя начало рукописи отсутствовало — думаю, утрачен лишь самый первый лист — по всем приметам выходило, что эти листки — неизвестное письмо Павла Ивановича Мельникова-Печерского, адресованное Владимиру Ивановичу Далю. Вы, верно, знаете, что Мельников-Печерский был коротко знаком с автором «Толкового словаря живого великорусского языка» и даже три года жил в его московском доме на Большой Грузинской. А впервые познакомились они еще в Нижнем. По ходу чтения я понял, что, судя по многочисленным поправкам и пометкам, мне в руки попал черновик. Само же письмо, как мне думается, так никогда и не дошло до адресата. Черновик датирован не был, но поскольку речь в бумагах шла об изыскательской поездке Мельникова-Печерского в эти места по поручению тогдашнего министра внутренних дел Тимашева, мне без особого труда удалось установить, что описываемые автором события относятся к лету 1869 года. Хотя само письмо писалось спустя год после той поездки. А возможно, и позже. Содержание этого неотправленного письма настолько поразило мое воображение, что... Впрочем, лучше прочтите его сами, вот оно.

Таганов вытащил откуда-то из-под стола и передал Николаю линялую зеленую папку. Сажин развязал тесёмки; внутри, как и говорил Таганов, находилась нетолстая пачка листов, исписанных выцветшими от времени чернилами. Николай взглянул на рукопись, потом на хозяина, хмыкнул и начал читать.

«*Всей душой надеюсь, что и вы, любезный мой Владимир Иванович, в столь же добром здравии ныне пребываете. Но вернемся к приключившейся со мною поистине диковинной истории. И хотя в прожитом времени много было мною видано, много слышано и немало такого знаемо, что весьма немногими знаемо, эта история стоит особняком, в силу её особенной удивительности. При всём том смею вас уверить в её полной правдивости. Во всяком случае рассказ мой коснётся лишь тех событий, которые сам видел и про которые сам слышал. А как вам, Владимир Иванович, ведомо, Бог дал мне хорошую память, и где я ни был бы, что ни видел, что ни слышал, всё твёрдо помню. И когда вздумается мне про то писать — пишу по памяти, как по грамоте, согласно старинному присловью. Коли изложение мое не стройно окажется — простите покорно, но представляя, что стало мне известно, не смею дозволить себе для большей стройности изложения что-либо переиначивать. Так вот, продолжаю.*

Из Нижнего я выехал двадцать первого июня вместе с моим старинным приятелем Константином Николаевичем Бестужевым-Рюминым. Вам он также хорошо известен. Помните, в свое время вы весьма высоко оценили его статью о современном состоянии русской исторической науки в «Московском обозрении» за 59 год?»

Тут на Сажина напала непреодолимая зевота, а замысловатая вязь старинного почерка стала предательски расплываться.

— Что ж это я! — воскликнул Таганов. — Вы ж, считай, целый день в дороге, а я вас гружу по полной. Ложитесь-ка, Николай Николаевич, сейчас спать, а завтра с утречка дочитаете, и мы все с вами обсудим.

— Да, глаза прямо слипаются, извините, — зевнул Сажин.

— Спать, спать, немедленно спать.

Глава 7

Но, удивительное дело, стоило Сажину лечь в кровать и выключить свет, сон точно рукой сняло. О какой такой «поистине диковинной истории» повествуется в письме? И каким боком она может касаться его, Николая Сажина? Да и вообще, как письмо, написанное без малого сто пятьдесят лет назад, способно таить для него опасность? Такие и подобные мысли заставляли ворочаться его с боку на бок, а металлическая сетка под тощим матрасом аккомпанировала им ехидным поскрипыванием. Наконец, плюнув, он включил настенное бра, взял со стола рукопись и вновь углубился в чтение.

«*Пропускаю дальнейшие не относящиеся к моей истории события и перехожу...* — (Это неоконченное предложение было зачеркнуто). — *Korga мы с ним были в Урене, у самой границы Вятской и Костромской губерний, на постоялый двор, где мы остановились на ночлег, прискакал посыльный с запиской от капитан-исправника Чухломского уезда Ивана Андреевича Кокорина. В той записке исправник писал, адресуясь ко мне, что, как ему стало известно, что я нахожусь здесь по прямому указанию Александра Егоровича Тимашева с поручением провести изыскания о состоянии дел в северных губерниях, так он настоятельно просит посетить его уезд, поскольку-де в одной из деревень Алешковской волости творятся большие непорядки: завелись там якобы некие сектаторы — не раскольники и не хлысты, коими в Заволжье никого не удивишь, а какая-то вовсе неслыханная секта; и творят те сектаторы всякие безобразия и даже похищают для своих ритуальных целей местных девок. А продолжается-де это уж неведомо сколько лет — издавна, только прежнее полицейское начальство это всё под сукно прятало, а он, Кокорин Иван Андреевич, хочет оное непотребство вытащить на свет божий и пресечь. Но человек он на должности новый, опыта недостаёт, при этом немало наслышан о моих прежних успехах в борьбе с расколом и ересями, о ревностном исполнении служебного долга и неумолимой суровости, с каковой я приводил в единоверие керженские и чернораменские скиты, а потому обращается ко мне с просьбой оказать помощь и содействие в расследовании, дабы изобличить фанатиков-изуверов, привлечь их,* — (следующие два слова были вымараны), — *и прочая.*

После ознакомления с сей запиской, мне на память поневоле пришёл рассказ (весьма недурной, кстати, а вот название позабыл) Алексея Феофилактовича Писемского, пропечатанный лет пятнадцать или более назад в «Современнике». В нём тоже ведётся речь о таинственных пропажах девок, приписываемых народной молвою лешему. Причём действие, помнится, разворачивалось именно что в Чухломском уезде! На поверку же разъяснилось, что всё это пустяки и виновник пропаж не в меру сластолюбивый барский управитель. Итак, изначально достоверность полученных сведений вызвала у меня серьёзные сомнения. Тем не менее, я тут же собрался и немедленно выехал. Константина же Николаича оставил за себя в Урене.

И вы меня, Владимир Иванович, знаете: мог ли я устоять, услыхав про неведомую и дотоле неизвестную мне секту? Да и вправе ли я был исключать возможность существования оной? Уж с какими нелепыми, небывалыми и изуверскими сектаторами не доводилось мне сталкиваться за годы службы! Чего стоят те же хлысты или скопцы, я уж не говорю про морельщиков, детоубивателей, самосжигателей, шелапунов и многих-многих других, обитавших и доныне обитающих в Брынских лесах нижегородского и костромского Заволжья. Признаться, польстило мне и сделанное исправником упоминание о прежних моих заслугах и победах. Хотя заслуги те далеко не всем пришлись по нутру. Керженские беглопоповцы, к примеру, иначе как «сыном пагубы, отступником Христовым» меня не именуют, говорят, что я-де знаком с чертями и при моём появлении гаснут свечи. В тех местах по сию пору ходит про меня одна легенда: дескать, когда я ночью увозил из Шарпана икону Казанской Богородицы — великую их шарпанскую святыню, то на плотине у речки Белой Санохты, под Зиновьевом, вдруг ослеп. И хотел, устрашившись, тут же бросить ту икону в реку, но дьявольским наущением отвращён был от этого; зато потом мне от дьявола же зрение возвернулось. Вот ведь оно как! Вам ли, друг мой, не знать, какая это сущая ерунда, сколь далеко это от истины. Да, я всегда был и остаюсь врагом религиозного фанатизма, аскезы и начётничества. — (Оба последующих предложения автор перечеркнул). — *Впрочем, я, кажется, вновь вдался во многоглаголание, а посему спешу вернуться к предмету настоящего письма.*

Опуская подробности поездки, перехожу сразу к встрече с исправником Иваном Андреевичем Кокориным, каковая состоялась в назначенном им месте — в деревне Филино Алешковской волости Чухломского уезда. Иван Андреевич оказался мужчиной в летах, но помоложе меня — лет этак сорока с гаком, представительной наружности и статного сложения. Он с первого погляда произвёл на меня самое благоприятное впечатление: в прошлом боевой офицер, участник трагической для нас Крымской войны, на груди — медали за оборону Севастополя и за усмирение недавнего польского мятежа (последняя — из светлой бронзы — порадовала меня особенно), значит, побывал в переделках; речь обстоятельная, манеры исполнены достоинства. В общем и по всему, человек на этой должности не случайный. В становой квартире, где ожидал меня капитан-исправник, присутствовали, помимо него, также местный преподобный — тонкий да звонкий, седой как лунь старец с козлиной, — (последнее слово вычеркнуто), *— с жидкой бородёнкой, какие обыкновенно изображают у китайских мандаринов; ещё дюжий рябой детина с отёчным лицом и востроглазый мужик лет тридцати с кудрявой русой шевелюрой.*

— Имею честь представиться: чухломской земский исправник Кокорин Иван Андреич, — отрекомендовался исправник. — Спасибо, Павел Иваныч, что не оставили мою просьбу без внимания. Это вот, — исправник указал на преподобного, — отец Зосима, священник церкви Ильи Пророка села Верхняя Пустынь, он здесь на правах старожила, хранителя, так сказать, преданий старины глубокой, ну и от духовных властей. А эти господа, — кивнул он на остальных, — представители уездной полиции, которые, так сказать, сопричастны и, гм... будут полезны. Вот здешний хозяин — становой пристав...

— Степан Звонов, — просипел рябой детина, распространяя вокруг злой водочный дух. И зачем-то добавил: — Не имеющий чина, из чухломских мещан.

— А этот вот, сотский Ефим Турусов. Он местный, филинский, и сможет засвидетельствовать, поскольку всё, так сказать, на его глазах...

— Точно так-с, вашбродь, — тряхнув кудрями, подтвердил сотский.

Перезнакомившись таким образом, мы сели чаёвничать. Стол уж был накрыт.

— Ну что же, Иван Андреич, рассказывайте, какая такая диковинная секта у вас завелась, — спросил я исправника, — которая девок уводит. Между прочим, личность последней похищенной известна?

— Известна, Павел Иваныч, как неизвестна, — несколько смущённо подтвердил исправник. — Впрочем, полагаю, правильнее, если про неё вам расскажет пристав Звонов как лицо, изначально владеющее всеми, так сказать, деталями... Докладывай, Степан!

— Слушаюсь, ваше высокобродие! — вскочил пристав.

— Ты, Степан, чаю, что ли, похлебай, — поморщился исправник, — а то несёт, как из бочки. Нехорошо, братец, право нехорошо.

— Чай нам не по нутру, — пробурчал пристав, переминаясь с ноги на ногу.

— Известно! Было бы винцо поутру. Тогда пожуй чего-нибудь, вон хоть баранку. И садись, не на плацу же.

— Да, давайте без церемоний, — поддержал я. — Время дорого — пропал человек, а мы политесы разводим.

Пристав послушно пихнул в рот баранку и продолжил с набитым ртом:

— Пропавшую зовут Настасьей Теляевой, девка неполных семнадцати лет, тутошняя она, филиновская. Пропала четверо суток назад. Сегодня только сыскалась...

— Как сыскалась? — не понял я.

— Сама воротилась, — пояснил пристав.

— Стало быть, и пропажи никакой нет? Может, и с сектой та же история?

— Так ить она не целая воротилась.

— Что значит «не целая»? Надругались, что ль, над нею?

— Про это самое ничего не знаю, поскольку девка не в себе сделалась, полоумная. А не целая, потому как у ней три пальца — мизинец, средний и безымянный — на правой руке напрочь откушены.

— Откуда известно, что именно откушены? — уточнил я. — Может, отхватила серпом, топором оттяпала или ещё как?

— Таково заключение земского доктора Колокольского, который осмотрел её по моей просьбе, — вставил исправник.

— Сама-то как объясняет? — спросил я.

— Говорю ж, вашбродь, не в уме девка. Бормочет что-то про «чудь белоглазую», которая её в Чудь-гору утащила, и там, в той Чудь-горе, двое суток держала. А она отель как-то сама сбегла, а после ещё двое дён плутала по лесу, ягодой да грибами питалась, покудова не вышла к соседней деревне Чурилово. Ещё бает про чудского божка Кузю, которому-де её в жёны там уготовили.

— Вы же понимаете, Павел Иванович, — вновь вступил в разговор исправник, — что

не стал бы я вас беспокоить из-за какой-то пропавшей девки. Не столичному же начальству эдакими делами заниматься. Тут важно, что не первая она такая. Как я вам и писал, тут действует стародавняя и притом тайная секта.

— Давайте по порядку и с самого начала, а то мы этак до сути никогда не доберёмся, — предложил я.

— По порядку вернее, — согласился исправник. — Тогда предлагаю следующий порядок: пускай сначала пристав Звонов изложит обстоятельства нынешнего похищения Настасьи Теляевой, а сотский Ефим дополнит, как и отчего. А после того отец Зосима расскажет, что в здешних местах известно про секту (или кто там эти лешие?), пояснит, так сказать, предысторию вопроса. Я же со своей стороны представлю обстоятельства, ставшие мне известными по ходу следствия.

— Давайте так, — согласился я. — Только я хочу после сам ту Настасью допросить.

На том и порешили.

(Далее был густо вымаран целый абзац; Сажин не стал его разбирать, а перешел к следующему).

Но я уже вижу, Владимир Иванович, что письмо мое стремительно превращается в беллетристический рассказ и едва ли не в духе Эдгара Поэ, а посему, дабы не затягивать повествования, изложу своими словами содержание дальнейшей беседы, а также того, что поведала мне девица Настасья, которую я допросил в тот же день.

Со слов пристава Звонова и сотского Ефима выходило, что Настасья Теляева пропала с 23 на 24 июня, аккурат в ночь на Иванов день. Вы, Владимир Иванович, знаете, что купальскую ночь во многих местностях Заволжья по сию пору празднуют, несмотря на очевидно языческий характер этого праздника. Как ни старалась церковность истребить всякие остатки языческой обрядности, много обломков древней старорусской веры доселе сохраняется в нашем простонародье. Вот и Настасья отправилась на закате с подружками на речку Вексу жечь костёр, купальные травы да банные веники собирать, ну и в Вексе купаться, понятное дело. Пошла, а назад не вернулась. Подружки божились, что была она с ними до последнего; и они только тогда её хватились, как засобирались по домам; искали и кликали до самых петухов, потом вернулись с мужиками, но всё попусту — Настя как в воду канула. Да только в той речке Вексе не утонуть — больно мелка и омутов рядом нет. Думали разное: заплутала в лесу, лихого человека встретила, а то мог медведь заломать, в чухломских лесах их про пасть.

А утром, в день моего приезда, её бесчувственной нашёл пастух, в березняке у поля, что возле деревни Чурилово, в пятнадцати верстах от Филино. Вместо сарафана на ней дерюга драная, сама с ног до головы исцарапана, точно через ежевичные кусты напрямки ломилась, и трех перстов на правой руке не хватает. Уже дома — а жила она без матери, со вдовым отцом, мужиком непутным, запойным, который даже и в поисках дочери не участвовал, а все дни провалялся пьяным, — маленько прочувствовавшись, Настасья поведала, что когда она с другими деревенскими девками купальные травы собирала, позвал её из лесу, из-за сосенки, некий голос, ласковый такой, шепотливый, вроде женского, по имени позвал: «Подь-ка сюды, Настасьюшка, подь, голуба-душа, глянь-кось, чего у меня есть для тебя». Девка сначала поостереглась, хотела подружек кликнуть, а голос снова: «Ты только не говори никому: у меня от матушки твоей гостинец, как помирала, горемычная, наказала передать тебе на Иванов день, во купальску ночь». Осмотрелась Настасья: костёр весело горит, потрескивает, луна, от реки отражаясь, ярко светит, вокруг видать всё, ровно белым днем, да и подружки вот они, рядом, в речке плещутся, песни поют. Чего бояться? Она и зашла за сосенку-то. Зашла, глядь, никакой женщины там и нет, а стоят три мужичка: дробные, ниже её ростом, бородами по самые глаза поросли, а глаза — белые-белые, только зрачки угольками чернеют. Скумекала тут Настёна, что это её чудь белоглазая заманивает, хочет своему богу Кузе в жёны отдать. Дернулась прочь, да куда: сзади ей руки-ноги обхватили, повалили наземь, на голову мешок или что другое нахлобучили; она девок на помощь звать, да сквозь мешок не больно покричишь, а за смехом девичьим и песнями купальскими те, видно, не услыхали, а тут ей рот зажали и уволокли в лес. Тащили долго, она все брыкалась, норовила вырваться, убежать, тогда похитители сделали остановку, всю её с головы до пят лыками обвязали и дальше понесли.

Очнулась она в какой-то каморе без окон вроде чулана; лежит она, развязанная уже, на свежей соломе, вдоль стен — не то каменных, не то глинобитных, не разобрать — толстые сальные свечи горят, будто в храме на двунадесятый праздник, а супротив неё, у самого изголовья, на корточках, по-татарски, сидит дед: страшный, жёлтый, тощеватый такой, но без бороды — лицо скоблёное, а на глазах стёклышки, «как у фершала», только синие. И принялся тот жёлтый дед её уговаривать да началить, чтобы вела себя послушно, делала всё, что ей велят, и тогда-де будет ей счастье великое: примет её бог Кузя в законные жёны, и станет она как сыр в масле кататься — в золоте ходить, в руках серебро носить — ни в чём отказа иметь не бу-

дет. Ну а ежели супротивиться или того хуже — бежать удумает, то вовек уж белого света не увидит. И ставит перед ней липовую плошку, по виду с кашей, только вроде как с грибами, и строго так велит: «Ешь! Кузя до тощих девок не охотник». Настя не посмела перечить и поела той каши. А как поела, разморило её шибко и на сон потянуло. Долго ли спала, коротко ли, она не знает, только как очи размежила, видит, старуха над нею склонилась — чистая Яга! Горбатая, простоволосая, лохмы седые до пупа висят, нос в подбородок упирается, а изо рта три зуба щерятся. Проскрипела та карга что-то не по-нашему и ткнула узловатым пальцем в большую бадью с водой, которую, видно, пока Настя спала, в камору притащили, и руками эдак показывает, дескать, полезай мыться. Девка поначалу головой крутила, но ведьма как зашипит на неё, точно кошка бешеная, Настасья, делать нечего, скинула с себя сарафан и залезла в бадью. Ведьма сама её помыла жестким мочалом, выскоблила ровно чугунок, едва кожу не ободрала. Настасья, ничего, вытерпела и это, напугана была шибко. После мытья старуха забрала её сарафан, кинув взамен дерюжку, чтобы наготу прикрыть, и принесла ей снова плошку с грибной кашей, а сама скрылась в узкой дыре, что зияла в стене узилища этого, и в которую, только в три погибели согнувшись, можно было залезть. Тут уж девка смекнула, что каша та сонная, и не стала её есть — вывалила на пол да соломой прикрыла.

Через несколько времени после слышит — шаги; не будь дурой, притворилась она спящей, а сама поглядывает из-под ресниц. Заходят трое: давешний жёлтый старик со стекляшками, а с ним двое белоглазых, лядащие, ровно сморчки лесные; встали над нею и давай что-то на своём тарабарском наречии балакать. Жёлтый старик на неё показал и говорит: «Нейжне», — а те давай причмокивать: «Чёма, чёма, чёма». Потом сдёрнули с неё дерюжку и принялись всю её ощупывать, как кобылу на ярмарке. Настасья и это стерпела, хоть и жутко и срамотно ей то было. Жёлтый дед запалил пук каких-то сухих духовитых трав и обкурил им спящую. От запаха тех трав — тяжелого да горького — Настена едва снова не впала в забытьё. Наконец чудь ушла, девка же, выждав сколько-то, вскочила, намотала на себя кое-как дерюгу вместо сарафана, лыками для крепости обвязалась да и полезла в стенную дыру. За ней обнаружился лаз вроде норы, по которому двигаться можно было лишь на четвереньках. Долго она по нему ползла, коротко ли, девка не запомнила, только постепенно проход стал расширяться, и вот уже она смогла встать и идти в полный рост.

Вдруг слышит девка впереди глухие ритмичные удары, будто кто в полую колоду тукает, а потом и голоса различила. Голоса те пели что-то не по-нашему, то стихая, то поднимаясь до визга, как на хлыстовских радениях. Настя было затаилась, хотела уже назад повернуть, да прислушалась: вроде пение не приближается, и решилась — крадучись двинулась далее. Голоса поющих меж тем становились всё громче, явственнее; а потом Настасья увидела впереди свет, только не дневной, а будто сполохи от костра по стенам пляшут.

Пройдя ещё сколько-то, увидала девка, что лаз уходит дальше на подъём, но в его правой стене зияет отнорок, уводящий вглубь. Из этого-то отнорка и идёт свечение и голоса слышны. Заглянула она в ту дыру и видит: крутые ступеньки ведут вниз, в пещеру, а там — костры горят и чуди видимо-невидимо. С полста бородатых карлов с смоляными факелами в руках беснуются, поют непонятное, в самой же серёдке на высоком каменном топчане сидит голый мужик — огромный, ровно медведь, дородный, дебелый; телеса его сплошь какими-то чёрными полосами да завитушками изрисованы, башка выскоблена, как яйцо, аж отсвечивает, рожа носатая да толстогубая от жира лоснится. В правой ручище у него кость белая, перед ним, промеж кривых ног, большой медный котёл стоит, сверху вроде как кожей обтянутый; и лупит тот детина по котлу костью, как в бубен, а чудь в лад тем ударам подскакивает да подвывает.

Потом, смотрит Настасья, сквозь толпу чуди пробираются давешний старик в синих стекляшках и карга простоволосая, что её в бадье купала, и волокут под руки бесчувственную нагую девицу, лишь веночек из болотных кувшинок у ней на голове, а на теле живого места нет: всё исцарапано, в кровоподтёках и страшных укусах — как застарелых, так и свежих; местами прямо куски мяса выхвачены, словно её свора голодных собак погрызла. Тут детина на ноги вскочил и принялся ещё шибче по котлу лупить. Девка та голая очнулась и, увидав куда её тащат, ну голосить дурным голосом; вдруг — откуда силы взялись — вырвалась да наладилась прочь бежать. И вот только она лицом-то повернулась, Настасья враз признала в ней Агафью — старшую дочку старосты Пантелея, которая два года назад аккурат в эти же июньские дни сгинула и про которую мир решил, что она от отцовской строгости с отходниками в город подалась. Однако ж теперь далеко убежать ей не дали: щипками да шлепками погнала её чудь обратно к той образине с бубном. А бугай отшвырнул прочь кость и как ухватит Агафью за волосья, наземь как швырнёт, сам-от сверху на неё как кинется, и давай её, горемычную, катать да валять по всей пещере.

Долго он так с нею тешился, Настасья же видела всё это и, оцепенев от ужаса, даже и пикнуть боялась. Вдруг леший этот в горло девке, как волк лесной, вцепился и — ну грызть, ну грызть с урчанием утробным, аж кровь во все стороны брызнула! Та ногами эдак мелко-мелко задрыгала и обмякла. Тут он заревел, точно сохатый по осени, коленями грудь Агафье придавил и обеими ручищами хвать её за голову. А чудь ещё более в раж вошла: скачут все, факелами машут и орут: «Рикта! Рикта! Рикта!» Бугай поднатужился да и оторвал девке башку, ровно курёнку какому; потом за волосы голову вздёрнул, раскрутил да и метанул через всю пещеру прямо Настасье под ноги. Тут уж та не сдюжила — в крик и прочь бежать что есть мочи. А чудь, с воем да вигом истошным, следом.

Себя не помня, добежала Настя до выхода из той норы, наружу сунулась, а там, под ногами — склон едва не отвесный, вот она и замешкалась чуток. Обернулась проверить, далеко ли погоня, а прямо за спиной бугай этот разрисованный стоит, на неё уставился буркалами своими. Морда вся в крови агафьиной, взгляд тяжёлый, мертвящий, как у аспида, аж ноги у девки отнялись — хочет бежать, а шелохнуться не может. Подняла она кое-как руку, дабы крестное знаменье сотворить, он оскалился — зубищами клац — и скусил ей три пальца на правой длани напрочь, ровно стручки гороховые. Настасья от боли назад прянула и — кубарем под гору. Удивительно, как руки-ноги не переломала, пока с горы той катилась. Ну а потом двое или трое суток по чащам да болтам скиталась, покуда к людям не вышла. Чудом от чуди спаслась, не иначе. Ведь в лесу те инородцы, надо полагать, как дома себя чувствуют. Видно, Бог упас...

Вот такую историю поведали мне пристав Степан Звонов и сотский Ефим Турусов, а капитан-исправник со своей стороны дополнил некоторыми подробностями. Примерно то же, только короче и сбивчивее, поскольку пребывала в жару и едва не бредила, после рассказала мне и сама Настасья Теляева.

Настоятель церкви Ильи Пророка отец Зосима в целях прояснения обстоятельств изложил нам историческую подоплёку нынешних событий, каковая свелась к следующей легенде: в стародавние времена, задолго до Иоана Грозного, жил-де в этих местах народ чудского племени. Были те инородцы закоснелыми идолопоклонниками, и шла про них слава как о чародеях и волхователях изрядных. Из-за белесых, почти прозрачных глазных радужек прилепилось к этому племени прозвание «чудь-белоглазая». Когда же пришли сюда оседлые русские люди, не вынесла чудь соседства с православным христианством и всем скопом, с бабами и детишками, ушла под землю — в Чудь-гору, где обретается и поныне. И якобы молится эта чудь-белоглазая своему живому богу именем Кунингазс, которого наш простой народ переиначил на свой манер, прозвав Кузей. А ещё, рассказал Зосима, совсем недавно, каких-то полсотни лет назад, здесь в округе черемиса обитала. Несмотря на то, что числились черемисы воцерковленными и православными, однако ж, скорее, по форме. По правде же, как полагал отец Зосима, продолжали коснеть в язычестве. Как бы то ни было, немало их селений тут стояло, и вот эти-то черемисы, почитая себя данниками чуди, ежегодно в ночь на Ивана Купала приводили к подножию Чудь-горы девку своего племени и оставляли там на ночь, а белоглазые под покровом темноты из своих нор выходили и забирали уготованную жертву, как считалось, в жёны подгорному богу. Но шло время, и постепенно поселения черемисов безлюдели (очень возможно, не последнюю роль в их оскудении сыграл как раз сей изуверский обычай), пока лет пятьдесят назад не опустели под корень. Долгое время после того всё тихо да покойно было, как вдруг где-то лет двадцать тому назад стали из деревень Алешковской волости пропадать молодые незамужние девицы. Хотя и не каждый год такое случалось, но всякий раз — накануне или вскоре после купальских гуляний, а частенько и в саму иванову ночь. Понятное дело, по деревням в народе пошёл слух, дескать, это чудь-белоглазая озорничает. Да только земство, как волостное, так и уездное, никаких мер на сей счёт не принимало, почитая подобные слухи проявлением народного невежества. Про губернское начальство и говорить нечего. А ещё по словам отца-настоятеля упомянутая Чудь-гора, в недрах которой те язычники вместе со своим живым богом схоронились, находится в заповедных чащах здешних алешковских лесов, и в погожие дни её поросшую дремучими елями вершину даже и из Филино видать. Но ходить туда никто не ходит — боятся.

Однако же, как вы, Владимир Иванович, наверное, догадываетесь, история этим не закончилась. Ведь земский исправник меня не для того за столько вёрст зазвал, чтобы я выслушивал старинные сказки. Надо было теперь решить, какие должно принять, ввиду случившегося, меры. Я предложил было не мешкая снарядить полицейскую экспедицию к той Чудь-горе и на месте удостовериться, насколько соответствует истине древнее предание, а равно есть ли правда в рассказе самой Настасьи Теляевой. Но пристав с сотским в один голос убедили меня, что сей прожект не исполним, поскольку-де гора та велика и обширна, дебрями лесными покрыта и целого полка солдат не хватит, чтобы всю её обшарить, даже если до осени искать станем. Стоит

отметить, что сотский Ефим вообще настроен был весьма скептически и остальных призывал не верить Настасье на слово, дескать, та «колокол льёт», и следовало бы её «примерно наказать, и вся недолга». Впрочем, пристав Звонов быстро его пресёк, заметив, что сотский клепает на девку со зла, потому как затаил на неё личную обиду, и Ефим тут же стушевался.

Что ж, принялись мы наново судить да рядить, как вдруг Степан Звонов по столу рукой хлопнул и говорит: «На живца, ваши высокобродия, ловить надобно!» В ответ на наше общее недоумение пристав предложил следующий хитроумный план. «Помнишь, Ефим, — обращаясь к сотскому, начал он, — как два года назад, аккурат перед самой пропажей старостиной дочки, случай был с девкой Акулькой, ну рыжая которая?» — «Это на Аграфену Купальницу-то? Когда бабы на закате из бани возвращались? Помню, как не помнить, — отвечал Ефим Турусов. — Так ить она не пропадала. Так, напужалась только». — «Это верно, — кивнул Звонов. — А после рассказала, что когда ломала в березняке банные веники, поотстав маленько от остальных, видит, в ореховом кусте бородатый мужичок-недомерок сидит — страшный, белоглазый, а потом, глядь, ещё двое таких из-за пня вылезли и к ней подбираются. Обомлела она со страху, да тут на её счастье бабы вернулись, и белоглазые сгинули, как в воду канули». — «Мирские пересуды, — пожал плечами Турусов. — Бабы они завсегда так: на супрядках аль у колодца зачнут языками молоть... Что их слушать?» — «Рассудлив ты, Ефимка, не по годам, — заметил пристав. — Заладил одно, как сорока Якова. А я вот про что: после того случая девки поостереглись и не пошли ночью, как заведено, костры жечь и в Вексе купаться, а потому Иван Купала без потерь минул. Да только всё одно, через четверо суток, в ночь на Петров день пропала Агафья, филинского старосты Пантелея дочь. Я к тому веду, что раз Настёне удалось из Чудь-горы сбежать, белоглазые наверное станут пробовать ей замену найти, видать, не может их бог долго без бабы обходиться. Вот и следует нам подсунуть чуди новую невесту. Отведем её в лес, поближе к Чудь-горе, а сами в засаду сядем. Так и накроем этих изуверов». — «Кто ж из деревенских решится на такое? — усомнился исправник. — И вправе ли мы рисковать невинной жизнью?» — «Никакого особливого риска, ваше высокобродие, — заверил пристав. — Ефим у нас опытный охотник, на медведя не раз хаживал, и я ружьишком балуюсь, а про вас и говорить нечего. А решится кто? Да вон хоть та же Дунька Тараканова! Она за мзду малую хоть к чёрту в пекло согласная». — «Тараканиха? — ухмыльнулся Ефим. — Из Чурилова которая? Да, эта может. И горевать, если дело не сладится, по ней некому: ни сродников, ни свойственников — сирота. Только польстится ли кто на эдакую, больно рылом погана».

Опуская дальнейшие споры-разговоры, скажу сразу: после долгих обсуждений и сомнений все, кроме разве отца Зосимы, который, ввиду позднего времени, покинул нас раньше, сошлись на том, что лучшего варианта, нежели предложенный приставом Звоновым, нам не придумать. И уже на следующий день вся наша компания: ваш покорный слуга (разумеется, я настоял на своём участии в сей авантюрной экспедиции), исправник Кокорин Иван Андреевич, становой пристав Степан Звонов и сотский Ефим Турусов — пробиралась по лесу в направлении пресловутой Чудь-горы. Впереди на изрядном от нас удалении, но в пределах видимости, шествовала упомянутая Дуня Тараканова — рябая, неуклюжая, как ступа, зато здоровенная девка, которая, действительно, без особенного труда позволила себя уговорить за пять рублей серебром. Сотский с приставом были при ружьях, мне исправник выдал однозарядный пехотный пистолет старого образца, сам же вооружился шестизарядным французским револьвером Лефорше. «Трофейный, с Крымской войны», — пояснил он.

Когда мы вышли к подножию Чудь-горы, стало смеркаться, и все согласно постановили дальше сегодня не ходить, а обустроить засаду здесь. Развели на небольшой луговине костёр, а Дуньке велели у огня сидеть да песни петь, чтобы её издалече слыхать было. Пристав дал ей фляжку с водкой — для сугреву и для смелости, а мы соорудили себе по обе стороны от той полянки шалашики, укрыли их еловыми лапами и в них схоронились. В одном я с сотским затаился, а в другом — исправник с приставом. Лежим, ждём. А Дуня из фляжки отхлёбывает да знай себе поёт про своё, про девичье:

Сахаринка на полу,
Не ленива — подниму.
Сахар съела, песню спела,
Целовать дружка хотела.
Дудáрь, мой дударь молодой,
Самодýдарь мой, дударь молодой.
Ты играй, играй, дударик на дуду,
Я, младёшенька, плясать пойду.

Я, чтобы как-то скоротать время, тихонько перешёптывался с Ефимом и, между прочим, высказал сомнение в успешности нашего предприятия, которое всё более и более представлялось мне чистейшей аферой, заметив также, что на «невесту» нашу разве медведь позарится. «Как знать, вашбродь, — пожал широким плечом сотский, — как знать. Предыдущая-то, Агафья Пантелеева, тожа не прынцесса была — левый глаз слепой, бельмастый, да и хроменькая... Ей ведь двадцать пятый годок шёл — перестарок, никто сватать не хотел. А высидеть мы здесь ничего не высидим, в этом я с вами согласный. Бабьи сказки всё это, про чудь-белоглазую, про бога Кузю. Я так себе разумею: с полюбовником Настька сбежала, из соседней деревни, али с купчиком каким заезжим, да что-то у них, видно, не заладилось. Может, прибил он её и прогнал от себя, вот она и блажит». Между тем Дуня затянула печальную, с причитаниями песню:

Нерамно́ жа муж достанется —
Ой, либо вор да горький пьяница,
Либо старый пёс удушливой,
Да либо ровнюшка да недружливой.
Уж я старого да утешила бы,
Среди полюшка ой повесила бы
Да на тонкую-то осинушку,
Да я на самую-то вершинушку,
Вот вершинушка ой да качается,
Да мой старый пёс болтается.

Уже настал вечер, высота небесная потускла, и заискрились на ней бледные звёздочки, но луны видно не было. Тёплый воздух наполнили благовонные запахи ночных трав, в небе то и дело вспыхивали зарницы. «Курить страсть охота, — прихлопнув на шее комара, вздохнул Ефим, — да нельзя, Иван Андреич заругает». Я попросил сотского рассказать мне о всех прошлых случаях подозрительных исчезновений окрестных девок. К слову, Владимир Иванович, народный говор в Чухломском уезде отличается значительным своеобразием. Если в прочих местностях Костромской губернии, со всех сторон окружающих чухломские земли, окают, то здесь произношение московское, на «а», и аканье выражено даже явственнее, резче, нежели в Первопрестольной. Пока мы так шептались, у нашей фальшивой невесты, вероятно, под влиянием содержимого фляжки, настроение изменилось. Задорно гикнув, она запела:

Пошла Катенька горошек молотить,
Её некому за ой-ой-ой схватить,
Вот нашёлся парень бравый, молодой,
Привалил её к овину головой.
Заголяет он пестринный сарафан,
Вынимает кукареку с волосам...

«Ух, зазорная девка, — усмехнулся в усы сотский. Но вскоре обеспокоился: — Чего она песню-то оборвала?.. Сползать разве, вашбродь, посмотреть?» Однако раздавшийся следом шум, треск и придушенный дунькин крик заставили нас всех вскочить на ноги. Кинулись мы к костру, глядим, у нашей Дуни на плечах повисли два мужика — в вывернутых мохнатых тулупах, мелкорослые, лохматые — чисто лешаки, а третий такой же — ей на голову мешок нахлобучил и уже вокруг шеи верёвку вяжет. «Не стрелять! — крикнул исправник. — Девку зацепите!» Тут Тараканиха поднатужилась, поднапружилась, на ноги поднялась да обоих поганцев с себя стряхнула, ровно котят, а тому, что её верёвкой вязал, так поддала коленом в грудь, что он улетел прямиком в костёр. Разом потемнело — не разберёшь, где кто. «Хватай, вяжи нехристей! — вновь скомандовал исправник. — Уйти не дай пога...» Не договорив, он с руганью схватился за колено и рухнул наземь. А в следующий миг в нас со всех сторон полетели увесистые булыжники. Один из камней просвистел у самого моего виска. Я упал в траву, но успел разглядеть между окружавших поляну деревьев смутные невысокие фигурки, которые, раскручивая что-то над головой, метали в нас камни. Подняв пистолет, я выстрелил в одного из них, но, кажется, и близко не задел. Остальные тоже принялись палить в сторону леса, но фигурки врагов то появлялись, то исчезали во мраке, так что стрельба велась наугад, почти вслепую. Тем временем целая толпа лесных жителей накинулась на Дуню. Облепив девку, как мураши гусеницу, они повалили её и стремительно уволокли в чащу, покрывавшую Чудь-гору до самой макушки. Обстрел тут же прекратился.

Осторожно поднявшись на ноги, я осмотрел поле битвы: исправник сидел, держась за разбитое колено, а пристав Звонов, опершись о ружьё, смотрел куда-то вниз

и сокрушённо охал. Было ясно, что наша засадная экспедиция окончилась полным фиаско. «Где Ефим?» — спросил исправник. «Здесь он, — ответил пристав. — Кажись, кончается». Я помог Иван Андреевичу подняться, и он с моей помощью кое-как допрыгал до пристава. У его ног мы увидели сотского; он лежал с окровавленной, похоже, проломленной головой и был без сознания. Пристав склонился к нему, прислушался: дышит. «Девку надо идти спасать, пропадёт, — заявил исправник. — Только как быть с Ефимом?» — «Куда вам, ваше высокобродие, идти, — возразил пристав. — Я эту кашу заварил, мне и расхлёбывать, а вы тут Ефима постерегите». Иван Андреевич поначалу заартачился, но я решительно поддержал Степана, заметив, что надо спешить, а исправник с его разбитым коленом будет нам лишь в обузу. Как человек трезвомыслящий, тот вынужден был согласиться и отдал мне свой револьвер, сам же взял ружье сотского.

Пристав обмотал палку берестой и соорудил себе факел, я же получил от исправника масляный фонарь со стеклянной, предохраняющей от ветра, колбой, который тот с военной предусмотрительностью захватил с собой. Снарядившись таким образом, мы отправились в погоню, благо земля сохранила явственные следы волочения дородного дунькиного тела, а тут ещё Луна взошла нам в помощь. Однако не прошли мы и ста саженей, как след оборвался. Шарили мы со Степаном, шарили — всё без толку: нигде ни единой веточки не поломано, а под ногами — толстый слой нетронутой хвои. «Чертовщина, — ворчал пристав, — не сквозь землю же они провалились?» Тут-то меня и осенило: именно что под землю! Воротились мы к тому месту, где след обрывался, и стали тщательно всё вокруг обыскивать. «Нашёл!» — через несколько времени крикнул Степан, обнаружив под корнями кряжистого тысячелетнего дуба квадратный лаз, надёжно скрытый зарослями папоротника и уводящий куда-то в непроглядную тьму, в недра Чудь-горы. Я полез первым, Звонов Степан — следом.

Стены лаза были укреплены брёвнами, поддерживающими бревенчатый же настил. Высота его составляла не более полутора аршин, поэтому двигаться пришлось по-собачьи, на четвереньках. Факел Степана потух, да в столь узком проходе он бы только мешал, и путь нам освещал лишь тусклый свет масляной лампы. Сколь долго мы так ползли, не знаю, мне тогда показалось, что целую вечность и я уж, грешным делом, стал подумывать, не повернуть ли назад, как вдруг впереди забрезжил свет. Я задул фонарь и сделал знак Степану, чтобы не шумел. Лаз вывел нас в галерею, по которой можно было уже идти в рост, хотя и пригнув голову. Через каждые пять-шесть саженей в выложенных из необработанных камней стенах крепились глиняные плошки, заполненные неким жиром с плавающими в нём горящими фитильками. Где-то через версту мы очутились перед развилкой: левый проход был освещён, правый же уводил в чернильную тьму. Мы прислушались: слева явственно доносились голоса и глухие ритмичные удары, и мы свернули туда.

Шагов через полста галерея уперлась в стену, в которой зияла расщелина; из неё-то и слышались голоса и удары. Протиснувшись в щель, мы очутились в обширной пещере, и нашим глазам открылась следующая поразительная картина. Под сводами пещеры по всей её окружности на равном удалении были проделаны отверстия, через одно из которых мы и проникли внутрь; от тех проходов крутым уступом шли ступени, спускавшиеся к овальной площадке вроде арены, как в античном амфитеатре. Всю арену и часть ступеней заполняла возбуждённая толпа чуди — мужчины, женщины и даже дети; многие держали в руках смоляные факелы. В центре арены на каменном возвышении восседал жирный толстопузый урод — натуральное чудовище: исполинского роста, лысый, голый, разукрашенный по телу чёрными рисунками, как это делают американские индейцы и некоторые наши сибирские инородцы. Глубоко запавшие глаза его, под тяжёлыми, как кузнечные оковалки, надбровными дугами, казались парой чёрных угольков, источавших некое тёмное свечение. Кошмарный облик дополняли мощные выступающие челюсти при совершенном отсутствии подбородка. «Полно, да человек ли это?» — невольно усомнился я. В левой руке он держал белую кость, весьма походившую на берцовую человеческую, и равномерно колотил ею в стоящий перед ним медный чан, а окружавшая своего живого бога паства помавала факелами и речитативно, с подвываниями пела: «Кунингазс! Кунингазс! Мейде Кунингазс, сюнд Кунингазс! Кунингазс-мадо!»

А у подножия каменного возвышения лицом вниз лежала наша Дуня. Одежда с неё была сорвана, руки связаны за спиной; спину и бёдра испещряли кровавые царапины и укусы; она не шевелилась. Неужто мы опоздали и беззаконная жертва уже принесена? Я, честно признаться, совершенно растерялся, что делать далее, как поступить. Выстрелить в чудище? Но в моём револьвере оставалось четыре патрона... Даже памятуя о ружье пристава, что это против целой толпы чуди? Они же нас просто растерзают! Однако, пока я так мучился сомнениями, Степан, недолго думая, вскинул ружье да и выпалил в чудского бога. Под сводами что-то заворчало, точно в ненаст-

ный день перед громовым раскатом, и сверху дождём посыпались мелкие камешки. Когда пороховой дым рассеялся, стало видно, что примолкшая чудь оборотилась и вся смотрит на нас, а по груди восседавшего на каменном троне чудовища сбегает алая струйка крови. Но вот страхолюдный исполин медленно, как ни в чём не бывало, поднялся во весь рост и вперил горящий взор свой в Степана. А потом оскалился, поднял руку и молча указал ею на пристава. Не знаю, что послужило причиной дальнейшему: колдовская ли сила взгляда чудского божества или иное что, только пристав безвольно уронил ружьё и как зачарованный пошёл по ступеням вниз, прямо в лапы чудища. Я ухватил Степана за плечо, но тот, не оборачиваясь, вывернулся из моих рук и ускорил шаг. В совершенном отчаянии я послал две пули в треклятого Кузю, а потом дважды выстрелил вверх. Страшный грохот сотряс пещеру... И начался ад кромешный! Земля у меня под ногами содрогнулась, и огромные глыбы стали рушиться со сводов прямо на головы побежавших во все стороны людей чудского племени. Всё заволокло густыми клубами, из которых доносились отчаянные вопли, звуки ударов, стоны. Я увидел, как каменный обломок размером с телегу рухнул и придавил собою чудского бога. В тот же миг, словно избавившись от наваждения, Степан Звонов пришёл в себя, и мы вместе кинулись к Дуньке. Пристав разрезал её путы, перевернул на спину и приложил ухо к груди: жива! Вдвоём мы подхватили бесчувственную девку под руки и, уворачиваясь от продолжавшегося камнепада, поволокли к выходу из подземелья. Бросив взгляд назад, я заметил торчащую из-под каменной глыбы руку чудовища — она была шестипалой...

(Далее в письме снова были густо вымараны два абзаца).

Не стану досаждать вам рассказом, как мы выбрались из Чудь-горы, как воротились в Филино — всё это мало относится к сути моей истории. Скажу только, что сотский Ефим, нас не дождавшись, отдал Богу душу, а мы с приставом Звоновым и едва могущим передвигаться, опершись нам на плечи, капитан-исправником кое-как дотащили Дуню Тараканову до становой квартиры, препоручив там обоих доктору Колокольскому.

Само собой я отправил Александру Егоровичу Тимашеву подробный доклад о сем происшествии, да только ходу ему дадено не было. Сколь мне известно, доклад засекретили и упрятали в архив по личному настоянию обер-прокурора Святейшего правительствующего синода графа Дмитрия Андреевича Толстого. Последний якобы выразился в том роде, что мало нам сраму перед просвещенной Европой от всяких самосжигателей да скопцов, так тут ещё хотят секту людоедов на суд мирской вытащить. Помимо того, огласка сего доклада может-де породить враждебность великороссов в отношении инородческого населения Российской империи. Короче сказать, история была, как у нас водится, упрятана под сукно и забыта. Однако ж этим она не закончилась.

После тех событий уж год минул, а мне случившееся всё не давало покоя, не отпускало. Летом сего года пришлось мне побывать в Ляхово — имении моей жены; оно верстах в восьми от Нижнего. Старый господский дом ныне в полном запустении, вот и решился я наново отстроить родовое гнездо. А там, в Ляхово, запала мне мысль съездить в Алешковскую волость, проведать станового пристава Звонова да разузнать у него, какие последствия имела наша прошлогодняя кампания. Я уж знал, что капитан-исправника Кокорина вскоре после того в отставку ушли (между прочим, колено его срослось худо, он так и остался хромым. Вот ведь, согласитесь, каприз Фортуны — две войны прошёл невредимым, а тут...), Степан же по-прежнему исполнял свои обязанности. Сказано — сделано.

К моей досаде, станового застать на месте не удалось — тот был в разъездах. Тогда решился я навестить несчастную Дуню Тараканову. По понятной причине, в её отношении я чувствовал себя виноватым, хотя и не моя была то идея сделать из неё подсадную утку. Дунька, как и прежде жила, в соседней деревне Чурилово, в покосившейся избёнке у самого леса. Встретила она меня радушно, едва ли не как своего спасителя (хотя я того и не заслуживал) и рассказала, что дня через два после её вызволения из чудского плена исправник с приставом организовали целый поход к Чудь-горе, однако ж пользы из того не вышло. Правда, нашли они ту поляну и даже тот самый дуб, под которым нам лаз открылся. Вот только лаз оказался накрепко забит глиной и камнями, будто его там от века не бывало. Пробовали мужики другие тайные проходы в Чудь-гору сыскать, да без толку — так ни с чем в Филино и воротились. «Как ты, Дуняша, сама-то живёшь?» — поинтересовался я. «Да как, барин? — заметно поскучнев, ответила Дуня. — Ни девка, ни вдова, ни мужняя жена». Тут из кутного угла послышался детский плач. «Это что ж, дитё у тебя? Мальчик или девочка?» — спрашиваю. «Сынок», — отвечает. Заглянул я за занавесь, а там в деревянной колыбельке и впрямь здоровенький такой карапуз. «Сколько ему?» — снова спрашиваю. «Четвёртый месяц пошёл». Мальчик, увидав мать, стал просить грудь,

протягивая ручонки. И что-то мне неладно показалось... Присмотрелся внимательнее — с нами крестная сила! — левая ладошка младенца — о шести пальчиках...

Вот и вся история, дорогой Владимир Иванович. Согласитесь, из неё вышел бы замечательнейший рассказ, да кто решится такое напечатать, даже если изменить все имена и самое место действия? Полагаю, никто и никогда. А сейчас меня терзает сомнение, стоит ли даже и сие письмо доверять бумаге и вам отправлять? Опасаюсь, не доставит ли оно вам какие неприятности? По здравому размышлению — не стоит.

Как бы то ни было, остаюсь вечно вам преданный А.П.»

Глава 8

— Как впечатление? — спросил Таганов, забирая у Николая листы. — Не зря шкандыбали в эдакую даль?

Сажин пожал плечами.

— Пока не знаю. Документ чертовски любопытный, спору нет. Однако я по-прежнему не вижу связи с собственной персоной. И вообще, может статься, это не письмо, а черновик неизвестного рассказа Печерского. Не случайно же Павел Иванович подписал его начальными буквами своего литературного псевдонима — «А.П.», то есть Андрей Печерский, а не настоящими инициалами... Бесспорно, неопубликованная, никому неведомая рукопись Печерского — находка интересная и ценная. Но если так, вся история — плод писательской фантазии, не более.

— Не тешьте себя иллюзиями, Николай Николаич. Письма к Далю Мельников всегда подписывал своим литературным псевдонимом, потому как именно Владимир Иванович Даль этот псевдоним для него и придумал. И потом, зачем бы тогда автору использовать имена-фамилии реальных людей? Я проверил: все упомянутые в письме лица подлинные — от министра Тимашева до земского исправника Кокорина. Ну это ещё бог бы с ним... Конечно, нельзя исключить, что Мельников-Печерский планировал впоследствии сделать из этой истории рассказ либо повесть. На то он и писатель. Главное в другом.

— И в чём же?

— Да будет вам, Николай Николаич! Не делайте вид, что не поняли, о каком младенце — шестипалом, подчеркну, младенце — упоминается в финале письма.

— Понимаю, Виктор Антоныч, куда вы клоните. Хотите сказать, в записках идёт речь о родоначальнике моей фамилии. Шесть пальцев и всё такое... Но не много ли допущений? Да с чего вы вообще взяли, что тот шестипалый младенец — мой прапрадед? В рукописи даже имени его не называется. Честное слово, я разочарован... Так вот что вы имели ввиду, когда писали мне про «крестника Мельникова-Печерского»? Извините, Виктор Антоныч, но это ж курам на смех! То есть вы... как-то прознав про мой лишний палец и про то, что предки мои из здешних краёв, убедили себя в том, что... Вы вообще серьёзно?!

Таганов вытащил из-под письменного стола табуретку, сел напротив гостя и принялся невозмутимо набивать трубку.

— Представьте себе, серьёзно. Прошу, Николай Николаич, выслушайте меня спокойно и не перебивайте. Я же вам сразу написал, что провёл тщательные изыскания. И я на самом деле перерыл вороха метрических книг, перелопатил залежи бумаг в местных архивах, прежде всего в госархиве Костромской области, понятно. Но не только в местных, пришлось съездить в Питер, покопаться в историческом архиве — в фондах Министерства внутренних дел Российской империи и даже в государственном архиве древних актов. А необходимые сведения о вашем деде мне, к примеру, удалось сыскать в госархиве России, который у вас в Москве на Большой Пироговской... М-да, потрудиться пришлось изрядно. Из всех нужных документов я сделал выписки, а наиболее важные удалось и скопировать, — Таганов выдвинул ящик письменного стола и вытащил пухлую пачку разномастных бумаг, сшитых вместе суровой нитью. — Со всеми этими материалами я, разумеется, готов вас ознакомить, — он пошуршал бумагами. — А для начала послушайте вот эту выписку из метрической книги. Полное её название: «Метрическая книга церкви Илии Пророка села Верхняя Пустынь первого округа благочиния Чухломского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1870 год». Слушайте внимательно, цитирую: «Марта тридцатого дня 1870 года родился и восьмого дня мая крещён Богдан. Мать — крестьянка деревни Чурилово вдова Авдотья Тараканова православного исповедания. Восприемники: становой пристав — мещанин Степан Звонов и диаконская дочь — девица Пелагия Васильева. Таинство крещения совершил приходской священник о. Зосима Колобородов». Не правда ли, знакомые всё имена? Видно, никто из деревенских не захотел быть крёстным, вот и пришлось Степану Звонову

самому идти в восприемники к младенцу. Потом, он наверняка виноватил себя в приключившемся с Дуней. И не без оснований, ведь...

— Постойте! — прервал его Сажин. — При чём здесь какая-то Авдотья?

— Уменьшительное звучание имени Авдотья — Дуня, — терпеливо пояснил Таганов.

— Хорошо. А почему она вдова? Почему эта Авдотья Тараканова записана вдовой? Из рукописи же ясно следует, что Дунька была девицей. Ну, в смысле, безмужней.

— Тонковата соломинка, — улыбнулся Таганов. — В метриках того времени вдовами именовали не только лишившихся законного мужа, но и тех, у кого появлялись на свет такие вот «богоданные» дети. Не в девицы же, в самом деле, записывать молодую мать? Кстати, отсюда и имя младенца: Богдан — «Богом данный». Чтоб вы знали, имя «Богдан» не использовалось как русское крестильное имя, а в здешних краях — тем более. Хотя оно и есть не что иное, как перевод с греческого имени «Федор» или «Федот». Думаю, назвать так ребёнка подсказал отец Зосима. С другой стороны... с учётом, гхм, обстоятельств его появления на свет, это попахивало бы кощунством. Так что, нет — скорее, сама Авдотья настояла на таком имени... Как знать, может, она и впрямь уверила себя, что понесла от бога? Чужая душа — потёмки.

— Допустим, так всё и было, — согласился Николай. — Повторяю: допустим, вы доказали, что Богдан из вашей метрической книги и есть младенец, о котором писал Мельников. Однако второй мой вопрос вы так и оставили без ответа.

— Готов ответить на любой, — кивнул Таганов, попыхивая трубкой, — задавайте.

— Я уже задавал: с чего вы взяли, что этот Богдан приходится мне прапрадедом? Только из-за лишнего пальца?

— А я уже отвечал: не в одном пальце дело — мне удалось проследить всю вашу родословную. По архивным документам, а не по каким-нибудь там рассказам стариков-старожилов. Все бумаги вы можете посмотреть, они у меня здесь, — Таганов похлопал по пачке, — а пока, позвольте, я изложу лишь сухие факты.

— Валяйте.

Виктор Антонович набил трубку свежим табаком, неспешно раскурил и, периодически сверяясь с бумагами, начал:

— Итак, мною с абсолютной точностью установлено, что у Богдана, прозванного «Сажей» — к происхождению этого прозвища мы ещё вернёмся, — так вот, у Богдана Сажи в 1895 году родился сын Гаврила. Ребёнок появился на свет без всяких, извините, физических аномалий. Характерно, что уже в материалах всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года сын Сажи записан как Гаврила Богданов Сажин — прозвание, данное отцу, стало фамильным. Таким образом, его можно считать первым носителем вашей фамилии. В 1902 году мальчика отправили в Чухлому, где он был отдан в учение к скорняку; там, в городе, он и осел, в деревню обратно уже не вернулся. Да, собственно, и возвращаться было некуда. Но об этом после. В 1915 году Гаврила Сажин был мобилизован в армию, попал на фронт, но уже осенью шестнадцатого демобилизовался по ранению и вернулся в Чухлому. В том же году он женился на мещанке Прасковье Марковне, в девичестве Истоминой. На следующий год у супругов родилась дочь, скончавшаяся во младенчестве, не прожив и двух месяцев. А вот в 1920 году у них родился мальчик, которого назвали Алексеем — ваш дед. И вот у него-то, у Алексея Гавриловича Сажина, было два безымянных пальца на левой руке. Идём далее. Алексей Гаврилович женился дважды. В первом браке у него детей, насколько я выяснил, не было. Да и супруга его быстро умерла, кстати, при несколько странных обстоятельствах. Вторично он женился на Марии Пантелеевне Кокшеновой, и в 1946 году у них родился сын Николай, то есть ваш батюшка, Николай Алексеевич Сажин. Бабушка ваша, Мария Пантелеевна, скончалась при родах, поэтому Николай вырос в семье материной сестры — Надежды Пантелеевны. Алексей в воспитании сына участия не принимал, да и не мог принимать. К причинам этого я также вернусь позже. Но подозреваю, Николай Алексеич не любил вспоминать своего отца, я прав? Не случайно вы не подозревали про его шестипалость.

— Он вообще о нём никогда не рассказывал.

— Вот видите, — кивнул Таганов. — Но продолжим... Хотя, собственно, дальше вы и без меня всё знаете. По окончании восьмилетки ваш отец перебрался в Москву, где, завершив среднее образование в школе-интернате, поступил в университет... а в 1974 году родились вы — Николай Николаевич Сажин. Теперь подытожим. Выстраивается следующая неразрывная цепочка: вы, Николай Николаевич; затем ваш отец Николай Алексеевич Сажин; его отец, а ваш дед Алексей Гаврилович Сажин; потом ваш прадед Гаврила Богданович Сажин и, наконец, Богдан Сажа, шестипалый сын Дуни-Авдотьи Таракановой из деревни Чурилово — ваш, не побоюсь этого слова, легендарный прапрадед. Убедительно?

— Ну... допустим, — вынужден был признать Николай. — Допустим... Но вы ещё писали про некую нависшую надо мной угрозу. Дескать, мне грозит смертельная опасность. Так в чём опасность-то?

— Доберёмся и до угрозы. Мне было важно, чтобы вы познакомились с собственной родословной. И убедились в своем родстве с Богданом Сажей. По этой части все вопросы сняты?

Сажин закурил сигарету, помолчал, а потом спросил:

— А как вы выяснили, что у моего деда была полидактилия?

— Тоже из архивных источников.

— А у прадеда, значит, ничего такого, всё нормально?

— Если быть точным, о Гавриле Богдановиче таких сведений просто нет. Или же они до нас не дошли. Но я пришёл к выводу, что он не унаследовал от Богдана Сажи эту анатомическую особенность.

— Ага! То бишь, строго говоря, ваше утверждение, что полидактилия наследуется в нашем роду через поколение, лишь догадка? Ну, раз о прадеде точных данных нет.

— Не совсем, — покачал головой Таганов. — Скорее, не догадка, а логическое умозаключение, основанное на фактах. Глядите сами: во-первых, мы с вами знаем, что у вашего батюшки было, как положено, десять пальцев, так? Во-вторых, нам известно, что ваш прапрадед — основатель, так сказать, фамилии, был шестипал. Далее, я точно установил, что и внук его, Алексей Сажин, родившийся здесь, в Чухломе, в двадцатом году также был шестипалым. Также мы знаем, что и вы сами имеете лишний палец. На левой ноге, да? Я прав? — Сажин молча кивнул. — Вот и выходит, что эта генетическая особенность скорее всего проявляет себя через поколение. Но и это ещё не всё...

— Откуда вы всё-таки знаете, что мой дед страдал полидактилией? Что за источники? — перебил Сажин.

— Из материалов уголовных дел. Его шестипалость проходит как особая примета.

— Каких еще уголовных дел?!

— Я же говорил, что сведения о вашем деде Алексее Гавриловиче Сажине почерпнул в госархиве России — именно там хранятся особо значимые уголовные дела, начиная с первых лет советской власти.

— Мой дед сидел? Сколько приятных открытий... Он что, был репрессирован?

— Нет, Алексей Гаврилыч осуждался по общеуголовным статьям.

— Вот те раз... Обычный уголовник?

— Совсем не обычный. Это как раз к вопросу о стерегущей вас опасности... Так вот, как бы это сказать... Короче, шестипалость по неким причинам оказывает сильное негативное влияние на характер, гхм... ну или на психотип человека. Во всяком случае, в вашем роду — это так.

— О чём вы? — нахмурился Николай.

— Вот послушайте спокойно. Дело в том, что оба ваших шестипалых предка — и прапрадед, и дед — являлись личностями глубоко асоциальными. Прапрадед Богдан своё прозвище «Сажа» получил ещё в малолетстве. Может, был смуглокожим, а скорее, по иной причине. Но не будем домысливать. Известно, что он отличался недюжинной физической силой и буйным нравом. В 1903 году Богдан был осуждён за двойное убийство: собственной жены и некоего деревенского парня, из местных. Причина расправы очевидна — ревность. А насколько она обоснована, за давностью лет не выяснить. Так что мотив преступления банален. Но вот способ его совершения... то, как он с ними расправился, пожалуй, характеризует вашего пращура определенным образом. Богдан Сажа изрубил обоих полюбовников топором — на куски; головы и некоторые другие части тела закопал в огороде, остальное скормил свиньям. Вот так вот. Потому-то я и сказал, что сыну Сажи — Гавриле, отправленному годом раньше на выучку в Чухлому, возвращаться было некуда: мать убита, отец — под арестом. Ладно, идём дальше. Сажу приговорили к двадцати годам каторжных работ. С каторги он бежал. И вот после побега с ним произошла некая метаморфоза: из простого, пускай буйного и даже свирепого, мужика-селянина Сажа чуть ли не в одночасье превратился в харизматичного лидера. Он сумел сколотить собственную разбойничью шайку — из таких же, как сам, беглых, и из местных бандитов. И банда эта, укрываясь где-то в костромских лесах, успешно промышляла разбоем и убийствами. Более десятка лет «сажинские», как их называли, держали в страхе население целой губернии. И все эти годы Сажа оставался их бессменным лидером, пока не был ликвидирован в перестрелке с полицией в 1914 году.

— Колоритный персонаж, ничего не скажешь!

— Это я так, в общих чертах. На самом деле о Богдане Саже можно роман написать, в жанре триллера... с элементами хоррора. Но перейдём теперь к вашему деду Алексею Гавриловичу. О его детстве и юности известно немного. По малолетке он не

раз привлекался к уголовной ответственности, в основном за кражи, но все условно. Чтоб вы знали, Уголовный кодекс 1926 года, который действовал вплоть до 61 года, в части преступлений против собственности был удивительно гуманен. К примеру, по статье 162, за тайное похищение чужого имущества, то бишь кражу, больше года и захочешь — не получишь. Даже когда — неоднократно и по предварительному сговору, всё одно — год максимум. А если кража совершена впервые или вследствие нужды — до трёх месяцев исправработ, и баста.

— Надо же. А как же «срока огромные», «этапы длинные»?

— Так то за государственные преступления. В общем, первый реальный срок Алексей схлопотал в сороковом году, за групповой грабёж. Дали ему, с учётом прежних «заслуг», по максимуму — пятерик. Потому и на фронт не попал. Освободился Алексей Сажин уже после войны, в ноябре сорок пятого. В сорок шестом, как я уже говорил, он женился на Марии Кокшеновой, и в том же году у них родился сын Николай — ваш батюшка. Но Алексей рождения наследника не дождался, снова сел, уже по части третьей статьи 167 УК — за вооружённый разбой: взял с подельниками сберкассу в Галиче. Налётчики оставили за собой два трупа, организатор получил высшую меру социальной защиты — расстрел, Алексей же отделался девятью годами. Срок Алексей Гаврилыч отбывал в Коми АССР, там же к нему прилепилась кличка «Гориллыч».

— Как-как? — переспросил Николай.

— «Гориллыч», — повторил Таганов. — Вероятно, из-за непропорционально длинных рук и огромной физической силы.

Сажин бросил взгляд на собственные ручищи и смущённо хмыкнул:

— Это у нас семейное. Так, ну я понял — прапрадед с дедом были матёрыми уголовниками. Не скажу, что это меня радует, но... что с того? Дело прошлое.

— Погодите, я ещё не закончил. Первые лет пять Гориллыч отбывал наказание спокойно и исправно. Конечно, не как простой «мужик», масть-то у него блатная была, но в воровскую элиту он не входил. Всё изменилось после одного случая. По ходу некой местной разборки Гориллыч как-то особенно жестоко расправился со своим соседом по бараку, авторитетным вором в законе. За убийство ему накинули ещё десятку к сроку. Однако вопреки всем воровским понятиям расправа над «законником» лишь укрепила авторитет Гориллыча. Причём до такой степени, что он вышел в неформальные лидеры зоны, угрожая власти тамошнего пахана. Озабоченное такой ситуацией руководство колонии добилась его перевода в другую, «красную» зону, с более строгим режимом, куда-то на Колыму или Дальний Восток. Во время этапирования Гориллыч совершил побег прямо из поезда и скрылся в таёжных дебрях — поиски результатов не дали. А по ходу служебного расследования выяснилось странное: вроде бы как конвоиры сами выпустили Гориллыча из теплушки, а один из них даже отдал ему свою винтовку. Внятно оправдаться или объяснить своё поведение они не смогли — твердили только, что Гориллыч их «загипнотизировал». Их, понятно, осудили.

После побега года три о Гориллыче слышно не было, пока в пятьдесят четвертом году он не объявился в Костроме. Во главе вооружённой банды совершил налёт на продуктовый магазин на окраине города; подельники взяли кассу и прихватили товаров на значительную сумму. Потом последовало еще несколько разбойных нападений на сельпо, базы и промтоварные магазины в разных районах Костромской области... Только летом пятьдесят шестого банду Гориллыча удалось заманить в засаду. В ходе перестрелки многие бандиты были убиты, а вожак — тяжело ранен в грудь и живот. Следователь был уверен, что до суда Гориллычу не дотянуть, однако буквально через месяц тот сбежал из тюремной больницы. И вновь — при загадочных обстоятельствах: якобы персонал сам помог ему уйти. Не знаю, к чему пришло служебное расследование, но после того случая областное милицейское руководство выпустило секретный приказ — мне удалось с ним ознакомиться — согласно которому при обнаружении особо опасного рецидивиста Ивана Гавриловича Сажина сотрудникам воспрещалось вступать с ним в контакт, а следовало сразу открывать огонь на поражение. Вот так вот. К тому времени на Гориллыче висело с дюжину трупов, и по его следу пустили всю областную милицию, задействовали даже армейские подразделения МГБ СССР — внутренние войска. В самом начале осени информаторы донесли, что колхозники видели подходящего под описание человека недалеко от деревни Чурилово. Поживиться в тех местах особенно нечем, так что непонятно, чего его туда понесло. Разве только потянуло на родину предков? В его поимке приняли участие полторы сотни сотрудников милиции и военных. Кольцо облавы замкнулось в районе деревни Филино. Самой той деревни тогда уже не существовало — сплошные леса да буераки кругом. Обнаружив беглеца, загонщики, следуя приказу, не раздумывая открыли огонь. Гориллыч попытался отстреливаться — у него имелся револьвер си-

стемы наган — и густым ответным огнем был буквально изрешечён. Однако ж, когда к телу подбежали трое сотрудников, «убитый» неожиданно вскочил, раскидал милиционеров — причём одному из них ударом кулака сломал шею — и скрылся в лесной чаще. Разумеется, он не мог далеко уйти с такими ранениями. И действительно, в нескольких сотнях метров преследователи обнаружили место его падения... Но там не было главного — тела. Примятая трава со следами крови и поломанные ветви кустов свидетельствовали, что Гориллыч пытался уползти. Либо его кто-то волочил. Потом следы обрывались... Дальнейшие многодневные поиски не дали никаких результатов. Это всё.

— Прям фантастика, — покачал головой Николай. — Эх, кабы знать раньше. Да на эдаком материале убойный детективный роман можно забабахать.

— А кто вам мешает? Материалы — вот они — пользуйтесь на здоровье.

— Спасибо, ловлю на слове. Странно... всё вами рассказанное совершенно для меня внове. Я ничего такого никогда не слышал и нигде не читал. Хотя, в силу профессии, интересуюсь криминальной историей России.

— История Сажи слишком давнишняя. А все материалы по Гориллычу до сих пор засекречены.

— Да? А как же вам удалось с ними познакомиться?

— Мне помогли, — уклончиво ответил Таганов. — Но пойдёмте обедать, а то за разговорами мы с вами о еде забыли, это не дело. А потом я вам покажу наш городок. Между прочим, посмотрите и дом, в котором некогда жил Гаврила Богданович Сажин, ваш прадед, тот, что первым перебрался в Чухлому. Да-да! Дом сохранился, представьте. Перестроен, конечно, но всё же. Так что сможете припасть к родному пепелищу.

На обед была квасная окрошка с горчицей и хреном и вчерашние макароны по-флотски. Сажин понял, что разносолов от хозяина лучше не ждать. Окрошку, правда, он выхлебал с удовольствием, а вот второе в рот уже не лезло. Обратив внимание на отсутствие у гостя аппетита, Виктор Антонович достал из буфета пузатую литровую бутыль.

— Может, по пятьдесят? — спросил он. — Кстати, и за знакомство. Крыжовенная, двойной очистки.

— Не откажусь, — согласился Сажин. — Сами гоните?

— Нет, сосед угостил. Ну, что ж, ещё раз будем знакомы?

— И здоровы... М-м, вельми понеже, — Николай постучал вилкой по опустевшей рюмке. — В смысле, хороша штучка.

Таганов с озабоченным лицом вытащил из кармана кнопочный телефон, понажимал, потряс и, чертыхнувшись, сунул обратно.

— Не берёт. Совсем здесь связи нет.

Николай спохватился, что после отъезда ещё ни разу не позвонил в Москву Марине. Но тут же выяснилось, что и его айфон здесь не ловит.

— Вот видите, — пожал плечами Таганов, — мёртвая зона. Ну, ничего, из города наберёте, пошли.

Действительно, как только они поднялись от озера, связь наладилась. Правда, Марина не взяла трубку — была на работе, но через полчаса перезвонила сама и заверила отца, что с Тайсоном, с ней и с квартирой за прошедшие сутки ничего не случилось.

Виктор Антонович Таганов оказался замечательным экскурсоводом, слушать его было сплошное удовольствие. Он с большим увлечением и, главное, со знанием дела рассказывал о родном городе, и едва ли не о каждом здании у него имелась прелюбопытная история.

Свою импровизированную экскурсию Таганов начал из центра, от единственной городской гостиницы, где Николай уже побывал вчера. Как оказалось, гостиница, возведённая в конце XVIII века, являлась старейшим гражданским зданием Чухломы. Сначала дом принадлежал купцам Июдиным, потом купцам Большаковым, открывшим в нём чайную.

Бело-голубая Успенская церковь на краю центральной (впрочем, как и гостиница — единственная в городе) площади Революции при свете дня смотрелась нарядно, почти прянично. Николай дал Таганову айфон и попросил сфотографировать его на фоне храма, так чтобы в кадр попал и стоящий неподалёку памятник Ленину. Посмотрел, что вышло, и тут же сбросил фотку Марине.

— Между прочим, с момента основания никогда не закрывалась, — с гордостью заметил Таганов, кивая на церковь, — всегда оставалась действующей, а ведь ей три века скоро.

С Советской они перешли на улицу Ленина, потом свернули на улицу Октября. Проходя мимо каменных, полукаменных и деревянных особняков с мезонинами и

ажурными железными балконами, его чичероне так и сыпал некогда знаменитыми купеческими фамилиями: Пеньковы, Ильичёвы, Паршины, Голоушины, Июдины, Смирновы... Тихие, утопающие в зелени улочки дышали стариной и уютом.

— А вот и обещанный дом Гаврилы Сажина, — Таганов указал на одноэтажное здание из массивных почерневших брёвен; с обеих сторон к нему примыкали прирубы такой же высоты, что и фасад, отчего выглядело оно ещё более приземистым, ушедшим в землю, насупившимся. — Чудом уцелел во время большого пожара 1913 года. Тогда много деревянных построек сгорело.

Николай не мог понять причины, но дом вызывал у него какие-то неприятные, тягостные ощущения.

— Что там сейчас? — поинтересовался он.

— Просто частный дом. Хотите зайти внутрь?

— Пожалуй, нет.

Спустившись по улице академика Быкова, они вышли обратно к озеру. Вечерело. Закатные лучи окрасили обширную водную гладь багрянцем и золотом. А где-то далеко-далеко, на другом берегу, едва просматривались купола Авраамиево-Городецкого монастыря.

— В советские времена здешний рыболовецкий колхоз «Путь Ленина» десятки тонн чухломского золотого карася вылавливал. Знаменитый был карась! Вес одного экземпляра до четырех кило и более доходил, представляете? Теперь — ни того колхоза, ни карася.

— Карась-то куда делся?

— А вот, как распустили колхоз, начался форменный беспредел. Все кому ни лень ловят и всё сетями, сетями — тутошние рыбаки удочку не жалуют. О воспроизводстве и речи нет. А главное, за чистотой озера уж никто не следит — заморы пошли... В общем, частью выловили нашего карася, а остальной сам передох... Николай Николаевич, а вы знаете, что в домонгольские времена это озеро именовали «Чюдским»?

— Да, где-то читал, — кивнул Сажин и, зевая, заметил: — Замечательный у вас город. Если б не дорога, каждое лето наезжал сюда отдыхать. Но добираться до вас — мама не горюй.

— Оно так не всегда было. В советские годы из Галича до Чухломы летал самолет — пятнадцать минут и тут. А отсюда — в Солигалич ещё за двадцать. Ну, тогда у нас в стране малая авиация имелась, она большинство провинциальных городов между собой и связывала. И даже некоторые деревни. А ныне — да, теперь — полная, как говорится, Чухлома.

Николай закурил и задумчиво посмотрел на Таганова.

— Вы, смотрю, тоже за советскую власть топите?

— В смысле «тоже»? — улыбнулся Таганов. — Тоже, как и вы?

Сажин хмыкнул.

— Мне тут недавно один товарищ объяснил, что настоящей советской власти я уже не застал, а потому не вправе и судить о тех временах. Дескать, младшие — не судьи в делах старших.

— Вам же сорок три? Отчасти товарищ ваш прав, конечно... Однако ж для чего человеку дана голова? Чтобы наблюдать, сопоставлять, анализировать... и делать верные выводы.

— Вот, кстати, о верных выводах, — спохватился Сажин. — Из вашего давешнего рассказа однозначно не следует, что надо мною нависла какая-то угроза. Может, поясните, наконец, что или кто всё-таки мне угрожает?

— А сами-то вы как мыслите?

— Нет, ну не про дурную же наследственность речь, в самом деле? Эта опасность слишком гипотетична. А в письме, помнится, вы даже употребили эпитет «смертельная».

— Всё ж таки я надеялся, что вы сами... Впрочем, ладно. Слушайте. У меня есть веские основания полагать, что вас хотят похитить.

— Похитить? Меня?! — Сажин невольно рассмеялся. — Помилуйте, я ж не дочь миллиардера из списка Форбс. И кто эти злодеи? Инопланетяне?

— Не инопланетяне, — повернувшись к Сажину лицом и серьёзно глядя тому в глаза, ответил Таганов. — Чудь белоглазая.

Глава 9

Сажин отступил от собеседника на шаг.

— Не волнуйтесь, — усмехнулся Таганов. — С психическим здоровьем у меня полный орднунг. Находите мои слова нелепыми? А разве это со мной в последние дни происходят всякие несообразности да странности? Нет, не со мной — с вами, Нико-

лай Николаич. Давайте оценивать факты — только голые факты.

— Чудь белоглазая! В двадцать первом веке. У меня такое чувство, будто я угодил в какую-то жуткую старонемецкую сказку... Ну, хорошо. И чем же я насолил вашей чуди? С чего ей вздумалось меня извести?

— Про «извести» никто и не говорит. Напротив, вы им потребны живым и здоровым. Ведь вы — потенциальный объект поклонения и служения. Очевидно, чудь почитает вас за живое воплощение своего бога — Кунингазса.

— Бога Кузи?!

— Ну а вот чему, скажите на милость, вы удивляетесь? — раздражился Таганов. — Вы же его прямой потомок! В этом-то факте сомнений быть не может, ведь так?

— Да основания-то каковы?! — в свою очередь повысил голос Сажин. — Какие основания для столь диких опасений? Вы что, заметили, как вокруг меня шныряют белоглазые бородатые карлики? Или эта самая чудь прислала вам официальное предупреждение?

— Я не могу вам раскрыть всего, Николай Николаич. По ряду причин, но... Короче, мне наверное известно, что тот навязчивый старик с ручным вороном, о котором вы давеча рассказывали, так вот, этот старец у них — у чудского племени — некто вроде жреца-хранителя. Вы его, помнится, прозвали Хирохитой? Мне он представился Ильей Бурмосовичем Бурмасовым. И да, я с ним встречался. Даже общался. Вот как с вами сейчас. Бурмасов сам вышел на меня, когда узнал про мои изыскания и мой интерес к родословию Сажиных. Это случилось ещё с год назад.

— Ну... так... так... допустим, хотя... А для чего же вы, скажите на милость, стращали меня смертью?! Сами говорите, что ничего летального мне не грозит?

— Как сказать. Для мира-то вы тогда всё одно что умрёте. Или вам охота провести остаток дней в пещерах Чудь-горы в качестве живого идола этих белоглазых реликтов?

— Что-то я замёрз, — после минутного молчания заявил Николай.

— С озера прохладой тянет, — согласился Таганов. — Пойдёмте-ка домой.

На ужин Папа Хэм сварганил яичницу со свиными шкварками, обильно сдобрив её мелко порезанными зелёным луком, укропом и кинзой.

— Не обессудьте за скудость трапезы, — извинился он, ставя на стол аппетитно шкворчащую сковороду, — я ж холостяк. Но зелень прямо с грядки. Вот ещё огурчики малосольные, собственного производства, по старинному чухломскому рецепту. Оцените... Может, по пятьдесят крыжовенной? Вы как насчёт этого?

— Я «за». И можно не по пятьдесят. Что-то меня подтрясывает, простыл, наверное.

— Это всё от нервов, — заверил Таганов, быстро заменив рюмки на классические гранёные стаканы. — Не каждый день узнаёшь про себя столько всякого. Ничего-ничего, сейчас отпустит, моя самогонка справная, двойной очистки, надёжнее этих ваших антидепрессантов, никакой химии, — он щедро плеснул «крыжовенной» в оба стакана. — Ну, здрав будь, боярин, — Николай кивнул и залпом влил в себя полстакана. — Закусывайте, закусывайте, Николай Николаич! Огурчиков, огурчиков-то моих фирменных попробуйте. А? Как вам? Тут и хрен, и укроп, и чеснок, и дубовый лист, и... Всё свое, всё с огорода, прямо с грядки.

— Уфф! — выдохнул Сажин, с хрустом закусив малосольным огурцом. — Дубовые листья тоже с грядки?

— Что? А, понял! Нет, дубовые листочки из леса. Видите, к вам уже вернулось чувство юмора. И очень славно. Отпустило, значит. Яишенку кушайте, Николай Николаич, пока не остыла.

Папа Хэм тараторил без остановки, то и дело подливая в стаканы «крыжовенной», словно пытаясь отвлечь Сажина от тревожных мыслей или опасаясь, что тот вновь начнёт задавать вопросы. В какой-то момент Николай так и решил и прикрыл стакан ладонью.

— Будет, Виктор Антоныч. Такими темпами я и с лавки не встану. Пора потолковать по существу. Вы же мне не всё рассказали, верно? Всё намёками, загадками да урывками. Что, в самом деле, я выцеживаю из вас информацию, как... дистиллят из самогонного аппарата?! Сами же меня пригласили, а теперь скрытничаете.

Таганов крякнул и заткнул пузатую бутыль зелёного стекла пробкой.

— Правы, Николай Николаич, сто раз правы, — он потеребил пальцами русую бородку. — Пора и о делах наших скорбных покалякать, — вдруг лицо его просветлело: — Но прежде позвольте показать вам мою коллекцию самоваров!

— Каких самоваров? — опешил Сажин. — Самовары-то здесь с какого бока-припёка?

Но Папа Хэм уже поднялся из-за стола, отдёрнул ситцевую занавеску, скрывавшую кутный угол, и, заговорщически подмигнув Николаю, ткнул пальцем вниз:

— Они в подполе. Пойдёмте, не пожалеете — такого вы нигде не увидите, ни в одном музее нет коллекции, равноценной моей.

Сажин пожал плечами и попытался встать — не тут-то было — его крепко шатнуло в сторону, и не схватись он вовремя за столешницу, лежать бы ему на полу.

— А, что б тебя! — проворчал он, со второй попытки поднявшись со стула. — Ваша самогонка мамонта свалит.

Папа Хэм хмыкнул в бороду:

— Мамонты в наших краях вымерли десять тысяч лет назад.

— Видать, от того и вымерли.

— Вам виднее.

Таганов ухватил железное кольцо в полу, поднатужился и с грохотом откинул крышку погреба.

— Ничего-ничего, пройдёт. Это всё от нервов. Полезайте за мною, обождите только, я там включу свет — лесенка больно крутенька.

Сажин обречённо подошёл к чёрной квадратной дыре в полу и, дождавшись, когда внизу загорелся жёлтый свет, спустился по скрипучим деревянным ступеням.

Подпол, скорее даже не подпол, а подвал — обширное, во весь периметр дома, помещение, в котором можно было свободно стоять, не сгибаясь, сложенное из блоков белого песчаника, и впрямь напоминало если не музей, то музейный запасник. Вдоль всех его четырёх стен в два ряда тянулись массивные деревянные полки, плотно уставленные самоварами всяческих форм — от знакомых каждому классических до самых причудливых, никогда прежде Николаем не виданных. Да их тут не меньше сотни, прикинул Сажин.

Таганов выждал минуту-другую, любуясь произведённым эффектом, и повёл гостя от экспоната к экспонату; о каких-то он рассказывал походя, дескать, это «репка», сработан в Туле в начале XIX века, а у иных, составлявших, по-видимому, предмет его особой гордости, останавливался и давал пространные пояснения.

Имелись тут самовары тульские, осташковские, уральские и ещё неизвестно чьи из жёлтой и красной меди, никелированные, латунные и из неведомого ранее Сажину сплава «томпак», весьма смахивающего на золото. Папа Хэм сыпал названиями некогда знаменитых производителей: фабрика Воронцова, Зубова, Соколова, мастерская Александрова, Катова. Оказалось, всякий самовар в зависимости от формы причислялся к определённому виду: «репка гранёная», «шар», «банка», «греческая амфора», «рюмка гладкая» и «рюмка гранёная» и даже самовар «паук». Все эти диковины канувшего в Лету самоварного искусства вызывали безусловный интерес, удивляли, а порой и восхищали... Но в какой-то момент Николай понял, что с усилием разбирает комментарии краеведа, а ряды пузатых, носатых, квадратных, шарообразных, вытянутых, как бутылки, и приплюснутых, точно тыквы, артефактов сливаются в один тускло мерцающий хоровод и того гляди пустятся в присядку.

— Эге, — заметил Папа Хэм, — у вас глазки в разные стороны. Что ж, на боковую? Утро, как говорится, вечера...

— Правда ваша, что-то меня развезло. Пойду лягу. Только разбудите меня пораньше.

— С первыми петухами, — заверил Папа Хэм.

Ранним утром, часов в семь, когда со дворов в самом деле разносилась задорная петушиная перекличка, Папа Хэм поставил перед Николаем поллитровую кружку снежно-белой холодной простокваши.

— Пейте! Лучшее средство после излишеств. Я уже две выдул и — как огурчик.

Сажин послушно опростал всю кружку и, утерев губы, крякнул:

— Хороша простокваша. Своя?

— А то чья же? Молочком меня ссужает соседка, у неё бурёнка, а простоквашу и творог я самолично готовлю — дело нехитрое.

— Как сказать... Я с малолетства люблю простоквашу. В советское время молоко продавалось в стеклянных бутылках или таких — помните? — треугольных пакетиках. Долго не хранилось — пара дней и скисло; а потом ещё чуток постоит — вот тебе и простокваша. Так это я к чему: не раз я пробовал из теперешнего молока сквасить простоквашу — пустая затея! Оно даже не скисает — и в тепле, и через месяц, — только горьким становится, как полынь. Ну, которое суперпастеризованное — понятно, но и с тем, что короткого срока хранения — та же история. Не киснет, а тухнет.

— Потому, магазинное — суррогат, а не молоко. Да разве одно молоко? Хлеб в блокадном Ленинграде, полагаю, был натуральнее нынешнего. Обращали внимание, хлеб теперь не черствеет, как прежде, а сразу плесневеет? А колбаса? Почитайте-ка, что на ней мелким шрифтом написано: всё что угодно, кроме мяса. Анастас Микоян, верно, в гробу переворачивается. Отсюда декларируемое изобилие: сплошной фальшак на прилавках. Заметьте, по цене натуральных продуктов...

«А ведь Папа Хэм опять мне зубы заговаривает», — догадался Сажин.

— Так, — сказал он, отодвигая тарелку. — А сейчас, надо полагать, мы продолжим осмотр самоварной коллекции.

— Ишь, какой вы сегодня едкий. Я ведь о чём забочусь? Переварите ли вы новую информацию, вот чего. Вчерашний-то мой рассказ вы поначалу — в штыки, разве нет? Если же — как пыльным мешком по голове — всё разом вывалить.... Для осмысления потребно время, вот я и дозирую, уж простите за откровенность. Подготовить вас хотел, дабы дозрели до всей правды. А правда, она может и зашибить человека. Извините за столь путанную речь, конечно...

— Извиняю, — не вытерпел Сажин, — но давайте ближе к телу.

— Ладно, будь по-вашему. Не из-за чуди белоглазой я вас вызвал. Ну, не только и не столько из-за неё. Чего там замыслил старик Бурмасов — Хирохито по-вашему — бог ведает. Впрямь ли он жрец белоглазых — бабушка надвое сказала. Нет, я-то в том убеждён, однако... В общем, над вами, Николай Николаич, нависла ещё иная угроза. И вот она-то и впрямь смертоносна.

За столом наступило молчание. Папа Хэм встал, засыпал в чашки гранулированный кофе — прямо из банки, на глазок — размешал и, щедро плеснув сливок из тяжёлого глиняного кувшина, поставил чашки на стол и снова уселся.

— Ой, я же не спросил, — спохватился он: — вам со сливками или так?

— Ну?! — не выдержал Николай.

Таганов подался вперёд и, понизив голос до шёпота, произнес:

— Число.

Глава 10

Никто из них не заметил, когда за окнами посерело, и из тяжёлых, набрякших влагою туч, невесть откуда выползших на недавно светлое небо, посыпались крупные капли; дробь их становилась всё чаще и чаще, пока не слилась в единый сплошной гул — начался ливень.

— Какое число? — спросил Сажин. — Снова говорите загадками.

Таганов осторожно отхлебнул горячий кофе и ответил вопросом на вопрос:

— Как полагаете, Николай Николаич, у Запада — под Западом я разумею пул крупнейших транснациональных корпораций, финансовую олигархию и верхушку политического истеблишмента, прежде всего американского, — так вот, у всех этих лиц, которые по факту влияют на всё, что происходит в мире, есть центр принятия решений? Я не имею в виду тех клоунов, что возглавляют политические партии и правительства, я сейчас говорю о реальных властителях, о кукловодах, стоящих за этими выборными марионетками.

— Пресловутая «мировая закулиса», что ли?

— Понимаю, штамп. Но за каждым штампом скрываются факты, числа... В нашем случае — сумма чисел. «Мировая закулиса», «теневое правительство», «глубинное государство» — названий у этой структуры много. Сами себя они именуют «Сумма», «Тотал» по-английски, а свои подразделения на национально-государственном уровне — «Числами». В нашей стране, разумеется, есть своё «Число».

— Конспирология, — хмыкнул Николай. — Но зачем вы мне рассказываете всё это?

— Похоже, вы всерьёз их заинтересовали. И эта опасность не идёт ни в какое сравнение с той, что исходит от чуди. Она смертельна! Интерес «Числа» к вам сродни интересу большой белой акулы к одинокому сёрфингисту.

Несколько чувств боролись в душе Сажина: облегчение, разочарование и раздражение. «Вот и разгадка, — думал он. — Мой визави оказался на поверку обыкновенным трёхнутым конспирологом. Но тогда и все его россказни про чудь белоглазую и моих шестипалых пращуров тоже болезненный фантазм?» Он глубоко вздохнул, допил залпом кофе и спросил зачем-то:

— Так-так-так. А кто ими верховодит, вам, часом, не известно? Есть у «Суммы» единоличный исполнительный орган, ну, как в любой приличной организации?

— Вы слышали про Дэвида Рокфеллера?

Сажин коротко хохотнул.

— Всякий слышал. Фамилия знаменитая ещё с позапрошлого века. Одно из богатейших, если не самое богатое, семейство на Земле. Только вот беда: Дэвид Рокфеллер помер, насколько помню, весной этого года. Хотя пожил изрядно — сто один годок, нам бы так.

— Официальная дата смерти — 20 марта 2017 года, причина — хроническая сердечная недостаточность. А вы читали, что ему семь раз пересаживали сердце и дважды — почки? Последний раз новое сердце ему пересадили в девяносто девять лет...

Только Дэвид Рокфеллер не умер.

— Ого! Постойте, не подсказывайте, я угадаю сам: взят живым на небо? Как ветхозаветный Енох?

Словно не замечая сарказма, Папа Хэм продолжил будничным тоном:

— Когда врачи принадлежащего ему института геронтологии поняли, что никакие новые трансплантации не в силах поддержать жизнь в одряхлевшем теле их шефа, они изъяли из его черепа мозг и поместили в особый контейнер с плацентарной средой. Забыл сказать: к тому моменту его учёным удалось идентифицировать набор генов, запускающих программу старения мозга, и блокировать их. Ещё они синтезировали особый белок — эпиталон, который понуждает клетку делиться большее число раз, чем предусмотрено биологической программой. Ведь старение мозга, как и остального организма, тем и обусловлено, что клетки возобновляются всё реже и реже, а потом этот процесс и вовсе прекращается. Так вот, поместили его мозг в специальный контейнер-дьюар и вживили в каждое полушарие несколько сотен микрочипов; впрочем, как нам известно, на сегодняшний день их заменили оптические манипуляторы — так называемые Бесселевы пучки девятого порядка, посредством которых можно воздействовать не то что на каждый нейрон мозга, а даже манипулировать отдельными атомами и микрочастицами. Благодаря этим манипуляторам Дэвид Рокфеллер воспринимает цветное изображение происходящего повсюду: через видеокамеры в городах, компьютеры, планшеты, телефоны и прочие гаджеты — а их миллиарды. Он может следить буквально за всем, что творится на планете. Ему не надо, подобно нам, смертным, вглядываться в дисплей — виртуальный мир формируется в его мозгу. Он *всевидящ*! Его память не скована нашими человеческими объёмами, к его услугам мгновенный доступ практически к любым базам данных — они составная часть его собственной оперативной памяти. Он *всеведущ*! Усилиями его учёных мозг Дэвида Рокфеллера не только не стареет, но и регулярно омолаживается, сохраняя при этом весь потенциал накопленных знаний и свою индивидуальность. Он не подвластен времени, он *вечен*! Чтобы сравняться с Богом, ему недостаёт последнего качества — *всемогущества*. Этого он вожделеет более всего, к достижению этой заветной цели устремлены сейчас все его помыслы.

— Сведения-то какие у вас детальные, — скривился в усмешке Сажин. — Из прессы почерпнули или из интернета?

— Вы напрасно ёрничаете. Ни в прессе, ни в сети таких сведений не найти, у меня свои источники — надёжные. Но об этом после.

— Так-так. И каким же макаром ваш вездесущий Рокфеллер собирается достичь всемогущества?

Папа Хэм пожал плечами:

— Всех деталей я, понятно, не знаю. Я же не Нострадамус и не Дельфийский оракул. Но главные парадигмы «Суммы» вычислить несложно, достаточно внимательно следить за мировыми тенденциями и трендами... Знаете, несколько лет назад на одном из заседаний Бильдербергского клуба — слыхали о таком? — абсолютно закрытый клуб самых влиятельных кукловодов мира, заседания которого проходят в режиме полной секретности, — так вот, Дэвид Рокфеллер заявил на том заседании, что мировой элите жизненно важно работать с молодыми поколениями. Необходимо отменить национальные и гендерные различия, мифологизировать, а потом и вовсе обесценить историю как науку, девальвировать само понятие родины, чтобы превратить человека в девственно-чистый лист, на котором «Сумма» напишет новые, нужные ей заповеди.

— О Бильдербергском клубе я, понятно, наслышан. Но если его заседания столь секретны, откуда вам знать, когда и что там говорил Рокфеллер?

Таганов со вздохом покачал головой:

— Шила в мешке не утаить. И повторюсь, у меня имеются свои надёжные источники информации.

Всё-таки параноик, решил Николай, а он-то, простота, олух царя небесного! Да, но как же прапрадед Богдан Сажа и дед — матёрый уголовник Гориллыч? Такое из пальца не высосать...

— Не верите, — констатировал Таганов. — Понятно теперь, почему я не хотел с этим спешить? Не созрели вы ещё, вот мозг и отказывается усваивать.

— Рассказываете вы жутко интересно, и для меня, как писателя, такие сюжеты — находка. А по части доверия — извините. И потом... вот вы упредили меня про чудь — хорошо, но там присутствует какая-никакая логика, мотивация: я для них реинкарнация племенного божества — бога Кузи...

— Да никакая не реинкарнация, — перебил Таганов. — Вы прямой потомок и, стало быть, наследник.

— Без разницы! — отмахнулся Николай. — А за каким лешим я сдался вашему

«Числу»? Им-то я чем насолил, а? У этих, как вы только что разъяснили, уже есть свой бог — Дэвид Рокфеллер. И, любопытно знать, откуда вы всё ж таки черпаете информацию? Это вы не в первый уже раз намекаете на некие таинственные источники и увиливаете от ответа. Любая гипотеза, прежде чем стать фактом, должна обрасти доказательствами, причём доказательствами проверяемыми. У меня дочь — юрист, так вот, она в таких случаях говорит: бремя доказывания лежит на стороне, выдвинувшей соответствующее утверждение. То бишь каждый сам должен доказать те обстоятельства, на которые ссылается. И пока этого не случилось, они в расчет не принимаются, вот так. Только, прошу, не уподобляйтесь нашим доморощенным агностикам: есть бог или нет бога, и то и другое, дескать, недоказуемо. Ровно тоже применимо и к Деду Морозу.

Папа Хэм закивал и произнёс с раздражающе-сочувственной улыбкой:

— Снова ваша правда, Николай Николаич. Давайте ещё кофейку, вы как насчёт кофейка?

Сажин пожал плечами. Он всё никак не мог сыскать надёжного способа удостовериться в правдивости рассказа Таганова о своих шестипалых предках. Папа Хэм заварил кофе, добавил сливок и поставил чашки на стол.

— Опять я, голова садовая, забыл спросить...

— Со сливками! — почти выкрикнул Николай.

— Не будем нервничать. Есть у меня доказательства. И интерес «Числа» к вашей персоне нам в целом понятен. Но всего, и прямо сейчас, я вам рассказать не могу, прошу извинить покорно. Я вас второй день знаю, это тоже надо понимать.

— Кому это «нам»? — нахмурился Сажин.

Папа Хэм вдруг сердито засопел и сдвинул брови:

— А вы как себе думали? Я ещё давеча признал, что в моих изысканиях мне помогали — солидные и влиятельные люди мне помогали. Должны же вы сообразить, что вот есть некая Сила, многому и многим враждебная, значит, должна существовать и Сила, ей противостоящая, оно же очевидно. А большего я пока не скажу — извините. Не вправе!

— Всё чудесатее и чудесатее, — пробормотал Николай. — Прикажете верить вам, как библейскому пророку, на слово? Мне образование не позволяет.

— Воля ваша. Если готовы плюнуть на всё, вычеркнуть из памяти и сегодня же вернуться в столицу — не смею задерживать. Только мне представляется, что вам, в силу хотя бы профессии, должна быть присуща любознательность. И куда вам спешить? В Литинститут вам только через три недели.

«Про институт я ему ничего не говорил», — сообразил Сажин. И тут же вспомнил про Хирохито — как с ним-то быть? Он-то — не выдумка Папы Хэма.

— Виктор Антонович! — он хлопнул ладонями по столешнице и резко встал.

— Да, Николай Николаич, — откликнулся тот, также поднявшись.

— Вот что... В рукописи Мельникова-Печерского говорится о Чудь-горе, так?

— Верно.

— Гора эта где-то здесь, в Чухломском районе? Вы знаете точное место?

— Знаю, — тихо подтвердил Папа Хэм. — Ездил туда однажды, хотелось сверить рассказ Печерского с действительностью. Как вы там сказали? Дабы отыскать доказательства тем обстоятельствам, на которые ссылается автор.

— Ну и как?

— Есть там гора.

— И? Проникали внутрь? Или, может, видели белоглазых карликов?

— Врать не буду: ни прохода в гору не нашёл, ни чуди не встретил. Однако... непростое место. Жутковатое.

— Понятно. Так вот, я хочу, чтобы вы показали мне эту Чудь-гору.

Таганов окинул Сажина долгим взглядом.

— Уверены, Николай Николаич?

— Уверен, Виктор Антоныч.

Папа Хэм набил короткую вишнёвую трубку табаком, сунул её в рот, раскурил и принялся мерить шагами горницу; поправил висящее на стене коромысло, зачем-то поменял местами на полке два старинных утюга, подошёл к окну и встал, заложив руки за широкую спину и попыхивая трубкой. Сажин тоже закурил, с прищуром сквозь табачный дым наблюдая за краеведом.

— Будь по-вашему, — сказал Таганов, оборотясь к Николаю. — Желаете отправиться прямо сейчас?

— Если возможно.

— Всё в наших руках. Хотя дождь-то нам как раз и не с руки, ну пусть. У меня есть «Нива», старенькая, аж восемьдесят седьмого года, но на ходу. Она — в сарайчике, в другом конце огорода, за банькой. Понятное дело, к самой горе нам на ней не подо-

браться, но до места, где раньше находилась деревня Филино, худо-бедно, доедем. А дальше — пешочком, через лес, буераки, по болоту... километров пятнадцать, когда не поболе. Не пугает?

— Я опытный грибник и лес люблю.

— У нас не Подмосковье, где, куда ни сверни, либо к домам, либо к дороге выйдешь. Костромские леса глухие, коли заплутаешь — можно пропасть. Волки, медведи опять же. Представьте, в нашем Чухломском районе лес до сих пор занимает шестьдесят с гаком процентов территории.

— Стращаете? Сами-то ведь ходили туда?

— Не прекословлю, ходил.

— Вот! Значит — можно. И дорога вам известна — не заблудимся.

— Заблудиться не заблудимся, оно конечно... заплутаем если. Там сама Гора ориентиром, только её не отовсюду видать — деревья мешают. Что же, давайте собираться, до Филино нам, с учётом погоды, часа два пилюкать... если повезёт. А в сумерках, после заката или в ночь, идти к Чудь-горе я врагу не пожелаю. И сам не отважусь.

Николай подошёл к окну, приподнял ветхую тюлевую шторку и обернулся к Таганову:

— Тогда по коням? Дождь вроде перестал.

Тут в оконное стекло кто-то настойчиво постучал. Сажин оглянулся: на него выпученными глазами таращилась ухмыляющаяся бесовская рожица. От неожиданности он аж отпрянул и едва не перекрестился.

— Изя вернулся! — воскликнул Папа Хэм, всплеснув руками. — Где ж тебя двое суток носило, пострелёнок? — он отстранил Николая и распахнул фрамугу. Ему на грудь с радостным мявканием прыгнул чёрный долговязый котище, с маленькой носатой мордочкой, ушастый, точно нетопырь, и принялся, чавкая и мурлыча, облизывать хозяину лицо.

— Это мой корниш-рэкс, Изей кличут, — пояснил Таганов, наглаживая мурлыкающего питомца. — Он у меня не кастрированный, вот иной раз и уходит в загул. Да, Изюка? Опять мамзельку с пониженной социальной ответственностью закадрил? Блудня эдакий! А родитель сиди, волнуйся. Ух ты, Изюка-зюзюка. Красавчик, правда? Вы погладьте его, погладьте! Он добряк. А шёрстка какая, а? Чисто каракуль.

Сажин провёл ладонью по мягкой волнистой шкурке; упитанное тельце оказалось удивительно тёплым, почти горячим. Кот, вытянув длинную шею, приблизил морду к самому его лицу и внимательно, в упор посмотрел большими выпуклыми глазами. Один его клык был длиннее второго и зловеще выдавался из пасти. «Изя хороший», — похвалил его Николай, и тот, словно в благодарность, лизнул его в щёку шершавым, как наждак, языком.

— Видите, вы ему понравились, — засмеялся Папа Хэм.

— Вот уж не ожидал встретить в здешней глухомани кота столь экзотической породы.

— Подарок столичного друга. Ладно, сейчас покормлю моего обормота, и — в путь.

Глава 11

Через полчаса поспешных сборов Сажин с Тагановым уже тряслись в дребезжащей и постанывающей от старости «Ниве» по ухабистым просёлочным дорогам. Они миновали какое-то село, пару полуживых — в два-три обитаемых дома — деревеньки и несколько мёртвых, давно покинутых людьми, с пустыми полусгнившими избами, окна которых были кое-как заколочены досками, а то и просто зияли чёрными провалами, точно глазницы вросших в землю, едва различимых в зарослях бурьяна и вставшего мелколесья, великаньих черепов. Но большая часть пути являла собой разъезженную колею, которую с обеих сторон тесно обступал дремучий хвойный лес, неприветливый и угрюмый после недавнего дождя.

Папа Хэм прихватил в дорогу дневной запас еды, два туристических топорика и одноствольное охотничье ружьё ИЖ-5, явно доставшееся ему в наследство. Грунтовая дорога изрядно раскисла; тяжёлый современный джип, пожалуй, давно бы увяз по самые уши, но ходкая, невзирая на почтенный возраст, лёгкая «Нива» упрямо шла вперёд, разбрызгивая фонтаны грязи и подскакивая на бесчисленных ухабах. Таганов вёл машину уверенно, крепко вцепившись в обмотанный изолентой руль и безостановочно пыхтя трубкой.

Ни Таганов, ни Сажин не могли видеть крупного чёрного ворона, неотступно летящего за их «Нивой».

Перевалило заполдень, когда Папа Хэм свернул с просёлка и вырулил на небольшую поляну. Объехав куст орешника, он загнал машину прямо в густые заросли иван-чая, облегчённо выдохнул и распахнул дверцу.

— Приехали. Дальше — только на своих двоих. Мою старушку оставим тут, место невидное. Хотя кому она нужна?

День оставался пасмурен, но душен, как случается перед грозой. Николай вылез из кабины, накинул на плечи брезентовый рюкзак со своей частью поклажи и вдохнул полной грудью дурманящий, пропахший сырым разнотравьем и хвоей воздух. Они прошли сквозь высокий травостой вглубь поляны и поднялись на пригорок. Метрах в ста перед ними тёмной стеной вставал лес. Папа Хэм указал поверх деревьев:

— Вон, глядите, там, чуть левее, видите? Это она и есть — Чудь-гора, укрывище белоглазой чуди. Если, конечно, верить Печерскому.

Сажин вгляделся: среди тёмно-зеленого моря, где-то на краю видимости возвышался поросший деревьями конус; от остального леса его, точно полоса отчуждения, отделяло полукольцо плотного тумана.

— Болото там, — пояснил Папа Хэм, — оттого и марево, — он поправил ружьё, одёрнул куртку, похлопал себя по карманам, потопал резиновыми сапогами, точно проверяя их на прочность, и преувеличенно бодрым тоном произнёс: — Бог не выдаст, свинья не съест. Тронулись!

Николай, по настоянию Таганова, тоже заранее переобулся в резиновые сапоги из запасов хозяина, примерно подошедшие по размеру. «Ближе к подножью места топкие, — аргументировал Папа Хэм, — проще уж босиком, чем в кроссовках». Но теперь, спускаясь вслед за ним с пригорка, Сажин почувствовал, что левый сапог из-за лишнего пальца жмёт, и мысленно клял себя за сговорчивость. Вступив в лес, он потянул носом и тут же уловил тонкий букет грибного аромата. Николая так и подмывало заглянуть под хвойный подол ёлок в надежде обнаружить каштаново-бурую шляпку белого, но его проводник сразу задал ходкий темп.

Продравшись сквозь частый ельник, окативший их прохладным дождём с мокрых колких лап, они очутились в сосновом бору; здесь было сухо, светло, а под ногами приятно пружинил толстый слой слежавшейся хвои; золотистые, будто освещённые солнцем, стволы могучих корабельных сосен стояли не слишком густо, и идти стало легко и приятно. Чудь-горы видно не было, но Папа Хэм уверенно шагал вперёд, выпуская клубы табачного дыма, точно паровоз на полном ходу. Километра через три он остановился и сверился с компасом.

— Что, сбились? — заволновался Николай.

— Это я так, на всякий случай, тут не заблудишься. Вот на болоте, там — да, там может закружить.

— А компас на что?

— Шалит он в тех местах, врёт, как гидрометцентр. Может, из-за рудных залежей в Горе? Леший знает. В прошлый раз я там долго кружил. Ну ничего! Я кое-где оставил метки, по ним и доберёмся.

— Что-то не помню, чтобы в рукописи Печерского упоминалось болото.

— Его и не было в те времена. Лет сорок или больше назад случился лесной пожар, вот после того па ла земля там и отрясинилась. Болото не болото, а идти топко. И чарусы встречаются.

— Чарусы? Это что за зверь? Название красивое.

— Оно и с виду красиво. Коли встретим, так покажу.

Справа от них кто-то неразличимый за деревьями затрещал ветками, завозился шумно и сердито.

— Лось или кабан, — предположил Папа Хэм в ответ на вопрошающий взгляд Николая.

Сосновый бор кончился, и пошли осины, берёзы да ясени с подлеском из орешника и кустов лесной малины. Идти стало труднее, приходилось невольно петлять, огибая особенно непролазные заросли. Ко всему, Николай почувствовал, что натёр-таки левую ногу, и шагал, прихрамывая. Заметив это дело, Папа Хэм срезал две орешины, прямые и ровные, и подал одну Николаю.

Стволы деревьев между тем сделались каким-то приземистыми и искривлёнными; их причудливо-извилистые, смахивающие на одеревеневших змей, ветви тянулись к путникам, преграждая проход и словно предупреждая о неведомой опасности; длинные бороды мха свисали с них до самой земли. Не было слышно ни птичьих трелей, ни стрекота насекомых, ни шуршания мелких лесных зверюшек — ничего, немая дремотная тишь. Сажину припомнился колдовской лес из старой советской киносказки «О потерянном времени». Лесная подстилка из слежавшейся листвы и хвои обильно поросла валуями, чернушками и всевозможными млечниками; их было так много, что они хрустели под ногами; тут и там грибные семейки образовывали «ведьмины круги».

— И гриб-то тут всё какой-то сорный, — проворчал сквозь зубы Таганов, попыхивая трубкой.

— Никакой не сорный, — возразил Николай. — Для холодного засола лучше этих не сыскать.

— Да ну! — махнул палкой проводник. — Вымачивай их, отваривай — возни больше.

— Зачем отваривать? — возмутился Сажин. — Только портить. Вся соль холодного соления, что гриб остаётся сырым, сохраняя натуральный вкус. Вымочить три дня в холодной воде, периодически её меняя — да, надо — чтобы горечь вышла. И всё!

Папа Хэм взглянул на него с интересом:

— А дальше как?

— Очень просто. Но перво-наперво следует знать, какие грибы для холодного засола годятся. Это, понятное дело, грузди всех видов, любые подгруздки: и белый — он же сухарь, и чёрный, и все прочие; потом: волнушки, краснушки, рыжики — последние, правда, вымачивать ни к чему, у них сок неедкий; дальше: млечники всякие — их ещё называют подорожниками; подмолочники, серушки; но мне лично особенно нравятся валуи, впрочем — дело вкуса. Ну так вот, как вымочили, насыпаете на дно посудины — бидона или там кадушки — что есть в хозяйстве — слой соли (лучше, крупного помола), кидаете туда же листья смородины, вишни, дуба, хрена, стебли укропа, и сверху укладываете грибы слоем эдак сантиметров в пять-десять; каждый такой слой пересыпаете опять же солью, перцем, чесноком, теми же листьями хрена, смородины и остальными, а как посуда наполнилась, кладёте деревянный кружок, а на него — камень для гнёта. Хранить, конечно, в холодном месте. Вот и вся премудрость — через сорок дней деликатес готов. Достали потребное количество, порубали с лучком репчатым, сметанкой заправили — язык проглотишь! Особливо если с картошечкой да под рюмочку.

— Вкусно рассказываете, — причмокнув, заметил Таганов. — Вам бы своё дело открыть, заготконтору какую-нибудь, от покупателей не было бы отбоя.

— Вот выйду на пенсию, может, тогда, — усмехнулся Николай. — Правда, ходят упорные слухи, что пенсионный возраст вот-вот повысят.

— Непременно повысят, — заверил Таганов. — И очень скоро.

— Откуда такая уверенность?

— Так Россия теперь — часть мировой капиталистической системы. А в ней, в системе этой, идёт сегодня повсеместный откат: пенсионный возраст повышают, социальные льготы, напротив, сокращают. И это закономерно.

— Почему же закономерно?

— Так ведь когда на Западе стали меняться отношения между наёмными работниками и капиталистами? После победы Октября. Именно коммунисты первыми дали миру и восьмичасовой рабочий день, и само право на пенсию. А декретные отпуска, запрет детского труда, бесплатные образование и здравоохранение, равные права мужчин и женщин? Тоже всё завоевания Октября. Вот Западу и пришлось догонять, чтобы тамошним пролетариям достижения «красных» глаза не кололи... Особенно после Великой Отечественной, когда мы с ППШ в руках доказали преимущество нашей системы. А расовое равноправие? Вспомните, в Штатах только в шестьдесят восьмом году — при моей жизни! — убрали уголовную ответственность за межрасовые браки.

Николай пожал плечами:

— И что изменилось?

— Как это что? Советского Союза не стало, вот что. Когда Союз рухнул — пошёл откат, прежние социальные завоевания стали потихоньку отбирать. Мы ж сами признали в девяностые, что СССР — «империя зла», а к чему равняться на уничтоженный Мордор?

— Так-то оно так, — согласился Сажин, — однако советский проект потерпел крах, и этот факт, увы, неизбывен.

— Это не означает краха самой идеи о социальном равенстве, — возразил Таганов, выбивая трубку о сапог. — Да, на путях развития цивилизации возможны неудачи, случаются и откаты. Вспомните Средние века. Тут ведь какой ещё нюанс: социализм предполагает совершенствование самой человеческой природы, взывает к лучшим качествам человека: к сознательности, коллективизму, ответственности, взаимовыручке. А капитализм, напротив, апеллирует к низменным животным инстинктам: эгоизм, алчность, право сильного, себялюбие. Это куда проще. Спуск всегда легче подъёма.

Тем временем зачарованный лес сменился низкорослым кустарником с торчащими из него тут и там высокими обугленными пеньками; под ногами захлюпало. «Ага, вот и болото, — сообразил Сажин, — значит, скоро Гора».

Таганов пошёл медленнее, тыча перед собой палкой, как слепой. Почва пружинила и колебалась, точно водяной матрац, ноги грузли в мягком мху, наплывы седо-

го тумана мешали обзору. Выйдя к светлой уютной полянке, поросшей шелковистой травкой, расцвеченной голубыми глазками незабудок и жёлтыми купавками, Папа Хэм замер и поднял руку.

— Привал? — спросил порядком измотанный Николай.

Вместо ответа Таганов подобрал тяжёлую корягу и с размаху зашвырнул её на середину живописной прогалины; с глухим всплеском коряга ушла вглубь, а на её месте образовалась мочажина чёрной воды, затянувшаяся у них на глазах. И вновь приветливая, с сочной свежей зеленью полянка манила к себе усталого путника.

— Вот вам и чаруса.

Глава 12

— В прошлый раз я в похожей чарусе едва не сгинул, чудом уберёгся, — рассказывал Папа Хэм, ведя Николая в обход коварного омута, — шаг только сделал и ухнул по самую грудь. На счастье рядом рос ракитовый куст — уцепился за ветки, насилу выбрался.

— А что, тогда другая была чаруса, не эта самая? Или вы ведёте меня другим путем?

— Какие тут пути, одни направления. А чаруса была иная, это точно. Там, в самой серёдке, стояла хибарка, ладная такая, вроде охотничьей сторожки, на неё я особенно купился.

— Чёрт-те что, — проворчал Сажин, — кругом омуты понатыканы замаскированные, ровно капканы. И кому приспичило ставить дом на болоте?

— Было бы болото, а черти найдутся. Непростое здесь место, говорю же... Ага! Вот и компас начал чудить: глядите — солнышко во-он откуда проглядывает, значит, там запад, так? А теперь смотрите на синюю стрелку — если верить ей, там у нас совсем не запад, а север.

Они шли среди низкорослых кустов подбела с восковыми, словно подбелёнными листьями, и редких чахлых сосенок. Порою попадались клюквенники с ещё недозрелой ягодой, розовато-жёлтая морошка, тоже не вполне набравшая силу; потом пошла брусника. Николай на ходу срывал её красные блестящие ягоды и отправлял в рот; кисло-сладкий брусничный срок освежал и, кажется, придавал сил. Под ногами по-прежнему пружинили многолетние наслоения сфагнума.

— Николай Николаич, — предупредил Таганов, — вы ступайте аккуратнее, а то неровен час... — для наглядности он с силой воткнул в мох ореховый посох, поднажал, и тот по самую руку ушёл вглубь, прыснув тёмным водяным фонтанчиком.

Наконец земля перестала уходить у них из-под ног, вернувшись в нормальное твёрдое состояние, но теперь дорогу преградила сплошная стена багульника. Его узкие буровато-коричневые листочки источали острый дурманящий аромат. Зато совсем пропали досаждавшие им комары.

— Это ещё что, — походя заметил Таганов, — это ещё ничего, давешний-то раз я в июне в поход наладился, аккурат в пору его цветения, так — ух! — думал, лопнет моя головушка... Хотел вас спросить, Николай Николаич. Вот вы давеча упомянули, что у вас дочь юрист, так?

— Верно. Правда, пока не дипломированный — учится на последнем курсе МГЮА. Но уже трудится по специальности. А что?

— Если я лезу не в своё дело, так и скажите, без обид... А что жена? Вы в разводе или как?

— Формально как бы нет, а по факту... Она несколько лет назад эмигрировала в Штаты, и мы практически не общаемся.

— Вон что. А вы чего же остались? Не захотели в землю обетованную, в сияющий град на холме?

Сажин помолчал, а потом ответил:

— Знаете, я хоть и застал уже позднесоветский период, однако такое понятие, как «родина-мать», для меня не пустой звук. Это теперь — у нынешней молодёжи — оно вызывает иронические ухмылки или стеб про «совок» и «скрепы». Как бы там ни было, а я воспитан так, не иначе. И мне отчего-то кажется, что и вы, Виктор Антонович, разделяете эту мою позицию.

— Разумеется, — подтвердил тот, с пыхтением продираясь через кусты. — *Патриа о муэртэ*![1]

— *Венсеремос*[2]. Тогда оцените, скажем, следующую ситуацию: приходит к вам, допустим, друг-приятель и заявляет, что его матушка сильно сдала за последнее вре-

[1] «Родина или смерть!» *(исп.)*

[2] «Мы победим» *(исп.)*

мя, постарела, всё забывает, и вообще от неё не то что никакой помощи не дождёшься — она сама требует ухода и поддержки; притом пенсия у неё крохотная. Поэтому, когда недавно он встретил молодую, материально обеспеченную женщину, то решил её уматерить, а прежнюю — старую да больную — сдать в приют. Как вам такое?

— Отвратительно, — Папа Хэм остановился и окинул Сажина долгим взглядом. — Знаете, Николай Николаевич, вы мне всё более и более симпатичны, — он набил трубку свежим табаком, примял его жёлтым от никотина пальцем и принялся с лёгким попыхиванием раскуривать. — А супруга ваша, значит, на сей счёт держалась иного мнения?

— Она, увы, попала под влияние церкви свидетелей Иеговы.

— Иеговистов? Да, те мастера зомбировать неофитов.

— Вот-вот. И не найдя, мягко говоря, сочувствия ни у меня, ни у дочери, предпочла перебраться поближе к их ненаглядной «сторожевой башне».

— Теперь понятно. Ну, двинули дальше.

Через полкилометра или около того под ногами опять всё заколебалось, вновь пошли брусничники и морошка, и — здрасте, пожалуйста! — они очутились на краю той же самой чарусы.

— Твою ж разтвою! — с сердцем выругался Папа Хэм. — Закружил нечистый. Где у нас солнце?

— За тучами, — констатировал Николай, подняв глаза к небу.

— Так. Ладно. По всему, мы сделали крюк. Следов наших не видать, так? Значит, мы к ней зашли с другой стороны. Поворачиваем! Николай Николаич, давайте-ка поднажмём. Сейчас начало пятого, три часа топаем, а нам ещё на обратный путь время потребуется. Ночевать в здешних местах мне решительно неохота, — и, несмотря на усталость, Папа Хэм перешёл на лёгкую трусцу, так что Сажин едва поспевал за ним.

Проломившись сквозь заросли багульника, они с налёту выскочили в роскошную дубраву; многовековые великаны широко и вольготно раскинули кудреватые кроны, накрывая всё вокруг тенистым пологом, под которым царили приятная прохлада и зеленоватый сумрак. Их путь пошёл теперь на подъём.

— Считай, на месте, — задыхаясь, произнёс Таганов, утирая потное лицо рукавом.

Николай зачарованно смотрел на великое множество польских белых, несметные россыпи козлят, моховиков и мокрух, произраставших под благодатной дубовой сенью; их глянцево-коричневые, бархатисто-оливковые, красновато-бурые и охристо-розоватые шляпки так и просились в корзину, которой, увы, у Сажина не было.

— Грибами займёмся как-нибудь в следующий раз, — сказал Папа Хэм, искоса глянув на Николая, — сейчас недосуг. Но хороши, стервецы! А? Полюбуйтесь! — он на ходу сорвал пузатый поддубник размером с суповую тарелку. — Не... это не панский гриб и не козляк. Верно сатанинский.

— Сами вы сатанинский, — фыркнул Сажин. — Сатанинские у нас вообще не растут, за них часто принимают желчный гриб, но тот не ядовитый, а просто горький. А это — поддубник, поддубовик или дубовик — как и польский, относится к роду боровиков, — он взял гриб из рук Таганова и перевернул шляпкой вниз. — Вот, глядите — низ шляпки охряный, почти красный — не перепутать. А у вашего сатанинского шляпка свинцово-белая, а ножка красная. И встречаются они на Кавказе. Ну, и в Турции ещё, помнится. Короче, не у нас.

— Этот, значит, съедобный.

— Разумеется. И очень хороший. Удивляюсь я на вас, сельских жителей. Живете, считай, в лесу, а грибы знаете плохо.

— Ваша правда, мы, селяне, народ консервативный, если не сказать — косный. Мне мать рассказывала: до войны в наших чухломских местах лисички и осенние опята почитали за поганки. И только с приездом эвакуированных, увидав, что те такие грибы берут и не травятся, тоже потихоньку начали. Зато летние опята, которых мало кто знает — ножка тоненькая, шляпка ломкая — здесь собирали всегда. Между прочим, помидоры выращивать нас научили тоже эвакуированные.

— Из летних опят суп очень вкусный, — заметил Николай.

— Это точно, духовитый.

Откуда-то справа и сверху донеслось приглушённое тарахтение.

— Никак вертолёт, — нахмурился Папа Хэм, убирая трубку в карман.

— Лесоохрана? — предположил Сажин.

— Какие у нашей лесоохраны вертолёты? Или вы не в курсе, что Рослесхоз упразднили ещё в двухтысячном, а все его функции передали Минприроде; у тех не то что вертолётов — профессиональных кадров нету.

Шум вертолёта умер где-то за деревьями, и они двинулись дальше. Вновь окутав-

шая дубраву торжественная, почти сакральная тишина, чистота воздуха и таинственный полумрак рождали мысли о священных рощах языческой древности.

— Чу! — поднял посох Папа Хэм, настороженно озираясь. — Слышите? Здесь кто-то есть, — и зашептал в самое ухо: — Тс-с! Давайте-ка схоронимся, бережёного бог бережёт, а небережёного конвой стережёт.

Товарищи залегли в ложбину за неохватным, раздвоенным у корня дубом и затаились. Папа Хэм тихонько стянул с плеча ружьё, переломил ствол, вставил патрон и взвёл курок. Они лежали так минут десять — ничего не происходило. Николай хотел уже подняться, когда краевед придавил ему плечо широкой ладонью, приложил палец к губам и глазами указал направо. Николай присмотрелся: там, почти сливаясь с деревьями коричнево-зелёным камуфляжем, застыл человек; на голове — шлем с прозрачным забралом, в руках винтовка с оптическим прицелом. Вот рядом с ним появился второй такой же, за ним ещё один и ещё. Таганов медленно просунул ружейный ствол в развилку дуба и прищурил глаз. Решив, что он сейчас выстрелит, Сажин схватился рукой за ствол и горячо зашептал:

— С ума спрыгнули? Подождите! Вдруг это учения? Спецназ или что?

Папа Хэм зыркнул на него и зло прошипел:

— Не глупите, чёрт вас дери! Уберите руку — мушку не вижу.

Первый из «спецназовцев» резко крутанулся и, взяв оружие наизготовку, упругим крадущимся шагом направился в их сторону. Остальные трое, растянувшись в дугу, потрусили следом. Таганов смахнул ладонь Николая и, не целясь, нажал на курок. Сажин на мгновение оглох, поэтому ответные, слившиеся почти в автоматную очередь, выстрелы прозвучали для него приглушённо, как сквозь толстый слой ваты: дум-дум-дум-дум-дум! От дуба во все стороны полетела щепа.

— Бежим! — хрипло каркнул Таганов и, ухватив Николая за рукав, буквально потащил назад под гору, к зарослям багульника. Стрельба за их спинами не смолкала. Николаю вдруг больно обожгло ухо и по шее потекло что-то тёплое. — В болото давай! В болото! — на ходу кричал Папа Хэм. — Там нас хрен кто...

Из спасительных кустов, до которых оставалось всего ничего, точно на пружинах поднялась фигура в шлеме и коричнево-зелёном камуфляже, смотрящая на них сквозь оптический прицел винтовки.

— Стоять! — властно скомандовал неизвестный, быстро переводя винтовочное дуло с одного беглеца на другого.

Таганов припал на колено, вскидывая ружьё. Винтовка харкнула огнём, и он опрокинулся навзничь.

— Ты что, козёл, творишь?! — скорее с удивлением, чем с испугом воскликнул Сажин.

— Лицом на землю, руки за голову, ноги расставить! — властным командным тоном приказал стрелок.

Николай нагнулся к мычащему Таганову, который одной рукой зажимал рану на боку, а второй шарил по земле, пытаясь дотянуться до выпавшего ружья.

— Выполнять! — рявкнул стрелок, шагнув к Сажину. — Лицом на землю, руки за голову, ноги расс...

С тупым стуком в его шлем, в область виска, врезался булыжник размером с добрый кулак. Боец отскочил в сторону и закружился на месте, высматривая в прицел неведомого обидчика. Ещё дюжина камней со змеиным свистом вылетели из багульника, осыпав стрелка градом ударов: три или четыре угодили в прозрачное забрало, и то затуманилось паутиной трещинок, ещё один попал в пах, заставив его с воплем согнуться пополам, последний с сочным хрустом врезался в шею. Этот оказался роковым — «спецназовец» выронил винтовку и, раскинув руки, рухнул ничком в мох.

Лёгкое колебание прошло по верхушкам багульника, и из кустов выскочило пять существ в кожаных безрукавках облезлым мехом наружу и коротких кожаных портах; все босые, бородатые, с длинными жёлто-русыми волосами, забранными на темени пучком, они едва доставали Николаю до пояса. Четверо из них кинулись к Папе Хэму, схватили его за руки и за ноги, вскинули себе на плечи и, семеня голыми ногами, потащили в кустарник, пятый же сильно ткнул твёрдым, как камень, кулачком Николая в зад, подсказывая верное направление.

В зарослях Николай заметил еще несколько таких же созданий, притаившихся среди бурой листвы багульника. От пережитого страха, от боли и усталости сознание Сажина как бы частично померкло, и он воспринимал происходящее, если и не как должное, то и без должного удивления. Да и когда удивляться, если смерть за плечами? Пригнув голову, придерживая левой рукой простреленное ухо, сильно ноющее, из которого безостановочно сочилась кровь, он, то и дело спотыкаясь, шагал за бородатыми карликами, которые тащили раненного Таганова, по-заячьи петляя между кустов багульника. Пятый маломерок замыкал шествие, периодически подталкивая

Николая жёстким кулачком. Позади раздавались беспорядочные выстрелы и крики.

Минут через двадцать их отряд, сделав крюк, вновь вышел в подгорную дубраву. Маломерки, нёсшие на своих плечах Таганова, остановились и осторожно уложили его между корнями. Звуки стрельбы — отдалённой и всё более редкой — доносились теперь откуда-то справа, а потом разом смолкли. Николай опустился на колени рядом с раненым. Жив ли ещё его проводник? Грудь Таганова под расстегнутой курткой оказалось туго перетянута мешковиной, на которой расползалось тёмное пятно. Как они исхитрились сделать перевязку на бегу, удивился Николай. Папа Хэм открыл глаза, облизал пересохшие губы и слабо улыбнулся:

— Укатали сивку крутые горки. Что, Николай Николаич, справился я с бременем доказывания? Все факты налицо: и чудь, и «Число»... к вашим, кхе-х... услугам.

— Вы полагаете, это люди «Числа»? Их бойцы?

— А то кто же? — он кашлянул и болезненно скривился; на его губах вздулся и лопнул розовый пузырь.

— Лучше молчите. У вас, наверное, задето лёгкое. Но как они меня так быстро...

— Вычислили? — раздался скрипучий голос, и из-за ствола дерева выступила знакомая сухопарая фигура в синих окулярах и с тростью. Хирохито!

Глава 13

Папа Хэм со стоном приподнялся на локте.

— А-а... Илья Бурмосович. Ожидаемо. Значит, я вас верно просчитал. Благодарю за помощь... — он без сил откинулся на спину.

Хирохито, облачённый вместо всегдашнего твидового пиджака в длинную, до пят, рубаху из некрашеной холстины, подпоясанную узким кожаным ремешком, подошёл к Николаю вплотную и протянул костистую ладонь:

— Дайте мне ваш телефон.

Сажин послушно передал айфон старику. Тот осторожно, почти брезгливо принял его двумя пальцами и, подняв над головой, проскрипел:

— Вот и ответ! — а потом, повернувшись к Таганову, спросил укоризненно: — А вы куда смотрели? О чём думали? Весьма вы меня разочаровали, весьма. Вы и ваша гоп-компания.

Папа Хэм открыл глаза, горькая усмешка скользнула по его посеревшему лицу.

— И на старуху бывает проруха. Не... думали, что так... скоро...

Хирохито передал айфон одному из карликов и что-то сказал на незнакомом наречии, напоминающем лягушачье кваканье. Карлик кивнул хохолком и, мелькая голыми пятками, убежал в сторону болота.

— Эй, постойте! — всполошился Сажин. — Там у меня все номера, все контакты, мне он нужен.

Хирохито резко, по-птичьи, дёрнул головой:

— Жизнь, полагаю, нужнее, молодой человек? Всё, шутки кончились. Теперь вы воочию убедились, что действенную помощь можете получить лишь от меня. И от моего народа.

Таганов замычал протестующе, но тут же задохнулся от боли. Хирохито снова квакнул на непонятном языке. Бородачи подняли Папу Хэма и куда-то унесли. Заметив волнение Николая, старик покачал головой:

— Не тревожьтесь. Надеюсь, ваш друг поправится — этакий здоровяк. Жаль, на голову слаб. Вашу рану тоже не мешает обработать — кровит. Ну-ка сядьте здесь!

Николай сел, привалившись спиной к дубу. К нему подошёл один из карликов — тот, что подгонял его тычками в спину. Он совал себе в рот какие-то листья и жевал их, смешно шевеля клочковатой бородой и раздувая щёки, потом ухватил Сажина короткопалыми пальцами за подбородок и затылок и стал осматривать простреленное ухо. Николай в свой черёд с любопытством разглядывал недоростка: коренастый, кривоногий и большеголовый, он походил на кряжистый пень. Из одежды на нём были короткие, недостающие до щиколоток, кожаные штаны и меховая безрукавка; его правую руку, жилистую и мускулистую, обматывал кожаный ремень, загорелое морщинистое лицо по самые брови заросло пегой с сильной проседью бородой, а волосы, собранные в пучок на голове, придавали той сходство с луковицей. Облик дополняли широкий расплюснутый, как у профессионального боксёра, нос и заметно выступающая нижняя челюсть. Но самым необычным оказались глаза бородача: их радужная оболочка была бесцветной, почти прозрачной, отчего неприятно выделялись чёрные бусинки зрачков, которые, как два жучка, жили своей собственной жизнью. Вот, значит, какова она, чудь белоглазая!

Бородач выплюнул себе на ладонь пережёванную растительную массу и, не успел Николай возразить, с силой прижал её к ране. Ломящая боль пронизала Николая, но

через секунду ухо онемело, и боль ушла. Карлик налепил поверх этой лепешки лист подорожника и перевязал голову наискось, чтобы второе ухо оставалось открытым. «Голова завязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве», — пришли Сажину на память слова песни времён Гражданской войны.

Из-за дубовых крон донёсся шум вертолётных винтов. Чудь, повинуясь знаку Хирохито, прыснула в стороны и моментально исчезла, сам же старик, точно заправский фокусник, вытащил из рукава зелёную паутинно-тонкую сеть и, сев рядом с Николаем, накрыл ею и себя, и его. Сажин с опаской посмотрел вверх, сквозь ячейки маскировочной сетки:

— Опять, что ли, эти... числители, числовики или кто там они?

Старик не то кашлянул, не то хихикнул.

— Как ни назови, а больше их нет. Можно сказать, и не было никогда — ни их самих, ни следов их. В вертушке — только пилот; покружит, покружит да и улетит. Сесть ему здесь всё одно негде; те пятеро, которые открыли тут стрельбу — на длинных канатах спустились — я видел — ловкие! Да мы ловчее. И земля эта — наша, — когда тарахтение смолкло в отдалении, Хирохито стянул маскировку, сунул обратно в рукав своей длинной туники и, опершись о трость, поднялся на ноги. — Нуте-с, Николай Николаевич, прошу следовать за мной.

Сажин тоже встал, придерживаясь рукой о ствол — голова ощутимо кружилась.

— Это обязательно?

Хирохито вперился в него синими стекляшками очков.

— А вы зачем сюда пришли, собственно?

— Да-да, ваша правда.

— И потом, не оставите же вы своего товарища? Сейчас он явно нетранспортабелен. Пока им занимаются, у нас будет время побеседовать. А разговор предстоит длинный. До темноты вам по-любому обратно не вернуться, только зря в болоте сгинете. Так что уйдёте завтра поутру, если ваш товарищ будет в силах. Ну и коли сами решите.

Эти последние слова несколько успокоили Сажина. Хирохито, размашисто шагая и лихо помахивая тростью, повёл Николая вверх по склону, петляя между стволами лесных великанов. Казалось, он скинул с себя ещё добрый десяток лет. Крутизна подъема усилилась, Хирохито остановился, поджидая Николая.

— Не обижайтесь, но сейчас придётся завязать вам глаза. Это ненадолго, — решив, что спорить в данной ситуации неразумно, Сажин позволил старику наложить повязку. — Платок у меня чистый, если что, — заверил Хирохито. — Я туго не затягиваю, полагаюсь на вашу порядочность. А если мы придём к соглашению, обратно такая мера предосторожности не потребуется.

— Какому соглашению? О чём?

— Потерпите, скоро узнаете, я все объясню. Не на ходу же, право, говорить о столь серьёзных вещах?

— А если не договоримся, что тогда?

— О, ничего кошмарного! Тогда мы просто расстанемся и постараемся забыть друг о друге. А теперь пойдемте. Ступайте уверенно, если где корешок или ямка, я упрежу.

Двое чудинов, встав с боков, взяли Николая под руки и медленно повели вперёд. Путь их шёл то вверх, то вниз, то снова вверх, поэтому Сажин совершенно дезориентировался и мог лишь предполагать, что они продвигаются скорее вдоль, чем вверх по склону. Через четверть часа или около того он, по просьбе Хирохито, опустился на четвереньки и залез, судя по ощущениям, в нечто вроде земляной норы, ползти по которой пришлось еще минут десять. Его лица и тела то и дело касались холодные корни, на голову что-то постоянно сыпалось. Наконец ему разрешили подняться на ноги, и он смог распрямиться во весь рост, правда, тут же упёрся затылком во что-то твёрдое. Хирохито снял с его глаз повязку и с долей торжественности в голосе объявил:

— Добро пожаловать в заповедное царство чуди, Николай Николаевич. Чувствуйте себя как дома, со мной вы в полной безопасности, — слова старика прозвучали неожиданно гулко и, отразившись вдали о невидимую преграду, вернулись зловещим эхом: «опасности... сти... ти».

Сажин потёр глаза и проморгался. Они стояли в длинной, уходящей во тьму галерее, сложенной из грубо отёсанных базальтовых блоков; через каждые пятнадцать-двадцать шагов под полукруглым сводом тоннеля крепились глиняные плошки с горящими в них фитильками; это давало какое-никакое освещение, но всё равно большую часть тоннеля окутывал таинственный полумрак. Хирохито достал маленький светодиодный фонарик и повёл вокруг лучом белого света. Кроме них двоих, в тоннеле никого не было, все карлики куда-то подевались.

«Вот, чёрт, а ведь всё выглядит ровно так, как оно описано в рукописи Мельникова-Печёрского», — невольно отметил Николай.

— Ступайте за мной, — попросил Хирохито, махнув фонариком, — здесь недалеко.

Метров через сто галерея привела их к развилке, они свернули налево и вскоре упёрлись в круглую дверь из цельного дубового спила. Спил сплошь покрывали напоминающие паучков значки или письмена, сбегавшиеся по спирали к центру, порождая аллюзию к знаменитому фестскому диску, многократно увеличенному в размерах; в центре деревянного круга была вырезана шестипалая человеческая ладонь. Хирохито приложил к шестипалой ладони свою пятипалую и надавил. Дверь с жалобным скрипом отворилась.

Помещение, размером с монашескую келью, открывшееся взгляду Сажина, вид имело аскетичный, хотя, пожалуй, могло сойти за кабинет какого-нибудь любителя стиля кантри. На полу и стенах — циновки из камыша, потолок из кривых разномастных брёвен; из обстановки — пара плетёных стульев да массивный пень вместо стола. Функции полок выполняли огромные грибы трутовики, на которых лежали стопки книг, по виду — современные издания. Освещалась келья свисавшей с потолка керосиновой лампой.

— Присаживайтесь, — предложил Хирохито. Николай с опаской опустился на один из стульев. Тот затрещал под его весом, но устоял. — Схожу распоряжусь насчёт ужина. И узнаю о здоровье Таганова.

После ухода старика Сажин посидел минут пять, потом встал и взял с полки-гриба одну из книг. «Неоантропы верхнего палеолита», прочитал он название, автор С.В. Дробышевский; под ней лежали «Достающее звено» и «Расоведение» того же автора. Он посмотрел книги на других полках: «Путевые заметки» Миклухо-Маклая, «Восточнославянская этнография» Д.К. Зеленина, «Кроманьонский человек» Т. Придо; были тут монографии на английском и немецком языках, но все они, как понял Сажин, носили научный характер. «Однако, — подумал он, — старик-то прямо профессор».

— Как вам моя библиотечка? — раздался за его спиной голос Хирохито. — Интересно?

— Неожиданно, — ответил Сажин, кладя на место «Эволюцию человека» А.В. Маркова.

Старик хихикнул. Двое пришедших с ним карликов поставили на стол кувшин, две кружки, две миски с дымящейся похлёбкой и тут же исчезли.

— А вы что ожидали увидеть? Фантастику? Или подборку своих романов? Впрочем, кое-какие из них я действительно читал.

— Знаете, а меня это абсолютно не удивляет. Последние дни все, кого я встречаю, оказываются моими читателями.

— Вот как? А должно бы удивлять, не находите? — Хирохито указал на стол: — Давайте отужинаем. Это суп с зайчатиной и грибами — грибы у нас здесь вообще главное блюдо, что объяснимо. *Фáмэс áртиум магúстэр.* Голод — учитель искусств, как утверждали латиняне. А в кувшине ягодное вино. Сгодится?

— Ещё бы, — согласился Николай, садясь за стол. — Как я могу к вам обращаться?

— Ох, я же не представился. Извините, был уверен, что Таганов... Впрочем, ладно. Меня зовут Илья Бурмосович, фамилия Бурмасов.

— Илья Бурмосович, что с Тагановым? Как он? Его вообще можно увидеть?

— Чего на него смотреть — он без сознания. Ранение оказалось серьёзнее, чем я думал. Кровотечение мы остановили, но пуля застряла в теле. Сами понимаете, без хирургического вмешательства её не извлечь. Но если он придёт в себя, вы сможете с ним поговорить.

— О, чёрт... Так что ж мы сидим?! Ему срочно нужна квалифицированная медицинская помощь!

— Вы что, врач?

— Нет, но... надо же что-то делать.

— Например? Предлагаете вызвать сюда скорую? Или волочить его ночью по болоту через лес к машине? Пятнадцать километров? Живым не донесём. Дождёмся утра. Кровотечение удалось остановить, обезболивающие и антибиотики у нас есть, так что заражения опасаться не стоит, а как рассветёт, мы поможем отнести его к машине. Большего ни вы, ни я сделать сейчас всё равно не в состоянии. Так что — ешьте.

Суп оказался вкусным, хотя из-за густоты более походил на кашу, а совсем лёгкое ягодное вино приятно освежало.

— Вы, наверное, гадаете, кто я такой и куда вы вообще попали?

— Так и есть, Илья Бурмосович.

— А сами что думаете?

— Виктор Антоныч считает, что вы своего рода, так сказать... жрец чуди?

— Ага, значит, он таки говорил про меня. Только «жрец» в данном случае не вполне уместное слово, правильнее — волхв. Да, это так: я и все мои предки — потомственные волхвы чудского племени. Истории этой более тысячи лет. Чудь... чудь потаённая, чудь белоглазая... наверняка знакомо?

— Чудь упоминается ещё в «Повести временных лет». И я читал рукопись Печерского.

— Очень хорошо. Самоназвание у моего народа, разумеется, иное, но сейчас это неважно. Вообще не удивляйтесь, что в разговоре я буду использовать современную терминологию и близкие вам понятия — помимо прочего, я — профессор антропологии, закончил в своё время Казанский университет, имею научные труды. Странное сочетание, да?

— Более чем, — согласился Сажин. — Служитель культа и вдруг — антрополог.

— Мне любопытно, что именно вас смущает?

— Ну-у... в таком разе вы должны быть сторонником эволюционной теории, разве нет? И считать, что человек не богосозданное существо, а животное?

Хирохито пожал плечами:

— Служитель культа и невежда — не синонимы. Люди размножаются, рожают и выкармливают детенышей как животные; питаются и освобождаются от продуктов жизнедеятельности как животные, ведут себя зачастую как животные, но — фу-фу! — разумеется, люди не животные! А в чём, позвольте спросить, отличие? В интеллекте? Люди умнее животных? Дельфин тоже умнее коровы, однако не перестает быть животным. В социальной организации? У муравьев, термитов и пчёл она в разы выше человеческой. И потом, если люди не животные, значит — либо растения, либо грибы, четвёртого не дано.

С улыбкой выслушав эту тираду, Николай сказал:

— Да я-то с вами согласен, профессор. Но всё равно странно. И потом, вы сильно отличаетесь от... своих соплеменников.

Бурмасов снял синие очки; радужки глаз у него оказались абсолютно прозрачными. Николай ещё раз ощутил, какие неприятные, почти отталкивающие чувства вызывает эта, казалось бы, незначительная особенность.

— Как видите, я тоже чудин. Дело в том, что на мой народ, на их внешний облик, наложило отпечаток тысячелетнее табу — категорический запрет вступать в брак с представителями любых других родов. С одной стороны, этот обычай — при крайней малочисленности чуди — позволил нам уцелеть как этносу, а с другой, вы можете воочию наблюдать наглядные последствия близкородственных связей, во всей их красе. Да-с... Всё имеет свою цену, этническая чистота — не исключение. Особенно применительно к столь малым народностям. Ну а нам, волхвам, испокон веков позволялось брать жен со стороны, оттого и наблюдаемые вами отличия, в частности — в росте. Раз вы прочитали рукопись Мельникова-Печерского, то должны помнить рассказ отца Зосимы — про уход чуди от соблазнов внешнего мира, сюда, под землю, в недра Чудь-горы.

— Да, помню, — подтвердил Сажин.

— Ну вот. В целом рассказ попа соответствует действительности, со скидкой на неизбежную поэтизацию событий в простонародном сознании. Но суть не в этом. Главное, что вам следует знать обо мне и моём народе — мы *не люди*.

Глава 14

Сажин поперхнулся ягодным вином и закашлялся.

— Простите... кхе-кхо... Не люди? Как это понимать? Марсиане? Зелёные человечки?

Бурмасов коротко хихикнул.

— Ну, что за вульгарные фантазии, право слово. Какие, к макакам, марсиане? Моё племя не относится к виду Homo sapiens, только и всего. Мы, если использовать современный понятийный аппарат, «денисовцы» или «Homo denisovensis». Денисовцы, как и неандертальцы, считаются давно вымершим видом. Ещё каких-то тридцать тысяч лет назад денисовцы вместе с неандертальцами и предками современных людей — кроманьонцами — населяли просторы Евразии. Впрочем, видовое разнообразие разумных существ в те далёкие времена не ограничивалось этими тремя видами, но оставим данный факт за скобками. Так или иначе, постепенно все прочие разумные приматы, кроме сапиенсов, исчезли. Причины? Естественное вымирание, ассимиляция титульным видом, ну и, конечно, истребление, не без этого. Но опять же, не в этом суть. Суть в том, что моё племя — смею утверждать, единственное на всей пла-

нете не принадлежащее к сапиенсам — уцелело и даже умудрилось сохранить свою культурную и этно-генетическую идентичность. Вот так вот... Николай Николаевич, а вы вообще про денисовцев-то слышали?

— Краем уха... Денисовская пещера где-то на Алтае. Там вроде были обнаружены фрагменты скелета неизвестного вида гоминид, так?

— Верно. Наши предки мигрировали из Африки раньше неандертальцев и предков современного человека. Но теперь от нас мало что сохранилось: несколько костей в пещерах Алтая и Тибета... да моё крошечное племя.

— Илья Бурмосович, то, что вы сейчас рассказываете, это родоплеменная легенда или ваша собственная антропологическая теория?

— Ни то, ни другое. Это не легенда и не теория, а научный факт, подтверждённый многократными генетическими исследованиями. Просто я нигде не публиковал и никогда не обнародовал их результаты. И не собираюсь. О причинах, полагаю, вы догадываетесь.

— Честно говоря, нет.

— Ну как же? Прежде всего, я волхв — наследственный охранитель чудского племени, а уж после — учёный-антрополог. В нашей потаённости — залог видового выживания. Однако есть у моего народа ещё один великий секрет. Отчасти он вам также известен из рукописи Печерского. Я подразумеваю нашу религиозную традицию, а именно: поклонение живому богу — Кунингазсу. Традиции этой, по моим прикидкам, сорок веков. Иначе говоря, культ Кунингазса уходит своими корнями в палеолитические пласты истории. Но то, что я поведаю сейчас, не знает никто, кроме меня. Слушайте! Так случилось, что первым, изначальным божеством в чреде живых богов нашего чудского племени стал представитель другого вымершего вида Homo — неандерталец. Вероятно, один из последних представителей данного вида.

— Вы просто неиссякаемы, Илья Бурмосович! — Сажин вскочил и прошелся по пещерному кабинету. — Это что ж получается? Выходит, я этот... палеоантроп? Живое ископаемое?!

— О! Вот, значит, как! Вы уже знаете о своём родстве с Кунингазсом? Догадываюсь: Таганов подсуетился, да?

— Да, Виктор Антонович пришёл к такому выводу путём архивных изысканий о моих предках, о моих *шестипалых* предках.

— Это значительно облегчает мою миссию. А чего вы так разволновались-то? Все современные люди, кроме только африканцев, носят в себе малую толику генома неандертальца. Я же говорил о межвидовой метисации. Просто у вас неандертальский геном превалирует. По мужской линии вы — Homo neanderthalensis, этот факт неоспорим. Но вернёмся к теме: много столетий подряд потомки того первого неандертальца являлись божествами моего племени. Когда очередной Кунингазс умирал — от старости или по другим причинам — место бога занимал один из его сыновей; обыкновенно — старший. Впрочем, это условие соблюдалось не всегда и не строго, поскольку важно было не старшинство, а совсем иные качества, главным образом чисто физиологические.

— Ага, а чтобы обеспечить божественное правопреемство, вы похищали в окрестных деревнях девок.

— Только не надо, Николай Николаевич, экстраполировать нынешние нравственные критерии на дела давно минувших дней. Что сейчас является нормой, в те времена сочли бы надругательством над нравственностью, и наоборот. И вообще, на большем отрезке нашего исторического существования невест Кунингазсу здешние поселяне приводили совершенно добровольно, как дань старинному красивому обычаю. Это уж после, когда местное население совсем охристианилось, нам, чуди, пришлось прибегать к иным методам, и в том числе — *во́ленс но́ленс*[1] — насильственного характера. Но я вновь ушёл от сути. Значит, один из сыновей почившего бога становился новым Кунингазсом, а остальных... Впрочем, ваши предки никогда не отличались плодовитостью чресл. Кстати, возможно, это одна из причин, почему они уступили в межвидовой конкурентной борьбе сапиенсам. В общем, несмотря на смену исторических эпох и местных этносов, в Чудь-горе всегда жил и правил чудью живой бог Кунингазс. А ведь это важнейший фактор сохранения вида, своего рода объединяющее духовное и идейное начало — ценностная основа. Как вы убедились на примере собственной страны — без такой, казалось бы, неочевидной составляющей всё быстро теряет смысл и рушится, согласны?

— Не согласен. С религией у нас уже всё в порядке, атеистов днём с огнём не сыщешь.

— Но Россия многоконфессиональная страна, религий — десятки, даже традици-

[1] «Волей-неволей» *(лат.)*

онных — четыре. А ценностная основа должна быть единой для всех. И это необязательно религия, возможно иное объединяющее начало, такое, к примеру, как в Советском Союзе. Я имею ввиду идеологию. Она же была общей для всех народов СССР, с этим согласны?

— Пожалуй. И что?

— И то. Вот её не стало, а равноценной замены не нашлось. Тем паче, всякая государственная идеология у вас запрещена конституцией. Единая религия, как я уже сказал, отсутствует. И посмотрите на нынешнюю Россию: всё сведено к животу, к брюху; дескать, нет ничего дороже человеческой жизни. А ведь если в жизни нет высшей ценности, ради которой ей, жизнью, можно рискнуть, а то и пожертвовать, такая жизнь обессмысливается. Это уж и не жизнь, а скотство какое-то! Как там у Маяковского: «Мы только мошки, мы ждём кормёжки»?

— Вы это сейчас к чему?

— А вот к чему: для чуди такой ценностной основой всегда был культ Кунингазса. Но летом 1869 года, что опять же должно быть вам известно из рукописи, мой народ утратил бога — роковой выстрел Печерского вызвал подземный обвал горной породы, и Кунингазс оказался погребён под тоннами каменных глыб. Так случилось, что детей мужского пола на тот момент у него не было... Сто лет без малого, если точно — восемьдесят семь, вплоть до 1956 года, чудь выживала в безбожии. За это время численность племени упала с полутора сотен до тридцати с небольшим особей обоего пола — мы подошли к самой грани вымирания. К счастью, осенью пятьдесят шестого чудь вновь обрела бога — в лице вашего деда Алексея Гавриловича Сажина.

— Постойте-постойте! — прервал рассказчика Николай. — Так Гориллыч выжил?! Таганов рассказывал, что его буквально изрешетили гэбэшники.

— Так и было: когда он попал к нам, жизнь в нём едва теплилась. Но благодаря усилиям наших лекарей, а главным образом за счёт удивительных регенеративных способностей его собственного организма, ваш дед поправился. И стал нашим новым Кунингазсом.

— Что ещё за регенеративные способности такие?

— Наследственные. Они присутствуют и у вас, Николай Николаевич.

Сажин скептически хмыкнул:

— Не замечал.

— Естественно, они — в спящем состоянии. Чтобы их пробудить... Между прочим, разве Таганов ничего не говорил о том, каким образом можно... гхм... активировать скрытый потенциал вашего организма?

— Он вообще не упоминал ни про какие там чудесные возможности или способности.

— Так-так. Понятненько... Тем не менее, они есть. И не только регенеративные. Это-то как раз не самое удивительное, способностью к восстановлению в той или иной степени обладает каждый организм. Кожный покров, к примеру, обновляется у нас на протяжении всей жизни. Но все кунингазсы владеют ещё одним исключительным даром, а точнее сказать, силой. Они могут подчинять себе воли других людей.

— Это как это?

— Своего рода гипнотическая сила, полагаю. Только чрезвычайно могучая, первобытно-витальная и почти непреодолимая. Мощь! — Бурмасов снял свои окуляры, подышал на стёклышки, протёр их и вернул очки на место. — Ну так вот, дед ваш стал нашим Кунингазсом, и это благотворно сказалось на чудском народе — мы сохранились. Но, увы, ничто не вечно под луной, даже чудской бог. Жизнь Кунингазса близится к своему финалу. К сожалению, сейчас это — вопрос дней. Скажу больше, он может покинуть нас в любой момент. Как видите, ваш приход весьма своевременен — ещё немного, и у вас не осталось бы шанса проститься с дедом.

— Хотите сказать, мой дед жив?! Как такое возможно? Ему должно быть тогда... лет сто!

— Девяносто восемь, на самом деле. Некоторые живут и долее. Но сейчас Алексей Гаврилович умирает. И хочет вас видеть.

— А откуда он знает про меня? В пятьдесят шестом году меня ещё, как говорится, и в проекте...

— Как только я убедился, что вы родной внук Алексея Гавриловича, то, уж извините, счёл своим долгом его уведомить. Так вы хотите с ним повидаться?

— Ну уж это... мой долг, полагаю.

Хирохито разлил по кружкам остатки вина.

— Тогда давайте закончим трапезу, и я вас препровожу. *Биба́мус!*[1] Только сначала одна маленькая просьба: не сочтите за бестактность, но не могли бы вы показать ваш

[1] «Выпьем» *(лат.)*

шестой палец?

Сажин поморщился:

— Это ещё зачем? А! Понимаю: хотите убедиться в родстве воочию?

— В родстве сомнений нет, тут важно само наличие этого шестого пальца. У меня есть предположение, что сверхспособности, о которых я говорил, передаются в вашем роду лишь шестипалым потомкам.

Николай снял с левой ноги сапог и осторожно, с болезненным шипением стянул носок — мозоль лопнула, и ткань присохла к ранке.

— Вот, полюбуйтесь. Годится?

— Минуточку, — Хирохито поднял на лоб очки и наклонился почти к самой ноге. — Да-да, всё верно... Ой, вы натёрли ногу, сейчас я...

— Ерунда! — отмахнулся Сажин. — Натёр и натёр, само заживёт, без всякой народной медицины.

— Какая народная медицина, вот, возьмите бактерицидный пластырь.

— Это другое дело. Спасибо. Дайте, пожалуй, ещё один — я хочу снять повязку. Неудобно как-то: в первый раз заявиться к деду в эдаком сиротском виде.

Они снова вышли в сводчатую галерею, и Бурмасов повёл Николая в глубины Чудь-горы. Галерея то и дело разветвлялась, при этом отдельные ходы напоминали скорее лисьи норы, нежели дело рук человеческих. Бурмасов сворачивал то направо, то налево, ныряя то в одно ответвление, то в другое; Сажин понял, что выбраться из этого лабиринта самостоятельно точно не сможет. Неожиданно они очутились в длинной наклонной штольне, вырубленной прямо в теле горы; и стены штольни, и полукруглый свод мерцали мириадами крохотных зелёных огоньков, создавая поистине колдовскую картину. Николай заметил, что огоньки эти не статичны — они медленно двигались, перемещаясь относительно друг друга.

— Это что ж за волшебная иллюминация? — спросил он.

— Всего лишь ивановские червячки, — усмехнулся его проводник, — проще говоря, светляки.

Сажин приблизил лицо к самой стене: и правда, по её сырой поверхности медленно ползали маленькие личинки с удлинёнными сегментированными брюшками, источающими призрачное люминесцентное свечение.

— Кстати, вещество, которое излучает этот свет, именуется «люцеферином», — пояснил Хирохито.

— Название весьма подходящее, — кивнул Сажин.

Через четверть часа или больше Николаю показалось, что он различает глухие удары, с равными промежутками доносящиеся из недр горы: бум... бум-бум... бум... бум-бум... бум... По мере их движения, звуки становились всё слышнее, всё отчетливее.

— Что это за тамтамы? — спросил он.

Вместо ответа Бурмасов указал на тёмный проём арки с уводящими вниз ступенями:

— Мы пришли. Ступайте осторожнее: спуск крутой, а камни скользкие.

Придерживаясь рукой за шероховатую стену, Сажин спустился следом за стариком в прямоугольную пещеру. Вдоль её боковых стен высились толстые, почерневшие от времени или копоти брёвна, сильно наклоненные вперёд, к центральной оси свода. Каждое бревно этой наклонной колоннады во всю высоту покрывала затейливая резьба, изображавшая, как успел разглядеть Сажин, всевозможных лесных обитателей — медведей, лосей, кабанов, волков и лис — и ещё каких-то совсем фантастических существ; ни один столб не походил на другой, однако все они венчались гигантской головой ворона. Вороньи клювы смыкались друг с другом, образуя своего рода потолочные балки, с которых свисали тусклые масляные светильники.

В противоположном конце пещеры на возвышении, покрытом медвежьей шкурой, лежал человек. У ног его сидела миниатюрная женщина. Сажин сообразил, что первый раз видит представительницу прекрасной половины чудского племени. Её можно было назвать даже миловидной, когда бы не ускользающие, словно едва намеченные, черты лица и не маленькие кривые ножки. Она мерно била деревянной колотушкой в зажатое меж колен короткое полое бревно, покачиваясь из стороны в сторону и тихонько мыча себе под нос. Бурмасов небрежно махнул тростью, женщина вскочила и, прижав к груди инструмент, скрылась во мраке. Они подошли вплотную к возвышению.

Наполовину утопая в толстых складках медвежьей шкуры, перед ними лежал тощий, коричневый старик. Огромный, худой, из-за крайней худобы казавшийся ещё огромнее, он лежал совершенно неподвижно, и если бы не ритмически вздымавшаяся грудная клетка, его можно было бы счесть мёртвым. Тело его по пояс укрывала та же медвежья шкура, поверх которой покоились руки с длинными, как грабли, ладонями. Череп с редкими пучками жидких волос, обтянутый пергаментно-тонкой, усеянной

пигментными пятнами кожей, запавший беззубый рот, крайняя худоба — всё это делало его похожим на мумию Рамсеса Великого. Бурмасов опустился на колени и, склонившись к лежащему, громко произнёс, буквально прокричал тому в ухо:

— Мейде Кунингазс! Здесь ваш внук! Слышите меня? Я привёл вашего внука Николая!

Дыхание коричневого старика на мгновение сбилось, он чуть приоткрыл рот... и всё, никакой иной реакции не последовало. Хирохито подождал с минуту, потом обернулся к Сажину:

— Попробуйте поговорить с ним сами. Только погромче — он давно плохо слышит, а теперь почти оглох.

Николай встал на колени рядом с Бурмасовым.

— Здравствуйте, Алексей Гаврилович!

— Громче, громче, — попросил Бурмасов.

Сажин откашлялся и, набрав в лёгкие воздуха, гаркнул:

— Алексей! Гаврилович! Я... Николай! Сын Николая Сажина! Вашего! сына!

Гориллыч медленно поднял веки и повёл вокруг выпуклыми, испещрёнными жёлтыми прожилками глазами.

— Ш-што за... хипиш на болоте? — просипел он.

— Вот ваш внук Николай! — прокричал Бурмасов, легонько ткнув набалдашником трости в грудь Сажину.

— Алексей Гаврилович, здравствуйте, — повторил Николай.

Дед перевёл на него мутный взгляд; было неясно, видит он его или нет, но по спине у Сажина отчего-то забегали мурашки. Старик тяжело выдохнул:

— А-а... Щ-щ-ща-ас-с-с...

Руки Гориллыча, точно два снулых краба, пришли в движение: правая медленно поползла под шкуру, а левая протянулась к Николаю, ухватила его за предплечье и с неожиданной в столь измождённом теле силой дернула на себя. Николай взял деда за эту руку и увидел, что она с двумя безымянными пальцами. Лишний палец украшала синяя татуировка в виде перстня с крестом, а может, со знаком треф. Гориллыч выпростал из-под шкуры другую руку; в ней он сжимал белую кость длинною в локоть.

— Это он вам, берите, — пояснил Хирохито и, увидев замешательство Николая, настойчиво повторил: — Да берите же!

— Что это? — спросил Сажин, разглядывая кость. На ней были вырезаны какие-то значки, напоминавшие те, что Николай уже видел на круглой двери «кабинета» Бурмасова.

— Берцовая кость самого первого нашего Кунингазса.

Гориллыч вновь вцепился шестипалой ладонью в руку внука и невнятно забормотал. Николай наклонился к деду:

— Алексей Гаврилыч?

Дед зашамкал беззубым ртом, силясь что-то сказать. Сажин склонился ещё ниже, к самому его лицу; от деда пахло прелой осенней листвой и — странное дело — водкой.

— Вор ворует... фраер пашет, — едва слышно просипел он и, выпустив руку Николая, медленно закрыл глаза. Через секунду из его груди вылетел легкий, короткий хрип, и дыхание Гориллыча остановилось.

По пещере прополз слитный шелестящий шорох. Сажин обернулся: из-за анфилады колонн выходила чудь — мужчины, женщины, дети — они выстраивались в две шеренги, от входа до самого смертного ложа. Их лица и фигуры были почти неразличимы в полумраке, только белые глаза мерцали каким-то кошачьим блеском.

Хирохито встал и тронул Николая за плечо:

— Пойдёмте, не будем мешать прощанию, — Николай осторожно положил кость на грудь покойного и тоже поднялся. — Нет-нет, жезл заберите, — требовательно попросил Бурмасов. — Он теперь ваш по праву.

Половина пути назад прошла в молчании, а потом Хирохито, словно спохватившись, сказал:

— Примите мои соболезнования, Николай Николаевич, в связи с кончиной вашего деда.

— Спасибо. Только я ведь и не знал его совсем, так что, полагаю, это бóльшая потеря для вас. Но я всё-таки не понял с этой костью, то бишь с жезлом: он символ чего? какой-то преемственности или чего-то в таком роде?

— Сейчас мы сядем и всё обсудим, — пообещал Бурмасов.

Глава 15

— Значит, Таганов не рассказал, как пробудить дремлющий в вас дар Кунингазса? — спросил старик, когда они устроились в креслах напротив камина.

— А я уже отвечал: ни про какие особые способности Виктор Антонович не говорил. И с чего вы решили, что ему вообще что-то известно? Даже если это не притча.

— Не притча. И Таганов, и те, кто стоит за ним, это знают. Почему, думаете, они вами так заинтересовались?

— Кто они?

Бурмасов сморщился и поправил тростью высунувшееся из камина бревно.

— Какая разница, кто? Это всё политика, я в неё не лезу. У меня иных забот невпроворот. *Дио́бус литига́нтибус, тэ́рциус га́удэт*[1]. А причина интереса к вашей персоне очевидна — ваши потенциальные сверхспособности. И возможность использовать их в своих интересах.

— Да в чём они состоят эти сверхспособности?

— И об этом я говорил: всякий шестипалый потомок Кунингазса обладает силой подчинять других разумных существ своей воле. Есть ещё чрезвычайная живучесть, но это так — дополнительный бонус. А вот первый талант способен вызвать интерес многих, самых различных сил, согласны? Полагаю, упомянутые таланты — наследие ваших ушедших во тьму веков первобытных предков. Хотя доказательствами, что и другие неандертальцы обладали схожими ментальными способностями, наука не располагает.

— Допустим. Ну и как мне пробудить этот дар? Требуется некий обряд?

— А вам зачем?

— То есть?! Уж я соображу зачем. При общении с издателями, к примеру, такой дар точно не повредит.

— Извините, Николай Николаич, но вы всё о каких-то пустяках...

— Как понимаю, вы и сами не знаете.

— Отчего же? Знаю. И даже готов поделиться этим знанием. Но прежде нужно прояснить главное.

— Так проясняйте! Вы же об этом хотели говорить?

Старик Бурмасов крякнул и снова с силой ткнул тростью в камин, вызвав целый сноп искр.

— Вы правы. Хорошо. Впрочем, дело-то очевидное, и, полагаю, вы уже догадались, о чём речь: наш бог только что, чему вы были свидетелем, умер, и теперь моему народу жизненно необходим новый Кунингазс. Если вы готовы поставить свой дар на службу чудскому племени, я, со своей стороны, готов раскрыть секрет его обретения.

— Как вас понимать? Предлагаете мне занять вакантное место деда, что ли?

— Я предлагаю вам стать нашим живым богом, — подтвердил Бурмасов и, повернувшись всем телом к Николаю, выжидательно уставился на него своими синими окулярами.

— Скажите, Илья Бурмасович, вы всерьёз рассчитываете, что я, современный человек, брошу всё и добровольно заточу себя здесь, в недрах Чудь-горы, дабы служить кумиром для вашей чуди? Похоронить себя заживо на всю оставшуюся жизнь? Сладостная перспективка, нечего сказать! Нет, побывать здесь мне было весьма интересно, не скрою. Скажу больше: при иных обстоятельствах я с удовольствием погостил бы в вашем подгорном царстве денёк-другой. Но это и всё. И потом, сами-то вы, как я понял, ведёте жизнь вполне светскую, несмотря на... на духовный сан — профессор, научные труды имеете.

— На такую жертву с вашей стороны я, конечно, всерьёз не рассчитывал. Ваш дед — иная история, у него и выхода-то другого не было. Но мы можем рассмотреть облегчённый вариант. К примеру, вы отправляете обязанности Кунингазса лишь по определенным дням, несколько раз в году. А всё прочее время — живете себе как жили. Даже лучше, чем прежде: ведь свои новые таланты вы сможете использовать и в быту. Хоть с издателями, хоть с читателями или, хе-хе, с читательницами — сугубо ваше личное дело. Что скажете? Заманчиво?

— Заманчиво, — кивнул Сажин, — но скажу: нет всё равно.

Бурмасов снял очки и протёр их полой своего хитона, моргая на огонь белесыми слезящимися глазами. Потом, водрузив очки на место, спросил:

— Не поясните, почему?

— Хотя бы потому, что звучит это всё, извините, довольно дико. Да-да, дико. Подумать только: я — бог Кузя, здасьте! Смахивает на какую-то тоталитарную секту. А главное — никакой я не бог и не имею желания надувать ваших бедных соплеменников.

— Они не бедные! — стукнул тростью Бурмасов и сердито засопел. — Они живут естественной природной жизнью. В противном случае их давно бы уже не было на свете: они бы просто — фьюить! — исчезли. Как болотный туман в летний полдень.

[1] «Двое дерутся, третий радуется» *(лат.)*

— Пускай так, — поднял руки Николай. — Всё равно не хочу.

— Это ваше последнее слово?

— Да! Да! Да! Благодарю за оказанное высокое доверие, но — нет, нет и ещё сто раз нет.

Выдержал долгую паузу, старик спросил:

— Жалеть после не станете?

Сажин глубоко вздохнул и покачал головой:

— Ненужный вопрос. Или... вы имеете в виду некие... негативные последствия?

— Их тоже.

По спине Николая пробежал холодок, он невольно напрягся.

— Хочу напомнить про ваше давешнее обещание...

— Нет, я про то, что не смогу — не вправе буду — открыть секрет активации спящего в вас дара.

— Ах, это, — выдохнул Сажин. — Досадно, однако уж больно цена кусается, извините.

— Послушайте. Хочу привести ещё один довод в пользу моего предложения.

— Ну... слушаю.

— Отдаёте ли вы отчёт, что, так или иначе, вас всё равно используют? Вы обречены быть пешкой в чужой политической игре. И это ещё в лучшем случае.

— А в худшем?

Крутанув набалдашник трости, Бурмасов чуть обнажил лезвие спрятанного в ней стилета и ударом ладони вернул его обратно.

— Могут просто ликвидировать. Да-с. Собственно, первая попытка уже состоялась.

— Что же изменится, прими я ваше предложение?

— Я позабочусь о вашей защите. Поверьте, это не пустое обещание.

— Однако ж вы и сами намерены меня использовать по полной, разве нет?

— Зачем же так? То, что предлагаю я — своего рода служение, благородная миссия. Вы станете высшим существом и смыслом существования для целого народа.

— Ага. Для нескольких десятков существ, зарывшихся от мира под землю.

— И монахи укрываются от внешнего мира за стенами монастырей, что здесь зазорного? А должность настоятеля монастыря и в миру весьма уважаема.

— И всё же — нет.

— Хорошо. Будь по-вашему, — Хирохито вновь стукнул тростью об пол. — Но знаете? Всё ж таки я оставлю вам время на размышление. Наверное, этот выбор для вас слишком тяжёл, внезапен и, гхм... экзотичен, что ли. Давайте повременим. Осмыслите всё хорошенько, а там... кто знает?

— Что? — заволновался Николай. — Не отпустите из горы? Вздумали запереть меня в этой берлоге?

— Зачем не отпускать? — оборвал его старик. — Дорога открыта. Просто-напросто дальнейшие обстоятельства вашей жизни, не исключаю, могут сложиться так, что вы сами пожелаете вернуться.

— Ах так... Ладно... Разумеется. Всякое бывает. Никогда не говори «никогда» и всё такое, — чтобы сменить тему, Сажин спросил: — Между прочим, где же ваш неизменный спутник — ворон?

— Кутх? Он не любит замкнутых пространств.

— Значит, его имя Кутх. Неплохо вы его, скажу, надрессировали. И давно он у вас?

— Кутх был всегда. И я его не дрессировал, он сам по себе. Кутх — проводник в царство мёртвых. Это всё, что вам следует о нём знать.

— Свят, свят! А царство мёртвых-то тут при чём?

— Оно всегда при чём, — мрачно заметил волхв. — Вы, кстати, тоже приехали не куда-нибудь, а на землю предков, своих давно умерших пращуров.

Глава 16

В обратный путь двинулись задолго до восхода. Хирохито, снова одетый в свой шотландский твид, шёл впереди. На плече у него восседал ворон, который, как теперь знал Николай, звался Кутхом. За Бурмасовым четверо чудинов-денисовцев несли носилки с Тагановым, ещё столько же трусили рядом, периодически сменяя уставших товарищей. Замыкал шествие Сажин.

Процессия остановилась, чудины положили носилки на землю, и он подошёл к Таганову. Папа Хэм открыл глаза и поманил Николая пальцем:

— Николай Николаич... У меня ведь никого из родных, — произнёс он слабым голосом. — Так вы, голубчик, уж, сделайте милость, позаботьтесь об Изе... об Изю-

ке-зюзюке моём. Он домашний, доверчивый — пропадёт... Обещаете?

Сажин осторожно накрыл его руку своей.

— Что вы, Виктор Антоныч! К чему это похоронное настроение? Вы непременно встанете на ноги.

— Обещаете? — настойчиво повторил Таганов. — И ещё: сможете передать мою коллекцию самоваров в музей?.. Жалко, если все труды — прахом.

— Не волнуйтесь, всё сделаю.

— Спасибо... И не доверяйте, ради Христа, этому... чудскому колдуну.

— Понял, Виктор Антоныч, не буду.

Отряд двинулся дальше. Сажин нагнал Бурмасова.

— Илья Бурмосович, а как быть с костью? Полагаю, мне правильнее её вернуть. Коль скоро я отказался...

— Это не просто кость! Это скипетр божественной власти.

— Тем более. Я ведь отказался от этой власти.

— Мы, кажется, решили, что вы подумаете.

— Скорее, решили вы...

К старику подбежал один из денисовцев и прокурлыкал что-то, размахивая руками и тряся клочковатой бородой. Остальная чудь образовала кольцо вокруг своего предводителя, поместив внутрь этого кольца носилки с Таганoвым и затолкав туда же Сажина. Тут Николай смог детально рассмотреть устройство камнемётного оружия чуди: ближайший к нему бородач освободил кожаный ремень, обматывавший его правую руку до локтя, при этом тот остался закреплен петлёй на его запястье, свободный конец ремня он взял в ту же руку, а в середину, где ремень расширялся, вложил круглый увесистый булыжник и принялся раскручивать эту нехитрую конструкцию над головой. Ременная праща, сообразил Сажин.

— А что, собственно, стряслось? — спросил он Бурмасова.

— Тс-с! — приложил тот палец к губам. — Засада.

Николай осмотрелся, внимательно прислушиваясь: влажный утренний лес был объят тишиной, нарушаемой лишь зловещим гудением пращей; при полном безветрии ни одна веточка, ни один листик или былинка вокруг не шевелились. Вдруг из-за густого ельника раздался знакомый бархатный баритон:

— Всё в порядке, Николай! Это я, Георгий! Реконкистов. Скажи своим конвоирам, чтобы расслабились, я выхожу.

— Это свой, — пояснил Сажин Бурмасову, — это Реконкистов, я его знаю.

— Я тоже, — буркнул старик. — Только он не один пришёл, — и отрывисто выкрикнул несколько слов на чудском языке.

Повинуясь команде волхва, денисовцы прекратили раскручивать пращи. Еловые ветви всколыхнулись, осыпавшись алмазной росой, и из-за них выступил Реконкистов. Он поднял вверх правую руку с зажатым в ней пистолетом и повторил:

— Всё в порядке, господа-товарищи, всё в полном порядке, — сразу же пришли в движение лесные заросли справа и слева, и в мгновение ока их отряд окружили пятнадцать здоровяков в балаклавах с укороченными автоматами в руках. — Тут все свои, нет причин для беспокойства, — пояснил Реконкистов. Он решительно прошёл сквозь редкую цепь чуди и крепко стиснул Николаю руку, пытливо заглядывая тому в глаза. — Как ты? В порядке?

— Я-то в порядке, а вот... — он кивнул на Таганова.

Георгий быстро шагнул к носилкам и склонился к раненому. Автоматчики в балаклавах столпились рядом. Реконкистов пощупал лоб Таганова, приподнял ему веко, потом, приложив два пальца к шее, замер. Наконец он тяжело поднялся и покачал головой.

— Что? — уже угадав в чём дело, всё же спросил Николай.

— Мёртв, — подтвердил Идальго.

Сажин растерянно огляделся вокруг. Ни Бурмасова, ни других денисовцев нигде не было — они исчезли, растаяв, как болотный туман в летний полдень.

Глава 17

Четыре больших чёрных джипа и «Нива» длинной похоронной процессией катили в сторону Чухломы по сельскому бездорожью. Тело Таганова поместили в багажник первого внедорожника, предварительно завернув в покрывало, «Нивой» управлял один из людей Реконкистова, сам Идальго вместе с Сажиным ехал на пассажирском сидении второго джипа; кроме водителя, в салоне с ними сидели еще трое с автоматами.

— Прости, Николай, я опоздал, — первым начал разговор Реконкистов. — Мой прямой косяк. Но, снявши голову, по волосам не плачут... как сказал бы товарищ Вик-

тор. Он, знаешь, любил народные присловья. Эх, Витёк, Витёк...

— Я не совсем понимаю... Точнее, ничего не понимаю: каким макаром ты замешан в этом деле? Ты знаком с Тагановым? Кто эти люди? — Сажин кивнул на автоматчиков. — Они не похожи на чоповцев. И как ты вообще меня нашёл? В лесу?!

— Вопросы законные. Итак, по порядку: да, с Виктором Тагановым я знаком и давно. Это мой — наш товарищ. Нас объединяло дело, которому мы вместе служили. Если говорить формальным языком, он сотрудник той же организации, где работаю я. Помнишь разговор в поезде и моё предложение о сотрудничестве?

— Уж не об этой ли организации говорил Таганов как о некоей силе, противостоящей «Числу»?

— Так. Значит, Виктор ввёл тебя в курс дела. Странно, ведь я четко его проинструктировал, не спешить...

— Да ни черта он не ввёл! Кормил меня одними загадками да междометиями. Вот как ты сейчас. Постой... Выходит, и наша встреча в поезде не случайна?! Ты уже тогда знал и про Таганова, и о причине моей поездки в Чухлому... и про рукопись Печерского тоже?

Реконкистов похлопал Сажина по колену:

— Я всё объясню, не сомневайся. Теперь у меня и выхода иного нет. Понимаю, ты сейчас винишь нас, меня, Виктора. Но это судьба! Если угодно — рок, фатум, карма. Так уж тебе на роду написано. А если кого и винить, так, скорее, писателя Печерского. Он — первопричина всего, разве нет?

Сажин невольно рассмеялся:

— Не Реконкистов ты, а Иезуитов. Ишь как повернул: писатель виноват!

— Вот, узнаю прежнего Николая Сажина, — обрадовался Георгий и протянул ему фляжку. — На-ка, глотни с устатку коньячку, взбодрись.

— Подпоить хочешь? — оттолкнул его руку Николай.

— Как бы тебе объяснить? А, ладно! Скажу, как есть. Короче, в нашей структуре нашёлся предатель — засланный казачок, причём там, — Идальго закатил глаза вверх. — Он и слил тебя «Числу», то есть всю информацию о тебе, которой мы располагали. А те, видно, решили не рисковать. Может, посчитали, что ты уже — в наших рядах и полностью обрёл силу.

— Организация, структура, — проворчал Сажин, — опять одни намёки.

— «Слово». Таково наше название. Вот, теперь ты знаешь.

— Ишь ты. Красиво. Говорю, как литератор. Коли есть «Число», должно быть и «Слово». «В начале было Слово...», и прочее. А не боишься об этом вот так запросто и — вслух? Когда кругом соглядатаи «Числа».

— Мы знаем про них, они знают про нас, — пожал плечами Георгий. — Дело ж не в названии... Вообще говоря, у «Слова» есть одно немаловажное преимущество: мы гораздо лучше понимаем их, нежели они нас. Ведь мы читаем их книги, смотрим их фильмы, изучаем их историю, а они — нет. А в борьбе знание противника — всегда преимущество. Я другого не пойму: чего тебя с Виктором к Чудь-горе понесло? Нет, лучше давай по порядку, с момента приезда.

Выслушав рассказ Сажина, Георгий неодобрительно крякнул.

— Не профессионально как-то всё. Ну, теперь ничего не попишешь... Выходит, Гориллыч дожил до наших дней? Чудеса! А Илья Бурмасович — крутой перец. Надо же! Пятерых уконтрапупить. Булыжниками... Ха! Наверняка то были не штатные бойцы «Числа», а наемники по случаю, но всё равно... Лихо! Значит, эти чудины — денисовцы, не сапиенсы — уж чего-чего, а подобного поворота мы никак не ожидали. Наверное, стоит наладить контакты, бес их знает... Таких лучше иметь в союзниках. Ладно! Оставим пока. Что конкретно Виктор рассказал про «Число»?

— Виктор Антоныч поведал историю, смахивающую на нф-роман. Про некое «Число», входящее во всемогущую «Сумму», которыми, дескать, управляет бессмертный мозг покойного Рокфеллера. По правде, мне трудно на полном серьёзе...

— Отстал ты, Николай, от жизни. Что здесь фантастичного? Это же прошлый век, причём в буквальном смысле. Вот тебе конкретика... Впрочем, лучше дадим слово нашему заму по науке. Товарищ Вольт, введи товарища Сажина в курс. Заодно и познакомитесь, — склонившись к Николаю, Идальго едва слышно шепнул в самое ухо: — Ты по лику не суди, он малый толковый, проверенный.

Сидящий рядом с водителем боец стянул балаклаву и обернулся к ним. Бледная бугристая кожа лица, близко посаженные глаза и выпяченные губы, сложенные в брюзгливую гримасу, делали его похожим на жабу.

— Разработки по расшифровке нейронного кода, — без предисловий начал товарищ Вольт, неприятно шлёпая губами и брызгая слюной, — с помощью которого мозг, посылая сигналы, управляет конечностями, велись давно. Ещё в 1998 году учёные из Атланты вживили один электрод в мозг паралитика, и он смог одной лишь силой мыс-

ли двигать курсор по экрану компьютера и даже складывать буквы в слова. Примерно в это же время другая группа учёных из университета Джорджии добилась схожих результатов. Их пациент просто представлял себе, будто двигает рукой, возбуждая тем самым определённые зоны своего мозга; это фиксировалось вживлёнными в его мозг электродами, а сигналы при помощи миниатюрного передатчика, помещенного под кожу головы, передавались на компьютер. Потом, году где-то в 2004-м, Эрик Лейтхард, нейрохирург госпиталя в Сент-Луисе, тоже научил своих пациентов мысленно управлять курсором на экране компа. Но наибольшего успеха удалось достигнуть команде американских учёных из Дьюкского университета: они вживили одиннадцати пациентам, страдающим болезнью Паркинсона, по тридцать два электрода толщиною в человеческий волос в ту область головного мозга, что отвечает за координацию движений. Потом, подключив пациентов к компу, им предложили поиграть в компьютерные игры. И больные с задачей справились. А ученые смогли расшифровать нейронный код и разработать алгоритм, позволяющий переводить мысли о движении руки в компьютерный приказ. Сегодня люди с имплантированными микрочипами управляют протезами любой степени сложности...

— Спасибо, Вольт, достаточно, — оборвал лекцию Реконкистов. — Как видишь, Николай, никакой фантастики, сплошная рутина.

— Допустим, — признал Сажин. — Тут вот ещё что... Хирохито — тьфу! — старик Бурмасов говорил, что во мне якобы дремлют некие таланты — сверхспособности, которые можно пробудить. А как это сделать, не сказал, отказался. Тебе что об этом известно?

Идальго беспокойно заелозил на сиденье.

— Давай — тет-а-тет. Тем паче, мы прибыли. Я тебя поселю в гостинице, номер уже снят, вещи твои принесут. У Таганова сейчас опасно. Пошли, провожу в номер. Ближе к вечеру зайду, тогда и обсудим остальное.

Уже в номере Сажин хлопнул себя по лбу:

— Совсем забыл! Виктор Антонович поручил мне, перед самой смертью, позаботиться о его коте. Он страшненький такой, чёрный, зовут Изей.

— Знаю-знаю — корниш-рэкс. Сам подарил того кота Виктору, лет восемь назад.

— Я бы забрал себе, да у меня дома — пёс.

— Ладно, поспрашиваю по соседям. Не бросим животную.

— И ещё он просил передать в здешний городской музей свою коллекцию самоваров. В Чухломе музей-то вообще есть?

— Краеведческий. На Советской улице. И об этом не тревожься. Сделаем! А ты из номера — ни шагу. Еду тебе принесут, отдыхай, набирайся сил. Лады?

Вечером Реконкистов вернулся; в руках у него был полиэтиленовый пакет.

— Вскрытие сделали, шансов у Виктора не было. Всё дело в пуле: так называемый радикально-экспансивный боеприпас штатовского производства; выпускается под маркировкой R.I.P. При попадании в тело пуля разрывается на мелкие осколки, и каждый проделывает свой раневой канал, превращая плоть в фарш. Удивительно, как он ещё дотянул до утра. Помянем Виктора, — он взял с журнального столика два стакана. — Будь другом, порежь лимончик... А теперь поговорим о деле, — зажевав лимонной долькой, предложил Идальго. — Значит, интересуешься, как пробудить скрытые возможности своего организма?

— Уж конечно.

— Почему? — прищурился Реконкистов.

— Ненужный вопрос. Вдруг за этим и впрямь что-то есть? Что ж я, дурак — отказываться от своего счастья? Это только в сентиментальных романах герой гордо отвергает подарки судьбы вроде бессмертия, всемогущества, богатства и тому подобного. Дескать, хочу быть как все. То бишь заурядным обывателем. Писатель, который робеет сделаться не как все — оксюморон. А я — писатель, между прочим.

— А как же персонаж Снегирёв у Стругацких[1]? — парировал Идальго. — Он-то, помнится, тоже писатель, однако отказался от вечной жизни.

— Ты про Феликса Снегирёва? Посредственность, испугавшаяся, что за века это станет очевидным всем и — главное — ему самому.

— Выходит, ты и рецепт Макропулоса сжигать не стал бы? — прищурился Реконкистов, подливая коньяк в стаканы.

— Выходит, так.

— Это хорошо. Хорошо, что ты не интеллигентский хлюпик, не моралист чахоточный. В данном случае это существенно, хотя о бессмертии речи и нет... Но почему ты, в таком разе, отверг предложение Бурмасова?

---

[1] Реконкистов имеет в виду персонажа киносценария А. и Б. Стругацких «Пять ложек эликсира»; по этому сценарию в 1990 г. был снят телефильм «Искушение Б».

— Ну, знаешь, — развёл руками Николай. — Он хочет, чтобы я сделался этаким... живым фетишем для его ненаглядной чуди. И Петрушкой — для него. И вообще, мне, как убеждённому атеисту, такая роль противна.

— Понял, — кивнул Георгий, — резонно, допускаю. Тогда слушай. Таганов должен был тебя посвятить в перипетии судеб твоих прапрадеда Богдана по прозванию «Сажа» и деда Алексея Гавриловича по кличке «Гориллыч».

— Во всех криминальных подробностях.

— Но кое-что он умышленно опустил. Одну весьма существенную деталь.

— Да? — насторожился Сажин. — Что за деталь?

— Он не рассказал, каким образом тёмный малограмотный крестьянин, пускай и с замашками ката, превратился в атамана разбойничьей шайки и как рядовой уголовник, пусть и дюжий, аки бык, стал фартовым и почти неуязвимым тузом преступного мира. Что, так сказать, послужило триггером, спусковым крючком для внезапного пробуждения их лидерских качеств.

— А ты знаешь?

— Знаю, — спокойно подтвердил Георгий. — Ведь документы-то Виктору из архивных спецхранов я подбирал самолично. Поэтому знаю, да. Только давай сперва хлопнем чуток.

— Больше не хочу, — Николай накрыл свой стакан ладонью.

— Надо, Коля, надо, — заверил Реконкистов, отстранив его ладонь. — Услышать такое про своих предков на трезвую голову... тяжко, поверь.

— Будет сгущать, говори уже!

— Вот, слушай, — Георгий пригубил свой коньяк и не торопясь закурил. Некоторое время он флегматично разглядывал струйку дыма, поднимавшуюся к потолку от его сигареты, а потом неспешно продолжил: — Как тебе известно, в девятьсот третьем Богдана Сажу приговорили к двадцати годам каторги. Срок он отбывал в каторжной тюрьме Усть-Каменогорска; теперь это Казахстан, а тогда — Томская губерния Российской империи. Однако ж долго он там не засиделся — бежал совместно с ещё несколькими осуждёнными. Сохранился протокол допроса одного из тех беглецов, Семёна Квакина, который в 1906 году вновь попался властям, уже после того, как Сажа сколотил собственную шайку. Мне удалось ознакомиться с теми его показаниями. Так вот, об обстоятельствах побега он поведал следующее. Вместе с Сажей тогда бежали ещё шестеро каторжан. «Иваном» у них был некий Пётр Шилов, матёрый варнак, имевший за плечами два побега.

— Каким таким «иваном»? — перебил Николай.

— «Иванами» в те времена величали уголовных авторитетов, нынешних «воров в законе». Ты выслушай до конца, а вопросы — после. На чём я остановился? Да! Почти все беглецы были родом из здешних костромских мест, потому и стопы свои направили в этом направлении. От Усть-Каменогорска до Костромы пеший путь неблизкий, добираться им пришлось не один месяц, в том числе и по зимней тайге. Бежали-то они в ноябре. А зимой в тайге — ни грибов, ни ягод — верная голодная смерть. Так вот, согласно показаниям Семёна Квакина, где-то в глухих тюменских лесах между Тоболом и Ишимом ими был убит, а потом съеден бежавший с ними каторжник Степан Попов — молодой парень лет двадцати. Скорее всего — об этом есть и у Квакина — Пётр Шилов подговорил Степана на побег, изначально уготовив тому участь, так сказать, походного провианта. Как бы там ни было, Степана убили, разделали, а мясо зажарили на костре. История жуткая, но совсем не уникальная.

Сажин скривился и залпом опрокинул в себя коньяк:

— Да, я тоже не раз читал о подобных случаях. Но, ты был прав, узнать такое про собственного предка... Фу-у! — он передёрнул плечами и потянулся за бутылкой.

— Постой! Тут важно другое: на утро после каннибальской трапезы Сажа начал вести себя, словно заправский «иван» — командовать остальными и отдавать приказы. А когда подлинный «иван», Пётр Шилов, попытался урезонить зарвавшегося товарища, Сажа, опять же по показаниям Квакина, просто взглянул на него и велел «ивану» повеситься на ближайшем дереве... И тот ровно так и поступил: послушно сплёл петлю, накинул на сук и удавился. Сам! С телом Шилова поступили, как с телом Попова — разделали и зажарили на костре, поделив провизию поровну на всех пятерых. И с того момента оставшиеся в живых, помимо самого Сажи, четверо беглецов слушались нового самостийного атамана беспрекословно и настолько трепетали перед ним, что ночами спали по очереди, всегда оставляя одного дежурить — боялись, что Сажа сожрёт и их. Ещё Квакин показал на допросе, что якобы взгляд Богдана Сажи как-то особенно *тяжелил*, от него, дескать, *туманился ум*, отымались руки-ноги, а все его повеления исполнялись беспрекословно, потому что противиться им не было никакой физической возможности.

Заметив, что Николай хочет что-то сказать, Реконкистов поднял ладони в оста-

навливающем жесте:

— Погоди, Коля, дай закончить. Теперь касательно твоего деда Алексея Гавриловича. Таганов тебе рассказывал, что свой второй срок — девять лет за разбой — Гориллыч «мотал» в Коми АССР? И вот именно там с ним и произошла метаморфоза, чрезвычайно сходная с той, что случилась в своё время в сибирской тайге с его дедом Богданом. На шестом году срока Гориллыч совершает убийство солагерника, причём непростого, а из авторитетов. Причина в данном случае опять же неважна. Но сам способ убийства свидетельствует, что, по всей видимости, твой дед впал в крайнюю ярость, поскольку ударом кирки пробил авторитету грудную клетку и, более того, не удовлетворившись этим, вырвал ему сердце и, как зафиксировано в документах личного дела осужденного, частично съел его прямо на глазах у очевидцев этой расправы. Вот с этого самого момента он и превратился для всех окружающих в непререкаемого лидера. Он же потом дважды бежал: первый раз — из поезда, во время этапирования, второй — в пятьдесят шестом, из тюремной больницы. И всякий раз побег осуществлялся с помощью тех, кто, по долгу службы, должен бы был тому воспрепятствовать: конвоир в «теплушке» сам отдаёт ему винтовку, медперсонал тюремной больницы — открывает ему двери на свободу. Я читал и материалы служебных расследований, и показания этих людей. Все — и конвоиры, и больничный персонал — утверждали, что просто не в состоянии были сопротивляться приказам Гориллыча, а почему — объяснить толком не могли или не умели; лишь ссылались на необычайную и необоримую гипнотическую силу Гориллыча. Звучит, казалось бы, малоубедительно. Тем не менее, руководство МВД восприняло эти факты со всей серьёзностью. Несомненно, именно этим объясняется появление секретного милицейского приказа о запрете вступать с Гориллычем, в случае его обнаружения, в словесный или любой иной контакт, а сразу открывать огонь на поражение. «Подлежит немедленной и безусловной ликвидации на месте», такова буквальная формулировка в приказе.

Реконкистов закончил рассказ, и в гостиничном номере сгустилась напряжённая тягостная тишина. Через минуту-другую Сажин откашлялся и, делая долгие паузы, негромко спросил:

— Так ты... хочешь сказать, что... способом активации моих подспудных талантов является...

— Каннибализм, — закончил за него Георгий, подавшись вперед на стуле. Он уже не казался спокойным и невозмутимым, а напоминал теперь кота, заметившего рядом беспечную птичку. — Совершенно верно. Я мыслю так: если для твоих предков — кунингазсов — тех, которые рождались, жили и умирали в Чудь-горе, каннибализм изначально являлся, так сказать, пищевой необходимостью, а потом, с течением времени, превратился в освящённый веками обычай, то инициация твоих прапрадеда и деда произошла спонтанно, им помог случай, и — отчасти — допускаю, некая внутренняя потребность. Вот как-то так... А тебе, Николай, готов помочь я.

Глава 18

Таганова похоронили вечером следующего дня на небольшом погосте, расположенном в черте города, на съезде с улицы Свободы. Могилу выкопали в ограде семейного захоронения Тагановых, рядом с могилами деда, отца и матери Виктора Антоновича. Когда гроб опустили в яму и забросали землёй, Идальго раздал пластиковые стаканчики и наполнил их «крыжовенной» из запасов покойного. Проглотив самогонку, он шумно занюхал рукавом и сказал со вздохом:

— Ну, давайте нашу — отходную.

Бойцы сначала тихонько, вразнобой, потом громче и слаженней запели «Как родная мать меня провожала». Николай обратил внимание, что некоторые куплеты этой давно знакомой песни слышит впервые. «С Красной Армией пойду я походом, — пели бойцы, — смертный бой я поведу с барским сбродом». И далее:

«Что с попом, что с кулаком —
Вся беседа:
В брюхо толстое штыком
Мироеда!

Не сдаешься? Помирай,
Шут с тобою!
Будет нам милее рай,
Взятый с бою, —

Не кровавый пьяный рай
Мироедский, —
Русь родная, вольный край,
Край советский!»

Расходились уже затемно. Сквозь рваные тучи проглядывала полная луна, с озера веяло осенней прохладой. Николай шёл вместе с Реконкистовым и товарищем Вольтом, которого «окрестил» про себя «Абажем». Когда они поравнялись с Лениным, простёршим руку посреди поросшего травой пустыря в центре города, Реконкистов предложил:

— Вольт, ты ступай, а мы с Николаем тут чуток постоим, покурим. Уж больно место располагает.

Абаж безропотно нырнул во мрак, а они двинулись по проложенной местными жителями тропке к монументу. Подойдя к памятнику, Георгий со вздохом погладил рукой облупленный голубой постамент, дал прикурить Сажину, закурил сам и указал горящим кончиком сигареты на выкрашенного серебром вождя:

— Помнишь, что Владимир Ильич говорил про белые перчатки?

— Э-э... Что революцию в них не делают?

— Именно. И еще он говорил: надо уметь учитывать момент и быть смелым в решениях. Сечёшь?

— Это ты сейчас к чему? — сделал вид, что не понял, Николай.

Идальго пристально посмотрел на него, щурясь от табачного дыма.

— Не передумал, Коля? — спросил он.

Вчера он до поздней ночи уговаривал Сажина, убеждая в жизненной необходимости пробудить его неандертальский дар; приводил различные аргументы, говорил, что и речи нет ни о каком криминале, что всё можно провернуть легко, безболезненно и без всякого ущерба для чьего-либо здоровья, утверждал, что у него уже есть договоренность с неким хирургом из «Склифа»... Но все его доводы лишь усиливали ужас и омерзение Николая, и Реконкистов ушёл, несолоно хлебавши.

— Так как? Не передумал? — повторил свой вопрос Реконкистов, поглаживая ладонью ленинский постамент.

— Знаешь, Георгий, мне этой ночью сон приснился, — вместо ответа сообщил Сажин.

— Что за сон?

— А будто бы мы с тобой в какой-то не то котельной, не то бане заживо сварили главного редактора журнала «Луноход» Матушкина, а потом ты уговорил меня съесть его язык. И всё советовал: «Поперчи, поперчи, с перчиком лучше пойдёт».

— О как! А дальше?

— Дальше? Дальше я проснулся, и меня стошнило.

Реконкистов поцокал языком и усмехнулся:

— Твой Матушкин, небось, старый, жилистый да желчный, вот и не усвоился. И с коньяком мы вчера, честно сказать, переборщили; вторая бутылка была лишней — мой косяк... Ну а ты это к чему рассказал?

— К тому, что довольно выклёвывать мне мозг; хватит — тема закрыта.

— Раз закрыта, — пожал плечами Идальго, — собирай манатки, и поехали. Нам надо успеть на поезд до Москвы, он в Галич в час ноль две прибывает.

— А чего на поезде? Почему не на машине?

— Комфортнее на поезде.

Глава 19

На вокзал они поспели вовремя и сели на поезд, следовавший аж из Владивостока, разместившись в четырёхместном купе, но вдвоём — Георгий выкупил его целиком. Как и подозревал Сажин, выбор поездки на поезде был продиктован тем, что Идальго так и не расстался с надеждой его переубедить. Едва состав отъехал от Галича, его визави заказал два стакана чая и вновь приступил к агитации.

— Я прямо удивляюсь: какая особенная корысть вашему «Слову» в моей скромной персоне? Ну, хорошо, допустим, этот дикий и тошнотворный способ инициации действительно приведёт, как выражаются геймеры, к «прокачке» моей личности. И что дальше? Станете показывать меня в ток-шоу? Даже если на миг забыть об абсолютной неприемлемости самого способа, неужто ты думаешь, что меня прельщает роль пешки в вашей политической игре?

— Ты, Николай, не пешка и даже не ферзь, ты — джокер. И тот игрок, кому такой джокер выпадет, сорвёт весь банк. Вопрос лишь в том, кому из двух игроков пофар-

тит: «Числу» или «Слову».

— Никому.

— «Число» не оставит тебя в покое, даже не надейся.

— Покамест покоя нет от тебя, — вздохнул Николай.

— Да я-то лишь пытаюсь апеллировать к твоему разуму и сердцу. Тот факт, что «Числу» теперь всё известно — смертельный риск. Пойми, числители и стоящая за ними «Сумма» тянуть не станут. Собственно, они уже показали это на деле.

— Действия твоих товарищей, да и твои, Георгий, тоже не назовёшь честной игрой. Числители, говоришь... Между прочим, а как вы называете друг друга? Просто «товарищи»? Или есть какое-то специальное внутрипартийное обращение?

— Есть и специальное.

— Постой, дай угадаю, — поднял руку Сажин. — «Словесники»?

— Неплохо, но как-то... беззубо. Нет, для своих мы «барбудос».

— «Слышишь чеканный шаг? Это идут барбудос», — тихонько напел Николай.

— Вот именно так. Но ты с темы не съезжай. Ты спросил, какую роль мы отводим тебе во всей этой истории. Готов прояснить. По нашей задумке ты должен возглавить левое движение России. При этом под «левыми» я не имею в виду тех розовощёких оппортунистов, что паразитируют на понятии «социализм»; со всеми этими парламентскими «паркетниками» нам не по пути.

— А с кем тогда по пути? С несистемной оппозицией?

— Тьфу ты! Наша несистемная оппозиция, она вообще не про смену социальной модели. У них даже своей идеологии нет. Так, один трендёж, дескать, те, которые нынешние — сплошь жулики, и надо на их место поставить других. А реальная цель, она, собственно, и не скрывается: нужен-де новый президент. Какой? Который предаст национальные интересы, разумеется. Вот и вся их нехитрая сверхзадача, по Станиславскому. По сути своей они — наймиты «Числа» и верные адепты «Суммы». Ты знаешь, я отнюдь не являюсь сторонником нынешней власти; целеполагания нашей провластной элиты и «Слова» во многом противоположны. Порой диаметрально. Это факт. Но, согласись, вот в этой вечной готовности «несистемников» вставать на сторону Запада и осуждать собственную страну по всем без исключения спорным вопросам есть что-то... тошнотворное. Да и чем, по большому счёту, такая позиция отличается от предательства? А предательство, оно при любом социальном строе останется предательством. Предатель — он и в Африке предатель. Нет, Коля, ты возглавишь подлинно левое — коммунистическое движение. Харизматичный, авторитетный и непререкаемый лидер левого реванша. Вождь! Вот как мы, барбудос, видим тебя, Николай. Так что ты не пешка — ты наш кормчий. Если, конечно, у тебя самого достанет духа стать таковым.

— Ну вы, товарищи, даёте! Сговорились вы, что ли? Один, значит, решил из меня живого бога изваять, другой прочит в вожди грядущей социальной революции.

— Не сравнивай: одно дело — племенной божок, и совсем иное — лидер огромной страны, президент великой державы. Вещи несопоставимые.

— С нами крестная сила! — выпучил глаза Сажин. — Час от часу не легче. Ты меня уже в президенты РФ прочишь?!

— Естественно. Иначе, какой смысл? К президентским выборам в марте следующего года мы, понятно, и напрягаться не станем — поезд, считай, ушёл, а вот выборы в двадцать четвёртом году будут нашими. Семь лет — достаточный срок, чтобы превратить тебя в главного претендента от левого реванша. Я понимаю, Коля, фактически мы просим от тебя жертвы. Это так. Но, согласись, у тебя есть уникальный шанс: ты можешь употребить свой потенциальный дар на дело построения подлинно справедливого общества, счастливого будущего для нашей родины... Казённо прозвучало, да?

— Мягко говоря, — криво усмехнулся Николай. — И потом, как так? Разве сам Ленин не считал буржуазные выборы маскарадом? А ты мне предлагаешь в нём участвовать?

Реконкистов открыл портфель, вытащил бутылку коньяку и вопросительно глянул на Сажина.

— Не буду! — замахал руками Николай. — Рожаешь ты их, что ли? Лучше ответь на вопрос.

Идальго пожал плечами и сунул бутылку обратно:

— На «нет» и суда нет. А Владимир Ильич, как всегда, абсолютно прав. Любые выборы при капитализме — обман и надувательство. Ведь в чём их суть? Кандидаты уверяют избирателя: я лучше! нет, я лучше! нет, я! Гражданин смотрит, как те выхваляются друг перед дружкой в телевизоре, поливают друг друга ушатами грязи, и у него возникает иллюзия сопричастности, дескать, он — участвует, он что-то решает. А по сути, он всего лишь роется в кучке разноцветных фантиков и вытаскивает из

этой кучи тот, который ему больше глянется. Фикция, химера, не более. И учти, дабы финансировать свою медиа- и прочую раскрутку, кандидат должен сам быть весьма состоятельным, ну, или за ним должны стоять влиятельные силы. Вот и выходит — любой кандидат либо представитель имущего класса, либо его марионетка. Зачастую — и то и другое. Это даже не рулетка — в рулетку можно и выиграть при случае. А здесь, какой фант ни вытяни, получишь прежнюю буржуйскую власть. Гарантированно.

— Да... Но ведь при том же Брежневе выборов, строго говоря, не было вовсе. Что за выбор из одного кандидата? Выбор без выбора.

— Опять не так. Тогда, при советской власти, кандидатов в депутаты выбирали трудовые коллективы, партийные и общественные организации, собрания военнослужащих, профсоюзы... даже кооперативы. И выдвигали они тех, кого хорошо знали — самых достойных и компетентных из своей среды, а не тех, кто горланит громче, не цветные фантики. Да, по сути, это был плебисцит, но честный плебисцит. Плюс система наказов избирателей и право на отзыв нерадивых депутатов, которая исправно работала. И заметь, депутаты советов всех уровней — от поселкового до Верховного — денег за своё депутатство не получали.

— А жили на что?

— На время исполнения полномочий за ними сохранялась средняя заработная плата по основному месту работы. Вот так, Коля.

— Ладно, бог с ними. Но раз теперь так, на черта твоему «Слову»...

— Не прикидывайся, Николай! — перебил его Реконкистов, грозя пальцем. — Всё ты отлично понял: мы обернём их же оружие против них самих. Лучше представь: ты сможешь вычистить авгиевы конюшни нашей страны от грязи и мрази. От торгашей и продажных чинуш! От предателей всех мастей! Три процента упырей владеют восьмьюдесятью процентами национального богатства России. А ты их — к ногтю, к ногтю! За ушко да на солнышко, толстопузых! Прими во внимание, что благодаря твоему дару социальная революция осуществится мирно, сверху, новая справедливая власть придёт выборным путём. Никакого вооруженного восстания. Тебя изберёт сам народ. И он таки тебя изберёт, будь уверен.

— Откуда такая уверенность?

— А современные технологии на что? Прикинь, какой кумулятивный эффект возымеет, скажем, твоё выступление в телеэфире перед многомиллионной аудиторией глаза в глаза! Если, понятно, ты обретёшь гипнотическую мощь Кунингазса. Нет, начнём мы с интернет-площадок: с видеоблогов и соцсетей, а затем... Твоя популярность будет расти стремительно, в геометрической прогрессии! Сначала тысячи, потом сотни тысяч, и вот уже миллионы россиян прозреют благодаря твоим разоблачениям, призывам и аргументированным просветительским лекциям. Для этих целей «Слово» подготовило целый штат ученых-философов, историков, политологов и экономистов, вооружённых марксистско-ленинским учением. Адепты «Числа» будут зубами скрипеть в бессильной злобе. Что они против твоей силищи? Ты вернёшь веру в коммунистический идеал миллионам и миллионам своих сограждан, оболваненных нынешней буржуазной пропагандой. А?! Каково? Да на алтарь столь грандиозной цели не жаль и жизнь положить!

— Благая цель оправдывает средства?

— Да! — хлопнул ладонью Реконкистов. — Великая цель оправдывает жёсткие средства. Особенно если без них никак. Но ещё раз подчеркну: с тобой у страны есть шанс на мирную смену общественного строя.

— Передел собственности по-любому не обойдётся без крови...

— Не передел! — перебил Георгий. — Не передел, а смена формы собственности. Мы не собираемся забирать у одних и отдавать другим, нет. Природные богатства и основные средства производства должны быть общенародными. Сообрази сам: состояния, в мгновение ока приобретённые нашими олигархами, по законам экономики возникнуть не могли, так? В начале девяностых страну просто отдали на разграбление кучке мародёров. А как следует поступать с мародёрами? Если по справедливости?

— Ты мне скажи.

— Фигурантов — под суд, награбленное национализировать, и всего делов.

— Твои фигуранты не лопухи — в Лондон сдриснут. А с Лондóна, как с Дона — выдачи нет.

Реконкистов пожал плечами:

— Да пёс с ними! — потом почесал затылок и, усмехнувшись, добавил: — Чубайса только не отпускай. Эту гниду — повесить. Прямо напротив американского посольства. И не снимать. Чтоб висел и вонял.

— С Чубайсом решено. А прикормленные такими чубайсами клиенты и свора

ливрейных лакеев на содержании? А наша политическая элитка, плесенью выступившая на руинах преданной и разграбленной ею страны? Она, считай, и сегодня — во власти. А наши чиновники? Многие из них аж сочатся предательством. А те, которые почитают себя креативными элитариями? Все эти актёры и актёрки, комики и комички, певуны и певички? Да что греха таить, среди нашей писательской братии таких — ох! — предостаточно. А вполне осознавший себя класс новорусской буржуазии? Если по совокупности, не одна сотня тысяч выйдет. Да приплюсуй сюда целое поколение оболваненной молодежи с гаджетами вместо мозгов? Им только дай повод да брось клич.

Подняв на Сажина удивлённый взгляд, Георгий крякнул и, потянувшись через столик, потрепал того по плечу:

— Правильно мыслишь, Николай! — воскликнул он с чувством. — Как зрелый марксист. Ещё раз убеждаюсь: ни я, ни мои товарищи в тебе не ошиблись. Рад, чертовски рад. А с молодёжью проблема, факт. Ревизия, причём политическая ревизия, нашего среднего и высшего образования назрела давно. Как клопы в ковре окопались там всякие грандоеды, русофобы и откровенные предатели. Довольно уже этим господам и мадамам загаживать мозги наших детей и юношества. И вообще, эту гидру измены с рукопожатными щупальцами надо придушить во что бы то ни стало. Иначе на будущих фронтах нас ждёт крах, как в июле 1916 года.

— Ты не ответил на вопрос, — напомнил Сажин. — Если всё это всплывёт и разом хлынет на улицы, что тогда?

— Вот тогда, Коля, придётся действовать быстро, решительно и максимально жёстко, безо всяких дамских сантиментов и интеллигентских мерехлюндий. Дэн Сяопин тебе в образец.

— Ну вот опять: цель оправдывает средства.

Идальго вздохнул и спросил:

— Ответь, причинять человеку физические и моральные страдания — зло?

— Понятное дело.

— Выходит, нельзя сажать в тюрьмы грабителей, насильников и убийц? Ведь там они, по факту, страдают. Это зло, но совершаемое ради благой цели: дабы защитить общество от всяких отморозков.

— Хорошо-хорошо, — поднял ладони Николай, — ты прав. Да и вообще, о чём мы спорим? Я ваши убеждения разделяю. И всегда разделял. Просто хотел услышать твои доводы.

— Не спеши, постой, — поднял палец Идальго. — Я ещё не закончил. Разобраться с внутренними врагами — важно, но это полдела. Будущий лидер государства должен ясно понимать: за Цифрой стоит Сумма, а под негласным контролем Суммы — весь коллективный Запад. Пора, наконец, расстаться с иллюзиями девяностых. Всё просто: Запад — наш враг, его цель — уничтожить Россию. Это война, Коля, и она идёт давно. Всегда шла. Война цивилизаций. А мы постоянно — в обороне. В лучшем случае. Но сидючи в окопе, войны не выиграть. Полный разгром и уничтожение Запада — вот какую цель обязан обозначит себе будущий президент России! Понимаешь? Либо мы их, либо они нас. И цель эту следует продекларировать на уровне военной доктрины. Ну и на политическом, конечно. Кстати, у советской России такая цель была, хотя так прямо и не декларировалась. Но ты ж понимаешь, победа коммунизма в мировом масштабе и означала бы смерть Запада, конец этой цивилизации-кровососа, возросшей и разбухшей, как упырь, за счёт крови колоний.

— То бишь, как ни крути, Третья мировая, да?

— Не обманывай себя, Николай. Третья мировая уже была. И мы её проиграли в девяносто первом.

— О как!

— Да, так. В атомную эпоху время классических мировых войн минуло. Никто не хочет сгинуть в пламени ядерного апокалипсиса, даже Запад. Теперь глобальные войны стали гибридными и, в силу этого, растянутыми во времени. Они приобрели затяжной характер и ведутся на множестве пространств: на территориях третьих стран, зачастую чужими руками, на информационном и экономическом фронтах. Так вот, Третья мировая шла где-то с пятидесятого по девяносто первый, с переменным успехом: в Корее и Вьетнаме, в Венгрии и Чехословакии, а потом на Кубе мы одержали тактические победы, но уже в Афганистане крепко увязли. А окончательно проиграли потому, что отказались от социализма и коммунистической идеи. Сами сдались на милость победителя. Распустили СЭВ, Варшавский договор, предали союзников, короче, признали свое полное стратегическое поражение. Итог налицо: утрата трети территорий, в том числе земель Руси изначальной: Украины, Белоруссии; потеря обширных земель исторической России, приобретённых в процессе освоения Сибири, которые теперь в составе Казахстана, уничтожение промышленности, сокращение народона-

селения, ну и далее, по списку.

— Значит, ты прочишь меня в полководцы грядущей Четвёртой мировой?

— Она уже идёт. Кто-то считает её началом Южную Осетию и Абхазию, я полагаю — четырнадцатый год, Крым. Её интенсивность будет нарастать день ото дня. Прикидываю, апогея мы достигнем лет эдак через пять. Может, раньше. Но дело не в датах! Беда в том, что мы сейчас в гораздо худшем положении, нежели Советский Союз. Даже банально — по численности населения. Считай сам: натовская Европа — шестьсот миллионов без малого, да США — ещё триста тридцать. В сумме — почти миллиард. Это супротив наших ста сорока пяти миллионов. Про несравнимость экономических потенциалов я уж молчу.

— Выходит, шансов ноль?

— Почему? Надо искать союзников. Точнее, возвращать дружбу прежних, ранее преданных: Северной Кореи, Кубы, Никарагуа, Вьетнама. Опять же полуторамиллиардный Китай нам в помощь. Надеюсь. Тогда образуется совсем иной расклад. И заметь — это всё страны социализма. Симптоматично, не находишь? Впрочем, в нынешней ситуации не до капризов и чистоплюйства: любой враг нашего врага — наш друг. Глобальную войну с Западом необходимо интернационализировать. Отчего бы не снабдить тот же Иран межконтинентальными ракетами? Или технологиями их производства. Персы Америку ненавидят люто.

— Ага, а если те оснастят их ядерными боеголовками?

— Вот и славно. Пускай янки сидят и боятся. Но и этим наши возможности не исчерпываются! Надо с международной трибуны, гласно, громко, поддержать стремление свободолюбивых шотландцев и каталонцев к независимости. При необходимости, помочь деньгами, оружием. А как иначе? Только так. Как говорил великий Ленин, войну надо вести по-настоящему или не вести её вовсе, середины тут быть не может. Почему, опять же, не протянуть руку солидарности угнетённым афроамериканцам? Это вообще святое дело, считаю. Они там свергают памятники своим отцам-основателям? Те, дескать, голимые рабовладельцы. Отлично! Культуру отмены — поддержать однозначно. Народ, отказавшийся от исторической памяти — обречён. Никто не пойдёт в бой за миску похлёбки. Далее. ЛГБТ, трансы-шмансы-лесбиянсы и вообще любые формы оскотинивания их населения тоже нам в помощь. От осинки не родятся апельсинки, как сказал бы покойный товарищ Виктор.

— Лишь бы эта «культура отмены» к нам не переползла, — пробормотал Николай.

— Да, за этим нужен строгий пригляд, — кивнул Реконкистов. — Но самое главное, нам самим жизненно необходимо перестраивать экономику на мобилизационный лад. Что в рамках нынешней экономической модели и с нашей торгашеской, насквозь прозападной элитой в принципе невозможно. Так вот, чтобы всё это воплотить в жизнь и победить в войне, нужен суперлидер. Кормчий. Вождь! Предельно харизматичный, абсолютно безжалостный к врагам государства, как внешним, так и внутренним. Слышишь, Николай? Понимаешь, про что я?.. Чего примолк?

Сажин глубоко вздохнул и покачал головой:

— Я тебя услышал и понял. Ты, Георгий, сам услышь и пойми: ну не в силах я пойти на то, о чём ты просишь, к чему подталкиваешь. Я не Сажа и не Гориллыч. Думаешь, мне самому не хочется обрести новые таланты? Сделаться неуязвимым и прочее. Хочется, конечно. Или, полагаешь, один ты болеешь за судьбу державы? Просто не могу я так... Вот если бы речь шла о каком-нибудь ритуале вроде масонского или... ну, ты понимаешь. А представь, если после выяснится, что всё это: про регенеративные способности, про гипнотический дар — басни? А?! Пойти на такое, а потом... Фу-у! Мне аж дурно сделалось.

Реконкистов прищурился и наставил на Николая палец:

— А если я тебе докажу, что это не басни, а чистая правда?

— Это ничего не изменит, — Сажин потянулся и протяжно зевнул. — Ох, заболтал ты меня: то выборы, то Четвёртая мировая. Утомил, чесслово.

— Неубедительно говорю? — прищурился Георгий.

— Не в том дело.

— А в чём же, ядрён-батон?!

— В том, что решения своего я всё одно не изменю, оно окончательно.

— И бесповоротно?

— Так точно, — Сажин прислушался к колесному перестуку и посмотрел в окно: — О! Вроде тормозим?

— Да, — подтвердил Реконкистов, — подъезжаем к Судиславлю. Но стоянка здесь всего две минуты, нет смысла выходить.

— Ладно... пойду хоть по составу пройдусь, а то ноги затекли.

— И я с тобой, — бодро вскочив, заявил Идальго. — Предлагаю посетить вагон-ресторан. Мне шепнули, что сёмга «по-царски» тут весьма неплоха: с лимончиком, пе-

трушечкой, маслинами и красной икоркой. А? Готовят сами, не в микроволновке.

К сёмге «по-царски», которая и впрямь оказалась годной, Сажин заказал бокал белого вина, а Реконкистов — пятьдесят граммов водки. За едой он, к облегчению Николая, к прежней теме не возвращался, а, вспомнив свою давнюю поездку во Владивосток, с увлечением поведал, как ел там морских гребешков, сладкого камчатского краба и трепангов и какой жуткой гадостью оказалась икра морских ежей. Когда они завершили трапезу, поезд как раз сделал остановку в Костроме. Они с полчаса погуляли по ночному перрону, но и тут разговор шёл на отвлечённые темы. В купе Сажин лёг на койку и моментально уснул.

...Он возвращался с Тайсоном с вечерней прогулки и притормозил на выходе из парка рядом с церковью апостолов Петра и Павла. Из окон храма лился золотистый свет и доносились приглушённые песнопения. Поодаль остановилась маленькая, замотанная во множество цветастых платков старушонка.

— Чего мешкаешь? — обратилась она к нему. — Заходи, вечерня ещё не кончилась.

— Да я с собачкой.

— Ништо, батюшка Иалтабаоф у нас до-о-обрый, он их и к причастию допускает.

— Кого? — поразился Николай. — Собак?!

— А ты загляни на наш погост, — отвечала старушка, ткнув пальцем в сторону близлежащего Ясеневского кладбища, — там всё таксы упокоены, иных пород и нет — всё таксы, таксы, таксы... И, прости Господи, таксисты.

Сажин посмотрел в указанном направлении: в тёмных купах кладбищенских деревьев вспыхивали и гасли зелёные искорки. Следуя за старушкой, он поднялся по ступеням паперти и зашёл в притвор. Слева, за свечным ящиком, сидела знакомая половецкая проводница; заметив Николая, она сложила губы гузкой и послала ему воздушный поцелуй. Пройдя в трапезную, он осмотрелся: церковь была пуста, даже старушонка куда-то делась. Его шаги гулко разносились под сводами безлюдного помещения. Царские врата высокого иконостаса оказались отворены, и за ними, под семисвечником, восседал толстый, похожий на старый раскисший гриб, господин в высоком шёлковом цилиндре, с моноклем в глазу и сигарой во рту; перед ним, на престоле, стояли золотой потир и дискос с просфорами. «Я где-то его уже видел, — подумал Сажин, вглядываясь в диковинную фигуру, — не помню только, где и когда». Господин вынул сигару, взглянул на дискос и причмокнул: несколько просфор, птичками вспорхнув с блюда, одна за другой отправились прямиком ему в рот; с чавканьем разжевав хлебцы, он взял потир и стал жадно пить; по его многочисленным подбородкам потекли ручейки густой тёмно-красной жидкости. Допив, он небрежно сунул в потир сигару, вынул монокль и уставился на Николая белыми, словно варёные яйца, глазами; в них, пощёлкивая, замелькали циферки, точно в старинном арифмометре; вот они остановились, сложившись в цифру «24». Толстяк направил на Сажина увенчанный массивным перстнем палец-сардельку и глухим гнусавым голосом пропел: «*Вea хи-и-из!*»[1] В тот же миг по обеим сторонам иконостаса распахнулись диаконовские врата, и оттуда повыскакивало множество лохматых карликов, со свистом раскручивающих над головами кожаные пращи. Сажин, собираясь бежать, нагнулся за Тайсоном, тут один из снарядов угодил ему прямо в лоб и с влажным шлепком упал на пол. Это был кусок сырого мяса...

Когда Николай открыл глаза, за окном давно рассвело. Идальго сидел за столом и пил чай, задумчиво встречая взглядом набегающий предосенний пейзаж.

— Ты вообще не ложился, что ли? — спросил Сажин. — Где мы?

— Час назад проехали Ярославль, скоро Ростов. Чай будешь?

— Спасибо. Сначала умоюсь.

— Остынет, — возразил Георгий, кивая на второй стакан. — Я с лимончиком заказал.

Сажин сел, яростно потёр лицо руками и, ощутив сухость в горле, потянулся к стакану:

— Уфф! Как началась со мной эта катавасия, всякая дрянь снится, — он жадно отхлебнул и посмотрел в окно. За насыпью плотной стеной тянулись могучие сочно-зелёные заросли с гордо торчащими зонтиками гигантских соцветий. — Ты глянь, борщевик. Ого, сколько его! Боролись с этой заразой, боролись...

— А-а! — махнул рукой Реконкистов. — Очередной проект для отмывки денег. Ты не в курсе, что ли? За счёт нашего кармана и, главное — нашего здоровья. Сколько бабла вбухали во всякие телестрашилки, демонстрируя под зловещую музыку людей в костюмах химзащиты на фоне таких вот ж-ж-жутчайших растений. Посмотришь эдак, послушаешь: прямо триффиды, да и только. Всё брехня, не верь.

[1] «Вот он!» *(англ.)*

Николай посмотрел с недоумением:

— Но он же реально опасен. Ядовит, вызывает ожоги ...

— Говорю, брехня! Красивое сильное растение, полезное к тому же: поглощает угарный и углекислый газы, из него можно производить пищевой спирт и сахар... Да хоть картон! Притом урожайность — в четыре раза выше, чем у сахарного тростника; отличный медонос — вона какие соцветия. А борщевичный мёд — элитный, с карамельным вкусом и седативным эффектом. И вообще, ты можешь хоть голышом пройти сквозь его дебри — ничего с тобой не случится. Вот если кому придёт блажь натираться соком борщевика, аки миром и мускусом, тогда да — сразу после лучше не загорать: получишь солнечные ожоги.

— Вот видишь!

— Чего видишь-то? — поморщился Идальго. — Во-первых, борщевик светолюбив, в леса не лезет, на возделываемых землях его тоже нет. Он растёт вдоль дорог да на пустырях. Кому он там мешает? Бомжам? Так они его как раз не боятся. Во-вторых, у нас полно растений во сто раз опаснее твоего борщевика — смертельно ядовитых: белена, борец, дурман, пятнистый болиголов — тот самый, которым отравился Сократ. Или в любом нашем лесу в изобилии вороний глаз — чёрненькая симпатичная ягода, видел, небось, не раз; вполне можно спутать с черникой. Между тем, одна такая горошинка способна убить взрослого человека. А волчье лыко? Красные, красивенькие, чем не смородина? Смертельная доза для ребёнка — пять-шесть штук. Так что ж теперь, все леса и луга полить «оранжем»? А ведь у немалого числа людей вообще аллергия на любую пыльцу. Выходит, надо всё живое выжечь и всё кругом заасфальтировать.

Николай с удивлением поднял брови:

— Чего ты завёлся-то?

— А того! Под предлогом изничтожения борщевика сотни километров поливают гербицидами. А после ахают: ах, пчёлы гибнут! Ах-ах, онкология растёт! Говорю же: очередной отъём денег у населения, из той же серии, что и ежегодная замена бордюров во дворах; так там хоть без ущерба здоровью и природе.... Впрочем, чего и ожидать от общества, где на первом месте — прибыль, интересы торгашей, — Идальго искоса взглянул на Сажина. — Вот иные и могли бы всё это изменить да предпочитают оставаться в сторонке, замараться боятся.

— Так, пойду-ка умоюсь, — заявил Сажин.

Когда он вернулся, ни Реконкистова, ни его вещей в купе не было, а на столике, прижатая бутылкой коньяку, лежала записка и ещё — маленький кнопочный телефон. «Извини, что ушёл по-английски. Телефон — для тебя, он специальный, защищённый. Будет случай — звони. Г.Р.», — прочитал Сажин.

Глава 20

— Мариша, здравствуй. Как дела? Дома или на работе?

— Ой, пап, это ты! Привет! А чего с другого номера? Айфон потерял?.. Я — в офисе и буду поздно, а Тайсон там совсем один... Нет, утром я с ним погуляла. Я тогда после работы — сразу к себе, в Бутово, можно? А за вещами заеду завтра... Виталий? Знаешь, пап, ты был прав, он оказался порядочной свиньёй, мы расстались... Я и не переживаю. Ладно, целую, пап! Вечером созвонимся, ок?

Николай абсолютно не помнил, чтобы называл Мариниого бойфренда свиньёй, тем более, он его даже в глаза не видел. Но чувство некоторого удовлетворения его всё равно посетило: во-первых, потому, что квартира свободна, а во-вторых, оттого, что хоть где-то и в чём-то «был прав».

Сажин вставил ключ в замочную скважину, но тот отказался поворачиваться. Что за чёрт? Нажал дверной звонок. Дверь сразу отворилась изнутри; на пороге стоял мужчина лет тридцати, в стильном костюме, светловолосый, голубоглазый; причёска безупречная, лицо ухоженное, с лёгким загаром, брендовые очки в безободковой оправе — короче, на «домушника» он никак не походил, скорее — на топ-менеджера крупной компании, на эдакого «креакла». Отставленный бойфренд, сообразил Сажин и, нахмурившись, спросил:

— Вы, вероятно, Виталий?

— Абсолютно верно, — подтвердил креакл, отступая в сторону, чтобы пропустить Николая. — А вы, конечно, Николай Николаевич?

Сажин, не скрывая неудовольствия, утвердительно угукнул и зашёл в квартиру.

— Но Марина мне сказала, что вы больше... не вместе.

— Так и есть. Увы. Я — только за вещами и сейчас ухожу.

— Вот как? В таком разе вещи-то заберите, а ключики, наоборот — оставьте... — Николай бросил сумку, скинул обувь и прошёл в гостиную, придирчиво осматриваясь:

вроде порядок не нарушен. — А где Тайсон? — он заглянул на кухню, потом в спальню — таксы не было и там.

— Ах, собачка, — Виталий виновато развёл руками и печально улыбнулся. — Марина отнесла её в ветлечебницу, какая-то проблема с ЖКТ, я точно не знаю...

Сажин резко повернулся к говорившему:

— Что вы несёте?! Я созванивался с дочерью. Где моя такса, спрашиваю?! — он сделал шаг вперёд, намереваясь взять того за грудки.

Улыбка сползла с холёного лица Виталия, он отступил назад, неуловимо быстрым движением выхватил из-за пазухи маленький блестящий пистолет и направил его на Сажина:

— Ведите себя прилично, Николай Николаевич. Вашей собаки здесь нет. Сядем и поговорим спокойно, как цивилизованные люди, — он указал дулом пистолета на кресло. — Садитесь, говорю вам! И не пытайтесь воздействовать на меня ментально. Учтите, специальный чип в моём мозгу блокирует любые попытки гипнотического давления.

«Они считают, я обрёл силу. А пса в заложники, что ль, взяли? Какой-то бред», — растерянно подумал Сажин, садясь в кресло. Виталий присел на край дивана, продолжая держать Сажина на мушке.

— Полагаю, вы уже догадались, кого я представляю? — спросил Виталий.

— Да мне плевать! — взорвался Сажин. — Чего тебе надо? Говори и выметайся!

— Спокойнее, не стоит грубить, — покачал головой Виталий. — Всё не так просто. Мне поручено определенное задание, и пока я не получу фидбэка на наш месседж, никуда не уйду.

— Так говори и уматывай! И, ради Христа, изъясняйся по-русски, твой суржик просто бесит.

— Мы хотим сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться.

— Ха! Тоже мне, дон Карлеоне.

Виталий поправил очки:

— Давайте без шутовства, Николай Николаевич. Это вам не идёт, поверьте.

— Давай уже по делу — утомил. Какое предложение и почему я на него соглашусь?

— Во-первых, мы не примем отказа, а во-вторых, ни один человек, обладающий хоть толикой честолюбия, просто не в силах отказаться от подобного. Вы — писатель, следовательно, честолюбие вам не чуждо. Готовы слушать?

— А у меня есть выбор?

— Нет. Но сначала вопрос: вы уже овладели, гхм... особыми психофизическими свойствами Кунингазса?

— Не твоё дело.

Виталий терпеливо вздохнул:

— Какой вы непозитивный. Давайте порассуждаем вместе: вам удалось побывать в Чудь-горе, следовательно, вы либо овладели ментальными возможностями своих предков, либо выяснили способ их активации. Как видите, нам известно всё. Учтите, мы контролируем каждый ваш шаг. И не только — мы контролируем *реальность*. Просто примите это как данность. Это многое упростит.

— Вот даже как? Тогда, может, сам назовёшь способ активации?

Креакл вновь поправил очки. Они не знают, решил Сажин.

— На такой вопрос я отвечать не уполномочен, — заявил Виталий. — Меня делегировали озвучить суть нашей оферты. Раз вы торопите, буду лапидарен. Итак, шаг первый: мы обеспечиваем переход под ваше прямое управление влиятельной финансово-промышленной группы (наименование ФПГ вынесем на текущий момент за скобки). Проще говоря, вы возглавите один из крупнейших бизнес-холдингов Эрэфии. Шаг второй: мы организовываем ваше постоянное присутствие на всех ведущих медиаплощадках страны, где формируем вам позитивный имидж глобально мыслящего управленца, но при этом ненавязчиво позиционируем как конструктивную альтернативу действующему режиму. Шаг третий: мы выдвигаем вашу кандидатуру на президентских выборах двадцать четвертого года. Спрогнозированная нашими аналитиками вероятность успеха — восемьдесят с лишним процентов. Это очень высокая вероятность — практически гарантия! Риски также просчитаны и носят статистически незначимый характер, — он сделал паузу. — Что скажете? Как видите, я не лукавил: от такого предложения мало кто откажется.

Николай молча поднялся и, сопровождаемый по пятам Виталием, прошёл в прихожую; там вытащил из портфеля бутылку коньку и вернулся обратно; откупорив бутылку, он несколько раз отхлебнул прямо из горлышка, потом уселся в кресло и, не торопясь, закурил.

— Пассивное курение тоже убивает, — потянув носом, заметил Виталий и сел на диван напротив Сажина.

— Если бы, — вздохнул Сажин; выпустив струю табачного дыма в направлении креакла, он спросил: — Почему именно я?

Тот помахал свободной рукой перед лицом, брезгливо разгоняя дым:

— Сами знаете, почему. Но для большей ясности добавлю: мы дважды — в 2003 и 2012 годах — пытались реализовать подобный проект. Опыт оказался негативным.

— Вот-те раз! Это с вашими-то хваленными возможностями? Вы же реальность контролируете.

Виталий достал из кармана пиджака серый шёлковый платок с монограммой «W$&» и прикрыл им нос.

— Тогда мы не учли одного существенного фактора. Помимо наличия финансовой составляющей, кандидат должен пользоваться любовью народа, быть ему ментально близким. А что лежит в основе русского менталитета? Неубиваемая тяга к мифической справедливости: «всё взять и поделить», поровну, естественно. А в сухом остатке что? Зависть лапотника к успешному соседу, вот что. Отсюда звериное желание прищучить богатого, задушить его налогами, чтоб не смел жить лучше других.

— Народец, выходит, подкачал?

— Увы, российский народ так и не изжил корявую родоплеменную мораль, где нет места ни индивидуальному достоинству, ни соревновательному началу. Общинное мышление — вот что до сих пор тормозит развитие страны, — он осторожно понюхал платок и продолжил: — Кроме того, русский народ абсолютно лишен критики собственного поведения. Взять ту же аннексию Крыма или поддержку «сепаров» на Донбассе. Отсутствует само представление о том, что он — народ — неправ, не туда пошёл. Вам сложно представить, что русский народ может быть плохим, ужасным, падшим. Тем не менее, сейчас он именно таков... — Виталий перевёл дыхание. — Плюс — ресентимент под видом национальной идеи.

Николай поперхнулся коньком.

— Чего-чего? — спросил он, откашлявшись.

— Сублимация чувства неполноценности в особую систему морали, — со снисходительной улыбкой пояснил креакл. — «Можем повторить» — классический пример ресентимента. Вся мифология современной России строится на ресентименте, обусловленном травмой потери якобы великого «совка». Отсюда — и шабаши на Девятое мая, и некрофильские шествия с фотографиями покойников, и нескончаемые стенания о подвиге народа-победителя, вообще всё это... — он покрутил пистолетом. — Всё это победобесие, извините за штамп.

— Сколько с нами проблем: и сознание-то у нас общинное, и славой предков мы по недомыслию гордимся.

— Проблем хватает, — кивнул креакл, то ли не замечая сарказма, то ли игнорируя его. — Но с вашими экстраординарными талантами они все вполне разрешимы. Немного ментальных усилий — и массовый избиратель проникнется к вам самой искренней симпатией. А когда за спиной избранника — поддержка плебса, подлинно массовая поддержка, ему даже политические репрессии властей не страшны. Кроме того, надёжный тыл у вас уже в наличии.

— «Число»?

— «Число» само собой. Но электоральной поддержкой вам станет яппи-интернационал.

— Что ещё за зверь?

— Менеджмент международных корпораций и крупных российских компаний с иностранным участием. Наш креативный, атакующий класс!

— Вот как? Исповедуете классовый подход?

— Борьбу классов отрицать глупо. Ведь в чём прелесть и главное достоинство яппи-интернационала? Он лишен рудиментарной привязанности к конкретной территории.

— То бишь к родине?

— Трескучее устаревшее понятие, — поморщился креакл, — пережиток феодализма.

— Ну да, а территорию можно и поменять. Чего к ней привязываться?

— Абсолютно! Вот сейчас вы мыслите позитивно. Пожалуй, мы с вами придём к консенсусу... Николай Николаевич Сажин — президент Российской Федерации. Звучит? Заманчиво?

— И что же вы ожидаете от меня на этом посту? — щедро отхлебнув из бутылки, спросил Николай.

— Вы бы не налегали так на коньячок, — посоветовал Виталий. — У нас серьёзнейший разговор, а вы того и гляди наклюкаетесь. Важнейшей вашей задачей станет как раз переформатирование российского менталитета. Во-первых, необходим переход от верховенства коллективистского сознания к приоритету личности. А для этого

надо воспитывать культуру индивидуального эгоизма. Индивидуализм — вот основа и высшая форма свободы! Свободы индивида от общества и государства. Мы в России работаем над этим давно, с конца восьмидесятых. И не без результатов. Однако до полного успеха ещё далеко.

— Но и достижения налицо, — Николай, прищурив глаз, посмотрел бутылку на просвет. — Что во-вторых?

— Во-вторых, пора изжить детскую травму утраченного имперского величия и перестать, наконец, нянчить память о былых победах и героических дедах. Следует уже понять — нынешние поколения не имеют к этим победам никакого отношения. Никакого! В-третьих, новая демократическая Россия невозможна без признания национальной вины.

— Господи, а провинились-то мы перед кем?

— Перед всем свободным демократическим миром, разумеется.

— О как!

— Именно так. Вот это всё вам и придётся исправлять. Челлендж нелёгкий, согласен. Но так и только так мы сможем влиться в семью цивилизованных народов, — Креакл наморщил лоб и, посмотрев куда-то в пространство, спросил: — Кажется, я доступно изложил базовый кейс?

— Более чем. Ну, это, так сказать, цели стратегические... — Сажин прервался, чтобы сделать порядочный глоток. — Наверняка имеются и тактические задачи.

— О них вас проинформируют в своё время, — на какой-то едва уловимый миг — не более секунды — глаза креакла закатились и по телу пробежала лёгкая судорога. А может, Николаю это просто почудилось. — Да. В своё время. Впрочем, могу озвучить две цели ближнего порядка: безъядерный статус России — согласитесь, доктрина ядерного сдерживания исчерпала себя, и мы должны, наконец, перестать пугать Запад, нас не должны бояться. Итак, первоочередная оперативная задача — денуклеаризация страны. Второй вашей задачей станет смена формы правления. Для нас — боевого форпоста свободного мира — очевидно: в России мы боремся не с безумным диктатором, а с автономной и раз от раза самовосстанавливающейся агрессивной системой власти. Её надо ломать. Нужна парламентская республика, как в той же Италии. Субъекты федерации при этом получат в разы больше самостоятельности, вплоть до свободы выхода; некоторые регионы давно пора отпустить на все четыре, они лишь тянут нас назад, в прошлое, являясь препоной на пути к евроинтеграции.

— Московия це Европа, понятно. А почему вы уверены, что, став президентом, я буду плясать под вашу дудку? Обратных примеров полно в истории, в том числе и в нашей, российской.

— Хороший вопрос, — кивнул Виталий. — Разумеется, мы обязаны будем подстраховаться.

— Это как?

— Очень просто. Вживим вам микрочип, и если вы затеете свою игру, всегда сможем вас остановить. Уверяю, это абсолютно безвредно и безопасно, оцените на моём примере, — Виталий легонько постучал себе по виску. — Никакого дискомфорта, — он прислонился к спинке дивана и вытянул длинные ноги в зауженных по моде брюках.

Николай окинул его взглядом и вдруг со всей очевидностью ощутил, что способен расправиться с ним прямо сейчас голыми руками. Он ясно представил, как, выбив пистолет, хватает того за горло и душит, душит, душит... пока не хрустнут шейные позвонки. Да, он сможет это сделать... Только что это даст? Понятно же, креакл — лишь посыльный, и от «Числа» так легко не отделаться. Барбудос Реконкистова, вероятно, и смогут его защитить, но обратиться к ним — значит, встать на сторону «Слова», со всеми вытекающими... Укрыться в подгорном царстве чуди? Вообще не вариант!

— А если я всё же откажусь участвовать в вашем... проекте? — хрипло спросил он после минутной паузы.

— У вас же, Николай Николаевич, дочь.

— Так просто и так пошло? Понимать как угрозу похищения?

— Я уже говорил: мы контролируем реальность. Однако точнее сказать иначе: не только контролируем, но и в значительной мере конструируем новую. Вы так и не осознали всей безальтернативности своего положения и всю серьёзность наших намерений. Что ж, вставайте и пройдём на балкон — вижу, вам требуется маленькая наглядная демонстрация. Вставайте-вставайте!

«Прав был Идальго, — лихорадочно размышлял Николай по пути к балкону, — сожрут они меня, сожрут и не поперхнутся...» Открыв балконную дверь и войдя в застеклённую коробку, уставленную разной мало потребной в быту утварью, Сажин обернулся:

— Что дальше?

Креакл молча указал дулом пистолета в самый угол балкона. Николай присмотрел-

ся. В первое мгновение ему показалось, что там лежит какой-то коричневый шерстяной рулон... Но нет — это был Тайсон. Сажин быстро шагнул к нему, упал на колени и принялся ощупывать таксу — она была мертва и уже начала коченеть. Он тяжело поднялся и долго-долго, свесив свои длинные руки, стоял над телом старого пса.

— Я жду вашего решения об участии в проекте, — деликатно кашлянув, напомнил за его спиной Виталий.

— Вы не оставили мне выбора, — не оборачиваясь, ответил Николай.

По лицу креакла растеклась победная улыбка:

— Это правильный инсайт.

Постояв ещё минуту, Сажин осмотрелся по сторонам и вытащил из-за гладильной доски сапёрную лопатку.

— Зачем она вам? — спросил Виталий, отступая назад.

— Поможешь похоронить пса? — вместо ответа спросил Николай.

— Где?

— В Битцевском парке, где ещё? Здесь недалеко.

И снова, как в прошлый раз, Виталий закатил глаза, странно передёрнул шеей, но тут же встряхнулся и едва слышно пробормотал: «О`кей, йес, сэр». Потом кивнул и повторил: «О`кей». Сажину показалось, что адресовано это было кому угодно, только не ему.

— Так поможешь или что? — нетерпеливо переспросил он.

Креакл взглянул на Николая и выдохнул:

— Разумеется! Ноу проблэм.

— Тогда пошли.

Эпилог

Из Битцевского парка Сажин возвращался один. В подъезде, когда он уже заходил в лифт, его тревожно окликнула консьержка:

— Николаич! У вас из сумки капает, гляньте.

Он остановился и посмотрел на хозяйственную сумку, в которой отнёс Тайсона к месту его последнего упокоения: один её угол действительно сильно промок и сочился тёмно-красной жидкостью.

— Парного мяса прикупил в магазине, — пояснил он. — Протекло.

Переступив порог квартиры, Сажин сразу ощутил — тут кто-то есть. И действительно, не успел он снять обувь, как навстречу из гостиной шагнул Реконкистов, за его спиной возвышались два незнакомых Николаю крепких молодца. Подойдя вплотную, Идальго пытливо заглянул Николаю в глаза и, указав пальцем на сумку, спросил шёпотом:

— Что там, Коля?

— Сердце. Человеческое сердце.

Реконкистов укоризненно поцокал языком:

— Наследил ты изрядно. Ладно, это и мой косяк, — он обернулся к крепышам: — Дуйте в парк, и чтоб в ближайшие сто — нет, двести лет — никто, ничего ни с собаками, ни с детекторами, ни даже с бульдозером! — когда бойцы скрылись за дверью, Идальго снова впился взглядом в Сажина. — А почему именно сердце? — понизив голос, спросил он. — Взял бы филейную часть. А! Понимаю: про Гориллыча вспомнил. Дескать, вышло в тот раз, получится и сейчас? Резонно.

— Слушай, Георгий. Я вот что тут подумал... Помнишь таганского кота Изю?

— Ну? С ним всё в порядке, я его соседке пристроил.

— Так вот, я бы хотел его забрать. Это возможно?

— Всё это в наших руках. Сделаем.

С кухни раздался звон металлической посуды, и чей-то голос в стиле нежного бельканто пропел: «*Гунчаньдан сян тайян, чжао дао нали нали ян*»[1].

— Это наш китайский товарищ Ли кашеварит, — ответил Идальго на невысказанный вопрос Сажина. — Между прочим, не только поёт хорошо, но и повар совершенно исключительный — из летучей мыши конфетку состряпает, не то что из этого, — он кивнул на сумку, которую продолжал держать Николай. — Давай-ка её мне. А сам вон сядь пока на диван и отдохни — на тебе лица нет.

31.01.2022

[1] «Коммунистическая партия подобна солнцу, приносит свет всюду, где она сияет» *(китайская революционная песня «Алеет Восток»).*

Сергей ЮДИН

ПРОКЛЯТИЕ ОКАЯННОЙ МОРРИГАН

Готическая повесть

Умирая, томлюсь о бессмертьи.
Низко облако пыльной мглы...
Пусть хоть голые красные черти,
Пусть хоть чан зловонной смолы.
А. Ахматова

Глава первая

ОТКРЫВАЮЩАЯ ПОВЕСТВОВАНИЕ СЛУЧАЙНОЙ ВСТРЕЧЕЙ НА ЧЕЙПЛИЗОДСКОМ КЛАДБИЩЕ ДВУХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Полагаем, не лишним будет сперва предуведомить любознательного читателя, что эта жуткая и (не побоимся сего выражения) прямо-таки леденящая кровь история произошла в пригороде Дублина хмурым осенним вечером 2000-го года, аккутат накануне Самайна или Дня Всех Святых. А вот теперь можно и начинать. Итак...

Невысокий лысоватый человек утер лоб большим клетчатым носовым платком, обмахнул им и лицо свое, украшенное пышными старомодными бакенбардами, снял с породистого носа квадратные очки в толстой черепаховой оправе и также тщательно протер слегка запотевшие стекла. Водрузив оные обратно на переносье, он протянул из-под раскрытого зонта руку ладонью вверх, убедился, что противный моросящий дождь закончился, сложил зонт, рассеянно огляделся и хотел уже продолжить свой путь дальше, как вдруг взор его наткнулся на расположенную всего в нескольких шагах почерневшую от времени и непогоды скамейку и недвижно сидящую мужскую фигуру, облаченную в легкое, изящного покроя кашемировое пальто благородного кофейного оттенка.

Незнакомец сидел в расслабленной позе, откинувшись на спинку грубой деревянной скамьи, одиноко кособочившейся под сенью неохватного корявого вяза, что вот уже лет триста рос на центральной аллее старого Чейплизодского кладбища. Глаза импозантно одетого джентльмена были закрыты, лицо выражало весьма подходившие для этого места последнего упокоения совершенные безмятежность и довольство, а на коленях дымилась пенковая трубка с длинным янтарным чубуком. Рядом на скамье стоял высокий стакан толстого стекла и початая бутылка *Irish whiskey* объемом в кварту.

Как только лысоватый господин поравнялся со скамьей, сей незнакомец приоткрыл один глаз, сунул левой рукой трубку себе в рот, а правой без всяких церемоний сделал широкий приглашающий жест, одновременно перемещаясь на конец сидения.

Обладатель черепаховых очков огляделся вокруг, убедился, что на аллее нет более ни души и, таким образом, любезность незнакомого джентльмена ни к кому иному обращена быть не может, вежливо поклонился и произнес с видимым удивлением, не слишком сильно коверкая английскую речь:

— Весьма признателен за приглашение, сэр, но не смею вас беспокоить.

Однако прежде чем он успел сделать хоть шаг, явно собираясь поскорее проследовать дальше, человек на скамейке открыл второй глаз, затем живо поднялся, оказавшись неожиданно крупного сложения и роста, вынул изо рта трубку и произнес на чистом русском языке, сопровождая свои слова улыбкой и легким поклоном:

— Ну, что вы! Какое же это беспокойство? Так отрадно встретить на этом забытом святым Патриком клочке суши соотечественника. И притом не на *Suffolk Street*, а здесь — на лоне природы, в тихом и покойном уголке.

Еще более удивленный (и не сказать, чтобы приятно), наш герой мгновение молча и недоуменно рассматривал снизу вверх неведомо как здесь оказавшегося рослого соотечественника, затем перевел взгляд на торчащий из кармана его собственного плаща русскоязычный путеводитель по Дублину, понимающе кивнул, коснулся в знак приветствия ручкой зонта правого бакенбарда и отвечал с долей легкой иронии:

— Да-да. Очень отрадно, просто несказанно.

— Прошу вас, не стесняйтесь, присаживайтесь! — не унимался внезапно обретенный соотечественник, гостеприимно указуя рукой на скамью.

— Ах, я рад бы... Да, видите ли, время...

— Позвольте представиться, — перебил его незнакомец, — Горислав Костромиров, историк.

Вздохнув, лысоватый господин нехотя присел на край мокрой скамейки и отрекомендовался в свою очередь:

— Сопоткин. Константин Петрович Сопоткин, литератор.

— Феерично! А я ведь вас знаю. Заочно, конечно. Читал. Да. Весьма. Подумать только, какая удивительная встреча! А позвольте поинтересоваться, вы здесь как турист или по казенной надобности путешествуете?

— Это в каком же смысле — по казенной? — удивился Сопоткин, с проснувшимся профессиональным любопытством разглядывая некрасивое, но выразительное лицо нового знакомого.

— В том смысле — не по заданию ли редакции?

— У меня, к вашему сведению, никаких заданий не бывает, — несколько высокомерно отвечал Константин Петрович. — Я не журналист, поэтому и путешествую сам по себе. Для собственного своего удовольствия.

— Вот как. Завидую, — со вздохом отозвался Костромиров и принялся неспешно раскуривать трубку.

Некоторое время оба сидели молча. Причем историк со звучной фамилией и странным именем словно позабыл, что сам же и явился инициатором знакомства, едва ли не насильно заставив Сопоткина прервать его одинокую прогулку, и теперь лишь невозмутимо пускал клубы ароматного табачного дыма да задумчиво разглядывал медленно растворяющиеся в напитанном влагой воздухе сизые кольца.

Литератор продолжал искоса рассматривать его лицо, тщетно гадая, какое животное напоминают ему эти хищные черты: недлинный крючковатый нос, сардоническая складка губ и большие, даже выпуклые глаза под густыми, почти сросшимися кустистыми бровями. С первого взгляда он почуял в новом знакомом нечто необычное. При детальном осмотре вроде бы ничего примечательного не обнаружилось; черты лица его, взятые в отдельности, за исключением высокого покатого лба, казались вполне заурядными. Но все же странная бледность, отпечаток умственного превосходства, сарказма и решительности делали его внешность не совсем обыкновенной. Сопоткин дал бы ему сорок пять, а может быть, тридцать шесть или сколько угодно лет — это был человек без возраста. Наконец, посчитав молчание слишком затянувшимся и полагая, что, раз усевшись, довольно нелепо тут же встать и распрощаться, Константин Петрович нехотя поинтересовался:

— А вы, стало быть, по делам приехали? Горислав... Э-э-э?..

— Игоревич.

— Так, стало быть, по делам, Горислав Игоревич?

— Формально — по приглашению здешнего Колледжа Троицы, а фактически — сам напросился, — с готовностью отвечал тот. — Видите ли, в фондах библиотеки Альфреда Честер-Битти совершенно случайно обнаружился весьма любопытный даосский манускрипт, коий местные синологи отнесли чуть ли не к эпохе Борющихся Царств. Как выяснилось — по недоразумению. Собственно, ошибочность подобной датировки была установлена еще до моего приезда, потому и в самой поездке особенной нужды не было... Но, раз средства выделены, почему бы и не навестить в очередной раз коллег...

— Так вы востоковед? — спросил Сопоткин.

— Преимущественно, — уклончиво ответил историк и, спохватившись, добавил: — Ах, простите мою рассеянность!

С этими словами Костромиров вытащил пробку из объемистой бутыли и, плеснув в стакан ароматной жидкости, протянул его писателю:

— Прошу вас, угощайтесь. За встречу, так сказать...

— Нет-нет! Это совершенно лишнее, — поспешил заверить его Сопоткин, отводя в сторону предложенное угощение. — Совершенно лишнее.

— Ах, бросьте! Пара глотков вам совсем не повредят. В здешнем климате без этого никак невозможно. Уж поверьте, — продолжал настаивать историк, соблазнительно помавая стаканом перед самым носом своего собеседника. — *Locke's* двенадцатилет-

ней выдержки. Чувствуете, каков букет? А?! То-то!

— Ну, разве пару глотков... — сдался наконец Константин Петрович. — Погода, действительно, преотвратная.

— А я о чем! Сто семьдесят дней в году — дожди. Можете себе представить? И находятся ведь ханжи, обвиняющие ирландцев в пьянстве. Да как же на этом чертовом острове не пить? В мокрицу можно запросто обратиться. Или еще во что-нибудь похуже...

— Верно. Я здесь уже неделю, и хоть бы раз выглянуло солнце... Точнее, пару раз, конечно, выглядывало, но как-то неубедительно...

— Как вам виски? — поинтересовался Костромиров. — Превосходный, не находите?

— Виски, действительно, отменный, — согласился Сопоткин, с удовольствием ощущая разливающееся по жилам приятное тепло. — Однако что ж вы все мне подливаете? А сами-то не пьете отчего?

— Э, нет, увольте! — ответил Горислав Игоревич, передавая литератору почти полный стакан. — Я виски стараюсь не употреблять... У меня от него жуткая изжога. Просто жутчайшая.

Сопоткин, уже отхлебнувший изрядную часть очередной порции, поперхнулся и закашлялся:

— За... кхах! кхех!.. чем же... кхах!.. Зачем же вы бутылку прихватили? Раз не употребляете.

— Да видите ли, какая оказия, — улыбнулся историк, — я здесь с коллегой уговорился встретиться, а он как раз большой любитель... Но, видимо, что-то случилось — не пришел; битых два часа прождал этого бездельника и все напрасно...

— Во-она как, — протянул Константин Петрович, ставя недопитый стакан на скамейку, — в таком случае и я, пожалуй, воздержусь.

— Напрасно, — со вздохом сказал Костромиров, — у вас же нет изжоги. Я и сам, как видите, не удержался, употребил пару капель, — продолжил он, болезненно морщась и массируя пальцами область желудка: — Глупо показалось зябнуть с полной бутылкой в кармане... А вы, наверное, подумали — вот, дескать, маргинальная личность, с пузырем один на один рассиживает?

— Что вы! Что вы! — Константин Петрович воздел ладони, выражая слабый протест.

— Подумали, не спорьте. Так уверяю, мне столь вызывающе-антиобщественное поведение обычно не свойственно. Тут дело не в одном лишь коллеге... Просто я только что — буквально часа три назад — узнал о смерти близкого мне человека... Некогда близкого.

— Соболезную, — Константин Петрович постарался изобразить на лице приличную толику скорби.

— Спасибо. Кстати, из ваших, из литераторов. Алексей Рузанов. Может, слышали?

— Постойте... — наморщил лоб Сопоткин. — Не автор ли «Ликантропии»?

— Он самый, — Костромиров печально кивнул. — Так что, видите, повод достаточно серьезный. Ну как, плеснуть пару капель? А?.. Впрочем, как знаете.

Сопоткин уже было собрался воспользоваться моментом и откланяться, как новый знакомый опять остановил его вопросом:

— А позвольте полюбопытствовать, что вас привело на сей заброшенный погост? Или случайно забрели? Из Феникс-парка?

— Набираюсь впечатлений для очередного шедевра, — ответил Сопоткин, немного раздраженно поглядывая на недопитый стакан.

— Коли вас интересуют владения Танатоса, непременно посетите Глазневинское кладбище. Оно, хотя и действующее, но, уж конечно, не менее старое, чем Чейплизодское. Или вы там уже побывали?

— Вы правы, успел посетить. Но оно меня, признаюсь, как-то не впечатлило, даже отпугнуло. Скорее всего, я просто сразу попал на неудачное место. Как говорится, выбрал неправильную точку обзора.

— Что вы имеете в виду?

— Ну, мой гид первым делом затащил меня на так называемую «аллею недоносков», — пояснил Сопоткин. — Это там, где похоронены выкидыши. Да-да! Местные католики хоронят и мертворожденных детей. Представьте себе множество деревянных крестиков, увешанных эдакими веселенькими гирляндами, колокольчиками, обложенных ворохами полуистлевших игрушек... Страх берет, как представишь себе всех этих никогда не живших Шонов и Патрисий, распадающихся на жиры и углеводы в крошечных гробиках-коробочках...

— Вот как? Очень интересно, — оживился историк. — В этом положительно есть нечто языческое, весьма напоминает некоторые обычаи пунийцев. Точнее, детские

вотивные захоронения карфагенского тофета. А может, ханаанейские могилы в Тааннаке, Гезере и Мегиддо. Знаете, те, что в свое время нашли Зеллин и Макалистер... Ага. Нужно будет непременно сходить посмотреть.

Оба собеседника, увлеченные разговором, будто и не замечали, что солнце видимо клонится к западу, тени становятся длиннее, вечерняя прохлада — все ощутимее, и некая таинственная тишина медленно опускается на старинное Чейплизодское кладбище.

А день медленно угасал. Нависающие над землей дождевые облака, дождавшись заката, незаметно уползли куда-то к горизонту, будто ненужные уже декорации, и очистившееся небо приобрело мертвенный блекло-голубой оттенок. На усыпанную красным гравием дорожку, на кроны и стволы деревьев легли холодные и тусклые розоватые блики; все краски вокруг будто полиняли, стали приглушенными и безжизненными, как на выцветшей от времени акварели; звуки умерли — затих птичий гомон, не было слышно шелеста дождевых капель, ни малейшее дуновение ветерка не тревожило колючие ветви и резную листву разросшихся вдоль аллеи кустов боярышника — звенящая тишина глухим куполом накрыла старое кладбище.

Между тем, за редкими вязами и вечнозелеными могильными тисами, там, где теснились в хаотическом беспорядке кельтские, с причудливым колесообразным верхом кресты из серого песчаника, уже легла гигантская черная тень, словно ночь, подобно туманному призраку, выходила из-под земли, просачивалась через отдушины склепов, покидала свои жуткие каменные укрывища, поднимаясь к подножиям покосившихся крестов и надгробных памятников, пожирая последние дневные краски и оставляя за собой лишь пепельно-серые и угольно-черные цвета.

Глава вторая

В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О НЕОЖИДАННО ВОЗНИКШЕМ ФИЛОСОФСКОМ ДИСПУТЕ МЕЖДУ ДВУМЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ, СЛУЧАЙНО ВСТРЕТИВШИМИСЯ НА КЛАДБИЩЕ

Константин Петрович невольно поежился от неясно с чего пробравшей все его тело легкой нервной дрожи и неожиданно спросил Костромирова:

— Вы верите в привидения?

— Привидения? Что вы под этим подразумеваете? Фантомы? Духи? Призраки умерших? — удивился историк.

— Ну, что-то в этом роде.

— Нет, не верю.

— Отчего же? Быть в Ирландии и не допускать существования привидений — это, как мне кажется, нонсенс, да и чревато неприятностями.

— Возможно, вы и правы, — согласился Костромиров. — В Ирландии действительно не место скептикам. По крайней мере, среди аборигенов они практически не встречаются, разве что — на севере. Но, что делать, мой скептицизм не зависит от географии. Ведь что обыкновенно мы понимаем под призраком? Неприкаянную душу некогда живого существа. Так? А что такое эта самая душа или психея, как ее именовали греки, если не то, что мы нынче называем сознанием? Но я отказываюсь понимать, как сознание может продолжать жить, когда его физическая основа уничтожена. Я слишком уверен во взаимосвязи между телом и сознанием, чтобы поверить в такое.

— То есть вы отрицаете бессмертие души?

— Безусловно. Всякий смертный смертен. И умирает он весь целиком... Думаю, вы со мной согласитесь, что большинство из нас, людей, — не бог весть какое сокровище. По существу, мы зачастую столь ничтожны, что не заслуживаем ни вечных мук, ни вечного блаженства. Да и что такое бессмертие, если не бесконечная жизнь. Так? Но жизнь есть способ существования белковых тел. При чем же здесь бестелесные сущности?

— Тут я с вами не соглашусь, — отозвался Константин Петрович, — материалистические определения жизни и, следовательно, самого человека мне как-то не слишком импонируют. Что называется, не по нутру. Они уравнивают нас с бессловесными тварями. Ставить на одну доску человека и корову или даже — человека и амебу? Фу! Мне куда ближе идеалисты. Помните, у Прокла: «Человек есть *душа*, пользующаяся телом, как орудием»? Не находите, это более достойное определение неповторимой человеческой личности? Сводить же все к пресловутым белкам и аминокислотам...

— Бросьте! — прервал его Костромиров. — Душа, личность... Вы что же полагаете, что, говоря «я», человек думает, будто у него в голове притаилось еще одно махонькое существо с таким именем?.. Наше «Я» или, если угодно, наша «душа», «личность», «сознание» — не более чем сложнейшее взаимодействие мозговых процессов. Хотя и

уникальное для каждого человека, но подчиняющееся общим физиологическим законам. И, заметьте, взаимодействие это куда как легко нарушается в результате болезни или той же белой горячки, — Костромиров щелкнул ногтем по бутылке. — Разве душевное заболевание не приводит, в конце концов, к распаду личности? Теперь подумайте: коли даже внутренние — порой незначительные — телесные недуги влекут за собой необратимые последствия для нашего «Я», что же говорить о случаях абсолютного физического уничтожения внешней его оболочки? Полный распад тела неизбежно влечет за собой столь же полный распад духа!.. Впрочем, даже средневековые схоласты, искренне веровавшие в то, что дух и после физической смерти продолжает существовать отдельно от тела, не решались назвать это бессмертием. Они понимали это как некое «погребение в Божестве», эдакое растворение в Мировом Разуме, в «Ничьей Обители», где, как писал Экхард, душа умирает наивысшей смертью, ибо утрачивает все свои вожделения, и все образы, и всякое разумение, и всякую форму, и от нее отнимается всякая сущность...

— Звучит тоскливо, — пробормотал Сопоткин. — Слушая вас, поневоле начинаешь понимать Эмпедокла... Знаете, того, что бросился в кратер вулкана из одной лишь черной меланхолии...

— Дионисий Картузианский, Таулер, Рюйсбрук, Иоанн Скотт Эриугена, Ангелус Силезиус, — продолжал между тем Горислав Игоревич, энергично и беспорядочно тыча трубкой куда-то в сторону зарослей бузины, отчего казалось, будто названные богословы именно там и попрятались, — все они в конце концов приходили к неизбежному выводу о том, что освобожденный от бренного тела дух (или мистическое ядро всякой твари) погружается в первозданную тьму, в непостижимую и невыразимую «божественную единость», дабы себя там утратить и затеряться в этом «пустынном Божестве», быть поглощенным им до «полной безвидности». Ну и чем, по-вашему, подобное, с позволения сказать, «существование» отличается от смерти? Вы, я надеюсь, не станете отрицать, что пресловутый Мировой Разум — не более чем наша фантазия. А успокаивать себя мыслью, что ты после смерти продолжаешь жить в собственной фантазии, — значит заниматься словесной эквилибристикой.

— Скажите, — прервал его писатель, — а такие взгляды не заставляют вас бояться смерти?

— Чего ради?

— Ну как же! Разве вы не находите, что сознание невозможности посмертного существования, в каком бы то ни было виде, должно усугублять страх смерти? Ведь, выходит, что червям достанется не только наше бренное тело, но и все прочее. Тогда уж действительно — ни цели, ни смысла.

— Отнюдь, — спокойно отозвался Костромиров. — Думаю, вы со мной согласитесь, что смерть — не есть факт сознания. Разве вы лично в состоянии представить себе мир, в котором вас нет? Верно ведь — это выше понимания? Так же как и бесконечность Мироздания. Констатировать факт — да, но осознать — нет! Так к чему же страшиться того, что никоим образом не сможет вас затронуть, заставить страдать? Смерть близких людей на самом деле потрясает, но собственная... Уверяю вас, умерев, вы нисколько не будете потрясены. Или, иными словами, ничего не почувствуете. Рассказывают, когда у Фонтенеля на смертном одре спросили, как он себя чувствует, старик немедленно отдал концы со смеха... М-да, с этой точки зрения, выражение *«apres moi le deluge»* действительно имеет некоторый смысл... И потом, даже если на минуту допустить, что душа-сознание, в отличие от бренного тела, бессмертна... Разве такая перспектива не должна страшить еще больше?

— Это еще почему?

— Так ведь навряд ли стоит всерьез рассматривать анимистические фантазии древних, всерьез верить, будто наш отлетевший дух станет эдакой прекрасной бабочкой порхать по асфоделевым лугам волшебного Потустороннего Мира... Это же должно быть бессмертие, напрочь лишенное тела, его сил, его наслаждений, его живого опыта, всех его возможностей... Только представьте себе, что вы однажды очнулись в тесном гробу, представьте себя заживо погребенным: вы не в силах двинуть ни одним членом, пошевелить пальцем, до вас не доходит ни малейшего звука, ни единого луча света; вообразите себе, что вы слепы, глухи, парализованы... навеки! Притом — о, ужас! — не потеряли способность мыслить. Не будет ли это страшнейшим из всех возможных наказаний? Можно ли представить нечто худшее, нежели быть приговоренным к *такой* вечности? Не значит ли это обречь наше сознание на такую муку, в сравнении с которой адские мучения покажутся совершенным пустяком, походом к зубному врачу?.. Уверяю вас, люди не жаждут бессмертия. Во всяком случае, подобного. Они просто не хотят умирать. Они хотят жить и наслаждаться всеми радостями жизни. Хотят чувствовать, обонять, осязать, видеть, любить. Но не быть на веки вечные заточенными в пустой гробнице Мирового Ничто, до скончания времен терзаться

собственным абсолютным бессилием, быть лишенными даже милосердной возможности самоубийства...

— Тем не менее, вы меня не убедили, — вновь прервал его Константин Петрович. — И хотя я согласен с тем, что мир конечен, по крайней мере, наш мир, ибо все имеет свои границы, но до той поры, пока еще, к счастью, продолжают существовать явления, недоступные для понимания человека, хотя бы и вооруженного наукой, пока еще не все измерено, исчислено и взвешено в этом мире, до той поры будет существовать и вера в Необъяснимое... Это, кстати, касается и призраков. Вам не случалось самому их наблюдать? Нет? А вот мне раз довелось...

— Неужели? Может быть, расскажете?

— Как-нибудь в другой раз, слишком долгая история. Кстати, вам известно, что и на этом заброшенном сельском погосте тоже водятся привидения?

— Вот как? — опять удивился Костромиров. — И откуда же это известно *вам*?

— Дело в том, что я успел познакомиться и даже довольно близко сойтись со здешним смотрителем, проще говоря, кладбищенским сторожем, неким Томом О'Тулом. Преинтереснейшая личность, я вам доложу. Между прочим, утверждает, что он потомок королей...

— Ерунда, — пренебрежительно махнул рукой Горислав Игоревич. — Какого ирландца ни спроси, каждый мнит себя потомком королей.

— Это верно, — смеясь, подтвердил Сопоткин. — Если и не каждый, то каждый третий — точно. Хотя, надо заметить, доля истины в этом, как ни странно, тоже наличествует. Вы ведь наверняка знаете, что с раннего Средневековья и до самого завоевания в Ирландии на любой данный момент насчитывалось не менее двух сотен королей? И это притом, что население всегда составляло гораздо менее полумиллиона человек. Неудивительно, что потомство этих королей, особенно учитывая их беспорядочные связи, разрослось до прямо-таки устрашающих размеров.

— Феерично, — отозвался Костромиров, невозмутимо попыхивая трубкой. — Но вы что-то упомянули о местных призраках...

— Ах да! Ну, так вот... Этот самый мистер О'Тул оказался большим знатоком ирландских легенд и преданий, как давнишних, так и относительно современных. Он-то мне и поведал о здешней достопримечательности — так называемом *Безголовом Призраке* или *Ужасе Чейплизода.* За очень скромное вознаграждение поведал. Умеренное, по крайней мере.

— Уже интересно. «Ужас Чейплизода» — это надо же! Я всегда знал, что в душах кладбищенских сторожей таятся неизведанные глубины. Прошу вас, Константин Петрович, не тяните, рассказывайте, — заявил историк, поудобнее усаживаясь на скамье и в то же время наполняя быстро пустеющий стакан собеседника.

Глава третья

ЯКОБЫ ЗАКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЕ ЛЕГЕНДУ О БЕЗГОЛОВОМ ПРИЗРАКЕ И ИНЫХ, НЕ МЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ, ПЕРСОНАЖАХ

Благодарно кивнув, Сопоткин сделал пару глотков, вытащил из внутреннего кармана крошечную записную книжку в изящном кожаном переплете с золотым тиснением и откашлялся.

— Раз вас это и впрямь заинтересовало, так и быть, расскажу. Хотя, рассказчик из меня... — скромно заметил он и начал свою речь, строя ее по всем правилам ораторского искусства (правда, не без легкой манерности слога) и иногда сверяясь с записями в книжке: — Вам известно, что губернаторство Оливера Кромвеля явилось одной из самых постыдных и кровавых страниц в истории господства англичан над Изумрудным Островом...

— Как и все, связанное с пуританами, — не замедлил вставить Костромиров. — Но, простите, более не буду вас прерывать. Пожалуйста, продолжайте.

— Да. Так вот, вскоре после казни Карла Первого полторы сотни английских кораблей, незадолго перед тем вышедших из Бристоля, пересекли Ирландское море и пристали к побережью севернее Дублина. Генерал Кромвель горел желанием покарать ирландцев, которые традиционно поддерживали Стюартов, даже и после падения династии. А ведомое им воинство пылало еще большим пламенем фанатизма — верные последователи Кальвина и Джона Нокса полагали свою миссию не менее священной, чем распрю Израиля с ханаанеями, а резню не признаваемых ими за христиан католиков — делом дивно великой благости и даже в чем-то безусловно милосердным... Итак, Кромвель высадился с огромной армией и двинулся на юг, разрушая, сжигая и уничтожая всё и всех на своем пути. Роялисты не могли противопоставить испытанному в сражениях английскому войску сколько-нибудь соразмерные силы и заперлись

в неприступных замках и крепостях. Но — увы! Древние стены не выдерживали длительной бомбардировки кромвелевской артиллерии, и ирландские твердыни одна за другой падали к ногам завоевателя. Творимые пуританами зверства носили сугубо показательный характер и призваны были запугать жителей острова: англичане вырезали населения целых городов, заживо сжигали жителей в храмах, уничтожали «проклятых папистов», невзирая на пол и возраст. Более всего жестокостью, как, впрочем, и храбростью, отличался вождь самых непримиримых индепендентов из числа английских солдат — полковник Генри Айртон, зять «старины Нолля». Именно он первым врывался в бреши крепостных стен, именно его всегда видели в первых рядах сражающихся на поле боя и его же — первым среди тех, кто с готовностью обагрял свой меч в крови ни в чем не повинных мирных жителей, вешал священников и монахов, предавал огню хижины и церкви. Ирландцы прозвали его «Уэксфордским Мясником», ибо как раз после взятия этого города — Уэксфорда, когда Кромвель, проявляя по своему обыкновению похвальную экономию пороха, приказал солдатам зарубить всех оставшихся в живых — несколько тысяч человек, Генри Айртон ухитрился самолично зарезать не менее полусотни жителей. Несмотря на все эти меры, сопротивление роялистов не ослабевало, и, в конце концов, удача стала изменять английскому оружию. Когда же, после поражения под Клонмелом, «старина Нолль» был отозван в Лондон, место главнокомандующего занял его зять Генри Айртон. Впрочем, успехи аборигенов оказались вполне эфемерными — очень скоро к парламентской армии прибыли значительные подкрепления, и планомерное усмирение восставших продолжилось... Надо полагать, полковник Айртон чересчур буквально воспринял слова своего тестя о том, что покорение Ирландии возможно лишь путем ее уничтожения, ибо и по сей день ирландцы передают легенды, как он убивал всех мужчин поголовно в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет, отсекал руки всем детям от шести до шестнадцатилетнего возраста, клеймил груди женщин и прочие подобные ужасы. Но и действительность ушла недалеко от легенды: к концу «умиротворения» страна совершенно обезлюдела, около ста тысяч ирландцев бежали на континент и в Вест-Индию, часть (в основном молодые женщины) была отправлена на Ямайку и Барбадос и там продана в рабство плантаторам, а оставшиеся — выселены в одну провинцию, покидать которую им было запрещено под страхом смерти. Освобожденные от коренного населения три другие провинции заняли колонисты саксонской крови и кальвинистской веры. Кстати, именно это обстоятельство — очищение страны от «мерзости идолопоклонства», — по словам ваших коллег, английских историков, способствовало в дальнейшем сугубому процветанию Ирландии...

— Сделайте одолжение, Константин Петрович, не отвлекайтесь на исторические экскурсы, — нетерпеливо воскликнул Костромиров, у которого не в меру торжественное начало легенды вкупе со словесно-семантической избыточностью вызвали опасения, что ей и через трое суток конца не будет. — Так вы никогда не дойдете до самого интересного, до сути.

— Кажется, вы обещали меня не прерывать? — осведомился Сопоткин. — И потом, я вовсе не ухожу в сторону. Напротив, почти буквально следую рассказу Тома... Ну разве что с минимальной стилистической правкой и небольшими, а потому простительными, отступлениями. Кстати, сведения для них я почерпнул исключительно из самых авторитетных источников... Вообще же, раз случилась такая оказия, мне желательно проверить воздействие литературной обработки этой легенды на постороннего, незаинтересованного слушателя. От этого зависит...

— Еще раз простите. Мое нетерпение объясняется как раз интересом, который вызвала ваша история. Но продолжайте, продолжайте!

— Да. Так вот... — Сопоткин с видимым сожалением перелистнул пару страничек в записной книжке и в очередной раз приступил к рассказу: — События, о которых поведал мне мистер О'Тул, произошли, кажется, осенью 1651 года. В это время Генри Айртон как раз осаждал Росс — одну из немногих крепостей, еще не покорившуюся захватчикам. Засевшими там инсургентами предводительствовал местный епископ — Оливер МакМагон... Я говорил, что полковник... то есть тогда уже — генерал Айртон весьма ответственно отнесся к выполнению своего долга англичанина и христианина. По мере того как затухали последние очаги сопротивления, гнев его обращался уже и на саму природу. Война, во многом благодаря его усилиям, принимала совершенно дикий характер. Не только убивались люди, но избивался скот, чтобы не дать еще сопротивляющемуся населению средства пропитания. Не только скот — уничтожались посевы на корню, и для этого отряды англичан, вооруженные серпами и косами, снимали незрелый хлеб и иные полезные злаки с полей. Естественно, затем настал страшный голод, от которого население пропадало сотнями тысяч. По дорогам валялись трупы людей, а рядом с ними умирающие, тщетно старавшиеся утолить нестерпимый голод, пожирая траву. С голодом появилась чума, приканчивавшая тех, с которыми еще не

справился голод. Быстро распространявшаяся эпидемия не обошла стороной и англичан. Солдаты массами гибли от черной напасти, а еще — от дизентерии и прочих заразных хворей. Прибавьте сюда позднее время года и крайнюю усталость войск, и вы поймете, до какой степени ожесточения дошла к тому моменту армия и какую ярость вызывала у всех крошечная крепость, которая упорно не желала сдаваться на милость победителей. Может быть, именно потому, что милости в любом случае ждать не приходилось...

Плавное течение речи рассказчика было внезапно нарушено громким хлопаньем крыльев и оглушительным карканьем — ветви старого вяза, под которым сидели Костромиров и Сопоткин, закачались, зашумели, и в небо взмыли три черных как смоль ворона. Большие грузные птицы опустились ниже, сделали широкий круг справа от скамейки, со свистом рассекая воздух тяжелыми взмахами, а затем скрылись за деревьями, не переставая хрипло и раздраженно каркать.

— Дурной знак, — пробормотал Константин Петрович. — Что их вспугнуло? Ветра даже нет.

Будто в ответ на замечание литератора, сильный порыв ветра поднял и закружил опавшую листву на дорожках аллеи, тревожно зашелестел в густой зелени вяза, и на собеседников посыпались мелкие ветки и древесная труха.

— Близится вечер, — с усмешкой отозвался Горислав Игоревич, отряхивая воротник и плечи кашемирового пальто, — силам зла впору выбираться из дневных укрытий. Так не дадим же кладбищенским морокам помешать нашему ученому разговору.

— Оно конечно, — принужденно улыбнулся в ответ Сопоткин. — Однако и правда вечереет. Так не продолжить ли нам разговор где-нибудь в другом месте? Здесь недалеко, на набережной есть очень приличный бар в викторианском стиле, даже с отдельными кабинетами.

— Ну что вы, — возмутился Костромиров, решительно наполняя стакан литератора. — Как можно! Для истории о привидениях — кладбище аккурат самое место. В пабе она потеряет всю свою прелесть. Нет уж, сделайте одолжение, продолжайте.

Константин Петрович открыл было рот, чтобы возразить, но тут же и захлопнул его, вздохнул, пробормотал что-то вроде: «Ну раз так, не буду все портить», — пригубил виски, перевернул еще несколько страничек с золотым обрезом и принялся рассказывать дальше:

— Так вот... В окрестностях Росса лежала небольшая деревушка, дворов в пятнадцать, не больше. В одной из крайних хижин, почти на отшибе, жила некая старуха-вдова по имени Морриган О'Гилви и по прозвищу — «Окаянная Морриган». Не то чтобы она слыла ведьмой (к счастью, колдовская истерия практически миновала Ирландию), но была малость не в себе и у почтенных людей прихода на хорошем счету никогда не числилась. Во всяком случае, мало кто из соседей сомневался, что старуха знается с фейри, сидами, бродячими шифрами, зловредными пэками, домовыми-боуги и прочей бездушной нежитью из «славного народца». Некоторые уверяли даже, будто не раз видели Окаянную Морриган в компании с огромным белым котом, а вернее признака пагубной склонности к ведовскому ремеслу найти трудно. Преосвященный Оливер МакМагон, тот самый, что защищал ныне крепость, однажды чуть не отлучил несчастную свихнувшуюся женщину от церкви, прознав о том, что она промышляет гаданием, знахарством и берется предсказывать погоду, и сменил гнев на милость лишь после того, как Морриган вылечила у него не то стельную корову, не то супоросую свинью. Впрочем, все это имело касательство к прежним, относительно благополучным временам, к моменту же описываемых событий в деревне осталось едва ли три двора, в которых ютились несколько чудом выживших селян, похожих на обтянутые кожей скелеты. Так что пенять старухе на ее некошные занятия было особенно некому...

На этом месте рассказ литератора вновь был прерван самым неподобающим образом: откуда-то со стороны могил, из-за темных куп тисов и тополей совершенно неожиданно послышался странный, протяжный и вместе пронзительный звук, похожий на рыдающий вопль. В вопле этом будто слились воедино крики диких гусей, плачь брошенного ребенка и волчий вой. Он сиротливо пронесся над кладбищем, вспугнул стайку крапивников в зарослях бузины и боярышника и столь же внезапно замер где-то вдалеке, растворился в подползающих сумерках.

— Что это было? — спросил Сопоткин, невольно хватая за рукав Костромирова и с тревогой прислушиваясь, не раздадутся ли вновь леденящие душу завывания.

— Может, птица, — неуверенно предположил Горислав Игоревич.

— Какая птица?

— Откуда же я знаю, какая? — пожал плечами Костромиров. — Орнитология — не мой конек. Наверное, выпь.

— А здесь водятся выпи? — не унимался Сопоткин.

— Представления не имею. Но помню, что выпь — птица болотная, значит, Ирлан-

дия для нее самое место.

— И эти ваши выпи именно так кричат? — все не успокаивался Константин Петрович.

— Как они кричат, мне достоверно неизвестно, — отвечал Костромиров, — но, судя по тому, что ее прозвали водяным быком, пение у этой пичуги должно быть весьма своеобразное.

— Вот оно что... А я уж, грешным делом, подумал, не банши ли это предвещает кому-нибудь из нас двоих скорую смерть.

— Банши? — удивился Костромиров. — Про банши я, признаться, и не вспомнил... Вот что значит художественное воображение! Впрочем, кажется, плачь банши может слышать лишь тот «счастливчик», к кому он обращен, мы же с вами оба внимали этим тоскливым завываниям...

— Напротив, легенды гласят, что человек, чья смерть предвещается, как раз и не в состоянии услышать или увидеть банши. Обычно ее наблюдают близкие родственники или друзья будущего покойника, — возразил Сопоткин.

— Еще лучше. Следовательно, при любом раскладе, эта уродина не нам пророчила безвременную кончину, — хладнокровно заметил Костромиров.

— Уродина? Почему — уродина? — с тревогой поинтересовался Константин Петрович. — Вы что-нибудь видели? Заметили?

— Ничего я не заметил, — успокоил литератора Костромиров. — Просто мне почему-то вспомнилось, будто этих самых банши обыкновенно изображают именно в виде уродливых косматых старух с бросающимися в глаза физическими недостатками.

— Нет, не всегда... — отозвался Сопоткин. — Но вы правы. К нам это не может иметь отношения. Ведь банши — это привилегия наиболее древних и почтенных родов острова.

— Какое облегчение! — ухмыльнулся Костромиров.

— Понимаю вашу иронию, Горислав Игоревич, — сказал Сопоткин. — Тем не менее, вы еще не оставили мысль дослушать повесть о Безголовом Призраке именно здесь и сейчас?

— Ни в коем случае! — горячо запротестовал Костромиров. — В другой, менее подходящей обстановке она лишится половины своего очарования. Разве вам не кажется, что эта печальная местность как нельзя лучше подходит для таинственных историй? Можете мне поверить, могильные кресты в сгущающихся сумерках способны даже бухгалтера или такого закоренелого скептика, как ваш покорный слуга, настроить на суеверный лад и расположить к обманчивой игре воображения.

— Воля ваша. Тогда слушайте... — Константин Петрович не глядя перевернул сразу пять или шесть страничек записной книжки, а после секундного размышления — еще парочку, явно решив, что краткость — сестра таланта. Но, прежде чем продолжить рассказ, поинтересовался: — Скажите, Горислав Игоревич, в бутылке еще осталась толика вашего чудодейственного напитка?

Костромиров молча продемонстрировал бутыль, в которой плескалось не менее пинты живительной эссенции, наполнил опустевший стакан Сопоткина и принялся аккуратно чистить трубку в ожидании обещанного продолжения.

Сопоткин сделал изрядный глоток и ознобливо передернул плечами. Вечер вовсе не был холоден, напротив, несмотря на сырость, погода стояла на удивление теплая, в воздухе чувствовалась даже совершенно несвойственная этому времени года влажная духота. Но Константину Петровичу было как-то не по себе: в самой здешней атмосфере ощущалось давление неведомой скрытой угрозы, ему чудилось, будто некие злобные силы скапливаются под сенью могильных тисов, среди смутных очертаний крестов, склепов и надгробий, медленно и неуклонно подкрадываются к нему под хмурым, предостерегающим взглядом небес, и от всего этого Сопоткина невольно бросало в дрожь, пронимало холодом до мозга костей. Собственный ли рассказ так повлиял на Константина Петровича или чуткое воображение его разыгралось под воздействием паров *aqua vitae* щедрого на угощение историка, он и сам толком не понимал. Однако про себя решил максимально сократить дальнейшее повествование, избегать ненужных деталей и лирических отступлений, ограничившись только основными, самыми существенными моментами.

— Итак, после изнурительной для обеих враждующих сторон двухнедельной осады гарнизон Росса согласился, наконец, вступить в переговоры о капитуляции. Это было двойной ошибкой: во-первых, Айртон подумывал уже об отступлении, а во-вторых, инсургенты не приняли в расчет личность Уэксфордского Мясника. Дело в том, что генерал вовсе не являлся джентльменом. Напротив, он в совершенстве усвоил те ужимки чопорного ханжества, которые и поныне не могут не вызывать отвращения в представителях всевозможных методистских, баптистских и прочих евангелических сект, и был, как болотная гадюка, исполнен яда злобной нетерпимости. Иначе говоря,

Айртон обладал всеми качествами истинного пуританина — лицемерием святоши, религиозным фанатизмом и крайним вероломством — самыми необходимыми и пользительными, по мнению пресвитерианского духовенства, признаками настоящего христианина. Оттого, надо полагать, и получилось так, что, покуда вожди ирландцев оговаривали с Айртоном условия сдачи, английские солдаты, повинуясь тайному распоряжению своего командира и воспользовавшись утратой осажденными бдительности, ворвались в крепость. Здесь повторились те же ужасные сцены повальной резни, что и в Дрогеде, Уэксфорде и прочих городах. Получив приказ не брать пленных, англичане устроили защитникам безжалостную бойню. Даже те немногие, кого пощадили пресыщенные кровопролитием солдаты, на следующий день были хладнокровно умерщвлены по указанию главнокомандующего. Из всего гарнизона немедленной смерти избежал лишь один человек — епископ Оливер МакМагон, ибо ему Мясник готовил особенную участь. Незадолго до падения Росса англичане, прочесывая округу в поисках фуража и оставшихся в живых инсургентов, изловили двух католических священников, которых местные жители прятали в торфяных ямах. Вот им-то, вместе с епископом, генерал и отвел главные роли в предстоящем глумливом спектакле. Если верить докладу Айртона, направленному им в парламент, зрелище вышло «прекрасным, душеполезным и блистательным»: епископа и священников, всех — в полном облачении, поместили на широкую повозку без бортов, сделанную специально для этой цели, и доставили к воротам крепости. Здесь на шею каждому была накинута веревка, конец которой привязали к перекладине ворот, не очень высоко. После таких приготовлений преосвященного МакМагона заставили отслужить торжественную мессу, а двоих несчастных попов — ему прислуживать. Как только обедня кончилась, палач стегнул лошадей, повозка отъехала, и трое клириков остались висеть. Айртон в своем докладе особо отметил тот момент, что солдаты еще долго после казни поддерживали епископа и священников за ноги, но не из кощунственной жалости, а для того, чтобы не дать проклятым идолопоклонникам помереть слишком быстрой смертью, предоставить им возможность раскаяться в собственных грехах и проникнуться осознанием милосердия Божия... К слову сказать, я выяснил, что не так давно, в семидесятых годах, епископ Оливер канонизирован папой Пием Шестым. И если вы не правы в вопросе о посмертии, то ему должно быть это утешительно... Но к черту отступления! Продолжаю... В достаточной мере насладившись «душеполезным зрелищем», генерал Генри Айртон сел на коня и в сопровождении офицеров свиты направился в лагерь. Едва он, однако, отъехал на несколько шагов от крепостных ворот, как прямо перед ним на дорогу выскочила какая-то оборванная старуха и схватила коня под уздцы. Откуда она тут взялась, никто не видел, но то была, конечно, вдова Морриган О'Гилви. Окружавшие генерала офицеры разразились негодующими возгласами и проклятиями, лошади в страхе заржали, взбрыкнули и поднялись на дыбы. И было отчего! Эдакой безобразной старой карги никто отродясь не видывал (я разумею офицеров, а не лошадей). Она более походила на альрауна, нежели на женщину. Но, как я уже говорил, Генри Айртон не боялся никого: ни человека, ни дьявола. Он замахнулся на старуху плетью и закричал: «Ах ты, грязная ирландская скотина! Прочь от меня, горбатая тварь!» Морриган и в самом деле была горбата; добавьте к этому худое, изжелто-бледное лицо, огромные, горящие безумием глаза, растрепанные седые лохмы, шею, кривую и свернутую набок, будто у тех висельников, что остались болтаться в воротах замка, и вы поймете, отчего всех, кто ее видел впервые, брала оторопь и бросало в дрожь от страха. «Клянусь источником Дагды, рукой Нуаду и оком Балора! — прокаркала старуха на гэльском наречии. — Не минет и трех ночей после Самайна, как поплатишься ты за гнусное свое преступление и бесчинство! Быть тебе без головы!» Генерал, понятное дело, ничего не смог разобрать из этой тарабарщины, но в его окружении оказался один пресвитерианский проповедник, некто Иезекииль Флитвуд, который немного понимал по-ирландски, а помимо того, премного разбирался в ведовстве. Дело в том, что сей праведник в офицерском мундире прибыл на поприще воинской славы прямиком из Шотландии, где довольно долго подвизался в качестве эксперта по малефициуму и охотника за ведьмами. При его деятельном участии в этой стране было отправлено на костер великое множество людей по обвинению в колдовстве. Особенно Флитвуд прославился тем, что ухитрился в одной деревеньке близ Бервика, где имелось всего лишь четырнадцать дворов, сжечь ровно такое же количество человек. Никто лучше его не знал, по каким именно признакам и с помощью каких испытаний можно распознать настоящую ведьму; эта отрасль священного знания была изучена им в совершенстве. Так вот, упомянутый Иезекииль... — тут Константин Петрович запнулся, пошелестел страницами записной книжки и смущенно произнес: — На этом месте у меня предусмотрено небольшое отступление на тему происхождения имен праведников той эпохи. Сведения для него я почерпнул у Маколея, Уокера и отчасти Юма... Но, пожалуй, я его опущу...

— Нет, отчего же? — живо возразил Костромиров, несомненно, решив проявить благородное великодушие и загладить собственную первоначальную несдержанность. — Это должно быть любопытно. Тем паче, что с Юмом я знаком лишь поверхностно, а Маколея и Уокера не читал вовсе. Кроме того, если вы станете делать пропуски, разрушится целостность впечатления от рассказа.

— Вы так полагаете? — спросил Константин Петрович, с сомнением поглядывая на стремительно темнеющий небосвод. — Ну что ж, извольте...

— Ведь отступление-то короткое? — поинтересовался Костромиров с долей беспокойства.

— Крошечное, — успокоил его Сопоткин.

— В таком случае, я — само внимание, — заверил своего визави Горислав Игоревич и со звучным хлопком вытащил пробку из бутыли с *Irish whisky.*

Глава четвертая

И В САМОМ ДЕЛЕ РАССКАЗЫВАЮЩАЯ О БЕЗГОЛОВОМ ПРИЗРАКЕ И СОПУТСТВУЮЩИХ ПЕРСОНАЖАХ

— Известно и даже общепринято мнение, будто именно знакомство широких масс народа с древнееврейской литературой, то есть Библией, и вызвало в Англии бедствие, которое обыкновенно называют Реформацией, — начал Константин Петрович. — Ведь виновник и зачинщик раскола, женоубийца Генрих Восьмой, несомненно являлся ортодоксальным католиком во всем, кроме того, что хотел быть сам себе папой Римским. Ко времени же республики кальвинистский шабаш гудел в полную силу. И неудивительно: уже без малого век минул с той поры, когда ядовитое дыхание женевского дьявола достигло берегов Шотландии, мигом обратив если и не цветущий, то не чуждый здоровому жизнелюбию край в удел самого мрачного и отвратительного ханжества на Британских островах. Зараза стремительно распространялась. Как следствие — в интересующую нас эпоху и к югу от берегов Твида одно воспоминание осталось от «старой доброй Англии», Англии Бэкона и Мора. Реформация достигла своего наивысшего пика, а Библия стала единственной книгой, знакомой всякому англичанину. В храмах торжественное и красочное богослужение заменилось постоянным чтением Ветхого (и в меньшей степени — Нового) завета, в котором с восторгом неофитов упражнялись и соревновались не только пастыри, но и паства. Упразднялось и прежнее великолепие священнических облачений, сама же месса модифицировалась до неузнаваемости: исчезло многое из того, что было оставлено даже Лютером от традиционной обедни, остались лишь пение псалмов и молитвы, превращавшие литургию в нестройную хоровую композицию. Из церквей были удалены последние напоминания о католическом культе: свечи, орган, алтарные образа (статуи святых уничтожили значительно ранее). Храм в реформатской Англии окончательно лишился ореола святости, став простым молельным домом. В повседневной жизни строгие предписания касались соблюдения Декалога вкупе с прочими догмами Ветхого завета, чтения молитв и духовных гимнов, поддержания высокой нравственности. Маленькие женевские Библии проникли в каждый дом и каждую семью, всюду слова Писания вызывали трепет и поражали слух. Слух, не притупленный привычкой к чтению, ибо в ту эпоху для целого народа не существовало на родном языке ни истории, ни романа, ни почти никакой поэзии, кроме малоизвестных произведений Чосера и Томаса Мэлори. Суровые еврейские легенды, кровавые сказания, псалмы и пророчества крапивным семенем упали в умы, счастливо не затронутые иным знанием. И именно Библия явилась источником и вдохновительницей довольно комичной моды на изменения личных имен. Мнимые праведники революционной эпохи имели обыкновение отказываться от таких имен, как Генри, Эдуард, Энтони, Уильям, которые они находили языческими, и принимали другие, окруженные ореолом особой святости и божественности. Даже имена, восходящие к Новому завету — Джеймс, Эндрю, Джон, Питер, — внушали им гораздо меньшее благоговение, нежели ветхозаветные Аввакум, Иешуа, Неемия или Зоровавель. А порой целое благочестивое речение употреблялось в качестве имени. Вовсе не редкостью было встретить какого-нибудь *Истребляй Грех Эбенизера из Уитема* или же — *Уповай на Господа Исайю.* Например, у того же Генри Айртона имелся адъютант, которого звали *Если бы Христос не умер за тебя, ты был бы проклят, Джошуа.* Но произносить каждый раз столь длинное имя было чрезвычайно утомительно, и сослуживцы, удержав из него лишь последние слова, называли этого чудака *Проклятый Джошуа.* Современники утверждали, что в результате можно было подумать, будто Кромвель завербовал в свое воинство чуть ли не весь Ветхий завет, а по именам солдат армии Айртона легко изучать родословие Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Так что во время переклички вместо списка личного соста-

ва, вполне, дескать, возможно обойтись первой главой Евангелия от Матфея. Происхождение замечательного имени названного Иезекииля Флитвуда имело аналогичные библейские корни. Ранее он звался просто Томом — Томасом Арчибальдом Шериданом Ле Ардага Макгроган-Флитвудом...

— Замечательный этюд! — воскликнул Горислав Игоревич, решив прервать рассказчика и вернуть историю в сюжетное русло, покуда тот вовсе не растекся мыслию по древу.

— В самом деле? Вам так кажется? — заулыбался Сопоткин.

— Можете быть уверены, — отозвался Костромиров. — Только вот мы с вами опять отвлеклись.

— Вы правы, друг мой! — с воодушевлением воскликнул Константин Петрович, которому выпитое уже слегка ударило в голову, изгнав былые страхи и полностью вернув самообладание. — Правы, черт побери! Пора заканчивать. Того и гляди, совсем стемнеет...

Сумерки и правда быстро подступали. Уже зажглись один за другим редкие фонари на обочинах кладбищенской аллеи, отчего тьма за пределами отбрасываемых ими световых пятен сделалась плотнее и гуще; на небе загорелись первые, еще тусклые звезды, а разлитая в атмосфере влажная духота стала сменяться столь же влажной прохладой.

Скамья, на которой сидели Костромиров и Сопоткин, стояла на значительном удалении от ближайшего фонаря и находилась, таким образом, в сумеречной зоне. Это прибавляло таинственности их разговору, но то же обстоятельство позволяло обоим собеседникам весьма ясно различать окружающую обстановку, что было бы невозможно, располагайся скамья на освещенном участке.

И вот, в то самое время, когда литератор готовился продолжить свое сказание и в очередной раз в целях красноречия промачивал горло «водой жизни», Горислав Игоревич зачем-то оглянулся назад и сразу же обратил внимание на маленький дрожащий огонек, быстро двигающийся среди темных контуров могильных памятников. Судя по колеблющемуся и то и дело пропадавшему свету, это мог быть фонарик в руках человека, бродящего по извилистым тропкам между надгробий. Костромиров удивился и даже готов был спросить себя, не обман ли это чувств, но в голову ему тут же пришла мысль, что, вероятнее всего, он наблюдает кладбищенского сторожа, просто-напросто совершающего вечерний обход своих владений. Правда, какая необходимость — пусть даже и сторожу — шастать в темноте среди покойников? Для подобной таинственности должны быть действительно серьезные и веские причины. Горислав Игоревич еще не успел решить этого запутанного вопроса на совещании с самим собой, когда Сопоткин, наконец, заговорил:

— Так вот, упомянутый Иезекииль Флитвуд почтительнейшим образом обратился к генералу и предложил немедленно бросить Окаянную Морриган в ближайший водоем, посмотреть: потонет она или всплывет? Вместо ответа Генри Айртон сурово поглядел на старуху и гаркнул: «Женщина! Заклинаю тебя именем Господа, скажи правду: ведьма ты или нет?» Вдова еще крепче ухватилась за поводья генеральской лошади (откуда только взялись силы в этом хилом и истощенном теле?) и принялась молоть языком и изрыгать гэльские проклятия, что твоя ветряная мельница. Тут уж и самому распоследнему тупице стало понятно, что перед ними настоящая колдунья, а никакая не добрая христианка. Но Уэксфордский Мясник любил порой выказать собственную непредвзятость и беспристрастность, поэтому вторично вопросил разбушевавшуюся старуху: «Говори, мерзкая стрига и дьяволица! Говори, сатанинское отродье, знаешься ли ты с нечистым? И смотри, отвечай всю правду, дабы мы могли поступить с тобой сообразно и по справедливости». Только Морриган О'Гилви лишь ухмыльнулась на эти слова и прохрипела, нещадно коверкая английскую речь и вращая налитыми кровью глазами, что ее, мол, совесть чиста пред лицом Господа, а вот ему — Генри Айртону — вскоре предстоит держать ответ перед своим хозяином — Велиалом. И она, дескать, готова поклясться причиндалами святого Вонифатия, непорочным лоном Пресвятой Девы и беззаконным призом Иродиадиной дщери, что не минет и трех ночей со Дня Всех Святых, как он получит сполна за свои злодейства. Все, кто наблюдал эту сцену, были уверены, что сразу после столь нечестивой божбы грянет гром и десница всевышнего поразит с небес проклятую ведьму, а обитаемое дьяволом тело вспыхнет серным огнем, распадется в прах и обратится в смердящий пепел. Однако, как ни странно, ничего такого не произошло. Старуха же не ограничилась хулой и проклятиями и вдобавок плюнула прямо в лицо генералу. К счастью, верный Флитвуд вовремя заметил гадкое намерение Морриган и самоотверженно заслонил собой командира...

Горислав Игоревич с интересом слушал Сопоткина, но мысли его невольно то и дело обращались к виденному минуту назад странному свечению. Сей блуждающий огонек разбудил в его душе всесожигающее пламя любопытства, и теперь Костро-

мирову постоянно приходилось бороться с искушением обернуться и посмотреть, по-прежнему ли маячит среди могил призрачный свет или исчез столь же загадочно, как появился.

Таковые раздумья вовсе не способствовали сосредоточенному вниманию, и Костромиров вынужден был, наконец, пренебречь правилами приличия, отвернуться от рассказчика и кинуть взгляд назад. Никаких огней видно больше не было, не наблюдалось и ни малейшего движения среди седых надгробий; испещренные ими пологие кладбищенские косогоры смотрелись вполне умиротворенно и безмятежно, да и вся местность дышала отрешенным, можно сказать, *мертвенным* покоем. Багровая полоска заката совсем истаяла; из-за верхушек деревьев выкатилась тусклая луна, и сумерки сделались не такими непроглядными. Но откуда-то со стороны Лиффи, из-за гряды Палмерзтаунских холмов, ползли уже блеклые ручейки тумана, похожие на призрачные щупальца или лапы мифического Бриарея, — казалось, древний погост распростер перед ним дружеские объятия, гостеприимно предлагая выбрать для себя любой из свободных уголков.

Горислав Игоревич пожал плечами и вновь обратился лицом к рассказчику. Тот, впрочем, вовсе не заметил неуместной суетливости слушателя и, как ни в чем не бывало, продолжал повествование.

— ...неизвестно, что послужило тому причиной — испытанное ли отвращение или что иное — только Флитвуд, точно сраженный вражеской пулей, вылетел из седла, упал на землю и принялся корчиться и извиваться, будто червяк, на которого любознательный школяр капнул кислотой. А старуха зашлась свирепым каркающим смехом, разинув беззубую пасть так, словно собиралась проглотить живьем сэра Генри вместе с его лошадью. Это отвратительное зрелище привело окружавших генерала офицеров в совершенное неистовство, и они стали наперебой требовать у своего командира немедленной расправы над ведьмой. Сама же безумная вдовица лишь мерзко хихикала и приплясывала с ужимками, не менее безобразными, чем корчи павшего проповедника. При этом она не забывала, как и прежде, изрыгать самые ужасные гэльские проклятия в адрес Уэксфордского Мясника и клясться «причиндалами Фергуса, костью лосося, которой подавился Кормак, и ядовитым копьем Энгуса» в том, что беззаконный губернатор Ирландии ни за что не сумеет долее, чем на три дня, пережить Ночь Священного Хаоса и вскоре лишится головы. Впрочем, стоило сэру Генри вытянуть ее плетью, как старуха тотчас оставила кривляния и с воем отскочила в сторону, но уздечки из рук не выпустила. Флитвуд к тому времени уже малость оклемался от своего необъяснимого припадка падучей болезни, поднялся на ноги и со всей ответственностью заверил генерала, что, ежели ведьму, дескать, немедля не спалить живьем в бочке из-под дегтя, то последствия для христианской веры могут быть самые печальные, а возможно, и необратимые. В ответ на это вдова остервенилась пуще прежнего и, как обыкновенно говорят в таких случаях поэты, *изронила зловещее слово*. «И ты, ложный пастырь, не останешься без возмездия! — вопила О'Гилви, тыча корявым, будто корень сикомора, пальцем чуть не в самый лоб Флитвуда. — Обрекаю тебя *Проклятию Тройной Смерти*, ибо ты, кровавый душегуб, вернешься сюда, как пес на свою блевотину, и, пораженный свинцом, утонешь, чтобы сгореть! Останкам же твоим вовек не обрести покоя, и праху не быть погребенным!» Вероятно, это явилось последней каплей, переполнившей чашу терпения Генри Айртона, потому как он мгновенно выхватил широкий кавалерийский тесак, висевший рядом с седельной сумкой, и одним махом напрочь срубил голову бесноватой старухе... Так, если верить мистеру О'Тулу, закончила свой земной путь Окаянная Морриган. И, хотя сей почтенный служитель Гекаты наверняка бы со мной не согласился, вряд ли возможно отрицать, что она приняла смерть, которую сама на себя накликала. Ведь известно, что проклятие подобно брошенному вверх камню и зачастую падает в первую очередь на голову тех, кто его произносит...

Сопоткин замолчал, чтобы промочить горло глотком ирландского нектара и сунуть записную книжку в карман — разобрать в ней все равно ничего уже было нельзя.

— Надеюсь, это еще не конец истории? — сдержанно поинтересовался Костромиров. — Где же обещанные сгустки бродячей эктоплазмы? Где неприкаянные духи и докучливые полтергейсты? Покамест ни о каких призраках я не услышал.

— Не волнуйтесь, о них речь впереди, — успокоил его Константин Петрович. — Я приступаю к самому интерл... интерлес... к интригующему финалу!.. К тем событиям, о которых мне как раз и поведал здешний смотритель, — добавил литератор, не замечая легкого противоречия с собственными заверениями в том, что *вся* легенда будто бы обязана своим происхождением незаурядной памяти или воображению кладбищенского сторожа.

Костромиров, успевший за время рассказа не только прочистить, но и набить, а после не спеша раскурить трубку, тотчас отвел это орудие услаждения в сторону и приготовился внимать «интригующему финалу». От него не ускользнуло, что язык

рассказчика начал малость заплетаться, но данное обстоятельство его нисколько не смутило — Горислав Игоревич рассчитывал, что подогрев лишь поможет красноречию литератора воспарить на еще большую высоту.

— У меня нет сомнений в том, что старик О'Тул поведал мне сущую правду, — продолжил Сопоткин, вытирая губы клетчатым носовым платком, — точнее, в том, что он сам безусловно верил каждому своему слову. Как историк, вы должны согласиться — в ряде случаев это почти одно и то же. Так вот, повторюсь: ко всем событиям, о которых будет идти речь, мистер О'Тул относился и относится с той же верой, что и к любому догмату своей религии. Это, естественно, не помешало мне предпринять собственные изыскания, которые во многом любопытным образом дополнили его рассказ, хотя и не во всем его подтвердили... Итак, как только голова Окаянной Морриган скатилась с плеч, сэр Генри велел подать ему сей кровавый трофей и, прицепив ее за седые космы к луке седла, со смехом заявил, что непременно заберет голову с собой в Лимерик (к осаде которого англичане как раз собирались приступить) — мол, уродливая личина эта окажет на защитников города такое же действие, как голова горгоны Медузы на Полидекта, то есть заставит пасть на колени и обратит в камень. В тот же день войско выступило из графства Керри в Нижний Шеннон для уничтожения последнего очага сопротивления инсургентов. Однако, прежде чем англичане добрались до Лимерика, предсказания, точнее, проклятия ведьмы стали сбываться. Перво-наперво отдал Богу душу его верный служитель — Иезекииль Флитвуд, и произошло это, как ни странно, в точности по словам старухи. А ведь никто, естественно, не поверил, что человек единовременно может принять смерть от оружия, воды и огня. Тем не менее, именно так все и случилось... Приказом генерала Айртона лейтенант Флитвуд был прямо с похода направлен в Корк с обозом награбленных ценностей — конфискованным имуществом «Ваала и Нимврода», то есть духовных и светских властителей, и по дороге ему волей-неволей пришлось пересечь Керри и миновать замок Росс. В результате военных действий и эпидемий страна значительно обезлюдела, опасаться нападения аборигенов особенно не приходилось, и под началом у Флитвуда имелся только десяток драгун во главе с капралом... Однажды наступающая темнота застигла его небольшой отряд в глухой лесистой местности, неподалеку от слияния вод Верхнего озера с озерами Макросс и Лох-лин. Это и сейчас довольно пустынное местечко, а уж про те незапамятные времена и говорить нечего, тогда оно могло поспорить по первобытной дикости с непроходимыми лесными дебрями Северной Америки, где-нибудь в районе Великих озер, куда, по старой пословице, и ворон костей не занашивал... Впрочем, что я рассказываю! Вы, Горислав Игоревич, может быть, уже побывали в Килларни?

Костромиров заверил литератора, что ему еще не представилось случая, да и не было возможности выбраться за пределы Дублина.

— Вот как? Обязательно съездите. *Обязательно*! — с явно нетрезвой уже настойчивостью порекомендовал Сопоткин. — Там ныне что-то вроде национального парка. Очень красиво, особенно в это время года, осенью. Представьте себе горные склоны, насколько видит глаз, покрытые пестрым лиственным ковром, прямо-таки океаном листвы, расцвеченной всеми красками и оттенками; нежную игру света и тени, небольшие водопады... а берега озер кажутся алыми от множества опавших плодов земляничного дерева... Кстати, вы не в курсе — это эндемик или завезенный вид типа пальм и бамбука? А то у меня со всей этой флорой просто беда... Не знаете? Обидно. Никак не соображу, вставлять мне их в рассказ или нет.

— Понятия не имею. Поройтесь в справочниках, — предложил Костромиров и тщетно попытался сдержать отчаянный зевок. — Так что же все-таки стряслось с Флитвудом?

— Ах да. Я, кажется, отвлекся... Так вот, лесная дорога, по которой тащился обоз, была довольно широкой, выглядела безопасно, и на ней не приходилось бояться наступления темноты. Так что лагерь вполне можно было разбить и здесь. Но все-таки подобная перспектива не слишком вдохновляла лейтенанта и его подчиненных. Они предпочли бы хоть какое-нибудь жилье, чтобы заночевать под крышей, а не под чистым небом. Тем более, что чистым его как раз назвать было нельзя — стоял конец октября, самое дождливое время в сей части света. Но короткие и унылые осенние сумерки почти миновали, и, по мере того как свет становился все более тусклым, а окружающий лес все чернее и чернее, Флитвуд все яснее понимал, что остановки не миновать, в противном случае ничего не стоило сбиться с пути, да и лошади нуждались в отдыхе. Он совсем уже было собрался отдать приказ располагаться на ночлег и составлять в круг обозные телеги, когда невдалеке, за деревьями блеснул огонек. Это обстоятельство вселило в душу лейтенанта слабую надежду, и он велел двигаться вперед. Действительно, не далее, чем через полмили отряд наткнулся на жилье. Открывшееся их взорам придорожное строение не походило на жалкие лачуги местных селян, скорее оно напоминало длинный, крытый соломой глинобитный барак; в единственном

оконце этого барака мерцал свет, который ранее и привлек внимание Флитвуда. Лейтенант отыскал дверь, что в темноте было не так легко, и пинком распахнул ее. Как ни странно, в доме не оказалось ни души. Хотя в центре пустого помещения, в некоем подобии обложенного диким камнем очага ярко пылал огонь. Флитвуд решил, что жильцы заслышали приближение обоза и скрылись, что было вовсе не удивительно. Короче говоря, ночлег был обретен, и христово воинство смогло расположиться с относительным удобством. Во всяком случае, сверху их не поливал дождь, а с боков не продувал холодный осенний ветер. Флитвуд распорядился затащить в дом бочонок пива, задать корм лошадям и озаботиться приготовлением вечерней трапезы. Как только с ужином было покончено, лейтенант скомандовал отбой, естественно, не забыв выставить двух часовых и поручив капралу следить за их сменой... за их сменой... — Константин Петрович неожиданно запнулся и растерянно посмотрел на Костромирова. — Кажется, я упустил какую-то важную деталь... Какую же? Забыл... Экая жалость — невозможно воспользоваться записной книжкой! У вас часом не найдется фонарика?

Горислав Игоревич молча достал из внутреннего кармана пальто мобильный телефон и протянул Сопоткину; телефон оказался снабжен миниатюрным фонариком. Литератор быстро сообразил, как им пользоваться, тотчас вынул заветную книжечку и принялся листать, подсвечивая страницы узким, но достаточно ярким лучом.

Упоминание о фонарике заставило Костромирова вспомнить о загадочном источнике света, который он четверть часа назад наблюдал среди могил. Впрочем, сейчас он уже не готов был поручиться в том, что это ему не примерещилось. Для очистки совести он все-таки оглянулся, да так и замер от неожиданности — слабый дрожащий огонек вновь был тут как тут — то появлялся, то исчезал, мерцая настырной красной точкой между крестов и памятников. Причем на сей раз — гораздо ближе к их скамье, так что ошибки быть не могло, списать видение на расстройство зрительных рецепторов не имелось никакой возможности. Некоторое время Горислав Игоревич как завороженный следил за неровными движениями блуждающего светляка — тот поблескивал метрах в тридцати от аллеи — затем решительно отвернулся. Сопоткину о своем открытии историк почел за лучшее пока не говорить — кто знает, как таинственный *Irlicht* повлияет на обостренное художественное восприятие писателя, какую пищу даст его богатому воображению. Нет, пускай-ка сначала завершит рассказ, а уж после можно и продемонстрировать ему этот зловещий огонь святого Эльма.

Глава пятая

В КОТОРОЙ, УЖ НАВЕРНОЕ, РЕЧЬ ПОЙДЕТ ИМЕННО О БЕЗГОЛОВОМ ПРИЗРАКЕ ИЛИ О ЧЕМ-ТО ПОХОЖЕМ, А РАВНО О ПРОКЛЯТИИ ТРОЙНОЙ СМЕРТИ

— Ну конечно! — внезапно воскликнул Константин Петрович и звонко хлопнул себя ладонью по лбу. — Разумеется. Котел!

— Котел? — удивился Костромиров, поворачиваясь к собеседнику.

— Да, котел. А может быть, и чан.

— Значит, чан? — настороженно переспросил Горислав Игоревич, готовый заподозрить у своего *vis-a-vis* лёгкий приступ безумия.

— Именно. Я совсем о нем позабыл. Когда англичане проникли в дом, над очагом висел здоровенный такой медный котел.

— А это важно?

— Важно, — убежденно ответил Сопоткин. — Без котла никак. И котел был полный, — добавил он, протягивая историку пустой стакан.

— Чем же был полон этот котел? — поинтересовался Горислав Игоревич, с ловкой непринужденностью исполняя роль Ганимеда.

— Водой, безусловно. Котел был полон воды. И это обстоятельство — не считая пылавшего очага — убедило Иезекииля Флитвуда, что жилище покинуто совсем недавно, вероятно — в спешке, и причиной тому послужило приближение их обоза... Да. Несомненно. Приближение их чертова обоза! — грозно прибавил Константин Петрович и с пугающей решительностью опрокинул в рот содержимое стакана.

— Вот оно что... Разве огня в очаге не оказалось достаточно для столь радикального силлогизма?

— Наверное. Но котел тоже был, — продолжал настаивать Сопоткин.

— Хорошо-хорошо. Я совсем не против вашего котла, — поспешил согласиться Костромиров. — Просто хотелось бы все-таки услышать, чем дело кончилось.

— К тому и веду, — недовольно сообщил Константин Петрович.

— Считайте, что я весь обратился в слух, — в свою очередь заверил Горислав Иго-

ревич примиряющим тоном и стал колдовать над трубкой.

Константин Петрович хмыкнул, поднес записную книжку к самому носу и некоторое время молча водил лучом фонарика по строкам. Наконец, восстановив в памяти все что необходимо, продолжил... Сказать правду, слог Константина Петровича стал к этому моменту немного сбивчив, а речь слегка невнятна и грешила даже непечатными оборотами, проще говоря, изобиловала обсценной лексикой. Так что ожидания Костромирова относительно воспарения красноречия рассказчика на невиданную высоту, может быть, и сбылись, но не совсем так, как он ожидал. Поэтому, дабы понапрасну не мучить читателя, не изводить его эвфемизмами и не испытывать его терпение многоточиями, мы позволим себе воспроизвести нижеследующий рассказ своими словами. От этого он, вероятно, потеряет в эмоциональности, зато приобретет в благопристойности, и нас не смогут обвинить в потворствовании дурному вкусу. Кроме того, мы наконец сможем, не отвлекаясь на неблагоприятные приметы и знамения, избегая препон в виде воронов, вопящих призраков и блуждающих огоньков, удовлетворить любопытство всех желающих (буде таковые имеются) и довести до конца сказание о Безголовом Призраке, а равно иных, не менее привлекательных, персонажах.

А в том, что расхождения между сопоткинской версией этой легенды и нашей ее интерпретацией минимальны (за вычетом упомянутой ненормативной лексики), читатель может быть уверен. Как и Сопоткин, мы слышали ее из собственных уст Тома О'Тула (да почиет он в мире!), и так же как Константин Петрович, нисколько не сомневаемся, что все рассказанное Томом — правда, от первого до последнего слова. Порукой в том — незапятнанная репутация старины Тома. Ибо это, безусловно, был человек многих достоинств и добродетелей, недостаток же у него имелся лишь один — хотя и непростительный в глазах общества, но вполне ничтожный в нашем понимании — старину Тома редко кто видел совершенно трезвым, значительно чаще он находился малость «на взводе», а потому почти никогда не пребывал в здравом уме и твердой памяти.

Но вернемся к легенде. Итак, перед тем как расположиться на ночлег, Флитвуд принял все меры предосторожности — велел осмотреть опушку возле дома в целях обнаружения коварно затаившихся аморреев и филистимлян (то бишь — папистов), дал капралу самые строгие инструкции относительно организации караульной службы и приказал солдатам не расставаться с мушкетами. Почувствовав себя в относительной безопасности, англичане предались объятиям Морфея. Лейтенант тоже решил не терять времени даром, бросил на кучу гнилой соломы свой плащ и прилег вздремнуть. Усталость от долгого перехода дала о себе знать — не прошло и минуты, как он погрузился в сон. Нет сомнений, что это был сон праведника, ибо бывший пресвитерианский проповедник отличался тупостью и бесчувственностью истинного назарея, следовательно, мог спать столь же безмятежно, как спит любой другой человек с чистой совестью.

Однако отдых лейтенанта оказался непродолжителен. Буквально через полчаса его разбудили приглушенные голоса солдат. Несколько его подчиненных о чем-то возбужденно спорили, и хотя они старались говорить как можно тише, шепот их раздавался в полутемном помещении (костер почти потух), будто гулкое и назойливое шмелиное жужжание.

Флитвуд прислушался: разговаривали трое — капрал Джедедия Бербон, Джошуа Тревор, старый служака из числа кромвелевских ветеранов (лейтенант узнал его по хантингтонскому выговору), и один молодой новобранец по прозванию Эбенизер Многогугнявый.

— Как Бог свят! — гнусаво бубнил новобранец. — Да воззрят очи его на мою правоту! Не сойти мне с этого места, сэр, провалиться мне в тартарары и гореть в геенне огненной, коли там не сундук с полновесными дублонами, золотыми цехинами и двойными гинеями!

— Вот же бестолковый малый, — отвечал капрал Джедедия. — Отчего, скажи мне, Эб, ты вбил в свою пустую башку, будто там вообще что-то есть?

— Не сойти мне с этого места, сэр, — продолжал гнуть свое упрямый новобранец, — я это потрохами чувствую. Мне кажется, что дух мой подобен сейчас духу благословенного пророка Илии — он так же пылает во мне... Внутренности мои, словно сусло, что бурлит, бродит и рвется наружу, — еще малость, и я лопну, как сосуд, в который налито молодое вино. Кости и самый остов мой потрясены, а душа алкает действия, страждет от промедления и чревата нетерпеливым желанием. Благословляю Господа, вразумившего меня — даже и ночью учит меня внутренность моя! Не иначе, сам Зиждитель подает мне знак...

— Уж конечно, Господу нашему нечем больше заняться, как только являть знамения такому остолопу, как ты, — проворчал скептически настроенный Джедедия. — Не жрал бы столько солонины перед сном да не натрескался бы на ночь таким

количеством эля, глядишь, и брюхо бы не пучило[1].

— Прошу вас, сэр, не богохульствуйте, — встрял в разговор Джошуа Тревор. — Может, этот молокосос и болтает пустое, но не стоит недооценивать снисходительность Господа к малым сим. Вспомните, даже старый хрыч Хью Петерс[2] порой пророчествовал...

— Эк, куда хватил! — возмутился капрал.

— Ох, вот опять, вот снова накатило! — запричитал нараспев молодой Эбенизер, вполне оправдывая свое прозвище. — Чую, чую длань Господа Сил во чреве моем! Явный знак! Будем же покорны воле его и не пренебрежем знамениями его, да вознаградит он рабов своих подобно тому, как Кир Персиянин одарил Шешбацара, князя Иудина, — золотом и серебром без счета, сосудами драгоценными, а равно иным имуществом...

— Чтоб тебе обмараться, недоумок! — громким шепотом прокомментировал очередной провиденциальный приступ у новобранца-чревовещателя капрал Джедедия. — Ты ревешь, будто корова в чужом хлеву. Завываешь, точно вдова над покойником. Гляди, разбудишь лейтенанта, будет тебе ужо и злато, и серебро...

— Остерегись, брат Эб, — в свою очередь поддакнул Джошуа Тревор. — Негоже поминать имя Господа всуе. Время и место ли ныне для откровений? Вспомни наказ нашего лейтенанта. Разве не говорил он тебе многажды, что пророчествовать надлежит лишь перед боем, мечом препоясавшись, дабы совершать мщение над народами нечестивыми, наказание над племенами идолопоклонников — надменными мадианитянами, лукавыми идумеями, кровожадными амаликитянами и лживыми зифеями, кои именуются на тарабарском своем наречии гэлами или фениями, эринами или скоттами. Вот погоди, пойдем войной на беззаконный Хорошев-Гоим, обрушимся всей мощью Божьего гнева, подобно стае акрид, на Ваала и Дагона папистов — богомерзкого Айлика де Бурга, графа Кланрикарда[3], тогда и благовествуй, сколь душе угодно... Сейчас же предлагаю попросту взять лопату да и проверить...

— И этот туда же! — простонал Джедедия. — Ты-то хоть уймись, Джошуа. Спрячь подальше свой полупенсовик и уймись, уймись ради всего святого!

Неизвестно, до чего бы договорились трое диспутантов, если бы лейтенанту не надоело слушать их препирательства и он не явился перед ними, будто тень Самуила перед Саулом. Предпринятый им немедленный и суровый допрос возымел тем большее действие, что капрал и оба солдата были поражены страхом вследствие неожиданности оного. Полагаем, что и внезапная болтливость ослицы не произвела на Валаама более сильного впечатления, чем суровый вид разгневанного командира на наших героев. Все трое не замедлили тотчас и подробно объяснить Флитвуду существо терзавшей их проблемы: оказалось, что старик Тревор, укладываясь спать, нашел на земляном полу серебряную монету достоинством в полпенса, а поскольку глина в этом месте была рыхлая и носила явные следы шанцевого инструмента, бывший при этом рядовой Эбенизер и решил, что тут непременно должно быть зарыто сокровище, которое, верно, припрятали испанцы либо французы — союзники мятежных ирландцев, а быть может — владельцы близлежащего поместья, когда спасались от стремительно наступающих индепендентских когорт. Короче говоря, впечатлительный юноша вбил себе в голову, будто у них под ногами спрятан сундук с золотыми дукатами и серебряной столовой утварью.

— Золото, говоришь? Серебро? — переспросил лейтенант, и глаза его засияли под стать блеску упомянутых металлов. — Чего же медлить? Копайте, олухи! Копайте!

Если читатель решит, что такая реакция неестественна для человека, прославленного сугубой праведностью, возвышенной духовностью и чистотой помыслов, то он впадет в распространенное заблуждение. Дело в том, что Флитвуд любил деньги ничуть не меньше, чем любой другой офицер на службе парламента и Кромвеля. Можно сказать, он любил их как настоящий пуританин и последователь Кальвина. В этом не было никакого противоречия. Стоит напомнить, что теология женевского пастора зиждилась на учении о двойном предопределении. Второй, после ожиревшего виттенбергского соловья и ересиарха, апостол Реформации утверждал, что Бог в своем абсолютном предвидении еще до сотворения мира предначертал каждому его участь: одним — вечное проклятие, другим, избранным — вечное блаженство. И хотя изменить

[1] Нельзя не заметить, что Джедедия в данном случае невольно повторяет суждения своих великих предшественников – Джеффри Чосера и Роберта Бертона. Первый, как известно, писал: «Видения – один пустой обман, обжорством порождаемый дурман», второй же в «Анатомии меланхолии» уже в 1621 г. говорил об «испарениях, порождаемых перееданием и пьянством и поднимающихся из желудка в мозг».

[2] Капеллан Оливера Кромвеля. Давид Юм именует его не иначе, как «полоумным». Впрочем, каков хозяин, таков и слуга.

[3] Один из вождей ирландских католиков того времени.

этот приговор человек не в силах никакими заслугами — для Бога они не имеют цены, он «никому ничего не должен», — но Господь как бы дает любому смертному некий знак, позволяющий понять, что именно того ждет в жизни будущей и верно ли он исполняет свое призвание. И знак сей — не что иное, как успех или провал жизненных начинаний человека. Критерием же, помогающим определить, успешен ли тот или иной индивид или нет, является как раз степень его благосостояния. Потому-то всякий добронравный аколит евангелизма обязан любыми способами добиваться успеха, то есть умножать благосостояние. Ибо материальная прибыль — величайший дар всевышнего. Строжайшие бережливость, расчет, энергия — типичные добродетели буржуа — вот все, что необходимо при земном служении, к которому призван человек. И Иезекииль Флитвуд, будучи верным сыном пресвитерианской церкви, свято верил сей непреложной истине: если богатство растет — это верный признак избранности, коли умаляется — явное свидетельство грядущей гибели.

Так что нет ничего удивительного в том, что он весьма трепетно отнесся к возможности внезапного обогащения. Флитвуд тотчас припомнил, что поблизости действительно располагаются усадьбы опальных Фицджеральдов и О'Донохью; владельцы заблаговременно покинули их, ввиду приближения парламентской армии, предусмотрительно прихватив с собой все добро. В отместку за бегство опустелые строения предали огню, но нехороший осадок — результат упущенной выгоды — остался. Почему бы этим проклятым роялистам действительно не припрятать наиболее громоздкие ценности здесь, в лесной чащобе, вдали от посторонних глаз? Тем паче, ему, Иезекиилю Флитвуду, достоверно известно, что многие более или менее состоятельные семьи ирландских аристократов и вождей кланов, вынужденные бежать перед лицом победоносного неприятеля, обыкновенно именно так и поступали. И зачастую лишь пыткой удавалось добиться от попавших в плен бунтовщиков признаний о месте, где спрятали они свои сокровища и фамильные реликвии.

Тревор и Эбенизер не заставили упрашивать себя дважды, схватили лопаты и немедля кинулись копать землю на подозрительном участке. Производимый ими шум разбудил и остальных бойцов, и они мало-помалу сгрудились вокруг старателей, узнав же о причинах, побудивших тех к столь странному на первый взгляд времяпрепровождению, также проявили заинтересованность в успешных результатах раскопок. Некоторые из наиболее нетерпеливых обнажили палаши и принялись активно помогать землекопам. Даже часовые, охваченные общим возбуждением, оставили свой пост и присоединились к товарищам.

В результате таких совместных усилий дело продвигалось быстро, и вскоре послышался глухой стук — железо наткнулось на что-то твердое. Радостное волнение и вполне понятный ажиотаж достигли своего апогея — кладоискатели отбросили палаши и лопаты и стали разгребать землю руками. Каждый из них в мыслях уже представлял себя счастливым обладателем груды сверкающих луидоров, гиней, флоринов, муадоров и пиастров. Можете представить, каково же было всеобщее разочарование, когда вместо вожделенных сокровищ взорам их открылась лишь куча человеческих костей! Целое скопище отвратительных останков — перемешанных в беспорядке костей и черепов — показалось из-под земли. С первого взгляда было очевидно, что в яме покоится не один скелет, но множество — не менее десятка. Возгласы разочарования сменились восклицаниями ужаса и отвращения — даже для повидавших всякое бравых вояк зрелище оказалось неприятным и отталкивающим. Кроме того, захоронение выглядело — как бы это сказать поточнее? — странно... Оно отнюдь не производило впечатления чересчур древнего, напротив, кости явно были довольно свежими. Вместе с тем, останки не имели ни малейших следов плоти, и вообще казалось, будто их побросали в яму, старательно перед тем перемешав...

Сказать, что лейтенант Флитвуд был разочарован, как и все прочие — значит не сказать ничего. Он был в ярости! Так обмануться в своих ожиданиях! Иезекииль трижды проклял про себя собственную доверчивость, а главное — непроходимую глупость Эбенизера Многогугнявого, выставившего его в таком дурацком свете перед подчиненными. В бешенстве лейтенант пнул ногой кучу гнилой соломы, на которой совсем недавно предавался спокойному отдыху, и — о ужас! — взорам его предстала картина еще более омерзительная, нежели только что обнаруженные бренные кости. Прямо под ложем, где он вкушал пищу, а после спал невинным сном праведника, лежали аккуратнейшим образом разделанные части тела — обнаженный торс и отделённые от него члены... Флитвуд с глухим воплем отскочил прочь от страшной находки; это немедленно привлекло внимание прочих солдат, которые бросили созерцать раскопанное погребение и молча столпились теперь возле нового необычного открытия этой богатой на происшествия ночи.

Прошло совсем немного времени, и неприглядная, а лучше сказать — отвратительная правда стала, наконец, доходить до сознания немало потрясенных англичан.

Сомнений быть не могло: столь опрометчиво облюбованное ими в качестве ночного пристанища жилище — не просто разбойничий вертеп. Нет! Они явно находились в логове настоящих людоедов!

Напомним, что действие повести, или, если угодно, легенды, происходило в 1651 году. К этому времени с умиротворением Ирландии было практически покончено. Поскольку же умиротворение это заключалось в сплошном разорении, уничтожении более половины всего населения, превращении городов в руины, а сел — в пепелища, оставшиеся вживых обнищали совершенно и не видели света Божьего из глубины своего несчастья. Скот почти исчез, зато появилось великое множество разбойников. Ибо часть из избегнувшего смерти или изгнания народа естественным образом подалась в бандиты, и эти шайки, в особенности в Коннахте, нападая на англичан, не щадили и своих. Их называли тори. За ними охотились, как за бешеными волками; но трудно сказать, кого было больше — волков или разбойников. И те и другие премного расплодились на почве запустения страны. Оккупационные власти во главе с генерал-губернатором Генри Айртоном как могли старались бороться с означенным злом: за каждого убитого тори казна выплачивала пять фунтов стерлингов, а за волка или католического священника (англичане не видели разницы между ними) — десять. В результате поголовье волков и пастырей стремительно сокращалось, но разбойничьих шаек отчего-то не становилось меньше.

Так вот, среди этих самых «бандформирований» появились и такие, что охотились не столько за имуществом, сколько за самими людьми. Проще говоря, промышляли каннибализмом. Объяснялось это прежде всего тем, что имущества, а главное — съестных припасов, экспроприацией которых можно было промышлять, почти не осталось. Грабить стало нечего, и наиболее отчаянные и пропащие из разбойников переключились на человечинку. Именно на тайное убежище одной из таких каннибальских шаек и имел несчастье наткнуться отряд лейтенанта Иезекииля Флитвуда.

Вид недоеденных — точнее, приготовленных к употреблению — человеческих останков заставил нескольких солдат почувствовать непреодолимые рвотные позывы и выбежать из барака. Тут же ночную тишину нарушил грохот мушкетных выстрелов, и трое из пятерых выбежавших как подкошенные рухнули на землю — кто убитый, кто тяжелораненый. Дело в том, что покуда англичане занимались бесплодными поисками сокровищ, шайка тори, чьим пристанищем и являлась эта лесная обитель, воспользовалась отсутствием дозорных и окружила строение плотным кольцом. Самих стрелявших различить в темноте среди деревьев было совершенно невозможно, зато единственный вход в барак был у них как на ладони и отличнейшим образом простреливался. Остальные солдаты не сразу сообразили, в чем дело, и опрометчиво высыпали наружу посмотреть, что такое стряслось с их товарищами и отчего те вздумали палить из мушкетов, — из-за кустов раздался очередной залп, и еще четверо пали, сраженные наповал.

Безусловно, сам Флитвуд быстро понял что к чему и верно оценил обстановку, но было уже слишком поздно — семеро из десятка его бравых драгун были убиты или выведены из строя. Он остался с капралом Джедедией Бербоном и еще двумя бойцами: как нарочно, ими оказались косвенные виновники всего происшедшего — старый Тревор и Эбенизер Многогугнявый.

Не теряя присутствия духа, лейтенант приказал этим двоим заряжать мушкеты, а сам вместе с капралом занял огневую позицию у двери. Снаружи доносились крики и стоны тех немногих драгун, что были лишь покалечены первыми выстрелами разбойников, но оставшиеся в живых ничем не могли им помочь — выйти наружу значило немедленно попасть под перекрестный огонь затаившихся в темноте злодеев-тори. В остальном вокруг хижины и в лесу царило в этот момент такое же мертвое спокойствие, что и прежде. Словно ничего не было. Могло показаться, что внезапное нападение неприятеля им лишь почудилось, привиделось в страшном сне: не шевелилась ни одна ветка, ни один ружейный ствол не поблескивал в кустах, окаймляющих поляну. Разбойники будто сквозь землю провалились.

Так продолжалось некоторое время. Но вот внезапно тишину нарушили дикие и воинственные вопли. В то же мгновение ночная тьма озарилась вспышками пороха, раздались выстрелы, и целый град пуль застучал по глинобитным стенам строения. Только две или три из них залетели в дверной проем, не причинив, впрочем, никакого вреда, остальные же явно были израсходованы впустую или с целью устрашить последних защитников. Лейтенант и капрал Бербон отвечали непрерывным огнем из-за дверных косяков, метясь по вспышкам, — благо мушкетов было предостаточно, Тревор и Эбенизер едва успевали их перезаряжать — но, кажется, ни в кого не попали.

Неизвестно, сколь долго длилась бы эта перестрелка, но, к несчастью, Флитвуд упустил из виду единственное окно, прорезывавшее западную стену строения, ту же, где находилась и дверь. Подходы к окну из дверного проема не просматривались, и

группа тори сумела беспрепятственно подкрасться туда, никем не замеченная.

Все произошло в одно мгновение: англичане не успели опомниться, как в окошке показались два мушкетных ствола и прозвучали выстрелы. Когда дым, которым заволокло помещение, рассеялся, Тревор и Эбенизер остались лежать без движения на полу. Капрал Бербон, изрыгая проклятия, ринулся с обнаженным палашом к окну и тут же упал, прошитый навылет еще несколькими пулями. В тщетной попытке добраться до лошадей, лейтенант выскочил наружу, добежал почти до самой коновязи и, в свою очередь, получил пулю в предплечье. Обливаясь кровью, он бросился обратно в хижину и постарался забаррикадировать дверь чем только можно — камнями, телами убитых и приготовленными для очага поленьями (а ведь — прошу не забывать — он был ранен!). Кое-как обезопасив себя с этой стороны, лейтенант спрятался за котлом — так, чтобы держать под прицелом одновременно и дверь, и окно. Туда же он подтащил шесть заряженных мушкетов, рожки с порохом и несколько лядунок с пулями.

Положение выглядело безнадежным, однако Флитвуд не собирался сдаваться, понимая, какая участь его ожидает, попади он живым в руки разбойников. Он намеревался продать свою шкуру как можно дороже.

Нападавшие не заставили себя ждать — через минуту в дверном проеме показались два темных силуэта. Флитвуд выстрелил дважды — и оба разбойника без единого звука рухнули с размозженными черепами на землю позади завала. Промахнуться на таком расстоянии, даже действуя одной рукой, было невозможно. Аналогичная участь постигла и шустрого бандита, что попытался проникнуть в помещение через окно — этот корчился теперь на полу в предсмертной агонии.

На некоторое время вновь все стихло. Разбойники стали заметно осторожнее и больше не лезли на рожон — нарываться на пули из-за одного полумертвого офицера никто из них желанием не горел. Они решили сменить тактику и попросту выкурить своего врага из укрытия.

Флитвуд воспользовался этой передышкой, чтобы кое-как перевязать рану. Она оказалась не слишком серьезной, но обильно кровоточила. Не успело, однако, минуть и четверти часа, как сверху послышался треск пламени, и все пространство внутри стало заполняться едким дымом. Лейтенант понял, что разбойники подожгли крышу. Он подкрался к дверям и выглянул наружу — лужайка перед домом была заполнена вооруженными злодеями. Между тем сверху стали падать пласты горящей соломы, дерна и клоки сена, занялись и должны были вот-вот рухнуть деревянные балки и перекрытия, кругом сыпались искры и гуляли языки пламени. Огонь грозил вскоре охватить и деревянные конструкции глинобитных стен. Не видя никакого спасения от пламени, лейтенант залез в медный чан с водой и погрузился в нее.

Надо отметить, что именно в этом месте своего рассказа старина Том допускал некоторые варианты: иногда в нем фигурировал упомянутый чан с водой как наиболее правдоподобная деталь, а порой мистер О'Тул категорически утверждал, что Флитвуд выбрал в качестве укрытия бочку с пивом. Последняя возникала значительно чаще. Вероятно, оттого, что самому Тому смерть в воде представлялась чересчур омерзительной.

Как бы то ни было, Флитвуд залез в котел (или бочку) и погрузился с головой в воду (или пиво); ему приходилось поминутно поднимать голову, чтобы вдохнуть воздуха, и снова прятать ее, из страха перед огнем. Высовывая голову, он не тратил время на бессмысленные стенания, но мужественно и вдохновенно распевал пять последних стихов сто сорок девятого псалма. Так продолжалось до тех пор, пока крыша, а за ней и весь дом не рухнули внутрь, погребая под горящими обломками несчастного лейтенанта. Говорят, что умер он все-таки от утопления, а тело его будто бы сгорело на пять футов длины, остальную часть предохраняла от жара влага (чем бы она ни являлась).

Так окончил свои дни Иезекииль Флитвуд, воин и проповедник. Останки же его, конечно, не могли узнать покоя и не сподобились сообразного заслугам и достоинствам погребения (ведьма и тут оказалась кругом права), ибо были съедены.

Глава шестая

САМЫМ НЕПРЕДВИДЕННЫМ ОБРАЗОМ ОПРАВДЫВАЮЩАЯ МНОГИЕ, ХОТЯ И ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, ОЖИДАНИЯ

Даже если автор воспользуется расхожим приемом некоторых известных и весьма изощренных рассказчиков и призовет все силы Времени и Случая, ставящие столько помех на нашем жизненном поприще, быть ему свидетелями в том, что он никак не мог приступить *всерьез* к повествованию о Безголовом Призраке до настоящей минуты, когда звезды, кости и обстоятельства разместились, легли и сложились наиболее благоприятным образом, делающим это, наконец, возможным, ему едва ли поверят.

Поэтому читатель услышит от нас не бесполезные оправдания, но продолжение истории.

Итак. Все помнят, как один видный философ, рассматривая проблему достоверности теории эмпирической вероятности, пришел к однозначному выводу, гласящему, что грядущие события будто бы в принципе непредсказуемы. И таковая особенность объясняется вовсе не нашим субъективным о них знанием (точнее, незнанием), но имманентными свойствами самих событий, их заведомой случайностью. На этой основе им была постулирована полнейшая несостоятельность любых предсказаний, или, если угодно, всякого прогнозирования. Более того, от тезиса о простой непредсказуемости (случается то, что случается, а не то, что предсказано), он впоследствии перешел к парадоксальному утверждению об отрицательной достоверности прогноза: что бы ни случилось, оно наверняка случится иначе, чем по прогнозу должно случиться.

С другой стороны, можно вспомнить знаменитого Джакомо Казанову, который тоже иной раз баловался футурологией и любил говаривать, что многие события в нашем мире так никогда бы и не произошли, не будь они заблаговременно предсказаны. Дескать, коли предсказание не сбывается, то грош ему цена; но зачастую сам человек, уверившись в истинности того или иного оракула, понуждает и вероятностную цепь событий выстроиться так, а не иначе. И ведь правда, не служит ли удивительная история побега сего авантюриста из Пьомби, Свинцовой тюрьмы, блистательным тому подтверждением?..

Так вот, если читатель разделяет какую-то из означенных точек зрения, то ему не имеет ни малейшего смысла читать шестую главу. Когда же не разделяет — тем более.

Лучше всего просто выбросить из головы все подобные теории, полностью довериться собственной интуиции и жизненному опыту, который, как известно, сплошь и рядом противоречит любым теориям, даже придуманным наиболее маститыми философами.

Конечно, тот факт, что проклятие Окаянной Морриган сбылось в отношении Иезекииля Флитвуда, сам по себе представляется невероятным. И вы вправе подвергнуть сомнению наличие взаимосвязи между словами полоумной старухи и конкретными обстоятельствами гибели лейтенанта. Можете отнести эти обстоятельства к разряду маловероятных случайностей, тех самых, о которых наука вспоминает, рассуждая о математических множествах, законах статистики и больших чисел. Но как быть с генералом Айртоном? Ведь и его судьба оказалась предсказана вдовой О'Гилви, и его подстерегла та самая участь, что напророчила ему ирландская ведьма. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть приведенную ниже главу.

Что, вновь очередное совпадение? Или даже серия удивительных совпадений? А быть может, все-таки властная длань Провидения? Либо костлявая рука Немесиды? Вмешательство богини Слепой Судьбы — Тихэ? Происки мойр-прядильщиц? Судить об этом — читателю, автор же не берется истолковывать интимные подробности, пикантные трансцендентальные оттенки *adultere* Случая с Неизбежностью. Хотя и допускает, что последствия такового инцеста или инбридинга могут быть весьма замысловаты. Автор вообще готов допустить всякое. Пусть даже самое невероятное. Единственный довод, который мы отвергаем сразу и бесповоротно — это мысль о возможной фальсификации, подтасовке событий. Такой аргумент противоречит изначально заявленной научной добросовестности настоящего исследования, здравому смыслу, наконец.

Кроме того, не стоит забывать и о путеводной нити, а именно — о правдивом рассказе самого Тома О'Тула. Рассказ этот никак не согласуется с мысленными экспериментами упомянутого философа, но, в то же время, достоверность его не подлежит даже обсуждению. Ибо он, подобно жемчужному зерну, катился от человека к человеку, передавался из уст в уста, из поколения в поколение, до тех пор покуда единственным и последним обладателем его не оказался мистер О'Тул, который, по его же собственным словам, отнюдь не пытался подобрать к сей жемчужине достойной оправы, то есть не прибавил к легенде ни одной лишней детали, ни единой красочной подробности, но поведал ее нам во всей первозданной и обескураживающе-обнаженной подлинности. И этим словам достойного стража могил также можно верить почти безоговорочно. Хотя бы из тех резонов, что по нашим наблюдениям у старины О'Тула фантазии и воображения было не больше, чем у булыжника или трухлявой колоды. А трухлявые колоды (что бы там ни говорили поэты) не способны грезить не только о былом зеленом и раскидистом великолепии, но и вообще ни о чем. Пни и руины не сочиняют преданий, но могут хранить их. На наш взгляд, последняя деталь — верный признак аутентичности предлагаемого вашему вниманию сказания об Ужасе Чейплизода.

Быть может, читатель уже задается вопросом, зачем автору понадобилось это псевдофилософское вступление? Из каких соображений он вздумал заставлять его про-

дираться сквозь тернии досужего умствования, отыскивать золотники смысла в бессмысленном нагромождении фраз, крупицы мыслей в хаосе бездумных разглагольствований, и какая от подобных поисков польза? Ну что ж, если это действительно так, то не лишним будет напомнить, что размер авторского вознаграждения напрямую зависит от количества натюканных сочинителем печатных символов. Как видите, польза налицо. По крайней мере, для автора.

Теперь, когда мы определились с несомненной пользой вступлений, пора перейти и к самому рассказу.

Как известно, осада Лимерика 1651-го года не вошла в героические анналы истории, подобно той, что случилась ровно сорок лет спустя и прославила имя Патрика Сарсфилда, графа Лукана. Но и она, тем не менее, достойна краткого упоминания.

Англичане, дабы увеличить славу своих побед, нередко именовали Лимерик одной из сильнейших крепостей Ирландии, нам же более правомерным представляется высказывание некоего французского военачальника, насмешливо воскликнувшего при виде его городских стен: «Вы называете это укреплениями? Англичанам не понадобится пушек, они смогут разбить сии руины печеными яблоками!» Правда в том, что город лежал в весьма нездоровой местности, посреди дьявольски сырой, болотистой равнины, пересекаемой множеством топей и дренажных рвов. Вдобавок во время осады выпало столько дождя, что обыкновенно спокойная река Шэннон вздулась, будто адвокатское брюхо, мелководная Эбби стала напоминать бурный горный поток, а вся округа буквально превратилась в сплошную грязную лужу, так что ни один солдат не мог найти сухое место в своей палатке, не окопав ее канавой для стока воды. Айртон вынужден был отдать приказ выдавать бойцам усиленную норму горячительных напитков, которые одни способны были изгнать сырость и косившую ряды завоевателей дизентерию.

Не станем утомлять читателя описанием апрошей, гласисов, эспланад, эскарпов, контрэскарпов и прочих осадных и оборонительных сооружений, воздвигнутых англичанами и ирландцами, ибо взаимное расположение, величина и протяженность их не имеют ни малейшего отношения к нашему повествованию и по этой причине никак не могут повлиять на его ход, развитие и результат. Ограничимся упоминанием, что интересующие нас события произошли на тринадцатый день осады и были связаны с отчаянной вылазкой и контратакой, предпринятой вождем осажденных инсургентов — сэром Фелимом О'Нилом.

В этот день (а шел третий день ноября) парламентские войска беспрепятственно продефилировали почти под самыми стенами Замка Короля Джона[1] и только что начали строиться в боевые линии перед мостом Томонд — генерал Айртон наметил на сегодня решающий штурм. Осажденные не имели возможности как-либо воспрепятствовать враждебным маневрам, ибо из артиллерии у них имелись лишь три древние кулеврины и одна бомбарда, боеприпасы к которым успели к тому времени иссякнуть. Между тем, отважный О'Нил внимательно следил за ходом перестроений и неспешных маневров беспечного неприятеля с замковой стены, подобно коршуну, прилепившемуся к скале и выжидающему, когда можно будет ринуться на добычу. Найдя момент подходящим, он велел открыть ворота, во главе отряда кавалерии из семисот дворян перешел на быстром аллюре мост и тотчас же понесся с основной массой всадников на республиканцев, атакуя их с фронта, тогда как два других отряда угрожали им с флангов. Англичане, уверенные в собственной безопасности и не ожидая такой наглости от папистов, обязанных трепетать в ужасе при одном виде регулярной армии, пришли в замешательство, грозящее обратиться в безотчетную панику. Передние ряды их (состоявшие в основном из пикинеров) смешались, заметно устрашенные несущимися во весь опор лошадьми, сверканием обнаженных клинков и дикими воплями всадников; задние попытались открыть беспорядочный и редкий мушкетный огонь (артиллерия еще не успела развернуться), причинив больше вреда своим же товарищам, а многие попросту стали покидать строй и обратились в бегство. Уже через пару минут их настигли кавалеристы и принялись колоть и рубить беглецов без всякой жалости. Над полем, перекрывая шум битвы, гремел голос Фелима О'Нила: «Рубите их! Крошите! Никакой пощады красным мундирам, помните Дрогеду и Клонмел!» Впрочем, ирландские драгуны не нуждались в особых призывах к отмщению — палаши инсургентов и без того жаждали крови пуритан.

Генерал Айртон, наблюдавший за маневрами своих войск и последующей стычкой с небольшой возвышенности, сообразил, что болотистые берега Шеннона вот-вот могут явить страшные картины повальной резни, бегства и преследования, немедля построил в боевые порядки передовой отряд конницы (из числа знаменитых «железнобоких») и бросился на помощь пришедшим в расстройство пехотным полкам. Го-

[1] Старинная цитадель в центре города, на Королевском острове.

раздо более многочисленная английская кавалерия налетела на всадников О'Нила с такой силой и яростью, что тут же отбросила их на расстояние пистолетного выстрела. Ирландцы бились с беспримерным мужеством, но принуждены были отступить перед численным превосходством неприятеля, который к тому же (нельзя не признать) отличался большей сплоченностью, лучшей выучкой во владении оружием и управлением лошадьми.

Генерал Генри Айртон лично вел своих драгун в бой и уже успел убить собственной рукой пятерых всадников, когда вихрь сражения столкнул его лицом к лицу с сэром Фелимом О'Нилом. Противники обменялись двумя-тремя нетерпеливыми ударами и поняли, что обладают равной физической силой и с почти равной сноровкой владеют холодным оружием и конями. Не было сомнения и в том, что оба вождя одинаково отважны и не привыкли отступать перед лицом опасности. Короче говоря, схватка обещала быть долгой, упорной и ожесточенной. Участники поединка и сами, по-видимому, разделяли это мнение, ибо, точно по взаимному соглашению, опустили оружие и слегка разъехались, дабы немного передохнуть перед смертельной борьбой и сказать друг другу пару приличествующих торжественности момента слов.

Первым изготовился произнести речь Айртон: он глянул на ирландского вождя с суровым спокойствием, мрачно насупил кустистые брови, чуть отвел в сторону и приподнял правую длань, крепко сжимавшую палаш, и... И тут произошло непредвиденное. Точнее, первое из множества абсолютно случайных совпадений этого и нескольких последующих дней.

Начнем по порядку: на самой высокой из пяти замковых башен, той, где была установлена допотопная бронзовая бомбарда и три длинноствольные кулеврины восемнадцатого калибра — вся наличная артиллерия Королевского острова, без толку маялся одноногий инвалид-канонир. Без толку — потому как запас чугунных ядер для кулеврин закончился уже на седьмой день осады, а гигантская бомбарда вообще не произвела ни единого выстрела, ибо бездействовала уже лет сто пятьдесят. Сей раритет, покоящийся на массивном лафете в виде деревянной корытообразной колоды, предназначался некогда для метания здоровенных каменных ядер, которые закатывались в ствол при помощи специального подъемного механизма, к тому времени утраченного. И даже если бы механизм не был утрачен, это мало бы что изменило, так как справиться с ним в одиночку не представлялось возможным. Но и в том случае, когда бы вместо одноногого инвалида к бомбарде был приставлен полный штат орудийной прислуги, проку от этого не было бы никакого, ибо и каменных ядер в наличии не имелось. Имейся же в наличии каменные ядра, и это не спасло бы положения — изготовка бомбарды к стрельбе являлась тонким искусством, к тому времени полностью забытым. Не лишним будет напомнить, что представляло из себя это орудие смерти. Бомбарда состояла из двух частей: пороховой камеры с умеренным диаметром, которая прочно забивалась и закупоривалась чурбаном из мягкого дерева, и передней части, или собственно ствола, в котором помещалось исполинское ядро, по возможности закреплявшееся паклей и глиной. Колоссальный размер каменных ядер обусловливался самим их материалом; они должны были действовать своей тяжестью, даже если им придавалась минимальная начальная скорость; ядрам меньшего размера можно было придать большую скорость — но в таком случае они легко разбивались бы вдребезги, ударяясь о стены, которые сами призваны были разбивать. В нашем случае бомбарда предназначалась не для разрушения крепостей, а для их обороны, но это обстоятельство мало повлияло на размеры ядер и, соответственно, самого орудия, которое было неимоверно велико, тяжело и прозывалось «Жирная Мэг». Следует добавить, что пороховая камера представляла собой отдельную от ствола часть и обыкновенно соединялась с ним лишь для выстрела; подгонка их друг к другу производилась при помощи хитроумного затвора; считалось, что такую камеру легче заряжать, а орудие — перевозить; к тому же имелась возможность заготовить несколько камер на одно дуло и тем достигнуть ускорения стрельбы. Так что «Жирную Мэг» вполне можно считать одним из первых прообразов орудий, заряжающихся с казны. Впрочем, как уже было сказано, все эти гипотетические преимущества не имели ровно никакого значения — «Жирная Мэг» вот уже полтора века не бывала в употреблении и стояла на замковой башне лишь для декорума и пущего устрашения.

Итак, одноногий канонир маялся подле своей бесполезной батареи, бессильный оказать хоть какую-нибудь поддержку отряду отважного Фелима О'Нила, который неуклонно подавался назад под натиском красномундирной кавалерии и вот-вот готов был показать врагам тыл. Как всегда на войне, отступление представлялось гораздо опаснее самой вылазки, ибо ирландским драгунам предстояло вернуться к воротам замка по тому же самому мосту Томонд, перекинутому через Шэннон и соединяющему цитадель Королевского острова с сожженными дотла пригородами Лимерика, по которому они незадолго до того переправились для безрассудной атаки. Учитывая

узость моста, неизбежные при отступлении с висящим на плечах неприятелем толчею и неразбериху, не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы предсказать давку, смятение и большие потери.

Канонир видел все это с башни яснее, чем кто бы то ни было, и оттого раздражение и ярость лишь нарастали в его груди. Он то изрыгал самые страшные проклятия в адрес «круглоголовых», то возносил страстные молитвы ко всем ведомым ему святым и угодникам Божиим. И вот в тот самый момент, когда генерал Айртон приготовился обратиться с суровым увещевательным словом к сэру Фелиму О'Нилу, насупил брови и исполненным достоинства жестом приподнял правую длань, одноногий инвалид громогласно призвал наиболее чтимых патронов пушкарского цеха — святых Антония и Варвару — обрушить на голову нечестивца всю силу своего гнева и в бешенстве (а равно для вящего усугубления мольбы) со всей мочи долбанул курительной трубкой, которую сжимал до той поры в зубах, по корпусу «Жирной Мэг». Случилось так, что удар пришелся по зарядной камере, глиняная трубка естественным манером разлетелась вдребезги, горящий пепел и искры посыпались в разные стороны, малая толика их попала в небольшое затравочное отверстие, куда обыкновенно втыкали раскаленный железный крюк... И вот тут-то неожиданно выяснилось, что все последние полторы сотни лет старая бомбарда благополучнейшим образом простояла заряженной — ибо немедленно вслед за попаданием внутрь искр и горячего пепла из затравки и небольших зазоров между пороховой камерой и стволом повалил густой сизый дым, раздался нарастающий треск горения смеси селитры, серы и древесного угля, после чего все огромное тулово «Жирной Мэг» содрогнулось от мощного взрыва пороховых газов, и древнее орудие выплюнуло в воздух двенадцатицентнеровое каменное ядро.

В строгом соответствии с законами внутренней и внешней баллистики, классической теорией всемирного тяготения Ньютона и менее классической гравитационной — Эйнштейна, ядро взмыло вверх, описало над полем сражения крутую параболическую кривую (второго порядка), врезалось в одиноко стоящий на левом берегу Шэннона дуб, сломало его, отскочило под идеальным прямым углом и шмякнулось о большой выступающий из воды прибрежный гранитный валун, в результате какового удара разбилось и разлетелось на множество осколков, не причинивших никому ни малейшего вреда.

Но ядро для большей прочности было крестообразно оковано двумя железными обручами; за те сто пятьдесят лет, что сей снаряд покоился в стволе бомбарды, железо сильно проржавело под действием влаги, неизбежно проникавшей в широкое, направленное под углом сорок пять градусов вверх дульное отверстие, и конечно также раскололось при ударе о гранитный валун на несколько кривых изогнутых полос. Одна из этих полос отлетела далеко в сторону, пронеслась над полем, подобно диковинному зазубренному ятагану, и по воле Рока угодила прямиком в генерала Генри Айртона, готовящегося произнести подобающую случаю речь. Речи так и не суждено было прозвучать — Айртон не имел возможности даже отдать должное меткости канонира и воскликнуть: «Отличное попадание!» — подобно тому как это сделал много лет спустя генерал Монбрен, когда русское ядро поразило его в бок при Бородино; не имел — ибо ржавый железный ятаган вонзился ему как раз чуть ниже затылка, перебил шейные позвонки и начисто отчекрыжил голову.

Так погиб зять будущего лорда-протектора генерал Генри Айртон, не без основания прозванный Уэксфордским Мясником. По необъяснимому стечению обстоятельств случилось это аккурат по прошествии двух ночей после Дня Всех Святых — третьего ноября 1651 года, то есть опять-таки ровно в срок, предсказанный Окаянной Морриган. Справедливости ради стоит отметить, что, хотя никто из историков не оспаривает сам факт смерти Айртона под Лимериком, однако относительно причин смерти существует значительное расхождение во мнениях. Так, наряду с версией о гибели в сражении, в некоторых источниках можно найти довольно противоречивые утверждения о кончине оного военачальника в результате подхваченной в здешних болотах гнилой лихорадки, или от чумы, или даже от тифа (каковой к тому времени вообще не был открыт, а следовательно, не существовал). Думается, что сама разноречивость таковых сведений более чем убедительно свидетельствует в пользу версии старины Тома О'Тула. По крайней мере, нельзя отрицать, что его вариант событий имеет не меньше прав на существование, чем все остальные прочие. Конечно, дотошный читатель, рассматривая распределение вероятностей гибели Айртона именно таким, а не иным образом, может позволить себе задать ряд неудобных вопросов. Например, как случилось, что в течение целых ста пятидесяти лет никто не заметил, что бомбарда заряжена? Или — отчего пороховой заряд не отсырел и не пришел в негодность за столь продолжительное время? Или даже: действительно ли курение табачного зелья, лишь за несколько лет до описываемых событий начавшее победное шествие по уделу святого Патрика, являлось настолько распространенным обычаем среди простых ир-

ландских канониров? Ну что ж, честно признаемся, что ответов на эти вопросы у нас нет. Но что это доказывает? Ровным счетом ничего. Однако если обладающий достаточным упорством читатель, добравшись до вышеописанного эпизода, придет к выводу, что злоключения Генри Айртона с его смертью прекратились, то невольно впадет в жестокое заблуждение — со смертью злоключения покойного генерала только начинались.

Вообще гибель командующего мало отразилась на ходе боя. Безусловно, отряд Фелима О'Нила воспользовался некоторым замешательством английской кавалерии и почти без потерь форсировал мост, но финал это никоим образом не изменило, да и не могло изменить — сражение было проиграно. А вскоре (на следующий день) пал и сам город. Отважный Фелим О'Нил кончил жизнь на виселице; командование парламентской армией перешло к генерал-лейтенанту Эдмунду Ледлоу, который успешно продолжил дело своего предшественника, повсеместно добиваясь легких побед, ибо с падением Лимерика дух ирландцев был окончательно сломлен. Даже королевский лорд-наместник острова сэр Айлик де Бург, благородный граф Кланрикард, вынужден был признать, что более не способен противостоять превосходящим силам республиканцев, покорился парламенту и уехал в Англию, где спустя короткое время и умер от совокупного воздействия климата, горя и несварения желудка.

Впрочем, нас эти события интересовать должны очень мало или даже не должны интересовать вовсе, ибо к повествованию имеют лишь косвенное отношение. Прямое отношение к легенде имеют совсем не дела живых, но, напротив, дела мертвых. Однако о них любознательный читатель сможет узнать только из следующей, последней главы.

Глава седьмая

РАССТАВЛЯЮЩАЯ ВСЕ АКЦЕНТЫ, ВСЕ ТОЧКИ НАД «i», УСТРАНЯЮЩАЯ ВСЕ ПРОШЛЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЛОДЯЩАЯ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО НОВЫХ. ИЛИ КОЕ-ЧТО О ТРОЙНОЙ ПОДМЕНЕ

Едва в войсках пронеслась весть о смертельном ранении генерала Айртона, как к месту его гибели стали стекаться безутешные соратники. Полководец, чей жизненный путь был ознаменован столькими славными победам и отмечен таким обильным и великолепным кровопролитием, не мог не быть любим солдатами. Тем в большее отчаяние пришли они, увидев своего кумира обезглавленным.

К несчастью, поиски оторванной головы поначалу не дали положительных результатов. По какой причине, достоверно неизвестно: то ли она оказалась сильно обезображена копытами лошадей и осталась не узнанной, то ли просто затерялась среди множества разбросанных на поле сражения трупов и частей тел, или, быть может, вмешался все тот же всемогущий Случай, Бог ведает...

Поскольку тело решено было отправить в Англию, в Лондон, для чего его предстояло сначала переправить в Дублин, то покойного хоронить не стали, но аккуратнейшим манером запеленали в войсковое знамя и запихнули в наскоро сколоченный, но поместительный дубовый гроб. Туда же сложили его личное оружие, награды и вообще все бывшие при нем в момент гибели вещи. По странному недоразумению в гроб оказалась уложена и голова Окаянной Морриган, до последнего мгновения болтавшаяся у луки седла злопамятного генерала. К тому времени голова эта — и без того не отличавшаяся внушительными размерами — изрядно усохла, сморщилась, скукожилась, почернела и напоминала более некий диковинный волосатый овощ, нежели былое вместилище человеческого разума. Возможно, поэтому опознать ее было весьма затруднительно.

Так вот, гроб был отправлен в сопровождении роты драгун в Дублин, где его надлежало погрузить на корабль и отправить на родину генерала. Спустя неделю траурный кортеж прибыл в Чейплизод, там гроб выставили в местной церкви, недавно очищенной от изваяний, фресок, образов и распятий — всего, что могло отдавать тлетворным духом ненавистного пуританам папизма. Выбор места для предварительного прощания с покойным был обусловлен тем, что здесь, в пригороде ирландской столицы, квартировал верный парламенту мушкетерский полк, солдаты которого выразили горячее желание отдать последнюю дань памяти павшего героя.

Случилось, что всего за пару дней до этого в ту же деревню, в тот же храм (последнее, впрочем, не удивительно — он был единственный в Чейплизоде) доставили тело вдовы Морриган О'Гилви. Дело в том, что Окаянная Морриган являлась уроженкой этих мест, семейство покойной имело наследственные права на некий клочок церковной земли, каковой следовало бы назвать скорее посмертным, нежели пожизненным владением, и трое верных почитательниц незаурядных талантов, которыми Морриган отличалась при жизни, а проще говоря — три такие же, как и она, ведьмы — почли

священным долгом взять на себя труд сопроводить тело почившей мученицы в Чейплизод, дабы прах ее смог обрести покой в земле родового погоста. Уже по прибытии на место выяснилось, что былой храм святой Бригитты — симпатичная деревенская церковь с колокольней, от основания до шпиля покрытой темной, шелестящей массой плюща — поруган и отдан кальвинистам, а место старого, толстого и веселого отца Пленуса занято молодым, тощим и мрачным протестантским пастором Стигосусом. Но делать было нечего, возвращаться назад — не с руки, и три товарки убиенной вдовы О'Гилви, выдав покойную за истую последовательницу англиканства, оставили наскоро сколоченный, но поместительный дубовый гроб с ее телом при храме, рассудив, что все средства хороши, лишь бы захоронить покойницу в освященной земле. В противном случае, как они не без основания полагали, душа умершей вполне может отправиться прямиком в пекло, в четвертый росщеп восьмого круга ада, носящий (если верить Данте) неблагозвучное название «Злых Щелей», вместо относительно безопасного Чистилища.

Таким образом в старой приходской церкви Чейплизода оказались сразу два *безголовых* покойника.

Но Судьба или Провидение благоволили памяти сгинувшего в пучине войны героя революции: в это самое время под стенами павшего Лимерика нежданно-негаданно нашлась голова сэра Генри Айртона. Выяснилось, что эта важнейшая часть тела просто закатилась в неглубокую ложбину на изрядно изрезанном всяческими канавами, рытвинами и буераками поле, была присыпана комьями земли и потому осталась незамеченной.

Голову немедля упаковали в приличный ковчежец и с елико возможным поспешанием отправили нарочным в Чейплизод вслед за телом, чтобы успеть до погрузки последнего на корабль и отправления в Англию.

Возможно, на этом и закончились бы злоключения разрозненных частей тела славного генерала (ибо нарочный поспел вовремя), когда бы не Роберт Артиссон — могильщик, церковный сторож и помощник приходского священника в одном лице, тот самый Роб Артиссон, что служил еще при старом отце Пленусе, а ныне с тем же успехом подвизался в качестве верного личарды тощего пастора Стигосуса. Тот самый, которому мы обязаны рождением легенды о Безголовом Призраке, ибо никто иной, как Роберт Артиссон явился не только непосредственным участником и одним из важнейших персонажей сказания, но и незамутненно-чистым первоисточником оного.

Так вот, означенного подпаска душ и маркитанта червей, так же как и его далекого преемника на этом посту — мистера О'Тула, можно задним числом назвать человеком многих, хотя в основном и скрытых, достоинств. Недостаток у них также был один на двоих. Впрочем, непьющий кладбищенский сторож — это логический нонсенс, род субконтрарного противоречия, посягательство на здравый смысл и аксиому силлогизма, вопиющее нарушение или даже поругание законов Бытия и потрясение устоев Мироздания. Во всяком случае, в литературе таковые не встречаются.

Как бы то ни было, именно упомянутый Роберт Артиссон принял от нарочного ковчежец с генеральской головой и обязался с должным почтением приладить ее к покоящемуся в гробу генеральскому тулову. Но мы уже знаем — в церкви находились два одинаковых гроба и каждый — с безголовым покойником. Так что нет ничего удивительного в том, что Артиссон — по злому умыслу ли, по недоразумению ли, а скорее всего, просто с пьяных глаз — сунул обретенную главу в домовину вдовы О'Гилви.

К счастью, суровый пастор Стигосус не питал особенного доверия к аккуратности (и умственным способностям вообще) своего помощника, а потому взял за правило по возможности перепроверять и контролировать любые действия последнего. Такой неусыпный надзор оказался в данном случае как нельзя более кстати: оплошность или глумливая насмешка Артиссона была быстро обнаружена и немедленно исправлена — пастор уложил чело павшего героя в надлежащий гроб.

К этому времени все жаждавшие проститься с главнокомандующим осуществили свое желание, и гроб оставалось только отвезти в Дублин, там погрузить на корабль и отправить в Англию. Отправка должна была состояться утром следующего дня. Однако тем же вечером Артиссон по обыкновению праздновал очередную викторию над зеленым змием, в ознаменование которой уничтожил добрых полкварты *потина* — огненного ирландского самогона, заслуженно прозванного «адской росой», или, иначе, «ангельской уриной», за его способность вводить любого человека в состояние блаженного транса, весьма близкого к буйному умопомешательству. Победа над бутылкой заметно подняла помощнику пастора настроение и пробудила в нем деятельный дух: Роберт Артиссон отправился в церковь и принялся, по-видимому, бесцельно слоняться по пустынному полутемному помещению, то и дело спотыкаясь о почерневшие деревянные скамьи, задевая пюпитры певчих и роняя на пол разложенные

на них молитвенники. В какой-то момент необъяснимая сила властно направила его неверные шаги в сторону престольного возвышения и привела к установленным рядом с кафедрой двум открытым гробам с телами Айртона и О'Гилви. В изголовьях гробов горели свечи — едва ли ни единственная уступка былой обрядности, — так что Артиссон имел возможность достаточно ясно разглядеть покойников. Оба тела были завернуты в почти одинаковые смертные пелены: генерал — в белое с черным полковое знамя, ведьма — в черно-белый саван. Артиссон склонился над останками последней и тщательно обшарил гроб и самый труп; не обнаружив того, что искал, он перешел к ревизии второго гроба...

Если у читателя мелькнула шальная мысль, будто уважаемый кладбищенских дел мастер опустился до мародерства, до обворовывания покойников, то просим немедленно выбросить ее из головы и не впадать в праведный гнев. Ибо она ни на чем не основана. Само предположение о чем-либо подобном оскорбительно для доброй памяти и честного имени Роберта Артиссона. Все куда проще и благопристойнее: накануне утром Артиссон прямо в храме Божьем оказался застигнут врасплох преподобным Стигосусом за довольно некошным занятием — подобно бессмертным, вкушавшим некогда нектар на «многохолмной» вершине Олимпа, он потягивал виски, сидя в святая святых и опершись спиной о кафедру. Точнее, почти застигнут. Ибо в последний момент он успел-таки сунуть флягу в один из выставленных рядом гробов. Вот эта самая заветная фляга и являлась ныне предметом его настойчивых поисков.

В какой-то момент Артиссон решил, что искомое найдено: он с радостным возгласом поднес обнаруженный предмет к свету, но тут же выругался и в раздражении сплюнул — то была вовсе не фляга, а почерневшая и сморщенная человеческая голова, обрамленная остатками спутанных седых прядей. Артиссон в недоумении уставился на лежащего в гробу покойника — тот был с головой; точнее, к плечам его была приставлена та самая голова, которую этим утром доставили нарочным из-под Лимерика и которую он, могильщик Роберт Артиссон, самолично уложил в генеральский гроб. Откуда же — черт ее возьми совсем! — взялась вторая голова? Артиссон заглянул в другой гроб — тамошний покойник был как раз явно безголов. Артиссон наморщил лоб, напряг все свои умственные способности и погрузился в глубокую задумчивость. Задача была не из легких. Не исключено, что окажись на месте могильщика другой человек, человек с трезвым рассудком, она и вовсе оказалась бы неразрешимой. Но не таков был наш церковный страж. Раскинув мозгами и пошевелив извилинами, он довольно быстро сообразил, что к чему. И ведь правда, коли следовать формальной логике, решение представлялось очевидным: раз он приладил присланную голову к телу, у которого и без того уже имелась голова, следовательно он допустил досадную ошибку — попросту перепутал гробы. Придя к сему безупречному во всех отношениях выводу, могильщик немедленно вытащил из генеральского гроба голову сэра Генри Айртона и приставил ее к бездыханному телу вдовы О'Гилви, принятую же им за флягу с виски голову ведьмы аккуратно приложил к плечам кромвелевского зятя.

Как только манипуляции с головами были завершены, словно по волшебству обнаружилась и пропавшая ёмкость с ячменным нектаром. Артиссон сейчас же решил, что се по праву заслуженная им награда небес за проявленную недюженную смекалку и своевременное устранение прежней оплошности, прикрыл оба гроба крышками и, во избежание возможной последующей путаницы, накрепко заколотил. При этом, несмотря на тяжелую степень опьянения, он совершенно трезво рассудил, что голова, снабженная клиновидной бородкой и усами, должна принадлежать мужчине, вторая же, украшением которой были лишь остатки длинных седых прядей, — женщине. Потому и крышку с выжженными на ней инициалами «Г.А.» возложил на гроб с мужской головой, а вторую — безо всяких опознавательных знаков — с женской.

Так и вышло, что следующим утром в Англию поплыл гроб с телом старой ведьмы и головой сэра Генри, а могильная яма в углу наследственного участка рода О'Гилви на Чейпизодском кладбище приняла гроб с телом генерала Айртона и головой Окаянной Морриган.

Для Кромвеля смерть любимого зятя стала, очевидно, тяжким ударом; произнося по этому случаю речь в Паламенте, будущий лорд-протектор назвал сэра Генри Айртона выдающимся человеком, прославившимся неиссякаемой энергией, железным упорством, неутомимым рвением и изобретательным умом, а равно строгим и неукоснительным соблюдением установленных им же законов, которое проявил он, осуществляя в Ирландии свои воистину безграничные полномочия наместника. В знак уважения к трудам и заслугам покойного парламент пожаловал его вдове поместье с годовым доходом в две тысячи фунтов, а сами останки почтил пышными похоронами за государственный счет. Очевидцы рассказывали, что похороны и в самом деле были роскошными. Гроб доставили из Сомерсет-хауса на покрытом черным бархатом катафалке, влекомом шестеркой лошадей, тоже в бархате; покров на гробу поддерживала

дюжина безутешных республиканцев, армейские офицеры несли штандарты и вымпелы, герольды в церемониальных одеждах — воинские стяги и регалии; за катафалком шел боевой конь покойного в богатой попоне, расшитой золотом, далее шагали гвардейцы, солдаты и бесчисленные скорбящие, вдохновенно и гнусаво распевавшие приличные случаю псалмы. Один из современников впоследствии отметил в мемуарах, что более впечатляющего, отрадного, возвышенного и утешительного для сердца зрелища он отродясь не видывал. Конечно, никому из участников траурного шествия было невдомек, что в последний путь они провожают совсем не героя революции, но бренный прах ирландской ведьмы.

Девять лет спустя, когда революционный вихрь утих и призванный на престол Карл II вернул на время в жизнь страны веселье, отправив на эшафот три десятка наиболее склонных к меланхолии и аскезе деятелей Реформации, королевский палач извлек из гробницы Вестминстерского аббатства в числе других и тело Генри Айртона, дабы воздать ему последние почести, вздернув на виселицу. Говорят, он был немало поражен, обнаружив, что скелет облачен в полуистлевшие остатки красной юбки, женскую шаль, и найдя на его обнаженных ребрах медный образок с изображением Девы Марии.

События в Ирландии развивались несколько иным образом. Похороны Окаянной Морриган не отличались особой пышностью, а эксгумировать преданный земле прах ни у кого, естественно, и в мыслях не было. Но в том же самом 1660-м году, когда был нарушен покой праха в Вестминстере, на Чейплизодском погосте стали происходить странные вещи.

Однажды в начале ноября на Дублин и окрестности спустилась темная-претемная ночь. Слабый молодой месяц едва виднелся из-за погребальной пелены низких облаков, отдельные тусклые звезды чуть заметно мерцали в их рваных окнах, а горизонт на западе то и дело озарялся грозными сполохами зарниц, совсем не характерными для этого времени года.

Весь тот день до вечера старик-могильщик Роб Артиссон провел в тревоге. Чем была вызвана та тревога, он и сам хорошенько не знал, но накануне ночью ему пригрезилось, будто разлившиеся воды Лиффи затопили Чейплизод, размыли кладбище, и покойники плавают по улицам в гробах, точно в рыбацких лодках, весело распевая «Храни, Господь, Ирландию» на мотив «Козлика Пэдди Макгинти». Такой странный сон вполне мог предвещать неприятности, впрочем, какие именно и насколько крупные — оставалось только гадать.

К вечеру Артиссон по обыкновению успел уговорить порядочное количество любезного его сердцу потина (это была не безнравственность, но привычка) и теперь сидел у гаснущего очага в тяжких раздумьях о том, где бы достать немного торфа, ибо ночь обещала быть холодной и пасмурной. Он прекрасно помнил, что под навесом рядом с церковью хранится целый штабель пластов торфа — он сам его заготовил недавно для пастора Стигосуса, но чтобы добраться до церкви, нужно было пересечь все кладбище (хижина Артиссона располагалась в противоположном его конце), а мысль о ночной прогулке в ненастье среди могил отчего-то на сей раз совсем не улыбалась их стражу. Наконец страх перед холодом возобладал над страхом перед дурными предчувствиями, и старый Роб решительно, хотя и безо всякого энтузиазма, выбрался из своего убогого жилища навстречу ветру и близящейся непогоде.

Как уже было сказано, ночка выдалась темная, хоть глаз выколи, и могильщик освещал себе путь роговым фонарем, пляшущий свет которого попеременно выхватывал из темноты мрачные силуэты кустов, деревьев, могильных крестов и плит. Артиссон не успел одолеть и половины расстояния до церкви, как хляби небесные разверзлись, и на землю обрушились плотные потоки ледяного дождя. Тропка под его ногами немедля превратилась в бурливый ручей, а слабый луч фонаря стал совершенно бесполезен, ибо не освещал уже ничего, кроме заслонившей все окрест черной водяной стены. В надежде поскорее добраться до цели, он прибавил шаг, поскользнулся и кубарем скатился в какой-то овраг; фонарь его погас, корзина для торфа улетела в сторону и потерялась в темноте, в довершение же всех бед овраг оказался полон воды, поэтому то немногое, что еще оставалось сухим из одежды старика, мгновенно напиталось влагой и было облеплено грязью. Трижды помянув нечистого и всех его родичей, Артиссон с немалым трудом, постоянно оскальзываясь и сползая назад, выкарабкался из канавы и понял, что потерял направление и абсолютно не представляет, в какую сторону нужно идти. В конце концов он рассудил, что уже не столь важно, куда он попадет — к церкви или назад в хижину — лишь бы оказаться под крышей, в сухом помещении, и побрел наугад сквозь непроницаемую завесу ливня. Так плелся он некоторое время, слыша вокруг себя только все усиливающийся шелест дождевых струй, гулкое хлюпанье собственных башмаков, да внимая дроби не то лихой джиги, не то сарабанды, что выбивали его зубы от холода.

Вдруг слабый, но отчетливый проблеск света слева заставил его остановиться и напрячь зрение. Действительно, где-то совсем рядом мерцал некий огонек, колеблемый и дрожащий, словно свеча на ветру. Артиссон подумал, что это вполне может быть фонарь над церковной дверью, и с проснувшейся надеждой на скорое избавление от дождя и стужи, подобно мотыльку, безрассудно стремящемуся к губительному пламени лампады, поспешил навстречу таинственному источнику света.

Увы, буквально через десяток ярдов вместо спасительного для души и тела пристанища взорам его открылся сильно осевший могильный холм и покосившийся каменный крест на нем; прямо за могилой чернела кладбищенская ограда, рядом росла купа из трех сплетенных друг с другом рябин, и по этим приметам Артиссон сообразил, что каким-то образом очутился на самом краю погоста перед местом последнего упокоения Окаянной Морриган. Значит, он находился не менее чем в трех милях от дома, и ровно такое же расстояние отделяло его от приходской обители. Но, конечно, вовсе не таковое открытие привлекло в первую очередь внимание могильщика — сразу за крестом он увидел *нечто:* то ли человеческую фигуру, присевшую на корточки, то ли густую тень... да-да, всего лишь густую тень... не более чем клок тьмы... однако что за пара огоньков блестит там возле самой земли? Быть может, большая собака притаилась под сенью покляпых рябин? Артиссон подошел чуть ближе и присмотрелся: нет, ей-богу, это была не тень и не собака; там, за крестом, без сомнения прятался человек! Вот он начал медленно распрямляться, расти... — Роб Артиссон окоченел, только теперь уж не от холода, а от страха! — существо же тем временем полностью выпрямилось и медленно вышло из-за креста. В тот же самый миг, как по мановению волшебной палочки, дождь прекратился, тучи рассеялись, и перед оцепеневшим от ужаса могильщиком в неверном свете тусклого месяца предстал зловещего вида безголовый призрак...

У Артиссона не возникло сомнений, что явившееся ему существо именно призрак, а не живой человек, — люди не имеют обыкновения разгуливать без головы, пускай и по ночам, — но, Бог мой, как же страшен был его вид! Даже старого Роба, который, в силу своего ремесла, привык к мертвецам и визитам неприкаянных душ, облик сего морока заставил похолодеть до мозга костей: фигура, закутанная в полуистлевший и чуть колеблемый воздушными токами саван, похожий на раздуваемые ветром клочья болотного тумана, буквально источала бесконечную злобу и ярость; казалось, они ощутимыми плотными волнами исходят от нее, будто жар от плавильной печи. Отсвет смерти, тень Тартара и отпечаток могилы покоились на кошмарном духе. Но страшнее всего был не самый призрак, но то, что безглавый дух держал в правой руке — сначала могильщик принял сей предмет за фонарь, но вот призрак поднял и вытянул прямо перед собой костлявую длань, и Артиссон с содроганием увидел, что это иссохшая, изъеденная червями и сморщенная человеческая голова с горящими, как угли адского костра, глазами. Злобный призрак держал голову за длинные седые космы и медленно поднимал все выше и выше, покуда та не оказалась на уровне лица Роба Артиссона; и едва это произошло, глаза ее зажглись еще ярче, совсем уже нестерпимым алым пламенем, почерневшие иссохшие губы растянулись в невообразимо жуткой ухмылке, а из чудовищной пасти вместе с отвратительными ошметками какой-то разлагающейся гадости вырвался леденящий душу вой, сквозь который Артиссон явственно услышал обращенные к нему грозные слова неведомого духа: «Где моя голова?! Отвечай ты, мерзкий падальщик!!» Произнесено это было хриплым глухим басом, который немедля сменился визгливым дискантом, вопрошающим его на гэльском наречии: «Куда ты подевал мое тело?! Старый никчемный пьяница!»

Артиссон в панике отпрянул прочь, но безголовый призрак и не думал отставать, он, словно привязанный невидимой нитью, влекся следом за отступавшим назад могильщиком, голова же с вращающимися огненными очами не переставала вопить, вопрошать и поносить его на разные голоса. Оклики эти сменяли друг друга, множились и учащались, смешиваясь с душераздирающими завываниями, богохульствами, визгом, хохотом, обрывками оскорблений и насмешек; они звучали наперебой, становились все громче и настойчивей, так что обезумевший от ужаса могильщик мало что успевал различить и понять. И вот уже Артиссону стало казаться, будто все вокруг, даже самый воздух, кишит мерзкими существами самых странных и отвратительных обличий: буквально повсюду мерещелись ему бесчисленные толпы кобольдов, пэков, ведьм, гроганов, клураканов, злобных гномов, безобразных сильфов и прочей нежити. Наконец панический страх, подобный припадку падучей, полностью овладел мозгом несчастного Артиссона, он издал короткий пронзительный крик и рухнул без чувств наземь.

Очнулся старик не раньше, чем забрезжил рассвет и первые лучи холодного ноябрьского светила озарили восток. Придя же в себя, он обнаружил, что лежит на пороге церкви, а вокруг него собралась галдящая толпа человек из десяти жителей Чей-

плизода, которые горячо обсуждают промеж собой, спорят и даже бьются об заклад, придет ли могильщик в себя или так и отдаст Богу душу без покаяния.

Целую неделю после этого Артиссон провалялся в жестокой горячке, беспрестанно повторяя в лихорадочном бреду одни и те же, по-видимому, бессвязные, во всяком случае, загадочные для окружающих слова: «Боже, Боже мой! Где была моя голова? Неужто попутал я котелок чертовой ведьмы с чердаком треклятого генерала?!»

Как бы то ни было, спустя семь дней здоровье старика пошло на поправку, насквозь проспиртованный организм одолел казавшуюся смертельной хворь, и Роберт Артиссон, назло беспокойным душам всех тех, кого он успел проводить на тот свет, благополучно вернулся к своей прежней почтенной деятельности присяжного Харона. Но прежней жизнерадостности и веселости не стало уже в характере нашего героя, не с прежними солеными остротами и уморительными прибаутками предавал он теперь ненасытной земле прах своих друзей, родичей и соседей, не распевал, приплясывая, как бывало: «Вот попал ты к черту в пекло!» — над свежими могилами, но часто становился он печален и задумчив без видимой причины, нередко впадал в меланхолию и предавался тайной грусти, свойственной, скорее, акушерам и повитухам, нежели служителям кладбищ. Он даже напрочь отказался от спиртного и вел отныне сугубо трезвый образ жизни. А может ли быть для родственников усопшего что-нибудь отвратительней и невыносимее вида угрюмого трезвого могильщика? Сплин его особенно обострялся в канун Дня Всех Святых, тогда он становился особенно мрачен, замкнут и молчаливо беспокоен. Ибо ежегодно, в эту пасмурную ноябрьскую ночь, стучался у его порога, жутко завывал, хулиганил и поносил старика самыми распоследними обидными словами страшный Безголовый Призрак, прозванный с той поры Ужасом Чейплизода...

Константин Петрович Сопоткин закончил говорить, вздохнул и устало откинулся на спинку скамьи. Теперь, когда возбуждение, вызванное собственным рассказом и виски, стало понемногу улегаться, к нему вновь подкралась легкая жуть, навеянная этим безлюдным местом. Константин Петрович огляделся вокруг: тени деревьев давно уже слились воедино, сгустившись в сверхъестественную тьму, лишь резче и контрастнее подчеркиваемую лимонно-желтым светом редких фонарей; легкие дуновения ночного ветерка отзывались в кустарнике неясным бормотанием, затаенными вздохами и тихим шепотом, казалось, кусты тоже рассказывают друг другу какие-то страшные истории. Вверху, сквозь рваные скопления перистых облаков крадучись пробиралась луна. В ее бледных воровских лучах, сквозь неплотный строй обступивших аллею великанов-вязов и могильных тисов, серебрились смутные очертания множества крестов и надгробий; эти памятники человеческого тщеславия — покосившиеся и прямые, полуразрушенные и относительно целые — смотрелись словно бутафорские декорации к малобюджетному фильму ужасов. Белесые ручейки тумана со всех сторон заползали на гравий кладбищенской дорожки, клубились в зарослях бузины, цеплялись за кинжальные колючки боярышника. Константину Петровичу пришло на ум, что рассказывал он только сейчас как раз об этих самых местах, и мысль о подобной связи подействовала на него угнетающе.

— Должен признаться, мне понравилась ваша история, — нарушил молчание Костромиров, — но, на мой взгляд, ей чего-то не хватает.

— Чего же? — рассеянно спросил Сопоткин.

— По-моему, нужен более впечатляющий... точнее, чуть более замысловатый финал. Чтобы повесть обрела некий подтекст, что ли...

— Вот как? Есть идеи?

— Да, есть... Представьте себе, что в качестве своеобразного обрамления для нее (не знаю, как у вас, литераторов, называется этот прием) вы введете двух дополнительных персонажей — рассказчика и слушателя...

— То есть меня и вас? — уточнил Константин Петрович.

— Ага. Действие, равно как и в нашем случае, развивается здесь же, на Чейплизодском кладбище. Так? И вот, как только рассказчик заканчивает историю...

— Черт! Я догадался, — прервал Костромирова Константин Петрович. — Можете не продолжать.

— В самом деле? А детали вас не интересуют?

— Насколько я понимаю, детали должны приблизительно соответствовать тем, что фигурируют в легенде, — ответил Сопоткин.

— Действительно, — согласился Костромиров, — явление Безголового Призрака лучше обставить...

— Ох, ради Бога, Горислав Игоревич, оставьте! Не ровен час, накликаете... Лучше скажите, вы помните, в какую сторону нам следует идти, чтобы попасть к воротам? А то ваш виски напрочь сбил все мои пространственные ориентиры.

— Не сомневайтесь, отлично помню, — заверил литератора Костромиров.

— Замечательно. Тогда, может быть, пойдем?

— А на посошок?

— Хм... — замялся Константин Петрович. — На посошок? На ход ноги, значит? Ну что ж... Но только если и вы составите мне компанию.

— Как скажете, — Костромиров уже наполнил едва не на три четверти высокий стакан и протянул его литератору. — Вы первый. Верный способ против слишком разыгравшегося воображения. Недаром говорят: спиртной дух изгоняет всех прочих духов. Средневековым экзорцистам следовало бы прибегать не к сомнительной помощи молитв, а к старому доброму виски.

Как только Сопоткин покончил — довольно быстро — со своей порцией, Костромиров действительно налил и себе, но плеснул в стакан лишь самую малость, на два пальца, и в ответ на протесты Константина Петровича выразительно указал на свой желудок.

Покуда Костромиров не спеша смаковал жалкую каплю благородного *Locke's* двенадцатилетней выдержки, Константин Петрович, вновь в значительной степени обретший прежнюю силу духа, с любопытством прислушивался к разнообразным и таинственным ночным звукам. Внезапно, среди странных шорохов, вздохов и шелеста листвы, ему почудилось где-то недалеко легкое прерывистое похрустывание гравия, будто некто почти невесомый осторожно приближался к ним, то и дело останавливаясь и замирая на месте. Сначала он решил было, что это слуховая галлюцинация, но вот те же, похожие на шаги, звуки послышались вновь, на сей раз совсем близко. Константин Петрович даже привстал со скамьи и кинул взгляд в обе стороны аллеи: никого! Либо неведомый пришелец был не только почти невесом, но и невидим, либо у него, Сопоткина, и правда чересчур разыгралось воображение.

— Вы что-нибудь слышите? — спросил он у продолжавшего наслаждаться последними глотками виски историка.

— Вас, во всяком случае, я слышу прекрасно, — отозвался тот.

— Нет-нет, не меня! Вы слышите что-нибудь еще?

— Что же еще я должен слышать?

— Шаги...

— Что? Чьи шаги? — удивленно переспросил Костромиров.

— Не знаю, чьи. Но разве вы ничего не слышите?

Горислав Игоревич прислушался, потом пожал плечами:

— Ничего. Совсем ничего. Вам показалось.

Почти в тот же миг в круг света ближайшего фонаря вышел огромный, почти неестественной величины кот. Константин Петрович не сразу разобрал его масть, но вот котяра сделал несколько осторожных шагов вперед, и стало очевидно, что он чисто белого, как снежный барс, окраса. Сопоткин попытался подозвать его ближе, прошептав: «Кс-кс-кс!» В ответ кот насторожился, замер, а потом выгнул дугой спину, распушил хвост и издал громогласный, протяжный и просто-таки душераздирающий вой, тот самый, который литератор не так давно принял за крик банши.

— Вот ведь зараза! Это же кот старины Тома! — рассмеялся Сопоткин, обернулся к Гориславу Игоревичу, проверить, какое впечатление на того произвел сей монстр, и увидел, что его собеседник сидит к нему спиной и что-то разглядывает позади скамьи.

— А вы что там узрели? Не иначе, подружку этого вопящего призрака, будь он неладен? — Горислав Игоревич ничего не ответил, лишь предостерегающе поднял правую руку — казалось, он к чему-то напряженно прислушивается. — Что вы молчите? — поинтересовался Константин Петрович и, подавшись вперед, заглянул в лицо Костромирову: в глазах того было очень странное выражение, хотя внешне он и казался спокоен. — В чем дело? — раздраженно спросил Константин Петрович. — У вас такой вид, будто вы и впрямь увидели привидение.

Тут Сопоткин проследил за взглядом Горислава Игоревича, и язык его прилип к гортани, а хмель мгновенно выветрился из головы. Сказать, что он испугался, — значит не сказать ничего! Он оцепенел, лицо его побледнело, вытянулось и стало походить на посмертную маску, дыхание в груди перехватило, челюсть отвисла, сердце, отчаянно трепыхнувшись раза три, замерло, и, если волосы вообще способны вставать дыбом, именно это случилось теперь с редкой шевелюрой Константина Петровича.

— Чтоб мне лопнуть! — только и произнес он сдавленным шепотом.

Прямо за их скамьей, на расстоянии всего лишь пятнадцати-двадцати шагов, между поросшим крапивой полуразрушенным склепом и бесформенным памятником из песчаника, неподвижно маячила необычайно высокая и худая человеческая фигура; некое подобие длинного темного балахона, смахивающего на саван или колеблемые ветром клочья болотного тумана, облекало ее, оставляя открытыми кисти рук и ноги от голеней, но там, где у жуткой фигуры должна была быть голова, виднелось лишь

черное звездное небо. Безголовый Призрак! Без сомнения, это был он, Ужас Чейплизода... Константин Петрович невольно изо всех сил вцепился в плечо Костромирова — правая длань Призрака сжимала какой-то инструмент вроде кирки или заступа, зато в левой, опущенной руке его слегка покачивалась иссохшая и сморщенная человеческая голова с горящими багровым пламенем глазами...

Внезапно вновь раздавшийся за их спинами бешеный кошачий вопль заставил Сопоткина и Костромирова подскочить на месте; они живо обернулись и увидели, как огромный белый кот, вздыбив шерсть и яростно сверкая зелеными глазищами, сорвался с места и несется прямиком на них. Ни тот, ни другой не успели ничего предпринять, как животное, даже не задев их, одним молниеносным прыжком перемахнуло через скамейку и, не переставая гнусаво и противно верещать, бесстрашно бросилось по направлению к безголовому чудищу. Впрочем, никакого Призрака там уже не было; как и куда подевался некстати помянутый морок, было непонятно — он просто исчез, канул в ночь, растворился без следа... («Никогда не забыть мне ужаса, что довелось испытать в ту ночь, — любил говаривать впоследствии Константин Петрович, рассказывая друзьям о событиях этого и двух последующих дней. — Непередаваемое ощущение. Восхитительное! Просто восхитительное!»)

— Феерично! — произнес Костромиров и поднялся со скамьи. — Не пойти ли нам посмотреть, куда дернул домашний питомец вашего кладбищенского знакомого? Думаю, милое создание устремилось по следу безголового монстра. Не иначе.

— Ну уж нет! — возмутился Константин Петрович. — На сегодня нам с вами вполне достаточно впечатлений.

— Да, впечатлений масса, — согласился Костромиров.

— Вот и чудненько! — обрадовался Сопоткин и живо поднялся со скамьи. — Значит, на выход.

Костромиров со вздохом опустил в боковой карман кашемирового пальто стакан, затем не спеша засунул и саму бутылку, где еще плескалось с полпинты благородного напитка, во внутреннее, по всей видимости, бездонное отделение, еще раз оглянулся назад, — убедиться, что монструозное создание не появилось вновь, — и жестом предложил Сопоткину следовать за ним.

— Что вы обо всем этом думаете? — поинтересовался Константин Петрович, тоже не переставая тревожно озираться кругом.

— Думаю, за явленным нам маскарадом стоит один ваш хороший знакомый, — спокойно ответил Костромиров.

— Вот как? И кто же?

— Как это кто? Старина Том, конечно.

— Том О'Тул? — удивленно переспросил Сопоткин. — Не понимаю. Он-то тут при чем?

— Элементарно, дорогой Константин Петрович. Элементарно. Ведь именно он рассказал вам легенду о Безголовом Призраке? Так? И никто, кроме него, наверняка не знал, что вы нынче решили прогуляться по кладбищу... Готов поспорить, старик просто-напросто решил позабавиться, подшутить над двумя заезжими доверчивыми иностранцами. Ну, и заодно поддержать репутацию родного погоста.

— Невозможно! — отрезал Сопоткин. — Он вовсе не производит впечатление легкомысленного типа. И потом... Потом, виденное нами отнюдь не походило на маскарад. Вспомните отрубленную голову! Бр-р-р! Просто дрожь берет...

— Ах, бросьте, — пренебрежительно махнул рукой Костромиров. — Подумаешь, голова! С таким же успехом то могла быть хэллоуиновская тыква со свечой внутри.

— Тыква? — с сомнением повторил Константин Петрович. — Не очень-то она смахивала на тыкву.

— А вот поди знай, — отозвался Костромиров. — Поди знай...

Наталья ВЕСЕЛОВА

СОЛОМЕННЫЙ ВДОВЕЦ

I

Напротив, далеко за Академией художеств, и еще дальше и правее — надо всей Петроградкой, в стремительно ярчавшем небе вдруг неведомым образом оказалась словно застывшая на лету со сложенными крыльями бессчетная стая огромных черных птиц. Вот только что они с Кирой шли к зловеще багровеющему в теплой светлой ночи Эрмитажу через площадь Урицкого[1] — и небо было волнующе перламутровым и высоким, без намека на что-то пугающе чужеродное, не идущее городу, как черная фетровая шляпа не пошла бы сегодня к голубому крепдешиновому платью его жены. Жены... Какое странное слово применительно к Кирочке! Подождите-подождите — а он-то ведь — муж, выходит! Кровь бросилась Борису в голову, потому что именно сейчас, на подходе к мосту лейтенанта Шмидта[2], до него вдруг дошел неоспоримый факт, которому в одиннадцать часов утра наступившего воскресенья должно было исполниться ровно двадцать четыре часа: в субботу они действительно расписались в одном из районных загсов и даже получили на руки кремовою бумажку с гербом. Фиолетовые буквы, торопливо написанные невыспавшейся служащей, подтверждали со всей несомненностью, что они двое, Борис Александров и Кира Зуева, вступили вчера в самый что ни на есть законный брак...

— Зачем эти аэростаты? — прозвучал рядом удивленный и даже словно обиженный Кирочкин голос, и Борис, очнувшись, вздрогнул. — Вот кому, интересно, пришло в голову в такую чудную, такую теплую ночь... вернее, уже утро... затевать какие-то учения по ПВХО? Ну, хоть бы сегодня...

— Они же не знали, что у нас свадьба, дурочка... — Борис осторожно приобнял ее, ощутив под рукой модный плотный подплечник. — Вот если б знали — тогда, конечно...

— Иди ты! — Кира смущенно высвободилась и — закружилась по гранитным плитам, запрокинув голову, невесомая в своем первом «настоящем» платье и ловких черных туфельках. — Я — жена, я — жена, я — жена! — пропела она, размахивая крошечной, чуть побольше кошелька, сумочкой. — Как здорово! Правда?

— Конечно... — не совсем уверенно отозвался Борис и принужденно улыбнулся.

Бумажка о законном браке лежала в нагрудном кармане его нового пиджака; Кира хотела было положить в сумочку, но он решительно воспротивился — вдруг потеряет — и убрал в более надежное место. Свадебный ужин тоже состоялся, как тому и положено, — на Васильевском, где Кира жила с вдо́вой матерью-учительницей и двумя младшими сестрами — в комнате узкой и тесной, как тот зеленый троллейбус, что уж пять лет ходит, битком набитый гражданами, от улицы Красной до Красной[3] же площади... Его-то мама, да и он сам, понятное дело, хотели праздновать в Смольном, в их большой светлой комнате при хозяйственной части, да только не удалось достать необходимое количество пропусков для гостей — а упрямая Кира обязательно желала

[1] Дворцовая площадь.
[2] Благовещенский мост.
[3] Площадь Александра Невского.

видеть на свадьбе целый букет из своих писклявых однокурсниц в одинаковых белых сарафанчиках с голубыми пуговицами и резиновых тапочках, заботливо натертых зубным порошком, и тоже — представьте себе — на голубых пуговичках! Они хохотали и ели, ели и хохотали, иногда спохватываясь и вспоминая, что давно не кричали «Горько!» — и тогда старинная пыльная люстра под высоким потолком звенела от их пьяненького, но дружного визга. Редкие баритончики и несмелые молодые баски приятелей Бориса безнадежно тонули в девичьем, будто галочьем гвалте — и все, неутолимо голодные, вновь жадно кидались на невиданную дотоле еду. Это, конечно, мама расстаралась: она работала на раздаче в столовой северного, «секретарского» крыла Смольного, где питались, конечно, не секретарши, а именно секретари: горкома и горисполкома — ну, и начальники отделов, само собой. Секретарш — тех гнали в южное крыло для «аппарата», победнее и попроще. Да и не имело это значения, а важным было то, что даже в глухое, страшное и темное время войны с белофиннами, когда в ленинградских магазинах остались только хлеб и чай, да и за теми нужно было занимать очередь с ночи, в их с мамой уютно натопленной комнате всегда стоял меж оконных рам наваристый мясной суп, лежали свертки с ароматной колбасой, сливочное масло в красивой коричневой бумаге. По воскресеньям мама заставляла юного Борю съедать по два бутерброда с красной или черной икрой — он ненавидел и ту, и другую, но столовая ложка рыбьего жира, которой обычно грозила мать в случаях его «ломания», виделась гораздо более страшной, способной отвратительным послевкусием испоганить весь сияющий радостью выходной день... Но в день свадьбы эти бутерброды, к его удивлению, разлетелись раньше всего остального. «Ребята, имейте совесть, оставьте бутербродик жениху!» — трагически взывала, помнится, какая-то смутная «Людочка» — а он, смеша всех, скривил ужасную рожу и стал отмахивался обеими руками. «Борис, — в тот же миг на плечо ему со строгой лаской легла холодная, как у статуи в Летнем, рука тещи. — Возможно, это и не мое дело, но хочу напомнить вам, что вы — действительно жених. А в старое время жениху и невесте на свадьбе хмельного вообще не давали. В интересах потомства... Ну, вы меня понимаете...» Он покраснел так, что даже жарко стало, и тут же поймал испуганный Кирочкин взгляд: она, наверное, тоже подумала о неизбежном «потомстве» и успела представить себе заспиртованного уродца из Кунсткамеры. Они тогда вместе *это* увидели: просто завернули за угол и натолкнулись — и ему ли не помнить, какой ужас отражался в ее глазах, когда она пулей летела из музейного зала (он — следом) и бормотала на лету: «Это все он, отец его, пьяница проклятый, — откуда еще *такое* могло взяться...»

Борис засопел, дальше пил только ситро — и с каждой минутой ему делалось все больше и больше не по себе, к тому же гости начали понемногу собираться и, оставляя щедрые белые следы зубного порошка на полу, уходили шумными кампаниями — а парни еще и показывали ему за спиной девушек очень неприличные, но легко читаемые знаки, призывавшие «не робеть» и, уж конечно, «не подкачать». Но не робеть он не мог и вовсе не был уверен, что не подкачает. Бывая раньше в гостях у сокурсников, он, разумеется, как и все они, прикидывался «бывалым», скромно, но убедительно играя роль небрежно-опытного товарища, которому приелись легкие красивые победы. Роль его оказалась нетяжелой — судьба подсобила: в их коммунальной квартире в хозчасти Смольного раньше проживало семейство шофера какой-то горкомовской «шишки», и старший сын, шалопутный Санька Тараканов, имевший само собой разумевшуюся кличку, учился на врача: «выучить» детей по-настоящему, чтоб вырвались из обслуги, считалось среди простого, но много видевшего люда делом особой чести. Таракан посчитал своим долгом свысока просветить сосунка-соседа, одолжив ему как-то на ночь один из своих недоступных простым смертным медицинских учебников, снабженных вполне соцреалистическими иллюстрациями, где у хитроумно связанных и взнузданных простынями женщин, приготовленных «к малым гинекологическим операциям без хлороформирования», были педантично прописаны даже ресницы на туповато-спокойных лицах. Прячась от матери, ритмично всхрапывавшей за внушительным шкафом, Борис изучал дивную книгу с помощью не раз выручавшего и раньше фонарика в кромешной тьме одеяловой норы, изредка опасливо высовывая пылавшую голову, чтобы глотнуть свежего воздуха, а утром, вполне теоретически образованным молодым человеком, спокойно и крепко заснул на полчасика, спрятав сокровище под подушку... Было это давно, еще в школе, но плоды принесло изумительные: теперь в его бывалости никто из окружения и не думал сомневаться — ведь Борька умел при случае козырнуть такими ошеломительными подробностями, каких и представить не мог никто из действительно успевших наскоро надкусить еще зеленый запретный плод друзей — студентов Технологического института.

Но вся интрига состояла в том, что теория так пока и оставалась теорией: пусть Борис и убеждал себя день ото дня старательней, что «Байрон тоже был хромым — и ничего», но приблизиться с определенной целью к любой, даже наидоступнейшей де-

вушке — своей ныряющей, словно заранее извиняющейся за несуществующие грехи походкой, — он не смог бы даже под угрозой немедленного расстрела как врага народа. Пусть уж лучше стреляют — только не увидеть еще раз такого же полупрезрительного, полужалостливого взгляда, какой кинула на него несколько лет назад серая мышка (специально выбрал неизбалованную!) Людка Быкова, когда он, кругами проходив вокруг нее месяц, собрался, наконец, с духом пригласить ее на новую звуковую картину «Волга-Волга»...

Ему было пятнадцать, когда в бывшем Таврическим саду, ныне носившем гордое название Парка культуры и отдыха имени Первой пятилетки, торжественно открылся первый в Ленинграде роликовый каток, красиво именовавшийся «скетинг-рингом». Он и теперь, зажмурив глаза, мог в подробностях представить себе те дурацкие плакаты с толстой стриженой брюнеткой в красной кофте и на роликах, словно лягающей мощной «задней» ногой на колесах крошечную мужскую фигурку в белом... «Скетинг радиофицирован, — сообщала черная надпись у «передней» ноги. — Буфет с прохладительн. напитками». Да, да — и такая смешная деталь навечно приклеилась к доверчивым мозгам: окончание «-ыми» то ли не влезло, то ли посчитано было лишним... Обещали еще с каждой афишной тумбы и какие-то «всевозможные танцы и пр.» под руководством роликобежца-виртуоза Кочкурова... «*Кролико*бежца! — много лет слышал потом во сне Борис незамысловатый каламбур одноклассника. — Бегает, наверно, как кролик!» На бывшей Думе пробило восемь — «скетинг» как раз открывался — и в ту же секунду лихо подкатил новенький, только-только запущенный тогда по проспекту 25 Октября[1], пахнущий свежим лаком скамеек угловатый зеленый троллейбус с белой крышей и добрыми глазами-фарами. Борька с товарищем сели и поехали — ненадолго, только примериться: назавтра предстояла контрольная по неорганике... В школу он вернулся только через год — с правой ногой короче левой на шесть сантиметров, почти переставшим сгибаться коленом и толстой прокладкой в неестественно измятом ботинке.

...Было нисколько не больно, и в первую секунду он опрометчиво решил, что повезло — даже синяка не набил. Ехать на роликах после двух-трех несмелых попыток и мягких приземлений на пятую точку вообще оказались не труднее, чем на обычных коньках с черными ботинками, — а здесь и ботинок не требовалось: продеваешь ногу прямо в резиновом тапочке сквозь два ремешка — поперек стопы и через пятку — и гони себе по кругу, а хочется шика — крутись в обещанных танцах безо всякого руководства... Промчаться с ветерком, приноровившись по-настоящему, он успел только полтора круга, когда огромная тетка, остриженная «в скобку» и одетая, точно как на плакате, в кумачовую рубаху, с воем налетела на него откуда-то сбоку, будто отчаянно гудящий паровоз, смела, как котенка с рельсов, и грузно понеслась по одной ей ведомой траектории... А Борис, от неожиданности почти упавший, присев на левой ноге и неловко выставив пистолетом правую, отчего-то уже бесколёсную ногу, вихрем промчался к ограждению — и с удивительно громким хрустом врубился в него. Он сразу же вознамерился встать, почистить только утром наглаженные мамой и весьма уже испачканные брюки, разыскать упавший конек... И не понял, на что такое острое и твердое, как лыжные палки, натыкается, отряхивая брючину, его удивленная ладонь, почему у одноклассника, конопатого Лёхи, так широко отрыт в беззвучном вопле крупнозубый рот, а веснушки словно повисли в воздухе над посеревшими щеками, зачем трясет его за плечи, как жадную яблоню, незнакомая перепуганная девушка в белой с красным крестом косынке и о чем она его так настойчиво спрашивает...

Боль пришла потом — когда лежал в больнице на вытяжке и сутками вопил не своим голосом, так что добрый старенький профессор с белой бородкой-клинышком даже постоял над ним однажды минутку, посочувствовал: «Ну, что, милый? Лечат тебя по методу Малюты Скуратова? Э-эх, бедняга ты, бедняга», — и ушел. Но появился, как по щучьему веленью, неслыханный морфий, ненадолго ту боль утоливший. Его просто и быстро обеспечил отец просветителя-Таракана — вернее, та еще не расстрелянная тогда строгая горкомовская «шишка», что ездила с ним на заднем сиденье замечательной черной «эмки». Расчувствовалась «шишка» от жалобного рассказа своего водителя, буркнула небрежно пару слов в эбонитовую трубку — и сразу к Борьке прибежала медсестра со стеклянным шприцем — и долго, между прочим, бегала, а не то бы совсем беда... Когда «шишку» расстреляли — и Тараканова-отца с семьей на всякий случай — сестра прибегать перестала, наоборот, глядела непроницаемо. Правда, боль к тому времени стала уже вполне терпимой и без морфия...

В институте Борис догадался с первых же дней принять вид особенный и загадочный. На чей-то наивный вопрос: «Это с рождения у тебя так?» — сдержанно покачал головой и помрачнел лицом, оставляя воображению новых товарищей широкий

[1] Невский проспект.

простор для полета. Повезло, что в первые же дни принялись ребята горячо обсуждать в курилке гражданскую войну в Испании[1], причем каждый отчего-то стремился привести абсолютно несокрушимые оправдания тому позорному факту, что сам в добровольцы не записался. Бориса деликатно не спрашивали — да он и не нарывался — лишь, охваченный мгновенным, какое бывает, должно быть, только у поэтов, озарением, с силой выдохнул через нос едкий дым дешевой «Звезды» и нервным движением смял тонкий окурок о край урны. «А некоторым... пришлось...» — прерывисто пробормотал, словно себе самому, — и тотчас вышел, никому не кивнув. Он ни на что не рассчитывал и почти не играл — само получилось, даже испугался слегка. Никто его потом ни о чем не расспрашивал, но в самом отношении новых приятелей с тех пор сквозило легкое, будто недоуменное уважение. Может, и правда, *это* — из Испании? И спрашивать нельзя — какое-нибудь секретное задание? Но в остальном парнем он оказался своим в доску, да еще вдобавок охотно подкармливал настоящей колбасой из Смольного тех, кто выглядел уж совсем обтрепанным и откровенно голодным, живя на одну студенческую стипендию. С девушками все годы учебы держался вежливо, но отчужденно, а в сугубо мужских компаниях прозрачно намекал на страстные связи где-то на таинственной «стороне»...

Очередной Новый год встречали всей группой в полном составе на площади Урицкого. Подумать только — казалось, еще совсем недавно строгая учительница с высокой прической заставляла шестиклашек стройно скандировать в классе вовсе не шуточное двустишие: «Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов», — а теперь вот не то что елка, а сама Александровская колонна украшена была не хуже: освещенная несколькими прожекторами, она, должно быть, символизировала советское изобилие, увешанная огромными «шоколадными» бомбами, устрашающих размеров картонными колбасами, сверкавшими бумажным серебром, бутафорскими консервными банками, пустопорожне гремевшими на ветру о гранит, и папиросными коробками «Герцеговина флор» размером с рояль. Борис, привыкший к сытной жизни бывшего института благородных девиц, воспринимал происходящее вполне серьезно и невольно раздражался, слушая опасно шутивших среди ушастой и глазастой толпы одногруппников. Один из них, то снимая, то надевая круглые очочки, очень смешно изображал в лицах, как бегал минувшей весной рано утром из магазина в магазин, везде отстаивая очередь и покупая по сто разрешенных к отпуску в одни руки граммов еды, чтобы собрать к Первомаю продуктовую посылку «тетушке в Выдропужск[2]». Корчились от хохота все, включая и самых скромных девушек, стыдливо вытиравших платочками веселые слезы... «Война[3] же кончилась! — повторяли они сквозь смех, как по команде. — Теперь всё скоро будет, всё-всё-всё!» Никто и не спорил — молодежь целенаправленно веселилась.

Среди своих по рукам шла уже четвертая бутылка «Плодово-ягодного», когда боковым зрением Борис уловил неподалеку что-то родное. Именно родное — так он определил для себя, еще не повернувшись. Там кто-то *хромал*. Причем хромал именно так, припадая и вскидываясь, как и он сам, да еще и на ту же ногу. Сделав стремительный разворот на здоровой ноге, молодой человек увидел юную растерянную гражданочку в основательно потертой беличьей шубке и полудетском вязаном капоре. Тоненькие ножки, всунутые в несоразмерно объемные боты, тревожно топали по крошечному пятачку свободной от ликующих товарищей мостовой; судорожно, как подбитая утица, девушка ныряла на каждом шаге вправо, с усилием выпрямляясь... Борис не помнил, как оказался рядом с ней, знал только, что не чувствует никакой неловкости и униженности, а, наоборот, подлетает к ней кем-то вроде ангела-избавителя — если бы, конечно, таковые не являлись идеологически вредной сказкой:

— Гражданочка, вы, наверное, потеряли что-то?

Ее лицо как раз в ту секунду коротко лизнул прошедший по толпе прожектор, и хромой ухажер на миг увидел очень ясные, как летняя ночь, глаза.

— Это не я, а меня потеряли, — спокойно и доверчиво сообщила она. — Мама и сестренки. И теперь уж не найдут в такой толчее. Придется мне, видно, одной до дома ковылять...

— Не одной! — обрадовался Борис, снова ведомый в те минуты чем-то вроде вдохновения. — Мы вместе поковыляем! Я ведь — тоже — видите? — и он демонстративно прохромал перед ней несколько шагов туда-сюда: вовсе не стыдно показалось, потому что она была — своя, хроменькая...

— Бедненький! — пожалела девушка. — Упали?

— Да, на роликах... Много лет назад, — сознался он. — Глупо, конечно, вышло...

---

[1] 1936-1939 гг.

[2] Город в Тверской области.

[3] Советско-финская война 1939-1940 гг.

— На роликах — не глупо, — со знанием дела утешила она. — Глупо — это когда, как я: только поняла, что меня потеряли... то есть я сама потерялась... Так и побежала сквозь толпу, не зная куда, как последняя дурочка... А у меня в эти боты-то — ноги прямо в туфлях вставлены. Тепло, но неудобно — вот и брякнулась! Нога подвернулась, ботик один улетел, еле нашла его — чуть не затоптали... Представляете — я тут ползаю на коленках, чулки новые порвала, боль ужасная — а они кругом прямо из горлышка вино пьют и хохочут... Потом нашла его — а лодыжка так распухла, что еле влезла... Вот и хромаю тут... В другой день давно бы заплакала, да нельзя — Новый год же! Бабушка говорит, как встретишь, так и проведешь. Не хочется весь год рёвой ходить — вот и держусь как умею... А вы говорите — на роликах глупо... Да глупей, чем у меня, не бывает!

— Насчет того, что весь год — это предрассудки, плачьте себе на здоровье, если хочется, — авторитетно изрек Борис, только что одну за другой постигший две непреложные истины: во-первых, эта милая храбрая девочка хромает *не навсегда*, а во-вторых, хромая только временно, она вовсе не гнушается стоять тут с ним, хромым *пожизненно,* — и не только не гнушается, но даже и не думает смотреть на него страшным взглядом Людки Быковой, а смотрит светло и ярко, как лампочка Ильича...

Отрез голубого крепдешина на платье для загса подарила Кирочке Борина мама, пять лет горевавшая о том, что ее горячая мечта о внуках имеет мало шансов на осуществление. При вести о скорой женитьбе увечного сына — да не на замухрышке какой-нибудь, а на приличной девушке из трудовых интеллигентов, она воспряла духом настолько, что даже сама предложила жениху с невестой располагаться после росписи на Бориной половине комнаты, за книжным шкафом, сколь угодно привольно — а о разрешении на прописку она договорится: как-никак, с восемнадцатого года при Смольном, знакомствами обросла, что твой корабль ракушками — вот хоть завтра с маникюршей из родного «северного» переговорит... Кожаные туфли со скрещенными ремешками — купленные еще у нэпмана, но вполне целые и с новыми набойками — пожертвовала молодая Кирина бабушка, а младшие сестры-двойняшки щедро скинулись со стипендии на настоящие фильдеперсовые чулки. Будущая теща несколько ночей подряд, проверив очередную стопку школьных сочинений, не разгибая спины, строчила на столетнем «Зингере» капризный небесного цвета материал, из которого постепенно, как статуя из мраморной глыбы, рождалось дивное платье с рукавами-«-фонариками», с легким летящим подолом...

...Со своей свадьбы они ушли последними, через час после отбытия вполне довольной жизнью свекрови, объявившей, что ей завтра к шести утра на работу, — потому что люди «и по воскресеньям тоже жрать хотят». Рабочая смена в «секретарской» столовой Смольного длилась шестнадцать часов, зато работать приходилось через день; работы мать Бориса не боялась, привычная к ней задолго до исторического Октябрьского восстания. Ей было что восемь, что шестнадцать — так и так наломаешься, зато всегда знаешь, что завтра выходной...

— На трамвай, смотрите, не опоздайте, — предупредила она, сосредоточенно приделывая себе перед трюмо ярко-красную шляпку — милую, дамскую — но совершенно лишнюю на ее крупной, ушастой, спокойно обходившейся вообще без шеи голове. — И, как в комнату войдете, не топайте там особо: мне в пять утра вставать, между прочим. Ты, Кира, пропуск-то не потеряла?

Но Кира все норовила остаться ночевать в родном доме, на каком-то историческом сундуке, где проспала всю жизнь — а мужу разложить посередине комнаты допотопную деревянную раскладушку:

— Мама, может, мы завтра в Смольный поедем, а сегодня уж и трамваи, наверное, не ходят... — умоляюще шептала она, прощально повиснув на шее у матери, словно уводимая в полон.

— Ты сама все решила, — сдержанно выдиралась та из отчаянных объятий. — Никто не неволил, что уж теперь-то... — и бросала непонятный, словно исполненный гнева взгляд на мявшего кепку в дверях зятя. — Ну, довольно, довольно... Последний трамвай тебя дожидаться не станет...

Трамвай и не дождался. То есть, если бы они побежали, крича и размахивая руками, как это сделала стайка свежеиспеченных выпускниц, белыми бабочками взлетевших в конечном итоге на заднюю площадку, то усталый седоусый вагоновожатый, словно сошедший с плаката, где с мудрой суровостью обличал беспечного «летуна[1]», похожего на комара с портфелем («Хорошо — летаешь, где то сядешь?»), непременно помедлил бы на остановке, добродушно усмехаясь на «дело молодое». Но юные су-

[1] Презрительное прозвище тех, кто часто менял место работы.

пруги дружно сделали вид, что до узкого гремящего и звенящего трамвайчика им нет ровно никакого дела — ни молодого, ни старого.

— Да-а, действительно не успели... — с деланым огорчением протянул Борис.

Жена его тоже облегченно выдохнула:

— Да, жалко... — и сразу оживленно прибавила: — А ты заметил, что когда едет трамвай, то это всегда как музыка? Ни у автобуса, ни у троллейбуса, ни, тем более, у грузовика такого нет. А трамвай — прямо музыкальная шкатулка на колесах. Тут тебе и звон, тут и деревянные ложки, и...

— Тебе надо было на учительницу не математики, а музыки идти, — улыбнулся «муж», к которому, как только выяснилось, что скоро попасть домой им заказано, вновь вернулась обычная уверенность «бывалого» дипломника из Техноложки. — Если этот красный гроб на колесах тебе музыкальной шкатулкой кажется...

— Как жаль, что ты не слышишь... — печально отозвалась Кира. — Впрочем, я тоже не всегда... Это бывает, только когда во мне что-то такое обостряется... Не могу объяснить... Ты ведь не поверишь, если я скажу, что своя музыка есть даже в высшей математике... — (при мысли об этой заковыристой науке Бориса, дважды пересдававшего ее на третьем курсе, слегка передернуло). — Вот, например, формулы... Тебе никогда не казалось, что они напоминают звезды? В смысле, когда вся черная доска в аудитории бывает исписана уравнениями, то, если прищуриться, — это как созвездия на звездном небе: так же притягивают и страшат немножечко...

— ...и примерно так же понятны, — в тон ей протянул Борис и улыбнулся: — Фантазерка ты все-таки у меня... — и добавил бодрости в голос: — Ну что — к Неве? Как раз тут и выйдем к Крузенштерну... — и он начал горячо, с подробностями, рассказывать Кире, как мальчишкой тайком бегал сюда купаться, потому что за памятником — самое глубокое место Невы у берега, так что, ныряя вниз головой, почти не рискуешь свернуть себе шею; а мелкое, наоборот, у Сфинксов — там раньше можно было купаться, даже матери с детьми, бывало, у ступеней плавали, но потом милиция гонять стала — то ли из-за того, что утопленники все же были делом нередким, то ли Академия художеств напротив, иностранцы смотрят — неловко...

Невозмутимый Крузенштерн вырос перед ними на фоне старой притопленной баржи — и на Бориса снова непредсказуемо накатило:

— А что?! Сейчас, можно сказать, жарко. Эх, тряхну стариной!.. — и он решительно взялся за пуговицы пиджака, меж тем как в голове пронеслась неожиданная и, определенно, правильная мысль: «Вот она мою ногу и увидит заранее — при самых обычных обстоятельствах — ну, искупаться решил человек... Тогда *потом* не так страшно будет...»

Поэтому напрасно новобрачная цеплялась за руки неуклонно раздевавшегося в первую брачную ночь супруга, взывая к нему: «С ума сошел! Не позволю!» — он остервенело-весело сорвал праздничную рубашку, запутался в преждевременно упавших брюках, чуть-чуть попрыгал на здоровой ноге, высвобождая пострадавшую — и, зажмурив глаза, быстро заковылял по траве большим неуклюжим карлой. На краю он, как смог, сильно и отчаянно оттолкнулся — и неловко ухнул топориком в забыто холодную воду великой терпеливой реки. Мощное ледяное течение жестко зацепило его за ребра, ослепило неожиданной темнотой, туго сдавило на миг, будто гигантский змей, останавливая сердце, — и вдруг разжалось и выплюнуло на свет и воздух. Вернувшийся слух ухватил пронзительное, словно утиное кряканье: «Бор-ря! Бор-ря! Бор-ря!» — это надрывалась, стоя у самого края с подобранной юбкой, будто готовясь к прыжку, встревоженная Кирочка. Борис подтянулся на руках и уселся на травянистом обрыве:

— Ну что ты всё — «Боря, Боря»? Заладила. Уж и искупаться нельзя. И тебе советую. Очень освежает, между прочим... — страшное прошло, и теперь снова можно было говорить спокойно.

Они медленно дошли до Дворцового моста, обогнули Эрмитаж — надо же, еще и покрасить не успели, а бордовая краска уже слезает! — прошлись вокруг колонны по площади Урицкого. Борис сжал руку жены:

— Помнишь?

Она загадочно-счастливо кивнула:

— Да. Там еще под аркой еловый лес сделали. И Волк с Красной Шапочкой ходили под руку — смешно, да? И еще ворона была — та, с сыром, помнишь? А я пригляделась, смотрю — а это не ворона, а ворон, потому что парень. И сыр у него был картонный... — они вновь повернули к набережной. — Почему это все люди такие праздничные сегодня? — оглядываясь кругом, спросила Кира. — Все девушки такие нарядные, парни в костюмах... И взрослых почти нет — одни милиционеры — и те какие-то веселые. А вон — слышишь? — поют!

Откуда-то, действительно, вполне стройно грянуло: «Широка страна моя родная,

много в ней лесов полей и рек...» Супруги разом обернулись и увидели идущих под руки неровной шеренгой парней и девчонок — к ним на ходу присоединялись другие и подхватывали: «Я другой такой станы не знаю...»

— Где так вольно дышит человек! — хором выкрикнули, поравнявшись с ними, Кира с Борисом и помахали ребятам.

— Вспомнил! — Борис остановился и шлепнул себя по лбу. — Сегодня же у детей — выпускной! Еще девчонки на Васильевском за трамваем бежали! А ты уж, наверное, вообразила, что это в честь нас в городе праздник, да? Ну, признавайся — да? — он со смехом теребил ее. — А это всего лишь детский бал!

Он с таким удовольствием произнес это уничижительное «детей», что уже преднамеренно прибавил снисходительное «детский» вместо лояльного «школьный» — и стало все кругом легко и понятно: к нему это давно и окончательно не относится. Он теперь взрослый женатый человек — ну, прихрамывает немножко, какое это имеет значение! Он зимой защитит диплом и станет инженером, а жена его через год — учителем. Они станут честно трудиться, и вскоре государство выделит им хорошую собственную комнату, так что уже не надо будет прятаться за шкафом от мамы. И у них, конечно, родится здоровый крепкий сынишка, которого он будет водить за руку вдоль Невы, смотреть с ним на корабли, а еще года через три — кудрявая голубоглазая дочурка, и Кира станет повязывать ей на макушку пышный розовый бант...

Они перешли мост лейтенанта Шмидта, одобрительно глядя вперед и вверх на замершие в теплом небе аэростаты: это ведь тоже хорошо, что и в такую мирную ночь идут своим чередом военные ученья, это значит, что те, кто нужно, — не спят и несут свое вечное дежурство, охраняя воскресный покой трудового советского города.

Напротив Академии художеств стоял с открытой дверью и опущенными стеклами казенный серый автобус — и туда весело запрыгивали один за другим ребята постарше — уже не школьники по виду, а студенты или молодые рабочие.

— Вы откуда и куда? — пританцовывая, крикнула им Кира.

— Из Москвы! — охотно отозвалась румяная девушка в белом беретике, бесшабашно сдвинутом на ухо. — На экскурсии здесь, белые ночи ваши смотрим! Сейчас — на Острова едем! Айда с нами!

— Айда! — преувеличенно бурно согласился Борис, хватая Кирочку за руку.

Несчастная нога его давно уже отчетливо ныла от долгой ходьбы, в чем он закономерно предпочитал не признаваться, и отрадной показалась мысль протянуть страдалицу под чье-то сиденье и тайком помассировать. Ему это вполне удалось, когда, проезжая вдоль Невы, песню про нее с ходу как-то не вспомнили и запросто переключились на другую, не менее известную реку:

— Красавица народная, — гремела их «музыкальная шкатулка», — Как море, полноводная, / Как Родина, свободная, / Широка, глубока, сильна!.. — а Борис, не участвуя в самодеятельности, старательно растирал место давнего перелома.

На Островах они от шумных москвичей отбились — хотя и там гуляющих было хоть отбавляй. Искоса поглядывая на побледневшее личико жены, Борис вдруг понял, как же она устала за минувшие сутки: вся эта утренняя нервотрепка в загсе, последующая суета со свадебным угощением, потом испытание бурным ужином, принудительным весельем... И, наконец, эта незапланированная прогулка — а все потому, что деваться молодоженам принципиально некуда, кроме как к матери за шкаф, — вроде бы и у всех так, а только... Не по-людски как-то, вот что. Не сядешь, не поговоришь, не обнимешь...

— Давай на пляж... — тихо предложил он. — Хоть отдохнем немного, а там и трамваи пойдут... — поколебался и добавил: — До Смольного доберемся — мама уже на работу уйдет, никто не помешает... — все-таки запнулся, — выспаться...

Борис расстелил для Киры пиджак на холодном песке меж двух неизвестных кустов, а когда она осторожно прилегла, подсунул ей под голову свою кепку. Сам пристроился рядом, с локтем под щекой, поколебался — и нерешительно обнял обмякшую девушку:

— Ты подремли, я подежурю.

Она уютно поёрзала и тоже робко обхватила его за бок. Но подежурить Борису не удалось: беспомощно проваливаясь в бархатную бездну, он только успел услышать ее сонный шепот у своего лица:

— Какой счастливый день наступает... Вот стану я бабушкой, и спросят меня внуки: «Какой, бабуля, у тебя был самый счастливый день в жизни?»... А я им и скажу... Скажу: «Двадцать второе июня... Одна тысяча... девятьсот сорок первого года...»

II

Борис назывался теперь двумя безобидными по отдельности и страшными в своей неожиданной связке словами: «кухонный мужик». Как писалась эта странная должность в отделе кадров Смольного, он не запомнил, а неофициально звучала она, как ни крути, — оскорбительно, отдавая чем-то замшело дореволюционным. Тесно спаянная команда «южной» столовой для «аппарата», по-семейному делившая военные тяготы, в начале ноября сразу приняла, как родного, единственного сына доброй Васильевны, по-прежнему трудившейся в противоположной «северной», заслужив эту привилегию без малого четвертьвековым беспорочным трудом. Ее миновали жестокие чистки тридцать пятого, безжалостно прошерстившие жировавшую обслугу, когда в расход пустили даже официанток, полотеров и уборщиц, обвиненных в том, что «*могли* слышать контрреволюционные разговоры», — нашлась на них и такая заковыристая статья. А Васильевну не тронули, что, по мнению чуткого местного племени служилого люда, парадоксально доказывало ее незамаранность доносительством: недолго торжествовавших сексотов преспокойно расстреляли сразу после тех, на кого они недальновидно доносили.

Все это Борис знал давно и, в целом, не особо такими подробностями интересовался. Довольно с него было и теплой квадратной комнаты, сытной хорошей еды, ласковой нетребовательной матери — все равно он должен был скоро стать итээром, уважаемым инженером-конструктором, зажить другими, не приземленными идеалами... Так оно и случилось бы, если б не война.

«Если б не война... Если б не проклятое двадцать второе июня...» — остервенело отдирая специальным ножом толстую склизкую корку, налипшую внутри простоявшего весь день под паром котла, повторял про себя увечный «кухонный мужик» Боря, не взятый из-за хромоты даже в ополчение, куда прямо перед ним записали кривого парня, не приняв во внимание его неподвижный стеклянный глаз. «С одним глазом воевать еще лучше: когда целиться будет — прищуриваться не надо. А ты не то что в атаку побежать — тебя еще на марше самого, вдобавок к полной выкладке, на плечах нести придется», — так объяснил свой поступок пожилой лейтенант, подняв усталые, в частой сеточке красных прожилок глаза от длинного карандашного списка.

Борис, наконец, перевернул освобожденный котел, аккуратно вытряхнул на газету размякшую корку, собираясь нести ее в мусорный ящик.

— Ты чё, спятил? — рядом бесшумно возник пятнадцатилетний Валька, сынок раздатчицы тети Зины, тоже пристроенный мамой на подхват. — Это ж каша пшенная! На молоке! Кипяточком развести да вилкой помять — и все дела!

— Голодный ты, что ли? — удивился Борис.

В дополнение к общим продуктовым карточкам, превратившимся теперь в главные семейные ценности для подавляющего большинства ленинградцев, в Смольном выдали, каждому соответственно рангу, еще и свои, местные карточки на завтрак, обед и ужин. Тот, кто отдал обычные, «голодные», карточки кому-то из родни в городе, лишался за обедом мясного блюда и вынужден был есть пустой гарнир — чаще всего вермишель без подливы или сухую картошку. Но они-то с Валькой сегодня съели по говяжьему биточку и каши с маслом и хлебом от пуза! А Вальке потом еще и суп почему-то не понравился, и он его красноармейцу из охраны отнес — а тот ему что-то в карман сунул... Да и матери их каждый день домой то мясо, то рыбу, то картошку приносят... А этот... Хотя ведь расти, наверно, пареньку нужно...

— Тебя как ни корми — все не в коня корм. А в городе люди, говорят, даже кошек съели, — упрекнул он жадного пацаненка.

— Вот и я говорю — съели, — Валька по-свойски подхватил Бориса под руку, отвел чуть в сторонку и незаметно повертел головой туда-сюда. — А мать тут как-то на проспект Володарского к подруге своей ходила — так говорит, они там вообще на улицах мрут, честное слово. Обстрелы — это само собой, а больше от голода... Здесь у нас об этом говорить — сам знаешь. Только шепотом.

— Неужели прямо мрут? — усомнился Борис, «шепот», конечно, слышавший не раз, но предпочитавший списывать его на бабьи «страсти». — Я-то сам в городе с осени не бывал — идти не к кому. Друзья все на фронте, жена...

— Да знаю я... — хитро подмигнул ушлый парнишка. — Соломенный ты наш вдовец, жену из армии ждешь... — он было похабно хихикнул, но Борис нахмурился:

— Но-но, ты давай не очень, а то ка-ак...

— Ой, испугал! — в притворном ужасе закрывшись локтем, Валька недалеко отскочил. — Да ты слушай меня, чудило, я дело говорю — как раз и бабе твоей хорошо выйдет. Корку-то — пшенную там или вермишелевую — не выкидывай. В газете под бушлатом с собой уноси. А дома — по банкам, по банкам ее, родимую...

— Зачем? — опять изумился тугодумный Борис. — Хотя правильно: красноармей-

цы эти с командиром, что на кухне всегда дежурят, одним армейским пайком живут. Я видел, как ты суп им носил — молодец. Я тоже иногда свой отдаю. А вот если кашу эту им вроде приварка... Ловко придумал, хвалю за сообразительность!

Теперь уже Валька воззрился на старшего товарища в полном недоумении — отсутствующие брови полезли вверх:

— Слушай, откуда ты к нам свалился такой правильный — хоть сейчас в ВКП(б)! Какие красноармейцы? Какой приварок? Паёк дают — и хватит с них! Я тебе про что толкую? Я тебе про ба... про жену твою говорю! Вот вернется она с фронта, а ты ей — подарок! Кольцо, скажем, золотое или там серьги какие-нибудь...

— Зачем ей серьги, у нее и дырок-то в ушах нет, — все еще не понимал Борис.

— Да в ушах и не обязательно, главное, чтобы... Всё, понял, — он быстро поднял ладони в ответ на угрожающий жест Бориса. — Ну, горжетку тогда, как у Зойки-официантки. С лапами, глазами и зубами — видал?

— Не темни, говори прямо, — строго глянул «кухонный мужик».

— Прямо так прямо, — покладисто согласился Валька. — Литровая банка кашки такой на толкучке у Кузнечного на золотой перстенек тянет. А не то — на шевиотовый довоенный костюмчик с такими шкарами, что носы ботинок закрывают, — глядишь, и сам приоденешься. Верно говорю: сам туда раз сгонял, но одному страшно — видел, как блатные с бритвами по толпе шныряют. Вдвоем хочу. Один меняет, другой — прикрытие обеспечивает. Наглеть не будем, больше одной банки на рыло отсюда все равно незаметно не вынести. Какая смена на выходе добрая и без толку людей не шмонает — это я давно уже вычислил. А у нас с тобой у обоих — смена будет как раз вечерняя. Если не дрейфишь — так с утречка и прогуляемся. Ну, что — прояснилось?

Шевиотовый костюмчик с чужого плеча Бориса не прельстил — его собственный почти новенький бостоновый без дела пылился в шкафу с дважды памятного дня свадьбы. А вот колечко для Киры... Пусть хоть самое тонюсенькое, пусть хоть как проволочка... На свадьбу-то ведь и чулки шелковые ей сестры, помнится, вскладчину покупали... А он только раз пирожными угостил... Все думал — вот стану инженером, тогда уж... Но теперь она — бравый, наверное, сержант, а он тут незаменимый специалист... по объедкам.

...Двадцать второго июня до Смольного они так и не добрались — до позднего утра младенчески проспали под кустами, пригреваемые нежарким еще солнышком, — и, пыльные, помятые, виновато побрели на Васильевский, на ходу вытряхивая из обуви колючий песок. Добравшись до Большого к полудню, увидели небольшую группу людей, что нетерпеливо стояли, обмахиваясь газетами и платками, под уличным репродуктором, испускавшим неблагозвучный треск. «Объявили, что будет передано важное правительственное сообщение, — вот и ждем. Только бы не карточки опять ввели...» — охотно поделился опасениями толстый дядька в очках, вытирая смешной пионерской панамкой обильный пот со свекольно-красного лица — и в этот момент громкоговоритель последний раз прочистил железное горло и торжественно разродился знакомым голосом Молотова:

— Граждане и гражданки...

В два часа дня они сидели рядышком на Кирином высоком обшарпанном сундуке, всю жизнь прослужившем ей скромной девичьей постелью, — матрас вчера еще был туго свернут тещей, и теперь, как наказанный, стоял в углу пустой жаркой комнаты, глядевшей в узкий двор на изнуренный серый тополь. Кира держала в руках только что извлеченную именно из прославленного сундука маленькую помятую бумажку с едва различимым машинописным текстом:

— Временное удостоверение Ворошиловского стрелка, — вполголоса читала она. — Дано настоящее товарищу Зуевой Ка Эн двадцать первого года рождения в том, что он сдал... сдала нормы Ворошиловского стрелка... ступени первой... двадцать восьмого ноября тридцать девятого года... Первое упражнение... сорок два... очка, второе упражнение... пять попаданий... Выдан значок за номером... сорок четыре тысячи четыреста тридцать шесть... Подпись... Ох! — она вдруг уронила лицо в удостоверение, как в носовой платок. — Я ведь, когда сдавала, и подумать не могла, что пригодится... Куда теперь с этим — в военкомат, да? Или в институт?

— Ты что, какой военкомат! — испугался Борис, хватая ее за руку. — Думаешь, мы с этим выскочкой Гитлером без девушек не справимся?.. — и жестоко запнулся.

Кира залилась мучительной краской, видимо, тоже оценив это невольное страстное «мы» — и не решившись добить стиснувшего от унижения зубы мужа. Она тихо сползла с сундука, одернула как-то поникшее на ней за сутки голубое платье:

— Не знаю... Я что-то такое странное чувствую... Ты отвернись... Мне переодеться надо.

Заложив руки за спину, он горько смотрел на старый потрепанный тополь, дожи-

вающий свой честный век в ленинградском дворе, на грязный пух, облепивший его бурую усталую крону, и безуспешно пытался наскоро обдумать ту бессмысленную нелепицу, что назойливо свершалась кругом — без всякого его участия. Это он должен сейчас в толпе суровых друзей решительным шагом идти в военкомат, где, наверное, стоит уже длинная очередь таких же, как он, крепких и смелых защитников, никогда не ломавших мощные упругие ноги на несерьезных роликовых катках... А не... — он обернулся — не пухленькая, как булочка с сахарной пудрой, девушка в белом холстинковом платье-халатике и сияюще-белых от зубного порошка резиновых туфельках. Ни разу он не заметил на ее тоненьких пальчиках ни одного, даже самого скромненького колечка...

— Вы только не вздумайте все меня отговаривать, — новым, не звонким девичьим, а вполне взрослым голосом волевой женщины сказала она. — Потому что все равно ничего у вас не получится.

В следующий — и последний — раз он видел Киру у Смольного в конце августа, когда она соскочила к нему с откинутого борта грузовика, ненадолго вырвавшись из казармы перед отправкой в часть. Уже вплотную подступила к Ленинграду осень — и вместе с ней неудержимо приближался враг. Молодая жена его выглядела похудевшей, будто ее грубо обстругали, и новенькая х/б гимнастерка, выданная еще в самом начале двухмесячных курсов, с которых гордые Ворошиловские стрелки выходили неопытными младшими сержантами-снайперами, нищенски висела на ней, перетянутая жестким армейским ремнем, — но в петлицах скромно багровело по маленькому треугольнику[1]. Все это выглядело бутафорски-неубедительно, словно перед ним стояла девчонка-старшеклассница, вздумавшая сыграть в школьном театре красноармейца, — не хватало, пожалуй, только гуталином наведенных усов... Поверить в то, что она едет воевать по-настоящему, было невозможно по определению — или просто это само сердце отвергало такую возможность?

— Мы с тобой здесь сейчас простимся — ты на вокзал вечером не приходи. Меня мама придет провожать и девочки. Они эвакуируются завтра со своим институтом, а маму школа не отпустила... — Кира на секунду схватилась за голову: — Слез будет! Представляешь, мама до сих пор отговаривает, будто сейчас что-то от меня еще зависит... И на тебя, между прочим, злится — якобы должен был мне запретить, муж все-таки... Ты вот что — пригляди тут за ней немножко, мало ли что... Вдруг...

— Мы Ленинград не отдадим, — на сей раз нарочно напирая на это злосчастное «мы», отрезал Борис. — Тут тебе за нее волноваться нечего... А вообще — да, приглядывать, конечно, о чем разговор... — он помолчал. — Ты там это... не очень... Ты береги себя, слышишь? Я ведь ждать буду. И еще, сказать хотел... Раньше не получалось как-то, а теперь... В общем, я это... Люблю я тебя, понимаешь... По-настоящему.

— Да, и я. Я тоже — по-настоящему, — просто ответила она. Грузовик за ее спиной хрипло и настойчиво прогудел. — Идти мне надо, — Кира обхватила Бориса руками за голову, притянула к себе, и он почувствовал этот последний поцелуй, как первый, словно все те, из прежней жизни, были несерьезными, не дававшим им никаких прав ни друг на друга, ни на любовь...

Борис, разумеется, знал — и от матери, регулярно навещавшей с контрабандными гостинцами школьную подругу где-то на Охте, и от других, не запертых в Смольном на казарменном положении, а лишь связанных подпиской о неразглашении работников — и про трамваи, похороненные в сугробах до весны, и про вечно тлеющие руины некогда густозаселенных домов, и про закутанных во что попало человеческих призраков с отрешенными лицами, равнодушно бредущих по узеньким тропинкам среди снеговых завалов... Он понимал, что пойдет по неузнаваемому, прифронтовому городу, совсем другому — сурово-трагическому, но высокому в своем страдании — и все же был ошеломлен и подавлен, пробираясь вслед за шустрым Валькой, ловко находившим дорогу среди снегов, слежавшихся в нерастопляемые, казалось, глыбы, и огромных безмолвных развалин. Раньше он видел страдание только в фильмах и спектаклях — всегда сдержанно красивое, окрашенное героизмом допрашиваемых и расстреливаемых белыми революционеров или красноармейцев, непременно сохранявших на экране или сцене благородную бледность лица, огонь сверкающих презрением очей; а если и бежала какая-нибудь черная струйка крови — так обязательно сбоку, воровато, от виска по щеке, или пятном расплывалась по мощному непокоренному плечу. Теперь Борис был поражен уродством страдания, его подлым безобразием; тот самый *величественный* дух города, к которому он привык с рождения, дух официально провозглашенного «музея под открытым небом» — тот дух исчез безвозвратно, заменен-

[1] Т.е. она имела звание младшего сержанта Красной армии.

ный другим, смутно ощущавшимся как *великий*.

— Всё, пришкандыбали, и погода хорошая по дороге стояла — это я в том смысле, что под обстрел не угодили: так теперь в городе говорят, — обернувшись, доложил Валька, указывая вперед, на узкую улочку, где и правда у ограды высокой, в прошлом желтой церкви — без креста и с наглухо забитыми окнами — бесшумно колебалась черно-серая, как стая городских ворон, толпа. «Действительно, — прошла отчего-то страшная мысль. — Ни одной вороны по дороге не видели... Ни голубя, ни даже воробушка...» — Не зевай, — подтолкнул его остро оглядывавшийся Валька. — На старух старорежимных смотри, не на теток. Что стоящее — так это у них только. От народа в революцию по дырам попрятали, теперь вот вытаскивают. Потому что с карточкой иждивенческой и в магазин ходить нечего: сразу помирать ложись... Да шевели давай копытами своими, я пока вокруг погляжу, чтоб ничего такого...

Борис нерешительно побрел вдоль ограды, на каменном основании которой, очищенном от снега, на пожелтелых газетных листах разложены были нехитрые сокровища безвозрастных ленинградок, молча стоявших с иззелена-серыми лицами и глубокими провалами погасших глаз, очерченных зловеще темными кругами. Но одна из них вдруг встрепенулась при виде кого-то знакомого:

— Здравствуйте! И вы тоже здесь? А я — вот видите... Ну, как живете?

— И вам не хворать... Как живу? Да как трамвай четвертого номера... По Голодаю, по Голодаю — и на Волково... — ответил ей сиплый бесполый голос, и, к немалому удивлению, Борис услышал сбоку что-то вроде короткого и слабого всплеска смеха.

До него не сразу дошел нехитрый каламбур: ведь верно же, что четвертый трамвай ходил до войны с острова Голодай через весь город до Волкова кладбища и тащился так нестерпимо долго, что веселые пассажиры (может, прямо в пути!) сложили про него вполне приличную частушку: «Долго шел четвертый номер, на площадке кто-то помер...»

— По-го-ло-да-ю... — шепотом недоуменно протянул Борис. — Ох ты, Господи! Они еще шутят тут!

Он заковылял быстрее, невнимательно разглядывая все эти почерневшие серебряные ложки, никому не нужные эмалевые рюмочки, нежные отрезы замороженного крепдешина — и вдруг в чьей-то на миг разжавшейся шерстяной варежке что-то блеснуло. Кольцо. Не очень тонкое, гладкое, вовсе без камня. Он знал — обручальное, такие надевали до Октября в церкви жениху и невесте. У его мамы тоже раньше такое было, потому что с покойным мужем, погибшим под революционным поездом еще до рождения первенца, ее соединил навеки в скромной пригородной церквушке красивый седокудрый священник в начале веселого восемнадцатого года. Мать то кольцо от греха унесла в Торгсин — просто чтоб не заметил никто и с вопросами лишними не пристал.

— Что вы за него хотите? — робко спросил молодой человек высокую, неуловимо надменную старуху с уже прозрачным, как капля воска, лицом.

— Что дадут, — со странным равнодушием ответила женщина.

— Вот, у меня тут... — он торопливо распахнул бушлат, стеснительно показывая голубоватую банку, набитую плотно спрессованной пшенной коркой. — Вроде как каша... Пшенная...

— Хорошо, — и она протянула кольцо, бросив на него последний, исполненный непонятного горя взгляд.

— Не надо! — неожиданно для себя отвел ее руку Борис. — Так берите... Мне не нужно... Что я — какой-нибудь... — не глядя, он ткнул в ее сторону банку и, неловко наступив на короткую ногу, отчего его едва не мотнуло лбом об ограду, бросился прочь.

— Юноша! — каким-то образом она сумела догнать его и уже стояла рядом, быстро засовывая ему в рукавицу что-то маленькое и холодное; ее глаза словно прорезались на лице слабым сероватым светом: — Возьмите. Это не в обмен, это я вам просто... дарю. Все равно скоро... соседке достанется. Не хочу... А у вас, наверное, еще будет невеста...

— Я женат... — прошептал Борис и трудно сглотнул.

Между ними, юркий и верткий, как маленький ужик, возник вездесущий Валька, оттесняя его от женщины и радостно бормоча:

— Толкнул? Покажи! С почином тебя! Видишь, как просто? На той неделе опять наладимся. А я тоже не пустой... Хоть костюмчик и не выторговал, но клёши матросские, новые совсем, — смотри... — он взялся было за пуговицу своего ребячьего пальтугана на вате, но в ту же секунду у них под ногами отчетливо дрогнула земля, а в уши врезался парализующий вой сирен, взревевших разом со всех сторон.

Толпа словно покачнулась и сразу начала странно быстро редеть, хотя секунду назад люди еле передвигались. Растерянного Бориса кто-то больно толкнул в ребро: это Валька, успев мгновенно сориентироваться на местности, разворачивал его, глупо

торчавшего посреди улицы, лицом в другую сторону — туда, где на стене дома были крупно намалевано неровное слово «Бомбоубежище» и тянулась от него влево жирная черная стрелка.

— Бежим! — успел крикнуть мальчишка — и тут позади них жахнуло.

Оглохший на миг Борис повалился ничком в бурый истоптанный снег — но земля вдруг оказалась ненадежной: она ходуном ходила под ним, будто хотела разверзнуться, сверху сыпалось что-то тяжелое, безболезненно и бесшумно ударяя его по спине, а потом глухую ватную мглу разорвало частыми округлыми ударами, словно небывалая гроза спустилась с небес на землю среди зимы: это снаряды тесно ложились на близкую площадь... Он ни о чем не думал, ничего не боялся, он был не он среди внезапно открывшегося ада, который, как оказалось, все это время спокойно существовал, невидимый, совсем рядом и вот теперь взял — и перешагнул неведомую границу...

Тишина обрушилась так же внезапно, как грохот. Это была относительная тишина — звуки разрывов постепенно удалялись куда-то назад, туда же, откуда пришли, словно откатывалась чудовищная, сокрушительная волна. Борис не трогался с места, охваченный невероятной, никогда не испытанной усталостью — такой, будто всю ночь ворочал упорные камни в грохочущем подземелье, выбрался наверх, упал — и теперь не мог пошевелиться. Каждая клетка мелко дрожала в нем, не было сил глубоко вздохнуть, повернуть голову, опереться на руки...

— Да нет, ничего, тут только двоих убило, — донесся до него, как из шахты, далекий человеческий голос. — А кто под оградой лежал, тех даже не ранило никого, — голос приблизился и навис: — На проспект их, что ли, оттащить? Пусть полежат там на виду, может, заберут... Да погоди ты, посмотреть надо, вдруг у них карточки с собой. Ну-ка, помоги этого перевернуть...

Жесткие руки впились ему в плечо и бок, затрясли, потянули — Борис встрепенулся и открыл глаза: прямо перед ним скалился длиннозубый скелет в мятой барашковой шапке и круглых очках, отражавших двух крошечных черных человечков на мутном фоне.

— Ты чего, живой, что ли, парень? — вяло удивился скелет. — Ну, извиняй тогда. Ранен? Нет? Контужен, значит. Повезло. А вот малой, похоже, отмучился, — и он медленно указал очками куда-то вправо.

Борис кое-как повернулся всем корпусом, и сначала ему показалось, что он чего-то недопонял: лежал рядом с ним Валька как Валька, с обычным усмешливым прищуром смотрел в белое небо, и небо тоже смотрело ему в глаза, высветляя их и слегка туманя. Второй скелет, точно такой же, как первый, только без очков и в ушанке, слегка поддерживал мальчика под плечи, словно желая помочь ему подняться.

— Ему осколок прям под левую лопатку вошел. Во-от такой. Во-от настолько, — показал он желтыми косточками пальцев и стал неуклюже вставать с бордового снега.

Никто больше не обращал внимания на Бориса, и он так и остался сидеть рядом с постепенно застывающим Валькой, не чувствуя ни холода, ни страха, ни боли в своей неловко подвернутой злосчастной ноге.

Вновь по соседству загрохотало железом — но негромко и неопасно: это подкатила дребезжащая полуторка, груженная кое-как сваленными бревнами. Открылась водительская дверца, высунулась очередная черная ушанка над острыми, туго обтянутыми скулами:

— Только один? — раздался зычный вопрос. — Ладно. Если б вмерз — ни за что бы не стали выколупывать. Но раз свежий, то возьмем.

Борис, не понимая, наклонил голову.

— Так помогай давай, расселся тут! — крикнули ему.

Из кабины с обеих сторон без спешки вылезли два одинаковых человека в ватных штанах и валенках, так же неторопливо отвалили задний борт грузовика — и почти опомнившийся Борис помог им погрузить в машину легкого, еще гибкого Вальку. Только тогда он заметил, что суковатые бревна в кузове — это вовсе не бревна, а мертвые люди, наваленные друг на друга, как мороженая рыба, горой вытряхнутая из ледника на прилавок. Очень близко он увидел улыбающееся женское лицо в мелких кристалликах снежной крупы, а потом не мог оторвать рук от борта машины, заметив, что Валькины глаза словно подернулись пленкой, превратившись в слепые бельма.

— Братишка? — с неожиданным сочувствием спросил один из мужчин и откровенно прибавил, понизив голос: — Может, есть чего на помин души?

— Есть, — Борис быстро расстегнул Валькин уже ледяной пальтуган и извлек из-за пазухи черный сверток. — Клеши матросские. Хочешь — сам носи, хочешь — выменяй что-нибудь, — кивнул на ужасный груз: — Куда вы их теперь?

— На Ваську, — ответили ему. — У Смоленского там пока складываем. Земля оттает — похоронят, говорят... Ну... Бывай.

Смутная мысль вдруг заколотилась, как второе сердце:

— На Ваську? Можно мне тоже?

Мужички равнодушно переглянулись, и один сказал:

— Только в кабине места нет, *с ними* поедешь, если не боишься.

Борис молча кивнул и тяжело закинул больную ногу в открытый кузов. До войны Кира жила на девятнадцатой линии. А неясная поначалу мысль, теперь все ярче разгоравшаяся, была проста и невероятна: «А вдруг она вернулась?» — глухо стучало в нем, как безгласные попутчики друг о друга и о деревянные борта.

Выполнить обещание «приглядывать» за остающейся в полном одиночестве тещей, данное Кире в их последнюю скомканную встречу, Борису до сих пор не удавалось. Он смог навестить ее только однажды, еще до своего устройства на работу в Смольный (помнится, кончался октябрь, и умирающий клен за Кириным окном торопливо сбрасывал под хлестким ветром дырявую, как молью поеденную, грязно-желтую листву), — и нельзя сказать, чтобы ему был оказан уж очень теплый прием. Тогда он робко выложил на круглый стол, покрытый хоть и штопаной, но явно ценной старинной скатертью белую банку крабов «Чатка» из тех, что в конце первого военного лета можно было покупать в Ленинграде безо всяких ограничений — словно раньше, благодаря очередному странному запрету, они лежали на каком-то таинственном складе и вдруг были разом выброшены в продажу. Мать Бориса запасла их тогда целый ящик, но сын ее даже от запаха всего «рыбного» упорно воротил нос еще с детства и осенью тайком раздавал банки в подарок тем, кто пока так или иначе не покинул город. Теща, несколько осунувшаяся и потемневшая лицом, сдержанно поблагодарила за гостинец и поставила банку на старинный резной буфет, а разговор все не желал налаживаться. Нет, она тоже не получала письма от Киры... Да, девочки и бабушка здоровы, живут в Омске... Конечно, она сообщит, если будут известия... Спасибо, ни в чем пока не нуждается... Несомненно, война скоро кончится, и Кирочка вернется...

Борис заметил, что женщина украдкой бросает взгляды на буфет с красовавшейся банкой, и стал прощаться, усмехаясь про себя: вот сейчас он уйдет, а она сбросит всю свою гнилую интеллигентность, накинется на этих вонючих крабов и, пожалуй, банку зубами прокусит... Он задолго до свадьбы чувствовал, что теща активно не одобряет выбор своей дочери — именно из-за хромоты жениха. Боялась, что злостно придумал ее коварный зять свой оскольчатый перелом со смещением, и на самом деле — колченогий он от рождения, а стало быть, дети его такими же родятся, если не хуже...

В последних числах ноября он порывался к ней снова, хотел отнести хлеба, что пока ненормированно лежал на столах в южном крыле, — но нарвался на строгий материнский выговор: «Тащиться на Васильевский — чай, не ближний свет. Придешь к ней — а она эвакуировалась. Сейчас все они эвакуируются. И куда ты такой после этого денешься?»

Пройти метров восемьсот от Смоленского кладбища до знакомого дома оказалось нелегкой задачей. Прямой путь по линии преградила огромная воронка прямо посреди улицы, огороженная колючей проволокой (не досками: те давно бы унесли на дрова), с нацепленными по всему периметру объявлениями: «Осторожно! Неразорвавшаяся бомба!» — и пришлось искать проходные дворы. Борис помнил их достаточно ясно, ведь именно в них, во всех подряд, они целовались с Кирой весной теми самыми «ненастоящими» поцелуями. Но, уверенно свернув под первую же арку, почувствовал себя как на Марсе — только вот Аэлиты нигде не было. Снега во дворе стояли до окон второго этажа, тошнотворно воняло нечистотами, узкая натоптанная тропинка, отвратительно желто-коричневая, вела словно в никуда, и, дважды упав по дороге в мерзкий сугроб, Борис еле выбрался обратно к затаившейся под землей бомбе. Не желая более рисковать, он пошел в обход через Малый, мучительно пробирался среди сугробов, падал, кое-как подымался и, наконец, зайдя с другой стороны, полностью измочаленный, выкарабкался на финишную прямую. До него уже дошло со всей несомненностью, что мысль, внезапно посетившая его у груженной трупами полуторки, была такой же безумной, как и всё, происходившее с ним сегодня: ведь если бы Кира вернулась — разве не побежала бы она сразу к нему? Но вот письмо от нее прийти могло. А что! Она ведь за «кольцом» воюет, написала, наверное, и матери, и мужу, а до него просто не дошло. Бывает ведь? Сплошь и рядом! Он просто спросит и уйдет. Да, и еще отдаст теще свою «общегородскую» карточку. Наплевать, что без нее он лишится в Смольном битка на второе — да и не лишится вовсе, там свои люди, всегда подкинут калеке кусочек, голодным не оставят. А домой — в опрятную комнату, где стоит круглый стол, покрытый нарядной клеенкой с гвоздичками, где уютно трещат в «голландке» осиновые полешки, выписные маме еще в конце лета, где в углу, за занавеской, есть старая чудная раковина, куда из медного крана шумно бежит теплая белая вода, — домой мама из своего «северного» тоже приносит поесть, у них и сейчас между рамами грамм двести сыру лежит, и тушеное мясо в кастрюльке... Только бы благополучно добраться — а то

вон опять где-то, кажется, бахает, да и нога разболелась с непривычки.

«Ну, вот и он, кажется...» — день уже незаметно подернулся первыми сумерками, когда Борис в изнеможении прислонился к стене Кириного дома, снял шапку и вытер вспотевшее лицо. Ближнее окно первого этажа было заколочено дырявой фанерой — и что-то невнятно тревожное почудилось в этом. Он тупо пригляделся к фанере: почему в дырку просвечивает не кромешная тьма, а яркая белизна, словно за ней — заснеженная улица, а не комната? Ответ еще не пришел, но сердце уже остановилось: только эта, фасадная стена и уцелела от старого питерского дома. И фанера случайно осталась лишь на нижнем этаже. Все остальное превратилось в невысокую гору грязного мусора, вперемешку с вездесущим снегом, который, казалось, действовал той зимой в Ленинграде заодно с врагом.

И вовек бы ему, быть может, не увидеть больше родного Смольного, не услышать добрых маминых упреков, да и просто не согреться бы уже никогда, если б в армейской полуторке, медленно ехавшей по памятной набережной, где всего полгода назад он с храбростью отчаянья нырнул в ледяную пучину у памятника Крузенштерну (теперь заваленного мешками от пьедестала до макушки), не нашелся добрый, махоркой пропахший пехотный старшина, что углядел из кабины тяжело хромающего парня, что обреченно брел вдоль фасада Горного института. Он, скорей всего, принял его за отвоевавшего свое фронтовика:

— Эй, служивый! В ногах правды нет! Хочешь — полезай к бойцам в кузов!

А они уж и руки тянули, невесело балагуря на его счет. Борис от усталости и растущей боли даже не спросил, куда они направляются, но волшебно оказалось — на Охту. А там ведь только через мост перебраться как-нибудь... Лишь бы не обстрел...

...В столовую южного крыла он ввалился, ни жив, ни мертв, как сорок лет промыкавшийся по пустыне еврей на обетованную землю, за полчаса до начала своей смены — легкой, ночной: только тихий огонь в печи поддерживать, чтобы тех несчастных «аппаратовцев», которым до утра неуемные «секретари» не дают покоя, могли тут в перерыве чайком напоить с пирожком горяченьким. В кухне еле доковылял до плиты, прислонился к ее теплому, будто маминому, боку, прикрыл глаза, стал было думать, как рассказать о Вальке... И чуть не заснул на месте — а когда потрясли, с трудом приподнял веки. Трясла его тетка Вера с раздачи — не по вине блокады, а по жизни худая, как швабра, — трясла и шипела:

— Рехнулся, что ли, — на кухню в уличном, да еще в валенках! Господи, совсем с ума посходили! Хорошо, завстоловой спать ушел, а то б ты кувырком отсюда сегодня же вылетел! — и вдруг осеклась, увидев его тяжелый отрешенный взгляд. — Случилось чего?.. Шапку давай, ватник тоже, уберу от греха... Сейчас халат тебе принесу, посиди тут покуда, — сделав несколько шагов прочь, она обернулась, глянула исподлобья, поджав губы: — Горе у нас — не слыхал еще? Баба одна из той смены погибла. Увольнительная у ней сегодня была, к родне она в город бегала. Обстрел начался — и первым же снарядом... Прямо тут неподалеку, потому и знаем... Такие вот дела... — она убежала и почти сразу вернулась с халатом на плече — а в руках принесла две дымящиеся тарелки: — Кисель тебя, извини, не дождался. Биток вот ешь. Картошка, правда, сухая, подливку сегодня «аппарат» слопал... Зато супа зеленого полторы порции — и яичко тебе я туда порезала. Хлеба вон бери... Да не надо мне твоей карточки, мы и так спишем. Сметану эту маманя твоя передала нам из «секретарской» — только сегодня, говорит, из Мельничного доставили. Наворачивай! Оголодал, небось... По бабам, что ли, таскался? Шучу, не боись. А хоть бы и так — дело-то молодое, не все же в соломенных вдовцах ходить.

— Под обстрел я попал, тетя Вера, — пробормотал Борис с набитым ртом: голод, как-то позабытый в городе от переживаний, теперь просто бурлил в нем, требуя немедленного утоления.

— А-а, — протянула она. — Наверно, под тот же, что и Зинка... Не повезло бедолаге... Сынок у нее тут остался — Валька, вертлявый такой пацаненок, с тобой ведь он в смене? Значит, прибежит сейчас... Круглый сирота теперь — на отца еще в июле похоронка была. Сообщить бы ему о матери — да как ребенку такое скажешь... — Вера рассеянно глянула на круглые часы, что висели прямо над ними на высокой стене, выложенной стерильным белым кафелем: — На десять минут опаздывает. В другой день так бы ему всыпала... А сегодня... Не знаешь, где носится? Не видал?

Борис медленно положил ложку на стол, справа от пустой тарелки, и кусок хлеба — по левую сторону. Коротко мотнул головой:

— Не знаю, — ответил. — Не видал.

III

Обручальное кольцо, подаренное старушкой, влезало ему только до второго сустава безымянного пальца. Борис изредка доставал его из дальнего угла обширного ящика в письменном столе и каждый раз примерял то на правую, то на левую руку, словно надеясь, что оно чудесным образом выросло и теперь возьмет — и наденется. Но это было Кирино кольцо. Оно ждало ее уже больше двух лет и все никак не могло дождаться. Как и он до самого начала сорок четвертого не дождался ни собственноручного ее письма, ни хотя бы косвенной, недостоверной вести о ней.

Он уже не был в «южной» столовой презренным «кухонным мужиком», год назад получив неожиданное повышение до помощника повара — и под руководством степенной и правильной поварихи Варвары, гордо носившей, как корону, высоченный белый колпак, со странным азартом постигал премудрости правильного приготовления пищи. С начала года продуктовые ограничения у них почти исчезли — и Варвара вдохновенно изобретала новые, «невоенные» блюда, удивляя оживившийся «аппарат» подзабытыми в блокаду сложными соусами.

Как больной после комы, город понемногу опомнился, начал поднимать голову, неуверенно вдыхал полной грудью и вскоре даже принялся решительно чистить золотые свои перышки. Модно стало среди постоянных жителей-«смолян» посещать активно заработавшие театры — особенно имени Кирова. Впрочем, его предпочитали называть не в честь убиенного первого секретаря обкома («Не к ночи будь помянут», — шутили самые смелые), а по-свойски ласково — Мариинка.

Настал однажды день — не по-февральски солнечный, словно март ненадолго забежал вперед и лукаво заглянул в их широкие окна. Борис ловко, уже привычными движениями, потрошил одну за другой упитанные куриные тушки, только что поступившие из бесперебойно снабжавшего Смольный всю войну подсобного хозяйства в Мельничном Ручье, и рассеянно слушал рассказ круглоглазой официантки Сонечки, приглашенной вчера одноруким, но бравым капитаном-летчиком в оперу:

— Слушай, ну, цены у них в буфете, доложу я тебе... Представляешь, одно яблочко — пятнадцать рублей, а плитка шоколаду — сто тридцать! А Коля мой мне целых три пирожных купил, каждое — пятьдесят рублей стоит! Сам бутерброд с колбасой съел — за двадцать пять... И конфеты...

— Борис, — перебила ее возбужденный стрекот раздатчица Марья Ивановна, — вас на вахте какая-то девушка спрашивает, военная.

Он впервые за многие годы забыл про свою короткую ногу и почти не сгибающееся колено. Обе ноги несли его по бесконечным коридорам, как равноправные, здоровые, дробный топот их заглушал удары сорвавшегося сердца. Пропуска при нем не оказалось, но на вахте Бориса знали и только кивнули — да и захоти они остановить пролетевшего мимо, как снаряд, повара в заломленном на затылок колпаке, вряд ли бы преуспели. Он выскочил на узкую улочку у служебного входа — и сразу увидел маленькую девушку в грязно-желтом армейском полушубке с сержантскими погонами, что ждала, притоптывая непропорционально большими валенками на веселом солнечном морозе. Она стояла в профиль, и опущенные «уши» форменной шапки не позволяли сразу увидеть лицо.

— Кира!.. — почти крикнул Борис со ступенек, но горло жестко перехватило.

Девушка быстро обернулась, оказавшись абсолютно незнакомой, черноглазой, смугло-румяной красавицей, и без улыбки направилась к нему:

— Вы ведь Борис? Здравствуйте. Я — Лиза. Вы ничего... обо мне не знаете? — голос еще не вернулся, и он смог только отрешенно покачать головой. Румянец сошел с лица девушки — будто просто потух. — Значит, не вышли... — прошептала она в сторону, и вдруг стало ясно, что это вовсе не юная девушка, а взрослая, много чего повидавшая женщина.

— Откуда?.. — хрипло вырвалось у Бориса.

Лиза помолчала с полминуты, кидая быстрые взгляды на трясшегося крупной дрожью молодого человека, и, наконец, осторожно дотронулась до рукава его белого халата:

— Вы не замерзнете?

А он и не замечал, что стоит на морозе без теплой одежды, даже не понял, о чем она спрашивает, трудным оказалось только перевести дыхание:

— Вы воевали вместе? — спросил уже ровнее.

— Не успели, — криво усмехнулась она, — повоевать. Мы на сержантских курсах познакомились — еще здесь, в Ленинграде. А в эшелоне, когда на фронт везли, сговорились: если со мной что случится — она моих родных найдет, а если с ней... то я. Ну, моих-то родных... — ее руки в огромных брезентовых рукавицах отчетливо задрожали, но она справилась с собой. — Моих родных никто уже не найдет, а ее... На Васи-

льевский я ходила, от дома только одна стена сохранилась... Тогда я — сюда, думала, может, вас разыщу. И точно...

— Да что вы тут мямлите! — вдруг грубо выкрикнул Борис. — Говорите уж сразу! Она погибла?!

Лиза не обиделась — только чуть сдвинула брови:

— Не знаю. До части так и не добрались — эшелон наш почти сразу разбомбили, и мы, кто уцелел, попали в окружение... Впрочем, тогда это немудрено было. Мне осколок угодил — вот сюда... — девушка ткнула рукавицей себе куда-то в бок. — Кира меня перевязывала на какой-то кочке, а кругом грохотало и свистело — это я еще хорошо помню, но уже, знаете... Я словно не там была, а из другого места смотрела... Потом Кира с девчонками — и бойцы еще какие-то к нам прибились — тащили меня на себе через лес по очереди. Дальше — отрывочно... На какой-то проселок выбрались — там грузовик с ранеными чинят. У кабины врачиха молодая плачет, а рядом — весь в бинтах лейтенант с пистолетом. «Только раненых, — говорит, — возьму, остальные не поместятся. На полном ходу прорываться будем, может, в нас и не попадут. Проскочим — наше счастье, а нет — так ведь все равно хана». Когда поднимали меня в кузов, Кира рядом стояла и пыталась улыбаться сквозь слезы, кажется...

— Проскочили? — потрясенно спросил Борис.

— Как видите, — пожала плечами Лиза. — Воевала я после госпиталя на Большой земле, так что выяснить, что́ тут, как... сами понимаете. Да и стольких я уже за два года... Кроме Киры... — она на миг зажмурилась. — Здесь я не в отпуске — командировку у командования выбила. Идти пора. Дел еще невпроворот... — она качнулась было в сторону, но остановилась: — Слушайте, а как это — у вас жена «без вести», а вас из Смольного не выгоняют?

— Я не знал... — прошептал он. — И до начальства, наверное, не дошло еще...

— Теперь дойдет, не сомневайтесь, — вздохнула она. — Ну... приятно было позна... то есть... В общем, удачи вам, — она протянула крошечную жесткую руку, которую Борис автоматически пожал.

На кухню он не вернулся — там, наверное, подумали, что к Борису приехала жена, и готовились к большому празднику — а медленно прошел прямо в хозчасть, в свою золотую от неожиданного сегодняшнего солнца комнату. Двигаясь скупо и осторожно, словно боясь резким движением взвихрить в душе неведомую и страшную бурю, Борис сел за письменный стол и машинально достал из ящика кольцо. Ничего не изменилось на столе — все было точно так же, как он оставил утром. Так же сдержанно улыбалась ему Кира со своей единственной фотографии, которая от нее осталась, — зато художественной, с тщательной ретушью — такой, что девушка выглядела гораздо красивее, чем в жизни. Только если раньше Борису казалось, что снимок каким-то образом соединяет его с женой, будто готовый распахнуть дверь в тоннель, устремленный сквозь время и пространство, пусть длинный и узкий, но ведущий к ней, то теперь — он четко это понял! — эта дверь была захлопнута навеки. Но странное дело! Одновременно чувствовалось, что есть где-то и другой путь, более надежный, но который еще предстоит найти...

Перед тем как убрать кольцо, Борис снова примерил его на левый безымянный палец, и, как всегда тугое, оно сначала дошло только до второго суставчика. Но то ли немытые его пальцы еще сохранили жир выпотрошенных недавно кур, то ли случайно он подтолкнул кольцо сильней, чем обычно, — только вдруг, причинив короткую боль, оно быстро проскользнуло через сустав и дальше оказалось совершенно впору.

Самид АГАЕВ

ЛЭВЭНГИ

Итак, он встретил Сократа — умытого и в сандалиях,
что с тем редко бывало,
и спросил его, куда это он так вырядился?
Платон, «Пир»

Итак, я встретил Фарика на Большом базаре, в оригинале Беюк базар. Он стоял с пачкой денег в руке, держал их совершенно не таясь, напротив, демонстрируя всем прохожим, повторяя скороговоркой: «Доллары, рубли, манаты, лучший курс, доллары, рубли, манаты».

Бывший начальник отдела, инженер-теплотехник, он стоял на этом углу вот уже 20 лет, с момента обретения независимости Азербайджаном, ибо другой работы в провинциальном городишке по специальности найти не мог, а семью содержать надо было. Мы обнялись, как принято, расцеловались, обменялись парой приветственных фраз. Он поинтересовался, когда я приехал и когда уезжаю. В Ленкорани меня почему-то всегда встречают этим вопросом. Видимо, чтобы знать наверняка, сколько меня придется терпеть (хотя раньше я думал — для того, чтобы успеть пригласить меня в гости, но поскольку этого не происходило, я избавился от напрасных иллюзий). Затем оглядел меня и спросил, куда это я так вырядился. Я ответил, что всегда так хожу, с тех пор как перестал зарабатывать на жизнь физическим трудом.

Фарик приходился мне двоюродным братом, кузеном, то есть сыном моего дяди. Вообще-то его звали Фахр-эд-дин, что в переводе с арабского означало — гордость веры. Но кто же это выговорит, особенно после двухсот граммов. В Азербайджане пили водку, пить вино считалось делом не мужским. В России все Закавказье меряют одним аршином. Хотя в Азербайджане пьют водку, в Грузии — вино и чачу, а в Армении — арак, то есть самогон из виноградного жмыха. Вот и рассуди, кто русским близок по духу более всего. Мусульмане, пьющие водку, или христиане, не пьющие ее. И кстати, пить водку нас научил большой брат, а точнее, военные. До развала Союза Ленкорань была нашпигована войсковыми частями под завязку, поскольку до границы с Ираном рукой подать, каких-нибудь сорок километров. Затем после развала Союза тогдашний президент Эльчибей в приступе самоутверждения потребовал вывода российских войск. Это было трагической ошибкой, имевшей для молодой республики плачевные последствия. Как только русские ушли, армяне тут же оживились и под видом коридора безопасности для Нагорного Карабаха оккупировали несколько районов Азербайджана.

Фарик повел меня в ближайшую чайхану. Это было в двух шагах, небольшое застекленное строение, четыре заскорузлых стола со стульями и стойка с самоваром, чья коленчатая труба под углом выходила в форточку. Строение выглядело времянкой, но стояло здесь не первый десяток лет. Когда-то её арендовал один мой армейский товарищ, но сейчас не о нем речь. Подавальщик сразу же метнулся к нам, держа в одной руке два стакана *армуды*, а в другой — окольцованный жестяной лентой заварной чайник. Чай одуряюще пах дымом, ибо самовар топился настоящим древесным углем. Поставил перед нами стаканы, наполнил их.

— Пей, чего ждешь? — сказал Фарик. Вытягивая губы, он стал втягивать огнедышащую влагу.

— Я дома чай пил.

— Еще выпей.

— Чай не водка, много не выпьешь, — ответил я.

— Как всегда, сыпешь русскими прибаутками, — заметил Фарик.

— Может, и в самом деле водки, за встречу? — предложил я.

Фарик помотал головой.

— Не могу, я на работе.

— Начальник заругает?

Издал смешок, поднял указательный палец.

— Я сам себе начальник.

— Тогда тем более. Видишь, все складывается в нашу пользу. По сто грамм?

— Ты же не пьешь местную водку.

— Не пью. Она паленая. Я с собой привез. Как говорил классик: но у нас с собой было.

— «Кристалл»?

— Бери выше.

— «Абсолют»?

— Бери ниже.

— «Смирнофф»?

— Выше.

— Ладно, хватит, — рассмеялся Фарик, — давай еще в незабудку поиграем: любишь — не любишь.

— Ты имеешь в виду ромашку?

— Тебе виднее.

— Однако для непьющего человека ты неплохо разбираешься в марках водки, — заметил я.

— С таким родственником, как ты, — резонно ответил Фарик, — любой начнет разбираться. И чего тут разбираться. Всем известные наименования. Говори, что привез.

— «Русский стандарт». Это последний писк российской водочной моды. Один татарин ее производит, Рустам Тарико.

— Лучшую русскую водку производит татарин?!

— Ну да, а чего ты удивляешься? Русскую культуру всегда обогащали нерусские. Например, Пушкин — арап, но не араб, как можно было подумать, а натуральный африканец — негр. Карамзин — татарин Кара Мурза, Мандельштам — еврей, Рюрик — варяг, скандинав то есть. Любимый певец Высоцкий — наполовину еврей. Любимый тиран Сталин — осетин. Я уже не говорю о том, как монголо-татары их обогатили. Нас, азербайджанцев, они тоже стороной не обошли. А водку якобы изобрел человек по фамилии Менделеев, а Мендель, между прочим, что бы там ни говорили, это еврейское имя. Но они все русские люди, это важно. Я к этому веду.

— Ну вот. Теперь и я выпить захотел. Ну что ты за человек. А ведь мне еще работать.

— Сколько ты за день зарабатываешь?

Фарик пожал плечами.

— Когда тридцать, когда сорок. По-разному. Когда и пятьдесят.

— Это сколько в рублях будет?

— Пятьдесят манатов — это две тысячи рублей, — мгновенно ответил Фарик.

— Ты прямо калькулятор.

— Работа такая.

— Я дам тебе две тысячи, и ты закроешь лавочку.

— Ничего не выйдет. Я с тебя денег взять не могу. Ты мне родственник, сын тети. Уйти тоже не могу, еще ничего не заработал. Клиентов мало, кризис всех подкосил.

— Тогда я за ресторан заплачу. Будем считать, что ты дневную выручку спустил в ресторане.

— Кстати, о тетях, — сказал Фарик. — Тут ко мне одна женщина приходила, сказала, что она сестра твоего отца. Удивлен? — но я нисколько не удивился. — Она давно ищет встречи со мной. Теперь и до тебя добралась.

— А ты что же ее избегаешь?

— Нет, не избегаю. Но специально к ней не иду, я даже не знаю, где она живет. Когда я приезжаю, каждый раз мне передают, что она приходила, спрашивала обо мне. Но я ее никогда в жизни не видел. Хотя мы почти двадцать лет жили в одном городе. С чего это я к ней сейчас пойду. Папина родня, видишь ли, мою мать, царство ей небесное, не жаловала. Ну и меня, соответственно, никогда не искала. Я был в их доме всего два раза, совсем маленьким. Первый, когда дедушку паралич разбил, а второй, когда он умер. С чего вдруг у нее родственные чувства проснулись?

— Люди с возрастом меняются.

— Это неправда. Люди не меняются. Если человек — сволочь, то он таким же и останется всю свою жизнь.

— Ты ведь сейчас не о тете?

— Нет, конечно. Я ее вообще не знаю.

— Я не согласен с тобой. С возрастом люди переосмысливают какие-то вещи. Мо-

жет быть, она жалеет сейчас, что не уделяла тебе внимания.

— Поздно. Так что она хотела — мой адрес, телефон?

— Вообще-то у меня нет ни твоего московского адреса, ни телефона.

— А если б был, ты бы все выложил?

— Да, потому что не обладаю твоей завидной твердостью характера.

— А в школе, между прочим, нас учили равняться на Зою Космодемьянскую. Она вот никого не выдала.

— Но она не спрашивала твой телефон.

— Что же она хотела?

— Ладно, поехали. Все равно время обеда. Закрываю лавочку. Там и расскажу.

— А ты все же умеешь хранить тайны, — похвалил я его и полез в карман.

Но Фарик опередил меня, бросив на стол несколько монет за чай. Поднялись, вышли из стекляшки. Рынок был многолюден. Кроме основного крытого куполообразного здания, прилавки торговцев занимали еще все прилегающие улицы. Сейчас мы стояли на одной из них, самой оживленной. Здесь, в глубине, торговали в основном недорогим турецким и иранским ширпотребом: текстиль, одежда, обувь. Дичь, мясо и рыбу предлагали в начале рядов. А во дворе рынка продавали живую птицу, баранов и тому подобное, всего не перечислить.

— Тебе не мешало бы брючный ремень новый купить, — сказал Фарик. — Смотри, как он обтерся. Вот как раз ремнями торгуют. Эй, дружок, покажи-ка нам вон тот ремешок.

— Спасибо, не надо, — возразил я. — Мой ремень, хоть и потертый, зато из натуральной кожи. А эти блестящие все из дерматина. Куда пойдем?

— Поедем в Сутомурдов. Там у Зеленхоза на берегу реки новый ресторан открыли. Там хорошо кормят.

— Может, пешком пройдемся?

— Еще чего! В такую даль.

— Тогда такси возьмем.

— Не надо, у меня машина за углом, — объявил Фарик и, обменявшись взглядом с миловидной продавщицей, скучающей за прилавком соседнего магазина, повел меня за собой, лавируя между продавцами и покупателями. Смотря под ноги, я шел за ним, думая о том, что рынок — это единственная оставшаяся артерия, снабжающая Ленкорань кровью. В городе не работало ни одно промышленное предприятие; заводы, фабрики, таксопарк, мастерские — все умерли от страшной болезни, именуемой — нерентабельность. Зато было вдоволь банков, салонов сотовой связи, магазинов. Маленькие денежные кружочки, кои так любил Остап, поступали в город двумя путями: зарплата бюджетников и деньги, зарабатываемые в России. Все это стекалось сюда на рынок, где происходили товарно-денежные отношения, описанные ещё Марксом.

Вдоль улицы стояли невиданной красоты фонарные столбы. Высоченные красавцы — золотые лилии на белом глянце. Любуясь ими, я старался не опускать глаза долу, чтобы не портить впечатления, ибо там, в канаве, текла иссиня-черная жижа — открытая городская канализация. Она была неподвластна времени. Пережила царизм, большевиков, коммунистов и сейчас себя неплохо чувствовала.

У Фарика оказался видавший виды «Пежо»-408 с автоматической коробкой передач. Машина была в хорошем состоянии, двигатель работал ровно, а передачи включались четко.

— А еще говорят, французский автопром — отстой, — одобрительно сказал я.

— Мне ее из Германии пригнали, — уточнил Фарик.

— А-а, так это другое дело, — поправился я. — Это называется — французский дизайн, немецкое качество.

Выбраться из запруженной машинами дороги оказалось делом нелегким. Фарик взмок, выруливая между желтых дышащих на ладан такси. Таксопарка в городе давно уже не было, а тридцатилетние приватизированные когда-то «Волги» все еще продолжали работать.

— На Кубе такая же ситуация, ездят на машинах, которым сорок и более лет. Американцы ушли, а автомобили остались и все еще ездят, — заметил я.

— На Кубе, что ли, был?

— Далеко лететь, а то бы поехал. Я в кино видел, читал об этом в автомобильном журнале.

Ехать нам было недалеко, потому что в Ленкорани в любую сторону ехать недалеко, город маленький. Через пять минут выехали на железный мост тоннельного типа, похожий на собранную ребенком модель конструктора. Он лежал на двух берегах реки Ленкоранки, подпираемый одной-единственной дамбой. С него с одной стороны можно было видеть Талышские горы, а с другой Каспийское море. Мосту было больше пятидесяти лет. И ему все было нипочем. Раньше деревянная, закатанная в асфальт

проезжая часть хронически находилась в ремонте. Затем кто-то додумался мостовую устроить из швеллера двадцатки. Чтобы пойти на этот шаг, разыскали инженера, проектировавшего этот мост. Старый инженер жил в России, было ему уже 90 лет. Обрадовался возможности съездить посмотреть на свое детище. Он произвел замеры, расчеты и разрешил дополнительную нагрузку.

Оставив мост позади, съехали с высокой насыпи, свернули налево на проселочную дорогу. Справа лежал военный городок. Финские домики, построенные якобы пленными немцами. Хотя дома были добротные. Местные мастера такого качества не достигали. Первый дом от дороги остался от моего отца, армейского старшины. Прослужив какое-то время, он уволился из армии, поехал в Россию на заработки и больше не вернулся. Я прожил в нем до двадцати лет, не считая перерыва на армию, а мать до самой смерти. Теперь он пустовал до моих редких возвращений из Москвы. А я предательски выставил его на продажу, собственно, и приехал для заключения сделки.

— Остановись, я за водкой схожу, — предложил я. — Мимо дома все равно едем, у них наверняка нормальной водки нет.

— Не надо, себе оставь на похмелье.

— Я не похмеляюсь.

— Значит, ты не алкоголик.

— Не знаю, не уверен.

— А в чем ты уверен?

— Ни в чем я не уверен. Как Сократ перед смертью. Я знаю только то, что ничего не знаю. Между прочим, со мной в учебке один парень служил, его Сократом звали, он тоже был грек. Но я не его имел в виду.

— Да я понял.

— Ты вообще смышленый парень.

— Конечно.

— А что это за симпатичная продавщица? У тебя с ней шуры-муры?

— С чего ты взял?

— Мне так показалось.

— Тебе показалось? Нет!

— Ладно, не хочешь, не говори.

— А что? Это бросается в глаза?

— Нет, не бросается.

— Ну ты же заметил.

— У меня интуиция хорошая. Так что у тебя с ней? Шуры-муры?

— Скажем так, я ей покровительствую.

— *«Его превосходительство любил домашних птиц и брал под покровительство молоденьких певиц».*

— Ее парень один украл, увез в Россию, обещал жениться...

— И не женился.

— Не успел, сел за наркотики. Ей пришлось вернуться. Представь, какая у нее теперь жизнь. Дома не принимают. Снимает угол в деревне. Хорошо хоть работу нашла. В общем, все непросто. Что скажешь?

— Не усложняй себе жизнь.

— Это все, что можешь сказать?

— Пока да. Время покажет.

Повернули за высоченный каменный забор войсковой части, который в детстве я одолевал в два прыжка, и направились вдоль реки в сторону моря. Проехали еще под одним железнодорожным мостом. В детстве я рыбачил на дамбах этого моста. С него прекрасный вид на море, но его пешеходные дорожки сейчас были опасны для жизни. Идти по нему можно было только между рельсов, по бетонной плите.

— Надолго он сел?

— Не знаю, лет на десять-пятнадцать, я не спрашиваю. Сколько лет дают за наркотики?

— Примерно столько и дают. Но она не Пенелопа.

— Нет, не Пенелопа. Ее зовут Фируза. А-а, вот ты о чем. Ты о верности. Он был козел, бил ее. Верность хранят тем, кого любят.

— По-разному бывает. Это не правило.

— Скажем иначе — верность хранят мужу или любимому человеку. А он не был ни тем, ни другим.

— Что же она убежала с нелюбимым?

— Убежала с любимым, но очень скоро поняла, что совершила ошибку и разлюбила.

— В этом наши девушки выгодно отличаются от русских, в которых заложен ген страдания и мученичества, — заметил я. — Русские девушки продолжают любить даже козлов. Ты наверняка слышал такую русскую пословицу: любовь зла, полюбишь

и козла! Ты ведь знаешь про жен декабристов, это их ген.

Под мостом дорога круто взяла вверх и вправо. Здесь была развилка — прямо дорога шла вдоль железнодорожной насыпи к Зеленхозу, а влево — к устью реки. Отсюда уже были видны буруны морского прибоя. Фарик сбавил ход, поскольку дорога, раздолбанная самосвалами, много лет вывозившими для строительства песок с берега моря, превратилась в подобие американских горок. «Пежо» чиркал поочередно то передним бампером, то глушителем.

— Не очень удачное место они выбрали для ресторана, — заметил я. Фарик не ответил, форсируя очередную сопку. — У меня может начаться морская болезнь от этой качки, — предупредил я.

— Шутишь?

— Нет, у меня вестибулярный аппарат слабый. Останови, я пройдусь.

— Да мы уже приехали, еще метров триста.

— Тем более, с такой скоростью я пешком быстрее дойду.

Фарик затормозил и показал на строение вдали. Я вышел из машины и зашагал вдоль берега нетвердой походкой, бормоча вполголоса: «Какие же здесь триста метров, здесь все семьсот будут. Знаю я тамошних жителей: *у них гак больше версты будет*». Я шел, с наслаждением вдыхая морской воздух. Здесь уже было ветрено, над рекой носились чайки, напоминая о Чехове. Справа вдоль дороги за металлическим забором росли высоченные тополя, высаженные еще при советской власти. В те времена здесь был большой экспериментальный цветоводческий питомник всесоюзного значения, так называемый Зеленхоз. Сейчас, по слухам, все было продано под коттеджную застройку. Нижние чины власти всюду вели себя одинаково — урвать, пока не сняли с должности. Противоположная сторона реки заросла камышами и выглядела довольно привлекательно. Я решил, что завтра обязательно пойду на рыбалку. «Пежо» доехал до ресторана, Фарик вышел из машины и помахал мне рукой, призывая торопиться, затем скрылся внутри.

Стены заведения были сложены из кирпича до половины, а выше большие окна для кругового обзора. Отсюда также были видны горы; на одной вершине, несмотря на май месяц, все еще лежал снег. Владелец ресторана, не мудрствуя лукаво, назвал его «Хазар», что означало Каспий. Если не учитывать раздолбанную подъездную дорогу, то место было выбрано удачно — в устье реки, на последнем пятачке суши здесь начинался небольшой залив — и дальше море. Я сразу окрестил заведение — таверной. Слово ресторан было слишком помпезным для этой хибары. У входа меня встретил парнишка лет пятнадцати и проводил в угол, где у окна сидел сын моего дяди.

— Посмотри, какой вид, — сказал он, — и скажи, что мы зря сюда ехали.

— Нет, не зря. Но Америку ты мне не открыл. Хочу тебе напомнить, что я родился здесь, как сказал поэт. *«Я вырос в тех краях, я говорил: «Закурим!» — их лучшему певцу...»* Между прочим, я был дружен с Джавадом. А ты со мной так разговариваешь, словно я турист из России. Джавад был знаменитый певец, живший в Сутомурдове, в обычной жизни он сильно заикался. Кстати, он поет еще на свадьбах?

— Не знаю, я не слежу за его творчеством. Но ты же из России приехал формально.

— Да, я из России. Но об этих местах знаю побольше твоего.

— Ну-ка, ну-ка, — насмешливо сказал Фарик. Его жена короткое время работала в краеведческом музее, с тех пор мой сын моего дяди считал себя знатоком здешних мест.

К нам уже направлялись подавальщики, каждый с подносом, с которых на стол перекочевали множество маленьких тарелочек с закусками. Белый домашний овечий и желтый голландский сыр, упругая краснобокая редиска, маринованная мушмула и фаршированный баклажан, молоканские соленья. Свежеиспеченная лепешка из тандыра.

— Разве мы это заказывали? — спросил я.

— Нет, но они всегда это приносят.

— Подарок от шефа?

— Здесь не Турция, подарки не делают, но возвращать неудобно, это не так дорого, не икра же. Пусть стоит, тем более что водку надо закусывать чем-то.

Шеф-повар вышел самолично принять заказ. Проявил уважение или любопытство. Подойдя к столу, он почтительно поздоровался и стал перечислять блюда ленкоранской кухни. Список заканчивался курицей-*лэвэнги*, то есть начиненной. В ресторанах ее готовили в тандыре. Это было наше фирменное блюдо. При каждом произнесенном наименовании Фарик вопросительно дергал головой.

— Ты чего головой мотаешь, — поинтересовался я, — словно взнузданная лошадь?

— Полегче с метафорами, я ведь обидеться могу.

— Прости, только лошадь в голову пришла. Еще верблюд так делает. Но я решил, что лошадь поизящнее будет.

— Спасибо тебе большое, я ценю твой вкус, — язвительно сказал Фарик. — Лошадь создание, конечно же, грациозное. Хорошо, что ослом не назвал.

Стоявший рядом мальчишка-подавальщик, чтобы не засмеяться, сделал зверское лицо, ровно герой Виктора Гюго на заседании лордов.

— Пить будете водку или коньяк? — поинтересовался шеф.

— Это зависит от того, что мы будем есть, — сказал я. — Хотелось бы отведать шашлык из осетрины, а к ней полагается коньяк. Кстати, откуда он?

— Коньяк из Гянджи, только вот насчет осетрины ответ будет отрицательный.

— В Ленкорани нет осетрины?! — воскликнул я. — Этого не может быть!

— Осетрина запрещена к вылову, — мрачно сказал шеф.

— Так она всегда была запрещена, а где эти славные рубахи-парни, браконьеры? Где эти морские черти?

— На осетрину наложила лапу местная власть, — горестно продолжал шеф. — Она же вывела всех браконьеров. К морю никого близко не подпускают. Если официально заказывать — очень дорого получается, никто не берет. Дороже, чем в Москве. То же самое с черной икрой.

— Тогда приготовь нам кебаб-ассорти и принеси открытую бутылку коньяка, — шеф сказал *«баш устэ»* и удалился. — А я все думаю, откуда у людей ностальгия по советской власти, власти трудящихся и крестьян. Советская власть была нам мать родная. Икру мы покупали по три рубля за килограмм, я уже не говорю про осетрину.

— Это ты верно подметил, — согласился Фарик. — Я тебе рассказывал про мою библиотеку?

— Рассказывал, я тебе сочувствую.

Фарик не мог простить президенту Эльчибею перехода на латинский алфавит, поскольку много лет собирал библиотеку для своих детей. Сейчас дети в школе использовали латиницу — книги, собранные отцом, читать уже не могли. 70 лет СССР тратил огромные деньги на переводы всей мировой классики на азербайджанский кириллический язык. С тех пор прошло двадцать лет, выросло поколение, не знающее старого алфавита, а на латиницу книг уже никто не переводил. Не до того было. Да и сейчас не переводят. Фонтаны строят, дороги мрамором мостят. А что до книг, так их все равно никто не читает. Ксенофобская шутка про *культур-мультур* обрела основание. Хотя над этой шуткой могли смеяться только невежественные *шовинисты*. Ибо в основе ее лежит правило парности из классической персидской литературы, в которой поэзия всегда главенствовала над прозой.

— Вот ты мне о достопримечательностях рассказываешь, — начал я, — мне, коренному ленкоранцу. А знаешь ли ты, например, что находилось на той стороне реки?

На противоположном берегу была большая пустошь. Фарик задумался, жена ему, по-видимому, об этом месте ничего не говорила. Тем не менее он сказал:

— Там дальше танковый полк стоял, а здесь был танкодром и стрельбище, сейчас овцы пасутся, — со смешком добавил он, указывая на десяток баранов, объедающих кустарники.

Появился подавальщик, неся початую бутылку коньяка. Я поднес горлышко к лицу и принюхался. В нос ударил резкий запах коньячного спирта. Вернул бутылку и сказал:

— Отнеси обратно.

— Водку принести? — спросил малец.

— Не надо.

Малец ушел.

— Что с коньяком? — спросил Фарик. — Паленый?

— Как ни странно, нет, просто незрелый. Это коньячный спирт, первая стадия. Ему дозреть надо теперь минимум три года в дубовой бочке. Но нашим виноделам, видно, ждать недосуг. Спирт гонят и сразу продают. Как китайцы.

— А при чем здесь китайцы?

— Китайцы утром картошку сажают, а вечером выкапывают. На вопрос почему, отвечают — кушать хочется. Правда, это анекдот с бородой. Китайцы сейчас живут лучше ленкоранцев.

— Так что пить не будем? — спросил Фарик.

— Разве ты пьешь?

— Вообще-то нет, но с тобой бы выпил.

Фарик был начисто лишён вредных привычек. Не пил и не курил. Когда подошло время, женился на той девушке, которую выбрали родители. Я встретил его в Баку в 1974 году, будучи в армейской самоволке. Он как раз поступал в институт с помощью пяти тысяч рублей. Это была стоимость автомобиля «Жигули». Этот факт никак не умаляет уровня знаний Фарика, он хорошо учился, это говорит о том, на что готов был отец ради него. Он бы и сам поступил, может быть, не с первого раза, но тогда бы он

загремел в армию. А этого папа позволить не мог, заплатил на всякий случай. Дядя был состоятельным человеком, до тех пор пока не вложил деньги в одну из финансовых пирамид времен перестройки. А мой папа даже алименты не платил. Я повел Фарика в пивную, что находилась в подвале кинотеатра «Вэтэн», в самом центре Баку, недалеко от Приморского бульвара. Это был модный, стилизованный под старину пивной бар. Там стояли огромные коряги вместо столов, а к пиву подавали каспийскую копченую кильку в бумажных коробках в виде сундучков. Я выпил две кружки ханларского пива, Фарик же так и просидел, едва пригубив свою, несмотря на все мои уговоры. Спустя два года, уже после армии, в Ленкорани я затащил его в привокзальный буфет, заказал два по сто и закуску, но он категорически отказался выпить. Пришлось мне осилить двести, и я заплетающимся языком назвал его Фариком. Теперь он пил водку и покровительствовал молодой женщине, а ведь прошло всего каких-то сорок лет.

— На том берегу, — сказал я, — находилась крепость, которую пять дней осаждали солдаты генерала Котляревского, оборонял ее персидский военачальник Садых-хан. Вообще-то Ленкорань была завоевана еще раньше, Петром I в 1721 году. Но в 1735 году русские были вынуждены отступить. А во время русско-персидской войны 1805-1813 годов генерал Котляревский, вступив в пределы Талышского ханства, обратился к жителям с воззванием: *«Народы Талышинские! Войска великого и всемогущего на свете русского императора всероссийского пришли сюда освободить вас из рук персиян — ваших разорителей»*. Далее он потребовал от могущих носить оружие — обратить его против персиян, от не могущих — оставаться в своих домах, и гарантировал неприкосновенность их имущества. Это заявление так повлияло на талышей, что они принялись истреблять в лесу и в горах персидских беглецов. Генерал обратился к Садых-хану с предложением сдаться, но тот ответил отказом. Все пять дней крепость обстреливалась из пушек, но цитадель, выстроенная при помощи английских инженеров, была неприступна, ее окружали болота, река и ров. У нее были высокие каменные стены и острые зубцы, она была обнесена глубокими траншеями. На углах находились бастионы, наиболее мощные — с северной и западной сторон, остальные прикрывались болотом и рекою. Высота валов достигала пяти саженей. Ров был в четыре сажени глубиной и в десять саженей шириной.

— Сажень — это сколько? — спросил Фарик.

— Два метра с небольшим. Для более эффективного действия артиллерии с боевого корабля на берег была свезена трёхпудовая мортира. Русские батареи беспрерывно обстреливали цитадель, но без особого успеха, так как небольшие снаряды полевых орудий не могли пробить крепких глинобитных стен, а от навесных выстрелов гарнизон укрывался в блиндажах, пристроенных к внутренней отлогости бруствера. Видя бесполезность артобстрелов, Котляревский отправил в крепость второе письмо, убеждая ханов пощадить себя, жён, детей, имущество и не проливать ничьей крови, сдав цитадель. Также Котляревский писал, что он и его войско не отступит от крепости, не покорив ее оружию российского императора. Что все они умрут или возьмут крепость. И дал три часа на раздумье. Садых-хан не счёл нужным отвечать на это письмо. Тем временем положение русского отряда становилось критическим. Снаряды заканчивались, а люди страдали от холода. Кроме того, было получено известие о движении крупных сил на выручку Ленкорани. И тогда генерал Котляревский решил брать ее штурмом. 1 января 1813 года, по новому стилю 13 января, в пять утра колонны в полной тишине подошли к крепости, однако персы обнаружили их и открыли шквальный огонь. Тем не менее, русские форсировали ров и полезли на стены с помощью лестниц. В первых рядах были убиты почти все. Тогда Котляревский, несмотря на ранение, лично возглавил штурм. И крепость была взята, но ценой огромных потерь. После этого ожесточение русских солдат достигло такой степени, что они перебили в крепости весь гарнизон в количестве четырех тысяч человек, не щадя ни стариков, ни беременных женщин и даже грудных младенцев. Оставшиеся в живых пытались найти спасение в реке, но были встречены картечью двух русских орудий, установленных на правом берегу. Возвращаясь обратно, беглецы наткнулись на штыки солдат. Пленных не брали. Садых-хан и еще десяток знатных ханов погибли. Самого Котляревского нашли под телами убитых, с вытекшим правым глазом, с раздробленной верхней челюстью и простреленной ногой. Он был весь изранен, но все-таки остался жив. С тех пор Ленкорань находилась в составе Российской империи. Поэтому, когда нашему брату в Москве или где бы то ни было говорят «нерусский», они в корне ошибаются. Мы уже двести с лишним лет как русские.

— Неожиданный вывод, — заметил Фарик. — Но кто бы мог подумать? Вот выйди сейчас на улицу, останови десять человек, уверен, что никто про эти события ничего не слышал. Оглан, — спросил он у подавальщика, — ты слышал что-нибудь про Ленкоранскую крепость?

— Конечно, слышал, — отозвался мальчик, — она до сих пор там стоит, туда экс-

курсии ходят, — он показал рукой.

— Ты путаешь, там тюрьма, — сказал Фарик, — но тоже достопримечательность, 18 век. Между прочим, там сидел Сталин за ограбление почтового поезда.

Подавальщик спросил:

— Вам довгу холодной подавать или горячей?

— Мне горячей, — распорядился Фарик.

— Когда это ты успел довгу заказать? — удивился я. — Но это кстати, мне пусть холодной несут. Горло промочить надо, пересохло от долгого рассказа, — принесли суп, и мы ненадолго прервали беседу. Довга была классическая с горохом-нут, хотя мама всегда варила без оного. Покончив с супом, я заметил: — Когда я работал на конвейере ЗИЛа, наши лимитчики по утрам перед сменой похмелялись кефиром. Я думаю, что довга им бы больше понравилась.

— Так странно от тебя слышать, что ты работал слесарем на конвейере. Из уст профессора, ведь ты профессор?

— Профессор, — подтвердил я, отодвигая кясу в сторону. — Но начинал я на производстве по сборке автомобилей ЗиЛ-131. Видел фильм Чаплина «Новые времена»? Вот примерно так и я крутился на конвейере. Так что хотела от тебя моя тетя?

Фарика этот вопрос почему-то затруднил. Он вдруг засуетился, громко потребовал от подавальщика убрать использованную посуду. Осведомился о готовности шашлыка, хотя через окно было видно, что шеф все еще стоит над мангалом, над которым поднимался густой белый дым — признак баранины исключительного вкуса. Я рассеянно следил за его странным поведением. Фарик почему-то тяготился с ответом. А мне было лень облегчать ему задачу наводящими вопросами.

— Она сказала, — наконец, произнес Фарик, — что...

Он молчал так долго, что я не выдержал.

— У тебя что, склероз, не можешь вспомнить?

— Твой отец умер, — выдавил Фарик. — Прими мои соболезнования.

Я ничего не испытал, ничего. Только подумал, мысль промелькнула о том, что я теперь полный сирота — в пятьдесят семь-то лет. Пятьдесят лет мы с ним не виделись. То есть абсолютно никакого контакта. Два-три письма за все время. В детстве, как ни странно, я вообще не замечал его отсутствия, тем более в зрелом возрасте. Бывали моменты, когда я хотел разыскать его. Просто так, не совестить, как это принято в кинематографе, или выказывать обиду. Но в моей памяти были впечатаны слова матери, сказанные ею однажды: «Узнаю, что ты поехал к нему, повешусь». Не имело значения, сделала бы она это или нет. После того, как она умерла, я тем более не мог этого сделать, не предав ее. Почему-то обязательства перед умершими имеют для нас большую силу, чем перед живыми. Я знал одну светскую пожилую даму, которая кичилась тем, что много лет хранит верность покойному мужу-генералу, хотя при жизни ему изменяла. Неудачная ассоциация. Сейчас я понимаю, что в ее словах было рациональное зерно, хотя в момент произнесения я счел это вздором. Фарик деликатно смотрел в сторону, давая мне справиться с чувствами, но это было лишнее, чувств не было. В моей жизни был период сентиментальности, когда при воспоминании об отце у меня наворачивались слезы, но он прошел.

Подавальщик принес большое блюдо, на котором радовали глаз несколько видов шашлыков из баранины, курицы и субпродуктов, как-то: печень, легкое, сердце. Тоже очень вкусно, если под водку. Все было щедро усыпано рубленой зеленью, перемешанной красным сладким луком и гранатовыми зернами, обрамлено запеченными овощами: сладким и острым перцем, помидорами и баклажанами. Это называлось ассорти. От блюда поднимался густой пряный запах.

— *«Грешно такую закуску помимо водки...»* — рассеянно произнес я.

— Да? Ты так считаешь? А ведь я был уверен, что этим все и кончится.

— Это цитата, — возразил я, — шутка. Но выпить все равно придется. Помянуть батюшку по русскому обычаю. Совсем урусолубгетмишям.

— У нас на поминках не пьют, — счел необходимым напомнить Фарик.

— На поминках нет, пьют после поминок. Я много раз был этому свидетель.

— Ну это когда как. Все-таки мы не русские.

— Ты ошибаешься, мы все русские.

— В каком смысле? Потому что нас Петр I завоевал?

— Именно, слово русские не существительное, а прилагательное, оно отвечает на вопрос — чьи. Русские. Самое смешное, что сами русские и есть нерусские в буквальном смысле этого слова.

— Ты меня совсем запутал.

— Сейчас объясню. Только скажи, чтобы водку принесли.

— Сколько грамм заказать?

— Бутылку.

— Не многовато ли будет? Ты на меня не рассчитывай, я за рулем.

— Я всегда заказываю в ресторане бутылку и велю открыть при мне. Все какая-то гарантия, что не разбавят водой.

На зов Фарика пришел подавальщик.

— Какая водка есть? — спросил у него Фарик.

Тот перечислил с десяток названий, половина из них была местного производства — «Хан», «Агсу», «Амбарная», «Секрет», «Атланта», из российских в наличии имелись «Путинка», «Кристалл», «Зеленая марка» и «Смирнофф».

— Надо же, — с горечью заметил я, — осетрины нет, а водки — хоть залейся, как говорили у нас ребята на заводе. А раньше было наоборот. Икры, осетрины вдоволь, а водка только одного сорта — «Московская», с зеленой этикеткой за три шестьдесят две. Ладно, водка хоть холодная? Бутылку Смирновской неси, — малец исполнил просьбу. Я проверил пробку на целостность, собственноручно свернул ее, услышав характерный хруст, разлил по рюмкам, а бутылку вернул мальчику: — Положи в морозилку, — малец удалился. Я поднял рюмку и сказал: — *Аллах ряхмятэлясин!*

— Это кощунство, — укоризненно сказал Фарик, — пить водку и произносить такие слова.

— Хорошо, да упокоит господь его мятежную душу, — безропотно согласился я. И немедленно выпил. Мне стало вдруг так хорошо, словно мама погладила меня по голове. Я не шевелился, стараясь как можно дольше удержать это ощущение. Перед этим я не пил ровно месяц. Проверял, не стал ли я алкоголиком. Фарик тоже выпил, из солидарности со мной, осторожно, со страдальческим выражением на лице.

— Ешь, — сказал он, поднося ко рту огромную ярко-красную редиску со срезанными боками. Хруст от нее донесся до небес.

Я же, понюхав маринованный перец — *бибяр*, стал вновь наполнять рюмки, объяснив свои действия:

— *«Русские после первой не закусывают».*

— Так все-таки ты русский?!

— Это тоже цитата, но я русский, русский азербайджанец, и ты тоже, хотя ты уже не русский. С 1991 года. Потому что «русский» — это не национальность, а принадлежность. Вообще сначала произносилось — русские люди, как совсем недавно — советские люди. Потом слово люди отпало. Может быть, ты слышал про великое княжество Литовское и Русское, которое было соперником Московского княжества. Так вот, в Литовское Русское княжество входили Брестские, Витебские, Волынские, Галицкие, Луцкие, Минские, Полоцкие, Слуцкие и другие земли. В зависимости от Литвы были Смоленское, Псковское, Галицко-Волынское и Киевское княжества. Многие русские земли, стремившиеся найти защиту от монголо-татар, присоединялись к Литве. Великий князь Гедемин и его сыновья были женаты на русских княжнах, при дворе и официальном делопроизводстве господствовал русский язык. Литовской письменности в то время не существовало. «Русские» — так продавшаяся монголо-татарам и получившая ярлык на княжение Москва называла покоренные народы — киевлян, новгородцев, тверичей, вятичей, чудь, весь, мерю, пермяков, мордву, литовцев и других. Называла так, потому что боролась против исконной Руси на стороне татар, чтобы отличить новых подданных от московитов, или москалей. Количество порабощённых народов росло. Русский татарин, русский пермяк, русский литовец. Любой русский человек, если покопается в своей родословной, обнаружит, что он не русский. Прилагательное русский со временем потеряло свое качество, и сами коллаборационисты стали называть себя русскими. Вообще-то национальность — это язык, культура и гражданство. Это сказал не я, а один английский социолог, не помню его фамилию. Но русские националисты так не считают. Они не хотят слышать, что национальный состав России насчитывает 190 народов. Доходит до маразма. Стоит на их шабаше чернявый парень с монголоидными чертами лица и кричит: «Долой нерусских!» Чернявый, а, чернявый! — я ведь тоже русский, не веришь, давай сравним наш словарный запас. От того, что паспортистка записала его русским, не означает, что он таковым является. Как они свою *русскость* определяют, откуда ведут родословную, от монголо-татар, от Петра? Так мы тоже были и под монголами, и под Петром. Почему он русский, а я нет? И вообще не тот русский, у кого это написано в паспорте. А тот, кто, слыша — Тамань, добавляет, что это самый скверный городишко на юге России.

— Кажется, у тебя наболело? — сказал Фарик.

— Лучше сказать, накипело, — я сделал оглану знак, и он принес бутылку из ледника, разлил по рюмкам. — Вот ты азербайджанец, да? — продолжал я.

— Ну, — предчувствуя подвох, согласился Фарик.

— А ты уверен в этом?

— Теперь уже нет.

— И правильно, потому что Ленкорань — это земля талышей, а мы с тобой, несмотря на то что родились здесь, в ближайшем рассмотрении тюркоязычные персы, но и это не факт. Что там говорил Воланд про родословную — причудливо тасуется колода. Ты в Барде был когда-нибудь?

— Нет.

— А я был.

— И что ты там делал?

— Хлопок собирал. Барду в средние века заселили туркмены, племена Гарагоюнлу и Ак-гоюнлу, то есть Черного барана и Белого барана. И они тоже считают себя азербайджанцами. А таты, лезгины, джухуды, то бишь нашенские евреи, молокане, аварцы, удины, русские в конце концов, они все азербайджанцы, так же как люди, населяющие Россию, — русские. А до этого наша земля в 7-м веке была завоевана арабами, которые принесли сюда ислам. Их сменили турки-сельджуки, потом хорезмийцы, а за ними монголы и так далее. А в глубине веков над Азербайджаном реяло знамя Александра Македонского, так, может, в нас течет и греческая кровь. А после него были римляне. Гней Помпей воевал Кавказскую Албанию. Поэтому когда ты говоришь — азербайджанец, надо представлять, что за этим стоит... Я вот недавно узнал, что мой прадед со стороны отца был родом из Йемена, то есть во мне есть и арабская кровь, каково, а? Национальность человека — это сложная вещь. Никто с уверенностью не может сказать, какой он национальности. А теперь надо выпить.

Фарик неуверенно взял рюмку.

— Может, тост скажешь? — предложил он.

— Пей, — сказал я. — *«Будет много мук, пока твой век не прожит. Стечение планет не раз тебя встревожит. Когда умрем, наш прах пойдет на кирпичи, и кто-нибудь себе из них хоромы сложит»*.

— Я бы хотел выпить за здравие, а не за упокой, — возразил Фарик.

— Я хотел тебя приободрить.

— Тем, что из меня кирпичи сделают? У тебя не получилось.

— Ничего другого на ум не пришло, извини. А это — Омар Хайям.

— Ты даже слезинки не обронил, — сказал сентиментальный Фарик. — Я не знаю, что со мною будет, когда отец уйдет в иной мир, — и глаза его немедленно наполнились слезами.

Его отец, мой дядя по материнской линии, разменял десятый десяток. Надеюсь, что я в него по генетике. Отчего-то хочется дожить до 90 лет.

— Фарик, не путай божий дар с яичницей, — сказал я ему. — Ты всю жизнь прожил с отцом, а я нет. Он тебя любит, а меня мой бросил. В этом вся разница.

— Тем не менее, ты вырос. Стал профессором. Жизнь прожита не зря.

— Чья? Моя или его? — этот вопрос поставил сына моего дяди в тупик. Я не стал ждать ответа. — Жизнь просто прожита, зря или не зря, это не имеет никакого значения. Человек приходит в мир, выполняя определенную функцию продления жизни биологического вида. Как сказала Диотима устами Сократа: «Соитие мужчины и женщины — дело божественное. Зачатие и рождение суть проявления бессмертного начала в существе смертном». А мы говорим любовь, громоздим вокруг столько слов, чувств, а это всего-навсего вселенский механизм продолжения вида. Или, как говорил Платон — *идеи*. Идеи человека. Что еще сказала тетка или она специально нашла тебя, чтобы передать тебе эту скорбную весть?

— Ты попал в самую точку, — ответил Фарик, он взялся за рюмку, но в этот момент у него зазвонил телефон. Он вытащил мобильник и приложил к уху. Лицо его расплылось в улыбке, но встретившись со мной глазами, он эту улыбку стер, как не приличествующую моменту. — Это она, — сказал он, зажав микрофон, — я выйду на пару слов, ладно, не скучай.

Глядя, как он прохаживается по берегу реки, приложив телефон к уху, и что-то объясняет своей пассии, я мучительно извлекал из глубин памяти последнюю встречу, воспоминание об отце. Картинки менялись, как в диафильме, и их было много, к моему удивлению. Три рыбалки, две охоты, прогулки. В первый раз он уехал, когда мне было пять лет. Уехал на заработки, вернулся с новой женой. Окончательно переселился в Россию, когда мне было семь лет. С тех пор я его не видел. Прошло 50 лет, и вот он умер. Это глупо и несправедливо. Почему, потеряв отца однажды, надо пережить потерю еще раз, спустя пятьдесят лет. И эта фантомная тетя сейчас появляется, чтобы разбередить давно зажившую рану. Почему на меня должна ложиться двойная тяжесть утраты. Восточная пословица гласит, что при разлуке уезжающий уносит с собой лишь одну четверть горя разлуки, три четверти приходится на долю того, кто остается. Фарик вернулся довольный, потирая руки, схватился за бутылку, наполнил мою рюмку. Сам пить не стал.

— Мне больше нельзя, — объяснил он, — я за рулем.

— У тебя сегодня свидание? — спросил я. — Это так здорово. В 55 лет роман с молодой женщиной.

— Но, но... — сказал Фарик, — попрошу без зависти. Сглазишь.

— Не бойся, моя зависть белого цвета. А чего хотела девушка? Встречи? Так я могу тебя отпустить ради такого дела. Она где живет?

Фарик назвал деревушку, находящуюся в предгорьях.

— Чудное место, — добавил он, — лимоны растут, фейхоа. Оттуда видно море, можешь себе представить?

— Может, вместе съездим, навестим ее? — предложил я. — Чаю попьем.

— Ну, конечно! Ты свои российские замашки брось. Ее из дома выгнали за то, что она связалась не с тем парнем. А если мы еще приедем, то выгонят из деревни.

— Ты прав, это я погорячился.

«Похищение» девушки обычно практиковалось, если девушку не отдавали за парня или у него не было денег на свадьбу и подарки невесте. В Азербайджане свадьба была очень дорогим, помпезным и хлопотным удовольствием. Часто родители на годы влезали в долги ради этого. Обычно через год после похищения, часто с рождением ребенка, стороны мирились. Но бывало и так, как у этой девушки.

— Просто позвонила, чтобы поговорить. Скучает, говорит, общения хочет.

— Смотри, брат, наживешь ты проблем на свою лысую голову.

— Никаких проблем не будет. Я ее сразу предупредил, что ничего серьезного между нами быть не может. И она сказала, что ей от меня ничего не нужно, кроме общения.

— Я тебе одну умную вещь скажу, только ты не обижайся. Девушки поначалу говорят именно так, а потом впиваются в тебя, как клещ, притом энцефалитный. Но с этой девушкой, я уверен, все будет иначе.

— Вот это правильно, — согласился Фарик, но было видно, что он очень надеется на это, пытается себя уверить.

— За это и выпьем, — предложил я.

— Подловил, не могу отказаться.

Мы выпили и закусили. Я красным уксусным перчиком, а Фарик — маринованным фаршированным баклажаном, фирменным ленкоранским. После такой закуски о свидании с девушкой не могло быть и речи. Да и спать надо было ложиться одному в комнате. Герой лучшего романа Хемингуэя любил тушенку с сырым репчатым луком и честно предупреждал, что после этого к нему лучше подходить с подветренной стороны. Я сказал об этом Фарику, для того чтобы он окончательно выбросил из головы мысли о рандеву. А то ведь выпимши нашего брата часто на подвиги тянет, а горные дороги, они и трезвому водителю голову кружат. Шашлык как-то быстро закончился, и мы заказали еще одно фирменное ленкоранское блюдо, курицу-*лэвэнги*. Вообще-то надо было сделать это сразу, потому что ждать ее долго. Но аппетит приходит во время еды. Поэтому мы заказали *гутабы* с разной начинкой — с мясом, сыром и зеленью, от *гутабов* с потрохами я наотрез отказался. Плохие воспоминания. А водка пилась удивительно легко. А такое бывает в двух случаях — в горе и в радости. В радости пребывал Фарик. Ну а к горемыкам можно было с некоторой натяжкой причислить меня. Вдруг щелкнула еще одна картинка. Пятьдесят лет прошло, а у меня перед глазами все как наяву. Солнечный день. Мы с отцом сидим в чайхане, на столе лежит его летняя соломенная шляпа. Отцу в то время было лет 35, я полагаю. Из чайханы к нему домой, где он жил с новой женой и новорожденной дочерью, мы шли пешком. А это было довольно далеко от центра. Сейчас я вдруг сообразил, что у него просто не было денег на такси, и автобусного маршрута в его поселок не было. Он снимал там комнату. Я помню, как заглядывал в кроватку к новорожденной сестре. Пятнадцать лет назад судьба свела меня с сахалинцами, мужем и женой. Там жил мой отец. И я попросил их разузнать о нем что-нибудь. Они добросовестно исполнили мою просьбу. Отца не нашли, выяснилось, что он ушел и от этой жены, как колобок, и живет у какой-то молодой бабенки. Это в 70-то лет, я даже испытал гордость за него. Мне переслали адрес его дочери, той самой, в чью кроватку я заглядывал. Она жила в Хабаровске. Я написал ей письмо, однако ответа не получил. Еще через несколько лет одна из моих студенток отправилась на Сахалин к своему жениху. Я обратился к ней с аналогичной просьбой. Она вернулась с известием о том, что никаких следов моего отца ей найти не удалось. Адреса, на который я в детстве писал редкие письма и до сих пор помню наизусть, более не существует. Нет ни улицы, ни дома. Вообще эту часть города снесли к чертовой матери. Мне кажется, что он был одинок в конце жизни. Ведь что посеешь, то и пожнешь, это я говорю без злорадства. После этого я навсегда оставил попытки что-либо разузнать о нем, и вот теперь тетя воспылала ко мне родственными чувствами. Как говорится — на то щука в озере, чтобы карась не дремал.

Я вопросительно глянул на Фарика, и он заговорил:

— Она сказала, что у нее есть какие-то бумаги, остались после него, не знаю,

документы или записные книжки. Я не понял. Короче говоря, если ты придешь к ней, она передаст их тебе.

— Почему же она просто не передала их тебе?

— Понятно почему, она ищет встречи с тобой.

— Это шантаж?

— Ну, не будь так категоричен, может быть, она без умысла, своим женским умом недалеким. Хотя я знаю, что она пишет стихи.

— Неужели?

— Да, печатается в каком-то местном журнале. Вы родственные души. Оба последователи Мельпомены, служители муз. Одна богиня простерла над вами свою длань.

— Не одна, разные, надо мной Мельпомена, а над ней Талия. Однако смотри, как ты заговорил, прямо Гомер.

— Она оставила номер телефона, запишешь? — я молча разливал водку. — Что скажешь?

— Нет.

— Вот так сразу нет и все? Подумай. Я понимаю твою обиду. Но обида — это, если вдуматься, вздор. По большому счету, ей от тебя ничего не нужно. Ничего, кроме разговора. Сейчас ты плоть и кровь ее родного усопшего брата. Не будь жестоким, тебе это несвойственно. Ведь ты мягкий и добрый человек.

— Ладно, адвокат, бери рюмку. Еще немного, и я подумаю, что она дала тебе не только номер телефона.

— Как тебе не стыдно...

— Вообще-то я имел в виду деньги. Но я понимаю, у тебя роман с молодой девкой, все мысли вокруг этого. Видишь ли, дорогой мой кузен, меня сейчас совершенно не интересуют ее мотивы. И дело здесь вовсе не в обиде. Я человек действительно мягкий и отходчивый. Просто объясни, зачем мне теперь нужны эти бумаги. Он что, погиб на фронте? Пропал без вести? Все эти годы в нашей стране не было войны. Уж за 50 лет можно было разориться на билет, найти меня. Просто из любопытства. Я не мог этого сделать, не предав мать, а уже ему-то никто не мешал. Меня от него не прятали. Но он не сделал ни одной попытки. Зачем я теперь пойду к его сестре? Зачем я буду читать его бумаги? Чтобы оторвать корку от раны? Тебе не кажется, что это довольно унизительно и мучительно для меня?

— Гордыня, — сказал сын моего дяди, — один из семи смертных грехов.

— Нет, не гордыня. Достоинство. Ты знаешь, мне как-то вдруг пришло в голову, что моя мать, пребывая на небесах, освободилась от бремени человеческих страстей. И возможно, сожалеет о том, что запретила мне искать отца. Но я все равно не стал искать встречи с ним. Потому что я вдруг сообразил, что увижу совсем другого человека, немощного старика. А ведь в моей памяти он молодой сильный красивый мужчина. Таким образом, я, лишившись общества отца когда-то, теперь в зрелом, если не сказать, пожилом возрасте потеряю единственное, что у меня есть — детские воспоминания. Его новый облик сотрет все. Эти пресловутые бумаги — событие того же ряда. Ибо сказано: *«Путешествие в обратное я бы запретил, я прошу тебя, как брата, — душу не мути»*. Так что, Фарик, не трави мне душу.

Фарик развел руками:

— Пожалуй, возразить мне нечего. Раз уж ты заговорил стихами. Решать тебе. И стихи, главное, к месту.

Я не мог остановиться.

— У нас в техникуме, где я учился на автомеханика, — это было мое первое техническое образование, после этого я закончил еще два вуза, — электротехнику преподавала старая еврейка, эдакая экзальтированная особа, увешанная браслетами, бусами из кожи и дерева, серьги из каких-то редких камней. Впрочем, это я тогдашними глазами называю ее старой, на самом деле ей было не больше пятидесяти, то есть примерно как мне сейчас. Себя-то я старым не считаю. Смешно, да? Но дело не в этом. Как-то она сказала, что даже дикий зверь не бросит никогда своего детеныша, пока он не вырастет, в отличие от человека. Или как сказал другой поэт: *«Лишь только человек, в отличье от животных, уйти способен от того, что любит»*. К электротехнике ее слова не имели никакого отношения. Ее дочь бросил муж, она переживала и вдруг заговорила об этом на уроке. Впрочем, все это запоздалые слова. Наливай...

— Я больше не буду. Я за рулем.

— Ты это говоришь перед каждой рюмкой.

— Это говорит о моем постоянстве.

— *Постоянству пьющих поем мы песню*, — по-гомеровски произнес я, пытаясь попасть горлышком водочной бутылки в отверстие рюмки, но Фарик обеими ладонями закрывал ее, держа глухую оборону. В этот момент, опережая шефа, в зал ворвался запах запечённой в тандыре курицы-*лэвэнги*. Причем было очевидно, что курица при

жизни питалась настоящей пшеницей, не чета всяким там бройлерным. И Фарик дрогнул, ослабил хватку. В дверях появился шеф, неся на подносе запеченную до румяной корочки домашнюю птицу. Фарик капитулировал и убрал руки. Острейшим ножом шеф развалил курицу на две части, открыв взору начинку — прокрученный через мясорубку красный лук с грецкими орехами, обильно сдобренный алычовой пастой. Мы начали с крылышек, каждому по одной, благо в курице всего поровну, почти всего. Она была не очень большая, что только делало ее вкуснее.

— Фарик, ты ел когда-нибудь утку по-пекински? — спросил я.

— Я дальше Баку никуда не ездил.

— Счастливый ты человек, имей в виду, что находишься в компании таких людей, как Саади и Кант. Они тоже никогда не покидали пределов родного города. Что может быть лучше для человека, чем родиться, жить и умереть в родном городе. Сократ даже принял смерть, не желая жить изгнанником, вернее, беглецом на чужбине. Переходя на язык москалей — он не хотел на старости лет становиться *нерусским*.

— Сократ — знаменитый греческий философ, — уточнил Фарик, видимо, на всякий случай.

— Точно так.

— А какое отношение это имеет к пекинской утке?

— Ну не скажи, искусство кулинарии — это почти философия.

— Мы сейчас об утке говорим или о Сократе, что-то я запутался?

— Надо еще выпить.

— Ни в коем случае. Я за рулем.

— Я это уже слышал, ты твердишь об этом весь день, смени пластинку. Кстати, здесь есть музыка?

— Музыка сейчас есть везде. В каждом мобильном телефоне. Включить?

— Не надо. Я хотел бы послушать какой-нибудь азербайджанский романс. Ты знаешь, мой отец любил слушать *мугамы*. А я их терпеть не мог. Раньше на радио час *мугама* был. Он садился возле радио и слушал, и в это время его лучше было не трогать. Я как-то стал лезть к нему и получил пощечину, представляешь?

— Нет, меня отец никогда не бил.

— Это вдвойне несправедливо. Меня мой бил и в то же время его не было. Обидно, да?

— Да, — согласился Фарик, — это обидно. А все-таки при чем здесь утка?

— Я хотел сказать, что знаменитая пекинская утка никогда не сравнится с этой курицей-*лэвэнги*. Просто никто об этом не знает.

— А при чем здесь Сократ?

— При чем — не знаю, я как-то упустил нить Ариадны. *«Нить здравомыслия не упускай из рук, чтоб не упал и ты от головокруженья»*. Сократ был приговорен к смерти в Афинах в 399 году до нашей эры. Разве ты не знаешь об этом? Он предпочел смерть бегству.

— Кто же этого не знает, — уклончиво ответил Фарик, и тут же спросил: — Почему? Почему он предпочел смерть?

— Это сложный вопрос. За ним целое мировоззрение.

— Хорошо, что не философская система. А в двух словах?

— Можно и в двух словах. Только у нас водка кончается. Скажи, пусть еще принесут, — я ожидал сопротивления, но Фарик не стал спорить. Вторая бутылка была из морозилки, то есть покрыта инеем. Я похлопал по плечу подавальщика. — Молодец, быстро соображаешь. Как сказал граф Толстой: «А графинчик, подлец, инеем зарос».

— Лев Толстой не мог этого сказать, — блеснул эрудицией Фарик. — Он был вегетарианцем.

— А я не про Льва, я про Алексея.

— Так бы сразу и сказал.

— Ты видел такой фильм «Жизнь Пи»?

— Послушай, притормози, — взмолился Фарик, — твои познания велики, я не сомневаюсь в этом, но давай сначала с Сократом закончим. С пекинской утки начали.

— Это все взаимосвязано. Просто небольшое отступление. Впрочем, будь по-твоему, вернемся к Сократу. Ему предъявили обвинения в том, что он не чтит богов и развращает молодежь. С современной точки зрения, за первый пункт в России и сейчас можно загреметь по статье «Оскорбление чувства верующих». А со вторым пунктом интересно то, что развращать юношей в прямом смысле этого слова было можно, то есть заниматься непотребством, с нашей точки зрения. А вот влиять на умы — считалось преступлением. Обвинителей было трое — Мелет, неудачливый стихоплет и сочинитель трагедий, ритор Ликон и кожевник Анит. Все обвинители в разное время были обижены или оскорблены Сократом. Бездарный поэт, посредственный оратор и богатый кожевник, чей сын входил в число почитателей Сократа, — он был идейным

противником. Судей было 501 человек, и первое голосование разделило их. 220 против 281-го. Обвинение было вздорным. Сократ, защищаясь, легко опроверг все пункты, но выступление было таким резким, что он разозлил толпу, судившую его. К тому же в виде наказания себе он предложил не денежный штраф, а даровой обед в Пританее. Философу дали возможность вымолить себе прощенье. По закону того времени подсудимому давали возможность в противовес назначить себе самому наказание, и проводилось второе голосование. Вот тогда-то Сократ, словно в насмешку, назначил себе денежный штраф в 30 мин и даровой обед в Пританее. После этого за смерть проголосовало 360 человек против 141. Приговор был окончательным. Месяц длилась эта известная история с кораблем на Делос, во время которой действовало табу на смертную казнь. На протяжении этого месяца его свободно навещали друзья, родные. Его уговаривали бежать. Не только друзья. Даже недруги надеялись на то, что он совершит побег. Приговор был несправедлив, слишком суров, вынесен сгоряча. Поостыв, люди поняли, что перегнули палку. Казнь легла бы на Афины несмываемым позором. Но Сократ отказался от побега. На уговоры друзей он отвечал многословными доводами, некоторые из них мне кажутся сомнительными. К примеру, он выводил свою обязанность принять приговор из того, что до сих пор его устраивали законы Афин. И почему-де сейчас он не должен закону подчиниться, объявив его несправедливым. Но на меня произвели впечатление другие доводы.

Первое. Бежать он должен был вместе с семьей, и он не хотел обрекать своих сыновей на участь бесправных чужаков. А если бы он бежал один, то подверг бы семью остракизму. Второе. Он не хотел, чтобы кто-нибудь сказал ему — отчего ты, 70-летний старик, так цепляешься за свою жизнь? Цитируя Платона: «А то, что ты старый человек, которому, по всей вероятности, недолго осталось жить, решился так малодушно цепляться за жизнь — этого тебе никто не заметит». И, наконец, третье. У Сократа был внутренний голос, к которому он прислушивался всю жизнь. Он называл его *даймоний*, то есть — демон. Этот демон не раз выручал его в тяжелых жизненных ситуациях. По свидетельству Платона, Сократ сказал друзьям, что в тот день, когда он вышел из дому, чтобы отправиться на суд, демон молчал, как это часто бывало. «Значит, он считал, что я поступаю правильно, он бы возразил, знай, что смерть — зло. Никто не знает, является ли смерть злом. Или это забытье, подобное глубокому сну без сновидений. Возможно, вся наша жизнь не стоит этого сна». Из молчания демона он понял, что прожил отмеренную ему жизнь. И принял этот факт с хладнокровием истинного философа.

Я замолчал и стал смотреть в окно. На противоположном берегу стоял рыбак и методически черпал воду из реки устройством, именуемым паук, напоминающим одновременно и перевернутый ковш. На концы скрещенных изогнутых жердинок была натянута сеть. Над его головой носились чайки в надежде, что им тоже что-нибудь перепадет из добычи. Заросли камышей за его спиной воскрешали в памяти картинки детства. От железнодорожного моста и до самого устья на обеих берегах не было места, на котором бы я не сидел с удочкой. А двести лет назад здесь были болота и среди этих болот стояла цитадель, последний бастион Персии перед северным соседом. 18 декабря 1813 года отряд Котляревского форсировал Аракс и, пройдя восемьдесят верст напрямик без воды и дорог по Мугани через солончаки, вязи и топи, претерпевая холод и стужу, вступил в Талышское ханство. Здесь они наткнулись на 500 персидских всадников под командованием Абу Салима, которые, уклонившись от боя, бежали в Аркиван. Вскоре русский авангард встретил кавалерийский отряд сардара Пир-Гулы-хана в количестве тысячи сабель. После перестрелки персы отступили, преследуемые казаками. Затем Котляревский двинулся на Аркиван. Аркиванский гарнизон в количестве 1500 персидских сарбазов и 400 русских дезертиров под командованием Бала-хана и Аскер-хана покинул Аркиванскую цитадель, оставив в ней 2 орудия при всём артиллерийском запасе, провианте и фураже. Для преследования персиян Котляревский послал 400 егерей и 300 казаков под начальством подполковника Ушакова, который преследовал противника на расстоянии 15 вёрст. В ходе преследования в плен сдались 50 русских дезертиров и было перебито до 300 персиян. Садых-хан укрепился в ленкоранской цитадели с четырехтысячным гарнизоном. Правитель Азербайджана принц Аббас-Мирза послал ему наказ со словами:

«Надеясь на твою честность и глубокий патриотизм, я вполне уверен в том, что ты не изменишь своему отечеству, а будешь защищать вверенную тебе крепость до смерти, не отступая малодушно перед неприятелем, если даже целые горы вражеских сил ополчатся и восстанут с ожесточением против тебя и твоих храбрых воинов, зная, что защищаемая крепость составляет собою ключ к сердцу Персии. Да поможет тебе великий Аллах в осуществлении нашей надежды».

27 декабря 1812 года Котляревский отправил Садых-хану письмо с предложением о сдаче Ленкоранской крепости. В числе прочего он писал:

«По воле моего главнокомандующего я пришёл освободить Талышинское владение из рук персиян и, следовательно, должен взять Ленкорань. Зная Вас, сколько со стороны храброго, столько же благоразумного предводителя, считаю необходимым предуведомить, что ваше сопротивление будет напрасно, а потому я предлагаю вам согласиться сдать крепость добровольно, во избежание вредного и напрасного пролития крови, пощадив своих и моих ратников. Подумайте, что вы, следуя благоразумию, сохраните жизнь, достоинство и имущество ваше и всех командующих; в противном случае потеряете всё, не внемля гласу здравого рассудка. Впрочем, мой долг вам сказать, а в вашей воле избрать; только после я буду прав перед Богом и человечеством. На сие послание ожидаю ответа через три часа и для того мною приказано не бомбардировать крепости впредь до получения от Вас ответа.

В ожидании мирного и доброго ответа остаюсь,

П.С. Котляревский».

Садых-хан ответил в тот же день многословным письмом. Сейчас, спустя двести лет, очевидно, что в итоге этого сражения в выигрыше остался Азербайджан, получивший сначала статус окраины Российской империи, затем Азербайджанской республики в составе СССР. А теперь и вовсе ставший независимым государством. И нам должно славить русское оружие, но читая это письмо, нельзя не признать правоту и прозорливость этого перса. Нельзя не испытывать к нему уважения. Равно как и к генералу от инфантерии Петру Котляревскому. Не могу не процитировать письмо полностью.

«Генерал Котляревский!

Получив Ваше мирное предложение, считаю своим долгом высказать вам несколько едких и горьких слов, могущих произвести на вас самое неприятное впечатление своею правдивостью, отвергая ваше мнение по пунктам. Вы пишете: «я пришёл освободить Талышинское ханство из рук персов», позвольте мне, генерал, не верить вашим лживым словам, ибо вы, говоря откровенно и прямо, явились закабалить и угнетать талышинцев. Вы пришли не освободить Талышинское ханство «из рук персов», а расширить свою территорию за счет чужой земли. Неужели вам тесно живется в своем величайшем в мире государстве, что вы ищете простора? Отличаясь ненасытною жадностью, ваши императоры поставили себе целью подчинить своей власти все слабые царства, а в особенности мусульманские, пользуясь их неподготовленностью к войне. Чем освободить чуждых вам людей, живущих на расстоянии двух тысяч верст от вас, не лучше ли избавить и спасти своих крестьян из-под гнёта и оков ваших помещиков? Вы предлагаете мне «сдать крепость добровольно; в противном же случае вы будете правы перед Богом и человечеством». Что за красивая и гуманная фраза? Разве вы веруете в Бога? Сомневаюсь: если бы вы веровали в него и любили бы человечество, то вы не вели бы своих несчастных солдат на бессмысленную бойню и на верную гибель, а пожалели бы их самих, жен и детей и дали бы им спокойно жить на родине, а не водили бы их на такую даль из-за пагубной прихоти вашего царя. Вы пишете: «во избежание напрасного пролития крови». Кто служит причиною пролития крови? Мы или вы? Оставив свою страну, невзирая на колоссальную её величину, вы, как разбойники, вломились в наши пределы, грабя и убивая нас безжалостно. Мы о вас и не думали, но вы вторглись в наш край, изумив нас своим кровожадным дьявольским ликом, заставляя нас упорно сопротивляться, чтобы не лишиться своей независимости и самостоятельности, стараясь удержать нашу золотую волю и свободу в своих руках. Мы с вами не воюем, а обороняемся от вас, как от нападающих диких хищных зверей, заявляя вам категорически, что мы все костьми ляжем и поголовно умрём, а не сдадим крепости вам добровольно. Мне жаль ваших храбрейших солдат, служащих слепым орудием для достижения вашей разбойничьей цели: ваше начальство вознаградит только вас одних, как полководца, орденами и даже крупной денежной суммой за героический и отважный подвиг ваших доблестных солдат, коих оно обойдёт. Ещё один пример «великой гуманности» — поступок начальника отряда подполковника Ушакова, заслуживающий с вашей стороны «похвалы и одобрения»: не вступив с вами в бой из-за моих больных сарбазов, я второпях оставил Аркиван и направлялся к Ленкорани по лесистой дороге, желая спасти их от пленения, а позади следовали на обозе больные в сопровождении безоружных обозных людей и русских беглецов, в числе 350 человек, из коих больных воинов было 260, конюхов 40, а беглых солдат 50. Достигнув всех их на пути, батальон Ушакова взял в плен только русских беглецов, а всех остальных, числом в 300 лиц, изрубил шашкою, не оставив ни одного живого, как «бусурман», несмотря на то что они являлись живыми мертвецами. Так ли понимается вами любовь к людям? Где ваш Бог — Иисус, говорящий: «люби ближнего, как самого себя, и поднявший меч от меча погибнет». Где сказано, что надо убивать пленных, да ещё больных? На это

зверство, свирепость и жестокость способны только ваши солдаты. Основываясь на вашем евангельском изречении «поднявший меч от меча погибнет» — я уверенно предсказываю и предвозвещаю, что настанет то счастливое для Персии время, когда ваши солдаты, восставши против своих правителей, сами убьют всех генералов вместе с царём за то великое зло, какое они совершали над соседними государствами, и от них не останется никакого следа. Если бы наши бывшие подвластные ханы обладали бы прозорливостью, чувством солидарности и менее следовали бы своим личным интересам, то мы, соединившись вместе, сумели бы доказать свою правоту, но они обманулись и после будут каяться в своих необдуманных ошибках, но тогда будет поздно. «Во избежание пролития крови», я советую Вам пожалеть своих солдат и не принуждать нас сопротивляться, а вернуться обратно туда, откуда вы, как вредные и злые пришельцы, явились, оставив нас в покое: мы будем решительно и отчаянно обороняться и биться с вами до смерти за землю наших предков и за благополучие наших будущих поколений. Сжальтесь над людьми и перестаньте истреблять их: мы никому жизнь не давали, и отнять её у других не имеем никакого права: а потому вы не посылайте своих солдат на верную гибель, так как мы без ожесточённой борьбы не сдадим крепости.

Комендант крепости Садых-хан, 27 декабря 1812 года, г. Ленкорань».

Прочитав это письмо, генерал приказал начать артиллерийский обстрел.

После падения крепости из гарнизона Ленкорани в живых остался только один перс. Русские сказали ему: «Мы тебя не тронем. Иди и расскажи всем своим, как мы города берем». Генерал, награжденный за этот страшный штурм орденом Георгия 2-й степени, выжил, но был настолько искалечен, что его отправили в отставку, сразу после аудиенции у императора. Котляревский прожил потом без малого сорок лет, но про него почти все забыли — его подвиги затмила эпопея наполеоновских войн. Он поселился в Феодосии, дружил с Пушкиным и Айвазовским. До самой смерти генерал удивлял всех своим мужеством, перенося постоянные страдания. Жил он в бедности, а свою военную пенсию раздавал солдатам, которые постоянно его навещали. Гостям он показывал шкатулку, в которой хранились не золото и драгоценные камни, а сорок его костей, вынутых из искалеченного тела хирургами. Эти два героя были достойны друг друга — Садык-хан и генерал Котляревский, оба принесли себя в жертву, выполняя приказы своих бездарных монархов. Садык-хан погиб, а генерал оставшуюся жизнь прожил, мучаясь болью от ран. Это был страшный и бессмысленный бой. Ленкорань де-факто уже была занята русскими войсками, незачем было запираться в крепости. Военная история не знает случая, когда крепость осталась бы непокоренной. Мать Чингисхана Теркен-Хатун была вынуждены выйти из горной неприступной крепости, когда отсутствие дождей иссушило колодец с питьевой водой. Если в спешных действиях русского генерала было опасение того, что к персам подойдет помощь, то Садык-хан просто обрек своих людей на погибель. Надо было просто отступить в горы. Но он выполнял приказ.

— Что же было дальше? — спросил Фарик.

Мои мысли были далеко, я не сразу сообразил.

— Ты, о чем?

— О Сократе, конечно, о чем же еще.

— Как что. Он выпил цикуту и умер. А ты думал, обойдется?

Фарик засмеялся и погрозил мне пальцем.

— Вот ты иронизируешь, — упрекнул он меня, — а по последним данным Иисус Христос не умер.

— Это всем известно. Он вознесся в небо.

— Нет, — торжествуя сказал Фарик, — его похитили друзья из гробницы, и он бежал в Индию и прожил там до 120 лет.

— Иди ты...

— Сам иди, — Фарик был доволен произведенным впечатлением. Он разлил остатки водки по рюмкам.

— Ты же за рулем, — заметил я ему.

— Знаю, не надо мне каждый раз напоминать об этом. Давай за Сократа, — предложил он.

— Это хороший тост, — одобрил я.

Мы допили то, что оставалось от первой бутылки.

— Почему о Сократе ты заговорил?

— К слову пришлось.

— К какому слову. Мы же говорили о твоем отце.

— Уже не помню.

— А про кино — «Жизнь Пи»?

— Да, теперь сошлось. Корабль терпит крушение, и на лодке оказываются свирепый тигр из зоопарка и его хозяин, молодой парень. Тигр все время бросается на него, а тот спасается в океане. Но в скором времени тигр перестает рычать на него, привыкает. Более того, тигр заболевает отчего-то, и парень выхаживает его. Близость двух существ посреди океана. Человек привязывается к зверю, как к родному существу. Но когда в итоге их выбрасывает на берег, тигр, обязанный жизнью человеку, уходит, даже не оглянувшись, оставляя человека в одиночестве. Так и мой отец, я любил его, а он ушел, не оглянувшись. Хотя в жизни должно быть наоборот, дети уходят, забывая родителей.

— С кино мы разобрались. А Сократ?

— *Даймоний,* или проще говоря — демон, его внутренний голос, был просто-напросто сильно развитой интуицией. Сократ всегда поступал так, как говорил ему демон. И это не раз спасало его от неприятностей. И даже от смерти. Ты знаешь, у меня тоже хорошая интуиция. Беда в том, что я ее никогда не слушаю. А то бы я избежал в жизни многих проблем. Например, оба раза, когда я выходил из дома, направляясь в ЗАГС, внутренний голос, мой демон, говорил мне — не делай этого, садись в автобус и езжай в другую сторону, скройся, откажись. Но я поступал под действием рассудка и своей порядочности. В итоге два развода и две дочери, которые со мной не знаются. Что характерно: с одной я в ссоре, а с другой нет, но ни та, ни другая во мне не нуждаются. А ведь не надо было думать. Это иллюзия, что человек соображает. Сократ считал, что человек не может мыслить, это невозможно. Движение его мысли есть не что иное, как воспоминание его бессмертной души. Душа вспоминает свои беседы с Богом, а человек ошибочно считает, что он мыслит.

Я взялся за ледяное горлышко непочатой бутылки, охлаждая свой внутренний жар.

— Открыть? — спросил стоявший неподалеку подавальщик.

— Нет, сынок, не надо, унеси, мы не будем больше пить, — сказал я.

Фарик при этих словах облегченно вздохнул. На этом мы закончили нашу трапезу, или лучше сказать — тризну. После долгих споров и препирательств мне удалось заплатить по счету, и мы вышли из таверны. Оставить здесь автомобиль Фарик отказался наотрез.

— Ты сутомурдовских не знаешь, — сказал он мне, человеку, выросшему в Сутомурдове, — за ночь они все колеса с машины снимут и зеркала.

Я отказался ехать с ним. Не потому, что он был выпивши, меня трезвого-то укачивало на этих сопках Манчжурии, а уж после бутылки водки нечего было и думать об этом. Мы обнялись на прощанье, он поехал своей дорогой, а я — своей. Вернее, он поехал, а я пошел следом. После обильного возлияния пешая прогулка на свежем воздухе только на пользу.

В нетопленном на протяжении всей зимы доме оказалось холодней, чем на улице. Когда-то отец получил служебную жилплощадь как военнослужащий. Затем уволился из армии и уехал. Нас долго пытались выселить, но за мать вступились соседки, жены офицеров. Так мы остались жить в русском военном городке. Где теперь эти прекрасные благородные женщины, отправившиеся делегацией на прием к военному прокурору. Ложиться спать в стылом доме было рискованно, и я стал топить стенную печь.

Я камин затоплю, буду пить,
Хорошо бы собаку купить.

Кроме собаки, все было при мне. Я сидел перед открытой конфоркой, глядя на бушующий в топке огонь. На стене, скособочившись, висела книжная полка. Я наугад, в полутьме, взял одну из книг. Это был Волков «Волшебник изумрудного города». Закладкой оказалась моя детская фотография, пополам отхваченная ножницами. Пятилетний малыш таращил на себя, состарившегося, глаза. О том, кто был слева, догадаться было нетрудно. Мать вырезала из совместных фотографий все изображения отца. Сейчас я жалел об этом. Я его совсем не знал. Каким он был человеком? Мне было бы интересно просто поговорить с ним, не как отец с сыном, а как человек с человеком. Я бы не стал спрашивать, почему он бросил нас. Для меня в этом не было загадки. Отец без памяти влюбился в молодую вдову, не давал ей проходу, пока она не согласилась выйти за него. А потом у отца любовь прошла, и он уехал. Там встретил новую любовь. А потом он ушел и от той женщины. Разве же можно в таком серьёзном деле, как брак, полагаться на такое эфемерное чувство, как любовь. Жизнь дорогого человека прошла вдали от меня. Я не знал, как он жил, как умер, кто был рядом с ним в последнюю минуту, где похоронен? Я смотрел на усеченную фотографию и, как это водится в средневековой восточной литературе, вспоминал приличествующие моменту стихи. Память меня не подвела.

Глаз не в силах увеличить,
шесть на девять, тех, кто умер.
Кто пророс густой травой,
впрочем, это не впервой.
От любви бывают дети,
ты теперь один на свете
помнишь песню, что, бывало,
я в потемках напевала.
Это кошка, это мышка,
это лагерь. Это вышка,
это время тихой сапой
убивает маму с папой.

Лагерь с вышкой, здесь, конечно, лишнее, но остальное как нельзя лучше подходит... И все-таки не удержался от слез! Как глубоко все это сидит.

Год спустя в телефонном разговоре с Фариком я узнал, что тетка умерла, и эта новость застала меня врасплох. Я по-прежнему был уверен в том, что поступил правильно, отказавшись от встречи с ней, но сейчас перед лицом смерти моя правота куда-то испарилась, и я почувствовал, как жалость горячей рукой сжала мне сердце. Великодушие, в отличие от обиды, не разрушает сердце — исцеляет, но правильность поступка, к сожалению, понимаешь, только когда время упущено.

СДЕЛКА ПО СОВЕСТИ

Завод лежал на окраине города, собственно, это был не полноценный завод, а филиал столичного предприятия, попросту говоря, большой цех. Чтобы попасть туда, надо было сойти с автобуса, на стекле которого было написано «Даирави», что означает — окружность, то есть это был кольцевой маршрут: затем прошагать вдоль трассы еще примерно с километр, после свернуть с шоссе налево и сто метров по раздолбанной дороге вдоль предприятий, слева АТП-1, справа ЖБИ-2, и вот перед вами он — ЛРМЗ. Завод граничил с полем, за ним громоздились цеха консервного комбината, а далее, в перспективе высились Талышские горы. А вот если с шоссе повернуть направо и перейти железную дорогу, по которой два раза в сутки проезжал поезд «Баку — Астара», утром — туда, вечером — обратно, то открывался изумительный вид на то, что древнегреческие кондотьеры, возвращаясь из Персии, встречали возгласом: *«О Талacca!»* Хотя завистники, проживающие в республиках, не имеющих выхода к морю, упорно именуют Каспий большим озером.

Летом в обеденный перерыв можно было легкой трусцой покрыть это расстояние за 10 минут и окунуться в теплые морские воды. Но сейчас была зима, и поэтому в обеденный перерыв Оглан[1] сидел на стопке нарубленных на гильотине заготовок, подложив под себя брезентовые рукавицы, и курил, пуская кольца. В цеху он был один, поскольку бригада ушла кормиться в столовую завода железобетонных изделий, где любое блюдо, будь то первое или второе, — стоило один рубль. Пресловутый рубль у Оглана имелся, но он решил его прокутить вечером после работы, когда они компанией будут совершать променад по городу в поисках развлечений.

В приоткрытую дверь в цеховых воротах на фоне камышей, тянущихся к небу вдоль ручья, были видны большие падающие снежинки. В таких камышах, помнится, он сиживал с отцом, охотясь на утку. Правда, это было очень давно, детское воспоминание. Иной раз не вспомнишь даже того, что было месяц назад, а это втемяшилось в башку так, что и не выкинешь. Хотя от этой памяти, кроме грусти, пользы никакой. Отец потом уехал на заработки и уже не вернулся, затерялся в бескрайних просторах Сибири. Раньше туда ссылали на каторгу, а сейчас едут добровольно за длинным рублем, как говорит сосед, дядя Коля, прапорщик. Ни длинных, ни коротких рублей мать от отца не дождалась, как и его самого, но речь, собственно, не о том.

Итак, он пускал кольца из дыма. В одном из таких колец нарисовалась фигура, точь-в-точь джин из волшебной лампы. Вошедший Киши[2] был невысок, немолод, смугл, горбонос и небрит, то есть его вполне можно было принять за джина, если бы он не

[1] Оглан — мальчик, парень.
[2] Киши — мужчина.

был таким тщедушным. Несмотря на месяц декабрь, был без пальто, в одном пиджаке, надетом на свитер, в галошах. Притягивали взгляд его толстые вязаные черно-красные деревенские джорабы[1], в которые были заправлены дешевые бумазейные брюки в крупную белую полоску. Вошедший крутил головой, оглядывая помещение, словно не замечая Оглана, затем все же подошел к нему, кивнул, здороваясь, и спросил.

— Говорят, здесь можно купить газовую печь?

— Можно, — ответил Оглан, напустив на себя равнодушие, хотя внутренне подобрался.

После этого наступило долгое молчание, словно разговаривали не два южанина, а два английских джентльмена. Наконец Киши не выдержал и спросил:

— Говорят, хорошая вещь?

— Правильно говорят, — подтвердил Оглан.

— А можно взглянуть? — попросил Киши.

Оглан поднялся и пошел в дальний угол, где за неработающим кромкогибом, замаскированная тряпьем, лежала собственноручно изготовленная газовая печь. Взял ее на грудь, принес и поставил на стопку заготовок.

Киши придирчиво оглядел ее со всех сторон. Достал из кармана рулетку, обмерил со всех сторон. Зачем-то постучал по ней, прислушиваясь к звуку.

— И что же, она хорошо греет? — строго спросил он.

— Очень хорошо, — ответил Оглан, — на ней можно греть все что угодно. Чайник на ней всегда горячий, лишний раз кипятить не надо, наливай, сиди и дуй себе в блюдечко целый день. Да что там чай, на ней готовить можно. Газу прибавил и жарь себе яичницу. Или, например, *пити*[2] — с утра ставишь на нее кринку, заправляешь в нее кусок баранины...

— Какую еще кринку? — перебил его Киши.

— Кринка — это такой глиняный горшочек.

— Питишница, что ли?

— Можно и так сказать, но вообще у каждого сосуда должно быть свое название, нельзя именовать предметы по функциональности...

— Я вижу, ты парень грамотный, в институте, наверное, учишься? — вновь перебил его Киши.

— Есть немного, — согласился Оглан, — но пока не учусь... Короче, заправляешь в кринку кусок баранины, одну картофелину, одну луковицу, ложку *нохуда*[3], соль, перец, несколько стружек курдючного сала, бакинцы еще туда каштан кидают, но наши повара считают это позерством, и стоит там эта, как ты ее поименовал, питишница часов пять или шесть на медленном огне. Приходишь с работы домой замерзший, а тебе жена сразу на стол бац горячий горшочек, даже не надо произносить заклинание — горшочек, вари, он уже сварил.

Юмора Киши не оценил, видно, в детстве не читал этой сказки. Но упоминание о пити не на шутку взволновало посетителя.

— Пити — это хорошо, — согласился он. — И сто грамм можно выпить под это дело, а закусить маринованным *бибяром*[4]. А ты знаешь, как талыши едят пити? Они в тарелку крошат лаваш и заливают его бульоном, съедают, а уж потом добирают мясо и все остальное, как будто первое и второе, очень практично, понимаешь!

— А ты талыш? — зачем-то спросил Оглан, хотя это было очевидно.

— Талыш, а ты разве нет?

— Нет, я азербайджанец.

— Да ладно, в ленкоранской зоне все талыши, это исконная талышская земля.

— Ну что ж, пусть будет исконная, она же посконная, суконная и даже домотканная. Но я азербайджанец, — настаивал Оглан.

— Ну и ладно, так сколько ты за эту печку просишь?

— Я ничего не прошу, — пожал плечами Оглан, — ты спрашиваешь, а я отвечаю.

— Давай в слова играть не будем, какова ей цена?

Оглан кашлянул, объявить цену всегда было для него проблемой. Казалось, что он делал все, как другие работяги. Приобретал у гильотинщиков заготовки, собирал, обваривал все швы, конечный продукт получался не хуже, чем у опытных мастеров. Но, когда приходило время объявить покупателю цену, тушевался и называл меньше, чем собирался. Печь стоила 25 рублей — это была твердая цена, а старшие товарищи в бригаде за меньшую цену продавать не разрешали, чтобы не сбивать цены, потому что покупатели язык за зубами не держали; одному уступишь, второй приходит и

---

[1] Джорабы — носки.

[2] Томленый суп из баранины, национальное блюдо в Азербайджане.

[3] Нохуд — горох.

[4] Бибяр — перец чили.

ссылается на имярека, купившего дешевле. Некоторые умудрялись всучить изделие и за 30, и за 35 рублей. Он лишь раз продал печку за 25 рублей какому-то барыге с Большого базара, владельцу новёхоньких жигулей «Лада-2103» вишневого цвета, однако, когда, вступив в лужу (поскольку тот так припарковался неудобно), погрузил ее в багажник машины и вернулся в свой цех, оказалось, что покупатель загнул три рубля. Оглан долго материл его вслед, благо великий русский язык помог полноценно выразить свои чувства.

— Двадцать пять, — неуверенно сказал Оглан.

Киши вытянул из кармана пачку «Авроры» и протянул Оглану. Наш герой не курил сигареты без фильтра с тех пор, как вернулся из армии и стал работать, только «Столичные» или, на худой конец, «Родопи», но отказаться и достать свои не решился, чтобы не обидеть человека отказом. Он закурил предложенную сигарету, ощущая горечь на губах, незаметно исплевывая прилипшие табачинки.

— Я здесь недалеко работаю, в МТС перегонщиком, — заговорил Киши, — трактора ремонтные гоняю. Зарплата маленькая, хотя, конечно, если бы в поле работал, больше бы платили, но и там сейчас расценки снизили. Так кринка — это, значит, *питишница*? — зачем-то переспросил Киши. — Надо запомнить, — он ласково провел ладонью по печи. — Хорошая вещь, я о ней наслышан, специально пришел, давно хочу купить, семья мерзнет, от казенной разве тепло есть? Нету. Были бы деньги, сразу купил, даже торговаться не стал, — Оглан ощутил комок в горле. Киши словно почувствовав, печально поглядел на него. — Вчера еще обещали дать тринадцатую. Не дали, говорят, в банке денег нет, и зарплату до сих пор не выдали, а то бы я купил, не хватит у меня денег... Холод собачий в доме, дети мерзнут. С казенной печи разе тепло есть? — сокрушенно покачал головой, стоял понурясь.

Оглан физически чувствовал, как жалость мощной лапой хватает его за горло и душит.

— Сколько у тебя денег? — спросил он.

Киши полез в карман, вытащил две мятые пятерки. Оглан покачал головой и закурил новую сигарету, но уже свою с фильтром.

Филантропия тоже имеет свои пределы, за металлические заготовки он заплатил гильотинщикам пять рублей, три отдал токарю за форсунку и нарезку резьбы на трубку-переходник, два рубля — мастеру за то, что тот закрывал глаза на халтуру, хотя изделие изготавливали из обрезков, можно сказать, из отходов металла, — итого, десять рублей уходило только за материалы. Несколько дней он оставался после смены и мастерил эту печь. Нельзя же продавать изделие по себестоимости, Карл не дозволяет.

Киши внимательно все выслушал, согласно кивая, только спросил, кто такой Карл.

— Ты что же, на политзанятия не ходишь? — удивился Оглан.

— Нет, а что?

— А на демонстрации, допустим, первомайскую? Плакаты там люди несут, а на них написано: Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Прибавочная стоимость и прочее.

— Ах, вот ты о ком, а я думал, ты начальника цеха имеешь в виду.

— Йок, — сказал Оглан, — начальника цеха зовут Мазаир Селимов, маленький такой, седой, у него «Лада-2106». Так что извини, я благотворительностью не занимаюсь, это не ко мне, *кясуб огланам*[1], мне тоже кормиться надо. Я месяц назад из армии пришел, и чтобы сфотографироваться на паспорт, пришлось у соседа дяди Коли пиджак одалживать, потому что мой мне был мал, а на новый еще не заработал. На работу в солдатском бушлате хожу.

Этот душераздирающий монолог впечатления на Киши не произвел, он молчал какое-то время, думая о чем-то, затем вдруг хлопнул себя по лбу, полез во внутренний карман пиджака и выцепил оттуда еще пятерку.

— Вспомнил, — воскликнул он, — жена на сахар дала, забыл совсем. Ну как, по рукам, а?

Оглан затоптал недокуренную сигарету, мучаясь под взглядом покупателя, и с досадой произнес:

— Забирай, ладно. Только, за сколько купил, никому ни слова.

— Клянусь, а можно я с тряпкой возьму?

Оглан безнадежно махнул рукой. Покупатель аккуратно завернул вожделенную печь, взял на бок и, перекашиваясь под тяжестью, направился к выходу. «Мог бы спасибо сказать», — подумал Оглан, следя за уходящей фигурой. Он запечатлел его в дверном проеме, а затем человек исчез в разыгравшейся снежной метели, словно его и не было.

---

[1] Кясуб огланам — я бедный парень.

* * *

— Мама, твой любимчик пришел, — сообщила сестра.

— Как хорошо, что ты пришел сынок, — улыбнулась мать, глядя поверх очков. В руках она держала шитье.

— Добрый вечер, — сказал Оглан.

Он снял армейский ватник и прошел в комнату. Сестра принесла таз для омовения и стала поливать ему из кувшина на руки. Мать умиротворённо смотрела на них. Оглан вполне мог бы умыться и во дворе холодной водой из рукомойника, но у них был ритуал. И всем это доставляло удовольствие: матери, многие годы жившей без мужчины в доме, Оглану, почувствовавшему себя взрослым, и даже старшая сестра делала вид, хотя до последнего времени его терпеть не могла.

После ужина Оглан положил на стол перед матерью пять рублей.

— Получите, — сказал он, — печку сварганил, мог бы в два раза больше заработать, но клиент бедный попался, на жалость надавил, по дешевке отдал.

— Ничего, сынок, правильно сделал, перед богом тебе это зачтется, — заметила мать. Оглан кивнул и стал одеваться. — Куда на ночь глядя? — спросила мать.

— Пойду прошвырнусь по Бродвею.

— Какому еще Бродвею?

— По проспекту Ленина, может, кого из ребят встречу, а нет, так погреюсь у Вечного огня и обратно.

— Остался бы дома, отдохнул, завтра чуть свет на работу.

— Ничего, я недолго, отмечусь у памятника Неизвестному солдату и обратно. Надо проветриться, весь день гарью электросварки дышал.

— Ну, если так, то иди.

* * *

Когда Киши вошел в комнату, окрест на занесенных снегом предгорьях полноправно лежала дивная синяя ночь, он размотал тряпку и поставил печь рядом со старым радиатором. Взглянул на часы, стрелка подбиралась к 23.00. Он тратил на дорогу два часа с пересадками на двух автобусах, да еще они не вовремя ходили. Жена встретила его словами:

— Ты сегодня поздно, а это что такое?

— Газовая печь, — довольно сказал Киши, он был в хорошем настроении, — ручная работа, на ней готовить можно, чайник ставишь, весь день горячий, кипятить не надо лишний раз.

— Дорогая?

— Недешево, пришлось отсчитать кровных манатов, заработанных непосильным трудом, а что поделать, хорошая вещь своих денег стоит. Вот стоит казенная, разве от нее тепло есть, нету. Но ничего, женщина, я сегодня богатый, зарплату дали и тринадцатую, целых триста рублей, на, убери.

— Иди мой руки, садись ужинать.

— Не буду, я уже поел, с ребятами посидели немного в столовой.

— Да-а? И что же ты ел?

— Пити.

— Пити?! Ну надо же, мы, значит, с детьми картошкой на подсолнечном масле будем давиться, а ты пити будешь кушать, молодец! И водки выпил, как я погляжу.

— Да одну бутылку на троих выпили. Да меня ребята угостили. Не кипятись, чего взъелась. Что, я не могу с зарплаты в кафешке посидеть в кои веки. Целыми днями работаю как проклятый, можно сказать, света белого не вижу, ухожу — темно и прихожу — темно. Дети узнавать перестали, в воскресенье видят, пугаются, плачут.

— Ладно-ладно, осади, чего разошелся, — жена стала пересчитывать деньги. — Здесь только двести семьдесят пять, выходит, двадцать пять манатов заплатил?

— У тебя с математикой всегда хорошо было, — заметил Киши.

— Да уж недешево, — сварливо сказала жена, — вот мироеды, надеюсь, печка того стоит.

Дмитрий ВОРОНИН

«ПРАВДА ЖИЗНИ»

1

Как обычно, после работы, когда овцы в загонах были накормлены и напоены, Фаяз зашёл в жилую пристройку к овчарне.

Жалейка лежал на диване перед телевизором и досматривал «Вести».

— Ну и жара сегодня на улице, даже у нас такое нечасто, — обратился Фаяз к своему бригадиру, усаживаясь в продавленное кресло под потёртым пледом.

— Это да, просто кошмар какой-то, мухи, и те не летают. Мозги плавятся от солнца. Самое время людям с ума сходить, — оторвал голову от подушки Жалейка.

— Что там говорят, Игорь? Скажи и мне, тоже знать буду. А то толком послушать, посмотреть совсем некогда.

— Какие тут новости? Новости сейчас в Сирии, — свесил ноги с дивана Жалейка.

— Всё воюют там?

— Воюют. Дикие люди.

— А что дикие, Игорь, расскажи? — Фаяз по-хозяйски налил себе чаю.

— Сам посуди, Фёдорыч. Вот объявили, что город какой-то от ваххабитов освободили. Так в нём несколько сотен рабов нашли. Баб да девок в основном, что в гаремах держали, но и мужиков хватало — пахали на них за баланду. Как это в наши дни возможно, чтобы рабы были, а? Рабство уже тысячу лет как отменили, законом запретили давно, а у них всё не как у людей. Вот и выходит, что дикие они, словно в первобытном строе остались. У нас за такое сразу башку открутили б. Русские — народ вольный, к рабству не приученный.

— Да, Игорь, твоя правда. Русский брат — крепкий человек, гордый. Владимир Ленин ещё говорил: «Мы не рабы, рабы не мы». Знаю, в школе учил. В Сирии Ленина не было, кто им скажет.

2

Жалейка пришёл наниматься на работу к Фаязу по объявлению, которое обнаружил на одной из автобусных остановок в областном центре. На тетрадном листке, прилепленном скотчем к столбу, было написано: «Возьмём на работу в сельское предприятие молодого крепкого мужчину без вредных привычек, можно без опыта. Зарплата достойная. Жильём и питанием обеспечим». А Жалейке как раз именно жильё и питание — самое главное. После армии он обратно в родительский дом не пошёл, хватило тех лет, пока в школе учился. Пьяной жизни папаши натерпелся под завязку: скандалы да мордобой у парня в печёнках сидели. Сам к спиртному не притрагивался, запаха — и того не выносил. А уж чтобы дальше жить среди алкогольного угара, тут и разговора не было. Несколько лет Жалейка помыкался по съёмным квартирам и углам да с перекусами от случая к случаю. Работал то охранником, то сторожем, то на стройке, а то и просто на подхвате. Получал не ахти, а деньги расходовать на жильё, еду, одежду и прочие радости приходилось немалые. В итоге к тридцати годам Жалейка ни собственным углом, ни накоплениями, ни семьёй так и не обзавёлся. И перспектив никаких. Да и откуда им взяться, перспективам этим, если Жалейка в школе не усердствовал, а так, штаны протирал. Девять классов с грехом пополам закончил да в хабзайку подался. Он и помыслить тогда не мог, что это образование может полезным оказаться. Всё ему по юности мечталось о хлебной и романтической бандитской жизни. Папашины дружки-алкоголики часто рассказывали о воровском счастье, крутых тачках, податливых красавицах и вкусной еде. Жалейка их слушал, раскрыв рот, но голова всё же соображала. Как-то не вязались эти байки с тем, что

из себя представляли горе-рассказчики. Потом о службе в полиции задумался и даже сразу после армии на несколько месяцев туда пристроился, но ушёл. А всё из-за этой чёртовой жалости, что в нём с детства поселилась. Не мог Жалейка руки на более слабого поднять. На равного мог — до остервенения бился, а вот на слабого... Опускались руки, и всё тут. А как с таким никчемным качеством в бандиты или менты? Там сила в почёте и беспредел. Потому и кличку такую за собой таскал, что каждый раз, когда жёсткости от него ждали, произносил: «Жалко».

А ещё у Жалейки качество в характере было — справедливому хозяину честно служить. Фаяз эту его черту сразу ухватил и к Жалейке по-особому относился, со снисходительным уважением. Позволял ему то, что другим работникам было заказано. Жалейка, к примеру, и лежать мог при Фаязе, и чай пить с ним запросто. Фаяз, как только Жалейку увидел, сразу к нему расположение почувствовал. Здоровый, высокий, под два метра, розовощёкий молодой мужик, веса в котором больше центнера. Хороший работник, крепкий. И взгляд открытый, прямой, без хитринки. Преданный работник. Голос уверенный, без подобострастия, с уважением к хозяину. Верный работник, защитит, если надо. Жесты такие же спокойные, размеренные, не дёрганые, не суетливые. Честный работник, не вор. Уже через десять минут беседы Фаяз знал, что Жалейку из рук не выпустит, такие работники на улице не валяются. Такой работник на вес золота: доход хороший принесёт и предан будет, как алабай.

— Дам тебе, Игорь, поначалу испытательный срок три месяца — ну, так везде теперь, сам знаешь.

— Знаю, Фаяз Фархутддинович, — запнулся в имени Жалейка

— Ничего, Игорь, все трудно говорят имя моего отца, — улыбнулся Фаяз. — Называй меня Фёдор Фёдорович, можешь просто Фёдорович, так легче.

— Хорошо.

— Зарплата — девяносто процентов от той, что потом платить стану. Питание три раза, как сам захочешь. Мясо будешь брать со скидкой, молоко, овощ, банан-шманан какой, чай там, хлеб, сахар, макарон, крупу — всё по ценам, как на базе. Заходи в мой магазин, продавцам скажу, они тебе дадут сколько надо, запишут в тетрадь, в получку отдашь. Устроит тебя?

— Устроит, — согласно кивнул Жалейка.

— Жить будешь пока у овчарни, там пристройка хорошая, крепкая, в ней вода есть, мебель есть, телевизор есть, холодильник-морозильник есть, газ есть. Честно, запах немного — овцы рядом, но дихлофос-миклофос возьмёшь, побрызгаешь там-здесь, как в розах жить будешь. Через неделю туда селись, пока там ремонт сделаем. Неделю у бабки Насти, соседки моей, поживешь, я ей скажу. Покажешь себя, другую комнату дам, в своём доме. Согласен, Игорь?

— Согласен.

— По рукам, — протянул Жалейке свою толстую ладонь Фаяз.

— По рукам, — крепко пожал её Жалейка.

Работа у Жалейки пошла с первого дня. Все работники Фаяза как-то сразу признали Жалейку своим бригадиром и беспрекословно стали выполнять его указания. Новый начальник ни на кого не кричал, руками не размахивал, говорил спокойно, уверенно и смотрел на подчинённого так, что тому и в голову не приходило перечить. Единственный, кто его не признавал, это Сашка Дробок. Жалейку он просто возненавидел, после того как Фаяз к нему с новостью подошёл:

— Ты, Сашка, перейди с Нинкой в овчарню завтра, я ремонт в пристройке начну, — сверкнул новыми зубами Фаяз.

— Мне и без ремонта там хорошо, — заулыбался было Дробок.

— Ты не понял, — сощурил свои и без того узкие глазки Фаяз, — вы с Нинкой переезжаете в овчарню. Тут новый бригадир жить будет. Начальник твой.

— Это, брат, куда переезжаем, в какую овчарню, — вытянулось лицо у Дробка, — там же овцы да бараны одни?

— Ничего, бараны тоже живые твари. В твоей библии что написано? Возлюби тварей божьих, вот и возлюби, — нахмурился в ответ на Сашкино недоумение Фаяз. — Перегородку сегодня мужики у входа поставят, живи не горюй.

— Да ты чего, Федька, опупел, что ли, — подступил к Фаязу Дробок, — мы что, с Нинкой — скотина тебе, что ли?

— Скотина в загоне живёт, а вы с Нинэлей в комнате отдельной жить будете, совсем как падишахи. Люкс-номер заделаем.

— Какие ещё шахи, какой люкс? Ты чего, издеваешься? Пусть там твой бригадир селится. Мы же братья с тобой.

— Э, Сашка, какие братья-шматья? У меня Азиз брат, Акрам брат, а ты кто такой? Не хочешь в комнате под крышей жить — иди в поле, кто держит?

3

С того дня два лютых врага появились у Дробка: предатель Фаяз и его первый прихвостень Жалейка.

— Сожгу я их, Нинка, обоих сожгу, — грозился пьяный пятидесятилетний жилистый мужичок своей супруге, — не прощу Федьке. Обманул меня, урод, братом называл, а теперь со скотиной жить?!.. Сожгу его и баранов тоже сожгу!

— Чего грозишься зря, никого ты не сожжёшь, кишка у тебя тонка, — брезгливо морщилась жена. — У тебя только и храбрости, что меня колотить да скотину пинать.

— Заткнись, Нинка, урою, — замахнулся на жену Дробок, — сказано — сожгу, значит, сожгу. И этого его бригадиришку порешу. Суки, будут Дробка помнить. Федька, гад, дома лишил, земли, на этого бугая променял. Не прощу ему!

4

Сашка Дробок ещё в школе Нинэль обхаживать начал, учились-то с разницей в год. Вот Сашка и присмотрел себе подружку-семиклассницу, веселушку с пухлыми щёчками, конопушками на носу да косой ниже пояса. Краса, что и говорить. Да и сам Санёк тоже не из последних был. Хулиган записной и неслух. Да и двоечник, каких поискать. Хотя учителя между собой говорили, что не без способностей парень, да вот ленив больно.

Сашка стал Нинку домой из школы провожать, портфель за ней носить. Бывало, соперников поколачивал, когда и Нинке доставалось, если она уж слишком явно улыбалась кому другому. Нинка его прощала, нравилось ей, что за ним, как за каменной стеной. Никто и не удивился, когда Сашка с Нинкой свадьбу сыграли, как только жених из армии вернулся. Хотя жили вместе ещё со школы. Хорошо ещё, ума хватило до совершеннолетия в подоле не принести. Зато потом...

Отыгрались по полной. Чуть ли не каждый год по ребёнку. За десять лет семерых наплодили. В районе их в пример ставили, как традиции соблюдать. Дробки всё это отмечали, конечно. Много праздников в доме стало: весело жить начали, с размахом. Тут и дни рождения, и именины, и Новый-Старый год с Рождеством и сочельником, Пасха, октябрьские, майские, День конституции, первое сентября, День печати и День строителя. Последний праздник чуть ли не главный, а как иначе — Сашка же в стройбате служил. Вот так, гуляя, Дробок и не заметил, как с постоянной работы скатился на поденщину у односельчан: кому огород перекопать, кому дров нарубить, кому забор выправить. Ну и оплата, соответственно, всё больше самогоном да вином дешёвым. У Нинэли и того хуже с работой дела обстояли. Даже не подрабатывала, рассчитывала только на декретные да на детские пособия. Каждую выплату праздновала и детей воспитывала: кому подзатыльника, а кому и пряника. Трудная жизнь у матери-героини.

В один из таких праздников Сашка батьке своему так по макушке врезал, что тот через месяц в могилу сошёл. Перед этим всё на голову жаловался, мол, памяти не стало, и трещит, зараза, постоянно. Умер себе и умер, никто и близко на Сашку не подумал, да и сам он забыл через три дня, что папаше по кумполу настучал — вино не поделили. Дробок отца схоронил и задумался, как дальше жить. Отец по инвалидности пенсию получал, вёл домашнее хозяйство, держал корову, поросёнка, кур-уток. Худо-бедно Дробки без еды никогда не были. А после смерти старика пенсию давать прекратили, и за скотиной смотреть некому стало. Сашке с Нинэлью недосуг — один калымит, другая у плиты стоит, а деткам и подавно не до животины: они по улице носятся до ночи да шкодят кругом, если глаза за ними нет. Вот Сашка корову и свёл к Фаязу, чтоб забот не было. Тот в деревне на квартире у бабки Насти жил и скотину на мясо у местных скупал, а когда и просто крал, если случай подворачивался. Дробка Фаяз почти не обманул, две трети суммы сразу заплатил, остальное в рассрочку договорились. Такое дело Сашка решил обмыть на радости, сумма-то приличной оказалась. Хоть Фаяз и не пил, но с Дробками посидеть за столом не отказался, будто чувствовал свою от них выгоду и прав оказался. Дружба быстро завязалась. Прощались, будто с пелёнок вместе.

— Друг ты мне, Федька, теперь навеки. Мой дом — твой дом. Двери всегда тебе открыты, ночью придёшь, пустим, — обнимал пьяный Сашка Фаяза.

— И ты мне друг, Сашка, — радовался знакомству Фаяз, чувствуя начало важных перемен в своей жизни.

Деньги Дробок прогулял быстро и скоро загрустил. Глядя на поникшего друга, Фаяз начал ему помогать: приносить чуть ли не каждый вечер вино тому в дом, деток карамельками одаривать. Когда и ливера подбрасывал с маслаками для супа. Порой за стол подсаживался и начинал Сашке на жизнь свою жаловаться.

— Пойми, Сашка, вот приехали мы к вам, как к братьям, с поклоном. Война нас проклятая с нашей земли выгнала. Не дай бог никому такого горя испытать. Всё потеряли в один час. Дом сгорел, землю бросили, скотину, еле ноги унесли. Сколько баранов у нас было — не сосчитать. Пришли безбожники, всё забрали. Мы голые оттуда бежали. Ничего не успели взять. Только детей, слава аллаху, удалось спасти. Ночью бежали, куда бежали — не понимали. Ноги сами к вам привели. Вы нам всегда братьями были. Со всей душой к нам, по справедливости.

— Да, мы такие, — приосанившись, соглашался пьяный Дробок, — последнее отдадим, а братьям поможем.

— Я знаю, вы щедрые. Вот плохо мне, Сашка, один я с детьми и женой. К кому идти, у кого помощь искать? — пускал слезу Фаяз.

— Ко мне иди, Федька, — плакал в ответ Дробок, — я тебе помогу, в беде не оставлю.

— Знаю, Сашка, ты настоящий брат. Все отвернулись, ты не отвернулся. Пустил в свой дом, за стол усадил, мясо в тарелку положил. К тебе пришёл со своим горем. Помоги, Сашка.

— Помогу, Федька, — вытирая слёзы, опрокидывал в себя стакан самогона Дробок, — вот те крест, помогу.

— Жить мне негде, Сашка, дети мои без тепла, ютятся где придётся. Сироты мы бездомные, родину у нас отняли. Скитаемся, как бомжи, по подвалам и чужим углам. На тебя вся наша надежда, Сашка.

— Что хошь проси, Федька, всё для тебя сделаю, — продолжал плакать Дробок. — Брат ты мне теперь, роднее нет.

— Пропиши нас, Сашка, у себя. Никаких денег не пожалею.

— Какие деньги, Федька. Для брата ничего не жаль. Всех пропишу, и тебя, и Айшу твою, и детей. Вы теперь и моя семья. Только, может, метров по закону не хватит на всех. Я-то в этом не понимаю ничего, отказать могут.

— Не проблема, Сашка, всё сам сделаю, у меня старший брат юрист, все законы знает, научит, как делать. Тебе только бумаги подписать да съездить туда-сюда к начальникам-мочальникам, остальное моя забота. Получится как надо — коньяка куплю, сам с тобой выпью, брат ты мне.

5

Фаяз с братьями покинули родную землю в поисках лучшей доли. Плохо там стало, когда русские ушли. Бедно. Работы нет, денег нет. Что делать? Баи назад вернулись, беки. У них всё счастье, деньги, власть, земля. Фаяз не из баев, и Айша не из рода беков. У братьев жёны тоже в роду простые. Значит, совсем плохо станет, ещё беднее жить будут. К баю на поклон идти надо, рабами сделают. Азиз, старший брат, семейный совет собрал. Решили: «Надо ехать вслед за русскими. У них страна большая, земли много, всем хватит. Сами там баями станем».

В Москву не поехали — шумно, дорого, деньги большие, занято всё, никто никому не верит — там им места нет. Поехали туда, где тихо, где земля за копейки, люди не злые. Поехали и не ошиблись. Поселились все в одном районе, но в местах разных, чтобы родство не на виду было. Азиз, старший брат, дома в милиции служил — уважаемый человек, законы знает, диплом юриста есть. Тут тоже быстро в люди вышел. Не глупого десятка, чужие мысли видит сразу. К нужному человечку всегда ключик подберёт. Кому «бакшиш-макшиш», кому «совет-мовет», кому «подарок-модарок». В партию подался, активистом стал, депутатом. Туда-сюда катается, людям помогает. Понравился начальникам — сельсовет в управление дали.

Младший, Акрам, на центральный рынок пошёл. На родине лавку имел, бизнес крутил, всё понимал: как торговать, как товар находить. Друзья у него везде были — вспомнили Акрама, позвали к себе, с важными людьми познакомили. Акрам всегда весёлый. Язык у него лёгкий, на месте не лежит, «шутками-мутками» сыплет. Нравится Акрам всем. Умеет мосты наводить. С тем плов-шурпу «покушал», с этим поговорил — связи быстро дело помогли наладить. Торговля бойкая пошла: и нужные люди с прибылью, и Акраму свой доход. Месяц-другой — и Акрам своей палаткой обзавёлся, своим товаром и своими продавцами — ходи-командуй. Процент платишь в срок — вообще проблем нет. Акраму всё привычно, всё нравится. Особенно девки. Крепкие, ядрёные, словно степные кобылицы. Акрам, как аргамак, топчется возле них целый день, копытом бьёт, всех их любит. У Акрама глаза всегда масляные — так ему сладко. Только жене, Медине, плохо. Психует из ревности, ругается, плачет. Акрам жену жалеет, балует: колечки-серёжки ей дарит, на юг к морю летом отправляет — «пусть нервы успокоит».

А вот у Фаяза жизнь не так быстро в гору пошла, ему труднее всего оказалось. Ког-

да уезжали, всё заранее обговорили, кто за что в семье ответ держит. Азиз «за закон думает», чтобы семейные дела ущербом не обернулись, Акрам — за торговлю, чтобы прибыль была и жирный плов на столе, Фаязу определили землю добывать и скотину разводить. Самое сложное дело и самое долгое. Но зато и почёт в семье великий. Фаяз крепко старался, и Аллах воздал ему.

6

Фаяз слов на ветер не бросает: сказал — сделал. Там заплатил, тут хороший кусок баранины в подарок завернул, здесь машину помог продать подороже: чиновники тоже люди — понимают, когда к ним с душой. Месяца не прошло, а в Сашкином доме уже вовсю носились дети Фаяза. Айша на кухне первой хозяйкой стала. Нинэля только порадовалась такому обороту дел: какую ношу с плеч сбросила, теперь и в постели можно до обеда валяться — никто не орёт, каши не просит. Всё Айша на себя взяла. Двужильная жена у Фаяза оказалась на удивление Дробков.

— Санечка, — ластилась к мужу Нинка, — какой ты догадливый, что Фаяза прописал. Так теперь вольготно стало, прям надышаться не могу.

— А ты не знала? — хорохорился Дробок, обнимая пьяненькую жену. — Всегда с головой был. Всегда наперёд считаю все ходы. Фаяз пока дом будет строить, у нас тут тоже дворец заделает. И у Айши откормимся, как сыр в масле кататься станем.

7

Скоро Дробок увидел чертей, бегающих по потолку, и попал в больничку. У Нинки, Нинэля, не отставшей от мужа по части выпивки, стали трястись руки и голова. Детей взяли под особый контроль органы опеки, а после выписки Сашки из дурдома и вовсе лишили Дробков родительских прав. По суду определили детвору на последующее усыновление.

— Продай, Сашка, дом, наймёшь хорошего адвоката, вернёшь детей, — успокаивал пьяного Дробка Фаяз, подливая ему в стакан из початой бутылки.

— А кому я его продам? Кто его тут купит, не город же? Работы нет, садика нет, школа далеко — никто сюда не поедет, — горестно качал головой папаша.

— Мне продай, я куплю. А сам тут живи, ты же мне брат, я тебя не обижу. Денег сразу много не дам, у самого нет, частями платить буду. Веришь мне?

— Верю, Федька.

Фаяз все документы на дом с помощью Азиза так выправил, что и следов Дробков там не осталось, будто и не жили никогда. Сам Сашка вместе с Нинэлью бумаги подписали не глядя.

— Чего там читать, мы тебе, Федька, как себе, верим, ты нас никогда не подставлял.

Через пару месяцев деньги у Дробка закончились. Погуляли они с Нинэлей крепко, про адвоката и не вспомнили, начисто забыв, для чего дом продавали.

— Сашка, мне Айша жалуется, шумно от тебя с Нинэлей твоей стало, дети пугаются. Айша тоже нервничает, ей рожать скоро. Вы дерётесь, пахнет от вас плохо. Надо вам уходить в другое место. Купи себе новый дом.

— Куда уходить? Чего купить? — не понял Дробок.

— Дом себе купи новый и живи там со своей Нинкой. Пей, дерись, что хошь там делай. В моём доме места вам нет, — отрезал Фаяз.

— Ты чего, Федька? Ты же говорил, вместе жить будем. Клялся, что брата не выгонишь. Забыл, что ли?

— Я не гоню. Я заплатил тебе. Деньги есть, купи дом, живи отдельно. Друзьями станем, в гости друг к другу ходить будем, плов есть будем. Всем хорошо.

— На что я куплю, денег у меня нет.

— А куда дел?

— Прожили все деньги.

— Нехорошо, Сашка, дом не купишь. Ладно, брат мне был, выручу тебя. Переходи жить в гараж пока, там мастерскую тебе отдам. В ней всё есть: свет, тепло, плиту поставим, газ в баллоне, телевизор свой отдам. Всё как дома. Удобства все, лучше, чем у бабки Насти.

Фаяз Дробка не обидел, денег на новоселье подкинул и телевизор свой принёс в подарок.

Сашка новоселье отметил и Нинку справно поколотил, оставив на память недельный синяк под глазом.

— Надо же было мне, дураку, такую паскуду себе в жены выбрать. Всё пропила-промотала. И детей, и дом, и участок, и скотину. Как жить-то с тобой после этого?

Фаяз вскоре тоже отметил своё новоселье. Пригласил земляков, человек двести,

в кафе «Лунный свет», которое открыл с братьями у автострады, баранов зарезал, лепёшек напёк, чаю наготовил, танцы-фейерверки устроил. Всё как полагается.

— Молодец, Фаяз, — нахваливали его земляки, — поднялся. Уважаемым человеком стал. Свой дом, земля, бараны, лошади. Настоящий бай!

Фаяз через год больше сотни гектаров земли в аренду оформил, овчарню новую построил и Сашку с Нинэлей в пристройку при овчарне переселил. Вот тебе и сторож, и пастух — двойная выгода. Да и с глаз Айши долой, чтоб не напоминали о том, чего она от них натерпелась.

— Сожгу я его, — шипел вслед Фаязу Дробок, сжимая в кармане кулак.

8

Жалейке Айсель сразу в душу запала. Как увидел её возле дома Фаяза год назад, так и высматривал постоянно, не мог налюбоваться. Айсель девушка видная: высокая, стройная, две косы ниже пояса и чёрные глаза, будто омут. Жалейка в них и утонул. Говорили — дурочка Айсель, ума короткого. Ну и что с того? Жалейка тоже не академик. Ещё говорили — порченая она, свои в жёны не возьмут. Жалейке и лучше — хоть шанс есть самому женихом стать. Правда, условие одно Фаяз назвал, но ничего, можно и принять его ради Айсель.

— Вижу, Игорь, нравится тебе наша Айсель, — улыбался за чаем Жалейке Фаяз. — Возьми её в жёны, хорошей супругой станет, верной, послушной. Вы оба красивые, красивые дети будут. Айсель много родит. Мы дом вам поставим, землю дадим. Беком будешь. Почёт, уважение. Веру только поменяй. Айсель — сестра моя, нельзя ей в другую веру, строго у нас. А жить в доме с двумя богами — всё равно что в питомнике для собак, где лай с утра до вечера. Тебе всё равно — сам говорил, крестик только носишь. В церковь свою не ходишь, попу не веришь, меняй веру. Пойдём к мулле. Он с тобой поговорит, верить начнёшь, Аллаха полюбишь.

— Я подумаю.

— Думай, Игорь, думай, только не передумай, а то так без такой жены-красавицы останешься. Кто другой быстрее надумает. Жалеть потом всю жизнь будешь.

— Ладно, Фаяз, долго думать не буду, быстро решу. Я вот тебе что сказать хочу. Опять Дробка слышал пьяного, опять Нинке своей грозился тебя поджечь. Гнал бы ты его подальше — пустой человек, опасный.

— Э, Игорь, — с раздражением отмахнулся Фаяз, — брешет просто, как шавка, на меня. Куда он пойдёт потом, где жить будет? Сгинет совсем, пропадёт. Дробок знает, что моей добротой живёт, не укусит. Не бери в голову, о другом думай.

И Жалейка думал. Думал об Айсель, о будущем доме, о красивых детках в нём, о счастье своём, что благодаря Аллаху его настигло.

9

— Как день прошёл? — подавала вечером на стол мужу Айша.

— Хорошо. Только жарко очень, дышать нечем. А так нормально. Скоро свадьбу Айсель играть будем, — достал из казана добрый кусок мяса Фаяз.

— Ох, Фаяз, какую новость принёс! — расцвела улыбкой Айша. — Согласился Жалейка?

— Согласится, — заработал челюстями Фаяз, — неделя не пройдёт, к мулле пойдём. Я знаю. Видел сегодня его глаза. Он принял решение — Айсель будет его женой.

— Слава Аллаху!

— У тебя как? Ездила сегодня к Медине? Как они там? Помирились с братом?

— Медина злится на Акрама, хоть и помирились. Он ей золотой браслет купил, кольцо с камушком, прощения на коленях просил. Но она знает, долго не выдержит, опять с этими шалавами закрутит. Ну что за человек такой, ни одной юбки не пропустит. Опять, говорят, какая-то Наташа от него приблудила. Уже сколько байстрючат настрогал, никак не угомонится. Медину понять можно. Плакала опять сегодня, говорила, что род позорит.

— Скажу ему, чтобы серёжки ей добавил и на море отправил, пусть нервы успокоит.

— Сколько можно полукровок разводить?

— Пусть, что с ним сделаешь? Уж лучше половина нашей крови, чем чужая совсем. Вырастут — к нам потянутся. Зов отцов, он сильный, на верный путь направит.

— Фаяз, слышала, Сашка опять грозился нас поджечь. Боюсь я, гони его совсем.

— Если выгоню, Айша, — то точно сожжёт, — сыто отрыгнул Фаяз, — а так просто пугает. Жить где станет? В тюрьме? Да и смотрит за ним Жалейка, не даст и спички

зажечь. Он, считай, свой, знает, кого охранять.

— Говорил с ним?

— Говорил. Насмешил он меня сегодня.

— Расскажи, чем? — вытерла полотенцем руки Айша, присев за стол напротив мужа.

— «Вести» смотрел, когда я пришёл. Говорит, дикость в Сирии: там рабов держат, женщин в наложницы отдают. Живут не по закону, за похлёбку работать принуждают. У нас, говорит, близко такого невозможно.

— Смешной, — улыбнулась мужу Айша, — смешной и глупый. Как Айсель. Как все русские, глупый: друг за дружку не держатся, веру свою не берегут, пьют, как свиньи, чуть что — кулаками машут.

— Правду говоришь, Айша. Давно они рабы. Пусть думают, что свободны. Мы-то с тобой знаем настоящую правду, Айша.

— Знаем. Фаяз, мы с тобой знаем. Эту правду жизни.

10

Ночью Фаяз метался на кровати. Снился ему кошмар: дети Дробка пытались пробраться в его дом и при этом жалобно мяукали. Они тёрлись возле забора в виде котят и слёзно умоляли: «Дядя Федя, дядя Федя, мы же твои дети. Ты живёшь богато, пусти нас в нашу хату. Дай поесть немножко, дай хотя бы крошку».

11

Жалейка стоял на крыльце своей пристройки и всматривался в звёздное небо. Ему казалось, что где-то там по Млечному пути бегут они с Айсель, крепко взявшись за руки, и счастливо смеются. Рядом летят два ангела-хранителя, а вослед доносятся детские голоса, голоса их будущих детей. И это видение казалось Жалейке всем смыслом жизни.

12

Дробок взял со стола спички, перебросил через плечо сумку с заготовленной пятилитровой канистрой, долгим тоскливым взглядом окинул спящую Нинку и, обречённо вздохнув, нетвёрдым шагом отправился из овчарни в душную ночь восстанавливать справедливость.

13

— Сука, руку пусти, — хрипел от боли Сашка, придавленный к земле коленом невесть откуда взявшегося бригадира.

— Что удумал, Дробок?! И детей тебе не жалко? — тяжело дышал в ухо Сашке Жалейка, не отпуская заломленную руку.

— А он моих пожалел, когда дома лишал?

— Твои живы-здоровы. Накормлены, в тепле, учатся. Да и не он это — ты сам во всём виноват. Пьянство твоё беспробудное. Давно по наклонной едешь. А теперь и до смертоубийства докатился?! Креста на тебе нет!

— Это на тебе креста нет, продался за баланду, своих пинаешь, к басурманам примазываешься.

— Дурак ты, Дробок. Я просто честно работаю. И никому не продаюсь. я их жалею. Плохо им, совсем плохо. Они-то в чём виноваты? Они к нам спасаться кинулись. Их дети наш язык учат, русские обычаи впитывают. Жили же когда-то вместе — горе и радости делили.

— Это ты на Айсель губу раскатал, все видят, — продолжал пыхтеть Сашка.

— И опять дурак ты, Дробок, — ослабил хватку Жалейка, почувствовав, как пар злости выходит из поверженного. — Сердцу не прикажешь.

— Может, и сам в басурманы подашься?

— Обвенчаемся, и Айсель Александрой станет. Я её так и зову, когда с ней разговариваю, — отпустил Сашку Жалейка. — Если на свадьбу приглашу, придёшь? Вы же теперь вроде как тёзки будете.

— А что, приду, если не шутишь, — опешил от такого оборота дел Дробок. Поднявшись с земли, он оттолкнул ногой канистру и принялся отряхивать грязь с колен.

В тот же миг с востока подул прохладный ветер, и откуда-то издалека донеслись глухие раскаты грома.

ЭЙНШТЕЙН

Иосиф Сигизмундович Сиропчик актёром в губернском театре числился замечательным, играл там с молодых времён и почти всегда с неизменным успехом. Аншлаги, букеты с признательными записочками, следы губных помад на щеках — всё это каждодневно пребывало в жизни заслуженного лицедея. Исключения выпадали только на сроки болезней, отпусков и ремонта сцены. Ролей всяческих за свою долгую творческую жизнь Иосиф Сигизмундович опробовал немерено, от героев-любовников до царей и богов Олимпа. Да как отыграл, шельмец! Поклонники дарили ему коньяк и водку, виски и портвейн. Поклонницы, что в партере, что на галёрке, рыдали от восторга, всякий раз порываясь в конце представления забраться на подмостки и облобызать своего кумира или удушить его в объятиях. Да и актриски особо не отставали. Как входили в раж, играя жён и любовниц героя в различных мелодрамах, так и после их окончания продолжали в засос целовать Сиропчика, закатывать ему скандалы, бить пощёчины и пытаться уехать к нему домой. Может, такую афёру кому-то и удалось бы в конечном итоге провернуть, если бы не Капа — законная супруга Иосифа Сигизмундовича. Капиталина слыла женщиной строгой, постоянной и решительной. К тому же и веса была солидного, не в пример всем этим комедианткам. Могла и прибить ненароком. Иосю Капа прибрала к рукам ещё до его поступления в театр, забрав пьяненьким исхудавшим студентиком из привокзального кафе, где работала на тот момент поварихой, к себе домой. Иосифу у Капы понравилось настолько, что он через неделю сделал ей предложение. С того момента все бытовые заботы покинули Сиропчика раз и навсегда. Правда, вместе с ними исчезла и возможность крутить романы на стороне, но с этой утратой Иосиф Сигизмундович быстро свыкся, предварительно получив от Капиталины несколько ударов скалкой по голове и заработав от неё же перелом носа и пару десятков фингалов.

Капиталина театр не любила, считала его рассадником разврата и являлась туда только по вечерам, чтобы отвезти своего благоверного в семейное гнездо, вырвав его из хищных когтей обожательниц.

— Ося, — грубо отталкивала она плечом очередную зазевавшуюся поклонницу, опять?

— Что ты, Капушка, — пьяненько улыбался супруге Иосиф, — и даже в мыслях ни-ни.

— Знаю я, какое ни-ни, тебя и на минуту оставить без присмотра нельзя, — выдёргивала Капиталина из рук триумфатора цветы и всучала ему взамен пару пакетов, наполненных продуктами, которые успевала купить в супермаркете напротив.

— Ты за своей Капой, как за китайской стеной, никакие цунами не страшны, — завидовали Сиропчику его бобыли-сослуживцы.

И всё бы хорошо, да только вот...

Практически от всех дурных привычек отучила своего Осю Капа, но не от спиртного. Тут Сиропчик проявил упорное сопротивление:

— Что ты меня последней радости жизни пытаешься лишить! — огрызался каждый раз Иосиф Сигизмундович на очередные попрёки со стороны жены, что вечно у него по вечерам зенки залиты. — И так полностью под тобой хожу, оставь хоть тут кусочек свободы. Я к тому же дома вообще ни грамульки в рот не беру без твоего разрешения. Только и отдыхаю, что на работе, где рюмочку-другую по ходу спектакля в себя опрокидываю. Вот и отстань хоть там.

Капиталина и отстала, махнув рукой на последнюю мужнину блажь.

Но вот в театре от такой блажи Сиропчика за многие годы откровенно устали. Иосиф Сигизмундович очень даже спокойно мог и на зрителей накинуться в середине последнего акта, находясь под парами водочки или портвейна:

— Чего припёрлись? Сидите тут, глазеете. На Сиропчика посмотреть? Нравится вам Сиропчик? Ну смотрите, где вы ещё такого гения увидите!

После подобных отступлений от репертуара администрация впадала в истерику, грозилась лишить Иосифа Сигизмундовича тринадцатой зарплаты, всех премий и бонусов, отстранить от спектаклей и вообще уволить по статье за профнепригодность. Сиропчик винился, на неделю прекращал прикладываться к стакану, но потом всё повторялось. Приходилось терпеть и дальше его выходки, понимая, что альтернативы герою-любовнику и царю-батюшке в труппе просто нет.

Однако, как только у бога Олимпа наступил пенсионный срок, директор театра Парнас Рожденович Бубашвили тут же пригласил его в свой кабинет и сходу объявил:

— Всо, Ёсиф Сыгызмундыч, твой служба артыста в нашым тэатрэ закончылся, хоть

ты и гэний канэчна. Но зная тваи заслуги и любов народа, мы тэбя нэ виганяем. Мы тэбя просим пэрэйти в суфлоры. Ты вэсь рэпэртуар, как сваи пят пальцев, знаэшь, наизуст виучил, будиш падсказыват из бутки. Нэ спорь, ми тэбэ чэст аказываем. Главным суфлором дэлаем. Согласэн?

— Согласен, — тут же дал добро Сиропчик, представив себя полностью во власти Капиталины.

– Вот и замэчатэлно, — обрадовался положительному ответу Парнас Рожденович. — Праводым тэбя на пэнсию, как бога! Паздравым со всэм уважэнием. А чэрэз нэдэлю занымай бутку, она твая. Ужэ сэчас можэш сматрэт новая мэсто.

Иосиф Сигизмундович не стал оттягивать процесс освоения нового места работы, отнёс в суфлёрскую кабину из своей гримёрки любимый стул, подобрал удобную подушку и даже умудрился прикрепить к стене навесной столик под графин с водой. В общем, создал себе максимально приемлемые условия для долгого малоподвижного нахождения в стеснённом пространстве.

Поначалу за Иосифом Сигизмудовичем оставили почти такую же зарплату, что он получал в актёрах, но с условием ежедневной озвучки текстов.

— Будешь начитывать все мои сложные пьесы, — наставлял его главреж Сакалаускас. — Но ничего, Ёсеф, ты — человек опытный, почти весь репертуар наизусть знаешь, справишься.

— Мишка, всё будет нормалёк с моей стороны, — чокнулся с Миндаугасом фужерами Сиропчик. — Главное, чтобы актёришки повторяли правильно, а так, ноу проблем.

— Особое внимание нашей приме Афродите Снежной.

— Фроськe, что ли?

— Ну да, Афродите. Ты же понимаешь, за ней стоит Парнас Рожденович, поэтому сбоев быть не должно, от этого и наш гонорар зависит, и наше место. Память у неё короткая, роли не запоминает, что будешь ей в уши вдувать, то и в зал улетит.

— Да знаю я эту Снежную, как облупленную, не раз вместе на сцену выходили. Мозгов никаких совершенно. Я этой дуре и во время спектакля постоянно её текст наговаривал. Бездарная пустышка.

— Тс-с, — опасливо покосился на дверь Сакалаускас, — Может, мозгов у Афродиты и нет, зато Парнас Рожденович есть и формы какие! Пальчики оближешь. На неё мужики из прокуратуры и следственного изолятора ходят. Сам губернатор букет присылает, так что...

— Это конечно, формы у неё волнительные, почти как у моей Капы, тут не поспоришь. Ей бы на рынке торговать, цены б бабе не было.

— На рынок её нельзя, — улыбнулся главреж, — складывает плохо, проторгуется.

— Судя по ору из бухгалтерии после выдачи зарплаты, со счётом у неё всё в порядке, — ещё раз чокнулся с Сакалаускасом Иосиф Сигизмундович.

— Да ладно тебе, Ёсеф, пусть играет, жалко, что ли. Твоё дело теперь — подсказать вовремя, а не рядом с ней на сцене прыгать, — закусил коньячок ломтиком лимона Сакалаускас.

Через пару месяцев Афродита Снежина ластилась к директору Бубашвили

— Ой, Парнасик, какой ты шутник, оказывается. Сиропчика в конуру, как дворнягу какую, загнал. Там ему самое место оказалось. Ещё б на цепь посадил, вообще прикольно было б на него смотреть. Ав-ав.

— Гы-гы-гы, — заржал Парнас Рожденович. — И мыску пэрэд мордай паставит. Гы-гы-гы.

— И косточку туда положить.

— Гы-гы-гы.

— Люблю тебя, Парнасик, — чмокнула в залысину директора Афродита.

— И я тэбя, Арфочка, — расплылся довольной улыбкой Бубашвили.

— Знаешь, Парнасик, мне теперь в сто раз лучше играется, когда Сиропчик в будке сидит. Я и слова не зубрю, и перегар его не нюхаю.

— А я тэбэ, Арфочка, всэгда гаварыл, что Ёсиф — гэний. Он что на сцэнэ, что пад сцэнай адынакава харош.

— Хи-хи-хи, шутничок ты мой.

— Шютка шюткой, но тэбэ же лэгчэ стало, да?

— Легче, золотце моё, намного легче.

Спустя ещё месяц прима-актриса жаловалась директору:

— Парнасик, Сиропчик пьёт, паразит. Я к концу спектакля сегодня уже задыхаться стала от его перегара. Сначала на партнёра подумала, что он на грудь принял для смелости. Боится меня обнимать на сцене. Но нет, не воняло от Безрукавкина. Подошла к будке специально, а оттуда разит, как из помойки, и глаза у Сиропчика красные.

— Харашо, пупсык, я с ным пагавару завтра, сдэлаю внушэний.

— Сыгызмундыч, нэ пэй, да? — выговаривал Бубашвили стоящему перед ним суфлёру, утопая в директорском кресле. — От тэбя пэрэгар на вэс тэатр, слюшяй. Афрадыта задыхается уже савсэм, скора отравится, ты этого хочеш?

— Я не пью, Афродита наговаривает.

— Э, Ёсиф, знаю тэбя, — развёл руками Парнас Рожденович. — Прэмию нэ дам, оклад заныжу, еслэ паймаю.

Следующим вечером почти сразу после второго антракта из суфлёрской будки раздался такой мощный храп, что актриса Снежная аж вскрикнула от испуга, а публика разразилась безудержным хохотом и устроила бурные авации.

— Сыропчык, ты алкач, да? — в ярости вышагивал вдоль своего стола Парнас Рожденович, злобно посматривая в сторону виновато сидящего на стуле Иосифа Сигизмундовича. — Ты нэ можеш бэз водки, да? Ты спэктаклю чут нэ сорвал вчэра, храпэл на вэс зал! Чэго малчыш? На пэнсию савсэм захатэл? Гавары.

— Я не пил, — пробубнил в ответ Сиропчик. — Устал просто, постановка очень длинная, вот и уснул. С кем не бывает.

— Какой — устал проста? — остолбенел Бубашвили. — Какой — уснул? Какой эщо — с кэм нэ бывает? Са мной нэ бывает. Нэ пил он! Я сам лычно графын твой нухал и стакан тожэ. Водку пил!

— Враги, — ещё тише проговорил Сиропчик, — завистники. Они подлили.

— Какой — враги? — опешил Парнас Рожденович. — Какой — завыстныки? Ты эщо скажи, что это Афрадита тэбэ водку налила.

— Не знаю, не видел, может, и она, та ещё штучка, — прошептал суфлёр, упорно смотря под ноги.

— Ты что, савсэм идыёт? — заорал Бубашвили на бедного Сиропчика. — Ты эщо скажи, что это я тэбе чачу налывал. Вот что, Ёсиф, эщо раз уснеш на работа, потом будэш дома досыпат вмэстэ с Капай навсэгда. Понэл мэня, да?

— Понял.

— Ну и атлычна. А пака за табой началнык пажарной слюжбы Падкарытав прысмотрыт. Будэт пэрэд работай графын твой нухат и карманы сматрэт.

Месяц Сиропчик держался, ходил трезвым и хмурым. То ли жёсткий контроль Подкорытова повлиял на суфлёра, то ли перспектива остаток жизни провести исключительно в обществе Капы, но от Иосифа Сигизмундовича и на расстоянии нескольких метров совершенно не пахло алкоголем.

— Маладэц, Ёсиф, заслужыл прэмыю, — вручил персонально Сиропчику бонусный конверт Бубашвили.

Но уже через день раскрасневшаяся Афродита влетела в директорский кабинет и с ходу заорала:

— Парнасик, выгони немедленно эту дрянь из театра! Или он — или я!

— Что опят случился, дарагая?

— Эта скотина снова напилась и... — разрыдалась актриса, уронив голову на стол.

— Опят захрапэл? — нахмурился Парнас Рожденович.

— Хуже.

— Что эщо — хужэ?

— Дурой меня обозвал безмозглой.

— И ты павэрила, голуб мая крылатая?

— О чём ты говоришь, Парнас? — слёзы тут же исчезли на лице Снежной, превратив её в холодную королеву. — При чём тут — поверила? Он меня при всех актёрах оскорбил, весь зал слышал, хохотал, хлопал, «браво» кричал. Выгони его!

— Успакойся, мой лубов, сэйчас выганю.

Разъярённый Парнас Рожденович бросился в суфлёрскую. Виновника скандала на месте не оказалось, и директор накинулся на Подкорытова.

— Гдэ этот свыня?

— Домой убежал, как только закрыли занавес.

— Пяный? Как мог напытса! Ты куда сматрэл? Карманы провэрал? Графын нухал?

— И проверял, и нюхал, не было спиртного.

— В пэрэрыв в буфэт хадыл?

— Никуда не ходил, в будке сидел.

— Тагда как?

— Не знаю, — пожал плечами Подкорытов.

— Завтра всё абыщи, провэр каждый щолка. Глаза с нэго нэ пускай.

Вернувшись в кабинет, Бубашвили нашёл там успокоившуюся Афродиту.

— Выгнал?

— Нэт. Нэ был его, дамой удрал.

— Завтра выгонишь?

— Сразу нэ магу, Арфочка, нада паймат, как на работэ пьёт, — виновато поцеловал

ручку своей пассии Парнас Рожденович. — Эсли бы на рынке работал у мэня, кагда я там дыректар биль, в одын сыкунд уволил би. И штраф эщо дал, и в морду. А тут нэ магу, интэлэгэнсыя, чорт её.

Две недели к ряду Сиропчик являлся в театр трезвым, а покидал его, что называется, на бровях, но обнаружить тару, из которой он пил, так и не удавалось. Его обыскивали, не пускали в буфет, отслеживали каждую его встречу с работниками театра — всё впустую. Результата по выявлению алкоголя не было, а перегар был.

— Назначаю прэмию, кто Сыропчыка с бутилкай паймаэт. Тры аклада и бонус, — пообещал Бубашвили.

Восьмого марта играли «Чайку». В финальной части Снежная в роли Нины Заречной эмоционально признавалась Константину Треплеву со слов Сиропчика, доносившихся из суфлёрской:

— Я мелочная, ничтожная актриска, играю совершенно бессмысленно. Я не знаю, что делать с руками, они у меня словно грабли, сами по себе. Так и не научилась стоять на сцене, владеть голосом, память никакая, всё по подсказке. Короче, полная бездарность! И, главное, ведь понимаю, что играю ужасно, а всё равно прусь на сцену. Какая я чайка — я галка залётная. Нет, не то... Голова что-то совсем не варит. Одна пустота. О чём это я? А, о сцене... Я думала, что уже настоящая актриса, что я — чайка, но вы-то знаете, что это ложь. Моё истинное предназначение — у прилавка стоять. Это мой путь, это мой крест.

Треплев в изумлении отвечал Афродите, еле сдерживая хохот:

— Да, вы нашли свою дорогу, вы теперь знаете, куда вам идти. Может, и мне с вами?

— Я пойду одна. Я есть хочу. Прощайте.

Занавес дали чуть раньше, не дожидаясь конца пьесы. Зал ревел от восторга и требовал на бис, Снежная билась в истерике на руках Бубашвили, а Сиропчик, подняв воротник пальто, шёл, пошатываясь, к метро и плотоядно улыбался.

— Я нашёл, я нашёл! — с победным криком ворвался в кабинет к Парнасу Рожденовичу Подкорытов. — Я вычислил и нашёл!

— Что нашоль? — вонзил в «пожарника» суровый взгляд Бубашвили.

— Тайник Сиропчика нашёл!

— Гдэ? Вэди, паказывай, как нашоль!

— Да я тут случайно узнал, что Сиропчик, оказывается, два раза в день наведывается в театр. Вечером, понятное дело, на работу, а ещё и утром является всего на полчасика, вахтёр проболтался. Никуда не заглядывает, а прямиком на сцену. Походит туда-сюда и назад. Мне подозрительным показалось, чего утром-то шастать по пустому залу, вот и решил проследить.

Сегодня, как только рабочие пришли, спрятался в ложу. Сижу, жду. Появляется через какое-то время Сигизмундыч, ну, я в прореху подсматриваю, что делать станет. Он туда-сюда прошёлся, остановился у занавеса, постоял пару минут, поправил там что-то и исчез. Я ещё подождал для конспирации, ну и туда. И вот! — Подкорытов расправил занавес и гордо указал пальцем вниз.

На уровне колена Бубашвили к занавесу был пришит потайной карман из такого же материала, что делало его совершенно незаметным. Парнас Рожденович наклонился к накладке и засунул внутрь руку.

— Опа! — извлёк он наружу поллитру водки, покрутил её перед собой и непонимающе уставился на Подкорытова. — А как он пьёт, эсли в буткэ сэдит?

— Занавес прикажите закрыть.

— Закрывай, — скомандовал директор работнику сцены.

Огромное полотно бесшумно заскользило вдоль рампы. Когда занавес остановился, потайной карман оказался ровно перед окошком суфлёра.

— Вах! — изумлённо выдохнул Парнас Рожденович. — Как в кино! Эщо павтари, — занавес разъехался. — Давай назад! — полотно вернулось к будке. — Вах! — восторженно хлопнул в ладоши директор. — Как в рэстаранэ, прама к сталу! Давай опят... Вах! Давай сначал... Вах!

Бубашвили спустился в будку и оттуда ещё минут десять раздавалось:

— Закрывай! Вах! Открывай! Вах! Закрывай! Открывай! Вах....

При этом каждый раз звучал счастливый, почти детский, смех.

— Наверное, уволите теперь Сиропчика, — сочувственно шмыгнул носом Подкорытов.

— Нэ в коэм случаэ! — энергично замотал головой Парнас Рожденович. — Нэ в коэм случаэ! Ёсиф — валшэбнык! Он — талант! Он настаящый Энштайн! Сыропчык до самай смэрты в тэатрэ работат будэт, как Пушкын. Он — гэний!

НА ПАСХУ

1

Дядька Агафон жил в посёлке Миньково, что каким-то чудом сохранился внутри Москвы нетронутым загребущей рукой столичного застройщика. Настоящая подмосковная деревня, окружённая со всех сторон высотными кварталами. Добрая половина миньковских домов была деревянной, многие с наличниками, вырезанными ещё дедами да прадедами. Внутри них, как и полагается в таких случаях, присутствовали сени, чуланы и просторные подполы, стояли русские печи. Всё по старинке, всё по традициям, будто из ветхозаветного прошлого. Да и сами жители посёлка от исконного москвича заметно отличались своей неспешностью, основательностью, мудрой рассудительностью. К каждому дому примыкали земельные наделы, небольшие по деревенским меркам, всего-то соток шесть, изредка восемь, но по столичным понятиям — шикарное дополнение к жилью. Кто огородики свои держал с тепличками и подсобочками, у кого и живность водилась на пример курочек, уточек, индюшек да козочек всяких, а кому и поросёнок по силам приходился. Более продвинутые и современные европейскими лужайками довольствовались.

У дядьки Агафона — огородик. Да и как без него, если деток пятеро — две девчонки да три басурмана. Старшей семнадцать, младшенькой два всего, и басурманы от семи и выше через каждые четыре года. А им витамины для роста ой как нужны, да и бюджету послабление, не одна тысяча рубликов экономится. Дядька Агафон — мужик работящий, трезвый, с утра до вечера в трудах праведных, и Устинья — подруга верная, старается мужу подсобить, никакой работы не чурается. От этого и семья что надо, крепкая, дружная, на любви замешанная. А то! Вот как, к примеру, младшенькая вышла. Решил три года назад дядька Агафон Устинью в очередной раз порадовать, отложил кое-какие деньжонки, подкалымленные на частных ремонтах квартир, для поездки к тёплому морю. А в августе, аккурат к концу лета, сюрприз супруге и предоставил — билеты на самолёт и чек на оплату частного домика на берегу. Детей родственникам определили и улетели к морским восходам-закатам. Вернулись через три недели загорелые и счастливые. Друг на друга смотрели, будто только свадьбу сыграли.

— Ох, Агафон, смотри, как бы в пятый раз отцом тебе не стать, — посмеивались друзья, обращая внимание на необыкновенный блеск в глазах влюблённой парочки.

И точно, ровно через девять месяцев теперь уже подарочек от Устиньи подоспел — лапочка-дочка. Агафон на седьмом небе от счастья, детвора сестрёнке не нарадуется, Устинья вся светится. Так и живут.

Нынче у семейства дядьки Агафона большой праздник — Пасха. Средний басурман Прохор свещеносцем поставлен на вечерней службе. Для басурмана волнительно, для самого Агафона почётно.

— Папа, не пора ли ехать? Уже время вон сколько, — с утра наседал на отца Прохор.

— Да рано ещё, приедем, никого и не будет в храме.

— А если пробки на дорогах? Застрянем ведь.

— Какие пробки в субботу, сын? Сейчас вот ещё, может, и есть, а на дачи народ поразъедется — и вовсе пустынно станет, погода-то совсем стылая, ветер да дождь. Уже апрель, а весны толком не было и нет. Так что не переживай, прибудем вовремя. Лучше пойди уроки на понедельник сделай.

— Я ещё вчера их сделал, пап.

После обеда вся семья расположилась в стареньком минивэне.

— Устюша, яйца, куличи, всё взяла, ничего не оставила? Прохор, не забыл кафтан? Готовы в дорогу? Ну, тогда с Богом! — перекрестился на дорожную иконку дядька Агафон и выжал сцепление.

3

Подполковник Дорошенков с утра был не в настроении, хмур, как московское небо. Да и чему тут радоваться, когда в предпраздничный день, считай на саму Пасху, тебя на дежурство приказом сверху назначают. Ладно бы ещё в кабинете сидеть у телефона, погулять и тут можно, яйцами с подчинёнными побиться, коньячком с замом побаловаться, с секретаршей Валечкой Ерофеевой в удовольствие похристосоваться. Но нет, на улицу определили, как самого отстойного постового. У министерских ни уважения к чину, ни сострадания к человеку. Как только праздники, так у них шило в задницу, бзики сплошные, то проверки, то ответственные мероприятия. Вот и нынче не забыли про рядового полицейского, поздравили, так сказать, очередным рабочим

авралом. Локдаун, видишь ли, мэр объявил, так под это дело тут же и акцию нарисовали — ловить авто, нарушающие режим изоляции в городе. Исключение дачникам и труженикам, остальных к ответственности.

На улице мерзко, погода совсем разнюнилась — чуть за плюс. То снег, то дождь с порывистым ветром, холодрыга ещё та, зуб на зуб не попадает. Хорошо хоть за пазухой фляжка с отменным армянским коньячком, но и он ненадолго, по всему видно, согреваться подполковнику частенько приходится.

Сделав очередной глоток, Дорошенков взглянул на дорогу и тут же скомандовал старшему лейтенанту, указывая на приближающийся минивэн дядьки Агафона:

— Ну-ка, старшой, тормозни-ка вон ту колымагу.

— Стопори, — передал офицер команду Дорошенкова своему подчинённому.

Машина дядьки Агафона сошла со своей полосы и прижалась к обочине впереди постового автомобиля. Агафон приспустил боковое стекло и, дружелюбно улыбаясь сквозь бороду, обратился к молоденькому сержанту:

— Чего тормозишь, начальник, вроде я не нарушал ничего. С детьми еду, дело ответственное, дорогу под контролем цепко держу, скоростной режим выдерживаю.

— Как не нарушал? — выглянул из-за спины рядового дэпээсника Дорошенков. — А семь человек в малом пространстве — это что, не нарушение по-твоему? Предписание правительства не читаем, санитарные нормы не соблюдаем, дистанцию не выдерживаем. Документы покажи.

Дядька Агафон, увидев звёзды на погонах подошедшего офицера, улыбку на лице погасил и, глубоко вздохнув, вылез из машины.

— Пожалуйста, — протянул он подполковнику права и свидетельство.

— Почему в салоне семь человек? Сказано же, что больше трёх не собираться. А у тебя друг на друге сидят и все без масок. Настоящий рассадник заразы. Подкалымить решил?

— Какой — подкалымить! Это всё моя семья, жена с детьми. Так что нам дистанцию соблюдать необязательно, все свои.

— Семья, говоришь, — окинул взглядом пассажиров Дорошенков. — Семья — это хорошо, это дело другое. Только вот куда ты её тащишь в такую непогодь? Кино с зоопарками на карантине, музеи тоже, магазины промтоварные не работают. На дачу, что ли? И что там делать собираетесь в такой холод? Детишек не жалко?

Подполковник, поёжившись, приподнял воротник форменного пальто и уже собрался вернуть многодетному папаше документы, как вдруг услышал:

— В храм Покрова Богородицы на праздничную службу едем. Святая Пасха грядёт. Христос воскресе!

Лицо дядьки Агафона расплылось душевной улыбкой, физиономия же Дорошенкова медленно стала вытягиваться, губы сжались в тонкую нить, глаза сузились.

— В какой такой храм? Патриарх же поддержал президента, запретил пасхальные службы для народа проводить во время локдауна, чтобы не провоцировать эпидемию. Церкви не должны принимать верующих, все молитвы дома. Священники служат без прихожан. Или я чего-то не знаю?

— Ну так это ваши церкви не принимают, а наши принимают. И митрополит наш ничего не запрещал, — спрятал улыбку дядька Агафон.

— Какие ещё ваши-наши? Ты что, евангелист какой?

— Нет. Самый что ни на есть православный. Старообрядцы мы.

— Сектанты, значит. То-то я смотрю, больно имя у тебя подозрительное, не наше совсем, — утвердительно кивнул головой Дорошенков.

— Какие же мы сектанты? — обиделся дядька Агафон. — Мы ни в какую секту не уходили. Как были издревле православными, так и остались. Все изначальные традиции и обычаи соблюдаем в полной мере. Может, это вы сектанты? Это ж Никон от канонов ушёл, а наш Аввакум — он и сгинул за правильную веру, не поступился. Да и имя моё настоящее русское, прадедами определённое.

— Но-но мне тут, — лицо подполковника пошло красными пятнами, — поговори-ка ещё, хлыст поганый. Продали Россию вместе с Распутиным, отдали нехристям на поругание и ещё вякают.

— Чегой-то вы, господин офицер, попутали тут совсем? При чём тут Распутин с хлыстами и староверы? Историю знать надо, особенно если при таком звании. Не стыдно чушь нести? — перешёл почти на шепот дядька Агафон, не желая, чтобы его услышали стоявшие чуть в стороне подчинённые подполковника.

— Чего? — побледнел от злости Дорошенков и повернулся к лейтенанту: — Старшой, а штрафани-ка ты его за выезд за сплошную линию.

— Побойся Бога, подполковник, я ж не нарушал ничего, ты же прекрасно знаешь, — опешил Агафон.

— Мне нечего бояться, а вот ты бойся, потому как я сейчас над тобой Бог, и моё слово для тебя — закон. А моя воля такова. Вон там разворот, — указал в направлении дорожного знака Дорошенков, — и крути руль в обратную сторону, хлыстёныш. Домойки вмести со своими хлыстятами, чтоб и духа вашего тут не было, пока я тебя прав не лишил.

Дядька Агафон, получив назад права и штрафную квитанцию, сел за руль и нажал на сцепление.

— Ну, что там? — тревожно посмотрела на мужа Устинья.

— Он не Бог, никакой он не Бог, — проскочил мимо разворота дядька Агафон.

3

— Ах ты, сукин сын, хлыстёныш задрипанный! — с досадой ударил кулаком по капоту патрульного автомобиля Дорошенков. — Ну, погоди у меня, я тебе устрою пасхальную службу! Такую отслужу, век помнить будешь!

4

— Папка, мы успеем? — заёрзал на сиденье Прохор. — Может, газануть побыстрее?

— Никаких газануть! Хватит уже, нагазовались, и так спокойно доедем, не опоздаем.

— Оштрафовали-то хоть за что? — поинтересовалась спустя минуту Устинья.

— За пересечение сплошной полосы.

— Но ты же не пересекал!

— Неважно. У них сегодня очередная акция, надо план давать по нарушениям, вот и подвернулись под горячую руку. Да тут ещё за своего Никона обиделся, хлыстами нас обозвал...

— Опять спорить полез? Ну кто тебя вечно за язык-то тянет? Сколько раз уже говорено — не суйся в чужой монастырь со своими правилами, бесполезная затея, только себе в убыток. И вот опять, — укоризненно посмотрела на мужа Устинья.

— Так а что он нас хлыстами обозвал? Истории не знает совсем, — попытался оправдаться дядька Агафон.

— Слишком ты много требуешь с обычного постового.

— Он не обычный, он подполковник, старший офицер. Он должен знать историю. Знать и понимать.

— Офицер, — скривила губы Устинья. — Какой он офицер, если многодетную семью за ни за что денег лишает? Он обычный злобный неумный карьерист. Офицеры себе такой низости никогда не позволят.

— А тебе откуда это знать, позволят или не позволят? — усмехнулся в бороду дядька Агафон.

— У меня дед офицером был и отец тоже, забыл, что ли? — обиделась на мужа Устинья.

5

Дорошенков достал из внутреннего кармана фляжку, подержал её на весу, чуток взболтал и полностью влил в себя остатки коньяка. Постояв с минуту в раздумье, он вдруг мстительно улыбнулся и обратился к старлею:

— Ну-ка, дай мне следующий пост по направлению к этой их чёртовой молельне.

— Какой молельне? — не понял подполковника старший лейтенант.

— Ну, на храм их сектантский, Покрова Богородицы, вроде.

6

— Смотри, опять останавливают, — заволновалась Устинья, глядя на машущего жезлом дэпээсника.

— Вижу, — напрягся за рулём дядька Агафон и сбавил скорость.

Постовой медленной походкой подошёл к агафоновскому автомобилю.

— Лейтенант Выползов, — представился дэпээсник. — Ваши права, страховку. Куда следуем?

— На праздник Святой Пасхи в храм Покрова Богородицы.

— Выйдите из машины.

— А что случилось, что-то с авто не в порядке? — прикрыл за собой дверцу дядька Агафон, не заглушая движок.

— С вами не в порядке. Вы превысили допустимую скорость при обгоне рейсового

автобуса. Создали аварийную ситуацию, так сказать, — достал из своей папки штрафной бланк дэпээсник.

— Я ничего не нарушал, никакие автобусы не обгонял. У меня пятеро детей в салоне, какое превышение скорости может быть? — возмутился многодетный отец. — Лейтенант, побойся Бога!

— А чего мне его бояться? Он мне не начальник, премию за тебя не выпишет и с работы за неподчинение не выгонит. А вот подполковник выгонит. Ну, не выгонит, то премии точно лишит, если я тебя не оштрафую. Мне это надо? Так что для меня он и есть Бог. С утра тут торчу на ветру да на дожде, всякие ковиды от таких, как ты, вылавливаю, так хоть компенсацию за эти лишения заработаю. Сейчас оформим нарушение, и езжай себе со своим богом. Но мой совет: лучше назад домой. Если дальше, только хуже будет.

Дядька Агафон молча взял штрафную квитанцию и, садясь в минивэн, тихо пробурчал:

— Твой подполковник не Бог, овца он самая настоящая. А кто ж на овцу молится? Язычники разве.

— Чего ты там? Недоволен чем-то? Повтори, — с угрозой в голосе наклонился к боковому окну лейтенант.

— Ничего. Так, сам с собой разговариваю.

— Во-во, и молчи в тряпочку, целее будешь.

7

Устинья с опаской посмотрела на мужа, лицо которого походило на грозовое облако.

— Что, снова оштрафовали?

— Да, — кивнул дядька Агафон, — и предупредили: дальше — хуже. Видать, подполковник что-то пакостное затеял против нас. Что решаем, может, назад вернёмся? Так всю зарплату отдашь, пока доедешь, а то и не одну. Так это в лучшем случае, а в худшем....

— И думать об этом не смей! Мы потом себе этого вовек не простим, да и Прохор тоже, — положила Устинья свою ладонь на мужнино бедро. — Пусть штрафуют, деньги в жизни не главное. Не разоримся, по миру не пойдём, заработаем ещё. Да и не арестуют же тебя, в конце концов. Если хочешь, я за руль пересяду. Со мной они, может, не посмеют так нагличать, всё же женщина.

— Нет, Устюша, — покачал головой дядька Агафон, — я этот крест до конца вынесу. Бог поможет! А то, что ты — женщина, их не тревожит. Они распоряжение своего начальника выполняют, он их Бог.

— Нашли себе Бога, овцу неразумную.

8

Дядьку Агафона ещё несколько раз тормозили дэпээсники и лишали денег под надуманными предлогами.

— Побойся Бога, майор!

— Бога нет.

— Побойся Бога, старлей!

— Бог завтра на Пасху будет, сегодня подполковник командует.

9

Подполковник Дорошенков все детали продумал досконально, всё просчитал. По его плану дядьку Агафона должны были штрафовать на всех постах по пути к церкви, на последнем же задержать строптивца за неисправленные тормоза и сопроводить его вместе с семьёй в ближайшее отделение полиции, а машину отправить на штрафстоянку.

— Капитан, — давал последние указания по рации Дорошенков своему подчинённому, — как в отделение этих сектантов доставишь, мне сразу доложи, я подъеду потом, понял?

— Так точно, товарищ подполковник!

10

— Папа, мы, н-наверное, точно оп-поздаем, — начал заикаться Прохор, увидев в окно, как очередной дэпээсник стал останавливать их машину.

— Не волнуйся, сын, всё будет хорошо. Бог нам в помощь!

— Господи, за что вы издеваетесь так-то над нами в такой день, креста на вас нет, — с укоризной всматривалась Устинья в приближающегося офицера.

— Капитан Пономарёв, — отдал честь дэпээсник. — Ваши права, пожалуйста.

Дядька Агафон молча протянул документы моложавому офицеру.

— Куда следуем?

— В храм Покрова Богородицы, на пасхальную службу. Сына нынче в свещеносцы поставили. Спешим.

— Вот как. Церковь вроде старообрядческая?

— Да, православная.

— Ну что ж, не смею задерживать, — капитан вернул права Агафону и отдал честь. — Для сына праздник великий сегодня. Удачи в первом служении. С наступающей вас Пасхой. Поезжайте с богом!

У дядьки Агафона аж челюсть отвисла от изумления, да и Устинья сползла по сидению.

— Что смотрите на меня, как на невидаль? — улыбнулся дэпээсник. — Будто чудо увидели.

— Так оно самое и есть. Чудо чудесное, — опомнился дядька Агафон. — И не оштрафуешь даже, просто отпускаешь?

— Что я, не православный, что ли?

— Тоже из староверов будешь?

— Нет. Да и какая в этом деле разница? Все мы одной веры. Христос воскрес!

— Воистину воскресе, капитан, воистину!

11

Подполковник Дорошенков нервно ходил из стороны в сторону вдоль обочины дороги и постоянно посматривал на часы, ожидая сообщения от капитана Пономарёва. Коньяк давно закончился, и холодный ветер делал своё дело, выдувал тепло и последние пары хмеля из начальственного тела. Затушив очередной окурок, Дорошенков повернулся в сторону сержанта:

— Эй, малой, вызови срочно капитана Пономарёва и рацию мне передай.

Через минуту подполковник выговаривал подчинённому:

— В чём дело, капитан, почему не докладываешь по нарушителю? Сколько я, по-твоему, должен ждать? Все сроки уже вышли. Задержал, надеюсь, этого сектанта? Как он там, не плачет отпустить, взятку не предлагает? Или Богом своим пугает? Сейчас приеду, полюбуюсь на этот цирк.

— Я его отпустил, — прохрипела рация.

— Чего?

— Отпустил я их, — повторила рация, — не за что было задерживать. Документы в норме, тормоза тоже в порядке, ехал тихо. Никаких нарушений.

— Чего? — побагровел подполковник.

— Отпустил я их, говорю, — ещё раз донеслось из рации.

В воздухе повисло тяжёлое молчание.

— Твою мать! — через несколько секунд заматюгался эфир.

А ещё через минуту рация зашипела:

— В понедельник с утра ко мне с рапортом, мля!

12

В понедельник утром капитан Пономарёв вошёл в приёмную Дорошенкова.

— Подполковник у себя? Доложите, мне назначено, — показал он удостоверение секретарше Валечке Ерофеевой.

— А вы что, не знаете? — посмотрела на него покрасневшими глазами Валечка.

— О чём?

— Николая Васильевича вчера вечером арестовали, — всхлипнула секретарша, — за взятку в особо крупном. Говорят, шансов никаких. Беда-то, беда! И главное, прямо на Пасху.

— Господи, — мысленно перекрестился Пономарёв, — видать, Бог к ответу призвал.

Виктория БЕЛЯЕВА

ЗАЩИТА КОНИНА

— Ваше благородие, не сочтите за наглость. Мы по делу. Жизни и смерти вопрос. Половой здешний, Петька плешивый, божился, что вы юриспрудент. В том смысле, что аблакат и душевной глубины человек. Удружить нам сможете.

— Ага. Просим покорнейше вашей помощи в судебном вопросе.

Двое мужиков, по виду из вольнонаемных, обратились к сидящему за трактирным столом человеку в синем костюме свободного кроя. Человек глядел в свежий выпуск «Московского листка», внимательно изучая страницу с городскими происшествиями.

От внезапного вопроса он перевел взгляд с газеты на обратившихся. Еле уловимо поднял брови. Подумал: «И эти гэкают».

На вид гэкающим было немногим больше тридцати. Один казался чуть старше и выше. Но внешне удивительно походил на второго.

Человек, сидящий за столом, опустил газету, мягко закинул ногу на ногу. Близоруко сощурился, стал внимательно изучать незнакомцев.

Пока те переглядывались, он отметил их крепкие руки, покрытые мозолями и цыпками, простые, точно выцветшие, лица с въевшимся загаром.

Светло-русые, курносые, коренастые в коротких, подбитых ватой сюртуках серо-коричневого сукна. Один мял в руках меховую шапку, у второго на голове примостился пыльный картуз с треснутым козырьком. Штаны каждого были заправлены в высокие, нечищеные сапоги. От обоих пахло кислой капустой, горьким луком и пшеничным пивом.

Человек, к которому обратились двое, отложил газету. Кивнул то ли себе, то ли подошедшим.

На вид ему было около пятидесяти. Круглое, оплывшее лицо еще не утратило остатков былой привлекательности. Цепкие, миндалевидные глаза орехового цвета глядели с высокомерным интересом. Тонкая линия щеголеватых, седеющих усов надломилась в усмешке:

— Значит, вас ко мне половой прислал? Ну и чертов старик. Чем разжалобили его, признавайтесь? Собственно, я, действительно. адвокат — Лев Валерианович Конин. А вы, простите...

Адвокат Конин не успел закончить. Обратившиеся, перебивая друг друга, принялись рассказывать о деле. Лев Валерианович пытался вникнуть в суть, но шум трактира и сбивчивая, неровная речь мужчин соединялись в единый, назойливый и жужжащий звук.

Наконец, адвокат Конин хлопнул пухлой и квадратной ладонью по деревянному столу:

— Господа, извольте прерваться. В эдаком балагане разве разобрать чего? Присядьте, закажите, ежели на то пошло, по рюмочке мне и себе, представьтесь и поведайте, в чем суть вашего вопроса.

Мужики замолкли. Глянули друг на друга, а затем и на адвоката Конина, который равнодушно приглаживал седые, маслянистые локоны. Со скрипом выдвинули стулья, рухнули. Тот, что был постарше, грудным голосом дал указания тощему буфетчику принести три сотки «монопольки» и какой-нибудь закуски вроде недавно съеденной. Буфетчик огрызнулся. Попросил уплатить за прошлый заказ и забрать, ежели надобно, новый, но с авансом.

Лев Валерианович миролюбиво вставил:

— Степан, полно, ну к чему эти демагогии, уважьте служителя Фемиды скоростью и тактом.

Буфетчик искоса оценил обстановку, кинул на руку полотенце, движением фокусника погрузил на круглый поднос казенную водку и соленья. Смахнул со стола невидимый сор, разместил заказ, дождался расчета и сразу же после этого исчез.

Адвокат Конин порозовел, взял в руку рюмку, глянул сквозь содержимое на блеклый свет, сглотнул, опомнился и пригласил и гостей последовать его примеру:

— За решение вашего вопроса, — с наслаждением проглотил прохладную водку, захрустел капустой и облепленным укропом, пупырчатым огурцом: — Так в чем, собственно, загвоздка, милейшие?

Мужики тоже выпили, но закусывать не стали. Тот, что был постарше откашлялся:

— Ваше благородие, фамилия наша Журавлевы. Братья мы. Я — Михаил, а энто Василий. Из Воронежских мы. Не местные. Здеся оказались на заработках. Делали кровлю купцу Копеечкину. Может, знаете, он лавку и дом на Новой Бассманной держит?

Адвокат Конин откинулся на спинку стула, блаженно потянулся, как будто не слушая рассказа. Сделал жест рукой буфетчику повторить ему рюмочку. Лениво ответил:

— Копеечкин — личность известная во всех отношениях. У вас с ним что за счеты возникли?

Тут в разговор вступил молчавший до того Василий. Громко и басисто зачеканил:

— Обул нас это гад. Подчистую. За работу не уплатил, маракуша! Мы уже всю кровлю приладили, а он нас в шею, облудь. Ни шиша не дал. Сговорился. Смоленских на нас натравил, а те подтвердили прилюдно, мол, не мы, а они всю работу отчеканили. Пустобрехи фуфлыжные! Гришку, брата нашего меньшого, так уделали, что он побитый в заезжем доме еле живой мается. Засудить гада хотим. Сдюжьте, ваше благородие. Пусть по закону ответит.

Лев Валерианович слушал, кивал головой, отслеживая приближавшегося буфетчика. Перехватил рюмку. Молниеносно опрокинул новую порцию «монопольки», вдохнул солоновато-сладкий аромат моченого яблока, откусил. Прожевал. Ответил:

— Дело ваше ясное. С Копеечкиным такая канитель случается на регулярной основе. Не человек, а дрянь. Вот что, голубчики, — надо вам судебное прошение составлять. Вы грамоте обучены? Я вам в общих словах суть укажу, а вы уж писать — сами.

Братья Журавлевы синхронно втянули спертый воздух трактира, ссутулились. Василий угрюмо ответил:

— Не пишем.

Михаил потерянно спросил:

— Ваше благородие, может, удружите? Да мы уплатим. Главное, чин по чину, бумагу для судьи, чтоб Копеечкин рассчитался по полной. Мы за брата нашего, понимаете?

Адвокат Конин обтер тыльной стороной ладони крупный рот. Медленно перевел взгляд с одного брата на другого. Задумался. Простодушные лица вызывали симпатию и жалость.

Василий снова подозвал буфетного, тот опустил на стол графинчик, дождался расчета.

Лев Валерианович скрестил на груди руки:

— Как быть-то с вами, господа хорошие? Завтра в конторе меня не будет. До конца недели в разъездах. Ну, вы чего носы повесили? Вот у меня дело одно уже к развязке движется. Так оно почище вашего. Имени не скажу, высокой персоне помогаю. Человек хороший, а случилось же такое. Жена с любовником чуть не лишила капитала. Аферку одну подстроить затеяли с карточными долгами и прочим. А там и фабрика, и завод свечной, и мануфактуры — такое состояние. Но, слава богу, успели. Вывернули как надо. Спасли моему доверителю и честь, и капитал.

Братья Журавлевы присвистнули. Василий кивнул:

— Бабы есть бабы. Наши тоже, поди, заждались. Домой охота. Ну, помогите и нам. Да хоть здесь. Бумагу найдем. Вам по нашему вопросу написать, как чихнуть, ей-богу.

Адвокат Конин кинул взгляд на графинчик, достал из кармана часы на цепочке, глянул. Махнул рукой, ударил ладонями по коленям и весело ответил:

— Будь по-вашему. Раз так случилось нам встретиться. Бумага и карандаш и у меня в наличии. Имею привычку при себе держать. Составим прошение строго исходя из закона. Копеечкин ваш раскошелится, как пить дать. Давно пора наказать шельмеца.

Михаил, нервно постукивая пальцами по столу, поинтересовался:

— Дорого ли возьмете?

Лев Валерианович засмеялся:

— А «канарейку» за смелость.

Михаил насупился:

— Целый рубль? Половой говорил, что за двугривенный сладимся.

Адвокат Конин развел руками:

— Ну, уж извольте. Тогда пусть половой и документ оформляет. Я не настаиваю.

Василий махнул шапкой, достал из внутреннего кармана желтый, точно певчая

птица, рубль, расправил. Положил на стол:

— Пишите прошение. Такое, чтобы сразу пронять судью.

Лев Валерианович одним движением взял со стола рюмочку и рубль, выпил, достал лист и карандаш. Долго и медленно писал, останавливался, уточнял у братьев подробности спорных событий.

Те успели выпить еще по одной рюмке и кружке пива, чуть не подрались, припоминая разговор с Копеечкиным. Уяснили, что говорить судье, расписались в конце прошения то ли крестиком, то ли буквой Ж. Бережно свернули полученную от адвоката бумажку, снова чуть не подрались, споря, кому схоронить документ на подкладке.

Ушли.

Лев Валерианович придвинул к себе тарелку с остатками квашеной капусты, брезгливо ковырнул в ней ложкой, зачерпнул полную, набил рот, захрустел, закрыв глаза.

В этот момент сзади над его ухом неслышно склонился лысый и бородатый коротышка, крикнул в ухо:

— Ленька, аферист, долю гони. Где мой двугривенный? Видел же, как на рубль облапошил кровельщиков. И за пиво вчерашнее буфетному не забудь.

Адвокат Конин вздрогнул:

— Тише, Петька. День не кончен, а ты народ пугаешь. Обращайся, как уговорено.

— Ты мне зубы не заговаривай. На сегодня с заовинниками все. Вечером приходи в «Медведь» на Конюшенном, там игра намечается. Юриспрудент, значится, понадобиться может.

Адвокат Конин, он же Ленька-аферист, зарделся, пригладил волосы:

— В «Медведе», стало быть, и Анна Васильевна будет.

— А вот и шиш тебе, Ленька. Укатила она с охвицером заезжим то ли в Пятигорск, то ли в Петербург. Цветочница ляпнула, мол, с концами. Или пока деньги охвицерские не измотают. А ты бы, балда, забыл о волочайке этой. Сколько и в рублях, и в серебре истратил на лярву. Домой, к семье возвращайся, писака.

Ленька вытащил из кармана двугривенный, отдал его половому, устав слушать назидания. Подошел к буфетному, попросил две чарки «монополъки»:

— На посошок.

Буфетный выставил обе:

— Четушка плюсом к долгу.

Ленька кивнул, хлопнул одну за другой чарки, не поморщился. Молча положил на прилавок полученный от кровельщиков рубль. Тот принялся отсчитывать сдачу, но Ленька не стал ждать, махнул рукой, пошатываясь вышел из трактира в сумерки и отчаянно весело запел:

— По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащится с сумой на плечах...

Александр РАЛОТ

НЕБЕСНЫЙ ДАР
В КАЧЕСТВЕ КОМПЕНСАЦИИ

Быль

Февраль зимы 1942 года. Таджикская ССР, Сталинабад. Аэропорт

— И не уговаривайте меня. Нет, нет и ещё раз нет! Не то что в самолёт, я даже близко к нему не подпущу! Арҷманд зан[1], ты хоть представляешь, что такое зима в здешних местах? — горячился седовласый таджик-офицер, с четырьмя шпалами на петлицах[2]. — Это туман, шквальный ветер и полный ваҳшати[3]. Если бы не приказ, я вообще из здания аэропорта нос не высунул и этот рейс ни за что не разрешил! А ты совершенно гражданская! Уйди немедленно с военный объект! Иначе я вызывая сарбозона[4], и он... — начальник аэропорта попытался схватить женщину за рукав, но та увернулась и, сжав кулаки и сверкая глазами, «перешла в наступление»:

— Я жена советского командира, между прочим, вашего коллеги, сотрудника Хорогского аэропорта Абдуллоева! И вы просто обязаны его знать!

— Война идёт, — сменяя гнев на милость, буркнул полковник, опустился на длинную скамью и постучал по ней, предлагая женщине расположиться рядом, затем продолжил: — Люди меняются часто. Одни уезжают на фронт, другие оттуда прибывают. А мне уже совсем бисер сол[5], память подводит. Сильно к мужу хочешь? Тебя как звать-то?

— Анна... Абдуллоева! Вот телеграмма от него. Ему комнату в общежитии выделили. Надо ехать, быт налаживать. Его долечивать. Мы же теперь семья. А он после ранения! Сразу из госпиталя сюда отправили, то есть домой. Он же родом из тех мест. В больнице и познакомились. Он же у меня лётчик. Главврач и расписал нас. Как только Сухроб мой начал ходить. А вы к нему не пускаете. Туда же никакой транспорт сейчас не ходит. Только самолёт и остаётся. Пустите на борт. Ну пожалуйста. Мы с ним век вам благодарны будем, — тараторила женщина.

— Её правда. Пусть с нами летит. Место в самолёте найдётся. Триста километров всего-то, за пару часов управимся, — рядом с ними стоял улыбающийся человек в лётной кожаной куртке. — Антон Княжич, пилот самолёта, на который вы, барышня, так рвётесь попасть.

— Фамилия у вас буржуйская, из этих, что ли, из царских? — Аня недоверчиво поглядела на своего заступника. А тот раскатисто рассмеялся:

— Мой прадед и дед при дворе барском состояли. Собственной фамилии не имели, вот их по месту их работы и величали. Я хотел её поменять, да всё недосуг было, а сейчас война идёт, какая уж тут смена фамилий, — при этих словах он протянул начальнику аэропорта планшетку. — Впишите дамочку в маршрутный лист. Под мою ответственность. Негоже нам семью разлучать, тем более, в тысячах километров от войны.

Из бортового журнала самолёта СТ15 СССР-Л-391:

Пассажиры рейса:

1) Майор Масев Егор Кимович, комиссованный из рядов Красной армии по причине ранения.

2) Сотрудники НКВД Мурат Вахов, Леонид Тариков.

3) Анна Абдуллоева.

+ Багаж. Документы. Восемь килограмм.

---

[1] Уважаемая женщина *(тадж.)*
[2] Отличительные знаки полковника
[3] Ужас *(тадж.)*
[4] Солдата *(тадж.)*
[5] Много лет *(тадж.)*

Прогноз погоды по маршруту. Мощно-кучевая облачность 3 балла на высоте 2000м, ветер восточной четверти 10-20 км/ч, видимость...

* * *

14.00. Обнаружилась проблема с левым шасси. Три попытки его выпустить оказались безрезультатными. Садиться в Хороге с такой поломкой нельзя. Перевернёмся.

Принимаю решение вернуться на Сталинабадский аэродром.

15.00. «Ворота»[1] на перевал Одули «закрылись» из-за сильного снегопада. Продолжаю полёт вслепую, по приборам. Ухожу ниже и правее, на меньшую высоту.

* * *

Вихревой поток бросил самолёт на сотню метров вниз. Неожиданно из своего «гнезда» вышло левое шасси. Но радости это не принесло, ибо оно тут же зацепилась за склон горы.

Некоторое время машина всё ещё слушалась штурвала пилота и оставалась управляемой, но пять минут спустя мотор заглох, и самолёт влетел в снежный сугроб.

Фюзеляж раскололся, но и пилот, и пассажиры остались живы, получив лишь ушибы.

Из дневника Антона Княжича:

17.00. Мурат Вахов и Леонид Тариков отправились искать выход к реке. Вернулись час спустя. Поиски оказались безрезультатными.

* * *

С рассветом попробовали починить радиостанцию. Бесполезно. Приборная доска и её содержимое представляет сплошное месиво. Аня и Егор Кимович провели ревизию съестного и разделили на пайки. Единогласно постановили: питаться придётся только раз в день, а поскольку воды нет совсем, то в качестве жидкости — употреблять снег[2]. Водку и немного спирта использовать исключительно в медицинских целях, обрабатывая ею полученные раны.

* * *

Всем стало понятно, что судьба отпускает им не больше недели: на то, чтобы найти дорогу к людям. Иначе — смерть от обморожения и голода!

Антон, как самый боеспособный из выживших, отказался от положенного пайка и отправился повторить поход энкавэдэшников.

Найти-таки выход к реке, а по её берегу добраться до ближайшего селения.

Шесть часов спустя

— Ну и как? Нашёл? — майор хуже всех справлялся с разряжённым воздухом, а потому почти всё время сидел неподвижно, укутавшись в совсем не спасающий от холода брезент.

— Нет, товарищ майор. Прошёл шесть километров безрезультатно. Но вы не беспокойтесь, нас обязательно будут искать. Мы не прибыли на аэродром назначения, не выходим на связь, значит...

— Понятно, что это значит, — оборвал лётчика Масев, — мы погибли, мертвецы, трупы. А за ними в военное время никого не посылают. Не до них сейчас, Тоша, вернее, не до нас.

Услышав это, стоящая рядом Аннушка разрыдалась в голос:

— Неправда! Мой Сухробушка обязательно организует экспедицию, он меня ни за что не бросит! Вот увидите! Завтра крайний срок, послезавтра за нами придут! Мой бог и его Аллах нашей гибели не допустят!

Пять дней спустя

Из бортового журнала, превращённого в дневник:

12.00. Тариков, в очередной раз отыскивая проход к реке, поскользнулся и упал с обрыва. Сильно ушиб колено, но до самолёта доковылял самостоятельно. Анна сделала

[1] Расстояние между высокими горами. Самолеты летают между ними, а летчики такие места называют «воротами».

[2] Снег в горах жажду не утоляет! Не следует забывать о затрачиваемой энергии на растапливание снега. Из семи литров снега получается лишь два литра воды. Эскимосы растапливают снег теплом собственного тела. Заполняют им кожаные фляги, надевая их под теплую меховую одежду. Ничего подобного у героев этого повествования не было, да и способ этот они, увы, не знали.

ему перевязку. Возможен закрытый перелом. Больше ходить он не сможет.

19.00. Готовимся к очередной ночёвке. Все плохо спят. Просыпаются почти ежечасно. Согреваются, сидя друг у друга на коленях. Анна в предыдущую ночь уходила спать в разбитую кабину самолёта, но, как только замерзла, вернулась в тесный пассажирский салон.

Продукты закончились. Все. Совсем!

Люди время от времени, несмотря на строгий приказ майора, выходят наружу за снегом и едят его, пытаясь заглушить голод.

* * *

— Мальчики, идите сюда, — чуть слышно позвала женщина вернувшихся из очередного безрезультатного похода Княжича и Вахова, — я тут кое-что сожгла из обломков самолёта, зато воды согрела. По полтора стакана на человека получилось. Жаль, что крупы у нас нет, а то бы знатную кашу сварганила бы.

— Аня, хватит о еде! — рявкнул пилот. — Нет её, и всё тут! Патронов у нас полно. Но ни одного зверя мы ещё не встретили. Место какое-то проклятое...

— А я вот ещё чего отыскала. Коробку, правда, сожгла, но костяшки берите, играйте. Авось забудетесь хоть на время, — Абдуллоева высыпала на камни домино.

— Прям как до войны, — Вахов попытался улыбнуться, но вместо этого на заросшем лице образовалась ужасная гримаса.

Седьмой день после катастрофы

Из дневника пилота:

12.00. Из обломков самолёта не вылезали. За обшивкой пурга! Съели по маленькому кусочку снега. Надо беречь силы. Завтра будем откапываться.

22.00. Проснулись от шума. Сквозь вой ветра слышали три выстрела. Дали три ответных из табельного пистолета. В ответ — ничего. Вой ветра заглушает посторонние звуки.

Спали лучше, чем в предыдущие ночи. У всех зародилась надежда.

* * *

— Мужчины, подъём! Сони вы этакие, — Аннушка орудовала лопатой, пытаясь вырыть в снегу тоннель и выйти наружу. — Ветер стих, давайте помогайте бедной, голодной женщине. Если нашу вчерашнюю пальбу услышали, то сейчас сюда уже тащат кучу тёплых вещей и целую гору еды, — она хотела ещё что-то сказать, но майор грубо закрыл ей рот.

— Помолчи, сорока, угомонись!.. Первый из нас умер... Леонид Тариков. Сейчас хоронить будем. И салют дадим. Может, они там, внизу, в конце концов, услышат. Разрешаю десятью выстрелами. Мишень номер пять, по габариту шесть, дистанция четверть сотни, в память о погибшем товарище!

Восьмой день

— Мужчины, товарищи, у меня для вас такая новость, такая, просто уф! — Аннушка просунула голову в кабину самолёта. — Я там видела...

— Людей? Пограничников? — воскликнули мужики.

Женщина отрицательно покачала головой и вытерла обледеневшим рукавом глаза.

— Я по своим делам в ту сторону пошла, а там...

— Да кто там? Не томи уже! — разозлился майор.

— Козёл с рогами, вот такими, — она подняла над головой руки. — Пошли быстрее — пока не убежал. Застрелим, мясо будет, а это еда и жизнь...

Договорить она не успела, Антон одной рукой уже доставал кобуру, а второй оттаскивал Аню от самолёта.

— Пошли скорее, показывай где! Только молчи, просто показывай направление. Да не топай ты так, горные козлы — звери пугливые.

* * *

— Тут он стоял, на меня глядел, глазищи вот такие, — Аня сняла варежки и, соединив два пальца в кольца, поднесла их к глазам. — Ой, — она поскользнулась и, не удержав равновесие, упала и заскользила по насту к краю пропасти, — мама, мамочка! — Аннушка судорожно цеплялась за лёд руками. Ещё секунда, другая, и всё... Женщина глянула вниз и, зажмурившись, прошептала: — Сухроб, любимый, прощ...

Сознание покинуло женщину. Аня не видела, как пилот из последних сил тянул

её от края бездны. Потом, уложив в безопасное место, склонился над ней, хотел надавать по щекам и привести в чувство, но, завидев стоящее поодаль животное, поднялся, медленно, чтобы не спугнуть, вытащил пистолет, сделал пару шагов на дрожащих от напряжения ногах, прицелился. Однако на курок нажать так и не успел, ибо откуда-то сверху сорвался и полетел вниз камень. Летчик машинально отшатнулся, поскользнулся и, не удержавшись и не найдя опоры, полетел туда, откуда несколько минут назад с огромным трудом вытаскивал пассажирку.

* * *

Очнувшись, Абдуллоева первым делом сама отхлестала себя по щекам, разгоняя кровь. Осмотрелась. Пилота нигде видно не было. Дрожащим голосом позвала:

— Атон! Княжыч, где ты? Ау!

Эхо безжалостно повторило её слова.

Кое-как поднявшись, женщина в лучах уходящего за хребет солнца разглядела лежащий на самом краю пропасти пистолет и всё поняла.

Запись в дневнике

(После гибели лётчика Егор Кимович приказал вести его Анне Абдуллоевой)

Сегодня снова слышали винтовочные выстрелы. Майор определил, что это учебные стрельбы на заставе. И до неё примерно километров пятнадцать. Если по прямой.

Состояние всех резко ухудшилось. Порезать на кусочки кожаную портупею не удалось. Сварили целиком. Похлебали горячее.

В очередной раз поспорили на тему: почему нас до сих пор не разыскали?

Решили, что мужчины с утра снова пойдут искать выход к реке. Иначе — смерть!

Пишу на следующий день вечером:

Опять ничего не ела. Вахов и Кимович возвратились обратно. Поднялся сильный ветер, и идти стало невозможно. Майору оттирала ноги, Мурату — руки. Снова совещались. Спички заканчиваются. В зажигалке уже давно нет бензина. Плохая погода может продлиться ещё дня два. Спасение одно — всё равно попытаться выйти к людям. На поисковую группу надежды нет никакой. Я уходить отказалась. Потому как точно не дойду, а обузой быть не хочу. И умирать лучше здесь, чем в где-то в горах.

Москва. Кремль. Заседание комитета обороны

— Слушаем вас, товарищ, докладывайте всё как есть, по-честному, по-партийному, нам нужна правда, а не красивые цифры в вашей папке, — хозяин кабинета поднялся из-за стола, подошёл к окну и начал раскуривать свою трубку.

Седовласый генерал принял стойку смирно и, не заглядывая в лежащую перед ним папку, отчеканил:

— Товарищ верховный! Машин СТ15 было до начала войны изготовлено три тысячи штук. Две с половиной переданы нашим вооружённым силам, а оставшиеся — в гражданский флот. Те, которые попали на фронт, практически все уничтожены или сильно повреждены врагом. Организовать изготовление новых двигателей в настоящее время...

— Нам всё понятно, — оборвал докладчика Сталин, — подробности не нужны. Товарищ Поскребышев, пишите...

Шифротелеграмма №1694

В Душанбинское управление гражданской авиации

Приказываю! Срочно найти все разбившиеся самолёты СТ15, снять с них двигатели (в любом состоянии) и направить в распоряжение военно-воздушных сил Красной Армии.

Последние записи в дневнике

Дни считать перестала. Незачем. Сколько проживу — все мои. Спичек осталось три штуки, четвёртую использовала для того, чтобы натопить воды, хоть немного помыться. За окном темень непроглядная. Звёзд не видно. Совсем. От этого ещё холоднее.

Слышала шорох, выскочила, думала, что за мной. Показалось. А может быть, это волки? Не дай бог. Пистолет ведь мне мужики оставить забыли. Сегодня воду не грела, берегла спички.

Погода хорошая. И у меня радость. Слышала гул мотора, кажется, самолёт летел на Хорог, а может быть, мужчины уже дошли и выслали его, чтобы сбросил мне еды и тёплой одежды.

Нашла в обшивке завалявшиеся луковицы (девять штук) и пару десятков головок чеснока. Живу. Израсходовала спичку, сварила самый вкусный на свете суп!

Опять буран. Пить сильно хочется. Но огонь разводить не буду. Боюсь загубить последнюю спичку. Отморозила себе пальцы ног. Жевала оставшуюся кожу.

Видела волков. Казалось, что хотят залезть в окно самолёта. Положила рядом с собой металлическую палку. Буду отбиваться, сколько хватит сил.

Начала писать завещание. Если волки меня сожрут, то одежду не тронут.
«Имею наличных денег одна тысяча сто рублей. Пятьсот пятьдесят зашиты в фуфайке. Остальные лежат радикуле. Было больше, но я их сожгла, чтобы согреться. Муж, прости меня за это. Но иначе я поступить не могла. Везла с собой ещё два платка, красный и белый, их тоже спалила. Сапоги дамские передайте... простите, их тоже уже нет, разрезала и ела... Прощайте, мои родные и дорогие, кто меня знал!»

Опять видела самолёт. Не соображаю, наяву или в бреду. Вроде бы проходил те самые чёртовы ворота. Хорошо, если бы это была экспедиция... Смотрю на обмороженные пальцы, может быть, их отрезать и... они ведь уже всё равно мёртвые...

Кишлак Маратнауш. То же время

Мурат Вахов смог добраться до кишлака. Майор умер километрах в трёх от него. Не выдержало сердце. Местные жители без промедления переправили энкавэдэшника в Хорог. Там ему ампутировали отмороженные конечности.

* * *

В помещение, где лежал энкавэдэшник, вошёл пожилой человек в линялой гимнастёрке с гербом сотрудника прокуратуры и двумя шпалами в петлицах. Увидев его, Вахов попытался приподняться на постели, но гость жестом остановил:

— Лежи-лежи! Я Саид Магомедович Сафаров, военный юрист третьего ранга, и мне надо задать тебе всего несколько вопросов. Итак, сколько всего человек было на борту самолёта?

— П-п-пя-те-ро, — почему-то заикаясь, ответил Мурат.

— И где они? Про майора знаю. Его тело уже принесли и даже успели похоронить. А остальные?

— Тариков Леонид сломал ногу и умер, а пилот упал в пропасть. Вот и всё, — на лбу больного проступили капельки пота.

— Не сходится, — буркнул следователь, что-то записывая в блокноте. — С арифметикой в школе всё было в порядке? — в голосе прокурора зазвучали металлические нотки. — Ты здесь. Выжил. Трое умерли. Кто пятый там, в горах, остался?

— Пассажирка, женщина, Аня. Но она сама отказалась с нами идти. Не захотела. Говорила, что не дойдёт, сил нет совсем, — путая русские и таджикские слова, затараторил Мурат.

— Понятно. И почему о ней не рассказал сразу, как только вышел к людям? Забыл?

— Так она же умерла. Наверное. Еды нет. Одежды тёплой нет. Дров нет. Огня нет. Как выживешь? Мёртвая она уже. Сколько дней прошло. А там, наверху, в горах, буран, ветер, мороз...

— Не тебе решать! Ты присягу давал? Родине служить обещал? Мирных граждан оберегать и из беды выручать? — следователь поднялся. — Вопросов больше не имею! И моли бога, чтобы она выжила, иначе её гибель будет на твоей... — он не договорил, махнул рукой, шагнул за порог, громко хлопнув дверью.

* * *

На местном аэродроме готовилась к походу экспедиция, целью которой, согласно шифротелеграмме № 694, был поиск разбившегося СТ15 и доставка в город его двигателей. Узнав об этом, Вахов сообщил примерные координаты места падения самолёта. В состав поисковой команды включили и лейтенанта Абдуллоева, мужа Аннушки.

Стартовали на следующий день с рассветом.

* * *

— Мужики, стой! Гляди, что я нашёл, — Сухроб спрыгнул с коня и склонился над лежащим телом, — на зинда нафар[1].

С трудом вырыли в замёрзшей, каменистой земле небольшую могилу и, прежде чем опустить туда тело, обыскали карманы.

— «Антон Иванович Княжич. Сталинабадский авиаотряд», — прочёл лейтенант и сделал пометку на карте, отмечая место последнего упокоения. — Война закончится, придём сюда и перезахороним как героя. А сейчас спешить надо, солнце скоро за горы уйдёт. В темноте что искать будем?

Прошло еще двое суток

Экспедиция, наконец, вышла на указанную точку. И все, как по команде, застыли на месте. На крыле самолёта сидела живая, но изможденная и исхудавшая до неузнаваемости Аннушка.

— Сухроб, а ты ведь женился, не дождался меня, — еле слышно произнесла она и упала на камни, потеряв сознание.

— От... от... откуда она знает? А же фикр мекардам, ки ҳама мурдаанд[2]... И она тоже... Самолёт ведь не долетел, пропал... Родители твердили, возьми замуж сиротку, вдвоём жить легче... Как же теперь быть? Выходит, я закон нарушил?!

— Не об этом сейчас надо думать, — прервал его бормотание командир отряда, — женщину срочно вниз, в больницу, всем остальным приступить к немедленному демонтажу двигателей. Их на фронте ждут.

1962 год. Душанбе

Главный врач столичной больницы Анна Никифоровна Абдуллоева открыла окно в своём кабинете и посмотрела на окружающие город вершины гор. Она вспоминала не ужасные дни, проведённые в этих местах, а целый год «принудительного» лечения в специальном госпитале, определивший её дальнейшую судьбу. Теперь она ведущий специалист по горным болезням. И ещё... но об этом лучше помалкивать или вообще никогда не вспоминать.

В качестве компенсации за те страшные дни всевышний наделил её особым дар...

Додумать до конца эту мысль она не успела, потому как заныла нога в том месте, где раньше были пальцы, а потом зазвонил телефон правительственной связи:

— Анна ханум, — раздался в трубке бас одного из руководителей республики, — не могли бы вы приехать ко мне.

— Насколько я знаю, медицинский НИИ, в котором я работаю, не подчинён вашему ведомству, — возразила женщина, догадываясь о цели предстоящего визита.

— Аз ин пас![3] Не хотите — не надо! Тогда я изложу свою просьбу по телефону прямо сейчас. Дело в том, что мой сын, офицер советской армии, сейчас в спецкомандировке на Кубе. Вы про Карибский кризис слышали? С ним ничего плохого не случится? Дайте отцу ответ. Не томите, пожалуйста.

— Вы меня ставите в неловкое положение. Вдруг нас подслушивают. Я вообще-то кандидат медицинских наук, а не цыганка-гадалка, — чуть слышно молвила Абдуллоева.

— О чём вы? Кто в этой республике меня посмеет подслушивать? Приезжайте, пожалуйста. Очень прошу. Машину за вами я уже выслал. Да, кстати, можете поздравить вашего бывшего супруга с повышением. Приказ о присвоении ему очередного звания я уже видел.

---

[1] Одежда, как у летчика *(тадж.)*
[2] Думал, что все погибли *(тадж.)*
[3] Это так! *(тадж.)*

Алексей ФУНТ

НИТКИ ПОПЕЛИЦ

В небе копну месяц-секач рылом копает. Буря осенняя. По загривку пробегают струи ветра. Меня ветерок шинелью своей касается. Это там над болотиной в зарослях козьей ивы буруны и буран. Летят соломенные былки. Буровит землю осень-вепрь. Так свежо, что пей, как ключевую воду, ненастье. Мелом месяца вымазана туча-вол.

Носил тюки, а теперь сижу на одном из них. Перед двором целая гора тюков прямоугольной формы, уложенных друг на друга. Каждый тюк имеет вес от 20 до 40 килограммов. Пахнет тюковое сено полями, а кошка обнюхивает их, чует полевую мышь. Я ношу тюки по одному, затаскиваю во двор, а затем в сарай. Двор погружен в тёмные сумерки.

Горит тускло фонарь на фронтоне. Где-то за деревней в темноте чернеет чернью чёрной гороховище. Поникло. Опочивальня князя там была, быть может. Ныне холодный ветер, солома. Олений крик, гон. Клыга из туч иногда прольётся. Умолкнет ветер и заново застонет.

Я уже перенёс половину этой горы тюкового сена. Моя тропа покрыта мякиной. Под навесом пучки лекарственных трав вянут подвязанные. А за забором во мгле тьмы родниковый край затерян под жёлтой листвой. Смотрит всё печально. Микула Селянинович в этих полях, в чёрных венах чернозёма. Смотришь на пахоту и веришь, там он. И былины русские вспомнишь. Глудки руками поднимаешь, из них тепло исходит, русское прошлое былинное.

За камышами лобзанье глины. Бывало, коршун взвился вверх, а я там стою под иссиня-чёрными тучами-прессами, под крицей туч. Редколесье на белёсые родники накинуло тулупы из прелой листвы.

Не заметил я, как почти все тюки оказались в тёмном сарае. Остался десяток. Я сел на это прессованное сено. Тюки увязаны туго. Кошки принюхиваются и ищут в соломе мышей.

Смотрю в сторону погоста. Там что-то чёрное движется. Ба! да это же дикие кабаны, плетутся куда-то. За сельской окраиной глухой овраг с дубками на склонах. Жёлуди в ручье под ними.

Хочется посмотреть на них поближе. Сижу на тюке и размышляю о них и идти ли... Они удаляются, уходят в глухой ров. Прошли мимо места, где когда-то стоял чей-то дом. То пепелище, заглохло и забыто. Кабаны — как души чьи-то, к желудям торопятся. Ветер — как пепел то ли горячий, то ли холодный на горячую шею падает и становится горячим.

Сижу на тюке, грущу, словно товарищ осени этой я. Фурта из жёлтых листьев забивает глазницы рощ сырцом, кружит кого-то над пустыми дорогами. Тумана игра, конские головы, бег коней, вождь степной, стремена — он нагар, тлен эпох и тмин он.

И вот тюки все уже в сарае, решаю пройтись вслед за тем стадом диких свиней. Пока иду, вспоминаю гнедую или белую лошадь. Когда мне было мало лет, меня посадили на лошадь. Без седла, без упряжи, я вцепился в гриву, она несёт меня, переходит на бег, а я — словно гунн, думаю, что я гунн. Отдаюсь ветру, где-то в земле тиара из драгметаллов, а в ней червь сидит. А я купаюсь в ветре.

— Держись крепче, — мне вслед кричат.

— Давай останавливайся, упадёшь же, — говорят далеко позади.

Вокруг бесконечная равнина, где-то хутор стоял, а ныне пустырь, где-то вижу камни под мхом, вольные травы вижу, а вон там где-то Подтёлков стоял до последнего за советскую власть. Смотрю так вокруг себя. Нагайка в руке, руины старого коровника, овцы, овечий пот, и лошадь меня несёт вперёд. То было ростовское детство.

Эта осенняя погода напомнила мне ту лошадь, так же гривой-ветром трясёт и несётся куда-то.

Мелькнул огонёк над курганом, как окалина под молотом кузнеца, и потух.

Справа за болотом когда-то кузница стояла, а сейчас коростель там плачет. Камни от кузни потонули в болотном дёгте. А в глее азиатские очи у руды, а бугры за ивами как груди. В одном из них русский рыцарь казак Палывода лежит. Фляга алюминиевая над родником сплющенная лежит. Рессора торчит. Выпи крик. А рессора от кареты екатерининских времён. Не от кареты ли самой императрицы? По большаку поблизости она проезжать когда-то могла. Осень в полусне унесла ту карету. Осенняя дымка — как сновиденье.

Чахлое чёрное поле. Печаль, как чумное пятно, горит в груди. Птица падает в поле и вновь взлетает над вялой осенней ботвой. Капустный кочан серпом санскритского Ямы срезан. В бескрайние поля грустно глядит компостная куча. На грустный стог села птица Гамаюн. Из жбана сентября, октября и ноября барда льётся на поля. Ворона — кочерга, а её кар — древний перегной.

Древнерусская хроника на днах ручьёв и родников. Где-то на дне Ростислав, воспалённая кровь окислилась давно, кольчуга тлела. Из земли всё так же исходит дух силы, до ностальгической боли прошлое руку тянет и колет в душе, и не забыть истории родной. И Ослябя пред глазами. Земля-история в нас.

Тучи табуном под Мясоедово побежали. А имя Андури так же звучало в древних ямах шаманских здесь. Чары деет непогода. Кто-то в холоде свою Мэри помянул когда-то давно у камина, в такую колючую сырость, в такие дни-гамлеты, и за неё пил.

Не потупит глаза свои Россия никогда. Гзак-загребаст в её почве растворился, в котле бытия, в тигеле расплавила она аркебузы ятвягов и тевтонскую броню. Закалена веками. Окислы и чары прошлого. Пшеница прошлого в чарах, пиры дружины Мономаха... в её почве-чреве... её история манит.

Глина — становья, глина — жеребцы из конюшни Аттилы. Степные цветы горят в глине. В глине кар звучит, в нём древней старухи слова к гуннскому вождю: «Аттила, топчи их рай». Древний монолог застыл в почве.

А Россия — вечный пахарь. Любить её земледельческому культу приверженность и с нею грустить душа желает.

Вот я уже над глухим яром, а диких свиней не видно, ушли они. Почуяли человека. Ни души вокруг, ночная тишь, кориандровая ночь. Вздыхает сыч на старом пепелище. Мимо него снова мне идти назад до камина или очага лачужного. «Сожжённое письмо» Пушкина читать.

Ночь, как болотная курочка, просит махан копчёный у ветров, у попелиц. Пахнет гарью из громобоя, полого ствола ракиты. Что там за пологом, заглянуть болотная курочка норовит, что там в конце веков, хочет узнать, в камышах копается. Всё хрупко, как нитки попелиц.

Осень — как дым кизяка. Осень — ханша. Я иду до калитки, а над головой кое-где звёзды появились сквозь громады туч. Как дирхемы, рассыпаны звёзды. Фонарь потух. Упал с вяза лист, двуручной пилой ветер прогудит порой. Декабрь угрюмый пройдёт, снова жёлтый свет лета придёт. Сезоны кружат нас, как птицы. Всё повторяется, всё вечно. Яркий и жёлтый месяц изок, и цикады вновь погрузят в море света.

Борис МИЛОВЗОРОВ

УБИК ДИКА

Вечером второго марта 1982 года Крис Мур перебирал гитарные струны, посматривая на нотный лист. Новый блюз был сложным, но красивым, приятели в пабе будут в восторге, вот только один из аккордов давался с трудом. Крис терпеливо и невозмутимо повторял его, иногда прикладываясь к виски в бокале.

Телефон навязчиво и инородно затренькал на столике, Мур поморщился: в кои веки остался в большом доме один, жена с детьми поехала к родителям погостить. Он выждал, гипнотизируя аппарат, но тот не замолкал, пришлось отложить гитару в сторону.

— Да!

— Крис, я хочу с вами поговорить, — голос в трубке звучал нахально и чуть насмешливо, будто не сомневался в своём праве вмешиваться в чужую жизнь, Мур даже опешил слегка.

— Кто вы?! — после паузы подобрал он, наконец, вопрос.

— Филип Дик, писатель.

Мур любил фантастику, поэтому слышал об этом американском фантасте, но чтобы он вдруг ему позвонил?!

— Тот самый?

— Я тут недалеко от вашего поместья, позвольте зайти?

— Зайти?! — Мур недоуменно посмотрел на трубку, в их чопорной Англии визиты незнакомца домой? Это было неслыханно!

— У меня мало времени, Крис.

— Хорошо, приходите.

Мур поднялся и озадаченно потёр залысину на голове, он так и не понял, как мог согласиться на визит самозванца, а кому же ещё мог принадлежать этот голос? Додумать он не успел, дверной звонок цинично и громогласно объявил о состоявшемся вторжении. «Ладно, пойду гляну», — решил хозяин дома, вспоминая, в каком углу прихожей стоит его бита.

На пороге стоял коренастый бородатый мужчина в широкополой шляпе и мокром светлом плаще, хотя дождя на улице не было. Незнакомец зубасто улыбнулся и приподнял шляпу.

— Это я звонил.

Мур сразу вспомнил, что несколько лет назад видел фотографию этого человека в журнале, ему была присвоена премия Британской Ассоциации научной фантастики, и это, несомненно, был Филип Дик собственной персоной.

— Узнали?

— Да, — Мур посторонился и незаметно сунул биту за дверь. — Проходите.

Дик оглядел тёмно-полированную гостиную, заполненную фотографиями жены, детей, собак хозяина дома, заметил бутылку с рыцарем на этикетке и одобрительно кивнул.

— Виски? — предложил Крис.

— Буду признателен.

— Лёд, скотч?

— Как у вас, просто алкоголь.

Мур подал бокал нежданному гостю и сел напротив, Дик с удовольствием понюхал напиток, сделал глоток.

— Великолепно!

— Простите...

— Можно просто Фил.

— Ваш визит такой неожиданный.

— Да, действительно, — Дик сделал ещё глоток. — Я объясню. Видите ли, Крис,

ваши иллюстрации мне очень нравятся.

— Спасибо.

— Мой издатель хочет переиздать сразу четыре моих романа, я хочу, чтобы вы их иллюстрировали.

— Фил, для меня это будет честью, но вы знаете правила...

— Поверьте, Крис, условия будут хорошими.

— Что ж, с удовольствием поработаю с вашими книгами.

— Вам их скоро доставят, — кивнул Дик, — а раз уж я здесь, хочу лично высказать свои пожелания.

— Фил, я внимательно слушаю.

— Нарисуйте так, чтобы мои книги стали заметны!

— Собственно, в этом и состоит моя задача, я приложу...

— Крис! — перебил его Дик. — Вы мастер кисти, но этого мало, вы должны выразить суть романа. Можно я расскажу о своем подходе?

— Да, конечно, — Крису стало скучно: очередной автор пытается учить его работе с материалом. Зря он ему виски налил. Между тем, Дик возбуждённо вскочил.

— Крис, не вздумайте считать меня занудой, лучше послушайте. Я пишу не просто фантастику, я создаю миры! К великой моей скорби, после окончания романов мои герои живут в этих мирах без меня, поэтому моя мечта — встретиться с ними вновь!

— Но при чём тут я, простой художник?

— С моими романами вы сможете стать волшебником! Понимаете, — Дик размахивал руками, глаза его горели, — наша вселенная — это малая часть миров, окружающих нас, — писатель перехватил настороженный взгляд художника. — Вы думаете, я не в себе?

— Нет, что вы, — засмущался Крис.

— Думаете, друг мой, — усмехнулся Дик и многозначительно поворошил свою бороду, — но знаете ли вы, что есть вменяемость? Выдающиеся психологи не могут окончательно определиться с этим, а вопрос лишь в фазах восприятия и медикаментозном состоянии... — увидев округлившиеся глаза Мура, Филип Дик махнул рукой, сел и приложился к бокалу с виски. — Неважно, Крис, слушайте дальше. Хотите вы или не хотите, но наш мир окружён виртуальными мирами, для каждого из которых мы тоже виртуальны. Я написал кучу романов, пытаясь описать их... Знаете, Крис, я иногда задаю себе вопрос, зачем я пишу? Ведь писателям-фантастам так мало платят! — Дик опять вскочил и заходил по гостиной. — За средний роман дают от полутора до двух тысяч долларов, и, поскольку писатель способен создать два романа в год, то, продав их, он сможет получить от трех до четырех тысяч. Разве можно прожить на такие деньги? За шедевры платят значительно дороже, но издатель не признается, что ты написал шедевр! Зачем же это нам, писателям, спрошу я вас? И отвечу: акт создания романа и есть жизнь! Когда я это делаю, в тот самый момент я живу в том мире, о котором пишу. Он реален для меня, абсолютно и совершенно. Потом, когда я заканчиваю, я останавливаюсь и покидаю новый мир навсегда, мои герои больше не говорят со мной, и я возвращаюсь сюда, — Дик красноречиво повёл вокруг руками. — Как бы я ни любил своих жен и детей, этого мало, — он пожевал губами, словно пробуя слово на вкус: — Недостаточно, — он повернулся к художнику и красноречиво двинул по столу в его сторону опустевший бокал. — Этот вакуум ужасен, — продолжил он, усевшись с новой порцией виски в кресло. — Каждый раз я обещаю себе больше никогда не писать романов, не выдумывать людей, расставание с которыми причиняет мне так много боли. Я говорю это себе... и исподволь, осторожно, начинаю писать еще один роман, — Дик отпил из бокала и широко улыбнулся. — Друг мой, запомните это и не пишите романы на продажу, лучше продавайте шнурки для ботинок.

— Так я не пишу, я рисую, — негромко отозвался Мур.

— Да, конечно! — совершенно некстати объявил Дик, хлопнув свободной рукой по подлокотнику. — Я утомил вас, а ведь хотел сказать лишь несколько слов. Вы симпатичны мне, Крис, поэтому хочу поделиться сокровенным: мечтаю увидеть своих героев в кино.

— Вы столь известны, Фил, что, наверное, какой-нибудь продюсер...

— Вы правы, первый фильм «Бегущий по лезвию» скоро выйдет на экраны. Это так интригует, завораживает! Я хочу продолжения! Крис, нарисуйте иллюстрации так, чтобы, едва взглянув на них, сразу представлялся фильм! Справитесь?

— Фил, вы ставите передо мной сложную задачу!

— Дорога к волшебству, коллега, ухабиста, но я вам помогу. Среди отобранных романов непременно будет «Убик».

— «Убик»? А что это?

— Долго объяснять, — Дик взглянул на настенные часы, — а времени всё меньше. Проклятый мой язык уводит меня в дебри философии... Я скажу коротко, Убик — это

квинтэссенция сверхразумного вмешательства.

— Бога?

— Не совсем, хотя и не исключая... Я это называю ВАЛИС — Обширная Система Активного Жизненного Интеллекта (Vast Active Living Intelligence System: VALIS). Мой последний роман, он об этом подробно... правда, не вполне... — Дик вздохнул и грустно посмотрел на Мура. — У вас есть незаконченные работы?

— Конечно, у каждого художника есть наброски, замыслы на будущее.

— Покажите.

Это был не вопрос, требование, но почему-то оно не задело Криса, он взял с последней полки папку с набросками и положил на стол. Дик с интересом принялся перебирать рисунки, сопровождая просмотр одобрительными восклицаниями. Над одним из рисунков он застыл. На нём в песочных тонах был прорисован пейзаж некой планеты со странными курганами, из которых вдоль желтоватого неба курился дым, и на этом фоне было нарисовано лицо необычной девушки с решительным взглядом и медной кожей. Она не была красавицей, но в то же время излучала красоту.

— Это она! — прошептал Дик.

— Кто? — не удержался Мур.

— Пэт Конли из Убика. Именно так я её и представлял, разве что глаза покрупнее, но эти тоже хороши! Вот, Крис, это готовая обложка для моего романа Убик.

— Фил, а где происходит действие романа?

— На Земле и немного на Луне, — ответил Дик, продолжая любоваться девушкой.

— Но тогда этот пейзаж не подходит!

— Ерунда, — отрезал Дик, — подрисуйте космический корабль, и будет супер!

— Но...

— Да, и ещё пририсуйте где-нибудь цистерну с нитрогеном.

— С чем?

— С азотом, если говорить проще, — Дик смерил художника взглядом, прикидывая глубину его интеллекта. — В моём романе жидкий азот используется для быстрой заморозки.

— Заморозки чего? — переспросил Мур.

— Трупов, — невозмутимо пояснил писатель, — полуживых трупов.

Дик вновь бросил взгляд на часы и встал.

— Вы на машине? — спросил Мур.

— Можно сказать и так, — кивнул Дик. — Прощайте, Крис, рад был посетить вас.

— Взаимно, Фил.

— Крис, не провожайте меня, я и так отнял у вас кучу времени.

Хозяин дома проводил взглядом спину писателя и почувствовал, что устал. Хлопнула входная дверь, он вновь остался один.

Мур проснулся от солнечного лучика, пробившегося в щель между портьерами, и поднял тяжёлую голову. Он сел на диване, на котором спал одетый, и увидел на столе бокал и полупустую бутылку виски. Художник ожидал увидеть ещё папку с рисунками и второй бокал, но их не было. «Что за чёрт?» — подумал он недоумённо, и в этот момент зазвонил телефон.

— Да, — хрипло отозвался Мур.

— Привет, Крис! — в трубке раздался жизнерадостный голос вечного оптимиста Дома Роди. — Ты что, ещё спишь?!

— Хочу и сплю, — буркнул Мур, удивлённо смотря на часы: почти час дня. — Ого! — вырвалось у него.

— Ещё какое «ого»! Крис, я тебя под шикарный заказ сосватал!

— Выкладывай, — заинтересовался Мур.

— Оформление сразу четырёх фантастических романов!

— Филипа Дика?

— А ты откуда знаешь?

— Так он у меня вчера вечером был, мы с ним иллюстрации обсуждали, — в трубке повисла пауза, связь не прервалась, Крис ясно слышал дыхание Роди. — Дом! — позвал он старого друга.

— Крис, я тебя правильно понял: к тебе вчера вечером заходил Дик?!

— А что такого? Немного экстравагантно, но...

— Крис, Филип Дик вчера утром умер.

— Кхм! — поперхнулся Мур.

— Думаю, он тебе приснился? — с надеждой в голосе спросил Роди.

— Конечно, Дом, это был сон, — подхватил подсказку Мур.

— Приезжай, — облегчённо выдохнул Роди, — договор уже у меня.

Художник осторожно вернул трубку на рычаги телефона и подошёл к шкафу со

своими работами. С верхней полки он снял широкую папку, опрокинув на себя сноп пыли. Прочихавшись, Крис принялся перебирать свои полузабытые работы. Вот на него взглянула меднокожая красавица с волевыми тёмными глазами. Он осторожно перевернул рисунок, на обороте карандашом было написано: «Убик». Мур нашёл карандаш и написал рядом это же слово. Впрочем, и без этого было ясно, это чужой почерк, и, кажется, он знал чей.

Постскриптум от редакции

Два главных героя рассказа «Убик Дика» – реальные лица. С одним из них может связаться любой посетитель вот этой страницы в интернете:

http://www.chrismooreillustration.co.uk/contact/

Автор рассказа написал герою своего рассказа следующее письмо (перевод с английского):

«Дорогой Кристофер! Меня зовут Борис Миловзоров. Я живу в России, в городе Москва. Мне нравится работа Филипа К. Дика. Я восхищаюсь вашими иллюстрациями. Написал рассказ на эту тему. Надеюсь, перевод этой истории позволит вам ее прочитать. Буду рад, если вы напишете свое мнение. С уважением, Борис».

Представьте себе, каково было удивление автора рассказа, когда он получил от героя своего рассказа следующий ответ (перевод с английского):

«Дорогой Борис, спасибо за ваше сообщение и рассказ.

Я думаю, что это потрясающе.

Мне очень польстило то, что я стал частью вашей истории и удостоился внимания наравне с Филипом Диком. Всегда являлось привилегией быть ассоциированным с одним из ведущих писателей в области научной фантастики всех времен. Прочтя вашу историю, я захотел, чтобы это было так, но, к сожалению, этого не было. Я никогда не встречался с Филипом Диком, только по заказу издателя готовил обложки для его книг. Главным человеком, кто отвечал за это, был человек по имени Малькольм Эдвардс, кто работал редактором в издательстве «Харпер Коллинз» в 1980-х годах. Он выбрал меня почти в исключительном порядке, когда он был в «Харперс», а затем в издательстве «Орион», и всякий раз, когда переиздавали романы Дика, я получал комиссию. Малькольм теперь далеко в стороне от размышлений над дизайном обложки, так как находится в высших слоях издательского дела: неплохо для того, кто начинал как мальчик-разносчик чая и фанат SF!

Человеком, кто в первую очередь несет ответственность за то, что я стал заниматься SF, был Питер Беннет, арт-директор Магнум Пэйпербакс. На многие годы он стал моим другом, и теперь он давно уже на пенсии.

Я занимался обложками к сочинениям Дика, начиная с середины 1970-х годов, но, на самом деле, редко когда имел время для их прочтения, поэтому многие из обложек в значительной степени созданы без знания содержания книги. Я читал резюме или выдержки из ранее опубликованной книги. Иногда дискутировал с автором или редактором, чтобы получить представление об изложенном в книге материале, и над некоторыми обложками приходилось хорошенько подумать, чтобы они передавали суть книги. Если это детективный жанр, или рядовой роман, или то, что они часто называют техно-триллерами, то обложка требует немного размышлений, но с SF можно отпустить на свободу ваше воображение.

Мне повезло в жизни: я ходил в правильные колледжи, я находился в нужном месте в нужное время на протяжении всей моей карьеры, я женат на замечательной женщине и имею четырех прекрасных детей, и в возрасте 70 лет я всё ещё в хорошем состоянии, и я еще работаю, так что слава Богу.

Спасибо за ваш рассказ. Я поделился им с несколькими друзьями, чьё мнение я ценю, и надеюсь, что вы не возразите, если я возьму его на моё следующее SF-заседание, которое состоится в следующие выходные в Харрогейте, Йоркшир, чтобы поделиться им с моими друзьями, являющимися большими фанатами Филипа Дика. Мы нашли его (рассказ) очень очаровательным и занятным.*

С наилучшими пожеланиями, Крис Мур».

---

* SF-заседание – Science fiction conventions – собрание, заседание или съезд людей, причастных к жанру научной фантастики.

Владимир ВАСИЛИНЕНКО

САМОРОДОК

Документальная драма

Действующие лица:

Сергей Есенин — поэт
Александр Никитич Есенин — отец поэта
Татьяна Фёдоровна Есенина — мать поэта
Анна Изряднова — гражданская жена поэта
Иван Дмитриевич Сытин — книгоиздатель
Николай Сытин — сын книгоиздателя
Зинаида Райх — гражданская жена поэта
Сергей Городецкий — поэт, друг Есенина
Екатерина Есенина — сестра поэта
Айседора Дункан — танцовщица, гражданская жена поэта
Софья Толстая — последняя жена поэта
Военврач призывного пункта, работники типографии, поэты...

Действие I. ПОМОЩНИК КОРРЕКТОРА

Сцена 1

Москва. 1913 год. Улица Пятницкая, издательство Сытина.
Перед входом в издательство, в накинутом пальто, стоит Николай Сытин.
Из двери выходит его отец, в пальто и шляпе.

С ы т и н. А ты чего тут торчишь? На весну любуешься, что ли? В типографии всё идёт, как по маслу, надеюсь?

Н и к о л а й. Не волнуйся, папа, дело движется как надо... Я просто жду одного человечка, вернее, того парня, о котором говорил тебе давеча.

С ы т и н. Этого молодого стихотворца? Я даже и не слыхал о нём.

Н и к о л а й. Ну, да. Рязанского поэта Есенина.

С ы т и н. Он хочет у нас издаваться, что ли?

Н и к о л а й. Нет, папа. Он ищет работу.

С ы т и н *(усмехаясь)*. Сынок, у нас в штате нет поэтов! И, думаю, появятся нескоро. Не до того нынче!

Н и к о л а й *(озабоченно)*. Он ищет любую работу, папенька! В Москве ведь без заработка не прожить. А он уже полгода живёт без копейки... *(С надеждой смотрит на отца).* Надеюсь, ты ему не откажешь?

С ы т и н *(после раздумья)*. Ну, ладно... Возьмём чернорабочим, в экспедиции всегда нужны грузчики. Парень, надеюсь, крепкий? Силёнок у него хватит?

Н и к о л а й *(уверенно)*. Как не хватить? Деревенская, чай, закваска...

С ы т и н *(с удивлением)*. Как деревенская? Ты же говорил, что он из Рязани?

Н и к о л а й *(оправдываясь)*. Не из самой Рязани, он родился в большом селе Константинове... А вот и он! *(Машет рукой).*

Появляется Есенин, в лёгком, распахнутом пальто, в галстуке и шляпе.
Сытин озадаченно качает головой. Есенин подходит, раскланивается.

Е с е н и н. Добрый день, господа! Погода стоит отличная, вёдро прямо...

Н и к о л а й. Познакомься, папенька: рязанский поэт Сергей Александрович Есенин.

С ы т и н *(протягивает руку)*. Московский издатель Иван Дмитриевич Сытин.

Е с е н и н *(пожимает руку)*. Очень рад знакомству. Вся Россия знает о вас! А книги вашего издательства доходят в самые далёкие, глухие уголки отечества, по себе знаю.

С ы т и н *(удовлетворённо кивает)*. Благодарю вас, молодой человек! *(Пауза)*. Прошу покорнейше извинить меня — вы где-то учитесь или уже закончили курс?

Е с е н и н *(скромно)*. Я закончил церковно-учительскую школу в селе Спас-Клепики.

С ы т и н. А где печатались? Ведь вы — поэт...

Е с е н и н. Пока нигде. Ни строчки. Но написал много, даже целые поэмы...

С ы т и н *(подумав, сыну)*. Коля, отведи господина Есенина в корректорскую, к Аннушке Изрядновой. Ей давно требовался помощник.

Н и к о л а й *(охотно)*. Хорошо, папенька. *(Есенину)*. Пойдёмте, Сергей.

Они расходятся. Издательство. Комната корректора. За столом с кипой бумаг сидит молодая женщина, в белой блузке и тёмной юбке. Читает корректуру, сверяется с рукописным текстом, что-то тут же правит, макая в чернильницу перо, вздыхает и качает головой. Входят Н. Сытин и Есенин, оба без пальто.

Н и к о л а й. Добрый день, Анна Романовна!

А н н а *(поднимает голову)*. Здравствуйте, Николай Иванович!

Н и к о л а й. Позвольте представить вам нашего нового сотрудника. *(Показывает на спутника).* Есенин Сергей Александрович.

А н н а *(с улыбкой)*. Очень приятно, Сергей Александрович!

Е с е н и н *(улыбается в ответ)*. Мне тоже очень приятно, Анна Романовна!

Н и к о л а й. Вы жаловались, что вам не хватает помощника. *(Кивает на спутника).* Вот вам в помощь молодой поэт!

А н н а *(пожимает плечами)*. Простите, Николай Иваныч, но поэт — это слишком! Мне нужен просто «подчитчик». Я одна не успеваю.

Н и к о л а й. Сергей Александрович, вы умеете читать вслух?

Е с е н и н *(недоумённо)*. Читать вслух? Что за вопрос? Ну, конечно, могу.

Н и к о л а й. Вот и отлично! *(Анне).* Тогда введите его в курс дела, дорогая. *(Кивает обоим)*. Всё будет хорошо, я уверен. Желаю успеха! *(Выходит)*.

А н н а. Садитесь поближе, Сергей Александрович.

Он берёт стул и подсаживается к столу.

А н н а *(кивает на кипу бумаг)*. Берите, пожалуйста, рукопись и читайте вслух.

Е с е н и н. Которую?

А н н а. Ту, что лежит сверху. Что на ней написано?

Е с е н и н *(берёт стопку бумаг, читает)*. Генрих Сенкевич. «Камо грядеши».

А н н а. Вот-вот. *(Берёт второй экземпляр)*. Читайте, пожалуйста, текст.

Е с е н и н *(собирается с духом и читает)*. Ждать пришлось недолго. Раздался пронзительный вой медных труб...

А н н а: Стоп! Погодите.

Е с е н и н *(встревожено)*. Я читаю не то? Или не так?..

А н н а *(одобрительно)*. Нет, читаете вы превосходно. Только не забывайте о знаках препинания...

Е с е н и н *(с удивлением)*. Знаки препинания? Их тоже надо читать?..

А н н а. А как же? *(Показывает на лист у себя в руках)*. Я же сверяю всё по своему экземпляру, каждый знак. Так положено.

Е с е н и н. Понял. Всё с начала?

А н н а. Ну да. А я буду сверять. *(Макает перо в чернильницу)*.

Е с е н и н *(читает)*. Ждать пришлось недолго. Точка. Раздался пронзительный вой медных труб. Точка. По этому знаку заскрипела железная решётка против ложи Цезаря, запятая, и на арену вырвался чудовищный германский тур, запятая *(голос чтеца напрягся)*, неся на голове нагое женское тело. Точка. *(Он неожиданно поперхнулся)*.

А н н а *(оторвавшись от корректуры, взглянула на поэта)*. Это роман о первых христианах, приносимых в жертву на гладиаторских играх в Риме...

Е с е н и н *(глухо)*. Знаю. Читал.

А н н а. Вы читали роман Сенкевича?..

Е с е н и н. Нет. Я читал жития великомучеников. Со многими было такое же зверство. Пророка Елисея, к примеру, бросили ко львам, но Бог его спас.

А н н а *(спустя минуту)*. А вы ведь поэт?..

Е с е н и н *(скромно)*. Да. Сочиняю.

А н н а *(деликатно)*. Может, вы что-нибудь прочтёте? Если это возможно, конечно. Я была бы рада услышать.

Е с е н и н *(собравшись с духом)*. Ну, хорошо. Слушайте... *(Он невольно встаёт и, волнуясь, произносит)*.

Ты поила коня из горстей в поводу.
Отражаясь, березы ломались в пруду.
Я смотрел из окошка на синий платок.
Кудри черные змейно трепал ветерок.

Мне хотелось в мерцании пенистых струй
С алых губ твоих с болью сорвать поцелуй.

Но с лукавой улыбкой, брызнув на меня,
Унеслася ты вскачь, удилами звеня

Услышав голос поэта, в дверь заглядывают сотрудники издательства. Всё больше и больше. Среди них Н.Сытин. Есенин проникновенно читает:

В пряже солнечных дней время выткало нить.
Мимо окон тебя понесли хоронить.
И под плач панихид, под кадильный канон
Все мне чудился тихий раскованный звон

Слушатели, к которым в последнюю минуту присоединился сам хозяин издательства И.Сытин, разражаются искренними аплодисментами. Поэт благодарно склоняет голову. Слушатели просят: «Ещё! Ещё!.. Замечательно!..» Есенин поднимает голову.

С ы т и н. Господа! Вы всё-таки не на турнире поэтов! Наборщики и печатники без дела стоят, а вы тут!.. Ну, куда это годится? *(Машет рукой).*

Слушатели расходятся. Есенин мигом присаживается к столу, берёт в руки текст. Анна макает перо...

Сцена 2

Москва. Квартира Есениных. Поздний вечер. Александр Никитич зажигает керосиновую лампу на столе, смотрит на «ходики», висящие на стене, крестится, негромко шепчет молитву. Входит Сергей, в костюме, галстуке и шляпе.

О т е ц. Ты опять чего-то припозднился! Неужто работы через край?
Е с е н и н. Да вроде нет. Всё как обычно...

Снимает шляпу, кладёт её на комод, развязывает галстук. Отец внимательно следит за ним.

О т е ц. Вот смотрю я на тебя, Серёга, — ходишь ты прямо франтом, в котелке и галстухе... Это что за работа у тебя такая? Себе бы такую найти...

Е с е н и н. Я же тебе говорил — в книжном издательстве Сытина... Книги там печатают разные. На любой вкус. Сегодня, к примеру, Максим Горький заходил, рукопись нового романа принёс.

О т е ц. Горький, говоришь? Ну, это который про босяков пишет?

Е с е н и н. Ну да. *(Усмехается).* И не только про босяков, про купцов, фабрикантов, помещиков. Он и песни пишет: о буревестнике, о соколе...

О т е ц *(уважительно).* Под гитару али под гармошку?

Е с е н и н *(не понимает).* Что под гармошку?

О т е ц. Ну, песни эти самые... Под чего их поют-то? Я чего-то не слыхал.

Е с е н и н *(сердито).* Их не поют. Читают вслух прилюдно.

О т е ц *(качает головой).* Ну, коль не поют — тогда ничего они не стоят! *(Смотрит на сына).* А ты чего там делаешь? Ты ведь тоже вроде сочиняешь...

Е с е н и н (садится возле стола). Я там читаю. Корректуру разную.

О т е ц *(услышав мудреное слово, вздыхает).* Есть, поди-ка, хочешь? *(Кивает на печь).* Там картошка с мясом, видать, уже простыла. Я тебя который час жду. Полночь, вишь, на дворе. Вот так!..

Е с е н и н. Спасибо, отец! Мы в трактире на Пятницкой поужинали.

О т е ц. Вы, говоришь? Это, должно, с новыми дружками, небось?

Е с е н и н *(сдержанно).* Нет, отец. С одной барышней. С корректоршей нашей.

О т е ц *(помолчав, щёлкает языком).* Ну, ты, Серёга, парень-хват! И тут не растерялся. Деваха-то молодая, симпатичная?

Е с е н и н. Да ничего себе. Учёная, умная, воспитанная.

О т е ц *(настойчиво).* Дворянка, поди-ка?

Е с е н и н. Может, и дворянка. Но нынче это без разницы.

О т е ц *(не отступает).* Москвичка, видать. Квартира у них али дом свой?

Е с е н и н. Батя, ты чего прицепился? Я ведь не собираюсь жениться на ней!

О т е ц. Кто знает. Парень ты молодой, девкам нравишься. Только к делу стоящему никак не прибьёшься. А уж коли в Москве очутился — надо, сынок, о будущем думать! Тебе ведь уже восемнадцать годов! *(Тычет себя в грудь).* Я вон который год в мясной лавке торчу, а жена моя с дочками, твоя мать, по сию пору в деревне мается, сопли на кулак мотает!.. Пора бы и честь знать!..

Е с е н и н *(зевает).* Давай-ка, батя, спать. Утро, говорят, вечера мудренее.

О т е ц. Тебе на работу-то к восьми?

Е с е н и н *(встаёт).* Ну да. К восьми. С утра будем с Анной новую книгу Горького в печать готовить. *(Идёт в угол комнаты).*

О т е ц. Анной её зовут?

Он тоже встаёт, сын не отвечает.
Отец тушит лампу, и комната погружается во мрак.

Сцена 3

Москва. Лето. Аллея Нескучного сада. К одинокой скамье подходят Есенин и Анна.
Он в белой рубашке, брюках, полуботинках.
Она – в светлом, легком платье, чулках и туфлях.

Е с е н и н. Давай немного присядем. Вечер уж больно тихий, ласковый...
А н н а. Ты же знаешь, Серёжа, я не могу тебе отказать.

Они садятся. Близко друг к дружке. Со стороны доносится музыка духового оркестра. Есенин чутко прислушивается и через минуту озорно напевает:

Заиграй, играй, тальяночка, малиновы меха.
Выходи встречать к околице, красотка, жениха.

Анна вначале с удивлением смотрит на него, потом охотно слушает.

Васильками сердце светится, горит в нем бирюза.
Я играю на тальяночке про синие глаза.
То не зори в струях озера свой выткали узор.
Твой платок, шитьем украшенный, мелькнул за косогор.
Заиграй, играй, тальяночка, малиновы меха.
Пусть послушает красавица прибаски жениха

А н н а *(спустя минуту)*. Ты знаешь, Серёжа, мне очень понравилось! Какой же ты молодец! *(Пожимает ему руку)*. Тальянка — это что? Гармонь такая?

Е с е н и н *(довольно улыбаясь)*. Ну конечно! И вся ладная такая, небольшая, звонкая, а меха горят, как жар! *(Лихим жестом накидывает себе на плечо воображаемый ремень и широко растягивает меха)*.

А н н а. И ты на ней играешь? Вот не знала!

Е с е н и н. Ещё как! И на тальянке, и на ливенке. Жуть!

А н н а. А прибаски — это что?

Е с е н и н. Да как тебе сказать? Разные прибаутки, частушки, шутки — одним словом. *(Смеётся)*. Вот послушай. *(Задорно напевает)*. Моя милка, как бутылка, а я сам, как пузырёк... *(И вдруг умолкает)*. Дальше не буду, это неприлично. Чистая похабщина там...

А н н а *(соглашается)*. И не надо. Деревенская жизнь — вещь довольно грубая, я об этом знаю... *(Смотрит на него)*. Но судя по тебе — этого не скажешь! Ты — человек очень тонкий и нежный. Удивительно даже...

Оба на некоторое время замолкают. Потом сплетаются руками, и Сергей умело привлекает к себе девушку. Обнимает и жарко целует её. Она не противится.

Сцена 4

Вечер. Квартира Есениных. Обильно накрытый большой стол, одетый скатертью, за ним – нарядные гости. В центре – Есенин и Анна. По всему видно, что это новобрачные, хотя на невесте нет подвенечного платья и фаты.

О т е ц *(сидящий справа от жениха, встаёт, держа в руке бокал)*. Кхм-кхм... Вот Писание говорит: жёны, повинуйтесь своим мужьям, как самому Господу, ибо муж есть глава жены... *(Обращается к сыну)*. Мужья, возлюбите своих жён, как Христос возлюбил церковь...

Е с е н и н *(иронично подхватывает)*. А мужья должны любить своих жён, как свою плоть! Любящий свою жену любит самого себя... (Кивает на невесту). Мы же не в храме, папаша! Скажи чего-нибудь попроще, если можешь.

О т е ц *(смущённо кряхтит)*. Ну, чего тут скажешь? Я даже не знаю... Совет вам, как говорится, да любовь! А что ещё?.. *(Поднимает бокал)*.

Гости хором: «Горь-ко!..» Новобрачные встают и сливаются в поцелуе.
Гости: «Горь-ко! Горь-ко!..» Есенин и Анна подчиняются.
Отец сокрушённо качает головой и садится. Садятся и новобрачные.

О д и н и з г о с т е й *(после короткой паузы встаёт с бокалом в руке)*. Дорогие новобрачные! Дорогие гости! Мы, труженики издательства Сытина, искренне рады тому, что в нашем дружном коллективе происходит это славное событие! Корректор Анна Изряднова выходит замуж за... *(Чуть запинается)*. За поэта Сергея Есенина! И этот тост я поднимаю за здоровье молодых! За их счастливое будущее! Мир их дому!

Гости хором: «За здоровье новобрачных! Горько!.. Горь-ко!..»
Жених и невеста целуются сидя. Все дружно пьют.

Другой гость *(встаёт)*. Хочу заметить, господа, что это — не рядовое событие! *(Показывает на жениха)*. Сергей пришёл к нам, как говорится, безусым юнцом и на наших глазах стал оперяться! Да ещё как! *(Оглядывает пирующих)*. И очень жаль, что я не вижу здесь никого из Сытиных...

Есенин. Ну, как же? Николай обещал быть.

Гость *(машет рукой)*. Да ладно. Обойдёмся без них. *(Молодым)*. Ваше здоровье и счастье, дорогие! Ура!

Гости: «Ура! Горько!..» Молодые целуются. Кто-то из пирующих берёт в руки гармонь, бегло трогает пуговки ладов. Гости встают из-за стола, девушки оправляют платья. Жених и невеста тоже поднимаются. Вдруг появляется Н.Сытин. Голоса: «Николай Иваныч! Наконец-то! Как же без вас? Вы молодцом!..»

Есенин. Скорей штрафную опоздавшему! Да пополней!

Отец жениха протягивает виновнику внушительный бокал.

Николай *(кивает Есенину)*. За счастье новобрачных! *(Залпом пьёт и тут же восклицает)*. Вы уж меня простите! Ну и дела! Век бы горя не видать!.. *(Садится, качая головой)*. Ох, беда-беда какая на наши головы свалилась...

Кто-то из гостей. У кого эта беда? Извозчики, что ли, опять забастовали?

Николай *(траурно)*. Эрцгерцога Фердинанда убили в Сараево! Жуть!..

Отец жениха. Где убили? В сарае? Дрова он там, колол, что ли?

Собравшиеся непонимающе переглядываются. Кое-кто мрачнеет.

Николай *(сердито)*. Простите, но тут не до шуток, папаша! Это на Балканах, в Сербии, в городе Сараево. *(Переводит дух)*. Наш государь уже объявил войну Австрии и Германии. Объявлена срочная мобилизация...

По комнате ползёт шепоток. Есенин и Анна озабочено переглядываются.

Отец *(машет рукой)*. А наше дело маленькое! Не царское, мол... *(Улыбается испуганным гостям)*. Свадьбы-то играть, чай, не запрещено? *(Гармонисту)*. А ну-ка, парень, жарь кадриль! Повесели кумпанию...

Есенин *(с улыбкой)*. Верно, папаша! Золотые слова!..

Берёт за руку невесту, выходит на середину.
Собравшиеся радостно шумят. Гармонист растягивает меха.

Сцена 5

Месяц спустя. Утро. Квартира Есениных.
В спальне на широкой кровати лежит Сергей.

Анна *(уже одетая, заглядывает в комнату, подходит и тормошит мужа)*. Серёжа, вставай! Пора. Я уже кофе сварила и бутерброды приготовила.

Есенин *(откидывает одеяло, зевает)*. Пора, говоришь? Времени-то сколько?

Анна. Половина седьмого. Пока умоешься, позавтракаешь, только-только к звонку успеем. *(Есенин лежит молча)*. Ты чего, милый? Может, тебе нездоровится? А у меня работы — воз целый, я без тебя не справлюсь! Поднимайся, дорогой. Пора...

Есенин *(ворчит)*. Работа эта чёртова! *(Кривится)*. Мне всю ночь эти строчки снились... *(Повторяет речитативом)*. «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утёсах...» Многоточие. «Только гордый буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!» Восклицательный знак...

Анна *(с улыбкой)*. Ну, что поделаешь? Такова наша с тобой, милый, судьба — над чужими строчками корпеть! Я думаю — не так уж это плохо.

Есенин *(почти зло)*. А мне это до чёртиков надоело! Лучше бы я торчал в родном доме, в своём селе Константинове! *(Привстаёт на постели)*. Когда я, дурак деревенский, в Москву рвался, то думал — наконец-таки напечатаюсь! Хоть в журнале, хоть в газете... *(Смотрит на жену)*. Ну, что? Напечатался?!..

Анна *(робко)*. А в журнале «Мирок»? Там поместили твоё стихотворение. *(Читает)*. «Белая берёза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром»... *(Со вздохом)*. По-моему, очень тонко и красочно!

Есенин *(ядовито)*. «А заря, запятая, лениво обходя кругом, запятая, обсыпает ветки новым серебром». Точка. Вот тебе и вся идиллия! А сколько я сочинил за это время! И куда только не стучался — и всё без толку! Как об стену лбом...

Воцаряется молчание.

Анна *(тихо спрашивает)*. И что теперь делать? *(Преданно смотрит на него)*. Я

понимаю тебя... Милый, я всегда стремилась тебе помочь, ты же знаешь...

Е с е н и н. Знаю. *(Они встречаются взглядами).* Я сам во всём виноват...

А н н а *(удивляясь).* Ты виноват? А в чём? Я не понимаю...

Е с е н и н. В Петербург надо ехать, а не в Москве прозябать...

А н н а. Нам вдвоём? Но как?!..

Е с е н и н *(после паузы).* Для начала я поеду один. Осмотрюсь как следует.

А н н а *(испуганно).* А я?! Что со мной?

Е с е н и н *(твёрдо).* Ты приедешь потом... *(Вздыхает).* А тут ещё эта чёртова война свалилась на наши головы! До моего года призыв пока не дошёл, но кто знает — конца-то ей не видать!..

Анна пристально смотрит на него. За стеной бьют часы семь раз.

А н н а *(вздрагивает).* Ой! Уже семь, мне пора... Ты остаёшься?

Е с е н и н *(откидывает одеяло).* Надо хорошенько подумать. Сейчас я встану — схожу на вокзал, узнаю расписание. Вечером всё обсудим.

А н н а *(подходит и целует его).* Ну, хорошо. Тогда до вечера, милый.

Е с е н и н *(сдержано).* Пока, дорогая. Удачи тебе. Скажи хозяевам, что я захворал. Отлежаться, мол, надо.

Анна уходит. Сергей быстро надевает брюки, выходит в другую комнату, возвращаясь с чашкой кофе и бутербродами. Жадно ест и пьёт. Насытившись, достаёт из сундука потёртый фибровый чемодан, укладывает в него брюки, рубашки, нижнее бельё. Запирает его, мельком осматривается и выходит.

Сцена 6

Санкт-Петербург. Март 1915 года. Николаевский вокзал. Пронзительные гудки и свистки паровозов. Неумолчный людской гомон, беспорядочный топот ног и заливистые выкрики газетчиков: «Последние новости с фронтов! Наше поражение в Восточной Пруссии! Тысячи убитых и раненых, сотни попали в плен... Немцы пускают газы... Солдаты мрут... Читайте подробности!..» Появляется Есенин в старом пальто, сапогах и теплой шапке. Растерянно оглядывается по сторонам. Он явно смущен и взволнован. Навстречу ему идет высокий человек в добротной шубе и черном, блестящем цилиндре.

Е с е н и н. Простите, сударь! Вы не подскажите, пожалуйста, как мне найти редакцию «Летопись»?

П р о х о ж и й *(с удивлением смотрит на него).* Вам нужен журнал «Летопись»?

Е с е н и н. Да, сударь. Его редактирует Максим Горький.

П р о х о ж и й *(улыбается).* Я это знаю. А вам, юноша, кто нужен? Неужто сам Горький?

Е с е н и н. Ну, не обязательно сам. Хоть кто-нибудь из его сотрудников. *(Нарочито серьёзно представляется).* Я — поэт Есенин.

П р о х о ж и й *(пряча улыбку).* А я — поэт Городецкий.

Е с е н и н *(не веря собственным ушам).* Вы — Городецкий? Да неужели?!

Г о р о д е ц к и й. Ну, да. *(Шутливо склоняет голову в цилиндре).* К вашим услугам, милостивый государь! Вы что — наслышаны обо мне?

Е с е н и н *(горячо).* Конечно! Вы же — известный поэт! Я читал ваши стихи.

Г о р о д е ц к и й. Простите, а где вы печатались?

Е с е н и н. В журнале «Мирок» и в одной газете. Не густо, правда...

Г о р о д е ц к и й *(понимающе).* Ну, какие ваши годы! Кстати, а как ваше имя?

Е с е н и н. Сергей. Сергей Есенин.

Г о р о д е ц к и й. Надо же! Я тоже Сергей. Мы с вами тёзки. *(Протягивает руку).* Вот и познакомились. Очень рад. Давай на ты. А судя по тому, что ты здесь — тебя привёз московский поезд. И где ты намерен остановиться?

Е с е н и н. Пока нигде. Переночую на вокзале... Ты, надеюсь, скажешь мне, где эта редакция? И как до неё добраться.

Г о р о д е ц к и й. Скажу-скажу, не переживай. *(Сочувственно).* Я дам тебе свой адрес, переночуешь у меня. Идёт?

Е с е н и н. Спасибо! Только как я найду его? Я в Петербурге впервые, так уж случилось...

Г о р о д е ц к и й *(усмехается и поправляет).* Теперь говорят — в Петрограде. У нас ведь война с немцам. Немецкое имя заменили на русское. *(Достаёт из-под шубы блокнот и карандаш. Быстро пишет, вырывает листок и протягивает Есенину).* Вот тебе мой адрес. Поезжай хоть сейчас.

Е с е н и н *(подносит листок к глазам).* Улица Фонтанка. Дом... А что мне с этим делать? Куда прикажешь идти?

Г о р о д е ц к и й. Ты сядешь на извозчика. Они у нас всё знают. *(Достаёт из кармана ключ и вручает поэту)*. Держи, тёзка. Ну, давай! А мне надо проехать в Колпино, это недалеко. Вечером вернусь.

Е с е н и н *(жалобно)*. А как же редакция?

Г о р о д е ц к и й. Подождёт. Завтра я отведу тебя. У меня там есть знакомые. Не тужи. Пока, тёзка. *(Хлопает поэта по плечу. Расходятся)*.

Сцена 7

Петроград. Квартира Городецкого. Поздний вечер. Есенин при свете керосиновой лампы с абажуром сидит за письменным столом и что-то пишет. Откладывает ручку, читает про себя и зачеркивает строчки. Доносятся шаги, в комнату входит хозяин.

Г о р о д е ц к и й. Добрый вечер, затворник! Ну, как ты тут? Не скучаешь? *(Есенин хочет встать)*. Сиди. Ты сюда на извозчике добрался?

Е с е н и н. Нет. Пешком.

Г о р о д е ц к и й. Как пешком?! В такую даль?

Е с е н и н. Расспросил у них дорогу, у извозчиков — и вот я тут!

Г о р о д е ц к и й. Отчаянный ты парень, Сергунька! *(Берёт стул, садится)*. Ты голоден?

Е с е н и н. Нет. Я поел в ближайшем трактире.

Г о р о д е ц к и й. Здесь, на Фонтанке?

Е с е н и н. Ну, да. Пару домов отсюда.

Г о р о д е ц к и й. Молодец! Погоди, я сейчас кофе сварю.

Е с е н и н. Кофе? А где сваришь-то? *(Оглядывается)*.

Г о р о д е ц к и й *(встаёт)*. Да на спиртовке. Это быстро. *(Выходит в другую комнату)*.

Есенин вновь склоняется над рукописью. Усердно правит. Через какое-то время входит хозяин, держа на подносе стеклянную колбу с кофе, две чашки и сахарницу. Ставит всё на стол, вблизи есенинских рукописей. Гость хочет их убрать.

Г о р о д е ц к и й. Не надо. Места хватит. *(Кивает на бумаги)*. Там стихи?

Е с е н и н. Ну, да. Не хотел время терять попусту.

Г о р о д е ц к и й *(одобрительно)*. Это правильно! *(Садится ближе к столу, взяв в руки колбу, разливает кофе в чашки)*. Клади себе сахар. Он пока в избытке, несмотря на войну.

Есенин осторожно берёт пару кусочков рафинада, опускает их в чашку, размешивает ложечкой. Одной на двоих. Потом эту ложку берёт хозяин, мешает, и оба с наслаждением, как истинные гурманы, пьют.

Г о р о д е ц к и й *(глядя на гостя посветлевшими глазами)*. Ну, что ты там писал? Может, что-то прочтёшь? Я бы послушал.

Е с е н и н *(наверняка ждал этого вопроса, но отвечает как бы нехотя)*. Да так. Пустяки. Баловался.

Г о р о д е ц к и й *(настойчиво)*. Ну, полноте, тёзка! Давай не жмись. Чего ты?

Е с е н и н *(перебирает листки, бегло просматривает, наконец, решается)*. Ладно. Слушай. *(Голос его звенит)*.

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

На меже, на переметке,
Резеда и риза кашки.
И вызванивают в четки
Ивы — кроткие монашки.

(Городецкий весь обращается вслух).

Курит облаком болото.
Гарь в небесном коромысле.
С тихой тайной для кого-то
Затаил я в сердце мысли.

Все встречаю. Все приемлю.
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть...

С последним звуком в комнате воцаряется тишина. Гулкая. Безграничная. Городецкий сидит, не шевелясь.

Е с е н и н *(робко)*. Ну, что? Как?

Г о р о д е ц к и й. Серёга! *(У него перехватывает горло)*. Чёрт тебя возьми! Ты гений! Откуда ты такой взялся?! Где такие выводятся?

Е с е н и н *(смущённо улыбается)*. Под Рязанью. В селе Константиново, Кузьминской волости.

Г о р о д е ц к и й. Стихи давно сочиняешь?

Е с е н и н *(просто)*. С детства. Лет с восьми.

Г о р о д е ц к и й. И много написал?

Е с е н и н. Много. Но большая часть дома осталась, в Константиново.

Г о р о д е ц к и й *(смотрит на рукописи)*. Ты хочешь это в журнал предложить? В «Летопись»?

Е с е н и н. Хотелось бы. Я давно об этом мечтаю.

Г о р о д е ц к и й. В рукописном варианте это точно не примут, поверь мне. Там нужен машинописный текст.

Е с е н и н. А машинистку где мне найти? Я здесь никого не знаю.

Г о р о д е ц к и й. Не волнуйся, Сергунька! Есть у меня одна, Зинаидой зовут. Завтра с утра пойдём к ней. *(Смотрит на гостя одобрительно)*. Ну, давай, рязанец, кофе допьём. Поэт ты замечательный, поверь мне! *(Разливает кофе, и в наступившей тишине оба молодых поэта сосредоточено и вдумчиво пьют, как священнодействуют. Закончив, хозяин вынимает карманные часы)*. Ого! Уже третий час! Давай-ка, тёзка, на боковую. Пойдём, я предложу тебе кушетку.

Оба встают. Городецкий тушит лампу, комната погружается в темноту.

Сцена 8

Петроград. Утро. Редакция городской газеты. Бойко стучит пишущая машинка. В секретариат, где сидит машинистка, заходят Городецкий и Есенин. Он предусмотрительно снял шапку, в его руке папка, перевязанная тесемками.

Г о р о д е ц к и й *(снимает цилиндр)*. Доброе утро, Зиночка!

З и н а и д а *(поднимает голову)*. Здравствуйте, Сергей Митрофаныч!

Г о р о д е ц к и й *(толкает в бок Есенина)*. Вот познакомьтесь, Зиночка! Известный московский поэт Сергей Есенин! *(Есенину)*. Это Зинаида Райх!

Е с е н и н *(приветливо наклоняет голову)*. Мне очень приятно!

З и н а и д а *(улыбается)*. Мне тоже!

Г о р о д е ц к и й. У вас много работы, дорогая?

З и н а и д а *(кивает на стопку бумаг)*. Вы же знаете, Сергей Митрофаныч, у меня не бывает простоев! А у вас что-то срочное?

Г о р о д е ц к и й. Не у меня, к счастью, а у моего тёзки. У поэтов тоже с простоями туговато, особенно весной. *(Есенину)*. Покажи мадмуазель свои вирши.

Тот охотно развязывает тесёмки, вынимает стопку рукописей.

З и н а и д а *(берёт верхний листок)*. У вас хороший почерк, господин Есенин. Очень разборчивый.

Е с е н и н. Спасибо. Я окончил учительскую школу.

З и н а и д а *(пробегает глазами строчки и читает вслух)*. «Пряный вечер. Гаснут зори, по реке плывёт туман»... *(Увлекается)*. «У плетня, на косогоре, забелел твой сарафан!» *(Смотрит на поэтов)*. А мне это нравится! Очень! Вы молодец, Сергей!

Г о р о д е ц к и й *(улыбается)*. Ну, вот и отлично! *(С надеждой)*. Зиночка, вы поможете таланту? Мы будем вам очень обязаны, уж поверьте!

З и н а и д а. Ну, конечно! Как не помочь двоим поэтам?

Г о р о д е ц к и й *(надевает цилиндр)*. Тогда с богом! *(Есенину)*. И, надеюсь, вы тут сами разберётесь. Вечером у меня! *(Кланяется и выходит)*.

З и н а и д а *(поэту)*. Вы, Сергей, пожалуйста, раздевайтесь и садитесь поближе.

Он быстро снимает пальто, вешает его на спинку стула и садится к столу. Оба склоняются над рукописями.

Сцена 9

Вечер. Квартира Городецкого. Хозяин сидит за столом, что-то пишет. Перечитывает и зачеркивает. Раздается шум шагов, входит Есенин. Видно по всему, что он вполне доволен жизнью.

Г о р о д е ц к и й. Ну, привет, дорогой! Виден сокол по полёту! Что, добрый моло-

дец, неужто покорил красну девицу? Как успехи, Сергунька? А Зиночка, между прочим, не замужем.

Е с е н и н. Да знаю, знаю... Добрый вечер!

Г о р о д е ц к и й. И это ты знаешь? Наш пострел кругом поспел! Ну, ты, Серёга, как говорят твои земляки — прокурат-парень! Можно позавидовать.

Е с е н и н *(суеверно)*. Да ладно тебе! Не перехвали — удача отвернётся!

Г о р о д е ц к и й *(встаёт)*. Погоди, я кофе поставлю. А ты садись — в ногах правды нет. *(Выходит. Есенин садится, вороша события минувшего дня. Он полон впечатлениями. Входит хозяин, неся на подносе кофе. Ставит всё на стол)*. А где твоя папка со стихами? На радостях забыл, что ли? Голова кругом?

Е с е н и н. Зинаида её у себя оставила. На завтра она взяла выходной, и мы встречаемся у неё на Литейном. Надо кое-что подправить.

Г о р о д е ц к и й. Шутки шутками, но ты делаешь успехи, Сергунька! Ещё никого Зиночка к себе в гости, я помню, не приглашала! *(Разливает кофе. Оба сосредоточенно пьют. Хозяин, нет-нет, да и поглядывает на гостя, словно видит его впервые)*. А война-то, между прочим, не кончается, чёрт её дери! Она, как тот Молох, всё время требует и жаждет новых жертв. И мы в их числе можем оказаться! Попасть в эту треклятую «верденскую» мясорубку... Там миллион солдат полегло...

Е с е н и н *(недоумённо)*. Это ты к чему? Меня пока никто не трогает.

Г о р о д е ц к и й. Да ну? А на воинском учёте ты состоишь?

Е с е н и н. А как же? Состою у себя в Рязани.

Г о р о д е ц к и й. Но теперь ты питерский, Сергуха, и тебе надлежит явиться в Петроградское воинское присутствие. *(Кивает на газету, лежащую на столе)*. Вон приказ в «Ведомостях». Читай, любезный.

Е с е н и н *(тянется за газетой, берёт её, читает)*. Тут говорится, что призываются рекруты девяносто пятого года рождения. Это как раз мой год...

Г о р о д е ц к и й. Ну, вот видишь! И значит, навек прощай все наши благие мечты и воспарения духа. Кровавый, ненасытный Молох поглотит всех нас в своей бездонной, зловонной утробе. Иного не дано. А я, между прочим, свой воинский долг государю и родине уже отдал. *(Оба мрачно опорожняют чашки. Потом хозяин встаёт и тушит лампу)*. Ну, хватит! Пойдём спать. Может, с утра, даст Бог, кое-что переменится.

Сцена 10

Петроград. День. Воинское присутствие. Медицинский кабинет. За столом сидит военврач — осанистый мужчина в белом халате и очках, сбоку — женщина-фельдшер.

В р а ч *(глядя в бумаги)*. Приглашай следующего.

Ф е л ь д ш е р *(встаёт и выкликает)*. Рекрут Есенин!

Входит Есенин, голый по пояс и в подштанниках.

В р а ч. Подходи ближе. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения?

Е с е н и н. Есенин Сергей Александрович. 1895 год Рязанская губерния, Кузьминская волость, село Константиново. *(Фельдшер записывает)*.

В р а ч. Сословие?

Е с е н и н. Я поэт...

В р а ч. Поэт?! *(Смотрит поверх очков на новобранца)*. В Российской империи нет такого сословия.

Е с е н и н *(поправляется)*. Ну, крестьянин.

В р а ч. Это другое дело. *(Встаёт, берёт трубочку фонендоскопа и подходит к Сергею. Прикладывает её к его груди)*. Дыши, поэт. Глубже! *(Есенин дышит. Врач внимательно слушает. Затем перемещает прибор к сердцу рекрута)*. Сердце у тебя здоровое, бьётся ровно. Теперь повернись спиной. *(Есенин поворачивается. Врач слушает, потом указывает на табурет)*. Садись. Положи ногу на ногу. *(Рекрут исполняет приказ. Врач берёт молоточек и бьёт его под коленкой. Верхняя нога Есенина подпрыгивает)*. Хорошо. Теперь клади другую. *(Поэт меняет ноги и всё повторяется)*. Теперь вставай, вытяни руки перед собой, закрой покрепче глаза. *(Есенин жмурится)*. Указательным пальцем правой руки коснись кончика носа. *(Есенин выполняет)*. Теперь левой. Ладно. Рефлексы у тебя в норме. *(Фельдшеру)*. Глаша, измерь ему рост. *(Женщина подводит рекрута к ростомеру, опускает ему на темя ползунок)*. Сколько там?

Ф е л ь д ш е р. Два аршина, пять вершков.

В р а ч *(усмехается)*. И пуда три с десятком фунтов весом. *(Есенину)*. В кавалерию сгодишься, парень. В седле держаться умеешь?

Е с е н и н. Я же в деревне вырос! А в ночном какое седло? Сядешь коню на круп и за гриву хвать! *(Неожиданно восклицает)*. Ой, мне дома не сидится, размахнуться б на войне! Полечу я быстрой птицей на саврасом скакуне!..

Медики переглядываются.

В р а ч. Добро, поэт! Авось поскачешь. Давай проверим твои глаза. *(Подводит его к таблице с чередой букв. Берёт указку и подаёт рекруту картонный кружок).* Закрой левый глаз. *(Есенин закрывает. Врач тычет указкой в низ таблицы).* Это какая буква?

Е с е н и н *(неохотно).* Чего-то не разберу.

В р а ч *(поднимает указку выше).* А эта?

Е с е н и н. Тоже не различаю.

В р а ч *(указывает в середину таблицы).* А теперь?

Е с е н и н. Это «аз», «веди», «буки»...

В р а ч. Закрой правый глаз. *(Есенин выполняет. Врач тычет указкой вниз).* Ну, давай!

Е с е н и н. Неясно как-то. Плывёт всё.

В р а ч *(указывает в середину).* А это что? Видишь?

Е с е н и н. Вижу. «Добро», «люди», «глаголь».

В р а ч *(отставляет указку).* Видишь ты, парень, неважно. Какая тут кавалерия? И в пехоте такие не нужны! Чего доброго — своих сослепу расстреляешь... *(Фельдшеру).* Запишем мы его, Глафира, в наш санитарный поезд. *(Есенину).* Вот так, поэт! Теперь будешь санитаром. Стихи свои ты, видать, при лучине писал. Вот и посадил зрение.

Е с е н и н. Правда ваша — по-всякому было.

В р а ч. Ладно. Иди получай обмундирование, через неделю на фронт отправляемся на военно-санитарном поезде №143 имени императрицы Александры Фёдоровны. Ступай!

Сцена 11

Петроград. Утро. Николаевский вокзал. Шум, гудки паровозов. Топот марширующих солдат. Вопли газетчиков: «Читайте известия с фронтов! Государь-император Николай Второй прибыл в свою главную ставку в город Могилев... Готовится крупное наступление наших войск! Мы собрали все силы! Читайте известия!..»
На перроне появляются Есенин и Зина. Он в зеленой гимнастерке, бриджах, сапогах, в фуражке с красным крестом. Через плечо — скатка, за спиной — вещмешок. Она крепко держит его за локоть.

З и н а. Серёжа, я боюсь.

Е с е н и н. Чего ты боишься? Не надо, не бойся.

З и н а. А вдруг?! Ну, ты понимаешь...

Е с е н и н. Вдруг меня убьют? Ты про это? *(Она молча кивает головой. Есенин пытается улыбнуться).* А ты не верь этому! Может, я заговорённый? Лучше жди и помни.

Паровозный гудок. Удар колокола. Голос дежурного: «Все по вагонам!»
Есенин и Зина обнимаются и крепко целуются. Потом он быстро убегает.
Она остаётся на перроне, слушая паровозный свисток и мерный стук колёс.
Под этот стук прорезывается голос Есенина:

Повестили под окнами сотские:
Ополченцам идти на войну.
Загыкали бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину.

Собиралися мирные пахари
Без печали, без жалоб и слез.
Клали в сумочки пышки на сахаре
И пихали на кряжистый воз.

По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ
Вот где, Русь, твои добрые молодцы,
Вся опора в годину невзгод...

Действие II. НА ПАРНАСЕ

Сцена 1

Петроград. 1917 год. Актовый зал Тенишевского училища. Шум и людской гомон. Голос за сценой: «Уважаемая публика! Сейчас перед вами выступит известный поэт Сергей Есенин! Еще совсем недавно он был на передовой, в частях действующей армии, выносил и перевязывал раненых солдат. Прошу!» Выходит Есенин.
В светлой вышитой рубахе с пояском, в сапогах. Слегка кланяется.

Е с е н и н. Я последний поэт русской деревни. И все мои стихи о её многострадальной, нелёгкой судьбе... *(Чуть запинается)*. Но это — наша родина. Моя и ваша. *(Возвышает голос)*.

Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа.
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонко чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою!»

Бурные аплодисменты, крики: «Браво! Молодец! Давай ещё!» Но их перекрывают вопли газетчиков: «Граждане! Срочные известия! Важные сообщения! Император отрёкся от престола! В главной ставке, в городе Могилёве, им подписано отречение! Вся власть переходит к Временному правительству! Читайте манифест!..» Возникает шум и неразбериха. Есенин кланяется и быстро уходит со сцены».

Сцена 2

Петроград. Квартира Есениных на Литейном проспекте. Вечер.

З и н а и д а *(качает колыбель и тихо напевает)*. Ой, люли-люли, налетели гули. Сели и уснули. Прилетели совки-сплюшки прямиком к моей Танюшке... *(Качает люльку)*. Спи, моя милашка! Спи, как неваляшка! *(Входит Есенин в поддёвке и шапке. Зинаида подносит палец к губам)*. Тш-ш-ш... Она засыпает. *(Он тихо раздевается, проходит вглубь комнаты. Женщина встаёт, отодвигает стул. Возвращается Есенин, в его руках газета)*. Ты где был так долго?..

Е с е н и н. Ты лучше спроси, где я не был! Чёрт знает что творится! Ох, матушка Расея! Да куда ж ты катишься?!.. Где твой предел? Когда остановишься?

З и н а и д а. Тише! Ну, что случилось? Скажи толком.

Е с е н и н *(шёпотом)*. Да какой тут толк? Николай отрёкся.

З и н а и д а. Кто?! Наш царь? Не может быть! Как?!

Е с е н и н *(трясёт газетой)*. А вот так: «Мы, Николай Вторый, император Всероссийский, царь Польский, князь Финляндский и прочая, и прочая, ныне сообщаем»...

З и н а и д а. Он отрёкся в пользу кого? Цесаревича Алексея, что ли?

Е с е н и н *(траурно)*. Нет. Царя на Руси больше не будет. И не ждите! Вот так...

З и н а и д а *(с ужасом)*. Как не будет?! А кто же будет? Я не понимаю...

Е с е н и н. Кто будет? Теперь вся власть переходит к Временному правительству. А главный у них — князь Львов, просит любить и жаловать.

Зинаида бессильно опускается на стул. Воцаряется гробовое молчание. Хнычет ребёнок. Мать бросается к нему, качает люльку. Есенин занимает стул, бесцельно глядя в газету.

З и н а и д а *(шепчет ему)*. И что нам теперь делать? Как жить? Ужас-то какой!..

Е с е н и н. В Константиново ехать надо.

З и н а и д а. В твоё село? Нам всем троим? Когда?

Е с е н и н. Нет. Один я поеду.

З и н а и д а *(жалобно)*. Ты один? А как же мы с Танюшкой? Я не понимаю...

Е с е н и н. Да я ненадолго. Картошки, капусты, сала привезу. Мать с нами поделится. Жить и есть ведь надо.

З и н а и д а. Ладно. Поезжай. Мы уж как-нибудь. Танюшка, слава богу, здорова. Не пропадём без тебя, надеюсь...

Е с е н и н *(скупо улыбается)*. Вот и славно! *(Смотрит на жену)*. А меня нынче принимали отлично! В училище Тенишевском. Слушали, хвалили, шквал аплодисментов! *(Трясёт газетой)*. И если бы не этот чёртов манифест!..

Сцена 3

Село Константиново. Март месяц. Изба Есениных. Утро.
За столом сидят мать поэта – Татьяна Федоровна и сестра Екатерина.

М а т ь. Да как же так? И что же теперь будет? Чего нам, бедным, нынче ждать? Война-то кончается аль нет? А тут ещё царь нас бросил, несчастных...

Д о ч ь. Бросил, маманя. А она всё идёт да идёт! И конца ей не видать...

М а т ь. И солдатики наши всё гибнут да гибнут... Ох, беда-беда! И от Сергея весточки давнёшенько не было. Может, его снова на фронт забрали, раз война не кончается?

Д о ч ь. Да навряд ли. Жена его — Зинка — про это бы написала. Как же!

М а т ь. Катька, а ну-ка глянь в окошко! Глянь, говорю, живее!

Д о ч ь *(встаёт и смотрит в окно, взвизгивает)*. Ой, Серёжка никак идёт!

Вихрем выбегает на улицу. Через минуту брат и сестра появляются в доме. Она виснет на нём. Сергей в поддёвке, шапке, сапогах, с пустой котомкой за спиной.

М а т ь *(встаёт)*. Серёженька, сыночек! Вот радость-то! Я уж не чаяла...

Е с е н и н *(бросается к ней, крепко обнимает, горячо целует)*. Матушка моя! Родная!.. Как я рад тебе!.. Соскучился, страх...

С е с т р а *(тянет с его плеча котомку, хочет снять поддёвку)*. Да раздевайся, братец! Жарко ведь у нас... Снимай одёжу-то!

Есенин разоблачается, отдаёт всё сестре. Та мигом уносит.

М а т ь. Похудал. Осунулся. Дома-то был крепче, справнее. И попригожей...

С е с т р а *(вбегает)*. Серёжа, мы тут сидим с маманей, она мне — Катька, а ну-ка, глянь в окно!.. А там ты!.. Вот радость-то!..

М а т ь. А как же?.. Я его, кровиночку мою, за версту чую! *(Гладит сына по плечу. Он целует ей руку)*. Садись, родной, отдыхай... Устал, чай, из городу-то ехать! Чугунка эта проклятая всю душу, поди-ка, вымотает...

Е с е н и н *(садится за стол. Осматривается)*. А Шурка-то где?

М а т ь. У бабки она гостит. *(Дочери)*. А ты, Катька, самовар вздуй! *(Крестится)*. Слава Богу, что сыночка живого да здорового увидала! В кои-то веки!..

Е с е н и н *(сестре)*. Давай я помогу тебе.

М а т ь. Вот не надо! Девка она проворная, сама справится. *(Катерина выходит, а мать с любовью смотрит на обожаемого сына)*. Лучше поведай мне про жизнь свою городскую. Как ты там да чего?

Е с е н и н. Ведать-то, маманя, особо нечего. В Питере нынче смута, неразбериха, кавардак. Царь навсегда от престола отрёкся. *(Мать обеспокоенно крестится)*. А к власти правительство временное пришло. И война никак не кончится. Уже который год: то немцы нас колошматят, то мы их... Горы трупов только...

М а т ь. Ужасти какие! Ты-то как? Тебя-то на войну, часом, опять не пошлют?!..

Е с е н и н *(усмехается)*. Я своё отслужил! Царю природному долг отдал, а правительству этому служить не собираюсь. Много ему чести будет!..

Мать испуганно крестится. Входит дочь, внося самовар. Брат подскакивает к ней, берёт самовар и ставит его на стол. Сестра приносит кружки и связку баранок.

М а т ь. Попей-ка чайку, Сергунечка, с дороги! Потом чего-нибудь посытнее соберём, даст Бог. Хотя и у нас нынче не шибко разъешься...

Дочь наливает из краника в кружки кипяток, добавляет заварки.

Е с е н и н. Спасибо, мои дорогие! *(Берёт кружку)*. Куда мне без вас?..

М а т ь *(укоризненно)*. Ох, охальник-охальник!.. Лоб-то даже не покрестил!..

Д о ч ь. Ну, ладно, маманя! Нынче это не принято...

Е с е н и н *(улыбается)*. Верно говоришь, Катюха! *(Отхлёбывает из кружки)*. Эх, хорош чаёк! В городе-то больше кофеем балуются. Из-за границы везут.

М а т ь. И самоваров, поди-ка, в доме не держат? А иконы?

Е с е н и н. У кого как. Кто-то верит в Бога. А кто-то... *(Пожимает плечами)*.

М а т ь. Отец сказывал, что ты со своей первой-то женой дажеть не повенчался. Верно? *(Есенин кивает головой)*. А с нынешней, со второй? С Зинаидой? Дочку-то свою вы покрестили?

Е с е н и н. Некогда было, маманя. Но я назвал её в твою честь — Татьяной. Мы с Зинаидой заключили, как теперь говорится — официальный брак. Расписались то есть. Всё по закону.

С е с т р а. Ну, ты, Сергуня, хоть немного поживёшь у нас? Мы, чай, по тебе соскучились.

Е с е н и н. Да поживу-поживу. Вы же мои единственные разлюбезные голубушки. Куда я без вас?..

Сцена 4

Петроград. Май 1917 года. Поздний вечер. Квартира Есениных. Зинаида сидит у кровати ребенка, что-то вяжет. Раздается осторожный шум, в комнату входит Есенин. Он в короткой куртке, фуражке и сапогах. Жена молча смотрит на него. Он снимает с плеча котомку.

Е с е н и н *(шёпотом)*. Привет... Я вернулся! Вот это вам. *(Держит котомку на весу)*.

З и н а и д а *(устало)*. Вижу. Ну, здравствуй... А что там у тебя?

Е с е н и н. Сало, хлеб... Танюшка спит?

З и н а и д а. Уснула недавно.

Есенин опускает на пол рюкзак, сбрасывает куртку, снимает фуражку, на цыпочках подходит к колыбельке. С минуту смотрит на спящую дочь.

Е с е н и н *(ласково шепчет)*. Подросла егоза! Даже на первый взгляд заметно.

З и н а и д а. Если бы ты пропадал дольше, она бы уже вовсю бегала!

Е с е н и н *(виновато)*. Так уж получилось, что муза меня вконец одолела!.. *(Улыбается)*. Ты знаешь, стихи в деревне сами в голову лезут. Удержу нет! Я ими прямо беременею! Целую поэму там родил, назвал — «Отчарь». *(Произносит нараспев)*. Тучи — как озёра. Месяц — рыжий гусь. Пляшет перед взором буйственная Русь!..

З и н а и д а. Тише! Таньку разбудишь. Я, к твоему сведению, тоже беременна. Только не стихами, уж извини.

Е с е н и н *(пугается)*. Как?! Опять?..

З и н а и д а. Не опять, а снова... Прости, но мне не до стихов. Как-нибудь потом. Завтра. Есть-то хочешь?

Е с е н и н *(кивает на рюкзак)*. Я сало с хлебом ел. Может, и ты поешь?

З и н а и д а. Не хочется. Твои-то как? Что в деревне творится?

Е с е н и н. А что ей делается? Деревня живёт по-старому. В срок отсеялись, теперь ждут дождей да вёдро... Вы-то как без меня?

З и н а и д а *(устало)*. Отец мой, слава богу, нам вовремя помог. И деньгами, и продуктами. Я ему так благодарна...

Е с е н и н. Стихов я на книжку целую набрал. И не на одну. В Москву надо ехать. Там я всё быстро выдам в печать. Глядишь, и деньгами вволю разживёмся! Делишки свои поправим.

З и н а и д а *(отрешённо)*. Это после. Полночь уже. Пора ложиться...

Сцена 5

Москва. Сентябрь месяц. Квартира отца Есенина. Хозяин сидит за столом с кучей бумаг и конторскими счетами. Читает, прикидывает что-то, щелкает косточками счетов. Хмурится, мрачно качает головой, пишет карандашом. Входит Есенин. Сердитый, озабоченный. Снимает пальто и фуражку, вешает все на крюк.

О т е ц. Там, на загнетке, картошка с селёдкой. Поешь.

Е с е н и н. Ладно. После. *(Садится на табурет и некоторое время следит за отцом. А тот сосредоточенно щёлкает на счётах и вдумчиво пишет)*. Ну, что там у тебя? Приход с расходом никак не сойдутся? И кто кого подмял? А может, вдрызг изничтожил...

О т е ц. Да рази тут хоть что-то может с чем-то сладиться, коли *(поднимает голову и кивает вверх)* там один бардак и чехарда?! *(Мелко крестится)*. Правительство это неладное опять невесть чего наворотило, а у нас, грешных, голова кругом... Не жизнь, а мучение одно...

Е с е н и н. Зато Керенский везде болтает, что Россию ждёт великое будущее. Может, ему виднее?..

О т е ц *(зло и ядовито)*. Да куда там! Кому тут виднее? Николаевские-то ассигнации сотнями да тыщами ходили, а эти «керенки» проклятущие мильонами сыпятся, а их не берёт никто! Не видишь разве? *(Сердито стучит костяшками счёт)*. Ты, когда санитаром служит, в Царском селе, говорят, бывал. Дажеть с самим царём видался, ведь так?

Е с е н и н *(усмехается)*. Тут ты, батя, загнул. Николая я не видел, а с его семейством встречался. Стихи свои читал его мамаше, жене и дочкам.

О т е ц. В самом дворце ихнем? Там кругом, поди, одно золото и сами они в жемчугах да бархате?

Е с е н и н. Нет, царица с дочками в белом переднике и косынке с красным крестом, а сынок её — Алёша — в матросской форме. Всё было очень просто.

О т е ц *(недоумённо)*. Да неужто? Для маскарада, что ли?

Е с е н и н. Война же. Они были, как сёстры милосердия. Только и всего.

О т е ц. Не помогло им это! Всё одно — в Сибирь сослали, быдто каторжных... *(Продолжает допытываться)*. Ты вот, Серёга, со знаменитыми людьми видаешься, судачишь да пьёшь с ними... Они-то как на всё это смотрят? Неуж им эта жизнь нравится? Мутная да непонятная. Может, я чего-то не пойму?..

Е с е н и н. Это кому как. Кто-то всем доволен, а кто-то власть хочет поменять. Только как — непонятно...

О т е ц. А этот... Ну, Горький Максим... Он-то чего?

Е с е н и н *(хмыкает)*. Горький живёт в Италии. Уже который год...

О т е ц *(подхватывает)*. Вот-вот! Там-то, видать, ему спокойнее... А мы тут, бедные, лбы расшибаем в кровь. Бьёмся, как пескари об лёд!.. *(Оба на время умолкают. Отец что-то записывает, потом обращается к сыну)*. Сергуха, а книжки-то свои ты напечатал? Помню, грозился... *(Усмехается)*. Ходишь, сапоги, поди, до дыр протёр, и чего?..

Е с е н и н. С бумагой нынче туго. И все типографии стоят. Даже журналы в свет не выходят...

О т е ц *(злорадно)*. Бумаги, говоришь, нет? *(Кивает на мятые «керенки», кучкой лежащие на столе)*. Да она вся на эти паскудные деньги уходит. Эх, Серёга-Серёга! Мало драл я тебя в детстве, когда ты своими стишками баловался... Пора бы уж за ум взяться! Не всем быть Горькими да загорать в Италии... Не так, что ли?

Е с е н и н *(встаёт)*. Ладно, батя! Хватит мне мораль читать. На это все мы горазды! Спокойной ночи... Завтра я в Питер еду...

Сцена 6

Петроград. 1919 год. Вечер. Квартира С.Городецкого. Хозяин сидит за столом, перед ним пустой графин, стаканы, пепельница, полная окурков. Он, будучи навеселе, в благостном раздумье водит пальцем по столешнице. Раздается стук в дверь.

Г о р о д е ц к и й. Да! Войдите, если не дьявол!.. *(Входит Есенин. В легком пальто и фуражке)*. О-о, Сергуня! С коммунистическим тебя приветом, как теперь принято! Проходи, рад видеть тебя.

Е с е н и н. Дорогой тёзка, это в часть чего ты так нарюмился?

Г о р о д е ц к и й. Да просто так. Заходили Толька с Петькой, посидели, выпили...

Е с е н и н. Мариенгоф и Орешкин?

Г о р о д е ц к и й. Они, поэты клятые! Стихи свои читали. Выпить хочешь?

Е с е н и н *(снимает пальто и фуражку, вешает всё на спинку стула)*. Выпить, говоришь? *(Смотрит на стол)*. Так вы же всё выдули!..

Г о р о д е ц к и й. Нет, шалишь! Не всё. *(Достаёт из ящика стола графин с вином)*. Вот он, голубчик пузатенький! Дождался своей очереди.

Е с е н и н *(садится)*. Ну, тогда наливай, тёзка! *(Городецкий наливает вино в стаканы)*. А за что будем пить? Может, как у Александра Сергеича? Подымем стаканы, содвинем их разом... Да здравствуют музы, да здравствует разум!.. Я — за!

Г о р о д е ц к и й *(кривится)*. Да какие тут музы!.. А разум приказал долго жить...

Е с е н и н. Тогда за что вы тут пили? С Орешкиным и Мариенгофом.

Г о р о д е ц к и й *(с грустью)*. За прошлые, славные деньки, Сергуша.

Е с е н и н. Вот и отлично! Я это с восторгом поддержу. И до дна выпью!

Поэты чокаются и пьют.

Г о р о д е ц к и й *(отставив стакан, ревниво напоминает)*. Но ты, однако, в ногу со временем шагаешь! И не в пример многим...

Е с е н и н. Это ты о чём, тёзка? Уж не про мои ли шумные загулы?

Г о р о д е ц к и й. Нет, про стихи. *(Декламирует)*. «Небо — как колокол. Месяц — язык. Мать моя — родина. Я — большевик!..» *(Пытливо смотрит на приятеля)*. Когда же ты, Сергуня, успел в партию-то записаться? Да неужели по стопам Брюсова пошёл? Ты слышал об этом?

Е с е н и н. Поэт-символист Валерий Брюсов готовится стать рядовым коммунистом? Вступить в партию? Слышал, конечно... Если это не пустые бредни...

Г о р о д е ц к и й. А может, это в самом деле символично? Записаться в правящую партию — как «в дамки» попасть! Глядишь, тут же издадут тысячными тиражами...

Е с е н и н *(серьёзно)*. Я никуда не записывался. А это моя новая поэма, называется — «Иорданская голубица», вот послушай:

Ради вселенского
Счастья людей
Радуюсь песней я
Смерти твоей!

Крепкий и сильный
На гибель твою
В колокол синий
Я месяцем бью!..

Г о р о д е ц к и й. Значит, по-твоему, выходит — Ленин с Троцким устроили октябрьский переворот, взяли Зимний, арестовали Временное правительство ради вселенского счастья людей? А чьей смерти ты радуешься? Не своей ли любимой деревни? Это, по меньшей мере, странно...

Е с е н и н. А почему нет? Может, ради этого вселенского счастья стоит чем-то пожертвовать? И тогда все люди будут заодно...

Г о р о д е ц к и й *(наливает вино)*. Твоими бы устами... Ну, тогда давай за вселенское братство!

Е с е н и н *(опорожнив стакан)*:

Земля моя златая!
Осенний светлый храм!
Гусей крикливых стая
Несется к облакам.

То душ преображенных
Неисчислима рать,
С озер поднявшись сонных,
Летит в небесный сад.

А впереди их лебедь.
В глазах, как роща, грусть.
Не ты ль так плачешь в небе,
Отчалившая Русь?

Г о р о д е ц к и й. Троцкий с Лениным едва ли похожи на белых лебедей... И песен, кроме «Интернационала», оба не поют... *(Спустя минуту)*. Я понимаю, всем нам нужно как-то жить... Есть и пить... Поэты тоже люди... Помнишь, как у Пушкина? «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...»

Е с е н и н *(подхватывает)*. «И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он...»

Г о р о д е ц к и й. Именно так. К счастью или к несчастью, мы не можем жить в безмолвье и безвестности. Когда о нас не говорят и не пишут, мы думаем, что вся наша жизнь пошла прахом. И наша душа и лира под замком.

Е с е н и н. А разве нет? Тишина и покой — удел монахов-отшельников. Это точно не для нас!

Г о р о д е ц к и й. «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись...»

Е с е н и н. Опять Пушкин! *(Почти зло)*. «В день уныния смирись: день веселья, верь, настанет!» Выходит, жизнь нас постоянно обманывает?!..

Г о р о д е ц к и й. Нас обманывает не жизнь, а наши неуёмные желания. Мы всегда хотим чего-то огромного, несбыточного, небывалого и не в срок... На ком же вина, если этого не случается по нашему желанию? Ответь! *(Есенин молчит. Городецкий пристально смотрит на него)*. Говорят, что вы с Зинаидой разошлись? Так или нет?

Е с е н и н. Наверно, так... Что-то у нас никак не ладится... *(Гаснет свет)*.

Г о р о д е ц к и й. Опять чёртова электростанция барахлит! Вот тебе и светлый храм коммунизма... Надо свечку искать, а то лбами треснемся...

Сцена 7

Константиново. Зима. Вечер. У стола напротив друг дружки сидят отец и мать Есенины. У него на широко расставленных руках моток шерсти, она умело сматывает шерсть в клубок.

О т е ц. Да как тебе сказать, Танюша, на сколь времени эта канитель... Они, вишь, большевики эти самые, видать, думали, что дело пойдёт само собой, стоит им захотеть... Ан, нет! Не пошло. Тут и война началась...

М а т ь *(испуганно)*. Как началась? Опять с немцами, что ли?

О т е ц. Да не с немцами... А с этими, с белыми.

М а т ь. Ну, которые за царя?

О т е ц. Ну да. С царскими генералами — Юденичем, Деникиным, Красновым... Да рази мало их, недовольных? А там солдаты и казаки...

М а т ь *(мотая шерсть)*. Ох, горе-горе!.. Нам-то, хрестьянам, как быть? *(Поднимает глаза к небу)*. Сам Господь, видать, на нас, грешных, шибко прогневался! Неладно

мы, людишки, стали жить... Ох, неладно... Разве нет? *(После паузы)*. Вот Серёга со второй женой расстался. Ну, куды это годится? Там ведь сынок уже народился, у Зинки-то... Так ведь?

О т е ц. Ну да. Мальчонка. Константином назвали. В честь села нашего...

М а т ь. И этот, поди, некрещёный!.. *(Отец пожимает плечами)*. И где он теперь жить-то собирается?

О т е ц. Кто? Сергей? *(Мать кивает)*. Да вроде в Москве. Туда, бают, вся нынешняя большевистская власть из Питера-то перебралась. Москва нынче главный город!

Из соседней комнаты выходит Есенин. Босой, в распоясанной рубахе и штанах. Смотрит на родителей, мирно занимающихся немудрящим делом, усмехается.

Е с е н и н. Никак всё в единый клубок мотаете?.. Ладно да неспешно...

О т е ц *(понимает намёк)*. Мотаем, да. Не в пример тебе!.. Жизнь, Сергуха, такая — или ты её мотаешь, или она тебя. А по-другому — никак.

Е с е н и н *(язвительно)*. Вы-то наверняка думаете, что она меня закручивает?

М а т ь *(уловив суть перепалки, поддерживает мужа)*. А рази нет, сынок? Погляди ты на себя — где ты только не обретался — и в Москве, и в Петебурхе, и на севере, и в Крым тебя каким-то ветром заносило, а что толку-то? *(Укоризненно)*. Одну жену на другую поменял и со второй разбежался... Да рази это не путаница? Дети, когда вырастут, что скажут? Зинаида одна с двумя ребятишками осталась...

Е с е н и н *(бурчит)*. Не одна она. За режиссёра Мейерхольда замуж вышла.

О т е ц *(солидно)*. Мы вот мотаем её *(кивает себе на руки)*, а после мать кому-то варежки свяжет. Может, тебе, либо детям твоим... А от твоей мотни какой прок? Нука, ответь!

Е с е н и н. Да ну вас к лешему, дорогие родители!.. Вам бы только нажива да прибыток... Завтра же уеду от вас!.. *(Уходит)*.

М а т ь. Ох, бедный-бедный! *(Отставляет клубок, крестится)*. Просвети и наставь его, матерь — Царица небесная! Дай ему разумение твоё...

О т е ц *(соглашается)*. Твоя, правда, мать! Как есть заблудилось чадо наше неразумное... Спаси и сохрани его, Господи!..

Сцена 8

Москва. Поздняя осень 1920 года. Гостиница «Яр». Вечер.
Есенин лежит в номере на диване, укрывшись пледом. Стук в дверь.

Е с е н и н. Да! Войдите!

Г о р о д е ц к и й *(входит, в пальто и кепи)*. Привет, Сергуня! Наконец-то нашёл тебя. Пол-Москвы оббегал!..

Е с е н и н *(садится)*. Здравствуй, тёзка! Рад тебя видеть. И позволь узнать — за каким бесом я тебе понадобился? С чего бы вдруг...

Г о р о д е ц к и й. Мне ты нужен всегда! *(Поднимает руки)*. Но кроме меня, тебя желает видеть Большой театр!..

Е с е н и н *(недоумевая)*. Кто-кто?! Большой театр?!.. Да ну! Я ведь не Шаляпин и не Собинов... Ты не путаешь, Сергуха?

Г о р о д е ц к и й. Не сам Большой театр, конечно, а народный комиссар просвещения товарищ Луначарский.

Е с е н и н *(недоверчиво)*. Сам Луначарский? Зачем я ему?..

Г о р о д е ц к и й. Он самый... *(Поёживается)*. А у тебя не жарко! Я, пожалуй, останусь в пальто.

Е с е н и н. Но Луначарский, как помню, назвал меня в печати «не крестьянином, а деревенским интеллигентом»... *(Смотрит на гостя)*. Он хочет видеть меня в партере или в царской ложе?..

Г о р о д е ц к и й. Он хочет видеть тебя на сцене как большого русского поэта!

Е с е н и н. На сцене?! Значит, я должен читать стихи?..

Г о р о д е ц к и й. Ну конечно! Не плясать же.

Е с е н и н *(в растерянности)*. А какие?.. Идейно выдержанные или как?

Г о р о д е ц к и й. Он сказал — какие хочешь. На свой собственный вкус. *(Есенин раздумывает. Городецкий поясняет)*. Ты будешь выступать в первом отделении, в самом начале. А потом выступит приглашённая американская танцовщица Айседора Дункан.

Е с е н и н. Как? Дункан? А кто она такая?

Г о р о д е ц к и й. Это, между прочим, знаменитая американская артистка, горячо симпатизирующая Советской России. Сам Луначарский познакомился с ней за границей и пригласил в Москву. Она тут же согласилась. *(Есенин размышляет)*. Ну, что? Ты согласен? Согласен или нет?

Е с е н и н. Да разве тут откажешься? В кои-то веки русского поэта удостаивает вниманием сам Большой театр! До гордыни ли мне, грешному?

Г о р о д е ц к и й. Вот молодец! По такому случаю надо бы причаститься...

Е с е н и н *(соглашается)*. А без этого никак...

Г о р о д е ц к и й. Сейчас я в буфет спущусь.

Е с е н и н. Погоди, и я с тобой.

Он встаёт с дивана, уже одетый, толкает ноги в туфли, и поэты уходят.

Сцена 9

Москва. Осень. Вечер, сцена Большого театра. Общий шум и гомон. Голос за сценой: «Дорогие товарищи! Рабочие, солдаты и матросы!.. Сейчас перед вами выступит известный поэт Сергей Есенин. Большая просьба не курить, не сорить и не лузгать семечки! Встречайте поэта!..» Выходит Есенин. Слегка кланяется.

Е с е н и н. Большинство из вас, товарищи, родились и выросли в деревне, подобно мне. Я последний поэт деревни, как часто говорят, и потому мои стихи посвящены моей милой и доброй родине... Читает:

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.

Я сегодня увидел в пуще
След широких колес на лугу.
Треплет ветер под облачной кущей
Золотую его дугу...

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Воспою я тебя и гостя,
Нашу печь, петуха и кров...
И на песни мои прольется
Молоко твоих рыжих коров...

Голоса, аплодисменты, крики: «Молодец! Давай ещё! Ещё!.. Даёшь, Серёга!..»

Е с е н и н *(идёт навстречу просьбам)*:

Гляну в поле, гляну в небо –
И в полях, и в небе рай.
Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край...

О, я верю – знать, на муки
Над пропащим мужиком –
Кто-то ласковые руки
Проливает молоком...

Голоса: «Молодчага! Давай ещё, Серёга!.. Не жмись!.. Ещё!.. Жарь!..» Есенин смотрит за кулисы. Там, видимо, делают знак – хватит. Он быстро кланяется и уходит. Недовольный гул перебивает голос ведущего: «А сейчас, дорогие товарищи, перед вами выступит знаменитая американская артистка – Айседора Дункан! Она очень любит нашу Советскую Россию! Встречайте её!..» Раздаются негромкие хлопки. И под первые аккорды Шестой симфонии Чайковского на сцене появляется гибкая, стройная женщина в греческой тунике и босиком. Вместо привычных «фуэте» и «антраша» она начинает исполнять волнующий, страстный, завораживающий танец, полный чувства и огня. Своей необычностью и темпераментом он настолько захватывает зрителей, что те невольно замирают в полнейшей тишине. Сколько она длится – не столь важно. Важно то, что публика, весьма далёкая от искусства, жадно впитывает его. А с последними звуками гениальной музыки исполнительница исчезает, словно видение. Зал гремит: «Браво! Бис!.. Даёшь мериканку!.. Даёшь!..» После минутного шума концерт, как все тогдашние мероприятия, завершается куплетами «Интернационала». Гомон затихает.

Сцена 10

Появляются Есенин и Городецкий, о чем-то тихо переговариваясь.
Из противоположной кулисы выходит А. Дункан, в пальто и шляпке.

Г о р о д е ц к и й *(приподнимает кепи, кланяется, говоря на школьном английском)*. Excuse me, miss Duncan! *(Кивает на приятеля)*. The famous poet Sergey Esenin would like to meet you! He is completely delighted with your dance!

Д у н к а н. Really? *(Смотрит на поэта)*. I am really pleased! I have about you, mr. Esenin... *(Протягивает ему руку)*. And I am really glad to meet you!

Г о р о д е ц к и й *(приятелю)*. Она слышала о тебе и рада познакомиться.

Есенин радостно улыбается.

Д у н к а н. Will you accompany me?

Г о р о д е ц к и й. Certainly darling!..

Сцена 11

Москва. Номер гостиницы «Националь». Поздний вечер. Есенин сидит у небольшого столика, на котором стоят цветы, графин с вином и две рюмки.
Горит настольная лампа. Появляется Дункан в греческой тунике и босиком.

Е с е н и н *(восхищённо)*. О, Изадора!

Д у н к а н *(улыбается)*. My name is Isadora!

Е с е н и н *(качает головой)*. Ноу, Изадора!..

Она начинает свой знаменитый танец. Поэт в неописуемом восторге.
Протанцевав несколько минут, она вдруг садится к нему на колени.

Е с е н и н *(обнимает её)*. Моя Изадора! Моя богиня...

Д у н к а н *(неловко повторяет)*. Изадора! О, yes! Yes...

Есенин гасит лампу.

Сцена 12

Москва. Май 1922 года. Тушинский аэродром. Тарахтенье самолетных двигателей.
Появляется Есенин под руку с Дункан, с ними Городецкий.

Д у н к а н *(Городецкому)*. Now we flight to Konigsberg and then to Berlin by train of there.

Г о р о д е ц к и й *(Есенину)*. Сергей, по-моему — это первый международный авиарейс. Ты не боишься?

Е с е н и н. А чего бояться? *(Кивает на спутницу)*. Ей это не впервой, а я храбрюсь, на неё глядя. Какой русский убоится высокого полёта?

Г о р о д е ц к и й. Ну, молодец! Давай, пиши, не забывай земляков! *(Обнимаются)*.

Д у н к а н *(подаёт руку Городецкому)*. Good bye, Serge! I am really pleased to got guanine with you. Hope that we see each other soon!

Гул самолёта нарастает.

Е с е н и н. Изадора, поспешим! А то он улетит без нас!

Д у н к а н *(непонимающе)*. What?

Г о р о д е ц к и й. He is rushing you... *(Есенину)*. Серёга, как вы друг друга понимаете? Сам чёрт вас не разберёт!..

Е с е н и н. А вот как!

Хватает подругу за руку и увлекает за собой.
Они убегают. Городецкий качает головой, слушая гул улетающего самолёта.

Сцена 13

Константиново. Лето 1923 года. День. Дом Есениных.
За столом сидят родители поэта. Отец перебирает стопку газет, мать слушает.

О т е ц *(читает)*. Поэт Сергей Есенин, приехав в Берлин, остановился в гостинице... *(запинается)* «Адлон» на главной улице немецкой столицы и дал... *(вновь запинается)* ин-тер-вью многочисленным журналистам...

М а т ь. Чего он им дал?

О т е ц. Да видать, чего-то важное... *(Размышляет вслух)*. Может, ему в Москве это дали, чтобы там, мол, передать... За границей...

М а т ь. Наверно, не мелочь какую... *(С ехидцей смотрит на мужа)*. А ты его всегда попрекал — бросай, дескать, свои стишки-то сочинять. На них, мол, шиш заработа-

ешь! А что вышло?

О т е ц *(виновато вздыхает, машет рукой и читает дальше)*. Семнадцатого мая того же года поэт встретился с Максимом Горьким на квартире писателя Алексея Толстого... *(Качает головой)*. Фу ты, ну ты! Эк куда наш Серёга-то взлетел! *(Читает)*. Вместе с поэтом была его жена — знаменитая актриса... *(запинается)* Ай-се-до-ра Дункан... Встреча была искренней и тёплой...

М а т ь *(изумлённо)*. Да неужто он — охальник — снова женился?!

О т е ц *(повторяет)*. Его жена Ай-се-до-ра Дун-кан... Женился, значит.

М а т ь. Как? Долган? Она нерусская, что ли? Ему-то она для чего?

О т е ц. Да кто их разберёт? Эти поэты да артисты всегда чего-нибудь намудрят и выкинут чего похлеще. Вот и наш Сергуха туда же...

М а т ь. Ох, сынок-сынок! Головушка твоя непутёвая! *(Мужу)*. Ну, чего там ещё пишут? Кого он там ещё встречал-привечал?

О т е ц. Совершив поездку по Германии, Бельгии, Франции, Италии, на пароходе «Париж» Сергей Есенин, вместе с женой, приплыл на её родину, в Америку...

М а т ь. Куды-куды он приплыл?

О т е ц. В Америку, стало быть.

М а т ь *(потрясённо вздыхает)*. Значит, мы его никогда не увидим! О, Господи, Боже мой! Спаси и сохрани! *(Крестится, отирает концом платка глаза)*.

О т е ц. Да погоди ты! Слушай. *(Читает)*. Четыре месяца поэт пробыл в Америке и посетил все крупные города, в которых Дун-кан давала концерты...

М а т ь. А чего она давала-то? Кому и зачем? Не пойму я...

О т е ц *(снисходительно)*. Ну, выступала то есть.

М а т ь. Пела, что ли?

О т е ц. Нет, танцевала.

М а т ь. Плясала, значит. И Серёга вместе с ней? На гармошке, поди, играл. Он, охальник, это умеет.

О т е ц. Нет. Она одна пляшет.

М а т ь. Ох, беда-беда! И люди за это деньги платят? Анька, первая жена, в типографии работала. Зинка — на машинке стучала. А эта — Долган — на людях скачет! *(Смотрит на мужа)*. О-хо-хо! Не везёт сынку нашему! И чего он в этой Америке забыл?

Хлопает дверь, вбегает Катя с газетами в руках.

К а т я. Маманя! Отец! Сергей домой едет!

О т е ц. Да ну?! Не может быть!

М а т ь. Наконец-то! *(Крестится)*. Спасибо тебе, Господи, что внял моим молитвам! Сколь можно по земле-то скитаться? Чай, пора бы уж и покой обресть... Он едет сюды с этой? С плясуньей?

К а т я *(смотрит газету)*. Ну да. Из Америки они приплыли на пароходе во Францию, а оттуда едут в Москву.

О т е ц. А ну, дай её... *(Взяв газету из рук дочери, читает)*. Из Франции Есенин прибудет в Германию, а затем возвратится в Советскую Россию. В СССР... *(Пожимает плечами)*. Про жену ничего тут не пишут...

М а т ь. Да Бог с ней, с женой! Серёженьку моего поскорее бы увидать да обнять бы его! Большей радости и не чаю...

Сцена 14

Москва. Весна 1925 года. Квартира, точнее, комната Городецкого. Вечер. За скромным столом сидят гости – молодые поэты и молодая женщина Софья Толстая.

Г о р о д е ц к и й. Дело, друзья, в том, что он и сам никак не ожидал, что будет так тосковать по родине. И говорит, что за границей всё другое: и солнце, и луна, и даже небо... Представляете? Я готов ему верить. В мою бытность за рубежом я чувствовал то же самое. И никуда от этого не денешься. Вот так...

О д и н и з п о э т о в. А я помню, накануне отъезда он писал: «Да! Теперь решено без возврата. Я покинул родные поля». *(Усмехается)*. А во Франции, Германии, Америке вдруг затосковал об этих полях! Ну, не блажь ли?

Д р у г о й п о э т. Это не блажь, болезнь... Ностальгией называется.

Т р е т и й п о э т. Слово-то какое красивое! Даже слух ласкает: нос-таль-гия... Женское имя прямо — Анас-та-сия! *(Смотрит на женщину)*.

Т о л с т а я. Меня зовут Софьей, между прочим.

Г о р о д е ц к и й. Софья — значит мудрость. Вот так-то, милые друзья!

С о ф ь я. А почему его в газетах называют «попутчиком»?

Г о р о д е ц к и й. Это Троцкий с Бухариным на Сергея ополчились. С классовых, так сказать, позиций. Они считают, что поэт, пишущий о деревне, в душе ярый соб-

ственник, почти кулак. На худой случай — подкулачник.

П е р в ы й п о э т *(громко)*. А истинным героем поэзии должен быть пролетарий!

Г о р о д е ц к и й. Именно так. Но Есенин слишком привязан к земле, к отчему дому. Ну, что тут поделаешь? Деревня — его родина...

С о ф ь я. И что в этом плохого? Я тоже люблю свою родину.

В т о р о й п о э т *(со скрытой иронией)*. Ясную Поляну?

С о ф ь я. Простите, но это имение моего деда — Льва Николаевича Толстого. Я его не покупала...

Т р е т и й п о э т. Ему повезло, что он стал «Зеркалом русской революции»...

С о ф ь я *(усмехается)*. Скорей, уж повезло мне. Как ни крути, а я — бывшая графиня. Совсем не пролетарский элемент...

Г о р о д е ц к и й *(смотрит на карманные часы)*. Сергея что-то нет, а обещал быть.

П е р в ы й поэт. Он расстался с этой американкой? С Айседорой.

Г о р о д е ц к и й. Конечно, расстался. По-другому и быть не могло. Жизнь есть жизнь. В ней свои неписаные, суровые законы...

С о ф ь я. Законы? Сергей Митрофаныч, вы о чём? Они же любили друг друга! При чём здесь какие-то законы? Я не понимаю.

Г о р о д е ц к и й. И всё же, дорогая, они есть. Во-первых, они оба — слишком разные люди. Ну, в смысле языка и культуры. Он — русский, она — американка. И опять же — причина в возрасте. Она всё-таки на семнадцать лет его старше...

С о ф ь я. Но брак у них был настоящий?

Г о р о д е ц к и й. Ну да. Они даже зарегистрировались. Она взяла его фамилию и стала Айседора Есенина. И, кстати, очень годилась этим.

П е р в ы й п о э т. А его беспробудные знаменитые запои и драки?

Г о р о д е ц к и й. Ну, не надо! С ней он не пил... *(Стук дверь)*. Да! Войдите.

Входит Есенин. В пальто и кепи. Все наперебой: «Сергей Александрович! Серёга, привет! Наконец-то! Ура!..» Поэт пожимает протянутые руки.

Г о р о д е ц к и й *(представляет ему молодую гостью)*. Серёжа, познакомься: Софья Толстая!

Е с е н и н. Очень приятно! Я слышал о вас... Вы — внучка Льва Николаевича?

С о ф ь я *(улыбается)*. Так уж случилось. Я в этом не виновата...

Е с е н и н *(тоже улыбается)*. Но случилось прекрасно! И творцам такого случая не за что краснеть... *(Все дружно смеются)*.

Г о р о д е ц к и й. Друзья! Давайте всё это отметим! Когда мы ещё соберёмся такой замечательной кампанией? Надо пользоваться случаем...

Есенин снимает пальто и кепи. Усаживается за стол рядом с женщиной. Хозяин разливает вино по стаканам.

С о ф ь я. Тогда давайте тост. За что будем пить?

Е с е н и н. За нашу родную землю-матушку! Поверьте мне — ничем она не хуже всех, трижды воспетых, заграничных прелестей. Я понял это на собственной... *(чуть запинается)* шкуре.

Г о р о д е ц к и й. А что там за история случилась у тебя с Маяковским, когда вы на днях выступали в Политехническом музее? Москва слухами полнится...

Е с е н и н. Меня туда пригласили на вечер поэтов, а Володя уже влез на сцену. Набрал воздуху в грудь. А все орут: «Есенина! Есенина давай!» А я в ответ говорю: «Тогда уберите Володьку!» Маяковского тут же стащили, и я стал читать.

С о ф ь я *(со жгучим интересом)*. И что вы читали?

Е с е н и н *(смотрит на неё)*. «Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу...» Ну и далее по тексту.

С о ф ь я *(подхватывает)*. «Это золото осеннее, эта прядь волос белесых — всё явилось, как спасение беспокойного повесы...»

Е с е н и н. Вы это знаете наизусть? Надо же! Откуда?

С о ф ь я. А очень просто — ваши стихи расходятся в списках. И я — одна из почитателей, так уж случилось...

О д и н и з п о э т о в. А наши критики пишут, что стихи ваши упадочнические, чуждые пролетарскому духу. Они не зовут молодёжь к борьбе за светлое будущее. Не мобилизуют нас на борьбу с язвами капитализма...

Е с е н и н. Но что делать? Я уже не могу «задрав штаны, бежать за комсомолом». Да и годы уже не те.

С о ф ь я. Простите, а сколько вам?

Е с е н и н. Уже тридцать. Вполне почтенный возраст.

С о ф ь я. Мой дед в ваши годы ещё не был женат... *(Смотрит на ручные часики)*. Мне пора. Позвольте откланяться, дорогие товарищи!

Г о р о д е ц к и й. Соня! Мне, право, неловко... *(Просяще оглядывает гостей)*.

Е с е н и н. Если вы позволите, я вас провожу.

Софья согласно кивает. Оба одеваются и выходят. Минуту царит тишина.

О д и н и з п о э т о в. На наших глазах случилось невероятное — графиня ушла с мужиком!..

Д р у г о й п о э т. Женщина есть женщина! Будем же снисходительны: их прельщает всё, выходящее из ряда вон...

Г о р о д е ц к и й. Да ладно вам, ребята! Не завидуйте. *(Разливает остатки вина)*. Давайте выпьем за поэзию! Куда нам без неё? Вы согласны?

Сцена 15

Москва. Лето 1925 года. Раннее утро. Квартира Толстых в Хамовниках. Софья и Есенин заканчивают чаепитие.

Е с е н и н *(отставив чашку)*. Спасибо, дорогая! Всё было прекрасно. Лучше не бывает. Кстати, а Лев Николаевич что предпочитал? Чай или кофе?

С о ф ь я. Я этого не помню. Но, по-моему, он любил всё русское. Чай ведь русский напиток?

Е с е н и н. Говорят, что когда-то был китайским.

С о ф ь я. Ах, да... Конечно, китайский! Заграничный. Но русским он как-то лёг на душу... *(Вспоминает)*. Хотя дед мой совсем не любил заграницу. В Китае он, правда, не бывал, но Европу своей привязанностью вовсе не жаловал. Здесь вы с ним похожи.

Е с е н и н. Хорошо, хотя бы в этом... *(Встаёт)*. Ладно. Мне пора.

С о ф ь я *(не очень уверенно)*. Мне тебя ждать? Скажи, ты чем-то недоволен?

Е с е н и н. Нет. Скорее, просто устал.

С о ф ь я *(натянуто улыбаясь)*. Устал от меня?

Е с е н и н *(через паузу)*. Нет. Скорее, от жизни.

С о ф ь я *(встревоженно)*. Устал от жизни?!..

Е с е н и н *(усмехаясь)*. Да. Но не пугайся. Может, это минутная слабость. Не знаю. Врать не стану... Возможно, я уеду...

С о ф ь я *(берёт себя в руки)*. Уедешь? Куда? В Ленинград?

Е с е н и н *(в раздумье)*. Нет, скорее в Грузию. Хочу встретиться с тамошними поэтами. Соскучился я по ним.

С о ф ь я *(обескураженно)*. А у меня, между прочим, лежат твои рукописи...

Е с е н и н. Пусть полежат. Я ещё к ним вернусь...

Кивает, направляется к выходу. Она идёт следом. Через минуту Софья возвращается, бережно берёт в руки исписанный лист бумаги, читает... Звучит голос Есенина:

Жизнь — обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письмена.

Обратись лицом к седому небу,
По луне гадая о судьбе,
Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе.

Хорошо в черемуховой вьюге
Думать так, что эта жизнь — стезя.
Пусть обманут легкие подруги,
Пусть изменят легкие друзья.

Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня.
Те, кого любил я, отреклися,
Кем я жил — забыли про меня.

Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю...

З а н а в е с

Евгений ПРУДЧЕНКО

ЛОВУШКА ЛОБАЧЕВСКОГО

Пьеса-полилог

Действующие лица:

Главный герой. 17 лет назад статный мужчина; сегодня его (или не его?!) хоронят. Пред читателем (зрителем) он предстает в образе «прошлого», сорокалетнего весьма преуспевающего человека (40-45 ему было семнадцать лет назад, теперь ему должно б было исполниться где-то лет 60), семнадцать лет назад пришедшего на то именно место, где его (не его?!) сейчас хоронят. Главного героя зрители видят только в возрасте «около 40-ка». Похороны Главного героя не похороны вовсе в прямом смысле этого (этого!) слова... Разговоры, семь мнений, сомнений, высказанных в «честь» Главного героя у бесформенной ямы.

Метеоролог. Мужчина лет 60-65; не очень, но слегка грубоватой наружности. Прямой искренний взгляд; обтесанный «под интеллигента»; так сказать, настоящий русский мужик. Речь четкая, без заумствований и экивоков. Голос (здесь это очень важно – «голос»! тембр) ровный, малоэмоциональный. Одет просто, без претензий. В глазах искренняя грусть, в словах – печаль; в то же время некая радость за прожитое время рядом с Главным героем.

Женщина. Экзальтированная сорокалетняя дама (экзальтированная слегка, не совсем). Типа европейского. Одета дорого, модно, в некоторой степени безвкусно. Голос не резкий, скорее звонкий. Звонкий, но просящий. У нее плохо получается говорить навзрыд, однако она все время пытается делать именно это. Вычурная жестикуляция, претензии к окружающим даже во взгляде. Для своих сорока лет выглядит миниатюрной «интеллектуальной недоделкой». В «Эпилоге» резко преображается, лицо становится растерянно-вдохновенным, она не знает этого состояния, оно ей не свойственно... Она не знает, что делать с внезапно нашедшим (снизошедшим!) на нее вдохновением. В «Эпилоге» на лице ее испуг с примесью счастья. Причем счастья абсолютного...

Участковый. Мужчина возрастом около 55-ти. Чувствуется выправка. Наряду с выправкой чувствуется и неуверенность. Неуверенность не в словах как таковых, скорее, неуверенность в прошлом, в прожитом. Сожалея о якобы усопшем, Участковый сожалеет о себе. Окружающие не брезгуют и не побаиваются его... но – то и другое вместе. К Участковому не прислушиваются. Он говорит, произносит на панихиде (на панихиде ли?!) правильные слова, к которым никто серьезно и не относится...

Врач. Ярко выраженный рафинированный интеллигент. Слог, мысль ясные, слова правильные, разумные, но все время озирается по сторонам, как бы боясь хоть кого-либо там (в стороне!) обидеть. Обидеть даже словом. В «Эпилоге» одномоментно теряет опаску, преображается, его внутренний страх выходит наружу и тут же растворяется... то ли в окружающих, то ли в пространстве... то ли в могиле (в могиле ли?!). То ли в самом себе... Внезапно обретает одухотворение, не в свободе как таковой, в предчувствии ее!.. При этом Врач не переродился - ему неожиданно стало «все равно!»... Катарсис...

Знахарка. Пожилая женщина неопределенного возраста. Голос мягкий, сухой. Речь размеренная, монотонная. Жесты скупые, мимика застывшая. Говорит скупо, с легкой обидой. В «Эпилоге» преображается до неузнаваемости, сбрасывая не одежды, но личину в виде внутреннего до сих пор неподъемного груза... Улыбаясь, говорит о своей грядущей смерти... Ее, как то ни странно, никто и не отговаривает умереть...

Волчонок. Семнадцатилетний Волк. Голос «за кадром» (который его якобы озвучивает) в крайней степени беспристрастен. Беспристрастен не к происходящему событию, а к самому Волку. Волчонку себя не жалко, он всю свою оставшуюся жизнь всегда, каждодневно будет сожалеть об одиночестве без хозяина (читай: друга!).

Сосед. Самый молодой персонаж на данном мероприятии, ему лет 30, 33 или 35, 37... В его лице – наиболее подробное описание действий и жизни Главного героя. Лицо одухотворенное, но не вундеркинд, человек ищущий чего-то, но именно этого «чего-то» так и не нашедший. В отличие от других действующих лиц, Сосед думает и размышляет не о себе, но только и только о Главном герое. То не кажущееся самоотречение, то высшая степень дружбы, высшая степень привязанности!..

Все действующие лица предстают в пьесе в двух ипостасях:
«сейчас» и «семнадцатилетней давности», включая животное...
Действие происходит «здесь и сейчас», но с семнадцатилетними тому назад
«лирическими отступлениями»...

«Пролог»...

В «Прологе» — у читателя в мыслях должен возникнуть хаотичный видеоряд...
по замыслу там пусть будет всё что угодно:
природа средней полосы России, сельская глубинка, «обесточенные» люди и праздники, фольклорная составляющая. В то, назовём его «иллюстративный ряд», умещаются:
в тексте пьесы, словно по подиуму, проходят Лобачевский Николай,
Гильберт Давид, Эвклид... Колизей, Древний Рим (читателю подсказка — «Древний Рим много хуже, чем мы о нём не думаем»), конь Инцитат... Часы, Биг-Бен, Куранты...
Пусть в мыслях читателя (зрителя) проходит всё что угодно! Самое главное — пусть в том своеобразном «видеокадре» обязательно (обязательно!) будут ОБЛАКА. Облака во всех их внеземных, земных и небесных ипостасях!

Важно:

«Пролог» не должен быть меньше, не должен быть обделён ни вниманием, ни самим читателем, не по объему, нет, но по времени восприятия основных частей пьесы;
не по прочтению текста как такового, но, опять же, по осмыслению...
осмыслению «будущего прочитанного».
«Пролог» задаёт тон всему сюжету, всей теме. Каждая из сюжетных тем ориентировочно должна добавлять дополнительный «экстрим» в часть следующую...
ибо «Пролог» заранее задаёт тон всему действию в целом, всей пьесе,
всему настроению пьесы...
(В отличие от эпилога, который спутывает все «хара́ктерные карты»).

Примечание (для читателя): «Эпилог» — квинтэссенция «Ловушки Лобачевского»!

НАЧНЁМ:

(Пролог лучше всего будет восприниматься
как некий беспристрастный, задающий всей пьесе такт речитатив...
то ли он с неба, то ли из подземелья... то абсолютно неважно.)

Пролог

Хронометр выстукивает марш
Шопена, обреченное пространство,
раскачивая в небе облака,
усиливает траурные такты,
осознавая верх несовершенства
им занятого. Проще говоря,
понятно, что Вселенная погибнет,
неважно совершенно — почему?..
но смертному от этого не легче,
своя рубаха к телу будет ближе
абстрактного скопления орбит,
тех нищенок на паперти галактик.

Кто тщательно усваивает мир ,
приходит скоро к выводу — у мира
есть что-то много большее, чем мы;
исследователь ставит под сомненье
итоги опыта, пытаясь доказать,
что человек и мир равновелики.
На доказательство дается ровно жизнь.
Но речь пойдет в дальнейшем
не об этом.

Наладив время, старый часовщик
всегда поставит стрелки на «двенадцать»,
с той целью, чтоб хозяин выбрал сам
любой плацдарм на стертом циферблате
для наступленья будущего, и!..
Живущим по часам нужны событья.
Вторгаясь в неизведанный рубеж,
вторгаешься в иное измеренье, —
сейчас оно изменится! Но там,
за свергнутыми цифрами, опять
обычный ход реальности. Обычно,
действительность — вот все, что нам дано
для созерцанья внутренностей мира.
Лишь маятником скальпель промелькнет,
отпарывая «до» во имя «после»...
Проблематично их состыковать,
две противоположности. Тем самым
изобретатель времени хотел
нам показать, что хрупкий механизм
не подлежит в теории ремонту.

Оглядываясь в прошлое — мы спим,
заглядывая в будущее — бредим,
а в настоящем — скучно, каждый день
одно и то же... да, одно и то же.
Окружность монотонности, того,
что через миг уже не существует,
но совершает к вечности подкоп:
двенадцать, три пятнадцать, полшестого.
Взгляд пристальный из замкнутого круга
фигуры расставляет по местам.
«Festina lente»[1], выдумали в Риме,
когда хотели время обмануть
(тем временем в сенат проникла лошадь).
Великие слова теряют смысл,
когда их произносят фарисеи;
у ханжества типичный взгляд на мир.
Однажды человек уходит в лес
от времени как формы обстоятельств;
а на часах застывшее «12».
И вряд ли пополудни.

Место действия:

Небольшая ОВАЛЬНАЯ ЯМА. В ЯМЕ (расплывчато) — ТУМАН или ДЫМ...
Не погост, обычное дикое поле, поблизости лес или пролесок,
вдалеке деревянные, одноэтажные деревенские дома.
Осень, ещё зелёная, не холодная. Слякотный день. Будто бы похороны.
Хоронят то ли человека, то ли облако, то ли... но это не похороны.
Семь монологов о вроде бы как усопшем человеке, смерти которого никто не видел.
Причем с подвопросом: «А усоп ли он?!»

[1] Festina lente — фэстина лэнтэ *(лат.)* — букв. «торопись медленно»; не делай наспех.

Часть 1

Метеоролог

«В тот день должна была прийти зима.
Но не пришла. Забарахлили разом
радиосвязь, барометр. Разряд
статический разрушил атмосферу,
смяв щупальцами небо под собой,
жонглировал что тряпкой облаками.
Безумие, удел незащищенных,
упрек благополучным городам,
в столицах, там такого не допустят.
В провинции покладистый народ,
а вдруг произойдет — и слава Богу;
век сносят с нестерпимым благородством.
Любить такое, знаете ли, подвиг!
В краю любом извечно недовольны
погодой и правительством, а здесь —
уж сколько лет как все и всем довольны.
Задумчивая, вдумчивая местность,
что редкость по таким-то временам.
Я почему запомнил этот день...
так ведь и сам был крепко озадачен.

Ударил ливень, мраморной стеной
путь перекрыв во внешнее, внутри же
пытался все живое утопить.
Вода лилась, не литры — мегатонны,
как жидкость, источающая страх.
Нет, легковесен «страх», скорее, ужас
был в капле каждой... платой за долги.
Потопы не вмещаются в прогнозы,
иной и на неделю, и на год
вопьется в вымя неба. (Мне удобней,
наверно, говорить так. Говорят,
«с кем поведешься...», видимо, своим,
своим я стал в округе, значит, местным.
Язык родной он тем-то и хорош —
в нем не слова важны, но подоплека.)
Продолжу. Были мы погребены
за мраморной стеной, под сенью склепа
сторонний бы не смог зайти извне.
Вдруг: яркий луч и солнечное небо.

Поверить невозможно? Вера — труд!
Причем неблагодарный, тяжкий очень.
Простое совпадение? едва ли.
То праздность дань напраслине лихой.
Дальнейшее, позднее оказалось,
не подлежит сомненью вообще:
сомнение, по сути, преступленье
пред тем, в ком сомневаешься, а в нем
никто и никогда не сомневался;
как данность, просто верили — и всё!
Так будущему верят. И кукушкам.
Соседи стали больше доверять
друг другу; вне сомнения, погоде.
Он говорил, и все происходило.
Я столько раз пытался заглянуть
за ширму «завтра». В «завтра». Безуспешно.
Себе не верим мы, приборам верим.
Когда же начинает управлять
железо нашим миром, вот тогда

перестаем мы верить и себе,
и ближнему, и Богу...
И погоде.

Природа, с сожаленьем доложу,
запутанная в сложности структура:
кочующие массы пустоты
определяют климат, безусловно,
мешая формам жизни; вместе с тем,
кипят моря, вздымается земля,
то кара не убогим — обреченным,
и если б не привычка к размноженью;
усмешкой покорителям стихий
надежда на безропотные вздохи,
мол, скоро все пройдет само собой.
И! что в трухе сухой увидит страус?! —
лежащие в горячке города?..
На карантин, пусть, бедные, очнутся,
очистятся. Он так и поступил.
Да кто в масштабах мира одиночка?!
Песчинка дна морского. (Не о нем.)
Природа отторгает пустоту,
прорехи те синоптик заполняет
прогнозами погоды...
что абсурдно.

Такая вот работа. Как назло,
забарахлил барометр. Я вышел
под водопад, чтоб малость поостыть
от ожиданий жуткого. Блестела
от молний вся округа. Между тем
по флюгеру усиливался ветер,
на ураган уж точно б потянул.
Не лужицы, озера по колено.
Воочию увидеть катаклизм
— мечта метеоролога, ведь это
природный апокалипсис. Удар!
и словно мир исчез. Прошло мгновенье.
Отсчитывал, как принято, года
вердикт кукушки. Тесно стало лешим
в берлогах душных. Радуга взошла
над синим небом финишною лентой.
Струхнул немного я, не скрою; где...
немного приукрасил, не нарочно,
не красного словца, — основой лжи
нередко выступает потрясенье.
Из леса вышел кто-то...
посторонний.

Всегда мы хороши; а как понять?
В чем был одет, не помню, но по моде.
Селение приветствующий взгляд
в нем выдавал заезжего. Из леса
он вышел как-то буднично, курил,
в руках держал какую-то зверушку.
Живую, не игрушечную, нет.
Но и не гость, — прошел не озираясь.
Приблизился ко мне, как будто мы
знакомы были с детства; так свободно.
Симпатией к нему проникся сразу
(с акцентом на доверие). Всему
на свете объяснение есть, лишь,
лишь перст судьбы необъясним порою;
как выкрики в торжественном молчанье.
Разговорились. Сели за столом.

От выпивки он сразу отказался:
«Так много всякой истины в вине...»
Он нашим был по духу...
не по браге.

Не делал ничего он. Просто — жил.
Что, согласитесь, в сущности, немало
для этих мест. Пришедшему нашлась
избушка, развалюха. Первым делом
он выложил камин из хрусталя.
«Обман?»... лишает веры в мирозданье,
а после мироздания — в себя...
добавить больше нечего. К чему
подробности? Изматывают память,
затягивают в мелочность. Оставь
жизнь хоть на миг, растащат на детали.
Доверить мир деталям — никогда! —
назойливы, ничтожны, вероломны;
как ложь под микроскопом. Да, в тот день
могла прийти зима. Но не пришла.
Тянулось лето. «Чем я занимаюсь?»
«Не видите, хороним облака?..
а вы, должно быть, прибыли... я знаю,
он говорил... нет, не о вас — столице».

Место действия:

то же...
Взгляд (слух?!) читателя (должно быть!) медленно переходит на Женщину.
До этого момента её не было видно... Она не волнуется, но дрожит.
Когда она начинает говорить, на мгновение из-за туч выходит солнце.
В тот момент, когда Женщина заканчивает свой монолог —
начинается мелкий обволакивающий дождь...
Дождь тот обволакивает только мизансцену, действующие лица остаются сухими.
(Этот «финт» символизирует слёзы... чьи слёзы? — то неважно!)

Часть 2

Ж е н щ и н а

«Пункт населенный? Времени дыра!
Отверстие в беспамятство! приехать
оттуда, в здравой памяти, — сюда?!
где тени испаряются, в прореху
уроков географии! Чего, чего же ради?!
золото на бронзу...
да, сильно жмут большие города,
где небо избавляется от солнца.
К природе, говорите?! это что,
тупик цивилизации — природа?
дремучий лес и зимы по полгода?
острог провинциальных новостей?
трясина популяции? Болото.
Забраться в топь и спрятаться под ил,
увязнув навсегда в липучей тине?
Медвежий угол. Partie de plaisir?[1]
Après nous le deluge?[2] В его ли стиле?
Останется загадкой, как укор,
немой укор немого! и немым же.
Побег инициирован, возможно,
не им, а мной. Неправда бегства в том,

[1] Partie de plaisir — парти дэ плэзир *(фр.)* — увеселительная прогулка.
[2] Après nous le deluge — апрэ ну лё дэлюж *(фр.)* — после нас хоть потоп.

что некуда исчезнуть, исчезая.

Поступок. Опрометчивый, но шаг.
Наивный способ сделать мир честнее,
освободив себя от шелухи
инстинктов и условностей, всего
вмещающего суть существованья
в набор режимных правил, заодно
от личного присутствия избавив
тебе не посвятивших этот мир.
Цена великодушию — сиротство.
Напрасна эта жертвенность. Пуста.
Мы жертвуем собой, не испросив
согласия у жертвы: «Ты согласна?»
Бульдозером смяв символы и даты.
Остались только выцветшие сны;
и жалость, притаившаяся в сердце,
к себе самой, и ноющая боль...
Спасибо вам! и помощи не надо,
не надо и лекарств, приму потом,
когда минует боль, ведь так надежней,
не успеваешь снова занемочь
от той же боли, той же боли... «Что?!»
Газет он не читал; принципиально.

Мы жили как-то странно, ну, как все;
какие-то обыденные речи...
и словно бы сквозь сон, из года в год.
К рутине привыкаешь постепенно:
подъем-отбой, работа-выходной.
Такая гармоничная... «тоска!..»
Пространство ощущать без перспективы
подобно помешательству, твой мозг
становится придатком часового
устройства механического, ритм
приводит к истощению (и к срыву)
рассудка. Вы уверены? Я — нет.
Теории бледны: а как иначе?..
ты ищешь в чем-то потаенный смысл,
в искомом он отсутствует, в итоге
довольствуешься выбором чужим.
И временем. Но, сжившись с инородным,
становится как будто саркофагом
один из двух, другой же в нем лежит...
благоговейно вечность созерцая.

Все началось той ночью. Не спалось.
Прислушалась, там новые движенья
что поступь народившихся веков,
небесный шорох, ветер океанный...
Он, по ночам, я точно знала, — мой.
Так мне казалось; видимо, казалось.
Из ниоткуда — грохот тишины.
Всех душ заблудших... в месте одичанья
хор. Ангел, воспаривший над листом,
такой весь из себя... одушевленный.
Земного шара тень, необозрим!
бездонный взгляд, смиренное молчанье
перед мольбой; да нет — сама молитва.
Слова я поняла, вот только поздно:
там «не найти», выходит, «потерять»;
и «лучше поздно, чем...» — ничем не лучше!
Я б все ему смогла простить, клянусь!
но это было хуже, чем измена.

«Sub specie aeternitatis»[1]. «Sic!»[2]
«Errata»[3]. «Vade mecum»[4]. Словно брызги.
Интуитивно что-то осознав,
я шла, пока могла. Пока могла...
пока могла, я шла. Могла недолго.
Слова как воздух, чаще — горький мед,
без них мы задыхаемся, в них — вязнем,
копаясь в пустяках. Не знала я —
он прятался, а спрятаться не мог
(попробуй, спрячь звезду на небосклоне).
Хоть как-то удавалось это днем...
Им тесно во вместилище покоя,
пространства без размеров, тесно там
ось потерявшим, якорь, безутешным,
терзающим себя. Чудесный свет
переполнял наш дом молочной пеной,
похожей на ночные облака.
И я туда без жалости бросала
клочки постыдных фраз, за страх свой мстя.
А он курил, теряясь в дымке белой.

Я злилась. Опрометчиво, — на что?
Сгорала в подозрениях. Наутро:
нетронутый, обычно, писчий лист,
когда-то белоснежный, — поседевший.
Очнувшись, шел на службу, где тогда
трудился, обеспечивая жизнь
мою, дневную. Той же, полуночной,
незримой жизни вещи ни к чему.
Но с кем он разговаривал ночами?!
Оставить все, уход свой оправдав:
«В высоких креслах трупы восседают»;
и лавры оставляя мертвецам.
Так вот — уходят? Так вот — убегают!
Дабы не жить все время впопыхах.
Завидуют большие города
мечте любой, особенно — красивой!..
как форме торжества существованья.
Мы вскоре с ним повздорили, и я
ушла, ночей не выдержав, к дневному.

Все потому, что не было меня
в мечтах полночных. Не было! Да ладно,
теперь не сожалею ни о чем.
Я вскорости оставила дневного,
вернулась — пусто. Каялась? Ждала!
В прихожей — ни ответа, ни прощанья,
прощением ненужные ключи;
и слоем пыль, беспомощность потери
захлопнутого прошлого. Вдохнув
от дыма дым, почувствовала зависть.
Хотела все забыть и не смогла.
А, года через два, возникла дочь...
вглядитесь в фотографию — похожи?!
одно лицо, ей здесь уже пятнадцать.
Ну, как «не может быть!», смотрите, есть же.
Нам не дано невидимых следов
увидеть отпечатки. То незримо.
Страдал он кахексией. Доктор, тот,

[1] Sub specie aeternitatis – суб спэциэ этернитатис *(лат.)* – с точки зрения вечности.
[2] Sic! – сик *(лат.)* – так!
[3] Errata – эррата *(лат.)* – ошибки.
[4] Vade mecum – вадэ мэкум *(лат.)* – букв. «иди за мной»; путеводитель, карманная справочная книга.

конечно, знает, — вечная усталость.
Устал он от усталости. Устал.
Вы сообщили что... Он стал нормальным?»

Место действия:

то же...
Взгляд (спор!) читателя медленно переходит с Женщины на человека в милицейской (полицейской российской) форме (фуражке, бушлате), но без погон и прочих знаков отличия. Человек-Участковый чешет уши, берёт себя за нос, он расстроен, расстроен искренне.

Часть 3

У ч а с т к о в ы й

«Сказать по правде: скучно. Но зато!
звучит как, «должностная переписка»!
бумагу превращает в документ
обычная печать и подпись чья-то...
а дел и без того невпроворот;
уж лучше пусть священникам доносят
о собственных делах, какой-то прок.
Не знали мы, однако, до поры
о вашем, виноват, существованье,
копаясь в стоге сена все равно...
и ваш визит случайная формальность.
Ну, как вам, с позволения, «дыра»?
гостеприимна? К избранным! К сердечным!
Гостей незваных деды наши здесь
в грунт втаптывали, ордам, легионам
из смерти угощенье поднося...
развеяв пыль во времени, во мраке,
свет веры справедливой отстояв.
Вы по-французски, знаете ль... не очень.
И по-немецки. И по-польски. Ну
не любят здесь «спасителей» России!

Их кто-то звал?! Вы видите тот холм?
Конец, в конце концов, один и тот же —
там падаль преет! Взгорье зарастет,
как снова прет бесовское отродье
из всех щелей оравой жадных крыс.
Холмов не напасешься, всех — в один!
пущай гниют с бурьяном вперемешку.
И так вовек: «Кто к нам с мечом придет,
тот от меча, в итоге, и погибнет!»
По Александру Невскому всегда
живем. Но где взять силы для прощенья,
прощенью что никак не подлежит?! —
нельзя спустить такое супостату!
А наш, гляди ж, пошел на Холм Поганый.
Вначале я подумал — заблудился.
Так нет же, осмотрелся, закурил.
Возвел на руку скорую оградку.
И все шептал, шептал, шептал, шептал.
Ордынцев и тевтонцев отпевал?!
За землю русскую он там молился.

Не все так верят, молча и светло.
Хоть жил в миру, но к миру относился
без должного участия. К себе
был честен до кристальности: «Без веры
куда идти?» То в будни говорил,
а по великим праздникам шел к храму.
И будто бы все время прятал что-то.

Так часто прячут мысли от себя
(нам не с кем поделиться пустотою).
С доверием был редким, убеждал:
«Есть тот, кто сомневается в других,
в себе первоначально не уверен...»
Огромный, несомненно, человек.
Не слышал слов напрасных от него я,
он словно разговаривал с судьбой:
на равных, откровенно, без излишеств,
спокойно и уверенно. Легко.
Вот так, без лишних слов, любить отчизну?!
Он был намного набожнее многих...

...Ничто так не тревожит по ночам,
как мысли об отечестве. Тревожит,
какой же зад воссядет на престол?
что ветры принесут простолюдину?
Народ, считай, и есть тот самый трон!
опора! слабый вес приводит к смуте
(излишний вызывает мятежи),
за смутой вслед приходят чужестранцы,
подай им град московский; дурачье!! —
вам по зубам народная дубина?..
а всё ползут! попыткам несть числа,
на каждую — свой Минин и Пожарский.
Воистину, великая страна...
Храни ее, Господь, на вечны лета.
Вполне имеет право оттого
не замечать букашки-государства.
Так и не замечает ведь! хотя... —
закон трактует чтить тела букашек.
И если б не придворная игра,
борьба за скипетр, владение престолом.

Не сразу стал своим он, это да.
Общались мы с людьми такой породы,
конечно же, нечасто. Никогда.
Смущало ли его великодушье?
Вполне возможно. В мыслях и в делах
такая проницательность, во взгляде.
Он видел то, увидеть что нельзя:
«В одну нам землю лечь, но с верой разной»;
а я еще надеялся понять!..
так примитивно — наизнанку душу,
так невозможно — наизнанку жизнь.
Под боком доказательство: возможно.
Молва людская как-то стороной,
но обошла; жил тихо, незаметно.
Пришла пора уйти — ушел. Куда?
Как некий ритуал, как чувство долга.
Уходам неизвестна их цена.
Вторгаться в невторгаемое — поздно.
Мне до сих пор покоя не дает
сомнение одно — как вспышка света —
ведь это мы ушли... а он остался.

Высокие материи, — листва, —
мучение и совесть диссертантов...
за кронами дано существовать
лишь избранным, на то он и избранник.
Народа слуги?.. хуже потаскух,
те хоть кому-то радость доставляют;
речь не о них сейчас, я говорю
о миллиарде — и неоспоримом —
намного большем, вот в чем парадокс.

В шкафу любом при случае улики
отыщутся — скелет существовал!!
Свидетельство обратного — могила
как алиби бессмертия. Зачем
мир странно так устроен, раз нужны
и фактам очевидным подтвержденья?
Зависит, к сожаленью, не от нас
дальнейший ход событий, совершенно;
а будущему важен результат.
Он говорил, что жизнь полна коллизий.
Не понимал я многого. Но верил.

Достойный, несомненно, человек.
Хотя и без фамилии. Так что же?!
другой, возьми, с фамилией, — песок;
наш шире — механизм часов песочных,
с пожизненной гарантией. Шел день.
Ушел, как все бездарное. Шел вечер.
С околицы в деревню он вошел,
в руках держал комочек мокрой шерсти;
был паспорт, как положено, печать,
фамилии там не было, был прочерк...
а что я мог сказать? ведь паспорт — был!
действительный, а это много значит
для идентификации персон,
явившихся к нам, видимо, не с неба.
В чем, собственно, виновен гражданин?
Чему мы платим дань, инициалам?
Я мог бы и составить протокол,
а что писать, «изложенному — верить»?
Вы — верите? Вот, фельдшер подтвердит,
— есть жизни без лекарств...
и без вопросов».

Место действия:

то же...

Взгляд читателя, внимательного читателя, медленно переносится, очень медленно переходит на Врача. Тот нехотя негодует, что, разумеется, игра.
Выходит — но очень ненадолго! — солнце.
После монолога Врача солнце тотчас исчезает. Кажется, что навсегда.

Часть 4
В р а ч

«Товарищ капитан, он таки прав
(когда б ни путал фельдшеров с врачами).
Такое дело, «власть», но и при ней
необходимо выглядеть прилично.
Недомогают власти, и тогда
хворают им подвластные, стремясь
хотя бы внешне выглядеть прилично;
как некая державная болезнь,
из года в год; а лечатся наркозом.
За что нам пустота?.. за созерцанье;
где мы живем?.. повсюду и нигде;
за что страдаем?.. ни за что. Вот так-то.
Народ впадает в спячку, а ему
тем временем отказывают в главном...
эпоха профилактики ума...
на «пережить!» не хватит целой жизни;
что телу остается? только ждать,
блаженствовать в немом долготерпенье.
В глубинке люди верят не словам,
но их произносящему. Так странно...
ведь ты как Бог!.. особенно когда

диагноз произносишь по-латыни.

Провинциям неведомы следы
всего происходящего. А есть ли
в происходящем этом тайный смысл?
Не хор творит историю, но случай;
слепым уполномоченным судьбы.
Что человек? — акт недоразуменья.
Природы царь обязан не болеть,
а здравствовать. Обязан быть счастливым.
Вы видели счастливцев? Я встречал.
Один процент, — как атавизм рая, —
один процент. В домах умалишенных.
Хотя... что смертный может знать о рае.
Мы тут же обрастаем пустотой,
лишь только в мир появимся! вот мера
всех наших сил, потраченных на жизнь.
Хорошее проходит незаметно...
набросок, штрих, случайный эпизод.
Мы, собственно, и жизнь не замечаем.
Пуста она. Особенно чужая.

Я ехал за романтикой, сюда,
начав жизнь трудовую на «отлично»...
Мечтаем о вершинах мы, зачем?
вне знаний кто мы? — группа дилетантов;
мы грубое сырье вне ремесла.
С годами истираются апломбы.
Мечтам никак нельзя служить трухе,
мечте служить достойно идеалам.
Так вот: стоит романтик, край земли,
вверху тоской расплющенное небо,
за плотным слоем тучных облаков
скрываются, по-видимому, звезды,
и сумерки беспамятства, броней!
Отсюда бы бежать, да хлынул ливень;
— укрылся, пережду и убегу...
Не Бог творит историю, но случай...
а нимба над ним не было, заря,
увидел я зарю, решил — останусь...
Скажу об этом так: «Возможно всё!»
Товарищ капитан, он таки прав;
когда б ни путал фельдшеров с врачами.

За много лет всего произошло...
минувшее протиснулось в мгновенье.
Как ты ни нежь песочные часы,
песок имеет склонность к истребленью,
в том проза и поэзия песка,
в нем лирика отсутствует. И напрочь.
Вдыхая прошлой жизни едкий дым,
мы будто окунаемся в то пламя.
Он пожелтевший номер «Новостей»
до дыр истер, — газеты умирают
через неделю, максимум, — листал
из года в год один и тот же номер
(замечу, выражение лица
при этом абсолютно не менялось),
там кто-то рассуждал об облаках,
что в них, мол, конденсируется память.
Конечно, профанация. Всегда:
один придумал, рой опровергает.
Гипотезы не любят тишины.
Все кончилось по-будничному — фарсом.
Сторонники, должно быть, ликовали.

Всегда одно и то же за окном...
Откуда был он родом, я не знаю.
Да и забыли, видимо, спросить.
Забывчивость есть суть великодушья:
забывчивые люди так щедры
на искренность, откроют дверь любому;
открыли и ему, не испросив
ни имени, ни отчества, доверье
— обедом накормить; то в городах,
там все же нас встречают по одежке...
В краях медвежьих проще, от щедрот
готовы поделиться даже прошлым.
Страх перед гостем вовсе не присущ
на родине труда... Не капитала.
Сложна терминология? есть труд
— основа всех богатств, но для другого;
совместных точек мало — у «других»
общенье с миром... что через суфлера.
Имущему и нечего сказать?!
Та вежливость приводит к отчужденью.
Так мы и так давно уже чужие.

К грозе идет все, видимо, к дождю...
Восточный привкус чайных церемоний,
павлиньих перьев ветер, нежный звон
стекла венецианского, шум сада,
взмах крыльев над Атлантикой ночной,
густая бриллиантовая пыль
за воплями большого водопада...
Табак был не особенно душистым,
но дым!.. как приглашение в турне.
Так странствовать возможно только в бездне.
О чем он думал? Думал или спал?!
Как будто видел сон один и тот же.
Всегда одно и то же, словно блик
от так и не свершившихся событий...
Из слов калейдоскоп. Таких родных.
Из букваря вернувшихся. Из детства.
Он что-то нам пытался рассказать,
что мы должны б забыть не позже завтра.
Я иногда захаживал на чай...
— всегда про жизнь. Но интонационно
из жизни выделялись Облака.
Спасибо Гиппократу, повезло,
— зашел я в дом лечить, так и остался.
Экспертов век закончился, увы.
Теперь дано свирепствовать снаружи
тьме неучей с безветрием внутри.
Где нет сакраментального — нет тайны.
Тут только одиночество и бедность
есть самые надежные друзья...
Заведую диагнозами, здесь...
Но к смерти не был он готов! ну не был!!
Конечно, подозрительно: «Здоров!»
Здоровье ведь не просит доказательств.
Нужны ли нам свидетельства того,
что человек не может жить, не хочет
существовать так более, страдать
от бесконечно познанного? Мир
с улыбкой будет пестовать больного.
Здоровых отторгает этот мир.
Здесь жизнь как полномочия слагают.
Рецепты счастья, видимо, искал...
Ответить только некому — нашел ли?..»

Место действия:

то же...

Внимание читателя медленно переходит на Природу. Видовое кино, если можно так выразиться, что ли... Расслабление той самой природой. Вдруг — читатель, взгляд читателя неожиданно падает вниманием на Знахарку... Смотрит (смотреть должен!) долго, будто бы впитываясь в глаза Знахарки...

Часть 5

З н а х а р к а

«Не исцелить нам травами себя.
Не излечить молитвами отчизну.
Нашел. Нашел. Доверчивы врачи.
Рецепт ведь предназначен для больного
как форма привилегии. Вокруг
на сотни верст дух жизни богатырской,
здоровыми б расти и умирать...
о счастье не догадываясь вовсе...
не здесь оно лежит, в первопрестольной.
Попробуй, тронь вес воздуха в руках.
Нас нет ведь даже в списке населенья
бескрайностью раздавленной страны...
живем, как будто гетто для героев.
А он приехал — золото, не кость,
по жилам кровь не в меру голубая.
С годами, правда, сгладились различья.
Но форс остался, выправка и форс:
всегда как на парад, а в телогрейке;
породу ту нигде и никогда
не скроешь. И врожденную усталость.
Подняться надо мхом немудрено...
возвыситься, став лучшим среди смердов.

Нам нужен человек, а мы ему
отныне не нужны... вот повод к бегству.
Там время изнуряет как борьба,
и не за жизнь, но за существованье.
Там женщина была. И не была.
Он отрубил все прошлое. Как умер.
Смотреть на бег хромого от судьбы
смешно со стороны. До боли в сердце.
Свою дано ли память обогнать?
Важна не ампутация — прозренье.
Тут надо быть готовым ко всему,
просторы для острожников опасны.
Опасна и свобода; для того,
кто к ней не приспособится — тем паче.
Ворота нараспашку, и душа,
наш гимн гостеприимству: «Заходите!»
Подвох какой-то скрыт в небытии:
душа цены как ценность не имеет.
Лишь в сказках возрождаются опять.
К нам ехать умирать бы!.. этот, выжить.

Притворство так и лезло из него.
«В чем выражалось?» В сущности, не знаю.
Поди ж ты, невозможно целый день
дрова колоть, к дровам не прикасаясь.
Гостей не привечал. Но и не гнал.
Приветлив был со всеми. Но не слишком.
Охоту и рыбалку не любил.
Часами мог копаться в огороде
среди травы. Жил словно в облаках...
Был рад всему. И это раздражало.

Вина не пил; пыталась предложить,
отказывался, пусть интеллигентно...
вот так вот игнорировать людей?!
Его не обряжайте в добродетель.
Кто нас от прегрешений отвращал,
тот пусть за нас и ратует! Цементом
миров иных, разрозненных времен,
одна лишь память, в форме сумасбродства.
Все время размышлял о чем-то, так...
как будто выступал перед вселенной.

Я выйду спозаранку, он сидит,
крылечко ошлифовывает задом,
штаны до дыр, хорош аристократ!
Какой ты принц, коль ладишь самокрутки?
Тут надо начеку... у вот таких:
кисет в руках, за пазухою — камень,
чтоб через год использовать пращой.
Газет он не любил. Заборов тоже.
Вся высота в деревья и в столбы
давно от нас ушла, стоит бездушно,
ни неба, ни земли, кромешный лес;
и время по проселочной дороге...
В грязи увязнув, ждем, «куда идти?»
Но вся она моя, моя Россия...
С соседом повезло ему... — стоят, —
наверно, так общаются немые, —
подобно пням, глядят через плетень,
друг другу улыбаются. Так странно.
Не странно улыбаться, странно жить,
не говоря ни слова, понимая...
Значительно выращивал цветы...
«я вот — цветы, вы — овощи». Мы — быдло?!

Зачем он посещал Поганый Холм...
поклоны бить паршивым басурманам?
Додумался! Вбить колья из осин
отродьям этим, чтоб уж и не встали.
Ходил зачем он к Чудо-роднику,
коль воду пил, как будто похмелялся?!
Водицей той мне б сына воскресить!
вот только тела нет, в плену на части
разрезали... снимать нательный крест
сын не хотел, так с верой смерть и принял;
и родине, и Богу присягал...
а мне как приговор: «Пал смертью храбрых!»
.....
.....
.....
.....
Солдаты наши после уж... знай, враг,
не прекословь ты витязям! — не надо!!

Случилось как-то... летом выпал снег.
Не долетая, в воздухе и таял...
с той стороны он кажется иным...
до боли белым, видимо, не черным.
Хотя, неважен цвет, существовать
намного проще вне пространства горя;
ловушка — цвет! не видим мы его.
В вопросе этом где-то Лобачевский
во мнениях с Эвклидом разошлись.
Не знаю я, откуда это знаю!..
Как только узнаёшь с изнанки мир,
перестаешь быть, собственно, изнанкой;

и там, в «извне» теряются следы...
Вы знаете, а я его простила...
За что? Ну а за что прощают боль?!
Он для меня был этой самой болью.
Врачуем же мы травами себя...
вот так бы и молитвами — отчизну.
Ведь родина как жизнь... она — всегда.
После него осталось много света.

Без грусти не смотреть на Облака,
на русские пушиночки. Взгляните —
в бессмертие плывут! сквозь пустоту,
над пустотой, собою подминая
все ту же пустоту, как вечный сон;
блаженные в смиренном превосходстве,
всесильные! не будь иных пространств,
они б весь мир собой заполонили,
теплом своим... балласт — раз мир забыл
о слове «справедливость»; справедливость,
когда и пень с забором — высота.
Исчезнет все вокруг, а вы живите!
Моргнешь едва, и с ветром улетят.
Дотронешься, рассыплются дождями.
Глаза закрой — увидишь облака;
в пределах допустимого, вне тайны,
оглянешься на небо — ничего...
лишь над землей летят воспоминанья.
Да, он мешал, как совесть он мешал.
Не к месту речь, — воспитывал волчонка».

Место действия:

то же...
Читатель (автор?!) медленно переходит вниманием с рядом стоящего Соседа на старого волка. Волк своеобразно просит у Соседа поддержки.
Однако Соседа видно ещё только наполовину... В процессе разговора-монолога волк преображается в милого маленького Волчонка...
Волк, он им, Волчонком, он им и остаётся до конца, до самого эпилога...

Часть 6

В о л ч о н о к

«Как странно конвульсирует земля
под натиском воды, — как лязг металла, —
когда в глаза заглядывает смерть...
в норе нас было трое — обреченных —
пропала мать, и некуда спастись;
а на поверхность вынесла случайность...
вот так и появляется случайность,
по-видимому, вспомнив не о нас...
На что нам уповать, где все так шатко?
На перст судьбы, единственно. На нем
и держится вся масса мирозданья...
Бьет зло добро, потемки гложут свет.
И только пустота — монументальна!
А взгляда человечьего объем?..
Он видел то, что видеть невозможно.
Я не хочу здесь никого задеть...
надеюсь, никого здесь не задену, —
все люди так тщеславны в темноте:
не видят, но уверены, что видят.

Спасенье проходило мимо. Вдруг!
мы встретились глазами. Что увидел?
ядро стереометрии — «объем».

Так случай познакомил с...
Не образ мыслей формирует душу.
Пуста терминология, когда...
Глаза и уши, — вот что нам дано
для восприятья правильности мира, —
не обонянье, нет — не пахнет мир;
с годами выдыхается и память;
но прошлое становится иным,
великие события — мельчают.
Мельчают, раскрошась под прессом лет.
Входящему в минувшее вторично
а надо ли принюхиваться к снам?
Увидев то, чего в помине нет
и не было — усопшую натуру —
бродяга произвольно возведет
в ранг истины любое заблужденье.
То клирики на вечность претендуют
и верят пустоте. А пустота...
а пустота она... гигроскопична
(вот «hygros» бы на «chronos» заменить...).
В воде спасясь, во времени утонешь.
Сжирает Хронос все, включая запах.
Но я отвлекся... Мы пришли в деревню...

в которой знали очень мало слов;
общались, нет, не знаками — делами.
Слова — пролог, но дело — эпилог.
А некролог всего лишь обобщенье,
своеобразный синтез слов и дел,
которые, увы, неразделимы.
Любое слово — парафраз поступка,
будь то деянье, акция, протест,
жестокость, преступление, злодейство.
Безмолвие — великое искусство.
(Молчать, однако, надобно с умом!)
Мадам здесь говорила о словах...
что может быть безнравственнее слова?!
Любого! Засорители пространства
слова. На них не экономят люди.
На чувствах, мыслях, вере... даже снах...
на жизни экономят. Но в словах
бескраен люд. Возможно, так и надо.
Посулы не вредят тому, кто спит.
Придя сюда, он понял, вероятно,
что... спящие достойны уваженья.

Дабы случайно их не разбудить —
слова произносил предельно молча.
Отлично разбирался в падежах.
Особенно в творительном. Прекрасно
мог говорить на разных языках,
мне непонятных. Чаще же — молчал.
Кто много говорит, тот засоряет
собой эфир. Слова имеют вес?!
Молчание — есть уваженье к людям,
не знающим, но помнящим тебя.
Так память может стать альтернативой,
не прожитому — сказанному. Лишь
со мной он был предельно откровенен.
Особенно о женщинах. О них
мог вспоминать не то чтоб осторожно,
компактно, — цвет волос и глаз, размер
характера. А сам был безразмерен,
точнее — необъятен. Нет, не то... —
он бесконечен был. Да. Бесконечен!

Что значит слово «кровь?» Своя? Своей страны?
Вот вы поймать пытаетесь на слове;
слова всегда некстати задают
параметры беседы. Легче с миром
общаться молча; в нем намного проще
сродниться с одиночеством. Сплетён
весь шар из параллельных одиночеств.
Молчание — есть оболочка правды.
Слова — они всегда — обшивка лжи.
А ложь, в ее бескрайних проявленьях,
он не приветствовал. Вполне логично: что,
обман — по сути — та же западня
для будущего шага. Осторожно
шагает кто? Обманщик. Он шагал
осмысленно, масштабно... Бесшабашно
пространство расступалось перед ним.
Все говорил: «Материальна мысль...
Подумаешь — здесь; там — все происходит».
Мне кажется... он управлял судьбой.
И благо — думал только о хорошем.

Отсутствовали цепь и поводок
в наших людских взаимоотношеньях.
Я в лес смотрел, а он меня кормил.
Побег?.. — то суть предательства. Остался.
Зов крови? Я б на привязи ходил,
себя при этом чувствуя свободным.
Что привязь? Время... И, оно, — «сегодня».
«Вчера» и «завтра» — параллельный мир,
его уже (еще) не существует.
Свободный индивид свободен в главном —
в распоряженье временем своим.
Свободен тот, кто, не считая дни,
живет не по часам, а по погоде;
и отдает дань Времени лишь тем,
кто исчезает в параллельном мире.
Каким вердикт присяжных будет? «Жил!»?
Давайте без сентенций. Есть улики?
Опередивший гибель человек,
по сути же — опережает Время...
Он вольнодумцем был... Великодумцем.

Куда исчез?.. Я не желаю знать!..
В пространстве понатыкано капканов...
Возможно, оступился. Знаю лишь —
мы старились с ним как-то... параллельно.
Хотя... в ловушке времени нет дыр,
он умудрился... свеженьким остаться
(лишь смрад души определяет старость):
ни седины, ни шрамов возрастных.
Его любили!.. а меня — не очень.
Но он меня в обиду не давал,
хотя никто не приставал особо.
Да что вы — нет! Я вегетарианец.
Съедает уйму времени охота;
подчеркиваю: «Время — это яд
для занятых, и счастье — для свободных!»
Возможно, он и скуп был на слова,
но не на жизнь. Я это знаю точно.
Вот я и слова вслух не произнес —
вы поняли. И поняли отменно.
Хозяин мой общался так с соседом...»

Место действия:

то же...
Сосед выходит из сарая (амбара, лабаза, курятника...).
Неспешно идет куда-то...
Взгляд сюжета фиксирует его на тропинке, тропинка куда-то да ведёт...
Сосед подходит к Яме, где якобы должен лежать...
где якобы хоронят Главного героя...

Часть 7

Сосед

«Он жил. Да, жил. Я заходил к нему
за табаком, за спичками, но чаще
из любопытства ради — поглазеть
на сюрреалистический развал:
какие-то обыденные вещи
— кастрюли, тапки... Вижу — облака!
Взаправдашние. Будто только с неба.
Задуло их в фрамугу? Может быть.
Об облаках чуть позже... О Соседе.
Годился мне в отцы. В любое время
мог заглянуть к нему на огонек,
так, запросто, без всякого стесненья.
Мы о Соседе мало, мало знали,
— простой, своеобычный человек,
имел чутье... и каждую весну
определял — сколь же ему осталось;
подолгу копошился в огороде,
варил отвары из целебных трав,
колол дрова для странного камина,
подле него сидел зимой за книгой;
когда шел снег.

Читал стихи. Ругал за перевод
не переводчиков — себя, поскольку
не мог преодолеть в оригинале
какой-то западнобенгальский текст.
И постоянно был чему-то рад...
что, согласитесь, даже аномально.
По выходным на ссохшемся крыльце
курил и рассуждал о чем-то споро
с лохматым существом. И ничего
не выдавало чуждого начала
в простом обычном трезвом человеке.
«Диагноз?» (то врачебный приговор).
Нет, был здоров, да, трезв — по убежденью.
И это ему сроду не мешало
во взаимоотношеньях со средой.
Я допущу — скорее, помогало.
То есть возможность видеть мир иным,
обласканным, и сердцем, и душою.
Без горечи, без страха. Без тумана.

Он просто жил. Он просто жил. И всё.
Читал газету. Делал самокрутки
из стареньких бумажных лепестков.
Обычная размеренная жизнь
с уже раскрепостившимся рассудком
смотрителя, способного трунить
не то чтоб над газетою, над тем,
что опрометчиво зовут в ней некой «жизнью».
Торопки сочинители статей
до ярлыков, до домыслов. Газета —
обычно, собирательство грешков,

их возглавляет главный — словоблудье.
Сосед, куря, частенько разъяснял:
«Не дым нас убивает, не табачный дым,
вот эта самая, прости Господь мя, пресса»;
и сплевывал газетные шрифты,
как страх в околоземные орбиты:
«По большей части, ведь слова, они
собою засоряют не газеты».

Из сказанного вынес я лишь то,
что что-то не в порядке. Он продолжил,
любуясь самокруткой: «Если вдруг
нагрянет эндшпиль, ну а ты теперь
уже не можешь овладеть фигурой
даже на ветхой клетчатой доске, —
пожертвуй памятью, никчемной пешкой,
она тебя не выведет в ферзи...
бездарность подлежит уничтоженью».
Ну?! Жизнеутверждающий этюд?..
я вычитал его в одной газете,
в ней некий начинающий гроссмейстер
пытался научить за три игры,
как смочь не проиграть: «Ничья, — он выдал, —
сродни победе». (Вот же где абсурд!
Ничья, она подобна пораженью, —
никто в итоге-то не победил).
«Любое поражение — опасно...
когда в запасе только ход, то ты
воспринимаешь прошлое как подвиг.

Поверьте поседевшим игрокам,
любой из них, в конце концов, гроссмейстер
(по численности съеденных фигур),
и это позволяет притворяться,
мол, с жизнью он сыграл (пускай!) вничью.
Ведь седина — предвестница цейтнота.
Летят фигуры с шахматной доски.
И черные успешно наступают.
По результатам схватки очевидцы
уже не вспоминают — кто же взял там верх?!
Свидетели так часто ненадежно
свидетельствуют о чужой игре,
как, впрочем, и газетчики, для форса.
(Берут ведь не умением — числом).
Вполне возможно, чуточку приврут,
что старый холостяк перед женитьбой.
Так лжет лишь тот, кто стер ориентир
на перспективу, но не седовласый.
Еще — позавчерашние газеты».

Раскладывал страницы по крыльцу...
Я заглянул в газету... Лет семнадцать
как осчастливил номер «Новостей»
прекрасную в смирении планету;
я ужаснулся мудрости Соседа
— на ней не изменилось ни-че-го!
Точнее — многое, но ничего — серьезно:
полвека как мутировавший грипп,
отправил в подземелье пол-Европы;
шесть с половиной миллиардов ртов
все так же подчиняются рефлексам;
любое из подвластных нам пространств
со временем куда-то ускользает
(с телами вместе), не предупредив...
«Лишь Облака способны изменить

присутствием в метрической системе
все наше представленье о судьбе».
«Но есть ведь что-то выше облаков?!» —
спросил однажды я. Ответил сухо:
«Пространство одиночества. Безмерность».

Был полон сил он. Вот и в том году
мир здешний оставлять не собирался.
Тот день запомнил я, в нем у меня
в избытке было времени. Для встречи
никак не мог я выдумать предлог...
затем решил: а разве для того,
чтоб пообщаться с другом — нужен повод?!
В обед зашел, не мудрствуя лукаво,
за табаком. (Опять, «за табаком»).
Однако, он, похоже, догадался...
Без повода рождаемся на свет,
без повода, бывает, выпиваем,
грустим, смеемся, много чаще — лжем.
А для общенья нужен аргумент, как довод?! —
причем весомый — дружба или рознь.
В народе, впрочем, верно говорят:
не в гости ходишь — ходишь за гостями.
Но в гости он ко мне не заходил...
Как только чайник загудел свистком,
сама собой означилась беседа.

Он коллекционировал. Я знал.
Что именно? Грех в тонкости вдаваться.
Коллекция, то, как его?.. — интим.
Фигурки, идолы, божки, тотемы.
Поистине двусмысленный намек:
прах памяти, срез самобичеванья.
Чему мы поклоняемся? Тому,
что сотворили собственной судьбою.
Сокровищам? Те, в большинстве своем,
для нас одних лишь только и бесценны.
Так на фальшивом натюрморте фрукт —
не фрукт, а сумма цветоощущений.
Закрой глаза — ни запаха, ни мух.
Так люди в память складывают то,
что позже называют странно — жизнью.
Жизнь... В сущности, коллекция побед
и поражений. Чаще — поражений.
Застопорились мы на пустяках,
не видя света, только отраженье.
Да! отражение лишь отпрыск света.

... Он коллекционировал людей.
Да успокойтесь! — не таксидермия.
Знакомства. Флирты. Дни рожденья. Свадьбы.
Друзья. Коллеги. Тайные враги.
Учителя. Герои. Проходимцы.
Единомышленники. Доброхоты. Тать.
Завистники. Витии. Дураки.
Оракулы. Пророки. Самозванцы.
Со слов Соседа, всех ценней — иуды.
Он огорчался искренне порой,
что эти, к сожаленью, в наше время
совсем повывелись: «Чтоб стать вот им,
предать необходимо не кого-то...
— Спасителя! А это, согласись,
две тыщи лет с того как невозможно.
Один Спаситель, вот и тот — один.
Спроси любого, сразу и не вспомнит

по именам всю дюжину Христовых
учеников. Иуду помнят все.
А этот поцелуй... товар-то — штучный!

Но без иуд паноптикум-то — пуст.
И легковесно, стало б, мирозданье».
Тираде этой трудно возразить.
Я возразил, промямлив что-то вроде
вскользь: собирательство — пустая трата сил
и времени... Сосед ответил просто:
«В коллекциях всегда опасней память
об их владельце. Вещи сиротеют,
когда хозяин изменяет курс.
Коллекции — всего лишь подтвержденье
того, что человек существовал.
Больше того — хранил чужие вещи,
считая их своими. А потом?!
Весь чуждый хлам на мусорную свалку,
по сути дела — кладбище вещей,
утилизатор вышвырнет. Надгробий
вещам не полагается. А жаль.
Огромная бесформенная груда
беспамятства. Вот т*а*к дичает время...»

«Такое раболепство по вещам?!»
«По памяти». «По памяти?» «Конечно.
Скажи на милость, где теплей всего
тебе в моем жилище?» «У камина».
«Вот! Без него темно и сыро в доме.
Изменится здесь все, лишь замуруй
источник радости, огонь надежды. По...
по комнатам пойдет топтаться плесень,
примерзнут половицы к потолку,
а между ними — я. О! перспектива...
Согрев меня, он греет целый мир;
здесь без него не то что сыро — сиро;
не то, что в доме этом — на Земле.
Как плесень на планете победить?
Сложи камин. И пригласи соседа!»
«А где твои друзья?» — спросил я. Зря!..
«Там. Облака. Они же... Прилетели».
«При чём тут облака?» «В них. М-м-м. Людей.
Что никогда не приходили после
того, как навсегда ушли. В пространство».

Вопрос я этот больше уж ему
не задавал. Шут с ними, с облаками.
Что?.. мне приснился этот разговор?
Да... Вероятно... Только я продолжу...
... Он выругался. Вдруг стал недоступен.
Песочные глаза, заиндевев,
покрылись снегом прожитого века,
пытаясь, видно, что-то рассмотреть
в отторгнутом когда-то им... Вторженье
закончилось, и надвигался вечер.
Песочные часы цедили время,
а головы рогатого скота
мычали, что давно пора на дойку.
Так время, превращаясь в молоко,
доказывало факт существованья
не вымени, но самоё себя.
Взглянув на гурт, он метко обронил:
«В объеме часто прокисает то,
что вовремя не выбилось наружу.

Движение. Движение есть власть
над жизнью, что порою отторгает
материю, передвигая из
предельного объема в параллельный...
как время в архаических часах:
струится кварц в статическом пространстве
вещей, предметов. Допотопен мир,
где всё ветшает, дряхнет, угасает.
Всё. Абсолютно. Кроме Облаков.
Предвосхитив бессмертие, они
единственные — отторгают старость.
Так убедителен и совершенен ход
живых существ в небесном океане!
Доказывают нам — процесс старенья
не данность, нет, скорей, наоборот
— издержки изможденного пространства,
которое, пытаясь оттолкнуть
субстанцию, перемещает время
с земли на небо. Статус облаков
— перины.
На перинах дремлет вечность».

Сосед обмяк. Из глаз текла слеза.
Счастливая. До умопомраченья.
Беспомощная, точно пустота
трудов Эвангелисто Торричелли.
Войдя туда, он не заметил, что
поверхность замыкается снаружи;
что параллели встретились... нет, хуже
— они пересеклись. Две пустоты.
Два космоса в расплющенной вселенной.
Две формы жизни — этой и нетленной.
Две тишины в мелодию слились.
В нуле две бесконечности разбились.
Две темноты в одну соединились,
удвоив плотность мрака и масштаб.
(Хотя в тот миг кому важны размеры?)
Он понял всё... как хрупок этот свет,
поверженный в пучину атмосферы,
как безраздельно властвует над ним
песок в часах! Взглянув на облака,
закрыл глаза... И мир озяб
в потемках».

Место действия:

Всё то же...
Разница лишь в том, что эмоции именно «здесь и сейчас!»
умножаются тысячекратно!!

Эпилог

МЕТЕОРОЛОГ:

«Погоду предвещают... не ахти.
Всю ночь прообнимаемся с дождями...»

ЖЕНЩИНА:

«Не вижу ничего я... в этой яме...
кого... чего... пытаемся найти?!
В прокисший вечер солнце под ногами?»

УЧАСТКОВЫЙ:

«Мадам, поаккуратнее с цветами!
Иного, видно, не было пути...»

МЕТЕОРОЛОГ:

«Уставшему от сна дается явь,
от жажды изнывающему — лужи.
Мы видим океаны лишь снаружи,
всё силимся мы их осилить вплавь...»

СОСЕД:

«Путеводитель тонущим не нужен,
нет разницы — где мельче, а где глубже.
Товарищ в форме, покурить оставь».

УЧАСТКОВЫЙ:

«На, свежую возьми. И прикурить.
Так странно — только в скорби мы едины;
а в праздник... словно пьяные скотины...»

МЕТЕОРОЛОГ:
«...Не тризна нас должна объединить,
отечество и Бог! — вот величины».

ВРАЧ:
«Вы, русские, как свет непобедимы!»

УЧАСТКОВЫЙ:
(«Когда мы вместе...»)

ЗНАХАРКА:
«Вместе — легче жить».

ВРАЧ:

«Для пробужденья чувств нужна слеза.
Лишь плача, сможем выбраться из склепа
унынья, равнодушия и трепа.
Врачуя душу — нежим телеса...
С утра с мечтой о жалкой корке хлеба
голодный с упованьем смотрит в небо...
насытившись — а вспомнит ль небеса?»

ЗНАХАРКА:

«Ну, вот и всё. Теперь придет зима.
И дай-то Бог, чтоб вы не озверели
от холода, чтоб встретившись в апреле,
смогли узнать друг друга. Я одна
не доживу до встречи две недели.
Родимые, что скисли, в самом деле?!
Да... приютите волка, сирота».

ВОЛЧОНОК:

«О ближних позаботьтесь. У волков
надежнее и радостнее будни...
А вы — живите. И про все забудьте.
Бессмертие — догмат для простаков!
Ботву отбросив, оцените клубни.
Расклад стереометрии таков —
всегда есть что-то выше Облаков...»

МЕТЕОРОЛОГ:

«Вот так и держишь... мир, за парапет...
живешь, что копошишься. Все напрасно?!
Я понял мало. Но одно мне ясно:
когда исчезнет солнце, много лет
мы не узнаем, что оно погасло.
Нас будет греть уже погибший свет».

Любовь СУШКО

Эссеистический диптих из цикла
«ШАРМ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

ТОСКА ПО ЖЕНЩИНЕ

Уют усадеб в пору листопада,
Благая одиночества отрада.
Ружье. Собака. Серая Ока.

Душа и воздух скованы в кристалле,
Камин. Вино. Перо из мягкой стали.
По отчужденной женщине тоска.

И. Северянин

Когда это началось и почему началось? Побег на дачу, желание испытывать снова и снова страсть, от которой остается только пепел, сожаление и несколько строк стихотворения.

Он был старшим, он с самого начала хотел быть классиком и определил себя в классики, он плевал на завещание гения: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Он любил страстно всей душой и отдавался до конца, сначала; потом, когда стал знаменитым поэтом, позволял, чтобы любили его. И были темные аллеи, в которых всегда хотелось укрыться с одной из них, а лучше с двумя — и в этом есть своя прелесть. И они были хороши или безлики, но они всегда были. Поэт не способен оставаться без своих муз. Тогда почему ни лиц, ни имен, ни писем?

Он с самого начала понял, что они не возвращаются к нему. Но казалось, что так и у всех остальных тоже. Он тешил надеждами свое мужское самолюбие до тех пор, пока не увидел безрассудного профессора.

В витиеватости его стихов было черт знает что, но ничего от реальности и от жизни. И толпа студенток следовала за ним, они на все были готовы. Сначала казалось, что они зависят от него, он так долго себя утешал. Но когда столкнулся с одной из них, рыдавшей на той самой темной аллее, потому что профессор улизнул куда-то с другой, он пытался ее утешить, не без задней мысли, конечно.

— Как он мог, — повторяла истеричная девица, — ведь я ему всю себя отдала.

Ему хотелось сказать ей что-то резкое, может быть, не стоило отдавать или и отдавать нечего особенно было, но Ян сдержался, потому что надеялся, что когда историка закончится, она увидит, что он спокоен, что он предсказуем (это хорошо или плохо для них) и надежен.

Истерика закончилась, она вытерла слезы и посмотрела сначала в зеркало, а потом увидела его. Словно бы только сейчас поняла, что он во все это время видел ее рыдания, был рядом и узнал ее страшную тайну.

Вероятно, она могла бы убить его, если бы в руках оказалось оружие, но не сделала этого.

— Что вам нужно, как вы можете так о нем говорить, да знаете, какой он в постели?

Он не знал, каким может быть в постели знаменитый поэт или профессор филологии, хотя, вероятно, и то, и другое вместе взятое. Он этого знать не мог, потому что во всем был старомоден и любил только женщин. Но каким же пошляком показался он даже сам себе в тот момент. Вместо этого он сказал другое.

— Но вы не знаете, каков я в постели, — промямли он. Зря сказал, хотя и молчать не мог.

— И знать не хочу, — взвизгнула девица, — падите прочь.

То, что он произнес после этого, ее профессор назвал бы нецензурной бранью, но он никогда не был филологом и считал, что это иногда возможно, в таких вот случаях. О том странном столкновении в темных аллеях можно было бы забыть, если бы это не повторялось и до, и после с завидным постоянством.

Он поморщился и подумал о том, что если девица помирится со своим любовником, то она, возможно, расскажет ему о том, что он ей говорил, и черт с ними со всеми. Пусть делают, что хотят. У него есть семья и дом. Но есть ли?

И все-таки, когда он добрался до дома, то разыскал на книжной полке и открыл томик стихов, невесть как у него оказавшийся:

Я сбросил ее с высоты
И чувствовал тяжесть паденья.
Колдунья прекрасная! Ты
Придешь, но придешь — как виденье!

Ты мучить не будешь меня,
И радовать страшной мечтою,
Создание тьмы и огня,
С проклятой твоей красотою.

Он отложил книжку в сторону и никак не мог понять, как такой чепухой можно было кого-то увлечь.

Говорят, когда он садится к роялю, они все валятся к его ногам. Музыка, наглость, порок — и в этом успех его, невероятно, но он никогда не будет таким.

Вера взглянула на него молча. Она вообще почти не говорила в те дни, обижалась на что-то. До нее дошли слухи о его похождениях. Хорошо, что она не знала, что там было на самом деле. Он готов был играть роль Дон Жуана, чтобы хотя бы в глазах жены иметь какой-то вес, но иногда ему казалось, что и она скажет, что не хочет его знать и уходит.

«Тогда я останусь совсем один», — думал он, настраиваясь на худшее, словно все уже было потеряно. Почему одним прощается все, а другим ничего?

Но она говорила о его новом рассказе, о творчестве только они и могли говорить, чтобы не касаться личного, слишком болезненных тем.

— Ты снова о прошлом, Ян, ты только не обижайся, но когда твои читатели чувствуют, что ничего нет в реальности, что все было и было ли, они пойдут искать другое, им нужно знать, что поэт не вспоминает о неведомом, а любит и страдает сейчас. У тебя и здесь нет ничего, кроме тоски по женщине и обид на весь остальной мир, — она старалась не упрекать его, но ничего не получалось. Он угрюмо молчал. Но она не могла оставаться. — Ты должен оставлять им надежду...

— Конечно.

Я буду лобзать в забытьи
В безумстве кошмарного пира
Румяные губы твои,
Кровавые губы вампира, —

он усмехнулся и передернулся, есть еще дорогая:

— Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце острый французский каблук, —

Ты об этом мне хотела напомнить, я так понимаю, — он говорил тихо и отчетливо, но готов был взорваться в любую минуту.

— При чем здесь Бальмонт и Блок, мы же говорим о твоем творчестве, а не о них.

— О моем творчестве... я последний классик, ты это снова хотела сказать, тогда почему все женщины и слава — всё у них, а у меня только дача, осень, собака....

— И старая жена, — она мягко улыбнулась и отстранилась немного.

— Я не это хотел сказать, ты меня не поняла.

— Да-да, конечно, не это, — поспешно согласилась она.

— Но если уж ты завела этот разговор, объясни, как им все это удается.

— Я не знаю, — призналась она, — я никогда не была в их шкуре.

Она знала, даже слишком хорошо знала, но не могла говорить ему о тех качествах, которых у него нет, да и не будет никогда. Они позволяют себя любить, а он нет — вот главная беда, но и об этом она не хотела ему говорить. Она не сразу услышала его, и ему пришлось повторить.

— И тебе не нравится ни один, ни другой.

— Нравятся, но какое это имеет отношение к нам с тобой.

— Вот и убирайся к тому или к другому.

Он все-таки не выдержал, хотя до конца старался сдержаться, но где там, когда о

мифических, а может, и не мифических соперниках речь заходила.

Она стояла перед ним молча и, кажется, думала о том, чтобы уйти, хотя он был уверен в том, что никуда она не уйдет.

— Они никогда так не обращаются с теми, кто их любит.

Он взглянул на нее и хотел рассказать все, что видел и знал о них, но ничего говорить не стал, он давно знал, что наговорит такого, о чем потом жалеть станет.

— И если я прежде был твой,
Теперь ты мое привиденье,
Тебе я страшнее — живой,
О, тень моего наслажденья, —

прочитала она, словно не давая ему произнести горьких и обидных слов, она знала, что он слишком вспыльчив, потом будет жалеть и просить прощения, но столько горьких обид накопилось. Но откуда ей были известны эти стихи?

Тот, которого он во всем считал своим счастливым соперником, профессор и поэт, в тот момент был окружен восторженными девушками, взиравшими на него как на бога. Он выбрался с ними за город на какую-то дачу и теперь готов был покорить всех сразу, заворожить, и они стали игрушками в руках его. Но почему он так грустил и совсем не был похож на себя?

А он читал, задыхаясь и не глядя в их юные и прекрасные лица:

— Ангелы опальные,
Светлые, печальные,
Блески погребальные
Тлеющих свечей,
Грустные, безбольные,
Звоны колокольные,
Отзвуки невольные,
Отсветы лучей.

Он был так упоен музыкой стиха и собственным торжеством над миром, что не мог видеть, как одна из них наклонилась к другой и пыталась понять, о чем эти стихи.

— Да откуда мне знать, — отмахнулась та, — слушай, смотри, как это красиво, а сам он настоящий демон, бывают же такие.

Потом он сел к роялю и играл самозабвенно, чтобы покорить их окончательно. Но вовсе не так спокойно было на душе у первого поэта эпохи, так окрестил он себя сам, не дожидаясь, пока это сделают другие. Он не хотел думать, но вспомнил о том, кто владел их душами.

Сначала его насмешила Ирэн, она рассказала о столкновении с Яном, он думает, с его реализмом можно кого-то подчинить себе. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним, и занес же его черт на ту вечеринку на башню. Если бы он не видел своими глазами и не слышал своими ушами этого юнца, если бы сам не попросил его повторить стихотворение, а потом еще и еще раз, если бы не запомнил все от первого до последнего слова:

И пахли древними поверьями
Ее волнистые шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

Если бы он был просто самовлюбленным болваном, а не профессором филологии к тому же, то он не понял бы тогда, кто перед ним находится, отмахнулся бы. Но он не мог этого сделать. И он уже знал, пока один из всех, что такое все их стихи и их слава перед вечной славой его.

Вот и схватился он за этих девиц, и бросился сюда, на старую дачу, чтобы еще раз почувствовать себя богом перед ними, потому что завтра все они рядом с лучистой его славой станут только ангелами опальными и ничего не смогут сделать.

Как страшно проснуться знаменитым, но еще страшнее проснутся свергнутым с той вершины, куда всеми правдами и неправдами ты успел забраться.

Когда вломился в его покои Ян, он попросил девиц отправляться домой, зная, что он хочет здесь получить.

— Ты пришел со мной сводить счеты, глупец, ты не туда забрел, все это мишура.

И когда тот развалился в кресле, он рассказал ему все, что видел и слышал, и даже

кусок знаменитого стихотворения прочитал.

— Ну и что? — лениво спросил он, из-за этого ты девчонок прогнал

— Ты на самом деле не поминаешь, что как только они его услышат, не будет у нас никаких девчонок, ты видел, как он красив?

— Не знаю и знать не хочу. Но мне нравится, что ты паникуешь, хоть одна хорошая новость за весь этот мерзкий и бесконечный день.

— Дурак, глупец, осел. Ты всегда оставался неучем. Еще и с Верой поссорился.

— А ты чего это ее защищаешь?

— Потому что и ей надоест терпеть тебя, и ты останешься совсем один.

— Я всегда был совсем один, экая невидаль, — буркнул он.

Профессор сел порывисто к роялю и стал исполнять реквием.

Когда он повернулся, изможденный, но немного успокоившийся, кресло было пустым. Этот тип даже не дослушал его музыки.

Как часто потом в охваченном войной Париже вспоминал этот странный разговор и музыку один из них, второй не вспоминал никогда. Они почти никогда не встречались, хотя и жили по соседству. Последний классик считал профессора филологии злым гением, а тот, кто давно был мертв, продолжал владеть и их душами, подчинив их себе.

Они и сами давно стали теми ангелами опальными, и тени их почти бесплотные метались на чужбине, не в силах приблизиться к миру, который они навсегда покинули, в душах истерзанных оставалась только тоска по женщине и тоска по России, как и у всех несчастных изгнанников.

Зыбкие и странные,
Вкрадчиво-туманные,
В смелости нежданные,
Проблески огня,
То мечты, что встретятся,
С теми, кто отметятся,
И опять засветятся,
Эхом для меня.

О чем это? Кто его знает, но как завораживает.

ЗЫБКИЙ СТОН ШОПЕНА

28 ноября 1880 г., Санкт-Петербург, Российская империя

Луна казалась тусклой и сонной. Ноябрь разменивал последние дни и готов был кануть в вечность, уступив дорогу декабрю.

Кажется, он задержался лишь для того, чтобы послушать чудесную музыку Шопена. А она в старой усадьбе звучала нечасто. Пианист был гениален, без всяких преувеличений. Он оказался среди гостей, потому что девять месяцев назад он женился на дочери профессора.

Говорят, это была любовь, да кто же его знает, что толкнуло его к этой милой, очаровательной девушке. Она-то была покорена его гениальностью, а вот он — как знать? Иногда казалось, что он любил только музыку в себе и себя в музыке и был уверен в том, что жена не станет ему в том мешать, с ее-то деликатностью и тактом.

Профессор был добр и сердечен, а вот жена его, скорее наоборот, та еще светская львица. Во взгляде ее читалась какая-то дерзость и неприятие зятя, и никакие таланты не смогли бы облегчить его положения, а потому он всей душой рвался в свою Варшаву, скучал, хандрил в Петербурге и никак не мог поверить, что женат, что скован какими-то жуткими узами, все от него чего-то хотят, смотрят странно и оценивающе.

В такие минуты, он умел отключаться от реальности и погружаться в музыку, и хорошо, что у профессора в доме был рояль, прекрасный рояль, его зять о таком мог только мечтать.

Но надо было исполнить на этот раз мажорную «Балладу», здесь были гости с самыми громкими и известными в свете, в ученом свете, именами, он мог очаровать их только музыкой, и Шопен, а потом Шуберт и, может быть, Григ ему в том помогут, но пока Шопен, никто не любил великого поляка так, как этот пианист, новоиспеченный зять знаменитого профессора.

Он погрузился в музыку и не слышал шума, споров за спиной, ему не хотелось смотреть на гостей, слушать их, потому что он не считал себя ровней, и это его раздражало и порой бесило, а ярость — плохой помощник для пианиста, каким бы талантливым он ни был.

Но был там один человек, которого он мог бы считать своим, близким, понятным, это был Федор Михайлович Достоевский. Пианист замахнулся именно на русского гения, ни больше, ни меньше, просто было в нем что-то близкое и родное, родство душ, когда понимаешь это с первого взгляда.

Догадывался ли о том сам писатель, кто его знает, как и о том, что этот поляк знал его, думал о нем и исполнял музыку именно для него. Федор Михайлович относился к музыке очень осторожно, если погрузиться в нее, то можно утонуть, она задевает те потаенные струны души, которых едва только касается слово, она действует на сознание быстрее и сильнее, потому он умел отключаться и не слышать и едва улавливать эти звуки, погруженный в размышления, в разговоры о самом главном.

Он любил бывать в доме профессора, хотя и чувствовал там себя не совсем в своей тарелке, ему хотелось поговорить с его суровой женой, знавшей Пушкина живым, это же фантастика какая-то, но так и было. Она высоко ценила его речь о Пушкине, и может быть, потому он был желанным гостем в доме, но поговорить по душам не решался, она не приглашала к такой беседе, а он не мог напрашиваться.

Но в тот вечер музыка профессорского зятя зацепила сознание его сильнее чем обычно, и хотя это была мажорная «Баллада», он не помнил номера ее, но чувствовал, что окрылен и вдохновлен, тот был настоящим бесом, совсем как его герои.

«Странно, — размышлял Федор Михайлович, — он словно бы сошел со страниц моих книг»; черт, пытавший Ивана, воплотился не в толстую купчиху, а в красавца пианиста, от которого он и сам не мог глаз оторвать, а что говорить о молоденькой девице, для нее это был удар молнии, смертельный удар.

Писатель хотел взглянуть на ту, одну из трех дочерей, выбравшую себе такого мужа, но ее нигде не было видно. Хотя они все были так похожи, но ее он выделял, обдумывал роман о гении и злодействе, где эта отважная молодая женщина станет главной героиней, и из-за нее только гениальный поляк шагнет на страницы его нового романа.

Но не только дочери профессора, он и жены его нигде не мог отыскать среди гостей. Что-то странное творится на этот раз в уютном доме, сам же профессор спокоен и мирно беседует с кем-то из своих коллег, наверное, и удар грома, и ослепительная молния не нарушат его покой. Здесь точно есть покой и воля, как говорил Пушкин, потому писатель отдыхал здесь душой и покидал профессорскую усадьбу с большой неохотой, словно боялся, что не сможет больше сюда вернуться никогда. А дурные предчувствия его редко обманывали.

Жена профессора, о которой с такой теплотой думал великий писатель, была на верхнем этаже дома странно взволнована, ходила из угла в угол и оглядывалась на дверь, словно вот-вот должно было случиться какое-то землетрясения, и она не знала, что нужно делать в такие минуты.

Конечно, знала, все она знала, но ждала служанку и вестей с невероятной силой. Музыка долетала до нее какими-то обрывками, она даже не пыталась понять, что там звучит. Она не понимала другого, как ее зять может быть так спокоен, хотя, может быть, именно так он пытается заглушить свое волнение, только волнуется ли он вообще, способен ли волноваться, что его может взволновать?

Она попыталась отвлечься и вспомнила о том, что давно собиралась поговорить с Федором Михайловичем о Пушкине, ведь для него, наверное, бесценно то, что она может ему рассказать, надо дать ему почитать ее записки, узнать, что думает он по этому поводу, он так тонко и глубоко все чувствует, он видит такие высоты и такие глубины, о которых остальные не могут и догадываться, наверное, провидение не случайно привело его в их дом и дает им обоим шанс поговорить о самом важном на свете. Она скоро этим займется, вот переживет все, что должно случиться в эту ночь, и тогда со спокойной душой назначит ему свидание.

И тут вдруг зазвучали «Грезы» Шумана. Она удивленно подняла брови, слух обострился как раз в тот миг, когда он начал исполнять это гениальное творение. Она остановилась у окна, сменила гнев на милость и решила послушать; когда и где еще она такое услышит.

В тот вечер она убедилась в его гениальности окончательно и поняла, что ее дочь обречена, такие вот два открытия жена профессора сделала одновременно, а потому печаль и радость слились воедино. Нельзя было дочь к нему подпускать, нельзя, но она была слишком занята Пушкиным, своими переводами, делами мужа и дочерей и упустила тот момент, когда еще можно было отправить его подальше, отказать ему, но

это можно было сделать до того момента, когда его прекрасные руки опустились на клавиши рояля, а после этого даже она не смогла спасти свою дочь, а что говорить о профессоре?

Но как не хотела, она не смогла дослушать Шумана до конца, в дверь постучали, и она бросилась к двери, все понимая, теперь стало уже не до музыки.

Федор Михайлович жестом остановил собеседника и как-то боком, боясь кого-то задеть ненароком, двинулся к пианисту, надо было поближе взглянуть на того, кого он собирался сделать героем нового романа. И музыка, он отважился впустить ее в душу, сколько ни убегай и ни прячься, она все равно тебя настигнет, заставит слушать и слышать, это величайшая глупость — прятаться от нее, никакие беседы самые невероятные не заменят нам музыки, ее полета и вдохновения.

Кажется, что-то разбудило пианиста и толкнуло его к человеку, осмелившемуся к нему приблизиться. Он взглянул на писателя удивленно и растерянно и снова погрузился в музыку, не надо отвлекаться, даже такое сближение не может его отвлечь от клавиш, от вечности, от «Грез».

Смущение Пианиста заставило писателя улыбнуться, он утвердился в мысли, что тот станет главным героем нового романа. Его надо начать писать прямо сегодня, ведь время безжалостно уходит, ему почти шестьдесят, может и не успеть, а ведь это будет роман о гении и о музыке, ничего подобного он до сих пор не писал, пока не встретил пианиста. Написать хотя бы в благодарность за то вдохновение, которое он подарил этим вечером.

Многие заметили, как вдруг поднялся со своего места и посмотрел наверх сам профессор. Неужели что-то могло нарушить его покой, прервать беседу, ведь минуту назад он был так увлечен.

Но он посмотрел на второй этаж именно в тот момент, когда там раздался пронзительный крик ребенка. Всем, кто был внизу, он был прекрасно слышен, застыли на клавишах прекрасные руки пианиста. Он должен был броситься туда, но сидел неподвижно, кажется, даже не дышал.

Дверь распахнулась, и к гостям вышла высокая и стройная в белом наряде жена профессора, улыбнулась одним лишь ртом и сказала, что на свет появился мальчик, профессор стал дедушкой, а пианист отцом.

Она говорила еще что-то, но голос ее потонул в отдельных фразах, все бросились поздравлять профессора Бекетова, звучали теплые слова, наполненные радостной нежностью, на свет появился новый человек.

Но в тот день никто не мог знать, что он станет первым поэтом в России через два десятка лет. Великий писатель, бывший в тот день в доме, уйдет из жизни через пару месяцев и не успеет написать роман о гениальном пианисте, у него просто не останется для этого времени.

Мир стремительно летел в пропасть к войне, революции, но в тот ноябрьский день никто не мог об этом думать, они радовались, они были счастливы. Они стали свидетелями великого события, столько раз потом описанного в воспоминаниях.

И музыка, великая музыка сопровождала поэта все годы его тяжелой, но наполненной вдохновением и творчеством жизни.

Лариса ЕСИНА

ОТКЛИК НА ГЛАВЫ «К ТЕМ ГОСПОДАМ КРИТИКАМ, которые захотят принять ее на свой счет» и «К читателям», не вошедшие в каноническую редакцию «Детства» Л.Н. Толстого

Казалось бы, признанным гениям литературы нет повода бояться критической оценки своих произведений, значимость которых озвучена многократно и современниками, и благодарными потомками. Например, Льву Николаевичу Толстому. Однако великий русский писатель тоже не жаловал литературных критиков и весьма болезненно относился к рецензиям и на свои произведения, и на произведения коллег по перу.

«Еще больнее читать критику на сочинения хорошие. Хотелось бы знать, кто разбирает сочинения Др<ужинина>, Гр<игоровича>, Тург<енева>, Гоголя, Гонч<арова> — советует им, жалеет о них и желает им?» — вопрошает он в главе, не вошедшей в каноническую редакцию «Детства»: «К господам критикам, которые захотят принять ее на свой счет». В этом же обращении Толстой дал свое определение литературной критики и изложил свое понимание, какой она должна быть.

«...чтоб не говорили таких вещей про NN, разбирая его сочинение, к<отор>ые нельзя сказать ему в глаза. Может быть, скажут, что это совершенно условно, что можно сказать в глаза — какому литератору? и какой критик? и в каких они отношениях? Ежели вы не хотите допустить, отвечу я, чувства приличия, к<отор>ое должно б<ыть> у каждого челов<ека>, то рассматривайте всякое сочинение без всякого отношения к его автору. Следовательно, говорить, что сочинение бессмысленно, что желаем то-то в сочинении, жалеем или советуем господам NN — все это не должно существовать», — утверждает Лев Николаевич, и с ним нельзя не согласиться.

Подкупает призыв критиковать открыто и только то, что можно сказать адресату критической публикации и при личной встрече. Все остальное Толстой относит к разряду пасквилей:

«Писать или говорить такие вещи про какое-нибудь лицо, которые вы не скажете ему в глаза и не напишете ему, значит говорить оскорбительные вещи. Говорить эти вещи в глаза или писать к нему, значит оскорблять то лицо. Писать эти вещи в журналах — то же, что говорить в глаза или писать к нему письмом, потому что, когда вы пишете критику, вы имеете в виду личность автора. Писать к лицу оскорбительные вещи и не подписывать, называется пасквиль. Следовательно, критикуя NN, ежели вы говорите про него такие вещи, к<отор>ые не скажете ему в глаза, значит, что вы пишете пасквиль».

Критиковать «за глаза», как говорят в народе, действительно неэтично, чего бы критика ни касалась — личности человека или его творчества. Но с другой стороны, публикуя свое произведение, писатель делает его публичным и теоретически должен быть готов не только к похвале, но и к критическим замечаниям.

Толстой признает этот факт и пишет в своем обращении «К читателям. Глава [34-я]» следующее:

«...всякое сочинение должно нравиться, но не всякое сочинение нравится всё и одному человеку...»

Следовательно, проблему великий писатель видит в подаче критического материала. Если критик касался личности автора, его рецензия, по мнению Льва Николаевича, в свою очередь должна быть раскритикована, так как ее никак нельзя назвать профессиональной.

Ко времени написания Толстым обращений к господам критикам и читателям в русской литературе сформировались основы литературной критики, заложенные В.Белинским, который разработал систему категорий, на которую опирается метод реальной критики: действительность, тип, пафос.

Иначе говоря, по утверждениям Белинского, творчество писателя должно отображать действительность без какой бы то ни было идеализации с искусственными представлениями о «норме» литературности. «*Книга есть жизнь нашего времени, в ней все нуждаются — и старые, и малые», — утверждал Белинский.* А как же пафос, задастся вопросом вдумчивый читатель. Пафос и действительность — казалось бы, взаимоисключающие понятия. В реальной жизни — возможно, но не в литературе. Пафос — это категория, с помощью которой В.Г. Белинский обозначал суверенность и специфичность литературы, это эмоциональное восприятие автором произведения действительности, отмеченное его индивидуальностью. Произведения, не обладающие высокой степенью эстетичности и художественной индивидуальности, Белинский относит к разряду художественной «беллетристики» — за рамки литературы как таковой.

Обобщая теорию Белинского, выводим формулу литературной критики — это литературное творчество на грани искусства (художественной литературы) и науки о литературе (литературоведения). Ее задача — истолкование и оценка произведений литературы с точки зрения актуальных проблем общественной и духовной жизни и личных взглядов автора. Литературная критика, опираясь на теорию и историю литературы, языкознание, философию и эстетику, оказывает существенное влияние на формирование общественного сознания и на сам процесс создания художественной литературы. Таким образом, согласно методу Белинского, личность писателя интересна критику не сама по себе, а исключительно как автора рецензируемого произведения.

«...вы будете говорить о книге, а не о личности автора, иначе это будет оскорбление», — предупреждает недобросовестных литературных критиков Лев Николаевич Толстой.

Великий писатель отметил, что критика критике рознь, и вывел свою классификацию этого жанра литературы и публицистики, исходя из предвзятого, исключительно субъективного отношения критика к автору текста:

«...критика двоякая — ироническая и серьезная. (...) По расположению самого критика, согласитесь тоже, что критику можно также легко разделить на пристрастную «за» и пристрастную «против»...»

Вступая в дискуссию с Толстым, не могу не отметить, что ведь и книга книге рознь. Есть такие, что захватывают с первой строки, а есть те, что бросаешь читать, не осилив и первой страницы. Романы Льва Николаевича лично я отношу к первой категории. Люблю его творчество с детских лет. Его книги не оставляют читателя равнодушным и актуальны даже в наши дни. Потому что Толстой писал о вечном: о любви и ненависти, счастье и несчастье, верности и предательстве... Писал сердцем. Он признается в этом в своем обращении «К читателям»:

«...можно писать из головы и из сердца. Когда пишешь из головы, слова послушно и складно ложатся на бумагу; когда же пишешь из сердца, мыслей в голове набирается так много, в воображении столько образов, в сердце столько воспоминаний, что выражения неполны, недостаточны, неплавны и грубы.

Может быть, я ошибался, но я останавливал себя всегда, когда начинал писать из головы, и старался писать только из сердца».

Посредством своих книг Толстой ведет с умным и вдумчивым читателем беседу по душам — о смысле жизни, о предназначении человека, о порядочности, об истории России — и рассчитывает на понимание с его стороны:

«И главное, чтобы вы были человеком понимающим, одним из тех людей, с к<отор>ым, *когда познакомишься, видишь, что не нужно толковать свои чувства и свое направление, а видишь, что он понимает меня, что всякий звук в моей душе отзовется в его».*

Итак, целевая аудитория для Льва Толстого — читатели, а не литературные критики.

«Дело критики — толковать творения больших писателей, из большого количества написанной всеми нами дребедени выделять лучшее. Что же касается критиков, то часто под их руками большие писатели делаются маленькими, глубокие — мелкими и мудрые — глупыми», — пишет Толстой в заметке «О несостоятельности и вреде литературной критики».

Иван ОБРАЗЦОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

Предуведомление редакции: критическая статья Ивана Образцова «Литературный процесс» печатается в «Невском проспекте» в сокращении, причем, признаться, не без намерения несколько сгладить острые углы посредством купюр, но углы так остры, что все равно они заметно «торчат и колются»; предмет, однако же, стоит огласки, невзирая на авторскую резкость, которую, впрочем, можно считать держащейся в рамках интеллигентного памфлета, а если критика покажется вам чрезмерной, милости просим к дискуссионному столу.

* * *

Институциональное устройство пространства, в котором сегодня осуществляется производство художественной литературной продукции, досталось современному российскому обществу в наследство от СССР, и это наследство к моменту 1991 года было в состоянии крайней разработанности. Технический процесс издания книг был отлажен невероятно чётко. Но вот содержательно всё уже перешло в пробуксовывающие тавтологичные этапы, когда повторение одних и тех же схем написания художественных текстов было поставлено «на поток». Современные коммерческие издательства являются, по сути, теми, кто приватизировал советскую технологию и все средства производства. Правда, владельцы и управленцы коммерческих издательств инерционно повторили самые худшие советские конвейерные механизмы, внеся в них только один новый элемент — извлечение финансовой прибыли.

Если советская бюрократическая структура управления литпроцессом заставляла (в самом общем смысле) извлекать идеологическую прибыль и следить за стабильностью появления необходимого количества художественной литературой продукции «правильного» содержания, то современная коммерческая издательская машина на место идеологической прибыли поставила финансовую, оставив остальную систему в той же конфигурации, что и в прошлом веке. Именно финансовая прибыль как техническая цель всего процесса заставила коммерческие издательства современной России отказаться от нравственных, идеологических и даже эстетических установок, прикрыв такой отказ ярлыком «разнообразия» продукции.

В данном случае, методы плановой экономики «перепрошили» в механизмы либеральной экономической политики и, в случае с российскими коммерческими издательствами, естественно, деградировали до уровня списочных заказов от всевозможных издательских редакт-менеджеров по продажам. Породив усреднённый читательский мир, коммерческие издательства сами стали заложниками данной системы, из которой не существует никакого естественного выхода, разве что их основные ресурсы и средства производства будут национализированы в ближайшие пять-десять лет.

Почему же выходом из сложившейся ситуации видится именно национализация основных издательских ресурсов? Причину можно понять через аналогию с нефтегазовым сектором экономики. Нефтегазовые энергоресурсы и по территориальному, и по социально-политическому признакам являются несомненным национальным достоянием (мы сейчас не говорим о том, как это достояние реализуется). Если такой конкретно материальный сектор экономики важен как содержащий ресурсы для обеспечения производства продукции и функционирования хозяйственных и бытовых служб во всех населённых пунктах страны, то насколько важнее сектор формирования, выработки и развития интеллектуальных ресурсов государства? Положительный ответ совершенно очевиден, но именно в последнем секторе и происходит полная вакханалия под управлением коммерческих издательств, которые, по сути, стали монополистами на технологию и средства производства книжной продукции.

Тотальная коммерциализация литературного процесса привела уже к тем же самым последствиям, что мы наблюдали в нефтегазовом секторе экономики девяностых

годов прошлого века — начала нулевых годов века нынешнего. Полнейшая вседозволенность, регулируемая только законами так называемого «свободного рынка», привела коммерческих издателей и особенно монополистов на средства издательского производства к тому, что из читателей растят сегодня атомизированных, нарциссических и истеричных даже не личностей, а потребителей книжной продукции. Именно растят, как животных на скотоферме или огурцы в теплице. Для такого «выращивания» потребителей необходимы не только определённые условия производства, но и соответствующая книжная продукция, а следовательно, «выращивать» необходимо и «авторов» для потокового книжного оборота. Чем более замкнуты такие «авторы» и «читатели» на собственных «рефлексиях» и в собственных «группах по интересам», тем более успешно удаётся продавать тиражи книжной продукции. Своеобразное ноу-хау нашего времени, «открытое» на российском рынке коммерческими издательствами — это создание и культивирование аутолитературы для ауточитателей.

Аутичные потоковые авторы создают аутолитературу, единственный эффект от которой — психотерапевтический и временный транс. Скольжение по ровным, псевдоконфликтным полям авторской текстовой мути превратило мозговую активность индивидов в серую, поверхностную, псевдофилософскую и псевдосоциальную «деятельность», сдобренную пустой и самовлюблённой недорефлексией. Посмотрите литпремиальные списки, бóльшая часть которых — это аутокнижки на один день. Причём все эти благообразно-пишущие авторы настолько неспособны создать что-либо существенное, насколько боятся быть отторгнутыми от сосков издательских гонорарных подачек.

Сегодня какой-нибудь условный «белинский» призывает взяться дружно за руки и что? Что дальше-то? Стоять кружком и рыдать своими «издательскими» книжками в жилетки друг другу как в клубе гонорарных алкоголиков? Давно ли в этих премиальных списках было хоть одно новое произведение о чём-то кроме интеллигентской мелодраматичной недорефлексии или кроваво-кишечной жестятины в духе «пацанско-гопниковских» и «алко-наркоманских» страшилок? Слово «созидание» претерпело настолько невероятную инфляцию смысла, что его произнесение стигматизирует произносящего и приравнивает (в определённых «интеллектуальных» кругах) к невежде, не знакомому с «элементарными трендами культуры».

Но достаточно посмотреть на исторический опыт нашей страны, чтобы стало очевидным — экономика, построенная на созидании и национализации издательских средств производства, явно больше соответствует смыслу современной жизни, чем экономика банальной спекуляции и торговли ресурсами. Например, в советский период в художественной литературе существовал жанр «производственного романа», и при всех его недостатках именно этот жанр лежал в основе многих передовых достижений страны. Но разве могут все эти «авторы редакции» написать о производстве, если: во-первых, сами, как правило, не имеют к производству и вообще естественно-научному знанию никакого отношения, а во-вторых (и это даже более существенно), уже выжжено всё читательское поле и выжгли его те самые «разнообразные» книжные продукты, под «пацанчиков» и «образованцев» заточенные.

В настоящее время мы наблюдаем распространение метастаз интеллектуального рака. Массовое потребление литературозаменителей и художественных консервантов повлекло за собой неизбежные последствия как для читателей, так и для культуры в целом. Усилия по восстановлению потенциала страны во всех областях производства и образования всё более очевидно упираются в непробиваемую стену тотального интеллектуального аутизма, а то и откровенного умственного сектантства, одним из главных признаков которого является неспособность работать сообща.

При всём при этом издательский конвейер только увеличивает производство самой низкопробной «развлекухи» с реверансами то в сторону примитивного мистицизма (таро, гороскопы, деградационный тотемизм, псевдоисторическое неоязычество), то в сторону антинаучного, доходящего до сектанства хайпа («раскрытие» чакр, «очищение» ауры, популярная уфология, псевдоистория, конспирология). Но самые бесчеловечные источники издательской прибыли — это разрушающие сознание индивида красочно оформленные издания на ложно-психологические темы (о маньяках, «несчастных» эскортницах (читай — проститутках), «трудных» судьбах мошенников всех мастей, «самоутверждении», способах заработать миллион и т.п.), где происходит героизация и популяризация самых грязных и античеловеческих образов в виде нечистых на руку, бессовестных прощелыг и самок, что продают по сходной цене все возможные части тела и духа.

Коммерческая издательская система построена таким образом, что если кто-то попытается её изменить или разрушить, то сами пострадавшие и деградирующие от действий этой издательской системы «авторы» и «читатели» первые бросятся её отстаивать, истерично ссылаясь то на рейтинги, то на гонорары. О рейтингах мы уже

говорили в одной из предыдущих статей, но напомним, что современные рейтинги востребованности той или иной книжной продукции говорят вовсе не о высокой художественной ценности данных сочинений, а о деградации читательского запроса. Что же касается гонораров, о которых так любят рассуждать некоторые оборотистые пишущие господа, то здесь вопрос сделки с совестью либо автора, либо читателя, либо издателя.

О совести безликого издательского конвейера говорить не приходится, по причине отсутствия у корпоративного юридического лица органов для совестливого и вообще нравственного переживания. Издательский корпоративный конвейер производит деньги и только деньги, а нравственность в данном случае прямо препятствует бесконтрольному и тотальному денежному накоплению. По большому счету, коммерческим издательствам совершенно одинаково — что производить художественно оформленную книжную продукцию под брендом «художественная проза», что печатать откровения порноактёров под брендом «документалистика» — везде принципиален не вопрос нравственности содержания книжной продукции, а только вопрос рентабельности печати данных текстов.

Всё смешалось в этой вакхической пляске конвейерных литературозаменителей и художественных консервантов, но именно мешанина и позволяет извлекать финансовую прибыль здесь и сейчас. Дело в том, что единственная долгосрочная перспектива подобного потока книжной продукции заключается в поддержании усреднённого читательского вкуса и формировании этого вкуса у новых поколений потребителей подобной продукции. Все эти симптомы говорят о необходимости национализации средств издательского производства в самом широком смысле и в самой безотлагательной перспективе. Как и в системе образования, данный сектор общественной жизни не может быть отдан на откуп частным спекулянтам и корпоративным юрлицам, так как напрямую касается всей системы общественных взаимоотношений, а с ними и вопросов существования государства вообще.

Итак, в ближайшей перспективе видится два варианта развития событий. В первом случае вся система продолжит взращивание деградирующих умов и приведёт общество к необратимому уровню среднестатистического потребителя книжной продукции без каких-либо перспектив саморазвития в контексте общественных институтов. Итогом станет захват национальных ресурсов внешними собственниками и превращение территорий в ряд производственных зон колониального типа.

Во втором случае произойдёт что-то вроде национализации данного ресурса, а корпоративный коммерческий интерес будет ограничен госзаказом. Разумеется, злоупотребления в части выполнения госзаказа станут главной причиной сохранения деградационных элементов данной системы, но, как показал исторический опыт советских издательских проектов, эффект сохранения творческого потенциала от такой системы намного более заметен, чем от управленческой деятельности коммерческих издательств.

Не сложно предсказать и ту «внутрикорпоративную» борьбу, которая разовьётся вокруг госзаказа, но при наличии многих равнозначных с точки зрения законодательства писательских союзов будет намного сложнее злоупотребить полученными средствами. Впрочем, без злоупотреблений всё равно и наверняка не обойдётся.

* * *

Коммерциализация литературы никогда не давала хороших писателей (не надо путать писателей с «пишущими»), и уж тем более неизвестно ни одного случая, чтобы писателя смогли научить писать какие-то «курсы» или «мастер-классы». Всё, что появляется от такого рода деятельности — это косноязычные перевёртыши, которых можно поставить в одну линию, и не отличишь одного от другого, сколько их ни поворачивай и ни перечитывай. Это и не удивительно, так как является прямым следствием конвейерного производства под брендом «художественная литература». Правда заключается в том, что такое производство относится к паразитированию на устоявшихся наименованиях культурных достижений нации (например, на понятии «художественная литература»), но само таковых достижений не может дать по определению.

Достаточно вырвать по несколько страниц из любых «романов» любых «писателей», изданных под чутким руководством издательского аппарата, и сложить эти страницы в одну стопку — получится ещё один «новый роман», где вы даже не сможете заметить вырванность текста из «разных» книжек. Девяносто девять процентов издаваемого в коммерческих издательствах художественно оформленного продукта представляет собой лишь поток однообразного и унылого текста, который больше похож на недожурналистику и недопублицистику одновременно, а в самых тяжёлых случаях — на ровное, грамматически невыразительное художественно оформленное сочинение отличника восьмого класса средней школы.

Вообще, очарование коммерческим производством «писателей» давно требует некоего протеста со стороны пишущего сообщества, ведь сегодня писатель спит и видит себя «замеченным» издательствами, словно полоумный раб, стремящийся угодить хозяину. Разве такое возможно при наличии той классической литературы, что лежит в основе современного культурного поля? Да вся русская литература противна коммерции по своему духу, по сущности. Можно возразить, сославшись на известное пушкинское утверждение о таланте, который не продаётся, и рукописи, что вполне можно продать, но речь здесь не об угоде писателя издателю, а как раз наоборот.

Издатель являлся и является лишь тем, кто обслуживает писательский текст, даёт ему возможность стать доступным для читателя, при этом под доступностью понимается приемлемая цена книги, когда продажи дают прибыль, но не разрушают читательское поле, не дезориентируют читателя, именуя откровенную дрянь «художественной литературой». Сегодня же как под копирку в художественную литературу зачисляются как Лев Толстой и Фёдор Достоевский, так и какой-нибудь «вася пупкин», сочинивший под руководством кураторов издательства опус на «горячую» тему «школьного буллинга», «горячих домохозяек» или «сексуального маникализма». Где в литературном поле находится «пупкин», а где Толстой и Достоевский? Здесь даже в бреду невозможно представить имена этих русских писателей на одной книжной полке под наименованием «художественная литература» с коммерческим «пупкиным», но достаточно зайти в книжный магазин и бред оказывается повседневной реальностью. Рекламными усилиями коммерческих издательств все они стоят на одной полке книжного магазина под надписью «художественная проза». Либо мимикрируют эти безликие «пупкины» под наименование книжной полки «документалистика», где рядом с ними могут стоять книги о российской истории, героях Великой Отечественной войны и другая подлинно необходимая документальная проза и журналистика.

Такое положение дел страшно не только писателям, но и в целом — будущему страны, ведь, начитавшись псевдохудожественных опусов, человек перестаёт отличать подлинник от подделки, а значит, ему можно «впарить» любую текстовую муть, даже если эта муть разрушает все возможности здравого смысла. Проблема вовсе не в том, что таким «обществом недочитателей» легко управлять, проблема в том, что такое общество не в состоянии создавать ничего ценного для культуры, экономики, производства, а в личном плане — не в состоянии создавать крепкие отношения как в собственной семье, так и в рабочем коллективе.

Примитивизация и стандартизация создания «художественных текстов» влечёт примитивизацию и стандартизацию речи читателей, а следовательно, и представителей гражданского общества. Будущее подобных сообществ вполне определённо — подчинение любым внешним влияниям вследствие отупения и, в конце концов, потеря всех ресурсов, а часто и территорий. На фоне разворачивающихся в мире событий такое положение дел крайне опасно для всей страны, причём более опасно, чем отсутствие порядка в экономике и социальной сфере, так как именно языковая деградация и есть причина отсутствия порядка в каких угодно (второстепенных языку, на языке построенных) областях общественной жизни.

Сегодня художественная литература состоит из разрозненных, слабо взаимодействующих между собой и с обществом очагов, а сама эта разрозненность позволяет коммерческим издательствам делать всё что угодно и даже вызывать ложный пиетет молодого поколения писателей перед коммерческими «консультантами», «специалистами», «учителями» всех мастей. Кроме как махинациями (а часто и откровенным мошенничеством) в области культуры это назвать никак нельзя.

Все эти «учителя» ведут нас в пропасть, а с ними (или, лучше сказать, «под ними») давно слились в безликую, однообразную массу многие окололитературные заведения, штампующие из года в год выпускников для этого безумного конвейера по производству денег, но никак не художественной литературы. Вся эта финансовая вакханалия должна быть разрушена и выброшена на помойку истории, где ей и место. Писатель должен стать тем, кто определяет тему и редакторскую задачу при издании рукописи.

Издательства должны обслуживать интересы подлинной художественной литературы, следуя писательскому замыслу, а не определять художественную политику, выставляя писателю запросы-списки каких-то сиюминутных и разлагающих общество тем для написания произведений на сиюминутную злобу дня. Именно такой «списочный» подход и является источником многих дневных злоб, а потому он должен быть исключён из широкого применения без всяких словоблудливых разглагольствований о рейтингах и прочей лукавой аргументации. Рейтинг и спрос на книжную продукцию давно не является аргументом в пользу здравого смысла, а лишь покрывает бесчисленные сделки с совестью авторов и издателей, ведь рейтинг и спрос — это только итог планомерного разрушения читательского вкуса, упавшего сегодня во многих случаях

до уровня питания интеллектуальными отбросами и литературозаменителями.

* * *

Сайты некоторых известных издательств просто кладезь откровенного мракобесия. Чтобы понять очевидность такого словоприменения, необходимо уточнить, что в данном случае означает термин «мракобесие». На самом деле, требуется даже не уточнение, а скорее напоминание почти школьного знания о двукоренных словах в русском языке.

Сам по себе факт наличия слов с двумя корнями уходит (уж прошу извинить за тавтологию) своими корнями вглубь веков, когда такие слова стали формироваться в церковнославянской письменной традиции. Что «мрак», что «бес» — слова из христианского словаря, и их значение сохранилось до наших дней практически без изменений.

Такой краткий историко-лингвистический экскурс необходим, так как речь пойдёт именно об исходном значении слов, что непосредственно указывают на суть идеологических установок, которые декларируются на сайтах крупнейших российских издательств. Вообще-то, называть их «российскими» можно разве что в кавычках и по факту юридической регистрации, что же касается сущности продвигаемых ими книжных продуктов, то здесь вопрос, который как раз и требует разъяснения через термин «мракобесие».

Надо отметить ещё один важный факт, который относится к интерпретации последствий деятельности любых торговцев, продающих вседозволенные книжные продукты и распространяющих мракобесие «в массы». Если посмотреть на топы и рейтинги издательских сайтов, то довольно не сложно обнаружить, что все те «топовые» и «рейтинговые» тематические подборки относятся вовсе не к классической и даже не к традиционной русской художественной литературе, а к таким направлениям, как зарубежные ужасы и триллеры, пособия для фотомоделей и хакеров, методички «как заработать миллион», астрологическая и хиромантная беллетристика всех мастей.

После обнаружения данного факта достаточно осознать, что это не просто хиты продаж, а то чтение, что регулярно поглощается огромным количеством россиян, закладывая в их головы вполне конкретные идеологические установки. Проще говоря, все эти продажные хиты говорят лишь об одном — насколько низкопробными продуктами формируется мыследеятельность жителей страны. Надо сказать, что не просто жителей, но огромного количества молодых и активных людей страны, которые вроде как и составляют будущее нашей русской цивилизации.

Чем большее количество лет функционирует такая издательская машина, тем сильнее изменения в мировоззрении постоянных читателей и тем большее количество новых потребителей охватывает подобное упрощённое представление о мире, своём в мире месте и цели существования человека как личности. И ведь никакой драматизации не надо, всего лишь трезвый взгляд на ситуацию, которая разворачивается на наших глазах, совершенно не скрываясь и не боясь разоблачения.

Мелкое бесовство и мрак ума всё больше становятся повседневным делом и уже имеют такое количество «защитников», что любые разговоры о сохранении идентичности и суверенитета просто поднимаются на смех. Каждый бес рядится в одежды «лёгкого развлекательного контента» или «популярной беллетристики» и пляшет в головах читателей, приводя за собой десяток ещё более распущенных и бешеных представителей книжной нечисти.

Быть не просто молодой женщиной, а той, которая мнит себя «сексуальной ведьмой», стало нормой. В семейные пары эти «страстные» и «самодостаточные» представительницы женского пола формируются по принципу наличия у самца трёх ключей: от квартиры, автомобиля и личного офисного кабинетика. Такая чисто мещанская и мелкобуржуазная (как же здесь не вспомнить советскую риторику) фитнес-силиконовая масса самок с «тремя заповедями о ключах». Даже ходя в храм, такая силиконовая самка верит не в христианские заповеди или заповеди блаженства (о вторых она наверняка даже не слышала), а в свои простые и дешёвые «заповеди о трёх ключах».

Что же касается представителей так называемого «сильного пола» среди потребителей издательской книжной продукции, то и здесь полнейшая «разлюли-малина». Возгревание эгоистических наклонностей, любви исключительно к себе, культ тотального самолюбования — огромное количество книжной продукции направлено на эту искусственную инвалидизацию нравственного состояния личности. Понятие мужского достоинства извращается до гиперболезненной зацикленности на гордыне и своих потребностях, которая выдаётся за некое «самосовершенствование».

Такое внимание к себе как центру вселенной (мисс и мистер вселенная) характерно для детской психики. В случае, когда с возрастом молодой человек не обретает понимания необходимости заботы о других, милосердного отношения к посторонним людям, внимания к потребностям родных и близких, происходит инфантилизация со-

знания. При столкновении с реалиями мира такое сознание превращает жизнь индивида в страстную погоню за удовольствиями и педалирует в себе подростковый протест ради привлечения внимания к собственной персоне. Отсюда мы получаем целый класс вроде бы взрослых людей, которые ведут себя совершенно по-детски — обиды на всех и вся, ненависть к любому общественному начинанию, бесконечная склока на пространствах интернета и мессенджеров (кто-нибудь замечал, насколько похожи многие интернет-склоки на грызню в стае каких-нибудь диких североамериканских мартышек).

Есть и ещё одно последствие «начитанности» всевозможными книжными продуктами, «просвещающими» по поводу «идеального» человеческого тела. Таких продуктов на сайтах коммерческих издательств представлено неимоверное количество — это и пособия по «правильному питанию», и методички для фотомоделей, и различные методички типа «как правильно употреблять препараты для наращивания мышечной массы», «как стоять на голове, чтобы стать индийским йогом» и т.п.

Подобная книжная продукция изменяет сознание настолько сильно, что если человек склонен к ипохондрии, то он легко приобретает целый букет комплексов, в результате начиная вкачивать в себя то силикон, то стероиды, то растительную клетчатку, а то и вообще меняя хирургическим методом свой естественный пол. Разрушая пищеварительную систему, естественные процессы организма и собственную психику, адепт подобных практик не просто убивает себя, но приобретает огромное количество побочных заболеваний, которые передаются его детям (а такой человек, как правило, имеет уже несколько примеров сожительства и оставленных после развода детей) и умножают количество врождённых искажений тела.

Если согласовать количество потреблённых книжных продуктов указанного выше содержания с количеством повреждённых этими продуктами умов, то становится совершенно понятно, откуда произрастают многие общественные катаклизмы и безумия. Учитывая тот факт, что для русской культуры с её традиционными семейными и духовными ценностями вся эта книжная продукция совершенно чужда, нет ничего удивительного в появлении некоего класса «свободных» людей, что говорят на русском языке, но никакого представления о русской культуре не имеют.

По сути, наблюдается навязчивое внедрение в сознание русскоговорящих граждан ценностей иного, чуждого порядка, где корысть и самолюбование являются единственными ориентирами и мотиваторами для действий. Так любая «сексуальная ведьмочка» становится не женщиной, а агентом влияния чуждого мира «нетрадиционных» ценностей, а очередной «успешный бизнесмен» или «мистер вселенная» продвигает всей своей жизнью идеологию нечистой совести и сытого самодовольства.

И это уже агенты иного мира — потустороннего и мрачного мира демона мамоны, распущенного мира содомлян и гоморцев, идолического мира великой вавилонской блудницы. Мракобесие ума и сердца постепенно оплетает своими лукавыми сладкими посулами «самореализации», «финансового успеха», «совершенного тела», но итогом и платой становится разрушенная человеческая жизнь.

Главная подлость данного чтива в том, что до самой гробовой доски эти «сексуальные ведьмы», «силиконовые самки» и «успешные финансисты» так и мечутся по миру, не находя радости и успокоения ни в чём и нигде, а оттого и вопят истерично о «тоталитаризме», «попрании свобод и прав» и чём-то там ещё и ещё. Они, как правило, до самой смерти так и не понимают, что причиной их бед является не мир как таковой, а то мрачное и скотское состояние личности, к которому их привела безумная погоня за самоублажением, навеянная в том числе топовыми издательскими книжными продуктами.

Отсутствие упорядоченного контроля за работой коммерческих издательств необходимо не просто «заметить» или «поставить на вид», но именно отменить. Все разговоры о том, что «сегодня мало читают», и прочая лукавая риторика уводят от главного вопроса — что именно сегодня читают? Такой вопрос необходимо задавать себе по утрам каждому российскому чиновнику, в противном случае он однажды проснётся в стране, где не нужна никакая российская власть — ни его, ни кого-либо другого, где окажется не нужен никакой общественный строй — ни нынешний, ни так называемый оппозиционный. Потому что однажды вся страна будет состоять из «начитавшихся» вседозволенной книжной продукции от коммерческих издательств, которыми управляют представители «свободного мира». Насколько эти «представители» свободны, уже давно понятно, так же как давно понятно, какой именно «мир» они представляют.

* * *

«Ну ты и чепуха!» — этимология данного выражения довольно прозрачна, а производные вроде «чепушила» давно и хорошо известны не только специалистам в области

изучения сленга и арго, но и широкому кругу россиян. Но именно до умиления наивная и именно — чепуха (если не сказать — чепушня) издательских слоганов пожирает сегодня ракообразными метастазами умы русскоговорящих граждан значительно мерзотней, чем говор всех вместе взятых чиновничьих отписок официозного словоупотребления или сленговые говоры гопоты.

Область поражения такими метастазами — культура Русского мира. Да-да, зарабатывать хочется каждому, но не каждый способ заработка может быть приемлем. Всё самое поганое всегда плавает на поверхности, а запах разносится из каждого интернет-утюга, где ушлые и оборотистые деляги дотягиваются своими рекламными рассылками до любого гражданина, поинтересовавшегося об издательской политике.

Вот вам на электронную почту приходит письмо, в теме которого прямо указан повод «КАК УГОДИТЬ РЕДАКТОРУ?» Честно говоря, аудиторию, что с вниманием и прилежностью исполнительного кретина станет вычитывать — как же угодить? — даже страшно представить. Но такая аудитория, несомненно, есть, более того, именно издательствами она и взращивается в том или ином виде.

Так как же угодить редактору? Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько адекватно человек осознаёт само действие, которое необходимо произвести — угодить. Угодничество само по себе довольно низкое явление в нашем обществе и неизменно связано с тем, что государев человек и русский писатель Александр Сергеевич Грибоедов сформулировал уже бог знает сколько лет тому назад: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Рекламные слоганы издательств зовут прислуживаться, угождать — это настолько очевидно, что отвратительно и тошно становится буквально, физиологически.

Если человек готов прислуживаться и угождать некоему «редактору», то вряд ли вообще можно говорить о том, чем должен заниматься писатель, ведь здесь уже не о литературе речь, а об угодничестве — раб/господин. Кроме того, сама постановка вопроса указывает не на культуру, а скорее на отсутствие таковой и даже на унижение и обесценивание всех достижений предыдущих и ныне здравствующих писателей Русского мира.

Иными словами, никакому «редактору» в таком случае угождать не то чтобы не нужно, а даже противопоказано, если вы действительно хотите называться писателем. Все остальные виды окололитературного паразитирования — это да, это вам прямая дорога в издательства современной России, но тогда забудьте о культуре, литературе и всех достижениях, которыми и отличается художественная традиция письма на русском языке и в парадигме Русского мира.

Потому вопрос об угодничестве — это вопрос о том, готов ты или нет лить воду на эту поганую мельницу? Но, отвечая на него, необходимо помнить, что для такого типа крутящих механизмов совершенно не имеет значения, на какой воде крутиться — канализационной ли, сливной ли от химзавода. В любом случае важен только один момент — издательская мельница в современной России крутится только вокруг получения прибыли.

Бизнес есть бизнес, и получение прибыли от продажи книжной продукции для издательств совершенно понятно и совсем неудивительно. Намного большее удивление вызывает тот факт, что одни и те же руки печатают Достоевского и астрологическую чепуху, а называют писателями одинаково и Фёдора Михайловича, и тех, кто астро-коуч-гороскопную чепуху сочиняет тоннами макулатурных разноцветных листков.

Последствия такого «издательского» бизнеса неизменно катастрофичны как для культуры в целом, так и для каждого отдельно взятого человека в частности. Можно перефразировать слова нобелевского лауреата Иосифа Бродского и показать, что снижение семантического пафоса художественной литературы, её философского и эстетического содержания неизменно приводят к деградации общества. Литература, действительно, не может иметь целью говорить на языке улицы и медиа, в противном случае нам придётся вернуться в пещеры.

Но именно деградация и оказывается истинной целью всех современных издательских «мельниц», так как в плоском и отупевшем сознании всегда проще найти повод для угодничества, а следовательно, и прибыли на лёгкой и массовой книжной продукции. Сочинитель становится прислугой, обслуживающей интересы дельцов, даже если эту прислугу везде называют по имени-отчеству и периодически выдают какой-нибудь премиальный бонус.

Как угодить редактору? Судя по всему, для этого необходимо стать прислугой и выполнять указания господина максимально точно. Правда, тогда писатель в традиционном понимании, как творец, рефлексирующее сознание, ноющая душа, совершенно не нужен, а следовательно, не нужна никакая художественная литература — только книжная продукция на развесёлых книжных ярмарках тщеславия.

* * *

Сегодня уже нет никаких сомнений, что между писателем — в его традиционном понимании, и пишущим — в понимании современной коммерческой издательской деятельности, есть существенное различие. Различие проистекает не из области самого литературного ремесла, а из экономического устройства процесса производства книжной продукции.

Какова же роль так называемых пишущих? Фактически, при отсутствии каких-либо идеологических и нравственных установок данная роль становится вполне определённой и имеет вполне прямые аналогии с работой эскорта при состоятельном заказчике. Эскортницы, как известно, настойчиво выделяют себя из низкого социального слоя обычных проституток тем, что наделены особыми навыками, как-то: знание иностранных языков, способность поддерживать беседы на темы культуры (в довольно узком, но модном диапазоне), умение благообразно и интеллигентно выглядеть на людях и, конечно же, способность говорить только то, что угодно заказчику, при этом никак не препятствуя самому процессу производства денежных накоплений.

Заказчик, как правило, финансируя какой-либо проект в области «культуры», получает для себя символические дивиденды. Это те же самые часы, костюмы, автомобили, яхты дорогих брендов и марок, что и при обычном показательном потреблении, только в данном случае они предстают в виде коллекции неких «писателей», спонсируемых крупными капиталовладельцами через всевозможные «литературные премии» и «издательские проекты». В свою очередь коммерческие издательства выполняют роль тех, кто создаёт контекст для подобного вида потребления, формируя высшие и низшие слои потребителей книжной продукции, которым и внушаются всевозможные ориентиры на тренды в якобы «литературном» процессе.

Здесь достигаются сразу две цели. Первая заключается в том, что формируется некое общественное мнение, успешность манипуляций с которым выражается во всевозможных рейтингах продаж (но их настойчиво переименовывают в рейтинги популярности авторов). Данная манипуляция внедряется в сознание потребителей книжной продукции как демонстрируемая «народная любовь», а значит, и необходимость и правильность работы коммерческих издательств кажется несомненной.

Вторая цель направлена на формирование базы потенциальных работников эскорта, своеобразная кадровая политика по созданию болванок для будущих популярных эскортниц. В этот процесс вовлечены как ныне действующие эскортные работники, так и всевозможные сотрудники по подготовке кадров типа литературных консультантов, лекторов и прочего обслуживающего персонала для производства авторов будущей книжной продукции.

Разумеется, что такая система производства литературных продуктов нуждается как в высших, так и в низших — базовых слоях, где функционируют пишущие в самых низких и дешёвых тематических секторах. Это слой, где царит наиболее откровенная продажа себя и суммы гонораров аналогичны заработку женщин с низкой социальной ответственностью, что обслуживают похоти простого народа на пригородных трассах. При большой активности такие пишущие часто переходят в более состоятельную категорию, и их гонорары могут приближаться к заработку эскортниц высшего звена.

Аналогия с эскортницами здесь не случайна, так как происходит из самой сути того делания, что осуществляется как женщинами и мужчинами, продающими своё тело и сопутствующие ему интеллектуальные навыки, так и пишущими авторами коммерческих издательств. По существу, главный признак такого соответствия заключается в составе книжной продукции, которая направлена на разжигание интеллектуальной и физиологической похоти в самом широком ассортименте. Единственное условие существования подобной системы продаж книжной продукции — готовность пишущего быстро подготовить любую книжную поделку на необходимую тему. Это обязательное условие происходит из отсутствия идеологических и нравственных ограничений как у производителей, так и у потребителей подобных товаров.

Так как написание художественных текстов имеет в русской традиции укоренившиеся коннотации, то для осуществления подмены необходимо было исключить любые ограничения, которые накладывает на писателя общественная, идеологическая и нравственная традиция, что и было успешно проделано с культурным полем в течение первых нескольких лет после смены государственного строя. Постепенно и неизбежно в этот процесс стали вовлечены те общественные институты, которые ранее сохраняли статус носителей литературного канона.

Манипуляция с наименованиями жанров и направлений, искусственное усиление некоего запроса на «новизну» постепенно выявили тех участников литературного процесса, кто по разным причинам согласился участвовать на коммерческих основаниях в работе предложенной системы. Некогда номенклатурная прослойка советского литаппарата нашла себя в новых веяниях и с радостью обнаружила возможность

продолжения своей деятельности на безидеологических и, следовательно, более безответственных за последствия основаниях.

За три десятилетия оформилась целая структура по обслуживанию коммерческого сектора по производству «литературных» продуктов, куда стали вовлечены пишущие во всех необходимых для системы жанрах. Так как коммерческая составляющая была организована за счёт средств из источников определённого типа (и определённого геополитического источника), то и дискурс стал однозначно нетрадиционным и даже откровенно провокационным. Можно предположить, что первые участники этого процесса не имели каких-либо чётких представлений о долгосрочной сути политических и социальных перемен, которые последуют далее, но всё же понимание ими своего финансового интереса с самого начала было несомненным.

Любая система, построенная на манипуляции со смыслами, неизменно очаровывает самих манипуляторов, то же самое произошло и с участниками литературного процесса, активно принявшимися сочинять бесчисленные «разоблачительные» и «критикующие систему» романы. Казалось, что подобная вседозволенность утвердилась надёжно и надолго, но именно здесь и поджидал тот самый «русский фактор неожиданности». Оказалось, что подобная система способна только на время очаровать часть литконтингента, но сам смысловой строй русского языка противится долгосрочному бытованию в культуре подобных систем манипуляции с понятием «художественная литература».

Как и множество раз в истории русской культуры, язык смог познакомиться с радикальными формами иных дискурсов и отбросил всё то, что оказалось бесполезным и поверхностным словоупотреблением в области художественной литературы. Так называемый «протест» оказался пустышкой, имеющей изъян в своей сердцевине — получение финансовой прибыли. Окончательная коммерциализация литературного процесса так и не осуществилась, по причине отсутствия для неё серьёзных оснований в самой культуре. Первое же серьёзное покушение на русскую культуру проявило базовые формы, что лежат в основе русского языка, и показало, что пока народ говорит на этом языке, то он неизбежно произносит те образы, что были сформированы тысячелетней историей.

Язык древнее и мудрее его носителей, так как сама история русской цивилизации и есть история русского языка. Данная история имела множество примеров наполнения латинскими, тюркскими, голландскими, немецкими, французскими, английскими и многими другими словарями, но дело не в словаре, а в морфологии и синтаксисе, которые как были, так и остаются уникальными для русской речи. Судя по всему, это и есть те существенные причины, которые как лежат в основании культуры русской цивилизации, так и нуждаются в дальнейшем их осмыслении.

А пишущие эскортницы — это лишь ничтожная часть русской истории, которая уже сегодня начинает уходить со сцены за ненадобностью и даже назойливостью, как гормональные прыщи на лице или мокрота из выздоравливающих лёгких.

Остаётся вывести из этой порочной системы тех участников, что были вовлечены в неё лишь в меру своей погружённости в образовательный и библиотечный процессы. Запрет на бесконтрольную закупку библиотеками книжной продукции от коммерческих издательств видится самой разумной мерой, которая может сегодня адекватно соответствовать происходящему процессу понимания порочности и опасности подобного типа книжных товаров.

* * *

Вот вам ещё и такая продукция от современного издательского бизнеса — о маньяке, насильнике, убийце и просто психически больном человеке Чикатило пишутся и продаются книжки. Есть и бумажная, и электронная, и аудиоверсия данного сочинения (кто-то ведь ещё соглашается озвучивать данный продукт!), даже скидка предусмотрена. Какова же цель подготовки и издания данного сочинения? Ну уж явно не просветительская, в позитивном смысле этого слова. Более того, на сайтах крупных коммерческих издательств России всё чаще висит запрос на написание книг, где сюжет завязан на психически больных: насильниках, людоедах и убийцах. Потому вопрос необходимо задать более общий — какова цель подобной издательской политики?

При кажущейся очевидности ответа, всё же необходимо обозначить как возможные мотивы, так и долговременные последствия данного типа «просвещения» широких читательских кругов. Анонс любого продукта содержит, как правило, декларацию о намерениях продавца. Вот некоторые цитаты, демонстрирующие, каким образом анонсируются подобные сочинения «о маньяках и убийцах» на сайте одного издательства:

«В моменты приступов такие **люди становятся опасными маньяками**, хотя в

остальное время могут вести благопристойный образ жизни и быть примерными семьянинами. **Их странные проблемы**, иногда попадающие на страницы книг, **могут вызывать сочувствие и даже сострадание**...»

Итак, маньяки-убийцы — это всего-лишь люди со «странными проблемами». Нет, они ни в коем случае не преступники в буквальном и уголовном смысле, а те, у кого «странные проблемы». Но вот в чём «странность» таких проблем, что, по версии редакторов сайта, выводит поступки преступников из категории «отвратительных» в категорию «странных»? Здесь сразу возникает целый спектр смысловых подмен, которыми подобные поступки постепенно выводятся из вызывающих естественное отвращение в категорию только лишь «странных».

В приведённом рекламном анонсе такая подмена производится в рамках одного абзаца, где от слов «опасные маньяки» до «вызывающие сочувствие и сострадание» всего одно предложение. Невероятный оксюморон, когда «сочувствие» (как некое соучастие, сопереживание и даже разделение с объектом сочувствия его позиции) ставится в один ряд с состраданием (как неким пониманием болезненной необратимости психического или физиологического повреждения, но никак не желанием соучаствовать). Невероятная скорость тасовки смысловой колоды, которая не снилась даже высокопрофессиональным карточным шулерам. Как же здесь не вспомнить знаменитое окно Овертона, когда с помощью постепенной подмены понятий чёрное переименовывается в белое, а немыслимое вводится в повседневный оборот как приемлемая, а после и действующая норма.

Отчего же такая смелость и даже дерзость у редакторов сайта? Может, оттого, что их аудитория давно подготовлена годами планомерной обработки мозгов и «пипл хавает» эту смысловую подмену, как говорится, «за здрасте»? Но авторы сего «краткого курса начинающего маньяка» не останавливаются и продолжают развивать свою лукавую мысль. Вот ещё несколько тезисных утверждений с того же сайта из того же анонсирующего сообщения:

«Даже самые закоренелые **убийцы и маньяки** по природе своей **люди, живущие среди нас, похожие на нас**, только **их бесчеловечные поступки не попадают под общепринятое нормальное поведение**...»

Введение в оборот слов и понятий, искажающих понимание прямых смыслов, продолжается. Причём, обратите внимание, навязчиво используется терминология из того дискурса, что сегодня широко применяется СМИ при обсуждении каких-нибудь проблем инклюзивного образования. Та же самая риторика о том, что это «люди, живущие среди нас», просто их поступки «не попадают под общепринятое нормальное поведение». По сути, мы наблюдаем явную легитимизацию существования в обществе «убийц и маньяков» под соусом некоего «не такого как у всех» поведения. Дальше — больше:

«**Литературные убийцы из нашей подборки не сеяли тотальной паники** в реальном мире, и **потому сочувствовать им, и даже проникнуться симпатией, гораздо легче**...»

Действительно, ну чего вам стоит взять и «проникнуться симпатией» к маньяку-педофилу, изнасиловавшему и убившему несколько малолетних детей. Судя по всему, читателю предлагается «принять маньяка таким, какой он есть» и проявить неимоверную толерантность. Прямо и не знаешь, о ком уже идёт речь, то ли о притесняемом в «необразованном обществе» представителе сексуальных меньшинств, то ли вообще о несчастном инвалиде. К первым проникаться состраданием мы пока не научились (разумеется, по причине нашей варварской нетолерантности и непросвещённости), зато милосердно сострадать инвалидам на Руси испокон веков принято широко и традиционно.

Лукавство заключается в том, что в этом случае из доброй традиции милосердия пытаются прорастить больную и легковесную «симпатию», которая заставит купить книжку и принести прибыль от продаж. Банальность зла такова по своей природе, что при всей грандиозности подмен и обманов имеет всегда дешёвую цель — извлечение копеечки из ближнего своего. При всём при этом, к ближнему и к последствиям для этого самого ближнего подобный механизм извлечения прибыли испытывает полнейшее равнодушие.

Ну, и конечно же, уловить в сеть подмены необходимо как можно более широкий круг затуманенных умов (а то и душ), потому в подобном анонсе просто неизбежно возникает намёк на «серьёзный» психологический нарратив:

«**Психологический анализ преступлений позволяет** читателю или зрителю **проникнуть в мозг** изощрённых злодеев, **понять мотивы** их жестокости и **побороть страх перед** их **монструозностью**...»

По сути, предлагается не просто познакомиться с технологией психического повреждения, но и побороть страх (читай — естественное отвращение) перед ним. Каков

же должен быть результат этого самого избавления от страха? А не тот ли, что и сам читатель примерит на себя личину злодея-убийцы?

Вся «цивилизованная» Америка давно испещрена местами массовых убийств в школах и общественных заведениях, в связи с этим интересно было бы посмотреть круг чтения и просмотра видео тех самых американских убийц-школьников. Что-то подсказывает, что в данный круг обязательно войдут продукты подобного издательского бизнеса «об убийцах и маньяках», а те школьные убийцы окажутся как раз из категории «поборовших страх».

Сегодня к этому «цивилизованному миру» коммерческие издательские конвейеры приобщают и нас (разумеется, лапотных и необразованных), выросших на Достоевском и ужасающихся моральным падением убийцы, но уж никак не стремящихся «понять мотивы, чтобы побороть страх» или «проникнуться симпатией» к подобному моральному уродству.

Как процитировано на сайте в нескольких высказываниях авторов подобной книжной продукции:

«Мы, простите за пафос, **проводники в мир тьмы**. И мы изучаем её в том числе для того, чтобы помнить о существовании света».

Какое всё-таки у некоторых из нас «наивное» представление о подобных перемещениях между светом и тьмой, ведь мы-то думали, что к свету как раз из тьмы надо выбираться! Так нет, авторы сочинений о маньяках и убийцах просвещают нас, что, оказывается, всё наоборот, что настоящая дорога идёт во тьму. Такое компьютерно-игровое понимание дороги во тьму как приключения, квеста. Только речь идёт о человеческих жизнях, проживаемых и убиваемых не в компьютерной игре — «восстановиться» или «перезагрузиться» не получится.

Правда, язык выдаёт этих самых «авторов», что хотят «разобраться», ведь они говорят: «чтобы помнить о существовании света». То есть не идти к свету, не выходить из тьмы безумного невежества и грязи, а всего лишь «помнить». Как мило и наивно, что вот здесь-то страх и переходит в экзистенциальный ужас здравого смысла от такой «милоты».

Не исключено, что авторы вышеприведённых заявлений сами являются всего лишь продуктами более глобальных процессов расчеловечения и нравственной деградации. Подобные незрелые, а часто и заражённые всевозможными циничными идеями авторы не просто умственно деградируют (что видно из их заявлений), но делают деградацию мейнстримом, переворачивая всё с ног на голову и выдавая этот болезненный бред за «цивилизованный» и «просвещённый» гуманизм. Проблема в том, что ни к цивилизованности, ни к гуманизму подобное просвещение не имеет никакого отношения, а единственная цель таких телодвижений — получить много или мало, но хоть сколько-нибудь денег. Зло, без всяких иносказаний, банально на любом его уровне, даже если рядится в одежды «просветителей», «разбирающихся в проблеме», а то и вообще «ангелов света». О свете просвещения они только «помнят», правда, память их всё мутнее и темнее.

А книжные магазины — в них необходимо произвести упорядочивание и сделать главное пространство для книг, изданных по государственным просветительским программам, в рамках профильной работы университетов и научных центров, при издательствах литературных журналов, альманахов и газет. Коммерческая же книжная продукция «о маньяках и убийцах» должна находиться в отдельной локации с указанием, что это товары коммерческих издательств, которые не имеют никакого отношения к русской художественной литературе и «являются экспериментальной книжной продукцией», доступной для приобретения гражданами, достигшими 21-летнего возраста при предъявлении соответствующего документа. Ум человеческий — это далеко не желудок, и повреждения незрелого ума (впрочем, зрелого ещё больше) в мировоззренческом смысле имеют крайне негативные последствия как для личности, так и для общества, а книжная продукция изменяет именно ум, а с ним и мировоззрение.

Тем же, кто готов поднять вой по этому поводу о якобы «угнетении свобод», стоит уяснить, что такой подход — это есть необходимая мера, такая же, как вынесение магазина интимных товаров за рамки общественных мест, в которых могут находиться подростки и дети. Книжная продукция «о маньяках и убийцах» — это продукт конкретного содержания, и законодательно существует многолетняя практика работы с подобными типами продуктов. Для начала хотя бы так, но в долгосрочной перспективе необходимо заниматься такой работой в области культуры, чтобы подобная «книжная продукция» знала своё место и не выходила за рамки, отведённые ей в конкретной области психиатрии.

* * *

Отдельного анализа требует та книжная продукция, что сегодня активно продвигается в качестве некоего «канона» нового времени. Общее наименование подобных

сочинений можно обозначить как «аутолитература», а причины такого обозначения следующие: замкнутость «аутолитературы» на самой себе как на принципиально антикоммуникационном тексте и отказ от базовой функции литературного искусства — взаимодействия с читателем. Характерно то, что большинство подобных сочинений создаются некими «молодыми» авторами, причём под данной категорией необходимо понимать не столько фактический возраст сочинителей, сколько неразвитость их коммуникационных способностей.

По существу, мы наблюдаем полнейшую беспомощность сочинений под маркой «художественная литература», которая выдаётся за «современную литературу». Современными данные тексты могут быть названы разве что по факту их сочинения в текущий временной период, но вот что касается содержания и особенностей технической работы с языком — это совершенно невнятные сочинения, наполненные смысловыми штампами и стереотипными приёмами, не более того. Можно было бы обозначить все эти словесоплетения как постмодернизм, но уж больно навяз на зубах этот маловразумительный и широкоприменимый термин, чтобы наклеивать его и здесь. А все замечания о вторичности любого искусства не могут, судя по всему, быть применены к художественной литературе в прямом смысле слова, зато в случае указанных выше текстовых сочинений «современных» авторов — вполне себе.

Опять же, приводить списки каких-то имён не имеет смысла, достаточно отослать внимательных читателей к премиальным спискам сочинений от всевозможных «Заглавных литпупков России» и близких им по духу и стремлению к мещанской сытости «Главрыб», а также к всяческим «актуальным» презентациям. Здесь перманентно декларируются какие-то отказы то от пунктуации, то от красных строк, то вообще от здравого смысла, но всё это словоблудие имеет одну единственную цель — прикрыть фиговым листочком «литературного эксперимента» полнейшее (тотальнейшее!) отсутствие художественной мысли. «Ну и конечно, никто ни в чём не виноват, ибо никто ничего серьёзного в виду не имеет, а художественная мысль, так это так, продукт устаревшего модерна» — примерно таков дискурс сочинителей из когорты «литэкспериментаторов».

Особенно умиляет периодически объявляемые направленности на какую-то абстрактную «молодёжь», что якобы вносит в литпремиальные списки «свежую струю». Про все эти «свежие струи» даже не будем говорить, ибо и так понятна бессмысленность подобных заявлений, а вот о молодых сочинителях-экспериментаторах сказать прямо необходимо.

Прежде всего, стоит поставить под сомнение способность данных незрелых умов (как правило, выпускников бесчисленных литкурсов и писательских мастерских) вообще что-либо глубоко осмыслять. Да, молодой человек может довольно быстро получить какие-то профильные знания и довольно успешно и даже нестандартно их применять, но в случае изучения, анализа и создания художественной литературы этого недостаточно. Помимо профильных знаний, необходим серьёзный опыт взаимодействия с людьми, то есть опыт налаживания личностной коммуникации. Ибо художественная литература направлена к читателю как к собеседнику, но ни в коем случае не замкнута сама на себе.

По сути, тот тип художественно оформленных текстов, который всё больше захватывает сегодня книжный рынок — это аутичные, замкнутые сами в себе сочинения, а сочинители данных текстов, которые наполучали всевозможных профильных знаний, так и не научились коррелировать их с миром людей. Потому они и живут подобно замкнутой группе сектантов, переназвав религиозные сектантские догматы некими филологическими терминами.

По сути, мы имеем примеры исключительно технических, узко применимых в филологии текстов, которые больше похожи на инструменты анализа языковых (уже ставших штампами) нюансов, но ни в коем случае не на ту художественную литературу, которая обращена к читателю вообще. Переполненность полок книжных магазинов и премиальных списков «свободных от политики» литературных премий наименованиями всевозможных окололитературных поделок указывает на основную причину такого «аутопотока» — финансовая прибыль. И здесь за спинами «юных гениев» неизбежно начинают маячить всевозможно-благообразные и седобородые «наставники», стремящиеся укрепить своё положение как в чиновничье-образовательном, так и в номенклатурно-литературном поле.

Разумеется, что закрепление положения сопровождается укреплением собственных властных позиций, и именно это мы наблюдаем из года в год в бурлении литературных боёв за власть над умами и телами потребителей книжной продукции. Так, ещё на излёте прошлого века укрепилась некая «литературная элитка», которая сегодня обросла государственными наградами и правительственными премиями и продолжает сосать деньги то спонсоров, то налогоплательщиков. Деньги, как известно, развра-

щают многих, но вкупе с полученной властью над умами они развращают неизбежно. Только в области литературного ремесла разврат приходится не совсем на ту физиологию, которая близка просто разбогатевшим и ожиревшим капиталовладельцам. В литературном ремесле разврат приходится на области ума и духа, что выражается в деградации текстов.

Притязания «литературной элитки» довольно очевидны в вопросах финансового обеспечения их похотей и хотелок, а с их текстами ситуация совсем примитивная. Здесь всё ещё более просто, чем с деньгами. А именно — постепенно так называемая «литературная работа» превратилась в буквальное ремесло — в изготовление бесконечных поделок, то под «хохлому» социальности, то под «гжель» либеральности, а то и под «скандинавские руны» западничества. В целом, у таких сочинителей всегда получается одно и то же — схематичный и мёртвый иллюзионизм как подделка под литературу, яркая дизайнерская выпуклость. И, конечно же, есть мастера готовить такие подделки в максимально сжатые сроки, и именно они всплывают, когда встаёт вопрос распределения премиальных денег, будь то условный «Заглавный литпупок России» или «литературная Главрыба».

Но вписавшись в эту систему, человек неизбежно становится ослеплён сам. Ослепление лишает возможности увидеть собственную деградацию, в том числе во всём, что касается художественно оформленных текстов. Всё больше и больше, всё навязчивее и навязчивее любому благообразному бездарю хочется верить, что он «писатель», и не только по качеству, но и по количеству изданных «книжных кирпичей» и «братских могил для слов». И даже в случае, когда встаёт вопрос прямого обсуждения качества изданного опуса, то его настойчиво, назойливо и даже навязчиво заставляют определять через какие-то филологические ужимки, прыжки и выкрутасы, превращающие любое подобное сочинение в ещё более невнятное бормотание аутичных графоманов.

Невозможно без слёз слушать бесконечные презентации сочинений таких мертворожденных писак, которые пытаются обращаться сегодня к «горячей» теме войны и военных действий. Не так давно в Москве, в одном из книжных центров, прошла подобная презентация, где нас прямо-таки уверяли, насколько глубоко авторы проникли в суть вопроса. Правда, при обращении к этим самым авторским текстовым «проникновениям в суть» оказывается, что ни к одному реальному опыту понимания войны и военных действий это не имеет никакого отношения. Все их сочинения оказались тривиальным бумагомарательством мелких мещан, рядящихся в шкуры интеллигентов — какие-то «страдания», «переживания» и в целом муть-мутная, от которой разрыдается разве что аутичная интернет-публика, ни разу в жизни не видевшая совковой лопаты и каски рабочего.

Весь этот планктон из раза в раз собирается в стаи и облизывает сам себя, исходя слюной над собственной «приятностью» и похотливо мечтая о «признании потомков». Не будет никакого признания, так же как и не будет у них никаких потомков, ибо бесплодное и мертворожденное по-определению не может иметь будущего. Всю эту шелуху сметёт временем со стола истории прямо в мусорную корзину забвения, и никаких иных результатов от зомбифицированных аутолитераторов не будет.

Напрасно «литературная элитка» пытается присвоить себе чуть ли не дореволюционные наименования как-то: «художественная литература», «художественная проза», «писатель». Так они стремятся зафиксировать своё присутствие в поле культуры. Только необходимо называть вещи своими подлинными именами и для данных явлений такие имена следующие: аутолитература, пишущие ремесленники и литературные бюрократы. Основной же отличительный признак представителей данного пишущего сословия — полная художественная предсказуемость и псевдоинтеллектуализм, которые есть лишь провинциализмы их мышления, где провинция не в географии, а в их головах. Что родившаяся в башкирском посёлке городского типа инагент, что отмалчивающиеся о политике, но таящиеся с фигой в кармане представители российской, пока ещё официально неинагентовой «литературной элитки» — все они очевидные провинциалы мысли, потому и все их «заявления», «умолчания» и «сочинения» — это не более, чем провинциализмы мелкопоместного типа. А русская художественная литература очевидно не об этом.

* * *

Отдельного внимания стоят так называемые «литературные критики». В общем-то, мы можем здесь привести пример из некоего фольклорного слоя культуры, а именно анекдота, рассказывающего о том, как Белинский, поехав однажды на извозчике, стал невольным участником такого диалога:

— А вы, барин, чем занимаетесь?

— Я литературный критик.

— Это как так?
— Ну, писатели пишут книжки, а я их ругаю.
— Так, поди, никто вам книжек-то и не даёт, раз так?
— Ещё как дают, даже просят, чтобы про них что-нибудь этакое написал.

Извозчик изумился и пробормотал: «Ишь ты, какая мелкая гнида, а такую власть взяла».

Так вот к началу 21 века взяв эту власть в России в её литературном пространстве максимально полно и бесконтрольно, эти самые пресловутые «литературные критики» перепугались до ужаса плодов своей деятельности и резко превратились в аморфных, ничего проблемного в литературной критике не говорящих демагогов, которые сегодня всё, что могут заявить, это давайте дружно за руки возьмёмся в духе уже множество раз не к ночи помянутого заявления в отношении чтения книг одного инагента.

Не удивительно, что мы в итоге имеем не художественную литературу, а продвижение внутрикорпоративных интересов. Постепенно эта, как выразился пресловутый извозчик, «мелкая гнида» всё больше и больше смотрела на саму себя и настолько была очарована собственным отображением, что решила стать «писателем».

Но рассказ будет неполным, если не сказать о зарождавшейся параллельно конкурентке этой мелкой прослойки конъюнктурщиков, которая начала осознавать себя примерно в середине XX века, произрастая из того, что сегодня мы можем называть журналистско-публицистический бомонд. Там тоже зрела неудовлетворённость и ощущение, что «писателем» каждый может стать и сам. Зачем сочинять статейки на злобу дня, если из них прекрасно можно скроить: вначале фельетон, а потом и рассказик, а там, глядишь, и до романов недалеко.

В общем, с одной стороны зрело так называемое сообщество «писателей-филологов» (как правило, из бездарных литературных критиков), чьи опусы представляли из себя некие методические пособия для приложения своих филологических знаний и, по сути, давали возможность получать дивиденды ещё на одном поле, называемом гуманитарные науки.

С другой стороны, художественную литературу атаковали и захватывали вчерашние «журналисты» (вспомним Довлатова), которым казалось, что их материалы на злобу дня достойны встать в один ряд с романами Достоевского и Толстого как остросоциальные проблемные тексты.

Причём страдали от амбиций первых и вторых как раз их вчерашние коллеги по журналистскому ремеслу и преподаванию филологии. Именно те коллеги стали первыми жертвами этих двух мелких прослоек окололитературного поля.

К началу 90-х в этом уже созревшем поле псевдописателей было всё готово для принятия ценностей «свободного запада». А так как основным мерилом ценности чего бы то ни было в парадигме «свободного» мировоззрения была и остаётся финансовая составляющая, то, разумеется, эти граждане тут же стали получать денежные бонусы, порой вполне себе ощутимые.

Но как уже множество раз говорилось о банальности любого зла, так и здесь, постепенно психическая деятельность указанных индивидов неизбежно приводила их к совершенно тривиальному состоянию ума, в котором существует устойчивый стереотипный подход к наличию мнений — такой ум существует с полной, тотальной убеждённостью, что в мире существует только два мнения — его собственное и неправильное. Заметим, насколько это коррелирует с современной риторикой так называемого «свободного запада», что и не удивительно, так как является порождением одних и тех же процессов — интеллектуальной деградации и духовного повреждения. Стойкая умственная деменция большинства этих самых пишущих граждан, как говорится, налицо.

Характерным признаком художественной беспомощности является то, что большинство пишущихся сегодня так называемых «романов» довольно легко препарировать. Легко и безболезненно, как труп, который не дёрнется и не вскрикнет. С одной стороны, это позволяет обслуживающему персоналу быстренько состряпать рецензию, указав на «несомненные» филологические и даже лингвистические «достоинства» данных сочинений. С другой стороны, это позволяет, с помощью того же самого механизма, создавать тексты «нижнего уровня», о тех же самых маньяках, эскортницах или «несчастной» судьбе мошенников всех мастей.

Структура что первых, что последних сочинений отличается лишь какими-то деталями, но в целом она настолько прозрачна и настолько буквальна, что давно и не скрывает свой основной «творческий метод» — шаблон, штамп. В этой структуре отсутствует самое главное — жизнь языка. Не напрасно эта каста ругает Достоевского за некую небрежность письма и за какие-то тавтологии, а то и даже канцеляризмы. Причина очень проста, он для них на самом деле непонятен, Достоевский совершенно не касается никого из этой омертвевшей касты. Отдавая должное значению Достоевско-

го в русской и мировой культуре как «признанного» писателя, каждый их них сидит и мелко думает, что значение последнего слишком преувеличено. Подобные мыслишки происходят из банальности собственного ума, но самое печальное, что они происходят из внутренней омертвелости, пустоты, отсутствия того, что в русской традиционной культуре понимается под словом духовность, под понятием острая душевная боль. Для них это давно недоступно.

Красота Достоевского (в подлинном смысле) — это не красоты слога, а зенит подлинного художественного высказывания. Об этом сказал в одном из интервью режиссёр Андрей Тарковский, назвав такой способ художественного высказывания разговором с Вечностью. В случае Достоевского, это разговор с Богом и поиск образа и подобия Божьего в человеке. Но одновременно, это и разговор с живым человеком. Указанные же граждане разговаривают не с Богом и не с человеком и даже не друг с другом — они бормочут сами с собой. Именно поэтому создаваемый ими тип художественно оформленных текстов имеет все основания называться «аутолитературой».

Будучи плохими филологами и плохими журналистами, вся эта гоп-компания неизбежно и просто необратимо становится плохими писателями. Вот почему их проблема не в филологии, журналистике или художественной литературе, это проблема вначале мировоззренческая, а потом чисто психологическая — своеобразная разновидность заболевания. Заболевания, имеющего вполне конкретные симптомы и конкретное название — аутолитературная зависимость.

Называть чьи-то имена не имеет смысла, потому как назовёшь двоих, а пропустишь две тысячи, ибо имя им — легион. Откройте книгу Вячеслава Огрызко о советском литературном процессе (речь идёт о книге «Знаменитости без глянца. Что мы не знаем о классиках советской литературы»), там масса имён «лауреатов чего-то там», «начальников всего возможного», но сейчас это лишь документальный факт истории, но не более того, а значение эти деятели имеют совершенно ничтожное. Из той же самой книги Огрызко можно вспомнить приведённую там рецензию некоего литдеятеля, написанную на произведения Юлиана Семёнова. Этот самый рецензент, чья фамилия никому ни о чём сегодня не скажет, рассуждая ни хорошо и ни плохо, в финале своего текста буквально выдаёт перл, звучащий как-то вот так: «...членом Союза можно стать с помощью многих рук, поднятых для голосования, а писателем с помощью только одной руки, своей и притом трудолюбивой и беспощадной...» Этот рецензент даже сам не понял пошлости и двусмысленности выданного им финального заключения. Наверняка, закончив так свою рецензию, автор предполагал, насколько он оригинально показал своё писательское мастерство и понимание литературного труда. Наверняка этот рецензент думал войти в историю, но, очевидно, не предполагал, что войдёт в неё вот таким нелепым и двусмысленным образом. Теперь, и в немалой степени не своей заслугой, а исследовательской настойчивостью Вячеслава Огрызко, он вошёл в историю совсем не так, как ему, очевидно, хотелось, а только в качестве курьёза.

Вот почему называть имена участников всей современной вокруглитературной корпоративной тусовки не имеет смысла. Они абсолютно не сыграют никакой роли в истории русской литературы, а если и будут вспоминаться, то архивистами и историками литературы как некие курьёзы и имена нарицательные, примеры нелепости претензий и литературной бездарности.

Возвращаясь к вопросам филологии и журналистики, хочется настойчиво напомнить, что именно эта самая корпоративная бездарь, получающая очень активно все возможные финансовые бонусы, разрушает пространство подлинной художественной литературы и лишает профессиональных филологов статуса достойно оплачиваемого и уважаемого в обществе специалиста. Так же как соблазняет журналистов на часто совершенно необоснованные попытки сочинения романов в рамках коммерческих издательских программ, коих сегодня также пруд пруди. А ведь могли бы быть просто хорошими журналистами. Вот эти соблазнившиеся вчерашние журналисты, а сегодня возомнившие себя «писателями», разрушают поле профессиональной журналистики намного сильнее, чем сотни гиперактивных блогеров-любителей.

Так что же с этим делать? Да ничего делать не нужно, кроме приведения в чувство тех, кого ещё можно излечить от коммерческой зависимости и идеологической вседозволенности. Как уже и говорилось ранее, национализация издательских ресурсов и средств производства книжной продукции позволит прекратить этот бесконтрольный процесс разваливания национального культурного потенциала. Журналисту стоит быть хорошим журналистом, так же как филологу — просто хорошим филологом — это основной эффект, которого можно попытаться добиться через издательскую национализацию.

Юрий КУЗИН

А–ТИПИЧНАЯ АНГЕЛОЛОГИЯ:

travelling серафима / zoom сатаны

t r a c t a t u s[1]

леммы / глоссы

1. Бог и діавол мыслят/говорят порознь: Создатель – именует вещи; враг – судит о вещах превратно.

И в самом деле, философу, вознамерившемуся понять оба дискурса, божественный и инфернальный, следует отказаться от безнадёжной затеи и выйти сухим из воды, или обратить глаза зрачками внутрь. Зачем? «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей»[2].

И, поскольку я буду называть тварь «вещдоком», уличающим Творца в акте творения, мне не уйти от роли дознавателя, выбивающего показания. Я намерен исследовать себя как потерпевшего от зачатия, вынашивания и изгнания. И хочу стразу оговориться: мой трактат — тяжба, правда с одной оговоркой: вручение иска ответчику не представляется возможным, — Ничто в бегах. Да и судью не выманить и калачом из совещательной комнаты. По этой причине моё заявление некому принять или отклонить. И тот факт, что термины «пропозиция» и «пресуппозиция» фигурируют в трактате наряду с «богом» и «дьяволом», ещё не повод трубить о победе секуляризма. Я хочу показать, как наука использует «внутренний опыт», включая религиозные практики, как засадный полк, который придерживался для вылазки в стан врага: непродуманного, непрочувствованного, непрожитого.

Наука там, где парадигмы верифицируемы и фальсифицируемы. И поскольку религиозный опыт описан, то феномен откровения должно исследовать как факт, а не табуировать как плод фантазии или аберрацию. Данный трактат — инструмент научного (объективного) описания феноменов и ноуменов. Но без обиняков относится и к жанру богословской литературы, с той лишь оговоркой, что автор не «окормляет» заблудших.

1.2 Прежде чем элиминировать из ума как недо-понятие (Декарт) непредставимое/невыразимое, зададимся вопросом: кто тот, кто судит, что «есть», а чего «нет»?

«Нельзя ни высказать, ни мыслить "не есть"» (B 8.8-9 DK). Выдвинув этот запрет мыслить не-сущее как сущее, Парменид сколотил прокрустову кушетку, на которую рациональность вот уже две с половиной тысячи лет укладывает дискурсы, отстаивающие права Ничто на суверенность. Трактат — попытка интуиции выпростаться из-под ремней, которыми рассудок приторочил к ложу религиозную проблематику, а нож нетерпимости занёс над головами несогласных. Трактат вопиет о милости к дискурсу, который, быть может, недостаточно строг, но и не похлопывает традицию по плечу. Какие цели я преследую?

Во-первых: поставить вопрос о причинах парадигматической инфляции. **Во-вторых**, дать феноменологическое/дескриптивное описание *кино-метафоры* как способа философствования в условиях дискурс-стресса и коллапса речевой функции.

Я буду говорить об ангелах, но намерен обсудить и доказательства бытия Бога, как, впрочем, и контраргументы. Вера вне логики. И, тем не менее, полезно исследовать виртуальный конструкт, с помощью которого рациональность подставляет плечо

[1] «А-типичная ангелология» – это составная часть философского трактата Юрия Кузина «Тринокуляр», который в полном объеме заинтересованный читатель найдет по ссылкам: https://clck.ru/33jKnj + https://clck.ru/33cYXg

[2] Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы», кн. 3, гл. III.

интуитивному познанию, а наитие снабжает разум инструментом уяснения прежде неуяснённого в виде не-конвенциональных речевых импликатур (non-conventional implicatures).

1.3 Бог являет Себя в Именах, чтобы те, кто боговидение/богообщение понимают рассудочно, терпели фиаско.

На этом допущении я строю гипотезу перманентного явления Богом своих имён. Я уверен, что в XX веке Создатель вложил в кинематограф проповедь благочестия, как в средние века — в иконопись. Предвосхищая тему, не могу не упомянуть статью «Сталкер» как икона» Северина Кусьмерчика, где критик, говоря об Андрее Тарковском и его круге, предвосхитил мистическое богословие кино, о котором, собственно, и пойдёт речь[1].

1.4 Бог иудеев, Бог философов, Бог часовщик – череда метафор. Возможно, пришло время Бога-Кинематографиста, – во всяком случае, если есть троп, способный влить свежую кровь в метафизику, грех им не воспользоваться.

Но прежде, чем говорить о священном и профанном, божественном и инфернальном, уясним, что не-сущее не явлено реально (как вещь) или идеально (как предмет), оно присутствует/отсутствуя, — как ноумен без феномена. И о том, что невыразимое топчется за кулисой, ум лишь догадывается. А поскольку предмет науки — достоверное, а то, чего нет, не-верифицируемо/не-фальсифицируемо, то объектом исследования я делаю воображение, но не как функцию психики, а как результат со-бытия встречи ума и умопостигаемого.

Я наделяю метод аутодескрипции презумпцией истинности. Поэтому в трактате так много самоописаний. Я черпаю в них материал, который нельзя элиминировать из опыта, не изъяв сам субъект. Я допускаю, что существует идеальный конструкт (воображаемое), который налаживает двухсторонний диалог между чувственностью и умом. А, взяв в качестве предмета мышление, которое не обзавелось субстанцией и субстратом, я намеренно со-полагаю религиозный и киноведческий дискурсы, поскольку их роднит бытие в грёзе.

Воображение и воображаемое я не увязываю в причинно-следственную связь как часть и целое. Воображаемое — и в локусе откровения, если речь о промысле, и в качестве инсайта, если речь о науке, и в форме безумия, если субъектность изъята из ума, а психическое «дано» себе в спонтанной и хаотической череде флуктуаций, — так вот, воображаемое наделено энтелехией и гипостазирует своё бытие. Значит ли это, что автор солипсист? Ни в коем случае. Я лишь исследую условия, при которых бытие-ум-небытие встречаются как деятели, наделённые воображением.

В детстве я атаковал кинотеатры. А просочившись в зал, когда публика валила на улицу, щурясь от слепящего солнечного света, таился в портьерах. Дождавшись, когда погаснет свет, а билетёр уйдёт, я усаживался на первом ряду. Когда плёнка рвалась, зрители стучали ногами, свистели и орали: «сапожник!», а я залеплял уши ладонями и соединял по памяти лоскуты сюжета. Со временем я понял, что рассказ (как набивную нить Пенелопы) вытаскивает луч проектора. И образы, отразившись от экрана, попадали в мой ум. Здесь был свой кинозал. Здесь узрение (бобина, куда легче той, что со скрежетом вращал лентопротяжный механизм) устраивало кинопоказ, который не прерывался и тогда, когда я плёлся домой, сожалея о финальных титрах.

1.4.1 Верно, что в свете, бьющем из кинопроектора, обитают светлые духи, что сеанс – литургия, а публика – соборяне.

И если в отрочестве на вопрос: «существует ли Бог?» я без запинки отвечал: «нет». То, повзрослев, изгваздавшись о бытие и Ничто, я понял, что на вопрос этот нельзя отвечать «без запинки», что знание и вера — разные способы бытия при истине. О Боге следует молчать, поскольку молчание кротко. Да и вопрос о существовании Бога нелеп. Ведь достоверный ответ предполагал бы, как минимум, верификацию (проверку доводов опытом). Но это едва ли вероятно.

1.5 Бога нельзя уложить на прокрустово ложе опыта, теории или интуитивного познания. Бог ноумен без феноменов. И тот, кто уверовал в Промыслителя, стал аргументом в Его пользу. Часто – единственным.

Таким образом, вера, молитва, откровение, равно как и жития святых, составляют скудный арсенал доказывания. И в самом деле, опыт богопознания отличается от научного (рационально-практического) исследования истины. В первом случае верующий — и объект полевых исследований, и их субъект. Учёный же дистанцируется от

[1] Seweryn Kuśmierczyk. Stalker jako ikona. Статья была опубликована и в польском теоретическом журнале «Иллюзион» (1/1987), и в венгерском «Фильмвилаг» (9/1987). Пер. с пол. В.Нарымовой // Киноведческие записки (М.). – 1989. – №3. – С. 176-184.

явления, вынося за скобки существование как аберрацию, искажающую объективный факт. Мистик практикует боговидение/богообщение, учёный опирается на опыт, исходя из гипотезы, теории, парадигмы, которую академики, скрепя сердце, нарекают конвенцией, разделяемой большинством.

Уже в юности я отверг попытки Ансельма и Аквината доказывать реальность Бога доводами рассудка. И тут же привёл «свои», стыдливо назвав их «слабыми». Я создал богословие, где Рай — плёночное кино, а ангелы — Люмьер и Мельес, Жан Виго и Трюффо, Бергман и Куросава, Параджанов и Тарковский... Разве, думая о Боге, мы не говорим: ты наш «священный ужас», или — «кулак, наминающий нам бока»? Мы кутаем наготу в рубище из символов и тотемов, флагеллируем тела и души, чтобы, услышав, как трещит по швам наша гордыня, Господь заглянул на огонёк. Но визит откладывается. Бога в равной степени смешат и апофатики, и катафатики. Зная это, я философствую с куском стейка на тарелке и богословствую на голодный желудок. Пережёвывание ритмизирует ход размышлений, в то время как чувство голода бодрит душу. И, забившись, как моллюск в перламутровую раковину, из которой его вот-вот извлечёт кривой нож ныряльщика, я вновь перечитываю Фому Аквинского. Что-то подсказывает мне, что «доказательства» бытия Бога не более чем спекуляции, обосновывающие «истинность тезиса» причиной, выводимой из её же следствия. Но заклеймить этот абсурд я не решаюсь. И сам доказываю то, что некогда считал происками лукавого. Но прежде, чем излагать своё «карманное богословие», перечислю аргументы Ансельма/Аквината:

Космологический аргумент. У Вселенной было начало, следовательно, у нее должна быть и причина. И самая первая, приходящая на ум — Бог;

Телеологический аргумент. Порядок, гармония и признаки цели во всём сущем (целеполагание) доказывают наличие разумной причины такого устремления — Бога;

Моральный аргумент. Совесть, как императив, не от мира сего, следовательно, существует Бог — источник правды и нравственности;

Онтологический аргумент. Думая о самом совершенном существе, самим актом мышления мы удостоверяем Его существование, а следовательно, Бог есть — поскольку мы Его мыслим;

Этот аргумент настолько сложен, что нельзя не дать разъяснений, которые, как выясняется, ничего не разъясняют. И, тем не менее...

Онтологический аргумент (продолжение). Бог — то, более чего нельзя помыслить. Но так как существующее в действительности куда выше по рангу существующего только в понятии, а Бог, как совершеннейшее Существо, включает в Себя и сущее, и мышление о сущем, то Бог существует.

Другими словами, Бог — неразрывное единство мыслящего и мыслимого. Есть мнение, что Кант «преодолел» антологическое доказательство в сфере чистого (теоретического) разума, — из понятия Бога, понятия об [А], нельзя вывести существование Бога, существование [А], поскольку из этих понятий «выводимы» лишь предикаты, содержащиеся в этих понятиях, но не кванторы и не сами эти понятия. Однако, говоря о практическом разуме (нравственной свободе), философ пришёл к обоснованию безусловного принципа морали или категорического императива (от лат. imperativus — повелительный), рассматривая его как долженствование, внутреннее разумное принуждение к нравственным поступкам, что составляет объём понятия долг, и, по сути, обосновывает существование Бога как «вещи в себе».

Мои «доказательства» в пользу бытия Бога-Кинематографиста, будучи «слабыми» аргументами, не безупречны с позиции силлогистики. И всё же я приведу их, скорее в назидание своевольникам, видящим, как низко я пал, нежели в помощь христианам:

Слабое логическое. Если фильм лежит на полке, значит, есть и режиссёр, снявший его, и автор, написавший сценарий (даже если этот автор — режиссёр). Нет фильмов без режиссёра и автора, следовательно, Автор существует;

Слабое эстетическое. Если созданы шедевры: «Аталанта» Жана Виго, «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского, «Под стук трамвайных колёс» Акиры Куросавы, то существует и Бог, поскольку всё совершенное — не от мира сего;

И в самом деле, вначале историю, рождённую в Божественном Уме, экранизируют ангелы. А устроив премьеру в небесном кинотеатре, передают права на фильм режиссёру, и тот уже снимает сиквел (англ. Sequel, от лат. sequella «продолжение; приложение»), чтобы демонстрировать киноманам на закрытых сеансах.

Но шутки в сторону. Не уяснив, что такое мышление, не подступиться к онтологическому доказательству, давно переросшему узкие рамки теологии. К «онтологическому аргументу» прибегают, когда непонятно, как верифицировать и фальсифицировать непредставимое/невыразимое.

А исчислив предикаты того, чего не было, нет и никогда не будет, установив априорные пределы рассудка, т.е. усадив своевольника на шесток, с которого ему и

носа нельзя казать, я пришёл к неутешительному итогу. Я пришёл к выводу, что моя мысль вовсе не моя мысль, что мной, посредством меня и во мне мыслит НИЧТО. Выходит, мысли бесхозны и своевольны.

«Слабое» онтологическое.

Однако Библия указывает на источник мыслей, которые принадлежат:

1) падшим духам, отсюда и предостережение: «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль» (Втор. глава 15, стих 9); **2)** Господу и его ангелами, при этом смертные не «знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно» (Лк. 1:17).

Но как мысль крепится к человеку? Никто не даёт ответа. Задавшись вопросом: где премудрость обретается? и где место разума? праведный Иов с печалью констатирует: «Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых» (Иов. 28:11-13). Святитель Григорий Нисский отказывает человеку в уме, который «не привязан к какой-либо части тела, но равно прикосновенен ко всему телу, сообразно с природою произведя движение в подлежащем его действию члене»[1]. Но если ум вынесен за пределы тела, не логично ли, полагают экзегеты, искать вне тварного и нетварную мысль.

В Слове 21-м, посвященном св. Афанасию Александрийскому, святитель Григорий Богослов прямо указывает на «место», которое приличествует уму: «Ибо что солнце для существ чувственных, то Бог — для умственных; оно освещает мир видимый, а Он — невидимый; оно делает телесные взоры солнцевидными, а Он умственные природы — боговидными. И как солнце, давая возможность видящему видеть, а видимому быть видимым, само несравненно прекраснее видимого, так и Бог, сделавший, чтобы существа мыслящие мыслили, а мыслимые были осмысливаемы, Сам есть вершина всего мысленного»[2].

Моё отступление затянулось. Но, поскольку я назвал свой онтологический аргумент «слабым», предпошлю ещё пару слов.

1.5.1 Верно, что Бог ноумен без феномена. Бог гипостазирован, но в-Себе и для-Себя.

И в самом деле, Бога не залучить в сети перцепции/апперцепции. При этом Бог экстраполирует Себя в вечность, в безначалье, и лишь изредка умаляется до усечённого бытия-вот. А выделив из Себя «человеческое, слишком человеческое», Отец преисполняется Милости, поскольку через распятие, смерть и воскресение из мёртвых Спасителя (самой низшей точки божественного нисхождения), — входит в грех, чтобы убелить его СВЕТОМ слова Господня.

«Царство божие внутри вас есть», — говорит Христос (Лк. 17:21). Впервые прочитав фразу в отрочестве, помню, как я был огорошен, как потерял аппетит и сон. Если, думал я в какой-то горячке, в полузабытьи, в хороших мыслях квартируют ангелы, то воображение отдано на откуп бесам... Так я размышлял, будучи школьником, в котором пубертат хозяйничал, как домушник в ограбленной им квартире.

А лет двадцать спустя я наткнулся на одну VHS-запись. На видео насельник Псково-Печерского монастыря архимандрит Иоанн (Крестьянкин) совершал прогулку в обществе молодого монаха. Обычный, казалось бы, поход за хлебом, который изо дня в день проделывают миллиарды человек, отец Иоанн превратил в Великое славословие (греч. Ἡμεγάλη δοξολογία). Свой путь он начал с евангельского стиха «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2:14). Идут. Но не проходит и десяти секунд, как Старец придерживает бойкого спутника, чтобы прочитать духовный стих, или пропеть Тропарь. Иногда отец Иоанн останавливается намеренно, чтобы виновато и с надеждой упросить монаха подсказать выпавший из памяти фрагмент. А получив молитвенную поддержку, с новыми силами продолжал служить Богу... В миропонимании архимандрита, основанном на искреннем исповедании Православия, не было места пустотам, лакунам, которые, как полагал старец, тут же заполняют падшие духи. Как стойко охранял пастырь подступы к своей душе, обходя внутренним каждением сокровищницы духа, которые он копил, чтобы щедрой рукой дарителя раздавать тем, кто убог, слаб телом и душой, кого бес попутал.

Вспоминая VHS-запись об этом «не святом святом», как назвал отца Иоанна (Крестьянкина) митрополит Тихон (Шевкунов), я пришёл к выводу, что воображение и грех нельзя увязывать, что фантазии могут быть полезны и богоугодны. Но как я ошибался. И, сняв фильм о детских годах Гитлера в австрийском Линце, я впал в прелесть, из которой выбрался, потрёпанным и обессиленным, лишь двадцать лет спустя. Об этом, собственно, я и рассказал в повести «Люцифериада».

1.5.2 Верно, что антологический аргумент – кинематографичен до мозга костей.

[1] Григорий Нисский. Об устроении человека. Спб., 1995. Глава 3, с.135.
[2] Григорий Богослов. Слово, 21, 1, 9-26.

И в самом деле, где увидеть Бога нос к носу, как не на съёмочной площадке! Горстка энтузиастов сгрудилась у камеры, обставленной световыми приборами: художник декорирует пейзаж, режиссёр разводит мизансцену с актёрами, оператор репетирует с объективом, переводя фокус то с одного артиста, то на другого. Но есть и незримый Сценарист, — тот, кто «топчется» где-то у камеры, отбрасывая тень «присутствия» в кадр. Что же такое кино, как не метафизика СВЕТА! В кадре (психология) — то, что ограничено кадровым окном, рамкой познания. За кадром (онтология) — то, что Кант назовёт «вещью для себя», о присутствии коей мы догадываемся по «тени», отброшенной в кадр. Бог есть Свет. Препятствуют же Свету — тварь и грех, загораживающие Господа, становящиеся источником тьмы. Свет и тень образуют «свето-тень», — то, что Хайдеггер назовёт Dasein или бытие-вот. Всё, что я перечислил: и Мір, который режиссёр помещает перед камерой, что запечатлено, и Свет Фаворский, бомбардирующий атомы серебра на ландрине плёнки, — всё это доказывает неверифицируемое: **Аз есмь!**

Следовательно, мысль, как боговдохновенная тварь, доказывает незримое присутствие Отца Небесного в акте мышления. В акте этом идеям дышится легко, и слезу, выкатившуюся на зардевшуюся щёку, здесь утрёт белоснежное крыло ангела.

Так каков же мой онтологический аргумент? Вот запись, которую я набил на клавиатуре ноутбука. И, признаюсь, мало, что понял из того, что набил. Так бывает, когда ты извлекаешь из себя породу, не зная, сколько в ней сланца, а сколько руды.

1.5.3 «Слабое» онтологическое (вариант 1). Так как существующее в действительности выше по рангу существующего в понятии, а Бог, как совершенство, включает в Себя как сущее, так и мышление о сущем, то Бог существует.

Сложно. Неудобоваримо. А что, если всё изложить киноязыком? Тогда получим онтологическое доказательство, основанное на казусе, а не на силлогистике Аристотеля.

1.5.3.1 «Слабое» онтологическое (вариант 2). Поскольку кинокамера запечатлевает то, что «дано» неопровержимо и очевидно, и не видит «тени» Господней, отброшенной в кадр Тем, кто незримо топчется за спинами актёров, а Бог, как Всевидящее Око, отбрасывает на сетчатку как съёмочную группу, режиссёра, так и образ тени, с помощью которой постановщик намеревался залучить незримое/непредставимое, то Бог существует.

Другими словами, Бог *существует* потому, что и мыслимое (мир), и мышление о мире (интеллигибельное) пребывают обоюдно в Совершенном Уме. Но ум есть и у человека. Почему же человек не Бог? Человеку, чтобы стать Богом, предстоит обзавестись Умом иного порядка. Умом, который мыслит и мир, и человека в мире, и причину того и другого. Такой Ум/Нус принадлежит Абсолютному субъекту. Но длить эти, вложенные один в другой акты, Богу скучно. И, чтобы избежать «дурной бесконечности», Господь делает предметом Воли не одни лишь акты, но и полагание, т.е. creatio ex nihilo.

«Слабое» лингвистическое (вне-дискурсивное). Верно, что, воздерживаясь от слов, мы приближаемся к СЛОВУ.

И в самом деле, «высшее не выразить предложениями», — Л.Витгенштейн («Трактат», 6.42). И чем строже воздержание от хулы и похвалы, тем ближе Господь. Думая о Боге с позиции откровения, трудно не поймать себя на мысли, что опыт самочувствия, самосозерцания зыбок, недостоверен, а в аспекте религиозной прагматики, онтологии, лингвистики, психологии, феноменологии — неудобоварим.

Прежде чем сказать что-то о Творце, — о свидетельстве речь не идёт, — нужно: **а)** знать грамматику, лексику, коммуникативные стратегии и когнитивные стили, которыми приемлемо изъясняться о Чинах; при этом речь не должна быть калькой с традиции вопрошания, заискивания или юродства, которыми тварь, желая подстелить соломку, снабжает тексты булл, бреве, моту проприо, энциклик, апостольских писем (epistolae apostolicae), синодальных обращений; **б)** стать малым Логосом, удалив из себя всё аполлоническое и дионисийское; **в)** иметь опыт умной молитвы, умного делания, нестяжательства, видений, которые, однако, следует поставить под суровый контроль духовника, дабы избежать прелести, соблазна, искушения, грехопадения. И это только «скорая помощь» для мысли, затеявшей опасное предприятие.

«Слабое» когнитивное. Если в мире есть предел, то есть и Бог, поскольку то, что не знает границ — «дурная бесконечность», а дурное несовершенно. Поэтому самоограничение (при наличии свободы быть беспредельным) признак Наивысшего Ума. Такой Ум, будучи Совершенством, принадлежит Богу. Следовательно, Бог Есть!

И в самом деле, Бог создал классический мир, бес — многомирие. Бог самоограничился лучшим из миров, діавол, не способный к дисциплине ума, искушает

человека бесконечностью, вариативностью, избыточностью, беспределом. Добавлю — парадоксами. Вот один из них: «Бога нет. Бог настолько свободен, что Его нет. Он не привязан даже к обязательному бытию» (В.В.Бибихин)[1].

В этом афоризме Владимир Вениаминович демонстрирует недюжинный ум. Здесь бес мыслит вскладчину с человеком. Оба ходят по тонкому льду. На первый взгляд аргумент В.В.Бибихина остроумен, парадоксален и этим заслуживает уважение. Но только на первый взгляд заслуживает. Ведь Бог сотворил бытие, не будучи причастен ни сущему, ни не-сущему. В этом смысле мысль и Бог — одно. И если Бог создал тварь, то зачал её прежде в Уме и уже потом посредством детородного СЛОВА. Господь обременён обязательством — быть вольноотпущенником Себя. И уж если пускаться во все тяжкие, то следует довести до абсурда идею свободы, которая сбила с толку даже такого проницательного философа, как Николай Бердяев. Возьму грех на душу и скажу: Господь настолько свободен, что готов стать рабом, прикорнувшим после *шестоднева*, и — патрицием, тычущим в бездельника стимулом (лат. Stimulus, букв. заостренная палка).

Бог и Бытие, и Ничто́, и обоюдное, но ему люб и мрак Господень, где Отец укрывается от назойливых просителей, ведь сказано же: «И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог» (Исх. 20, 21). К тому же в формулу В.В.Бибихина вкралась логическая ошибка: быть свободным — пребывать в существе свободы, т.е. одариваться существенным, что есть чтойность, и — пребывать в *самоё само* СВОБОДЫ, как её истинном смысле, т.е. пребывать в понятии свободы, которое ещё не согнулось под тяжестью онтологических обязательств. Свобода как понятие себя есть пресуппозиция, в которой ещё не детерминирован её, идеи абсолютной свободы, индетерминизм... Всё это В.В.Бибихин знает, но утаивает.

Итак, свои аргументы я назвал «слабыми». И буду придерживаться этого определения. Правда, возразят: зачем ты, — не иерей, не монашествующий, — посмел окормлять? Но я не окормляю. Боже упаси! Я лишь развиваю метафору СВЕТА, бьющего из кинопроектора, в котором Бог являет Себя миру, как в Средние века Он являл Себя в византийской и русской иконе. Допустим, скажут. Но не является ли твоя блажь родом прелести?

Вопрос резонный... Но прежде следует ответить: действительно ли миром правит случай — молочный брат детерминизма/индетерминизма, а Бог уволен без выходного пособия? Уволен тварью, к которой прикипел всем сердцем настолько, что послал сына Своего Единородного, чтобы взял крест мира и был распят?

1.6 Почему Бог не ставит человеческую мысль в угол, не снимает отцовский ремень, когда своевольница таскает из школы двойки, заводит сомнительные знакомства?

Мой ответ: Господь долготерпит, т.е. знает и молчит. Но, если Бог Всезнающ, т.е. осведомлён о греховоднице-мысли, может ли человек считаться вольноотпущенником, а Создатель — Всеблагим? Разве, спросят, всеведение не связывает по рукам и ногам, вынуждая Отца совать нос в дела дочери, собирать сплетни, рыться в её белье?.. Грош цена человеческой свободе при таком полицейском надзоре, где прослушивают телефоны, ставят жучки, наводят справки. Как Бог решает эту дилемму? Он закрывает глаза и залепляет уши — пусть человек наломает дров. Это его прерогатива. Его свобода само-полагания. Так Бог вежливо откланивается, чтобы позволить человеку поступать по совести.

Вероятно, Бог устраняется, чтобы свобода воли не превратилась в фикцию, но прежде «вольная», как право выбора альтернатив, должна дорасти до сознания свободы, что для твари равнозначно шагу к теозису (к «обожению»). Но, возможно, геном свободы намеренно не редактируется Создателем, для которого существенен только Его абсолютный ГЕНОМ?

1.7 Своеволие Бытия и Ничто́, хватающих с обеденного стола Создателя крошки, чтобы сунуть в рот, Бог пестует.

И в самом деле, Творцу нужен «крот», чтобы находил изъяны в творении. Бог инспектирует своё внутреннее полагание. Бог работает с отчётами, принимает к сведению «служебные записки» о состоянии дел.

1.8 Бог вовлекает в Промысел тех, о ком печётся.

Но чувство свободы не может удовлетворять. Богу подавай индетерминизм в структуре детерминизма и детерминизм в структуре индетерминизма. Богу люба инверсия и конверсия. Бог пресыщен акциденциями и креациями.

1.8.1 Чтобы спасти грешника, Бог ставит на кон Свои ипостаси, энергии, имена.

[1] Бибихин В.В. «Абсолютный миф А.Ф. Лосева», «Начала» №2-4, М., 1994.

А встретив упорство твари, погрязшей в грехе, Бог обрушивается внутрь Себя, не желая часами спускаться по винтовой лестнице с площадками для тех, кто страдает отдышкой. Но покладистость возвращает Его в хорошее расположение духа. А отпустив тварь на вольные хлеба, Бог намеренно урезонивает всевластие и всезнание. Но самоумаление не роняет Его в собственных глазах. Напротив, Господь возвышает Себя абсолютно, поскольку тот, кто устанавливает предел собственному всевластию, всесилен втройне. Бог с лёгкостью перескакивает ступени познания, полагания, и даже лихо съезжает по перилам. А будучи априори трансцендентальным объектом (нем. das transzendentale Objekt), Бог превращает Свои трансцендентальные способности в трансцендентальный предмет (нем. der transzendentale Gegenstand), т.е. подвергает критике Собственный практический разум, Собственный чистый разум и Собственную способность суждения.

1.9 Бог отбрасывает способности как предел, препятствующий априоризму. Бог полагает Себя вне демаркаций. Бог индифферентен к пределам.

Но вернёмся к трактату. В нём я излагаю гипотезу перманентного явления Богом своих имён. Но мало доказать или опровергнуть довод. Я строю метод и на дефинициях, и на интуициях, что позволяет «расшнуровывать» понятия, даже если конвенционально они «застёгнуты» на все пуговицы.

1.10 Первый шаг к знанию – растождествление означающего.

Любой устоявшийся дискурс можно проблематизировать. Срывая с вещи покров стыдливости, её феноменальность, обнаруживаем её ноуменальность. Предстоит вскрыть иррациональное в рациональном и рациональное в иррациональном. Для этого следует: **1)** проводить аналогии, находя схожие черты в вещах — тех, что уяснены, и тех, что нуждаются в уяснении/доуяснении; **2)** выворачивать вещи существенным наружу, чтобы вскрыть покрой под покровом. Подобную инверсию, перенос *внешнего* во *внутреннее*, и контр-перенос внутреннего во внешнее, я называю **изнанкованием.**

С чего начать процедуру? С утверждения, что мысль пестуется не дипломами, а буреломами. И в трактате я совершу вылазку в бурелом непродуманного и даже укажу на местопребывание Господне. Разумеется, речь не о небесах. Поскольку, повторюсь, верующему незачем знать этого. Вера и есть небеса. И там, где вера, там уму делать нечего.

1.11 Итак, предмет А-типичной ангелологии – ипостаси света (phos).

Уже Христос уподобляет себя «свету», говоря: «Я свет миру...» (Ин. 8:12). С «Богоначальным лучом» сравнивает свет истины Псевдо-Дионисий Ареопагит[1]. Свою «мистагогию», выражаясь в терминах Максима Исповедника, я строю на сопоставлении света *тварного* со светом *нетварным*. Первый — духовный свет (phos noeton) — непосредственно источает божество. Второй материальный свет (ὕλη) опосредован актом творения. Этот свет — как часть твари, природы, — подчиняется физическим законам. Речь идёт о солнечном свете, состоящем из ультрафиолетовых коротких волн (280-400 нм), видимого света средних волн (400-700 нм) и длинных, инфракрасных волн (700 нм — 1мм). Свет средних волн и проникает в линзу киноаппарата, чтобы вышибить лишние ионы серебра с ландрина плёнки. Вновь этот луч заявляет о себе в форме электрического тока, когда, воспламенив лампу накаливания кинопроектора, искусственный свет вырывается из будки киномеханика, чтобы бомбардировать фотонами сетчатку глаза и мозг.

И в этот искусственный свет, как прежде в икону, Бог вложил проповедь благочестия. Миру был явлен «просвет (Lichtung)», который по достоинству оценил Хайдеггер и который прежде предвидел Фёдор Михайлович Достоевский, создавая образ косых лучей заходящего солнца в целом ряде своих романов.

1.11.1 Чтобы указать на ангельские чины, Бог создал грёзу, вдохновив одних на технические идеи, других – на творческий порыв.

И, как прежде иконопись, кино явило миру три триады ангелов по три чина в каждой. Ангелы кино не шелестят крыльями, не обрушивают каскады золотых волос, не таращат выразительных глаз, которые с трепетом душевным рисуют нам иконописцы и агеографы. Нет, эти бесплотные духи вполне материальны — монтажные столы, кинокамеры, рулоны плёнки, световые приборы, линзы кинообъективов...

Ангелология, развёрнутая в трактате, маргинальна, и имеет мало общего с Corpus Areopagiticum, где представлено учение о трёх триадах: Ангелы, Архангелы, Начала; Власти, Силы, Господства; Престолы, Серафимы и Херувимы. Исследуя Чины в свете онтологии, гносеологии и эпистемологии, я не могу не заметить, что воображение, притязающее на истину в данном щекотливом вопросе, всё же следует отличать от репродуктивной фантазии Гуссерля.

[1] Дионисий Ареопагит. О Церковной иерархии. I, 3. Творения. СПб., 2002. С. 575.

1.12 Верно, что откровение дано apriori как имманентный Богу род благовествования, а не как плод беспочвенного фантазирования.

1.13 Теозис (обожение) не удостоверяется в perceptio/apperception и относится к презумпции внутреннего опыта.

Ребёнком я верил, что внутри света, бьющего из кинобудки, обитают духи. Правда, ангелы эти не были с округлыми, как у волжских голубок, крыльями. Собственно, детство и соткано из воображаемого — плода воображения. Сюда же следует отнести и религиозный опыт. Разве, говоря об ангелах, мы не используем модальные глаголы и наречия probably (вероятно), possible (возможный), зная предмет лишь «гадательно», а не «наверняка», на чём настаивает строгая наука. К примеру, апостол Павел (1Кор 13:12), относя трудности познания Бога на счёт несовершенства ума, писал в 1-м послании к коринфянам (13:12), что «теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан».

Грех ослепляет. И только Иисус излечивает как физическую, так и духовную слепоту (Мф. 113:17; Ин. 9:39). И, как метафора пелены, которая застит духовный взор, слепота ассоциируется с невежеством (Рим. 2:19). Но свет кино разрушает мрак невежества. Образы, отразившись от экрана, попадают на сетчатку глаза, а затем отбрасываются на внутренний экран. Так божественное a priori и человеческое a posteriori образуют ВООБАЖАЕМОЕ.

Воображаемое есть credo, а разум, которому запрещено пестовать чувственность, уверовавшую во Христа, не может быть посрамлён хотя бы потому, что указывает религиозному чувству на его «шесток», а вере — на смертельную опасность, которая её подстерегает — фанатизм.

Но как, спросят, обнаружить в кино ангелов? За ответом отошлю к философам аналитикам. Если те не видят ничего предосудительного в признании математикой «существования неосязаемых объектов» (чисел), то столь же правомерно существование и воображаемых объектов, а также вероятностей, лежащих за пределами воображения.

1.14 Бог реален в той мере, в какой правильно имплицированы понятия «существует» и «реальность».

И в самом деле, если значение слова «существовать» расширить, признав за неэмпирическим опытом право на сущее (как поступают с числом аналитические философы), то отпадут и упрёки в не-верифицируемости и не-фальсифицируемости Бога.

Но сомнения гложут. Как познать субъект, чьи предикаты неисчислимы? Тут без наития не обойтись, — не обойтись без эйдетической, интеллектуальной и мистической интуиции. Но возможно ли познать Бога по косвенным доказательствам? Да, возможно. При условии, что предметом выступит не Творец, а самоощущение, самоотчёт наблюдателя о действии божественных энергий в-нём и на-него.

1.14.1 Познание Абсолюта сводится к пересчёту ссадин и гематом, вызванных «встречей» с a priori. Бог не познаваем. Бог осязаем.

Как возможно изгваздывание о трансцендентное? Метаморфозу (upgrade), происходящую в-твари, хлебнувшей лиха при встрече с нетварным, я кладу на стол скептиков в качестве онтологического доказательства, понимая весь субъективистский его уклон. И в самом деле, не кажется ли смешным, когда Богу не позволяют ретироваться, поскольку пёструю нить Его божественной ризы, застрявшей в дверном проёме, извлёк и сунул под микроскоп какой-то доброхот. Можно ли принимать в расчёт само-описание? Речь идёт о косвенном знании, полученном в результате *не-собственно-прямого-созерцания*, — того, что Фихте называл нечувственной интуицией (intellectuelle Anschauung), которая действенна (activ), а не страдательна (passiv), т.е. абсолютна и деятельна (tätig).

Но что есть наитие? Наитие складывается из пазлов: **а)** продуктивного воображаемого или творчества; **б)** деструктивного воображаемого или безумия; **в)** негативного воображаемого или откровения.

1.14.2 Искомое, т.е. Бог, обитает в молитве пребывающего во внутреннем каждении ума.

1.14.3 Натыкаясь на Бога в-себе, ум исследует не божество, а свои «ожоги» о пепел бивака, разбитого Творцом. Бог вычленяется из преображённой чувственности, но не как пропозиция, а как пресуппозиция, т.е. как смысл, который топчется за дверью ума, но не решается войти.

И верно, Бог на пороге. Он мысль, которая только и ждёт вербально-логического

оформления.

Но вернёмся к кино. Метафора Бога-кинематографиста понадобилась мне, чтобы установить аналогию между внутренним опытом и неизъяснимым. Как известно, аналогия есть сходство двух предметов (групп предметов) в каких-либо свойствах или отношениях, — при этом нельзя упускать из виду, что умозаключения по аналогии более близки к индукции, чем к дедукции. И, затевая богословский трактат, я намерен провести аналогию между *типичной* (модель) и *а-типичной* (прототип) ангелологиями. Я намерен исследовать и аналогии свойств, и аналогии отношений, используя кино как модель мироустройства и как чернила, которыми эта модель описана. Другими словами, меня интересует аналогия Бога и Ничто.

Но если есть а-типичная, должна быть и типичная ангелология, а следовательно — типичный или а-типичный Бог. Но попробуйте отыскать Бога или собственную мысль, выпавшую из головы, с фонариком в руке? И вы поймёте, что искомое, вероятнее всего, закатилось подпол, юркнуло в щель линолеума или рассохшегося паркета, что лежать ему до скончания века между ржавыми цыганскими иглами, надтреснутыми пуговицами и медяками, вышедшими из употребления. Идеальные объекты только делают вид, что относятся к монадам и субстанциям, а в действительности же они — притворно-сущие.

1.14.4 Верно, что Божественный Свет, преломляясь в Оке/Глазе, создаёт Мир горний и Мир дольний.

Но Свет — обоюдоострый меч. У света два вектора: от Бога к человеку (тогда это мистический, фаворский свет); от человека к Богу (тогда это свет познания). Светом как трансфером пользуются как идеи, так и падшие духи.

1.14.5 Верно, что и Бога, и человека соединяет свет Красоты (kallos). И по этому свету, как по Лестнице Иакова, Бог нисходит, а человек восходит.

Так, в трактате «О Божественных именах» Псевдо-Дионисий Ареопагит говорит о Боге не иначе как о «архисвете и сверхсвете» (archiphotos kai hyperphotos). Но Бог и «сверхсветлая тьма» (hyperphoton gnophon) (MTh I 1). Дионисий часто употребляет термин «светоначальный и богоначальный луч» (CH III 2).

Свет не только согревает, защищает, но и пестует, просвещает заблудших, указывает грешнику на истинный путь познания посредством богоначальных «озарений» (elampsis) и «светодаяния» (photodosia)[1]. Но что есть «Духовный свет (phos noeton)»? Теряясь в догадках, рациональному (научному) объяснению Дионисий предпочитает языковую игру, опираясь на неологизмы и новообразованные слова, так или иначе связанные с существительным «свет». И тогда «духовный свет» — «превосходящее всякий свет Добро как источающее свет сияние и воскипающее светоизлияние»[2].

1.14.5.1 Свет и акт творчества, и его результат. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош» (Быт. 1:3-4).

Господь так благоволит свету, что «одевается светом, как ризою» (Псалом. 103:2). Но свет и щит, уберегающий праведника: «Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться?» — восклицает Давид (Псалом. 26:1). Когда Соломон вошёл в храм, его «наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака; потому что слава Господня наполнила дом Божий» (2 книга Паралипоменон. 5:13 — 14). Светоносным туманом покрылась и гора Синай, когда на кручу взошёл Моисей, чтобы получить закон от Бога (Исход. 24:15-18)... И здесь Моисей преображается, как преобразится позже Господь Иисус Христос. В книге Исход в главе 34 в стихе 29 сказано: «лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним».

1.14.5.2 Свет и Бог – одно. «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме» (Ин. 8, 12).

Апостол Иаков называет Бога «Отцом светов» (Иак. 1:17). Как Солнце сжигает сорную траву, чтобы пшеница взошла и заколосилась, так и свет Господень высвобождает Павла из-под Савла. «Вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Я отвечал: кто Ты, Господи? Он сказал мне: Я Иисус Назорей» (Деян. 22, 6-8). Сцена кинематографична. Свет буквально вылепляет фигуру апостола из мрака (Деян. 9:3). И вот уже Павел делится с церковью опытом обращения: «Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света» (Послание Апостола Павла к ефесянам. 5, 8). Павел использует свет как троп, риторическую фигуру. Едва ли не в каждом обращении к верующим он призывает: «отвергнуть дела тьмы и облечься в оружия света»

[1] «Православная Энциклопедия», 2003 г. Т.3, с.195-214.

[2] Бычков, В. В. Символическая эстетика Дионисия Ареопагита [Текст] / В.В. Бычков; РАН, Ин-т философии. – М.: ИФРАН, 2015. – 143 с.

(Рим. 13:12). Свет предшествует чуду. Ведь прежде, чем ангел вывел Петра из темницы, в ней стало светло как днём (Деян. 12:7).

К образу света прибегают, когда речь заходит о когнитивных процессах. Ведь истина, данная Богом, светоносна. «Слово Твое — светильник», — говорит псалмопевец Давид (Пс. 118:105). Но и в Новом Завете слово, исходящее от пророка, апостол Пётр уподобляет «светильнику, сияющему в темном месте» (2послание Петра. 1:19).

1.14.5.3 Свет – синоним истины. И в главе 28, стихе 11, Иов приписывает человеку талант «выносить на свет сокровенное».

«Но где премудрость обретается? — спрашивает Иов. — И где место разума? (13) Не знает человек цены её, и она не обретается на земле живых. (14) Бездна говорит: «не во мне она»; и море говорит: «не у меня». И в самом деле, мысль, как притворносущее, не обретается ни в бытии, ни в Ничто. Мысль — в средостении. И только истинный Свет, т.е. Господь, знает, что и у кого на уме. Бог способен «обнаруживать сердечные намерения». Так, во всяком случае, отвечает на вопрос Иова апостол Павел в стихах 4:5, 1 главы, 1-го послания Коринфянам.

Нигде в Библии образ истины Господней не достигает такой тактильной визуализации, как в стихе 21-м главы 13-й книги Исход. Пустыня. Холод. Кромешная тьма. Израильтяне в отчаянии бредут по бездорожью. И Господь указывает им путь «в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью».

Но Свет не был бы Собой, если бы не мрак. Свет и тьма антиподы. Будучи врагами, они, тем не менее, идут рука об руку.

1.14.5.4 Бог знает, каков свет a priori.

И в самом деле, инспектируя Землю накануне «шестоднева», Бог ужасается: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною» (Быт. 1:2). Желая привести к гармонии своё полагание в-Себе со своим полаганием вне-Себя, Бог создал свет, отделив от тьмы границей (Быт. 1:4—5). Иов уточняет: «Черту провел над поверхностью воды, до границ света со тьмою» (глава 26, стих 10). Мрак часто ассоциируется со смертью. Говоря о загробной жизни, Иов сравнивает умирание с угасанием света, *потустороннее* по словам Иова — «где нет устройства, где темно, как самая тьма» (Иов 10:22).

Свет бесплотен. Тьма же «осязаема» как вещь. Во тьме ходят ощупью (Иов 5:14). Мрак — отец блуда. В 7-й главе Книги Притч Соломон описывает разврат как блуждание во тьме духовной. «Вот, однажды, — пишет он, — смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот — навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная; ноги ее не живут в доме ее; то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его, и с бесстыдным лицом говорила ему: мирная жертва у меня: сегодня я совершила обеты мои; поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и — нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями Египетскими; спальню мою надушила смирною, алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью; потому что мужа нет дома...»

Зло коварно. Оно обезоруживает, говорит Соломон. Тьма — кривая дорожка, по ней снуют грешники, «которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы» (Книга Притч Соломона. 2:13).

Но Бог видит во тьме. И Давид, укрывшийся от Господа в своей фантазии, с горечью замечает в псалме 138: «и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день...»

1.14.5.5 Бог всевластен. И свет, и тьма – дело руци Божьей. Сам Господь об этом говорит: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Книга Исаии 45:7).

Бог «существует» во тьме, и мрак Господень не следует понимать буквально. Мрак — непознаваемое. Возможно, мрак — рудимент «тьмы над бездною», предшествовавшей сотворению мира. В третьей книге Царств, в главе 8, стихе 12-м, об этом сказано: «Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле». Удивительное признание! Как, впрочем, и то, что в руках Господа даже тьма светится.

В книге Исход в главе 33 есть сцена, которую нельзя читать без содрогания и слёз. Моисей говорит: «покажи мне славу Твою. И сказал (Господь Моисею): Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать — помилую, кого пожалеть — пожалею. И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и

когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо (тебе)».

Потрясающе! Какое величие духа! Какие повороты в сюжете! Кажется, эпизод вышел из-под пера Софокла, — так торжественно величава поступь Господа, совершающего перед человеком свой парад во всей амуниции и воинском облачении! Что здесь важно... Да, верно, Бог уберегает Моисея от избыточного знания. И какой неожиданный образ — рука, прикрывающая Моисея. Выходит, что отчасти Моисею дано побывать во Мраке Господнем. И как живо и глубоко раскрыт трагический характер божественного удела! Быть всевластным, всемогущим, всезнающим и скромно довольствоваться мраком, в котором Господь пребывает в ожидании человека Нового завета.

1.15 «Человеческое, слишком человеческое» отбрасывается решительно и навеки, – ибо ценным в человеке становится не его «ветхость», а его «новизна». Только «новая тварь» войдёт в Царствие Небесное.

Кто же те, кого Господь поджидает во мраке? Апостол Пётр отвечает: «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (Пётр, посл. глава 2, стих 9).

Григорий Богослов в Слове 40-м говорит, что «второй после Бога свет — это ангел, а третий свет — человек; существует также свет тварного мира. Светом является заповедь Божия, синайский Закон, купина неопалимая, столп огненный для Израиля; свет восхитил Илию на огненной колеснице и озарил пастухов при рождении Христа; свет — звезда, ведшая волхвов в Вифлеем; свет — Божество, открывшееся апостолам в Преображении; свет озарил Павла на пути в Дамаск; свет — сияние будущего века, когда праведники воссияют, как солнце, и станет Бог посреди их, богов и царей. Крещение также есть свет, в котором заключается таинство нашего спасения».

1.16 Свет и мрак, сочетаясь в душе, образуют неразрывное единство тварного и нетварного. В кино, которое запечатлевает мир, такое сочетание называется СВЕТО-ТЕНЬЮ.

1.17 Верно, что теозис (обожение) есть восхождение твари к Творцу и нисхождение Творца к твари, причём Человек и Бог встречаются в точке невозврата от семи смертных грехов к семи словам с креста.

И в самом деле, діавол рождается в семи смертных грехах; человек-Иисус умирает, произнеся семь слов с креста. Дихотомию «7/7» толком так никто и не исследовал. Но, положа руку на сердце, не стоит ли признать, что ни Бог, ни провиденциализм не могут стать предметами опыта. Но познание тварью Творца возможно во встречном познании Творцом твари. Так, почувствовав запрос на богоявленность, Господь допускает *истинствование*, т.е. обоюдное пребывание в существе истины человека и Бога. Чтобы человек прошёл свой участок пути от семи смертных грехов к семи словам с креста, Господь являет пример кротости и смирения, когда, пожелав *испытать* крестные муки Сына, умаляет Своё всеведение и всезнание. Бог и в самом деле не видит в корень, и ступает на тернистый путь Голгофы в человеческом теле, чтобы почувствовать каждый шип тернового венца, каждый кровавый рубец, оставленный от удара плетью. Но и оскорбления, ранящие слух, Господь желает услышать из уст солдат Пилата, как прежде слышал от падших духов.

1.17.1 «7/7». Бог мыслит. Дьявол спотыкается о мысль.

Яркий пример противоборства мысли и недомыслия — религиозный дискурс. Допустив, что концепт «семь грехов/семь слов» задаёт тон страстному циклу, я избавил себя от обета строго следовать догматам. Но подобная вольность наложила на мой λόγος епитимью, а точнее, долженствование скрупулёзно и с горячим сердцем исследовать дихотомию веры и неверия, рационального и иррационального. Страстной цикл я трактую иначе, чем триадологи, хамартологи, понерологи, экклезиологи, сотериологи и христологи. И там, где экзегеты понимают теозис как восхождение твари к Творцу при попустительстве последнего, я настаиваю на обоюдном сближении Бога и человека, *вочеловечивании* Отца и *обожении* Сына.

Но как *тварному* — увидеть, услышать, обонять, осязать, вкусить — *нетварное*? Здесь и выясняется, что Бог непознаваем, но осязаем, что Его можно почувствовать в череде благодатных действий, проявлений и энергий, которые в византийском исихазме (от греч. hesichia — покой, тишина, безмолвие, отрешённость) обозначены богословским термином ενεργεια. Что он означает? Да то, что Бог и человек, идя навстречу, пребывают в мистическом слиянии, что греки называли обожением или теозисом (гр. θέωσις). И хотя в Писании нет прямого упоминания божественных энергий, в Евангелии от Иоанна апостол говорит: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе...» (Ин. 17:21). Удивительные слова! Теозис — движение навстречу

мира дольнего и мира горнего. У Афанасия Великого читаю: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился» («De incarnat. Verbi», cap. 54. — MPGr. t. 25, col. 192.14). Однако даже эта новелла из арсенала (Eastern Christian theology) оказалась всего лишь стилистически отточенной фразой св. Иринея: «Сын Божий становится сыном человеческим, чтобы сын человеческий стал сыном Божиим» («Adv haeres.» III, X, 2. — MPGr. t. 7, col. 873.)

1.17.2 «7/7». Верно, что проникновение «тварного» в «нетварное» и наоборот составляет событие страстей, их глубинный сюжет.

Но теозису/обожению препятствует падший дух. И, прежде чем раскрыть сокровенный смысл hesichia, мне предстоит вычленить модусы зла, источник которого в не-сущем, откуда погибель совершает свои набеги. Только исследовав причину погибели, я смогу рассмотреть «молчание» Отца Небесного как преддверие встречи Человека-Иисуса с пропастью небытия, вырытой грехом, чтобы отдалить Человека-Иисуса от Бога-Иисуса.

В страстном цикле Господь как бы приседает на корточки перед Сыном: пусть почувствует своё Богосыновство, как Он, Господь — Богоотцовство. Этот жест заботы и любви, казалось бы, отнимающий у Бога прерогативы, нисколько не ослабляет Его могущество. Напротив, претерпевая крестные муки Сына, стоически выслушивая в свой адрес поношения и угрозы, Господь открывает в Себе ипостась Бога Сына, как Бог-Иисус — ипостась Человека-Иисуса. Спросят: но разве Бог не триедин априори? А раз триедин, зачем Ему подвергать Свою триипостасность верификации/фальсификации? Мой ответ а-догматичен: божественное знание не хранится на пыльных полках Ума/Нуса, куда, отыграв свои роли, ссылаются прописные истины. Бог обновляет свои природы, освежает память, а порой намеренно приглушает перцепцию и апперцепцию, чтобы дела давно минувших дней предстали Его внутреннему взору не анекдотами с бородой, а новостями, которые сорока принесла на хвосте.

Пребывая в вечности, зная наперёд всё, что случится, Господь испытывает тягу к индетерминизму. Бог прореживает рутину творческим порывом, чтобы тварь, наделённая свободой мыслить и полагать, стала Его, Господа, имманентным внутри априори. При этом Отец намеренно убавляет всеведение, чтобы испить до дна чашу страданий, приуготовленную Сыну. И чтобы Голгофа, на которую ступила Его нога, не обернулась выхолощенным ритуалом, в котором всё известно наперёд, Господь становится страстотерпцем. Но прежде Бог Дух Святой залепляет Богу Отцу и Богу Сыну глаза и уши, а Софию Премудрость Божью лишает прозорливости, — в противном случае на свободу, данную твари, легла бы тень притворства. Но именно вочеловечивание Господу и ставят в вину. Ведь, оставаясь Собой, Бог не стал бы терпеть истязаний Христа и вмешался бы в божественный промысел. Но Господь пожелал стать тварью, испытать крестные муки, и тем самоустранился. И упрёк в безмолвии бросает Богу в фильме «Молчание» Ингмар Бергман. Но всё с точностью до наоборот! Ведь «запирательство» Господне вопиет! Ведь Отец молится о Сыне тайно, как иерей на литургии. Но если тайная молитва священника предотвращает затухание религиозного чувства в верных и распаляет евхаристический «голод» в оглашенных, то тайное чинопоследование Господа свидетельствует о Его глубокой скорби и горячей любви к Сыну Человеческому.

1.17.3 «7/7». Верно, что в тайной молитве Господь цементирует душу Человека-Иисуса, чтобы не позволить аду облюбовывать «пустоты» и «каверны».

И в самом деле, как субъект, Господь отказывается от предикатов всевластия и всезнания, чтобы возложить на плечи крест познания «человеческого, слишком человеческого». Крест неподъёмен и в тысячу крат превышает вещество Вселенной. Крест Господень — любовь, которая «долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13, 4-7).

1.17.4 «7/7». Верно, что если Господь отец правды, то дьявол – отец лжи.

Введя правила для исповеди на IV Латеранском соборе (1215 г.), Римско-католическая церковь, ориентируясь на «Сумму богословия» Фомы Аквинского, определила «семь смертных грехов»: superbia (гордыня), avaritia (сребролюбие), gula (чревоугодие), luxuria (сладострастие), invidia (зависть), ira (гнев), acedia (медлительность в совершении добрых дел), pigritia (леность).

Аквинат позаимствовал эти термины у Тертуллиана, первым заговорившего о «смертных грехах» ещё во II веке. Но Тертуллиан в основном исследовал *проступки* (среди прочих и убийство), в то время как папа Григорий Великий под *порчей* понимал качества и предрасположенности, ведущие к неправедным делам. Часто зло

маскируется под болезни, похищающие ум и сердце, что превращает греховодников в жертв наваждений, а избавление от греха — в медицинскую манипуляцию с ярко выраженной площадной, шутовской подоплёкой. И в сознании простолюдинов для избавления от смертельных грехов, хватающих цепкими когтями души грешников, вполне достаточно лекаря (в современной транскрипции — психоаналитика). И, подобно эскулапу Ганса Сакса в одном из его фастнахтшпилей «Извлечение дураков» («Narrenschneiden»), этот знахарь/коновал выуживал из голов профанов: глупца-высокомерие (Hoffart), невежу-скупость (Geizigkeit), дуралея-зависть (Neid), дурачину-сладострастие (Unkeusch), олуха-чревоугодие (Völlerei), осла-гнев (Zorn), остолопа-лень (Faulheit).

Семь кругов чистилища Данте повторяют нумерацию семи смертных грехов. А Бальтасар Грасиан — автор скандального «Критикона» (1651-1657) — сочинил целую діавольскую географию, где народы греховодничали под руководством патрона: гордыня облюбовала испанцев, сребролюбие — французов, зависть — итальянцев, гнев — африканцев, чревоугодие — германцев, леность — американцев, а сладострастие, как всеобщий грех, с лёгкостью переступало границы государств и материков.

1.17.5 «7/7». Верно, что «смертный грех» не есть Геенна огненная как местопребывание, а есть Геенна огненная как наказание души бесчувствием, безволием, бездействием, когда, сохраняя подобие, она навек утрачивает сущность (essentia и quidditas).

Но что значит «смертный» грех? Идёт ли речь о тотальной погибели души или есть спасение? И если принять за аксиому, что душа вечна, что же отправляется под нож? Под *погибелью* следует понимать вечные муки в аду. Существование, лишённое Божественного попечения, безрадостно (existentia и esse). Обжаловать приговор нельзя. Безнадёга тотальна. И даже Господь, Отец души, потеряв к ней интерес, лишает греховодницу благодати сопричастности: душа больше не со-участвует и не со-мыслит Богу. Духовная агония неотвратима. Душа умерщвляется обездвиживанием. А преданная забвению, запечатанная за семью печатями, прежде вольноотпущенница, а ныне — узница греха, — она не вправе сказать о себе: «J'existe parce que le Seigneur pense à moi» (фр. «Я существую, потому что Господь думает обо мне»).

1.17.6 «7/7». Верно, что зло не от Бога, что свободу, данную твари, нельзя инкриминировать Творцу как состав преступления.

И в самом деле, если и есть подозреваемый, которому следует предъявить обвинение, введя его в зал суда в качестве подсудимого, а затем, препроводив в узилище с клеймом осуждённого, то это — субъект религиозного права, ибо только наше человеческое «я» предоставляет инфернальному миру плоть и кровь, а не наоборот. Ясно, что зло не субстантивировано до меня, зло «моё» a priori; в такой презумпции/юрисдикции не бес вселяется в человека, но человек становится падшим духом, но прежде зачинает, вынашивает и изгоняет нечисть из своего сердца. Мы попустительствуем греху, который изначально «дан» как отпадание, а затем становится нашим экзистенциалом. Скатиться/взойти по Лестнице Иакова решает мой индетерминизм в акте свободного выбора, но не роковая предрасположенность, не чей-то злой умысел или случай.

1.17.6.1 «7/7». Верно, что зло плод свального греха: чувственно-опосредованного (sinnlich) и интеллигибельного (intelligibilis).

Таким образом, мерзость — мысль, знающая себя как интенцию, стремление и устремление, как имморализм, нигилизм, цинизм и нарциссизм. И все эти пороки укоренены в практическом бытии человека. Ведь зло теплится в каждом, но один топчет пламя, другой — раздувает.

1.17.7 «7/7». Верно, что в противовес «семи грехам», губящим душу, «семь слов с креста» отграничивают Ветхозаветного человека от человека Евангелия.

И в самом деле, налицо экзистенциальный поворот: Христос-Человек вступает в *мнимый* конфликт с Христом-Богом: первый должен умереть, чтобы искупить смертью и воскресением грех человеческий; второй, имея власть предотвратить казнь, отступает во мрак небытия, чтобы, «устранившись», как ошибочно полагает Царь Иудейский, стать свидетелем чуда перевоплощения Человека-Иисуса в Бога-Иисуса.

Каждый, кто причисляет себя к Церкви, оказывается внутри поступка, совершаемого Спасителем. Пожалуй, ни в одном священном тексте, ни одной монотеистической религий, вера адепта не ставится в ситуацию предельного испытания, когда трещат по швам узкие одежды души, и нет иной опоры, кроме как на веру, веру и только веру. Sola fide («Только верою») так назвал свой главный труд Лев Шестов. О каком событии идёт речь? Что в Евангелии побуждает верного и оглашенного слезть с экзистенциального «шестка» и стать на трансцендентальную позицию? Для тех, кто проникся буквой и духом Священного Писания, не секрет, что Господь, пребывающий

в Иисусе Назареянине, приседает на корточки перед Сыном. Так поступил бы любой отец, чтобы его годовалый сынишка дотронулся ручонкой до его лица. И Бог-Отец позволяет Богу-Сыну прикоснуться к Лицу/Лику и тем приобщиться через таинство Евхаристии к Святым Дарам. Но теозис обоюден. Святое причастие есть обмен дарами, и как христианин приобщается к «телу» и «крови» Христовой, так и Господь вкушает тело и кровь Церкви. Этот взаимный опыт познания, это обоюдное самоумаление и самовозвышение двух ипостасей внутри Господа и составляет сокровенную тайну «семи слов с креста».

1.17.8 «7/7». Верно, что допущение, что в бытии перед лицом смерти каждый из нас проносит свой крест, с той лишь разницей, что Человек-Иисус своей безвинной кровью убелил грехи человеческие, а мы лишь «подражаем Христу», – разумеется, если наследуем Евангелию, – заронило в душах многих надежду на вечную жизнь.

И в самом деле, «семь слов с креста» ознаменовали водораздел между смертью и вечной жизнью, ветхой и новозаветной историей. Последние Слова распятого Сына человеческого глубоко тронули сердца философов, писателей, композиторов. Прислушайтесь к щемящим сердце мелодиям «Семи слов Христа на кресте» Генриха Шютца, «Семи слов Спасителя нашего Иисуса Христа, сказанных Им на кресте» Йозефа Гайдна, «Семи последних слов Христа» Сезара Франка и, наконец, продиктованным самими ангелами, «Семи словам Христа» Софьи Губайдулиной, чтобы проникнуться трагическим величием последних минут земной жизни Спасителя.

1.17.9 «7/7». Верно, что «семь слов с креста» следует понимать как теозис/обожение в его чувственном и сверхчувственном обличье. И тогда уместно говорить не о «словах», а о «шагах» навстречу друг другу, которые внутри Господа совершают Его *тварная* и *нетварная* природы.

1.17.9.1 «7/7». Верно, что о первом шаге к теозису/обожению Евангелист пишет следующее: «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:33–34).

Казалось бы, фраза отнесена к солдатам, пробившим гвоздями запястья на руках Иисуса и его спутников, что должно было обречь жертвы на мучительную смертью. Но нет же. Христос обращается к Своей божественной природе, к Отцу, пребывающему в Нем и с Ним в теле Человека-Иисуса. Сын печётся о чувствах Отца Небесного, унижении Господа, Его муках, быть может, более тяжких, чем крестные муки Человеко-Бога. Эта печаль Сына о публичном посрамлении Отца, утешение Страждущим Страждущего, когда оба равно унижены и оскорблены — есть первый нравственный поступок внутри экзистенциального со-бытия смерти, в котором Христос показывает себя *бытийствующим* вопреки смерти, которая уже сломала о Спасителя зубы, но ещё тешит себя надеждой.

1.17.9.2 «7/7». Верно, что о втором шаге к теозису/обожению Евангелист пишет следующее: «И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:42–43).

Разве слова, отнесённые к уверовавшему «вдруг» разбойнику, относятся к нему лично? Опять — нет. Христос не слышит в Себе поддержки. Отец «молчит». И первое сомнение/трещина надкалывает тонкий фарфор чаши страдания. Христос употребляет выражение «истинно говорю», но «знание», претендующее на исчерпывающую, т.е. божественную, полноту, оплачивается тем, что невосполнимо. Это знание оплачивается агонией и смертью. Христос авансом присваивает себе привилегию пребывать в истине, ещё не «зная» наверняка — звенят ли в его мошне «талант» или «мина»: мужество перед лицом смерти, стойкость в вере, непоколебимая внутренняя убеждённость в грядущем Великом Спасении. В определённом смысле, это второе «слово» обращено вновь к Богу-Иисусу, который, солидаризуясь с Отцом, должен, как полагает Человек-Иисус, подтвердить полномочия Сына. Но Господь «безмолвствует».

1.17.9.3 «7/7». Верно, что о третьем шаге к теозису/обожению Евангелист пишет следующее: «…говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя!» (Ин. 19:26-27).

Отчаяние Человека-Иисуса достигает предела, когда, не дождавшись поддержки от Человека-Бога в Себе, Отца на Небесах, Христос препоручает опеку над матерью любимому своему ученику Иоанну Богослову, а Богородицу просит позаботиться о «сыне», который будет благовествовать о Царствии Небесном. Человек-Иисус не

обращается к Отцу, который на Небесах, что было бы логично. Христос сомневается. Люди из крови и плоти кажутся ему куда надёжнее, реальнее, чем идеация, совершаемая в сознании, чем воображаемое, которое обретает достоверность себя лишь в представлении, очищенном от чувственного опыта. И опять же, основной пафос третьего «слова» обращён к Господу. В определённом смысле, Человек-Иисус бросает Отцу перчатку тем, что игнорирует Его в своём «завещании». Вспоминаются ветхозаветные богоборцы. Но Отец стоит «на своём». Он «молчит».

1.17.9.4 «7/7». Верно, что о четвёртом шаге к теозису/обожению Евангелист пишет следующее: «Около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46, Мк. 15:34).

По закону золотого сечения именно в четвёртом «слове» происходит радикальный перелом: Человек-Иисус отчаялся и ощутил экзистенциальную заброшенность. Он вопиет. Это уже не косвенная речь. Адресат назван. Часто комментаторы ищут в четвёртом «слове» цитату из 21 псалма (21:2), мол, Христос заменил еврейское слово «азабтани» (от глагола азаб — оставлять, покидать) на равное по значению арамейское «савахфани». Поскольку псалом содержит пророчество о Мессии, то Спаситель якобы хотел доказать гонителям, что является тем самым предсказанным пророком. Но эта точка зрения не выдерживает критики. Человек-Иисус бросает обвинение Отцу, а вовсе не пытается просвещать «заблудших». Иисус горячится. Его упрёки — это не лекции о пользе добрососедства, произнесённые университетским профессором в разношёрстной аудитории. И если переход на древнееврейский и арамейский как-то связан с псалмом, указывая на который Человек-Иисус хотел призвать Бога-Отца исполнить взятые на себя обязательства, то, вынося сор из избы, «Царь Иудейский» только приблизил предначертанное. Ясно, что тяжесть предстоящего испытания надломила решимость, и всё человеческое в Человеке-Иисусе возопило. Грех, который предстояло искупить Христу, обрел субстанцию, энтелехию и возглавил бунт, призвав Бога-Иисуса к неповиновению Богу-Отцу.

Остаётся лишь уяснить: что вкладывает Христос в вопрос «...для чего?..» Ясно же, что речь не может идти о поиске причин богооставленности. Едва ли Сыну понадобились доказательства Отцовской чёрствости, чтобы, суммировав все обиды, швырнуть их в лицо Господу и вернуть «билет», подобно Ивану Карамазову. Тут и совершается фундаментальный поворот, своего рода переход через Рубикон всего человечества, оставившего позади тысячелетия варварства и многобожия. В «четвёртом» слове решается судьба не только церкви Христовой, но и вселенной — тварь вдруг сбрасывает оковы тварности, когда, совершая внутреннее каждение Духом Святым, Человек-Иисус приближается к Богу-Иисусу. Топология этого переноса (контр-переноса) повторяет географию Голгофы. Промысел ландшафтится. Ведь, чтобы понять мысль Отца, Христос торит тропу, на которую ещё не ступала нога человека.

Но, чтобы понять, как Господь избрал Его, Своего Сына, орудием борьбы с діаволом-лжецом, мало одного ума. Здесь нужна стезя, здесь без изгваздывания не обойтись. В «четвёртом» слове Человек-Иисус впервые соединяется с Богом-Иисусом, совпадает с Ним ипостасями, природами, энергиями. Но Господь, услышав в вопрошании не сомнение только лишь, но горячую любовь и преданность Сына, продолжает выдерживать паузу.

Любовь Отца долготерпит. Ему куда проще приказать отпустить Иисуса, чем со слезами на глазах видеть, как Сын становится Агнцем, чтобы, заклав его, род людской ужаснулся содеянным. Иисус не желает умирать. Он колеблется. Но разве нас, читающих о страстях Христовых, способна растрогать чужая смерть? Разве мысль о близком конце не створаживает кровь в жилах, а образ трупа, который мы оставим как отвергнутую букинистом книгу или пальто, забытое в гардеробе, не леденит ум, заставляя мозг лихорадочно изобретать аргументы в пользу личного бессмертия? И всё, на что мы надеемся — поселится в чьей-либо голове как бездомный друг, которого пустили на постой... В «четвёртом» слове, отчаявшись, Человек-Иисус обращается к Ничто — так часто поступаем и мы, когда стучимся в сознание *другого*, даже если коммуникант — призрак, скитающийся по закоулкам ума. Человек-Иисус на глазах у всех и, прежде всего — в своих собственных глазах, — превращается в СЛОВО. И как часто, изготовившись к слову, окинув взглядом собеседника, набрав в лёгкие воздух с определённым усилием, внутренним чувством, мы стремимся обессмертить свою речевую личность. А возложив на себя другого человека как крест, как вериги, разве не становимся мы душеприказчиками его мысли?

1.17.9.5 «7/7». Верно, что о пятом шаге к теозису/обожению Евангелист пишет следующее: «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду» (Ин. 19:28).

Ясно, что жаждет Человек-Иисус только одного — никогда больше не разлучаться с Богом-Иисусом. Жаждет Он не знания, которое получил, истоптав Голгофу, а Царствия Небесного. Здесь со всей решительностью звучит горячий призыв — ускорить встречу с Отцом!

1.17.9.6 «7/7». Верно, что о шестом шаге к теозису/обожению Евангелист пишет следующее: «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух» (Ин. 19:30).

Сказав это слово, Человек-Иисус удостоверяет свершившееся: соединение в акте само-полагания с Богом-Иисусом.

1.17.9.7 «7/7». Верно, что о седьмом шаге к теозису/обожению Евангелист пишет следующее: «Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух» (Лк. 23:46).

Свершилось! Человека-Иисуса и Бога-Иисуса охватил экзистенциальный восторг, реализовав самобытность каждого. Человек стал Богом, Бог — Человеком. Метаморфоза свершилась. Каузативно/казуативно Ничто не предшествовало чуду, ибо теозис/обожение — беспредпосылочно. В качестве аналогии приведу чудо рождения мысли из Ничто. Ведь мышление возникает вдруг, в моменте времени «теперь», и мысль рождается вооружённой рассудком, интеллектом, разумом, которые даны ей и взяты ею в акте самосхватывания, который не развёрнут в пространстве-времени, т.е. счастливо избавлен от генезиса. Мысль исполнена мышлением, и уже первая мысль содержит a priori весь ментальный опыт. Мысль рождает себя-из-себя, появляется во всём многообразии связей, которые получила как бы в наследство от хирурга, долго и кропотливо набивавшего саквояж ланцетами и зажимами.

1.18 Верно, что *моя* и *чужая* ментальность, столкнувшись, не складываются, не расщепляются и не аннигилируют.

И в самом деле, мысль избавлена от био-и-формогенеза. Мышление — и ложе, и зачатие, и пеленальный столик, и одр. Но, спросят: где проходит водораздел между мыслью и мышлением, результатом и процессом, человеческим и божественным? Это различение притворно. Ведь что делает мышление, ныряя в мысль, как пятерня — в перчатку; и что делает мысль, когда, высвободив себя из-под тугой кожи перчатки, выворачивает мышление швами наружу?

Как тут не вспомнить идеи Николая Кузанского о совпадении противоположностей (антиномий) в сущностных глубинах бытия и интуицию Павла Флоренского о четырёхмерных объектах ИДЕЯХ. Так вот мысль/мышление, обретающиеся в средостении Бытия и Ничто, в той же степени не принадлежат Эмпиреям и Эмпириям, в какой Человек-Иисус и Бог-Иисус не имеют точек соприкосновения в пространстве-времени.

Но если мысль — горизонт, стянутый в точку Гилберта, а её цель, услышав, как колотится внутри и просится наружу мышление (речь об истории духа, который выталкивает на кончик пера то, что приходит на ум), — так вот, если мысль разворачивает, распаковывает и разархивирует мышление без потерь, и тот же процесс совершает мышление, когда благодаря инверсии сжимается в точку, то Господь и Человек-Иисус, ставший Богом-Иисусом, внутренне структурированы иначе. В их природе, в их ипостасях, в их энергиях нет ни части, ни целого, ни множества, ни подмножества. Бог един, триипостасен, тринокулярен.

Архаика же дискурса о душе, когда психология, казалось, различила сознание и бессознательное, а когнитивистика развела царство мысли и царство природы, указав на специфику каждого, — уместна, как сёдла, ружья и люди, которые, как писал Хемингуэй, «должны быть потёртыми».

Смысл «семи слов» в обожении/теозисе, когда Человек-Иисус соединяется с Богом-Иисусом. Чтобы отпустить тварь на вольные хлеба, позволить миру самоопределиться, расширить пределы субъектности, Господь ограничивает Своё всевластие. Но, умаляясь, Он усиливается. Ведь рамка, которой Господь ограничил Себя, в действительности расширила его полномочия до абсолютной свободы полагать Себя любым пределом внутри Своего Всевластия. Будучи единосущным, Бог вовлекает человека во всё, что затевает. Мір — проба пера, способ пролить чернила. И Богу понадобился рисовальщик, чтобы прочертил едва намеченный контур бытия.

1.19 Верно, что ангелы кино отличаются от ангелов Господних, которых Бог сотворил прежде Земли.

И в самом деле, на иконах их изображают безбородыми юношами в белых диаконских одеждах, символизирующих их служение. Ангелы облачены в стихарь, орарь, поручи, имеют крылья и нимб над головой. Их видят шестикрылыми, а иногда в форме колёс, с прикреплёнными к ободу глазами, или в виде химер с четырьмя лицами

на голове, или в форме огненных вращающихся мечей, — добавлю: обоюдоострых.

Как и автор «Ареопагитики», я разделяю ангельскую иерархию на 9-ть ступеней, по три триады в каждой. Какова моя цель?

Во-первых, доказать, что Бог и ангелы не присутствуют в реальном мире как вещи, т.е. предметы опыта, но существуют и как акты мышления, и как его продукты; их статус — притворно-сущие; здесь уместно словосочетание «идеальные объекты», которые, если и гипостазированы, то только в-себе и для-себя, т.е имеют причину в собственном бытии каузально/казуально; по сути, речь идёт о чистых идеях, которые, однако, ни как субстанции, ни как субстраты, не принадлежат бытию, Ничто, обоюдному.

Во-вторых, продемонстрировать плодотворность синтеза религиозного и киноведческого дискурса, использующих метафоры, метонимии, эвфемизмы там, где замылены глаза от частого употребления понятий бытие и небытие.

В-третьих, расширить тезаурус феноменологии, включив в него в качестве «эвфемизмов» набивших оскомину терминов Брентано, Штумпфа, Гуссерля, Шеллера, Хайдеггера, Шюца, Сартра, Варелы... профессиональный сленг «киношников», для чего раскрыть все стадии кинопроизводства, включая технику и навыки как языковые игры, конституирующие объективный мир.

В-четвёртых, дать дефиниции понятий: «притворно-сущее», «кромка», «средостение», «что-ни-что», «парадигматическая инфляция», «тринокуляр», «соглядатайство», «изнанкование», «изгваздывание», «перенос (контр—перенос)»; «свето-тень», «фокус», «трансфокация (zoom)», «тревеллинг (traveling)», «рапид (rapid)», «грип (grip)», «discourse-стресс», «коллапс речевой функции» и т.д.

Хочу предостеречь. Ангелы кино вовсе не кинокамеры, плёнка, штативы, кранстрелки, монтажные столы, тон-студии или лаборатории, где проявляют материал и печатают копии. Но ангелов не стоит искать и в кругу сценаристов, режиссёров, композиторов, актёров, кинооператоров, осветителей и тех из группы, кто заваривает кафе и готовит бутерброды. При всём уважении к этим профессионалам, ангелами их назвать трудно.

1.19.1 Бог – заказчик кино. Ему помогает в съёмках небесная иерархия, которая и устраивает премьеры в заоблачном кинотеатре.

Но как туда пробиться? И у кого выцыганить билетик? Об этом и пойдёт речь. Но начать следует с третьей триады чиноначалия: Ангелы, Архангелы, Престолы.

Ангелы

2. Ангелы – в авраамических религиях – посланники, вестники. Они сообщают волю Бога и обладают сверхъестественными возможностями.

И в самом деле, ангелы служебные духи. Бог сотворил их прежде материального мира, над которым они владычествуют. Ангелы песнославят Творца... Но встречаются и завистники. И самый могущественный, талантливый и красивый из богоотступников — краснобай Люцифер. Возглавив фронду, он был низвергнут. Но противоборство зла и добра не завершено. Титаномахия переместилось в души. И война эта, как писал Никодим Святогорец, обратилась в «невидимую брань».

2.1 В кино вестники – ангелы, берегущие свет от порыва ветра, от помыслов. И имя у них соответствующее: «ангелы, прикрывающие луч света ладонью».

Падшие духи сквернословят, хулят Бога. Ангелы — толкуют Его дела, разъясняют смысл священной истории. В кино эта роль отведена критикам. И ангелы, как киноведы, растолковывают миру Божественный Замысел. Как они это делают? **Во-первых**, и падшие духи, и ангелы способны к полёту в духовных сферах, т.е. входить в мысль, в трансцендентальное Я и в сам акт трансцендирования. **Во-вторых**, ангелы знают все тропки, по которым пробирается мысль через бурелом греха, и часто встречают врага, засевшего в наших мыслях, как короед в лубе. Бесы, т.е. *слова* и *мысли*, внушённые Сатаной, имеют доступ к ментальному миру не только людей, но и ангелов.

2.2 Сатана препятствует познанию Бога ложными силлогизмами, логическими ошибками, которыми опутывает ум, и хулой, склонность к которой бес прививает тому, кто не мыслит самостоятельно.

Как «Педагог» Климента Александрийского, Бог сносит всё безропотно, но предупреждает неофита, что богопознание не строится на экстатическом исступлении, игре воображения или рассудочном размежевании «мира горнего» с «миром дольним». Нечистый же, напротив, приучает сомневающихся и богоотступников делать всё под диктовку воображения, в печь которого эти истопники швыряют слишком мало дров.

Бог учит обуздывать тело и дух, чтобы избегать прелести, помыслов, а воображаемое,

— плод воображения, — держать в ежовых рукавицах. Поэтому в православии попечением верующих заняты старцы.

2.3 Душа – кинотеатр, где места соответствуют иерархии ступеней познания: те, кто сидят ближе к экрану, ближе и к Богу.

Сеанс — подобие литургии, где прихожане — соборяне... У каждого свой угол обзора: те, кто сидят на галёрке, видят фильм в «широком формате», но не различают деталей; те, кто устроился на VIP-местах в центре зала, смотрят картину в «итальянском каше», они соблюдают меру, их богопознание сочетает интуицию и ум, но души их заперты и не вовлечены в диалог с непредставимым/невыразимым, так как зрители эти «ни холодны, ни горячи» (Откр. 3:15-16); те же, кто сидит на первых рядах, на приставных стульчиках или полулежат на полу, «нос к носу» с экраном, видят изображение в рамке 3:4, по сути, эти безбилетники ближе всего к Богу. Но, поскольку ресницы их почти касаются экрана, Бога они не видят, а осязают. Отсюда лемма: Бог не видим, не познаваем, но осязаем.

Свет гаснет. Припозднившихся, освещая путь фонариком, сопровождает на место ангел-билетёр. Эти «сталкеры» знают ваш удельный вес в духовном мире, вашу страту.

2.3.1 Сеанс – литургия, публика – церковь, фильм – слово Божье.

И это слово нужно доносить, не расплескав по пути драгоценный его елей. И ангелы справляются. Их миссия: **во-первых**, разъяснять смысл фильма, т.е. благую весть, данную Вседержителем в суровые времена отпадания от церкви паствы и тотальной секуляризации общества. В эпохи смут Бог прибегает к новым формам религиозного дискурса... Так появились византийская и русская иконописи, знаменный и путевой распев и в целом канон православной богослужебной гимнографии... Дошла очередь и до кино... Поэтому первое, что делают *ангелы, прикрывающие луч света ладонью* — толкуют Слово Божье; **во-вторых**, их обязанность — защищать свет, чтобы падшие духи не загасили Богоначальную лампаду взмахами своих чёрных крыльев.

Сев на приставные стульчики, критики достают блокноты. Они знают, что окошко кинобудки — граница мира чистых идей, отделяющая священное от профанного. «О чём невозможно говорить, о том следует молчать» (Л.Витгенштейн). Но критики убеждены, что кино только и делает, что развязывает язык невыразимому. А ещё, что кино отражает всеобщее, потому что логическая структура кино идентична онтологической структуре всеобщего.

Познание, говорят критики, состоит из последовательности: квалия — монтаж — просмотр. Просмотр — повторное воспроизведение квалий. Повторное переживание пережитого.

2.4 Используя свето-тень (англ. Clear-obscure), Бог извлекает мир из Ничто́. Таково положение вещей (Sachverhalten).

2.5 Кино отражает и то, что не видит кино-глаз, но что отбрасывает в кадр «тень» своего присутствия – неочевидное: то, что, будучи ноуменальным, не стало феноменальным.

2.6 Истина – то, что в фокусе (англ. in focus); заблуждение, кривда – то, что в тумане (итал. Sfumato).

Но *ангелы, прикрывающие луч света ладонью*, не только толкуют о Замысле. В основном они защищают Бога от клеветы и навета. Их обязанность — теодицея.

Но от кого Богу защищаться? Ведь теодицея — костыли и протезы «лежачего». Если Бог так немощен, что не может за себя постоять, не помогут и стряпчие. И в самом деле, одни ставят Господу в вину существование зла; другие обвиняют в нежелании реформ; третьи уличают в сделке с діаволом. Но есть и такие, кто набрасывают на плечи адвокатские мантии. В 1710 году в трактате «Опыты теодицеи о благости божией, свободе человека и первопричине зла» Лейбниц вводит термин теодицея («оправдание Бога»), образовав его от древнегреческих слов — (theos) бог и (dikē) суд, справедливость, судебное решение. Стоило один раз накрахмалить парик, как молоточки судей застучали по столешницам, как колёса экспресса... Но судебные тяжбы с богами вели ещё древние греки, — вспоминается ядовитый диалог Лукиана «Зевс уличаемый». И только в теизме Всеблагому, Справедливому и Всемилостивейшему Господу вручают повестку в суд. Бог отвечает по иску, где Его прижучивают за изъяны творения: за зло, за страдания, за боль, которой ответчик попустительствует — по неведению, злому умыслу, безразличию или из благих побуждений. Таким образом, ratio осуждает Творца за бессмысленные мучения и смерти; иррациональность же, напротив, видит в бедах и напастях ступени, по которым искренняя и преданная вера в Отца Небесного, превозмогая сомнения, восходит по «Лестнице Иакова».

Псевдо-Дионисий Ареопагит определяет трансцендентальную причину зла в «недостаче блага» (στέρησις, ἔλλειψις τοῦ ἀγαθοῦ — см.: DN IV 30:8 (P. 176). Отсюда один

шаг до слияния сущего и блага и признания зла антагонистом бытия, а следовательно — Ничто́. Поверив на слово Дионисию, который поверил на слово Платону, мы упёрлись носом в апорию: если зло — отсутствие блага, а благо есть сущее, то зло — отсутствие сущего, т.е. небытие (οὐκ ὄν — см.: DN IV 20:11, 33:3 — 4, 34:1). Но как то, чего нет, совершает зло? Дионисий отмалчивается, как, впрочем, отмалчивается и Платон.

2.7 Аргумент против зла (ущербность отпавшей твари, злоупотребившей свободой), всего лишь локутивный акт, не поднимающийся до импликации, в то время как дискурс о діаволе нуждается в иллокутивных актах, в перформативах, призывающих на баррикады брани духовной.

2.7.1 Только когезия и когерентность, связность и соподчинённость, способны произвести ясное усмотрение причин зла.

Скажу крамолу. В коммуникации спрятан ключ от добра и зла. Сама речь есть предельное основание, став на которое, древний морок оглянется во гневе, как герой пьесы Осборна. Если зачитать напасти права, рассказать бесу о свободной воле, которой Господь наделил вольноотпущенницу мысль, то зло само выберет плевелы из своих семян, а затем и сожжёт. Почему я так наивен? Да потому, что *совесть*, чей голос не от мира сего, звучит в умах и сердцах самых падших духов... Горечью, но и надеждой, отдают слова Господа, обращённые к Содому и Гоморре. Вот как передаёт их пророк Исаия в первой главе своей книги:

«(11) К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу... (13) Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть... (14) Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их. (15) И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. (16) Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; (17) научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову».

Господь суров с греховодниками. Но в стихе 18-м Он демонстрирует любовь и готовность прощать: «Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю», а в стихе 25-м, говоря о столице, сделавшейся блудницею, обещает: «И обращу на тебя руку Мою и, как в щелочи, очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое». Господь говорит высоким штилем. В этом нет многоглаголания, но есть отцовская забота о своевольнице дочери.

2.7.2 Зло должно овладеть покаянным дискурсом. Но прежде – дозреть до мысли о покаянии, как, впрочем, и просто до мысли, поскольку нет, не было и не будет «злых» мыслей. Зломыслие – миф. Есть недомыслие, т.е. душа, так и не ставшая со-работницей Отца.

И, только затеяв тяжбу с собой, язва (воплощённая, исполненная лютости и гнева) прозревает причину собственной порчи. Зло видит, как семена, посеянные щедрой рукой ангела Господня, оборачиваются цветами зла, а плевелы, выбранные из горстки семян райских цветов, бросаются в костёр амбиций. Так вот как обстоят дела! Повернув глаза зрачками внутрь, зло натыкается на лежбище, токовище непродуманного, непрожитого — того неподлинного, *не-собственно-своего-бытия-вот*, которое отличается от подлинного бытия — как кривда от правды, ложь от истины.

Зло вправе истребовать и у своих кураторов, и у самого себя существенное своей сущности. Войти в собственную мысль, распластанную, как после апоплексии, чтобы всецело озаботиться её уделом. Пожелав смыть позор, зло не должно додумывать впопыхах. И обязано вскрывать нарывы, гноящиеся раны, всё ещё снабжающие кровоток нечистотами.

2.7.3 Мерзостям, осваивающим покаянный дискурс, предстоит вылазка внутрь себя, к началу, к предельному основанию, к незамутнённым истокам, которые ещё не разделены на фракции, которые суть – целостность, девство, гимен (лат. hymen).

А припав к истоку, где всё только завязывается в клубок, где всё впереди, где не случилось «отпадание», а тварь не предъявила мороку его послужной список, зло должно разговорить свой грех.

Спросят: но как вернуться к истоку? Войти в прошлое? В этике есть устоявшийся стереотип, что зло — зло; добро — добро. По мне же: зло и есть добро, а добро — зло[1].

[1] *Прим. редакции:* моральная цензура «Невского проспекта» могла пропустить в печать подобное и любое поползновение к отождествлению добра и зла, только сочтя оное каламбуром или поэтическим софизмом.

Звучит провокационно. Даже зловеще. Но стоит заглянуть в себя, как натыкаешься на границу долженствования, на размежевание добра и зла, на их демаркацию в структуре мысли.

2.7.4 Этика там, где завязывается намерение, а не там, где поступок перерос в проступок.

И в самом деле, регулирование ментального/идеального давно назрело. Зло ищут в социальных институтах, не способных защитить права и обеспечить потребности. Но подлинная причина зла в изъянах мышления, в порочном своеволии, в невыпестованных чувствах. Нужна ментальная этика, где зло и добро было бы не агоном, а тождеством. В такой этике во главу угла ставилась бы диалектика. Ведь зло в ментальной этике — добро, которое делает первый шаг (пусть робкий, едва сознаваемый) в сторону зла, и это недо-зло ещё робеет, ещё кутается в рубище нестяжательства. А добро — морок, который застыл в ужасе перед делом своих рук, и даже ударил себя по рукам. И эта напасть, формально принадлежа злу, и есть новорожденное добро — тот, кто протягивает руку, но творит «милость» неуклюже, нелепо, как кривда, чей рот перекошен хулой, но в каждом его слове — правда.

2.7.4.1 Ментальная этика регулирует истоки. Она исследует инверсию зла и добра.

Без зла нет полноты, включающей как актуальные, так и потенциальные аспекты реальности. Зло укоренено в универсуме, что избавляет полноту от ущербности, недостачи, недокомплекта. Зло — атрибут самодостаточности, конституирующий полноту негативно, как благо — позитивно.

Но поскольку без перцепций зла полнота не пребывает в-себе, то зло становится атрибутом Блага, но лишь как чистая негативность. Таким образом, зло, как потенция, становится подлинной негативностью только когда извлечено из полноты. Но поскольку потенция — атрибут Абсолюта, без которого он не Всевластен, то Бог, как истинный Абсолют, Совершенен и Всеблаг и при наличии зла в мире. Почему? Да потому, что, даровав твари свободу поступать по совести, Господь не умывает руки, а берёт на себя ответственность.

Зло очеловечилось. И хотя діавол соблазнил Еву, а та — Адама, решение вкусить от плодов древа познания принималось каждым в здравом уме. Попытки переложить ответственность на врага безосновательны.

2.7.5 Зло демона – его онтологическое преступление; зло человека – его антропологический проступок.

И в самом деле, каждый подсуден в своей юрисдикции. Но как беззаконие находит лазейки в правосудии? Ясно, что правонарушение там, где бытию причинён ущерб намеренно, а не по неосторожности. Восстав против целого, часть разделяет сущее на то, что причиняет зло и то, что — претерпевает. Но обладает ли целое иммунитетом? И, расталкивая плиты под континентами, сжигая метеоритами леса, останавливая магнитными бурями сердца больных и стариков, слизывая шершавым языком тайфуна хрупкий бисквит островов с их цивилизациями, — обрушивая все эти беды, разве целое не отвечает по счетам? Кто субъект злого умысла: врач, убивающий колонию раковых клеток, или — опухоль, поедающая мозг? Позволив кровососущим тварям осушить себя до дна, как стакан с клюквенным соком, поступаю ли я высокоморально или я преступник, посягнувший на человека?

Отвергнув казуистику и спекуляции на этике, Альберт Швейцер прервал карьеру органиста, выучился на врача и уехал в Африку. Схожий путь проделал Людвиг Витгенштейн, — забросив карьеру университетского преподавателя, он учил математике и немецкому языку крестьянских детей в глухой альпийской деревушке.

Но как, зная о «праве» сущего на жизнь, благоговеть перед конкретной её формой и не поражать в правах — прочие? Следует ли дифференцировать выбор, вводить моральный оператор/квантор в иерархию ценностей, чтобы наверняка знать: какому жизненному порыву благоволить, а какому — нет. Ясно, что логика каузативного/казуативного детерминизма/индетерминизма недопустима там, где зло инвариантно и где только сердце решает — какие презумпции редуцировать, а какие — репродуцировать. Я намеренно вывел ум за скобки этой формулы. Уму ещё предстоит взглянуть правде в лицо.

2.7.6 Уму, чтобы ответственно подойти к проблеме зла, следует обнаружить порок в-себе, в своём всесокрушающем своеволии.

Господь наделяет бытие свободой, а вот нечистый — никогда. В противовес Богу, чёрт не умаляется перед человеком. Падший ангел горд, надменен, за что и был посрамлён. В чём же, спросят, вина Иуды? Разве поцелуй его не был предопределён? Без вины виноватым Иуду рисует Леонид Андреев в рассказе «Иуда Искариот». Но

всё было с точностью наоборот. Иуда мог отклонить предопределение, вмешаться в Промысел, но вместо этого истребовал рассаду зла, а получив, взрыхлил и унавозил почву, засеял чертополохом, обмолотил, замешал тесто на слюнях діавола и испёк бесовской кулич.

Но свобода, данная твари, не только не снимает с Бога навет, но и укрепляет подозрения скептиков. Вера неподъёмна. И всё чаще звучит укор: почему вместо рукопожатия Господь обрушивает на тех, кого любит, несчастья? Не всем по душе божественная пропедевтика. И жестом отчаяния Иван Карамазов возвращает билет Богу, — слеза безвинно замученного ребёнка не стоит счастья! Но человек не желает распознавать ростки зла там, где оно укоренено, — в чистых идеях, в эйдосах, казалось бы, таких безвинных, что и мухи не обидят.

2.7.7 Нет зла нечаянного, как и нет зла «чужого». Зло «моё» a priori.

И в самом деле, «другой» позволит злу свить гнездо и вывести птенцов, будет кормить их сырым мясом из рук и не заражаться злом, будет хулить, насиловать, убивать и даже в этом случае к злу отношения не иметь. Почему? Да потому, что злом становится только МОЙ завет и МОЁ клятвопреступление. Зло тогда зачисляется на мой счёт, когда, видя проступок постороннего, я соучаствую в нём или попустительствую ему. Злу нет дела до «другого». Злой дух счастлив со мной. Злой дух — однолюб.

2.7.8 Зло не субстантивировано до меня, оно «моё» по определению; в такой презумпции/юрисдикции не бес вселяется в человека, но человек зачинает, вынашивает и изгоняет из себя падший дух.

Я попустительствую греху, я решаю — скатиться или взойти по Лестнице Иакова, стать подвижником благочестия или закоренелым грешником. Я субъект полагания зла, а не роковая предрасположенность, не чей-то злой умысел или случай. Зло становится порчей в акте свободной воли. Зло — мысль, попустительствующая имморализму, нигилизму, цинизму и нарциссизму. Зло теплится в каждом, но один — топчет пламя; другой — раздувает.

Архангелы

3. Архангелы – восьмой чин у Псевдо-Дионисия.

Если строго придерживаться буквы, то в Библии архангелом назван только Михаил. Все же прочие архангелы, а церковная традиция называет ещё, как минимум, восемь имён, таковыми не являются.

И хотя заслуг других архангелов никто не оспаривает, прерогативы отданы Михаилу. А что же прочие? Гавриил, как предвестник богоугодных событий, сообщает священнику Захарии о рождении Иоанна Крестителя, а Деве Марии в Назарете — о рождении Иисуса Христа; Рафаил, который за талант эскулапа, в книге Товита назван «Врачевание Божие», излечивает от боли Авраама, после того как праведный муж сделал себе обрезание. Дела вполне достойные. Но, зная эти заслуги, автор Библии, т.е. Господь, удостаивает чина архангела только одного из бесплотных духов. Михаил загадка. Его так и подмывает сравнить с камерленго — кардиналом, который после смерти римского понтифика становится местоблюстителем престола, или регентом, до момента избрания нового папы.

И всё же, архангел Михаил не камерленго, поскольку служит живому Богу, наделившему его полномочиями, которые приличествовали бы Херувиму или Серафиму.

Не стану перечислять все подвиги Михаила. Но мимо одного нельзя пройти. Вот как описывает событие Иоанн Богослов в стихах 7-9, главе 12 книги «Откровения»: «И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною».

3.1 Архангелы в кино – «ангелы, сопровождающие лучиком света заблудившихся в темноте».

Во времена плёночного кино билетёры, когда гас свет в зале и начинался сеанс, сопровождали припоздившихся к их местам с помощью ручных фонариков. Эту роль и выполняют ангелы-просветители в заоблачном кинотеатре.

Но что на экране? Каков репертуар? Как я уже говорил, всё, что положено перед камерой и попадает в «кадр» — бытие. Всё, что за кадром — Ничто. Порой «тень» Автора попадает на плёнку. И, очертив контур этой тени, режиссёр проникается божественным замыслом.

Но вот фильм смонтирован, озвучен и заряжен в лентопротяжный механизм кинопроектора. Окошко проекционной будки — граница мира чистых идей (ноуменов) и опыта (феноменов). Затесавшись в луч света, феномены поставляют уму явления. Сеанс — то, что «дано» и «взято». И что-то происходит с душой, когда мы веселимся,

грустим и льём слёзы на «Малыше» Чаплина, «Похитителях велосипедов» Витторио Де Сика, «Семи самураях» Куросавы... Свет этих лент врачует. И душа, раздробленная, но надлежащим образом соединённая, подвергается остеосинтезу. Этот остеосинтез — **МОЛИТВА**. Кино, как муэдзин, напоминающий мусульманам о намазе, обращает к Богу умы и сердца.

3.2 В молитве Бог и человек не знают заранее результата рандеву, поскольку вверяются и субстантивно, и субъектно новому, неизвестному обоим, полаганию себя.

Как субстанция/монада, молитва существует суверенно и от человека, и от Бога. Молитвословие — terra nullius (ничья земля), оказавшись на которой, Дух Святой не детерминирует поступки верующего, низводя его прошение к формальной челобитной, по которой уже известен рескрипт. Но и человек, ступив на Terra Sancta, волен продолжить путь или вернуться. В молитве происходит обмен ипостасями, природами, их up-grade. Здесь Творец безболезненно умаляется, а тварь — возвышается. Но даже у ничейной земли есть демаркация и паспортный контроль, — речь о внутреннем послании, которое Господь, ещё до того как мы формализовали своё обращение, распознаёт в ворохе наших религиозных чувств. Вера отворяет врата в молитву, безверие — их запирает. На территории молитвы не действуют прерогативы, вступая на неё, ты завязываешь отношения, но не навязываешь волю.

3.2.1 В молитве нет секунд, минут, часов. В молитве время структурировано не флуктуациями внутри вещества или волны, не их цикличностью, а живой речью, диалогом верующего с Богом.

Вместо времени Ньютона здесь царит безвременье. Будучи потенцией, которая не вызвана к жизни ни казуально, ни каузально, время молитвы следовало бы назвать «онтологическим», поскольку верховодит здесь не прошлое или будущее, а момент «теперь», который не есть дискретный фрагмент некоего по́тока. Онтологическое время и е́сть поток, замкнутый на себя. Моменту «теперь» Ничто́ не наступает на пятки, и Ничто́ не сверкает пятками, когда он настаёт. Здесь властвует досуг Господний, в который и вступает молящийся. Повторюсь, молитву не творят в пространстве-времени, во вселенной Эйнштейна-Минковского, во фракталах, торах или иных геометрических многообразиях. Понять это трудно, если ты не молишься. К тому же, если молитва есть обожение, т.е. мистическое слияние с Творцом, то произойти это никак не может посредством сущего или посредством не-сущего.

Как же время молитвы становится «онтологическим»? Будучи вечным и бесконечным, Бог, — и совершается эта благодать именно в молитве Господней, — редуцирует и сегментирует своё бытие. Творец умаляется, чтобы тварь возвысился. Но, встречаясь с глазу на глаз, Бог и человек не знают наперёд, во что выльется их встреча. А всё потому, что время молитвы нелинейно. Но оно и не-эпигенетично, поскольку не содержит зародыша пространственно-временных отношений, которыми время беременеет, чтобы выносить и изгнать плод.

3.2.1.1 Верно, что богослужебные «часы» (службы 1-го, 3-го, 6-го, 9-го часов, а также «стражи») относятся к чину молитвословий, которые читаются в Храме в точно установленное время. И так же верно, что Молитва Господня, в отличие от «часов» и «страж», не требует для себя ни времени, ни места.

И в самом деле, задача «часов» — напоминать о событиях Священной Истории. Часы/стражи призваны взбадривать дух и отвечают за его неусыпное трезвление. Обычно в 1-м часе вспоминаются сцены изгнания из Рая Адама и Евы и суд над Иисусом Христом у Киафы; на 3-м — сошествие Св.Духа на апостолов; на 6-м — распятие Спасителя; а на 9-м — Его крестная смерть. «Часы» вырывают молящегося из цепких объятий повседневности. «Стражи» и вовсе похищают христиан из-под носа у бесов, неустанно/неусыпно нашёптывающих богомерзкие мысли. Умы этих зевак заселяют квартиранты из числа падших духов. Но если «часы/стражи» всё же зависят от времени Ньютона, «онтологическое время» молитвы ускоряется/замедляется и даже трансформируется в вечность. Да и не только время: пространство души раздаётся, разносится, порой до масштаба Вселенной, — а что такое душа, как не вместилище Царствия Божьего, как не местопребывание всех когда-либо произнесённых молитв, всех когда-либо совершённых подвигов благочестия.

3.2.1.2 Верно, что в молитве Господней мир всё ещё не сотворён, а шестоднев совершается всякий раз, когда читается молитвенное правило, что молитва произносится обоюдно, что в молитве человек и Бог предстают разомкнутыми структурами с открытой (принципиально незавершённой) внутренней формой.

И в самом деле, Господь вправе продолжать творение человека, его души, но и человек вправе творить Царствие Небесное в своём сердце. И это взаимопорождение,

этот Гексамерон (от греч. ἑξάμερον — «шесть дней»), молитва Господня совершает как в человеке, так и в Боге.

3.2.1.3 Верно, что в молитве нет персон, имён, судеб.

И хотя имяславцы и считали, что «Имя Бога есть Сам Бог/но Бог не есть имя», в молитве нет никаких предпосылок. Молитва беспредпосылочна, и это требование одинаково необходимо как для человека, так и для Бога. Чтобы пройти через рамку металлоискателя, вы оставляете в лотке всё, что звенит. Так и с молитвой — всё, что выдаёт в вас материальный объект, вашу принадлежность к субстанции, субстрату, субъекту, предикату — всё должно быть оставлено за рамкой.

3.2.1.4 В молитву не вступить, когда ты детерминирован. Молитва – индетерминизм.

3.2.1.5 Вступая в молитву, верный не знает – чего просит. И благодаря нестяжательству, вверению себя воле Господней, молитва сама изымает из тебя то, с чем ты пришёл.

Молитва — лестница, по которой Бог нисходит, а человек восходит. Прерванный грехом Богоначальный луч восстанавливается в молитве и образует непрерывное истечение, в результате чего и совершается *апокатастасис* (др.-греч. ἀπο-κατάστᾰσις — «восстановление») и *перихоресис* (др.-греч. περιχώρησις — «взаимопроникновение») Бога и Человека, их взаимный *экстасис* (от греч. ἔκστασις) — исступление, выведение Божественным действием разумной твари за пределы тварного.

3.2.1.6 Молитва – «брак» с Богом, но не морганатический, а по любви, «соитие», которое совершается во мраке, но соитие духовное, где мрак не «альков», а местопребывание Господне.

И в самом деле, «Облако и мрак окрест Его...» (Псалом 96:2); а в другом месте: «И стоял народ вдали; а Моисей вступил во мрак, где Бог» (Исход, 20-21). Но прежде чем сделать шаг в кромешную тьму, и Бог, и молящийся *растождествляются*, лишают себя идентичности, различия. Для этого следует оставить за рамкой металлоискателя всё: и сущность, и ипостаси, и природы, и имена. Освободившись от опосредующих их пут, человек и Бог соединяются в молитве субстантивно. Здесь и совершается синтез тварного и нетварного. Это ещё не теозис (обожение), но горячая вера, лишающая обоих опор на внутренние основание, на авторитет и власть, приносит свои первые плоды.

3.2.1.7 И человеку, и Богу, вступивших в молитвословие, дано побывать в теле «постороннего»: человеку – в нетварном (theosis), Богу – в тварном (incarnation).

И в самом деле, метаморфозы эти совершают не тварь и Творец, а молитва, ставшая, на какое-то время, *субъектом* их субстантивного единства.

3.2.1.8 В молитве и Бог, и человек обмениваются нательными крестиками, – Господь возлагает на свои плечи «удел человеческий», человек – «удел Иисусов».

Выстояв литургию молитвы, её незримые часы, Бог и человек забирают обратно то, что добровольно и по любви оставили у порога «Мрака». Но забирают существенное. Отбив поклоны, богомольцы возвращаются в-себя, окрылённые молитвой и омытые светом истины. Человек и Бог восстанавливаются в природах, ипостасях, энергиях (др.-греч. ἀπο-κατάστᾰσις — «восстановление»), но восстанавливаются по-иному, с учётом опыта *«бытия-во-мраке-Господнем»*. Мрак не следует путать с бытием, Ничто, обоюдным. Мрак — свет, запертый в-себе. Мрак можно сравнить с чёрной дырой в космологии, из гравитационного плена которой не вырваться ни частице, ни волне.

Молитва не ходатайство, не жалоба, не иск, что с неизбежностью одного превратило бы в прокурора, другого — в подозреваемого, подследственного, подсудимого, осуждённого. Молитва не сделка, делающая одного патроном, другого — клиентом. Цель молитвы — прояснение и умиротворение.

3.2.1.9 Молящийся не требует: da mihi ultimum shirt (отдай последнюю рубаху), а предлагает: tolle omnia habeo (возьми всё, что у меня имеется).

Но как возможно, что, сдав на склад всё существенное, разукомплектовав себя, Бог и человек всё ещё держатся на плаву? Что служит залогом цельности, целостности, гимена Бога и человека, которые, не обладая субстратами, субъектами, предикатами, лишились и существенного своей сущности — природ. Самое время поговорить о Благодати Божьей или энергии, которая есть то единственное, что Творец оставляет за собой, ведь энергия не только питает молитву, но и подкрепляет молящихся.

Живя аристотелевскими представлениями об энергии (ενεργεια) и энтелехии (εντελεχεια), Василий Великий к свойствам Бога, которые познаваемы, в отличие от Его сущности, причислял ενεργεια — действия Бога, проявление этих действий или

энергий[1].

Такова доктрина исихазма. Не желая вступать в полемику с ошибочным (на мой взгляд) учением Григория Паламы о множественности энергий и познании Бога не по сущности, а по Его энергиям, я всё же не могу не сказать, что энергия и сущность суть одно и не поддаются различению. Бог непознаваем ни в качестве буквы, ни в качестве сущности, субстанции, ипостаси, природы или энергии. Но есть аспект, который нельзя объяснить иначе, как чудом *бого-данности/бого-взятия*. Это чудо — МОЛИТВА.

3.2.1.10 В молитве человек не познаёт Бога, не уподобляется Ему по образу и подобию, а становится Им. Обожение (теозис) – точка встречи человеческого и божественного на Лестнице Иакова.

Здесь происходит не познание, а опознание Господа в-себе. Здесь Творец не приглашается, как варяг на трон, а обнаруживается в существе человека, открывается им в-себе как Его априори, но прежде человек должен потесниться в-себе, выделить Богу всё, а себе — закуток. Но причастность здесь не реальная, а номинальная, поскольку все природы и ипостаси свои Бог оставил за пределами молитвы, чтобы не смущать верного. Но и Бог очеловечивается в молитве, познаёт себя в ипостаси человека, как когда-то Бог-Иисус познал себя в ипостаси Человека-Иисуса.

Молитва фундирует обоих. В молитве, став на фундамент «постороннего», каждый отстраивает свою идентичность заново. Восстановление учитывает событие «встречи». А достигнув высшей точки молитвы, душа упирается умными очами в СВЕТ Невечерний. Какова же структура молитвословия как *в-вечности-бытийствующего-Ничтожащегося-человеко-бога*?

Тело молитвы живоначально, т.е. знает зачатие, вынашивание и изгнание плода. Геном молитвы, при всём своеобразии моментов, продуцирует и репродуцирует один и тот же сюжет. Каковы же его перипетии?

1. Растождествление, которое есть:

а) non est hypostasis (лат. безипостасность), когда у порога «Мрака» Бог оставляет три Лица Триединого Бога: своё Отцовство, Сыновство и Святой Дух, что неоплатоники называли Благом, Умом и Душой, а латиняне — substantia; а человек кладёт у двери молитвы: субъект; persona; личность; при условии, однако, что душа неприкосновенна, что на время молитвы её питают Божественные энергии, и если она и может быть изъята, то не иначе как при особых обстоятельствах — смерти во время молитвы;

б) namelessness (лат. безымянность), когда Бог оставляет у порога Имена.

При этом готовность к анонимности выдаёт в Творце высокий моральный дух, бесстрашие перед опасностью и стремление покинуть «крепость», где бы — случись что — он мог отсидеться. «Имя Господа — крепкая башня: убегает в неё праведник — и безопасен» (Книга Притч Соломона. 18:11). Но Бог выходит за ворота донжона, который есть Имя Господне. Бог выше имени. Бог не нуждается в именах.

Вспомним удивительную сцену богоборчества Иакова с Богом. «(24) И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; (25) и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. (26) И сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. (27) И сказал: как имя твоё? Он сказал: Иаков. (28) И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. (29) Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твоё. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? И благословил его там» (Бытие, 32 глава, ст. 24-29).

Но видя, что человеку хочется знать имена Господни, Бог, скрепя сердце, произносит то, что, скорее всего, человек хотел бы услышать.

«Я есмь Сущий» (Исх. 3:14). Но абстракции и философемы режут слух, мутят рассудки, и Бог переходит на имена собственные: «Ягве (Иегова)» (Быт. 2:2, Исх. 34:6), а в Новом завете: Иисус Назорей (Мк. 10:47, Деян. 2:22), который, очевидно, вспомнил любовь Отца к любомудрию, отрекомендовался так: «Я есть Путь, Истина и Жизнь» (Ин. 14:6).

Но и человек, прежде чем скрестить руки на груди, вскинуть троеперстие для совершения крестного знамения, упасть, чтобы бить поклоны, оставляет своё имя у двери «Мрака».

2. Смерть *ветхого* и рождение *нового* человека (лат. mortem veteris et partum a novus homo), когда в молитве совлекаются с души одежды ветхие, бросаются как плевелы в огонь, а новую душу, обрезав пуповину (лат. funiculus umbilicalis) и послед (лат. placenta), Господь умащивает бальзамом Любви и Благодати, чтобы залечить раны и облегчить боль.

[1] Кривошеин В. Проблема познаваемости Бога: сущность и энергии у св. Василия Великого // Богословские труды. Нижний Новгород, 1996.

3. Новый синтез, когда всё, что оставлено у дверей молитвы, идентичность, от которой отказались (лат. rejectio priore identitatem), претерпевает метаморфоз и новый синтез (лат. novum synthesis).

Предположу, что у молитвословия есть своё сердце, глаза, позволяющие видеть молящегося насквозь. В молитве мир созерцается «умными очами», и оптика этого соглядатайства не монокулярная, как в телескопе или в микроскопе, не бинокулярная, как в обоих глазах человека, а тринокулярная, т.е. образуется суммой всех точек зрения, всех линз и диоптрий. Только в таком соглядатайстве Бога, человека и молитвы Господней мир предстаёт тем, что он суть, т.е. очищенным от искажений, дифракций и аберраций. Как тут не вспомнить слова апостола Павла из его Первого послания к коринфянам: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13:12).

Таким образом, *ангелы, сопровождающие лучиком света заблудившихся в темноте*, рассаживают публику по стратам, к которым принадлежат их выпестованные или не-выпестованные умы и сердца. С этих мест они созерцают/усматривают феномены.

Молитва — бытие в свете, доставляющем душу в горний чертог. Выходя из зала, когда ещё ползут титры на экране, публика всё ещё связана пуповиной с фильмом. И только спустя время зрители догадываются, что присутствовали на священнодействии. И в самом деле, молитва — то светозарное, светокровное, что светославит и светотворит. Молитва — сонмищнокрыла.

Но не стоит впадать в прекраснодушие. В молитве присутствует и мир. Как неразумная, бессловесная тварь, он не может просить за себя и стоит в сторонке, во мраке, как молчаливый укор. Мир ждёт. Он хочет услышать наше ходатайство о нём.

Начала

4. Начала – третий чин в третьей триаде.

О нём вскользь упоминает Апостол Павел. Немногословны и комментаторы. Раз, полагают они, слово «начало» можно трактовать как первопричину и основание вселенной, то Начала, как Богопричастные Умы, должны начальствовать над звёздами и планетами.

К началу относится всё, что случается, всё, что становится атомарным фактом, событием из цепи этих фактов. Всё, что случается впервые. Первое сердцебиение, первая самостоятельная мысль. Первая влюблённость. Первый шаг к смерти.

4.1 Начала в кино – «ангелы, знающие начало и конец света».

Начало было и у кино. Разработки в области кинотехники велись всю первую и вторую половину XIX века. Но первое публичное заседание *синематографа света*, как братья Люмьеры назвали свой первый киносеанс, прошло 28 декабря 1895 года в «Индийском салоне Гранд-кафе» в Париже на бульваре Капуцинок. Чтобы увидеть 10-ть 45-секундных роликов, снятых одним планом, зрители покупали входные билеты стоимостью один франк. Публика состояла из завсегдатаев кафе. Братья Люмьеры создали киноискусство, а не очередной аттракцион. Основали жанры, о чём свидетельствует первая кинокомедия, длившаяся 50 секунд, «Политый поливальщик».

И хотя фильм, с которого началась история кино, «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», припозднился и был показан только в январе 1896 года, но пальма первенства всё равно остаётся за этой лентой, очевидно, так было угодно *ангелам, знающим начало и конец света*. И пусть клевещут завистники, что публика не вскакивала и не неслась, сломя голову, к выходу из зала, когда поезд, чадя чёрным дымом, вкатывался на перрон. Уж кто-кто, а зрители небесного кинотеатра скажут вам, как сверкали пятки ангелов помладше, когда поезд, грохоча колёсами, вкатывался на первые ряды.

Власти

5. Власти – этот ангельский чин упоминает апостол Павел.

Согласно Псевдо-Дионисию, вся вторая (средняя) триада носит общее название Божественных или Богопричастных Умов.

В главе 8-й «О небесной иерархии» Ареопагит напоминает, что носители этого чина не употребляют «самовластно во зло дарованные владычественные силы», а, насколько возможно, стремятся уподобиться Богу как «Источнику и Подателю всякой власти». На этом фантазия Псевдо-Дионисия иссякает.

5.1 Власти – «ангелы обоюдоострого света». Власть дана как объект, субъект и предикат. Объект власти – безвластие. Субъект – государство. Предикат – закон.

Мир — рулон негатива. И прежде чем попасть на «монтажный стол» к режиссёру (субъекту познания), негатив запечатлевает то, что свет принёс из мира и заточил в его априорном мраке. Предстоит «проявка», когда ум постановщика вытащит из *негатива*, а по сути — из Ничто, *позитив* или сущее. Впереди — редукция, когда бытию, посчитавшему, что оно не зря коптит небо, предстоит лечь на гильотину монтажного стола, где *ангелы обоюдоострого света* лишат его трансцендентальных иллюзий.

Другими словами, свет может выступать и как инструмент власти, — и тогда его достают из ножен как обоюдоострый меч. Почему меч? И почему обоюдоострый?

В послании к ефесянам (6: 17) апостол Павел призывает: «...возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие». А в Послании к евреям, в главе 4, стихе 12, говорит: «Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого».

Образ меча крайне противоречив. Так в Евангелии от Матфея в главе 10:34-36 Господь говорит: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч...» И в то же время, когда в сцене ареста Христа Пётр вынимает меч из ножен, Иисус требует: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут...» (Мф. 26:52). Похожее предостережение встречаем и в Апокалипсисе, в главе 13:10: «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом». Меч не для человека! Меч приличествует Богу. Ведь то, что не позволено быку, позволено Юпитеру! Так, в Откровении, в главе 19, стихах 14-15, Иисус восседает на коне белом, «и воинства небесные следовали за Ним на конях белых... Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы».

Как относиться ко всем этим нестыковкам: как к путанице или как к преднамеренному сокрытию истины? И в самом деле, в одном месте Писания мечу следует покоиться в ножнах, в другом — поражать и притом не врагов, а «народы»!

Приведу пример, который всё разъяснит. Во время пасхальной вечери перед уединённой молитвой в Гефсиманском саду Иисус напоминает ученикам, что время, когда он попечительствовал над ними, закончилось, что теперь они сами в ответе за свои поступки. Евангелист Лука в 22:35-38 даёт трогательное описание прощания Христа с учениками накануне его ареста и казни. Удивительная сцена. И каким драматизмом напоён воздух. Как лаконичны слова, которыми Христос обрывает наивные, как ему кажется, аргументы учеников. Послушайте трагическую и одновременно хрупкую, как горный хрусталь, музыку этой сцены: «И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем (36). Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч; (37) ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: «и к злодеям причтен». Ибо то, что о Мне, приходит к концу. (38) Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно».

Это **«довольно»** дорогого стоит. Произнеся: «довольно», Господь вложил в наши руки ключ ко всем случаям употребления в Библии слова «меч». Меч — это и *гладиус*, или гладий, короткий римский меч легионера, и *кинжал* разбойника, и *нож* для жертвоприношений... В Православии это *копие* для разрезания просфор.

«Довольно!» — этим жертвенным ножом Христос разрезает пуповину, скреплявшую Его и учеников. Младенец изгнан из утробы. Ему суждено или сделать самостоятельный первых вздох, первый крик, первый шаг, прежде чем стать **ЦЕРКОВЬЮ**, соборным человечеством, «новой тварью», или умереть от гипоксии — удушья от пуповины или от зелёных околоплодных вод.

Решено, говорит Господь! Теперь не человек из плоти, не Человек-Иисус, а Бог-Иисус, ставший СЛОВОМ, будет сопровождать учеников в их жертвенном служении.

Ангельский чин Власти, который в кино воплотили *ангелы обоюдоострого света*, стремится не к утверждению земной власти праведных государей, как полагают комментаторы Библии, а рассекает всякую душу обоюдоострым мечом слова Божьего. Каждый акт мысли чего-нибудь да стоит, если он одновременно направлен острием интенции и на мир, и на себя. И в этом вскрытии своего имманентного, запертого на засовы априоризма есть высокий смысл.

5.2 Самопознание не только рефлексия, но и ещё «что-то». Это «что-то» – попустительство миру смотреться в меня как в своё зеркало.

В кино подобные само описания локализованы в политических дискурсах. В фильмах, говорящих о власти, о правителях, о народах. Возьмём, к примеру, царя Иоанна Васильевича Грозного. О самодержце снят не один фильм. Вспоминая их, невольно задаешься вопросом — что такое исторический жанр, какими границами он располагает? Порой, реанимируя прошлое, историки доверяются черепкам, которые им подбрасывают. Казус Грозного в этом смысле типичен. Хроникёры, пишущие о нем — сплошь пуритане. В Иване они видят подростка — необузданного и жестокого. Самодержцу отказывают в уме и сердце. Грозного проклинают. И в то же время желают обжечься жаром его страстей и побывать в адских кущах, куда, гонимая

постами и молитвами, захаживала его душа. Человека, конфликтующего с совестью, грешащего, чтобы затем каяться, нельзя упрощать. Личность царя, половинка которой принадлежала Ренессансу — с его страстями, а другая Средневековью — с его фанатизмом, может быть понята лишь в раскрытии этого конфликта. Все полярные точки зрения не стоят выеденного яйца.

Те, кто видят в Грозном позера, скрывавшего за богословской риторикой абсолютистские амбиции, — крупно ошибаются. Драма Ивана IV, его трагедия, если угодно, была в неспособности совместить *идеал*, которому он служил, с реальными нуждами тех, кого он хотел осчастливить. Судите сами: Грозный возложил на себя венец царя, чтобы узурпировать власть — как религиозную, так и светскую. Была ли это тирания в чистом виде или своего рода «путь к спасению»? Скорее — второе, чем первое... Ясно, что целью царя был не абсолютизм, как таковой, не власть ради власти. Грозный пытался стать отцом народу, его архипастырем, чтобы вершить Суд Божий «на земли», яко Тот вершит его «на небеси». Эйзенштейн, снявший фильм о Грозном, определил миссию Ивана IV — в «укреплении единства державы Русской». Я бы добавил — в желании самодержца «наделять сирот своих отцовской любовью», которой царь Иоанн, с потерей обоих родителей, так и не дождался от опекунов.

Кто только не бросал камни в огород царя, кто только не ставил ему в вину опричнину! Но почти все критики русской государственности умалчивают о том, что опричнина Грозного была его реальной, а не спекулятивной попыткой построить «Царство Божье на Земли», где Грозный — игумен, а опричники — братия. Иван Васильевич был, прежде всего, политиком и воспринял «Византийское наследство» буквально как теократию. И строил Грозный теократическое государство, не считаясь с жертвами. Но Грозный знал поимённо всех, кого сгубил. Перед смертью Иван IV составил «Синодик опальных» для церковного поминовения лиц, пострадавших в годы его царства. В синодике он прощал казнённых им бояр и жертвовал монастырям на помин их душ крупные денежные суммы. Царь отмаливал грехи в церквах. И, стоя на коленях перед святыми иконами, испрашивал у Бога Царствия небесного для тех, кого лишил царствия земного.

О чём этот пример? Да о том, что мысль не очистить от фракций, что из-за каждой чистой идеи, счастливо избавленной от естественных установок, кажет нос жизнь, которую не элиминировать, не разукомплектовать, не сдать на склад.

Силы

6. Силы – об этих ангелах второй триады два раза упоминает апостол Павел.

«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни *силы*, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Послание к римлянам, глава 8, стихи 38-39). И в другом месте: «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию *державной силы* Его, Которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, Превыше всякого Начальства, и Власти, и *Силы*, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем...» (Послание к ефесянам, глава 1, стих 21).

Комментаторская литература полна фантазий. Под *силой* в них подразумевается благодать совершать чудеса, которую ангелы ниспосылают на праведников. Эта миссия Сил, однако, ни в Ветхом, ни в Новом Завете не подтверждается. Но стоит обратить внимание на стихи с 19-го по 20-й, которые мной процитированы, где речь идёт о силе, — кстати, слово написано с маленькой буквы, в отличие от Сил как ангельских чинов, — так вот эта сила с маленькой буквы, о которой говорится в проброс, названа апостолом «державной». А ещё выясняется, что она «действует» в нас и отвечает за нашу веру в могущество Господа.

При этом эта сила, напрямую не увязанная с ангельскими чинами Сил, совершает воистину великие дела: **во-первых**, она воздействует на нас, подвигая к вере и, очевидно, подкрепляя её действием, если собственных сил в нас недостаёт; **во-вторых**, эту державную силу Господь использует для воздействия во Христе, чтобы этим воздействием, которое стало возможным благодаря «державной силе», воскресить Мессию и посадить одесную Себя на небесах... Удивительные дела вершит эта сила с маленькой буквы! Стоит задуматься об этой «державной силе», которую апостол пишет строчной буквой, — уж не ангельский ли это чин Силы, которая таится, чтобы не ввергнуть в искушение?

6.1 Силы в кино – «ангелы, заслоняющие свет крылом».

Разве нужно заслонять свет? Разве свет не благодать? Благодать. Но одного свет согреет, другого — опалит. И ангелы решают: кому и сколько отпустить света. В кино

есть такая технология, а вместе с ней и люди, занимающиеся регулированием света. Это захваты или «**Grip**» (**job).** Иногда полезно убрать слишком мощный луч с лица актёра. Но часть света всё же оставить. Захваты помогают оператору, который в этом случае работает со светом как скульптор, решающий — что отсечь, а что оставить. Здесь резец — флаг. Под флагом, который называют *твердым телом* или *гобо*, подразумевают металлический каркас, или обод, обтянутый чёрной тканью. Им защищают пленер, натюрморт или лицо от излишка света (пересвета). Флагом моделируют тени, проваливают во тьму предметы, вытаскивают из мрака небытия существенное. Например, в чёрно-белых лентах 40-х, 50-х годов, снимая крупные планы, операторы половину лица — как правило, глаза — погружали в полумрак, чтобы блеск белков глаз придавал выразительность лицу.

6.2 Флаг и грип – родбытия мысли, инстанция «редактора» в бессознательном.

Ангелы, заслоняющие свет крылом, регулируют давление события или факта на квалиа. Захваты отвечают за явление. Как повивальные бабки, знающие толк в родовспоможении, они следят, чтобы недо-экспонирование (мрак) или пере-экспонирование (пересвет) не лишили ум предмета, которому так и не довелось родиться, захлебнувшись в околоплодных водах.

Мысль дуалистична... Она и *субстрат* (камера-плёнка-кинопроектор), и эйдос (светлые духи, устремлённые в пучке света к экрану). В луче, бьющем из будки, публика видит броуновское движение пылинок, а вот жук пересёк луч или струйка дыма, клубясь, вздымается над головами зрителей — так курильщик обозначил себя. Но стоит потоку фотонов, обладающих энергией, импульсом, нулевой массой с длинами волн в вакууме 380-400 нм (750-790 ТГц), столкнуться с экраном, как происходит то, что алхимики называли трансмутацией, а христиане — чудом. Всё, что запечатлено на плёнке, что до поры до времени таилось, запертое на засовы априори, торжественно печатает шаг. На экране моря и горы, звери и люди — твари божьи. Их зачал, вынес и изгнал из-себя Богоначальный луч. А вот и ангелы. Им любопытно, как по стене платоновской пещеры снуют тени. Но «тени» губительны для смертных, и *ангелы, заслоняющие свет крылом*, делают идеи невидимыми. Исключение — дети. В толще света, бьющем в экран, они различают идеи, эйдосы, ангелов... Правда, повзрослев, утрачивают этот дар.

Господства

7. Господства – не ищите в Ветхом Завете. Но и в Евангелиях об этом чине говорит вскользь лишь апостол Павел.

Всё, что известно о Господствах, открывающих вторую триаду, укладывается в предложение: «ибо Им, т.е. Господом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано (Послание к колоссянам, глава 1, стих 16).

То, что говорят о Господствах апокрифы и святоотеческая литература, — не более чем фантазии. Согласно мнению, раз имя ангелы носят «Господство», то, следовательно, они господствуют. Над кем или чем? Над царями и сильными мира сего, разумеется. А ещё — над грехом. Но таковы функции всех ангельских чинов. Поэтому я не буду брать в расчёт эти соображения.

7.1 Господства в кино – «ангелы, прореживающие тьму светом».

И в каком-то смысле они действительно господствуют над тьмой. В кино эквивалент этим ангелам составляют: съёмочная аппаратура, оптика, грипп, световые приборы, кран-стрелки, лихтвагены и в целом кинооператорское оборудование.

Господства прореживают тьму светом, чтобы мир, сотворённый Богом, предстал глазу в объёме. Этот объём и глубину обеспечивает СВЕТО-ТЕНЬ, без которой мира объектов не существовало бы. Глаз просто их не увидел бы. Объекты или залеплены светом — пере-экспонированы; или погружены во мрак — недо-экспонированы. Ясно, что перебор и недобор коррелируют с мышлением — излишне напористым; недостаточно активным.

7.1.1 Бог, ангелы, идеи, т.е. гипостазированные объекты – одномерны.

Речь о таком логическом пространстве, где геометрическая точка (факт) на плоской шкале или бесконечной прямой (предложение) распаковывает размерности (условия истинности) вплоть до Абсолюта. А будучи Универсумом, сворачивает размерности вплоть до геометрической точки. Этот перенос (контр-перенос) идеальных объектов в-себя и из-себя и составляет предмет божественной конверсии/инверсии или её «сюжет».

В отличие от *идеальной*, эмпирическая реальность — трёхмерна. Объёмными

трёхмерные объекты делает свето-тень. *Ангелы, прореживающие тьму светом*, регулируют его поток. Пройдя через линзу объектива, свет доносит до плёнки только то, что прихватывает по пути. Речь об атомах, от которых свет отразился. Свет убавляют или прибавляют. Говоря «свет», я имею в виду разум, который что-то ставит в «просвет», а что-то убирает из «просвета».

7.1.2 Там, где объект в фокусе (дан и взят), мир логически уяснён/до-уяснён, а умопостижение и умопостигаемое образуют тождество.

Область резкого изображения ещё называют рабочей плоскостью. Плоскость стиснута со всех сторон не-представимым/не-выразимым. Между *явлением* и *предметом* лежит *сфумато* — область расплывчатого изображения. В логике это тавтология — утверждение, истинное во всех интерпретациях. Противостоит тавтологии **фокусник**. Обладая остротой взгляда, этот взыскующий истины ум, выпестованный помощником кинооператора, определяет с помощью металической рулетки (интенции) фокусное расстояние (объём понятия) от объектива кинокамеры (естественные установки сознания) и до крупного плана артиста, чьим глазам предстоит выразить удивление, восторг или ужас (узрение/уяснение сущностей).

7.1.3 Фокусник исследует непродуманное/непрожитое с рулеткой в руке, чтобы знать расстояние в уме до трансцендентальных иллюзий.

Фокусник — хватательный жест ума, его трансцендентальные способности. Фокусник — эпохэ в самом эпохэ. Он не кондотьер и не конкистадор. Его вылазка в не-представимое/не-выразимое не ставит целью анексию мыслью Ничто. Фокусник — инстанция «буквы в бессознательном». Но есть Фокусник, определяющий расстояние до резко-очерченного изображения «на глаз», не доставая рулетки из широких штанин. Это Господь! Его Всевидящее Око!

Таким образом, смотрящий и высматриваемое, фокус и то, что в фокусе, пребывают в существе друг друга не как господин и прикорнувший раб, в которого тычут стимулом, а как граждане полиса, владеющие «ойкосом» (домами). И *ангелы, прореживающие тьму светом*, выслушивают как свет, так и тьму беспристрастно. Ведь мрак не зло, не отпавший дух, не медвежий угол, где погибель вьёт гнезда и выводит птенцов, а *тварь*, в которой Господь пребывает даже чаще, чем в *нетварном*.

7.1.4 Верно, что Бог изобрёл кинокамеру с лентопротяжным механизмом, грейфером, фильмовым каналом и объективом, т.е. – способность суждения.

Бог создал грёзу, но, чтобы её запечатлеть, нужно отшлифовать линзы (категории) и выпестовать глаз (рассудок). Инструменты понадобились Творцу, чтобы узнать что-то существенное о мiре. Каков он? Хорош, но насколько? Плох, но в чём? Так самый непосредственный из Умов опосредовал рефлексию, создав режиссёра, — вольноотпущенницу мысль.

Здесь самое время рассказать об ангеле-шлифовщике, который возгордился и отпал от Бога-Кинематографиста. Сделал он это, разумеется, чтобы вооружить человека линзами, которые позволили бы увидеть бытие в искажённом свете. Грехопадение — ОПТИКА, дурачащая простаков всеохватностью взгляда — так появился объектив «Рыбий глаз», — дроблением целого — так была создана линейка объективов с фокусным расстоянием: 16, 35, 50 75, 120, 240 и даже 500 миллиметров. Алчность соорудила турель — насадку для объективов, чтобы менять их по щелчку пальца. Новшество позволило уму обзавестись бесконечным числом точек зрения, что устранило истину и потребовало от универсалий забиться в медвежьи углы. Так были узаконены конвенции, с помощью которых *сущее* насаживалось на кончик языка/пера, а затем препровождалось на пыльные полки библиотек.

На вершине прогресса, последовательно воплощавшего претензию ГЛАЗА на роль Всевидящего Ока, очутился объектив с переменным фокусным расстоянием — **трансфокатор** (англ. Zoom, Trans Trav, Dolly Zoom). Этот протез ума создал Люцифер. Его антипод — **traveling**, объектив, установленный на тележку, кран-стрелку или стедикам. В первой стратегии мысли-линзы охотятся за объектами, выхватывают и доставляют их рассудку, остающемуся внутренне безучастным (das Man Хайдеггера); во второй стратегии мысли-линзы совершают паломничество к вещам, оберегают их целостность, гимен («сиюбытность» В.Бибихина, «топология пути» М.Мамардашвили).

Как предметы феноменологии, traveling серафима и zoom сатаны представлены в афоризмах 5.41-5.52 трактата «Тринокуляр». Я намеренно сделал один трактат предложением, а другой — глоссой. В первом «непредставимое/невыразимое» заявлено как дихотомия мысли/Ничто, во втором — как различение истины и тавтологии на примере религиозного дискурса. Оба трактата образуют кровоток, чьи сосуды шунтируют, чтобы удалить тромбы и облегчить эвакуацию трансцендентального Я, если таковая потребуется.

Престолы

8. Престолы – согласно Ареопагиту «Богоносны»: на них Господь восседает как на престоле и судит грешников.

Данте в «Божественной комедии» («Рай», песнь 9, 61) называет троны зерцалами, читая в которых, райские души предсказывают будущее. Престолы — седалища, ибо на них почивает Бог. Что же делает Бог, восседая? Псалмопевец Давид восклицает: «Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу; Ты воссел на престоле, Судия праведный» (Псал. 9, 5). Другими словами, Бог вершит правосудие. Престол — стул председателя суда. На него судья садится, выйдя из совещательной комнаты, где вынес заключение по делу. Но возникает противоречие: произнося вердикт, судья стоит. Поза эта символизирует примат правосудия, которое выше процесса. Следовательно, престол поставлен не Богом, а подсудимыми. Престол — символ не суда, а разбора дела, заслушивания сторон, прений, которые Господу следует наблюдать непредвзято. Бога уместили на прокрустово ложе человеческого ума. Ведь трон не столько символ власти, сколько «шесток», с которого не слезть.

8.1 Престолы в кино – «ангелы, начиняющие свет аргументами сторон».

Процесс утомляет, и совещательную комнату Бог готов променять на съёмочную площадку. Он незримо таится за плечом режиссёра. И, зная, что Бог выслушает каждого, мы ставим перед объективом камеры свои онтологические аргументы, жалобы и ходатайства. Иногда «тень» Творца попадает в кадр... И, очертив её контур, мы гадаем по нему, как по кофейной гуще. Творческий акт — уплата судебной пошлины.

Мысль и есть ангел, поставляющий свету аргументы. Как это происходит?

Задавшись целью показать на экране «жизнь», престолы отбирают явления, достойные «съёмки» (объективации). Кадр — то, что выставлено перед камерой.

Чувственность напориста, но мысль унимает её аппетит. Так появляется плановость: деталь, крупный план, средний план, общий план, панорама или тревеллинг. Ум решает, как долго акту куковать на кончике языка/пера. Здесь и выясняется, что и время не лыком шито. Будучи отпущено на вольные хлеба, оно разминает гипостазированные объекты в своих цепких пальцах.

Херувимы

9. Херувимы – ближе прочих к Богу наряду с Серафимами. Херувимы многоочие, сияют светом Богопознания и других просвещают.

Имя Херувим в переводе с древнееврейского языка значит: многое разумение...

9.1 Херувимы в кино – «ангелы, торящие путь к свету». Они ведают, что на Уме у Бога, и знают, о чём думают смертные.

Ангелы, то́рящие путь к свету, помогают понять Бога, а Богу понять людей. Познание — изгваздывание, оцарапыванием ума о бытие и бытия об ум.

Истина не «есть» тождество познаваемого, познания и познающего. Тождеству препятствует экзистенция, — вот что вставляет палки в колёса познанию, требуя учитывать гендер, страту, кинестезивные ощущения и даже боль.

Серафимы

10. Серафимы – в переводе с иврита «пылающие», «огненные». Серафимы наиболее приближены к Богу.

Пророк Исаия утверждает, что серафимы шестикрылы, что двумя крыльями они прикрывают лица, двумя ноги, двумя летают, вознося хвалу Богу: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!» (Книга пророка Исаии. 6, 2-3). Серафимы прикрывают крыльями глаза, чтобы не видеть Лиц Святой Троицы... Серафимы пламенеют от любви к Господу и других возбуждают к такой же пламенной любви...

10.1 Серафимы в кино – «ангелы, совлекающие свет в пучок». В земном кинематографе роль таких ангелов принадлежит авторам: сценаристу, режиссёру и композитору.

Ангелы, совлекающие свет в пучок, удерживают сознание на своих плечах, как Атлант — небосвод. Собственно, эти чистые акты отвечают за мысль, за интуицию, как за сущностное видение, непосредственное созерцание.

10.2 Свет, бьющий из кинопроектора – явление, данное уму в форме ноэмы и ноэзиса.

Бог не держится за сценарий. Бог — Автор, который всегда «на сносях». И часто, устав от собственной плодовитости, Бог поручает надзор за бытием режиссёру. Его функция — цепким взглядом инспектора подмечать изъяны сущего.

10.3 Верно, что мысль – воображаемое без воображающего.

10.4 Энергия познания не экстатична, а топонимична.

10.5 Мысль передвигается по-пластунски. Мысль босячит.

Получив на руки сценарий, режиссёр выбирает объекты для съёмок из «очевидностей», которые, как «естественные установки» (наивная вера в «мир вещей»), следует избавить от иллюзий. «Выбор» объектов съёмок — пролегомены к познанию. В отборе угадываются предпочтения постановщика, ведь другая география им отвергается, бракуется, как не соответствующие «видению». Но прежде чем выехать на «выбор натуры» («объектов», обозначенных в режиссёрском сценарии словосочетаниями: «двор-колодец», «трибуна ипподрома»), — постановщик воображает эти объекты. И такой же отбор на небесах совершают *ангелы, совлекающие свет в пучок*. И ангелы, и режиссёр проводят «кастинг» из воспоминаний и представлений. Таким образом, прежде чем нацелиться на объект, интенция создаёт его идеальный конструкт и даже запасается предварительным инструментарием, который пустит в дело, когда явление заявится с пёстрой толпой феноменов, желающих составить ему компанию.

10.6 Мысль – репетиция, где сознание, сознаваемое и сознающее читают по ролям, разбирают характеры и разводят мизансцены.

Но прежде, чем приступить к съёмке, ангелы репетируют на натуре или в декорации. Репетиция — разводка мизансцены с актёрами с привязкой к конкретным точкам на местности, важным деталям интерьера или пейзажа. Идя на деловую встречу, любовное свидание или преступление, персонаж оказывается у дерева в лесу или у книжного шкафа в кабинете. Зная эти точки, оператор выставляет на них свет, фокус, обсуждает с режиссёром — какие участки прохода снимать с «любовью», а какие — «в проброс», «как рука ляжет». Так мысль торит тропу в непродуманном, непрочувствованном, непрожитом.

10.7 Если есть различение, которое себя делает различаемым, т.е. разваливает понятие себя на череду моментов, то это – Бог.

И в самом деле, в контексте догматики Тринокуляр есть тварь, возвысившаяся до Творца в акте обожения (теозиса). Тинокулярен человек, преодолевающий свою ветхость как путы. Повторюсь. Тринокулярно сознание, личность, но не мир, лежащий за пределами ума. В триединстве опыт добыт в складчину бытием, умом, небытием. И только то, что осмысленно, тринокулярно. Триипостасность и есть сознание этой складчины, в результате чего образуется самоё само триумвирата, его самость, его тринокулярный субъект. Этот деятель не дан себе как рок, причина или случай, но порождается актом соглядатайства и полагания, входящих в триаду универсалий. В структуре тринокулярного субъекта возможна конверсия/инверсия, когда различающее, различаемое и различённое не знают моментов и существуют в неразличаемом единстве «теперь», которое, однако, не есть время, темпоральность, но есть мысль, т.е. то, что существует *притворно*. А мысль, чья реальность не ограничена рефлексией, схватыванием/само-схватыванием, мысль, полагающая себе как своё содержание, так и форму, мысль, лишь крылом задевающая бытие и Ничто, но подолгу не чаёвничающая в обоих, мысль, чередующая шестодневы и большие взрывы, — всё это есть Бог. И в Уме/Нусе, в Софии, Премудрости Божьей, тринокуляр есть тот вольноотпущенник, который сам, по собственной воле и по благословению Господа, инспектирует творение, пишет отчёты, ищет и латает прорехи. Тринокуляр есть, таким образом, тварь, подновляющая себя. Но наукоучение не готово к тому, чтобы признать конверсию/инверсию, чтобы допустить афферентацию как всеобщий принцип, а за бытием и небытием признать ум, пусть и своеобразный. По этой причине тринокулярная онтология и гносеология логически завершают дело философии, но не ставят точку на последней странице рукописи, чья белизна режет глаз, а ветер треплет её никем не прошитые листы.

Подведу итог. Концепт Бога-Кинематографиста не противоречит ни Богу-философов Паскаля, ни Богу-часовщику деистов... Попав в объектив, оказавшись в фокусе, мир становится «кадром». Здесь свои законы: одно киногенично, другое некиногенично, т.е. блекло, тривиально. Киногения не терпит реплик, повторов, серий. Киногения — то, что совпадает с собой, что выражает себя абсолютно в единстве внешнего/внутреннего. Примером того, как киногения совершает перенос (контрперенос) в структуре вещи, понятия, извлекает из смысловой дрёмы существенное, а несущественное уводит с глаз долой, может служить визуальный язык кино, в частности способ, каким Акира Куросава показывает смерть балагура Кикутиё (Тосиро Мифунэ) в «Семи самураях». Полюбившийся публике самурай самозванец, получив огнестрельное ранение, падает в дождевую лужу. Крупно показана его обнажённая нога, с бедра и голени которой струйки дождя смывают налипшую грязь. Момент смерти дан ненавязчиво, с протокольной дотошностью и одновременно без надрыва, экзальтации и неуместного пафоса. Смерть стыдливо прячется за ширму из визуальных метонимий и метафор.

Истинно то, что киногенично, т.е. не всё, что отображено. Отображение и выражение различаемы. Киногения выражает существенное в отображаемом. Существенное не лежит в области тавтологии. Киногения и тавтология антагонисты. Киногения вводит противоречие в тавтологию, поскольку исследует живое, то, что заткано под подкладку бытия, что скрывает покрой под покровом, что есть единичное и особенное, чего не желает знать тавтология, для которой любые пропозиции истинны. Живое — то, что раздираемо конфликтом формы и содержания. Киногения и разрешает этот спор, этот агон в пользу живого. Киногения есть акт мысли, кратчайшим путём добирающейся до своего априорного истока, минуя цепь дефиниций. Киногения высказывается о мире посредством образа, внутренняя форма которого тождественна структуре атомарного предложения, но не сводится к нему. В киногении существенное выкрикивает себя, если речевой аппарат не сдавлен спазмом, а звук, генерированный говорящим, не искажён ламдацизмами, ротацизмами, стигматизмами. Киногения — якорь, потянув за который означающее вытаскивает означаемое. Но вернёмся к смерти Кикутиё. Сама природа очищает и омывает бездыханное тело самурая, торопясь совершить погребальный обряд. Белизна тела режет глаз. Сцена показывает неотвратимость погибели, но благодаря кинообразу смерть явлена не в форме абстракции, понятия или идеи, а в уникальной (как отпечаток пальца) изобразительной метафоре. Этот троп и есть самоё само истины и в то же время этот троп есть условие истинности, которое само себя презентует.

10.9 Почему А-типичной ангелологии не стать «типичной»… Вместо эпилога.

Итак, Бог ноумен без феномена, множество без подмножеств, пресуппозиция без пропозиции, субъект без предикатов. Бога нельзя залучить на огонёк референциями и инференциями, экспликатурами и импликатурами, — речевое это многоцветье Бог пропускает мимо ушей. Бог равнодушен к плетению словес и отдаёт должное трепету в словах. Живое просторечье, прорезавшееся, как молочный зуб, впечатляет Бога куда сильнее изысканного нарратива. Сбивчивому, спотыкающемуся о себя слогу, если в нём теплится огонь веры, Бог благоволит. Речевые же ухищрения оставляют Его равнодушным. Тех же, кто заискивает, валяется в ногах или рубит правду с плеча, Бог не слышит. И чем пышнее слог, чем церемоннее вопрошание, тем крепче Его дрёма. Но Бог приветлив и чуток к каждому, кто чист душой. И порой ветреник, вдруг застывший посреди шумной толпы от предчувствия в себе Царствия Небесного, достигает божественного слуха одним только придыханием.

Здесь я ставлю точку. В трактате я доказал, что разум и интуиция одинаково ущербны в качестве инструментов познания. И даже если кто скажет: «удостоверяю, что Бог есть», из чего это следует? Здесь самое время произнести: Sola fide! Ибо «верою и сама Сарра, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший» (Евр. 11,11). Ибо «блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20-29). Ибо «всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21,22). Ибо «верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек. Веришь ли сему?» (Ин. 11-25,26)… Но я всё ещё не осмеливаюсь сказать: «Да!» Была бы вера моя крепка, как меч, не пришлось бы писать трактат. Но если бы я уверовал горячо и страстно, как передать другому то, что испытываю, как внутреннюю верификацию/фальсификацию сделать внешней, как имплицировать то, что очевидно лишь мне? Ответа не нахожу. Чтобы мыслить о Господе, нужна не одна лишь вера в Бога Живого, но и любовь к слову, ибо: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 13, 1). Предстоят изыскания. Предстоит изгваздаться о кромку бытия и небытия. Предстоит взять бремя мысли, взвалить крест познания. В одиночку! Сообща! Соборно! И если Бог — луч, а мысль светоносна, светозарна, светослави и светотворит, то Мысль и Бог — одно.

Я указал на *средостение* как на местопребывание Мысли. И поскольку мысль не супервентна ни на физическое, ни на органическое, ни на биологическое, ни на социальное, ни на искусственный интеллект, то она и не существует вовсе. Мысль не принадлежит бытию — ни как сущее, ни как существенное, ни как чтойность. А поскольку мысль не «есть» субстрат, субстанция, предикат и субъект, то единственное определение мысли, не претендующее на дефиницию, сводится к тому, что мысль «есть» абсолютное небытие, т.е. Ничто. Отсюда лемма: мысль то, чего нет, не было и не будет. Иное — абсурд.

Я ввёл в философию *тревелинг* и *трансфокацию.* Первый сохраняет целостность объекта, подталкивая его к самораскрытию; вторая вторгается в объект в ходе экспансии, где уму предписана роль кондотьера и конкистадора. Я дал феноменологию, используя в качестве тезауруса кинометафоры и кинолексику. Удалось ли? Не мне судить.

Санкт-Петербург, 23 февраля 2023 г.

Алексей НИКОЛАЕВ

ДУХ

Философия духа[1]

(1-я редакция)

§4. ТЕОРЕМЫ ДУШИ

Основы психологии в психологических теоремах

Собственная логика книги «Дух» требует отвести отдельный параграф под теоремы, формулируемые и доказываемые в логическом русле ответа на основной вопрос психологии, гласящий: что есть душа? В книге «Бог» основному вопросу психологии посвящен раздел 2 «Душа», сделанный как изложение чистой теории в системе определений, вынося за скобки пояснения и обоснования, а в книге «Дух» чистая теория (философия) не оставлена без пояснений и обоснований, разнящихся как фактологические и чистые логические: первые системно анализируются в фактологических предуведомлениях №№1-4, а вторые системно формулируются как доказательство логических теорем.

Логическая теорема — это (напомним еще раз) логическое утверждение или умозаключение, которое в той или иной мере требует обоснования в виде логического доказательства, а доказательство логической теоремы есть обоснование истины, утверждаемой теоремой и подкрепляемой логическим доказательством в порядке необходимого пояснения (равнозначного обоснованию) теоремного утверждения.

Логические теоремы, касающиеся души, суть ***психологические теоремы***.

Список психологических теорем (начало):

Логическая теорема 21: **теорема нематериальности души**
Логическая теорема 22: **теорема душевной жизни**
Логическая теорема 23: **теорема тождества души и сознания**
Логическая теорема 24: **теорема двуипостасности души**
Логическая теорема 25: **теорема духовного тела**
Логическая теорема 26: **теорема человеческого существа**

Логическая теорема 21

ТЕОРЕМА НЕМАТЕРИАЛЬНОСТИ ДУШИ

Душа есть нематериальная живая сущность, не состоящая из материи и не являющаяся материей или каким-либо производным материи.

Доказательство

I. Душой традиционно называется духовное и разумное естество человека, взятое безотносительно к физическому телу человека и включающее в себя разум, сознание, личность и всё нефизическое естество человека как психическое (душевное) естество человека, которое не состоит из материи и не является материей или каким-то свойством материи, и стало быть: в общеупотребительном смысле слова, душа нематериальна; и нет никакой необходимости пересматривать смысл слова душа (что было бы софистической подменой понятий), но есть необходимость прояснить и раскрыть его в логическом русле ответа на вопрос: что есть душа?

---

[1] Книга «Дух» публикуется в «Невском проспекте» в следующей структуризации:
N8 НП: «Предисловие о том, что есть философия» + §1 «Дуализм духа и материи» +
Фактологическое предуведомление №1 «Спиритическая материализация» +
Фактологическое предуведомление №2 «Духовное тело» + §2 «Человеческий дух»
N9 НП: §3 «Тео-теоремы». Основы теологии в теологических теоремах 1-15.
NN10-11 НП: Фактологическое предуведомление №3 «Спиридониада»
N12 НП: Фактологическое предуведомление №4 «Спиритический чертм»
N13 НП: §4 «Теоремы души». Основы психологии в логических теоремах 21-26.

II. Материально то, что является материей или состоит из материи, из чего состоят физические тела, неживые и живые.

III. Живое тело человека материально как физическое тело, состоящее из телесных органов в анатомическом строении организма и из атомарно-молекулярной материи в химическом составе организма, то есть из вещества, раскладываемого на атомы, протоны, электроны и более мелкие частицы материи, совокупно составляющие материю тела.

IV. Душа не состоит из вещества, иначе душа была бы физическим телом.

V. Душа не является каким-либо производным вещества, иначе живое, разумное и сознательное естество души было бы естеством вещества и элементарных частиц материи.

VI. Как нечто живое душа имеет живую сущность и сама есть живая сущность, а точнее, мыслящая живая сущность, обладающая разумом как способностью мыслить и переходить порог сознания (в отличие от животного духа: живой сущности животных).

VII. Живое душевное естество человека есть нефизическое естество человека, которое нематериально просто-напросто как то, что не состоит из материи и не является материей.

VIII. Нематериальное душевное естество человека есть нематериальное естество души и сама душа как нечто нематериальное, не состоящее из материи и не являющееся материей.

IX. Нематериальность души доказуема безотносительно к вопросу, каким образом нематериальная душа существует в материальном теле.

X. Нематериальность души — это факт, признаваемый в каком-нибудь смысле и материалистами, но трудно поддающийся пониманию, а потому требующий объяснения, изыскиваемого материалистами материалистически, а не материалистами — не материалистически, например, следующим логическим образом: см. пп. XI-XXVIII:

XI. После изобретения компьютера материализм, казалось бы, нашел себе логическую подпорку в ***компьютерной аналогии***, применяемой к чему ни попадя в мировой природе, в том числе к душе, нематериальность которой современные материалисты мыслят по аналогии с нематериальностью компьютерной программщины и любых информационных структур, но компьютерная аналогия работает не в пользу материализма, ибо: в компьютерной аналогии железо — ничто (носитель), программщина — всё (как то, чему служит и подвластно железо: тело), а ставит нематериальную программщину на железо кто? Программист. А кто, угадайте с одного раза, программист по отношению к вашему мозгу? Таким незамысловатым логическим образом компьютерная аналогия грозит обрушить материализм заодно с атеизмом, но не обрушит без дополнительной аргументации.

XII. Компьютерная аналогия негодна применительно к душе как к мыслящей сущности, самотождественной в сознании. С материалистической точки зрения, сознание — это типа лампочки в мозгу. В абсолютном корне дела, сознание — это сам бог как абсолютное мыслящее сущее, сознающее себя. А сознание души — это сама душа, подобная богу в тождестве с сознанием. А в душевном естестве своем и человек подобен богу. Не компьютеру, а богу.

XIII. Компьютерная аналогия совершенно не подходит логически ни к душе человека, ни к человеку как обладателю души, но отлично подходит к человеческому мозгу, который, конечно, не зря так сильно похож на живой компьютер, играя, в том числе, роль пульта программного управления физическим телом как живой машиной; причем (NB) к мозговому пульту возможен доступ не только для мыслящего «я» души-хозяйки, находящейся в данном теле, но и для других операторов и программистов, например, в лице гипнотизера.

XIV. Материалистическое представление о душе как о программном продукте мозговой деятельности равнозначно интерпретации души как иллюзии, но спрограммированной более хитроумно, чем галлюцинации и прочие плоды воображения. А кем или чем спрограммированной — это не вопрос для материалистов, обычно с чего-то мнящих, будто бы всё в природе творится и программируется само собой. Но: самосотворение никакого сущего логически невозможно и есть абсурд, невозможный в реальности, поскольку невозможный в логическом основании реальности (см. опр. 4.2 «Несотворенное сущее» + опр. 4.3 «Сотворенное сущее» в §4 «Сущее» книги «Бог»).

XV. Материализм будет последовательным и верным себе, если, вместо признания нематериальности души на подпорках компьютерной аналогии, будет мёртво стоять

на отрицании нематериальности души и считать душу материальной вещью, сделанной из некой неизвестной ***иноматерии***, причем (NB) ***живой иноматерии***, которая, собственно говоря, будет то же самое, что называется духом.

XVI. ***Если дух – это материя, то: дуализм материи и духа есть дуализм двух материй***, где одна материя — неживая, составляющая предмет науки физики, а другая материя тут — живая иноматерия, которая традиционно называется духом; но от такой подмены понятий с переименованием ничего не добавится, а только запутается в понимании того, что обозначается классическим термином дух или альтернативным термином иноматерия.

XVII. Основным отличительным признаком духа можно смело считать жизнь как то, что свойственно духу, а не материи, и отличает дух от материи, взятой как то, что она есть сама по себе во всех своих разновидностях, будь то атомарно-молекулярная материя или какая-нибудь полевая, виртуальная и прочая невещественная (отличная от вещества) материя из области гипотез теоретической физики.

XVIII. Живая противоположность материи, называемая духом, логически самоочевидна как живая сущность организма, которая оживляет собой неживую материю в организме и логически заметна уже просто по разнице между живым телом и трупом (см. логическую теорему 1: теорему живой сущности в §1 «Дуализм духа и материи»).

XIX. Применительно к человеку дуализм материи и духа логически эквивалентен дуализму тела и души, представляющему для нас, людей, одну из важнейших философских головоломок, которая встарь, когда человеческие знания об устройстве организма не простирались дальше элементарной анатомии, не могла видеться познающему разуму во всей своей хитроумной сложности, как она должна видеться ныне, когда научная мысль докопалась до генетического кода организма и до клеточного механизма мозговой деятельности как компьютероподобного мышления, но в основании всех сложных конструкций лежит простая диалектика сущего, логически раскладываемая просто на диады противоположностей, а базовые противоположности логически прозрачны в реальности независимо от сложности мировых механизмов, сконструированных на основе и путем диалектической поляризации сущего (см. §2 «Противоположности» книги «Бог»).

XX. В силу логической простоты диалектики и диалектической зеркальности простой логики, уже в глубокой древности лучшие философские умы могли, не нуждаясь для этого в современных знаниях, логически ясно и не иллюзорно видеть в сложносоставной конструкции человеческого существа две фундаментальные природные противоположности, называемые телом и душой и различаемые перво-наперво как нечто материальное и нечто нематериальное, что философски называется дуализмом тела и души.

XXI. В классической (не атеистической, не материалистической и докантианской) философии, естественно, возник вопрос о том, каким образом нечто нематериальное, называемое душой, соединено в живое целое с материальным телом в человеческом существе, и этот вопрос нельзя обойти и отбросить, не отбросив душу, а душу не могут отбросить даже самые радикальные, но вменяемые, материалисты и вынуждены всячески ловчить, чтобы правдоподобно интерпретировать душу как продукт мозговой деятельности, а в этом материализму способствуют (до поры до времени) специфические продвинутые науки, имея в виду нейробиологию и особенно нейронауки, исследующие мозг как живой компьютер.

XXII. На первый взгляд, нейронауки работают на материализм, убедительно показывая и доказывая, что душевная жизнь человека (психика) и в мыслительном, и в эмоциональном отношении фундаментально зависит от работы головного мозга, что сильно похоже на то, как в компьютере осуществляется, например, вывод картинки и текста на экран монитора; для полноты аналогии не хватает, чтобы и вы, созерцающий (-ая) картинку и текст на любых экранах, внешних и внутренних, были виртуальным продуктом работы организменного компьютера (мозга), вот как раз таким продуктом, мысля по компьютерной аналогии, материалист и должен считать душу свою и самого себя в качестве чего-то вроде информационной структуры, существующей, мыслящей и чувствующей иллюзорным образом, ибо по компьютерной аналогии выходит, что реально существует, мыслит и чувствует не сама душа, а мозговое вещество с запрограммированной в нем иллюзией души и мыслящего «я».

XXIII. И без всякой нейробиологии очевиден тот факт, что жизнь души в человеческом существе программно и физически обеспечивается или поддерживается работой мозга, так что можно даже почти физически ощущать, как в голове у вас что-то шевелится и движется, когда вы сосредоточенно думаете, особенно если вы думаете словами и мысленно проговариваете слова, ибо языковое мышление передается фи-

зически голосом, письмом, жестом, то есть через мозговой компьютер, через который осуществляется всё физическое управление телом, но:

XXIV. Заметьте, во-первых: оператор языкового и прочего вашего личного мышления — это вы сами как мыслящее «я», которое вы можете, если вы материалист, считать мозговой иллюзией, информационной структурой и виртуальным субъектом, но вы не можете, если только вы в здравом уме, считать самого себя буквально и на всем серьезе куском мяса мозга и протонно-электронным бульоном в голове, то есть вы отлично понимаете, не так ли, что лично вы как мыслящий субъект, с одной стороны, и ваше мозговое вещество, по виду как будто бы тоже мыслящее, — это разные вещи: нечто одно и нечто другое: одна вещь и другая вещь, несводимые к тождеству и обе реальные, но существующие и самоидентичные в разных реальностях, различаемых как физическая реальность и психическая (душевная) реальность.

XXV. Заметьте, вместе с тем, во-вторых: вы можете материалистически считать свою собственную психическую реальность производным физической реальности и продуктом мозговой деятельности, но вы не можете на всем серьезе и без лукавства сказать, что вашей психики (души) и вас самих как самосознательной личности вообще нет в реальности: вопрос, не правда ли, не в том, есть ли вы вообще в реальности, пока вы живы, — вопрос в том, что вы такое есть в реальности сами по себе, взятый (-ая) отдельно от мозгового вещества, и какова есть ваша реальность, принципиально отличная от физической реальности вашего организма и называемая психической (душевной) реальностью.

XXVI. Заметьте, далее, в-третьих: как только вы логически отделили психическую реальность от физической в своем живом человеческом существе, так сразу вы оказались перед фактом дуализма души и тела как двух противоположных составляющих в конструкции человеческого существа, соединенных в живое целое и одновременно отделенных друг от дружки в составе целого как природные противоположности, несводимые к тождеству: как нечто с одной природой и нечто с другой природой.

XXVII. Заметьте, в-четвертых, к вопросу о том, кто вы есть: вы есть тот, кто имеет нефизическую природу и существует в психической, а не физической, реальности, то есть существует в душе своей и пребывает в ней как нечто в нечто, в прямом смысле слова без аллегорий и иносказаний — вы есть тот, кто буквально находится: содержится: помещается: располагается: имеет бытийное местоположение: имеет место существования в душе своей и отделен в душе своей от своего организма и от мозгового компьютера организма как то, что не есть организм и не есть физический орган тела, состоящий из вещества, а есть нечто нефизическое: нечто нематериальное: вы нематериальны как то, что вы есть в реальности и по своей природе, как бы вы ни понимали свою нематериальность, понимайте ее хоть наравне с папкой файлов на флэшке, но вы нематериальны — факт.

XXVIII. Заметьте, в-пятых: вы как тот, кто сознает самого себя, находитесь в сознании и отделены от своего организма в сознании как то, что вы есть в своем нематериальном естестве, а это значит, что ваша нематериальная реальность есть реальность сознания, а точнее, духа и сознания, но вне сознания вы сомнамбула и вообще не вы.

Фактология души к доказательству теоремы 21

1. Определение фактологии души:

Факты, из каких логически явствует природа души и сама душа как то, что она есть, составляют фактологию души, которая двояка как фактология духа и фактология сознания, чем выявляется де-факто двуипостасность души как духа и сознания.

2. Фактология души служит фактологическим основанием для формулирования базового определения души и развертывания его в систему определений в порядке ответа на основной вопрос фундаментальной психологии, гласящий: что есть душа?

3. Поскольку душа нематериальна, постольку фактология души служит фактологическим доказательством теоремы 21 как демонстрационное подтверждение фактами нематериальности души как факта, а заодно подсказывает познающему разуму, как надо понимать, представлять и вообще мыслить нематериальность души и саму душу как нечто нематериальное.

4. Из фактологии духа с очевидностью явствует, что будет грубой и детской логической ошибкой мыслить и представлять себе нематериальность души и саму душу при помощи компьютерной аналогии как нечто вроде информационной структуры — это все равно что считать душу иллюзией в качестве программы, установленной в мясе мозга.

5. К текущему историческому моменту (2024) наиболее демонстративной фактологией духа как фактологией души является задокументированная фактология спиритизма, относящаяся к периоду расцвета классического спиритизма с отсчетом от «рочестерских стуков» (1848) до начала 20-го века, укладываясь в вилку дат: *1847-1913*.

6. Фактология спиритизма (см. фактологические предуведомления №№1-4) убедительно демонстрирует, что душа человека имеет духовное тело, которое совпадает в пространстве с физическим телом человека и способно экстериоризироваться (выходить вовне) из физического тела как развоплощенная сомнамбула, которая есть бесплотный дух души и сама душа в ипостаси духа как ***одноипостасная душа***, пребывающая вне сознания и вне тождества с собой, действительного в сознании и разом в обеих ипостасях (см. логические теоремы 23-24: теорема тождества души и сознания + теорема двуипостасности души).

7. В качестве сомнамбулы, то есть в ипостаси духа, душа есть бессознательный субъект, которого нельзя представлять по компьютерной аналогии как какую-то информационную структуру, закодированную на молекуле ДНК и обитающую программным образом в клетках мозга, зато можно и нужно понимать дух души как бесплотную и потому невидимую живую сущность, заполняющую собой свой пространственный объем как духовное тело, совмещенное в пространстве с физическом телом человека как с плотской формой духа, но способное выходить из физического тела и производить вне его силовые действия вроде спиритических стуков и самопроизвольного на вид перемещения предметов, а также способное материализоваться в виде спиритического существа типа Кэти Кинг (см. фактологические предуведомления №№1-2 и №4 и логическую теорему 25: теорему духовного тела).

8. Спиритическая материализация (см. фактологическое предуведомление №1 «Спиритическая материализация») есть сборка физического тела из вещественной материи в экстериоризированном духовном теле медиума, которое есть дух души медиума, отделенный от физического тела медиума как нечто нематериальное, то есть не состоящее из материи и не являющееся материей, но способное принимать материальную форму, служа духовным вместилищем физического тела, которое может синтезироваться в человеческом духе не только биологическим, но и спиритическим способом.

9. Спиритическая, как и гипнотическая, фактология духа, как правило, не сопровождается фактологией сознания, реализуясь за порогом сознания через дух души как через сомнамбулический (бессознательный) проводник; а если сомнамбулу человека, извлеченную из физического тела, привести в сознание — это значит отделить душу и ее обладателя от организма в качестве живого самосознательного субъекта, существующего в сознании и в ипостаси сознания как само сознание; такого рода фактология души, теоретически возможная как ВТО (внетелесный опыт), получила широкую огласку из рассказов людей, переживших клиническую смерть и другие околосмертные состояния, но эти рассказы могут приниматься в расчет фундаментальной психологией, разумеется, только как доказуемые свидетельства о внетелесном осознанном состоянии души как о факте, удостоверенном так же верно, надежно и несомненно, как Крукс удостоверил факт материализации Кэти Кинг.

10. Поскольку душа нематериальна, постольку можно априори ожидать и фактологически доказать, что нематериальна и душевная жизнь человека, состоящая из мыслей и чувств души как из того, что содержится и происходит в духовном и сознательном естестве души, а не в нервных клетках организма, не суть, насколько при этом задействована и задействована ли вообще нервная система.

Логическая теорема 22

ТЕОРЕМА ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ

Душевная жизнь человека действительна в нематериальной реальности духа и сознания и складывается из душевных переживаний и состояний как состояний духа и сознания, складываясь, вместе с тем, из мыслей и чувств души как из того, что содержится и происходит в духе и сознании души.

Доказательство

I. Душевная жизнь человека есть жизнь души человека, состоящая из того, что происходит с душой и в душе.

II. Поскольку человеческая душа есть живая часть сложносоставного человеческого существа (см. логическую теорему 26: теорему человеческого существа) и существует в телесном организме, постольку то, что происходит с душой и в душе, жизненно вза-

имосвязано с тем, что происходит с организмом и в организме, но:

III. Логически очевидно, что жизнь души не есть жизнь организма никоим образом и обособлена в человеческом существе от плотской жизнедеятельности организма как бытие души в самой себе и в своей собственной душевной реальности, которая есть нематериальная реальность духа и сознания.

IV. Каждый из нас, людей, может легко заметить по себе, что душевную жизнь человека составляют, во-первых, мысли человека, относящиеся (откуда бы они ни брались) к психической, а не к физической, реальности со своим смысловым и, если угодно, информационным содержанием, а мыслями обусловлены в душе и входят в состав душевной жизни, во-вторых, чувства, называемые эмоциями и душевными переживаниями типа радостей и печалей, испытываемых не телом (физически), а душой (психически): радуется и печалится душа, а не тело: радость и печаль — это чувства души, а не тела.

V. В силу дуализма души и тела, чувствительность человеческого существа двояка как нефизическая чувствительность души, представленная нефизическими чувствами души, и как физическая чувствительность тела, представленная телесными ощущениями, которые, в силу живого единства тела и души, человек чувствует одновременно и телом, и душой, но:

VI. Чувства души, наполняющие собой вместе с мыслями душевную жизнь и саму душу, принципиально отличны от телесных ощущений как то, что производится в душе воздействиями на душу, а не в теле воздействиями на тело.

VII. Чувства души действительны и самоидентичны в нематериальной реальности духа и сознания как природная нефизическая противоположность телесных ощущений, которые материальны как то, что производится в физическом теле под физическими воздействиями, воспринимаемыми телесными органами чувств, традиционно сводимыми к пятерице: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.

VIII. В силу нематериальности души, душевные ощущения и переживания не могут в принципе иметь плотскую (физическую) природу и априори не могут производиться нервной системой организма, хотя (в силу живого единства тела и души) могут очень ощутимо задействовать ее, когда вас, к примеру, нервно трясет от шокирующих мыслей и от сильных эмоций типа гнева.

IX. Нефизическая природа душевной чувствительности явствует из обыденных житейских фактов — например: душу нельзя ударить кулаком, зато можно ударить душу словом, имеющим обидный и оскорбительный смысл; а можно создать смысловую ситуацию оскорбления и без слов посредством физических действий против личности, имеющих смысл удара по чувству собственного достоинства: смысл оскорбления.

X. Удар по чувству собственного достоинства есть смысловое (нефизическое) воздействие на сознание души и в случае оскорблений и унижений переживается душой и обладателем души (человеком) как насилие над личностью, которое человек ощущает от всех имеющих злой смысл насилия воздействий, хоть физических, хоть психических.

XI. Чувство собственного достоинства заложено в нравственном естестве души и обеспечивает чувствительность души к оскорблениям, унижениям и обидам, причем настолько высокую, что человек может покончить с собой в ситуации невыносимого унижения; и логически очевидно, что: ***невыносимое унижение невыносимо не для тела, а для души и ощущается как страдание душой, а не телом***.

XII. Душевная чувствительность к обидам, унижениям и оскорблениям есть ***моральная чувствительность души***, а это есть чувствительность не к физическим воздействиям на тело, а к смысловым воздействиям на душу, производимым моральным смыслом житейских ситуаций, таким как смысл обид, унижений и оскорблений, задевающих нематериальным (смысловым) образом чувство собственного достоинства, природа которого нематериальна и задана нравственным законом в сознании души и в самосознании личности (см. учебник «Школьная этика: нравственный закон», часть II «Этика старших классов», глава 3 N3 «Моральная личность», статья 13 N3 «Честь», программный урок 38 «Чувство собственного достоинства»).

XIII. В силу реактивной механики всех чувств, телесных и душевных, как реакций живого естества на чувствительные воздействия, чувства души суть реакции на воздействия, производимые на душу тем, к чему чувствительна душа.

XIV. В силу нематериальности души, априори нематериально и то, к чему чувствительна душа и что апостериори (де-факто) наличествует и явствует в ней самой как мысли ее мыслящего «я» (человеческой личности) и как мыслимые смыслы, придаю-

щие свой смысловой характер душевным переживаниям, например: печальные эмоции и состояния души происходят от печального, а радостные — от радостного смысла, мыслимого человеком.

XV. Мысли и чувства души составляют нематериальное содержание душевной жизни как то, что находится и происходит в душе и относится к нематериальному естеству души, которое есть естество духа и сознания.

XVI. В силу самотождественности души в сознании (см. логическую теорему 23: теорему тождества души и сознания), душевная жизнь со всем своим нематериальным содержанием, сводимым к дуализму мыслей и чувств, действительна в сознании.

Фактологическая иллюстрация к теореме 22

ДУШЕВНАЯ БОЛЬ

1. Общее определение душевной боли:

Душевная боль есть страдальческая реакция души на причиненный душе ущерб, умаляющий счастье жизни или отягощающий бремя жизни и претерпеваемый душой как душевное страдание в результате мучительного воздействия на человеческую личность, в сочетании или без сочетания с повреждающим воздействием на организм и в сочетании или без сочетания с телесной болью как реакцией организма на повреждение.

2. В числе разновидностей душевной боли наиболее иллюстративны фактически и показательны теоретически острые нравственные страдания от обид, оскорблений и унижений и раневая боль, производимая ранящими душу воздействиями на душу (точнее, на человеческую личность), в том числе душевными ударами, оставляющими долгозаживающие душевные раны, синонимически зовущиеся сердечными ранами и имеющие нематериальную природу как раны в душе, а не в теле, болящие подобно телесным ранам, но душа болит не так, как болит тело, и возникает вопрос: а как вообще может болеть душа?

3. Общее определение душевной раны:

Душевная рана есть повреждение души, не относящееся к области психиатрии и производимое в душе душевным ударом или иным ранящим воздействием на душу.

4. Общее определение душевного удара:

Душевный удар есть смысловой удар по сознанию души, причиняющий душе раневые повреждения и травмы через осознание душой морально-отрицательного смысла событий, страдальчески переживаемых душой по их смыслу как горе, беда, катастрофа или как зло.

5. Душевные травмы и раны от душевных ударов не являются умственными расстройствами из области психиатрии и реализуются, стало быть, в рамках нормы душевного здоровья как не психиатрические повреждения души, которые, однако, могут, как известно, прогрессировать в психиатрические, когда, например, от горя наступает умопомешательство.

6. Любые повреждения души, психиатрические и не психиатрические, общим образом называются расстройствами и представляют собой, в соответствии со смыслом слова расстройство, некоторый разлад в душевном устройстве, а говоря синонимически, некоторое нарушение душевной организации как некоторая дезорганизация в душе, возникающая, в том числе, в результате душевных ударов, иначе зовущихся душевными потрясениями.

7. Душевный удар повреждает что-то в самой душе и в душевной организации, хотя не так, как при сумасшествии, но так, что душа чувствует травматические и раневые повреждения в самой себе и болит от душевных ран и травм, аналогично как болит тело от телесных ран и травм: прямая аналогия в двоичном (психическом и физическом) естестве человеческого существа.

8. Душевный удар производится мыслью с бедственным (горестным: прискорбным: катастрофическим) смысловым содержанием, осознаваемым (осмысливаемым) душой, то есть воспринимаемым сознанием души как катастрофический смысл беды, постигшей душу и, сознаваясь душой, наносящей смысловой удар по сознанию души, которое есть сама душа.

9. Смысловой удар беды по сознанию имеет разрушительную силу в душе, соразмерную катастрофическому смыслу беды.

10. Катастрофический смысл беды отражается в сознании души с соответственными катастрофическими душевными последствиями, если беда сознается и, как говорится, принимается близко к сердцу, то есть воспринимается очень лично, а очень лично воспринимается то, что происходит лично с человеком и с предметами его любви, прежде всего в лице родных и близких, кои, что называется, живут в душе человека вместе с ним самим в качестве дорогих душе образов, притягивающих к себе мысли и чувства души, подобно гравитационным объектам, так что душа не мыслит себя без предметов своей любви и высокочувствительна к тому, что происходит с оными в бытии.

11. Если взять в соображение классическую житейскую ситуацию людского горя в связи с несчастьями, происходящими с одушевленными предметами человеческой любви, то механизм душевного удара работает примерно так: в силу любви, душевная жизнь человека организована в тесной связи с предметами его любви, так что весь мир может вертеться в глазах человека вокруг предмета его любви, например, вокруг любимой жены и ее образа, и вдруг с предметом любви случается настоящая (без преувеличений) беда, любящая душа получает известие о беде и, осознавая скорбную весть, испытывает душевный удар, сила которого пропорциональна силе любви и действие которого носит соответственный катастрофическому смыслу беды разрушительный характер, обрушая организацию душевной жизни, завязанную на предмет любви, и вызывая душевную боль как сенсорную реакцию души на ущерб, понесенный душой в самой себе и страдальчески переживаемый душой как травма, образовавшаяся от удара в душе, а не в теле, и болящая не так, как болит тело, а так, как болит душа.

12. Если угодно, вы можете в материалистической манере ставить знак равенства между мыслью в уме и информацией в мозгу, но в механике душевного удара без разницы, каким путем доходит до сознания души специфический информационный сигнал (бедственный смысл), оказывающий травматическое действие на сознание, — вопрос в том, как вообще возможно восприятие сознанием определенной информации как удара по сознанию с травматическим, раневым и болевым эффектом в душе.

13. Последовательный материалист должен выдвигать и доказывать тезис, гласящий, что душевная боль материальна и есть неявная, хитро как-то спрограммированная разновидность физической боли, производимая мозгом и нервной системой чистым информационным образом как нервно-мозговая реакция на определенную (предусмотренную специальной программой в мозгу) информацию, тогда как явная телесная боль, например, боль в ушибленной руке, есть нервно-мозговая реакция на физическое воздействие, но: это все равно что сказать, что душевная боль и вообще все чувства души, включая, к примеру, мучительные нравственные чувства, такие как чувство вины, чувство стыда, чувство греха, чувство обиды, чувство оскорбления, чувство унижения, чувство отчаянья, чувство сострадания, испытываются якобы вовсе не душой, а телом как то, что производится, мол, не в душе, а в теле головным, дескать, мозгом и нервной системой, коль скоро и сама душа, с материалистической точки зрения, есть производное мозга вместе со своими мыслями якобы как информацией в мозгу и своими чувствами будто бы как нервно-мозговыми реакциями на обмозговываемую информацию.

14. Антитезис философии духа: душевная боль нематериальна и есть сенсорная страдальческая реакция самой души, а не мозга, на причиненный душе ущерб, сознаваемый душой и воздействующий тягостно и мучительно на душу своим сознаваемым отрицательным смыслом, по общему принципу негативного действия на душу всяческих худых мыслей, имеющих свойство омрачать и тяготить сознание, читай: омрачать и тяготить душу, в силу тождества души и сознания (см. логическую теорему 23: теорему тождества души и сознания).

15. Смысловое содержание худой мысли, например, прискорбный смысл известия о трагическом происшествии с любимой женой, можно закодировать компьютерным языком и передать эсэмэской на телефон мужа, который, открыв сообщение на экране телефона, воспримет набор языковых символов (букв) сначала глазами и головным мозгом как обработчиком информации, поступающей по зрительному нерву в мозговой компьютер, где такого (языкового) рода информация прочитывается сознанием души, осмысливается сознанием и наносит смысловой удар по сознанию.

16. Катастрофическая информация, получаемая при помощи мозга, катастрофически действует не на мозг, а на сознание как на нематериальный разумный сенсор, чувствительный к моральному смыслу информации, поляризованному как смысл добра и зла и как смысл счастья и несчастья, и тут не суть, что моральный смысл информации можно закодировать и передать физически через мозг и телефон, а суть тут в том, что нефизический (смысловой) удар воспринимает нефизическое естество души

как естество сознания и горестно страдает от травмы, причиняемой ударом душе, а не телу, и болящей не физически, а психически.

17. Нематериальностью души обусловлена нематериальность душевной боли как факт, безотносительный к ответу на вопрос, участвует ли, и если да, то каким образом и в какой мере участвует нервная система организма в том, что человек ощущает душевную боль именно так, как он ее ощущает: горестно, скорбно, подавленно и в характерном сочетании с нервной физикой, такой как щемящие ощущения в груди и нервные сбои в ритмической работе сердечного мотора, имя которого народный язык, видимо, недаром снабдил вторым смыслом и раздвоил сердце как физическое и нефизическое: сердце организма и сердце души.

18. В силу обусловленности мыслями в своей механике, душевная боль в чистом виде должна испытываться как непосредственная реакция души на мысли с болевым (мучительным: страдальческим) смысловым содержанием, которое, что называется, задевает за живое, доходя до сознания, то есть задевает само сознание как живой сенсор, чувствительный к смыслам, причем морально чувствительный.

19. Моральная чувствительность сознания души фундаментальна и, при своей фундаментальности, не прячется в темных недрах бессознательного, заинтриговавших западных софистов больше, чем бог, а лежит на поверхности, ибо все, что задевает человека за живое и имеет для него жизненно важное значение, так или иначе обусловлено дуализмом добра и зла + дуализмом счастья и несчастья + дуализмом любви и нелюбви, а это моральные вещи и понятия, заданные нравственным законом как формулой добра, любви и счастья.

20. В чистом виде душевная боль дает себя почувствовать (и логически отделить от сопутствующей нервной физики) в форме нравственных страданий, сводимых к базовому дуализму: муки совести + муки сердца души, где муки совести сводимы к базовой триаде: муки вины + муки раскаяния + чувство невыполненного долга, а сердечные муки сводимы к базовой диаде: муки любви + муки самолюбия, а из этой диады логически извлекается базовый дуализм обид в основном составе сердечных мук: обиды любви + обиды чести, где обиды чести двоичны: унижения + оскорбления (см. базовую формульную диалектику чувств в §13 «Чувства» книги «Бог»).

21. Нравственные страдания имеют степень и возрастают до степени невыносимых мук, превышающих предел терпения и несовместимых жизнью, и если вам лично посчастливилось не испытывать невыносимых нравственных страданий, будьте уверены, их испытывали многие другие. Вопрос: каким образом мысль с отрицательным моральным смыслом, скажем, покаянная мысль, может замучить человека до смерти — именно замучить, в точном смысле слова, без всяких аллегорий — и заставить покончить с собой от невыносимости нравственных страданий, к примеру, по варианту евангельского Иуды? Ответ: нематериальным образом: нефизическим. А если и с каким-то участием нервной физики, то вряд ли решающим.

22. Нравственное страдание есть мучительное состояние души, которое надо пережить лично, чтоб понимать разницу с физической болью, и которое испытывается душой как болевая реакция под давлением тягостных и мучающих уже единственно своей тягостностью мыслей с морально-отрицательным смыслом, который давит на сознание камнем на душе как то, что душа сознает и сознавание чего причиняет душевную боль, так что сознавание здесь есть само страдание как страдальческое состояние души, например: сознавание душой вины есть чувствование душой вины, которое мучительно и есть мучение как тягостное состояние души, называемое сознанием вины, а по-другому — чувством вины.

23. В природе нравственных страданий хорошо заметно тождество чувствования и сознавания, в силу которого сознавать оскорбление — это то же самое, что чувствовать оскорбление, сознавать унижение — это то же самое, что чувствовать унижение, сознавать вину — это то же самое, что чувствовать вину, а чувство вины — это то же самое, что сознание вины как сознавание вины.

24. Когда выполняется тождество чувствования и сознавания, как, например, в нравственных страданиях, тогда вполне явствует тот (норовящий ускользнуть от констатации) факт, что душевная чувствительность есть чувствительность сознания и нематериальна как то, что относится к нематериальной природе сознания, а точнее, духа и сознания одновременно, и вот почему одновременно: см. пп. 25-35:

25. Живая чувствительность отличает все живое как свойство его живого естества, составляющего его живую сущность, а поскольку живая сущность есть дух (см. логическую теорему 1: теорему живой сущности), постольку живая чувствительность есть свойство духа и разнится у разных живых существ из-за их разной конструкции.

26. Физическая чувствительность организма, строго говоря, есть чувствительность не тела, а духа как чувствительность живого естества организма, составляющего живую сущность организма, которая есть дух организма; поэтому тело организма чувствительно, пока в нем присутствует дух, делающий тело живым (читай: чувствительным).

27. Телесные органы чувств (зрение, слух, нюх, осязание, вкус) суть органы физического тела и, по принадлежности к телу, обеспечивают телесную (физическую) способность организма чувствовать, но вся живая чувствительность организма, хоть телесная, хоть бестелесная, есть свойство духа, а это значит, что телесные органы чувств — это то, посредство чего воплощенный в теле дух чувствует собственное тело как физическую форму своего существования, а также чувствует окружающую физическую реальность.

28. В силу одушевленности человеческого духа (см. §2 «Человеческий дух»), человеческая душа вживую чувствует физическое тело организма как свое и пользуется телесными органами чувств как собственными инструментами восприятия физического мира, хотя логически очевидно, что глаза, уши и прочие телесные сенсоры организма — это органы физического тела, а не души, и составляют живую чувствительность воплощенного в организме духа, который не есть душа и не есть дух души, а есть дух организма, но живое двуединство человеческого духа как духа организма и духа души таково, что человек, сущий в душе своей как мыслящее «я» души, не замечает двоичности человеческого духа и даже с трудом (только если хорошо подумает) замечает дуализм духа и тела, ощущая себя в физическом теле, как будто в своей собственной плотской форме.

29. В силу двуипостасности души как духа и сознания (см. логическую теорему 24: теорему двуипостасности души) и в силу самотождественности души в сознании разом в двух ипостасях (дух + сознание), душа обладает живой чувствительностью, когда душа пребывает в сознании и в тождестве с собой, а вне сознания душа бесчувственна.

30. Надо исходить из общего определения живой чувствительности как свойства духа, которое применительно к душе есть духовное свойство сознания души как чувствительность сознания, имеющая духовную природу и присущая духовной ипостаси души, то есть духу души; это становится понятней вместе с пониманием, что дух души есть находящееся в физическом теле организма духовное тело души, которое за порогом сознания есть сомнамбула, а когда душевная сомнамбула переходит порог сознания и приводится в сознание, тогда душа, что называется, приводится в чувство и обретает в сознании чувствительность как единую способность духа и сознания души, не работающую за вычетом сознания и работающую как ***духовная чувствительность сознания***.

31. Духовное тело души есть духовное тело сознания как духовный носитель сознания, содержащий сознание в самом себе и сам содержащийся в сознании, ибо:

32. Дух, содержащий в себе сознание, обладает сознанием в самом себе и отчасти приведен в тождество с сознанием в самом себе, то есть это уже не только дух, но еще и сознание как двуипостасная душа, по уравнению: дух души + сознание души = 1-я ипостась души + 2-я ипостась души = душа.

33. Логическая ошибка материалистов в их подслеповато-поверхностном воззрении на сознание как на лампочку в мозгу обусловлена отрицанием духа, за вычетом коего получается, что сознанию и душе больше неоткуда взяться в человеческом существе, кроме как из материи организма. Антитезис философии духа: сознание и душа человека берутся из духа, но: не из того духа, что воплощен в любом организме и подлежит определению как животный дух в противоположность духу души и человеческому духу как одушевленному духу.

34. Чтобы опрокинуть материализм, требуется первым делом установить сам факт духа с такой же ясностью, с какой самоочевиден факт материи; поэтому в книге «Дух» много места отведено под фактологию духа в фактологических предуведомлениях №№1-4, и по той же причине затянулась фактологическая иллюстрация под названием «Душевная боль».

35. Завершим иллюстрацию ремаркой, что всякую боль, хоть телесную, хоть душевную, человек чувствует душой, а точнее, духовным телом души в сознательном состоянии души, с той разницей, что телесную боль душа чувствует через нервную систему организма, а душевная боль чувствуется чистым духовным (нефизическим) образом и вызывается смысловым воздействием на сознание души.

Логическая теорема 23

ТЕОРЕМА ТОЖДЕСТВА ДУШИ И СОЗНАНИЯ

Душа есть сознание как мыслящий субъект, сознающий себя человеком и существующий в сознании, которое есть он сам.

Доказательство

I. Теорема тождества души и сознания логически эквивалентна теореме тождества субъекта и сознания (сформулированной в §3 «Тео-теоремы» под номером 9 в списке тео-теорем и под номером 14 в общем списке логических теорем) и доказуема просто путем логической идентификации души как мыслящего субъекта, ибо: всякий мыслящий субъект есть сознание, и если душа есть мыслящий субъект, то душа есть сознание.

II. Тождество мыслящего субъекта и сознания логически обосновывается (доказывается) системой определений, которую можно развернуть из простейшего определения сознания, гласящего: сознание есть мыслящее живое сущее, сознающее себя и обладающее способностью к мышлению, которая есть разум.

III. Сознание разумно как мыслящее сущее с мыслящим естеством, составляемым разумом, согласно простейшему определению разума как способности к мышлению.

IV. Мыслящее (оно же разумное) живое сущее — это мыслящее нечто, которое, точнее говоря (по естественно сложившемуся словоупотреблению), есть мыслящий некто: мыслящий субъект: тот, кто мыслит и обладает разумом.

V. Сознание есть мыслящий субъект в силу разума, присущего сознанию и работающего в сознании как действующая способность к мышлению, согласно простейшему определению мышления как работы разума.

VI. Мыслящий субъект — это тот, кто обладает способностью к мышлению (разумом) и реализует ее, проделывая мыслительную работу своим разумом, согласно логическому равенству: работа разума = мыслительная работа мыслящего субъекта (обладателя разума) = мыслительная работа сознания (которое есть мыслящий субъект).

VII. Тождество субъекта и сознания выполняется при прочтении с любой из двух логических сторон: сознание есть мыслящий субъект, и наоборот: мыслящий субъект есть сознание, ибо:

VIII. Мыслящий субъект есть самосознательный субъект, сознающий самого себя в самом себе и, сознавая себя в себе, пребывающий в тождестве с самим собой в сознании, а иными словами, пребывающий (существующий) в самом себе как в сознании, которое есть он сам; поэтому мыслящий субъект буквально исчезает, когда он теряет сознание.

IX. Теряя сознание, мыслящий субъект теряет самого себя и теряет бытие как тот, кто сознательно, а не бессознательно (не сомнамбулически), производит мыслительные действия, составляющие, определяющие и организующие его бытие, когда он сознает себя и может сказать: вот он я: я есть тот, кто сознает себя и существует, сознавая себя.

X. Мыслящий субъект, выпадая из сознания, выпадает из реальности, то есть исчезает из реальности и не существует в реальности, превращаясь в сомнамбулу как в свою бессознательную, роботоподобную противоположность, лишенную разума как собственной способности к мышлению, присущей сознанию и реализуемой в сознании как сознательное мышление, но не бессознательное, характерное для робота, хоть неживого, хоть живого.

XI. Исчезновение из реальности как потеря бытия вместе с потерей сознания происходит каждодневно с каждым из нас, людей, при погружении в обыкновенный сон, который служит обыденным фактическим доказательством тождества мыслящего субъекта и сознания, где мыслящий субъект есть душа человека и сам человек как мыслящее «я» своей души.

XII. Душа человека есть мыслящий субъект как живая мыслящая сущность, сознающая себя человеком и содержащая в себе (по смыслу слова душа) всё нематериальное естество человека, включая дух, разум, сознание и то, что присуще духу, разуму, сознанию.

XIII. Мыслящее естество человека есть мыслящее естество души как душевное естество человека, которое разумно, в силу чего разумен человек, ибо:

XIV. Человек есть то, что он есть в душе своей, то есть в своем нематериальном душевном естестве: по своей, говоря синонимами, нефизической психической природе.

XV. Человек есть мыслящий субъект как обладатель душевной способности к мышлению, присущей сознанию души как человеческий разум, составляющий мыслящее естество человека как его душевное естество.

XVI. Естество человека и естество души человека — это одно и то же естество, хотя душа человека не есть сам человек, а есть нематериальная природная сущность человека, выраженная в лице человека, то есть принявшая форму человеческой личности.

XVII. Называемая душой нематериальная природная сущность человека духовна, разумна, сознательна и имеет свое «я», то есть имеет личностную форму, а именно форму человеческой личности: форму индивидуального «я» (индивидуума).

XVIII. Душа есть мыслящий субъект как мыслящая сущность человека, который тоже есть мыслящий субъект как мыслящее «я» своей души: человеческое «я» души: человеческое лицо души, которое нематериально как духовное лицо человека, но которое имеет материальное выражение, заметное в чертах физического лица человека, поскольку человек существует одновременно в душе и во плоти.

XIX. Итак, применительно к душе тождество субъекта и сознания есть тождество души и сознания, ч.т.д.

XX. И применительно к человеку тождество субъекта и сознания выполняется тоже как тождество души и сознания, ибо оно означает, что человек есть мыслящий субъект как мыслящее «я» души, существующее в сознании души как в своем собственном сознании.

Логическая теорема 24

ТЕОРЕМА ДВУИПОСТАСНОСТИ ДУШИ

Душа человека двуипостасна в своем естестве как дух и сознание и существует разом в двух ипостасях как бессознательный субъект в ипостаси духа и как самосознательный субъект в ипостаси сознания.

Доказательство

I. Двуипостасность души логически явствует из того обыденного факта, что в жизненном цикле человека существование души длится как циклическое чередование сна и бодрствования, где бодрствование есть сознательное состояние души и пребывание души в сознании в качестве самосознательного субъекта, а сон есть бессознательное состояние души и пребывание души вне сознания в качестве сновидца, который есть бессознательный субъект.

II. В силу тождества души и сознания (см. логическую теорему 23: теорему тождества души и сознания), душа теряет тождество с собой, впадая в бессознательное состояние, например, в обычный сон, в обморок, в транс, но ни в обычном сне, ни в обмороке, ни в трансе душа не лишается вместе с сознанием своего живого естества, ибо оно обладает способностью превращаться из сознательного живого нечто в бессознательное живое нечто и обратно.

III. Живое естество всего живого есть дух как нематериальная живая сущность, делающая живое живым и отличающая живое от неживого (см. логическую теорему 1: теорему живой сущности), следовательно:

IV. Бессознательное живое естество души есть дух души, поддающийся логической идентификации в бессознательных состояниях души как сновидец и как трансовая сомнамбула, а также как духовное тело человека, иначе называемое астральным телом и явствующее из фактологии спиритизма (см. фактологическое предуведомление №2 «Духовное тело»).

V. Поскольку дух души, составляющий живое естество души, никуда не исчезает в бессознательных состояниях души, постольку можно умозаключить, что дух души служит вместилищным носителем сознания в сознательных состояниях души как то, в чем периодически появляется и исчезает сознание, как будто оно прямо-таки включается и выключается, подобно лампочке.

VI. Кто применяет к сознанию лампочную аналогию, тот сталкивается с сопутствующим вопросом: где (в чем) включается и выключается «лампочка сознания»? Одно из двух: либо в мозгу, либо не в мозгу. Если вы материалист, отрицающий дух, вам больше негде выискивать свое сознание, кроме как в мясе мозга. А если вы не матери-

алист, то логика ставит вас перед тем фактом, что ваше сознание — это то, во что превращается ваше духовное естество (дух души), переходя порог сознания, когда ваша сомнамбула пробуждается от сна.

VII. Дух души есть духовное естество души, составляющее нематериальную живую сущность души как бессознательную сущность, находящуюся за порогом сознания в так называемой сфере бессознательного как сомнамбула.

VIII. По стороны порога сознания душа двоична в своем живом естестве и (что то же самое) в своей природной живой сущности как дух и сознание и существует в двух противоположных качествах: в качестве духа как бессознательная живая сущность (сомнамбула) и в качестве сознания как самосознательная живая сущность, которая есть мыслящий субъект (противоположность сомнамбулы).

IX. Природная двоичность души в качестве духа и в качестве сознания есть ипостасная двоичность души в ипостаси духа и в ипостаси сознания, в философском смысле термина ипостась как синонима термина сущность применительно к естеству мыслящего субъекта, будь это несотворенный мыслящий субъект, то есть бог, и будь это сотворенный мыслящий субъект, такой как душа.

X. Ипостаси души соотносятся противоположно по стороны порога сознания как бессознательное естество души и сознательное естество души.

XI. В ипостасях души как в противоположностях выражается ипостасная диалектика души как двоичность живого естества души, которое диалектически поляризовано (раздвоено) как дух, с одной диалектической стороны, и как сознание, с другой диалектической стороны.

XII. Дух души и сознание души — это диада качественных (не объектных) противоположностей (см. §2 «Противоположности» книги «Бог»), которые не являются разными объектами, а являются разными качественными сторонами природы одного и того же живого объекта, а точнее, субъекта: с одной стороны своей природы, душа есть то, что называется духом, а с другой — то, что называется сознанием.

XIII. Природная двуипостасность души означает, что душа есть одновременно и дух, и сознание и существует разом в двух ипостасях как двойственная по своей природе сущность, что позволительно записать диалектическим уравнением такого вида: бессознательный субъект + самосознательный субъект = душа, где диалектическая сумма (душа) — это не два субъекта, а один объектно-единичный, но природно-двоичный (двуипостасный) субъект, мыслящий по стороны порога сознания бессознательно и самосознательно одновременно: как бессознательный и самосознательный субъект.

XIV. Поскольку душа двуипостасна, постольку душа составляет тождество с сознанием как двуипостасная душа, существующая в сознании как в самой себе и как само сознание, одновременно находясь за порогом сознания как бессознательный субъект: дух.

XV. В силу природной двуипостасности души, душа выпадает из реальности (и из бытия), выпадая из сознания, и превращается в сновидческую или трансовую сомнамбулу, которая не есть душа, а есть бессознательная противоположность души как дух души, отделенный от сознания души, а вместе с тем, отделенный от самой души, коей просто нет в природе вне сознания.

XVI. Поскольку при смене сознательных и бессознательных состояний души пропадает и появляется сознание, а не дух, постольку надо полагать, что диалектический переход души в противоположность при потере сознания, а проще говоря, превращение души в сомнамбулу и обратное превращение происходят в духе души как в духовном теле души, которое служит духовным вместилищем сознания души.

Логическая теорема 25

ТЕОРЕМА ДУХОВНОГО ТЕЛА

Дух души есть духовное тело души, которое в человеческом существе существует во плоти, составляя живое целое с физическим телом человека, и служит духовным вместилищем сознания души как претворенный в сознание дух, ипостасно поляризованный порогом сознания как дух и сознание души, то есть как двуипостасная душа.

Доказательство

I. Собственно говоря, теорема духовного тела давно доказана фактологией спиритизма, задокументированной в достоверных источниках и подтверждающей факт

существования духовного тела как составного элемента конструкции человеческого существа (см. фактологические предуведомления №№1-2 и №4).

II. Вопрос не в том, есть ли духовное тело (ибо оно такой же факт природы, как и физическое тело), — вопрос в том, что представляет собой духовное тело и как оно соотносится с физическим телом, с одной стороны, и с сознанием, с другой стороны, в целостной живой конструкции человеческого существа.

III. С одной стороны, духовное тело есть противоположность физического тела как то, что не состоит из материи и что не есть материя, а есть дух.

IV. С другой стороны, духовное тело есть противоположность сознания как роботоподобная сомнамбула, пребывающая за порогом сознания и соотносящаяся с сознанием как нечто служебное с тем, чему оно служит, и как то, из чего периодически возникает и в чем, возникая, находится сознание души при циклическом чередовании сознательных и бессознательных состояний души.

V. Сознание души находится в духовном теле души как претворенный и приведенный в сознание дух души, что в терминах диалектики называется диалектическим переходом противоположности в противоположность, где результатом перехода является возникновение из одной противоположности (из духа) другой противоположности (сознания) с последующим обратным переходом, происходящим как потеря сознания душой, что равнозначно обратному превращению сознания в сомнамбулу (в дух), а это значит:

VI. Дух души, составляющий собой духовное тело души, составляет вместе с тем духовное естество сознания души как несущую основу сознания, которая, как говорят в таких случаях, является обратной стороной сознания и неотъемлема от сознания по типу двух сторон одной медали и по принципу ипостасного дуализма, где одна сторона (ипостась) — лицевая-основная (сознание), а другая сторона (ипостась) — служебная-теневая: бессознательная: сомнамбулическая (дух).

VII. Чтобы сомнамбула (дух) превратилась в сознание, необходимо, чтобы бессознательное мышление сомнамбулы сделалось самосознательным и самосозерцательным мышлением, а это есть мышление, обращенное на само себя как на умосозерцаемый объект, который есть субъект, мыслящий самого себя в самом себе созерцательным образом и существующий в своем самосозерцательном мышлении как в сознании, которое есть он сам (см. логическую теорему 13: теорему самосозерцания: мео-теорему 8), и стало быть:

VIII. Претворение духа души в сознание есть духовная метаморфоза, происходящая в духовном теле души путем преобразования бессознательного мышления сомнамбулы в самосознательное мышление, обращенное на само себя как на мыслимый объект, а одновременно обращаемое и на другие предметы мышления как на то, что сознается: воспринимается сознанием (а не сомнамбулой).

IX. Духовное тело души есть нематериальное живое нечто, имеющее пространственную форму и способное быть самосозерцательным вместилищем сознания и превращаться в сознание в самом себе как в субъекте, умосозерцающем себя в себе и существующем в самосозерцательном мышлении, которое есть сознание.

X. Поскольку природу сознания составляет самосознательное мышление, которое периодически развертывается (возникает) и свертывается (исчезает) в духовном теле души, постольку превращение духа души в сознание и обратно есть превращение мышления, а именно: бессознательного (сомнамбулического) мышления в самосознательное (и прежде всего самосозерцательное) мышление и обратно; следовательно:

XI. Духовное тело души есть вместилище мышления, поляризованного порогом сознания как бессознательное мышление, присущее духу души (сомнамбуле), и как самосознательное мышление, которое присуще сознанию и есть само сознание как то, в чем реализуется тождество мыслящего субъекта и мыслимого объекта и реализуется сам мыслящий субъект как тот, кто мыслит самого себя, а вместе с собой и еще что-либо, кроме себя.

XII. Как пространственный объект духовное тело души есть дух, имеющий пространственную форму и заполняющий собой свой пространственный объем, совпадающий, надо полагать, с геометрической фигурой физического тела человека; а значит, и сознание души как то, во что периодически превращается дух души, наполняет собой тело духа (духовное тело) пространственным образом, о чем можно судить как о факте просто на том основании, что мыслящее «я» души (человек: личность) сознает себя в пространственных границах организма и воспринимает сознанием свой организм как свое местонахождение в мировом пространстве.

XIII. Поскольку человек существует во плоти и чувствует физическое тело организма как свою собственную плоть, постольку вполне очевидно, что дух души (вмещающий сознание души) и дух организма, воплощенный в физическом теле (и вмещающий его как свою же плотскую форму), составляют живое целое, определяемое как одушевленный человеческий дух, который сущностно двоичен как дух организма (одна живая сущность) и дух души (другая живая сущность), но единичен как живое целое и как пространственный объект.

XIV. Как пространственный нематериальный объект человеческий дух есть единичное (данное в одном экземпляре) духовное тело человека, которое служит нематериальным пространственным вместилищем физического тела человека, и наоборот: физическое тело служит материальным пространственным вместилищем духовного тела.

XV. Человеческий дух объектно единичен как целостный элемент конструкции человеческого существа, но, как явствует из спиритической фактологии духа, сущностный дуализм человеческого духа (как духа организма и духа души) таков, что духовное тело человека может объектно раздваиваться при жизни человека как духовное тело организма (один объект в мировом пространстве) и как духовное тело души (другой объект в мировом пространстве), когда духовное тело души отделяется от физического тела в качестве прижизненного призрака (см. фактологическое предуведомление №2 «Духовное тело»).

XVI. Не помешает отдельным тезисным пунктом заметить, что лучше не надо применять к дуализму человеческого духа (как духа организма и духа души) философский термин ипостасей, который в строгом философском смысле (без метафор и аллегорий) следует применять только к мыслящему субъекту, во-первых, к несотворенному (а это бог), во-вторых, к сотворенному, такому как душа.

XVII. Ипостасный дуализм души (дуализм духа души и сознания души) принципиально не таков, как сущностный дуализм человеческого духа (дуализм духа организма и духа души), и не допускает объектного (с результатом в виде двух объектов) раздвоения души в ипостасях, ибо: во-первых, дух души (1-я ипостась души), отделенный от сознания в качестве сомнамбулы во сне или в трансе, не есть душа; а во-вторых, сознание души (2-я ипостась души) есть душа вкупе с 1-й ипостасью как двуипостасная душа, существующая одновременно в духе и сознании как единичный объект, который не может объектно раздваиваться, в отличие от человеческого духа, который может объектно раздваиваться, когда духовное тело души отделяется от физического тела в качестве ПП (прижизненного призрака).

БАЗОВАЯ ДЮЖИНА СВОЙСТВ ДУХОВНОГО ТЕЛА ДУШИ

1-е свойство ДТД: нематериальность

Духовное тело души (ДТД) нематериально как то, что не является материей, не состоит из материи и не может быть нематериальным производным материи.

2-е свойство ДТД: жизнь

Духовное тело души есть нематериальная живая сущность души как дух души, составляющий духовное естество души как живое естество живого сущего, чье существование есть жизнь: живое существование: противоположность неживого существования.

3-е свойство ДТД: пространственная объектность

Духовное тело души существует в мировом пространстве как пространственный объект, занимающий определенное место в пространстве и заполняющий собой тот же пространственный объем, что и физическое тело, в конструкции человеческого существа.

4-е свойство ДТД: монолитное слияние с духом организма

Дуализм человеческого духа как духа организма и духа души таков, что духовное тело (дух) души и духовное тело (дух) организма составляют живое целое как единичный пространственный объект, который в конструкции человеческого существа синтезирован по принципу монолитного слияния (объект + объект = 1 объект как монолитное целое), а не по принципу объектного суммирования элементов системы (объект + объект = 2 объекта как парное целое: системная пара).

5-е свойство ДТД: существование во плоти

Живое слияние духа души и духа организма таково, что душа сознает и ощущает физическое тело организма как свою живую плоть и де-факто существует во плоти

как в плотской форме человеческого духа, двуединого как воплощенный дух организма, сущий в материальной форме организма, и как дух души, лишенный собственной материальной формы и сам по себе наделенный нематериальной формой человеческой личности, но находящийся в физическом теле организма как в своем жизненном плотском вместилище, ибо существующий в монолитном слиянии с воплощенным духом организма.

Примечание к 5-му свойству ДТД: *существование души во плоти не есть воплощение души в физической форме организма, а есть существование души в живом слиянии с воплощенным духом, существующим в физической форме организма, которая не есть форма души, что логически явствует просто из того обстоятельства, что душевная жизнь (см. теорему душевной жизни) не есть жизнедеятельность организма, а есть неорганизменная (небиологическая) жизнь души в нефизической (духовной) форме человеческой личности.*

6-е свойство ДТД: способность к отделению от организма

Из спиритической и гипнотической фактологии духа явствует, что духовное тело души может выходить за пространственные пределы физического тела организма при жизни человека и какое-то время существовать как отдельный нематериальный объект, достоверно описанный в документах классического спиритизма как прижизненный призрак (ПП).

Примечание к 6-му свойству ДТД: *факт ПП независимо от прочей фактологии духа дает логические основания для гипотезы о возможности существования не только прижизненных призраков (ПП), но и загробных призраков типа классических привидений, где привидение есть отделенный от мертвого организма дух души, но: душа двуипостасна как дух и сознание, поэтому доказать существование привидений — не значит доказать бессмертие души, и если вам доведется засвидетельствовать факт привидения, не спешите объявлять, что это есть душа, а прежде потрудитесь доказать тождество мыслящего субъекта и сознания применительно к конкретному случаю.*

7-е свойство ДТД: претворяемость в сознание

Духовное тело души способно переходить порог сознания в самом себе и претворяться в сознание, в результате превращаясь в двуипостасную мыслящую сущность, которая есть собственно душа, самотождественная в двух ипостасях как дух и сознание и являющая собой главнейшее отличие человеческого существа от животного.

8-е свойство ДТД: сознательная чувствительность

Поскольку всему живому присуща живая чувствительность, которая есть свойство духа как живой сущности, постольку духовное тело души априори наделено живой чувствительностью как живая сущность (дух), но апостериори, в отличие от неразумных живых существ, — и в этом выражается одно из фундаментальных отличий между человеком и животным, — душа чувствительна в сознании и бесчувственна вне сознания, и стало быть: душа чувствует духовным естеством сознания, а иными словами, душа чувствует духовным телом, претворенным в сознание и чувствительным к сознаваемым воздействиям как воздействиям на сознание (см. фактологическую иллюстрацию «Душевная боль» к логической теореме 22: теореме душевной жизни).

9-е свойство ДТД: сомнамбулическая чувствительность

Бесчувственность души в бессознательных состояниях души есть бесчувственность мыслящего субъекта, потерявшего тождество с собой и никак, ни мысленно, ни чувственно, не воспринимающего самого себя и свое живое существо, включая дух и плоть, однако известно, что человеческая сомнамбула (и сновидческая, и трансовая) не теряет живую чувствительность полностью, а также обнаруживает сверхчувствительность, недоступную душе в сознательном состоянии, следовательно: в числе свойств ДТД надо особняком выделить сомнамбулическую чувствительность, которая принципиально не такова, как сознательная чувствительность души, ибо это не есть чувствительность собственно души, а есть чувствительность сомнамбулы.

10-е свойство ДТД: бессознательное мышление

Поскольку душа раздвоена в ипостасях как дух и сознание по стороны порога сознания, постольку бессознательное мышление души есть свойство духа души и осуществляется в духовном теле души как в духовном (нематериальном: не мозговом) вместилище мышления, а это значит, что духовное тело души служит той самой (не в меру демонизированной своими теоретиками) сферой бессознательного как то место, где находится скрытый за порогом сознания, подобно подводной части айсберга, механизм бессознательного мышления, взятый отдельно от черепного компьютера (мозга) как организменного инструмента мышления.

11-е свойство ДТД: троякий сомнамбулизм

Человеческая сомнамбула, существующая в духовном теле души и тождественная оному как дух, разнится в трех базовых разновидностях: во-первых, как ***сновидческая сомнамбула*** (сновидец), во-вторых, как ***трансовая сомнамбула***, обнаруживающаяся в трансовых состояниях души и способная выходить из физического тела в качестве духовного тела, в-третьих, как бессознательная (скрытая за порогом сознания) организация мышления самосознательного субъекта, ввиду того факта, что в сознательном состоянии бодрствования человек мыслит одновременно сознательно и бессознательно: разом по обе стороны порога сознания; и поскольку оная ***третья сомнамбула*** действительна в сознательных состояниях души, постольку речь идет о сомнамбулических свойствах сознания души, особо демонстративных у младенца как ***безличностный сомнамбулизм сознания***, присущий сознанию как чистому самосозерцанию, отделенному от личностного самосознания, обретаемого человеческой душой вместе с формированием человеческой личности.

12-е свойство ДТД: духовная энергия

Духовное тело души обладает духовной энергией, будь это собственное свойство ДТД или будь это заимствуемая от духа организма силовая способность, которая в чистом виде обнаруживается, например, на спиритическом сеансе, когда дух медиума отделяется от организма и производит силовые действия вроде спиритических стуков и перемещений предметов в комнате спиритического сеанса; и будь то заемная или собственная энергия (расходуемая духом медиума), она работает как нечто, присущее духовному телу души, обеспечивая в нем двигательную силу духа и энергетическую подпитку силовых действий духа.

Логическая теорема 26

ТЕОРЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА

Человеческое существо есть одушевленный живой субъект с мыслящим «я», сущий во плоти, в духе и в сознании и имеющий четверичную конструкцию, которая обусловлена дуализмом духа и материи в сочетании с дуализмом духа и сознания и логически разложима на четыре элемента по диалектике формы и содержания:

(Человеческое тело + человеческий дух) + (человеческая душа + человеческая личность) = человеческое существо.

Доказательство

I. Человеческое существо есть одушевленное живое существо, которое по своей конструкции предназначено быть вместилищем души в жизненном цикле человека и является принадлежностью души как то, что придано душе и подчинено душе как хозяйке.

II. Душа — это то, чем отличается человеческое существо от прочих земных существ, существующих во плоти и называемых животными, относить к числу которых человека — это ребяческая логическая ошибка материалистической псевдонауки и оскорбление имени человека (что больше, чем ребячество: это порочно и грешно).

III. На обсуждавшийся некогда философами вопрос, есть ли душа у животных, совершенно очевиден ответ: нет, ибо совершенно очевидно, что животные лишены сознания, а душа не факт вне сознания (см. логические теоремы 14 и 23: теорема тождества субъекта и сознания + теорема тождества души и сознания).

IV. Душа — это то, что конструктор добавил к организму, чтобы получилось человеческое существо из организма, который без души есть животное, а с прибавкой души к организму возникает одушевленный организм, в чьих глазах характерно светится разум и просто на взгляд видна душа душе как мыслящий субъект мыслящему субъекту.

V. Конструкция всякого организма двоична по диалектике формы и содержания, реализованной в организме как дуализм материи и духа, по уравнению: живая сущность (дух) организма + физическое тело (материя) организма = организм, где физическое тело есть жизненная форма воплощенной в теле живой сущности (воплощенного духа).

VI. Есть жизнь биологическая (жизнь организмов), и есть жизнь небиологическая (духовная), а это, во-первых, жизнь несотворенного мыслящего субъекта (бога), во-вторых, жизнь сотворенного мыслящего субъекта, такого как душа и обладатель

души (человек), который живет нефизической душевной жизнью как нефизическое (нематериальное) и небиологическое (неорганизменное) существо, подобное богу, но одновременно человек живет и плотской жизнью, поскольку существует одновременно в душе и во плоти.

VII. Дуализм человека и души человека — это частный случай дуализма формы и содержания, где содержание есть душа как нематериальная сущность человека, выраженная в форме человеческой личности и существующая в лице человека как в своей личностной форме.

VIII. Человеческое существо описывается, во-первых, двухчленным диалектическим уравнением такого вида:

Человеческий организм + человеческая душа = человеческое существо.

IX. Во-вторых, организменная часть человеческого существа описывается двухчленным уравнением по диалектике формы и содержания:

Дух организма + материя организма = организм.

X. В-третьих, неорганизменная (душевная) часть человеческого существа описывается двухчленным уравнением тоже по диалектике формы и содержания:

Человеческая душа + человеческая личность как личностная форма души = душевное естество человека.

XI. В-четвертых (в итоговой сумме логических формул, записанных в пп. VIII-X), человеческое существо описывается четырехчленным уравнением:

[Человеческое тело + человеческий дух] + [человеческая душа + человеческая личность] = человеческое существо,

где слагаемые в скобках обособлены попарно по диалектике формы и содержания.

XII. Каждое слагаемое в четырехчленном диалектическом уравнении человеческого существа диалектически поляризовано так:

Человеческое тело = физическое тело + духовное тело;
Человеческий дух = дух организма + дух души;
Человеческая душа = дух души + сознание души;
Человеческая личность = сомнамбула + мыслящее «я».

XIII. За счет диалектической двоичности составных элементов человеческого существа, оно сконструировано ступенчатым пирамидальным образом, так что каждый элемент, кроме 4-го, служит вместилищем других элементов, а именно: тело — вместилище духа (1-я пирамидальная ступень конструкции), дух — вместилище души (2-я пирамидальная ступень конструкции), душа — вместилище личности (3-я пирамидальная ступень конструкции).

XIV. Человеческое тело (1-е слагаемое в уравнении) есть человеческий организм, двоичный как физическое тело организма и как воплощенный в теле (и вмещаемый телом) дух организма, который слит воедино с духом души как одушевленный человеческий дух (2-е слагаемое), являющийся духовным телом человека и духовным вместилищем человеческой души (3-го слагаемого), содержащей в себе (вмещающей) человеческую личность как свою же личностную форму (4-е слагаемое).

XV. Слиянием духа организма и духа души в монолитное целое, определяемое как одушевленный человеческий дух, обеспечено живое единство всей четверичной конструкции человеческого существа, где человеческий дух служит связующим звеном организменной и неорганизменной частей существа и двойным вместилищем, а именно: духовным вместилищем физического тела, с одной стороны, и духовным вместилищем души, с другой стороны.

Продолжение следует